This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

EX LIBRIS

STANFORD LIBRARIES

Gift of

Mr. and Mrs. Julian J. Meyer

Saltykov, M. E.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

М. Е. САЛТЫКОВА

[Н. ЩЕДРИНА].

ИЗДАНІЕ ПЯТОЕ.

Съ «Матеріалами для біографіи М. Е. Салтыкова», К. К. Арсеньева, и съ двумя портретами М. Е. Салтыкова.

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1906 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1906.

891.73
S171
ed.5
v.4

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

СКАЗКИ

1.—Премудрый пискарь.

Жилъ-былъ пискарь. И отецъ, и мать у него были умные; помаленьку да полегоньку аридовы вѣки въ рѣкѣ прожили, и ни въ уху, ни къ щукѣ въ хайло̀ не попали. И сыну тоже заказали. «Смотри, сынокъ, — говорилъ старый пискарь, умирая:—коли хочешь жизнью жуировать, такъ гляди въ-оба!»

А у молодого пискаря ума палата была. Началъ онъ этимъ умомъ раскидывать и видитъ: куда ни обернется — вездѣ ему матъ. Кругомъ, въ водѣ, все большія рыбы плаваютъ, а онъ всѣхъ меньше; всякая рыба его заглотать можетъ, а онъ никого заглотать не можетъ. Да и не понимаетъ: зачѣмъ глотать? Ракъ можетъ его клешней пополамъ перерѣзать, водяная блоха—въ хребетъ впиться и до смерти замучить. Даже свой-братъ пискарь—и тотъ, какъ увидитъ, что онъ комара изловилъ, цѣлымъ стадомъ, такъ и бросится отнимать. Отнимутъ и начнутъ другъ съ дружкой драться, только комара задаромъ растреплютъ.

А человѣкъ?—что̀ это за ехидное созданіе такое! какихъ каверзъ онъ ни выдумалъ, чтобъ его, пискаря, напрасною смертью погублять! И невода̀, и сѣти, и верши, и норота̀, и наконецъ... уду! Кажется, что̀ можетъ быть глупѣе уды?— Нитка, на ниткѣ крючокъ, на крючкѣ—червякъ или муха надѣты... Да и надѣты-то какъ?.. въ самомъ, можно сказать, неестественномъ положеніи! А между тѣмъ именно на уду всего больше пискарь и ловится!

Отецъ-старикъ не разъ его насчетъ уды предостерегалъ, «Пуще всего берегись уды! — говорилъ онъ: — потому что хоть и глупѣйшій это снарядъ, да вѣдь съ нами, пискарями, что̀ глупѣе, то вѣрнѣе. Бросятъ намъ муху, словно насъ же приголубить хотятъ; ты въ нее вцѣпишься — анъ въ мухѣ-то смерть!»

Разсказалъ также старикъ, какъ однажды онъ чуть-чуть въ уху не угодилъ. Ловили ихъ въ ту пору цѣлою артелью, во всю ширину рѣки неводъ растянули, да такъ версты съ двѣ по дну волокомъ и волокли. Страсть, сколько тогда рыбы попалось! И щуки, и окуни, и головли, и плотва, и гольцы,—даже лещей-лежебоковъ изъ тины со дна поднимали! А пискарямъ такъ и счетъ потеряли. И какихъ страховъ онъ, старый пискарь, натерпѣлся, покуда его по рѣкѣ волокли—это ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать. Чувствуетъ, что его везутъ, а куда—не знаетъ. Видитъ, что у него съ одного боку—щука, съ другого—окунь; думаетъ: вотъ-вотъ, сейчасъ, или та, или другой его съѣдятъ, а они — не трогаютъ... «Въ ту пору не до ѣды, братъ, было!» У всѣхъ одно на умѣ: смерть пришла! а какъ и почему она пришла—никто не понимаетъ. Наконецъ, стали крылья у невода сводить, выволокли его на берегъ и начали рыбу изъ мотни въ траву валить. Тутъ-то онъ и узналъ, что такое уха. Трепещется на пескѣ что-то красное; сѣрыя облака отъ него вверхъ бѣгутъ: а жарко таково, что онъ сразу разомлѣлъ. И безъ того, безъ воды тошно, а тутъ еще поддаютъ... Слышитъ—«костеръ», говорятъ. А на «кострѣ» на этомъ черное что-то положено, и въ немъ вода, точно въ озерѣ, во время бури, ходуномъ ходитъ. Это «котелъ», говорятъ. А подъ конецъ стали говорить: вали въ «котелъ» рыбу—будетъ «уха»! И начали туда нашего брата валить. Шваркнетъ рыбакъ рыбину—та сначала окунется, потомъ, какъ полоумная, выскочитъ, потомъ опять окунется—и присмирѣетъ. «Ухи», значитъ, отвѣдала. Валили-валили сначала безъ разбора, а потомъ одинъ старичокъ глянулъ на него и говоритъ: «Какой отъ него, отъ малыша, прокъ для ухи: пущай въ рѣкѣ порастетъ!» Взялъ его подъ жабры, да и пустилъ въ вольную воду. А онъ, не будь глупъ, во всѣ лопатки — домой! Прибѣжалъ, а пискариха его изъ норы ни жива, ни мертва выглядываетъ...

И что же! сколько ни толковалъ старикъ въ ту пору, что такое уха и въ чемъ она заключается, однако, и поднесь въ рѣкѣ рѣдко кто здравыя понятія объ ухѣ имѣетъ!

Но онъ, пискарь-сынъ, отлично запомнилъ поученія пискаря-отца, да и на усъ себѣ намоталъ. «Надо глядѣть въ-оба, — сказалъ онъ себѣ: — а не то какъ разъ пропадешь!»—и сталъ жить да поживать. Первымъ дѣломъ нору для себя такую придумалъ, чтобъ ему забраться въ нее было можно, а никому другому — не влѣзть! Долбилъ онъ

носомъ эту нору цѣлый годъ, и сколько страху въ это время принялъ, ночуя то въ илѣ, то подъ водянымъ лопухомъ, то въ осокѣ. Наконецъ, однако, выдолбилъ на славу. Чисто, аккуратно—именно только одному помѣститься впору. Вторымъ дѣломъ насчетъ житья своего рѣшилъ такъ: ночью, когда люди, звѣри, птицы и рыбы спятъ—онъ будетъ моціонъ дѣлать, а днемъ—станетъ въ норѣ сидѣть и дрожать. Но такъ какъ пить-ѣсть все-таки нужно, а жалованья онъ не получаетъ и прислуги не держитъ, то будетъ онъ выбѣгать изъ норы около полдёнъ, когда вся рыба ужъ сыта и, Богъ дастъ, можетъ-быть, козявку-другую и промыслитъ. А ежели не промыслитъ, такъ и голодный въ норѣ заляжетъ, и будетъ опять дрожать. Ибо лучше не ѣсть, не пить, нежели съ сытымъ желудкомъ жизни лишиться.

Такъ онъ и поступалъ. Ночью моціонъ дѣлалъ, въ лунномъ свѣтѣ купался, а днемъ забирался въ нору и дрожалъ. Только въ полдни выбѣжитъ кой-чего похватать—да что въ полдень промыслишь! Въ это время и комаръ подъ листъ отъ жары прячется, и букашка подъ кору хоронится. Поглотаетъ воды—и шабашъ!

Лежитъ онъ день-денской въ норѣ, ночей не досыпаетъ, куска не доѣдаетъ, и все-то думаетъ: «кажется, что я живъ? Ахъ, что-то завтра будетъ!»

Задремлетъ, грѣшнымъ дѣломъ, а во снѣ ему снится, что у него выигрышный билетъ, и онъ на него двѣсти тысячъ выигралъ. Не помня себя отъ восторга, перевернется на другой бокъ—глядь, анъ у него цѣлыхъ полрыла изъ норы высунулось... Что, если-бъ въ это время щуренокъ поблизости былъ: вѣдь онъ бы его изъ норы-то вытащилъ!

Однажды проснулся онъ и видитъ: прямо противъ его норы стоитъ ракъ. Стоитъ неподвижно, словно околдованный, вытаращивъ на него костяные глаза. Только усы по теченію воды пошевеливаются. Вотъ когда онъ страху набрался! И цѣлыхъ полдня, покуда совсѣмъ не стемнѣло, этотъ ракъ его поджидалъ, а онъ тѣмъ временемъ все дрожалъ, все дрожалъ.

Въ другой разъ, только-что успѣлъ онъ передъ зорькой въ нору воротиться, только-что сладко зѣвнулъ, въ предвкушеніи сна—глядитъ, откуда ни возьмись, у самой норы щука стоитъ и зубами хлопаетъ. И тоже цѣлый день его стерегла, словно видомъ его однимъ сыта была. А онъ и щуку надулъ: не вышелъ изъ норы, да и шабашъ.

И не разъ, и не два это съ нимъ случалось, а почёсть

что каждый день. И каждый день онъ, дрожа, побѣды и одолѣнія одерживалъ, каждый день восклицалъ: «слава тебѣ, Господи, живъ!»

Но этого мало: онъ не женился и дѣтей не имѣлъ, хотя у отца его была большая семья. Онъ разсуждалъ такъ: «Отцу шутя можно было прожить! Въ то время и щуки были добрѣе, и окуни на насъ, мелюзгу, не зарились. А хотя однажды онъ и попалъ-было въ уху, такъ и тутъ нашелся старичокъ, который его вызволилъ! А нынче, какъ рыба-то въ рѣкахъ повывелась, и пискари въ честь попали, такъ ужъ тутъ не до семьи, а какъ бы только самому прожить!»

И прожилъ премудрый пискарь такимъ родомъ слишкомъ сто лѣтъ. Все дрожалъ, все дрожалъ. Ни друзей у него, ни родныхъ; ни онъ къ кому, ни къ нему кто. Въ карты не играетъ, вина не пьетъ, табаку не куритъ, за красными дѣвушками не гоняется — только дрожитъ да одну думу думаетъ: «слава Богу, кажется, живъ!».

Даже щуки, подъ конецъ, и тѣ стали его хвалить: «вотъ, кабы всѣ такъ жили—то-то бы въ рѣкѣ тихо было!» Да только онѣ это нарочно говорили; думали, что онъ на похвалу-то отрекомендуется—вотъ, молъ, я,—тутъ его и хлопъ! Но онъ и на эту штуку не поддался, а еще разъ своею мудростью козни враговъ побѣдилъ.

Сколько прошло годовъ послѣ ста лѣтъ — неизвѣстно, только сталъ премудрый пискарь помирать. Лежитъ въ норѣ и думаетъ: «слава Богу, я своею смертью помираю, такъ же, какъ умерли мать и отецъ». И вспомнились ему тутъ щучьи слова: «вотъ, кабы всѣ такъ жили, какъ этотъ премудрый пискарь живетъ...» А нутка, въ самомъ дѣлѣ, что бы тогда было?

Сталъ онъ раскидывать умомъ, котораго у него была палата, и вдругъ ему словно кто шепнулъ: «вѣдь этакъ, пожалуй, весь пискарскій родъ давно перевелся бы!».

Потому что для продолженія пискарьяго рода прежде всего нужна семья, а у него ея нѣтъ. Но этого мало: для того, чтобъ пискарья семья укрѣплялась и процвѣтала, чтобъ члены ея были здоровы и бодры, нужно, чтобъ они воспитывались въ родной стихіи, а не въ норѣ, гдѣ онъ почти ослѣпъ отъ вѣчныхъ сумерекъ. Необходимо, чтобъ пискари достаточное питаніе получали, чтобъ не чуждались общественности, другъ съ другомъ хлѣбъ-соль бы водили и другъ отъ друга добродѣтелями и другими отлич-

ными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь можетъ совершенствовать пискарью породу и не дозволитъ ей измельчать и выродиться въ снѣтка.

Неправильно полагаютъ тѣ, кои думаютъ, что лишь тѣ пискари могутъ считаться достойными гражданами, кои, обезумѣвъ отъ страха, сидятъ въ норахъ и дрожатъ. Нѣтъ, это не граждане, а по меньшей мѣрѣ безполезные пискари. Никому изъ нихъ ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни безчестія, ни славы, ни безславія... живутъ, даромъ мѣсто занимаютъ, да кормъ ѣдятъ.

Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдругъ ему страстная охота пришла: «вылѣзу-ка я изъ норы да гоголемъ по всей рѣкѣ проплыву!» Но едва онъ подумалъ объ этомъ, какъ опять испугался. И началъ, дрожа, помирать. Жилъ—дрожалъ, и умиралъ—дрожалъ.

Вся жизнь мгновенно передъ нимъ пронеслась. Какія были у него радости? кого онъ утѣшилъ? кому добрый совѣтъ подалъ? кому доброе слово сказалъ? кого пріютилъ, обогрѣлъ, защитилъ? кто слышалъ о немъ? кто объ его существованіи вспомнитъ?

И на всѣ эти вопросы ему пришлось отвѣчать: никому, никто.

Онъ жилъ и дрожалъ — только и всего. Даже вотъ теперь: смерть у него на носу, а онъ все дрожитъ, самъ не знаетъ, изъ-за чего. Въ норѣ у него темно, тѣсно, повернуться негдѣ; ни солнечный лучъ туда не заглянетъ, ни теплomъ не пахнётъ. И онъ лежитъ въ этой сырой мглѣ, незрячій, изможденный, никому ненужный, лежитъ и ждетъ: когда же, наконецъ, голодная смерть окончательно освободитъ его отъ безполезнаго существованія!

Слышно ему, какъ мимо его норы шмыгаютъ другія рыбы—можетъ-быть, какъ и онъ, пискари — и ни одна не поинтересуется имъ. Ни одной на мысль не придетъ: дай-ка, спрошу я у премудраго пискаря, какимъ онъ манеромъ умудрился слишкомъ сто лѣтъ прожить, и ни щука его не заглотала, ни ракъ клешней не перешибъ, ни рыболовъ на уду не поймалъ? Плывутъ-себѣ мимо, а, можетъ-быть, и не знаютъ, что вотъ въ этой норѣ премудрый пискарь свой жизненный процессъ завершаетъ!

И что всего обиднѣе: не слыхать даже, чтобъ кто-нибудь премудрымъ его называлъ. Просто говорятъ: «слыхали вы про остолопа, который не ѣстъ, не пьетъ, никого не видитъ, ни съ кѣмъ хлѣба-соли не водитъ, а все только

распостылую свою жизнь бережетъ?» А многіе даже просто дуракомъ и срамцомъ его называютъ и удивляются, какъ такихъ идоловъ вода терпитъ.

Раскидывалъ онъ такимъ образомъ своимъ умомъ и дремалъ. То-есть, не то что дремалъ, а забываться ужъ сталъ. Раздались въ его ушахъ предсмертные шопоты, разлилась по всему тѣлу истома. И привидѣлся ему тутъ прежній соблазнительный сонъ. Выигралъ будто бы онъ двѣсти тысячъ, выросъ на цѣлыхъ полъ-аршина и самъ щукъ глотаетъ.

А покуда ему это снилось, рыло его, помаленьку да полегоньку, цѣликомъ изъ норы и высунулось.

И вдругъ онъ исчезъ. Что тутъ случилось—щука ли его заглотала, ракъ ли клешней перешибъ, или самъ онъ своею смертью умеръ и всплылъ на поверхность — свидѣтелей этому дѣлу не было. Скорѣе всего — самъ умеръ, потому что какая сласть щукѣ глотать хвораго, умирающаго пискаря, да къ тому же еще и *премудраго*?

2.—Самоотверженный заяцъ.

Однажды заяцъ передъ волкомъ провинился. Бѣжалъ онъ, видите ли, неподалеку отъ волчьяго логова, а волкъ увидѣлъ его и кричитъ: «заинька! остановись, миленькій!» А заяцъ не только не остановился, а еще пуще ходу прибавилъ. Вотъ волкъ въ три прыжка его поймалъ, да и говоритъ: «За то, что ты съ перваго моего слова не остановился, вотъ тебѣ мое рѣшеніе: приговариваю я тебя къ лишенію живота посредствомъ растерзанія. А такъ какъ теперь и я сытъ, и волчиха моя сыта, и запасу у насъ еще дней на пять хватитъ, то сиди ты вотъ подъ этимъ кустомъ и жди очереди. А можетъ-быть... ха-ха... я тебя и помилую!»

Сидитъ заяцъ на заднихъ лапкахъ подъ кустомъ и не шевельнется. Только объ одномъ думаетъ: черезъ столько-то сутокъ и часовъ смерть должна придти. Глянетъ онъ въ сторону, гдѣ находится волчье логово, а оттуда на него свѣтящее волчье око смотритъ. А въ другой разъ и еще того хуже: выйдутъ волкъ съ волчихой и начнутъ по полянѣ мимо него погуливать. Посмотрятъ на него, и что-то волкъ волчихѣ по-волчьему скажетъ, и оба зальются: ха-ха! И волчата тутъ же за ними увяжутся; играючи, къ нему под-

бѣгутъ, ласкаются, зубами стучатъ... А у него, у зайца, сердце такъ и закатится!

Никогда онъ такъ не любилъ жизни, какъ теперь. Былъ онъ заяцъ обстоятельный, высмотрѣлъ у вдовы, у зайчихи, дочку и жениться хотѣлъ. Именно къ ней, къ невѣстѣ своей, онъ и бѣжалъ въ ту минуту, какъ волкъ его за шиворотъ ухватилъ. Ждетъ, чай, его невѣста, думаетъ: «измѣнилъ мнѣ косой!» А можетъ-быть, подождала-подождала, да и съ другимъ... слюбилась... А, можетъ-быть, и такъ: играла бѣдняжка, въ кустахъ, а тутъ ее волкъ... и слопалъ...

Думаетъ это бѣдняга и слезами такъ и захлебывается. Вотъ онѣ, заячьи-то мечты! Жениться разсчитывалъ, самоваръ купилъ, мечталъ, какъ съ молодой зайчихой будетъ чай-сахаръ пить, и вмѣсто всего—куда угодилъ! А сколько, бишь, часовъ, до смерти-то осталось?

И вотъ сидитъ онъ однажды ночью и дремлетъ. Снится ему, будто волкъ его при себѣ чиновникомъ особыхъ порученій сдѣлалъ, а самъ, покуда онъ по ревизіямъ бѣгаетъ, къ его зайчихѣ въ гости ходитъ... Вдругъ слышитъ, словно его кто-то подъ бокъ толкнулъ. Оглядывается—анъ это невѣстинъ братъ.

— Невѣста-то твоя помираетъ,—говоритъ.—Прослышала, какая надъ тобой бѣда стряслась, и въ одночасье зачахла. Теперь только объ одномъ и думаетъ: «неужто я такъ и помру, не простившись съ ненаглядным моимъ!»

Слушалъ эти слова осужденный, и сердце его на части разрывалось. За что? чѣмъ заслужилъ онъ свою горькую участь? Жилъ онъ открыто, революцій не пущалъ, съ оружіемъ въ рукахъ не выходилъ, бѣжалъ по своей надобности—неужто-жъ за это смерть? Смерть! подумайте, слово-то вѣдь какое! И не ему одному смерть, а и ей, сѣренькой заинькѣ, которая тѣмъ только и виновата, что его, косого, всѣмъ сердцемъ полюбила! Такъ бы онъ къ ней и полетѣлъ, взялъ бы ее, сѣренькую заиньку, передними лапками за ушки, и все бы миловалъ да по головкѣ бы гладилъ.

— Бѣжимъ!—говорилъ, между тѣмъ, посланецъ.

Услыхавши это слово, осужденный на минуту словно преобразился. Совсѣмъ ужъ въ комокъ собрался и уши на спину заложилъ. Вотъ-вотъ прянетъ — и слѣдъ простылъ. Не слѣдовало ему въ эту минуту на волчье логово смотрѣть, а онъ посмотрѣлъ. И закатилось заячье сердце.

— Не могу,—говоритъ:—волкъ не велѣлъ.

А волкъ, между тѣмъ, все видитъ и слышитъ, и поти-

хоньку по-волчьи съ волчихой перешептывается: должно-быть, зайца за благородство хвалятъ.

— Бѣжимъ!—опять говоритъ посланецъ.

— Не могу!—повторяетъ осужденный.

— Что вы тамъ шепчетесь, злоумышляете?—какъ гаркнетъ вдругъ волкъ.

Оба зайца такъ и обмерли. Попался и посланецъ! Подговоръ часовыхъ къ побѣгу—что, бишь, за это по правиламъ-то полагается? Ахъ, быть сѣрой заинькѣ и безъ жениха, и безъ братца — обоихъ волкъ съ волчихой слопаютъ!

Опомнились косые,—а передъ ними и волкъ, и волчиха зубами стучатъ, а глаза у обоихъ въ ночной темнотѣ, словно фонари, такъ и свѣтятся.

— Мы, ваше благородіе, ничего... такъ промежду себя... землячокъ провѣдать меня пришелъ!—лепечетъ осужденный, а самъ такъ и мретъ отъ страху.

— То-то «ничего»! Знаю я васъ! Пальца вамъ тоже въ ротъ не клади! Сказывайте, въ чемъ дѣло?

— Такъ и такъ, ваше благородіе,—вступился тутъ невѣстинъ братъ:—сестрица моя, а его невѣста, помираетъ, такъ проситъ, нельзя ли его проститься съ нею отпустить?

— Гм!... это хорошо, что невѣста жениха любитъ,—говоритъ волчиха.—Это значитъ, что зайчатъ у нихъ много будетъ, корму волкамъ прибавится. И мы съ волкомъ любимся, и у насъ волчатъ много. Сколько по волѣ ходятъ, а четверо и теперь при насъ живутъ. Волкъ, а волкъ! отпустить, что ли, жениха къ невѣстѣ проститься?

— Да вѣдь его на послѣзавтра ѣсть назначено...

— Я, ваше благородіе, прибѣгу... я мигомъ оборочу... у меня это... вотъ какъ Богъ-святъ прибѣгу!—заспѣшилъ осужденный, и чтобы волкъ не сомнѣвался, что онъ *можетъ* мигомъ оборотить, такимъ вдругъ молодцомъ прикинулся, что самъ волкъ на него залюбовался и подумалъ: «вотъ, кабы у меня солдаты такіе были!»

А волчиха пригорюнилась и молвила:

— Вотъ, поди-жъ ты! заяцъ, а какъ свою зайчиху любитъ!

Дѣлать нечего, согласился волкъ отпустить косого въ побывку, но съ тѣмъ, чтобы какъ разъ къ сроку оборотилъ. А невѣстина брата аманатомъ у себя оставилъ.

— Коли не воротишься черезъ двое сутокъ къ шести часамъ утра,—сказалъ онъ:—я его вмѣсто тебя съѣмъ; а

коли воротишься—обоихъ съѣмъ, а можетъ-быть... ха-ха... и помилую!

Пустился косой какъ изъ лука стрѣла. Бѣжитъ — земля дрожитъ. Гора на пути встрѣнется—онъ ее «на-уру» возьметъ; рѣка—онъ и броду не ищетъ, прямо вплавь такъ и чешетъ; болото—онъ съ пятой кочки на десятую перепрыгиваетъ. Шутка ли? въ тридевятое царство поспѣть надо, да въ баню сходить, да жениться («непремѣнно женюсь!» ежеминутно твердилъ онъ себѣ), да обратно, чтобы къ волку на завтракъ попасть...

Даже птицы быстротѣ его удивлялись,—говорили: «вотъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» пишутъ, будто у зайцевъ не душа, а паръ—а вонъ онъ какъ... улепетываетъ!»

Прибѣжалъ, наконецъ. Сколько тутъ радостей было—этого ни въ сказкѣ не сказать, ни перомъ описать. Сѣренькая заинька, какъ увидѣла своего ненагляднаго, такъ и про хворь позабыла. Встала на заднія лапки, надѣла на себя барабанъ, и ну лапками «кавалерійскую рысь» выбивать—это она сюрпризъ жениху приготовила. А вдова-зайчиха такъ просто засовалась совсѣмъ; не знаетъ, гдѣ усадить нареченнаго зятюшку, чѣмъ накормить. Прибѣжали тутъ тетки со всѣхъ сторонъ, да кумы, да сестрицы — всѣмъ лестно на жениха посмотрѣть, а можетъ-быть. и лакомаго кусочка въ гостяхъ отвѣдать.

Одинъ женихъ словно не въ себѣ сидитъ. Не успѣлъ съ невѣстой намиловаться, какъ ужъ затвердилъ:

— Мнѣ бы въ баню сходить да жениться поскорѣе!

— Что больно къ спѣху занадобилось? — подшучиваетъ надъ нимъ зайчиха-мать.

— Обратно бѣжать надо. Только на однѣ сутки волкъ и отпустилъ.

Разсказалъ онъ тутъ, какъ и что. Разсказываетъ, а самъ горькими слезами разливается. И воротиться-то ему не хочется, и не воротиться нельзя. Слово, вишь, далъ; а заяцъ своему слову—господинъ. Судили тутъ тетки и сестрицы—и тѣ въ одинъ голосъ сказали:—«Правду ты, косой, молвилъ: не давши слова — крѣпись, а давши — держись! Никогда во всемъ нашемъ заячьемъ роду того не бывало, чтобы зайцы обманывали!»

Скоро сказка сказывается, а дѣло промежду зайцевъ еще того скорѣе дѣлается. Къ утру косого окрутили, а передъ вечеромъ онъ ужъ прощался съ молодой женой.

— Безпремѣнно меня волкъ съѣстъ,—говорилъ онъ:—

такъ ты будь мнѣ вѣрна. А ежели родятся у тебя дѣти, то воспитывай ихъ строго. Лучше же всего отдай ты ихъ въ циркъ: тамъ ихъ не только въ барабанъ бить, но и въ пушечку горохомъ стрѣлять научатъ.

И вдругъ, словно въ забытьи (опять, стало-быть, про волка вспомнилъ), прибавилъ:

— А можетъ-быть, волкъ меня... ха-ха... и помилуетъ!

Только его и видѣли.

Между тѣмъ, покуда косой жуировалъ, да свадьбу справлялъ, на томъ пространствѣ, которое раздѣляло тридевятое царство отъ волчьяго логова, великія бѣды приключились. Въ одномъ мѣстѣ дожди пролились, такъ что рѣка, которую за сутки раньше заяцъ шутя переплылъ, вздулась и на десять верстъ разлилась. Въ другомъ мѣстѣ король Аронъ королю Никитѣ войну объявилъ, и на самомъ заячьемъ пути сраженіе кипѣло. Въ третьемъ мѣстѣ холера проявилась—надо было цѣлую карантинную цѣпь верстъ на сто обогнуть... А кромѣ того, волки, лисицы, совы—на каждомъ шагу такъ и стерегутъ.

Уменъ былъ косой: зараньше такъ разсчиталъ, чтобы три часа у него въ запасѣ оставалось; однако, какъ пошли одни за другими препятствія, сердце въ немъ такъ и похолодѣло. Бѣжитъ онъ вечеръ, бѣжитъ полъ-ночи; ноги у него камнями изсѣчены, на бокахъ отъ колючихъ вѣтвей шерсть клочьями виситъ, глаза помутились, у рта кровавая пѣна сочится, а ему вонъ еще сколько бѣжать осталось! И все-то ему другъ-аманатъ, какъ живой, мерещится. Стоитъ онъ теперь у волка на часахъ и думаетъ: «черезъ столько-то часовъ милый зятекъ на выручку прибѣжитъ!» Вспомнитъ онъ объ этомъ—и еще шибче припуститъ. Ни горы, ни долы, ни лѣса, ни болота — все ему нипочемъ! Сколько разъ сердце въ немъ разорваться хотѣло, такъ онъ и надъ сердцемъ власть взялъ, чтобы безплодныя волненія его отъ главной цѣли не отвлекали. Не до горя теперь, не до слезъ; пускай всѣ чувства умолкнутъ, лишь бы друга изъ волчьей пасти вырвать!

Вотъ ужъ и день заниматься сталъ. Совы, сычи, летучія мыши на ночлегъ потянули; въ воздухѣ холодкомъ пахнуло. И вдругъ все кругомъ затихло, словно помертвѣло. А косой все бѣжитъ и все одну думу думаетъ: «неужто-жъ я друга не выручу?»

Заалѣлъ востокъ; сперва на дальнемъ горизонтѣ слегка на облака огнемъ брызнуло, потомъ пуще, и пуще, и вдругъ—

пламя! Роса на травѣ загорѣлась; проснулись птицы денныя, поползли муравьи, черви, козявки; дымкомъ откуда-то потянуло, во ржи и въ овсахъ словно шопотъ пошелъ слышнѣе, слышнѣе... А косой ничего не видитъ, не слышитъ, только одно твердитъ: «погубилъ я друга своего, погубилъ!»

Но вотъ, наконецъ, гора. За этой горой — болото и въ немъ—волчье лòгово... Опоздалъ, косой, опоздалъ!

Послѣднія силы напрягаетъ онъ, чтобъ вскочить на вѣршину горы... Вскочилъ! Но онъ ужъ не можетъ бѣжать, онъ падаетъ отъ изнеможенія... неужто-жъ онъ такъ и не добѣжитъ?

Волчье лòгово передъ нимъ какъ на блюдечкѣ. Гдѣ-то вдали на колокольнѣ бьетъ шесть часовъ, и каждый ударъ колокола словно молотомъ бьетъ въ сердце измученнаго звѣрюги. Съ послѣднимъ ударомъ волкъ поднялся съ лòгова, потянулся и хвостомъ отъ удовольствія замахалъ. Вотъ онъ подошелъ къ аманату, сгребъ его въ лапы и запустилъ когти въ животъ, чтобы разодрать его на двѣ половины: одну для себя, другую для волчихи. И волчата тутъ; обсѣли кругомъ отца-матери, щелкаютъ зубами, учатся.

— Здѣсь я! здѣсь!—крикнулъ косой, какъ сто тысячъ зайцевъ вмѣстѣ, и кубаремъ скатился съ горы въ болото.

И волкъ его похвалилъ.

— Вижу,—сказалъ онъ:—что зайцамъ вѣрить можно. И вамъ моя резолюція: сидите, до поры до времени, оба подъ этимъ кустомъ, а впослѣдствіи я васъ... ха-ха... помилую!

3.—Бѣдный волкъ.

Другой звѣрь, навѣрное, тронулся бы самоотверженностью зайца, не ограничился бы обѣщаніемъ, а сейчасъ бы помиловалъ. Но изъ всѣхъ хищниковъ, водящихся въ умѣренномъ и сѣверномъ климатахъ, волкъ всего менѣе доступенъ великодушію.

Однакожъ не по своей волѣ онъ такъ жестокъ, а потому, что комплекція у него каверзная: ничего онъ, кромѣ мясного, ѣсть не можетъ. А чтобы достать мясную пищу, онъ не можетъ иначе поступать, какъ живое существо жизни лишить. Однимъ словомъ, обязывается учинить злодѣйство, разбой.

Не легко ему пропитаніе его достается. Смерть-то вѣдь никому не сладка, а онъ именно только со смертью ко всякому лѣзетъ. Поэтому кто посильнѣе—самъ отъ него обороняется, а иного, который самъ защититься не можетъ, другіе обороняютъ. Частенько-таки волкъ голодный ходитъ, да еще съ помятыми боками вдобавокъ. Сядетъ онъ въ ту пору, подниметъ рыло кверху и такъ пронзительно воетъ, что на версту кругомъ у всякой живой твари, отъ страху да отъ тоски, душа въ пятки уходитъ. А волчиха его ещё тоскливѣе подвываетъ, потому что у нея волчата, а накормить ихъ нечѣмъ.

Нѣтъ того звѣря на свѣтѣ, который не ненавидѣлъ бы волка, не проклиналъ бы его. Стономъ-стонетъ весь лѣсъ при его появленіи: «проклятый волкъ! убійца! душегубъ!» и бѣжитъ онъ впередъ да впередъ, голову повернуть не смѣетъ, а вдогонку ему: «разбойникъ! живорѣзъ!» Уволокъ волкъ, съ мѣсяцъ тому назадъ, у бабы овцу—баба-то и о-сю пору слезъ не осушала: «проклятый волкъ! душегубъ!» А у него съ тѣхъ поръ маковой росинки въ пасти не было: овцу-то сожралъ, а другую зарѣзать не пришлось... И баба воетъ, и онъ воетъ... какъ тутъ разберешь?

Говорятъ, что волкъ мужика обездоливаетъ; да вѣдь и мужикъ тоже, какъ обозлится, куда лютъ бываетъ! И дубьемъ-то онъ его бьетъ, и изъ ружья въ него палитъ, и волчьи ямы роетъ, и капканы ставитъ, и облавы на него устраиваетъ. «Душегубъ! разбойникъ! — только и раздается про волка въ деревняхъ: — послѣднюю корову зарѣзалъ! остатнюю овцу уволокъ!» А чѣмъ онъ виноватъ, коли иначе ему прожить на свѣтѣ нельзя?

И убьешь-то его, такъ проку отъ него нѣтъ. Мясо—негодное, шкура—жесткая, не грѣетъ. Только и корысти-то, что вдоволь надъ нимъ, проклятымъ, натѣшишься, да на вилы живьемъ поднимешь: пускай, гадина, капля по каплѣ кровью исходитъ!

Не можетъ волкъ, не лишая живота, на свѣтѣ прожить—вотъ въ чемъ его бѣда! Но вѣдь онъ этого не понимаетъ. Если его злодѣемъ зовутъ, какъ вѣдь и онъ зоветъ злодѣями тѣхъ, которые его преслѣдуютъ, увѣчатъ, убиваютъ. Развѣ онъ понимаетъ, что своею жизнью другимъ жизнямъ вредъ наноситъ? Онъ думаетъ, что живетъ — только и всего. Лошадь — тяжести возитъ, корова — даетъ молоко, овца—волну, а онъ—разбойничаетъ, убиваетъ. И лошадь, и корова, и овца, и волкъ—всѣ «живутъ», каждый по-своему.

И вотъ нашелся, однакожъ, между волками одинъ, который долгіе вѣки все убивалъ да разбойничалъ, и вдругъ, подъ старость, догадываться началъ, что есть въ его жизни что-то неладное.

Жилъ этотъ волкъ смолоду очень шибко и былъ однимъ изъ немногихъ хищниковъ, который почти никогда не голодалъ. И день, и ночь онъ разбойничалъ, и все ему съ рукъ сходило. У пастуховъ изъ-подъ носу барановъ утаскивалъ; во дворы по деревнямъ забирался; коровъ рѣзалъ; лѣсника однажды до смерти загрызъ; мальчика маленькаго, у всѣхъ на глазахъ, съ улицы въ лѣсъ унесъ. Слыхалъ онъ, что его за эти дѣла всѣ ненавидятъ и клянутъ, да только лютѣй и лютѣй отъ этихъ покоровъ становился.

— Послушали бы, что̀ въ лѣсу-то дѣлается, — говорилъ онъ: — нѣтъ той минуты, чтобы тамъ убійства не было, чтобъ какая-нибудь звѣрюга не верезжала, съ жизнью разставаясь,—такъ неужто-жъ на это смотрѣть?

И дожилъ онъ такимъ родомъ, промежду разбоевъ, до тѣхъ лѣтъ, когда волкъ ужъ «матерымъ» называется. Отяжелѣлъ маленько, но разбои все-таки не оставилъ; напротивъ, словно бы даже полютѣлъ. Только и попадись онъ нечаянно въ лапы къ медвѣдю. А медвѣди волковъ не любятъ, потому что и на нихъ волки шайками нападаютъ, и частенько-таки слухи по лѣсу ходятъ, что тамъ-то и тамъ-то Михайло Иванычъ оплощалъ: въ клочки сѣрые вороги шубу его разорвали.

Держитъ медвѣдь волка въ лапахъ и думаетъ: «Что̀ мнѣ съ нимъ, съ подлецомъ, дѣлать? Ежели съѣсть—съ души сопретъ; ежели такъ задавить да бросить—только лѣсъ запахомъ его падали заразишь. Дай, посмотрю: можетъ-быть, у него совѣсть есть. Коли есть совѣсть, да поклянется онъ впередъ не разбойничать—я его отпущу».

— Волкъ, а, волкъ, — молвилъ Топтыгинъ: — неужто у тебя совѣсти нѣтъ?

— Ахъ, что̀ вы, ваше степенство, — отвѣтилъ волкъ:— развѣ можно хоть одинъ день на свѣтѣ безъ совѣсти прожить!

— Стало-быть, можно, коли ты живешь. Подумай: каждый Божій день только и вѣстей про тебя, что ты или шкуру содралъ, или зарѣзалъ—развѣ это на совѣсть похоже?

— Ваше степенство! Позвольте вамъ доложить! Долженъ ли я пить-ѣсть, волчиху свою накормить, волчатъ

воспитать? Какую вы на этотъ счетъ резолюцію изволите положить?

Подумалъ-подумалъ Михайло Иванычъ, — видитъ: коли положено волку на свѣтѣ быть, стало-быть и прокормить онъ себя право имѣлъ.

— Долженъ.—говоритъ.

А вѣдь я кромѣ мясного—ни-ни! Вотъ хоть бы ваше степенство, къ примѣру, взять: вы и малинкой полакомитесь, и медкомъ отъ пчелъ позаимствуетесь, и овсеца пососете, а для меня ничего этого хоть бы не было! Да опять же и другая вольгота у вашего степенства есть: зимой, какъ заляжете вы въ берлогу, ничего вамъ, кромѣ собственной лапы, не требуется. А я и зиму, и лѣто—нѣтъ той минуты, чтобы я о пищѣ не думалъ! И все о мясцѣ. Такъ какимъ же родомъ я эту пищу добуду, коли прежде не зарѣжу или не задушу?

Задумался медвѣдь надъ этими волчьими словами, однако все еще попытать хочетъ.

— Да ты бы,—говоритъ:—хоть полегче, что ли...

Я и то, ваше степенство, сколько могу, облегчаю. Лисица—та зудетъ: рванетъ разъ и отскочитъ, потомъ опять рванетъ—и опять отскочитъ... А я прямо за горло хватаю—шабашъ!

Еще пуще задумался медвѣдь. Видитъ, что волкъ ему правду-матку рѣжетъ, а отпустить его все еще опасается: сейчасъ онъ опять за разбойныя дѣла примется.

Раскайся, волкъ!—говоритъ.

Не въ чемъ мнѣ, ваше степенство, каяться. Никто своей жизни не вдорогъ, и я въ томъ числѣ; такъ въ чемъ же тутъ моя вина?

Да ты хоть пообѣщай!

И обѣщать, ваше степенство, не могу. Вотъ лиса—та вамъ что хотите обѣщаетъ, а я—не могу.

Что дѣлать! Подумалъ-подумалъ медвѣдь, да наконецъ и рѣшилъ.

Пренесчастнѣйшій ты есть звѣрь—вотъ что я тебѣ скажу!—молвилъ онъ волку.—Не могу я тебя судить, хоть и знаю, что много беру на душу грѣха, отпуская тебя. Одно могу присовѣтить: на твоемъ мѣстѣ я не только бы жизнью не дорожилъ, а за благо бы смерть для себя почиталъ! И ты надъ этими моими словами подумай!

И отпустилъ волка на всѣ четыре стороны.

Освободился волкъ изъ медвѣжьихъ лапъ, и сейчасъ

опять за старое ремесло принялся. Стонетъ отъ него лѣсъ, да и шабашъ. Повадился въ одну и ту же деревню; въ двѣ, въ три ночи цѣлое стадо зря перерѣзалъ—и ништо ему. Заляжетъ съ сытымъ брюхомъ въ болотѣ, потягивается да глаза жмуритъ. Даже на медвѣдя, своего благодѣтеля, войной пошелъ, да тотъ, по счастію, вò-время спохватился да только лапой ему издали погрозилъ.

Долго ли, коротко ли онъ такъ буйствовалъ, однако и къ нему, наконецъ, старость пришла. Силы убавились, проворство пропало, да вдобавокъ мужичокъ ему спинной хребетъ полѣномъ перешибъ; хоть и отлежался онъ, а все-таки ужъ на прежняго удальца-живорѣза непохожъ сталъ. Кинется вдогонку за зайцемъ, а ногъ-то ужъ нѣтъ. Подойдетъ къ лѣсной опушкѣ, овечку изъ стада попробуетъ унести, а собаки такъ и скачутъ-заливаются. Подожметъ онъ хвостъ, да и бѣжитъ съ пустòмъ.

— Никакъ я ужъ и собакъ бояться сталъ?—спрашиваетъ онъ себя.

Воротится въ лòгово и начнетъ выть. Сова въ лѣсу рыдаетъ, да онъ въ болотѣ воетъ—страсти Господни, какой поднимется въ деревнѣ переполохъ!

Только промыслилъ онъ однажды ягненочка и волочётъ его за шиворотъ въ лѣсъ. А ягненочекъ-то самый еще несмысленочекъ былъ; волочётъ его волкъ, а онъ не понимаетъ. Только одно твердитъ:

— Чтò такое? Чтò такое...

— А я вотъ покажу тебѣ, чтò такое... мммерррзавецъ:—остервенился волкъ.

— Дяденька! Я въ лѣсъ гулять не хочу! Я къ мамѣ хочу! Не буду я, дяденька, не буду!—вдругъ догадался ягненочекъ, и не то заблеялъ, не то зарыдалъ:—Ахъ, пастушокъ, пастушокъ! Ахъ, собачки, собачки!

Остановился волкъ и прислушивается. Много онъ на своемъ вѣку овецъ перерѣзалъ, и всѣ онѣ какія-то равнодушныя были. Не успѣетъ еѐ волкъ ухватить, а она ужъ и глаза зажмурила, лежитъ—не шелохнется, словно натуральную повинность исправляетъ. А вотъ и малышъ, а поди какъ плачетъ: хочется ему жить! Ахъ, видно, и всѣмъ эта распостылая жизнь сладка! Вотъ и онъ, волкъ—старъ-старъ, а все бы годковъ еще съ сотенку пожилъ!

И припомнились ему тутъ слова Топтыгина: «на твоемъ бы мѣстѣ я не жизнь, а смерть за благо для себя почиталъ». Отчего такъ? Почему для всѣхъ другихъ земныхъ

воспитать? Какую вы на этотъ счетъ резолюцію изволите положить?

Подумалъ-подумалъ Михайло Иванычъ, — видитъ: коли положено волку на свѣтѣ быть, стало-быть и прокормить онъ себя право имѣлъ.

— Долженъ,—говоритъ.

— А вѣдь я кромѣ мясного—ни-ни! Вотъ хоть бы ваше степенство, къ примѣру, взять: вы и малинкой полакомитесь, и медкомъ отъ пчелъ позаимствуетесь, и овсеца пососете, а для меня ничего этого хоть бы не было! Да опять же и другая вольгота у вашего степенства есть: зимой, какъ заляжете вы въ берлогу, ничего вамъ, кромѣ собственной лапы, не требуется. А я и зиму, и лѣто—нѣтъ той минуты, чтобы я о пищѣ не думалъ! И все о мясцѣ. Такъ какимъ же родомъ я эту пищу добуду, коли прежде не зарѣжу или не задушу?

Задумался медвѣдь надъ этими волчьими словами, однако все еще попытать хочетъ.

— Да ты бы,—говоритъ:—хоть полегче, что ли...

— Я и то, ваше степенство, сколько могу, облегчаю. Лисица—та зудетъ; рванетъ разъ и отскочитъ, потомъ опять рванетъ—и опять отскочитъ... А я прямо за горло хватаю—шабашъ!

Еще пуще задумался медвѣдь. Видитъ, что волкъ ему правду-матку рѣжетъ, а отпустить его все еще опасается: сейчасъ онъ опять за разбойныя дѣла примется.

— Раскайся, волкъ!—говоритъ.

— Не въ чемъ мнѣ, ваше степенство, каяться. Никто своей жизни не вòрогъ, и я въ томъ числѣ; такъ въ чемъ же тутъ моя вина?

— Да ты хоть пообѣщай!

— И обѣщать, ваше степенство, не могу. Вотъ лиса—та вамъ что̀ хотите обѣщаетъ, а я—не могу.

Что̀ дѣлать! Подумалъ-подумалъ медвѣдь, да наконецъ и рѣшилъ.

— Пренесчастнѣйшій ты есть звѣрь—вотъ что̀ я тебѣ скажу!—молвилъ онъ волку.—Не могу я тебя судить, хоть и знаю, что много беру на душу грѣха, отпуская тебя. Одно могу прибавить: на твоемъ мѣстѣ я не только бы жизнью не дорожилъ, а за благо бы смерть для себя почиталъ! И ты надъ этими моими словами подумай!

И отпустилъ волка на всѣ четыре стороны.

Освободился волкъ изъ медвѣжьихъ лапъ, и сейчасъ

опять за старое ремесло принялся. Стонетъ отъ него лѣсъ, да и шабашъ. Повадился въ одну и ту же деревню; въ двѣ, въ три ночи цѣлое стадо зря перерѣзалъ—и ништо ему. Заляжетъ съ сытымъ брюхомъ въ болотѣ, потягивается да глаза жмуритъ. Даже на медвѣдя, своего благодѣтеля, войной пошелъ, да тотъ, по счастію, вò-время спохватился да только лапой ему издали погрозилъ.

Долго ли, коротко ли онъ такъ буйствовалъ, однако и къ нему, наконецъ, старость пришла. Силы убавились, проворство пропало, да вдобавокъ мужичокъ ему спинной хребетъ полѣномъ перешибъ; хоть и отлежался онъ, а все-таки ужъ на прежняго удальца-живорѣза непохожъ сталъ. Кинется вдогонку за зайцемъ, а ногъ-то ужъ нѣтъ. Подойдетъ къ лѣсной опушкѣ, овечку изъ стада попробуетъ унести, а собаки такъ и скачутъ-заливаются. Подожметъ онъ хвостъ, да и бѣжитъ съ пустòмъ.

— Никакъ я ужъ и собакъ бояться сталъ?—спрашиваетъ онъ себя.

Воротится въ лòгово и начнетъ выть. Сова въ лѣсу рыдаетъ, да онъ въ болотѣ воетъ—страсти Господни, какой поднимется въ деревнѣ переполохъ!

Только промыслилъ онъ однажды ягненочка и волочётъ его за шиворотъ въ лѣсъ. А ягненочекъ-то самый еще несмысленочекъ былъ; волочётъ его волкъ, а онъ не понимаетъ. Только одно твердитъ:

— Чтò такое? Чтò такое...

— А я вотъ покажу тебѣ, чтò такое... мммерррзавецъ:—остервенился волкъ.

— Дяденька! Я въ лѣсъ гулять не хочу! Я къ мамѣ хочу! Не буду я, дяденька, не буду!—вдругъ догадался ягненочекъ, и не то заблеялъ, не то зарыдалъ:—Ахъ, пастушокъ, пастушокъ! Ахъ, собачки, собачки!

Остановился волкъ и прислушивается. Много онъ на своемъ вѣку овецъ перерѣзалъ, и всѣ онѣ какія-то равнодушныя были. Не успѣетъ её волкъ ухватить, а она ужъ и глаза зажмурила, лежитъ—не шелохнется, словно натуральную повинность исправляетъ. А вотъ и малышъ, а поди какъ плачетъ: хочется ему жить! Ахъ, видно, и всѣмъ эта распостылая жизнь сладка! Вотъ и онъ, волкъ—старъ-старъ, а все бы годковъ еще съ сотенку пожилъ!

И припомнились ему тутъ слова Топтыгина: «на твоемъ бы мѣстѣ я не жизнь, а смерть за благо для себя почиталъ». Отчего такъ? Почему для всѣхъ другихъ земныхъ

тварей жизнь — благо, а *для него* она — проклятіе и позоръ?

И, не дождавшись отвѣта, выпустилъ изъ пасти ягненка, а самъ побрелъ, опустивъ хвостъ, въ лòгово, чтобы тамъ на досугѣ умомъ раскинуть.

Но ничего ему этотъ умъ не выяснилъ, кромѣ того, чтò онъ ужъ давно зналъ, а именно: что никакъ ему, волку, иначе прожить нельзя, какъ убійствомъ и разбоемъ.

Легъ онъ плашмя на землю и никакъ улежать не можетъ. Умъ—одно говоритъ, а нутро—чѣмъ-то другимъ загорается. Недуги, что ли, его ослабили, старость ли въ разоръ разорила, голодъ ли измучилъ, только не можетъ онъ прежней власти надъ собой взять. Такъ и гремитъ у него въ ушахъ: «проклятый! душегубецъ! живорѣзъ!» Чтò-жъ въ томъ, что онъ за собой вольной вины не знаетъ? Вѣдь проклятій-то все-таки не заглушишь! Охъ, видно, правду сказалъ медвѣдь: только и остается, что руки на себя наложить!

Такъ вѣдь и тутъ опять горе: звѣрь вѣдь онъ—даже рукъ на себя наложить не умѣетъ. Ничего самъ собой звѣрь не можетъ: ни порядка жизни измѣнить, ни умереть. Живетъ онъ словно во снѣ, и умретъ—словно во снѣ же. Можетъ-быть, его псы растерзаютъ или мужикъ подстрѣлитъ; такъ и тутъ онъ только захрапитъ да корчей его на мгновенье сведетъ—и духъ вонъ. А откуда и какъ пришла смерть—онъ и не догадается.

Вотъ развѣ голодомъ онъ себя изведетъ... Нынче онъ ужъ и за зайцами гоняться пересталъ, только около птицъ ходитъ. Поймаетъ молодую ворону или витютня—только этимъ и сытъ. Такъ даже и тутъ прочіе витютни хоромъ кричатъ: «проклятый! проклятый! проклятый!»

Именно проклятый. Ну, какъ-таки только за тѣмъ жить, чтобы убивать и разбойничать? Положимъ, несправедливо его проклинаютъ, нерезонно: не своей волей онъ разбойничаетъ,—но какъ не проклинать? Сколько онъ звѣрья на своемъ вѣку погубилъ! Сколько бабъ, мужиковъ обездолилъ, на всю жизнь несчастными сдѣлалъ!

Много лѣтъ онъ въ этихъ мысляхъ промучился; только одно слово въ ушахъ его и гремѣло: «проклятый! проклятый! проклятый!» Да и самъ себѣ онъ все чаще и чаще повторялъ: «именно проклятый! Проклятый и есть; душегубъ, живорѣзъ!» И все-таки, мучимый голодомъ, шелъ на добычу, душилъ, рвалъ и терзалъ...

И началъ онъ звать смерть. «Смерть! смерть! Хоть бы

ты освободила отъ меня звѣрей, мужиковъ и птицъ! Хоть бы ты освободила меня отъ самого себя!»—день и ночь выл онъ, на небо глядючи. А звѣри и мужики, слыша его вой, въ страхѣ вопили: «душегубъ! душегубъ! душегубъ!» Даже небу пожаловаться онъ не могъ безъ того, чтобъ проклятья на него со всѣхъ сторонъ не сыпались.

Наконецъ, смерть сжалилась-таки надъ нимъ. Появились въ той мѣстности «лукаши» *), и сосѣдніе помѣщики воспользовались ихъ прибытіемъ, чтобы устроить на волка охоту. Лежитъ однажды волкъ въ своемъ лòговѣ и слышитъ—зовутъ. Онъ всталъ и пошелъ. Видитъ: впереди путь вѣхами означенъ, а сзади и сбоку мужики за нимъ слѣдятъ. Но онъ уже не пытался прорваться, а шелъ, опустивъ голову, навстрѣчу смерти...

И вдругъ его ударило прямо между глазъ.

— Вотъ она... смерть-избавительница!

4.—Карась-идеалистъ.

Карась съ ершомъ спорилъ. Карась говорилъ, что можно на свѣтѣ одною правдою прожить, а ершъ утверждалъ, что нельзя безъ того обойтись, чтобъ не слукавить. Что именно разумѣлъ ершъ подъ выраженіемъ: «слукавить»—неизвѣстно, но только всякій разъ, какъ онъ эти слова произносилъ, карась въ негодованіи восклицалъ:

— Но вѣдь это подлость!

На что ершъ возражалъ:

— Вотъ ужò увидишь!

Карась—рыба смирная и къ идеализму склонная: не даромъ его монахи любятъ. Лежитъ онъ больше на самомъ днѣ рѣчной заводи (гдѣ потише) или пруда, зарывшись въ илъ, и выбираетъ оттуда микроскопическихъ ракушекъ для своего продовольствія. Ну, натурально, полежитъ-полежитъ, да что-нибудь и выдумаетъ. Иногда даже и очень вольное. Но такъ какъ караси ни въ цензуру своихъ мыслей не представляютъ, ни въ участкѣ не прописываютъ, то въ политической неблагонадежности ихъ никто не подозрѣваетъ. Если же иногда и видимъ, что отъ времени до времени на

---

*) «Лукаши»—мужички изъ Великолуцкаго уѣзда Псковской губерніи, которые занимаются изученіемъ привычекъ и нравовъ лѣсныхъ звѣрей и потомъ предлагаютъ охотникамъ свои услуги для облавъ.

— А ты, видно, доподлинно знаешь, что зло и безуміе посрамлены?—подтрунивалъ ершъ.

— Не посрамлены еще, но будутъ посрамлены—это я тебѣ вѣрно говорю. И опять-таки сошлюсь на исторію. Сравни, что̀ нѣкогда было, съ тѣмъ, что̀ есть,—и ты безъ труда согласишься, что не только внѣшніе пріемы зла смягчились, но и самая сумма его примѣтно уменьшилась. Возьми хоть бы нашу рыбную породу. Прежде насъ во всякое время ловили, и преимущественно во время «хода», когда мы, какъ одурѣлые, сами прямо въ сѣть лѣземъ; а нынче именно во время «хода»-то и признается вреднымъ насъ ловить. Прежде насъ, можно сказать, самыми варварскими способами истребляли—въ Уралѣ, сказываютъ, во время багренія, вода на многія версты отъ рыбьей крови красная стояла, а нынче—шабашъ. Неводы да верши, да уды—больше чтобы ни-ни! Да и объ этомъ еще въ комитетахъ разсуждаютъ: какіе неводы? по какому случаю? на какой предметъ?

— А тебѣ, видно, не все равно, какимъ способомъ въ уху попасть?

— Въ какую такую уху?—удивлялся карась.

— Ахъ, прахъ тебя побери! Карасемъ зовется, а объ ухѣ не слыхалъ! Какое же ты послѣ этого право со мной разговорить имѣешь? Вѣдь, чтобы споры вести и мнѣнія отстаивать, надо, по малой мѣрѣ, съ обстоятельствами дѣла напередъ познакомиться. О чемъ же ты разговариваешь, коли даже такой простой истины не знаешь: что каждому карасю впереди уготована уха? Брысь!.. заколю!

Ершъ ощетинивался, а карась быстро, насколько позволяла его неуклюжесть, опускался на дно. Но черезъ сутки друзья-противники опять сплывались и новый разговоръ затѣвали.

— Намеднись въ нашу заводь щука заглядывала,—объявлялъ ершъ.

— Та самая, о которой ты намеднись упоминалъ?

— Она. Приплыла, заглянула, молвила: «чтой-то будто ужъ слишкомъ здѣсь тихо! Должно-быть, тутъ карасямъ водъ?»... И съ этимъ уплыла.

— Что̀ же мнѣ теперича дѣлать?

— Изготовляться—только и всего. Ужо̀, какъ приплыветъ она, да уставится въ тебя глазищами, ты чешую-то да перья подбери поплотнѣе, да прямо и полѣзай ей въ хайло!

— Зачѣмъ же я полѣзу? Кабы я былъ въ чемъ-нибудь виноватъ...

— Глупъ ты—вотъ въ чемъ твоя вина. Да и жиренъ вдобавокъ. А глупому да жирному и законъ повелѣваетъ щукѣ въ хайло лѣзть!

— Не можетъ такого закона быть!—искренно возмущался карась.—И щука зря не имѣетъ права глотать, а должна прежде объясненія потребовать. Вотъ я съ ней объяснюсь, всю правду выложу. Правдой-то я ее до седьмого пота прошибу.

— Говорилъ я тебѣ, что ты фофанъ, и теперь то же самое повторю: фофанъ! фофанъ! фофанъ!

Ершъ окончательно сердился и давалъ себѣ слово на будущее время воздержаться отъ всякаго общенія съ карасемъ. Но черезъ нѣсколько дней—смотришь—привычка опять взяла свое.

— Вотъ, кабы всѣ рыбы между собой согласились...—загадочно начиналъ карась.

Но тутъ ужъ и самого ерша брала оторопь.

«О чемъ это фофанъ рѣчь заводитъ?—думалось ему:—того гляди, провртся, а тутъ головель неподалеку похаживаетъ. Ишь, и глаза въ сторону, словно не его дѣло, скосилъ, а самъ, знай, прислушивается».

— А ты не всякое слово выговаривай, какое тебѣ на умъ взбредетъ!—убѣждалъ онъ карася.—Не для чего пасть-то разѣвать; можно и шопоткомъ, что нужно, сказать.

— Не хочу я шептаться,—продолжалъ карась невозмутимо:—а говорю прямо, что ежели бы всѣ рыбы между собой согласились, тогда...

Но тутъ ершъ грубо прерывалъ своего друга.

— Съ тобой, видно, гороху наѣвшись, говорить надо!—кричалъ онъ на карася и, навостривши лыжи, уплывалъ отъ него во-свояси.

И досадно ему да и жалко карася было. Хоть и глупъ онъ, а все-таки съ нимъ однимъ по-душѣ поговорить можно. Не разболтаетъ онъ, не предастъ—въ комъ нынче качества-то эти сыщешь? Слабое нынче время,—такое время, что на отца съ матерью надѣяться нельзя. Вотъ плотва, хоть и нельзя о ней прямо что-нибудь худое сказать, а все-таки, того и гляди, не понимаючи, сболтнетъ! А о головляхъ, язяхъ, линяхъ и прочей челяди и говорить нечего! За червяка присягу подъ колоколами принять готовы! Бѣдный карась! ни за грошъ онъ между ними пропадетъ!

— Посмотри ты на себя,—говорилъ онъ карасю:—ну, какую ты, неровнъ часъ, оборону изъ себя представить можешь? Брюхо у тебя большое, голова малая, на выдумки негораздая, ротъ—чутошный. Даже чешуя на тебѣ—и та не серьезная. Ни проворства въ тебѣ, ни юркости—какъ есть увалень! Всякій, кто хочетъ, подойди къ тебѣ и ѣшь!

— Да за что же меня ѣсть, коли я не провинился?—попрежнему упорствовалъ карась.

— Слушай, дурья порода! Ѣдятъ-то развѣ «за что»? Развѣ потому ѣдятъ, что казнить хотятъ? Ѣдятъ потому, что ѣсть хочется—только и всего. И ты, чай, ѣшь. Не пòпусту носомъ-то въ илѣ роешься, а ракушекъ вылавливаешь. Имъ, ракушкамъ, жить хочется, а ты, простофиля, ими мамонъ съ утра до вечера набиваешь. Сказывай: какую-такую онѣ вину передъ тобой сдѣлали, что ты ихъ ежеминутно казнишь? Помнишь, какъ ты намеднись говорилъ: «вотъ, кабы всѣ рыбы между собой согласились»... А что, если бы ракушки между собой согласились—сладко ли бы тебѣ, простофилѣ, тогда было?

Вопросъ былъ такъ прямо и такъ непріятно поставленъ, что карась сконфузился и слегка покраснѣлъ.

— Но ракушки—вѣдь это...—пробормоталъ онъ смущенно.

— Ракушки—ракушки, а караси—караси. Ракушками караси лакомятся,. а карасями—щуки. И ракушки ни въ чемъ неповинны, и караси не виноваты, а и тѣ, и другіе должны отвѣтъ держать. Хоть сто лѣтъ объ этомъ думай, а ничего другого не выдумаешь.

Спрятался послѣ этихъ ершовыхъ словъ карась въ самую глубь тины и сталъ на досугѣ думать. Думалъ-думалъ, и между прочимъ ракушекъ ѣлъ да ѣлъ. И что больше ѣстъ, то больше хочется. Наконецъ, однакожъ, додумался.

— Я не потому ѣмъ ракушекъ, чтобъ онѣ виноваты были—это ты правду сказалъ,—объяснилъ онъ ершу:—а потому я ихъ ѣмъ, что онѣ, эти ракушки, самой природой мнѣ для ѣды предоставлены.

— Кто же тебѣ это сказалъ?

— Никто не сказалъ, а я самъ, собственнымъ наблюденіемъ, дошелъ. У ракушки не душа, а паръ; ее ѣшь, а она и не понимаетъ. Да и устроена она такъ, что никакъ невозможно, чтобъ ее не проглотить. Потяни рыломъ воду, анъ въ зобу у тебя ужъ видимо-невидимо ракушекъ кишитъ. Я и не ловлю ихъ—сами въ ротъ лѣзутъ. Ну, а

карась—совсѣмъ другое. Караси, братъ, отъ десяти вершковъ бываютъ,—такъ съ этакимъ старикомъ еще поговорить надо, прежде нежели его съѣсть. Надо, чтобъ онъ серьезную пакость сдѣлалъ—ну, тогда, конечно...

— Вотъ какъ щука проглотитъ тебя, тогда ты и узнаешь, что̀ надо для этого сдѣлать. А до тѣхъ поръ лучше помалчивалъ бы.

— Нѣтъ, я не стану молчать. Хоть я отъ роду щукъ не видывалъ, но только могу судить по разсказамъ, что и онѣ къ голосу правды не глухи. Помилуй, скажи: можетъ ли такое злодѣйство статься? Лежитъ карась, никого не трогаетъ, и вдругъ, ни дай, ни вынеси за что̀, къ щукѣ въ брюхо попадаетъ? Ни въ жизнь я этому не повѣрю.

— Чудакъ! да вѣдь намеднись на глазахъ у тебя монахъ цѣлыхъ два невода вашего брата изъ заводи вытащилъ... Какъ ты думаешь: любоваться, что ли, онъ на карасей-то будетъ?

— Не знаю. Только это еще бабушка на̀-двое сказала, что̀ съ тѣми карасями сталось; ино ихъ съѣли, ино въ сажалку посадили. И живутъ они тамъ припѣваючи на монастырскихъ хлѣ̀бахъ!

— Ну, живи, коли такъ, и ты, сорви-голова!

Проходили дни за днями, а диспутамъ карася съ ершомъ и конца было не видать. Мѣсто, въ которомъ они жили, было тихое, даже слегка зеленою плѣсенью подернутое, самое для диспутовъ благопріятное. О чемъ ни калякай, какими мечтами ни задавайся—безнаказанность полная. Это до такой степени ободрило карася, что онъ съ каждымъ сеансомъ все больше и больше тонъ своихъ экскурсій въ область эмпиреевъ повышалъ.

— Надобно, чтобъ рыбы любили другъ друга!—ораторствовалъ онъ:—чтобы каждая за всѣхъ, а всѣ за каждую—вотъ когда настоящая гармонія осуществится!

— Желалъ бы я знать, какъ ты съ своею любовью къ щукѣ подъѣдешь!—расхолаживалъ его ершъ.

— Я, братъ, подъѣду!—стоялъ на своемъ карась:—я такія слова знаю, что любая щука въ одну минуту отъ нихъ въ карася превратится!

— А нутка, скажи!

— Да просто спрошу: знаешь ли, молъ, щука, что̀ такое добродѣтель и какія обязанности она въ отношеніи къ ближнимъ налагаетъ?

— Огорошилъ, нечего сказать! А хочешь, я тебѣ за этотъ самый вопросъ иглой животъ проколю?

— Ахъ, нѣтъ, сдѣлай милость, ты этимъ не шути!

Или:

— Только тогда мы, рыбы, свои права сознаемъ, когда насъ съ малыхъ лѣтъ въ гражданскихъ чувствахъ воспитывать будутъ!

— А на кой тебѣ лядъ гражданскія чувства понадобились?

— Все-таки...

— То-то «все-таки». Гражданскія-то чувства только гогда ко двору, когда передъ ними просторъ открытъ. А что же гы съ ними, въ тинѣ лежа, дѣлать будешь?

— Не въ тинѣ, а вообще...

— Напримѣръ?

— Напримѣръ, монахъ меня въ ухѣ захочетъ сварить, а я ему скажу: не имѣешь, отче, права безъ суда такому ужасному наказанію меня подвергать!

— А онъ тебя, за грубость, на сковородку, либо въ золу въ горячую... Нѣтъ, другъ, въ тинѣ жить, такъ не гражданскія, а остолопьи чувства надо имѣть—вотъ это вѣрно. Схоронился гдѣ погуще и молчи, остолопъ!

Или еще:

— Рыбы не должны рыбами питаться,—бредилъ на-яву карась.—Для рыбьяго продовольствія и безъ того природа многое-множество вкусныхъ блюдъ уготовала. Ракушки, мухи, черви, пауки, водяныя блохи; наконецъ—раки, змѣи, лягушки. И все это добро, все на потребу.

— А для щукъ на потребу караси,—отрезвлялъ его ершъ.

— Нѣтъ, карась самъ себѣ довлѣетъ. Ежели природа ему не дала оборонительныхъ средствъ, какъ тебѣ, напримѣръ, то это значитъ, что надо особливый законъ, въ видахъ обезпеченія его личности, издать!

— А ежели тотъ законъ исполняться не будетъ?

— Тогда надо внушеніе распубликовать: лучше, дескать, совсѣмъ законовъ не издавать, ежели оные не исполнять.

— И ладно будетъ?

— Полагаю, что многіе устыдятся.

Повторяю: дни проходили за днями, а карась все бредилъ. Другому за это хоть щелчокъ бы въ носъ дали, а ему—ничего. И растабарывалъ бы онъ такимъ родомъ аридовы вѣки, если бы хоть крошечку поостерегся. Но онъ ужъ такъ о себѣ возмечталъ, что совсѣмъ изъ расчета вышелъ. Припускалъ да припускалъ, какъ вдругъ къ нему

головель съ повѣсткой: назавтра, дескать, щука изволитъ въ заводь прибыть, такъ ты, карась, смотри: чуть-свѣтъ отвѣтъ держать явись!

Карась, однакожъ, не оробѣлъ. Во-первыхъ, онъ столько разнообразныхъ отзывовъ о щукѣ слышалъ, что и самъ познакомиться съ ней любопытствовалъ; а во-вторыхъ, онъ зналъ, что у него такое магическое слово есть, которое, ежели его сказать, сейчасъ самую лютую щуку въ карася превратитъ. И очень на это слово надѣялся.

Даже ершъ, видя такую его вѣру, задумался, не слишкомъ ли онъ ужъ далеко зашелъ въ отрицательномъ направленіи. Можетъ-быть, и въ самомъ дѣлѣ щука только того и ждетъ, чтобы ее полюбили, благой совѣтъ ей дали, умъ и сердце ея просвѣтили? Можетъ-быть, она... добрая? Да и карась, пожалуй, совсѣмъ не такой простофиля, какимъ по наружности кажется, а, напротивъ того, съ расчотцемъ свою карьеру облаживаетъ? Вотъ завтра явится онъ къ щукѣ да прямо и ляпнетъ ей сущую правду, какой она отъ роду ни отъ кого не слыхивала. А щука возьметъ да и скажетъ: за то, что ты мнѣ, карась, самую сущую правду сказалъ, жалую тебя этою заводью; будь ты надъ нею начальникъ!

Приплыла на утро щука, какъ пить дала. Смотритъ на нее карась и дивится: какихъ ему про щуку сплѣтокъ ни наплели, а она—рыба какъ рыба! Только ротъ до ушей да хайло такое, что какъ разъ ему, карасю, пролѣзть.

— Слышала я,—молвила щука:—что очень ты, карась, уменъ и разглагольствовать мастеръ. Хочу я съ тобой диспутъ имѣть. Начинай.

— Объ счастьѣ я больше думаю,—скромно, но съ достоинствомъ отвѣтилъ карась.—Чтобы не я одинъ, а всѣ были счастливы. Чтобы всѣмъ рыбамъ во всякой водѣ свободно плавать было, а ежели которая въ тину спрятаться захочетъ, то и въ тинѣ пускай полежитъ.

— Гм!.. и ты думаешь, что такому дѣлу статься возможно?

— Не только думаю, но и всечасно сего ожидаю.

— Напримѣръ: плыву я, а рядомъ со мною... карась?

— Такъ что же такое?

— Въ первый разъ слышу. А ежели я обернусь да карася-то... съѣмъ?

— Такого закона, ваше высокостепенство, нѣтъ; законъ говоритъ прямо: ракушки, комары, мухи и мошки да мо-

служатъ для рыбъ пропитаніемъ. А кромѣ того, позднѣйшими разными указами къ пищѣ сопричислены: водяныя блохи, пауки, черви, жуки, лягушки, раки и прочіе водяные обыватели. Но не рыбы.

— Маловато для меня. Головель! неужто такой законъ есть?—обратилась щука къ головлю.

— Въ забвеніи, ваше высокостепенство!—ловко вывернулся головель.

— Я такъ и знала, что не можно такому закону быть. Ну, а еще ты чего всечасно, карась, ожидаешь?

— А еще ожидаю, что справедливость восторжествуетъ. Сильные не будутъ тѣснить слабыхъ, богатые—бѣдныхъ. Ты, щука, всѣхъ сильнѣе и ловче—ты и дѣло на себя посильнѣе возьмешь; а мнѣ, карасю, по моимъ скромнымъ способностямъ, и дѣло скромное укажутъ. Всякій для всѣхъ, и всѣ для всякаго—вотъ какъ будетъ. Когда мы другъ за дружку стоять будемъ, тогда и подкузьмить насъ никто не сможетъ. Неводъ-то еще гдѣ покажется, а ужъ мы драло! Кто подъ камень, кто на самое дно въ илъ, кто въ нору или подъ корягу. Уху-то, пожалуй-что, видно, бросить придется!

— Не знаю. Не очень-то любятъ люди бросать то, что имъ вкуснымъ кажется. Ну, да это еще когда-то будетъ. А вотъ что: такъ, значитъ, по-твоему, и я работать должна?

— Какъ прочіе, такъ и ты.

— Въ первый разъ слышу. Поди, проспись!

Проспался ли, нѣтъ ли карась, но ума у него, во всякомъ случаѣ, не прибавилось. Въ полдень опять онъ явился на диспутъ, и не только безъ всякой робости, но даже противъ прежняго веселѣе.

— Такъ ты полагаешь, что я работать стану, и ты отъ моихъ трудовъ лакомиться будешь?—прямо поставила вопросъ щука.

— Всѣ другъ отъ дружки... отъ общихъ, взаимныхъ трудовъ...

— Понимаю: «другъ отъ дружки»... а между прочимъ и отъ меня... гм! Думается, однакожъ, что ты это зазорныя рѣчи говоришь. Головель! какъ, по-нынѣшнему, такія рѣчи называются?

— Сицилизмомъ, ваше высокостепенство!

— Такъ я и знала. Давненько я ужъ слышу: бунтовскія, молъ, рѣчи карась говоритъ! Только думаю: дай, лучше сама послушаю... Анъ вотъ ты каковъ!

Молвивши это, щука такъ выразительно щелкнула по водѣ хвостомъ, что, какъ ни простъ былъ карасъ, но и онъ догадался.

— Я, ваше высокостепенство, ничего,—пробормоталъ онъ въ смущеніи:—это я по простотѣ...

— Ладно. Простота хуже воровства, говорятъ. Ежели дуракамъ волю дать, такъ они умныхъ со свѣту сживутъ. Наговорили мнѣ о тебѣ съ три короба, а ты—карась какъ карась,—только и всего. И пяти минутъ я съ тобою не разговариваю, а ужъ до смерти ты мнѣ надоѣлъ.

Щука задумалась и какъ-то такъ загадочно на карася посмотрѣла, что онъ ужъ и совсѣмъ понялъ. Но, должно-быть, она еще послѣ вчерашняго обжорства сыта была, и потому зѣвнула и сейчасъ же захрапѣла.

Но на этотъ разъ карасю ужъ не такъ благополучно обошлось. Какъ только щука умолкла, его со всѣхъ сторонъ обступили головли и взяли подъ караулъ.

Вечеромъ, еще не успѣло солнышко сѣсть, какъ карась въ третій разъ явился къ щукѣ на диспутъ. Но явился уже подъ стражей и притомъ съ нѣкоторыми поврежденіями. А именно: окунь, допрашивая, покусалъ ему спину и часть хвоста.

Но онъ все еще бодрился, потому что въ запасѣ у него было магическое слово.

— Хоть ты мнѣ и супротивникъ,—начала опять первая щука:—да, видно, горе мое такое: смерть диспуты люблю! Будь здоровъ, начинай!

При этихъ словахъ карась вдругъ почувствовалъ, что сердце въ немъ загорѣлось. Въ одно мгновеніе онъ подобралъ животъ, затрепыхался, защелкалъ по водѣ остатками хвоста и, глядя щукѣ прямо въ глаза, во всю мочь гаркнулъ:

— Знаешь ли ты, что̀ такое добродѣтель?

Щука разинула ротъ отъ удивленія. Машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его.

Рыбы, бывшія свидѣтельницами этого происшествія, на мгновенье остолбенѣли, но сейчасъ же опомнились и поспѣшили къ щукѣ—узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А ершъ, который ужъ заранѣе все предвидѣлъ и предсказалъ, выплылъ впередъ и торжественно провозгласилъ:

— Вотъ они, диспуты-то наши, каковы!

5.—Добродѣтели и Пороки.

Добродѣтели съ Пороками изстари во враждѣ были. Пороки жили весело и ловко свои дѣла обдѣлывали, а Добродѣтели жили посѣрѣе, но зато во всѣхъ азбукахъ и хрестоматіяхъ какъ примѣръ для подражанія приводились. А втихомолку, между тѣмъ, думали: «вотъ кабы и намъ, подобно Порокамъ, удалось хорошенькое дѣльце обдѣлать!» Да, признаться сказать, подъ шумокъ и обдѣлывали.

Трудно сказать, съ чего у нихъ первоначально распря пошла и кто первый задралъ. Кажется, что Добродѣтели первыя начали. Порокъ-то шустрый былъ и на выдумки гораздый. Какъ пошелъ онъ, словно конь бѣрзый, пространство ногами забирать, да въ парчахъ, да въ шелкахъ по бѣлу-свѣту щеголять—Добродѣтели-то за нимъ и не поспѣли. И, не поспѣвши, огорчились. «Ладно,—говорятъ,—щеголяй, нахалъ, въ шелкахъ! Мы и въ рубищѣ отъ всѣхъ почтены будемъ!» А Пороки имъ въ отвѣтъ: «И будьте почтены съ Богомъ!»

Не стерпѣли Добродѣтели насмѣшки и стали Пороки на всѣхъ перекресткахъ костить. Выйдутъ въ рубищахъ на распутіе и пристаютъ къ прохожимъ: «Не правда ли, господа честные, что мы вамъ и въ рубищѣ милы». А прохожіе въ отвѣтъ: «Ишь васъ, салопницъ, сколько развелось! Проходите, не задерживайте! Богъ подастъ!»

Пробовали Добродѣтели и къ городовымъ за содѣйствіемъ обращаться. «Вы чего смотрите? Совсѣмъ публику распустили! Вѣдь она, того и гляди, по-уши въ Порокахъ погрязнетъ!» Но городовые знай-себѣ стоятъ да Порокамъ подъ козырекъ дѣлаютъ.

Такъ и остались Добродѣтели ни при чемъ, только пригрозили съ досады: «вотъ погодите! ушлютъ васъ ужо за ваши дѣла на каторгу!»

А Пороки, между тѣмъ, все впередъ да впередъ бѣгутъ, да еще и похваляются. «Нашли,—говорятъ,—чѣмъ стращать—каторгой! Для насъ-то еще либо будетъ каторга, либо нѣтъ, а вы съ самаго рожденья въ ней по-уши сидите! Ишь, злецы! Кости да кожа, а глаза, посмотри, какъ горятъ. Щелкаютъ на пирогъ зубами, а какъ къ нему приступиться—не знаютъ!»

Словомъ сказать, разгоралась распря съ каждымъ днемъ

больше и больше. Сколько разъ даже до открытаго боя дѣло доходило, но и тутъ фортуна почти всегда Добродѣтелямъ измѣняла. Одолѣютъ Пороки и закуютъ Добродѣтели въ кандалы: «сидите, злоумышленники, смирно!» И сидятъ, покуда начальство не вступится да на волю не выпуститъ.

Въ одну изъ такихъ баталій шелъ мимо Иванушка-Дурачокъ, остановился и говоритъ сражающимся:

— Глупые вы, глупые! Изъ-за чего только вы другъ друга увѣчите! Вѣдь первоначально-то вы всѣ одинаково *свойствами* были, а это ужъ потомъ, отъ безалаберности да отъ каверзы людской, Добродѣтели да Пороки пошли. Одни свойства понажали, другимъ вольный ходъ дали—колесики-то въ машинѣ и поиспортились. И воцарились на свѣтѣ смута, свара, скорбь... А вы вотъ что сдѣлайте: обратитесь къ первоначальному источнику—можетъ-быть, начемъ-нибудь и сойдетесь!

Сказалъ это и пошелъ путемъ-дорогой въ казначейство подать вносить.

Подѣйствовали ли на сражающихся Иванушкины слова, или пороху для продолженія битвы недостало, только вложили бойцы мечи въ ножны и задумались.

Думали, впрочемъ, больше Добродѣтели, потому что у нихъ съ голоду животы подвело; а Пороки, какъ протрубили трубы отбой, такъ сейчасъ же по своимъ прежнимъ канальскимъ дѣламъ разбрелись и опять на славу зажили.

— Хорошо ему про «свойства» говорить,—первое молвило Смиренномудріе:—мы и сами не плоше его эти «свойства» знаемъ! Да вотъ одни свойства въ бархатѣ щеголяютъ и на золотѣ ѣдятъ, а другія въ затрапезѣ ходятъ да по цѣлымъ днямъ не ѣвши сидятъ. Иванушкѣ-то съ полагоря: онъ набилъ мамонъ мякиной—и правъ; а насъ вѣдь на мякинѣ не проведешь—мы знаемъ, гдѣ раки зимуютъ!

— Да и что за «свойства» такія проявились!—встревожилось Благочиніе:—нѣтъ ли тутъ порухи какой? Всегда были Добродѣтели и были Пороки, сотни тысячъ лѣтъ это дѣло ведется и сотни тысячъ томовъ объ этомъ написано, а онъ, натко, сразу рѣшилъ: «свойства!» Нѣтъ, ты попробуй, приступись-ка къ этимъ сотнямъ тысячъ томовъ, такъ и увидишь, какая отъ нихъ пыль столбомъ полетитъ!

Судили-рядили и наконецъ разсудили: Благочиніе правду сказало. Сколько тысячъ вѣковъ Добродѣтели числились Добродѣтелями и Пороки—Пороками! Сколько тысячъ книгъ

объ этомъ написано, какая масса бумаги и чернилъ изведена! Добродѣтели всегда одесную стояли, Пороки—ошуюю: и вдругъ, по дурацкому Иванушкину слову, отъ всего откажись и назовись какими-то «свѣйствами»! Вѣдь это почти то же, что отъ правъ состоянія отказаться и «человѣкомъ» назваться! Просто-то оно, конечно, просто, да вѣдь иная простота хуже воровства. Подитко спроста-то коснись, анъ съ перваго же шага въ такое несмѣтное множество капкановъ попадешь, что и голову тамъ, пожалуй, оставишь!

Нѣтъ, о «свойствахъ» думать нечего, а вотъ компромиссъ какой-нибудь сыскать—или, какъ по-русски зовется, фортель—это, пожалуй, дѣльно будетъ. Такой фортель, который и Добродѣтели бы возвеселилъ, да и Порокамъ бы по нраву пришелся. Потому что вѣдь и Порокамъ подчасъ жутко приходится. Вотъ намеднись Любострастіе съ поличнымъ въ банѣ поймали, протоколъ составили, да въ ту же ночь Прелюбодѣяніе въ одномъ бѣльѣ съ лѣстницы спустили. Вольномысліе-то давно ли пышнымъ цвѣтомъ цвѣло, а теперь его съ корнемъ вырвали! Стало-быть, и Порокамъ на фортель пойти небезвыгодно.—Милостивые государи! милостивыя государыни! не угодно ли кому предложить: у кого на примѣтѣ «средствице» есть?

На вызовъ этотъ прежде всѣхъ выступилъ древній старичокъ, Опытомъ называемый (есть два Опыта: одинъ порочный, а другой добродѣтельный; такъ этотъ—добродѣтельный былъ). И предложилъ онъ штуку: «Отыщите,—говоритъ:—такое сокровище, которое и Добродѣтели бы уважило, да и отъ Пороковъ было бы не прочь. И пошлите его парламентёромъ во вражескій лагерь».

Стали искать и, разумѣется, нашли. Нашли двухъ бобылокъ: Умѣренность и Аккуратность. Обѣ на задворкахъ въ добродѣтельскихъ селеніяхъ жили, сиротскій надѣлъ держали, но торговали корчемнымъ виномъ и потихоньку Пороки у себя принимали.

Однако первый блинъ вышелъ комомъ. Бобылки были и мало представительны, и слишкомъ податливы, чтобы выполнить возложенную на нихъ задачу. Едва появились онѣ въ лагерѣ Пороковъ, едва начали канитель разводить: «помаленьку-то покойнѣе, а потихоньку—вѣрнѣе», какъ Пороки всѣмъ скопищемъ загалдѣли:

— Слыхали мы-ста прибаутки-то эти! Давно вы съ ними около насъ похаживаете, да не въ коня кормъ! Уходите съ Богомъ, бобылки, не проѣдайтесь!

И какъ бы для того, чтобы доказать Добродѣтелямъ, что ихъ на кривой не объѣдешь, на всю ночь закатились въ трактиръ «Самаркандъ», а подъ утро, расходясь оттуда, поймали Воздержаніе и Непрелюбысотвореніе, и поступили съ ними до такой степени низко, что даже татары изъ «Самарканда» дивились: хорошіе господа, а что дѣлаютъ!

Поняли тогда Добродѣтели, что дѣло это серьезное и надо за него настоящимъ манеромъ взяться.

Произросло между ними въ ту пору существо средняго рода, ни ракъ, ни рыба, ни курица, ни птица, ни дама, ни кавалеръ, а всего помаленьку. Произросло, выровнялось и расцвѣло. И было этому межеумку имя тоже средняго рода: *Лицемѣріе*...

Все въ этомъ существѣ было загадкою, начиная съ происхожденія. Сказывали старожилы, что однажды Смиреніе съ Любострастіемъ въ темномъ коридорѣ спознались, и отъ этого произошелъ плодъ. Плодъ этотъ Добродѣтели сообща выкормили и вынои̇ли, а потомъ и въ пансіонъ къ француженкѣ Комильфо̀ отдали. Догадку эту подтверждалъ и наружный видъ Лицемѣрія, потому что хотя оно ходило не иначе, какъ съ опущенными долу глазами, но прозорливцы не разъ примѣчали, что по лицу его частенько пробѣгаютъ любострастныя тѣни, а поясница, при случаѣ, даже очень нехорошо вздрагиваетъ. Несомнѣнно, что въ этомъ наружномъ двоегласіи въ значительной мѣрѣ былъ виноватъ пансіонъ Комильфо̀. Тамъ Лицемѣріе всѣмъ главнымъ наукамъ выучилось: и какъ «по стрункѣ ходить», и какъ «водой не замутить», и какъ «безъ мыла въ душу влѣзть»; словомъ сказать, всему, что̀ добродѣтельное житіе обезпечиваетъ. Но въ то же время оно не избѣгло и вліянія канкана, которымъ и стѣны, и воздухъ пансіона были пропитаны. Но кромѣ того, мадамъ Комильфо̀ еще и тѣмъ подгадила, что сообщила Лицемѣрію подробности объ его родителяхъ. Объ отцѣ (Любострастіи) сознавалась, что онъ былъ моветонъ и дерзкій — ко всѣмъ щипаться лѣзъ! Объ матери (Смиреніе)—что она хотя не имѣла блестящей наружности, но такъ мило вскрикивала, когда ее щипали, что даже и нерасположенные къ щипанію Пороки (каковы Мздоимство, Любоначаліе, Уныніе и проч.)—и они не могли отказать себѣ въ этомъ удовольствіи.

Вотъ это-то среднее существо, глаза долу опускающее, но и изъ-подъ закрытыхъ вѣкъ блудливо окрестъ высматривающее, и выбрали Добродѣтели, чтобъ войти въ пе-

реговоры съ Пороками, и такой общій modus vivendi изобрѣсти, при которомъ и тѣмъ, и другимъ было бы жить вальготно.

— Да ты по-нашему-то умѣешь ли?—вздумало-было предварительно проэкзаменовать его Галантерейное Обращеніе.

— Я-то?—изумилось Лицемѣріе.—Да я вотъ какъ...

И не успѣли Добродѣтели опомниться, какъ у Лицемѣрія ужъ и глазки опущены, и руки на груди сложены, и румянчикъ на щечкахъ играетъ... дѣвица, да и шабашъ!

— Ишь, дошлая! Ну, а по-ихнему, по-порочному... какъ?

Но Лицемѣріе даже не отвѣтило на этотъ вопросъ. Въ одинъ моментъ оно учинило нѣчто ни для кого явственно невидимое, но до такой степени достовѣрное, что Прозорливство только сплюнуло: тьфу!

И затѣмъ всѣ одинаково рѣшили: написать у нотаріуса Бизяева общую довѣренность для хожденія по всѣмъ добродѣтельскимъ дѣлать и вручить ее Лицемѣрію.

Взялся за гужъ, не говори, что не дюжъ: какъ ни горько, а пришлось у Пороковъ пардону просить. Идетъ Лицемѣріе въ ихній подлый вертепъ и отъ стыда не знаетъ, куда глаза дѣвать. «Вездѣ-то нынче это паскудство развелось!»—жалуется оно вслухъ, а мысленно прибавляетъ: «ахъ, хорошо Пороки живутъ!» И точно, не успѣло Лицемѣріе съ версту отъ добродѣтельской резиденціи отойти, какъ ужъ со всѣхъ сторонъ на него разливнымъ моремъ пахнуло. Смѣхи, да пляски, да игры—стонъ отъ веселья стоитъ. И городъ какой отмѣнный Пороки для себя выстроили: просторный, свѣтлый, съ улицами и переулками, съ площадями и бульварами. Вотъ улица Лжесвидѣтельства, вотъ площадь Предательства, а вотъ и Срамной бульваръ. Самъ Отецъ Лжи тутъ сидѣлъ и изъ лавочки клеветой распивочно и на-выносъ торговалъ.

Но какъ ни весело жили Пороки, какъ ни опытны они были во всякихъ канальскихъ дѣлахъ, а, увидѣвши Лицемѣріе, и они ахнули. Съ виду—ни дать, ни взять, сущая дѣвица; но точно ли сущая—этого и самъ чортъ не разберетъ. Даже Отецъ Лжи, который думалъ, что нѣтъ въ мірѣ той подлости, которой бы онъ не произошелъ,—и тотъ глаза вытаращилъ.

— Ну,—говоритъ:—это я объ себѣ напрасно мечталъ, будто вреднѣе меня на свѣтѣ никого нѣтъ. Я — что! Вотъ онъ, настоящій-то ядъ, гдѣ! Я больше нахаломъ норовлю—

оттого меня хоть и не часто, а все-таки отъ времени до времени съ лѣстницы въ три-шеи спускаютъ; а это сокровище, коли прильнетъ, — отъ него ужъ не отвертишься! Такъ тебя опутаетъ, такъ окружитъ, что покуда всѣ соки не вызудитъ—не выпуститъ!

Тѣмъ не менѣе, какъ ни великъ былъ энтузіазмъ, возбужденный Лицемѣріемъ, однако и тутъ безъ розни не обошлось. Пороки солидные (аборигены), паче всего дорожившіе преданіями старины, какъ, напримѣръ: Суемудріе, Пустомысліе, Гордость, Человѣконенавистничество и проч., не только сами не пошли навстрѣчу Лицемѣрію, но и другихъ остерегали.

— Истинный порокъ не нуждается въ прикрытіи,—говорили они: — но самъ свое знамя высоко и грозно держитъ. Что существенно-новаго можетъ открыть намъ Лицемѣріе, чего бы мы отъ начала вѣковъ не знали и не практиковали? Положительно ничего. Напротивъ, оно научаетъ насъ опаснымъ изворотамъ и заставитъ насъ ежели не прямо стыдиться самихъ себя, то, во всякомъ случаѣ, показывать видъ, что мы стыдимся. Caveant consules! До сихъ поръ у насъ было достаточно твердыхъ и вѣрныхъ послѣдователей, но вѣдь они, видя наши извороты, могутъ сказать: должно-быть, и впрямь Порокамъ туго пришлось, коль скоро они сами отъ себя отрицаться должны! И отвернутся отъ насъ, вотъ увидите—отвернутся.

Такъ говорили заматерѣлые Пороки-Катоны, не признававшіе ни новыхъ вѣяній, ни обольщеній, ни обстановокъ, Родившись въ навозѣ, они предпочитали задохнуться въ немъ, лишь бы не отступить отъ старообрядческихъ преданій.

За ними шла другая категорія Пороковъ, которые тоже не выказывали особеннаго энтузіазма при встрѣчѣ съ Лицемѣріемъ, но не потому, однако, чтобы послѣднее претило имъ, а потому, что они уже и безъ посредства Лицемѣрія состояли въ секретныхъ отношеніяхъ съ Добродѣтелями. Сюда принадлежали: Измѣна, Вѣроломство, Предательство, Наушничество, Ябеда и проч. Они не разразились кликами торжества, не рукоплескали, не предлагали здравицъ, а только подмигнули глазомъ: милости просимъ!

Какъ бы то ни было, но торжество Лицемѣрія было обезпечено. Молодежь, въ лицѣ Прелюбодѣянія, Пьянства, Объяденія, Распутства, Мордобитія и проч., сразу созвала сходку и встрѣтила парламентера такими овиціями, что Суемудріе

тутъ же нашлось вынужденнымъ прекратить свою воркотню навсегда.

— Вы только мутите всѣхъ, старые пакостники! кричала старикамъ молодежь. — Мы жить хотимъ, а вы уныніе наводите! Мы въ хрестоматію попадемъ (это въ особенности льстило), въ салонахъ блистать будемъ! Насъ старушки будутъ любить!

Словомъ сказать, почва для соглашенія была сразу найдена, такъ что когда Лицемѣріе, возвратившись во-свояси, отдало Добродѣтелямъ отчетъ о своей миссіи, то было единогласно признано, что всякій поводъ для существованія Добродѣтелей и Пороковъ, какъ отдѣльныхъ и враждебныхъ другъ другу группъ, устраненъ навсегда. Тѣмъ не менѣе, старую номенклатуру упразднить не рѣшались — почемъ знать, можетъ-быть, и опять понадобится?—но положили употреблять ее съ такимъ расчетомъ, чтобы всѣмъ было видимо, что она прикрываетъ собой одинъ только прахъ.

Съ тѣхъ поръ пошло между Добродѣтелями и Пороками гостепріимство великое. Захочетъ Распутство побывать въ гостяхъ у Воздержанія, возьметъ подъ ручку Лицемѣріе, — и Воздержаніе уже издали, завидѣвъ ихъ, привѣтствуетъ:

— Милости просимъ! Покорно прошу! У насъ про васъ...

И наоборотъ. Захочетъ Воздержаніе у Распутства постненькимъ полакомиться, возьметъ подъ ручку Лицемѣріе,— а у Распутства ужъ и двери настежь:

— Милости просимъ! Покорно прошу! У насъ про васъ...

Въ постные дни постненькимъ потчуютъ, въ скоромные скоромненькимъ... Одной рукой крестное знаменіе творятъ, другой — непотствуютъ. Одно око горѣ возводятъ, другимъ — непрестанно вожделѣютъ. Впервые добродѣтели сладости познали, да и Пороки не остались въ убыткѣ. Напротивъ, всѣмъ и каждому говорятъ: «никогда у насъ такихъ лакомствъ не бывало, какими теперь походя жируемъ!»

А Иванушка-Дурачокъ и о-сю пору не можетъ понять: отчего Добродѣтели и Пороки такъ охотно помирились на Лицемѣріи, тогда какъ гораздо естественнѣе было бы сойтись на томъ, что и тѣ, и другіе суть «свойства» — только и всего!

6. Обманщикъ-газетчикъ и легковѣрный читатель.

Жилъ-былъ газетчикъ и жилъ-былъ читатель. Газетчикъ былъ обманщикъ—все обманывалъ, а читатель былъ легковѣрный—всему вѣрилъ. Такъ ужъ изстари повелось на свѣтѣ: обманщики обманываютъ, а легковѣрные вѣрятъ. Suum cuique.

Сидитъ газетчикъ въ своей берлогѣ и знай-себѣ обманываетъ да обманываетъ. «Берегитесь, — говоритъ: — дифтеритъ обывателей коситъ!» «Дождей, — говоритъ: — съ самаго начала весны нѣтъ — того гляди, безъ хлѣба останемся!» «Пожары деревни и города истребляютъ!» «Добро казенное и общественное врозь тащатъ!» А читатель читаетъ и думаетъ, что газетчикъ ему глаза открываетъ. «Такая, — говоритъ: — ужъ у насъ свобода книгопечатанія: куда ни взгляни — вездѣ либо дифтеритъ, либо пожаръ, либо неурожай!»

Дальше — больше. Смекнулъ газетчикъ, что его обманы по сердцу читателю пришлись — началъ еще пуще поддавать. «Никакой, — говоритъ: — у насъ обезпеченности нѣтъ! Не выходи, — говоритъ: — читатель, на улицу: какъ разъ въ кутузку попадешь!» А легковѣрный читатель идетъ гоголемъ по улицѣ и приговариваетъ: «Ахъ, какъ вѣрно газетчикъ про нашу необезпеченность выразился!» Мало того: другого легковѣрнаго читателя встрѣтитъ и того спроситъ: «А читали вы, какъ прекрасно сегодня насчетъ нашей необезпеченности газетчикъ продернулъ?» — Какъ не читать! — отвѣтитъ другой легковѣрный читатель: — безподобно! Нельзя, именно нельзя у насъ по улицамъ ходить — сейчасъ въ кутузку попадешь!»

И всѣ свободой книгопечатанія не нахвалятся. «Не знали мы, что у насъ вездѣ дифтеритъ, — хоромъ поютъ легковѣрные читатели: — анъ оно вонъ что!» И такъ имъ отъ этой увѣренности на душѣ легко стало, что скажи теперь этомъ самый газетчикъ, что дифтеритъ былъ, да весь вышелъ, — пожалуй, и газетину его перестали бы читать.

А газетчикъ этому радъ, потому для него обманъ прямая выгода. Истина-то не всякому достается — поди, добивайся! — пожалуй, за нее и десятью конеечками со строчки не отбояришься! То ли дѣло обманъ! Знай, пиши да обма-

нывай. Пять копеекъ со строчки—цѣлые вороха обмановъ со всѣхъ сторонъ тебѣ нанесутъ!

И такая у газетчика съ читателемъ дружба завелась, что и водой ихъ не разольешь. Что больше обманываетъ газетчикъ, то больше богатѣетъ (а обманщику чего же другого и нужно!); а читатель, что больше его обманываютъ, то больше пятаковъ газетчику несетъ. И распивочно, и навыносъ—всяко газетчикъ копейку зашибаетъ!

«Штановъ не было, — говорятъ про него завистники:— а теперь, смотрите, какъ козыряетъ!» «Льстеца себѣ нанялъ! Разсказчика изъ народнаго быта завелъ! Блаженствуетъ!»

Пробовали-было другіе газетчики истиной его подкузьмить—авось, дескать, и на нашу приваду подписчикъ побѣжитъ,—такъ куда тебѣ! Не хочетъ ничего знать читатель, только одно и твердитъ:

Тьмы низкихъ истинъ мнѣ дорожс
Насъ возвышающій обманъ...

Долго ли, коротко ли такъ дѣло шло, но только нашлись добрые люди, которые пожалѣли легковѣрнаго читателя. Призвали обманщика-газетчика и говорятъ ему: «Будетъ съ тебя, безстыжій и невѣрный человѣкъ! До сихъ поръ ты торговалъ обманомъ, а отнынѣ — торгуй истиной!»

Да, кстати, и читатели начали понемножку отрезвляться, стали цыдулки газетчику посылать. «Гулялъ, дескать, я сегодня съ дочерью по Невскому, думалъ на съѣзжей ночевать (дочка даже бутербродами, на случай, запаслась,— говорила: «ахъ, какъ весело!»), а вмѣсто того благополучно оба воротились домой... Такъ какъ же, молъ, такой утѣшительный фактъ съ вашими передовицами объ нашей необезпеченности согласовать?»

Натурально, газетчикъ, съ своей стороны, только того и ждалъ. Признаться сказать, ему и самому надоѣло обманывать. Сердце-то у него давно уже къ истинѣ склонялось, да что же подѣлаешь, коли читатель только на обманъ клюетъ! Плачешь да обманываешь. Теперь же, когда къ нему со всѣхъ сторонъ съ ножомъ къ горлу пристаютъ, чтобъ онъ истину говорилъ,—что-жъ, онъ готовъ! Истина такъ истина, чортъ побери! Обманомъ два каменныхъ дома нажилъ, а остальные два каменные дома приходится истиной наживать!

И началъ онъ каждый день читателя истиной донимать! Нѣтъ дифтерита, да и шабашъ! И кутузокъ нѣтъ, и пожа-

ровъ нѣтъ; если же и выгорѣлъ Конотопъ, такъ послѣ пожара онъ еще лучше выстроился. А урожай, благодаря наступившимъ теплымъ дождямъ, оказался такой, что и сами ѣли-ѣли, да наконецъ и нѣмцамъ стали подъ столъ бросать: подавись!

Но что всего замѣчательнѣе—печатаетъ газетчикъ только истину, а за строку все пять копеекъ платитъ. И истина въ цѣнѣ упала съ тѣхъ поръ, какъ стали ею расшивочно торговать. Выходитъ, что истина, что обманъ—все равно, цѣна грошъ. А газетные столбцы не только не сдѣлались оттого скучнѣе, но еще больше оживились. Потому что вѣдь ежели благорастворѐніе воздуховъ вплотную раздѣлывать начать — это такая картина выйдетъ, что отдай все да и мало!

Наконецъ, читатель окончательно отрезвился и прозрѣлъ. И прежде ему недурно жилось, когда онъ обманъ за истину принималъ, а теперь ужъ и совсѣмъ отъ сердца отлегло. Въ булочную зайдетъ—тамъ ему говорятъ: «надо-быть, со временемъ хлѣбъ дешевъ будетъ»; въ курятную лавку заглянетъ—тамъ ему говорятъ: «надо-быть, со временемъ рябчики нипочемъ будутъ!»

— Ну, а покудова какъ?

— Покудова рубль двадцать копеечекъ за пару!

Вотъ какой, съ Божьею помощью, поворотъ!

И вотъ однажды вышелъ легковѣрный читатель франтомъ на улицу. Идетъ, «въ надеждѣ славы и добра», и тросточкой помахиваетъ: знайте, молъ, что отнынѣ я вполнѣ обезпеченъ!

Но на этотъ разъ, какъ на грѣхъ, произошло слѣдующее.

Не успѣлъ онъ нѣсколько шаговъ сдѣлать, какъ случилась юридическая ошибка, и его посадили въ кутузку.

Тамъ онъ цѣлый день просидѣлъ не ѣвши. Потому что хоть его и потчивали, но онъ посмотрѣлъ-посмотрѣлъ, да только молвилъ: «вотъ они, урожаи-то наши, каковы!»

Тамъ же онъ схватилъ дифтеритъ.

Разумѣется, на другой день юридическая ошибка объяснилась, и его выпустили на поруки (неровенъ случай, и опять понадобится). Онъ возвратился домой и умеръ.

А газетчикъ-обманщикъ и сейчасъ живъ. Четвертый каменный домъ подъ крышу подводитъ и съ утра до вечера объ одномъ думаетъ: чѣмъ ему напредки легковѣрнаго читателя ловчѣе обманывать: обманомъ или истиною?

7.—Игрушечнаго дѣла людишки.

Въ 184* году я жилъ въ одной изъ сѣверныхъ губерній Россіи. Жилъ, т.-е. состоялъ на службѣ, какъ это само собой разумѣлось въ то время. И при этомъ всякія дѣла дѣлалъ: возлежалъ на лонѣ у начальника края, танцовалъ котильонъ съ губернаторшей, разговаривалъ съ жандармскимъ штабъ-офицеромъ о величіи Россіи и совмѣстно съ управляющимъ палатой государственныхъ имуществъ плакалъ горючими слезами, когда послѣдній удостовѣрялъ, что будущее принадлежитъ окружнымъ начальникамъ. И что всего важнѣе—ужасно сердился, когда при мнѣ называли окружныхъ начальниковъ эмиссарами Пугачева. Однимъ словомъ, проводилъ время не весьма полезно.

Въ то время вблизи губернскаго города процвѣталъ (а быть-можетъ, и теперь процвѣтаетъ) уѣздный городокъ Любезновъ, куда я частенько-таки ѣзжалъ, во-первыхъ, потому, что празднаго времени было пропасть, а во-вторыхъ, потому, что тамъ служилъ, въ качествѣ городничаго, мой пріятель, штабсъ-капитанъ Вальяжный, а у него жила экономка Аннушка. Эта Аннушка была премилая особа, и признаюсь, когда мнѣ случалось пить у Вальяжнаго чай или кофе, то очень пріятно было думать, что предлагаемый напитокъ разливала дѣвица благоутробная, а не какая-нибудь пряничная форма. Но, впрочемъ, только и всего. Хотя же и былъ на меня доносъ, будто бы я ѣзжу въ Любезновъ для «лакомства», но въ виду моей безпорочной службы это представляло такъ мало вѣроятія, что самъ его превосходительство собственноручно на доносѣ написалъ: «не вѣрю; пусть ѣздитъ».

Подобно тому, какъ у любого отца семейства всегда бываетъ особенно надежное чадо, о которомъ родители говорятъ: «этотъ не выдастъ!»—подобно сему и у каждаго губернатора бываетъ свой излюбленный городъ, который его превосходительство называетъ своею «гвардіей» и относительно котораго сердце его не знаетъ никакихъ тревогъ. О такихъ городахъ ни въ губернаторской канцеляріи, ни въ губернскомъ правленіи иногда по цѣлымъ мѣсяцамъ слыхомъ не слыхать. Исправники въ нихъ—пеньющіе; городничіе—такіе, что двѣ рюмки вставши, да три передъ обѣдомъ, да три передъ ужиномъ - и сами говорятъ: «баста!» городскіе головы — такіе, что только о томъ и думаютъ,

какъ бы новую пожарную трубу пріобрѣсти или общественный банкъ устроить, а обыватели—трудолюбивые, къ начальству ласковые и къ уплатѣ податей склонные.

Къ числу такихъ веселящихъ начальственныя сердца муниципій принадлежалъ и Любезновъ. Я помню, губернаторъ даже руки потиралъ, когда заводили рѣчь объ этомъ городѣ. «За Любезновъ я спокоенъ! Любезновцы меня не выдадутъ!»—восклицалъ его превосходительство, и все губернское правленіе, въ полномъ составѣ, вторило: «Да, за Любезновъ мы спокойны! Любезновцы насъ не выдадутъ!» Зато, бывало, какъ только придетъ изъ Петербурга циркуляръ о принятіи пожертвованій на памятникъ Ѳеофану Прокоповичу или на стипендію имени генералъ-маіора Мардарія Отчаяннаго, такъ тотчасъ же первая мысль: поскорѣе дать знать любезновцамъ! И точно: не успѣетъ начальство и оглянуться, какъ исправникъ Миловзоровъ уже шлетъ 50 коп., а городничій Вальяжный—цѣлыхъ 75 коп. Тогда какъ изъ Полоумнова городничій съ тоскою доноситъ, что, по усиленному его приглашенію, пожертвованій на означенный предметъ поступила всего 1 копейка... Да еще испрашиваетъ въ разрѣшеніе предписанія, какъ съ оной копейкой поступить, потому-де, что почтовая контора къ пересылкѣ деньги принимаетъ лишь въ круглыхъ суммахъ!

Любезновъ былъ городокъ небольшой, но настолько опрятный, что только развѣ въ самую глухую осень, да и то не на всѣхъ его улицахъ, можно было увязнуть. Въ немъ былъ общественный банкъ, исправная пожарная команда, бульваръ на берегу рѣки Любезновки, небольшой каменный гостиный дворъ, соборъ, двѣ мощеныя улицы—однимъ словомъ, все, что можетъ веселить самое прихотливое начальническое сердце. Но главнымъ украшеніемъ города былъ городской голова. Этотъ замѣчательно дѣятельный человѣкъ цѣлыхъ пять трехлѣтій не сходилъ съ головства, и въ теченіе этого времени неуклонно задавалъ пиры губернскимъ властямъ, а мѣстнымъ—кидалъ подачки. Съ помощью этой внутренней политики онъ и самъ держался на мѣстѣ, и въ то же время содержалъ любезновское общество въ дисциплинѣ, подходящей къ ежовымъ рукавицамъ. И вотъ, быть-можетъ, благодаря этимъ послѣднимъ, въ Любезновѣ процвѣли разнообразнѣйшія мастерства, которыя сдѣлали имя этого города извѣстнымъ не только въ губерніи, но и за предѣлами ея.

Этотъ блестящій результатъ былъ, однакожъ, достигнутъ не безъ труда. Есть преданіе, что Любезновъ нѣкогда назывался Буяновымъ, и что кличка эта была ему дана именно за крайнюю необузданность его обывателей. Было будто бы такое время, когда любезновцы проводили время въ гульбѣ и праздности, и всѣ деньги, какія попадали имъ въ руки, «крамольнымъ обычаемъ» пропивали и проѣдали; когда они не токмо не оказывали начальству должныхъ знаковъ почитанія, но одного изъ своихъ градоначальниковъ продали въ рабство въ сосѣдній городъ (см. «Сѣверныя народоправства», соч. Н. И. Костомарова). Даже и до-днесь наиболѣе распространенныя въ городѣ фамильныя прозвища свидѣтельствуютъ о крамольническомъ ихъ происхожденіи. Таковы, напримѣръ, Изувѣровы, Идоловы, Строптивцевы, Вольницыны, Непройменовы и т. д. Такъ что нѣсколько странно видѣть какого-нибудь Идолова, котораго предокъ когда-то градоначальника въ рабство продалъ, а нынѣ потомокъ постепенными мѣрами до того доведенъ, что готовъ для увеселенія начальства самъ себя въ рабство задаромъ отдать.

Къ счастію для Буянова, случилось сряду четыре удачныхъ и продолжительныхъ головства, которыя и положили конецъ этой неурядицѣ. Первый изъ этихъ удачныхъ градскихъ головъ далъ городу раны, второй—скорпіоны, третій—согнулъ въ бараній рогъ, а четвертый познакомилъ съ ежовыми рукавицами. И независимо отъ этого всѣ четверо прибѣгали и къ мѣрамъ кротости, неослабно внушая приведеннымъ въ изумленіе гражданамъ, что человѣкъ рожденъ для трехъ цѣлей: во-первыхъ, дабы пребывать въ непрерывномъ трудѣ; во-вторыхъ, дабы снимать передъ начальствомъ шапку, а въ-третьихъ—лить слезы. Повторяю: результатъ оказался блестящій. Изувѣровы, вмѣсто того, чтобы заниматься «противодѣйствіями», занялись изобрѣтеніемъ perpetuum mobile, и въ ожиданіи, покуда это дѣло выгоритъ, работали самокаты и дѣлали какія-то особенныя игрушки, которыя «чуть не говорятъ». Идоловы, прекративъ «филантропіи»,- избрали спеціальностью сборку деревянныхъ часовъ, которые въ сутки показывали двое сутокъ, но и за всѣмъ тѣмъ, какъ образчикъ русской смекалки, могли служить поводомъ для размышленій о величіи Россіи. Строптивцевы, бросивъ «революціи», изобрѣли такія шкатулки, до которыхъ нельзя было дотронуться, чтобы по всему дому не пошелъ гвалтъ и звонъ; а одинъ изъ Непройменовыхъ, занявшійся торговлей муравьиными яй-

цами (для кормленія соловьевъ), до того осмѣлился, что написалъ даже диссертацію «О сравнительной плотности муравьиныхъ яицъ» и, отославъ оную въ надлежащее ученое общество (вмѣстѣ съ удостовѣреніемъ, что недоимокъ за нимъ не состоитъ), получилъ за сіе дипломъ на званіе члена-соревнователя.

И вотъ, когда городъ совсѣмъ очистился отъ крамолы и всѣ старыя недоимки уплатилъ, когда самый послѣдній изъ мѣщанъ настолько углубился въ свою спеціальность, что буйствовать стало ужъ некогда, а впору было платить дани и шапки снимать,—случилось нѣчто торжественное и чудное. Обыватели, созванные на вѣче (это было послѣднее вѣче, послѣ котораго вѣчевой колоколъ былъ потопленъ въ рѣкѣ) городскимъ головой Вольницынымъ, принесли публичное покаяніе, а затѣмъ, въ порывѣ чувствъ, единогласно постановили: просить высшее начальство, дабы имя Буянова изъ географіи Арсеньева исключить, а городъ ихній возродить къ новой жизни подъ именемъ Любезнова...

Нужно ли прибавлять, что ходатайство сіе было уважено?

Повторяю: въ 184* году Любезновъ ни о какихъ «народоправствахъ» уже не думалъ, а просто принадлежалъ къ числу городовъ, осужденныхъ радовать губернаторскія сердца. А такъ какъ времена были тогда патріархальныя, то члены губернскаго синклита частенько-таки туда ѣзжали, во-первыхъ, чтобы порадоваться на трудолюбивыхъ и ласковыхъ мѣщанъ, а во-вторыхъ, чтобы попить и поѣсть у гостепріимнаго головы. Слѣдуя общему настроенію умовъ, ѣздилъ туда и я.

Однажды пріѣзжаю прямо къ другу моему, Вальяжному, и уже на лѣстницѣ слышу, что въ городнической квартирѣ происходитъ что-то не совсѣмъ обычное. Отворяю дверь и вижу картину. Городничій стоитъ посреди передней, издавая звуки и простирая длани (съ рукоприкладствомъ или безъ онаго—завѣрить не могу), а противъ него стоитъ, прижавшись въ уголъ, довольно пожилой мужчина, въ синемъ кафтанѣ тонкаго сукна, съ виду степенный, но блѣдный и какъ бы измученный съ лица. Очевидно, это былъ одинъ изъ любезновскихъ гражданъ, который до того ужъ проштрафился, что даже голова нашелъ находящіяся въ его рукахъ мѣры кротости недостаточными и препроводилъ виновнаго на воздѣйствіе предержащей власти.

— Степанъ Степанычъ! голубчикъ!—воскликнулъ я, привѣтствуя дорогого хозяина:—а мы-то въ губерніи думаемъ,

что въ Любезновѣ даже самое слово: «расправа» упразднено!

— Да... вотъ...—сконфузился-было Вальяжный, но тотчасъ же поправился и, обращаясь къ стоявшимъ тутъ «десятникамъ», присовокупилъ:—Эй! бѣгите въ лавку за Твердолобовымъ, да судья чтобы... Въ бостончикъ!—обратился онъ ко мнѣ.

— Съ удовольствіемъ.

— Отлично. Милости просимъ! А я—вотъ только кончу!

И покуда я разоблачался (дѣло было зимой), онъ продолжалъ судъ.

— Говори: почему ты не хочешь съ женой «жить»?

Вальяжный остановился на минуту и укоризненно покачалъ головой. Подсудимый молчалъ.

— И баба-то какая... Давеча пришла... печь-печью! Да съ этакой бабой... конца-краю этакой бабѣ нѣтъ! А ты! Ахъ ты, ахъ!

Но подсудимый продолжалъ молчать.

— Да ты знаешь ли, что даже въ книгахъ сказано: «мужъ иже жены своея»...—хотѣлъ-было поучить отъ Писанія Вальяжный, но запнулся и опять произнесъ: — ахъ-ахъ-ахъ!

Мѣщанинъ продолжалъ переминаться съ-ноги-на-ногу, но на лицѣ его постепенно выступало какое-то безконечно-тоскливое выраженіе.

— Говори! Что-жъ ты не говоришь?

— Что же я, вашескородіе, скажу?

— Будешь ли «жить» съ женой какъ слѣдуетъ... какъ законъ велитъ? Говори!

Подсудимый нѣсколько секундъ помолчалъ и, наконецъ, вдругъ заметался.

— Вашескородіе! Мнѣ не токма что говорить, а даже думать... увольте меня, вашескородіе!

— А коли такъ—маршъ въ холодную! И завтра чтобы безъ разговоровъ! А будешь разговаривать — такъ вспрысну, что до новыхъ вѣниковъ не забудешь! Маршъ!

И, помахавъ (чтобъ крѣпче было) у подсудимаго подъ носомъ указательнымъ перстомъ, Вальяжный приказалъ его увести и затѣмъ, обратившись ко мнѣ, протянулъ обѣ руки и воскликнулъ:

— Ну, вотъ, вы и къ намъ! Очень радъ, очень радъ! Аннушка, чаю!

До бостона я съ полчаса спорилъ съ Вальяжнымъ. Онъ говорилъ, что «есть въ законахъ»—я говорилъ, что «нѣтъ въ законахъ». Послали за письмоводителемъ—тотъ отвѣтилъ на-двое: «самъ не видалъ, а, должно-быть, гдѣ-нибудь да есть». Аннушка, вслушавшаяся въ нашъ разговоръ, тоже склонялась въ пользу того мнѣнія, что гдѣ-нибудь да должно быть: «потому, ежели они теперича въ бракѣ, какіе же это будутъ порядки, если жена свово положенія отъ мужа получать не будетъ». Даже подоспѣвшій къ бостону судья—и тотъ сказалъ, что нужно гдѣ-нибудь въ примѣчаніяхъ поискать, потому что иногда гдѣ не чаешь, тамъ-то именно и обрѣтешь сокровище. Кончилось тѣмъ, что Вальяжный приказалъ письмоводителю къ завтраму отыскать законъ, и въ заключеніе прибавилъ:

— А ночь онъ пускай въ холодной посидитъ! Тамъ что еще окажется, а ему—наука!

Въ теченіе вечера дѣло хотя и недостаточно, но все-таки слегка для меня объяснилось. Обвиняемый былъ любезновскій мѣщанинъ, Никаноръ Сергѣевъ Изувѣровъ, имѣвшій въ городѣ лучшую игрушечную мастерскую. Человѣкъ трезвый, трудолюбивый и послушливый, онъ представлялъ собой идеалъ обывателя, какимъ ему передъ Богомъ и страшнымъ Его судомъ предстать надлежитъ. Слава объ его мастерствѣ доходила нѣкоторымъ образомъ даже до столицъ, потому что всякій заѣзжій по дѣламъ службы столичный чиновникъ или офицеръ считалъ своею обязанностью поощрить «самородка» и пріобрѣсти у него нѣсколько особенно хитрыхъ игрушечныхъ механизмовъ. Говорили, что онъ не игрушки дѣлаетъ, а «настоящихъ деревянныхъ человѣчковъ». И еще говорили, что если бы всѣхъ самородковъ, въ нѣдрахъ земли русской скрывающихся, откопать, то вышла бы такая каша, которой врагамъ Россіи и во вѣкъ бы не расхлебать.

Изувѣровъ до сорока лѣтъ прожилъ одиноко со старухой-матерью. Всецѣло углубившись въ свою спеціальность, онъ, повидимому, даже не ощущалъ потребности въ обществѣ жены; но лѣтъ пять тому назадъ старуха-мать умерла, и Изувѣрова попуталъ бѣсъ. Некому было шти сготовить, некому—заплату на штаны положить. Онъ затосковалъ и началъ-было даже попивать. Въ это время подъ руку подвернулась двадцатипятилѣтняя дѣвица Матрена Идолова, рослая, рыхлая, какъ будто нарочно созданная, чтобы горшки изъ печи ухватомъ таскать. Изувѣровъ рѣшился.

Онъ даже радовался, что у него будетъ жена сильная, печь-печью; думалъ, что при сильной бабѣ въ домѣ больше порядку будетъ. Но—увы!—Матрена съ первыхъ же шаговъ заявила наклонность не столько къ тасканію горшковъ изъ печи, сколько къ тому, чтобы мужъ велъ себя относительно ея какъ дамскій кавалеръ. И такъ какъ Никаноръ Сергѣевъ, повидимому, къ роли дамскаго угодника чувствовалъ призваніе очень слабое, то немедленно же обнаружилась полнѣйшая семейная неурядица, а подъ конецъ дѣло дошло и до разбирательства полиціи.

Разумѣется, на другой день письмоводитель доложилъ, что «въ законахъ нѣтъ». Но, кромѣ того, оказалось и еще кое-что, а именно, что даже «вспрыснуть» Изувѣрова нельзя, такъ какъ законъ на этотъ разъ гласилъ прямо, что мѣщане, яко образованные, отъ тѣлесныхъ воздѣйствій освобождаются. Поэтому Изувѣрова тогда же выпустили, а женѣ его Вальяжный объявилъ кратко: «закона нѣтъ».

Результатъ этотъ я отчасти приписываю себѣ. Конечно, я былъ тутъ орудіемъ случайнымъ и даже страдательнымъ, но все-таки, въ качествѣ чиновника изъ губерніи, въ извѣстной мѣрѣ олицетворялъ авторитетъ. Я убѣжденъ, что не наткнись я на сцену и не возбуди вопроса о томъ, есть ли въ законѣ или нѣтъ, никто (и всѣхъ меньше самъ Изувѣровъ) и не подумалъ бы объ этомъ. Никаноръ Сергѣевъ не только высидѣлъ бы въ холодной свое «положонное», но, навѣрное, былъ бы и «вспрыснутъ». Много-много, если бы Вальяжный передъ «вспрыснутіемъ» сказалъ бы: «а ну, образованный, ложись!» Это былъ бы единственный компромиссъ, который онъ допустилъ бы въ свидѣтельство, что въ городническомъ правленіи, дѣйствительно, имѣется шкапъ, въ которомъ, въ качествѣ узника, заключенъ законъ.

Къ стыду моему, я долженъ сознаться, что, очень часто слыша о необыкновенныхъ способностяхъ Изувѣрова, я до сихъ поръ еще ни разу не полюбопытствовалъ познакомиться съ произведеніями его мастерства. Поэтому теперь, когда, помимо его репутаціи, меня заинтересовала самая личность «самородка-механика», я счелъ уже своею обязанностью посѣтить его и его заведеніе.

Домикъ, въ которомъ жилъ Изувѣровъ, стоялъ въ одной изъ пригородныхъ слободъ и почти ничѣмъ не отличался отъ сосѣднихъ домовъ. Такой же чистенькій, словно подскобленный, такъ же о трехъ окнахъ и съ такимъ же ма-

ломѣрнымъ дворомъ. Вообще мастерскія и ремесленныя слободы Любезнова были распланированы и обстроены съ изумительнымъ однообразіемъ, такъ что сами граждане въ шутку говаривали: «точно у насъ каторга!» Въ домикахъ съ утра до ночи шла неусыпающая дѣятельность; всѣ работали: и взрослые, и подростки, и малолѣтки, и мужескъ и женскъ полъ; зато улицы стояли пустынныя и безмолвныя.

Я засталъ хозяина въ мастерской одного. Изувѣровъ принялъ меня съ какимъ-то робкимъ радушіемъ и показался мнѣ чрезвычайно симпатичнымъ. Лицо его, изжелта-блѣдное и слегка изнуренное, было очень привлекательно, а въ особенности пріятно смотрѣли большіе сѣрые глаза, въ которыхъ отъ времени до времени проблескивало глубоко-тоскливое чувство. Тѣло у него было совсѣмъ тщедушное, такъ что сразу было видно, что ему на роду написано: не быть исправнымъ кавалеромъ. Плечи узкія, грудь впалая, руки худыя, безволосыя, явно непривычныя къ тяжелой работѣ. Когда я вошелъ, онъ стоялъ въ одной рубахѣ за верстакомъ и суетливо заторопился надѣть армякъ, который висѣлъ возлѣ на гвоздикѣ. На верстакѣ лежала кукла, сдѣланная вчернѣ. Плѣшивая голова безъ глазъ; вмѣсто груди и живота—двѣ пустыя коробки, предназначенныя для помѣщенія механизма; деревянные остовы рукъ и ногъ съ обнаженными шалнерами.

Я, конечно, видалъ въ своей жизни великое множество разоренныхъ куколъ, но какъ-то онѣ никогда не производили на меня впечатлѣнія. Но тутъ, въ этой насыщенной «игрушечнымъ дѣломъ» атмосферѣ, меня вдругъ охватило какое-то щемящее чувство, не то чтобы грусть, а какъ бы дторопь. Точно я вошелъ въ какое-то совсѣмъ оголтѣлое царство, гдѣ все въ какой-то отупѣлой безнадежности застыло и онѣмѣло. Это послѣднее обстоятельство было въ особенности тяжко, потому что нѣмота именно заключаетъ въ себѣ что-то безнадежное. Такъ что мнѣ ужасно жалкимъ показался этотъ человѣкъ, который осужденъ проводить жизнь въ этомъ застывшемъ царствѣ, смотрѣть въ просверленные глаза, начинять всякой чепухой пустыя груди и направлять всю силу своей изобрѣтательности на то, чтобы руки, приводимыя въ движеніе замаскированнымъ механизмомъ, не стучали «по-деревянному», а плавно и мягко, какъ у ханжей и клеветниковъ, ложились на перси, слегка подправленныя тряпкой и ватой и, «для натуральности», обтянутыя лайкой.

— Какъ живете?—привѣтствовалъ я хозяина.

— Тихо-съ. Смирно у насъ здѣсь-съ. Прохоръ Петровичъ (голова) такую въ нашемъ городѣ тишину завелъ, что, кажется, кабы не стучалъ станокъ—подумалъ бы, что и самъ-то умеръ.

— Скучно?

— Не скучно-съ, а какъ будто совсѣмъ нѣтъ ничего: ни скуки, ни веселости—одна тишина-съ. Всѣ мы здѣсь на равныхъ правахъ состоимъ, точно веревка скрозь продернута. Одинъ утромъ проснулся, за веревку потянулъ—и всѣ проснулись; одинъ за станокъ сталъ—и всѣ стали. Порядокъ-съ.

— Что-жъ, это хорошо. Порядокъ и при томъ тишина,—это прежде всего. Оттого и начальники, глядя на васъ, радуются; оттого и недоимокъ на васъ нѣтъ. А при семъ весьма возможно, что и порочныя наклонности ваши, не встрѣчая питанія...

Къ счастію, я поперхнулся на этомъ словѣ, и когда откашлялся, то потерялъ нить, и такимъ образомъ учительное настроеніе какъ-то само собой оставило меня.

— Вы, сказывали мнѣ, игрушечнымъ мастерствомъ занимаетесь? И при томъ какія-то особенныя, отличнѣйшія куклы работаете?

— Хвалить себя не смѣю, а, конечно, стараюсь доходить. Весь вѣкъ промежу куколъ живешь, все молчишь, все думаешь... Думаешь да думаешь—и вдругъ-это кукла передъ тобой какъ живая стоитъ! Ну, натурально, потрафить хочется... А въ этомъ разѣ, ужъ само собой, одной тряпкой да лайкой мудрено обойтись!

— Значитъ, вы отчасти и въ скульптуру вдаетесь?

— Не знаю, сударь, какъ на это вамъ доложить. По-моему, я куклу работаю,—только, разумѣется, потрафить стараюсь. Скажемъ теперича хоть такъ: желаю я куклу-подьячаго сдѣлать—какъ съ этимъ быть? Разумѣется, можно и такъ: взялъ чурбашокъ, намѣтилъ на немъ глаза, носъ, губы, напялилъ камзолишко да штанишки—и снесъ на базаръ продавать по гривеннику за штуку. А можно и иначе. Можно такъ сдѣлать, что этотъ самый подьячій разговаривать будетъ, мимику руками разводить.

— Вотъ какъ!

— Да и это, позвольте вамъ доложить, еще не самый конецъ. И подьячіе тоже разные бываютъ. Одинъ подьячій—мздоимецъ; другой—мзды не емлетъ, но лакомству преданъ;

третій—руками впередъ безъ резону тычетъ; четвертый—только объ томъ думаетъ, какъ бы ему мужичка облагодѣтельствовать. Вотъ изволите видѣть: только четыре сорта назвалъ, а ужъ и тутъ четыре особенныя куклы понадобились.

— Такъ что если бы всѣхъ сортовъ подьячихъ въ кукольномъ видѣ представить, такъ они, пожалуй, всю мастерскую бы вашу заполонили?

— Мудренаго нѣтъ-съ. Или, напримѣръ, женскій родъ—сколько тутъ для кукольнаго дѣла матеріалу сыщется! Однѣхъ «щеголихъ» десятками не сосчитаешь, а сколько безстыжихъ, закоснѣлыхъ, оглашенныхъ, сколько такихъ, которыя всю жизнь зря мотаются и ни къ какому бездѣлью пристроить себя не могутъ! Да вотъ она-съ, извольте присмотрѣть!—вскрикнулъ онъ, указывая въ окошко:—это сосѣдка наша, госпожа Строптивцева, по улицѣ-мостовой идетъ! Мужъ у нея часовымъ мастерствомъ занимается, такъ она за него, вишь, устала, погулять вышла! Извольте взглянуть—чѣмъ не кукла-съ?

Дѣйствительно, по другой сторонѣ улицы проходила молодая женщина нѣсколько страннаго, какъ бы забвеннаго вида. Идетъ, руками машетъ, головой болтаетъ, ногами переплетаетъ. Не то чего-то ищетъ, не то припоминаетъ: чего, бишь, я ищу?

— Вотъ этакую-то куклу, да ежели сѣный секретъ какъ слѣдуетъ услѣдить—стоитъ ли за ней посидѣть, спрошу васъ, или нѣтъ? А многіе ли, позвольте спросить, изъ нашего брата, игрушечниковъ, понимаютъ это? Большая часть такъ думаетъ: насовалъ тряпки, лайкой обтянулъ да платьемъ прикрылъ—и готовъ женскій полъ! Да вотъ, позвольте-съ, у меня и образчикъ отличнѣйшій въ этомъ родѣ найдется—не угодно ли полюбопытствовать!

Онъ подошелъ къ стеклянному шкапу и вынулъ оттуда довольно большую и цѣнную куклу. Кукла представляла собой богато-убранную «новобрачную», въ кринолинѣ, въ бѣломъ атласномъ платьѣ, украшенномъ серебрянымъ шитьемъ и кружевными тряпочками. Личико у нея было восковое, съ нѣжнымъ румянчикомъ на щекахъ; глазки—фарфоровые; волосы на головѣ—желтенькіе. Съ головы до полу спускался длинный тюлевый вуаль.

— Полковникъ здѣсь у набора былъ,—объяснилъ Изувѣровъ:—такъ онъ заведеніе мое осматривалъ, а впослѣдствіи мнѣ эту куклу изъ Петербурга въ презентъ прислалъ. Какъ; сударь, по-вашему, дорого эта кукла стоитъ?

— Да рублей двадцать, двадцать-пять.

— Вотъ видите-съ. Мнѣ этакой суммы и не выговорить, а по-моему, вся ей цѣна, этой куклѣ—грошъ!

— Что такъ?

— Пустая кукла—вотъ отчего-съ. Что она есть, что нѣтъ ея—не жалко. Сейчасъ ты у нея голову разбилъ—и безъ головы хороша; платье изорвалъ—другое сшить можно. Ишь, у нея глазки-то зря болтаются! Ни она скоса взглянуть ими, ни кверху ихъ завести—ничего не можетъ. Пустая кукла—только и всего!

Въ самомъ дѣлѣ, разсмотрѣвши внимательно щегольскую петербургскую куклу, я и самъ убѣдился, что это пустая кукла. Дадутъ ее ребенку въ руки, сейчасъ же онъ у нея голову скуситъ—и подѣломъ. Однакожъ, я все-таки попытался хоть немного смягчить приговоръ Изувѣрова.

— Послушайте, да вѣдь это «новобрачная»!—сказалъ я:—чего-жъ вы хотите отъ нея?

— Ежели, вашескородіе, насчетъ ума это изволите объяснять, такъ позвольте вамъ доложить, хоть и трудно отъ «новобрачной» настоящаго ума ожидать, однако, ежели нѣтъ у нея ума, такъ хоть простота должна быть! А у этой куклы даже и простоты настоящей нѣтъ. Почему она «новобрачная»? На какой предметъ и въ какомъ градусѣ состоитъ? Какіе отвѣты она на эти вопросы можетъ дать? Что уваль-то у ней на головѣ, въ знакъ непорочности, положенъ? Такъ вѣдь его можно и снять-съ! Что тогда она будетъ?—«новобрачная» или просто пологрудая баба, которая наготою своею глаза прохожимъ людямъ застелить хочетъ?

— Да развѣ можно отъ нея отвѣтовъ требовать, коль скоро она «новобрачная»? Вѣдь она и сама, вѣроятно, о себѣ ничего сказать не сумѣетъ.

— Бываетъ съ ними, конечно, и это-съ. Бываютъ промежду ихней сестры такія, что объ чемъ ты съ ней ни заговори, она все только цѣловаться лѣзетъ... Такъ вѣдь нужно, чтобы и это было сразу понятно. Чтобы всякій, какъ только взглянулъ на нее, аткъ и сказалъ: «вотъ такъ баба... ахъ-ахъ-ахъ!» А то—натко! Нацѣпилъ уваль, и думаетъ, что дѣло сдѣлалъ! Этакія-то куклы у насъ на базарѣ по гривеннику штука продаютъ. Вонъ ихъ, чурбашковъ, сколько въ углу навалено!

— Такъ вы, значитъ, и простую куклу работаете?

— Безъ простой куклы намъ пропитаться бы нечѣмъ. А настоящую куклу я работаю, когда досугъ есть.

— И это интересуетъ васъ?

— Извѣстно, кабы не было занятно, такъ лучше бы чурбашки работать; по крайности, полтинниковъ больше въ карманѣ водилось бы. А отъ этихъ, отъ «человѣчковъ», и пользы для дому не видишь, да неровёнъ часъ и отъ тоски, пожалуй, пропадешь съ ними.

— Тоска-то съ чего же?

— Съ того самаго и тоска, что тебѣ вотъ «дойти» хочется, а дѣло показываетъ, что руки у тебя коротки. Хочется тебѣ, напримѣръ, чтобъ «подьячій»... ну, разсердился бы, что ли... а онъ, замѣсто того, только «гнѣвается»! Хочется, чтобы онъ сегодня—одно, а завтра—другое; а онъ съ утра до вечера все одну и ту же канитель твердитъ! Хочется, чтобы у «человѣчковъ» твоихъ поступки были, а они только руками машутъ!

— Еще бы вы чего захотѣли, чтобы у куколъ поступки были!

— Знаю, сударь, что умнаго въ этомъ хотѣньи мало, да вѣдь хотѣть никому не заказано—вотъ горе-то наше какое! Думаешь: сейчасъ взмахну и полечу, а «человѣчекъ»-то вцѣпился въ тебя, да и не пускаетъ. Какъ всталъ онъ на свою линію, такъ и не сходитъ съ нея. Я даже такую механику придумалъ, что людишки мои изъ лица краснѣютъ—анъ и изъ этого проку не вышло. Пустишь-это въ лицо ему карминцу, думаешь: вотъ сейчасъ онъ разсердится!—а онъ «гнѣвается», да и шабашъ! А нынче и еще фортель приспособилъ: сердца имъ въ нутро вкладывать началъ, да ужъ напередъ знаю, что и изъ этого только проформа выйдетъ одна.

И онъ показалъ мнѣ цѣлую связку крошечныхъ кукольныхъ сердецъ, изъ которыхъ на каждомъ мелкими-мелкими буквами было вырѣзано: «цѣна сему серцу Адна копек.».

— Такъ вотъ какъ поживешь этта съ ними: ума у нихъ—нѣтъ, поступковъ—нѣтъ, желаній—нѣтъ, а намѣсто всего—одна видимость, ну, и возьметъ тебя страхъ. Того гляди, зарѣжутъ. Сидишь посреди этой нѣмоты и думаешь: Господи, да куда же настоящіе-то люди попрятались?

— Ахъ, голубчикъ, да вѣдь и въ заправской-то жизни развѣ много такихъ найдется, которыхъ можно «настоящими» людьми назвать?

— Вотъ, сударь, вотъ. Это одно и смиряетъ. Взглянешь кругомъ: все-то куклы! вездѣ-то куклы! не есть конца этимъ куклам! Мучатъ, тиранятъ, въ отчаянность, въ престу-

пленіе вводятъ! Вѣрите ли, иногда думается: Господи! кабы не куклы, вѣдь десятой бы доли злыхъ дѣлъ не было противъ того, что́ теперь есть!

— Гм!.. отчасти это, пожалуй, и такъ.

— Вполнѣ вѣрно-съ. Потому настоящій человѣкъ—онъ впередъ глядитъ. Онъ и боль всякую знаетъ, и огорченіе понять можетъ, и страхъ имѣетъ. Осмотрительность въ немъ есть. А у куклы—ни страху, ни боли—ничего. Живетъ какъ забвенная, ни у ней горя, ни радости настоящей, живетъ да душу изнимаетъ—и шабашъ! Вотъ хоть бы эта самая госпожа Строптивцева, которую сейчасъ изволили видѣть,—хоть распотроши ее, ничего въ ней, окромя тряпки и прочаго кукольнаго естества, найти нельзя. А сколько она съ помощью этой тряпки злодѣяніевъ надѣлаетъ, такъ, кажется, всю жизнь ее судить, такъ и еще на цѣлую такую же жизнь останется. Такъ вотъ какъ разсудишь это порядкомъ—и смиришься-съ. Лучше, молъ, я къ своимъ деревяннымъ людишкамъ уйду, не-чѣмъ съ живыми куклами пропадать буду!

— Съ деревянными-то людишками, стало-быть, поваднѣе?

— Какъ же возможно-съ! Съ деревяннымъ «человѣчкомъ» я—какой хочу, такой разговоръ и поведу. А коли надоѣлъ, его и угомонить можно: ступай въ коробку, лежи! А живую куклу какъ ты угомонишь? она сама тебя изведетъ, сама твою душу вынетъ, всю жизнь тебѣ въ сухоту обратитъ!

Изувѣровъ высказалъ это страстно, почти съ ненавистью. Видно было, что онъ зналъ «живую куклу», что она, пожалуй, и теперь, въ эту самую минуту, невидимо изводила его, вынимала изъ него душу и скулила надъ самымъ его ухомъ.

— У насъ, сударь, въ здѣшнемъ земскомъ судѣ хорошій человѣкъ служитъ,—продолжалъ онъ:—такъ онъ, какъ ему чуточку въ голову вступитъ, сейчасъ ко мнѣ идетъ. «Изувѣровъ,—говоритъ:—исправникъ одолѣлъ: празднословитъ съ утра до вечера—смерть! Сдѣлай ты мнѣ такую куклу, чтобы я могъ съ нею, замѣсто исправника, разговаривать!»

— А любопытно было бы исправника вашей работы видѣть—есть у васъ?

— Матеріалу покуда у насъ, вашескородіе, еще не припасено, чтобы господъ исправниковъ въ кукольномъ видѣ изображать. А впрочемъ, и то сказать: невелику бы забаву и господинъ секретарь получилъ, если бы я его капризъ выполнилъ. Сегодня онъ позабавился, сердце себѣ утолилъ,

а завтра ему и опять къ той же живой куклѣ на расправу идти. Тяжело, сударь, очень даже тяжело промежду куколъ на свѣтѣ жить!

Онъ помолчалъ съ минуту, вздохнулъ и прибавилъ:

— Отецъ дьяконъ соборный не однажды говаривалъ мнѣ: «Прямой ты, Изувѣровъ, дуракъ! И отъ живыхъ людишекъ на свѣтѣ житья нѣтъ, а онъ еще доревянныхъ плодитъ!»

Изувѣровъ опять умолкъ, и на этотъ разъ, повидимому, даже усомнился, правильно ли онъ поступилъ, сообщивъ разговору философическое направленіе. Онъ застѣнчиво ходилъ около верстака и полою армяка сметалъ съ него опилки и стружки.

— А не покажете ли вы мнѣ своихъ «людишекъ»?—попросилъ я.

— Помилуйте, отчего же-съ!—отвѣтилъ онъ:—даже за честь почту-съ! Да вотъ, позвольте для начала хоть господъ «подьячихъ» вамъ отрекомендовать.

— А нутка, господинъ коллежскій асессоръ, вылѣзай!—воскликнулъ Изувѣровъ, вынимая изъ картонки куклу и становя ее на верстакъ.

Передо мною стоялъ «человѣчекъ» величиною около пяти вершковъ; лицо и части тѣла его были удовлетворительно-соразмѣрны; голова, руки и ноги свободно двигались. Типъ подьячаго былъ схваченъ положительно хорошо. Волоса на головѣ—черные, тщательно прилизанные, съ завиточками на вискахъ и съ кокомъ надъ лбомъ; лицо, вздернутое кверху, самодовольное, съ узкимъ лбомъ и выдающимися скулами; глаза маленькіе, подвижные и блудливые, съ сильнымъ бликомъ; щеки одутловатыя, отливающія желтизною и въ выдающихся мѣстахъ какъ бы натертыя кирпичикомъ (вмѣсто румянца); губы пухлыя, красныя, масляныя, точно сейчасъ послѣ принятія жирной пищи; подбородокъ бритый и порѣзанный; кой-гдѣ по лицу разсѣяны прыщи. Одѣтъ въ вицмундиръ сѣраго казинета, съ краснымъ казинетовымъ же воротникомъ, и при томъ нѣсколько страннаго покроя: съ узенькими-узенькими фалдочками, падающими почти до земли; при вицмундирѣ сѣренькіе штанишки, коротенькіе и отрепанные; карманы вездѣ глубокіе, способные вмѣстить содержаніе сумы нищаго, возвращающагося домой послѣ удачнаго сбора «кусковъ». Въ петлицѣ виситъ серебряной фольги медаль съ надписью: «за спасеніе погибающихъ». Бедра крутыя, женскаго типа; брюшко

круглое, какъ комочекъ, и весело колеблющееся, какъ будто въ немъ еще продолжаютъ трепыхаться только-что заглотанныя живьемъ куры и другая живность. Одну руку онъ утвердилъ фертомъ на бедрѣ, другую—засунулъ въ карманъ брюкъ, какъ бы нѣчто въ оный поспѣшно опуская; ноги сложилъ ножницами. Вообще всей своей фигурой онъ напоминалъ ножницы, опрокинутыя острымъ концомъ внизъ И хотя я не могъ доподлино вспомнить, гдѣ именно я эту личность видѣлъ, но несомнѣнно, что гдѣ-то она мнѣ встрѣчалась, и даже нерѣдко.

— Мздоимецъ?—спросилъ я.

— Онъ самый-съ; какъ на вашъ взглядъ-съ?

— Недуренъ. Только, признаюсь, я не совсѣмъ понимаю, зачѣмъ вы его въ сѣрый вицмундиръ одѣли, да еще съ краснымъ воротникомъ? Вѣдь такой формы, сколько мнѣ извѣстно, не существуетъ?

— Для цензуры-съ. Ежели бы я въ настоящій вицмундиръ его нарядилъ—куда бы я съ нимъ сунулся-съ? А теперь съ меня взятки гладки-съ. Такъ, какъ хочешь разумѣй, а у меня одинъ отвѣтъ: партикулярный, молъ, человѣкъ,—только и всего.

— Ну, а зачѣмъ вы его коллежскимъ асессоромъ прозвали?

— Тоже для цензуры-съ. Пріѣзжалъ ко мнѣ, позвольте вамъ доложить, въ мастерскую человѣкъ одинъ—онъ въ Петербургѣ чиновникомъ служитъ,—такъ онъ мнѣ сказывалъ, что тамъ свыше коллежскаго асессора представлять въ кукольномъ видѣ не дозволяется, а до коллежскаго асессора будто бы можно. Вотъ я съ тѣхъ поръ и поставилъ себѣ за правило эту самую норму брать.

— Правильно. Ну, такъ покажите мнѣ теперь вашего коллежскаго ассесора, какъ онъ дѣйствуетъ.

— Сейчасъ, вашескородіе. Мы ему сперва-на-перво экзаментъ учинимъ. Сказывай, коллежскій асессоръ: взятки любишь?

— Пàпп-п-пà!—вдругъ совершенно отчетливо крикнулъ «человѣчекъ».

Я даже вздрогнулъ. Какъ-то удивительно-непріятно поражалъ голосъ, которымъ были произнесены эти звуки. Точно попугай въ сосѣдней комнатѣ крикнулъ, да еще въ старозавѣтныхъ помѣщичьихъ домахъ приживалки и попадьи такимъ голосомъ говаривали, когда желали веселить своихъ благодѣтелей.

— Это значитъ: люблю-съ, — пояснилъ Изувѣровъ, и,

вновь обращаясь къ «коллежскому асессору», продолжалъ:— Большую, поди, мзду любишь?

— Пàпп-п-à!

— Такую, чтобъ ограбить? до тла чтобы?

— Пàппà! пàппà! пàппà!

Троекратно произнося этотъ возгласъ, коллежскій асессоръ выказывалъ чрезвычайное волненіе: вращалъ глазами, кивалъ головой, колыхалъ животомъ и хлопалъ руками по бедрамъ, точь-въ-точь какъ бьетъ крыльями птица, которая неожиданно налетѣла на разсыпанный кормъ. Мнѣ показалось, что даже было одно мгновеніе, когда онъ покраснѣлъ...

— Вотъ вы говорили, что ваши «человѣчки» поступковъ не имѣютъ,—сказалъ я:—а посмотрите, какой неподдѣльный восторгъ вашъ коллежскій асессоръ выказываетъ!

— То-то и есть, что не вполнѣ, вышескородіе! — возразилъ Изувѣровъ: — и руками онъ хлопаетъ, и глазами бѣгаетъ — это дѣйствительно; а въ лицѣ все-таки настоящей алчности нѣту! Вотъ у насъ въ магистратѣ секретарь служитъ, такъ тотъ, какъ взятку-то увидитъ, даже изъ себя весь помертвѣетъ! И взглядъ у него помутится, и руки затрясутся, и слюна на губахъ. Ну, а мой до этого не дошелъ-съ.

— Мнѣ кажется, что вы черезчуръ ужъ скромны, Никаноръ Сергѣичъ. По моему мнѣнію, и вашъ «подьячій»— мерзавецъ хоть куда!

— Нѣтъ, сударь, что ужъ! Дальше — лучше увидите доказательства, что не напрасно я недоволенъ имъ. А покуда позвольте мнѣ экзаментъ продолжать. — Ну, коллежскій асессоръ, сказывай! Что большую мзду ты любишь — это мы знаемъ, а какъ насчетъ малой мзды — пріемлешь?

— Пàпп... вззз...

«Человѣкъ» какъ будто спохватился и зашипѣлъ. Признаться, я подумалъ, не испортился ли въ немъ механизмъ, но Изувѣровъ поспѣшилъ разувѣрить меня.

— Это значитъ: пріемлю и малую мзду, но лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда сорвать больше нечего.—Ну, а какъ ты насчетъ того скажешь, чтобы, напримѣръ, совсѣмъ безъ мзды дѣло рѣшить?

— Ввззз...

Коллежскій асессоръ не только зашипѣлъ, но даже закружился. Лицо у него совсѣмъ налилось красною жид-

костью; глаза блудливо бѣгали въ орбитахъ. Вообще было видно, что самая идея рѣшить дѣло безъ мзды можетъ довести его до изступленія.

Даже Изувѣровъ возмутился такою наглостью и строго покачалъ головой.

— Какъ посмотрю я на тебя, мздоимецъ, — сказалъ онъ: — такъ ты жаденъ, такъ жаденъ, что, кажется, отца родного за взятку продать готовъ?

— Пàпп-пà! пàпп-пà! пàпп-пà!

— А подъ судъ за это попасть хочешь?

— Вззззз...

— Не любишь? Конечно!.. Кому подъ судъ попасть хочется! Какой ни на есть пансіонъ, хоть грошъ, а все-таки заслужить лестно! Ты, поди, ужъ и деревнюшку для себя присмотрѣлъ?

— Пàпп-пà!

— Наберешь взятковъ, женишься, уѣдешь въ вотчину, станешь дѣтокъ зоблить, крестьянъ на барщину гонять, въ праздники на крылосѣ за обѣдней подпѣвать!

— Пàпп-пà!

— И вдругъ кондрашка!?

— Вззззз...

— Не любишь?—Ничѣмъ его такъ, вашескородіе, огорчить нельзя, какъ ежели о смертномъ часѣ напомнить. Ну, ладно, коллежскій асессоръ! Покуда что, а мы тебя теперь съ однимъ человѣчкомъ сведемъ...

Изувѣровъ отыскалъ другую картонку и вынулъ оттуда «мужика».

Мужикъ былъ совсѣмъ настоящій и, повидимому, даже зажиточный. Борода длинная, съ сильною просѣдью; волосы—обильно вымазанные коровьимъ масломъ; на плечахъ — синій армякъ, подпоясанный краснымъ кушакомъ; на ногахъ — совсѣмъ новенькіе лапти. Изъ-за пазухи у него высовывались куры, гуси, утки, индюшки, поросята, а въ одномъ изъ карамановъ торчала даже цѣлая корова. Изувѣровъ поставилъ его сначала поодаль отъ коллежскаго асессора.

— Ну, что, мужичокъ, виноватъ?

— Мм-му-у!

— А коли виноватъ—становись, значитъ, на колѣнки!

Онъ поставилъ мужика на колѣни и обратилъ лицомъ къ коллежскому асессору.

— Ползи!

Мужикъ поползъ и остановился передъ мздоимцемъ. Коллежскій асессоръ сначала отвернулъ голову въ сторону, притворяясь, будто не видитъ просителя; но послѣ нѣсколько разъ повторенныхъ: «мм-му-у!» — постепенно началъ взглядывать по направленію виноватаго и, наконецъ, вдругъ плотоядно и пронзительно взвизгнулъ:

— Пàпп-пà!

И тотчасъ же вырвалъ у мужика изъ-за пазухи гуся, котораго тутъ же, при неистовомъ гоготаніи птицы, живьемъ и сожралъ.

— Кланяйся же, кланяйся, мужичокъ! — поощрялъ Изувѣровъ: — проси прощенья... вотъ такъ: виноватъ, молъ, ваше высокородіе, не буду!

— Мму-у-у! мму-у-у! мму-у-у!—твердилъ мужичокъ.

Поощренный этимъ, коллежскій асессоръ словно остервенился. Откинулся всѣмъ корпусомъ назадъ и нѣкоторое время стоялъ въ этой позѣ, какъ бы разглядывая свою жертву; потомъ началъ раскачиваться изъ стороны въ сторону, наливаясь при этомъ кровью, и наконецъ со всѣхъ ногъ бросился на мужика и принялся его теребить и грабить. Все это было продѣлано до такой степени живо, что у меня даже волосы стали дыбомъ. Мздоимецъ повытаскалъ изъ-за пазухи мужика всѣхъ курятъ, выволокъ изъ кармана за рога корову, потомъ вывороталъ другой карманъ и нашелъ тамъ свинью, которая со страху сейчасъ же опоросилась десятью поросятами, и при всякой находкѣ восклицалъ:

— Пàпп-пà! пàпп-пà! пàпп-пà!

Мужикъ же въ умиленіи вторилъ ему:

— Мм-у-у-у!

Наконецъ, мздоимецъ отцѣпился, и мужикъ, думая, что вина ему ужъ прощена, тоже началъ проворно становиться на ноги. Однакожъ, не тутъ-то было. Коллежскій асессоръ опять что-то вспомнилъ (и повидимому самое важное) и энергично замахалъ руками, указывая мужику на лапти. Мужикъ сконфузился, какъ будто его уличили въ плутнѣ; затѣмъ безпрекословно опустился на полъ и сталъ разувать онучи и лапти. Все время, покуда происходилъ процессъ разуванія, мздоимецъ внимательно слѣдилъ за виноватымъ и лукаво улыбался, какъ бы говоря: надуть хотѣлъ... негодяй! И точно: по мѣрѣ того, какъ развертывались мужиковы онучи, изъ нихъ во множествѣ сыпались бѣленькіе и желтенькіе кружочки.

— Это крестовики и полуимперіальчики-съ! — пояснилъ Изувѣровъ.

Коллежскій асессоръ остервенился вновь. Въ одно мгновеніе ока бросился онъ на виноватаго, обшарилъ съ головы до ногъ, обралъ деньги, снялъ съ мужика армякъ и даже отнялъ мѣдный гребень, висѣвшій у него на поясѣ.

— Пàпп-пà! пàпп-пà! пàпп-пà! — восклицалъ онъ въ восхищеніи.

— Мму-у-у!—вторилъ ему мужикъ.

— Ну, вотъ, теперь вставай!—рѣшилъ Изувѣровъ, становя мужика на ноги.

Мужикъ былъ сильно помятъ, но, повидимому, нимало не огорченъ. Онъ понималъ, что исполнилъ свой долгъ, и только потихоньку встряхивался.

— Доволенъ?—обратился къ нему Изувѣровъ.

— Мму-у-у!

— Ну, то-то! Теперь твое дѣло—вѣрное, и дома всѣмъ такъ говори: «теперь, молъ, меня хоть съ кашею ѣшь, хоть на куски рѣжь—мое дѣло вѣрное!» Ну-ну! добро, полѣзай опять въ картонку да обростай до будущаго раза!

Онъ ухватилъ мужика поперекъ туловища и уложилъ его обратно въ картонку.

— Этотъ мужичокъ у меня для «представленій» служитъ,—объяснилъ мнѣ Изувѣровъ:—самъ по себѣ онъ персоны не обозначаетъ, а коли-ежели силу души кому показать нужно, такъ складнѣе парня не сыскать! А засимъ позвольте, вашескородіе, попросить: не угодно ли будетъ вамъ ужъ отъ себя вопросы господину коллежскому асессору предложить?

— Какіе же вопросы?

— Что, сударь, вздумаете, то и спросите. Увидите. по крайности, какую силу онъ передъ вами выкажетъ.

— Извольте! Что бы, напримѣръ?.. Ну, напримѣръ: понимаешь ли ты, коллежскій асессоръ, какое значеніе слово «правда» имѣетъ?

Молчаніе.

— А Бога... боишься?

Молчаніе.

— Ну, что бы еще?.. На пользу ближнему послужить не прочь?

Опять и опять молчаніе. Я въ недоумѣніи взглянулъ на Изувѣрова.

— Не понимаетъ-съ,—объяснилъ онъ кратко.

— То-есть, какъ же это не понимаетъ? Кажется, вопросы не очень мудреные?

— И не мудреные, а онъ отвѣтить не можетъ. Нѣтъ у него «добродѣтельнаго» разговора — и шабашъ! Все воровство, да подлости, да грабежъ только на умѣ! Вообще, позвольте вамъ доложить, сколько я ни старался добродѣтельную куклу сдѣлать—никакъ не могу! Мерзавцевъ — сколько угодно, а что касается добродѣтели, такъ, кажется, экого слова и въ заводѣ-то въ этомъ царствѣ нѣтъ!

— Да вѣдь это, впрочемъ, и естественно. Возьмите даже живую куклу—развѣ она понимаетъ, что̀ такое добродѣтель?

— Не понимаетъ — это вѣрно-съ. Да, по крайности, она хоть лицемѣрить можетъ. Спросите-ка, напримѣръ, нашего магистратскаго секретаря: боишься ли ты Бога! — такъ онъ, пожалуй, даже въ умиленіе впадетъ! Ну, а мой коллежскій асессоръ—этого не можетъ.

— Это, я полагаю, отъ того, что, въ сущности, вашъ «коллежскій асессоръ» добродѣтельнѣе, нежели магистратскій секретарь — вотъ и все. А попробуйте-ка вы «добродѣтельные» разговоры съ точки зрѣнія лицемѣрія повести— тогда я увѣренъ, что и вашъ «мздоимецъ» не хуже магистратскаго секретаря на всякій вопросъ отвѣтитъ.

Идея эта — сама по себѣ очень простая — сдѣлать доступною для негодяя добродѣтель, обративъ ее, при посредствѣ лицемѣрія, въ подлость, повидимому, не приходала до сихъ поръ въ голову Изувѣрову. Даже и теперь онъ не сразу понялъ: какъ это такъ?—сейчасъ была добродѣтель... и вдругъ будетъ подлость! Но въ концѣ концовъ метаморфоза, разумѣется, объяснилась для него вполнѣ.

— А вѣдь я, вашескородіе, попробую! — сказалъ онъ, робко взглядывая на меня.

— Разумѣется, попробуйте! И я увѣренъ, что успѣхъ будетъ полный.

— Вѣдь я тогда, вашескородіе, пожалуй, и госпожу Строптивцеву вполнѣ сработать могу?

— Еще бы! Да вотъ, постойте: попробуемте даже сейчасъ съ вашимъ «мздоимцемъ» опытъ сдѣлать. Поставимте ему вопросъ по-новому—что̀ онъ намъ скажетъ?

И, обращаясь къ куклѣ, я формулировалъ вопросъ такъ:

— Слушай, мздоимецъ! Что ты не понимаешь, что̀ значитъ правда,—это мы знаемъ. Но если бы, напримѣръ, на пирогѣ у головы кто-нибудь разговоръ о правдѣ завелъ,

вѣдь и ты, поди, сумѣлъ бы притвориться: одною, молъ правдою и свѣтъ Божій милъ?

«Коллежскій асессоръ» взглянулъ на насъ съ недоразумѣніемъ и нѣсколько мгновеній какъ бы соображалъ, стараясь понять. И вдругъ пронзительно и радостно крикнулъ:

— Папп-па! пàпп-па! пàпп-па!

Новая кукла, «Лакомка», съ внѣшней стороны оказалась столь же удовлетворительною, какъ и «Мздоимецъ». «Лакомка» былъ «человѣкъ» неизвѣстныхъ лѣтъ, въ напудренномъ парикѣ, съ косичкою назади и букольками на вискахъ, въ костюмѣ пятиметра восемнадцатаго столѣтія, какъ ихъ изображаютъ на дешевенькихъ гравюрахъ, украшающихъ стѣны провинціальныхъ гостиницъ. Лицо полное, румяное, улыбающееся, губы сочныя, глаза съ поволокою. Одной рукой онъ зажималъ треугольную шляпу, другую — держалъ наотмашь, какъ бы посылая въ пространство воздушный поцѣлуй. Сзади него стояли ширмы, на которыхъ сусальнаго золота буквами было написано: «пріютъ слаткихъ адахнавеній»; сбоку были поставлены другія ширмы съ надписью: «вхотъ для прелесницъ». Вообще было замѣтно поползновеніе устроить такую обстановку, которая сразу указывала бы на постыдный характеръ занятій дѣйствующаго лица.

— Тоже состоитъ на службѣ?—спросилъ я.

— Помилуйте! пряжку имѣетъ-съ!

Послѣ этого предварительнаго объясненія «Лакомка», по данному знаку, учащенно замахалъ свободной рукой, то прижимая ее къ сердцу, то поднося къ губамъ. И въ то же время, какъ бы повинуясь какому-то тонкому психологическому побужденію, одну ногу поднялъ.

— Это онъ женскій полъ чуетъ! — объяснилъ мнѣ Никаноръ Сергѣичъ, покуда «Лакомка», что есть мочи, кричалъ:

— Мамм-чка! мамм-чка! мамм-чка!

Какъ бы въ отвѣтъ на этотъ призывъ, занавѣска, скрывающая «входъ для прелестницъ», заколыхалась. Я ждалъ, что вотъ-вотъ сейчасъ войдетъ какая-нибудь вѣтренная маркиза, но, къ удивленію моему, вошла... старуха!.. И не маркиза, а старая мѣщанка, въ отрепанномъ платьишкѣ, съ платкомъ на головѣ, и даже, повидимому, добродѣтельная. Лицо у нея сморщилось, глаза слезились, подбородокъ трясся, носъ выказывалъ признаки затяжного насморка, во рту не было видно ни одного зуба. Она дер-

жала въ рукахъ прошеніе и тотчасъ же бросилась на колѣни передъ «Лакомкой», какъ бы оправдываясь, что у нея ничего нѣтъ, кромѣ безплодныхъ воспоминаній о добродѣтельно проведенной жизни.

Сначала «Лакомка» какъ бы не вѣрилъ глазамъ своимъ, но потомъ ужасно разгнѣвался.

— Вззз...—шипѣлъ онъ злобно, топая ногами и изо всей силы потрясая крошечнымъ колокольчикомъ.

— Ишь, Искаріотъ, ошалѣлъ!—шепнулъ мнѣ Изувѣровъ, повидимому принимавшій въ старухѣ большое участіе. — Онъ, вашескородіе, у насъ по благотворительной части попечителемъ служитъ, такъ бабья этого нѣсть конца что къ нему валитъ. И чтобы онъ, расподлецъ, хворости или старости на помощь пришелъ—ни въ жизнь этому не бывать? Вотъ хоть бы старуха эта самая! Колькой ужъ годъ она въ богадѣльню просится, и все пользы не видать!

Покуда Изувѣровъ выражалъ свое негодованіе, на звонъ колокольчика прибѣжалъ сторожъ, и между дѣйствующими лицами произошла такъ-называемая «комическая» сцена. «Лакомка» бросился съ кулаками на сторожа, сторожъ съ тѣмъ же оружіемъ—на старуху; съ головы у старухи слетѣлъ шлыкъ, и она, обозлившись, ущипнула «Лакомку» въ жирное мѣсто. Тогда сторожъ и «Лакомка» окончательно разсвирѣпѣли и стали тузить старуху уже соединенными силами. Однимъ словомъ, вышло что-то неестественное, сумбурное и невеселое, и я былъ даже доволенъ, когда добродѣтельную старуху, наконецъ, вытолкали.

— Вззз... —потихоньку шипѣлъ «Лакомка», оправляясь передъ зеркаломъ и съ трудомъ овладѣвая охватившимъ его волненіемъ.

Мало-по-малу, однакожъ, все пришло въ порядокъ; сторожъ скрылся, а «Лакомка», успокоенный, всталъ въ прежнюю позу и вновь, что есть мочи, закричалъ:

— Мамм-чка! мамм-чка! мамм-чка!

На этотъ разъ изъ-за занавѣски показалась молодая женщина. Но такъ какъ чувство изящнаго было не особенно развито въ Изувѣровѣ, то красота вошедшей «прелестницы» отличалась какимъ-то совсѣмъ особеннымъ характеромъ. Все въ ней—и лицо, и тѣло—заплыло жиромъ; краски не то выцвѣли, не то исчезли подъ густымъ слоемъ неумытости и заспанности. Одѣта она была маркизой восемнадцатаго столѣтія, въ короткомъ платьѣ, сдѣланномъ изъ лоскутковъ старыхъ оконныхъ драпри, въ фижмахъ и почти до пояса

обнажена. Несмотря, однакожъ, на непривлекательность «прелестницы», «Лакомка» даже шляпу изъ рукъ выронилъ при видѣ ея: такъ она пришлась ему по вкусу!

— Индюшка-съ!—шепнулъ мнѣ Изувѣровъ.

Дѣйствительно, остановившись передъ «Лакомкой», «прелестница» какъ-то жалобно и съ разстановкой протянула:

— П-пля! п-пля! п-пля!

На что «Лакомка» немедленно возопилъ:

— Курлы-рлы-рлы! Кур-курлы?

Началась мимическая сцена обольщенія. Какъ ни глупа казалась «Индюшка», но и она понимала, что безъ предварительной игры ходатайство ея не будетъ уважено. А ходатайство это было такого рода, что человѣку, получающему присвоенное отъ казны содержаніе, нельзя было не призадуматься надъ нимъ. А именно — требовалось, чтобъ «Лакомка», забывъ долгъ и присягу, соединился съ внутреннимъ врагомъ, сдѣлалъ изъ подвѣдомственныхъ ему учрежденій тайное убѣжище, въ которомъ могли бы укрываться неблагонадежные элементы и оттуда безнаказанно сѣять крамолу. Понятно, что «Индюшка» должна была пустить въ ходъ всѣ доступныя ей чары, чтобы доставить торжество своему преступному замыслу.

Мы, видѣвшіе на своемъ вѣку появленіе и исчезновеніе безчисленнаго множества вольнолюбивыхъ казенныхъ вѣдомствъ,—мы ужъ настолько притупили свои чувства, что даже не понимаемъ, какимъ образомъ казенное вѣдомство можетъ превратиться въ убѣжище неблагонадежныхъ элементовъ. «Лакомка», повидимому, и самъ не вполнѣ понималъ, въ чемъ именно заключается опасность, а только смутно сознавалъ, что шагъ, который ему предстоитъ, можетъ имѣть роковыя послѣдствія для его карьеры. И подъ гнетомъ этого предчувствія потихоньку вздрагивалъ.

Сцена обольщенія продолжалась. «Индюшка» закатывала глаза, сгибала станъ, потрясала бедрами, а «Лакомка» все стоялъ, вперивъ въ нее смутный взоръ, и вздрагивалъ. Что происходило въ это время въ душѣ его? Понялъ ли онъ наконецъ? приходилъ ли въ ужасъ отъ дерзости преступной незнакомки, или же наивно обдумывалъ: сначала часокъ-другой пріятно позабавлюсь, а потомъ и отошлю со сторожемъ въ полицію на дальнѣйшее распоряженіе...

Какъ бы то ни было, но въ виду этихъ колебаній «Индюшка» рѣшилась на крайнюю мѣру: начала всею горстью скрести себѣ бедра, томно при этомъ выкрикивая:

— П-ля! п-ля! п-ля!

Тогда онъ не выдержалъ. Забывъ долгъ службы, весь въ мылѣ, онъ устремился къ обольстительницѣ и ухватилъ ее поперекъ таліи... Признаюсь, я ужасно сконфузился. «Пріютъ сладкихъ отдохновеній» находился такъ близко, что я такъ и думалъ: вотъ-вотъ сейчасъ будетъ скандалъ. Но Изувѣровъ угадалъ мои опасенія и поспѣшилъ успокоить меня.

— Не извольте опасаться, вашескородіе, недолжнаго ничего не будетъ!—сказалъ онъ въ ту минуту, когда, повидимому, ничто уже не препятствовало осуществленію крамолы.

И дѣйствительно, вдругъ откуда ни возьмись... мужикъ! Это былъ тотъ же самый мужичина, который за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ фигурировалъ у «Мздоимца»,—но какъ онъ въ короткое время обросъ! Опять на немъ былъ синій армякъ, подпоясанный краснымъ кушакомъ; опять изъ-за пазухи торчалъ цѣлый запасъ куръ, утокъ, гусей и проч., а изъ кармана, ласково мыча, высовывала рогатую голову корова; опять онучи его кипѣли млекомъ и медомъ, т. е. сребромъ и златомъ... И опять онъ былъ виноватъ!

Онъ вбѣжалъ какъ угорѣлый, бросился на колѣни и замеръ.

— Это онъ по ошибкѣ-съ!—объяснилъ Изувѣровъ:—ему опять надлежало къ «Мздоимцу» отъявиться, а онъ этажомъ ошибся, да къ «Лакомкѣ» попалъ!

И разсказалъ при этомъ анекдотъ, какъ однажды сельскій попъ, пріѣхавъ въ губернскій городъ, повезъ къ серебренику старое серебро на приданое дочери подновить, да тоже этажомъ ошибся и вмѣсто серебреника—къ секретарю консисторіи влопался.

— И такимъ родомъ воротился во-свояси уже безъ серебра,—прибавилъ Изувѣровъ въ заключеніе.

Первую минуту и «Лакомка», и «Индюшка» стояли въ оцѣпенѣніи, точно сейчасъ проснулись. Но вслѣдъ затѣмъ оба зашипѣли, бросились на мужика и начали его тузить. На шумъ прибѣжалъ, разумѣется, сторожъ и тоже сталъ направо и налѣво тузить. Опять произошла довольно грубая «комическая» сцена, въ продолженіе которой дѣйствующія лица до того перемѣшались, что начали угощать тумаками безъ разбора всякаго, кто подъ руку попадетъ. Мужика, конечно, вытолкали, но въ общей свалкѣ, къ моему удовольствію, исчезла и «Индюшка».

«Лакомка» остался одинъ и задумчиво поправлялъ передъ зеркаломъ слегка вывихнутую челюсть.

Несмотря на принятые побои, онъ, однако-жъ, не унялся, и какъ только поврежденная челюсть была вправлена, такъ сейчасъ же, и даже умильнѣе прежняго, зазѣвалъ:

— Мамм-чка! мамм-чка! мамм-чка!

Впорхнула довольно миловидная субретка (тоже по рисункамъ XVIII столѣтія), скромно сдѣлала книксенъ и, подавая «Лакомкѣ» книжку, мимикой объяснила:

— Барышня приказали кланяться и благодарить; просятъ, нѣтъ ли другой такой же книжки—почитать?

Увы! къ величайшему моему огорченію, я долженъ сказать, что на оберткѣ присланной книжки было изображено: «Сочиненія Баркова. Москва. Въ университетской типографіи. Печатано съ разрѣшенія Управы Благочинія».

Я такъ растерялся при этомъ открытіи, что даже посовѣстился узнать фамилію барышни.

Между тѣмъ «Лакомка», бережно положивъ принесенный томъ на столъ, устремился къ субреткѣ и ущипнулъ ее. Произошла мимическая сцена, по выразительности своей не уступавшая таковымъ же, устраиваемымъ на театрѣ города Маріуполя Петипа.

— Еще ничего я отъ васъ не видѣла, — говорила субретка:—а вы ужъ щиплетесь!

Тогда «Лакомка», смекнувъ, что передъ нимъ стоитъ дѣвица разсудительная, безъ потери времени вынулъ изъ шкапа банку помады и фунтъ каленыхъ орѣховъ и повергъ все это къ стопамъ субретки.

— А ежели ты будешь мнѣ соотвѣтствовать, — прибавилъ онъ тѣлодвиженіями:—то я, подобно сему, и прочія мои сокровища не замедлю въ распоряженіе твое предоставить!

«Субретка» задумалась, нѣкоторое время даже разсчитывала что-то по пальцамъ и, наконецъ, сказала:

— Ежели къ сему прибавишь еще полтинникъ, то — согласна соотвѣтствовать.

Весь этотъ разговоръ произошелъ ужасно быстро. И такъ какъ не было причины предполагать, чтобы и развязка заставила себя ждать (я видѣлъ, какъ «Лакомка» уже началъ шарить у себя въ карманахъ, отыскивая требуемую монету), то я со страхомъ помышлялъ: ну, ужъ теперь-то навѣрное скандала не миновать!

Но гнусному сластолюбцу было написано на роду обой-

тись въ этомъ день безъ «лакомства». Въ ту минуту, когда онъ простиралъ уже трепетныя руки, чтобы увлечь новую жертву своей ненасытности, за боковой кулисой послышались крики, и на сцену ворвалась цѣлая толпа женщинъ. То были старыя «Лакомкины» прелестницы. Я счелъ ихъ не меньше двадцати штукъ; всѣ онѣ были въ разнообразныхъ одеждахъ, и у каждой лежало на рукахъ по новорожденному ребенку.

— П-ля! п-ля! п-ля!—кричали онѣ разомъ.

«Лакомка» на минуту какъ бы смутился. Но сейчасъ же оправился и, обращаясь въ нашу сторону, съ гордостью произнесъ, указывая на младенцевъ:

— Таковы результаты моей попечительной дѣятельности за минувшій годъ!

Этимъ представленіе кончилось.

Послѣ этого Изувѣровъ разыгралъ передо мной еще два «представленія»: одно—подъ названіемъ «Наказанный Гордецъ», другое—«Неразсудительный Выдумщикъ», или: «Сдѣлай милость, остановись!» Я, впрочемъ, не буду въ подробности излагать здѣсь сценарій этихъ представленій, а ограничусь лишь краткимъ разсказомъ ихъ содержанія.

Пьеса «Наказанный Гордецъ» начиналась тѣмъ, что коллежскій асессоръ появился въ телѣгѣ, запряженной тройкой лихихъ лошадей, и съ чрезвычайной быстротой проскакалъ нѣсколько круговъ по верстаку. Едва въѣхалъ онъ на сцену, какъ во всю мочь заоралъ: «го-го-го!», объявилъ, что ѣдетъ на усмиреніе, и далъ ямщику тумака въ спину. На немъ было форменное пальто съ свѣтлыми пуговицами и фуражка съ кокардой на головѣ; въ лѣвой рукѣ онъ держалъ мѣшокъ съ выбитыми, по разнымъ административнымъ соображеніямъ, зубами, а правую имѣлъ въ готовности. Несмотря на захватывающую духъ ѣзду, онъ ни на минуту не переставалъ гоготать, мѣрно ударяя ямщика въ спину, вылущивая ему зубы и лишая волосъ. Наконецъ, частныя членовредительства, повидимому, показались ему мало дѣйствительными, и онъ рѣшилъ покончить съ ямщикомъ разомъ. Снялъ съ него голову и бросилъ ее въ кусты. Почуявъ свободу, лошади бѣшено рванули впередъ, и я ужъ предвидѣлъ минуту, когда телѣга и ея утлый сѣдокъ будутъ безжалостно растрепаны; но, къ счастію, станція была уже близко. Повинуясь инстинкту, лошади, какъ вкопанныя, остановились передъ станціоннымъ столбомъ и

тотчасъ же всѣ три поколѣли. Покуда «Гордецъ» скакалъ послѣднія полверсты, я замѣтилъ, что на станціонномъ дворѣ происходило какое-то чрезвычайно-суетливое движеніе; но когда тройка подскакала, и раздалось раскатистое «го-го-го!», то никто на этотъ окликъ не отвѣтилъ. «Гордецъ», закинувъ голову назадъ, ходилъ взадъ и впередъ, держа въ рукахъ часы и твердо увѣренный, что черезъ минуту новая перекладная будетъ подана. Но урочная минута прошла, и никакого движенія не проявилось. Тогда «Гордецъ» удивленно оглядѣлся кругомъ, и унылая картина предстала очамъ его...

Почтовый дворъ стоялъ одиноко въ лѣсу, и внутри его все словно умерло. Какіе-то таинственные звуки доносились со двора, не то шопотъ, не то фырканье, да слышно было, что гдѣ-то вдали, въ лѣсной чащѣ, аукается лѣшій. «Гордецъ» отлично понялъ, что тутъ кроется противодѣйствіе властямъ, и сейчасъ же бросился на розыски. Дѣйствительно, не прошло и минуты, какъ онъ вытащилъ за шиворотъ изъ потаенныхъ убѣжищъ писаря и четверыхъ ямщиковъ. И по мѣрѣ того, какъ вытаскивалъ, немедленно лишалъ ихъ жизни даже безъ допроса. Когда же лишилъ жизни послѣдняго ямщика, то вновь возопилъ: «го-го-го!», думая, что теперь-то ужъ непремѣнно выѣдетъ готовая перекладная. Однако и на этотъ окликъ никто не явился. Тогда, внѣ себя отъ гнѣва, онъ поймалъ пѣтуха и оторвалъ ему голову; потомъ, завидѣвъ бѣгущую собаку, погнался за ней, догналъ и разорвалъ на части. Но и это не помогло.

Между тѣмъ времени прошло не мало; на землю спустились сумерки, и въ глубинѣ лѣса показалось стадо голодныхъ волковъ. Впервые въ головѣ «Гордеца» блеснула мысль, что если-бъ онъ не заботился много объ огражденіи прерогативъ власти, то, вѣроятно, въ эту минуту преспокойно продолжалъ бы путь и, можетъ-быть, доѣхалъ бы ужъ до мѣста. А волки, между тѣмъ, почуявъ убіенныхъ, подходили все ближе и ближе и подняли, наконецъ, такой надрывающій душу вой, что даже вороны, облѣпившіе, въ чаяніи пира, сосѣднюю сосну, поняли, что тутъ взятки гладки, и, съ шумомъ снявшись съ дерева, полетѣли дальше.

Мракъ сгущался, волки выли, лѣсъ начиналъ гудѣть... Долго крѣпился «Гордецъ», все думалъ: «не можетъ этого быть!» — но, наконецъ, заплакалъ. Плакалъ онъ много и горько, плакалъ безнадежно, какъ человѣкъ, который неожи-

данно понялъ, сколько жестокаго, сатанински-безсмысленнаго заключаетъ въ себѣ актъ лишенія жизни. И, плача, вспоминалъ папеньку, маменьку, братцевъ, сестрицъ и горько взывалъ къ нимъ: «гдѣ вы?» Потомъ обратился мыслью къ начальникамъ и тоже вопіялъ: «гдѣ вы?» И среди этой агоніи слезъ—кощунствовалъ, говорилъ: «а вѣдь управлять и опустошать—не одно и то же!»

Но тутъ совершилось нѣчто ужасное. Стая волковъ настолько приблизилась, что совершенно заслонила собой «Гордеца». Еще минута — и на порогѣ станціоннаго дома валялась одна фуражка, украшенная кокардою...

Содержаніе «Неразсудительнаго Выдумщика» было нѣсколько сложнѣе.

Нѣкоторый коллежскій асессоръ, получивъ власть, вдругъ почему-то сообразилъ, что она дана ему не напрасно. А такъ какъ начальники, облекшіе его властью, ничего ему на этотъ счетъ не объяснили, то онъ началъ додумываться самъ. Думалъ-думалъ и, наконецъ, выдумалъ: власть дается для искорененія невѣжества. «Ужъ больше столѣтія,—сказалъ онъ себѣ: — какъ коллежскіе асессоры искореняютъ русское невѣжество, а толку все нѣтъ. Отчего? А оттого, сударь мой, что не всѣ коллежскіе асессоры въ одинаковой силѣ дѣйствуютъ. Много есть между ними мздоимцевъ, много прелюбодѣевъ, много зубосокрушителей и очень мало настоящихъ искоренителей невѣжества. Начнетъ истинный искоренитель искоренять, а невѣжество возьметъ, да за полтинникъ откупится. А надо такъ на невѣжество нажать, чтобъ ему вздоху не было, чтобъ куда оно ни сунулось— вездѣ ему матъ».

И какъ только рѣшилъ про себя «Выдумщикъ», какая ему задача предстоитъ, такъ сѣлъ за письменный столъ, да съ тѣхъ поръ и не выходитъ оттуда. Не пьетъ, не ѣстъ, не спитъ—все «неразсудительныя» выдумки выдумываетъ.

Строчитъ съ утра до вечера; но такъ какъ онъ и самъ не понимаетъ, что строчитъ, то все выходитъ у него безъ связи, вразбродъ. То вдругъ, съ большого ума, покажется: оттого въ Россіи невѣжество, что община по рукамъ и по ногамъ мужика связываетъ, — и вотъ готовъ проектъ: общину упразднить. То вдругъ мелькнетъ: оттого царствуетъ невѣжество, что въ деревняхъ хорошихъ племенныхъ жеребцовъ нѣтъ, — немедленно таковыхъ пріобрѣсти! Или вздумается: истинное основаніе русскому невѣжеству полагаютъ

кабаки— сейчасъ резолюція: кабаки закрыть, а вмѣсто оныхъ повсемѣстно открыть торговлю печатными пряниками. А наконецъ и еще: куда были бы мы просвѣщеннѣе, если-бъ мужики сѣяли на поляхъ, вмѣсто ржи, персидскую ромашку, а на огородахъ, вмѣсто рѣпы, морковь! И опять резолюція: дать знать, кому вѣдать надлежитъ, и т. д.

Но бѣда въ томъ, что невѣжество упорно. Недостаточно сказать ему: въ видахъ твоего искорененія, необходимо упразднить общину. Надо, кромѣ того, еще сдѣлать его способнымъ къ воспринятію этой истины. Иначе, пожалуй, оно и того не пойметъ, съ какой стати его невѣжествомъ зовутъ, и зачѣмъ непремѣнно понадобилось его искоренить. Какимъ же образомъ добиться, чтобы невѣжество сдѣлалось способнымъ къ воспріятію? Думалъ-думалъ коллежскій асессоръ и, наконецъ, хоть и съ болью въ сердцѣ, но пришелъ къ заключенію, что самое лучшее средство—это экзекуція! Конечно,—разсудилъ онъ самъ съ собою:—это то же самое, что въ древности называлось «пѳронцами», но вѣдь одно другого дороже: или церемониться, или достигать! Пѳронцы, такъ пѳронцы!

И вотъ, сидитъ онъ да неразсудительность свою не уставаючи тѣшитъ, а по дорогѣ солдатики въ рога трубятъ, а въ рощицѣ волостные начальники вѣники рѣжутъ, а на селѣ мужичокъ кричитъ: «вашескородіе! не буду!» Слышитъ эти крики «Выдумщикъ», но нѣкоторое время дѣлаетъ видъ, что не понимаетъ. Однако-жъ, наконецъ, и онъ видитъ, что притворяться непонимающимъ дольше нельзя. Вскочитъ, приложитъ руку къ сердцу и скажетъ въ свое оправданіе: «знаю, милые, что нынѣ вамъ больно, но надѣюсь, что впослѣдствіи вы сами поймете, сколь сіе было для васъ полезно!»

И что всего ужаснѣе—не только неподкупенъ, но и неумолимъ. Сколько разъ мужички всѣмъ міромъ ходили, хабару носили, на колѣняхъ просили,—не внемлетъ и не пріемлетъ. «Глупенькіе,—говоритъ:—стерпится—слюбится, а послѣ вы меня же благодарить будете!»

Такъ у нихъ до сихъ поръ колесомъ дѣло и идетъ. Онъ неразсудительныя выдумки выдумываетъ, они — вопіютъ: «вашескородіе! не будемъ!» Ромашку персидскую посѣяли, а клопы пуще прежняго одолѣли; о племенныхъ жеребцахъ докучали, а начальство, по недоразумѣнію, племенныхъ поросятъ прислало; кабаки закрыли — корчемщиковъ развели.

Одна только община о-сю пору цѣла стоитъ: видно, ужъ самъ Богъ ее бережетъ!

Подьячіе были исчерпаны. Только и додумался Изувѣровъ до этихъ четырехъ типовъ, да, можетъ-быть, и въ самомъ дѣлѣ только ихъ и было въ тогдашнее несложное время. Я, впрочемъ, былъ очень этому радъ. Несмотря на то, что мое посѣщеніе длилось не больше двухъ часовъ, я чувствовалъ какую-то чрезвычайную усталость. И не только физическую, но и нравственную. Какъ будто ощущеніе оголтѣнія, о которомъ я говорилъ выше, мало-по-малу заползло и въ меня самого, и все внутри у меня онѣмѣло и оскудѣло.

Я не мало на своемъ вѣку встрѣчалъ живыхъ куколъ и очень хорошо понимаю, какую отраву онѣ вносятъ въ человѣческое существованіе; но на этотъ разъ чувство нѣмоты произвело на меня такое угнетающее впечатлѣніе, что я готовъ былъ вытерпѣть безчисленное множество живыхъ куколъ, лишь бы уйти изъ міра «людишекъ». Даже госпожа Строптивцева, возвращавшаяся въ это время по улицѣ домой,—и та показалась мнѣ «умницей».

Мнѣ кажется, разгадка этого чувства угнетенности заключается въ томъ, что живыхъ куколъ мы встрѣчаемъ въ разнообразнѣйшихъ комбинаціяхъ, которыя не позволяютъ имъ всегда оставаться вполнѣ цѣльными, вѣрными своему кукольному естеству. А сверхъ того онѣ живутъ хотя и скудною, но все-таки живою жизнью, въ которой имѣются нѣкоторые, общіе людскому роду, инстинкты и вожделѣнія. Словомъ сказать—принимаютъ участіе въ общей жизненной драмѣ. Тогда какъ деревянные людишки представляются намъ какъ-то наянливо сосредоточенными, до тупости послѣдовательными и вполнѣ изолированными отъ какихъ-либо осложненій, вызываемыхъ наличностью живого инстинкта. Участвуя въ общей жизненной драмѣ, вперемежку съ другими такими же куклами, живая кукла уже по тому одному дѣйствуетъ не такъ вымогательно, что назойливость ея отчасти умѣряется разными жизненными нечаянностями. Деревянные людишки и этого отпора не встрѣчаютъ. У нихъ въ запасѣ имѣется только одна струна, но они бьютъ въ эту струну съ безпрепятственностью и регулярностью, доводящими мыслящаго зрителя до отчаянія.

Правда, Изувѣровъ утверждаетъ, что его «людишекъ» можно легко угомонить, такъ какъ живая кукла сама, де-

скать, вынетъ изъ тебя душу и заставитъ проклинать часъ твоего рожденія. Положимъ, что это и такъ; но въ такомъ случаѣ стоитъ ли интересоваться этими людишками, стоитъ ли тратить на нихъ свою жизнь? И не правъ ли былъ соборный дьяконъ, укорявшій Изувѣрова: «и отъ живыхъ людишекъ отбою на свѣтѣ нѣтъ, а ты еще деревянныхъ плодишь!»

Но, сверхъ того, ежели хорошенько вникнуть въ дѣло, то Изувѣровъ окажется неправъ и въ другомъ. Онъ слишкомъ презрительно, свысока отозвался о присланной изъ Петербурга «новобрачной», слишкомъ поспѣшилъ назвать ее «пустою» куклой. Во-первыхъ, чтобы сдѣлать такую куклу, не нужно ни задумываться, ни изобрѣтать, ни мнить себя геніемъ, а достаточно обладать нѣкоторымъ навыкомъ, имѣть подъ рукой достаточное количество тряпокъ и лайки и умѣть со вкусомъ распорядиться наружными украшеніями. А во-вторыхъ, какъ «новобрачная», эта кукла положительно не оставляетъ ничего желать. Изувѣровъ спрашиваетъ: «на какой предметъ и въ какомъ градусѣ?» Странные вопросы! Да на всякій предметъ и во всякомъ градусѣ— вотъ и все.

Природа благосклонна; люди — злѣе. Природа не допускаетъ строго-послѣдовательнаго пустоутробія; люди, напротивъ, слишкомъ охотно настаиваютъ на этой послѣдовательности. Если-бъ природа хотѣла быть до конца жестокою, она награждала бы живыхъ людишекъ тѣмъ же идіотскимъ упорствомъ побужденій и движеній, какимъ награждаетъ Изувѣровъ своихъ деревянныхъ людишекъ. Вотъ тогда было бы ужасно, ужасно, ужасно—въ полномъ смыслѣ этого слова! Ни угомонить куклу, ни уйти отъ нея нельзя! Сиди и ежемгновенно чувствуй, какъ она вынимаетъ изъ тебя душу! И не шелохнись, потому что всякій протестъ, всякое движеніе вызываетъ новую жесткость, новую невыносимую боль.

Но, можетъ-быть, жизнь ужъ и созидаетъ такихъ людишекъ? Можетъ-быть, въ тѣхъ безчисленныхъ принудительныхъ сферахъ, которыя со всѣхъ сторонъ сторожатъ человѣка, совсѣмъ не въ рѣдкость тѣ потрясающія «кукольныя комедіи», въ которыхъ живая кукла попираетъ своей пятой живого человѣка? Можетъ-быть, Изувѣровъ является совсѣмъ не изобрѣтателемъ, а только блѣднымъ копіистомъ того, что уже давно изобрѣтено жизнью?

Кто возьметъ на себя смѣлость утверждать, что это не

такъ? И кто не согласится, что изъ всѣхъ тайнъ, раскрытіе которыхъ наиболѣе интересуетъ человѣческое существованіе, «тайна куклы» есть самая существенная, самая захватывающая?

8.—Чижиково горе.

Канарейку за Чижика замужъ выдали и свадьбу на славу справили. Въ магазинѣ «Забава и Дѣло» купили новенькую кирку; за пастора ученый Снигирь былъ; Скворцы величальныя пѣсни пѣли, а для наблюденія за порядкомъ полицеймейстеръ отрядъ Копчиковъ прислалъ. Чуть не со всего лѣса птицы слетѣлись на молодыхъ поглазѣть, да и почтенныхъ гостей нашлось довольно. У Чижа былъ шаферомъ Зябликъ, у Канарейки—Соловей. Самъ Ястребъ къ невѣстѣ въ посажòные отцы набивался, но родители, подъ благовиднымъ предлогомъ, отъ этой чести уклонились и пригласили глухого Тетерева, того самаго, который еще при царѣ Горохѣ, во вниманіе къ дряхлости и потерѣ памяти, въ сенатъ посаженъ былъ.

И молодые, и родители, и поѣзжане—всѣ были, веселы. Чижикъ выступалъ гордо и предвкушалъ; Канарейка перебирала носикомъ перышки; родители думали: «ну, слава Богу, одну дочку сбыли!» А поѣзжане мечтали о той горѣ коноплянаго сѣмени, маринованныхъ комаровъ, вареныхъ въ сахарѣ мухъ и проч., которую имъ предстояло уничтожить на новосельѣ у Чижика. Только Ворона-вѣщунья безъ пути каркала: «не будетъ проку отъ этого брака! не будетъ! не будетъ! не будетъ!»

Хотя между людьми ворона и слыветъ глупою, однако птицы отлично знаютъ, что ежели она каркаетъ, то, значитъ, есть у нея на то основаніе. И точно: едва раздалось воронье карканье, какъ Кукушка первая прокуковала: «куку! какъ бы и въ самомъ дѣлѣ по-вѣщуньиному не сбылось?» А за нею слѣдомъ въ томъ же смыслѣ свиснули: Синичка, Горихвостка, Пѣночка...

И всѣ начали всматриваться въ молодыхъ, начали припоминать. Обратились къ интимной исторіи этихъ двухъ существъ, за минуту передъ тѣмъ связавшихъ другъ друга неразрывными узами; вспомнили ихъ наклонности, вкусы, привычки. И, какъ и водится, въ результатѣ вышла картина.

Чижикъ былъ малый простодушный и добрый, имѣлъ три характеристическія особенности: неприхотливость, акку-

ратность и домовитость. Сверхъ того, онъ былъ и немолодъ, хотя надежда, что, въ случаѣ чего, онъ еще можетъ за себя постоять, не покидала его. Всю жизнь онъ служилъ въ интендантскомъ вѣдомствѣ, дослужился тамъ до майорскаго чина и тамъ же образовалъ свой умъ и сердце. Взятокъ онъ не бралъ (царство хищенія кончилось), однако нелицепріятными дѣйствіями успѣлъ-таки скопить капиталецъ. Однажды ему удалось пріобрѣсти, по случаю, хорошую партію канареечнаго сѣмени, и вотъ тогда-то въ головѣ у него блеснула мысль: «женюсь на Канарейкѣ и буду жену и дѣтей канареечнымъ сѣменемъ кормить!» Отца и матери онъ, еще слѣткомъ будучи, лишился, наслѣдства никакого не получилъ, а потому охотно выставлялъ на видъ, что солиднымъ своимъ положеніемъ въ обществѣ обязанъ единственно самому себѣ. Даже ведёрко съ водой онъ выучился таскать самоучкою.

Таковъ былъ умственный и нравственный обликъ новобрачнаго. Особенныхъ поводовъ для симпатій онъ, конечно, не представлялъ, но съ легальной точки зрѣнія—это былъ обыватель, какого лучше не надо.

Въ наружности его тоже не замѣчалось ничего обольстительнаго или блестящаго; напротивъ, вся его фигура поражала несомнѣнною будничностью и заурядностью. Даже Воробьи смѣялись, какъ онъ, желая сказать дѣвицѣ комплиментъ, потряхивалъ фалдочками и пущалъ глаза въ-раскосъ. Да и комплименты выходили у него неинтересные: либо интендантскій анекдотъ разскажетъ, либо похвастается, что какъ бы дешево ни просилъ съ него извозчикъ, онъ ему всегда пятачкомъ меньше даетъ, а ежели время терпитъ, то и пѣшкомъ дойдетъ.

— И вотъ, благодареніе Богу, — обыкновенно заканчивалъ онъ:—не только себя могу прокормить, но и семью-съ.

Родителямъ такія рѣчи очень нравились, и они такъ усердно ловили его въ свои силки, что однажды чуть-было совсѣмъ не удавили. Но дочки-дѣвицы называли его «интендантскою холерою» и при появленіи его мгновенно разлетались, хотя маменьки и приказывали имъ: «рестé!» И онъ не только не оскорблялся этими дѣвичьими поступками, но даже успокаивалъ родителей, говоря:

— Ничего-съ, я привыкъ-съ. Это въ нихъ дѣвичье-съ. Когда я въ интендантскомъ вѣдомствѣ служилъ, такъ одна Трясогузочка была-съ. Ну, такая, доложу вамъ,—отдай все да и мало! И тоже на первыхъ порахъ: хи-хи, да ха-ха!

Я ей говорю: «познакомимтесь, мамзель!» а она: «ахъ, нѣтъ, вы противный!» Словомъ сказать, я за ней, она—отъ меня! Туда-сюда... настигъ-съ! И что же-съ: впослѣдствіи даже хвалила!

— Такъ вотъ вы, Иванъ Ивановичъ, какой! — шутили родители.—Чего добраго, дѣтей у васъ на сторонѣ нѣтъ ли?

— Навѣрное сказать не могу, но поручиться не смѣю-съ. Природную слабость въ свое время въ совершенствѣ выполнилъ-съ. Вообще я насчетъ этого такъ полагаю: излишествъ допускать не слѣдуетъ, но въ препорцію отчего же себѣ удовольствіе не предоставить! Я и отъ водки не отказываюсь, пью-съ; но не безъ просыпу-съ, а, какъ въ пѣснѣ поется, «по этой причинѣ-съ».

Въ послѣднее время онъ службу оставилъ. «Сытъ-съ». Прихоти у него были небольшія; да и капиталецъ, который ему Богъ на службѣ послалъ, онъ крѣпко зажалъ. Слѣдовательно, однихъ казенныхъ процентовъ ему за-глаза довольно, а ежели онъ свой капиталъ взаймы подъ вторыя закладныя раздастъ, такъ и дѣваться съ деньгами будетъ некуда-съ.

— Одёжда у меня даровая, Богомъ предназначенная,— говорилъ онъ:—ѣмъ я тоже не покупное, а Богомъ предназначенное; а ежели удовольствіе себѣ захочу доставить, такъ и это дорогого не стоитъ: спою пѣсню—вотъ и правъ-съ! Слѣдственно, покуда есть на свѣтѣ мухи, пауки, червяки и другая подобная снѣдь, и покуда я въ силахъ ловить, я обезпеченъ-съ. Ежели же силы меня оставятъ, тогда придется помереть. Что же такое-съ! И съ прочими птицами завсегда такъ бываетъ-съ!

Но ежели и на службѣ онъ ни о чемъ съ такимъ удовольствіемъ не мечталъ, какъ о семейномъ очагѣ, о самоварѣ, халатѣ, двуспальной кровати и другихъ идеалахъ семейнаго счастія, выработавшихся въ интендантскомъ вѣдомствѣ («что такое безсемейный Чижъ?—разсуждалъ онъ:—медицинскій терминъ, и больше ничего-съ!»), то, по выходѣ въ отставку, эта мысль начала угнетать его съ каждымъ днемъ все больше и больше. И вотъ, намѣтивши желтенькую Канарейку, онъ надѣлъ мундиръ, прицѣнилъ шпоры (все это онъ при отставкѣ, «въ воздаяніе», получилъ) и отправился къ родителямъ своей суженой рекомендоваться въ качествѣ жениха.

Въ первый разъ въ жизни восторгъ овладѣлъ его сердцемъ, въ первый разъ въ жизни онъ пропѣлъ: «По улицѣ мосто-

вой»—и не сфальшивилъ! Страсть къ красавицѣ-Канарейкѣ до такой степени овладѣла всѣми его помыслами, что онъ, вопреки своей обычной осмотрительности, пренебрегъ даже справиться, что̀ за птица была его невѣста, и есть ли за нею какое-нибудь приданое.

А это было, пожалуй, не лишнимъ, потому что невѣста была барышня свѣтская и образованная. Любила пожеманиться, принарядиться, пѣла: «*Si vous n'avez rien à me dire*», играла на органчикѣ: «*Le Ruisseau*» и скучала, ежели около нея кавалеровъ не было. Можетъ-быть, она и добрая была, да некогда ей было объ этомъ подумать. То новые фасоны изъ магазина привезутъ, то юнкера къ братцу въ гости прилетятъ. Такъ, промежъ дѣлъ, доброты своей и не разсмотрѣла.

— Барышня, можно у васъ ножку поцѣловать?—приставали къ ней юнкера.

— Ахъ, какіе вы... ну, цѣлуйте!

Только и всего.

И родители у нея были свѣтскіе и тоже безъ гостей скучали. Папаша въ Канареечной губерніи пять трехлѣтій предводителемъ прослужилъ, четыре наслѣдства спустилъ, съ годъ тому назадъ послѣднее выкупное свидѣтельство проѣлъ, а теперь жилъ финансовыми операціями и до того изловчился, что отъ извозчиковъ черезъ проходныя ворота улепетывалъ. Что касается до мамаши, то она какъ смолоду канарейкой была, такъ и подъ старость канарейкой осталась. Прыгала съ жердочки на жердочку, высматривала, нѣтъ ли гдѣ кавалеровъ, и съ благодарностью вспоминала, какъ она, будучи предводительшею, писаные пряники ѣла, а Павлинъ-губернаторъ, завидѣвъ ее, хвостъ распускалъ. Въ этомъ же духѣ она и старшенькую дочь свою воспитала.

— Я мою дѣвочку на высшіе курсы не посылаю,—сказала она Чижику, когда онъ посватался:—по-моему, умѣла бы дѣвушка по-французски, да съ жердочки на жердочку прыгать, да одѣться къ лицу, да гостей занять — вотъ и все, что̀ для счастья женщины нужно!

— И хорошо сдѣлали, сударыня, что дѣвицу вашу въ страхѣ Божіемъ воспитали,—согласился Чижикъ.—Мужескому полу, дѣйствительно, необходимо географію знать, потому что, неровенъ часъ, начальство приказываетъ летѣть, а куда—неизвѣстно! А дѣвицу всякій кавалеръ съ удовольствіемъ проводитъ. Лишь бы не заблудиться-съ.

— Ахъ, нѣтъ, на этотъ счетъ вы можете быть покойны,

майоръ! У меня такая дочка умница, что ежели даже съ уланомъ въ дремучій лѣсъ попадетъ, то и тогда вотъ ни съ-эстолько себя не повредитъ.

— Дай Богъ-съ!

Кромѣ этихъ трехъ личностей, въ семьѣ была еще младшая дочь и два сына. Младшая дочь скорѣе на новорожденнаго галчонка, чѣмъ на канарейку (такъ ее и по имени звали: Галочка (Галина), а старшую дочь звали Прозерпиночкой), похожа была, и потому домашніе смотрѣли на нее, какъ на Сандрильону. Но она была дѣвушка добрая, преданная семьѣ и бодрая, и несмотря на то, что ею, какъ горничной, помыкали и каждымъ кускомъ попрекали, горячо любила и родителей, и сестру, и братьевъ. Объ одномъ только потихоньку плакала, что заботы по дому не позволяютъ ей на высшіе курсы ходить; что касается братьевъ, то старшій служилъ юнкеромъ въ уланскомъ полку и никакъ не могъ сдать экзаменъ изъ Закона Божія, а младшій ходилъ въ гимназію и не понималъ, затѣмъ начальству понадобилось, чтобы онъ греческій языкъ зналъ.

— Ну, на кой мнѣ, маменька, чортъ этотъ остолопій языкъ?—жаловался онъ мамашѣ своей.—Ну, латинскій—это я еще понимаю. „*Mons, parturiens mus...*“ *mus, muris... mons, montis... parturio, parturivi, parturire...* допустимъ! Рецептъ написать, цитату; въ передовую статью подпустить—готово! Но греческій... ну, зачѣмъ, спрашиваю я васъ, мнѣ греческій языкъ!

— Можетъ-быть, для поведенія?—догадывалась мать.

— Ахъ, маменька!

Цѣлый день въ этомъ домѣ шла суматоха и хлѣбосольство, цѣлый день гости. Съ жердочки на жердочку прыгаютъ, на органчикѣ играютъ, пѣсни поютъ. Канареечное сѣмя, цытварное, хлѣбъ въ молокѣ моченый, яичные желтки протертые—со стола не сходятъ, а между тѣмъ въ мелочную лавочку полгода по счету не плачено. Перевертывается старый Кенарь, словно вьюнъ на сковородѣ, придумывая, какъ ему деньгами раздобыться. Каждое утро только и дѣлаетъ, что по пріятелямъ летаетъ; одному скажетъ, что у него тетка на-дняхъ померла, такъ надо денегъ, чтобъ наслѣдство получить; другому скажетъ, что у него въ занадѣльной землѣ каменный уголь проявился, а достать его безъ капитала нельзя; третьему просто-напросто объявитъ, что деньги до зарѣзу нужны. А иногда подойдетъ къ кому-нибудь изъ гостей-юнкеровъ и скажетъ: «нѣтъ ли у васъ,

молодой человѣкъ, двугривеннаго, я вамъ завтра съ благодарностью отдамъ». И давали. Но зато и жуировали. Прилетятъ уланы-юнкера, прижмутъ Прозерпиночку къ уголку и крутятъ усы. А бѣдная Галочка видитъ, какой опасности сестрица подвергается, и заливается-плачетъ.

Такова была семья, въ которую вознамѣрился вступить Чижикъ. Всѣ сосѣди знали, что старый Кенарь до-тла прогорѣлъ, что старую Канарейку на-дняхъ еще видѣли, какъ она въ кустахъ съ Дроздомъ-ростовщикомъ шушукалась, что сама Прозерпиночка, подъ предлогомъ уроковъ пѣнія, къ Соловью летала, а потомъ будто бы жировое яичко снесла... Но Чижикъ словно ослѣпъ и оглохъ. Заручившись родительскимъ согласіемъ, онъ восторженно перелеталъ съ дерева на дерево, подстерегая, какъ его красотка-невѣста въ корытцѣ купается, и когда успѣвалъ подстеречь, то пѣлъ. Пѣлъ фальшиво и неистово, но—увы!—это былъ единственно-доступный для него способъ возблагодарить Творца за оказанныя ему въ сей жизни благодѣянія.

— Чувствую и знаю,—пѣлъ онъ:—что не по чину мнѣ милость сія, но потщусь заслужить оную въ будущемъ!

Впрочемъ, къ чести Прозерпиночки надо сказать, что она, будучи невѣстой, нимало не скрывала отъ Чижика своего равнодушія. Когда родители объявили ей, что майоръ сдѣлалъ ей честь, и что они уже заранѣе изъявили согласіе, она тутъ же залилась звонкимъ смѣхомъ и сказала:

— Ахъ, maman, посмотрите, какой онъ уморительный!

И затѣмъ, когда родители съ намѣреніемъ оставили ихъ вдвоемъ, чтобы они поближе другъ друга узнали, у нихъ, вмѣсто комплиментовъ, завязался довольно-таки откровенный разговоръ:

— Вы скупой?—спросила его Прозерпиночка.

— Я не скупъ, а бережливъ-съ,—отвѣтилъ Чижикъ.—Я такъ полагаю: зачѣмъ деньги зря бросать, коли можно своими средствами обойтись? Но для васъ, чтобы вамъ удовольствіе сдѣлать, я и бережливость свою готовъ оставить-съ.

Высказавши это, майоръ любезно шаркнулъ ножкой, но—увы!—поступокъ этотъ не только не тронулъ Прозерпиночку, но, напротивъ, пробудилъ въ ней новый взрывъ веселости.

— Ахъ, какъ вы уморительно ножкой шаркаете! Шаркните еще, еще... вотъ такъ! Ха-ха! Что же вы дома ѣдите? Гадость какую-нибудь?

— Самъ я ѣмъ пищу, Богомъ предназначенную. Простую, но здоровую. А для васъ я канареечное сѣмя предоставлю-съ.

— Ахъ, нѣтъ, я салатъ больше люблю!

— И салатцу достать не диковинка-съ. Слетаю утречкомъ въ огородъ и нащиплю по секрету-съ. Другому бы это большихъ денегъ стоило, а я для васъ и задаромъ спроворю!

— Ну, а какой же вы мнѣ подарокъ сдѣлаете? Недавно вотъ изъ Парижа новые фасоны манжетокъ прислали... подарите-ка! а?

— Съ превеликимъ моимъ удовольствіемъ-съ. Сегодня же Пауку закажу, чтобъ завтра чуть-свѣтъ были готовы.

— Да, но вѣдь такія манжетки дороги...

— Не извольте безпокоиться-съ! Придетъ ко мнѣ ужо Паукъ за деньгами, а я его съѣмъ-съ. Вотъ мы и будемъ квиты.

— Ха-ха! какой вы уморительный!

Такъ и пошло у нихъ: нѣтъ, чтобы сказать жениху «миленькій» или «душечка»,—«уморительный» и больше ничего. И чѣмъ дальше, тѣмъ невѣста дѣлалась развязнѣе и развязнѣе. Съ женихомъ почти вовсе не занималась, а окружала себя юнкерами и гимназистами и самымъ безсовѣстнымъ манеромъ шушукалась съ ними.

— Знаете ли, майоръ, что мнѣ про васъ разсказывали,— говорила она ему въ упоръ:—что вы въ послѣднюю войну армію и флотъ гнилыми сухарями кормили?

Онъ конфузился, но не опровергалъ; потому что хоть и не завѣдывалъ онъ сухарями, но все-таки былъ за нимъ грѣхъ: для лошадей сѣно со всячинкой заготовлялъ. А это, пожалуй, похуже гнилыхъ сухарей будетъ, потому что солдатъ—онъ пожаловаться можетъ, а у лошади и словъ-то для жалобы нѣтъ.

Ахъ, нехорошо онъ тогда поступалъ!

Иногда Прозерпиночка даже прямо всей компаніей надъ нимъ насмѣхалась. Задумаютъ, напримѣръ, молодые люди въ горѣлки играть, а онъ, постылый, тутъ же торчитъ. Вотъ и заставятъ его горѣть, да глаза вдобавокъ завяжутъ: лови! Бросится онъ стремглавъ впередъ, крылья распуститъ, летитъ,—а она съ подружками да съ юнкерами—въ кусты. Выглядываютъ оттуда и кричатъ: «лови, майоръ, лови!»— покуда онъ сразмаху о сосну грудью не треснется.

На первыхъ порахъ старая Канарейка побаивалась, какъ

бы майоръ не обидѣлся, и отъ времени до времени даже покрикивала на дочь: «финиссе!» Но когда убѣдилась, что съ майора какъ съ гуся вода, то махнула рукой и только каждый вечеръ аккуратно обращалась къ жениху: «нѣтъ ли у васъ, майоръ, цѣлковаго? Мы вамъ завтра съ удовольствіемъ отдадимъ».

Одна только Галочка жалѣла бѣднаго Чижика, и кто знаетъ, не участвовало ли въ этомъ жалѣніи болѣе сладкое чувство... По крайней мѣрѣ однажды, поздно вечеромъ, когда майоръ, лѣниво шевеля крыльями, возвращался восвояси, Галочка обогнала его.

— Ну, къ лицу ли вамъ такую красотку любить?—сказала она ему.—Женитесь-ка лучше на мнѣ. Я васъ вотъ какъ покоить буду.

Но онъ словно одеревенѣлъ. Даже не выслушалъ порядкомъ Галочкиныхъ словъ и грубо отвѣтилъ:

— Кабы я на Галкѣ жениться хотѣлъ, то Галку бы и сваталъ за себя. А такъ какъ я къ сестрицѣ вашей присватался, то, стало-быть, съ ней и кругъ дѣйствія совершить желаю-съ.

Впрочемъ, нельзя сказать, чтобъ онъ ужъ совсѣмъ ничего не понималъ. Напротивъ, онъ очень многое и очень тонко понималъ. Но въ то же время онъ ясно видѣлъ, что пропалъ, и судьба его рѣшена безповоротно навсегда. Почему навсегда, — онъ не могъ себѣ дать въ этомъ отчета, а только одно твердилъ: «безповоротно, навсегда!»

И вотъ онъ женился. Послѣ свадьбы цѣлый вечеръ бражничали, такъ что и вечерняя заря ужъ съ часъ назадъ потухла, когда Чижикъ собрался на гнѣздышко съ молодою женой. Хорошо ему было, дивно! Теплая ночь благоухала; звѣзды въ темной синевѣ неба, какъ алмазы, играли, а онъ, Чижикъ, весь горѣлъ! Восторгъ катился по жиламъ его, дивный, опьяняющій восторгъ! Не то пѣть ему хотѣлось, не то рыдать, но въ то же время какая-то чуткая деликатность заставляла его сдерживать свои порывы. Сама Прозерпиночка, казалось, подчинилась обаянію этой страсти. Она томно закрыла глазки и, сладко вздрагивая, клюнула его носикомъ въ темячко... Но въ эту самую минуту вдругъ мимо чижикова дупла пронеслась пьяная процессія. Это были братцы въ сопровожденіи цѣлой оравы товарищей; они съ гиканьемъ и свистомъ гремѣли пѣсню: «Мальбругъ въ походъ поѣхалъ...» Заслышавъ эти звуки, молодая мгновенно переродилась. Въ ночномъ дезабильѐ выбѣжала она

на край дупла и вплоть до позднихъ пѣтуховъ прохохотала съ юнкерами. Чижикъ, одѣвшись въ мундиръ, стоялъ позади молодой жены и тоже старался веселиться. Но—увы!—онъ скоро убѣдился, что въ майорскомъ чинѣ веселость уже не къ лицу. Какъ онъ ни нудилъ себя, но чинъ, въ соединеніи съ преклоннымъ возрастомъ, взяли-таки свое. Глаза его сомкнулись сами собой, а черезъ минуту громкое сопѣніе наполнило всю внутренность дупла. Даже послѣдовавшій затѣмъ взрывъ смѣха не разбудилъ его. Такъ, въ мундирѣ, застегнутомъ на всѣ пуговицы, онъ и проспалъ свою медовую ночь.

Съ этой минуты онъ окончательно погибъ въ глазахъ молодой жены.

Когда онъ проснулся,—хотя это было еще очень рано,—Прозерпиночки ужъ и слѣдъ простылъ. Чечоточка-дѣвушка, которую онъ для прислуги нанялъ, доложила, что *барышня* къ мамашѣ улетѣли, и будутъ ли дома кушать, или нѣтъ—неизвѣстно. «Барышня»!—это слово точно кипяткомъ его ошпарило!

Онъ выглянулъ изъ дупла и прыгнулъ на ближайшій сучокъ. Кругомъ царствовала мертвая тишина, которая предшествуетъ пробужденію и во время которой вся природа представляется какъ бы не живущею. Птицы еще не проснулись; даже листья на деревьяхъ не трепетали. Но востокъ уже алѣлъ, и майору показалось, что розоперстая Аврора, иронически привѣтствуя его, дѣлаетъ ему носъ. Очевидно, въ эту ночь въ его существованіи совершилось нѣчто важное, ложившееся на все его будущее неизгладимымъ темнымъ пятномъ; что ему предстояло выполнить какой-то долгъ,—весьма, впрочемъ, незатруднительный и всякому Чижу свойственный,—но онъ, какъ рабъ лѣнивый и лукавый, этотъ долгъ не осуществилъ...

Приступивъ къ всестороннему обсужденію своего положенія, онъ прежде всего слукавилъ. Или, говоря словами науки, началъ разсматривать дѣло съ точки зрѣнія причинъ, его породившихъ. По зависящимъ ли отъ него причинамъ онъ не осуществилъ своего долга, или по независящимъ? «Кабы я былъ этому дѣлу причиненъ, — говорилъ онъ себѣ:—ну, тогда точно! Хоть голову съ меня снимите, ежели я виноватъ,—слова не скажу! А то никакой съ моей стороны причины нѣтъ—и натко что сдѣлалось!» Но едва онъ придумалъ этотъ изворотъ, какъ тотчасъ же понялъ тщету его. Есть факты, относительно которыхъ законъ при-

чинности не допускается. Они должны быть осуществлены *неупустительно,* и никакая логомахія не возсоздастъ того, что *должно. было быть* и чего *не было.* Нѣтъ для него оправданій! Нѣтъ! Ни одинъ молодой мужъ, ни одна любящая мать, ни одинъ судъ присяжныхъ, ниже коронный судъ—никакого другого приговора ему не вынесутъ, кромѣ словъ: «срамъ! срамъ! срамъ!»

Онъ долженъ былъ отразить нападеніе пьяной ватаги; онъ долженъ былъ сдѣлать свое гнѣздо неприступнымъ, долженъ былъ грудью защищать свое право на осуществленіе «долга», вступить, во имя долга, въ кровавый бой... Qu'il mourût!

— Срамъ-съ!—повторилъ онъ автоматически и автоматически же, не снимая мундира, растрепанный, съ тощимъ желудкомъ, полетѣлъ *туда!*

Старая Канарейка уже проснулась и сидѣла злая-презлая. Кромѣ того, что съ ея Прозерпиночкой случился такой «срамъ», ночью прилетѣла къ ней въ гости изъ-за тридевять земель Канарейка-кузина и въ-конецъ растравила ее своими разсказами. Она тоже выдала свою Милочку замужъ за Снигиря; но... какая разница! какая разница!

— Такъ Милочку мужъ любитъ!—говоритъ гостья:—такъ любитъ... C'est tout un poème! Представь себѣ...

Гостья склонялась къ уху кузины, шептала ей нѣчто и съ радостнымъ ужасомъ откидывалась назадъ, повторяя:

— Но представь себѣ удивленіе моей цыпочки!!!

А старая Канарейка слушала и злобно скрипѣла носикомъ.

— Ну, дай Богъ Милочкѣ... дай Богъ!—шептала она:—а вотъ мы... Кому счастье, а намъ... Твою Милочку мужъ вонъ какъ обрадовалъ, а у насъ... Кого другого, а Прозерпиночку мою, кажется, ужъ обглодкомъ назвать нельзя... И полненькая, и рѣзвенькая... и щечки, и гоудка... И что-жъ! даже вниманія, мерзавецъ, не обратилъ!

— Est-ce possible?!

Въ эту самую минуту явился Чижикъ. И только-что хотѣлъ принести оправданіе, какъ огорченная теща, указывая на дверь, закричала:

— Сортé! Срамъ, сударь! Срамъ! срамъ! срамъ!

А за нею, словно эхо, и кузина повторила:

— Срамъ! Срамъ! срамъ!

Оглушенный, онъ хотѣлъ летѣть, куда глаза глядятъ, но у него даже крылья какъ будто перешибло. Онъ пошелъ по дорожкѣ, направляясь къ своему дуплу и думая скрыть

въ немъ свой срамъ; но птицы уже проснулись и все знали. И хотя ни одна ему ничего «подходящаго» въ глаза не говорила, а нѣкоторыя даже подлетали и поздравляли, но онъ совершенно ясно видѣлъ, что у всѣхъ въ глазахъ было написано:

— Срамъ! срамъ! срамъ!

Къ вечеру однако же Прозерпиночка воротилась, но, не сказавши: «бонжуръ», прямо пролетѣла въ свое гнѣздышко.

— Милая! миленькая! ангельчикъ!—свистнулъ ей вслѣдъ майоръ, и такъ жалобно, что Чечоточка, хоть и изъ простого званія птичка, а прослезилась.

Но Прозерпиночка не отвѣтила ни однимъ звукомъ, и Чижикъ слышалъ только, какъ она лапками раздвигала въ гнѣздышкѣ пухъ, устраивая себѣ на ночь постельку.

— Супруга, Богомъ мнѣ данная!—не свистнулъ, а какъ-то взвылъ майоръ и залился слезами.

Но и на этотъ призывъ Прозерпиночка промолчала. Онъ подошелъ къ ея постелькѣ и склонился надъ нею; но она уже спала или, скорѣе всего, притворялась спящею.

И эту ночь пришлось майору провести въ одиночествѣ. Мундиръ, конечно, онъ снялъ, но брюки снять не рѣшался, чтобы не сконфузить Прозерпиночку. А на другое утро, какъ ни рано онъ проснулся, Прозерпиночки уже не было: опять улетѣла къ родителямъ.

Майорскій мартирологъ начался.

Въ продолженіе цѣлаго мѣсяца молодая жена ни однимъ словомъ съ нимъ не перемолвилась. Каждый вечеръ прилетала она въ Чижиково дупло, укладывалась въ гнѣздышкѣ и каждое утро исчезала такъ таинственно и проворно, что майоръ никакъ ее не могъ подстеречь. Раза четыре въ теченіе этого времени прилетала она въ сопровожденіи ватаги юнкеровъ и гимназистовъ, призывала Чечоточку и заказывала ей богатый ужинъ. Но и она, и ея собутыльники самымъ наглымъ образомъ пили и ѣли на глазахъ у Чужика и ни разу даже спасибо ему не сказали, точно онъ былъ не хозяинъ своего дупла, а сторожъ при немъ. Въ женіномъ семействѣ майора иначе не звали, какъ «мерзавцемъ».

— А «мерзавецъ»-то опять выигрышный билетъ купилъ!—сообщала старая Канарейка загостившейся кузинѣ.

Или:

— Скоро, кажется, «мерзавецъ» съ ума сойдетъ. Задумываться началъ!

Одинъ старый Кенарь (тесть) отъ времени до времени посѣщалъ майора, утѣшалъ его и даже обѣщалъ высѣчь Прозерпиночку; но обѣщанія не выполнилъ, а только выманилъ у зятя цѣлую уйму двугривенныхъ.

Прошелъ и еще мѣсяцъ. Отношенія Прозерпиночки къ майору нѣсколько измѣнились, но не къ лучшему. Канарейка постепенно вошла въ свою роль, обнаглѣла. Она уже не разыгрывала молчальницу, но обращала къ Чижику свою рѣчь такимъ тономъ, какимъ должна говорить королева съ какимъ-нибудь безвѣстнымъ дворцовымъ истопникомъ.

— Денегъ надо,—говорила она.

— Сколько-съ?

— Не «сколько», а давайте!

Ни сколько, ни на какой предметъ—молчокъ. Можетъ-быть, она поступала такъ съ умысломъ, желая повредить Чижику душу; но, можетъ-быть, и безъ умысла, «такъ». Душа Канарейки—потемки, и ни одинъ мудрецъ не разберетъ, гдѣ въ ней кончается граціозное порханіе мысли, и гдѣ начинается мучительство. Какъ бы то ни было, Чижикъ не прекословилъ. Онъ уходилъ на минуту въ заднее отдѣленіе дупла и дрожащими руками выносилъ оттуда свою копилку. И покуда она зря черпала въ розсыпи серебряныхъ пятачковъ и какъ-то странно при этомъ улыбалась, онъ чувствовалъ, что у него душу вынимаютъ. Не потому, чтобы онъ былъ скупъ, а потому, что отъ природы имѣлъ потребность во всякое время знать состояніе своей кассы въ точности.

Ограбивши мужнину кассу, она улетала, а черезъ часъ онъ уже видѣлъ и результаты произведеннаго грабежа. Прозерпиночка, во главѣ цѣлаго косяка уланъ и свѣтскихъ дамъ полулегкаго поведенія, съ шумомъ и пѣснями пролетала мимо и садилась на ближайшую поляну. Тамъ устраивался, на Чижиковъ счетъ, веселый пикникъ, и вся ватага, вплоть до вечерней зари, кутила, пѣла, водила хороводы и по временамъ разлеталась въ кусты для отдохновенія.

Однажды вечеромъ Прозерпиночка прилетѣла домой въ необыкновенно-возбужденномъ состояніи. Летала по дуплу («чуть грудочку себѣ не расшибла!»), кружилась, пѣла, смѣялась, плакала... Майоръ смотрѣлъ на нее сначала испуганно, но потомъ вдругъ умилился. Его голову озарила несчастная мысль, что Прозерпиночкино сердце раствори-

лось, что испытаніямъ его наступилъ конецъ, что она сама идетъ къ нему навстрѣчу... идетъ для того, чтобъ упоить его блаженствомъ, блаженствомъ, блаженствомъ безъ конца! Сладкое и въ то же время жгучее волненіе овладѣло всѣмъ его существомъ и пробудило въ немъ смѣлость, не всякому интендантскому майору свойственную. Въ чаду страсти онъ тихонько подкрался къ Прозерпиночкѣ, въ ту минуту, когда она, вперивши глаза въ темное пространство, стояла у входа, и тихонько стукнулъ ее носикомъ въ темячко.

— Дуракъ!—крикнула она ему въ упоръ и, уклонившись отъ его объятій, порхнула вонъ изъ дупла.

Это былъ съ ея стороны очень рѣшительный шагъ. До тѣхъ поръ она улетала днемъ, теперь—улетѣла ночью!

На другое утро она, однако, вернулась; но цѣлый день скучала, плакала, нигдѣ мѣста себѣ найти не могла. А вечеромъ, едва майоръ засопѣлъ, опять улетѣла.

Такъ продолжалось цѣлыхъ двѣ недѣли. Ночью—таинственное исчезновеніе, днемъ—истерика, слезы. Майоръ весь изстрадался, ходилъ за ней по пятамъ, держа въ носикѣ, на случай дурноты, ведёрочко съ водой, и слезно убѣждалъ:

— Выкушай водицы! Откройся мнѣ! Ну, не какъ мужу—увы!—я этого счастья не заслужилъ!—какъ отцу, какъ брату. Кто тебя, мою пичужечку, обидѣлъ?

— Дуракъ!...

Наконецъ, она не возвратилась совсѣмъ. Ждалъ майоръ день, ждалъ другой и рѣшился... ждать безъ конца. Тяжкое время для него настало, время полнаго одиночества. Жена бросила; родственники, не предупредивши ни словомъ, скрылись,—должно-быть, и впрямь старый Кенарь послѣ тетки наслѣдство получилъ,—а прочимъ птицамъ ему было совѣстно въ глаза смотрѣть, потому что онъ все-таки не смылъ своего позора, не оправдалъ себя. Даже дѣвушка-Чечоточка, и та разсчету потребовала и гдѣ-то на чердакѣ съ Воробьемъ гнѣздо свила.

До сихъ поръ у него хоть страданія были, страданія жгучія, острыя, которыя давали ему возможность метаться отъ боли, проклинать... и надѣяться; теперь страданія остались, но приняли тупую форму, которая сковывала его движенія, парализировала волю и наполняла будущее безразсвѣтнымъ мракомъ...

Между тѣмъ наступила осень; птицы усиленно захлопотали около гнѣздъ; онъ одинъ ничего не предпринималъ,

не рѣшаясь, летѣть ли на теплыя воды, или остаться на родинѣ. Полились дожди, задули холодные вѣтры; роща обнажилась и тоскливо шумѣла; ночи сдѣлались долгія, темныя. А онъ цѣлыя ночи напролетъ, голодный и холодный, просиживалъ, не смыкаючи очей, у входа своего неухиченнаго дупла и ждалъ. Сколько разъ хищная Сова пролетала мимо, задѣвая крыломъ за его дупло! сколько разъ заглядывалъ въ дупло кровожадный Бурундукъ! Но, по счастливой случайности, ни Сова, ни Бурундукъ не потревожили его. Очень возможно, что, съ точки зрѣнія съѣдобности, онъ представлялъ для хищниковъ уже слишкомъ ничтожную величину; но возможно и то, что хищники знали, какой онъ былъ въ свое время дѣльный интендантскій офицеръ, и, не желая лишать отечество его услугъ въ будущемъ, щадили...

Понимая, что жизнь его разбита, онъ невольно обращалъ свою мысль къ прошлому. Все тамъ было такъ чисто, аккуратно, что сердце вчужѣ радовалось. Да и не безъ пріятностей съ. Не одни интендантскія мѣропріятія, но, напримѣръ, Трясогузочка-съ. Что за шустренькая, аккуратненькая была дѣвушка... точно огурчикъ! И тоже сначала: «ахъ, какой вы уморительный!» Уморительный да уморительный, да вдругъ: «ахъ, миленькій, какая я была глупенькая! Сколько задаромъ времени потеряла!» Жениться бы ему на ней, а онъ вмѣсто того съ шестерыми ребятами ее бросилъ! Или опять: заѣхалъ онъ разъ къ Перепёлочкѣ-вдовѣ, которая постоялый дворъ при дорогѣ держала и просомъ да гречневой крупой поторговывала. Слово-за-слово: «Почемъ просо? крупа почемъ-съ? Чай, скучно вамъ однѣмъ безъ мужа, сударыня?»—смотрятъ, анъ и огни вездѣ потушили... И тутъ бы ему жениться слѣдовало, а онъ пообѣщалъ—и былъ таковъ!

Хорошо было тогда, дивно! И чѣмъ безчеловѣчнѣе онъ въ ту пору съ Трясогузками и Перепёлками поступалъ, тѣмъ больше гордился, тѣмъ больше слыхалъ себѣ похвалъ. Всѣ интендантскіе писаря говорили о немъ: «у насъ майоръ лихой... ишь ножками сѣменитъ, ишь похаживаетъ—такъ имъ, дурамъ, и надо!»

— Ба! да не поступить ли опять въ интендантство?— Что же такое! Взялъ перо, написалъ просьбу—примутъ, право, съ удовольствіемъ примутъ.

Но едва появилась эта мысль, какъ онъ уже гналъ ее отъ себя. Не о Трясогузкахъ и Перепёлкахъ онъ долженъ

думать—нѣтъ, не о нихъ! Отнынѣ ему предстоитъ одно: изнывать отъ боли и ждать. Ждать свою безцѣнную желтенькую барышню, свою Богомъ данную жену! Прилетитъ она, вотъ увидите, ужо прилетитъ!

По временамъ, однако-жъ, онъ возмущался. Но не самъ собою, а подъ вліяніемъ наущенія неблагонамѣренныхъ птицъ, которыя прилетали къ нему попросить денегъ взаймы. Въ особенности тлетворно дѣйствовалъ на него въ этомъ смыслѣ Дроздъ. Онъ начиналъ всегда съ того, что выражалъ соболѣзнованіе по поводу его одиночества и затѣмъ, переходя съ одного соболѣзнованія къ другому, очень ловко инсинуировалъ, что по нынѣшнему времени и развестись ничего не стоитъ.

— Нанялъ аблаката—и дѣло съ концомъ!—убѣждалъ онъ:—аблакатъ тебѣ все въ одночасье свертитъ. Право, другъ, разведись! Что на нее, на шлюху, смотрѣть!

А кромѣ Дрозда, и Зябликъ его смущалъ; но этотъ былъ противъ развода, а совѣтовалъ въ «волостную» прошеніе подать.

— Много для нихъ чести будетъ, коли со всякой шлюхой разводиться придется,—говорилъ онъ:—ступай прямо въ «волостную»; такую ли ей тамъ баню зададутъ—до новыхъ вѣниковъ не забудетъ!

И вотъ однажды майоръ поддался искушенію. Полетѣлъ въ Петербургъ и прямо отъявился къ аблакату Балалайкину.

— Хочу отъ живой жены на другой жениться—орудуй!

— Съ удовольствіемъ,—отвѣтилъ Балалайкинъ:—я самъ отъ четырехъ живыхъ женъ на пятой женатъ и вотъ, какъ видите, даже въ арестантскихъ ротахъ не сиживалъ!

Но уже по тону, которымъ Балалайкинъ эти слова сказалъ, Чижикъ понялъ, что проку отъ его ходатайства ждать нельзя. Заплативъ Балалайкину двугривенный (за одно вранье!), онъ, скрѣпя сердце, направилъ свой полетъ въ «волостную»; но и тутъ потерпѣлъ неудачу.

— Приведи ее, мы выпоремъ,—отвѣтили ему совершенно резонно.—А коли будешь и впредь безъ поличнаго здѣшнее мѣсто утруждать, мы тебя самого разложимъ; не посмотримъ, что ты майоръ.

Это былъ, такъ сказать, послѣдній проблескъ бунтующей плоти. Онъ воротился домой и окончательно присмирѣлъ.

Прошла зима. Полузамерзшій, наголодавшійся, чуть живой, Чижикъ вылѣзъ изъ своего дупла и едва-едва долетѣлъ до

рѣчки. Ледъ былъ уже настолько слабъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ образовались полыньи. Къ одной изъ нихъ онъ приблизился, надѣясь чѣмъ-нибудь поживиться, какою-нибудь ветошью; но, увидѣвъ въ водѣ свое изображеніе, такъ и ахнулъ. За зиму онъ до того похудѣлъ, осунулся, отощалъ, что мундиръ висѣлъ на немъ какъ на вѣшалкѣ. Отъ прежняго, аккуратно застегнутаго, чистенькаго и сытенькаго Чижика не осталось и слѣда; даже шпоры—и тѣ неизвѣстно куда дѣвались. Съ тоскою въ сердцѣ вернулся онъ въ дупло и сразу утратилъ вѣру въ болѣе свѣтлое будущее.

Что пользы, ежели онъ и дождется ея,—какое онъ сдѣлаетъ ей привѣтствіе? какія представитъ доказательства супружеской любезно-вѣрной преданности?

И вдругъ, въ одинъ теплый майскій вечеръ, *она* воротилась. Воротилась худая, больная, истрепанная и какъ будто *не въ себѣ*. Хохолокъ на головкѣ былъ выщипанъ, перышки на крыльяхъ помяты, хвостикъ жиденькій; даже желтенькое платьице выцвѣло и посѣрѣло. И вся дрожала, не то отъ холода, не то отъ стыда. Насилу Чижикъ ее узналъ.

— Вотъ и я пришла!—сказала она.

— Живи!—отвѣтилъ ей Чижикъ.

Только и разговору промежъ нихъ было. О прошломъ—молчокъ, о будущемъ—ни-гу-гу.

И живутъ съ тѣхъ поръ другъ подлѣ друга въ одномъ дуплѣ, молчатъ и все о чемъ-то думаютъ. Можетъ-быть, ждутъ чуда, которое растворитъ ихъ сердца и наполнитъ ихъ ликованіями прощенія и любви; но, можетъ-быть, сознаютъ себя окончательно раздавленными и угрюмо ропщутъ. Онъ: «ахъ, разбила ты мою жизнь, кукла безчувственная!» Она: «ахъ, заѣлъ ты мою молодость, распостылый майоръ!»

9.—Вѣрный Трезоръ.

Служилъ Трезорка сторожемъ при лабазѣ московскаго 2-й гильдіи купца Воротилова и недреманнымъ окомъ хозяйское добро сторожилъ. Никогда отъ конуры не отлучался: даже Живодерки, на которой лабазъ стоялъ, настоящимъ образомъ не видалъ; съ утра до вечера такъ на цѣпи и скачетъ, такъ и заливается! Caveant consules!

И премудрый былъ, никогда на своихъ не лаялъ, а все на чужихъ. Пройдетъ, бывало, хозяйскій кучеръ овесъ во-

ровать—Трезорка хвостомъ машетъ, думаетъ: «много ли кучеру нужно!» А случится прохожему по своему дѣлу мимо двора идти—Трезорка еще гдѣ заслышитъ: ахъ, батюшки, воры!

Видѣлъ купецъ Воротиловъ Трезоркину услугу и говорилъ: «цѣны этому псу нѣтъ!» И ежели случалось въ лабазъ мимо собачьей конуры проходить, непремѣнно скажетъ: «дайте Трезоркѣ помоевъ!» А Трезорка изъ кожи отъ восторга лѣзетъ: рады стараться, ваше степенство!.. хамъ-амъ! почивайте, ваше степенство, спокойно... хамъ... амъ... амъ... амъ!

Однажды даже такой случай былъ: самъ частный приставъ къ купцу Воротилову на дворъ пожаловалъ—такъ и на него Трезорка воззрился. Такой содомъ поднялъ, что и хозяинъ, и хозяйка, и дѣти—всѣ выбѣжали. Думали, грабятъ; смотрятъ—анъ гость дорогой!

— Вашескородіе! милости просимъ! Цыцъ, Трезорка! Ты это что, мерзавецъ? Не узналъ? а? Вашескородіе! водочки? закусить-съ?

— Благодарю. Прекраснѣйшій у васъ пёсикъ, Никаноръ Семенычъ, благонамѣренный!

— Такой песъ! такой песъ! Другому человѣку такъ не понять, какъ онъ понимаетъ!

— Собственность, значитъ, признаетъ, а это, по нынѣшнему времени, ахъ какъ пріятно!

И затѣмъ, обернувшись къ Трезоркѣ, присовокупилъ:

— Лай, мой другъ, лай! Нынче и человѣкъ, ежели который съ отличной стороны себя зарекомендовать хочетъ,—и тотъ по-пёсьему лаять обязывается!

Три раза Воротиловъ Трезорку искушалъ, прежде чѣмъ вполнѣ свое имущество довѣрилъ ему. Нарядился воромъ (удивительно, какъ къ нему этотъ костюмъ шелъ!), выбралъ ночь потемнѣе и пошелъ въ амбаръ воровать. Въ первый разъ корочку хлѣбца съ собой взялъ,—думалъ этимъ его соблазнить,—а Трезорка корочку обнюхалъ, да какъ вцѣпится ему въ икру! Во второй разъ цѣлую колбасу Трезоркѣ бросилъ: «пиль, Трезорушка, пиль!»—а Трезорка ему фалду оторвалъ. Въ третій разъ взялъ съ собой рублевую бумажку замасленную — думалъ, на деньги песъ пойдетъ; а Трезорка, не будь простъ, такого трезвону поднялъ, что со всего квартала собаки сбѣжались: стоятъ да дивуются, съ чего это хозяйскій песъ на своего хозяина заливается?

Тогда купецъ Воротиловъ собралъ домочадцевъ и при всѣхъ сказалъ Трезоркѣ:

— Препоручаю тебѣ, Трезорка, всѣ мои потроха: и жену, и дѣтей, и имущество—стереги! Принесите Трезоркѣ помоевъ!

Понялъ ли Трезорка хозяйскую похвалу, или ужъ самъ собой, въ силу собачьей природы, лай изъ него словно изъ пустой бочки валилъ—только совсѣмъ онъ съ тѣхъ поръ изсобачился. Однимъ глазомъ спитъ, а другимъ глядитъ, не лѣзетъ ли кто въ подворотню, скакать устанетъ—ляжетъ, а цѣпью все-таки погромыхиваетъ: вотъ онъ я! Накормить его позабудутъ—онъ даже очень радъ: ежели, дескать, каждый-то день пса кормить, такъ онъ, чего добраго, въ одну недѣлю разопсѣетъ! Пинками его челядинцы надѣлятъ—онъ и въ этомъ полезное предостереженіе видитъ, потому что ежели пса не бить, онъ и хозяина, того гляди, позабудетъ.

— Надо съ нами, со псами, серьезно поступать,—разсуждалъ онъ:—и за дѣло бей, и безъ дѣла бей—впередъ наука! Тогда только мы, псы, настоящими псами будемъ!

Однимъ словомъ, былъ песъ съ принципами и такъ высоко держалъ свое знамя, что прочіе псы поглядятъ-поглядятъ, да и подожмутъ хвостъ—куды тебѣ!

Ужъ на что Трезорка дѣтей любилъ, однако и на ихъ искушенія не сдавался. Подойдутъ къ нему хозяйскія дѣти:

— Пойдемъ, Трезорушка, съ нами гулять!

— Не могу.

— Не смѣешь?

— Не то что не смѣю, а права не имѣю.

— Пойдемъ, глупый, мы тебя потихоньку... никто не увидитъ!

— А совѣсть:

Подожметъ Трезорка хвостъ и спрячется въ конуру отъ соблазна подальше.

Сколько разъ и воры сговаривались: «поднесемте Трезоркѣ альбомъ съ видами Замоскворѣчья»; но онъ и на это не польстился.

— Не требуется мнѣ никакихъ видовъ,—сказалъ онъ:—на этомъ дворѣ я родился, на немъ же старыя кости сложу—какихъ еще видовъ нужно? Уйдите до грѣха!

Одна за Трезоркой слабость была: Кутьку крѣпко любилъ, но и то не всегда, а временно.

Кутька на томъ же дворѣ жила и тоже была собака добрая, но только безъ принциповъ. Полаетъ и перестанетъ.

Поэтому ее на цѣпи не держали, а жила она больше при хозяйской кухнѣ и около хозяйскихъ дѣтей вертѣлась. Много она на своемъ вѣку сладкихъ кусковъ съѣла и никогда съ Трезоркой не подѣлилась; но Трезорка нимало за это на нее не претендовалъ: на то она и дама, чтобы сладѣнько поѣсть. Но когда Кутькино сердце начинало говорить, то она потихоньку взвизгивала и скреблась лапой въ кухонную дверь. Заслышавъ эти тихія всхлипыванья, Трезорка, съ своей стороны, поднималъ такой неистовый и, такъ сказать, характерный вой, что хозяинъ, понимая его значеніе, самъ спѣшилъ на выручку своего имущества. Трезорку спускали съ цѣпи и на мѣсто его сажали дворника Никиту. А Трезорка съ Кутькой, взволнованные, счастливые, убѣгали къ Серпуховскимъ воротамъ.

Въ эти дни купецъ Воротиловъ дѣлался золъ, такъ что когда Трезорка возвращался утромъ изъ экскурсіи, то хозяинъ билъ его арапникомъ нещадно. И Трезорка, очевидно, сознавалъ свою вину, потому что не подбѣгалъ къ хозяину гоголемъ, какъ это дѣлаютъ исполнившіе свой долгъ чиновники, а униженно и поджавши хвостъ подползалъ къ ногамъ его; и не вылъ отъ боли подъ ударами арапника, а потихоньку взвизгивалъ: mea culpa! mea maxima culpa! Въ сущности, онъ былъ слишкомъ уменъ, чтобы не понимать, что, поступая такимъ образомъ, хозяинъ упускалъ изъ вида нѣкоторыя смягчающія обстоятельства; но въ то же время, разсуждая логически, онъ приходилъ къ заключенію, что ежели его въ такихъ случаяхъ не бить, то непремѣнно онъ разопсѣетъ.

Но что было особенно въ Трезоркѣ дорого, такъ это совершенное отсутствіе честолюбія. Неизвѣстно, имѣлъ ли онъ даже понятіе о праздникахъ и о томъ, что къ праздникамъ купцы имѣютъ обыкновеніе дарить вѣрныхъ своихъ слугъ. Никаноры ли («самъ» именинникъ), Анфисы ли («сама» именинница) на дворѣ—онъ, все равно что въ будни, на цѣпи скачетъ!

— Да замолчи ты, постылый!—крикнетъ на него Анфиса Карповна:—знаешь ли, какой сегодня день!

— Ничего, пусть лаетъ,—пошутитъ въ отвѣтъ Никаноръ Семенычъ:—это онъ съ ангеломъ поздравляетъ! Лай, Трезорушка, лай!

Только разъ въ немъ проснулось что-то въ родѣ честолюбія—это когда бодливой хозяйской коровѣ Рохлѣ, по требованію городского пастуха, колоколъ на шею привѣсили.

Признаться сказать, позавидовалъ-таки онъ, когда она пошла по двору звонить.

— Вотъ тебѣ счастье какое; а за что?—сказалъ онъ Рохлѣ съ горечью.—Только твоей и заслуги, что молока полведра въ день изъ тебя надоятъ, а, по-настоящему, какая же это заслуга! Молоко у тебя даровое, отъ тебя независящее: хорошо тебя кормятъ — ты много молока даешь; плохо кормятъ—и молоко перестанешь давать. Копыта объ копыто ты не ударишь, чтобъ хозяину заслужить, а вотъ тебя какъ награждаютъ! А я вотъ самъ отъ себя, motu proprio, день и ночь маюсь, не доѣмъ, не досплю, инда осѣнъ отъ безпокойства,—а мнѣ хоть бы гремушку кинули! Вотъ, дескать, Трезорка, знай, что услугу твою видятъ!

— А цѣпь-то?—нашлась Рохля въ отвѣтъ.

— Цѣпь?!

Тутъ только онъ понялъ. До тѣхъ поръ онъ думалъ, что цѣпь есть цѣпь, а оказалось, что это нѣчто въ родѣ какъ масонскій знакъ. Что онъ, стало-быть, награжденъ уже изначала, награжденъ еще въ то время, когда ничего не заслужилъ. И что отнынѣ ему слѣдуетъ только объ одномъ мечтать: чтобъ старую, проржавленную цѣпь (онъ ее однажды уже порвалъ) сняли и купили бы новую, крѣпкую.

А купецъ Воротиловъ точно подслушалъ его скромно-честолюбивое вожделѣніе: подъ самый Трезоркинъ праздникъ купилъ совсѣмъ новую, на диво выкованную цѣпь и сюрпризомъ приклепалъ ее къ Трезоркину ошейнику.—«Лай, Трезорка, лай!»

И залился онъ тѣмъ добродушнымъ, заливистымъ лаемъ, какимъ лаютъ псы, не отдѣляющіе своего собачьяго благополучія отъ неприкосновенности амбара, къ которому опредѣлила ихъ хозяйская рука.

Въ общемъ Трезоркѣ жилось отлично, хотя, конечно, отъ времени до времени не обходилось и безъ огорченій. Въ мірѣ псовъ, точно такъ же, какъ и въ мірѣ людей, лесть, пронырство и зависть нерѣдко играютъ роль, вовсе имъ по праву не принадлежащую. Не разъ приходилось и Трезоркѣ испытывать уколы зависти; но онъ былъ силенъ сознаніемъ исполненнаго долга и ничего не боялся. И это вовсе не было съ его стороны самомнѣніемъ. Напротивъ, онъ первый готовъ былъ бы уступить честь и мѣсто любому новоявленному Барбосу, который доказалъ бы свое первенство въ дѣлѣ непреоборимости. Нерѣдко онъ даже съ

тревогою подумывалъ о томъ, кто заступитъ его мѣсто въ ту минуту, когда старость или смерть положитъ предѣлъ его нестомчивости... Но—увы!—во всей громадной стаѣ измельчавшихъ и излаявшихся псовъ населявшихъ Живодерку, онъ, по совѣсти, не находилъ ни одного, на котораго могъ бы съ увѣренностью указать: вотъ мой преемникъ! Такъ что когда интрига задумала во что бы то ни стало уронить Трезорку въ мнѣніи купца Воротилова, то она достигла только одного — и притомъ совершенно для нея нежелательнаго—результата, а именно: выказала повальное оскудѣніе псовыхъ талантовъ.

Не разъ завистливые Барбосы и въ одиночку, и небольшими стайками собирались во дворъ купца Воротилова, садились поодаль и вызывали Трезорку на состязаніе. Поднимался несосвѣтимый собачій стонъ, который наводилъ ужасъ на всѣхъ домочадцевъ, но къ которому хозяинъ дома прислушивался съ любопытствомъ, потому что понималъ, что близко время, когда и Трезору понадобится подручный. Въ этомъ неистовомъ хорѣ выдавались голоса недурные; но такого, отъ котораго внезапно заболѣлъ бы животъ со страху, не было и въ поминѣ. Иной Барбосъ выказывалъ недюжинныя способности, но непремѣнно или перелаетъ, или не долаетъ. Во время такихъ состязаній Трезорка обыкновенно умолкалъ, какъ бы давая противникамъ возможность высказаться, но подъ-конецъ не выдерживалъ и къ общему стону, каждая нота котораго свидѣтельствовала объ искусственномъ напряженіи, присоединялъ свой собственный свободный и трезвенный лай. Этотъ лай сразу устранялъ всѣ сомнѣнія. Заслышавъ его, кухарка выбѣгала изъ стряпущей и ошпаривала коноводовъ интриги кипяткомъ. А Трезоркѣ приносила помоевъ.

Тѣмъ не менѣе, купецъ Воротиловъ былъ правъ, утверждая, что ничто подъ луною не вѣчно. Однажды утромъ воротиловскій приказчикъ, проходя мимо собачьей конуры въ амбаръ, засталъ Трезорку спящимъ. Никогда этого съ нимъ не бывало. Спалъ ли онъ когда-нибудь—вѣроятно, спалъ,—никто этого не зналъ и, во всякомъ случаѣ, никто его спящимъ не заставалъ. Разумѣется, приказчикъ не замедлилъ доложить объ этомъ казусѣ хозяину.

Купецъ Воротиловъ самъ вышелъ къ Трезоркѣ, взглянулъ на него и, видя, что онъ повинно шевелитъ хвостомъ, какъ бы говоря: и самъ не понимаю, какъ со мной грѣхъ случился!—безъ гнѣва. полнымъ участія голосомъ, сказалъ:

— Что, старикъ, на кухню собрался? Стара стала— слаба стала? Ну, ладно! Ты и на кухнѣ службу сослужить можешь.

На первый разъ, однако-жъ, рѣшились ограничиться приисканіемъ Трезоркѣ подручнаго. Задача была нелегкая; тѣмъ не менѣе, послѣ значительныхъ хлопотъ, успѣли-таки отыскать у Калужскихъ воротъ нѣкоего Арапку, репутація котораго установилась уже довольно прочно.

Я не стану описывать, какъ Арапка первый призналъ авторитетъ Трезорки и безпрекословно ему подчинился, какъ оба они подружились, какъ Трезорку, съ теченіемъ времени, окончательно перевели въ кухню и какъ, несмотря на это, онъ бѣгалъ къ Арапкѣ и безкорыстно обучалъ его пріемамъ подлиннаго купеческаго пса... Скажу только одно: ни досугъ, ни обиліе сладкихъ кусковъ, ни близость Кутьки не заставили Трезорку позабыть тѣ вдохновенныя минуты, которыя онъ проводилъ, сидючи на цѣпи и дрожа отъ холода въ длинныя зимнія ночи.

Время, однако-жъ, шло, и Трезорка все больше и больше старѣлся. На шеѣ у него образовался зобъ, который пригибалъ его голову къ землѣ, такъ что онъ съ трудомъ вставалъ на ноги; глаза почти не видѣли; уши висѣли неподвижно; шерсть свалялась и линяла клочьями; аппетитъ исчезъ, а постоянно ощущаемый холодъ заставлялъ бѣднаго пса жаться къ печкѣ.

— Воля ваша, Никаноръ Семенычъ, а Трезорка началъ паршивѣть,—доложила однажды купцу Воротилову кухарка.

На этотъ разъ, однако, купецъ Воротиловъ не сказалъ ни слова. Тѣмъ не менѣе кухарка не унялась и черезъ недѣлю опять доложила:

— Какъ бы дѣти около Трезорки не испортились... Опаршивѣлъ онъ вовсе.

Но и на этотъ разъ Воротиловъ промолчалъ. Тогда кухарка, черезъ два дня, вбѣжала уже совсѣмъ обозленная и объявила, что она ни минуты не останется, ежели Трезорку изъ кухни не уберутъ. И такъ какъ кухарка мастерски готовила поросенка съ кашей, а Воротиловъ безумно это блюдо любилъ, то участь Трезоркина была рѣшена.

— Не къ тому я Трезорку готовилъ,—сказалъ купецъ Воротиловъ съ чувствомъ:—да, видно, правду пословица говоритъ: «собакѣ—собачья и смерть»... Утопить Трезорку!

И вотъ вывели Трезорку во дворъ. Вся челядь высыпала, чтобъ посмотрѣть на предсмертную агонію вѣрнаго

пса; даже хозяйскія дѣти окно обсыпали. Арапка былъ тутъ же и, увидѣвъ стараго учителя, привѣтливо замахалъ хвостомъ. Трезорка отъ старости еле передвигалъ ногами и, повидимому, не понималъ; но когда началъ приближаться къ воротамъ, то силы оставили его и надо было его тащить волокомъ за загривокъ.

Что затѣмъ произошло—объ этомъ исторія умалчиваетъ, но назадъ Трезорка ужъ не возвратился.

А вскорѣ Арапка и совсѣмъ изгналъ Трезоркинъ ооразъ изъ сердца купца Воротилова...

10.—Недреманноеоко.

Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ, жилъ-былъ Прокуроръ, и было у него два ока: одно—дреманное, а другое—недреманное. Дреманнымъ окомъ онъ ровно ничего не видѣлъ, а недреманнымъ видѣлъ пустяки.

Въ этомъ царствѣ изстари такъ было заведено: какъ только у обывателя родится мальчикъ съ двумя оками, дреманнымъ и недреманнымъ, такъ тотчасъ въ ревизскихъ сказкахъ записываютъ: «у обывателя Куралеса Проказникова, на Болотѣ, уродился мальчишечка, по имени Прокуроръ». И потомъ ожидаютъ, когда мальчишечка въ совершенныя лѣта придетъ.

Такъ было и тутъ. Не успѣлъ мальчишечка отъ земли вырости, какъ ему сейчасъ же доложили:

— Пожалуйте!

— Съ удовольствіемъ. Но въ скоромъ ли времени предвидится сенаторская вакансія?

— Ахъ, сдѣлайте милость! Какъ скоро, такъ сейчасъ.

— То-то.

Пріосанился мальчишечка, посмотрѣлся въ зеркало, видитъ: какой-такой оттуда хитрецъ выглядываетъ?—анъ это онъ самый и есть. Ладно. И, не говоря худого слова, сейчасъ же за дѣло принялся: дреманнымъ окомъ ничего не видитъ, а недреманнымъ видитъ пустяки. «Я,—говоритъ,—здѣсь на минутку, по дорогѣ въ сенатъ, а тамъ и оба ока сомкну. Да и уши у меня, Богъ часть, къ тому времени заложитъ».

Увидѣли мздоимцы, клеветники, душегубы, хищники и воры, что мальчишечка на нихъ недреманнымъ окомъ смотритъ, и сейчасъ же испугались. Думали-думали, какъ съ этимъ дѣломъ быть, и рѣшили всѣмъ съ недреманнымъ

стороны уйти и укрыться подъ сѣнью дреманнаго прокурорскаго ока. И сдѣлалось съ недреманной стороны такъ чисто, какъ будто ни лиходѣевъ, ни воровъ, ни душегубовъ отъ роду никогда не бывало, а были и есть только обыкновенные лгуны, проходимцы, предатели, измѣнники и ханжи, до которыхъ прокурору, собственно говоря, и дѣла нѣтъ. А мальчишечка видитъ, что отъ одного его недреманнаго взгляда такіе чистые горизонты открылись, и радуется. Неужто,—думаетъ,—начальство усердія его во вниманіе не приметъ?

И пошелъ онъ по судебно-административному полю гоголемъ похаживать. Ходитъ да посвистываетъ: берегись! въ ложкѣ воды утоплю!

Только видитъ: стоитъ человѣкъ и крикомъ-кричитъ: «Ограбили! Батюшки, караулъ!» Разумѣется, онъ къ ограбленному.

— Что ты, такой-сякой, на всю улицу зѣваешь! Вотъ я тебя!

— Помилуйте, Прокуроръ Куралесычъ, воры!

— Гдѣ воры? какіе воры? Врешь ты: никакихъ воровъ нѣтъ и не бывало (а они у него подъ ноздрёю съ дреманной стороны притаились)! Это вы нарочно, бездѣльники, незаслуживающими вниманія жалобами начальство затруднить хотите... Взять его подъ арестъ!

Идетъ дальше, слышитъ: «Мздоимцы, Прокуроръ Куралесычъ, одолѣли! Мздоимцы! лихоимцы! кривотолки! прелюбодѣи!»

— Гдѣ мздоимцы? какіе лихоимцы? Никакихъ я мздоимцевъ не вижу! Это вы нарочно, такіе-сякіе, кричите, чтобы авторитеты подрывать. Взять его подъ арестъ!

Еще дальше идетъ, слышитъ: «Добро казенное и общественное врозь тащатъ! Чего вы, Прокуроръ Куралесычъ, смотрите! Вонъ они, хищники-то, вонъ!»

— Гдѣ хищники? кто казенное добро тащитъ?

— Вонъ хищники! вонъ они! Вонъ онъ какой домино на краденыя деньги взбодрилъ! А тотъ вонъ—ишь сколько тысячъ десятинъ земли у казны укралъ!

— Врешь ты, такой-сякой! Это не хищники, а собственники! Они своимъ имуществомъ спокойно владѣютъ, и всѣ документы у нихъ налицо. Это вы нарочно, бездѣльники, кричите, чтобы принципъ собственности подрывать! Взять его подъ арестъ!

Дальше — больше. «Жена мужу жизнь съ утра до ве-

чера точитъ!» — «Мужъ жену въ гробъ, того гляди, заколотитъ!» — «Ни за чѣмъ вы, Прокуроръ Куралесычъ, не смотрите!»

— Я-то не смотрю? А ты видѣлъ ли, какое у меня око? Одно оно у меня; но — ахъ, какъ далеко я имъ вижу! Такъ далеко, что и твою, бездѣльникову, душу насквозь понимаю! И знаю, чего вамъ, негодникамъ, хочется: семейный союзъ вамъ хочется подорвать! Взять его подъ арестъ!

Словомъ сказать, всѣ союзы перебралъ и вездѣ нашелъ: сами по себѣ, стоятъ союзы незыблемо, но крикунишки непремѣнно имъ какъ пить дадутъ, ежели имъ своевременно уста не замазать. А когда до государственнаго союза мальчишечка дошелъ, то и разговаривать не сталъ. Кричитъ какъ озаренный: «взять его! связать его! замуровать! законопатить!» Самъ кричитъ, а недреманное око такъ у него колесомъ и вертится въ глазницѣ.

День-деньской такимъ манеромъ мальчишечка мается, союзы оберегаетъ, а къ вечеру домой отдыхать вернется. Ляжетъ на кровать и думаетъ: «Все-то я въ полной мѣрѣ, какъ хочется начальству, выполнилъ! Хищниковъ, мздоимцевъ, распутниковъ и злоупотребителей съ помощью одного моего недреманнаго ока разсѣялъ, а съ подрывателями, кои не-дѣльными жалобами начальство утруждаютъ, особливо распорядился! Чисто, благородно. Надѣюсь, что и начальство, съ своей стороны, мои труды въ надлежащей мѣрѣ оцѣнитъ».

—Чего, бишь, мнѣ, напримѣръ, пожелать? — говорилъ онъ самъ себѣ. — Въ сенатъ ежели — такъ я еще на одно ухо слышу, да сенатъ отъ меня и не уйдетъ... Вотъ кабы— хоть не теперь, а со временемъ— вотъ кабы въ... да нѣтъ, это ужъ развѣ когда и обоняніе я потеряю! Нѣтъ, вотъ, сейчасъ, въ ближайшемъ будущемъ, чего бы мнѣ, напримѣръ, пожелать?

Разстраивалъ-разстраивалъ себѣ воображеніе, да наконецъ и разстроилъ. «Жениться надо какъ можно скорѣе— вотъ что».

И такъ какъ онъ для поисковъ невѣсты недреманное око въ ходъ пустилъ, то, разумѣется, сейчасъ же нашелъ. А именно: дѣвицу Агриппину такой красоты, что ни въ сказкахъ сказать, ни перомъ описать. И при ней двѣсти тысячъ: точь-въ-точь какъ при билетѣ внутренняго съ выигрышами займа полагается.

Женился. Отпраздновали свадьбу на славу въ кухмистерской Завитаева и домой на новоселье пріѣхали. Только смотритъ мальчишечка, а новобрачная съ чего-то подъ сѣнь дреманнаго ока спряталась. Хвать-похвать: «Агриппина! гдѣ ты?»

— Не Агриппина я, но Агаѳья. И тезоименитство мое бываетъ 5-го февраля.

Вотъ такъ штука! Даже поблѣднѣлъ мальчишечка съ испугу: неужто въ прохожденіе его службы чертовщина вмѣшалась?

— Покажись... Агаѳья! — вымолвилъ онъ.

Смотритъ: и у Агаѳьи, какъ у него, одно око дреманное, а другое — недреманное. Только у него недреманное око съ правой стороны, а у нея — съ лѣвой. Точно имъ сама судьба опредѣлила совмѣстно прокурорское служеніе проходить.

— Приданое-то у тебя есть ли?

— И приданаго у меня нѣтъ. Одно недреманное око— только и всего.

Ахъ, прахъ побери, да и совсѣмъ! Была-была Агриппина, и вдругъ Агаѳья сдѣлалась! Сталъ онъ разыскивать, какимъ манеромъ такое дѣло случиться могло, и оказалось, что очень просто. Покуда онъ недреманнымъ окомъ въ одну сторону стрѣлялъ, Агриппина на минуточку отлучилась, да и вышла замужъ за офицера. А онъ за себя взялъ... Агаѳью!

Дѣлать, однако, нечего. Не даромъ же Завитаеву деньги за свадьбу отданы — надо какъ-нибудь жить. Легли они спать, да не остереглись: смотрятъ другъ на дружку недреманными оками—инда жутко ему стало! Ему-то жутко, а ей точно съ гуся вода — даже пріятно.

— Вѣдьма ты, что ли? — спросилъ онъ ее. — Сказывай!

— Нѣтъ, я не вѣдьма, но твоя законная жена. А до сихъ поръ я краденными старыми носками на Апраксиномъ торговала.

— Какъ «краденными»? Какимъ же образомъ я тебя не наловилъ?

— Развѣ ты можешь кого-нибудь изловить? Ты все въ одну сторону окомъ стрѣляешь, а что у тебя подъ лѣвой ноздрёй дѣлается — не видишь.

— Ну, давай вмѣстѣ воровъ ловить, коли такъ. Я справа, ты — слѣва.

Словомъ сказать, такъ отлично устроились, что черезъ

годъ у нихъ сынъ родился, и тоже съ недреманнымъ окомъ.

— Вотъ такъ чудакъ!—воскликнулъ мальчишечка, взглянувъ на своего первенца.

Тутъ только онъ догадался, что какъ ни дорого недреманное око, а два обыкновенныхъ глаза, пожалуй, еще того дороже.

Служба его между тѣмъ своимъ чередомъ прохожденіе имѣла. Постепенно онъ всѣ тюрьмы крикунами наполнилъ, а хищники, мздоимцы, концессіонеры и прочіе подлинные потрясатели тѣмъ временемъ у него подъ сѣнью дреманнаго ока благодушествовали.

Долго ли, коротко ли такъ шло, только началъ онъ со временемъ и на оба уха припадать. Даже недреманное око, и то постепенно слипаться стало. Самое время, значитъ, въ сенатъ поспѣшать, покуда обонянія еще не утратилъ.

Слышитъ... зовутъ!

Надѣлъ онъ фуфайку фланелевую, носки шерстяные да сапоги валеные на ноги натянулъ; уши канатомъ законопатилъ, камфарнымъ масломъ надушился, въ шубу закутался, а Агаѳья сверхъ шубы шерстянымъ шарфомъ его повязала. И пошелъ въ сенатъ. Идетъ и думаетъ: какой такой сонъ на первый разъ онъ, сидючи въ сенатѣ, увидитъ.

Но тутъ случилось нѣчто совсѣмъ неожиданное. Покуда онъ недреманнымъ окомъ все вправо да вправо стрѣлялъ, а сенатъ взялъ полѣвѣе, да съ дреманной стороны и притаился. Ищетъ Прокуроръ Куралесычъ—и носомъ въ воздухѣ потянетъ, и языкомъ щелкнетъ, и даже руками кругомъ пошаритъ,—никакъ-таки нащупать сената не можетъ.

Наконецъ, видитъ: городовой на посту бодрствуетъ. Натурально—къ нему. — Такъ и такъ, служивый, не знаешь ли, куда дѣвался сенатъ?

Взглянулъ на него городовой и сразу недреманную душу его разгадалъ.

— Знаю, — сказалъ онъ: — сенатъ, вотъ онъ! Вонъ онъ на солнышкѣ играетъ! Ишь посматриваетъ, какъ бы какой шалунъ на законъ не наступилъ... Ахъ ты, ахъ! Только не про всякаго у насъ мѣсто въ сенатѣ припасено. Ты, вотъ, глядѣлъ недреманнымъ-то окомъ въ книгу, а видѣлъ фигу, такъ нынче этакихъ въ здѣшнее мѣсто сажать не велѣно. Воротись лучше, калѣка, домой; валенки-то сними, глаза-то протри, уши промой, да и ложись съ бабой на

печь спать!.. А у насъ нынче такъ въ здѣшнемъ мѣстѣ заведено: чтобы и голова, и прочіе члены — все чтобы на своемъ мѣстѣ было, а глаза и уши—у всѣхъ чтобы настежь!

Такъ и не попалъ Прокуроръ Куралесычъ въ сенатъ.

11. — Дуракъ.

Въ старые годы, при царѣ Горохѣ это было: у умныхъ родителей родился сынъ дуракъ. Еще когда младенцемъ Иванушка былъ, родители дивились: въ кого онъ уродился? Мамочка говорила, что въ папочку, папочка — что въ мамочку, а, наконецъ, подумали и рѣшили: должно-быть, въ обоихъ.

Не то, впрочемъ, родителей смущало, что у нихъ сынъ дуракъ,—дуракъ, да ежели ко двору, лучше и желать не надо,—а то, что онъ дуракъ особенный, за котораго, того гляди, передъ начальствомъ отвѣтить придется. Набѣдокуритъ, начудитъ — по какому праву? какой-такой законъ есть?

Бываютъ дураки легкіе, а этотъ мудреный. Вонъ у Милитрисы Кирбитьевны—рукой подать — сынъ Лёвка, тоже дурачокъ. Выбѣжитъ босикомъ на улицу, спуститъ рукава, на одной ножкѣ скачетъ, а самъ во всю мочь кричитъ: «тили-тили, Лёвку били, бими-бими, бомъ-бумъ!» Сейчасъ его изымаютъ, да на замокъ въ холодную: сиди да посиживай! Даже губернатору, когда на ревизію пріѣзжалъ, Лёвку показывали, и тотъ похвалилъ: «берегите его, намъ дураки нужны!»

А *этотъ* дуракъ — необыкновенный. Сидитъ себѣ дома, книжку читаетъ, либо къ папкѣ съ мамкой ласкается — и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, въ немъ сердце загорится. Бѣжитъ—земля дрожитъ. Къ которому дѣлу съ подходцемъ бы подойти, а онъ на него прямикомъ лѣзетъ; которое слово совсѣмъ бы позабыть надо, а онъ его-то и ляпнетъ. И смѣхъ, и грѣхъ. Хоть кричи на него, хоть бей—ничего онъ не чувствуетъ и не слышитъ. Сдѣлаетъ, что ему хочется, и опять домой прибѣжитъ, къ папкѣ съ мамкой подъ крылышко.

— Что съ тобой, ненаглядный ты нашъ? Сядь, миленькій, отдохни!

— Я, мамочка, не усталъ.

— Куда ты, голубчикъ, бѣгаешь! Не скажешься никому и убѣжишь!

— Я, мамочка, къ Лёвкѣ бѣгалъ! Лёвка боленъ, калачика проситъ; я взялъ съ прилавка въ булочной калачикъ и снесъ.

Услышитъ мамочка эти слова — такъ и ахнетъ.

— Ахъ, убилъ! ахъ, голову съ меня, несчастный, ты снялъ! Что ты надѣлалъ! Это ты, значитъ, калачикъ-то укралъ!

— Какъ «укралъ»? что такое «укралъ»?

Сколько разъ и сосѣди папочку съ мамочкой предостерегали:

— Уймите вы своего дурака! Большія онъ вамъ непріятности черезъ свою глупость предоставитъ!

Но родители ничего не могли, только думали: легко сказать: «уймите!» А какъ ты его уймешь? Какъ это люди не понимаютъ, что родительское сердце по глупомъ сынѣ больше даже, чѣмъ по умномъ, разрывается!

И точно, примется, бывало, папочка дурака усовѣщивать: «калачъ есть собственность»—онъ какъ будто и понимаетъ: «да, папочка?» Но вдругъ въ это время откуда ни возьмись Лёвка: «дай, Ваня, калачика!» Онъ—шмыгъ, и точно вотъ слизнулъ калачъ съ прилавка! Какъ тутъ понять: укралъ онъ его, или не укралъ?

Терпѣлъ-терпѣлъ булочникъ, но, наконецъ, обидѣлся: принесъ въ кварталъ жалобу. Явился къ дураковымъ родителямъ квартальный и сказалъ: «какъ угодно, а извольте вашего дурака высѣчь». Плакала родительская утроба, а дѣлать нечего. Видитъ папочка. что резонно квартальный говоритъ: высѣкъ дурака.

Но дуракъ ничего не понялъ. Почувствовавши, что больно, всплакнулъ, но не жаловался: «за что?» и не кричалъ: «не буду!» Скорѣе какъ будто удивился: для чего это папочкѣ понадобилось?

Такъ и пропалъ этотъ урокъ даромъ: какъ былъ Иванушка до сѣченія дуракомъ, такъ и послѣ сѣченія дуракомъ остался. Увидитъ изъ окна, что Лёвка босикомъ по улицѣ скачетъ,—и онъ выбѣжитъ, сапоги сниметъ, рукава у рубашки спуститъ и начнетъ заодно съ дурачкомъ куралесить.

— Ишь, занятіе нашелъ,—разсердится мамочка:—дурака дразнитъ!

— Я, мамочка, не дразню. а играю съ нимъ, потому что ему одному скучно.

— Повертись, повертись! Довертишься, что самъ дуракомъ сдѣлаешься!

Услышитъ папочка этотъ разговоръ и на мамочку накинется:

— Сѣчь его надо, а она разговариваетъ! Разговаривай больше, — дождешься! Кабы ты чаще ему подъ рубашку заглядывала—давно бы онъ у насъ человѣкомъ былъ!

И всѣ сосѣди папочку одобряютъ: во-первыхъ, потому, что законъ есть такой, чтобы дураковъ учить, а во-вторыхъ, и потому, что никому отъ Иванушки житья не стало. Намеднись сосѣдскіе мальчишки вздумали козла дразнить—онъ за козла вступился. Сталъ посередкѣ и не даетъ козла въ обиду. Козелъ его сзади рогами бьетъ, мальчишки спереди по чемъ попало тузятъ, а ему и горюшка мало — всего въ синякахъ домой привели! А на другой день опять съ дуракомъ исторія: у повара пѣтуха отнялъ. Несъ поваръ подъ мышкой пѣтуха на кухню, а дуракъ ему навстрѣчу: «Куда, Кузьма, пѣтушка несешь?» — «Извѣстно, молъ, на кухню да въ супъ»... Какъ кинется на него дуракъ! Не успѣлъ Кузьма опомниться — смотритъ, а пѣтухъ ужъ на заборъ взлетѣлъ и крыльями хлопаетъ!

Толковалъ-толковалъ ему папочка: «пѣтухъ — не твой, какъ же ты смѣлъ его у повара отнимать?» А онъ въ отвѣтъ одно твердитъ: «знаю я, что пѣтухъ не мой, да и не поваровъ онъ, а свой собственный...»

Какъ ни любили дурака всѣ домочадцы за его ласковость и тихость, но съ теченіемъ времени онъ всѣхъ поступками своими донялъ. Ѣсть ему захочется—нѣтъ чтобы мамочку попросить: позвольте, молъ, милый другъ, маменька, въ буфетѣ пирожокъ взять,—самъ пойдетъ, и въ буфетѣ, и въ кухнѣ перешаритъ, и что попадется подъ руку, такъ, безъ спросу, и съѣстъ. Захочется погулять — возьметъ картузъ, такъ, безъ спросу, и уйдетъ. Разъ нищій подъ окномъ остановился, а у мамочки, какъ на грѣхъ, въ ту пору трехрублевенькая бумажка на столѣ лежала,—онъ взялъ да *ВСѢ* три рублика нищему въ суму и ухнулъ!

— Батюшки! да изъ него Картушъ выйдетъ!—не взвидѣла свѣта мамочка.

— И непремѣнно выйдетъ,—отозвался папочка: — хуже выйдетъ, ежели ты, вмѣсто того, чтобы сѣчь, лясы съ нимъ точить будешь!

Дѣлать нечего, высѣкла дурака и мамочка. Но высѣкла, надо прямо сказать, чуть-чуть, только чтобы наука была. А онъ всталъ, сердечный, весь заплаканный, и обнялъ мамочку.

— Ахъ, мамочка, мамочка! Бѣдненькая ты моя мамочка!

И сдѣлалось мамочкѣ вдругъ такъ стыдно, такъ стыдно, что она и сама заплакала.

— Дурачокъ ты мой ненаглядный! Вотъ кабы насъ Богъ съ тобой вмѣстѣ къ себѣ взялъ!

Наконецъ, однако, онъ и себя, и мамочку едва не погубилъ. Гуляли они однажды всей семьей по набережной рѣки. Папочка мамочку подъ ручку велъ, а онъ впереди развѣдчика изъ себя изображалъ. Будто бы они источники Нигера открывать собирались, такъ онъ посланъ впередъ разузнать, не угрожаетъ ли откуда опасность. Вдругъ слышатъ стоны; взглянули на рѣку, а тамъ чей-то мальчишечка въ водѣ барахтается! Не успѣли опомниться — анъ дуракъ ужъ въ рѣку бухнулъ, а за дуракомъ мамочка, какъ была въ кринолинѣ, такъ и очутилась въ водѣ. А за мамочкой—нара городовыхъ въ амуниціи. А папочка стоитъ у рѣшотки да руками, словно птица крыльями, машетъ: «моихъ-то спасайте! моихъ!» Наконецъ, городовые всѣхъ троихъ изъ воды вытащили. Мамочка-то однимъ страхомъ поплатилась, а дуракъ цѣлый мѣсяцъ въ горячкѣ вылежалъ. Понялъ ли онъ, что поступилъ по-дурацки, или сдѣлалось ему мамочку жалко, только какъ пришелъ онъ въ себя, да увидѣлъ, что мамочка, худенькая да блѣдненькая, въ головахъ у него сидитъ,—такъ и залился слезами! Только и твердитъ: «мамочка! мамочка! мамочка! Зачѣмъ насъ Богъ къ себѣ не взялъ?»

А папочка тутъ же стоялъ и все надѣялся, что дуракъ хоть на этотъ разъ скажетъ: «простите, милый папочка, я впередъ не буду!» Однако онъ такъ-таки и не сказалъ.

Послѣ этого случая папочка съ мамочкой серьезно совѣщались: какъ съ дуракомъ быть? Ходили, обнявшись, по залѣ, со всѣхъ сторонъ предметъ разсматривали и долго ни на чемъ не могли сойтись.

Дѣло въ томъ, что папочка былъ человѣкъ справедливый. И дома, и въ гостяхъ, и на улицѣ онъ только объ одномъ твердилъ: «всуе законы писать, ежели ихъ не исполнять». У него даже и наружность такая уморительная была, какъ будто онъ въ одной рукѣ вѣсы держитъ, а другою—то золотникъ въ чашечку поступковъ подбавитъ, то ползолотника въ чашечку возмездій подкинетъ. Поэтому, и принимая во вниманіе все вышеизложенное, онъ требовалъ, чтобы съ Иванушкой было поступлено по всей строгости домашняго кодекса.

— Преступилъ онъ—слѣдовательно, и соотвѣтствующее возмездіе понести долженъ. Вотъ смотри!

И онъ показалъ мамочкѣ табличку, въ которой было изображено:

Названіе проступка:	Число ударовъ розгою:	
Отступленіе отъ правилъ	отъ	до
субординаціи.	5	7

Но мамочка была мамочка—только и всего. Справедливости она не отрицала, но понимала ее въ какомъ-то первобытномъ смыслѣ, въ какомъ понимаетъ это слово простой народъ, говоря о «справедливомъ» человѣкѣ. Безъ возмездій, а въ родѣ какъ бы отпущенія. И какъ ни мало она была въ юридическомъ отношеніи развита, однако въ одну минуту папочку осрамила.

— За что-жъ мы наказывать его будемъ?—сказала она.—За то, что онъ утопающаго спасти хотѣлъ? Опомнись!

Тѣмъ не менѣе папочка настоялъ-таки, что дома держать дурака невозможно, а надо отдать его въ «заведеніе».

Регулярно-спокойный обиходъ заведенія на первыхъ порахъ отразился на дуракѣ довольно выгодно. Ничто не бередило его воспріимчивости, не пробуждало въ немъ внезапныхъ движеній души. Въ первые годы даже ученія настоящаго не было, а только усвоивался учебный матеріалъ. Не встрѣчалось также рѣзкой разницы и въ товарищеской средѣ,—такой разницы, которая вызывала бы потребность утѣшить, помочь. Все шло тѣмъ среднимъ ходомъ, который успѣхъ ученія ставилъ, главнымъ образомъ, въ зависимость отъ памяти. А такъ какъ память у Иванушки была превосходная, да и сердце, къ тому же, было золотое, то чуть-чуть Иванушка и впрямь изъ дурака не сдѣлался умницей.

— Говорилъ я тебѣ?—торжествовалъ папочка.

— Ну-ну, не сердись!—отвѣчала мамочка, какъ бы винясь, что она черезчуръ поторопилась папочку осрамить.

Но по мѣрѣ того, какъ объемъ предлагаемаго знанія увеличивался, дѣло Иванушки усложнялось. Большинства наукъ онъ совсѣмъ не понималъ. Не понималъ исторіи, юриспруденціи, науки о накопленіи и распредѣленіи богатствъ. Не потому, чтобы не хотѣлъ понимать, а воистину не понималъ. И на всѣ усовѣщеванія учителей и наставниковъ отвѣчалъ одно: «не можетъ этого быть!»

Только тогда настоящимъ образомъ узнали, что онъ несомнѣнный и круглый дуракъ. Такой дуракъ, которому могутъ быть доступны только склады науки, а самая наука— никогда. Природа поступаетъ по временамъ жестоко: раскроетъ способности человѣка только въ мѣру пониманія азбучнаго матеріала, а какъ только дойдетъ очередь, чтобы изъ матеріала дѣлать выводы,—законопатитъ, и конецъ.

Снова сконфузился папочка и сталъ мамочку упрекать, что Иванушка въ нее уродился. Но мамочка ужъ не слушала попрековъ, а только глазъ не осушала, плакала. Неужто Иванушка такъ-таки навѣкъ дуракомъ и останется?

— Да ты хоть притворись, что понимаешь!—уговаривала она Иванушку:—принудь себя, хоть немножко пойми, ну, дай, я тебѣ покажу!

Раскроетъ мамочка книжку, прочтетъ: «*§ о порядкѣ наслѣдованія по закону единоутробныхъ*» — и ничего-таки не понимаетъ! Плачутъ оба: и дуракъ, и мамочка. А папочка, между тѣмъ, такъ и рѣжетъ: «*Единоутробныхъ*, прежде всего, необходимо отличать: во-первыхъ, отъ *единокровныхъ*; во-вторыхъ, отъ тѣхъ, кои, будучи единоутробными, суть въ то же время и единокровные, и, въ-третьихъ, отъ *червонныхъ валетовъ...*»

— Вотъ папенька-то какъ хорошо знаетъ!—удивлялась мамочка, заливаясь слезами.

Видя материнскія слезы, дуракъ напрягалъ нерѣдко всѣ свои усилія. Уйдетъ во время рекреаціи въ классъ, сядетъ за тетрадку, заложитъ пальцами уши и начнетъ долбить. Выдолбитъ и такъ отлично скажетъ урокъ, словно на бобахъ разведетъ... И вдругъ что-нибудь такое насчетъ Александра Македонскаго ляпнетъ, что у учителя на плѣшивой головѣ остальные три волоса дыбомъ встанутъ.

— Садитесь!—молвитъ учитель:—печальная вамъ въ будущемъ участь предстоитъ! Никогда вы государственнымъ человѣкомъ не сдѣлаетесь. Благодарите Бога, что Онъ далъ вамъ родителей, которые ни въ чемъ не замѣчены. Потому что если-бъ не это... Садитесь, и если можете, то старайтесь не огорчать вашихъ наставниковъ возмутительными выходками!

И точно: только благодаря родительскому благонравію, дурака изъ класса въ классъ переводили, а наконецъ и изъ заведенія съ чиномъ выпустили. Но когда онъ домой съ аттестатомъ явился, то мамочка, какъ взглянула, что

тамъ написано. такъ и залилась слезами. А папочка сурово спросилъ:

— Что ты, безчувственный идолъ, набѣдокурилъ?

Я, папочка, такъ-себѣ, это, должно-быть, такое правило въ заведеніи...

Даже не объяснился порядкомъ: увидалъ на улицѣ Лёвку и убѣжалъ.

Лёвку онъ полюбилъ пуще прежняго, потому что бѣдный дуракъ еще жальче сталъ. Какъ и шесть лѣтъ тому назадъ, онъ ходилъ босой, худой, держа руки граблями,— но весь обросъ волосами и вытянулся въ коломенскую версту. Милитриса Кирбитьевна давно отъ него отказалась: не кормила его и почти совсѣмъ не одѣвала. Поэтому онъ былъ всегда голоденъ, и если-бъ не сердобольныя торговки-калашницы, то давно бы съ голоду померъ! Но больше всего онъ страдалъ отъ уличныхъ мальчишекъ. Отдыху они ему не давали: дразнились, науськивали на него собакъ, щипали за икры, теребили на немъ рубашку. Цѣлый день раздавался на улицѣ его вой, сопровождаемый неистовымъ дурацкимъ щелканьемъ. Онъ выл отъ боли, но не понималъ, откуда эта боль идетъ.

Дуракъ защитилъ Лёвку, обогрѣлъ, накормилъ и одѣлъ. Все, что для Лёвки было нужно, Иванушка бралъ безъ спроса; а ежели не зналъ, гдѣ найти, то требовалъ такимъ тономъ, какъ будто самое представленіе объ отказѣ ему было совершенно чуждо. Только у дураковъ бываетъ такая убѣжденность въ голосѣ, такая непререкаемость во взорахъ. Никого и ничего онъ не боялся, ни къ чему не питалъ отвращенія и совсѣмъ не имѣлъ понятія объ опасности. Завидѣвъ исправника, онъ не перебѣгалъ на другую сторону улицы, но шелъ прямо навстрѣчу, точно ни въ чемъ не былъ виноватъ. Случится въ городѣ пожаръ—онъ первый идетъ въ огонь; услышитъ ли, что гдѣ-нибудь есть трудный больной—онъ бѣжитъ туда, садится къ изголовью больного и прислуживаетъ. И умныя слова у него въ такихъ случаяхъ оказывались, словно онъ и не дуракъ. Одно только тяжелымъ камнемъ лежало на его сердцѣ: мамочка безсонныя ночи проводила, пока онъ дурачество свое ублажалъ. Но было въ его судьбѣ нѣчто непреодолимое, что фаталистически влекло его къ самоуничиженію и самопожертвованію, и онъ инстинктивно повиновался этому указанію, не справляясь объ ожидаемыхъ послѣдствіяхъ и не допуская сдѣлокъ даже въ пользу кровныхъ узъ.

Не разъ родители задумывались, какимъ бы образомъ дурака пристроить, чтобы онъ хоть мало-мальски на человѣка похожъ былъ. Опредѣлилъ было папочка его на службу чѣмъ-то въ родѣ попечителя мѣстнаго училища (безъ жалованья, дескать, и дуракъ сойдетъ, а съ жалованьемъ—даже навѣрное!); но дуракъ сразу такую ахинею понесъ, что исправникъ, только во вниманіе къ испытанному благонравію родителей, согласился это дѣло замять. Тогда мамочка напала на мысль—женить дурака; можетъ-быть, Богъ узы ему разрѣшитъ. Подыскали невѣсту, молодую купеческую вдову Подвохину. Невѣста изъ себя писаная краля была и въ гостиномъ дворѣ двѣ лавки имѣла. Вдовѣла она безупречно, товаръ держала всегда первѣйшаго качества и дѣла свои по торговлѣ вела умѣло и самостоятельно. Словомъ сказать, лучше партіи и желать не надо. Дуракъ, въ свою очередь, тоже понравился невѣстѣ: внѣшность у него была приличная, поведеніе—кроткое. Даже ума въ немъ она не отрицала, какъ другіе, но только находила, что нужно этотъ умъ развязать, и вполнѣ на себя надѣялась, что успѣетъ въ этомъ.

Но у дурака всѣ вообще инстинкты до такой степени глубоко спали, что даже эта жалостливая и скромная женщина удивилась. Ни разу онъ не дрогнулъ отъ прикосновенія къ ней, ни разу не смутился, не почувствовалъ ни одной изъ тѣхъ неловкостей, къ которымъ съ такимъ сердечнымъ желаніемъ относятся женщины, инстинктивно угадывая въ нихъ первыя, сладостнѣйшія трепетанія любви. Придетъ дуракъ, отобѣдаетъ, чаю напьется и, повидимому, совсѣмъ не понимаетъ, почему онъ находится у Подвохиной, а не дома.

— Какъ это вамъ не скучно: ничего вы не понимаете? спроситъ его красавица-вдова.

— Ахъ, нѣтъ, мнѣ очень скучно! Говорятъ, будто оттого, что занятія у меня никакого нѣтъ.

— Такъ вы займитесь... полюбите кого-нибудь!

— Помилуйте! Какъ же возможно не любить? Всѣхъ любить надо. Счастливыхъ—за то, что они сумѣли себя счастливыми сдѣлать, несчастныхъ—за то, что у нихъ радостей нѣтъ.

Такъ это сватовство и не состоялось. Потужила вдова Подвохина и даже пообѣщала годокъ подождать, но мѣсяцъ-другой потерпѣла, да въ рождественскій мясоѣдъ и вышла замужъ за городского голову Лиходѣева. Теперь у

нихъ ужъ четыре лавки въ гостинномъ дворѣ; по буднямъ они во всѣхъ четырехъ лавкахъ торгъ ведутъ: она—по галантерейной части, онъ—по бакалейной; а по праздникамъ—исправника и прочихъ властей пирогомъ угощаютъ.

А дуракъ засѣлъ дома на родительской шеѣ и ухомъ не ведетъ. На пожары бѣгаетъ, больныхъ выхаживаетъ, нищихъ цѣлыми табунами домой приводитъ.

— Хоть бы Господь его прибралъ! — шепчетъ папочка потихоньку, чтобъ мамочка не слыхала.

А мамочка все молится, на милость Божью надѣется. Просвѣтитъ Господь разумъ Иванушкинъ пониманіемъ, направитъ стопы его по стезѣ господина исправника, его помощника и непремѣннаго засѣдателя! Долженъ же онъ какую-нибудь должность по службѣ получить! Не можетъ быть, чтобъ для всѣхъ было дѣло, и только для него одного—ничего.

Только одинъ человѣкъ на дурака иными глазами взглянулъ, да и тотъ былъ случайный проѣзжій. Ѣхалъ онъ мимо города и завернулъ къ папочкѣ, съ которымъ онъ старинный-старинный пріятель былъ. Пошли сказы да разсказы; помянули старину, объ увлеченіяхъ молодости досыта наговорились, а между прочимъ и настоящаго коснулись. Папочка двери на всякій случай притворилъ, и оба, что было на душѣ, все выложили. Объяснились. Не сказали, а подумали: «такъ вотъ братъ ты кто!» Разумѣется, не обошлось безъ жалобъ и на дурака; а такъ какъ съ нимъ уже не чинились, то такъ-таки, въ его присутствіи, прямо «дуракомъ» его и чествовали. Заинтересовался проѣзжій разсказами о дуракѣ, остался ночевать у стараго пріятеля, а на другой день и говоритъ:

— Совсѣмъ онъ не дуракъ, а только подлыхъ мыслей у него нѣтъ, отъ этого онъ и къ жизни приспособиться не можетъ. Бываютъ и другіе, которые отъ подлыхъ мыслей постепенно освобождаются, но процессъ этого освобожденія стоитъ большихъ усилій и не рѣдко имѣетъ въ результатѣ тяжелый нравственный кризисъ. Для него же и усилій никакихъ не требовалось, потому что такихъ поръ въ его организмѣ не существовало, черезъ которыя подлая мысль заползти бы могла. Сама природа ему это дала. А впрочемъ, несомнѣнно, что настанетъ минута, когда наплывъ жизни силою своего гнета заставитъ его выбирать между дурачествомъ и подлостью. Тогда онъ *поймет*ъ. Только не совѣтовалъ бы я вамъ торопить эту минуту; потому что

какъ только она пробьетъ—не будетъ на свѣтѣ другого такого несчастнаго человѣка, какъ онъ. Но и тогда—я въ этомъ убѣжденъ—онъ предпочтетъ остаться дуракомъ.

Сказалъ это проѣзжій и прослѣдовалъ изъ города дальше. А папочка между тѣмъ задумался. Началъ всю свою жизнь перебирать, припоминая, какія у него подлыя мысли бывали, и какимъ манеромъ онъ освобождался отъ нихъ? И, разумѣется, какъ ни строго себя экзаменовалъ, но вышелъ изъ испытанія съ честью. Никогда у него подлыхъ мыслей не бывало, а слѣдовательно, и освобождаться отъ нихъ онъ надобности не ощущалъ. Отчего же, однако, онъ не дуракъ?

Наконецъ, порѣшилъ на томъ, что у стараго друга умъ за разумъ зашелъ. «Сидятъ они тамъ, въ петербургскихъ мурьяхъ, да развиваются. Разовьются, да и завруться. А мы вотъ засѣли по Пошехоньямъ: не развиваемся, да зато и не завираемся—такъ-то прочнѣе. И вретъ онъ все: никакого дара природы въ дурачествѣ нѣтъ, и ежели, по милости Божіей, мой дуракъ когда-нибудь умницей сдѣлается, то навѣрное несчастнымъ оттого не будетъ, а поступитъ на службу, да и начнетъ жить да поживать, какъ и прочіе всѣ».

Порѣшивши такимъ родомъ, сталъ ждать: вотъ-вотъ Иванушка просіяетъ, и его, не въ примѣръ другимъ, на чреду служенія призовутъ. Анъ, вмѣсто того, въ одно прекрасное утро ему объявили, что дуракъ совсѣмъ изъ дома исчезъ.

. . . . . .

Прошли годы; старики-родители очи выплакали. Не было той минуты, въ которую бы они не ждали; не было той мысли, которая бы, прямо или косвенно, не относилась къ исчезнувшему дураку. Все перезабыли старики, только объ одномъ помнили: гдѣ онъ теперь? сытъ ли? одѣтъ ли? Много ли дураку нужно, чтобъ погибнуть! Не дай Богъ врагу испытывать эту пытку родительскаго сердца, которое всѣ вины на себя беретъ, всѣми дѣтскими стонами, въ тысячекратно раздающемся эхѣ, раздирается!

Однако дуракъ воротился. Внезапно, точно такъ же, какъ и исчезъ. Но отъ прежняго, цвѣтущаго здоровьемъ, дурака не осталось и слѣдовъ. Онъ былъ блѣденъ, худъ и измученъ. Гдѣ онъ скитался? что видѣлъ? понялъ или не понялъ?—никто ничего дознаться отъ него не могъ. Пришелъ онъ домой и замолчалъ.

Во всякомъ случаѣ, проѣзжій былъ правъ: такъ до смерти и осталась при немъ кличка: *дуракъ*.

12.—Сосѣди.

Въ нѣкоторомъ селѣ жили два сосѣда: Иванъ Богатый да Иванъ Бѣдный. Богатаго величали «сударемъ» и «Семенычемъ», а бѣднаго—просто Иваномъ, а иногда и Ивашкой. Оба были хорошіе люди, а Иванъ Богатый—даже отличный. Какъ есть во всей формѣ филантропъ. Самъ цѣнностей не производилъ, но о распредѣленіи богатствъ очень благородно мыслилъ. «Это, говоритъ, съ моей стороны лепта. Другой, говоритъ, и цѣнностей не производитъ, да и мыслитъ неблагородно—это ужъ свинство. А я еще ничего». А Иванъ Бѣдный о распредѣленіи богатствъ совсѣмъ не мыслилъ (недосужно ему было), но взамѣнъ того производилъ цѣнности. И тоже говорилъ: «это съ моей стороны лепта».

Сойдутся они вечеромъ подъ праздникъ, когда и бѣднымъ, и богатымъ—всѣмъ досужно, сядутъ на лавочку передъ хоромами Ивана Богатаго и начнутъ калякать.

— У тебя завтра съ чѣмъ щи?—спроситъ Иванъ Богатый.

— Съ пустомъ,—отвѣтитъ Иванъ Бѣдный.

— А у меня съ убоиной.

Зѣвнетъ Иванъ Богатый, роть перекреститъ, взглянетъ на Бѣднаго Ивана, и жаль ему станетъ.

— Чудно́ на свѣтѣ дѣется,—молвитъ онъ:—который человѣкъ постоянно въ трудахъ находится, у того по праздникамъ пустыя щи на столѣ, а который при полезномъ досугѣ состоитъ—у того и въ будни щи съ убоиной. Съ чего бы это?

— И я давно думаю: съ чего бы это, да недосугъ раздумывать-то мнѣ. Только начну думать, анъ въ лѣсъ за дровами ѣхать надобно; привезъ дровъ—смотришь, навозъ возить или съ сохой выѣзжать пора пришла. Такъ между дѣломъ мысли-то и уходятъ.

— Надо бы, однако, намъ это дѣло разсудить.

— И я говорю: надо бы.

Зѣвнетъ и Иванъ Бѣдный съ своей стороны, перекреститъ ротъ, пойдетъ спать и во снѣ завтрашнія пустыя щи видитъ. А на другой день проснется—смотритъ, Иванъ Богатый сюрпризъ ему приготовилъ: убоины, ради праздника, во́ щи прислалъ.

Въ слѣдующій предпраздничный канунъ опять сойдутся сосѣди и опять за старую матерію примутся.

— Вѣришь ли,—молвитъ Иванъ Богатый:—и на-яву, и во снѣ только одно я и вижу: сколь много ты противъ меня обиженъ!

— И на этомъ спасибо,—отвѣтитъ Иванъ Бѣдный.

— Хоть и я благородными мыслями не малую пользу обществу приношу, однако вѣдь ты... не выйди-ка ты вовремя съ сохой—пожалуй, и безъ хлѣба пришлось бы насидѣться. Такъ ли я говорю?

— Это такъ точно. Только не выѣхать-то мнѣ нельзя, потому что въ этомъ случаѣ я первый съ голоду пропаду.

— Правда твоя: хитро эта механика устроена. Однако ты не думай, что я ее одобряю,—ни Боже мой! Я только объ одномъ и тужу: Господи! какъ бы такъ сдѣлать, чтобы Ивану Бѣдному хорошо было?! Чтобы и я—свою порцію, и онъ—свою порцію.

— И на этомъ, сударь, спасибо, что безпокоитесь. Это дѣйствительно, что кабы не добродѣтель ваша—сидѣть бы мнѣ праздникъ на тюрѣ на одной...

— Что ты! что ты! Развѣ я объ томъ! Ты объ этомъ забудь, а я вотъ объ чемъ. Сколько разъ я рѣшался, пойду, молъ, и отдамъ полъ-имѣнія нищимъ! И отдавалъ. И что же! Сегодня я отдалъ полъ-имѣнія, а на завтра проснусь—у меня, вмѣсто убылой-то половины, цѣлыхъ три четверти опять объявилось.

— Значитъ, съ процентомъ...

— Ничего, братецъ, не подѣлаешь. Я — отъ денегъ, а деньги — ко мнѣ. Я бѣдному пригоршню, а мнѣ, вмѣсто одной-то, невѣдомо откуда, двѣ. Вотъ вѣдь чудо какое!

Наговорятся и начнутъ позѣвывать. А между разговоромъ Иванъ Богатый все-таки думу думаетъ: что бы такое сдѣлать, чтобы завтра у Ивана Бѣднаго щи съ убоиной были? Думаетъ-думаетъ, да и выдумаетъ.

— Слушай-ка, миляга,—скажетъ: — теперь ужъ недолго и до ночи осталось, сходи-ка ко мнѣ въ огородъ грядку вскопать. Ты шутя часокъ лопатой поковыряешь, а я тебя, по силѣ-возможности, награжу,—словно бы ты и взаправду работалъ.

И дѣйствительно, поиграетъ лопатой Иванъ Бѣдный часокъ-другой, а завтра онъ съ праздникомъ, словно бы и «взаправду поработалъ».

Долго ли, коротко ли сосѣди такимъ манеромъ калякали, только подъ-конецъ такъ у Ивана Богатаго сердце раскипѣлось, что и взаправду невтерпёжъ ему стало.—Пойду,—

говоритъ, — къ самому Нàбольшему, паду передъ нимъ и скажу: «Ты у насъ Око Царево! ты здѣсь рѣшишь и вяжешь, караешь и милуешь! Повели насъ съ Иваномъ Бѣднымъ въ одну версту поверстать. Чтобы съ него рекрутъ— и съ меня рекрутъ, съ него подвода—и съ меня подвода, съ его десятины грошъ—и съ моей десятины грошъ. А души чтобы и его, и моя отъ акциза одинаково свободны были!»

И какъ сказалъ, такъ и сдѣлалъ. Пришелъ къ Нàбольшему, палъ передъ нимъ и объяснилъ свое горе. И Нàбольшій за это Ивана Богатаго похвалилъ. Сказалъ ему: «Исполать тебѣ, добру-молодцу, за то, что сосѣда своего, Ивашку Бѣднàго, не забываешь. Нѣтъ для начальства пріятнѣе, какъ ежели государевы подданные въ добромъ согласіи и во взаимномъ радѣніи живутъ, и нѣтъ того зла злѣе, какъ ежели они въ сварѣ, въ ненависти и въ доносахъ другъ на дружку время проводятъ!» Сказалъ это Нàбольшій и, на свой страхъ, повелѣлъ своимъ помощникамъ, чтобы, въ видѣ опыта, обоимъ Иванамъ судъ равный былъ, и дани равныя, а того бы, какъ прежде было: одинъ тяготы несетъ, а другой пѣсенки поетъ — впредь чтобы не было.

Воротился Иванъ Богатый въ свое село, земли подъ собою отъ радости не слышитъ.

— Вотъ, другъ сердешный,—говоритъ онъ Ивану Бѣдному:—своротилъ я, по милости начальнической, съ души моей камень тяжелый! Теперь ужъ мнѣ супротивъ тебя, въ видѣ опыта, никакой вольготы не будетъ. Съ тебя рекрутъ—и съ меня рекрутъ, съ тебя подвода—и съ меня подвода, съ твоей десятины грошъ—и съ моей грошъ. Не успѣешь и ты оглянуться, какъ у тебя отъ одной этой поровёнки во щахъ ежедѣнь убоина будетъ.

Сказалъ это Иванъ Богатый, а самъ, въ надеждѣ славы и добра, уѣхалъ на теплыя воды, гдѣ года два сряду и находился при полезномъ досугѣ.

Былъ въ Вестфаліи — ѣлъ вестфальскую ветчину; былъ въ Страсбургѣ—ѣлъ страсбургскіе пироги; въ Бордо былъ—пилъ бордосское вино; наконецъ, пріѣхалъ въ Парижъ—все вообще пилъ и ѣлъ. Словомъ сказать, такъ весело прожилъ, что насилу ноги унесъ. И все время объ Иванѣ Бѣдномъ думалъ: «то-то онъ теперь, послѣ поровёнки-то, за обѣ щеки уписываетъ!»

А Иванъ Бѣдный между тѣмъ въ трудахъ жилъ. Сегодня

вспашетъ полосу, а завтра заборонуетъ; сегодня скоситъ осьминникъ, а завтра, коли Богъ вёдрушко дастъ, сѣно сушить принимается. Въ кабакъ и дорогу позабылъ, потому знаетъ, что кабакъ—это погибель его. И супруга его, Марья Ивановна, заодно съ нимъ трудится: и жнетъ, и боронуетъ, и сѣно трясетъ, и дрова колетъ. И дѣтушки у нихъ подросли—и тѣ такъ и рвутся хоть съ-эстолько поработать. Словомъ сказать, вся семья съ утра до ночи словно въ котлѣ кипитъ, и все-таки пустыя щи не сходятъ у нея со стола. А съ тѣхъ поръ, какъ Иванъ Богатый изъ села уѣхалъ, такъ даже по праздникамъ сюрпризовъ Иванъ Бѣдный не видитъ.

— Незадача намъ, — говоритъ бѣдняга женѣ: — вотъ и сравняли меня, въ видѣ опыта, въ тягостяхъ съ Иваномъ Богатымъ, а мы все при прежнемъ интересѣ находимся. Живемъ богато, со двора покато· чего ни хватись, за всѣмъ въ люди покатись.

Такъ и ахнулъ Иванъ Богатый, какъ увидѣлъ сосѣда въ прежней бѣдности. Признаться сказать, первою его мыслью было, что Ивашка въ кабакъ прибытки свои таскаетъ. «Неужели онъ такъ закоренѣлъ? неужели онъ неисправимъ?» — восклицалъ онъ въ глубокомъ огорченіи. Однако Ивану Бѣдному не стоило никакого труда доказать, что у него не только на вино, но и на соль не всегда прибытковъ достаточно. А что онъ не мотъ, не расточитель, а хозяинъ радѣтельный, такъ и тому доказательства были налицо. Показалъ Иванъ Бѣдный свой хозяйственный инвентарь, и все оказалось въ цѣлости, въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ было до отъѣзда богатаго сосѣда на теплыя воды. Лошадь гнѣдая покалѣченная—1; корова бурая, съ подпалиной—1; овца—1; телѣга, соха, борона. Даже старыя дровнишки — и тѣ прислонены къ забору стоятъ, хотя по лѣтнему времени надобности въ нихъ нѣтъ, и, стало-быть, можно было бы безъ ущерба для хозяйства ихъ въ кабакѣ заложить. Затѣмъ осмотрѣли и избу—и тамъ все налицо, только съ крыши мѣстами солома повыдергана; но и это произошло оттого, что позапрошлой весной кормовъ недоставало, такъ изъ прѣлой соломы рѣзку для скота готовили.

Словомъ сказать, не оказалось ни единаго факта, который обвинялъ бы Ивана Бѣднаго въ развратѣ или въ мотовствѣ. Это былъ коренной, задавленный русскій мужикъ, который напрягалъ всѣ усилія, чтобы осуществить

все свое право на жизнь, но, по какому-то горькому недоразумѣнію, осуществлялъ его лишь въ самой недостаточной степени.

— Господи! да съ чего-жъ это? — тужилъ Иванъ Богатый. — Вотъ и поровняли насъ съ тобой, и права у насъ одни, и дани равныя платимъ, и все-таки пользы для тебя не предвидится—съ чего бы?

— Я и самъ думаю: съ чего бы? — уныло откликнулся Иванъ Бѣдный.

Сталъ Иванъ Богатый умомъ раскидывать и, разумѣется, нашелъ причину. Оттого, молъ, такъ выходитъ, что у насъ нѣтъ ни общественнаго, ни частнаго почина. Общество—равнодушное; частные люди—всякій о себѣ промышляетъ; правители же хоть и напрягаютъ силы, но вотще. Стало-быть, прежде всего надо общество подбодрить.

Сказано — сдѣлано. Собралъ Иванъ Семенычъ Богатый на селѣ сходку и въ присутствіи всѣхъ домохозяевъ произнесъ блестящую рѣчь о пользѣ общественнаго и частнаго почина... Говорилъ пространно, разсыпчато и вразумительно, словно бисеръ передъ свиньями металъ; доказывалъ примѣрами, что только тѣ общества представляютъ залогъ преуспѣянія и живучести, кои сами о себѣ промыслить умѣютъ; тѣ же, кои предоставляютъ событіямъ совершаться помимо общественнаго участія, тѣ сами себя заранѣе обрекаютъ на постепенное вымираніе и конечную погибель. Словомъ сказать, все, что въ Азбукѣ-Копейкѣ вычиталъ, все такъ и выложилъ передъ слушателями.

Результатъ превзошелъ всѣ ожиданія. Посадскіе люди не только прозрѣли, но и провинились самосознаніемъ. Никогда не испытывали они такого горячаго наплыва разнообразнѣйшихъ ощущеній. Казалось, къ нимъ внезапно подкралась давно желанная, но почему-то и гдѣ-то задерживавшаяся жизненная волна, которая высоко-высоко подняла на себѣ этотъ темный людъ. Толпа ликовала, наслаждаясь своимъ прозрѣніемъ; Ивана Богатаго чествовали, называли героемъ. И въ заключеніе единогласно постановили приговоръ: 1) кабакъ закрыть навсегда; 2) положить основаніе самопомощи, учредивъ Общество Доброхотной Копейки.

Въ тотъ же день, по числу приписанныхъ къ селу душъ, въ кассу общества поступило двѣ тысячи двадцать три копейки, а Иванъ Богатый, сверхъ того, пожертвовалъ неимущимъ сто экземпляровъ Азбуки-Копейки, сказавъ: «Читайте, други, тутъ все есть, что для васъ нужно!»

Опять уѣхалъ Иванъ Богатый на теплыя воды, и опять остался Иванъ Бѣдный при полезныхъ трудахъ, которые на сей разъ, благодаря новымъ условіямъ самопомощи и содѣйствію Азбуки-Копейки, несомнѣнно должны были принести плодъ сторицею.

Прошелъ годъ, прошелъ другой. Ѣлъ ли въ теченіе этого времени Иванъ Богатый въ Вестфаліи вестфальскую ветчину, а въ Страсбургѣ страсбургскіе пироги — достовѣрно сказать не умѣю. Но знаю, что когда онъ, по окончаніи срока, воротился домой, то въ полномъ смыслѣ слова обомлѣлъ.

Иванъ Бѣдный сидѣлъ въ развалившейся лачугѣ, худой, отощалый; на столѣ стояла чашка съ тюрей, въ которую Марья Ивановна, по случаю праздника, подлила, для запаха, ложку конопляного масла. Дѣтушки обсѣли кругомъ стола и торопились ѣсть, какъ бы опасаясь, чтобъ не пришелъ чужакъ и не потребовалъ сиротской доли.

— Съ чего бы это? — съ горечью, почти съ безнадежностью, воскликнулъ Иванъ Богатый.

— И я говорю: съ чего бы это?—по привычкѣ отозвался Иванъ Бѣдный.

Опять начались предпраздничныя собесѣдованія на лавочкѣ передъ хоромами Ивана Богатаго; но какъ ни всесторонне разсматривали собесѣдники удручавшій ихъ вопросъ, ничего изъ этихъ разсмотрѣній не вышло. Думалъ-было сначала Иванъ Богатый, что оттого это происходитъ, что не дозрѣли мы; но, разсудивъ, убѣдился, что ѣсть пирогъ съ начинкой — вовсе не такая трудная наука, чтобъ для нея былъ необходимъ аттестатъ зрѣлости. Попробовалъ-было онъ поглубже копнуть, но съ перваго же абцуга такія пугала изъ глубины повыскакали, что онъ сейчасъ же далъ себѣ зарокъ—никогда ни до чего не докапываться. Наконецъ, рѣшились на послѣднее средство: обратиться за разъясненіемъ къ мѣстному мудрецу и филозофу Ивану Простофилѣ.

Простофиля былъ коренной сельчанинъ, колченогій горбунъ, который, по случаю убожества, цѣнностей не производилъ, а питался тѣмъ, что круглый годъ въ кусочки ходилъ. Но въ селѣ про него говорили, что онъ уменъ, какъ попъ Семенъ, и онъ вполнѣ оправдывалъ эту репутацію. Никто лучше его не умѣлъ на бобахъ развести и чудеса въ рѣшетѣ показать. Посулитъ Простофиля краснаго пѣтуха—глядь, анъ пѣтухъ ужъ гдѣ-нибудь на крышѣ крыль-

ями хлопаетъ; посулитъ градъ съ голубиное яйцо—глядь, анъ отъ града съ поля ужъ ополоумѣвшее стадо бѣжитъ. Всѣ его боялись; а когда подъ окномъ раздавался стукъ его нищенской клюки, то хозяйка-стряпуха торопилась какъ можно скорѣе подать ему лучшій кусокъ.

И на этотъ разъ Простофиля вполнѣ оправдалъ свою репутацію прозорливца. Какъ только Иванъ Богатый изложилъ предъ нимъ обстоятельства дѣла и затѣмъ предложилъ вопросъ: съ чего бы?—Простофиля тотчасъ же, нимало не задумываясь, отвѣтилъ:

— Оттого, что въ планту такъ значится.

Иванъ Бѣдный, повидимому, сразу понялъ Простофилину рѣчь и безнадежно покачалъ головой. Но Богатый Иванъ рѣшительно недоумѣвалъ.

— Плантъ такой есть,—пояснилъ Простофиля, отчетливо произнося каждое слово и какъ бы наслаждаясь собственнымъ прозорливствомъ:—и въ ономъ планту значится: живетъ Иванъ Бѣдный на распутіи, а жилище у него не то изба, не то рѣшето дырявое. Вотъ богачество-то и течетъ все мимо да скрозь, потому задержки себѣ не видитъ. А ты, Богатый Иванъ, живешь у самаго стёка, куда со всѣхъ сторонъ ручьи бѣгутъ. Хоромы у тебя просторныя, справныя, частоколы кругомъ выведены крѣпкіе. Притекутъ къ твоему жительству ручьи съ богачествомъ—тутъ и застрянутъ. И ежели ты, къ примѣру, вчера полъ-имѣнія роздалъ, то сегодня къ тебѣ на смѣну цѣлыхъ три четверти привалило. Ты—отъ денегъ, а деньги—къ тебѣ. Подъ какой кустъ ты ни заглянешь, вездѣ богачество лежитъ. Вотъ онъ каковъ, этотъ плантъ! И сколько вы промежъ себя ни калякайте, сколько ни раскидывайте умомъ—ничего не выдумаете, покуда въ ономъ планту такъ значится.

13.—Здравомысленный заяцъ.

Хоть и обыкновенный это былъ заяцъ, а преумный. И такъ здраво разсуждалъ, что и ослу впору. Притаится подъ кустомъ, чтобъ не видать его было, и самъ съ собой разговариваетъ.

— Всякому,—говоритъ:—звѣрю свое житье предоставлено. Волку—волчье, льву—львиное, зайцу—заячье. Доволенъ ты или недоволенъ своимъ житьемъ, никто тебя не спрашиваетъ; живи, только и всего. Нашего брата, зайца, напримѣръ, всѣ ѣдятъ—кажется, имѣли бы мы основаніе

на сіе претендовать? Однако, ежели разсудить здраво, то едва ли подобная претензія могла бы назваться правильною. Во-первыхъ, кто ѣстъ, тотъ знаетъ, зачѣмъ и почему ѣстъ; а во-вторыхъ, если бы мы и правильно претендовали, отъ этого насъ ѣсть не перестанутъ. Сверхъ препорціи, все равно, не будутъ ѣсть, а сколько надо—непремѣнно съѣдятъ. Статистическія таблицы, при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ издаваемыя...

На этомъ заяцъ обыкновенно засыпалъ, потому что статистика имѣла свойство приводить его въ безпамятство. Но выспится и опять примется здраво разсуждать.

— Ѣдятъ насъ, ѣдятъ, а мы, зайцы, что годъ, то больше плодимся. Стало-быть, и намъ пальца въ ротъ не клади. И лѣтомъ, и зимой, посмотри на поляну — то и дѣло, что зайцы вдоль и поперекъ сигаютъ. Заберемся мы въ капустники или въ овсы, или около молодыхъ яблонь пристроимся — пожалуй, и отъ нашего брата солоно мужичку придется. Да, и за нами, за зайцами, глазъ да глазъ нуженъ. Недаромъ статистическія таблицы, при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ издаваемыя...

Новый сонъ, новыя пробужденія, новыя здравыя мысли. Безъ конца заяцъ умную свою канитель разводилъ; и такъ прикинетъ, и этакъ смекнетъ — и все у него хорошо выходило. И что всего дороже — ни карьеры онъ при этомъ въ виду не имѣлъ, ни передъ начальствомъ оригинальностью взглядовъ блеснуть не разсчитывалъ (онъ зналъ, что начальство, не выслушавши его, съѣстъ), а просто-на-просто самъ для себя любилъ солидно, по-заячьи, обо всемъ разсудить. Дескать,—

Неправо о вещахъ тѣ думаютъ, Шуваловъ,
Которые стекло чтутъ ниже минераловъ.

Вотъ, молъ, у насъ какъ!

Сидѣлъ онъ однажды такимъ манеромъ подъ кустикомъ, да и вздумалъ передъ зайчихой своей здравыми мыслями щегольнуть. Всталъ на заднія ножки, ушки на макушку взбодрилъ, передними лапками штуки-фигуры выдѣлываетъ, а языкомъ, слово за словомъ, точно горохъ, такъ и сыплетъ.

— Нѣтъ,—говоритъ: — мы, зайцы, даже очень хорошо прожить можемъ. Мы и свадьбы справляемъ, и хороводы водимъ, и пиво въ престольные праздники варимъ. Разставимъ верстъ на десять сторожей, да и горланимъ. А волкъ услышитъ, да и прибѣжитъ: «кто пѣсни пѣлъ?...» Ну, тутъ, натурально, кто куда поспѣлъ! Успѣлъ улепет-

нуть — въ другомъ мѣстѣ пиво вари; не успѣлъ — съѣстъ тебя волкъ, какъ пить дастъ! И ничего ты съ этимъ не подѣлаешь. Зайчиха! правду ли я говорю?

— Коли не врешь, такъ правду говоришь, — отвѣтила зайчиха, которая уже за десятымъ мужемъ за этимъ зайцемъ была, и всѣ прежніе девятеро у нея на глазахъ напрасною смертью погибли.

— Подлый народъ эти волки—это правду надо сказать. Все у нихъ только разбой на умѣ!—продолжалъ заяцъ.— Сколько разъ я и говорилъ, и въ газетахъ писалъ: Господа волки! вмѣсто того, чтобъ зайца сразу рѣзать, вы бы только шкурку съ него содрали — онъ бы, спустя время, другую вамъ предоставилъ! Заяцъ, хошь онъ и плодущъ, однако, ежели сегодня цѣлый косякъ вырѣзать, да завтра другой косякъ — глядь, анъ на базарѣ-то, вмѣсто двугривеннаго, заяцъ ужъ въ полтину вскочилъ! А кабы вы чередомъ пришли: господа, молъ, зайцы, не угодно ли на сегодняшнюю волчью трапезу столько-то десятковъ штукъ предоставить?—Съ удовольствіемъ, господа волки! Эй, староста! гони очередныхъ!—И шло бы у насъ все по закону, какъ слѣдуетъ. И волки, и зайцы—всѣ бы въ надеждѣ были. И мы бы, и вы бы, и съ одной стороны, и съ другой стороны... Ахъ, господа, господа!..

Говорилъ-говорилъ заяцъ и чуть-было совсѣмъ не зарапортовался, какъ вдругъ услышалъ, что неподалёчку, въ травѣ, что-то шуршитъ. Смотритъ, анъ зайчиха-то его давно стречка дала, а лиса-кляузница легла на брюхо, да и ползетъ на него, словно поиграть съ заинькой собралась.

— Вотъ ты какой, заяцъ, умный! — первая заговорила лиса: — такъ ты сладко растабарываешь, что вѣкъ бы я тебя слушала, и все бы слушать хотѣлось!

Уменъ былъ заяцъ, а спервоначалу и онъ обомлѣлъ. Стоитъ на заднихъ лапкахъ какъ вкопанный, не то въ сторону глазами коситъ, куда бы стречка дать, не то обдумываетъ: вотъ оно когда пришлось съ здравой точки зрѣнія на свое положеніе взглянуть...

— Голодна, тетенька? — спросилъ онъ, стараясь какъ можно меньше робѣть.

— И! что ты! Господь съ тобой! да я пресытёхонька! Развѣ потомъ что будетъ, а теперь—и Боже меня сохрани! Здравствуй, заинька, будь здоровъ!

Сѣла лиса по-собачьему и заиньку присѣсть пригласила, и онъ ножки подъ себя поджалъ. Поджалъ, сердечный, и

все самъ съ собой разсуждаетъ: «Какъ, молъ, я ошибалъ, такъ по-моему и вышло. Всякому звѣрю свое житье: льву—львиное, лисѣ—лисье, зайцу—заячье. Нутка, вывози теперь, заячье житье!»

А лисица точно читаетъ въ его сокровенныхъ мысляхъ, сидитъ, да, знай, зайньку похваливаетъ.

— И откуда ты къ намъ, такой филозо́фъ, пожаловалъ?

— Недавно я, тетенька, изъ-за тридевять земель, какъ угорѣлый, сюда прикатилъ. Жилъ я въ своемъ мѣстѣ, можно сказать, даже очень хорошо. И семейство у меня было, и обзаведеньице, и все такое. Цѣлую зиму мы у помѣщика на скотномъ дворѣ въ омётѣ припѣваючи прожили: днемъ спимъ, а ночью клепковъ да яблонекъ погрыземъ. Ужъ дѣло къ веснѣ шло, въ лѣсъ бы собираться на дачу пора, анъ къ намъ въ омётъ волкъ пожаловалъ. Какіе-такіе звѣри? по какому виду? съ чьего разрѣшенія?.. Я-то, признаться, убѣгъ, а зайчиха съ зайчатами...

— Слышала я объ этомъ. Волкъ-то мнѣ кумомъ приходится, такъ сказывалъ. «Намеднись, говоритъ, я цѣлое заячье гнѣздо разорилъ, а заяцъ убѣгъ, такъ какъ бы намъ, кума, его разыскать?» Анъ ты вотъ онъ—онъ. Смотри, жену-то, чай, жалко было?

— Ужъ и не помню. Вижу, что надо бѣжать,—и побѣжалъ. Прибѣжалъ, смотрю — зайчиха-вдова сидитъ: давай, молъ, вмѣстѣ жить! И стали жить. Жили мы съ ней, нельзя похаять, исправно, а теперь вотъ она убѣжала, а я остался.

— Ахъ ты горюнъ-горюнъ! Ну, дай срокъ, мы ее изымаемъ!

Лисица зѣвнула, легонько куснула зайца за ляжку (онъ, однако, сдѣлалъ видъ, что не замѣтилъ), повалилась на бокъ, откинула голову и зажмурилась.

— Ишь вѣдь солнце-то жаритъ,— лѣниво пробормотала она:—словно дѣло дѣлаетъ! Сёмъ, я вздремну, а ты тѣмъ временемъ сядь поближе да покалякай.

Такъ и сдѣлали. Лиса задремала, а заяцъ съ такимъ разсчетомъ сѣлъ, чтобъ лисѣ его во всякое время мордой достать было можно, и началъ сказки сказывать.

Я, тетенька, не привередливъ,— говорилъ онъ: — я всячески жить согласенъ. И трехъ лѣтъ еще нѣтъ, какъ я на свѣтѣ живу, а ужъ чуть не половину Россіи обѣгалъ. Только-что въ одномъ мѣстѣ оснуешься—глядь, либо волкъ, либо сова, либо охотнички съ облавой на тебя собрались. Бѣги, сломя голову, устраивайся по-новому за тридевять

земель. Но я на это не ропщу, потому понимаю, что такова есть заячья жизнь. А ежели иной разъ и не понимаю, то и не понимаючи все-таки бѣгу. Все одно какъ мужики въ нашихъ мѣстахъ. Онъ спать собрался, а подъ окномъ у него — тукъ-тукъ! ступай, дядя Михей, съ подводой! На дворѣ метель, стыть, лошаденка у него чуть дышитъ, а онъ навалитъ на подводу солдатъ, да и претъ двадцать верстъ около саней пѣшкомъ. Черезъ сутки, гляди, опять домой вернулся, ребятамъ пряника привезъ, женѣ — платокъ на голову, всѣмъ вообще — слезы. Спроси его, что сіе означаетъ?—онъ тебѣ отвѣтитъ: означаетъ сіе мужицкую жизнь. Такъ-то и мы, зайцы. Жить—живемъ, а рукъ на себя не накладываемъ. Всегда мы готовы... Такъ ли я, тетенька, говорю?

Лиса, вмѣсто отвѣта, тихо лайнула, точно во снѣ; заяцъ искоса взглянулъ на нее: не спитъ ли, молъ, тетенька? Не было ли у него при этомъ на умѣ, въ случаѣ чего, стречка дать, — навѣрное сказать не могу, но очень возможно, что и такого рода политика въ программу заячьей жизни входитъ. Однако, хотя лиса не только глаза зажмурила, но легла на спину и даже ноги, подлая, распялила, по заяцъ чутьемъ догадался, что она это комедіи передъ нимъ разыгрываетъ.

— Разскажу я тебѣ, — продолжалъ онъ: — какъ у меня дядя у одного солдата въ услуженіи жилъ. Поймалъ его солдатъ еще махонькаго и всему солдатскому обиходу выучилъ. Изъ ружья ли выпалить, артикулъ ли выкинуть, смаршировать ли, въ барабанъ ли зорю отбить — на все дядя за первый сортъ былъ. Ѣздятъ, бывало, вдвоемъ по базарамъ, представленья показываютъ, а имъ — кто яйцо, кто копеечку, кто хлѣба кусокъ, Христа ради, подастъ. Такъ вотъ этотъ самый солдатъ житіе свое дядѣ разсказывалъ. «Жилъ я, говоритъ, въ дому у родителей, и послалъ меня однажды батюшка сани на зиму изладить. Излаживаю я, пѣсенки попѣваю, трубочку покуриваю — вдругъ десятскій на дворъ: — ступай, Семенъ, въ волостную; тебя въ солдаты требуютъ. — Я, въ чемъ былъ, въ томъ и ушелъ; хорошо, что трубку-то въ штаны спрятать успѣлъ. Ушелъ, да двадцать лѣтъ послѣ того и пропонтировалъ *). А черезъ

*) Заяцъ, очевидно, говоритъ про очень старинныя времена, когда солдатская служба продолжалась не меньше 20-ти лѣтъ, и когда рекрутовъ, изъ опасенія, чтобы они не бѣжали въ дорогѣ, забивали въ колодки.

двадцать лѣтъ воротился въ свое мѣсто—ни кола, ни двора, чисто...» Такъ вотъ оно,—прибавилъ разсудительно заяцъ:—мужичья-то жизнь какъ оборачивается! Сейчасъ онъ—мужикъ, а сейчасъ—солдатъ; и то, и другое житьемъ называется. Такъ-то вотъ и съ нами, зайцами...

— Неужто-жъ и васъ въ солдаты отдаютъ?—спросила лиса, точно сейчасъ проснулась.

— Нѣтъ, насъ ѣдятъ,—отвѣтилъ заяцъ какъ можно веселѣе.

— И я то же думаю, потому что какіе же вы солдаты! Хуже старинной гарнизы, которую славный генералъ Бибиковъ «негодницей» звалъ. И дядю-то твоего, поди, солдатъ подъ конецъ съѣлъ?

— Нѣтъ, солдатъ-то умеръ, а дядя въ ту пору бѣжалъ. Пришелъ домой, а заячьей работы работать не можетъ—отвыкъ. И тетка задаромъ кормить его не согласна. Вотъ онъ однажды и надумалъ: «пойду въ село на базаръ, буду комедіи представлять». Да только-что началъ «кавалерійскую рысь» на барабанѣ отхватывать—его собаки и разорвали!

— И по дѣломъ: зачѣмъ публику безпокоилъ. Впрочемъ, вѣдь дядя-то твой, чай, и заранѣе зналъ, что когда-нибудь да съѣдятъ его. Не собаки, такъ волкъ, не волкъ, такъ лисица. Резолюція-то вамъ всѣмъ одна. Ну, а покуда что, скажи мнѣ: лисицы-то каковы въ вашей сторонѣ? Лихи, чай?

— Въ нашей сторонѣ лисицы, нужно правду сказать, даже очень лихи. Я-то ни съ одной близко не встрѣчался, а видѣлъ, какъ однажды лисицу у меня въ глазахъ охотничекъ заполевалъ. И, признаться...

Заяцъ хотѣлъ сказать: «обрадовался», но спохватился и оробѣлъ; однако лиса отгадала его мысль.

— Вотъ вѣдь ты кровопивецъ какой!—укорила она его и такъ больно укусила ему бокъ, что изъ раны полилась кровь.

— Ахъ!—взвизгнулъ заяцъ отъ боли, но въ одну минуту сдержалъ себя и молодецки поправился:—Это я, ваше высокое степенство, о тамошнихъ лисахъ говорю, а здѣшнія лисицы, сказываютъ, добрыя.

— Ой ли?

— Вѣрно говорю. Въ прошломъ году у насъ въ лѣсу зайчикъ-сирота остался, такъ одна лисица его съ своими дѣтьми, слышь, воспитала.

— Выростила, значитъ, и выпустила? Гдѣ-жъ онъ теперь, сиротка-то вашъ?

— Кто его знаетъ, гдѣ онъ теперь... Пропалъ будто. Поворовывать, говорятъ, началъ, скружился, а наконецъ и лисицу молоденькую соблазнилъ. За это будто бы его старуха-лисица съѣла.

— Я его съѣла, я—та самая лисица и есть, о которой ты слышалъ. Только не за то я его съѣла, что онъ скружился и въ развратъ впалъ, а за то, что пора его приспѣла.

Лисица на минуту задумалась и щелкнула зубами, поймавъ блоху. Потомъ, не торопясь, встала, встряхнулась и совершенно добродушно спросила зайца:

— А теперь, какъ ты полагаешь, кого я ѣсть буду?

Уменъ былъ заяцъ, а не угадалъ. Или, лучше сказать, у него тогда же въ умѣ мелькнуло: «вотъ оно, заячье-то житье... начинается!» — но ему смерть не хотѣлось даже самому себѣ признаться въ этомъ.

— Не знаю,—отвѣтилъ онъ.

Однако и по лицу, и по голосу его такъ было явно, что онъ лжетъ, что лиса не на шутку разсердилась.

— Вотъ ты какой лгунъ! — сказала она.—Мнѣ про тебя и нивѣсть чего наговорили: и филозофъ-то ты, и сердцевѣдецъ-то, а выходитъ, что ты — самый обыкновенный, плохой зайченко! Тебя буду ѣсть! тебя, сударь, тебя!

Лиса отпрянула назадъ и сдѣлала видъ, что вотъ-вотъ сейчасъ бросится на зайца и съѣстъ. Но вслѣдъ затѣмъ она сѣла и, какъ ни въ чемъ не бывало, начала задней ногой за ухомъ чесать.

— А, можетъ-быть, ты и помилуешь? — вполголоса сдѣлалъ робкое предположеніе заяцъ.

— Часъ-отъ-часу не легче! — еще пуще разсердилась лиса. — Гдѣ ты это слыхалъ, чтобы лисицы миловали, а зайцы помилованіе получали? Развѣ для того мы съ тобой, фофанъ ты этакій, подъ однимъ небомъ живемъ, чтобы въ помилованья играть... а?

— Ну, тетенька, примѣры-то эти бывали! — настаивалъ заяцъ, все еще хорохорясь. Но тутъ же, впрочемъ, упалъ духомъ и затосковалъ.

Вспомнилось ему, какъ онъ изъ конца въ конецъ бѣгалъ, словно мужикъ-раскольникъ, «вышняго града взыскуя»; какъ онъ по цѣлымъ суткамъ въ дуплѣ, не ѣвши, дрожалъ; какъ однажды, отъ лихого звѣря спасаясь, онъ въ подполицу къ мужику разскакался, да благо въ ту пору великій постъ былъ—мужикъ-отъ его и выпустилъ. Вспомнилъ про

своихъ зайчихъ-любушекъ, какъ онъ вмѣстѣ съ ними зайчать зоблилъ и какъ ни съ одной порядкомъ даже надышаться не успѣлъ. И, вспоминая, то и дѣло втихомолку твердилъ:

— Ахъ, кабы пожить! Ахъ, кабы хоть чуточку еще пожить!

А лиса тѣмъ временемъ и взаправду пріятный сюрпризъ зайцу приготовила.

— Слушай, подлый зайчишко, — сказала она: — я вѣдь думала, что ты въ самомъ дѣлѣ философъ, а тебя между тѣмъ вишь какъ отъ одной мысли о смерти коробитъ. Такъ вотъ я какую для тебя вольготу придумала. Отойду я на четыре сажени впередъ, сяду къ тебѣ задомъ и не буду на тебя, на гаденка этакаго, цѣлыхъ пять минутъ смотрѣть. А ты въ это время старайся мимо меня такъ пробѣжать, чтобы я тебя не поймала. Успѣешь улизнуть—твоя взяла; не успѣешь—сейчасъ тебѣ резолюція готова.

— Ахъ, тетенька, гдѣ уже мнѣ!

— Глупый! ежели и не улизнешь, такъ все-таки время проведешь. Дѣломъ займешься, потрафлять будешь — анъ тоски-то и убавится. Все равно какъ солдатъ на войнѣ: потрафляетъ да потрафляетъ—смотришь, анъ и пропалъ!

Заяцъ подумалъ-подумалъ и долженъ былъ согласиться, что лиса хорошо придумала. Между дѣломъ быть съѣденнымъ все-таки вольготнѣе, нежели въ томительно-праздномъ ожиданіи. Настоящая-то заячья смерть именно такова и есть, чтобы на всемъ скаку: бѣжишь во весь опоръ, анъ тутъ тебѣ и капутъ.

«Ничего ты не понимаешь, что съ тобой дѣлается, а тебя вдругъ пополамъ разорвали!»—соображалъ заяцъ и машинально прибавилъ:—А можетъ-быть...

— Ну, эти фантазіи-то ты оставь! — предупредила его лиса, угадавъ неясную надежду, мелькнувшую у него въ головѣ. — Ты лучше ужъ безъ фантазій... разъ, два, три! Господи благослови, начинай!

Сказавши это, лиса отошла на четыре сажени впередъ, предварительно посадивши зайца задомъ къ частому-частому кустарнику, чтобы никакъ онъ не могъ назадъ убѣжать, а бѣжалъ бы не иначе, какъ мимо нея.

Сѣла лисица и занялась своимъ дѣломъ, словно и не видитъ зайца. Но заяцъ нимало не сомнѣвался, что если-бъ она и еще на четыре сажени впередъ отошла, то и тогда ни одно самомалѣйшее его движеніе не ускользнуло бы отъ нея. Нѣсколько разъ онъ вскакивалъ на ноги и уши на спину складывалъ; нѣсколько разъ онъ весь собирался въ

комокъ, намѣреваясь сдѣлать какой-то диковинный скачокъ, благодаря которому онъ сразу очутился бы внѣ преслѣдованія; но увѣренность, что лиса, и не видя, все видитъ, приводила его въ оцѣпенѣніе. Тѣмъ не менѣе лиса все-таки была по-своему права: у зайца дѣйствительно нашлось заячье дѣло, которое въ значительной мѣрѣ агонію его смягчило.

Наконецъ, урочныя пять минутъ истекли, заставъ зайца неподвижнымъ на прежнемъ мѣстѣ и всецѣло погруженнымъ въ созерцаніе своего заячьяго дѣла.

— Ну, теперь давай, заяцъ, играть!—предложила лисица.

Начали они играть. Съ четверть часа лисица прыгала вокругъ зайца: то укуситъ его и совсѣмъ ужъ сберется горло перервать, то прыгнетъ въ сторону и задумается: не простить ли, молъ? Но даже и это было для зайца своего рода дѣло, потому что ежели онъ и не оборонялся взаправду, то все-таки лапками закрывался, верезжалъ...

Но черезъ четверть часа все было кончено. Вмѣсто зайца остались только клочки шкуры да здравомысленныя его слова: «всякому звѣрю свое житье: льву — львиное, лисѣ— лисье, зайцу—заячье».

14.—Либералъ.

Въ нѣкоторой странѣ жилъ-былъ либералъ, и притомъ такой откровенный, что никто слова не молвитъ, а онъ ужъ во все горло гаркаетъ: «ахъ, господа, господа! что вы дѣлаете! вѣдь вы сами себя губите!» И никто на него за это не сердился, а напротивъ, всѣ говорили: «пускай предупреждаетъ—намъ же лучше!»

— Три фактора, — говорилъ онъ: — должны лежать въ основаніи всякой общественности: свобода, обезпеченность и самодѣятельность. Ежели общество лишено свободы, то это значитъ, что оно живетъ безъ идеаловъ, безъ горѣнія мысли, не имѣя основы для творчества, ни вѣры въ предстоящія ему судьбы. Ежели общество сознаетъ себя необезпеченнымъ, то это налагаетъ на него печать подавленности и дѣлаетъ равнодушнымъ къ собственной участи. Ежели общество лишено самодѣятельности, то оно становится неспособнымъ къ устройству своихъ дѣлъ и даже мало-по-малу утрачиваетъ представленіе объ отечествѣ.

Вотъ какъ мыслилъ либералъ, и, надо правду сказать, мыслилъ правильно. Онъ видѣлъ, что кругомъ него люди

словно отравленныя мухи бродятъ, и говорилъ себѣ: «это оттого, что они не сознаютъ себя строителями своихъ судебъ. Это колодники, къ которымъ и счастіе, и злосчастіе приходитъ безъ всякаго съ ихъ стороны предвидѣнія, которые не отдаются беззавѣтно своимъ ощущеніямъ, потому что не могутъ опредѣлить, дѣйствительно ли это ощущенія, или какая-нибудь фантасмагорія». Однимъ словомъ, либералъ былъ твердо убѣжденъ, что лишь упомянутые три фактора могутъ дать обществу прочные устои и привести за собою всѣ остальныя блага, необходимыя для развитія общественности.

Но этого мало: либералъ не только благородно мыслилъ, но и рвался благое дѣло дѣлать. Завѣтнѣйшее его желаніе состояло въ томъ, чтобы лучъ свѣта, согрѣвавшій его мысль, прорѣзалъ окрестную тьму, освѣтилъ ее и все живущее напоилъ благоволеніемъ. Всѣхъ людей онъ признавалъ братьями, всѣхъ одинаково призывалъ насладиться подъ сѣнію излюбленныхъ имъ идеаловъ.

Хотя это стремленіе перевести идеалы изъ области эмпиреевъ на практическую почву припахивало не совсѣмъ благонадежно, но либералъ такъ искренно пламенѣлъ, и притомъ былъ такъ милъ и ко всѣмъ ласковъ, что ему даже неблагонадежность охотно прощали. Умѣлъ онъ и истину съ улыбкой высказать, и простачкомъ, гдѣ нужно, прикинуться, и безкорыстіемъ щегольнуть. А главное, никогда и ничего онъ не требовалъ наступя на горло, а всегда только *по возможности*.

Конечно, выраженіе: «по возможности» не представляло для его ретивости ничего особенно лестнаго, но либералъ примирялся съ нимъ, во-первыхъ, ради общей пользы, которая у него всегда на первомъ планѣ стояла, и во-вторыхъ, ради огражденія своихъ идеаловъ отъ напрасной и преждевременной гибели. Сверхъ того, онъ зналъ, что идеалы, его одушевляющіе, имѣютъ слишкомъ отвлеченный характеръ, чтобы воздѣйствовать на жизнь непосредственнымъ образомъ. Что такое свобода? обезпеченность? самодѣятельность? Все это отвлеченные термины, которые слѣдуетъ наполнить несомнѣнно осязательнымъ содержаніемъ, чтобы въ результатѣ вышло общественное цвѣтеніе. Термины эти, въ своей общности, могутъ воспитывать общество, могутъ возвышать уровень его вѣрованій и надеждъ, но блага осязаемаго, разливающаго непосредственное ощущеніе довольства, принести не могутъ. Чтобы достичь

этого блага, чтобы сдѣлать идеалъ общедоступнымъ, необходимо размѣнять его на мелочи и уже въ этомъ видѣ примѣнять къ исцѣленію недуговъ, удручающихъ человѣчество. Вотъ тутъ-то, при размѣнѣ на мелочи, и вырабатывается само собой это выраженіе: «по возможности», которое изъ двухъ приходящихъ въ соприкосновеніе сторонъ одну заставляетъ *въ извѣстной степени* отказаться отъ замкнутости, а другую—*въ значительной степени* сократить свои требованія.

Все это отлично понялъ нашъ либералъ и, заручившись этими соображеніями, препоясался на брань съ дѣйствительностью. И прежде всего, разумѣется, обратился къ свѣдущимъ людямъ.

— Свобода—вѣдь, кажется, тутъ ничего предосудительнаго нѣтъ?—спросилъ онъ ихъ.

— Не только не предосудительно, но и весьма похвально,—отвѣтили свѣдущіе люди:—вѣдь это только клевещутъ на насъ, будто бы мы не желаемъ свободы; въ дѣйствительности, мы только объ ней и печалимся... Но, разумѣется, въ предѣлахъ...

— Гм!.. «въ предѣлахъ»... понимаю! А что вы скажете насчетъ обезпеченности?

— И это милости просимъ... Но, разумѣется, тоже въ предѣлахъ.

— А какъ вы находите мой идеалъ общественной самодѣятельности?

— Его только и недоставало. Но, разумѣется, опять-таки въ предѣлахъ.

Что-жъ! въ предѣлахъ, такъ въ предѣлахъ! Самъ либералъ хорошо понималъ, что иначе нельзя. Пусти-ка савраса безъ узды—онъ въ одинъ моментъ того накуралеситъ, что годами потомъ не поправишь! А съ уздою — святое дѣло! Идетъ саврасъ и оглядывается: а нутко я тебя, саврасъ, кнутомъ шарахну... вотъ такъ!

И началъ либералъ «въ предѣлахъ» орудовать: тамъ урветъ, тамъ урѣжетъ, а въ третьемъ мѣстѣ и совсѣмъ спрячется. А свѣдущіе люди глядятъ на него и не нарадуются. Одно время даже такъ работой его увлеклись, что можно было подумать, что и они либералами сдѣлались.

— Дѣйствуй!—поощряли они его:—тутъ обойди, здѣсь ступуй, а тамъ и вовсе не касайся. И будетъ все хорошо. Мы бы, любезный другъ, и съ радостью готовы тебя,

козла, въ огородъ пустить, да самъ видишь, какимъ тыномъ у насъ огородъ обнесенъ!

— Вижу-то, вижу, — соглашался либералъ: — но только какъ мнѣ стыдно свои идеалы ломать! Такъ стыдно! Ахъ, какъ стыдно!

— Ну, и постыдись маленько: стыдъ глаза не выѣстъ! Зато, *по возможности*, все-таки затѣю свою выполнишь!

Однако по мѣрѣ того, какъ либеральная затѣя *по возможности* осуществлялась, свѣдущіе люди догадывались, что даже и въ этомъ видѣ идеалы либерала не розами пахнутъ. Съ одной стороны черезчуръ широко задумано; съ другой стороны — недостаточно созрѣло, къ воспріятію не готово.

— Невмоготу намъ твои идеалы! — говорили либералу свѣдущіе люди:—не готовы мы, не выдержимъ!

И такъ подробно и отчетливо всѣ свои несостоятельности и подлости высчитывали, что либералъ, какъ ни горько ему было, долженъ былъ согласиться, что дѣйствительно въ предпріятіи его существуетъ какой-то фаталистическій огрѣхъ: не лѣзетъ въ штаны, да и баста.

— Ахъ, какъ это печально!—роптalъ онъ на судьбу.

— Чудакъ!—утѣшали его свѣдущіе люди:—есть отъ чего плакать! Тебѣ что нужно, — будущее за твоими идеалами обезпечить? — такъ вѣдь мы тебѣ въ этомъ не препятствуемъ. Только не торопись ты, ради Христа! Ежели нельзя «по возможности», такъ удовольствуйся тѣмъ, что отвоюешь «хоть что-нибудь»! Вѣдь и «хоть что-нибудь» свою цѣну имѣетъ. Помаленьку да полегоньку, не торопясь да Богу помолясь — смотришь, анъ одной ногой ты ужъ и въ капищѣ! Въ капище-то, съ самой постройки его, никто не заглядывалъ; а ты взялъ да и заглянулъ... И за то Бога благодари.

Дѣлать нечего, пришлось и на этомъ помириться. Ежели нельзя «по возможности», такъ «хоть что-нибудь» старайся урвать и на томъ спасибо скажи. Такъ либералъ и поступилъ, и вскорѣ такъ свыкся съ своимъ новымъ положеніемъ, что самъ дивился, какъ онъ былъ такъ глупъ, полагая, что возможны какіе-нибудь иные предѣлы. И уподобленія всякія на подмогу къ нему явились. И пшеничное, молъ, зерно не сразу плодъ даетъ, а также поцеремонится. Сперва надо его въ землю посадить, потомъ ожидать, покуда въ немъ произойдетъ процессъ разложе-

нія, потомъ оно дастъ ростокъ, который прозябнетъ, въ трубку пойдетъ, выколосится и т. д. Вотъ черезъ сколько волшебствъ должно перейти зерно, прежде нежели дастъ плодъ сторицею! Такъ же и тутъ, въ погонѣ за идеалами. Посадилъ въ землю «хоть что-нибудь»—сиди и жди.

И точно: посадилъ либералъ въ землю «хоть что-нибудь»—сидитъ и ждетъ. Только ждетъ-пождетъ, а не прозябаетъ «хоть что-нибудь», и вся недолга. На камень оно, что ли, попало, или въ навозѣ сопрѣло—поди, разбирай!

— Что за причина такая?—бормоталъ либералъ въ великомъ смущеніи.

— Та самая причина и есть, что загребаешь ты черезчуръ широко, — отвѣчали свѣдущіе люди. — А народъ у насъ между тѣмъ слабый, расподлѣющій. Ты къ нему съ добромъ, а онъ норовитъ тебя же въ ложкѣ утопить. Большую надо сноровку имѣть, чтобы съ этимъ народомъ въ чистотѣ себя сохранить!

— Помилуйте! Что ужъ теперь о чистотѣ говорить! Съ какимъ я запасомъ-то въ путь вышелъ, а кончилъ тѣмъ, что весь его по дорогѣ растерялъ. Сперва «по возможности» дѣйствовалъ, потомъ на «хоть что-нибудь» съѣхалъ—неужто можно и еще дальше подъ гору идти?

— Разумѣется, можно. Не хочешь ли, напримѣръ, «примѣнительно къ подлости»?

— Какъ такъ?

— Очень просто. Ты говоришь, что принесъ намъ идеалы, а мы говоримъ: прекрасно; только ежели ты хочешь, чтобъ мы восчувствовали, то дѣйствуй примѣнительно.

— Ну?

— Значитъ, идеалами-то не превозносись, а по нашему масштабу ихъ сократи, да примѣнительно и дѣйствуй. А потомъ, можетъ-быть, и мы, коли пользу увидимъ... Мы, братъ, тоже травленые волки, прожектеровъ-то видѣли! Намеднись генералъ Крокодиловъ вотъ этакъ же къ намъ отъявился: «господа, — говоритъ: — мой идеалъ — кутузка! Пожалуйте!» Мы сдуру-то повѣрили, а теперь и сидимъ у него подъ ключомъ.

Крѣпко задумался либералъ, услышавъ эти слова. И безъ того отъ первоначальныхъ его идеаловъ только одни ярлыки остались, а тутъ еще подлость прямую для нихъ прописываютъ! Вѣдь этакъ, пожалуй, не успѣешь оглянуться, какъ и самъ въ подлецахъ очутишься. Господи! вразуми!

А свѣдущіе люди, видя его задумчивость, съ своей стороны стали его понуждать:—«Коли ты, либералъ, заварилъ кашу, такъ ужъ не мудри, вари до конца! Ты насъ взбудоражилъ, ты же насъ и ублаготвори... дѣйствуй!»

И сталъ онъ дѣйствовать. И все примѣнительно къ подлости. Попробуетъ иногда, грѣшнымъ дѣломъ, въ сторону улизнуть, а свѣдущій человѣкъ сейчасъ его за рукавъ: «куда, либералъ, глаза скосилъ? Гляди прямо!»

Такимъ образомъ шли дни за днями, а за ними шло впередъ и дѣло преуспѣянія «примѣнительно къ подлости». Идеаловъ и въ поминѣ ужъ не было — одна мразь осталась, — а либералъ все-таки не унывалъ. «Что-жъ такое, что я свои идеалы по уши въ подлости завязилъ? Зато я самъ, яко столпъ, невредимъ стою! Сегодня я въ грязи валяюсь, а завтра выглянетъ солнышко, обсушитъ грязь— я и опять молодецъ-молодцомъ!» А свѣдущіе люди слушали эти его похвальбы и поддакивали: «именно такъ!»

И вотъ шелъ онъ однажды по улицѣ съ своимъ пріятелемъ, по обыкновенію объ идеалахъ калякалъ и свою мудрость на чемъ свѣтъ превозносилъ. Какъ вдругъ онъ почувствовалъ, словно бы на щеку ему нѣсколько брызговъ пало. Откуда? съ чего? Взглянулъ либералъ наверхъ: не дождикъ ли, молъ? Однако видитъ, что въ небѣ ни облака, и солнышко какъ угорѣлое на зенитѣ играетъ. Вѣтерокъ хоть и подуваетъ, но такъ какъ помои изъ оконъ выливать не указано, то и на эту операцію подозрѣніе положить нельзя.

— Что за чудо! — говоритъ пріятелю либералъ: — дождя нѣтъ, помоевъ нѣтъ, а у меня на щеку брызги летятъ!

— А видишь, вонъ за угломъ нѣкоторый человѣкъ притаился, —отвѣтилъ пріятель:—это его дѣло! Плюнуть ему на тебя за твои либеральныя дѣла захотѣлось, а въ глаза сдѣлать это смѣлости не хватаетъ. Вотъ онъ «примѣнительно къ подлости» изъ-за угла и плюнулъ, и на тебя вѣтромъ брызги нанесло

15.—Баранъ-Непомнящій.

Домашніе бараны съ незапамятныхъ временъ живутъ въ порабощеніи у человѣка; ихъ настоящіе родоначальники неизвѣстны.

Брэмъ.

Были ли когда-нибудь домашніе бараны «вольными» — исторія объ этомъ умалчиваетъ. Въ самой глубокой древности патріархи уже обладали стадами прирученныхъ ба-

рановъ, и затѣмъ, черезъ всѣ вѣка, баранъ проходитъ распространеннымъ по всему лицу земли въ качествѣ животнаго, какъ бы нарочито на потребу человѣку созданнаго. Человѣкъ, въ свою очередь, создаетъ цѣлыя особыя породы барановъ, почти не имѣющія между собою ничего общаго. Однихъ воспитываютъ для мяса, другихъ — для сала, третьихъ—ради теплыхъ овчинъ, четвертыхъ—ради обильной и мягкой волны.

Сами домашніе бараны, конечно, всего меньше о вольномъ прародителѣ своемъ помнятъ, а просто знаютъ себя принадлежащими къ той породѣ, въ которой засталъ ихъ моментъ рожденія. Этотъ моментъ составляетъ исходную точку личной бараньей исторіи; но даже и онъ постепенно тускнѣетъ, по мѣрѣ вступленія барана въ зрѣлый возрастъ. Такъ что истинно-мудрымъ называется только тотъ баранъ, который ничего не помнитъ и не сознаетъ, кромѣ травы, сѣна и мѣсятки, предлагаемыхъ ему въ пищу.

Однако грѣхъ да бѣда на кого не живетъ. Спалъ однажды нѣкоторый баранъ и увидѣлъ сонъ. Должно-быть, не одну мѣсятку во снѣ видѣлъ, потому что проснулся тревожный и долго глазами чего-то искалъ.

Сталъ онъ припоминать, что такое случилось; но хоть убей—ничего вспомнить не могъ. Даль какая-то, серебрянымъ свѣтомъ подернутая, и больше ничего. Только смутное ощущеніе этой безформенной серебряной дали и осталось въ немъ, но никакого опредѣленнаго очертанія, ни одного живого образа...

— Овца! а овца! что я такое во снѣ видѣлъ? — спросилъ онъ лежащую рядомъ овцу, которая, яко во-истину овца, отроду сновъ не видала.

— Спи, выдумщикъ! — сердито отвѣчала овца: — не для того тебя изъ-за моря привезли, чтобъ сны видѣть да модника изъ себя представлять!

Баранъ былъ породистый англійскій мериносъ. Помѣщикъ Иванъ Созонтычъ Растаковскій шальныя деньги за него заплатилъ и великія на него надежды возлагалъ. Но, конечно, не для того онъ его изъ-за моря вывезъ, чтобъ отъ него поколѣніе *умныхъ* барановъ пошло, а для того, чтобъ онъ создалъ для своего хозяина стадо тонкорунныхъ овецъ.

И въ первое время по пріѣздѣ его на мѣсто баранъ, дѣйствительно, зарекомендовалъ себя съ самой лучшей сто-

роны. Ни о чемъ онъ не разсуждалъ, ничѣмъ не интересовался, даже не понималъ, куда и зачѣмъ его привезли, а просто-на-просто жилъ да поживалъ. Что же касается до вопроса о томъ, что̀ такое баранъ и какія его права и обязанности, то баранъ не только никакихъ пропагандъ по этому предмету не распространялъ, но едва ли даже подозрѣвалъ, что подобные вопросы могутъ бараньи головы волновать. Но это-то именно и помогало ему выполнять баранье дѣло настолько пунктуально и добросовѣстно, что Иванъ Созонтычъ и самъ нарадоваться на него не могъ, и сосѣдей любоваться водилъ: смотрите!

И вдругъ этотъ сонъ... Что̀ это былъ за сонъ — баранъ рѣшительно не могъ сообразить. Онъ чувствовалъ только, что въ существованіе его вторглось нѣчто необычайное, какая-то тревога, тоска. И хлѣвъ у него, повидимому, тотъ же, и кормъ тотъ же, и то же стадо овецъ, предоставленное ему для усовершенствованія, а ему ни до чего какъ будто бы дѣла нѣтъ. Бродитъ онъ по хлѣву какъ потерянный, и только и дѣла блеетъ:

— Что̀ такое я во снѣ видѣлъ? Растолкуйте мнѣ, что̀ такое я видѣлъ?

Но овцы не выказывали ни малѣйшаго сочувствія къ его тревогамъ и даже не безъ ядовитости называли его умникомъ и филозо́фомъ, что̀, какъ извѣстно, на овечьемъ языкѣ имѣетъ значеніе худшее, нежели «мовстонъ».

Съ тѣхъ поръ, какъ онъ началъ сны видѣть, овцы съ горечью вспоминали о простомъ, шлёнской породы, баранѣ, который передъ тѣмъ четыре года сряду ими помыкалъ, но подъ конецъ, за выслугу лѣтъ, былъ опредѣленъ на кухню и тамъ безъ вѣсти пропалъ (видѣли только, какъ его изъ кухни на блюдѣ, съ тріумфомъ, въ господскій домъ пронесли). То-то былъ настоящій служилый баранъ! Никогда никакихъ сновъ онъ не видѣлъ, никакихъ тревогъ не ощущалъ, а дѣлалъ свое дѣло по точному разуму бараньяго устава—и больше ничего знать не хотѣлъ. И что̀ же!—его, стараго и испытаннаго слугу, уволили, а на его мѣсто опредѣлили какого-то празднолюбца, мечтателя, который съ утра до вечера невѣдомо о чемъ блеетъ, а онѣ, овцы, между тѣмъ ходятъ яловы!

— Совѣмъ насъ этотъ аглецкой олухъ не совершенствуетъ!—жаловались овцы овчару Никитѣ: — какъ бы намъ за него, за фофана, передъ Иваномъ Созонтычемъ въ отвѣтѣ не быть?

— Успокойтесь, милыя!—обнадежилъ ихъ Никита:— завтра мы его выстрижемъ, а потомъ крапивой высѣчемъ— шелковый будетъ.

Однако разсчеты Никиты не оправдались. Барана выстригли, высѣкли, а онъ въ ту же ночь опять сонъ увидѣлъ.

Съ этихъ поръ сны не покидали его. Не успѣетъ онъ ноги подъ себя подогнуть, какъ дрема́ уже сторожитъ его, не разбирая, день или ночь на дворѣ.

И какъ только онъ закроетъ глаза, то весь словно преобразится, и лицо у него словно не баранье сдѣлается, а серьезное, строгое, какъ у стараго, благомысленнаго мужичка изъ тѣхъ, что̀ въ старинные годы «министрами» называли. Такъ что всякій, кто ни пройдетъ мимо, непремѣнно скажетъ: «не на скотномъ дворѣ этому барану мѣсто—ему бы бурмистромъ слѣдовало быть!»

Тѣмъ не менѣе, сколько онъ ни подстерегалъ себя, чтобы возстановить въ памяти только-что видѣнный сонъ, усилія его попрежнему оставались напрасными.

Онъ помнилъ, что во снѣ передъ нимъ проходили живые образы и даже цѣлыя картины, созерцаніе которыхъ приводило его въ восторженное состояніе, но какъ только бодрственное состояніе возвращалось—и образы, и картины исчезали невѣдомо куда, и онъ опять становился заурядным̀ бараномъ. Вся разница заключалась лишь въ томъ, что прежде онъ бодро шелъ навстрѣчу своему бараньему дѣлу, а теперь ходилъ ошеломленный, чего-то сдуру искалъ, а чего именно—самъ себѣ объяснить не могъ... Баранъ, да еще меланхоликъ—что̀, кромѣ ножа, можетъ ожидать его въ будущемъ!?

Но, кромѣ перспективы ножа, положеніе барана и само-по-себѣ было мучительно. Нѣтъ боли горшей, нежели та, которую приносятъ за собой безсильныя порыванія отъ тьмы къ свѣту встревоженной безсознательности. Пристигнутое внезапной жаждой безформенныхъ чаяній, бѣдное, подавленное существо мечется и изнемогаетъ, не умѣя опредѣлить ни характера этихъ чаяній, ни источника ихъ. Оно чувствуетъ, что сердце его объято пламенемъ, и не знаетъ, ради чего это пламя зажглось; оно смутно чуетъ, что міръ не оканчивается стѣнами хлѣва, что за этими стѣнами открываются свѣтлыя, радужныя перспективы, и не умѣетъ намѣтить даже признаки этихъ перспективъ; оно предчувствуетъ свѣтъ, просторъ, свободу и не можетъ

дать отвѣта на вопросъ: что такое свѣтъ, просторъ, свобода...

По мѣрѣ учащенія сновъ, волненіе барана все больше и больше росло. Ни откуда не видѣлъ онъ ни сочувствія, ни отвѣта. Овцы съ испугу жались другъ къ другу при его приближеніи; овчаръ Никита хотя, повидимому, и зналъ нѣчто, но упорно молчалъ. Это былъ умный мужикъ, который до тонкости проникъ баранье дѣло и признавалъ для барановъ только одну обязательную аксіому:

— Коли ты въ бараньемъ сословіи уродился,— говорилъ онъ солидно:—въ ёмъ, значитъ, и живи!

Но именно этого-то баранъ и не могъ выполнить. Именно «сословіе»-то его и мучило, не потому, что ему худо было жить, а потому, что съ тѣхъ поръ, какъ онъ сталъ сны видѣть, ему постоянно чуялось какое-то совсѣмъ другое «сословіе».

Онъ не былъ въ состояніи воспроизвести свои сны, но инстинкты его были настолько возбуждены, что, несмотря на неясность внутренней тревоги, поднявшейся въ его существѣ, онъ уже не могъ справиться съ нею.

Тѣмъ не менѣе, съ теченіемъ времени, тревоги его начали утихать, и онъ какъ будто даже остепенѣлъ. Но успокоеніе это не было послѣдствіемъ трезваго рѣшенія вступить на прежнюю баранью колею, а, напротивъ, скорѣе свидѣтельствовало объ общемъ обезсиленіи бараньяго организма. Поэтому и пользы отъ него не вышло никакой.

Баранъ—очевидно, съ предвзятымъ намѣреніемъ — съ утра до вечера спалъ, какъ будто искалъ обрѣсти во снѣ тѣ сладостныя ощущенія, въ возстановленіи которыхъ отказывала ему бодрственная дѣйствительность...

Въ то же время онъ съ каждымъ днемъ все больше и больше чахъ и хирѣлъ и, наконецъ, сдѣлался до того поразительно худъ, что глупыя овцы, завидѣвъ его, начинали чихать и насмѣшливо между собой перешептываться. И по мѣрѣ того, какъ неразгаданный недугъ овладѣвалъ имъ, лицо его становилось осмысленнѣе и осмысленнѣе. Овчары всѣ до единаго жалѣли о немъ. Всѣ знали, что онъ честный и добрый баранъ, и что ежели онъ не оправдалъ хозяйскихъ надеждъ, то не по своей винѣ, а единственно потому, что его постигло какое-то глубокое несчастіе, вовсе баранамъ не свойственное, но въ то же время—какъ многіе инстинктивно догадывались—дѣлающее ему лично великую честь.

Самъ Иванъ Созонтычъ сочувственно относился къ страданіямъ барана. Не разъ овчаръ Никита намекалъ, что самая лучшая развязка въ такомъ загадочномъ дѣлѣ — ножъ, но Растаковскій упорно отклонялъ это предложеніе.

— Плакали мои денежки,—говорилъ онъ:—но не затѣмъ я ихъ платилъ, чтобы шкурой его воспользоваться. Пускай своей смертью умретъ!

И вотъ вожделѣнный моментъ просіянія наступилъ. Надъ полями мерцала теплая, облитая луннымъ свѣтомъ, іюньская ночь; тишина стояла кругомъ непробудная; не только люди притаились, но и вся природа какъ бы застыла въ волшебномъ оцѣпенѣніи.

Въ бараньемъ загонѣ все спало. Овцы, понуривъ головы, дремали около изгороди. Баранъ лежалъ одиноко, по середкѣ загона. Вдругъ онъ быстро и тревожно вскочилъ. Выпрямилъ ноги, вытянулъ шею, поднялъ голову кверху и всѣмъ тѣломъ дрогнулъ. Въ этомъ выжидающемъ положеніи, какъ бы прислушиваясь и всматриваясь, простоялъ онъ нѣсколько минутъ, и затѣмъ сильное, потрясающее блеянье вырвалось изъ его груди...

Заслышавъ эти тревожно-агонизирующіе звуки, овцы въ испугѣ повскакали съ своихъ мѣстъ и шарахнулись въ сторону. Сторожевой песъ тоже проснулся и съ лаемъ бросился приводить въ порядокъ всполошившееся стадо. Но баранъ уже не обращалъ вниманія на происшедшій переполохъ: онъ весь ушелъ въ созерцаніе.

Передъ тускнѣющимъ его взоромъ воочію развернулась сладостная тайна его сновъ...

Еще минута—и онъ дрогнулъ въ послѣдній разъ. За симъ ноги сами собой подогнулись подъ нимъ, и онъ мертвый рухнулъ на землю.

Иванъ Созонтычъ былъ очень смертью его огорченъ.

— И что за причина такая?—сѣтовалъ онъ вслухъ.— Все былъ баранъ какъ баранъ, и вдругъ словно его осѣнило... Никита! ты пятьдесятъ лѣтъ въ овчарахъ состоишь, стало-быть, долженъ дурью эту породу знать: скажи, отчего надъ нимъ такая бѣда стряслась?

— Стало-быть, «вольнаго барана» во снѣ увидѣлъ,—отвѣтилъ Никита:—увидать-то во снѣ увидалъ, а сообразить настоящимъ манеромъ не могъ... Вотъ онъ сначала затосковалъ, а со временемъ и издохъ. Все равно, какъ изъ нашего брата бываетъ...

Но Иванъ Созонтычъ отъ дальнѣйшаго объясненія уклонился.

— Сіе да послужитъ намъ урокомъ! — похвалилъ онъ Никиту:—въ другомъ мѣстѣ изъ этого барана, можетъ-быть, козелъ бы вышелъ, а по нашему мѣсту такое правило: ежели ты баранъ, такъ и оставайся бараномъ безъ дальнихъ затѣй. И хозяину будетъ хорошо, и тебѣ хорошо, и государству пріятно. И всего у тебя будетъ довольно: и травы, и сѣна, и мѣсятки. И овцы къ тебѣ будетъ ласковы... Такъ ли, Никита?

— Это такъ точно, Иванъ Созонтычъ — отозвался Никита.

16.—Коняга.

Коняга лежитъ при дорогѣ и тяжко дремлетъ. Мужичокъ только-что выпрягъ его и пустилъ покормиться. Но Конягѣ не до корма. Полоса выбралась трудная, съ камешкомъ: въ великую силу они съ мужичкомъ ее одолѣли.

Коняга—обыкновенный мужичій животъ: замученный, побитый, узкогрудый, съ выпяченными ребрами и обожженными плечами, съ разбитыми ногами. Голову Коняга держитъ понуро; грива на шеѣ у него свалялась; изъ глазъ и ноздрей сочится слизь; верхняя губа отвисла, какъ блинъ. Немного на такой животинѣ наработаешь, а работать надо. День-деньской Коняга изъ хомута не выходитъ. Лѣтомъ съ утра до вечера землю работаетъ; зимой, вплоть до ростопели, «произведенія» возитъ.

А силы Конягѣ набраться неоткуда! такой ему кормъ, что отъ него только зубы нахлопаешь. Лѣтомъ, покуда въ ночную гоняютъ, хоть травкой мяконькой поживится, а зимой перевозитъ на базаръ «произведенія» и ѣстъ дома рѣзку изъ прѣлой соломы. Весной, какъ въ полѣ скотину выгонятъ, его жердями на ноги подымаютъ; а въ полѣ ни травинки нѣтъ: кой-гдѣ только торчитъ махрами сопрѣлая ветошь, которую прошлой осенью скотскій зубъ понарокомъ обошелъ.

Худое Конягино житье. Хорошо еще, что мужикъ попался добрый и даромъ его не калѣчитъ. Выѣдутъ оба съ сохой въ поле: «ну, милый, упирайся!»—услышитъ Коняга знакомый окрикъ и понимаетъ. Всѣмъ своимъ жалкимъ остовомъ вытянется, передними ногами упирается, зад-

ними—забираетъ, морду къ груди пригнетъ. «Ну, каторжный, вывози!» А за сохой самъ мужичокъ грудью напираетъ руками, словно клещами, въ соху впился, ногами въ комьяхъ земли грузнетъ, глазами слѣдитъ, какъ бы соха не слукавила, огрѣха бы не дала. Пройдутъ борозду изъ конца въ конецъ и оба дрожатъ: вотъ она, смерть, пришла. Обоимъ смерть — и Конягѣ, и мужику; каждый день смерть.

Пыльный мужицкій проселокъ узкой лентой отъ деревни до деревни бѣжитъ; юркнетъ въ проселокъ, вынырнетъ и опять невѣдомо куда побѣжитъ. И на всемъ протяженіи, по обѣ стороны, его поля сторожатъ. Нѣтъ конца полямъ; всю ширь и даль они заполонили; даже тамъ, гдѣ земля съ небомъ слилась, и тамъ все поля. Золотящіяся, зеленѣющія, обнаженныя—они желѣзнымъ кольцомъ охватили деревню, и нѣтъ у нея никуда выхода, кромѣ какъ въ эту зіяющую бездну полей. Вонъ онъ, человѣкъ, вдали идетъ; можетъ, ноги у него отъ спѣшной ходьбы подсѣкаются, а издали кажется, что онъ все на одномъ мѣстѣ топчется, словно освободиться не можетъ отъ одолѣвающаго пространства полей. Не вглубь уходитъ эта малая, едва замѣтная точка, а только чуть тускнѣетъ. Тускнѣетъ-тускнѣетъ и вдругъ неожиданно пропадаетъ, точно пространство само собой ее засосетъ.

Изъ вѣка въ вѣкъ цѣпенѣетъ грозная, неподвижная громада полей, словно силу сказочную въ плѣну у себя сторожитъ. Кто освободитъ эту силу изъ плѣна? Кто вызоветъ ее на свѣтъ? Двумъ существамъ выпала на долю эта задача: мужику да Конягѣ. И оба отъ рожденія до могилы надъ этой задачей бьются, потъ проливаютъ кровавый, а поле и поднесь своей сказочной силы не выдало—той силы, которая разрѣшила бы узы мужику, а Конягѣ исцѣлила бы наболѣвшія плечи.

Лежитъ Коняга на самомъ солнечномъ пригекѣ; кругомъ ни деревца, а воздухъ до того накалился, что дыханье въ гортани захватываетъ. Изрѣдка пробѣжитъ по проселку вихрами пыль, но вѣтеръ, который поднимаетъ ее, приноситъ не освѣженіе, а новые и новые ливни зноя. Оводы и мухи, какъ бѣшеные, мечутся надъ Конягой, забиваются къ нему въ уши и въ ноздри, впиваются въ побитыя мѣста, а онъ — только ушами автоматически вздрагиваетъ отъ уколовъ. Дремлетъ ли Коняга, или помираетъ—нельзя угадать. Онъ и пожаловаться не можетъ, что

все нутро у него отъ зно́я да отъ кровавой натуги сожгло. И въ этой утѣхѣ Богъ безсловесной животинѣ отказалъ.

Дремлетъ Коняга, а надъ мучительной агоніей, которая замѣняетъ ему отдыхъ, не сновидѣнія носятся, а безсвязная, подавляющая хмара. Хмара, въ которой не только образовъ, но даже чудовищъ нѣтъ, а есть громадныя пятна, то черныя, то огненныя, которыя и стоятъ, и движутся вмѣстѣ съ измученнымъ Конягой и тянутъ его за собой все дальше и дальше въ бездонную глубь.

Нѣтъ конца полю, не уйдешь отъ него никуда! Исходилъ его Коняга съ сохой вдоль и поперекъ, и все-таки ему конца-краю нѣтъ. И обнаженное, и цвѣтущее, и цѣпенѣющее подъ бѣлымъ саваномъ—оно властно раскинулось вглубь и вширь, и не на борьбу съ собою вызываетъ, а прямо беретъ въ кабалу. Ни разгадать его, ни покорить, ни истощить нельзя: сейчасъ оно помертвѣло, сейчасъ—опять народилось. Не поймешь, что̀ тутъ смерть и что̀ жизнь. Но и въ смерти, и въ жизни первый и неизмѣнный свидѣтель—Коняга. Для всѣхъ поле—раздолье, поэзія, просторъ; для Коняги оно—кабала. Поле давитъ его, отнимаетъ у него послѣднія силы и все-таки не признаетъ себя сытымъ. Ходитъ Коняга отъ зари до зари, а впереди его идетъ колышущееся черное пятно и тянетъ, и тянетъ за собой. Вотъ теперь оно колышится передъ нимъ, и теперь ему, сквозь дремоту, слышится окрикъ: «ну, милый! ну, каторжный! ну!»

Никогда не потухнетъ этотъ огненный шаръ, который отъ зари до зари льетъ на Конягу потоки горячихъ лучей; никогда не прекратятся дожди, грозы, вьюги, морозъ... Для всѣхъ природа—мать, для него одного она—бичъ и истязаніе. Всякое проявленіе ея жизни отражается на немъ мучительствомъ, всякое цвѣтеніе—отравою. Нѣтъ для него ни благоуханія, ни гармоніи звуковъ, ни сочетанія цвѣтовъ; никакихъ ощущеній онъ не знаетъ, кромѣ ощущенія боли, усталости и злосчастія. Пускай солнце напояетъ природу теплотомъ и свѣтомъ, пускай лучи его вызываютъ къ жизни и ликованію,—бѣдный Коняга знаетъ о немъ только одно: что оно прибавляетъ новую отраву къ тѣмъ безчисленнымъ отравамъ, изъ которыхъ соткана его жизнь.

Нѣтъ конца работѣ! Работой исчерпывается весь смыслъ его существованія; для нея онъ зачатъ и рожденъ, и внѣ ея онъ не только никому не нуженъ, но, какъ говорятъ разсчетливые хозяева, представляетъ, ущербъ. Вся обста-

новка, въ которой онъ живетъ, направлена единственно къ тому, чтобы не дать замереть въ немъ той мускульной силѣ, которая источаетъ изъ себя возможность физическаго труда. И корма, и отдыха отмѣривается ему именно столько, чтобы онъ былъ способенъ выполнить свой урокъ. А затѣмъ пускай поле и стихіи калѣчатъ его—никому нѣтъ дѣла до того, сколько новыхъ ранъ прибавилось у него на ногахъ, на плечахъ и на спинѣ. Не благополучіе его нужно, а жизнь, способная выносить иго работы. Сколько вѣковъ онъ несетъ это иго—онъ не знаетъ; сколько вѣковъ предстоитъ нести его впереди—не разсчитываетъ. Онъ живетъ, точно въ темную бездну погружается, и изъ всѣхъ ощущеній, доступныхъ живому организму, знаетъ только ноющую боль, которую дастъ работа.

Самая жизнь Коняги запечатлѣна клеймомъ безконечности. Онъ не живетъ, но и не умираетъ. Поле, какъ головорогъ, присосалось къ нему безчисленными щупальцами и не спускаетъ его съ урочной полосы. Какими бы наружными отличками не надѣлилъ его случай, онъ всегда одинъ и тотъ же: побитый, замученный, еле живой. Подобно этому полю, которое онъ орошаетъ своею кровью, онъ не считаетъ ни дней, ни лѣтъ, ни вѣковъ, а знаетъ только вѣчность. По всему полю онъ разбрелся, и тамъ, и тутъ одинаково вытягивается всѣмъ своимъ жалкимъ остовомъ, и вездѣ все онъ, все одинъ и тотъ же, безыменный Коняга. Цѣлая масса живетъ въ немъ, не умирающая, не расчленимая и не истребимая. Нѣтъ конца жизни—только одно это для этой массы и ясно. Но что такое сама эта жизнь? зачѣмъ она опутала Конягу узами безсмертія? откуда она пришла и куда идетъ? Вѣроятно, когда-нибудь на эти вопросы отвѣтитъ будущее... Но, можетъ-быть, и оно останется столь же нѣмо и безучастно, какъ и та темная бездна прошлаго, которая населила міръ привидѣніями и отдала имъ въ жертву живыхъ.

Дремлетъ Коняга, а мимо него Пустоплясы проходятъ. Никто, съ перваго взгляда, не скажетъ, что Коняга и Пустоплясъ—одного отца дѣти. Однако преданіе объ этомъ родствѣ еще не совсѣмъ заглохло.

Жилъ, во время оно, старый конь, и было у него два сына: Коняга и Пустоплясъ. Пустоплясъ былъ сынъ вѣжливый и чувствительный, а Коняга—неотесанный и безчувственный. Долго терпѣлъ старикъ Конягину неотесанность, долго обоихъ сыновей велъ ровно, какъ подобаетъ

чадолюбивому отцу, но, наконецъ, разсердился и сказалъ: «вотъ вамъ на вѣки-вѣчные моя воля: Конягѣ—солома, а Пустоплясу—овесъ». Такъ съ тѣхъ поръ и пошло. Пустопляса въ теплое стойло поставили, соломки мяконькой постелили, медовой сытой напоили и пшена ему въ ясли засыпали; а Конягу привели въ хлѣвъ и бросили охапку прѣлой соломы: хлопай зубами, Коняга! А пить—вонъ изъ той лужи.

Совсѣмъ-было позабылъ Пустоплясъ, что у него братецъ на свѣтѣ живетъ, да вдругъ съ чего-то загрустилъ и вспомнилъ. «Надоѣло,—говоритъ,—мнѣ стойло теплое, прискучила сыта медовая, не лѣзетъ въ горло пшено ярое; пойду, провѣдаю, каково-то мой братецъ живетъ!»

Смотритъ — анъ братецъ-то у него безсмертный! Бьютъ его чѣмъ ни попадя, а онъ живетъ; кормятъ его соломою, а онъ живетъ! И въ какую сторону поля ни взгляни—вездѣ все братецъ орудуетъ; сейчасъ ты его здѣсь видѣлъ, а мигнулъ глазомъ—онъ ужъ вонъ гдѣ ногами выверты-вастъ. Стало-быть, добродѣтель какая-нибудь въ немъ есть, что палка сама объ него сокрушается, а его сокрушить не можетъ!

И вотъ начали Пустоплясы кругомъ Коняги похаживать. Одинъ скажетъ:

— Это оттого его ничѣмъ донять нельзя, что въ немъ отъ постоянной работы здраваго смысла много накопилось. Понялъ онъ, что уши выше лба не растутъ, что плетью обуха не перешибешь, и живетъ себѣ смирнехонько, весь опутанный пословицами, словно у Христа за пазушкой. Будь здоровъ, Коняга! Дѣлай свое дѣло, бди!

Другой возразитъ:

— Ахъ, совсѣмъ не отъ здраваго смысла такъ прочно сложилась его жизнь! Что такое здравый смыслъ? Здравый смыслъ, это—нѣчто обыденное, до пошлости ясное, напоминающее математическую формулу или приказъ по полиціи. Не это поддерживаетъ въ Конягѣ несокрушимость, а то, что онъ въ себѣ жизнь духа и духъ жизни носитъ! И покуда онъ будетъ вмѣщать эти два сокровища, никакая палка его не сокрушитъ!

Третій молвитъ:

— Какую вы, однако, галиматью городите! Жизнь духа, духъ жизни—что это такое, какъ не пустая перестановка безсодержательныхъ словъ? Совсѣмъ не потому Коняга неуязвимъ, а потому, что онъ «настоящій трудъ» для себя

нашелъ. Этотъ трудъ даетъ ему душевное равновѣсіе, примиряетъ его и со своею личною совѣстью, и съ совѣстью массъ, и надѣляетъ его тою устойчивостью, которую даже вѣка рабства не могли побѣдить! Трудись, Коняга! упирайся, загребай и почерпай въ трудѣ ту душевную ясность, которую мы, Пустоплясы, утратили навсегда!

А четвертый (должно-быть, прямо съ конюшни отъ кабатчика) присовокупляетъ:

— Ахъ, господа, господа! все-то вы пальцемъ въ небо попадаете! Совсѣмъ не оттого нельзя Конягу донять, чтобы въ немъ особенная причина засѣла, а оттого, что онъ споконъ-вѣку къ своей юдоли привышенъ. Теперича хоть цѣлое дерево объ него обломай, а онъ все живъ. Вонъ онъ лежитъ—кажется, и духу-то въ немъ нисколько не осталось,— а взбодри его хорошенько кнутомъ, онъ и опять ногами вывертывать пошелъ. Кто къ какому дѣлу приставленъ, тотъ то дѣло и дѣлаетъ. Сосчитайте-ка, сколько ихъ, калѣкъ этакихъ, по полю разбрелось и всѣ какъ одинъ. Калѣчьте ихъ теперича сколько угодно— ихъ вотъ ни на эстолько не убавится. Сейчасъ—его нѣтъ, а сейчасъ—онъ опять изъ-подъ земли выскочилъ.

И такъ какъ всѣ эти разговоры не отъ настоящаго дѣла завелись, а отъ грусти, то поговорятъ-поговорятъ Пустоплясы, а потомъ и перекоряться начнутъ. Но, на счастье, какъ разъ въ самую пору проснется мужикъ и разрѣшитъ всѣ споры словами:

— Н-но, каторжный, шевелись!

Тутъ ужъ у всѣхъ Пустоплясовъ заодно духъ отъ восторга займется.

— Смотрите-ка, смотрите-ка! — закричатъ они вкупѣ и влюбѣ:—смотрите, какъ онъ вытягивается, какъ онъ передними ногами упирается, а задними загребаетъ! Вотъ ужъ именно дѣло мастера боится! Упирайся, Коняга! Вотъ у кого учиться надо! вотъ кому надо подражать! Н-но, каторжный, н-но!

17.—Кисель.

Сварила кухарка кисель и на столъ поставила. Скушали кисель господа, сказали спасибо, а дѣтушки пальчики облизали. На славу вышелъ кисель, всѣмъ по нраву пришелся, всѣмъ угодилъ. «Ахъ, какой сладкой кисель!» «ахъ какой густой кисель!» «вотъ такъ кисель!»—только и словъ про

него. «Смотри, кухарка, чтобы каждый день на столѣ кисель былъ!» И сами наѣлись, и гостей употчивали, а подъ конецъ и прохожимъ на улицу чашку выставили. «Поѣшьте, честные господа, киселя! вонъ онъ у насъ какой: самъ въ ротъ лѣзетъ! Ѣшьте больше, онъ это любитъ!» И всякій подходилъ, совалъ въ кисель ложкой, ѣлъ и утирался.

Кисель былъ до того разымчивъ и мягокъ, что никакого неудобства не чувствовалъ отъ того, что его ѣли. Напротивъ того, слыша общія похвалы, онъ даже возмечталъ. Стоитъ на столѣ, да знай-себѣ пузырится. «Стало-быть, я хорошъ, коли господа меня любятъ! Не зѣвай, кухарка, подливай!»

Долго ли, коротко ли такъ шло, только сталъ постепенно кисель господамъ прискучивать. Господа противъ прежняго сдѣлались образованнѣе; даже изъ подлаго званія которые мало-мальски въ чины произошли—и тѣ начали желеи да бламанжеи предпочитать.

— Помилуйте,—говоритъ одинъ:—что̀ хорошаго въ этомъ киселѣ? развѣ это ѣда? Попробуйте, какой онъ мягкой, да слизкой, да сладкой!

— Отдадимте, господа, кисель свиньямъ,—подхватилъ другой:—а сами уѣдемъ на теплыя воды гулять! Нагуляемся вдосталь, а тамъ, если ужъ это непремѣнно нужно, и опять домой воротимся кисель ѣсть.

Что же! свиньи такъ свиньи—право, киселю все равно, въ какомъ рангѣ особа его ѣстъ. Лишь бы ѣли. Засунула свинья рыло въ кисель по самыя уши и на весь скотный дворъ чавкотню подняла. Чавкаетъ да похрюкиваетъ: «Покатаюся-поваляюся, господскаго киселя наѣвшись!» Сытости, подлая, не знаетъ: чуть замѣшкается кухарка, она ужъ хрюкаетъ: «подливай!» А ежели скажутъ: «былъ кисель, да весь вышелъ»,—она и по угламъ, и по закоулкамъ, и подъ навозомъ мордой вышаритъ и ужъ гдѣ-нибудь да отыщетъ.

Ѣла да ѣла свинья и, наконецъ, все до капли съѣла. А господа между тѣмъ гуляли-гуляли да и догулялись. Догулялись и говорятъ другъ другу: «теперь намъ гулять больше не на что; айда домой кисель ѣсть!»

Пріѣхали домой, взялись за ложки—смотрятъ, анъ отъ киселя остались только засохшіе поскребушки.

И теперь всѣ—и господа, и свиньи—всѣ въ одинъ голосъ вопіютъ:

— Ѣли мы кисель, а про запасъ не оставили! Чѣмъ-то на будущее время сыты будемъ! Гдѣ ты, кисель? ау!

18.—Праздный разговоръ.

Нынче этого нѣтъ, а было такое время, когда и между сановниками вольтерьянцы попадались. Само высшее начальство этой моды держалось, а сановники подражали.

Вотъ въ это самое время жилъ-былъ губернаторъ, который многому не вѣрилъ, во что другіе, по простотѣ, вѣрили. А главное, не понималъ, для какой причины губернаторская должность учреждена.

Напротивъ, предводитель дворянства въ этой губерніи во все вѣрилъ, а значеніе губернаторской должности даже до тонкости понималъ.

И вотъ однажды усѣлись они вдвоемъ въ губернаторскомъ кабинетѣ и заспорили.

— Между нами будь сказано, рѣшительно я этого не понимаю,—сказалъ губернаторъ.—По моему мнѣнію, если бы насъ всѣхъ, губернаторовъ, безъ шума упразднить, то никто бы и не замѣтилъ.

— Ахъ, вашество, какъ вы такъ выражаетесь!—возразилъ ему удивленный и даже испуганный предводитель.

— Разумѣется, я это конфиденціально... но ежели говорить по совѣсти, то опять-таки повторяю: положительно я этого не понимаю! Представьте себѣ: живутъ люди мирно, Бога помнятъ, царицу чтутъ—и вдругъ къ нимъ... губернаторъ... Откуда? какъ? что за причина?

— А та причина, что власть!—урезонивалъ его предводитель.—Нельзя безъ оной. Вверху—губернаторъ, посерёдкѣ—исправникъ, внизу—тысяцкій. А по бокамъ—предводители, предсѣдатели, воинство...

— Знаю. Но зачѣмъ? Вы говорите: тысяцкій—хорошо. Тысяцкій—это который при мужикѣ,—понимаю и это. Теперь представьте себѣ: живетъ мужикъ, поле работаетъ, пашетъ, коситъ, плодится, множится, словомъ сказать, кругъ жизни своей производитъ. И вдругъ откуда-то изъ-подъ низу—тысяцкій... Зачѣмъ? что случилось?

— Не случилось, но можетъ случиться, вашество!

— Не вѣрю-съ. Ежели люди живутъ въ свое удовольствіе—зачѣмъ для нихъ тысяцкій? Ежели они тихимъ манеромъ нужды свои справляютъ, Бога помнятъ, царицу чтутъ—что тутъ случиться можетъ, кромѣ хорошаго? И что тысяцкій можетъ въ данномъ случаѣ устроить или присовокупить? Дастъ Богъ урожай—будетъ урожай; не дастъ Богъ урожаю — и такъ какъ-нибудь проживутъ. При чемъ

тутъ тысяцкій? развѣ онъ можетъ хоть колосъ единый въ скопѣ убавить или прибавить? Нѣтъ, онъ налетитъ, намутитъ, нашумитъ, да, того гляди, въ заключеніе, еще въ острогъ кого-нибудь посадитъ. Только и всего.

— Ну, не даромъ же посадитъ, а тоже за что-нибудь!

— Однако согласитесь, что если-бъ его нелегкая не принесла, все шло бы безъ него своимъ чередомъ, и никакого бы «что-нибудь» не случилось. Во всякомъ случаѣ въ острогѣ никто бы не сидѣлъ. А какъ только онъ появится, такъ тотчасъ вслѣдъ за нимъ и «что-нибудь» явилось.

— Ахъ, вашество, вѣдь и тысяцкіе разные бываютъ! Вотъ у насъ, напримѣръ...

— Нѣтъ, вы меня выслушайте. Я не объ личностяхъ веду рѣчь и не парадоксами передъ вами щегольнуть хочу. Я по опыту эту музыку знаю, даже на самомъ себѣ могу примѣръ показать. Уѣзжаю я, напримѣръ, изъ губерніи— и что вдругъ случилось? Не успѣлъ я за заставу отъѣхать, какъ вдругъ во всей губерніи наступило благораствореніе воздуховъ. Полицеймейстеръ не скачетъ, квартальные не бѣгутъ, городовые не усердствуютъ. Даже и простецы, которые о существованіи моемъ досконально не знаютъ, и тѣ чувствуютъ, что изъ ихъ жизни исчезла какая-то запятая, отъ которой имъ во всѣхъ мѣстахъ больно было. Что сей сонъ означаетъ?—спрашиваю я васъ. А то, государь мой, что мой заступающій *не все то можетъ сдѣлать, что я могу*, и что, слѣдовательно, и служащимъ, и обывателямъ на всю эту разницу легче стало. Но вотъ я возвращаюсь опять къ своему посту. Шумъ, трескъ, ѣзда, бѣготня... Кто въ фуражкѣ ходилъ—бѣжитъ въ треуголкѣ; кто въ полномъ удовольствіи мѣсяцъ прожилъ—снова приходитъ въ унылость; всѣ видятъ впереди безконечную расностылую канитель... Да, впрочемъ, что же много объ этомъ толковать! Вы и на себѣ, навѣрное, хоть отчасти да испытали...

Дѣйствительно, предводитель вспомнилъ, что и за нимъ въ этомъ родѣ грѣшокъ водился. Какъ только, бывало, губернаторъ за ворота, такъ онъ сейчасъ: «эй, тарантасъ!»— и маршъ въ деревню. И ходитъ тамъ безъ оныхъ, покуда опять начальство къ долгу не призоветъ. Только одну проформу и соблюдетъ, что, ѣдучи мимо вице-губернаторской квартиры, зайдетъ на минуту къ заступающему должность и условится:

— Ужъ вы, Арефій Иванычъ, коли что случится, гонца пришлите!

— Чему случиться! съ Богомъ!

— Ну, такъ прощайте! Капитолинѣ Сергѣевнѣ кланяйтесь. Пошевеливай!

Только его и видѣли.

— Есть тотъ грѣхъ, — сказалъ онъ: — только все-таки не отъ того... Просто отдохнуть хочется... вотъ и пользуешься.

— То-то что «отдохнуть»! А кто отдохнуть помѣшалъ? Развѣ въ отдыхѣ грѣхъ какой? Никакого грѣха нѣтъ, а просто мѣшалъ, потому что онъ губернаторъ—только и всего. Теперь пойдемъ дальше. Замѣчали ли вы, какъ партикулярные люди о губернаторѣ отзываются, когда похвалить его хотятъ? «Это, — говорятъ, — хорошій губернаторъ: онъ сидитъ смирно, никого не трогаетъ». Вотъ-съ. Стало-быть, что всего болѣе въ губернаторѣ любезно — это ежели онъ благосклонно бездѣйствуетъ. И въ самомъ дѣлѣ, разсудите по совѣсти, въ чемъ его вмѣшательство въ обывательскихъ дѣлахъ пользу принести можетъ? Пріѣхалъ онъ въ губернію чужеземъ-чужениномъ — это разъ; обучался онъ, можетъ-быть, чему-нибудь, да только не тому, чему слѣдуетъ, — это два. Затѣмъ: статистики онъ — не знаетъ, этнографіи—не разумѣетъ; нравы и обычаи—не при немъ писаны; гдѣ какая рѣка, куда течетъ, почему и въ какомъ смыслѣ—это онъ развѣ тогда узнаетъ, когда разъ пять вдоль и поперёкъ губернію исколеситъ; о желѣзныхъ дорогахъ знаетъ только — когда и куда какой поѣздъ отходитъ, чтобы въ случаѣ чего не опоздать; а зачѣмъ дорога построена, сколько въ прошломъ году доходовъ собрано, сколько въ нынѣшнемъ, гдѣ и какую питательную вѣтвь надо провести, — все это для него—темна вода во облацѣхъ. И можно бы все это узнать, и свѣдѣнія всѣ подъ руками, да не интересно и не для чего. Ничего изъ этихъ свѣдѣній не выйдетъ *). Или насчетъ торговъ, ремеслъ, промысловъ: сапожное тамъ ремесло, огородническій промыселъ; въ одномъ мѣстѣ рогожи ткутъ, въ другомъ — косы, серпы куютъ; зачѣмъ? почему? гдѣ раки зимуютъ?

— Вашество! — прервалъ предводитель расходившагося губернатора: — да вѣдь я—обыватель здѣшній, а и я этого ничего не знаю!

— Вы — другое дѣло; вы — предводитель. Подаютъ вамъ за столомъ говядину—вамъ и нужды нѣтъ, откуда она.

*) Само собой разумѣется, что это только въ сказкѣ возможно.

Была бы съѣдобна—только и всего. А я—губернаторъ, я долженъ все знать. Меня — нѣтъ-нѣтъ, да и спросятъ: въ какомъ, молъ, положеніи у васъ огородничество?

— Да, по нынѣшнему времени, всего ожидать можно.

— Нынче, батюшка, чтобы всякая копейка на счету стояла, чтобы все, изъ чего извлечь можно,— гдѣ, бишь, оно? не полезно ли, молъ, обложить? Вотъ нынче какъ. Ну, и отвѣчаешь на всякій случай, чтобы безъ хлопотъ: оставляетъ, молъ, желать многаго.

— Н-да, а между тѣмъ капуста у насъ...

— То-то «капуста». А я только недавно объ этомъ узналъ. Намеднись подаютъ кочанъ; я думалъ, онъ изъ Алжира—анъ онъ изъ Поздѣевки.

— Изъ Поздѣевки—это вѣрно; тамъ и морковь, и рѣпа—всякій овощь. Такъ-то всегда у насъ. Мы по Эмсамъ да по Маріенбадамъ воду пить ѣздимъ, а у насъ, въ Поздѣевкѣ, своя вода есть, да еще лучше, потому что отъ маріенбадской-то воды желудокъ разстраивается.

— А скажите-ка, кто поздѣевскую-то капусту завелъ? Небось губернаторъ? Какъ бы не такъ! Мужичокъ, сударь. Побывалъ во времена оны какой-нибудь поздѣевскій Семенъ Малявка въ Ростовѣ, посмотрѣлъ, какъ тамошніе мужички капустную разсаду разводятъ, да и завелъ, воротясь домой, у себя огородецъ, а глядя на него — и другіе принялись.

— Это такъ точно, вашество,—вынужденъ былъ согласиться предводитель.

— И всѣ у насъ промыслы какъ-то мѣстомъ ведутся. Тутъ—благодать, а рядомъ—нѣтъ ничего. Представьте себѣ, около этой самой Поздѣевки деревня Развалихина есть,—такъ тамъ объ огородахъ и слыхомъ не слыхать, а всѣ мужички до одного шерстобиты. Лѣтомъ землю общимъ крестьянскимъ обычаемъ работаютъ, а зимой разбредутся кто куда и шерстобитничаютъ. И тоже не губернаторъ завелъ, а побывалъ простой мужикъ Абрамко въ Калязинскомъ уѣздѣ и привезъ оттуда. Вотъ и понимайте теперь. Капуста, огурцы, шерстобитничество, сапоги, рогожи... все они, все обыватели! Вы думаете, у васъ въ Растеряевкѣ колокольню кто построилъ? Губернаторъ? Анъ нѣтъ, купецъ Поликарпъ Аггеевъ Параличевъ ее построилъ, а губернаторъ только на освященіи былъ да пирогъ съ вязигой ѣлъ.

Это вѣрно.

— А переславскихъ сельдей кто первый коптить началъ?

— Тоже вѣрно. Не губернаторъ.

— А семгу-порогъ, а кольскую морошку, а ржевскую и коломенскую пастилу? Губернаторъ? а?

— Позвольте, вашество! но вѣдь, кромѣ огородничества и бакалеи, есть и другихъ предметовъ достаточно...

— Напримѣръ?

— Подати, напримѣръ... Собирать ихъ, взыскивать...

— А что такое подати? Слыхали?

— Подати... это, такъ сказать, свидѣтельство принадлежности... — началъ-было предводитель, но запутался и умолкъ.

— То-то «свидѣтельство»... А какъ вы думаете, пріятное это «свидѣтельство»? Смотрите-ка, за податьми пріѣхалъ! Ахъ, какъ пріятно! Диво бы секретъ разведенія муромскихъ огурцовъ или копченья тамбовской ветчины привезъ... а то подати выбивать! Да и какъ, позвольте спросить, я это «свидѣтельство принадлежности» осуществлю, ежели, напримѣръ, у поздѣевскихъ мужиковъ капуста не родится? Какая моя въ этомъ разѣ роль? Разошлю по исправникамъ циркуляръ — только и всего: а исправники наполнятъ губернію крикомъ—тоже только всего. Во всякомъ случаѣ, я понуждаю—не знаю, на какой предметъ; исправникъ кричитъ—тоже на какой предметъ, не знаетъ. Что такое случилось? Куда скрылись казенныя подати? Неурожай ли мужика обездолилъ, пьянство ли одолѣло, міроѣдъ ли къ нему присосался, или мужикъ самъ капризничать началъ, кубышку вздумалъ копить? Вотъ вѣдь сколько разныхъ случаевъ можетъ быть, да и все ли еще тутъ! А мы суетимся, гамимъ, знать ничего не хотимъ: чтобъ были подати—только и всего!

— Да, это такъ точно. И нагамятъ, и нашумятъ, и даже подъ рубашку заглянутъ; а какой въ томъ результатъ — сами не знаютъ!—грустно подтвердилъ предводитель.

Оба собесѣдника на минуту задумались.

Первый очнулся предводитель. Онъ, повидимому, еще не отчаивался, и у него уже назрѣлъ-было вопросъ: а народная нравственность? а просвѣщеніе? науки? искусства?— какъ губернаторъ словно угадалъ его мысли и такъ строго взглянулъ на своего собесѣдника, что тотъ могъ вымолвить только:

— А народное продовольствіе?

— И вамъ не совѣстно? — вмѣсто отвѣта, спросилъ его въ упоръ губернаторъ.

Предводитель покраснѣлъ. Онъ вспомнилъ, какъ въ началѣ года онъ, въ качествѣ предсѣдателя земской управы, разъѣзжалъ по волостямъ и т. д. Вспомнилъ и застыдился.

— Такъ неужто же, наконецъ... — воскликнулъ онъ и вдругъ нѣчто вспомнилъ.—Позвольте! вотъ вамъ предметъ: содѣйствіе къ соединенію общества!

— Какого такого общества?

— Здѣшняго-съ.

— Гм!.. такъ вы думаете, что я соединяю здѣшнее общество?

— И вы, вашество, и супруга ваша... Лукерья Ивановна.

— Лукерья Ивановна—можетъ-быть, но я... нѣтъ, меня... увольте! Да и кому, наконецъ, этотъ предметъ пуженъ... «соединеніе общества»... да еще здѣшняго?!

Собесѣдники окончательно умолкли. И, можетъ-быть, имъ пришлось бы очень неловко, если-бъ на выручку не явился изъ губернскаго правленія казначей.

Это было 30-е число мѣсяца. Въ этотъ день, какъ извѣстно, производилась нѣкогда получка жалованья, и казначеи всѣхъ вѣдомствъ являлись къ начальникамъ съ денежными книгами, которыя очищались расписками въ полученіи.

Губернаторъ принялъ отъ казначея пачку, не торопясь, пересчиталъ деньги, положилъ ихъ на столъ и расписался.

— Ну-съ, а это-съ?—пошутилъ предводитель, указывая на пачку.—Въ какомъ же смыслѣ слѣдуетъ понимать «это»?..

— Н-да... то-есть, вы хотите сказать: «это»?—переспросилъ губернаторъ, какъ бы очнувшись.

— Да-съ, это-съ. Именно оно самое... это-съ!

— Гм!.. «это»? Это... воздаяніе!

19.—Деревенскій пожаръ.

(Ни-то сказка, ни-то быль).

Въ деревнѣ Софонихѣ, около полденъ, вспыхнулъ пожаръ. Это случилось въ самый развалъ іюньской пахоты. И мужики, и бабы были въ полѣ. Сказывали: шелъ мимо деревни солдатикъ, присѣлъ на заваленку, покурилъ трубочки и ушелъ. А вслѣдъ за нимъ загорѣлось.

Деревня сгорѣла до-тла. Только тотъ порядокъ, гдѣ были житницы, уцѣлѣлъ наполовину. Мужики въ одночасье потеряли все и сдѣлались нищими. Сгорѣла бабушка Прасковья, да еще Татьянинъ мальчикъ Петька. Мужики и бабы, завидѣвъ густой дымъ, бѣжали съ поля, какъ угорѣлые, оставивъ сохи и лошадей. Но спасать было уже нечего. Хорошо, что скота не было дома, да навозъ былъ только-что вывезенъ, а то пришлось бы совсѣмъ хоть помирай. Малолѣтки, которые въ минуту пожара играли на улицѣ, спаслись въ рѣчку и отчаянно ревѣли. Дѣвочки-подростки, съ младенцами на рукахъ, испуганно выглядывали на обуглившіяся избы и обнаженные остовы печей.

Тетка Татьяна была бодрая и еще молодая бобылка. Лѣтъ шесть тому назадъ у нея умеръ мужъ, но она продолжала держать хозяйство. Платила міру за половину надѣла, сама пахала, косила и жала. У нея былъ единственный сынъ, Петька, лѣтъ восьми, въ которомъ она души не чаяла и въ которомъ уже видѣла будущаго мужика. Онъ и самъ видѣлъ въ себѣ мужика и говорилъ:

— Я, мама, буду мужикъ... хресьянинъ.

Вся деревня его любила. Мальчикъ былъ вострый и ласковый, и уже ходилъ въ школу. Бывало, идетъ по деревнѣ мимо стариковъ:

— Ну, что, мужичокъ, помогаешь мамкѣ?—спрашиваютъ старики.

— Помогаю.

Между тѣмъ улица запружалась всякимъ мужицкимъ хламомъ; мужику все дорого, все надобно. Домохозяева, окруженные домочадцами, бродили каждый по своему пепелищу и тащили все, что попадалось на глаза: старую подошву, заржавленный гвоздь, обрывокъ шлеи, обломокъ сошника и проч. У нѣкоторыхъ уцѣлѣли подполицы; но такъ какъ время было голодное (Петровъ постъ), то подполицы были пусты. Одинъ завѣдомо нищій, лѣтъ десять ходившій «въ кусочки» метался и кричалъ:

— Гдѣ моя кубышка? гдѣ? кто унесъ? сказывайте: кто?

Бабушка Авдотья ходила взадъ и впередъ по улицѣ и всѣмъ показывала два обгорѣвшихъ выигрышныхъ билета внутренняго займа. Обгорѣли края; середка съ нѣсколькими купонами осталась цѣла.

— Чай, выдадутъ,—утѣшалъ ее староста Михѣй:—ишь,

и нумера видны (на уцѣлѣвшихъ купонахъ); ужò барыня въ Питерѣ похлопочетъ *).

Старики собрались въ кучу и обсуждали мірскую нужу. На всѣхъ лицахъ была написана душевная мука; у нѣкоторыхъ глаза сочились слезами. Рѣшили идти всѣмъ міромъ, поклониться сосѣдней одновотчинной деревнѣ, чтобы дала пріютъ погорѣльцамъ, покуда не будутъ устроены хотя какія-нибудь временныя помѣщенія. Затѣмъ снарядили старосту и послали верхомъ въ городъ, въ управу, за пособіемъ и страховыми.

Пришелъ сельскій батюшка и, похаживая между мужиками, утѣшалъ ихъ.

— Кто далъ? — Богъ! — говорилъ онъ: — кто взялъ? — Богъ! Неужто-жъ Онъ не знаетъ?

Мужики молча ему поклонились.

— А вы не унывайте, — продолжалъ батюшка: — съ какого права? почему? какъ? кто дозволилъ? Скотъ — при васъ, земледѣльческія орудія цѣлехоньки, навозъ вывезенъ—чего еще земледѣльцу нужно? А вы ропщете! Вотъ ужò управа на постройку денегъ отпуститъ; помѣщица—нуждающимся хлѣбца пришлетъ; и я тоже... развѣ я не молюсь за васъ? Я не только за васъ, но и за *всѣхъ* молюсь. «И всѣхъ православныхъ христіанъ» — вотъ какъ.

Опять поклонились мужики, а словоохотливый батюшка продолжалъ:

— Коли страхъ Божій будете въ сердцахъ сохранять да храмъ Божій усердно посѣщать, такъ и не увидите, какъ Богъ сторицей вознаградитъ. Хлѣбъ нынче обѣщаетъ жатву изрядную. Озимыя отмѣнныя; яровыя, Богъ дастъ, поправятся. Ужò снимете у барыни полевину—вотъ вы и съ сѣномъ. Свезете по возку, по другому—анъ и денежки въ кошелѣ завелись; а тамъ озимое, ржицы на базаръ свезете—опять деньги, а наконецъ и овсецо—тоже деньги. Въ будущемъ же году и не увидите, какъ на мѣстѣ истре-

*) Фактъ. Въ 1872 году приходила къ автору крестьянка села Заозерья (Углицкаго уѣзда) и показывала два или три обгорѣвшихъ по краямъ билета, но такъ, что на уцѣлѣвшихъ по серединѣ купонахъ видны были и № билета, и серіи. Я просилъ нѣкоторыхъ добрыхъ знакомыхъ ходатайствовать въ банкѣ. Всѣмъ казалось дѣло несомнѣннымъ, но г. Ламанскій, тогдашній управляющій банкомъ, разсудилъ иначе. Ни возобновить билеты, ни даже выдать за нихъ нарицательную цѣну оказалось невозможно. Это, изволите видѣть, польза банка. Вотъ какъ истинные сановники блюдутъ интересы казны!

бленныхъ неумолимымъ пламенемъ хижинъ будутъ красоваться новые дома, удобные и просторные, и всѣ вы поживете въ нихъ, кіиждо подъ смоковницею своей, и всерадостно и всецѣло возблагодарите Господа вашего за ниспосланное вамъ благодѣяніе. Вотъ увидите.

И тетка Татьяна безпомощно ходила по своему пепелищу, сгребала тлѣющія бревна и выкликала:

— Петь, а Петь, гдѣ ты, милый? Откликнись!

И не слыхала, какъ ветхій старикъ Калистратычъ говорилъ ей:

— Смотри, не въ лѣсъ ли онъ убѣгъ? Давеча видѣлъ я его. Сидѣлъ я у житницы на приступочкѣ, какъ ваша-то изба занялась. Смотрю: кружится Петька по горницѣ, рубашонкой раздувастъ. Я ему кричу: толкни, милый, дверь, толкни! Только кружился онъ, кружился, а потомъ и ничего не стало видно. Навѣрное убѣгъ въ лѣсъ съ испугу.

Но Татьяна ничего не чувствовала, кромѣ того, что сердце ея рвется на части.

— Петь, а Петь! гдѣ ты, милый? Откликнись! — раздавался ея вопль среди общаго говора деревенскаго.

Наконецъ, человѣка два сжалились надъ нею и пришли на помощь. Разворочали обрушившійся потолокъ и подъ дымящимися обломками его нашли трупъ мальчика. Вся сторона тѣла и лица, обращенная кверху, представляла безобразную черную массу; но та, которая прилегала къ полу, осталась нетронутою.

Татьяна пошатнулась, въ глазахъ потемнѣло, и изъ груди на всю деревню вырвался потрясающій ея вопль:

— Господи! видишь ли?

Этотъ вопль услыхалъ и батюшка, и, разумѣется, поспѣшилъ съ утѣшеніемъ:

— Ропщешь?—говорилъ онъ съ ласковой укоризной: а Іова помнишь? Нѣтъ? Такъ я тебѣ напомню! Онъ былъ богатъ и славенъ, имѣлъ дѣтей, стада и сокровища — и вдругъ, съ дозволенія Божія, все было у него отнято: и дѣти, и скотъ, и друзья, а самъ онъ былъ пораженъ проказою, выгнанъ изъ города и лежалъ у городскихъ воротъ на гноищѣ. Псы лизали его раны... псы! Но и за всѣмъ тѣмъ онъ не токмо не возроптался, но наипаче возлюбилъ Господа, создавшаго его. И Богъ, видя такую его преданность, воззрѣлъ на него. Черезъ короткое время Іовъ былъ и здоровъ, и богатъ, и славенъ болѣе прежняго. Стада

умножились, дѣтей народилось достаточно, словомъ сказать все...

Однако и батюшкины увѣщанія доходили до Татьяны въ формѣ смутнаго и назойливаго шума. Она устремила глаза на ту линію, которая раздѣляла уцѣлѣвшую часть Петькина лица отъ обуглившейся, и тихо шептала:

— Господи! видишь ли?

Въ усадьбѣ, въ это время, добрая барыня, Анна Андреевна Копейщикова, праздновала день своего рожденья. Собрались немногіе, но искренніе друзья: предводитель Кипящевъ съ женою, исправникъ Шипящевъ съ племянницею, да еще Иванъ Иванычъ Глазъ, партикулярный человѣкъ, про котораго говорили, что при немъ языкъ за зубами держать надо. Впрочемъ, такъ какъ тутъ были все люди, при которыхъ тоже нужно было языкъ держать на привязи (сама Анна Андреевна говорила, что она гдѣ-то «служитъ»), то Иванъ Иванычъ чувствовалъ себя въ этой компаніи очень удобно. Присутствовалъ тутъ и батюшка съ попадьей.

Анна Андреевна была генеральская вдова, лѣтъ сорока съ небольшимъ, еще красивая и особенно выдающаяся роскошнымъ бюстомъ на балахъ и вечерахъ, гдѣ обязательно декольтѐ, и гдѣ ея бюстъ приковывалъ къ себѣ взоры людей всѣхъ возрастовъ и всѣхъ оружій. Но она разъ навсегда сказала себѣ: n-i ni—c'est fini, и всю себя отдала своимъ дѣтямъ. За это въ свѣтѣ про нее говорили: c'est une sainte, а за патріотизмъ: c'est une fière matrone! Какъ и всѣ русскія дамы, она говорила по-французски, знала un peu d'arithmétique, un peu de géographie et un peu de mythologie (cette pauvre Léda!), долго жила за границей, а въ послѣднее время сдѣлалась патріоткой и полюбила «добрый русскій народъ». Три года тому назадъ она посѣтила родное Горбилево и съ тѣхъ поръ ѣздила туда каждое лѣто. Поставила въ саду мавзолей покойному мужу и каждый день молилась. Ни съ кѣмъ не знакомилась, кромѣ испытанныхъ «друзей порядка», хозяйства не вела, а отдавала землю мужикамъ исполу и видимо экономничала. У нея былъ сынъ Сережа, правовѣдъ лѣтъ шестнадцати, и восемнадцатилѣтняя дочь Вѣрочка, шустрая особа, которая тоже знала un peu d'arithmétique et un peu de mythologie.

Господа уже возвратились изъ церкви и сидѣли за завтракомъ, когда прибѣжали сказать, что Софониха горитъ.

Батюшка мгновенно скрылся увѣщевать; прочіе побѣжали къ окнамъ и смотрѣли. За громадной тучей дыма не было видно пламени, но дымъ прямо летѣлъ по вѣтру на усадьбу, и чувствовался въ комнатахъ горькій запахъ его. Людей тоже не было видно, но по дорогѣ бѣжали къ пожарищу толпы сосѣднихъ крестьянъ и дворовыхъ.

— Какъ вы хотите, господа,—сказала, наконецъ, Анна Андреевна:—а я не могу оставаться равнодушной зрительницей. Вѣдь они — мои. Злые люди разлучили насъ,—надѣюсь, временно,—но я все-таки помню, что они—мои.

Но ей не дали одной совершить подвигъ самоотверженія и всей компаніей вызвались сопутствовать ей.

— Да и вообще это нашъ долгъ, — продолжала Анна Андреевна:—если-бъ даже это были и не мои крестьяне, все-таки наша священная обязанность — быть тамъ, гдѣ страдаютъ. Мы обѣднѣли, мы обижены... но мы все забыли. Мы помнимъ только, что къ намъ обращаетъ взоры страждущій меньшій братъ!

Узнавши, что въ этотъ день пекли хлѣбы для рабочихъ и дворовыхъ, она велѣла разрѣзать нѣсколько на ломти и снести погорѣльцамъ.

— А завтра опять испечете хлѣба для своихъ... надо же! Да не забудьте солью посыпать!

Словомъ сказать, сдѣлала все, что было въ ея власти, и, наконецъ, захватила портмонэ, сказавъ: «это на всякій случай!» И Вѣрочка, по примѣру матери, взяла кошелекъ съ завѣтными свѣтленькими монетами.

Компанія остановилась у входа въ деревню, но Вѣрочка и мамзель Шипящева не утерпѣли и пошли вглубь по улицѣ.

— Скажите мужичкамъ, что я имъ двѣ четверти ржи жертвую!—крикнула имъ вслѣдъ Анна Андреевна.

Минутъ черезъ пять Вѣрочка прибѣжала назадъ, вся въ слезахъ.

— Ахъ, мамочка! — объявила она: — тамъ есть бѣдная женщина, у которой сгорѣлъ мальчикъ-сынъ! Ахъ, какъ страшно... Что съ ней дѣлается! Батюшка увѣщеваетъ ее, а она не слушается, только повторяетъ: «Господи! видишь ли?» Мамочка! Это ужасно, ужасно, ужасно!

— Жаль бѣдную; но какая ты, однако-жъ, нервная, Вѣра!— упрекнула ее Анна Андреевна.—Это не годится, мой другъ! Вездѣ Промыселъ — это прежде всего нужно помнить! Конечно... это большая утрата; но бываютъ и не такія, а мы

покоряемся и терпимъ! Помнишь: крахъ Баймакова и нашъ текущій счетъ... Давалъ 6%... и что-жъ! Впрочемъ, соловья баснями не кормятъ. Господа! — обратилась она къ окружающимъ:—сдѣлаемте маленькую коллекту въ пользу бѣдной страдалицы-матери! Кто сколько можетъ!

Она трепетною рукою вынула изъ портмонэ десятирублевую бумажку, положила ее на ладонь и протянула руку. Вѣрочка тотчасъ же положила туда весь свой кошелекъ; гости тоже вынули нѣсколько мелкихъ ассигнацій. Только Иванъ Иванычъ Глазъ отвернулся въ сторону и посвистывалъ. Собралось около тридцати рублей.

— Ну, вотъ, снеси ей!—сказала Анна Андреевна дочери.—Скажи, что свѣтъ не безъ добрыхъ людей. Да подтверди мужичкамъ насчетъ ржи... двѣ четверти! Да хлѣба принесли ли? Скажи, чтобъ роздали! Это для утоленія перваго голода!

Вѣрочка быстро побѣжала. Ей представлялось въ эту минуту, что она—ангелъ-хранитель и помаваетъ серебряными крылами въ небесной лазури, съ тридцатью рублями въ рукахъ. Она застала Татьяну все въ томъ же положеніи. Послѣдняя стояла съ широко открытыми глазами и машинально шевелила губами, безъ всякаго признака самочувствія. Батюшка попрежнему стоялъ подлѣ нея и разсказывалъ примѣръ изъ исторіи первыхъ мучениковъ временъ жестокаго царя Нерона. Татьянѣ еще не представлялся вопросъ: что съ ней будетъ? нужна ли ей изба, поле и вообще все, что до сихъ поръ наполняло ея жизнь? или она должна будетъ скитаться по бѣлу-свѣту въ батрачкахъ?

И вдругъ—ангелъ-хранитель.

— На тебѣ, милая, мамочка прислала!—говорила Вѣрочка, протягивая деньги.

Татьяна ничего не поняла, даже не взглянула на милостыню.

— Бери, строптивая,—увѣщевалъ ее батюшка:—добрые господа жалуютъ, а ты небрежешь!

Даже мужички заинтересовались и принялись уговаривать:

— Бери, тетка Татьяна, бери, коли даютъ! На избу пригодится... бери!

Татьяна не шелохнулась.

Вѣрочка постояла, положила деньги на землю и удалилась огорченная. Батюшка поднялъ ихъ.

— Ну, ежели ты не хочешь брать,—сказалъ онъ:—такъ я ими на церковное украшеніе воспользуюсь. Вотъ у насъ паникадило плоховато, такъ мы старенькое-то въ ломъ отдадимъ, да вмѣстѣ съ этими деньгами и взбодримъ новое! Засвидѣтельствуйте, православные!

— Мамочка, она не взяла!—говорила Вѣрочка со слезами въ голосѣ.

Изумились.

— Однако душокъ-то этотъ въ нихъ еще есть, не выбили!—загадочно молвилъ Глазъ.

Но на этотъ разъ Анна Андреевна не согласилась съ нимъ.

— Есть душокъ—это правда; но не слѣдуетъ терять изъ вида глубину ея горя! Только сердце матери можетъ понять, каково потерять... сына!

Предсказаніе батюшкино сбылось. Года черезъ два я проѣзжалъ мимо Софонихи и увидѣлъ сущую метаморфозу. На мѣстѣ стараго пепелища стоялъ порядокъ новыхъ домовъ, высокихъ и сравнительно просторныхъ. Крыши, правда, были крыты соломою, но подъ щетку, такъ что глазъ не огорчался ни махрами, ни висящими клочьями. Новые срубы блестѣли на солнцѣ, какъ облупленное яичко. Только на мѣстѣ Татьяниной избы валялись неприбранныя головешки, а сама она скрылась изъ деревни неизвѣстно куда. Должно-быть, по святымъ мѣстамъ странствуетъ, Христовымъ именемъ. Мужики жили дружно и, слѣдовательно, исправно. Усердно работали, платили выкупные и мірскіе платежи безнедоимочно, отбывали повинности: рекрутскую, подводную и дорожную. Ежели же требовалось сверхъ того, то и это исполняли съ готовностью.

Исправникъ Шипящевъ не нахвалится ими.

— Эта деревня у меня — въ первомъ нумерѣ! — говоритъ онъ.

Богъ въ помощь, ребята!

20.—Путемъ-дорогою.

(Разговоръ).

Шли путемъ-дорогою два мужика: Иванъ Бобровъ да Ѳедоръ Голубкинъ. Оба были односельчане и сосѣди по дворамъ, оба только-что въ весенній мясоѣдъ женились. Съ апрѣля мѣсяца жили они въ Москвѣ въ каменьщикахъ

и теперь выпросились у хозяина въ побывку домой на сѣнокосное время. Предстояло пройти отъ желѣзной дороги верстъ сорокъ въ сторону, а этакую махину, пожалуй, и привычный мужикъ въ однѣ сутки не оплетётъ.

Шли они не тòропко, не надрываясь. Вышли раннимъ утромъ, а теперь солнце ужъ высоко стояло. Они отошли всего верстъ пятнадцать, какъ ноги ужъ потребовали отдыха, тѣмъ больше, что день выдался знойный, душный. Но, высматривая по сторонамъ, не встрѣтится ли стога сѣна, подъ которымъ можно было бы поѣсть и соснуть, они оживленно между собой разговаривали.

— Ты чтò домой, Иванъ, несешь?—спросилъ Ѳедоръ.

— Да три пятишницы хозяинъ до разсчета далъ. Одну-то, признаться, въ Москвѣ еще на мелочи истратилъ, а двѣ домой несу.

— И я тоже. Да только куда съ двумя пятишницами повернешься?

— Тутъ и въ пиръ, и въ міръ, а отецъ велѣлъ сказать, что какая-то старая недоимка нашлась, такъ понуждаютъ. Пожалуй, и все туда уйдетъ.

— А у насъ и хлѣба-то новаго не хватитъ. Пришелъ сѣнокосъ, руки-то цѣлый день намахаешь, такъ поневолѣ ѣсть запросишь. Ничего-то у насъ нѣтъ, ни хлѣба, ни соли, а тоже людьми считаемся. Говорятъ: вы—каменьщики, въ Москвѣ работаете, у васъ должны деньги значиться... А сколько ихъ и по осени-то принесешь!

— Худо наше крестьянское житье! Нѣтъ хуже.

— Чего еще!

Путники вздохнули и нѣсколько минутъ шли молча.

— Чтò-то теперь наши дѣлаютъ?—опять началъ Ѳедоръ.

— Чтò дѣлаютъ! Чай, навозъ вывезли; пашутъ... и пашутъ, и боронятъ, и сѣютъ; круглое лѣто около земли ходятъ, а все хлѣба нѣтъ. Сряду три года—то вымокнетъ, то сухмень высушитъ, то градомъ побьетъ... Какъ-то нынче Господь совершитъ?

— А у меня, братъ, и еще горе. Къ Дунькѣ волостной старшина увязался; не даетъ бабѣ проходу, да и вся недолга. Свахъ съ подарками засылаетъ; одну батюшко возжами поучилъ, такъ его же на три дня въ холодную засадили.

— И ничего не подѣлаешь! Помнишь, какъ лѣтось Прохорова Матренка задавилась? Тоже старшина... Терпѣла-терпѣла да и въ петлю..

— Намъ худо, бабамъ нашимъ еще того хуже. Мы, по крайности, въ Москву сходимъ, на свѣтъ поглядимъ, а баба—куда она пойдетъ? Словно къ тюрьмѣ прикованная. Ноги и руки за лѣто изсѣкутся; лицо словно голенище черное сдѣлается, и на человѣка-то не похоже. И всякій-то норовитъ ее обидѣть да обозвать...

— Давай-ка, Ѳедя, пѣсню съ горя споемъ!

Стали пѣть пѣсню, но съ горя и съ устатку какъ-то не пѣлось.

— А что, Иванъ, я хотѣлъ тебя спросить: гдѣ Правда находится?—молвилъ Ѳедоръ.

— И я тоже не однова спрашивалъ у людей: гдѣ, молъ, Правда, гдѣ ее отыскать? А мнѣ одинъ молодой баринъ въ Москвѣ сказалъ, будто она на днѣ колодца сидитъ спрятана.

— Ишь вѣдь! Кабы такъ, давно бы наши бабы ее оттолѣ бадьями вытащили,—пошутилъ Ѳедоръ.

— Извѣстно, посмѣялся надо мной барчукъ. Имъ что! Они и безъ Правды проживутъ. А намъ Неправда-то оскомину набила.

— Старики сказываютъ, что дѣдушко Еремѣй еще при старомъ баринѣ все Правды искалъ; да Правда-то, вишь, изувѣчила его.

— Прежде многіе Правду разыскивали; тяжельше, сталобыть, жить было, да и сердце у стариковъ болѣло. Одна барщина сколько народу сгубила. Въ полѣ—смерть, дома—смерть, вездѣ... Придетъ крестьянинъ о праздникѣ въ церковь, а тамъ на всѣхъ стѣнахъ Правда написана,—только со стѣны-то ее не снимешь.

— Это правда твоя, что не снимешь. Что крестьянинъ? Онъ и видитъ, да глазъ нейметъ. Темные мы люди, безчастные; вздохнешь да поплачешь: Господи, помилуй!—только и всего. И молиться-то мы не умѣемъ.

— Прежде ходоки такіе были, за міръ стояли. Соберется, бывало, ходокъ, крадучись, въ Петербургъ, а его оттолѣ по этапу...

— Все-таки прежде хоть насчетъ Правды лучше было. И старики дѣтямъ наказывали: «одолѣла насъ Неправда, надо Правды искать». Батюшко сказывалъ: такое сердце у дѣдушки Еремѣя было—такъ и рвется за міръ постоять! И теперь онъ на печи изувѣченный лежитъ, въ чемъ душа, а все о Правдѣ твердитъ. Только нынче его ужъ не слушаютъ.

— То-то, что легче, говорятъ, стало—оттого и Еремѣя не слушаютъ. Кому нынче Правда нужна? И на сходкѣ, и въ кабакѣ—вездѣ нынче легость...

— Прежде господа рвали душу, теперь—міроѣды да кабатчики. Во всякой деревнѣ міроѣдъ завелся: рветъ христіанскія души, да и шабашъ.

— Возьмемъ хоть бы Василія Игнатьева — какія онъ себѣ хоромы на христіанскую кровь взбодрилъ. Крышу-то красную за версту видно; о-бокъ лавка, а онъ стоитъ въ дверяхъ да брюхо объ косякъ чешетъ.

— И всѣ къ нему съ почтеніемъ. Старшина придетъ—съ нимъ вмѣстѣ бражничаетъ, долги его прежде казенныхъ податей собираетъ; становой пріѣдетъ—тоже у него становится. У него и щи съ убоиной, и водка. Лѣтось молодой баринъ изъ Питера пріѣзжалъ—сейчасъ: «попросите ко мнѣ Василія Игнатьича!... Ну, что, Василій Игнатьичъ, все ли по добру, по здорову? Хорошо ли торгуете? Чайку вмѣстѣ попьемте... вы, дескать, настоящій добрый русскій крестьянинъ! Печетесь о себѣ, другимъ примѣръ показываете... и ежели, молъ, вамъ что нужно, такъ пишите ко мнѣ въ Петербургъ».

— Однодворицу выкупилъ, да надѣлъ а семь душъ! Совсѣмъ изъ міра уволился, самъ баринъ.

— А теперь міръ ему въ ноги кланяется, какъ придетъ время подати вносить. Міромъ ему и сѣнокосъ убираютъ, и хлѣбъ жнутъ...

— Вотъ такъ легость! Нѣтъ, ты скажи, гдѣ же Правду искать?

— У Бога она, должно-быть, Богъ ее на небо взялъ и не пущаетъ.

Опять смолкли спутники, опять завздыхали. Но Ѳедоръ вѣрилъ, что не можетъ этого статься, чтобы Правды не было на свѣтѣ, и ему не по нраву было, что товарищъ его относился къ этой вѣрѣ такъ легко.

— Нѣтъ, попробую,—сказалъ онъ.—Я какъ приду, такъ сейчасъ же къ дѣдушкѣ Еремѣю схожу. Все у него выспрошу, какъ онъ Правду разыскивалъ.

— А онъ тебѣ разскажетъ, какъ его въ части сѣкли, какъ по этапу гнали да въ Сибирь совсѣмъ-было собрали, только баринъ вдругъ спохватился: опредѣлить Еремѣя лѣснымъ сторожемъ! И сторожилъ онъ барскіе лѣса до самой воли, жилъ въ трущобѣ, и никого не велѣно было пускать къ нему. Нѣтъ ужъ, лучше ты этого дѣла не замай!

— Никакъ этого сдѣлать нельзя. Возьми хоть Дуньку: какъ я приду, сейчасъ она мнѣ все разскажетъ... Что-жъ, я столбомъ, что ли, передъ ней стоять буду? Нѣтъ, тутъ и до смертнаго случая недалеко. Я ему кишки, псу несытому, выпущу!

— Ишь вѣдь! Все говорилъ о Правдѣ, а теперь на кишки своротилъ. Развѣ это Правда? Знаешь ли ты, что̀ за такую Правду съ тобой сдѣлаютъ?

— И пущай дѣлаютъ. По-твоему, значитъ, такъ и оставить. Приходите, молъ, Егоръ Петровичъ: моя Дунька завсегда... Нѣтъ! Это надо оставить! Сыщу я Правду, сыщу!

— Ахъ ты, жарынь какая!—молвилъ Иванъ, чтобы перемѣнить разговоръ:—скоро, поди, столбъ будетъ, а тамъ деревнюшка. Туда, что ли, полдничать пойдемъ, или въ полѣ отдохнемъ?

Но Ѳедоръ не могъ ужъ угомониться и все бормоталъ:

— Сыщу я Правду, сыщу!

— А я такъ думаю, что ничего ты не сыщешь, потому что нѣтъ Правды для насъ; время, вишь, не наступило!—сказалъ Иванъ.—Ты лучше подумай, на какія деньги хлѣба искупить, чтобы до новаго ѣсть было что̀.

— Къ тому же Василію Игнатьичу пойдемъ, въ ноги поклонимся!—угрюмо отвѣтилъ Ѳедоръ.

— И то придется; да десятину сѣнокоса ему за подожданье уберемъ! Батюшко, пожалуй, скажетъ: чѣмъ на платки женѣ да на кушаки третью пятишницу тратить, лучше бы на хлѣбъ ее сберегъ

— Терпимъ и холодъ, и голодъ, каждый годъ все ждемъ, авось будетъ лучше... доколѣ же? Инъ и въ самомъ дѣлѣ Правды на свѣтѣ нѣтъ? Такъ только, по̀пусту, люди болтаютъ: Правда, Правда... а гдѣ она?!

— Намеднись начетчикъ одинъ въ Москвѣ говорилъ мнѣ: «Правда—у насъ въ сердцахъ. Живите по правдѣ—и вамъ, и всѣмъ хорошо будетъ».

— Сытъ, должно-быть, этотъ начетчикъ, оттого и мелетъ.

— А можетъ, и господа набаловали. Простой, дескать, мужикъ, а какія рѣчи говоритъ! Ему-то хорошо, такъ онъ и забылъ, что другимъ больно.

Въ это время навстрѣчу путникамъ мелькнулъ полусгнившій верстовой столбъ, на которомъ едва можно было прочитать: «Отъ Москвы 18, отъ станціи Рудаки 3 версты».

— Что-жъ, въ полѣ отдохнемъ?—спросилъ Иванъ.—Вонъ и стожокъ близко.

— Извѣстно, въ полѣ, а то гдѣ-жъ? Въ деревнѣ, что ли, харчиться?

Товарищи свернули съ дороги и сѣли подъ тѣнью стараго, накренившагося стога.

— Есть же люди,—замѣтилъ Иванъ, снимая лапти:— у которыхъ еще старое сѣно осталось! У насъ и солому-то съ крышъ по веснѣ коровы пріѣли.

Начали полдничать; добыли воды да хлѣбъ изъ мѣшковъ вынули—вотъ и ѣда готова. Потомъ вытащили изъ стога по охапкѣ сѣна и улеглись.

— Смотри, Ѳедя,—молвилъ Иванъ, укладываясь и позѣвывая:—во всѣ стороны сколько простору! Всѣмъ мѣсто есть, а намъ...

21.—Гіена.

(Поученіе).

Загляните въ любую Зоологію и всмотритесь въ изображеніе гіены. Ея заостренная мордочка не говоритъ ни о лукавствѣ, ни о подвохѣ, ни, тѣмъ менѣе, о жестокости, а представляется даже миловидною.

Это хорошее впечатлѣніе она производитъ благодаря небольшимъ глазкамъ, въ которыхъ свѣтится благосклонность. У прочихъ острорылыхъ—глаза чистые, быстрые, блестящіе, взоръ жесткій, плотоядный; у нея—глазки томные, влажные, взоръ—доброжелательный, приглашающій къ довѣрію. У ксендзовъ такіе умильные глаза бываютъ, когда они соберутся, ad majorem Dei gloriam, въ совѣсти у пасомаго пошарить. Или вотъ у чиновниковъ, которымъ довѣрено, подъ величайшимъ секретомъ, праздничные наградные списки набѣло переписать, и они, чтобы всѣхъ обнадежить и въ то же время государственную тайну соблюсти, начинаютъ всѣмъ одинаково улыбаться.

Кто бы подумалъ, что это изображеніе принадлежитъ одной изъ тѣхъ гіенъ, о которыхъ съ древнихъ временъ сложилась такая нехорошая репутація?!

Древніе видѣли въ гіенѣ нѣчто сверхъестественное и приписывали ей силу волшебныхъ чаръ. Этотъ взглядъ на

гіену въ значительной мѣрѣ господствуетъ и понынѣ между аборигенами тѣхъ странъ, гдѣ привитаютъ эти животныя. Судя по разсказамъ Брэма, мѣстные арабы вѣрятъ, что человѣкъ сходитъ съ ума отъ употребленія мозга гіены, и что колдуны пользуются этимъ, чтобы вредить ненавистнымъ имъ людямъ. Мало того: арабы убѣждены, что гіены — не что иное, какъ замаскированные волшебники, которые днемъ являются въ видѣ людей, а ночью принимаютъ образъ звѣря, на погибель праведныхъ душъ.

Очевидно, розсказни эти столь же мало правдоподобны, какъ и та басня, которую я слышалъ отъ одной купчихи въ Замоскворѣчьѣ: знаю-де я гіену, которая днемъ въ человѣческомъ видѣ дорогихъ гостей принимаетъ, а чуть смеркнется—берется за перо и начинаетъ—въ гіенскомъ образѣ—«газету писать»... Какой вздоръ!

Впрочемъ, о полосатой гіенѣ Брэмъ отзывается довольно снисходительно, хотя, разумѣется, особенныхъ добродѣтелей за ней не видитъ. Но вѣдь у звѣрей вообще ни добродѣтелей, ни пороковъ не водится, а водятся только свойства. Самый вой полосатой гіены, по свидѣтельству Брэма, далеко не такъ противенъ, какъ разсказываютъ,—и нерѣдко онъ забавлялся, слушая его. Наоборотъ, вой пятнистой гіены имѣетъ дѣйствительно характеръ «какого-то ужаснаго хохота, который всякой вѣрующей душѣ, съ живымъ воображеніемъ, легко приписать дьяволу и его адской компаніи». Такъ что ежели, читая, напримѣръ, куранты, вы слышите хохотъ, «который можно приписать дьяволу», то знайте, что онъ принадлежитъ пятнистой гіенѣ, и что эта разновидность гіены есть самая опасная и ненавистная изъ всѣхъ.

Объ этой гіенской особи у Брэма никакихъ свѣдѣній нѣтъ, но нужно вообще замѣтить, что его разсказъ о гіенахъ нѣсколько спутанъ. И, очевидно, эта спутанность происходитъ именно отъ того, что типъ гіены-оборотня какъ будто ускользнулъ отъ него. Къ счастію, онъ не ускользнулъ отъ той замоскворѣцкой купчихи, о которой я упомянулъ выше и которая, положительно, видѣла такую гіену собственными глазами.

— Посмотрѣть на нее—милушка!—разсказывала она:— а какъ начнетъ она хрюкать да хохотать... хохочетъ-хо-хочетъ, да вдругъ какъ захныкаетъ... Господи, спаси и помилуй!

Тѣмъ не менѣе, нѣтъ сомнѣнія, что именно эту разно-

видность имѣетъ Брэмъ въ виду, когда говоритъ, что гіены обладаютъ отвратительно-рѣзкимъ голосомъ, издаютъ противный запахъ и при ѣдѣ поднимаютъ такое кряхтѣніе, крикъ и хохотъ, что суевѣрнымъ людямъ вполнѣ естественно кажется, будто бѣснуются всѣ черти ада. Сверхъ того, эта гіена нападаетъ только на слабыхъ, спящихъ и беззащитныхъ (а, конечно, еще того лучше, коли жертва связана) и, кромѣ того, нерѣдко заходитъ днемъ въ дома и уноситъ маленькихъ дѣтей. Вообще, дѣти—любимое лакомство гіены-оборотня. Ночью она забирается въ жилища мамбуковъ (одно изъ кафрскихъ племенъ), проходитъ мимо телятъ, не трогая ихъ, и изъ-подъ одѣялъ спящихъ матерей утаскиваетъ дѣтей.

Изловить живую гіену не особенно трудно, и потому содержатели звѣринцевъ довольно дешево пріобрѣтаютъ ихъ и въ клѣткахъ показываютъ публикѣ. Заключенная въ клѣтку, гіена по цѣлымъ часамъ лежитъ на боку какъ колода, потомъ вдругъ вскочитъ, смотритъ невыразимо-глупо, трется объ рѣшетку и отъ времени до времени заливается хохотомъ, который пронизываетъ до мозга костей.

За всѣмъ тѣмъ, по свидѣтельству того же Брэма, насколько гіена ехидна, настолько она и труслива. Однажды случилось ему заночевать въ компаніи на берегу Голубой рѣки, какъ вдругъ, вблизи самаго костра, появилась гіена и затянула свою раздирающую пѣсню. Однако-жъ, стоило собравшейся компаніи, въ отвѣтъ на эту пѣсню, захохотать, какъ незванная гостья испугалась и немедленно бѣжала. Въ другой разъ, въ городѣ Сенаарѣ, возвращаясь въ полночь изъ гостей, Брэмъ въ одной изъ городскихъ улицъ встрѣтилъ порядочное стадо гіенъ. Но одного камня, брошеннаго въ нихъ, было достаточно, чтобы разогнать все стадо.

Гіенъ можно даже приручать. Удовольствія, конечно, это занятіе доставить не можетъ, но, въ видахъ подробнѣйшаго изслѣдованія нравовъ этого животнаго, подобныя попытки не безполезны. Достигается приручѣніе довольно легко: стоитъ только чаще прибѣгать къ побоямъ и къ купанью въ холодной водѣ. «Прирученныя такимъ образомъ гіены,—разсказываетъ Брэмъ,—завидѣвши его, вскакивали съ радостнымъ воемъ, начинали вокругъ него прыгать, клали переднія лапы ему на плечи, обнюхивали лицо, наконецъ поднимали хвостъ совсѣмъ прямо кверху и высовывали вывороченную

кишку на 1½—2 дюйма изъ задняго прохода». Однимъ словомъ, человѣкъ восторжествовалъ и тутъ, какъ вездѣ; только вотъ высунутая кишка—это ужъ лишнее.

А впрочемъ, видѣть *радость* гіены... это тоже въ своемъ родѣ...

Но что же означаетъ вся эта исторія и съ какою цѣлью она написана?—быть-можетъ, спроситъ меня читатель. — А вотъ именно затѣмъ я ее и разсказалъ, чтобы наглядным образомъ показать, что «человѣческое» всегда и неизбѣжно должно восторжествовать надъ «гіенскимъ».

Иногда намъ кажется, что «гіенское» готово весь міръ заполонить, что оно и одесную, и ошую распространило крилѣ и вотъ-вотъ задушитъ все живущее. Такія фантасмагоріи случаются нерѣдко. Кругомъ раздается дьявольскій хохотъ и визгъ; изъ глубины мрака несутся возгласы, призывающіе къ ненависти, къ сварѣ, къ междоусобію. Все живое въ безотчетномъ страхѣ падаетъ ницъ; всѣ душевныя отправленія застываютъ подъ гнетомъ одной удручающей мысли: изгибло доброе, изгибло прекрасное, изгибло человѣческое! Все, словно непроницаемымъ пологомъ, навсегда заслонено ненавистническимъ, клеветническимъ, гіенскимъ!

Но это—громадное и преступное заблужденіе. «Человѣческое» никогда окончательно не погибало, но и подъ пепломъ, которымъ временно засыпало его «гіенское», продолжало горѣть.

И впредь оно не погибнетъ и не перестанетъ горѣть—никогда! Ибо для того, чтобы оно восторжествовало, необходимо только одно: освѣтить сердца и умы сознаніемъ, что «гіенство» вовсе не обладаетъ тѣми волшебными чарами, которыя приписываетъ ему безумный и злой предразсудокъ. Какъ только это просвѣтлѣніе совершится, не будетъ надобности и въ прирученіи «гіенства» — зачѣмъ? Оно все-таки не перестанетъ смердить, да и возни съ прирученіемъ много, а будетъ оно само-собой все дальше и дальше удаляться вглубь, покуда, наконецъ, море не поглотитъ его, какъ древле оно поглотило стадо свиней.

Dixi.

22.—Приключеніе съ Крамольниковымъ.

(Сказка-элегія).

Однажды утромъ, проснувшись, Крамольниковъ совершенно явственно ощутилъ, что его нѣтъ. Еще вчера онъ сознавалъ себя сущимъ; сегодня вчерашнее *бытіе* какимъ-то волшебствомъ превратилось въ *небытіе*. Но это небытіе было совершенно особаго рода. Крамольниковъ торопливо ощупалъ себя, потомъ произнесъ вслухъ нѣсколько словъ, наконецъ, посмотрѣлся въ зеркало; оказалось, что онъ — тутъ, налицо, и что, въ качествѣ ревизской души, онъ существуетъ въ томъ же самомъ видѣ, какъ и вчера. Мало того: онъ попробовалъ мыслить — оказалось, что и мыслить онъ можетъ... И за всѣмъ тѣмъ для него не подлежало сомнѣнію, что его нѣтъ. Нѣтъ того *неревизскаго* Крамольникова, какимъ онъ сознавалъ себя наканунѣ. Какъ будто передъ нимъ захлопнулась какая-то дверь, или завалило впереди дорогу, и ему некуда и не зачѣмъ идти.

Переходя отъ одного предположенія къ другому и въ то же время съ любопытствомъ всматриваясь въ окружающую обстановку, онъ взглянулъ мимоходомъ на лежавшую на письменномъ столѣ начатую литературную работу, и вдругъ все его существо словно электрическая струна пронизала...

Не нужно! не нужно! не нужно!

. . . . . .

Сначала онъ подумалъ: какой вздоръ!—и взялся за перо. Но когда онъ хотѣлъ продолжать начатую работу, то сразу убѣдился, что дѣйствительно ему предстоитъ провести черту и подъ нею написать: *Не нужно!*

Онъ понялъ, что все оставалось попрежнему, — только душа у него запечатана. Отнынѣ онъ воленъ производить свойственныя ревизской душѣ отправленія; воленъ, пожалуй, мыслить; но все это ни къ чему. У него отнято главное, что составляло основу и сущность его жизни: отнята та лучистая сила, которая давала ему возможность огнемъ своего сердца зажигать сердца другихъ.

Онъ стоялъ изумленный; смотрѣлъ и не видѣлъ; искалъ и не находилъ. Что-то безконечно-мучительное жгло его внутренности... А въ воздухѣ между тѣмъ носился нелѣпо-озорной шопотъ: «поймали, расчухали, уличили!»

— Что такое? что такое случилось?

Положительно, душа его была запечатана. Какъ у всякаго убѣжденнаго и вѣрящаго человѣка, у Крамольникова былъ внутренній храмъ, въ которомъ хранилось сокровище его души. Онъ не пряталъ этого сокровища, не считалъ его своею исключительною собственностью, но расточалъ его. Въ этомъ, по его мнѣнію, замыкался весь смыслъ человѣческой жизни. Безъ этой дѣятельной силы, которая, надѣляя человѣка потребностью источать изъ себя свѣтъ и добро, въ то же время дѣлаетъ его способнымъ воспринимать свѣтъ и добро отъ другихъ, — человѣческое общество уподобилось бы кладбищу. Это было бы не общество, а складъ труповъ... И вотъ теперь трупный періодъ для него наступилъ. Обмѣну свѣта и добра пришелъ конецъ. И самъ онъ, Крамольниковъ, — трупъ, и тѣ, къ которымъ онъ такъ недавно обращался, какъ къ источнику живой воды для своей дѣятельности, — тоже трупы... Никогда, даже въ воображеніи, не представлялъ онъ себѣ несчастія столь глубокаго.

Крамольниковъ былъ коренной пошехонскій литераторъ, у котораго не было никакой иной привязанности, кромѣ читателя, никакой иной радости, кромѣ общенія съ читателемъ. Читатель не олицетворялся для него въ какой-нибудь матеріальной формѣ и тѣмъ не менѣе всегда предстоялъ передъ нимъ. Въ этой привязанности къ отвлеченной личности было что-то исключительное, до болѣзненности страстное. Цѣлые десятки лѣтъ она одна питала его и съ каждымъ годомъ дѣлалась все больше и больше настоятельною. Наконецъ, пришла старость, и всѣ блага жизни, кромѣ одного, высшаго и существеннѣйшаго, окончательно сдѣлались для него безразличными, ненужными.

И вдругъ, въ эту минуту,—рухнуло и послѣднее благо. Разверзлась темная пропасть и поглотила то «единственное», которое давало жизни смыслъ...

Въ литературномъ цехѣ такія, направленныя исключительно въ одну сторону, личности по временамъ встрѣчаются. Смолоду такъ односторонне слагается ихъ жизнь, что какія бы случайности ни сталкивали ихъ съ фаталистически обозначенной колеи, уклоненіе никогда не бываетъ ни серьезно, ни продолжительно. Подъ грудами наноснаго хлама продолжаетъ течь настоящая жильная струя. Все разнообразіе жизни представляется фиктивнымъ; весь интересъ ея сосредоточивается въ одной свѣтящей точкѣ.

Никогда они не даютъ себѣ отчета въ томъ, какого рода случайности ждутъ на пути, никогда не предусматриваютъ, не стараются обезпечить тылъ, не предпринимаютъ развѣдокъ, не справляются съ бывшими примѣрами. Не потому, чтобы проходящія передъ ними явленія и зависимость ихъ отъ этихъ явленій были для нихъ неясны, а потому, что никакія предвидѣнія, никакія справки—ни на іоту не могутъ видоизмѣнить тѣ функціи, прекращеніе которыхъ было бы равносильно прекращенію бытія. Нужно убить человѣка, чтобы эти функціи прекратились.

Неужели именно это убійство и совершилось теперь, въ эту загадочную минуту? Что̀ такое случилось? Тщетно искалъ онъ отвѣта на этотъ вопросъ. Онъ понималъ только одно, что его со всѣхъ сторонъ обступаетъ зіяющая пустота.

Крамольниковъ горячо и страстно былъ преданъ своей странѣ и отлично зналъ какъ прошедшее, такъ и настоящее ея. Но это знаніе повліяло на него совершенно особеннымъ образомъ: оно было живымъ источникомъ болей, которыя, непрерывно возобновляясь, сдѣлались, наконецъ, главнымъ содержаніемъ его жизни, дали направленіе и окраску всей его дѣятельности. И онъ не только не старался утишить эти боли, а, напротивъ, работалъ надъ ними и оживлялъ ихъ въ своемъ сердцѣ. Живость боли и непрерывное ея ощущеніе служили источникомъ живыхъ образовъ, при посредствѣ которыхъ боль передавалась въ сознаніе другихъ.

Зналъ онъ, что пошехонская страна изстари славилась непостоянствомъ и неустойчивостью, что самая природа ея какая-то незаслуживающая довѣрія. Рѣки расползлись вширь и что̀ ни годъ, то мѣняютъ русло, пестрѣя песчаными перекатами. Атмосферическія явленія поражаютъ внезапностью, похожею на волшебство: сегодня — жара̀, хоть рубашку выжми; завтра — та же рубашка колòмъ стоитъ на обывательской спинѣ. Лѣто короткое, растительность бѣдная, болота неоглядныя... Словомъ сказать — самая неспособная, предательская природа, такая, что никакихъ дѣлъ загадывать впередъ не приходится.

Но еще болѣе непостоянны въ Пошехоньѣ судьбы человѣческія. Смердъ говоритъ: «отъ сумы да отъ тюрьмы не открестишься»; посадскій человѣкъ говоритъ: «барыши наши на водѣ вилами писаны»; бояринъ говоритъ: «у меня вчера уши выше лба росли, а сегодня я ихъ вовсе сы-

скать не могу». Нѣтъ связи между вчерашнимъ и завтрашнимъ днемъ! Бродитъ человѣкъ по Чуровой долинѣ: пронесетъ Богъ—панъ, не пронесетъ—пропалъ.

Какая можетъ быть рѣчь о совѣсти, когда все кругомъ измѣняетъ, предательствуетъ? На что обопрется совѣсть, на чемъ она воспитается?

Зналъ все это Крамольниковъ, но, повторяю, это знаніе оживляло боли его сердца и служило отправнымъ пунктомъ его дѣятельности. Повторяю: онъ глубоко любилъ свою страну, любилъ ея бѣдноту, наготу, ея злосчастіе. Быть-можетъ, онъ усматривалъ впереди чудо, которое уйметъ снѣдавшую его скорбь.

Онъ вѣрилъ въ чудеса и ждалъ ихъ. Воспитанный на лонѣ волшебствъ, онъ незамѣтно для самого себя подчинился дѣйствію волшебства и призналъ его рѣшающимъ факторомъ пошехонской жизни. Въ какую сторону направитъ волшебство свое дѣйствіе? — въ этомъ весь вопросъ... Къ тому же, и въ прошломъ не все была тьма. По временамъ мракъ рѣдѣлъ, и въ теченіе короткихъ просвѣтовъ пошехонцы несомнѣнно чувствовали себя бодрѣе. Это свойство расцвѣтать и ободряться подъ лучами солнца, какъ бы ни были они слабы, доказываетъ, что для всѣхъ вообще людей свѣтъ представляетъ нѣчто желанное. Надо поддерживать въ нихъ эту инстинктивную жажду свѣта, надо напоминать, что жизнь есть радованіе, а не безсрочное страданіе, отъ котораго можетъ спасти лишь смерть. Не смерть должна разрѣшить узы, а возстановленный человѣческій образъ, просвѣтленный и очищенный отъ тѣхъ посрамленій, которыя наслоили на немъ вѣка подъяремной неволи. Истина эта такъ естественно вытекаетъ изъ всѣхъ опредѣленій человѣческаго существа, что нельзя допустить даже минутнаго сомнѣнія относительно ея грядущаго торжества. Крамольниковъ вѣрилъ въ это торжество и всего себя отдалъ напоминаніямъ о немъ.

Всѣ силы своего ума и сердца онъ посвятилъ на то, чтобы возстановлять въ душахъ своихъ присныхъ представленіе о свѣтѣ и правдѣ и поддерживать въ ихъ сердцахъ вѣру, что свѣтъ придетъ, и мракъ его не обниметъ. Въ этомъ собственно заключалась задача всей его дѣятельности.

Дѣйствительно, волшебство не замедлило вступить въ свои права. Но не то благотворное волшебство, о которомъ онъ мечталъ, а заурядное, жестокое пошехонское волшебство.

Не нужно! Не нужно! Не нужно!

Къ чести Крамольникова должно сказать, что онъ ни разу не задался вопросомъ: за что? Онъ понималъ, что, при полномъ отсутствіи винословности, подобнаго рода вопросъ не только неумѣстенъ, но прямо свидѣтельствуетъ о слабодушіи вопрошающаго. Онъ даже не отрицалъ нормальности настигшаго его факта,—онъ только находилъ, что нормальность въ настоящемъ случаѣ заявила себя черезчуръ уже жестоко и рѣзко. Не разъ приходилось ему, въ теченіе долгаго литературнаго пути, играть роль anima vilis передъ лицомъ волшебства, но до сихъ поръ послѣднее хотя душу его оставляло нетронутою. Теперь оно эту душу отняло, скомкало и запечатало, и какъ ни привычны были Крамольникову капризы волшебства, но на этотъ разъ онъ почувствовалъ себя изумленнымъ. Весь онъ былъ словно расшибленъ, вездѣ, во всемъ существѣ, ощущалъ жгучую и совсѣмъ новую боль.

И вдругъ онъ вспомнилъ о «читателѣ». До сихъ поръ онъ отдавалъ читателю всѣ силы вполнѣ беззавѣтно; теперь въ его сердцѣ впервые шевельнулось смутное чаяніе отклика, сочувствія, помощи...

И его инстинктивно потянуло на улицу, какъ будто тамъ его ожидало какое-то разъясненіе.

Улица имѣла обыкновенный пошехонскій видъ. Крамольникову показалось, что передъ глазами его разстилается нѣмое, слѣпое и глухое пространство. Только камни вопіяли. Люди сновали взадъ и впередъ осторожно и озираясь, точно шли воровать. Только эта струна и была живая. Все прочее было проникнуто изумленіемъ, почти остолбенѣніемъ. Однако-жъ Крамольникову сгоряча показалось, что даже эта нѣмая улица нѣчто *знаетъ*. Ему этого такъ страстно хотѣлось, что онъ вопль камней принялъ за вопль людей. Тѣмъ не менѣе, отчасти онъ не ошибался. Дѣйствительно, тамъ и сямъ раздавалось развязное гудѣнье. То было гудѣнье либераловъ, недавнихъ друзей его. Однихъ онъ обгонялъ, другіе шли навстрѣчу. Но—увы!—никакого оттѣнка участія не видѣлось на ихъ лицахъ. Напротивъ, на нихъ уже успѣла лечь тѣнь отступничества.

— Однако похоронили-таки васъ, голубчикъ, живо!—сказалъ одинъ:—строгонько, сударь, строгонько! Ну, да вѣдь тоже и вы... нельзя этого, мой другъ; я вамъ давно говорилъ, что нельзя! Терпѣли васъ, терпѣли,—ну, наконецъ...

— Но что же такое «наконецъ»?

— Да просто «наконецъ»—и все тутъ! Скучно стало. Нынче не разговаривать нужно, а взирать и—буде можно—усматривать. Вамъ, сударь, слѣдовало самому зараньше догадаться; а ежели вамъ претило присоединиться отъ полноты души,—ну, такъ хоть слегка бы: разбирайте, молъ, каковъ я тамъ... внутри! А то все съ-плеча, все съ-плеча! Ну, и надоѣло. Я и самъ—развѣ, вы думаете, мнѣ сладко? Не со вчерашняго дня, чай, меня знаете! Однако и я поразмыслилъ да посовѣтовался съ добрыми людьми... Господи, благослови... бухъ!

Другой сказалъ:

— Да, любезный другъ, жаль васъ, очень жаль! Пріятно было почитать. Улыбнешься, вздохнешь, а иногда и дѣльное что-нибудь отыщешь... Даже пріятелемъ, бывало, спѣшишь сообщить. Въ канцеляріяхъ цитировали. У меня былъ знакомый, который наизустъ многое зналъ. Но, съ другой стороны, есть всему и предѣлъ. Настали времена, когда понадобилось другое; вы должны были понять это, а не дожидаться, пока васъ прихлопнутъ. Что такое это «другое»—выяснится потомъ, но не теперь... Вотъ я вслѣдъ за другими смотрѣлъ-смотрѣлъ, да и говорю женѣ: надо же! Ну, и она говоритъ: надо! Я и рѣшился.

— На что же вы рѣшились?

— Да просто—идти общимъ торнымъ путемъ. Не заглядываясь по сторонамъ, не паря ввысь, не думая о широкихъ задачахъ... Помаленьку да полегоньку. Оно скучненько и сѣренько, положимъ, но вѣдь, съ одной стороны, блистать-то намъ не по плечу, а съ другой стороны—семейство. Жена принарядиться любитъ, повеселиться... Самъ тоже: имѣешь положеніе въ свѣтѣ, связи, знакомства; видишь, какъ другіе впередъ да впередъ идутъ,—неужто же все потерять? Вы думаете, я такъ-таки навсегда... нѣтъ, я тоже съ оговорочкой. Придутъ когда-нибудь и лучшія времена... Вотъ, напримѣръ, ежели Николай Семенычъ... Кормило-то, батюшка, нынче... Сегодня Иванъ Михайлычъ, а завтра Николай Семенычъ... Ну, тогда и опять...

— Да вѣдь Николай-то Семенычъ—воръ.

— Воръ! Ахъ, какъ вы жестоко выражаетесь!

Наконецъ, третій просто напрямки крикнулъ на него:

— И за дѣло! Будетъ съ васъ! Вы, сударь, не только себя, но и другихъ компрометируете—вотъ что! Я изъ-за

васъ вчера объясненіе имѣлъ, а нынче и не знаю, есмь я или не есмь! А какое вы имѣете право, позвольте васъ спросить? «Въ пріятельскихъ отношеніяхъ съ господиномъ Крамольниковымъ,—говоритъ,—а посему...» Я—туда-сюда. «Какія же, говорю, это пріятельскія отношенія, вашество? Такъ, буфонъ—отчего же послѣ трудовъ и не посмѣяться!» Ну, дали покамѣстъ двадцать четыре часа на размышленіе, а тамъ что̀ будетъ. А у меня между тѣмъ семья, жена, дѣти... Да и самъ я въ полѣ не обсѣвокъ... Можно ли было этого ожидать! Повторяю: какое вы имѣете право? Ахъ-ахъ-ахъ!

Крамольниковъ не счелъ нужнымъ продолжать бесѣду и пошелъ дальше. Но такъ какъ на пути его стоялъ домъ, въ которомъ жилъ давній его однокашникъ, то онъ и зашелъ къ нему, думая хоть тутъ отвести душу.

Лакей принялъ его радушно; повидимому, онъ ничего еще не зналъ. Онъ сказалъ, что Дмитрія Николаича нѣтъ дома, а Аглая Алексѣевна въ гостиной. Крамольниковъ отворилъ дверь, но едва переступилъ порогъ гостиной, какъ сидѣвшая въ ней дама взвизгнула и убѣжала. Крамольниковъ отретировался.

Наконецъ, онъ вспомнилъ, что на Пескахъ живетъ старый его сослуживецъ (Крамольниковъ лѣтъ пятнадцать назадъ тоже служилъ въ департаментѣ грѣшныхъ помышленій), Яковъ Ильичъ Воробушкинъ. Человѣкъ этотъ былъ большой почитатель Крамольникова и служилъ неудачно. Слишкомъ десять лѣтъ тянулъ онъ лямку столоначальника, не имѣя въ перспективѣ никакого повышенія и при каждой перемѣнѣ вѣянія дрожа за свое столоначальничество. Робкій и неискательный отъ природы, онъ и на частной службѣ пріютиться не могъ. Какъ-то съ самаго начала онъ устроилъ себя такъ, что ему самому казалось страннымъ чего-нибудь искать, подавать записки объ уничтоженіи и устраненіи, слоняться по переднимъ и лѣстницамъ, и т. д. Разъ только онъ подалъ записку о необходимости ободрить нищихъ духомъ; но директоръ, прочитавъ ее, только погрозилъ ему пальцемъ, и съ тѣхъ поръ Воробушкинъ замолчалъ. Въ послѣднее время, однако-жъ, онъ началъ смутно надѣяться, сталъ ходить въ ту самую церковь, куда ходилъ его начальникъ, такъ что послѣдній однажды подарилъ ему половину заздравной просфоры (донышко) и сказалъ: «очень радъ!» Такимъ образомъ дѣло его было уже на мази, какъ вдругъ...

Крамольникову отворила дверь старая нянька, сзади которой, изъ внутреннихъ дверей, выглядывали испуганныя лица дѣтей. Нянька была сердита, потому что нежданный посѣтитель помѣшалъ ей ловить блохъ. Она напрямки отрѣзала Крамольникову:

— Нѣтъ Якова Ильича дома; его изъ-за васъ къ начальнику позвали, и живъ онъ теперь или нѣтъ—неизвѣстно; а барыня въ церкву молиться ушли.

Крамольниковъ сталъ спускаться по лѣстницѣ, но едва сдѣлалъ нѣсколько шаговъ, какъ встрѣтилъ самого Воробушкина.

— Крамольниковъ! простите меня, но я не могу поддерживать наши старыя отношенія!—сказалъ Воробушкинъ взволнованнымъ голосомъ.—На этотъ разъ, впрочемъ, я, кажется, оправдался, но и то навѣрное поручиться не могу. Директоръ такъ и сказалъ: «на васъ неизгладимое пятно!» А у меня жена, дѣти! Оставьте меня, Крамольниковъ! Простите, что я такой малодушный, но я не могу...

. . . . . .

Крамольниковъ воротился домой удрученный, почти испуганный.

Что отнынѣ онъ былъ осужденъ на одиночество—это онъ сознавалъ. Не потому онъ былъ одинокъ, что у него не было читателя, который цѣнилъ, а быть-можетъ, и любилъ его, а потому, что онъ утратилъ всякое общеніе съ *своимъ* читателемъ. Этотъ читатель былъ далеко и разорвать связывающія его узы не могъ. Напротивъ, былъ другой читатель, ближній, который во всякое время имѣлъ возможность зажалить Крамольникова до смерти. Этотъ остался налицо и нагло выражалъ, что самая нѣмота Крамольникова ему ненавистна.

Смутно проносилось въ его умѣ, что во всѣхъ отступничествахъ, которыхъ онъ былъ свидѣтелемъ, кроется не одно личное предательство, а цѣлый подавляющій порядокъ вещей. Что всѣ эти вчерашніе свободные мыслители, которые еще недавно такъ дружелюбно жали ему руки, а сегодня чураются его, какъ чумы, дѣлаютъ это не только страха ради іудейска, но потому, что ихъ придавило.

Ихъ придавила жажда жизни; а такъ какъ жажда эта вполнѣ законна и естественна, то Крамольникову становилось страшно при этой мысли. «Неужто,—спрашивалъ онъ себя,—для того, чтобы удержать за собой право на суще-

ствованіе, нужно пройти сквозь позорное и жестокое иго? Неужто въ этомъ загадочномъ мірѣ только то естественно, что идетъ вразрѣзъ съ самыми завѣтными и дорогими стремленіями души?»

Или опять: почти всякій изъ недавнихъ его собесѣдниковъ ссылался на семью; одинъ говорилъ: «жена принарядиться любитъ»; другой «жена»—и больше ничего... Но особенно тяжко выходило это у Воробушкина. Семья ему душу рвала. Вѣроятно, онъ лишалъ себя всего, плохо ѣлъ, плохо спалъ, добывалъ на сторонѣ работишку—все ради семьи. И за всѣмъ тѣмъ добывалъ такъ мало, что только самоотверженность Лукерьи Васильевны (жены Воробушкина) помогала переносить эту нужду. И вотъ, ради этого малаго, ради нищенской подачки...

Что же это такое? Что такое семья? Какъ устроиться съ семейнымъ началомъ? Какъ дѣлать, чтобы оно не было для человѣка египетской язвой, не тянуло его во всѣ стороны, не мѣшало быть гражданиномъ?

Крамольниковъ думалъ-думалъ, и вдругъ словно кольнуло его. «Отчего же,—говорилъ ему внутренній голосъ,—эти жгучіе вопросы не представлялись тебѣ такъ назойливо *прежде*, какъ представляются *теперь*? Не оттого ли, что ты былъ прежде рабъ, сознававшій за собой какую-то мнимую силу, а теперь ты—рабъ безсильный, придавленный? Отчего ты не шелъ прямо и не самоотвергался? Отчего ты подчинялъ себя какой-то профессіи, которая давала тебѣ положеніе, связи, друзей, а не спѣшилъ туда, откуда раздавались стоны? Отчего ты не становился лицомъ къ лицу съ этими стонами, а волновался ими только отвлеченно?

«Изъ-подъ пера твоего лился протестъ, но ты облекалъ его въ такую форму, которая дѣлала его мертворожденнымъ. Все, противъ чего ты протестовалъ, — все это и нынѣ стоитъ въ томъ же видѣ, какъ и до твоего протеста.

«Твой трудъ былъ безплоденъ. Это былъ трудъ адвоката, у котораго языкъ измотался среди опутывающихъ его лжей. Ты протестовалъ, но не указалъ ни того, что нужно дѣлать, ни того, какъ люди шли вглубь и погибали, а ты слалъ имъ вслѣдъ свое сочувствіе. Но это было плѣнное раздраженіе мысли,—раздраженіе, положимъ, доброе, но все-таки только раздраженіе. Ты даже тѣхъ людей, которые сегодня такъ нагло отвернулись отъ тебя,—ты и ихъ не

сумѣлъ понять. Ты думалъ, что *вчера* они были иными, нежели сегодня.

«Правда, ты неспособенъ идти слѣдомъ за этими людьми; ты неспособенъ измѣнить тѣмъ добрымъ раздраженіямъ, которыя съ молодыхъ ногтей вошли тебѣ въ плоть и кровь. Это, конечно, зачтется тебѣ... гдѣ и когда? Но теперь, когда тебя со всѣхъ сторонъ обступила старость, съ ея недугами, разсуди самъ, что тебѣ предстоитъ...»

Post scriptum отъ *автора*. Само собой разумѣется, что все написанное выше—не больше, какъ сказка. Никакого Крамольникова нѣтъ и не было; отступники же и переметныя сумы водились во всякое время, а не только въ данную минуту. А такъ какъ и во всемъ остальномъ все обстоитъ благополучно, то не для чего было и огородъ городить, въ чемъ авторъ и кается чистосердечно передъ читателями.

23.—Христова ночь.

(Преданіе).

Равнина еще цѣпенѣетъ, но среди глубокаго безмолвія ночи подъ снѣжною пеленою уже слышится говоръ пробуждающихся ручьевъ. Въ оврагахъ и ложбинахъ этотъ говоръ принимаетъ размѣры глухого гула и предостерегаетъ путника, что дорога въ этомъ мѣстѣ изрыта зажорами. Но лѣсъ еще молчитъ, придавленный инеемъ, словно сказочный богатырь желѣзною шапкою. Темное небо сплошь усыпано звѣздами, льющими на землю холодный и трепещущій свѣтъ. Въ обманчивомъ его мерцаніи мелькаютъ траурныя точки деревень, утонувшихъ въ сугробахъ. Печать сиротливости, заброшенности и убожества легла и на застывшую равнину, и на безмолвствующій проселокъ. Все сковано, безпомощно и безмолвно, словно задавлено невидимой, но грозной кабалой.

Но вотъ въ одномъ концѣ равнины раздалось гудѣніе полночнаго колокола; навстрѣчу ему, съ противоположнаго конца, пронеслось другое, за нимъ—третье, четвертое. На темномъ фонѣ ночи вырѣзались горящіе шпили церквей, и окрестность вдругъ ожила. По дорогѣ потянулись вереницы

деревенскаго люда. Впереди шли люди сѣрые, замученные жизнью и нищетою, люди съ истерзанными сердцами и поникшими долу головами. Они несли въ храмъ свое смиреніе и свои воздыханія; это было все, что они могли дать воскресшему Богу. За ними, поодаль, слѣдовали въ праздничныхъ одеждахъ деревенскіе богатѣи, кулаки и прочіе властелины деревни. Они весело гуторили межъ собою и несли въ храмъ свои мечтанія о предстоящемъ недѣльномъ ликованіи. Но скоро толпы народныя утонули въ глубинѣ проселка; замеръ въ воздухѣ послѣдній ударъ призывного благовѣста, и все опять торжественно смолкло.

Глубокая тайна почуялась въ этомъ внезапномъ перерывѣ начавшагося движенія,—какъ будто за наступившимъ молчаніемъ надвигалось чудо, долженствующее вдохнуть жизнь и возрожденіе. И точно: не успѣлъ еще заалѣть востокъ, какъ желанное чудо совершилось. Воскресъ поруганный и распятый Богъ! Воскресъ Богъ, къ Которому искони огорченныя и недугующія сердца вопіютъ: «Господи, поспѣшай!»

Воскресъ Богъ и наполнилъ Собою вселенную. Широкая степь встала навстрѣчу Ему всѣми своими снѣгами и буранами. За степью потянулся могучій лѣсъ и тоже почуялъ приближеніе Воскресшаго. Подняли матерыя ели къ небу мохнатыя лапы; заскрипѣли вершинами столѣтнія сосны; загудѣли овраги и рѣки; выбѣжали изъ норъ и берлогъ звѣри, вылетѣли птицы изъ гнѣздъ; всѣ почуяли, что изъ глубины грядетъ нѣчто свѣтлое, сильное, источающее свѣтъ и тепло, и всѣ вопіяли: «Господи! Ты ли?»

Господь благословилъ землю и воды, звѣрей и птицъ, и сказалъ имъ:

— Миръ вамъ! Я принесъ вамъ весну, тепло и свѣтъ. Я сниму съ рѣкъ ледяныя оковы, одѣну степь зеленою пеленою, наполню лѣсъ пѣніемъ и благоуханіями. Я напитаю и напою птицъ и звѣрей и наполню природу ликованіемъ. Пускай законы ея будутъ легки для васъ; пускай она для каждой былинки, для каждаго чуть замѣтнаго насѣкомаго начертитъ кругъ, въ которомъ они останутся вѣрными прирожденному назначенію. Вы не судимы, ибо выполняете лишь то, что вамъ дано отъ начала вѣковъ. Человѣкъ ведетъ непрестанную борьбу съ природой, проникая въ ея тайны и не предвидя конца своей работѣ. Ему необходимы эти тайны, потому что онѣ составляютъ неиз-

бѣжное условіе его благоденствія и преуспѣянія. Но природа сама себѣ довлѣетъ, и въ этомъ ея преимущество. Нѣтъ нужды, что человѣкъ мало-по-малу проникаетъ въ ея нѣдра — онъ покоряетъ себѣ только атомы, а природа продолжаетъ стоять передъ нимъ въ своей первобытной неприступности и подавляетъ его своимъ могуществомъ. Миръ вамъ, степи и лѣса, звѣри и пернатые! и да согрѣютъ и оживятъ васъ лучи Моего Воскресенія!

Благословивши природу, Воскресшій обратился къ людямъ. Первыми вышли навстрѣчу къ Нему люди плачущіе, согбенные подъ игомъ работы и загубленные нуждою. И когда Онъ сказалъ имъ: «миръ вамъ!»—то они наполнили воздухъ рыданіями и пали ницъ, молчаливо прося объ избавленіи.

И сердце Воскресшаго вновь затуманилось тою великою и смертельною скорбью, которою оно до краевъ переполнилось въ Геѳсиманскомъ саду, въ ожиданіи чаши, Ему уготованной. Все это многострадальное воинство, которое пало передъ Нимъ, несло бремя жизни имени Его ради; всѣ они первые приклонили ухо къ Его слову и навсегда запечатлѣли его въ сердцахъ своихъ. Всѣхъ ихъ Онъ видѣлъ съ высотъ Голгоѳы, какъ они метались вдали, окутанные сѣтями рабства, и всѣхъ Онъ благословилъ, совершая Свой крестный путь, всѣмъ обѣщалъ освобожденіе. И всѣ они съ тѣхъ поръ жаждутъ Его и рвутся къ Нему. Всѣ съ беззавѣтною вѣрою простираютъ къ Нему руки: «Господи! Ты ли?»

— Да, это Я,—сказалъ Онъ имъ.—Я разорвалъ узы смерти, чтобъ придти къ вамъ, слуги Мои вѣрные, сострадальцы Мои дорогіе! Я всегда и на всякомъ мѣстѣ съ вами, и вездѣ, гдѣ пролита ваша кровь,—тутъ же пролита и Моя кровь вмѣстѣ съ вашею. Вы чистыми сердцами беззавѣтно увѣровали въ Меня потому только, что проповѣдь Моя заключаетъ въ себѣ правду, безъ которой вселенная представляетъ собой вмѣстилище погубленія и адъ кромѣшный. Люби Бога и люби ближняго, какъ самого себя,—вотъ эта правда, во всей ея ясности и простотѣ, и она наиболѣе доступна не богословамъ и начетчикамъ, а именно вамъ, простымъ и удрученнымъ сердцамъ. Вы вѣрите въ эту правду и ждете ея пришествія. Лѣтомъ, подъ лучами знойнаго солнца, за сохою, вы служите ей; зимой, длинными вечерами, при свѣтѣ дымящейся лучины, за скуднымъ

ужиномъ, вы учите ей дѣтей вашихъ. Какъ ни кратка она сама по себѣ, но для васъ въ ней замыкается весь смыслъ жизни и никогда не изсякающій источникъ новыхъ и новыхъ собесѣдованій. Съ этой правдой вы встаете утромъ, съ нею ложитесь на сонъ грядущій и ее же приносите на алтарь Мой въ видѣ слезъ и воздыханій, которыя слаще аромата кадильнаго растворяютъ сердце Мое. Знайте же: хотя никто не провидитъ впередъ, когда пробьетъ вашъ часъ, но онъ уже приближается. Пробьетъ этотъ желанный часъ, и явится свѣтъ, котораго не побѣдитъ тьма. И вы свергнете съ себя иго тоски, горя и нужды, которое удручаетъ васъ. Подтверждаю вамъ это, и какъ нѣкогда съ высотъ Голгоѳы благословлялъ васъ на стяжаніе душъ вашихъ, такъ и теперь благословляю на новую жизнь въ царствѣ свѣта, добра и правды. Да не уклонятся сердца ваши въ словеса лукавствія, да пребудутъ они чисты и просты, какъ до-днесь, а слово Мое да будетъ истина. Миръ вамъ!

Воскресшій пошелъ далѣе и встрѣтилъ на пути Своемъ иныхъ людей. Тутъ были и богатѣи, и міроѣды, и жестокіе правители, и тати, и душегубцы, и лицемѣры, и ханжи, и неправедные судьи. Всѣ они шли съ сердцами, преисполненными праха, и весело разговаривали, встрѣчая не Воскресеніе, а грядущую праздничную суету. Но и они остановились въ смятеніи, почувствовавъ приближеніе Воскресшаго.

Онъ также остановился передъ ними и сказалъ:

— Вы—люди вѣка сего и духомъ вѣка своего руководитесь. Стяжаніе и любоначаліе—вотъ двигатели вашихъ дѣйствій. Зло наполнило все содержаніе вашей жизни, но вы такъ легко несете иго зла, что ни единый скрупулъ вашей совѣсти не дрогнулъ передъ будущимъ, которое готовитъ вамъ это иго. Все окружающее васъ представляется какъ бы призваннымъ служить вамъ. Но не потому овладѣли вы вселенною, что сильны сами по себѣ, а потому, что сила унаслѣдована вами отъ предковъ. Съ тѣхъ поръ вы со всѣхъ сторонъ защищены, и сильные міра считаютъ васъ присными. Съ тѣхъ поръ вы идете съ огнемъ и мечомъ впередъ и впередъ; вы крадете и убиваете, безнаказанно изрыгая хулу на законы божескіе и человѣческіе, и тщеславитесь, что таково искони унаслѣдованное вами право. Но говорю вамъ: придетъ время,—и недалеко оно,—когда мечтанія ваши разсѣются въ прахъ. Слабые также

познаютъ свою силу: вы же сознаете свое ничтожество передъ этою силой. Предвидѣли ли вы когда-нибудь этотъ грозный часъ? смущало ли васъ это предвидѣніе за себя и за дѣтей вашихъ?

Грѣшники безмолвствовали на этотъ вопросъ. Они стояли, потупивъ взоры и какъ бы ожидая еще горшаго. Тогда Воскресшій продолжалъ:

— Но во имя Моего Воскресенія Я и передъ вами открываю путь къ спасенію. Этотъ путь—судъ вашей собственной совѣсти. Она раскроетъ передъ вами ваше прошлое во всей его наготѣ; она вызоветъ тѣни погубленныхъ вами и поставитъ ихъ на стражѣ у изголовій вашихъ. Скрежетъ зубовный наполнитъ дома ваши, жены не познаютъ мужей, дѣти—отцовъ. Но когда сердца ваши засохнутъ отъ скорби и тоски, когда ваша совѣсть переполнится, какъ чаша, не могущая вмѣстить переполняющей ее горечи,—тогда тѣни погубленныхъ примирятся съ вами и откроютъ вамъ путь къ спасенію. И не будетъ тогда ни татей, ни душегубцевъ, ни мздоимцевъ, ни ханжей, ни неправедныхъ властителей, и всѣ одинаково возвеселятся за общей трапезой обители Моей. Идите же и знайте, что слово Мое — истина!

Въ эту самую минуту востокъ заалѣлъ, и въ рѣдѣющемъ сумракѣ лѣса выступила безобразная человѣческая масса, качающаяся на осинѣ. Голова повѣсившагося, почти оторванная отъ туловища, свѣсилась книзу; вороны уже выклевали у нея глаза и выѣли щеки. Самое туловище было по мѣстамъ обнажено отъ одеждъ и, зіяя гнойными ранами, размахивало по вѣтру руками. Стая хищныхъ птицъ кружилась надъ тѣломъ, а болѣе смѣлыя безстрашно продолжали дѣло разрушенія.

То было тѣло предателя, который самъ совершилъ судъ надъ собою.

Всѣ предстоявшіе съ ужасомъ и отвращеніемъ отвернулись отъ представившагося зрѣлища; взоръ Воскресшаго воспылалъ гнѣвомъ.

— О, предатель!—сказалъ Онъ:—ты думалъ, что вольною смертью избавился отъ давившей тебя измѣны; ты скоро сознаешь свой позоръ и поспѣшилъ окончить разсчеты съ постыдною жизнью. Преступленіе такъ ясно выступило передъ тобой, что ты съ ужасомъ отступилъ передъ общимъ презрѣніемъ и предпочелъ ему душевное погубленіе. «Еди-

ный мигъ,—сказалъ ты себѣ,—и душа моя погрузится въ безразсвѣтный мракъ, а сердце перестанетъ быть доступнымъ угрызеніямъ совѣсти». Но да не будетъ такъ. Сойди съ древа, предатель, да возвратятся тебѣ выклеванныя очи твои, да закроются гнойныя раны, и да возстановится позорный твой обликъ въ томъ же видѣ, въ какомъ онъ былъ въ ту минуту, когда ты лобзалъ предаваемаго тобой. Живи!

По этому слову, передъ глазами у всѣхъ, предатель сошелъ съ древа и палъ на землю передъ Воскресшимъ. моля Его о возвращеніи смерти.

— Я всѣмъ указалъ путь къ спасенію,—продолжалъ Воскресшій:—но для тебя, предатель, онъ закрытъ навсегда. Ты проклятъ Богомъ и людьми, проклятъ на вѣки-вѣковъ. Ты не убилъ друга, раскрывшаго передъ тобой душу, а застигъ его врасплохъ и предалъ на казнь и поруганіе. За это я осуждаю тебя на жизнь. Ты будешь ходить изъ града въ градъ, изъ веси въ весь и нигдѣ не найдешь крова, который бы пріютилъ тебя. Ты будешь стучаться въ двери, и никто не отворитъ ихъ тебѣ; ты будешь умолять о хлѣбѣ—и тебѣ подадутъ камень; ты будешь жаждать—и тебѣ подадутъ сосудъ, наполненный кровью проданнаго тобой. Ты будешь плакать, и слезы твои превратятся въ потоки огненные, будутъ жечь твои щеки и покрывать ихъ струпьями. Камни, по которымъ ты пойдешь, будутъ вопіять: «предатель, будь проклятъ!» Люди на торжищахъ разступятся передъ тобой, и на всѣхъ лицахъ ты прочтешь: «предатель, будь проклятъ!» Ты будешь искать смерти и на сушѣ, и на водахъ—и вездѣ смерть отвратится отъ тебя и прошипитъ: «предатель, будь проклятъ!» Мало того: на время судьба сжалится надъ тобою, ты обрѣтешь друга и предашь его, и этотъ другъ изъ глубины темницы возопитъ къ тебѣ: «предатель, будь проклятъ!» Ты получишь способность творить добро, но добро это отвратитъ души облагодѣтельствованныхъ тобой. «Будь проклятъ, предатель!—возопіютъ они:—будь проклятъ и ты, и всѣ дѣла твои!» И будешь ты ходить изъ-вѣка-въ-вѣкъ съ неусыпающимъ червемъ въ сердцѣ, съ погубленною душою. Живи, проклятый, и будь для грядущихъ поколѣній свидѣтельствомъ той безконечной казни, которая ожидаетъ предательство. Встань, возьми вмѣсто посоха древесный сукъ, на которомъ ты чаялъ найти смерть,—и иди!

И едва замерло въ воздухѣ слово Воскресшаго, какъ предатель всталъ съ земли, взялъ свой посохъ, и скоро шаги

его смолкли въ той необъятной, загадочной дали, гдѣ его ждала жизнь изъ-вѣка-въ-вѣкъ. И ходитъ онъ до-днесь по землѣ, разсѣевая смуту, измѣну и рознь...

24.—Рождественская сказка.

Прекраснѣйшую сегодня проповѣдь сказалъ для праздника нашъ сельскій батюшка.

«Много столѣтій тому назадъ,—сказалъ онъ:—въ этотъ самый день пришла въ міръ Правда.

«Правда извѣчна. Она прежде всѣхъ вѣкъ возсѣдала съ Христомъ-Человѣколюбцемъ одесную Отца, вмѣстѣ съ Нимъ воплотилась и возжгла на землѣ свой свѣточъ. Она стояла у подножія Креста и сораспиналась съ Христомъ; она возсѣдала, въ видѣ свѣтозарнаго ангела, у гроба Его и видѣла Его воскресеніе. И когда Человѣколюбецъ вознесся на небо, Онъ оставилъ на землѣ Правду, какъ живое свидѣтельство своего неизмѣннаго благоволенія къ роду человѣческому.

«Съ тѣхъ поръ нѣтъ уголка въ цѣломъ мірѣ, въ который не проникла бы Правда и не наполнила бы его собою. Правда воспитываетъ нашу совѣсть, согрѣваетъ наши сердца, оживляетъ нашъ трудъ, указываетъ цѣль, къ которой должна быть направлена наша жизнь. Огорченныя сердца находятъ въ ней вѣрное и всегда открытое убѣжище, въ которомъ они могутъ успокоиться и утѣшиться отъ случайныхъ волненій жизни.

«Неправильно думаютъ тѣ, которые утверждаютъ, что Правда когда-либо скрывала лицо свое, или — что еще горше—была когда-либо побѣждена Неправдою. Нѣтъ, даже и тѣ скорбныя минуты, когда недальновиднымъ людямъ казалось, что торжествуетъ отецъ лжи, въ дѣйствительности торжествовала Правда. Она одна не имѣла временного характера, одна неизмѣнно шла впередъ, простирая надъ міромъ крылѣ свои и освѣщая его присносущимъ свѣтомъ своимъ. Мнимое торжество лжи разсѣвалось, какъ тяжкій сонъ, а Правда продолжала шествіе свое.

«Вмѣстѣ съ гонимыми и униженными Правда сходила въ подземелья и проникала въ горныя ущелія. Она восходила съ праведниками на костры и становилась рядомъ съ ними передъ лицомъ мучителей. Она воздувала въ ихъ

душахъ священный пламень, отгоняла отъ нихъ помыслы малодушія и измѣны; она учила ихъ страдать вслядцѣ. Тщетно служители отца лжи мнили торжествовать, видя это торжество въ тѣхъ вещественныхъ признакахъ, которые представляли собой казни и смерть. Самыя лютыя казни были безсильны сломить Правду, а, напротивъ, сообщали ей вящую притягивающую силу. При видѣ этихъ казней загорались простыя сердца, и въ нихъ Правда обрѣтала новую благодарную почву для сѣянія. Костры пылали и пожирали тѣла праведниковъ, но отъ пламени этихъ костровъ возжигалось безчисленное множество свѣточей, подобно тому, какъ въ свѣтлую утреню отъ пламени одной возженной свѣчи внезапно освѣщается весь храмъ тысячами свѣчей.

«Въ чемъ же заключается Правда, о которой я бесѣдую съ вами? На этотъ вопросъ отвѣчаетъ намъ евангельская заповѣдь. Прежде всего, люби Бога, и затѣмъ люби ближняго, какъ самого себя. Заповѣдь эта, несмотря на свою краткость, заключаетъ въ себѣ всю мудрость, весь смыслъ человѣческой жизни.

«Люби Бога—ибо Онъ Жизнодавецъ и Человѣколюбецъ, ибо въ Немъ источникъ добра, нравственной красоты и истины. Въ Немъ—Правда. Въ этомъ самомъ храмѣ, гдѣ приносится безкровная жертва Богу,—въ немъ же совершается и непрестанное служеніе Правдѣ. Всѣ стѣны его пропитаны Правдой, такъ что вы,—даже худшіе изъ васъ,—входя въ храмъ, чувствуете себя умиротворенными и просвѣтленными. Здѣсь, передъ лицомъ Распятаго, вы утоляете печали ваши; здѣсь обрѣтаете покой для смущенныхъ душъ вашихъ. Онъ былъ распятъ ради Правды, лучи которой излились отъ Него на весь міръ,—вы ли ослабнете духомъ передъ постигающими васъ испытаніями?

«Люби ближняго, какъ самого себя—такова вторая половина Христовой заповѣди. Я не буду говорить о томъ, что безъ любви къ ближнему невозможно общежитіе,—скажу прямо, безъ оговорокъ: любовь эта, сама по себѣ, помимо всякихъ сторонніхъ соображеній, есть краса и ликованіе нашей жизни. Мы должны любить ближняго не ради взаимности, но ради самой любви. Должны любить непрестанно, самоотверженно, съ готовностью положить душу, подобно тому, какъ добрый пастырь полагаетъ душу за овецъ своихъ.

«Мы должны стремиться къ ближнему на помощь, не разсчитывая, возвратитъ онъ или не возвратитъ оказанную ему услугу; мы должны защитить его отъ невзгодъ,

хотя бы невзгода угрожала поглотить насъ самихъ; мы должны предстательствовать за него передъ сильными міра, должны идти за него въ бой. Чувство любви къ ближнему есть то высшее сокровище, которымъ обладаетъ только человѣкъ и которое отличаетъ его отъ прочихъ животныхъ. Безъ его оживотворяющаго духа всѣ дѣла человѣческія мертвы, безъ него тускнѣетъ и становится непонятною самая цѣль существованія. Только тѣ люди живутъ полною жизнью, которые пламенѣютъ любовью и самоотверженіемъ; только они одни знаютъ дѣйствительныя радованія жизни.

«Итакъ, будемъ любить Бога и другъ друга—таковъ смыслъ человѣческой Правды, будемъ искать ее и пойдемъ по стезѣ ея. Не убоимся козней лжи, но станемъ добрѣ и противопоставимъ имъ обрѣтенную нами Правду. Ложь посрамится, а Правда останется и будетъ согрѣвать сердца людей.

«Теперь вы возвратитесь въ дѣмы ваши и предадитесь веселію о праздникѣ Рождества Господа и Человѣколюбца. Но и среди веселія вашего не забывайте, что съ Нимъ пришла въ міръ Правда, что она во всѣ дни, часы и минуты присутствуетъ посреди васъ и что она представляетъ собою тотъ священный огонь, который освѣщаетъ и согрѣваетъ человѣческое существованіе».

Когда батюшка кончилъ, и съ клироса раздалось: «Буди имя Господне благословенно», то по всей церкви пронесся глубокій вздохъ. Точно вся громада молящихся этимъ вздохомъ подтверждала: «да, буди благословенно!»

Но изъ присутствовавшихъ въ церкви всѣхъ внимательнѣе вслушивался въ слова отца Павла десятилѣтній сынъ мелкой землевладѣлицы, Сережа Русланцевъ. По временамъ онъ даже обнаруживалъ волненіе, глаза его наполнялись слезами, щеки горѣли, и самъ онъ всѣмъ корпусомъ подавался впередъ, точно хотѣлъ о чемъ-то спросить.

Марья Сергѣевна Русланцева была молодая вдова и имѣла крохотную усадьбу въ самомъ селѣ. Во время крѣпостной зависимости въ селѣ было до семи помѣщичьихъ усадьбъ, отстоящихъ въ недальнемъ другъ отъ друга разстояніи. Помѣщики были мелкопомѣстные, а Ѳедоръ Павлычъ Русланцевъ принадлежалъ къ числу самыхъ бѣдныхъ: у него всего было три крестьянскихъ двора да съ десятокъ дворовыхъ. Но такъ какъ его почти постоянно выбирали на разныя должности, то служба помогла ему составить небольшой капиталъ. Когда наступило освобожденіе, онъ получилъ.

въ качествѣ мелкопомѣстнаго, льготный выкупъ и, продолжая полевое хозяйство на оставшемся за надѣломъ клочкѣ земли, могъ изо-дня-въ-день существовать.

Марья Сергѣевна вышла на него замужъ значительное время спустя послѣ крестьянскаго освобожденія, а черезъ годъ уже была вдовой. Ѳедоръ Павлычъ осматривалъ верхомъ свой лѣсной участокъ, лошадь чего-то испугалась, вышибла его изъ сѣдла, и онъ расшибъ голову о дерево. Черезъ два мѣсяца у молодой вдовы родился сынъ.

Жила Марья Сергѣевна болѣе нежели скромно. Полеводство она нарушила, отдала землю въ кортому крестьянамъ, а за собою оставила усадьбу съ небольшимъ лоскуткомъ земли, на которомъ былъ разведенъ садикъ съ небольшимъ огородцемъ. Весь ея хозяйственный живой инвентарь заключался въ одной лошади и трехъ коровахъ, вся прислуга — изъ одной семьи бывшихъ дворовыхъ, состоявшей изъ ея старой няньки съ дочерью и женатымъ сыномъ. Нянька присматривала за всѣмъ въ домѣ и пѣстовала маленькаго Сережу; дочь—кухарничала; сынъ съ женою ходили за скотомъ, за птицей, обрабатывали огородъ, садъ и проч. Жизнь потекла безшумно. Нужды не чувствовалось; дрова и главные предметы продовольствія были некупленные, а на покупное почти совсѣмъ запроса не существовало. Домочадцы говорили: «точно въ раю живемъ!» Сама Марья Сергѣевна тоже забыла, что существуетъ на свѣтѣ иная жизнь (она мелькомъ видѣла ее изъ оконъ института, въ которомъ воспитывалась). Только Сережа по временамъ тревожилъ ее. Сначала онъ росъ хорошо, но, приближаясь къ семи годамъ, началъ обнаруживать признаки какой-то болѣзненной впечатлительности.

Это былъ мальчикъ понятливый, тихій, но въ то же время слабый и болѣзненный. Съ семи лѣтъ Марья Сергѣевна засадила его за грамоту; сначала учила сама, но потомъ, когда мальчикъ сталъ приближаться къ десяти годамъ, въ ученьѣ принялъ участіе и отецъ Павелъ. Предполагалось отдать Сережу въ гимназію, а слѣдовательно требовалось познакомить его хоть съ первыми основаніями древнихъ языковъ. Время близилось, и Марья Сергѣевна въ большомъ смущеніи помышляла о предстоящей разлукѣ съ сыномъ. Только цѣною этой разлуки можно было достигнуть воспитательныхъ цѣлей. Губернскій городъ отстоялъ далеко, и переселиться туда при шести-семистахъ годового дохода не представлялось возможности. Она уже вела

о Сережѣ переписку съ своимъ роднымъ братомъ, который жилъ въ губернскомъ городѣ, занимая невидную должность, и на-дняхъ получила письмо, въ которомъ братъ соглашался принять Сережу въ свою семью.

По возвращеніи изъ церкви, за чаемъ, Сережа продолжалъ волноваться.

— Я, мамочка, по Правдѣ жить хочу!—повторилъ онъ.

— Да, голубчикъ, въ жизни главное—правда,—успокаивала его мать:—только твоя жизнь еще впереди. Дѣти иначе не живутъ, да и жить не могутъ, какъ по правдѣ.

— Нѣтъ, я не такъ хочу жить; батюшка говорилъ, что тотъ, кто по Правдѣ живетъ, долженъ ближняго отъ обидъ защищать. Вотъ какъ нужно жить, а я развѣ такъ живу? Вотъ, намеднись, у Ивана Бѣднаго корову продали—развѣ я заступился за него? Я только смотрѣлъ и плакалъ.

— Вотъ въ этихъ слезахъ—и Правда твоя дѣтская. Ты и сдѣлать ничего другого не могъ. Продали у Ивана Бѣднаго корову—по закону, за долгъ. Законъ такой есть, что всякій долги свои уплачивать обязанъ.

— Иванъ, мама, не могъ заплатить. Онъ и хотѣлъ бы, да не могъ. И няня говоритъ: бѣднѣе его во всемъ селѣ мужика нѣтъ. Какая же это Правда?

— Повторяю тебѣ, законъ такой есть, и всѣ должны законъ исполнять. Ежели люди живутъ въ обществѣ, то и обязанностями своими не имѣютъ права пренебрегать. Ты лучше объ ученьѣ думай—вотъ твоя Правда. Поступишь въ гимназію, будь прилеженъ, веди себя тихо—и это будетъ значить, что ты по Правдѣ живешь. Не люблю я, когда ты такъ волнуешься. Что ни увидишь, что ни услышишь—все какъ-то въ сердце тебѣ западаетъ. Батюшка говорилъ вообще; въ церкви и говорить иначе нельзя, а ты ужъ къ себѣ примѣняешь. Молись за ближнихъ—больше этого и Богъ съ тебя не спроситъ.

Но Сережа не унялся. Онъ побѣжалъ въ кухню, гдѣ въ это время собрались челядинцы и пили, ради праздника, чай. Кухарка Степанида хлопотала около печки съ ухватомъ и то и дѣло вытаскивала горшокъ съ закипающими жирными щами. Запахъ прѣлой убоины и праздничнаго пирога пропиталъ весь воздухъ.

— Я, няня, по Правдѣ жить буду!—объявилъ Сережа.

— Ишь съ коихъ поръ собрался!—пошутила старуха.

— Нѣтъ, няня, я вѣрное слово себѣ далъ! Умру за Правду, а ужъ Неправдѣ не покорюсь!

— Ахъ, бо̀лѣзный мой, ишь вѣдь что̀ тебѣ въ головку пришло!

— Развѣ ты не слыхала, что̀ въ церкви батюшка говорилъ? За Правду жизнь полагать надо—вотъ что̀! Въ бой за Правду идти всякій долженъ!

— Извѣстно, что̀ же въ церкви говорить! На то и церковь дана, чтобъ въ ней объ праведныхъ дѣлахъ слушать. Только ты, миленькій, слушать-слушай, а умомъ тоже раскидывай!

— Съ Правдой-то жить оглядываючись надо, — резонно молвилъ работникъ Григорій.

— Отчего, напримѣръ, мы съ мамой въ столовой чай пьемъ, а вы въ кухнѣ? Развѣ это Правда? — горячился Сережа.

— Правда не правда, а такъ испоконъ вѣка идетъ. Мы люди простецкіе, намъ и на кухнѣ хорошо. Какъ бы всѣ-то въ столовую пошли, такъ комнатъ не наготовился бы.

— Ты, Сергѣй Ѳедорычъ, вотъ что̀, — вновь вступился Григорій:—когда будешь большой—гдѣ хочешь сиди: хошь въ столовой, хошь въ кухнѣ. А покедова малъ, сиди съ мамашенькой — лучше этой правды по своимъ годамъ не сыщешь! Придетъ ужо̀ батюшка обѣдать, и онъ тебѣ то же скажетъ. Мы мало ли что̀ дѣлаемъ: и за скотиной ходимъ, и въ землѣ роемся, а господамъ этого не приходится. Такъ-то!

— Да вѣдь это же Неправда и есть!

— А по-нашему такъ: коли господа добрые, жалостливые—это ихъ Правда. А коли мы, рабочіе, усердно господамъ служимъ, не обманываемъ, стараемся—это наша Правда. Спасибо и на томъ, ежели всякій свою Правду наблюдаетъ.

Наступило минутное молчаніе. Сережа, видимо, хотѣлъ что-то возразить, но доводы Григорія были такъ добродушны, что онъ поколебался.

— Въ нашей сторонѣ,—первая прервала молчаніе няня:—откуда мы съ маменькой твоей пріѣхали, жилъ помѣщикъ Разсошниковъ. Сначала жилъ, какъ и прочіе, и вдругъ захотѣлъ по правдѣ жить. И что-жъ онъ подъ-конецъ сдѣлалъ? Продалъ имѣніе, деньги нищимъ роздалъ, а самъ ушелъ въ странствіе... Съ тѣхъ поръ его и не видѣли.

— Ахъ, няня, вотъ это какой человѣкъ!

— А между прочимъ у него сынъ въ Петербургѣ въ полку служилъ!—прибавила няня.

— Отецъ имѣніе роздалъ, а сынъ ни при чемъ остался...

Сына-то бы спросить, хороша ли отцовская Правда?—разсудилъ Григорій.

— А сынъ развѣ не понялъ, что отецъ по Правдѣ поступилъ?—вступился Сережа.

— То-то, что не слишкомъ онъ это понялъ, а тоже пыталъ хлопотать. Зачѣмъ же, говоритъ, онъ въ полкъ меня опредѣлилъ, коли мнѣ теперь содержать себя нечѣмъ?

— Въ полкъ опредѣлилъ... содержать себя нечѣмъ... — машинально повторялъ за Григоріемъ Сережа, запутываясь среди этихъ сопоставленій.

— И у меня одинъ случай на памяти есть, — продолжалъ Григорій:—занялся отъ этого самаго Разсошникова у насъ на селѣ мужичокъ одинъ — Мартыномъ прозывался. Тоже всѣ деньги, какія были, роздалъ нищимъ, оставилъ только хатку для семьи, а самъ надѣлъ черезъ плечо суму, да и ушелъ, крадучись, ночью, куда глаза глядятъ. Только, слышь, пачпортъ позабылъ выправить—его черезъ мѣсяцъ и выслали по этапу домой.

— За что? Развѣ онъ худое что-нибудь сдѣлалъ?—возразилъ Сережа.

— Худое не худое, я не объ этомъ говорю, а объ томъ, что по Правдѣ жить оглядываючись надо. Безъ пачпорта ходить не позволяется—вотъ и вся недолга. Этакъ всѣ разбредутся, работу бросятъ—и отбою отъ нихъ, отъ бродягъ, не будетъ...

Чай кончился. Всѣ встали изъ-за стола и помолились.

— Ну, теперь мы обѣдать будемъ, — сказала няня: — ступай, голубчикъ, къ маменькѣ, посиди съ ней; скоро, поди, и батюшка съ матушкой придутъ.

Дѣйствительно, около двухъ часовъ пришелъ отецъ Павелъ съ женою.

— Я, батюшка, по Правдѣ жить буду! Я за Правду на бой пойду!—привѣтствовалъ гостей Сережа.

— Вотъ такъ вояка выискался! Отъ земли не видать, а ужъ на бой собрался!—пошутилъ батюшка.

— Надоѣлъ онъ мнѣ. Съ утра все объ одномъ и томъ же говоритъ,—сказала Марья Сергѣевна.

— Ничего, сударыня. Поговоритъ и забудетъ.

— Нѣтъ, не забуду!—настаивалъ Сережа.—Вы сами давеча говорили, что нужно по Правдѣ жить... въ церкви говорили!

— На то и церковь установлена, чтобы въ ней о Правдѣ возвѣщать. Ежели я, пастырь, своей обязанности не исполню,

такъ церковь сама о Правдѣ напомнитъ. И помимо меня, всякое слово, которое въ ней произносится,—Правда; одни ожесточенныя сердца могутъ оставаться глухими къ ней...

— А жить какъ?..

— И жить по Правдѣ слѣдуетъ. Вотъ когда ты въ мѣру возраста придешь, тогда и Правду въ полномъ объемѣ поймешь, а покуда достаточно съ тебя и той Правды, которая твоему возрасту свойственна. Люби маменьку, къ старшимъ почтеніе имѣй, учись прилежно, веди себя скромно—вотъ твоя Правда.

— Да вѣдь мученики... вы сами давеча говорили...

— Были и мученики. За Правду и поношеніе слѣдуетъ принять. Только время для тебя думать объ этомъ не приспѣло.

— Мученики... костры...—лепеталъ Сережа въ смущеніи.

— Довольно!—нетерпѣливо прикрикнула на него Марья Сергѣевна.

Сережа умолкъ, но весь обѣдъ оставался задумчивъ. За обѣдомъ велись обыденные разговоры о деревенскихъ дѣлахъ. Разсказы шли за разсказами, и не всегда изъ нихъ явствовало, чтобы Правда торжествовала. Собственно говоря, не было ни Правды, ни Неправды, а была обыкновенная жизнь, въ тѣхъ формахъ и съ тою подкладкою, къ которымъ всѣ искони привыкли. Сережа безчисленное множество разъ слыхалъ эти разговоры и никогда особенно не волновался ими. Но въ этотъ день и его существо проникло что-то новое, что подстрекало и возбуждало его.

— Кушай! — заставляла его мать, видя, что онъ почти совсѣмъ не ѣстъ.

— In corpore sano mens sana, — съ своей стороны прибавилъ батюшка.—Слушайся маменьки—этимъ лучше всего свою любовь къ Правдѣ докажешь. Любить Правду должно, но мученикомъ себя безъ причины воображать — это уже тщеславіе, суетность.

Новое упоминаніе о Правдѣ встревожило Сережу; онъ наклонился къ тарелкѣ и старался ѣсть, но вдругъ зарыдалъ. Всѣ всхлопотались и окружили его.

— Головка болитъ?—допытывалась Марья Сергѣевна.

— Болитъ,—отвѣтилъ онъ слабымъ голосомъ.

— Ну, поди, лягъ въ постельку. Няня, уложи его!

Его увели. Обѣдъ на нѣсколько минутъ прервался, потому что Марья Сергѣевна не выдержала и ушла вслѣдъ за нянею. Наконецъ, обѣ возвратились и объявили, что Сережа заснулъ.

— Ничего, уснетъ и пройдетъ! — успоканвалъ Марью Сергѣевну отецъ Павелъ.

Къ вечеру однако-жъ головная боль не только не унялась, но открылся жаръ. Сережа тревожно вставалъ ночью въ постели и все шарилъ руками около себя, точно чего-то искалъ.

— Мартынъ... по этапу, за Правду... что̀ такое?—лепеталъ онъ безсвязно.

— Какого онъ Мартына поминаетъ?—недоумѣвая, обращалась Марья Сергѣевна къ нянѣ.

— А помните, у насъ на селѣ мужичокъ былъ, ушелъ изъ дому Христовымъ именемъ... Давеча Григорій при Сережѣ разсказывалъ.

— Все-то вы глупости разсказываете! — разсердилась Марья Сергѣевна:—совсѣмъ нельзя къ вамъ мальчика пускать.

На другой день, послѣ ранней обѣдни, батюшка вызвался съѣздить въ городъ за лѣкаремъ. Городъ отстоялъ въ сорока верстахъ, такъ что нельзя было ждать пріѣзда лѣкаря раньше какъ къ ночи. Да и лѣкарь, признаться, былъ старенькій, плохой, никакихъ другихъ средствъ не употреблялъ, кромѣ оподельдока, который онъ прописывалъ и снаружи, и внутрь. Въ городѣ о немъ говорили: «въ медицину не вѣритъ, а въ оподельдокъ вѣритъ».

Ночью, около одиннадцати часовъ, лѣкарь пріѣхалъ. Осмотрѣлъ больного, пощупалъ пульсъ и объявилъ, что есть «жарòкъ». Затѣмъ приказалъ натереть паціента оподельдокомъ и заставилъ его два катышка проглотить.

— Жарòкъ есть, но вотъ увидите, что отъ оподельдока все какъ рукой сниметъ!—солидно объявилъ онъ.

Лѣкаря накормили и уложили спать, а Сережа всю ночь метался и пылалъ какъ въ огнѣ.

Нѣсколько разъ будили лѣкаря, но онъ повторялъ пріемы оподельдока и продолжалъ увѣрять, что къ утру все какъ рукой сниметъ.

Сережа бредилъ; въ бреду онъ повторялъ: «Христосъ... Правда... Разсошниковъ... Мартынъ...» и продолжалъ шарить вокругъ себя, произнося: «гдѣ? гдѣ?...» Къ утру однако-жъ успокоился и заснулъ.

Лѣкарь уѣхалъ, сказавъ: «вотъ видите!» и ссылаясь, что въ городѣ его ждутъ другіе паціенты.

Цѣлый день прошелъ между страхомъ и надеждой. Покуда на дворѣ было свѣтло, больной чувствовалъ себя лучше, но упадокъ силъ былъ настолько великъ, что онъ почти не говорилъ. Съ наступленіемъ сумерекъ опять открылся

«жарòкъ», и пульсъ сталъ биться учащеннѣе. Марья Сергѣевна стояла у его постели въ безмолвномъ ужасѣ, усиливаясь что-то понять и не понимая.

Ополдьдокъ бросили; няня прикладывала къ головѣ Сережи уксусные компрессы, ставила горчичники, поила липовымъ цвѣтомъ, словомъ сказать, впопадъ и невпопадъ употребляла всѣ средства, о которыхъ слыхала и какія были подъ рукою.

Къ ночи началась агонія. Въ восемь часовъ вечера взошелъ полный мѣсяцъ, и такъ какъ гардины на окнахъ по оплошности не были спущены, то на стѣнѣ образовалось большое свѣтлое пятно. Сережа приподнялся и потянулъ къ нему руки.

— Мама,—лепеталъ онъ:—смотри! Весь въ бѣломъ... это Христосъ... это Правда... За Нимъ... къ Нему...

Онъ опрокинулся на подушку, по-дѣтски всхлипнулъ и умеръ.

Правда мелькнула передъ нимъ и напоила его существо блаженствомъ; но неокрѣпшее сердце отрока не выдержало наплыва и разорвалось.

25.—Вòронъ-челобитчикъ.

Сказка *).

Все сердце у стараго вòрона изболѣло. Истребляютъ вороній родъ: кому не лѣнь—всякій его бьетъ. И хоть бы ради прибытка, а то просто ради потѣхи. Да и само вороньё измалодушничалось. О прежнемъ вѣщемъ карканьѣ и въ поминѣ нѣтъ; осыплютъ вòроны гурьбой березу и кричатъ зря: «вотъ мы гдѣ!» Натурально, сейчасъ—пафъ!—и десятка или двухъ въ стаѣ какъ не бывало. Ѣды прежней, привольной, тоже не стало. Лѣса кругомъ повырубили, болота повысушили, звѣрьё угнали—никакъ честнымъ образомъ прокормиться нельзя. Стало вороньё по огородамъ, садамъ, по скотнымъ дворамъ шнырять. А за это опять—пафъ!—и опять десятка или двухъ въ стаѣ какъ не бывало! Хорошо еще, что вòроны плодущи, а то кто бы кречету, да ястребу, да беркуту дань платилъ?

---

*) Текстъ исправленъ незадолго передъ смертью авторомъ собственноручно съ надписью: «вѣрный оригиналъ».—*М. Ст.*

Начнетъ онъ, старикъ, своихъ младшихъ собратій увѣщевать: «Не каркайте зря! не летайте по чужимъ огородамъ!» — да только одинъ отвѣтъ слышитъ: «Ничего ты, старый хрѣнъ, въ новыхъ дѣлахъ не смыслишь! Нельзя, по нынѣшнему времени, не воровать. И въ наукѣ такъ сказано: коли нечего тебѣ ѣсть, такъ изворачивайся. И всѣ такъ нынче живутъ: дѣла не дѣлаютъ, а изворачиваются. Пропадать, что ли, намъ! Мы еще гдѣ до-свѣту встанемъ, снимемся съ гнѣздъ и весь лѣсъ обшаримъ — вездѣ хоть шаромъ покати. Ни ягоды лѣсной, ни пичуги малой, ни звѣря упалого. Даже червь, и тотъ въ землю зарылся».

Слышитъ старый воронъ эти рѣчи и глубокую думу думаетъ. Трудныя бывали на его памяти времена. Цѣлыми годами преслѣдовала вороній родъ безкормица; безъ числа вороньё погибало. Но тогда было правило: есть у тебя когти—рви ими свою грудь, а на чужой кусокъ не зарься! Однако и тогда ужъ было примѣтно, что недолго вороньё эту школу выдержитъ. Смотрѣть, какъ другіе живутъ припѣваючи, а самому добровольно умирать съ голоду — отъ одного этого хоть чье хочешь сердце изноетъ.

И наука, кстати, на помощь пришла: клюй, что можешь и гдѣ можешь! Удастся набить зобъ — летай на свободѣ сытый и веселый; не удастся—виси прострѣленный на огородѣ, вмѣсто чучела! На то война.

Когда принесъ его сюда, едва оперившагося, старый батько изъ-за тридевяти морей, мѣста здѣсь были вольныя. Лѣсъ да вода — и глазомъ не окинешь. Въ лѣсу всякой ягоды, всякаго звѣря, птицы — всего вдоволь; въ водѣ рыба кишмя-кишѣла. Начальникомъ и тогда у нихъ былъ, какъ и теперь, ястребъ, но тогдашній ястребъ и самъ по себѣ былъ по горло сытъ, да и простъ былъ, такъ простъ, что и до сихъ поръ объ его простотѣ анекдоты ходятъ. Любилъ, правда, молоденькими воронятами полакомиться, но и тутъ справедливость наблюдалъ: сегодня изъ одного гнѣзда унесетъ воронёнка, завтра изъ другого; а ежели видитъ, что гнѣздо бѣдное, упалое, такъ и безо всего улетитъ. И подати тогда были не тяжелыя: по яйцу съ гнѣзда, да по перу съ крыла, да съ каждыхъ десяти гнѣздъ по воронёнку орлу въ презентъ. Отбылъ повинность—и спи на оба уха.

Но чѣмъ дальше шло, тѣмъ глубже и глубже все измѣнялось. Облюбовалъ вольныя мѣста человѣкъ и началъ съ того, что пустилъ въ ходъ топоръ. Лѣса порѣдѣли, болота

стали затягиваться, рѣка обмелѣла. Сначала по берегу рѣки появились займки, потомъ деревни, села, помѣщичьи усадьбы. Стукъ топора гулкимъ эхомъ раздавался въ глубинахъ лѣсныхъ, нарушая обычное теченіе жизни звѣрей и птицъ. Старѣйшины вороньяго племени уже тогда предсказывали, что грозитъ что-то недоброе, но молодое вороньё съ веселымъ карканьемъ кружилось около человѣческихъ жилищъ, словно привѣтствуя пришельцевъ. Строгіе завѣты предковъ наскучили молодымъ сердцамъ; лѣсныя глубины опостылѣли. Потребовалось новое, диковинное, неизвѣданное. Вороньё раздѣлилось на партіи; начались пререканія, усобицы, рознь...

Одновременно съ этими измѣненіями произошли измѣненія и въ высшихъ орнитологическихъ сферахъ. Старый ястребъ оказался стоящимъ не на высотѣ своей задачи. Онъ могъ управлять только при патріархальныхъ порядкахъ, но когда отношенія усложнились, когда на каждомъ шагу въ воронье существованіе врывались новые элементы, административное чутье окончательно его покинуло. Главные начальники называли его старымъ колпакомъ; вороньё оспаривало его власть и безцеремонно каркало ему въ уши всякую чепуху. Онъ же, вмѣсто того, чтобъ пресѣчь зло въ самомъ корнѣ, только благосклонно хлопалъ глазами и шутя говорилъ: «вотъ ужо, придетъ реформа, узнаете вы, какъ кузькину мать зовутъ!» Наконецъ, и ожидаемая реформа пришла. Старика сдали въ архивъ, а прислали вмѣсто него начальникомъ совсѣмъ молодого ястреба, да въ помощь къ нему, въ видахъ пущаго контроля, поставили кречета.

Прилетѣли новые начальники и сказали вороньему племени немилостивое слово. «Я васъ къ одному знаменателю приведу!» цыркнулъ ястребъ, а кречетъ прибавилъ: «и я тоже». Сказавши это, объявили, что отнынѣ налоги увеличиваются противъ прежняго втрое, выдали окладные листы и улетѣли.

Началось окончательное разореніе. Вороньё роптало: «налоги установили немилостивые, а новыхъ угодьевъ не предоставили!» — раздавалось по лѣсу; но ни ястребъ, ни кречетъ не внимали жалобамъ воронья и посылали копчиковъ ловить смутьяновъ, которые зря пустыя рѣчи въ народъ пущаютъ. Много было тогда гнѣздъ разорено, много вороньяго племени въ плѣнъ уведено и отдано на съѣденіе волкамъ и лисицамъ. Думали, что вороньё, испугавшись, на хвостѣ дани поднесетъ. Но вороньё отъ испуга только

металось и жалобно каркало: «хоть рѣжьте, хоть стрѣляйте, а даней намъ взять не откуда!»

Такъ оно и посейчасъ идетъ: вороньё разоряется, а казна не наполняется. Что̀ и добудетъ ворона̀ на сторонѣ, и то копчикъ на пути отниметъ. Словомъ сказать, хуже нельзя. Надумало-было вороньё новыхъ мѣстовъ искать и летуновъ впередъ для развѣдокъ отправило, но они улетѣть—улетѣли, а назадъ не воротились. Можетъ-быть, заблудились, можетъ-быть, по пути копчики задавили, а можетъ-быть, и сами собой съ голоду погибли. Да и шутка сказать — съ насиженныхъ мѣстъ невѣдомо куда летѣть! Нѣтъ нынче вольныхъ мѣстъ, всюду проникъ человѣкъ! И ему тѣсно стало. Идетъ впередъ съ топоромъ; стонутъ лѣса, бѣгутъ звѣри, а онъ съ утра до вечера корчуетъ пни, расчищаетъ пашню, рубитъ избу, а ночью дрожитъ въ землянкѣ отъ холода и голода въ ожиданьѣ, когда-то вся эта сутолока въ порядокъ придетъ.

Думалъ-думалъ старый ворона̀ъ и, наконецъ, надумалъ: надо летѣть всю правду объявить. Только старъ онъ и слабъ—долетитъ ли? Вѣдь летѣть—дорога не близкая. Сначала надо ястребу челомъ бить, потомъ кречету, а наконецъ, и къ коршуну, который въ ту пору вороньимъ племенемъ въ родѣ какъ начальникъ края правилъ.

У птицъ тоже, какъ и у людей, вездѣ инстанціи заведены; вездѣ спросятъ: былъ ли у ястреба? былъ ли у кречета? а ежели не былъ, такъ и бунтовщикомъ, того гляди, прослывешь.

Наконецъ, однако-жъ, снялся раннимъ утромъ съ гнѣзда и полетѣлъ. Видитъ, сидитъ ястребъ на высокой-высокой соснѣ, ужъ сытый, и клювъ когтями чиститъ.

— Здравствуй, старче, — привѣтствовалъ его ястребъ благодушно:—зачѣмъ пожаловалъ?

— Прилетѣлъ я къ твоему степенству правду объявить!— горячо закаркалъ старый ворона̀ъ: — гибнетъ вороній родъ, гибнетъ! Человѣкъ его истребляетъ, дани немилостивыя разоряютъ, копчики донимаютъ... Мретъ вороній родъ, а кои и живы—и тѣмъ прокормиться нечѣмъ.

— Вотъ какъ! А не отъ нерадивости ли вашей всѣ эти бѣды на вороній родъ опрокинулись?

— Самъ ты знаешь, что нерадивости въ насъ нѣтъ. Съ утра до ночи мы шаримъ и корму доглядываемъ. Живемъ въ трудахъ, какъ честному воронью жить надлежитъ, только добыть что-нибудь честнымъ образомъ невозможно стало.

Ястребъ на минуту задумался, словно не рѣшался настоящее слово выговорить, но, наконецъ, сказалъ:

— Изворачивайтесь!

Однако рѣшеніе это не удовлетворило, а только пуще взволновало вóрона.

— Знаю я, что нынче всѣ изворотами живутъ,—горячо отвѣтилъ онъ:—да простъ на это нашъ вороній родъ. Другіе милліоны крадутъ, и все имъ какъ съ гуся вода, а вóрона украдетъ копейку—ей за это смерть. Подумай, развѣ это не злодѣйство: за копейку смерть. А ты еще учишь: изворачивайтесь. Присланъ ты къ намъ начальникомъ, чтобъ защищать насъ отъ обидъ, а явился первымъ разорителемъ и угнетателемъ! Доколѣ мы будемъ терпѣть? Вѣдь ежели мы...

Вóронъ не договорилъ и испугался: не легко, видно, правду-то объявлять.

Но ястребъ, какъ сказано было выше, былъ сытъ и смотрѣлъ на незваннаго гостя благодушно.

— Знаю, не договаривай,—сказалъ онъ:—давно мы эту пѣсню слышимъ, да покуда Богъ еще миловалъ... А ты все-таки на усъ себѣ намотай: прилетѣлъ ты ко мнѣ правду объявить, да на первомъ же словѣ и запнулся... Все ли ты сказалъ?

— Все покамѣстъ,—отвѣчалъ вóронъ, продолжая робѣть.

— Ну, такъ я тебѣ вотъ что отвѣчу: правда твоя давно всѣмъ извѣстна; не только вамъ, вóронамъ, а и копчикамъ, и ястребамъ, и коршунамъ. Только не ко двору она въ наше время пришлась, а потому, сколько объ ней ни объявляй, хоть на всѣхъ перекресткахъ кричи — ничего изъ этого не выйдетъ. А когда наступитъ время, что она сама собою объявится, — этого покуда никто не знаетъ. Понялъ?

— Понялъ я одно: что вороньему роду конецъ пришелъ!—съ горечью отвѣтилъ вóронъ.

— Ну, коли не понялъ, давай разговаривать. Говоришь ты, что человѣкъ васъ истребляетъ; но развѣ можемъ мы, птицы, противъ человѣка идти? Человѣкъ порохъ выдумалъ, а мы чѣмъ на это отвѣтить можемъ? Выдумалъ человѣкъ порохъ — и палитъ въ насъ: что вздумается, то чадъ нами и дѣлаетъ. Мы все равно, что мужики: со всѣхъ сторонъ въ нихъ всяко палятъ. То желѣзная дорога стрѣльнетъ, то машина новая, то неурожай, то поборъ новый. А они только знай переверты ваются. Какимъ-такимъ

манеромъ случилось, что Губошлеповъ дорогу заполучилъ, а у нихъ послѣ того по гривнѣ въ кошелѣ убавилось,— развѣ темный человѣкъ можетъ это понять? А дѣло-то простое: Губошлеповъ порохъ выдумалъ, а мужики, ровно черви, только въ навозѣ копаться умѣютъ. А ежели ты червь, такъ и живи, какъ червю жить подобаетъ. Червю и вы, вороньё, потачки не даете; вспомни-ка: что̀ если-бъ онъ на васъ гвалтъ поднялъ—не вы ли бы первые удивились: червь, молъ, ползущій, а тоже разговариваетъ! Такъ-то, старче! Кто одолѣетъ, тотъ и правъ. Понялъ теперь?

— Погибать, значитъ, надо? Ахъ, какое жестокое ты слово сказалъ!—затосковалъ во̀ронъ.

— Жестоко ли мое слово, или не жестоко, не въ томъ суть, а въ томъ, что и я правды отъ тебя не утаилъ. Не той правды, которой ты ищешь, а той, которую, по нынѣшнему времени, всякій въ разсчетъ принимать долженъ. Но будемъ продолжать разговоръ. Ты говоришь, что копчики кормъ у васъ на-лету отнимаютъ, что я самъ, ястребъ, ваши гнѣзда разоряю, что мы не защитники ваши, а разорители. Что-жъ: вы кормиться хотите — и мы кормиться хотимъ. Кабы вы были сильнѣе — вы бы насъ ѣли; а мы сильнѣе—мы васъ ѣдимъ. Вѣдь это тоже правда. Ты мнѣ свою правду объявилъ, а я тебѣ—свою; только моя правда воочію совершается, а твоя за облаками летаетъ. Понялъ?

— Погибать, погибать надо!—продолжалъ твердить старый во̀ронъ, почти не сознавая дѣйствительнаго значенія ястребовыхъ рѣчей, но инстинктивно чувствуя, что онѣ заключаютъ въ себѣ нѣчто неслыханно-жестокое.

Ястребъ оглянулъ челобитчика съ головы до хвоста, и такъ какъ былъ сытъ, то захотѣлось ему пошутить надъ старикомъ.

— А хочешь, я тебя съѣмъ!—сказалъ онъ; но, увидѣвъ, что во̀ронъ инстинктивно сдѣлалъ скачокъ назадъ, продолжалъ: — ну тебя! тощъ ты и старъ — какая это ѣда! Нутка, распахни-ка жилетъ!

Во̀ронъ распустилъ крылья и самъ удивился: кости да кожа, ни пуху, ни перьевъ нѣтъ—волкъ голодный, и тотъ на такую птицу не позарится.

— Вотъ видишь, каковъ ты сталъ. А все оттого, что о правдѣ думаешь. Кабы ты по-вороньи, безъ думы, жилъ—такой ли бы ты былъ! А впрочемъ, пора и кончить. Жалуешься ты еще, что поборы съ васъ, воронья, немилостивые берутъ, — и это правда. Но подумай: съ кого же

брать? Воробьи, синицы, чижи, зяблики—много ли они могутъ дать? Рябчики, глухари, стрепета, дятлы, кукушки,— эти живутъ каждый самъ по себѣ, ихъ и днемъ съ огнемъ не отыщешь. Одно вороньё живетъ обществомъ, какъ настоящіе мужики, и притомъ само о себѣ непрестанно возглашаетъ—что же удивительнаго, что оно въ ревизскія сказки попало? А коли попалъ въ ревизскія сказки—держись! Если же въ послѣднее время и впрямь сборы тяжелѣе прежняго стали, то, стало-быть, такъ нужно. Потребностей больше — и сборовъ больше: это хоть кого хочешь спроси. Такъ-то вотъ, старче. Ты правду сказалъ, и я правду сказалъ; а чья правда крѣпче—на это отвѣчаетъ ваше воронье житье. Ну, а теперь лети во-свояси, а я вздремнуть хочу.

Однако воронъ не возвратился во-свояси, а направилъ полетъ къ кречету.

«Будь, что будетъ, — думалъ онъ, тяжело взмахивая старческими крыльями: — а я доведу дѣло до конца! Если и кречетъ моей правды не приметъ, то полечу въ губернію къ самому коршуну, а отъ правды не отступлюсь!»

Кречетъ жилъ въ впадинѣ горнаго ущелья, и доступъ къ нему былъ очень труденъ. У порога его жилища сидѣлъ дежурный копчикъ и принималъ просителей. На этотъ разъ дежурнымъ оказался извѣстный всему вороньему роду копчикъ Иванъ Иванычъ, фаворитъ кречета (слухи шли даже, что онъ его побочный сынъ), который поручалъ ему самыя важныя и секретныя дѣла. Это былъ лихой малый, съ виду добродушный, съ благосклонными и даже изысканными манерами. Не прочь былъ и побалагурить, и кутнуть гдѣ-нибудь за облачкомъ, и полетать съ дѣвушками-чечеточками въ горѣлки, и даже одолженіе другу-пріятелю сдѣлать; но все это благодушіе оставалось при немъ лишь до тѣхъ поръ, покуда онъ находился внѣ службы. Какъ только онъ приступалъ къ исполненію обязанностей (особливо секретныхъ порученій), то мгновенно преображался. Становился холоденъ, суровъ и исполнителенъ до жестокости. Прикажутъ ему настичь—онъ настигнетъ; прикажутъ удавить — задавитъ. Если птица и вдвое больше и сильнѣе его, онъ такимъ кубаремъ къ ней подлетитъ, что та заѣдя начинаетъ ужъ кричать и метаться отъ тоски. Вообще птицы, которыя бывали у него въ передѣлкѣ, при одномъ имени его трепетали отъ страха.

— Не проспался, старикъ?—иронически привѣтствовалъ челобитчика Иванъ Иванычъ.

Старый вóронъ понялъ, что здѣсь уже все извѣстно. И у птицъ существуютъ свои лазутчики, черезъ которыхъ не только дѣйствія, но и тайныя помышленія обывателей извѣстны.

— Какой ужъ у стариковъ сонъ! — уклончиво отвѣчалъ онъ.

— Правду объявлять прилетѣлъ?—продолжалъ копчикъ.— Ну, да, впрочемъ, это твое дѣло. Доложить?

— Да, ужъ сдѣлай такую милость.

Иванъ Иванычъ юркнулъ въ впадину и около часа тамъ оставался. Вóронъ, съ замираніемъ сердца, ждалъ его появленія. Наконецъ, онъ показался.

— Велѣно тебѣ сказать, — молвилъ онъ: — что растабарывать съ тобой некогда. Правда твоя искони всѣмъ извѣстна, да, стало-быть, есть въ ней порокъ, ежели она сама собой не проявляется. Безпокойный у тебя нравъ, пустыя ты рѣчи въ народъ пущаешь. Давно бы за это съѣсть тебя надо, да, слышь, старъ ты, худъ и немощенъ. Къ начальнику края, чай, теперь полетишь?

— Нѣтъ ужъ, что ужъ...—хотѣлъ-было утаиться вóронъ.

— Не запирайся, насквозь я тебя вижу! Что же, лети, только какъ бы тебѣ очи за твою правду не выклевали. Смотри, не прогадай! Да ты, поди, и дороги не знаешь; видишь, вонъ, облако? Тамъ, надъ самымъ этимъ облакомъ— тамъ и есть.

Несмотря на предсказаніе копчика, вóронъ рѣшился довести свое челобитье до конца. Долгимъ и кружнымъ путемъ взбирался онъ, ночуя въ покинутыхъ звѣриныхъ норахъ и пропитываясь ягодами, изрѣдка попадавшимися на отрогахъ горъ. Наконецъ, онъ врѣзался въ облако, и передъ глазами его предстало волшебное зрѣлище.

Нѣсколько смежныхъ горныхъ вершинъ, покрытыхъ снѣгомъ, пламенѣли въ лучахъ восходящаго солнца. Издали казался точно сказочный замокъ, у подножія котораго застыли облака, а наверху, вмѣсто крыши, разстилалась безконечная небесная лазурь.

Коршунъ сидѣлъ на скалѣ, окруженный цѣлой массой разнообразнѣйшихъ птицъ. По правую сторону его сидѣлъ бѣлый кречетъ, помощникъ его и совѣтникъ; у ногъ кувыркались всѣхъ сортовъ чиновники особыхъ порученій: попугаи, ученые снигири и чижи; сзади хоръ скворцовъ

докладывалъ утреннюю почту; въ сторонкѣ, на отдѣльной вершинѣ, дремали совы, филины и нетопыри, образуя изъ себя нѣчто въ родѣ губернскаго совѣта; вороны во множествѣ мелькали вдали, съ перьями за ушами, строчили указы, предписанія и донесенія и кричали: «съ пылу, съ жару, по пятачку за пару!»

Коршунъ былъ ветхій старикъ и отъ старости едва-едва скрипѣлъ клювомъ. Въ ту минуту, когда у ногъ его опустился вороиъ, онъ только-что пообѣдалъ и въ полудремотѣ, смеживъ очи, покачивалъ головой, несмотря на оглушающій говоръ и шумъ. Однако появленіе челобитчика произвело среди птицъ нѣкоторый переполохъ, благодаря которому коршунъ встрепенулся.

— Съ просьбицей, старче?—спросилъ онъ ворона ласково.

— Прилетѣлъ я изъ-за тридевяти земель правду твоему великостепенству объявить! —началъ воронъ восторженно, но тутъ же былъ остановленъ кречетомъ.

— Не разводи риторики!—холодно прервалъ его послѣдній: — докладывай дѣло безъ украшеній, ясно, просто, по пунктамъ. Что тебѣ надобно?

Началъ воронъ по пунктамъ свое челобитье излагать: человѣкъ вороній родъ истребляетъ, копчики, ястреба, кречета донимаютъ, сборы немилостивые разоряютъ... И каждый разъ, какъ кончитъ онъ одинъ пунктъ, коршунъ поскрипитъ клювомъ и молвитъ:

— Правда твоя, старче!

Сердце играло въ груди стараго ворона при этихъ подтвержденіяхъ.

«Наконецъ-то,—думалось ему:—увижу я эту правду, по которой сызмлада тоскую! Послужу своему племени, поревную за него!»

И чѣмъ дальше длилось его слово, тѣмъ горячѣе и горячѣе оно звучало. Наконецъ, онъ высказалъ все, что у него было на душѣ, и замолкъ.

— Все ли ты сказалъ?—спросилъ его коршунъ.

— Все,—отвѣтилъ воронъ.

— У ястреба, у кречета челомъ билъ?

— Билъ и у нихъ.

Онъ кратко изложилъ свои разговоръ съ ястребомъ, а также свое неудавшееся свиданіе съ кречетомъ.

— Такъ вотъ что я тебѣ на твою правду скажу,—молвилъ коршунъ: — больше двухсотъ лѣтъ я сижу на этомъ

утесѣ и хоть бочкомъ да на солнце смотрю... Но правдѣ ч до сихъ поръ ни разу взглянуть въ лицо не могъ.

— Но почему же?—въ недоумѣніи каркнулъ воронъ.

— А потому, что вмѣстить ее птицѣ не подъ силу. Ежели кто объ себѣ думаетъ, что онъ правду вмѣстилъ, тотъ и выполнить ее долженъ; а мы, стало-быть, не можемъ выполнить—оттого и смотримъ на нее исподлобья. Думается: авось либо она мимо пройдетъ!

Коршунъ на минуту задумался и продолжалъ:

— Жестокое тебѣ слово ястребъ сказалъ, но правильное. Хороша правда, да не во всякое время и не на всякомъ мѣстѣ ее слушать пригоже. Иныхъ она въ соблазнъ ввести можетъ, другимъ — въ родѣ укоризны покажется. Иной и радъ бы правдѣ послужить, да какъ къ ней съ пустыми руками приступиться? Правда не ворона — за хвостъ ее не ухватишь. Посмотри кругомъ — вездѣ рознь, вездѣ свара; никто не можетъ настоящимъ образомъ опредѣлить, куда и зачѣмъ онъ идетъ... Оттого каждый и ссылается на *свою* личную правду. Но придетъ время, когда всякому дыханію сдѣлаются ясными предѣлы, въ которыхъ жизнь его совершаться должна, — тогда сами собой исчезнутъ распри, а вмѣстѣ съ ними разсѣются какъ дымъ и всѣ мелкія «личныя правды». Объявится настоящая, единая и для всѣхъ обязательная правда; придетъ и весь міръ осіяетъ *). И будемъ мы жить всѣ вкупѣ и влюбѣ. Такъ-то, старикъ! А покуда лети съ миромъ и объяви вороньему роду, что я на него, какъ на каменную гору, надѣюсь.

26.—Повѣсть

О ТОМЪ, КАКЪ МУЖИКЪ ДВУХЪ ГЕНЕРАЛОВЪ ПРОКОРМИЛЪ.

Жили да были два генерала, и такъ какъ оба были легкомысленны, то въ скоромъ времени, по щучьему велѣнію, по моему хотѣнію, очутились на необитаемомъ островѣ.

Служили генералы всю жизнь въ какой-то регистратурѣ; тамъ родились, воспитались и состарѣлись, слѣдовательно

*) Отъ словъ: «Посмотри кругомъ» и т. д. вписано рукою автора на поляхъ карандашомъ—незадолго до смерти.—*М. Ст.*

ничего не понимали. Даже словъ никакихъ не знали, кромѣ: «примите увѣреніе въ совершенномъ моемъ почтеніи и преданности».

Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генераловъ на волю. Оставшись за штатомъ, поселились они въ Петербургѣ, въ Подьяческой улицѣ, на разныхъ квартирахъ; имѣли каждый свою кухарку и получали пенсію. Только вдругъ очутились на необитаемомъ островѣ, проснулись и видятъ: оба подъ однимъ одѣяломъ лежатъ. Разумѣется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, какъ будто съ ними ничего не случилось.

— Странный, ваше превосходительство, мнѣ нынче сонъ снился,—сказалъ одинъ генералъ:—вижу, будто живу я на необитаемомъ островѣ...

Сказалъ это, да вдругъ какъ вскочитъ. Вскочилъ и другой генералъ.

— Господи! да что-жъ это такое? гдѣ мы?—вскрикнули оба не своимъ голосомъ.

И стали другъ друга ощупывать, точно ли не во снѣ, а на-яву съ ними случилась такая оказія. Однако, какъ ни старались увѣрить себя, что все это не больше какъ сновидѣніе, — пришлось убѣдиться въ печальной дѣйствительности.

Передъ ними съ одной стороны разстилалось море, съ другой стороны лежалъ небольшой клочокъ земли, за которымъ стлалось все то же безграничное море. Заплакали генералы въ первый разъ послѣ того, какъ закрыли регистратуру.

Стали они другъ друга разсматривать и увидѣли, что они въ ночныхъ рубашкахъ, а на шеяхъ у нихъ виситъ по ордену.

— Теперь бы кофейку испить хорошо!—молвилъ одинъ генералъ, но вспомнилъ, какая съ нимъ неслыханная штука случилась, и во второй разъ заплакалъ.

— Что же мы будемъ, однако, дѣлать?—продолжалъ онъ сквозь слезы:—ежели теперича докладъ написать—какая польза изъ этого выйдетъ?

— Вотъ что, — отвѣчалъ другой генералъ:—подите вы, ваше превосходительство, на востокъ, а я пойду на западъ, а къ вечеру опять на этомъ мѣстѣ сойдемся; можетъ-быть, что-нибудь и найдемъ.

Стали искать, гдѣ востокъ и гдѣ западъ. Вспомнили, какъ начальникъ однажды говорилъ: «если хочешь сыскать

востокъ, то встань глазами на сѣверъ, и въ правой рукѣ получишь искомое». Начали искать сѣвера, становились такъ и сякъ, перепробовали всѣ страны свѣта, но такъ какъ всю жизнь служили въ регистратурѣ, то ничего не нашли.

— Вотъ что, ваше превосходительство: вы пойдете направо, а я налѣво; этакъ-то лучше будетъ!—сказалъ одинъ генералъ, который, кромѣ регистратуры, служилъ еще въ школѣ военныхъ кантонистовъ учителемъ калиграфіи и, слѣдовательно, былъ поумнѣе.

Сказано—сдѣлано. Пошелъ одинъ генералъ направо и видитъ — растутъ деревья; а на деревьяхъ всякіе плоды. Хочетъ генералъ достать хоть одно яблоко, да всѣ такъ высоко висятъ, что надобно лѣзть. Попробовалъ полѣзть—ничего не вышло, только рубашку изорвалъ. Пришелъ генералъ къ ручью, видитъ: рыба тамъ, словно въ садкѣ на Фонтанкѣ, такъ и кишитъ, и кишитъ.

«Вотъ кабы этакой-то рыбки да на Подьяческую!»—подумалъ генералъ и даже въ лицѣ измѣнился отъ аппетита.

Зашелъ генералъ въ лѣсъ, а тамъ рябчики свищутъ, тетерева токуютъ, зайцы бѣгаютъ.

— Господи! ѣды-то! ѣды-то! — сказалъ генералъ, почувствовавъ, что его уже начинаетъ тошнить.

Дѣлать нечего, пришлось возвращаться на условленное мѣсто съ пустыми руками. Приходитъ, а другой генералъ ужъ дожидается.

— Ну, что, ваше превосходительство, промыслили что-нибудь?

— Да вотъ нашелъ старый нумеръ «Московскихъ Вѣдомостей», и больше ничего!

Легли опять спать генералы, да не спится имъ натощакъ. То безпокоитъ ихъ мысль, кто за нихъ будетъ пенсію получать; то припоминаются видѣнные днемъ плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы.

— Кто бы могъ думать, ваше превосходительство, что человѣческая пища, въ первоначальномъ видѣ, летаетъ, плаваетъ и на деревьяхъ растетъ?—сказалъ одинъ генералъ.

— Да,—отвѣтилъ другой генералъ:—признаться, и я до сихъ поръ думалъ, что булки въ томъ самомъ видѣ родятся, какъ ихъ утромъ къ кофею подаютъ.

— Сталъ-быть, если, напримѣръ, кто хочетъ куропатку съѣсть, то долженъ сначала ее изловить, убить, ощипать, изжарить... Только какъ все это сдѣлать?

— Какъ все это сдѣлать?—словно эхо, повторилъ другой генералъ.

Замолчали и стали стараться заснуть; но голодъ рѣшительно отгонялъ сонъ. Рябчики, индѣйки, поросята такъ и мелькали передъ глазами, сочные, слегка подрумяненные, съ огурцами, пикулями и другимъ салатомъ.

— Теперь я бы, кажется, свой собственный сапогъ съѣлъ!—сказалъ одинъ генералъ.

— Хороши тоже перчатки бываютъ, когда долго ношены!—вздохнулъ другой генералъ.

Вдругъ оба генерала взглянули другъ на друга: въ глазахъ ихъ свѣтился зловѣщій огонь, зубы стучали, изъ груди вылетало глухое рычаніе. Они начали медленно подползать другъ къ другу и въ одно мгновеніе ока оба остервенились. Полетѣли клочья, раздался визгъ и оханье; генералъ, который былъ учителемъ каллиграфіи, откусилъ у своего товарища орденъ и немедленно проглотилъ. Но видъ текущей крови какъ будто образумилъ ихъ.

— Съ нами крестная сила!—сказали они оба разомъ:—вѣдь этакъ мы другъ друга съѣдимъ.

— И какъ мы попали сюда! кто тотъ злодѣй, который надъ нами такую штуку сыгралъ!

— Надо, ваше превосходительство, какимъ-нибудь разговоромъ развлечься, а то у насъ тутъ убійство будетъ!—проговорилъ одинъ генералъ.

— Начинайте!—отвѣчалъ другой генералъ.

— Какъ, напримѣръ, думаете вы, отчего солнце прежде восходитъ, а потомъ заходитъ, а не наоборотъ?

— Странный вы человѣкъ, ваше превосходительство! но вѣдь и вы прежде встаете, идете въ департаментъ, тамъ пишете, а потомъ ложитесь спать?

— Но отчего же не допустить такую перестановку: сперва ложусь спать, вижу различныя сновидѣнія, а потомъ встаю?

— Гм!.. да... А я, признаться, какъ служилъ въ департаментѣ, всегда такъ думалъ: вотъ теперь утро, а потомъ будетъ день, а потомъ подадутъ ужинать—и спать пора!

Но упоминовеніе объ ужинѣ обоихъ повергло въ уныніе и пресѣкло разговоръ въ самомъ началѣ.

— Слышалъ я отъ одного доктора, что человѣкъ можетъ долгое время своими собственными соками питаться,—началъ опять одинъ генералъ.

— Какъ такъ?

— Да такъ-съ. Собственные свои соки будто бы производятъ другіе соки, эти въ свою очередь еще производятъ соки, и такъ далѣе, покуда, наконецъ, соки совсѣмъ не прекратятся...

— Тогда что-жъ?

— Тогда надобно пищу какую-нибудь принять...

— Тьфу!

Однимъ словомъ, о чемъ ни начинали генералы разговоръ, онъ постоянно сводился на воспоминаніе объ ѣдѣ, и это еще болѣе раздражало аппетитъ. Положили: разговоры прекратить и, вспомнивъ о найденномъ нумерѣ «Московскихъ Вѣдомостей», жадно принялись читать его.

«Вчера,—читалъ взволнованнымъ голосомъ одинъ генералъ, — у почтеннаго начальника нашей древней столицы былъ парадный обѣдъ. Столъ сервированъ былъ на сто персонъ съ роскошью изумительною. Дары всѣхъ странъ назначили себѣ какъ бы ранде-ву на этомъ волшебномъ праздникѣ. Тутъ была и «шекснинска стерлядь золотая», и питомецъ лѣсовъ кавказскихъ—фазанъ, и столь рѣдкая въ нашемъ сѣверѣ въ февралѣ мѣсяцѣ земляника...»

— Тьфу ты, Господи! да неужто-жъ, ваше превосходительство, не можете найти другого предмета?—воскликнулъ въ отчаяніи другой генералъ и, взявъ у товарища газету, прочелъ слѣдующее:

«Изъ Тулы пишутъ: вчерашняго числа, по случаю поимки въ рѣкѣ Упѣ осетра (происшествіе, котораго не запомнятъ даже старожилы, тѣмъ болѣе, что въ осетрѣ былъ опознанъ частный приставъ Б.), былъ въ здѣшнемъ клубѣ фестиваль. Виновника торжества внесли на громадномъ деревянномъ блюдѣ, обложеннаго огурчиками и держащаго въ пасти кусокъ слѣни. Докторъ П., бывшій въ тотъ же день дежурнымъ старшиною, заботливо наблюдалъ, дабы всѣ гости получили по куску. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая...»

— Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишкомъ осторожны въ выборѣ чтенія! — прервалъ первый генералъ и, взявъ въ свою очередь газету, прочелъ:

«Изъ Вятки пишутъ: одинъ изъ здѣшнихъ старожиловъ изобрѣлъ слѣдующій оригинальный способъ приготовленія ухи: взявъ живого налима, предварительно его высѣчь; когда же, отъ огорченія, печень его увеличится...»

Генералы поникли головами. Все, на что бы они ни обратили взоры—все свидѣтельствовало объ ѣдѣ. Собствен-

ныя ихъ мысли злоумышляли противъ нихъ, ибо какъ они ни старались отгонять представленія о бифштексахъ, но представленія эти пробивали себѣ путь насильственнымъ образомъ.

И вдругъ генерала, который былъ учителемъ каллиграфіи, озарило вдохновеніе...

— А что, ваше превосходительство, — сказалъ онъ радостно:—если бы намъ найти мужика?

— То-есть какъ же... мужика?

— Ну да, простого мужика... какіе обыкновенно бываютъ мужики! Онъ бы намъ сейчасъ и булокъ бы подалъ, и рябчиковъ бы наловилъ, и рыбы!

— Гм!.. мужика... но гдѣ же его взять, этого мужика, когда его нѣтъ?

— Какъ нѣтъ мужика! мужикъ вездѣ есть, — стоитъ только поискать его! Навѣрное онъ гдѣ-нибудь спрятался, отъ работы отлынваетъ!

Мысль эта до того ободрила генераловъ, что они вскочили какъ встрепанные и пустились отыскивать мужика.

Долго они бродили по острову безъ всякаго успѣха, но, наконецъ, острый запахъ мякиннаго хлѣба и кислой овчины навелъ ихъ на слѣдъ. Подъ деревомъ, брюхомъ кверху и подложивъ подъ голову кулакъ, спалъ громаднѣйшій мужичина и самымъ нахальнымъ образомъ уклонялся отъ работы. Негодованію генераловъ предѣла не было.

— Спишь, лежебокъ!—накинулись они на него:—небось и ухомъ не ведешь, что тутъ два генерала вторыя сутки съ голода умираютъ! Сейчасъ маршъ работать!

Всталъ мужичина: видитъ, что генералы строгіе. Хотѣлъ было дать отъ нихъ стречка, но они такъ и закоченѣли, вцѣпившись въ него.

И зачалъ онъ передъ ними дѣйствовать.

Полѣзъ сперва-на-перво на дерево и нарвалъ генераламъ по десятку самыхъ спѣлыхъ яблоковъ, а себѣ взялъ одно, кислое. Потомъ покопался въ землѣ — и добылъ оттуда картофелю; потомъ взялъ два куска дерева, потеръ ихъ другъ о дружку—и извлекъ огонь. Потомъ изъ собственныхъ волосъ сдѣлалъ силокъ и поймалъ рябчика. Наконецъ, развелъ огонь и напекъ столько разной провизіи, что генераламъ пришло даже на мысль: не дать ли и тунеядцу частичку?

Смотрѣли генералы на эти мужицкія старанія, и сердца у нихъ весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть

не умерли съ голоду, а думали: «вотъ какъ оно хорошо быть генералами—нигдѣ не пропадешь!»

— Довольны ли вы, господа генералы? — спрашивалъ между тѣмъ мужичина-лежебокъ.

— Довольны, любезный другъ, видимъ твое усердіе! — отвѣчали генералы.

— Не позволите ли теперь отдохнуть?

— Отдохни, дружокъ, только свей прежде веревочку.

Набралъ сейчасъ мужичина дикой конопли, размочилъ въ водѣ, наколотилъ, помялъ—и къ вечеру веревка была готова. Этою веревкою генералы привязали мужичину къ дереву, чтобъ не убѣгъ, а сами легли спать.

Прошелъ день, прошелъ другой; мужичина до того изловчился, что сталъ даже въ пригоршнѣ супъ варить. Сдѣлались наши генералы веселые, рыхлые, сытые, бѣлые. Стали говорить, что вотъ они здѣсь на всемъ готовомъ живутъ, а въ Петербургѣ между тѣмъ пенсіи ихнія все накапливаются да накапливаются.

— А какъ вы думаете, ваше превосходительство, въ самомъ ли дѣлѣ было вавилонское столпотвореніе, или это только такъ, одно иносказаніе?—говоритъ, бывало, одинъ генералъ другому, позавтракавши.

— Думаю, ваше превосходительство, что было въ самомъ дѣлѣ, потому что иначе какъ же объяснить, что на свѣтѣ существуютъ разные языки!

— Стало-быть, и потопъ былъ?

— И потопъ былъ, потому что въ противномъ случаѣ какъ же было бы объяснить существованіе допотопныхъ звѣрей? Тѣмъ болѣе, что въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» повѣствуютъ...

— А не почитать ли намъ «Московскихъ Вѣдомостей»?

Сыщутъ нумеръ, усядутся подъ тѣнью, прочтутъ отъ доски до доски, какъ ѣли въ Москвѣ, ѣли въ Тулѣ, ѣли въ Пензѣ, ѣли въ Рязани—и ничего, не тошнитъ!

Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаще и чаще стали они припоминать объ оставленныхъ ими въ Петербургѣ кухаркахъ и втихомолку даже поплакивали.

— Что-то теперь дѣлается въ Подьяческой, ваше превосходительство?—спрашивалъ одинъ генералъ другого.

— И не говорите, ваше превосходительство, все сердце изныло!—отвѣчалъ другой генералъ.

— Хорошо-то оно хорошо здѣсь — слова нѣтъ, а все, знаете, какъ-то неловко барашку безъ ярочки, да и мундира тоже жалко!

— Еще какъ жалко-то! Особливо какъ четвертаго класса, такъ на одно шитье посмотрѣть—голова закружится!

И начали они нудить мужика: представь да представь ихъ въ Подьяческую! И что-жъ! оказалось, что мужикъ знаетъ даже Подьяческую, что онъ тамъ былъ, медъ-пиво пилъ, по усамъ текло, въ ротъ не попало!

— А вѣдь мы съ Подьяческой генералы!—обрадовались генералы.

— А я, коли видѣли: виситъ человѣкъ снаружи дома, въ ящикѣ на веревкѣ, и стѣну краской мажетъ, или по крышѣ словно муха ходитъ—это онъ самый я и есть! — отвѣчалъ мужикъ.

И началъ мужикъ на бобахъ разводить, какъ бы ему своихъ генераловъ порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицкимъ его трудомъ не гнушались. И выстроилъ онъ корабль не корабль, а такую посудину, чтобъ можно было океанъ-море переплыть вплоть до самой Подьяческой.

— Ты смотри, однако, каналья, не утопи насъ!—сказали генералы, увидѣвъ покачивавшуюся на волнахъ ладью.

— Будьте покойны, господа генералы, не впервой! — отвѣчалъ мужикъ и сталъ готовиться къ отъѣзду.

Набралъ мужикъ пуху лебяжьяго-мягкаго и устлалъ имъ дно лодочки. Устлавши, уложилъ на дно генераловъ и, перекрестившись, поплылъ. Сколько набрались страху генералы во время пути отъ бурь да отъ вѣтровъ разныхъ, сколько они ругали мужичину за его тунеядство—этого ни перомъ описать, ни въ сказкѣ сказать. А мужикъ все гребетъ да гребетъ, да кормитъ генераловъ селедками.

Вотъ, наконецъ, и Нева-матушка, и Екатерининскій славный каналъ, вотъ и Большая Подьяческая! Всплеснули кухарки руками, увидѣвши, какіе у нихъ генералы стали—сытые, бѣлые да веселые. Напились генералы кофею, наѣлись сдобныхъ булокъ и надѣли мундиры. Поѣхали они въ казначейство, и сколько тутъ денегъ загребли—того ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать!

Однако и о мужикѣ не забыли—выслали ему рюмку водки да пятакъ серебра: веселись, мужичина!

27.—Пропала совѣсть.

Пропала совѣсть. По-старому толпились люди на улицахъ и въ театрахъ; по-старому они то догоняли, то перегоняли другъ друга; по-старому суетились и ловили на-лету куски, и никто не догадывался, что чего-то вдругъ стало недоставать, и что въ общемъ жизненномъ оркестрѣ перестала играть какая-то дудка. Многіе начали даже чувствовать себя бодрѣе и свободнѣе. Легче сдѣлался ходъ человѣка; ловчѣе стало подставлять ближнему ногу, удобнѣе льстить, пресмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую *болѣсть* вдругъ какъ рукой сняло; люди не шли, а какъ будто неслись; ничто не огорчало ихъ, ничто не заставляло задуматься; и настоящее, и будущее—все, казалось, такъ и отдавалось имъ въ руки,—имъ, счастливцамъ, не замѣтившимъ о пропажѣ совѣсти.

Совѣсть пропала вдругъ... почти мгновенно! Еще вчера эта надоѣдливая приживалка такъ и мелькала передъ глазами, такъ и чудилась возбужденному воображенію, и вдругъ... ничего! Исчезли досадные призраки, а вмѣстѣ съ ними улеглась и та нравственная смута, которую приводила за собой обличительница-совѣсть. Оставалось только смотрѣть на Божій міръ и радоваться; мудрые міра поняли, что они, наконецъ, освободились отъ послѣдняго ига, которое затрудняло ихъ движенія, и, разумѣется, поспѣшили воспользоваться плодами этой свободы. Люди остервенились; пошли грабежи и разбои, началось вообще разореніе.

А бѣдная совѣсть лежала между тѣмъ, на дорогѣ, истерзанная, оплеванная, затоптанная ногами пѣшеходовъ. Всякій швырялъ ее, какъ негодную ветошь, подальше отъ себя; всякій удивлялся, какимъ образомъ въ благоустроенномъ городѣ и на самомъ бойкомъ мѣстѣ можетъ валяться такое вопіющее безобразіе. И Богъ знаетъ, долго ли бы пролежала такимъ образомъ бѣдная изгнанница, если бы не поднялъ ее какой-то несчастный пропоецъ, позарившійся съ пьяныхъ глазъ даже на негодную тряпицу, въ надеждѣ получить за нее шкаликъ.

И вдругъ онъ почувствовалъ, что его пронизала словно электрическая струя какая-то. Мутными глазами началъ онъ озираться кругомъ и совершенно явственно ощутилъ, что голова его освобождается отъ винныхъ паровъ, и что

къ нему постепенно возвращается то горькое сознаніе дѣйствительности, на избавленіе отъ котораго были потрачены лучшія силы его существа. Сначала онъ почувствовалъ только страхъ, тотъ тупой страхъ, который повергаетъ человѣка въ безпокойство отъ одного предчувствія какой-то грозящей опасности; потомъ всполошилась память, заговорило воображеніе. Память безъ пощады извлекала изъ тьмы постыднаго прошлаго всѣ подробности насилій, измѣнъ, сердечной вялости и неправдъ; воображеніе облекало эти подробности въ живыя формы. Затѣмъ самъ собой проснулся судъ...

Жалкому пропойцу все его прошлое кажется сплошнымъ безобразнымъ преступленіемъ. Онъ не анализируетъ, не спрашиваетъ, не соображаетъ; онъ до того подавленъ вставшею передъ нимъ картиною его нравственнаго паденія, что тотъ процессъ самоосужденія, которому онъ добровольно подвергаетъ себя, бьетъ его несравненно больнѣе и строже, нежели самый строгій людской судъ. Онъ не хочетъ даже принять въ разсчетъ, что бо́льшая часть того прошлаго, за которое онъ себя такъ клянетъ, принадлежитъ совсѣмъ не ему, бѣдному и жалкому пропойцу, а какой-то тайной, чудовищной силѣ, которая крутила и вертѣла имъ, какъ крутитъ и вертитъ въ степи вихрь ничтожною былинкою. Что́ такое его прошлое? почему онъ прожилъ его такъ, а не иначе? что́ такое онъ самъ?—все это такіе вопросы, на которые онъ можетъ отвѣчать только удивленіемъ и полнѣйшею безсознательностью. Иго строило его жизнь; подъ игомъ родился онъ, подъ игомъ же сойдетъ и въ могилу. Вотъ, пожалуй, теперь и явилось сознаніе—да на что́ оно ему нужно? затѣмъ ли оно пришло, чтобъ безжалостно поставить вопросы и отвѣтить на нихъ молчаніемъ? затѣмъ ли, чтобъ погубленная жизнь вновь хлынула въ разрушенную храмину, которая не можетъ ужъ выдержать наплыва ея?

Увы! проснувшееся сознаніе не приноситъ ему съ собой ни примиренія, ни надежды, а встрепенувшаяся совѣсть указываетъ только одинъ выходъ—выходъ безплоднаго самообвиненія. И прежде кругомъ была мгла, да и теперь та же мгла, только населившаяся мучительными привидѣніями; и прежде на рукахъ звенѣли тяжелыя цѣпи, да и теперь тѣ же цѣпи, только тяжесть ихъ вдвое увеличилась, потому что онъ понялъ, что это цѣпи. Льются рѣкой безполезныя пропойцевы слезы; останавливаются передъ нимъ добрые люди и утверждаютъ, что въ немъ плачетъ вино.

— Батюшки! не могу... несносно! — крикомъ-кричитъ жалкій пропоецъ, а толпа хохочетъ и глумится надъ нимъ. Она не понимаетъ, что пропоецъ никогда не былъ такъ свободенъ отъ винныхъ паровъ, какъ въ эту минуту, что онъ просто сдѣлалъ несчастную находку, которая разрываетъ на части его бѣдное сердце. Если бы она сама набрела на эту находку, то уразумѣла бы, конечно, что есть на свѣтѣ горесть, лютѣйшая изъ всѣхъ горестей,—это горесть внезапно обрѣтенной совѣсти. Она уразумѣла бы, что и она настолько же подъяремная и изуродованная духомъ толпа, насколько подъяременъ и нравственно искаженъ взывающій передъ нею пропоецъ.

«Нѣтъ, надо какъ-нибудь ее сбыть, а то съ ней пропадешь, какъ собака!»—думаетъ жалкій пьяница и уже хочетъ бросить свою находку на дорогу, но его останавливаетъ близстоящій хожалый.

— Ты, братъ, кажется, подбрасываніемъ подметныхъ пасквилей заниматься вздумалъ!—говоритъ онъ ему, грозя пальцемъ:—у меня, братъ, и въ части за это посидѣть не долго!

Пропоецъ проворно прячетъ находку въ карманъ и удаляется съ нею. Озираясь и крадучись, приближается онъ къ питейному дому, въ которомъ торгуетъ старинный его знакомый, Прохорычъ. Сначала онъ заглядываетъ потихоньку въ окошко и, увидѣвъ, что въ кабакѣ никого нѣтъ, а Прохорычъ одинъ-одинёхонекъ дремлетъ за стойкой, въ одно мгновеніе ока растворяетъ дверь, вбѣгаетъ, и прежде нежели Прохорычъ успѣваетъ опомниться, ужасная находка уже лежитъ у него въ рукѣ.

Нѣкоторое время Прохорычъ стоялъ съ вытаращенными глазами; потомъ вдругъ весь вспотѣлъ. Ему почему-то померещилось, что онъ торгуетъ безъ патента, но, оглядѣвшись хорошенько, онъ убѣдился, что всѣ патенты—и синіе, и зеленые, и желтые—налицо. Онъ взглянулъ на тряпицу, которая очутилась у него въ рукахъ, и она показалась ему знакомою.

«Эге!—вспомнилъ онъ:—да никакъ это та самая тряпка, которую я насилу сбылъ передъ тѣмъ, какъ патентъ покупать! Да, она самая и есть!»

Убѣдившись въ этомъ, онъ тотчасъ же почему-то сообразилъ, что теперь ему разориться надо.

— Коли человѣкъ дѣломъ занятъ, да этакая пакость къ

нему привяжется,—говори: пропало, никакого дѣла не будетъ и быть не можетъ!—разсуждалъ онъ почти машинально и вдругъ весь затрясся и поблѣднѣлъ, словно въ глаза ему глянулъ невѣдомый дотолѣ страхъ.

— А вѣдь куда скверно спаивать бѣдный народъ!—шептала проснувшаяся совѣсть.

— Жена! Арина Ивановна!—вскрикнулъ онъ внѣ себя отъ испуга.

Прибѣжала Арина Ивановна, но какъ только увидѣла, какое Прохорычъ сдѣлалъ пріобрѣтеніе, такъ не своимъ голосомъ закричала: «караулъ! батюшки! грабятъ!»

«И за что я, черезъ этого подлеца, въ одну минуту всего лишиться долженъ?»—думалъ Прохорычъ, очевидно, намекая на пропойца, всучившаго ему свою находку. А крупныя капли пота между тѣмъ такъ и выступали на лбу его.

Между тѣмъ кабакъ мало-по-малу наполнялся народомъ; но Прохорычъ, вмѣсто того, чтобъ съ обычною любезностью потчивать посѣтителей, къ совершенному изумленію послѣднихъ, не только отказывался наливать имъ вино, но даже очень трогательно доказывалъ, что въ винѣ заключается источникъ всякаго несчастія для бѣднаго человѣка.

— Коли бы ты одну рюмочку выпилъ—это такъ, это даже пользительно!—говорилъ онъ сквозь слезы:—а то вѣдь ты норовишь, какъ бы тебѣ цѣлое ведро сожрать! И что-жъ? Сейчасъ тебя за это самое въ часть сволокутъ; въ части тебѣ подъ рубашку засыплютъ, и выйдешь ты оттоль, словно кабы какую награду получилъ! А и всей-то твоей награды было сто лозановъ! Такъ вотъ ты и подумай, милый человѣкъ, стоитъ ли изъ-за этого стараться, да еще мнѣ, дураку, трудовыя твои денежки платить!

— Да что ты, никакъ, Прохорычъ, съ ума спятилъ!—говорили ему изумленные посѣтители.

— Спятишь, братъ, коли съ тобой такая оказія случится!—отвѣчалъ Прохорычъ.—Ты вотъ лучше посмотри, какой я нынче патентъ себѣ выправилъ!

Прохорычъ показывалъ всученную ему совѣсть и предлагалъ, не хочетъ ли кто изъ посѣтителей воспользоваться ею. Но посѣтители, узнавши, въ чемъ штука, не только не изъявляли согласія, но даже боязливо сторонились и отходили подальше.

— Вотъ такъ патентъ!—не безъ злобы прибавилъ Прохорычъ.

— Что-жъ ты теперь дѣлать будешь?—спрашивали его посѣтители.

— Теперича я полагаю такъ: остается мнѣ одно—помереть. Потому обманывать я теперь не могу; водкой спаивать бѣдный народъ тоже не согласенъ; что же мнѣ теперича дѣлать, кромѣ какъ помереть?

— Резонъ!—смѣялись надъ нимъ посѣтители.

— Я даже такъ теперь думаю, — продолжалъ Прохорычъ:—всю эту посудину, какая тутъ есть, перебить и вино въ канаву вылить! Потому, коли-ежели кто имѣетъ въ себѣ эту добродѣтель, такъ тому даже самый запахъ сивушный можетъ нутро перевернуть!

— Только смѣй у меня! — вступилась, наконецъ, Арина Ивановна, сердца которой, повидимому, не коснулась благодать, внезапно осѣнившая Прохорыча: — ишь добродѣтель какая выискалась!

Но Прохорыча уже трудно было пронять. Онъ заливался горькими слезами и все говорилъ, все говорилъ.

— Потому, — говорилъ онъ: — что ежели ужъ съ кѣмъ это несчастіе случилось, тотъ такъ несчастнымъ и долженъ быть. И никакого онъ объ себѣ мнѣнія, что онъ торговецъ или купецъ, заключить не смѣетъ. Потому что это будетъ одно его напрасное безпокойство. А долженъ онъ о себѣ такъ разсуждать: несчастный я человѣкъ въ семъ мірѣ—и больше ничего.

Такимъ образомъ, въ философическихъ упражненіяхъ прошелъ цѣлый день, и хотя Арина Ивановна рѣшительно воспротивилась намѣренію своего мужа перебить посуду и вылить вино въ канаву, однако они въ тотъ день не продали ни капли. Къ вечеру Прохорычъ даже развеселился и, ложась на ночь, сказалъ плачущей Аринѣ Ивановнѣ:

— Ну, вотъ, душенька и любезнѣйшая супруга моя, хоть мы и ничего сегодня не нажили, зато какъ легко тому человѣку, у котораго совѣсть въ глазахъ есть!

И дѣйствительно, онъ, какъ легъ, такъ сейчасъ и уснулъ. И не метался во снѣ, и даже не храпѣлъ, какъ это случалось съ нимъ въ прежнее время, когда онъ наживалъ, но совѣсти не имѣлъ.

Но Арина Ивановна думала объ этомъ нѣсколько иначе. Она очень хорошо понимала, что въ кабацкомъ дѣлѣ совѣсть совсѣмъ не такое пріятное пріобрѣтеніе, отъ котораго можно было бы ожидать прибытка, и потому рѣшилась во что бы то ни стало отдѣлаться отъ непрошенной гостьи.

Скрѣпя сердце, она переждала ночь, но какъ только въ запыленныя окна кабака забрезжилъ свѣтъ, она выкрала у спящаго мужа совѣсть и стремглавъ бросилась съ нею на улицу.

Какъ нарочно, это былъ базарный день; изъ сосѣднихъ деревень уже тянулись мужики съ возами, и квартальный надзиратель Ловецъ самолично отправлялся на базаръ для наблюденія за порядкомъ. Едва завидѣла Арина Ивановна поспѣшающаго Ловца, какъ у нея уже блеснула въ головѣ счастливая мысль. Она во весь духъ побѣжала за нимъ и едва успѣла поровняться, какъ сейчасъ же, съ изумительною ловкостью, сунула потихоньку совѣсть въ карманъ его пальто.

Ловецъ былъ малый не то чтобъ совсѣмъ безстыжій, но стѣснять себя не любилъ и запускалъ лапу довольно-свободно. Видъ у него былъ не то чтобъ наглый, а *устремительный*. Руки были не то чтобъ слишкомъ озорныя, но охотно зацѣпляли все, что попадалось по дорогѣ. Словомъ сказать, былъ лихоимецъ порядочный.

И вдругъ этого самаго человѣка начало коробить.

Пришелъ онъ на базарную площадь, и кажется ему, что все, что тамъ ни наставлено, и на возахъ, и на рундукахъ, и въ лавкахъ — все это не его, а чужое. Никогда прежде этого съ нимъ не бывало. Протеръ онъ себѣ безстыжіе глаза и думаетъ: «не очумѣлъ ли я, не во снѣ ли все это мнѣ представляется?» Подошелъ къ одному возу, хочетъ запустить лапу, анъ лапа не поднимается; подошелъ къ другому возу, хочетъ мужика за бороду вытрясти — о, ужасъ!—длани не простираются!

Испугался.

«Что это со мной нынче сдѣлалось?—думаетъ Ловецъ.— Вѣдь этакимъ манеромъ, пожалуй, и напредки все дѣло себѣ испорчу! Ужъ не воротиться ли, за добра ума, домой?»

Однако понадѣялся, что, можетъ-быть, и пройдетъ. Сталъ погуливать по базару; смотритъ—лежитъ всякая живность, разостланы всякія матеріи, и все это какъ будто говоритъ: вотъ и близокъ локоть, да не укусишь!

А мужики между тѣмъ осмѣлились; видя, что человѣкъ очумѣлъ, глазами на свое добро хлопаетъ, стали шутки шутить, стали Ловца Фофаномъ Фофанычемъ звать.

«Нѣтъ, это со мною болѣзнь какая-нибудь!» — рѣшилъ

Ловецъ и такъ-таки безъ кульковъ, съ пустыми руками, и отправился домой.

Возвращается онъ домой, а Ловчиха-жена ужъ ждетъ, думаетъ: «сколько-то мнѣ супругъ мой любезный нынче кульковъ принесетъ?» И вдругъ—ни одного. Такъ и закипѣло въ ней сердце, такъ и накинулась она на Ловца.

— Куда кульки дѣвалъ?—спрашиваетъ она его.

— Передъ лицомъ моей совѣсти свидѣтельствуюсь...—началъ-было Ловецъ.

— Гдѣ у тебя кульки, тебя спрашиваютъ?

— Передъ лицомъ моей совѣсти свидѣтельствуюсь...—вновь повторилъ Ловецъ.

— Ну, такъ и обѣдай своею совѣстью до будущаго базара, а у меня для тебя нѣтъ обѣда!—рѣшила Ловчиха.

Понурилъ Ловецъ голову, потому что зналъ, что Ловчихино слово твердое. Снялъ онъ съ себя пальто—и вдругъ словно преобразился совсѣмъ! Такъ какъ совѣсть осталась, вмѣстѣ съ пальто, на стѣнкѣ, то сдѣлалось ему опять и легко, и свободно, и стало опять казаться, что на свѣтѣ нѣтъ ничего чужого, а все его. И почувствовалъ онъ вновь въ себѣ способность глотать и загребать.

— Ну, теперь вы у меня не отвертитесь, дружки!—сказалъ Ловецъ, потирая руки, и сталъ поспѣшно надѣвать на себя пальто, чтобъ на всѣхъ парусахъ летѣть на базаръ.

Но—о, чудо!—едва успѣлъ онъ надѣть пальто, какъ опять началъ корячиться. Просто какъ будто два человѣка въ немъ сдѣлалось: одинъ—безъ пальто—безстыжій, загребистый и лапистый; другой—въ пальто—застѣнчивый и робкій. Однако, хоть и видитъ, что не успѣлъ за ворота выйти, какъ ужъ присмирѣлъ, но отъ намѣренія своего идти на базаръ не отказался. Авось-либо, думаетъ, превозмогу.

Но чѣмъ ближе онъ подходилъ къ базару, тѣмъ сильнѣе билось его сердце, тѣмъ неотступнѣе сказывалась въ немъ потребность примириться со всѣмъ этимъ среднимъ и малымъ людомъ, который изъ-за гроша цѣлый день бьется на дождю да на слякоти. Ужъ не до того ему, чтобъ на чужіе кульки засматриваться; свой собственный кошелекъ, который былъ у него въ карманѣ, сдѣлался ему въ тягость, какъ будто онъ вдругъ изъ достовѣрныхъ источниковъ узналъ, что въ этомъ кошелькѣ лежатъ не его, а чьи-то чужія деньги.

— Вотъ тебѣ, дружокъ, пятнадцать копеекъ!—говоритъ онъ, подходя къ какому-то мужику и подавая ему деньги.

— Это за что же, Фофанъ Фофанычъ?

— А за мою прежнюю обиду, другъ! Прости меня Христа-ради!

— Ну, Богъ тебя проститъ!

Такимъ образомъ обошелъ онъ весь базаръ и роздалъ всѣ деньги, какія у него были. Однако, сдѣлавши это, хоть и почувствовалъ, что на сердцѣ у него стало легко, но крѣпко призадумался.

«Нѣтъ, это со мною сегодня болѣзнь какая-нибудь приключилась,—опять сказалъ онъ самъ себѣ:—пойду-ка я лучше домой, да кстати ужъ захвачу по дорогѣ побольше нищихъ, да и накормлю ихъ, чѣмъ Богъ послалъ!»

Сказано—сдѣлано; набралъ онъ нищихъ видимо-невидимо и привелъ ихъ къ себѣ во дворъ. Ловчиха только руками развела, ждетъ, какую онъ еще дальше проказу сдѣлаетъ. Онъ же потихоньку прошелъ мимо нея и ласково таково сказалъ:

— Вотъ, Ѳедосьюшка, тѣ самые странніе люди, которыхъ ты просила меня привести: покорми ихъ ради Христа!

Но едва успѣлъ онъ повѣсить свое пальто на гвоздикъ, какъ ему и опять стало легко и свободно. Смотритъ въ окошко и видитъ, что на дворѣ у него нищая братія со всего города сбита. Видитъ и не понимаетъ: зачѣмъ? неужто всю эту уйму сѣчь предстоитъ?

— Что за народъ?—выбѣжалъ онъ на дворъ въ изступленіи.

— Какъ что за народъ? Это все странніе люди, которыхъ ты накормить велѣлъ!—огрызнулась Ловчиха.

— Гнать ихъ въ шею! вотъ такъ! — закричалъ онъ не своимъ голосомъ и какъ сумасшедшій бросился опять въ домъ.

Долго ходилъ онъ взадъ и впередъ по комнатамъ и все думалъ, что такое съ нимъ сталось? Человѣкъ онъ былъ всегда исправный, относительно же исполненія служебнаго долга просто левъ — и вдругъ сдѣлался тряпицею!

— Ѳедосья Петровна! матушка! да свяжи ты меня ради Христа! Чувствую, что я сегодня такихъ дѣлъ надѣлаю, что послѣ цѣлымъ годомъ поправить нельзя будетъ!—взмолился онъ.

Видитъ и Ловчиха, что Ловцу ея круто пришлось. Раздѣла его, уложила въ постель и напоила горяченькимъ.

Только черезъ четверть часа пошла она въ переднюю и думаетъ: «а посмотрю-ка я у него въ пальто; можетъ, еще и найдутся въ карманахъ какіе-нибудь грошики?» Обшарила одинъ карманъ—нашла пустой кошелекъ; обшарила другой карманъ—нашла какую-то грязную, замасленную бумажку. Какъ развернула она эту бумажку—такъ и ахнула.

«Такъ вотъ онъ нынче на какія штуки пустился!—сказала она себѣ:—совѣсть въ карманѣ завелъ!»

И стала она придумывать, кому бы ей эту совѣсть сбыть, чтобъ она того человѣка не въ-конецъ отяготила, а только маленько въ безпокойство привела. И придумала, что самое лучшее ей мѣсто будетъ у отставного откупщика, а нынѣ финансиста и желѣзнодорожнаго изобрѣтателя, еврея Шмуля Давыдовича Бржоцскаго.

— У этого, по крайности, шея толста!—рѣшила она:—можетъ-быть, и побьется малое дѣло, а выдержитъ!

Рѣшивши такимъ образомъ, она осторожно сунула совѣсть въ штемпельный конвертъ, надписала на немъ адресъ Бржоцскаго и опустила въ почтовый ящикъ.

— Ну, теперь можешь, другъ мой, смѣло идти на базаръ,—сказала она мужу, воротившись домой.

Самуилъ Давыдычъ Бржоцскій сидѣлъ за обѣденнымъ столомъ, окруженный всѣмъ своимъ семействомъ. Подлѣ него помѣщался десятилѣтній сынъ Рувимъ Самуиловичъ и совершалъ въ умѣ банкирскія операціи.

— А сто, папаса, если я этотъ золотой, который ты мнѣ подарилъ, буду отдавать въ ростъ по двадцати процентовъ въ мѣсяцъ, сколько у меня къ концу года денегъ будетъ?—спрашивалъ онъ.

— А какой процентъ: простой или слозный?—спросилъ въ свою очередь Самуилъ Давыдычъ.

— Разумѣется, папаса, слозный!

— Если слозный и съ усѣченіемъ дробей, то будетъ сорокъ пять рублей и семьдесятъ девять копеекъ!

— Такъ я, папаса, отдамъ!

— Отдай, мой другъ, только надо благонадезный залогъ брать!

Съ другой стороны сидѣлъ Іосель Самуиловичъ, мальчикъ лѣтъ семи, и тоже рѣшалъ въ умѣ своемъ задачу: летѣло стадо гусей; далѣе помѣщался Соломонъ Самуиловичъ, за нимъ Давыдъ Самуиловичъ и соображали, сколько послѣдній долженъ первому процентовъ за взятые заимообразно ле-

денцы. На другомъ концѣ стола сидѣла красивая супруга Самуила Давыдыча, Лія Соломоновна, и держала на рукахъ крошечную Рифочку, которая инстинктивно тянулась къ золотымъ браслетамъ, украшавшимъ руки матери.

Однимъ словомъ, Самуилъ Давыдычъ былъ счастливъ. Онъ собирался кушать какой-то необыкновенный соусъ, украшенный чуть не страусовыми перьями и брюссельскими кружевами, какъ лакей подалъ ему на серебряномъ подносѣ письмо.

Едва взялъ Самуилъ Давыдычъ въ руки конвертъ, какъ заметался во всѣ стороны, словно угорь на угольяхъ.

— И сто зе это такое! и зацѣмъ мнѣ эта вессь!—завопилъ онъ, трясясь всѣмъ тѣломъ.

Хотя никто изъ присутствующихъ ничего не понималъ въ этихъ крикахъ, однако для всѣхъ стало ясно, что продолженіе обѣда невозможно.

Я не стану описывать здѣсь мученія, которыя претерпѣлъ Самуилъ Давыдычъ въ этотъ памятный для него день; скажу только одно: этотъ человѣкъ, съ виду тщедушный и слабый, геройски вытерпѣлъ самыя лютыя истязанія, но даже пятиалтыннаго возвратить не согласился.

— Это сто зе! это ницего! только ты крѣпце дерзи меня, Лія!—уговаривалъ онъ жену во время самыхъ отчаянныхъ нароксизмовъ:—и если я буду спрасивать скатулку—ни-ни! пусть луци умру!

Но такъ какъ нѣтъ на свѣтѣ такого труднаго положенія, изъ котораго былъ бы невозможенъ выходъ, то онъ найденъ былъ и въ настоящемъ случаѣ. Самуилъ Давыдычъ вспомнилъ, что онъ давно обѣщалъ сдѣлать какое-нибудь пожертвованіе въ нѣкоторое благотворительное учрежденіе, состоявшее въ завѣдываніи одного знакомаго ему генерала, но дѣло это почему-то изо-дня-въ-день все оттягивалось. И вотъ теперь случай прямо указывалъ на средство привести въ исполненіе это давнее намѣреніе.

Задумано—сдѣлано. Самуилъ Давыдычъ осторожно распечаталъ присланный по почтѣ конвертъ, вынулъ изъ него щипчиками посылку, переложилъ ее въ другой конвертъ, запряталъ туда еще сотенную ассигнацію, запечаталъ и отправился къ знакомому генералу.

— Зелаю, васе превосходительство, позертвованіе сдѣлать!—сказалъ онъ, кладя на столъ пакетъ передъ обрадованнымъ генераломъ.

— Что же-съ, это похвально!—отвѣчалъ генералъ:—я

всегда это зналъ, что вы... какъ евреи... и по закону Давидову... Плясаше—играше... такъ, кажется?

Генералъ запутался, ибо не зналъ навѣрное, точно ли Давидъ издавалъ законы, или кто другой.

— Тоцно такъ-съ; только какіе зе мы евреи, васе превосходительство!—заспѣшилъ Самуилъ Давыдычъ, уже совсѣмъ облегченный:—только съ виду мы евреи, а въ дусѣ совсѣмъ-совсѣмъ русскіе!

— Благодарю!—сказалъ генералъ:—объ одномъ сожалѣю... какъ христіанинъ... отчего бы вамъ, напримѣръ?.. а?..

— Васе превосходительство... мы только съ виду... повѣрьте цести, только съ виду!

— Однако?

— Васе превосходительство!

— Ну, ну, ну! Христосъ съ вами!

Самуилъ Давыдычъ полетѣлъ домой словно на крыльяхъ. Въ этотъ же вечеръ онъ уже совсѣмъ позабылъ о претерпѣнныхъ имъ страданіяхъ и выдумалъ такую диковинную операцію ко всеобщему уязвленію, что на другой день всѣ такъ и ахнули, какъ узнали.

И долго такимъ образомъ шаталась бѣдная, изгнанная совѣсть по бѣлому свѣту, и перебывала она у многихъ тысячъ людей. Но никто не хотѣлъ ее пріютить, а всякій, напротивъ того, только о томъ думалъ, какъ бы отдѣлаться отъ нея и хоть бы обманомъ да сбыть съ рукъ.

Наконецъ, наскучило ей и самой, что негдѣ ей, бѣдной, голову приклонить, и должна она свой вѣкъ проживать въ чужихъ людяхъ да безъ пристанища. Вотъ и взмолилась она послѣднему своему содержателю, какому-то мѣщанинишкѣ, который въ проходномъ ряду пылью торговалъ и никакъ не могъ отъ той торговли разжиться.

— За что вы меня тираните?—жаловалась бѣдная совѣсть:—за что вы мной, словно отымалкой какой, помыкаете?

— Что же я съ тобою буду дѣлать, сударыня-совѣсть, коли ты никому не нужна?—спросилъ въ свою очередь мѣщанинишка.

— А вотъ что,—отвѣчала совѣсть:—отыщи ты мнѣ маленькое русское дитя, растворі ты передо мной его сердце чистое и схорони меня въ немъ! Авось онъ меня, неповинный младенецъ, пріютитъ и выхолитъ, авось онъ меня въ мѣру возраста своего произведетъ да и въ люди потомъ со мной выйдетъ—не погнушается.

По этому ея слову все такъ и сдѣлалось. Отыскалъ мѣщанинишка маленькое русское дитя, растворилъ его сердце чистое и схоронилъ въ немъ совѣсть.

Растетъ маленькое дитя, а вмѣстѣ съ нимъ растетъ въ немъ и совѣсть. И будетъ маленькое дитя большимъ человѣкомъ, и будетъ въ немъ большая совѣсть. И исчезнутъ тогда всѣ неправды, коварства и насилія, потому что совѣсть будетъ неробкая и захочетъ распоряжаться всѣмъ сама.

28.—Дикій помѣщикъ.

Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ жилъ-былъ помѣщикъ, жилъ и на свѣтъ глядючи радовался. Всего у него было довольно: и крестьянъ, и хлѣба, и скота, и земли, и садовъ. И былъ тотъ помѣщикъ глупый, читалъ газету «Вѣсть» и тѣло имѣлъ мягкое, бѣлое и разсыпчатое.

Только и взмолился однажды Богу этотъ помѣщикъ:

— Господи! всѣмъ я отъ Тебя доволенъ, всѣмъ награжденъ! Одно только сердцу моему непереносно, очень ужъ много развелось въ нашемъ царствѣ мужика!

Но Богъ зналъ, что помѣщикъ тотъ глупый, и прошенію его не внялъ.

Видитъ помѣщикъ, что мужика съ каждымъ днемъ не убываетъ, а все прибываетъ,—видитъ и опасается: «а ну, какъ онъ у меня все добро пріѣстъ?»

Заглянетъ помѣщикъ въ газету «Вѣсть», какъ въ семъ случаѣ поступать должно, и прочитаетъ: «старайся!»

— Одно только слово написано,—молвитъ глупый помѣщикъ:—а золотое это слово!

И началъ онъ стараться, и не то чтобъ какъ-нибудь, а все по правилу. Курица ли крестьянская въ господскіе овсы забредетъ—сейчасъ ее, по правилу, въ супъ; дровецъ ли крестьянинъ нарубитъ, по секрету, въ господскомъ лѣсу соберется—сейчасъ эти самыя дрова на господскій дворъ, а съ порубщика, по правилу, штрафъ.

— Больше я нынче этими штрафами на нихъ дѣйствую,—говоритъ помѣщикъ сосѣдямъ своимъ:—потому что для нихъ это понятнѣе.

Видятъ мужики: хоть и глупый у нихъ помѣщикъ, а разумъ ему данъ большой. Сократилъ онъ ихъ такъ, что некуда носа высунуть; куда ни глянутъ—все нельзя, да

не позволено, да не ваше! Скотинка на водопой выйдетъ—помѣщикъ кричитъ: «моя вода!» курица за околицу выбредетъ—помѣщикъ кричитъ: «моя земля!» И земля, и вода, и воздухъ—все его стало! Лучины не стало мужику въ свѣтецъ зажечь; прута не стало, чѣмъ избу вымести. Вотъ и взмолились крестьяне всѣмъ міромъ къ Господу Богу:

— Господи! легче намъ пропасть и съ дѣтьми съ малыми, нежели всю жизнь такъ маяться!

Услыхалъ милостивый Богъ слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всемъ пространствѣ владѣній глупаго помѣщика. Куда дѣвался мужикъ—никто того не замѣтилъ, а только видѣли люди, какъ вдругъ поднялся мякинный вихрь и, словно туча черная, пронеслись въ воздухѣ посконные мужицкіе портки. Вышелъ помѣщикъ на балконъ, потянулъ носомъ и чуетъ: чистый-пречистый во всѣхъ его владѣніяхъ воздухъ сдѣлался. Натурально, остался доволенъ. Думаетъ: «теперь-то я понѣжу свое тѣло бѣлое, тѣло бѣлое, рыхлое, разсыпчатое!»

И началъ онъ жить да поживать и сталъ думать, чѣмъ бы ему свою душу утѣшить.

«Заведу, думаетъ, театръ у себя! Напишу къ актеру Садовскому: пріѣзжай, молъ, любезный другъ, и актерокъ съ собой привози!»

Послушался его актеръ Садовскій: самъ пріѣхалъ и актерокъ привезъ. Только видитъ, что въ домѣ у помѣщика пусто, и ставить театръ, и занавѣсъ поднимать некому.

— Куда же ты крестьянъ своихъ дѣвалъ?—спрашиваетъ Садовскій у помѣщика.

— А вотъ Богъ, по молитвѣ моей, всѣ мои владѣнія отъ мужика очистилъ!

— Однако, братъ, глупый ты помѣщикъ! Кто же тебѣ, глупому, умываться подаетъ?

— Да я ужъ и то сколько дней немытый хожу!

— Стало-быть, шампиньоны на лицѣ растить собрался?—сказалъ Садовскій, и съ этимъ словомъ и самъ уѣхалъ, и актерокъ увезъ.

Вспомнилъ помѣщикъ, что у него есть поблизости четыре генерала знакомыхъ; думаетъ: «Что это я все гранъ-пасьянсъ, да гранъ-пасьянсъ раскладываю! Попробую-ка я съ генералами впятеромъ пульку-другую сыграть!»

Сказано—сдѣлано; написалъ приглашенія, назначилъ день и отправилъ письма по адресу. Генералы были хоть и настоящіе, но голодные, а потому очень скоро пріѣхали.

Пріѣхали—и не могутъ надивиться, отчего такой у помѣщика чистый воздухъ сталъ.

— А оттого это,—хвастается помѣщикъ:—что Богъ, по молитвѣ моей, всѣ владѣнія мои отъ мужика очистилъ!

— Ахъ, какъ это хорошо, — хвалятъ помѣщика генералы:—стало-быть, теперь у васъ этого холопьяго запаху нисколько не будетъ?

— Нисколько,—отвѣчаетъ помѣщикъ.

Сыграли пульку, сыграли другую; чувствуютъ генералы, что пришелъ ихъ часъ водку пить, приходятъ въ безпокойство, озираются.

— Должно-быть, вамъ, господа генералы, закусить захотѣлось?—спрашиваетъ помѣщикъ.

— Не худо бы, г. помѣщикъ!

Всталъ онъ изъ-за стола, подошелъ къ шкапу и вынимаетъ оттуда по леденцу да по печатному пряннику на каждаго человѣка.

— Что-жъ это такое?—спрашиваютъ генералы, вытаращивъ на него глаза.

— А вотъ, закусите, чѣмъ Богъ послалъ!

— Да намъ бы говядинки, говядинки бы намъ!

— Ну, говядинки у меня про васъ нѣтъ, господа генералы, потому что съ тѣхъ поръ, какъ меня Богъ отъ мужика избавилъ, и печка на кухнѣ стоитъ нетоплена!

Разсердились на него генералы, такъ что даже зубы у нихъ застучали.

— Да вѣдь жрешь же ты что-нибудь самъ-то?—накинулись они на него.

— Сырьемъ кой-какимъ питаюсь, да вотъ пряники еще покуда есть...

— Однако, братъ, глупый же ты помѣщикъ! — сказали генералы и, не докончивъ пульки, разбрелись по домамъ.

Видитъ помѣщикъ, что его ужъ въ другой разъ дуракомъ чествуютъ, и хотѣлъ-было ужъ задуматься, но такъ какъ въ это время на глаза попалась колода картъ, то махнулъ на все рукою и началъ раскладывать гранъ-пасьянсъ.

— Посмотримъ,—говоритъ,—господа либералы, кто кого одолѣетъ! Докажу я вамъ, что можетъ сдѣлать истинная твердость души!

Раскладываетъ онъ «дамскій капризъ» и думаетъ: «ежели сряду три раза выйдетъ, стало-быть, надо не взирать». И какъ на зло, сколько разъ ни разложитъ—все у него вы-

ходитъ, все выходитъ! Не осталось въ немъ даже сомнѣнія никакого.

— Ужъ если, — говоритъ, — сама фортуна указываетъ, стало-быть, надо оставаться твердымъ до конца. А теперь, покуда, довольно гранъ-пасьянсъ раскладывать—пойду, позаймусь!

И вотъ ходитъ онъ, ходитъ по комнатамъ, потомъ сядетъ и посидитъ. И все думаетъ. Думаетъ, какія онъ машины изъ Англіи выпишетъ, чтобъ все паромъ да паромъ, а холопскаго духу чтобъ нисколько не было. Думаетъ, какой онъ плодовый садъ разведетъ: вотъ тутъ будутъ груши, сливы, вотъ тутъ—персики, тутъ — грецкій орѣхъ! Посмотритъ въ окошко—анъ тамъ все, какъ онъ задумалъ, все точно такъ ужъ и есть! Ломятся, по щучьему велѣнію, подъ грузомъ плодовъ деревья грушевыя, персиковыя, абрикосовыя, а онъ только знай фрукты машинами собираетъ да въ ротъ кладетъ! Думаетъ, какихъ онъ коровъ разведетъ, что ни кожи, ни мяса, а все одно молоко, все молоко! Думаетъ, какой онъ клубники насадитъ, все двойной да тройной, по пяти ягодъ на фунтъ, и сколько онъ этой клубники въ Москвѣ продастъ. Наконецъ, устанетъ думать, пойдетъ къ зеркалу посмотрѣться — анъ тамъ ужъ пыли на вершокъ насѣло...

— Сенька! — крикнетъ онъ вдругъ, забывшись, но потомъ спохватится и скажетъ: — ну, пускай себѣ до поры, до времени такъ постоитъ, а ужъ докажу же я этимъ либераламъ, что можетъ сдѣлать твердость души!

Промаячитъ такимъ манеромъ, покуда стемнѣетъ, — и спать.

А во снѣ сны еще веселѣе, нежели на-яву, снятся. Снится ему, что самъ губернаторъ о такой его помѣщичьей непреклонности узналъ и спрашиваетъ у исправника: «какой-такой твердый курицынъ сынъ у васъ въ уѣздѣ завелся?» Потомъ снится, что его за эту самую непреклонность министромъ сдѣлали, и ходитъ онъ въ лентахъ и пишетъ циркуляры: быть твердымъ и не взирать! Потомъ снится, что онъ ходитъ по берегамъ Евфрата и Тигра...

— Ева, мой другъ,—говоритъ онъ.

Но вотъ и сны всѣ пересмотрѣлъ; надо вставать.

— Сенька! — опять кричитъ онъ, забывшись, но вдругъ вспомнитъ... и поникнетъ головою.

— Чѣмъ бы, однако, заняться? — спрашиваетъ онъ себя.—Хоть бы лѣшаго какого-нибудь нелегкая принесла!

И вотъ по этому его слову вдругъ пріѣзжаетъ самъ капитанъ-исправникъ. Обрадовался ему глупый помѣщикъ несказанно; побѣжалъ въ шкапъ, вынулъ два печатныхъ пряника и думаетъ: «ну, этотъ, кажется, останется доволенъ!»

— Скажите, пожалуйста, господинъ помѣщикъ, какимъ это чудомъ всѣ ваши временно-обязанные вдругъ исчезли?— спрашиваетъ исправникъ.

— А вотъ такъ и такъ, Богъ, по молитвѣ моей, всѣ владѣнія мои отъ мужика совершенно очистилъ.

— Такъ-съ; а не извѣстно ли вамъ, господинъ помѣщикъ, кто подати за нихъ платить будетъ?

— Подати?.. это они! это они сами! это ихъ священнѣйшій долгъ и обязанность!

— Такъ-съ; а какимъ манеромъ эту подать съ нихъ взыскать можно, коли они, по вашей молитвѣ, по лицу земли разсѣяны?

— Ужъ это... не знаю... я, съ своей стороны, платить не согласенъ!

— А извѣстно ли вамъ, господинъ помѣщикъ, что казначейство безъ податей и повинностей, а тѣмъ паче безъ винной и соляной регалій, существовать не можетъ?

— Я что-жъ... я готовъ! рюмку водки... я заплачу.

— Да вы знаете ли, что, по милости вашей, у насъ на базарѣ ни куска мяса, ни фунта хлѣба купить нельзя? Знаете ли вы, чѣмъ это пахнетъ?

— Помилуйте! я, съ своей стороны, готовъ пожертвовать. Вотъ цѣлыхъ два пряника!

— Глупый же вы, господинъ помѣщикъ!—молвилъ исправникъ, повернулся и уѣхалъ, не взглянувъ даже на печатные пряники.

Задумался на этотъ разъ помѣщикъ не на шутку. Вотъ уже третій человѣкъ его дуракомъ чествуетъ, третій человѣкъ посмотритъ-посмотритъ на него, плюнетъ и отойдетъ. Неужто онъ въ самомъ дѣлѣ дуракъ? неужто та непреклонность, которую онъ такъ лелѣялъ въ душѣ своей, въ переводѣ на обыкновенный языкъ, означаетъ только глупость и безуміе? и неужто, вслѣдствіе одной его непреклонности, остановились и подати, и регаліи, и не стало возможности достать на базарѣ ни фунта муки, ни куска мяса?

И какъ былъ онъ помѣщикъ глупый, то сначала даже фыркнулъ отъ удовольствія при мысли, какую онъ штуку сыгралъ, но потомъ вспомнилъ слова исправника: «а знаете ли, чѣмъ это пахнетъ?»—и струсилъ не на шутку.

Сталъ онъ, по обыкновенію, ходить взадъ да впередъ по комнатамъ и все думаетъ: «чѣмъ же это пахнетъ? ужъ не пахнетъ ли водвореніемъ какимъ? Напримѣръ, Чебоксарами, или, быть-можетъ, Варнавинымъ?»

— Хоть бы въ Чебоксары, что ли, по крайней мѣрѣ, убѣдился бы міръ, что̀ значитъ твердость души!—говоритъ помѣщикъ, а самъ по секрету отъ себя ужъ думаетъ: «въ Чебоксарахъ-то я, можетъ-быть, мужика бы моего милаго увидалъ!» Походитъ помѣщикъ, и посидитъ, и опять походитъ. Къ чему ни подойдетъ, все, кажется, такъ и говоритъ: а глупый ты, господинъ помѣщикъ! Видитъ онъ — бѣжитъ черезъ комнату мышонокъ и крадется къ картамъ, которыми онъ гранъ-пасьянсъ дѣлалъ и достаточно уже замаслилъ, чтобъ возбудить ими мышиный аппетитъ.

— Кшш!—бросился онъ на мышонка.

Но мышонокъ былъ умный и понималъ, что помѣщикъ безъ Сеньки никакого вреда ему сдѣлать не можетъ. Онъ только хвостомъ вильнулъ въ отвѣтъ на грозное восклицаніе помѣщика и чрезъ мгновеніе уже выглядывалъ на него изъ-подъ дивана, какъ будто говоря: погоди, глупый помѣщикъ, то ли еще будетъ, я не только карты, а и халатъ твой съѣмъ, какъ ты его позамаслишь какъ слѣдуетъ!

Много ли, мало ли времени прошло, только видитъ помѣщикъ, что въ саду у него дорожки репейникомъ поросли, въ кустахъ змѣи да гады всякіе кишмя-кишатъ, а въ паркѣ звѣри дикіе воютъ. Однажды къ самой усадьбѣ подошелъ медвѣдь, сѣлъ на корточкахъ, поглядываетъ въ окошки на помѣщика и облизывается.

— Сенька!—вскрикнулъ помѣщикъ, но вдругъ спохватился... и заплакалъ.

Однако твердость души все еще не покидала его. Нѣсколько разъ онъ ослабѣвалъ, но какъ только почувствуетъ, что сердце у него начнетъ растворяться, сейчасъ бросится къ газетѣ «Вѣсть» и въ одну минуту ожесточится опять.

— Нѣтъ, лучше совсѣмъ одичаю, лучше пусть буду съ дикими звѣрьми по лѣсамъ скитаться, но да не скажетъ никто, что россійскій дворянинъ, князь Урусъ-Кучумъ-Кильдибаевъ, отъ принциповъ отступилъ!

И вотъ онъ одичалъ. Хоть въ это время наступила уже осень, и морозцы стояли порядочные, но онъ не чувствовалъ даже холода. Весь онъ, съ головы до ногъ, обросъ волосами, словно древній Исавъ, а ногти у него сдѣлались какъ желѣзные. Сморкаться ужъ онъ давно пересталъ, хо-

дилъ же все больше на четверенькахъ и даже удивлялся, какъ онъ прежде не замѣчалъ, что такой способъ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратилъ даже способность произносить членораздѣльные звуки и усвоилъ себѣ какой-то особенный побѣдный кликъ—среднее между свистомъ, шипѣньемъ и рявканьемъ. Но хвоста еще не пріобрѣлъ.

Выйдетъ онъ въ свой паркъ, въ которомъ онъ когда-то нѣжилъ свое тѣло рыхлое, бѣлое, разсыпчатое, какъ кошка въ одинъ мигъ взлѣзетъ на самую вершину дерева и стережетъ оттуда. Прибѣжитъ-это заяцъ, встанетъ на заднія лапки и прислушивается, нѣтъ ли откуда опасности,—а онъ ужъ тутъ какъ тутъ. Словно стрѣла соскочитъ съ дерева, вцѣпится въ свою добычу, разорветъ ее ногтями, да такъ со всѣми внутренностями, даже со шкурой, и съѣстъ.

И сдѣлался онъ силенъ ужасно, до того силенъ, что даже счелъ себя вправѣ войти въ дружескія сношенія съ тѣмъ самымъ медвѣдемъ, который нѣкогда посматривалъ на него въ окошко.

— Хочешь, Михайло Иванычъ, походы вмѣстѣ на зайцевъ будемъ дѣлать?—сказалъ онъ медвѣдю.

— Хотѣть — отчего не хотѣть, — отвѣчалъ медвѣдь: — только, братъ, ты напрасно мужика этого уничтожилъ!

— А почему такъ?

— А потому, что мужика этого ѣсть не въ примѣръ способнѣе было, нежели вашего брата-дворянина. И потому скажу тебѣ прямо: глупый ты помѣщикъ, хоть мнѣ и другъ!

Между тѣмъ капитанъ-исправникъ хоть и покровительствовалъ помѣщикамъ, но въ виду такого факта, какъ исчезновеніе съ лица земли мужика, смолчать не посмѣлъ. Встревожилось его донесеніемъ и губернское начальство, пишетъ къ нему: «а какъ вы думаете, кто теперь подати будетъ вносить? кто будетъ вино по кабакамъ пить? кто будетъ невинными занятіями заниматься?» Отвѣчаетъ капитанъ-исправникъ: «казначейство-де теперь упразднить слѣдуетъ, а невинныя-де занятія и сами собой упразднились, вмѣсто же нихъ распространились въ уѣздѣ грабежи, разбой и убійства. На-дняхъ-де и его, исправника, какой-то медвѣдь не медвѣдь, человѣкъ не человѣкъ едва не задралъ, въ каковомъ человѣко-медвѣдѣ и подозрѣваетъ онъ того самаго глупаго помѣщика, который всей смутѣ зачинщикъ».

Обезпокоились начальники и собрали совѣтъ. Рѣшили:

мужика изловить и водворить, а глупому помѣщику, который всей смутѣ зачинщикъ, наиделикатнѣйше внушить, дабы онъ фанфаронства свои прекратилъ и поступленію въ казначейство податей препятствія не чинилъ.

Какъ нарочно, въ это время чрезъ губернскій городъ летѣлъ отроившійся рой мужиковъ и осыпалъ всю базарную площадь. Сейчасъ эту благодать убрали, посадили въ плетушку и послали въ уѣздъ.

И вдругъ опять запахло въ томъ уѣздѣ мякиной и овчинами; но въ то же время на базарѣ появились и мука, и мясо, и живность всякая, а податей въ одинъ день поступило столько, что казначей, увидавъ такую груду денегъ, только всплеснулъ руками отъ удивленія и вскрикнулъ:

— И откуда вы, шельмы, берете?!

Что же сдѣлалось, однако, съ помѣщикомъ? — спросятъ меня читатели. На это я могу сказать, что съ большимъ трудомъ, но и его изловили. Изловивши, сейчасъ же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затѣмъ капитанъ-исправникъ сдѣлалъ ему надлежащее внушеніе, отобралъ газету «Вѣсть» и, поручивъ его надзору Сеньки, уѣхалъ.

Онъ живъ и донынѣ. Раскладываетъ гранъ-пасьянсъ, тоскуетъ по прежней своей жизни въ лѣсахъ, умывается лишь по принужденію и по временамъ мычитъ.

29.—Медвѣдь на воеводствѣ.

Злодѣйства крупныя и серьёзныя нерѣдко именуются блестящими и въ качествѣ таковыхъ заносятся на скрижали Исторіи. Злодѣйства же малыя и шуточныя именуются срамными, и не только Исторію въ заблужденіе не вводятъ, но и отъ современниковъ не получаютъ похвалы.

I. Топтыгинъ 1-й.

Топтыгинъ 1-й отлично это понималъ. Былъ онъ старый служака-звѣрь, умѣлъ берлоги строить и деревья съ корнями выворачивать; слѣдовательно, до нѣкоторой степени и инженерное искусство зналъ. Но самое драгоцѣнное качество его заключалось въ томъ, что онъ во что бы ни стало на скрижали Исторіи попасть желалъ и ради этого всему на свѣтѣ предпочиталъ блескъ кровопролитій. Такъ что объ

чемъ бы съ нимъ ни заговорили, о торговлѣ ли, о промышленности ли, о наукахъ ли — онъ все на одно поворачивалъ: кровопролитіевъ... кровопролитіевъ... вотъ чего нужно!

За это Левъ произвелъ его въ майорскій чинъ и, въ видѣ временной мѣры, послалъ въ дальній лѣсъ, въ родѣ какъ воеводой, внутреннихъ супостатовъ усмирять.

Узнала лѣсная челядь, что майоръ къ нимъ въ лѣсъ ѣдетъ, и задумалась. Такая въ ту пору вольница между лѣсными мужиками шла, что всякій по-своему норовилъ. Звѣри—рыскали, птицы—летали, насѣкомыя—ползали; а въ ногу никто маршировать не хотѣлъ. Понимали мужики, что ихъ за это не похвалятъ, но сами собой остепениться ужъ не могли.

«Вотъ ужо пріѣдетъ майоръ,—говорили они:—засыплетъ онъ намъ—тогда мы и узнаемъ, какъ Кузькину тещу зовутъ!»

И точно: не успѣли мужики оглянуться, а Топтыгинъ ужъ тутъ какъ тутъ. Прибѣжалъ онъ на воеводство раннимъ утромъ, въ самый Михайловъ день, и сейчасъ же рѣшилъ: быть на завтра кровопролитію. Что заставило его принять такое рѣшеніе — неизвѣстно; ибо онъ, собственно говоря, не былъ золъ, а такъ, скотина.

И непремѣнно бы онъ свой планъ выполнилъ, если бы лукавый его не попуталъ.

Дѣло въ томъ, что, въ ожиданіи кровопролитія, задумалъ Топтыгинъ именины свои отпраздновать. Купилъ ведро водки и напился въ-одиночку пьянъ. А такъ какъ берлоги онъ для себя еще не выстроилъ, то пришлось ему, пьяному, среди полянки спать лечь. Улегся и захрапѣлъ, а подъ утро, какъ на грѣхъ, случилось мимо той полянки летѣть Чижику. Особенный это былъ Чижикъ, умный; и ведёрко таскать умѣлъ, и спѣть, по нуждѣ, за канарейку могъ. Всѣ птицы, глядя на него, радовались, говорили: увидите, что нашъ Чижикъ со временемъ поноску носить будетъ! Даже до Льва объ его умѣ слухъ дошелъ, и не разъ онъ Ослу говаривалъ (Оселъ въ ту пору у него въ совѣтахъ за мудреца слылъ): хоть однимъ бы ухомъ послушалъ, какъ Чижикъ у меня въ когтяхъ пѣть будетъ!

Но какъ ни уменъ былъ Чижикъ, а тутъ не догадался. Думалъ, что гнилой чурбанъ на полянѣ валяется, сѣлъ на медвѣдя и запѣлъ. А у Топтыгина сонъ тонокъ. Чуетъ онъ, что по тушѣ у него кто-то прыгаетъ, и думаетъ: безпремѣнно это долженъ быть внутренній супостатъ!

— Кто тамъ бездѣльнымъ обычаемъ по воеводской тушѣ прыгаетъ?—рявкнулъ онъ, наконецъ.

Улетѣть бы Чижику надо, а онъ и тутъ не догадался. Сидитъ себѣ да дивится: чурбанъ заговорилъ! Ну, натурально, майоръ не стерпѣлъ; сгребъ грубьяна въ лапу, да, не разсмотрѣвши съ похмелья, взялъ и съѣлъ.

Съѣсть-то съѣлъ, да съѣвши спохватился: «что такое я съѣлъ? И какой же это супостатъ, отъ котораго даже на зубахъ ничего не осталось?» Думалъ-думалъ, но ничего, скотина, не выдумалъ. Съѣлъ—только и всего. И никакимъ родомъ этого глупаго дѣла поправить нельзя. Потому что, ежели даже самую невинную птицу сожрать, то и она точно такъ же въ майорскомъ брюхѣ сгніетъ, какъ и самая преступная.

— Зачѣмъ я его съѣлъ?—допрашивалъ самъ себя Топтыгинъ:—меня Левъ, посылаючи сюда, предупреждалъ: дѣлай знатныя дѣла, отъ бездѣльныхъ же стерегись! а я, съ перваго же шага, чижей глотать вздумалъ! Ну, да ничего! первый блинъ всегда комомъ! Хорошо, что, по раннему времени, никто дурачества моего не видалъ.

Увы! не зналъ, видно, Топтыгинъ, что, въ сферѣ административной дѣятельности, первая-то ошибка и есть самая фатальная. Что, давши съ самаго начала административному бѣгу направленіе вкось, оно впослѣдствіи все больше и больше будетъ отдалять его отъ прямой линіи...

И точно, не успѣлъ онъ успокоиться на мысли, что никто его дурачества не видѣлъ, какъ слышитъ, что скворка ему съ сосѣдней березы кричитъ:

— Дуракъ! его прислали къ одному знаменателю насъ приводить, а онъ Чижика съѣлъ!

Взбѣленился майоръ; полѣзъ за скворцомъ на березу, а скворецъ, не будь глупъ, на другую перепорхнулъ. Медвѣдь—на другую, а скворка — опять на первую. Лазилъ-лазилъ майоръ, мочи нѣтъ измучился. А глядя на скворца, и ворона осмѣлилась:

— Вотъ такъ скотина! добрые люди кровопролитіевъ отъ него ждали, а онъ Чижика съѣлъ!

Онъ—за вороной, анъ изъ-за куста заинька выпрыгнулъ:

— Бурбонъ стоеросовый! Чижика съѣлъ!

Комаръ изъ-за тридевять земель прилетѣлъ:

— Risum teneatis, amici! Чижика съѣлъ!

Лягушка въ болотѣ квакнула:

— Олухъ царя небеснаго! Чижика съѣлъ!

Словомъ сказать, и смѣшно, и обидно. Тычется майоръ то въ одну, то въ другую сторону, хочетъ насмѣшниковъ

переловить, и все мимо. И что больше старается, то у него глупѣе выходитъ. Не прошло и часу, какъ въ лѣсу ужъ всѣ; отъ мала до велика, знали, что Топтыгинъ-майоръ Чижика съѣлъ. Весь лѣсъ вознегодовалъ. Не того отъ новаго воеводы ждали. Думали, что онъ дебри и болота блескомъ кровопролитій воспрославитъ, а онъ натко что сдѣлалъ! И куда ни направитъ Михайло Ивановичъ свой путь, вездѣ по сторонамъ словно стонъ стоитъ: «дурень ты, дурень! Чижика съѣлъ!»

Заметался Топтыгинъ, благимъ матомъ взревѣлъ. Только однажды въ жизни съ нимъ нѣчто подобное случилось. Выгнали его въ ту пору изъ берлоги и напустили стаю шавокъ—такъ и впились, собачьи дѣти, и въ уши, и въ загривокъ, и подъ хвостъ! Вотъ такъ ужъ подлинно онъ смерть въ глаза видѣлъ! Однако все-таки кой-какъ отбоярился: штукъ съ десятокъ шавокъ перекалѣчилъ, а отъ остальныхъ утёкъ. А теперь и утечь нѣкуда. Всякій кустъ, всякое дерево, всякая кочка, словно живые, дразнятся, а онъ — слушай! Филинъ, ужъ на что глупая птица, а и тотъ, наслышавшись отъ другихъ, по ночамъ ухаетъ: «дуракъ! Чижика съѣлъ!»

Но что всего важнѣе: не только онъ самъ униженіе терпитъ, но видитъ, что и начальственный авторитетъ, въ самомъ своемъ принципѣ, съ каждымъ днемъ все больше да больше умаляется. Того гляди, и въ сосѣднія трущобы слухъ пройдетъ, и тамъ его на смѣхъ подымутъ!

Удивительно, какъ иногда причины самыя ничтожныя къ самымъ серьезнымъ послѣдствіямъ приводятъ. Маленькая птица Чижикъ, а такому, можно сказать, стервятнику репутацію навѣкъ изгадилъ! Покуда не съѣлъ его майоръ, никому и на мысль не приходило сказать, что Топтыгинъ дуракъ. Всѣ говорили: «ваше степенство! вы—наши отцы, мы—ваши дѣти!» Всѣ знали, что самъ Оселъ за него передъ Львомъ предстательствуетъ, а ужъ если Оселъ кого цѣнитъ—стало быть, онъ того стоитъ. И вотъ, благодаря какой-то ничтожнѣйшей административной ошибкѣ, всѣмъ сразу открылось. У всѣхъ словно само собой съ языка слетѣло: «дуракъ! Чижика съѣлъ!» Чижикъ! скажите на милость!

«Этакая вѣдь, братцы, уморушка!»—крикнули хоромъ воробьи, ежи и лягушки.

Сначала о поступкѣ Топтыгина говорили съ негодованіемъ (за родную трущобу стыдно); потомъ стали дразниться; сначала дразнили окольные, потомъ начали вторить и даль-

ніе; сначала птицы, потомъ лягушки, комары, мухи. Все болото, весь лѣсъ.

— Такъ вотъ оно, общественное-то мнѣніе что значитъ!— тужилъ Топтыгинъ, утирая лапой обшарпанное въ кустахъ рыло: — а потомъ, пожалуй, и на скрижали Исторіи попадешь... съ Чижикомъ!

А Исторія такое большое дѣло, что и Топтыгинъ, при упоминовеніи объ ней, задумывался. Самъ по себѣ онъ зналъ объ ней очень смутно, но отъ Осла слыхалъ, что даже Левъ ея боится: не хорошо, говоритъ, въ звѣриномъ образѣ на скрижали попасть! Исторія только отмѣннѣйшія кровопролитія цѣнитъ, а о малыхъ упоминаетъ съ оплеваніемъ. Вотъ если-бъ онъ, для начала, стадо коровъ перерѣзалъ, цѣлую деревню воровствомъ обездолилъ, или избу у полѣсовщика по бревну раскаталъ — ну, тогда Исторія... а впрочемъ, наплевать бы тогда на Исторію! Навѣрное, Оселъ бы тогда ему лестное письмо написалъ! А теперь, смотрите-ка! — съѣлъ Чижика и тѣмъ себя воспрославилъ! Изъ-за тысячи верстъ прискакалъ, сколько прогоновъ и порціоновъ извелъ — и первымъ дѣломъ Чижика съѣлъ... ахъ! Мальчишки на школьныхъ скамьяхъ будутъ знать! И дикій тунгузъ, и сынъ степей калмыкъ—всѣ будутъ говорить: майора Топтыгина послали супостата покорить, а онъ, вмѣсто того, Чижика съѣлъ! Вѣдь у него, у майора, у самого дѣти въ гимназію ходятъ! До сихъ поръ ихъ майорскими дѣтьми величали, а напредки проходу имъ школяры не дадутъ, будутъ кричать: Чижика съѣлъ! Чижика съѣлъ! Сколько потребуется генеральныхъ кровопролитіевъ учинить, чтобъ экую пакость загладить! Сколько народу ограбить, разорить, загубить!

Мечется Топтыгинъ, ночей не спитъ, докладовъ не принимаетъ, все объ одномъ думаетъ: «ахъ, что-то Оселъ объ моей майорской проказѣ скажетъ!»

И вдругъ, словно сонъ въ руку, предписаніе отъ Осла: «До свѣдѣнія его высокостепенства господина Льва дошло, что вы внутреннихъ враговъ не усмирили, а только Чижика съѣли—правда ли?»

Пришлось сознаваться. Покаялся Топтыгинъ, написалъ рапортъ и ждетъ. Разумѣется, никакого иного отвѣта и быть не могло, кромѣ одного: «дуракъ! Чижика съѣлъ!» Но частнымъ образомъ Оселъ далъ виноватому знать (медвѣдь-то ему кадочку съ медомъ въ презентъ при рапортѣ отослалъ): «непремѣнно вамъ нужно особли-

вое кровопролитіе учинить, дабы гнусное оно впечатлѣніе истребить...»

— Коли за этимъ дѣло стало, такъ я еще репутацію свою поправлю!—молвилъ Михайло Иванычъ, и сейчасъ же напалъ на стадо барановъ и всѣхъ до единаго перерѣзалъ. Потомъ бабу въ малинникѣ поймалъ и лукошко съ малиной отнялъ. Потомъ сталъ корни и нити разыскивать, да кстати цѣлый лѣсъ основъ выворотилъ. Наконецъ, забрался ночью въ типографію, станки разбилъ, шрифтъ смѣшалъ, а произведенія ума человѣческаго въ отхожую яму свалилъ.

Сдѣлавши все это, сѣлъ, бездѣльникъ, на корточки и ждетъ поощренія.

Однако ожиданія его не сбылись.

Хотя Оселъ, воспользовавшись первымъ же случаемъ, подвиги Топтыгина въ лучшемъ видѣ расписалъ, но Левъ не только не наградилъ его, но собственноланно на Ословомъ докладѣ сбоку нацарапалъ: «не вѣрю, штопъ сей офицеръ храбръ былъ; ибо это тотъ самый Таптыгинъ, который маво любимова Чижика сіелъ!»

И приказалъ отчислить его по инфантеріи.

Такъ и остался Топтыгинъ 1-й майоромъ навѣкъ. А если-бъ онъ прямо съ типографій началъ, — быть бы ему теперь подполковникомъ.

II. Топтыгинъ 2-й.

Но бываетъ и такъ, что даже блестящія злодѣянія въ прокъ не идутъ. Плачевный примѣръ этому суждено было представить другому Топтыгину.

Въ то самое время, когда Топтыгинъ 1-й отличался въ своей трущобѣ, въ другую такую же трущобу послалъ Левъ другого воеводу, тоже майора и тоже Топтыгина. Этотъ былъ умнѣе своего тезки и, что̀ всего важнѣе, понималъ, что въ дѣлѣ административной репутаціи отъ перваго шага зависитъ все будущее администратора. Поэтому, еще до полученія прогонныхъ денегъ, онъ зрѣло обдумалъ свой планъ кампаніи и тогда только побѣжалъ на воеводство.

Тѣмъ не менѣе, карьера его была еще менѣе продолжительна, нежели Топтыгина 1-го.

Главнымъ образомъ, онъ разсчитывалъ на то, что какъ пріѣдетъ на мѣсто, такъ сейчасъ же разоритъ типографію: это и Оселъ ему совѣтовалъ. Оказалось, однако-жъ, что во

ввѣренной ему трущобѣ ни одной типографіи нѣтъ; хотя же старожилы и припоминали, что существовалъ нѣкогда—вонъ подъ той сосной—казенный ручной станокъ, который лѣсные куранты тискалъ, но еще при Магницкомъ этотъ станокъ былъ публично сожженъ, а оставлено было только цензурное вѣдомство, которое возложило обязанность, исполнявшуюся курантами, на скворцовъ. Послѣдніе каждое утро, летая по лѣсу, разносили политическія новости дня, и никто отъ того никакихъ неудобствъ не ощущалъ. Затѣмъ извѣстно было еще, что дятелъ на древесной корѣ, не переставаючи, пишетъ «Исторію лѣсной трущобы», но и эту кору, по мѣрѣ начертанія на ней письменъ, точили и растаскивали воры-муравьи. И такимъ образомъ лѣсные мужики жили, не зная ни прошедшаго, ни настоящаго и не заглядывая въ будущее. Или, другими словами, слонялись изъ угла въ уголъ, окутанные мракомъ временъ.

Тогда майоръ спросилъ, нѣтъ ли въ лѣсу, по крайней мѣрѣ, университета или хоть академіи, дабы ихъ спалить; но оказалось, что и тутъ Магницкій его намѣренія предвосхитилъ: университетъ въ полномъ составѣ поверстал въ линейные батальоны, а академиковъ заточилъ въ дупло, гдѣ они и поднесь въ летаргическомъ снѣ пребываютъ. Разсердился Топтыгинъ и потребовалъ, чтобъ къ нему привели Магницкаго, дабы его растерзать («similia similibus curantur»), но получилъ въ отвѣтъ, что Магницкій, волею Божіей, помре.

Нечего дѣлать, потужилъ Топтыгинъ 2-й, но въ унынie не впалъ. «Коли душу у нихъ, у мерзавцевъ, за неимѣніемъ, погубить нельзя,—сказалъ онъ себѣ:—стало-быть, прямо за шкуру приниматься надо!»

Сказано—сдѣлано. Выбралъ онъ ночку потемнѣе и забрался во дворъ къ сосѣднему мужику. По очереди, лошадь задралъ, корову, свинью, пару овецъ, и хоть знаетъ, негодяй, что ужъ въ лоскъ мужичка разорилъ, а все ему мало кажется. «Постой, говоритъ, я у тебя дворъ по бревну раскатаю, навѣки тебя съ сумой по-міру пущу!» И, сказавши это, полѣзъ на крышу, чтобъ злодѣйство свое выполнить. Только не разсчиталъ, что матица-то гнилая была. Какъ только онъ на нее ступилъ, она возьми да и провались. Повисъ майоръ на воздухѣ; видитъ, что неминучее дѣло объ землю грохнуться, а ему не хочется. Облапилъ обломокъ бревна и заревѣлъ.

Сбѣжались на ревъ мужики, кто съ коломъ, кто съ топоромъ, а кто и съ рогатиной. Куда ни обернутся кругомъ—

вездѣ погромъ. Загородки поломаны, дворъ раскрытъ, въ хлѣвахъ лужи крови стоятъ. А посреди двора и самъ воротъ виситъ. Взорвало мужиковъ.

— Ишь, анаѳема! передъ начальствомъ выслужиться захотѣлъ, а мы черезъ это пропадать должны! А нутко-то, братцы, уважимъ его!

Сказавши это, поставили рогатину на то самое мѣсто, гдѣ Топтыгину упасть надлежало, и уважили. Затѣмъ содрали съ него шкуру, а стерво вывезли въ болото, гдѣ къ утру его расклевали хищныя птицы.

Такимъ образомъ, явилась новая лѣсная практика, которая установила, что и блестящія злодѣйства могутъ имѣть послѣдствія не менѣе плачевныя, какъ и злодѣйства срамныя.

Эту вновь установившуюся практику подтвердила и лѣсная Исторія, присовокупивъ, для вящей вразумительности, что принятое въ историческихъ руководствахъ (для среднихъ учебныхъ заведеній издаваемыхъ) подраздѣленіе злодѣйствъ на блестящія и срамныя упраздняется навсегда, и что отнынѣ всѣмъ вообще злодѣйствамъ, каковы бы ни были ихъ размѣры, присвояется наименованіе «срамныхъ».

По докладу о семъ Осла, Левъ собственнолапно на ономъ нацарапалъ такъ: «О приговорѣ Исторіи дать знать майору Топтыгину 3-му: пускай изворачивается».

III. Топтыгинъ 3-й.

Третій Топтыгинъ былъ умнѣе своихъ тезоименитыхъ предшественниковъ. «Дѣло-то выходитъ бросовое!—сказалъ онъ себѣ, прочитавъ резолюцію Льва:—мало напакостишь—поднимутъ на смѣхъ; много напакостишь — на рогатину поднимутъ... Полно, ѣхать ли ужъ?»

Спрашивалъ онъ рапортомъ у Осла: «ежели-де ни большія, ни малыя злодѣянія совершать не разрѣшается, то нельзя ли хоть среднія злодѣянія совершать?» — но Оселъ отвѣтилъ уклончиво: «всѣ-де нужныя по сему предмету указанія вы найдете въ лѣсномъ уставѣ». Заглянулъ онъ въ лѣсной уставъ, но тамъ обо всемъ говорилось: и о пушной подати, и о грибной, и объ ягодной, даже объ шишкахъ еловыхъ, а о злодѣяніяхъ — молчокъ! И затѣмъ, на всѣ его дальнѣйшія докуки и настоянія, Оселъ отвѣчалъ съ одинаковою загадочностью: «дѣйствуйте по пристойности!»

— Вотъ до какого мы времени дожили,—ропталъ Топты-

гинъ 3-й:—чинъ на тебя большой накладываютъ, а какими злодѣйствами его подтвердить—не указываютъ!

И опять мелькнуло у него въ головѣ: «полно, ѣхать ли?» и если-бъ не вспомнилось, какая уйма подъемныхъ и прогонныхъ денегъ для него въ казначействѣ припасена, право, кажется, не поѣхалъ бы!

Прибылъ онъ въ трущобу на своихъ на двоихъ очень скромно. Ни официальныхъ пріемовъ не назначилъ, ни докладныхъ дней, а прямо юркнулъ въ берлогу, засунулъ лапу въ хайло и залегъ. Лежитъ и думаетъ: «даже съ зайца шкуру содрать нельзя—и то, пожалуй, за злодѣйство сочтутъ! И кто сочтетъ? добро бы Левъ или Оселъ—это бы куда ни шло! — а то мужики какіе-то. Да Исторію еще какую-то нашли—вотъ ужъ подлинно ис-то-рі-я!» Хохочетъ Топтыгинъ въ берлогѣ, про Исторію вспоминаючи, а на сердцѣ у него жутко: чуетъ онъ, что самъ Левъ Исторіи боится... Какъ тутъ будешь лѣсную сволочь подтягивать—и ума приложить не можетъ. Спрашиваютъ съ него много, а разбойничать не велятъ! Въ какую бы сторону онъ ни устремился, только что разбѣжится — стой, погоди! не въ свое мѣсто заѣхалъ! Вездѣ «права» завелись. Даже у бѣлки, и у той нынче права! Дробину тебѣ въ носъ — вотъ какія твои права! У *нихъ* — права, а у него, вишь, обязанности! Да и обязанностей-то настоящихъ нѣтъ — просто пустое мѣсто! *Они*—другъ друга поѣдомъ ѣдятъ, а онъ—задрать никого не смѣетъ! На что похоже! А все Оселъ! Онъ, именно онъ мудритъ, онъ эту канитель разводитъ! «Кто осла дивія быстра содѣлалъ? узы ему кто разрѣшилъ?»—Вотъ объ чемъ нужно бы ему всечасно помнить, а онъ объ «правахъ» мычитъ! «Дѣйствуйте по пристойности!»—ахъ!

Долго онъ такимъ образомъ лапу сосалъ и даже настоящимъ образомъ въ управленіе ввѣренной ему трущобой не вступалъ. Пробовалъ онъ однажды объ себѣ «по пристойности» заявить, влѣзъ на самую высокую сосну и оттуда не своимъ голосомъ рявкнулъ, но и отъ этого пользы не вышло. Лѣсная сволочь, давно не видя злодѣйствъ, до того обнаглѣла, что, услышавши его ревъ, только молвила: «чу, Мишка реветъ! гляди, что лапу во снѣ прокусилъ!» Съ тѣмъ и отъѣхалъ Топтыгинъ 3-й опять въ берлогу...

Но повторяю: онъ былъ медвѣдь умный и не затѣмъ въ берлогу залегъ, чтобы въ безплодныхъ сѣтованіяхъ изнывать, а затѣмъ, чтобъ до чего-нибудь настоящаго додуматься.

И додумался.

Дѣло въ томъ, что покуда онъ лежалъ, въ лѣсу все само собой установленнымъ порядкомъ шло. Порядокъ этотъ, конечно, нельзя было назвать вполнѣ «благополучнымъ», но вѣдь задача воеводства совсѣмъ не въ томъ состоитъ, чтобы достигать какого-то мечтательнаго благополучія, а въ томъ, чтобы изстари заведенный порядокъ (хотя бы и не благополучный) отъ поврежденій оберегать и ограждать. И не въ томъ, чтобы какія-то большія, среднія или малыя злодѣйства устраивать, а довольствоваться злодѣйствами «натуральными». Ежели изстари повелось, что волки съ зайцевъ шкуру деруть, а коршуны и совы воронъ ощипываютъ, то, хотя въ такомъ «порядкѣ» ничего благополучнаго нѣтъ, но такъ какъ это все-таки «порядокъ» — стало-быть, и слѣдуетъ признать его за таковой. А ежели при этомъ ни зайцы, ни вороны не только не ропщутъ, но продолжаютъ плодиться и населять землю, то это значитъ, что «порядокъ» не выходитъ изъ опредѣленныхъ ему искони границъ. Неужели и этихъ «натуральныхъ» злодѣйствъ недостаточно?

Въ данномъ случаѣ, все именно такъ происходило. Ни разу лѣсъ не измѣнилъ той физіономіи, которая ему приличествовала. И днемъ, и ночью онъ гремѣлъ милліонами голосовъ, изъ которыхъ одни представляли агонизирующій вопль, другіе—побѣдный кликъ. И наружныя формы, и звуки, и свѣто-тѣни, и составъ населенія—все представлялось неизмѣннымъ, какъ бы застывшимъ. Словомъ сказать, это былъ порядокъ, до такой степени установившійся и прочный, что при видѣ его даже самому лютому, рьяному воеводѣ не могла придти въ голову мысль о какихъ-либо увѣнчательныхъ злодѣйствахъ, да еще «подъ личною вашего степенства отвѣтственностью».

Такимъ образомъ, передъ умственнымъ взоромъ Топтыгина 3-го вдругъ выросла цѣлая теорія неблагополучнаго благополучія. Выросла со всѣми подробностями и даже съ готовой провѣркой на практикѣ. И вспомнилось ему, какъ однажды, въ дружеской бесѣдѣ, Осель говорилъ:

— Объ какихъ это вы все злодѣйствахъ допрашиваете? Главное въ нашемъ ремеслѣ — это: laissez passer, laissez faire! Или, по-русски выражаясь: дуракъ на дуракѣ сидитъ и дуракомъ погоняетъ! Вотъ вамъ. Если вы, мой другъ, станете этого правила держаться, то и злодѣйство само собой сдѣлается, и все у васъ будетъ обстоять благополучно!

Такъ оно именно по его и выходитъ. Надо только сидѣть и радоваться, что дуракъ дурака дуракомъ погоняетъ, а все остальное приложится.

— Я даже не понимаю, зачѣмъ воеводъ посылаютъ! вѣдь и безъ нихъ... слиберальничалъ-было майоръ, но, вспомнивъ о присвоенномъ ему содержаніи, замялъ нескромную мысль:—ничего, ничего, молчаніе...

Съ этими словами онъ перевернулся на другой бокъ и рѣшился выходить изъ берлоги только для полученія присвоеннаго содержанія. И затѣмъ все пошло въ лѣсу какъ по маслу. Майоръ спалъ, а мужики приносили поросятъ, куръ, меду и даже сивухи, и складывали свои дани у входа въ берлогу. Въ указанные часы майоръ просыпался, выходилъ изъ берлоги и жралъ.

Такимъ образомъ пролежалъ Топтыгинъ 3-й въ берлогѣ многіе годы. И такъ какъ неблагополучные, но вожделѣнные лѣсные порядки ни разу въ это время нарушены не были, и такъ какъ никакихъ при этомъ злодѣйствъ, кромѣ «натуральныхъ», не производилось, то и Левъ не оставилъ его милостью. Сначала произвелъ въ подполковники, потомъ въ полковники и наконецъ...

Но тутъ явились въ трущобу мужики-лукаши, и вышелъ Топтыгинъ 3-й изъ берлоги въ поле. И постигла его участь всѣхъ пушныхъ звѣрей.

---

30. — Мала рыбка, а лучше большого таракана (Вяленая вобла).

Воблу поймали, вычистили внутренности и вывѣсили на веревочкѣ на солнце: пускай провялится. Повисѣла вобла денекъ-другой, а на третій у ней и кожа на брюхѣ сморщилась, и голова подсохла, и мозгъ, какой въ головѣ былъ, вывѣтрился, дряблый сдѣлался.

И стала вобла жить да поживать *).

— Хорошо теперь мнѣ,—говорила вяленая вобла:—ни лишнихъ мыслей, ни лишнихъ чувствъ, ни лишней совѣсти—ничего у меня не будетъ! Все лишнее вывѣтрили, вычистили и вывялили, и буду я свою линію полегоньку да потихоньку вести!

*) Я знаю, что въ натурѣ этого не бываетъ, но такъ какъ изъ сказки слова не выкинешь, то, видно, быть этому дѣлу такъ. *Авт.*

Что бываютъ на свѣтѣ лишнія мысли, лишняя совѣсть, лишнія чувства — объ этомъ, еще живучи на волѣ, вобла слышала. И никогда, признаться, не завидовала тѣмъ, которые такими излишками обладали. Отъ рожденія она была вобла степенная, не въ свое дѣло носа не совала, за «лишнимъ» не гналась, въ эмпиреяхъ не витала и неблагонадежныхъ компаній удалялась. Еще гдѣ, бывало, заслышитъ, что пискари о конституціяхъ болтаютъ — сейчасъ налѣво кругомъ и подъ лопухъ схоронится. Однако же и за всѣмъ тѣмъ не безъ страху жила, потому что неровенъ часъ, вдругъ... «Мудреное нынче время! — думала она: — такое мудреное, что и невинный за виноватаго какъ разъ сойдетъ! Начнутъ-это шарить, а ты *около* гдѣ-нибудь спряталась—анъ и *около* пошарятъ! Гдѣ была? по какому случаю? какимъ манеромъ?—Господи, спаси и помилуй!» Стало-быть, можете себѣ представить, какъ она была рада, когда ее изловили и всѣ мысли и чувства у ней выхолостили!

«Теперь милости просимъ! — торжествовала она:—когда угодно и кто угодно! теперь у меня всѣ доказательства на лицо!»

Что̀ именно разумѣла вяленая вобла подъ названіемъ «лишнихъ» мыслей и чувствъ — мнѣ неизвѣстно; но что, дѣйствительно, на нашихъ глазахъ много лишняго завелось — съ этимъ и я не согласиться не могу. Сущности этого лишняго никто еще не называлъ по имени, но всякій смутно чувствуетъ, что куда ни обернись — вездѣ какой-то привѣсокъ выглядываетъ. И хоть ты что̀ хочешь, а надобно этотъ привѣсокъ или въ разсчетъ принять, или такъ его обойти, чтобы онъ и не подумалъ, что его надуваютъ. Все это порождаетъ тьму новыхъ заботъ, осложненій и безпокойствъ вообще. Хочется, по-старинному, прямикомъ пройти, анъ прямикъ буреломомъ завалило, промоинами исковеркало — ну, и ступай за семь верстъ киселя ѣсть. Всякій партикулярный человѣкъ нынче эту тягость сознаетъ, а какое для начальства отъ того отягощеніе — этого ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать. Штаты-то старинные, а дѣла-то новыя; да и въ штатахъ-то въ самыхъ ужъ привѣски завелись. Прежде у чиновника-то чугунная поясница была: какъ сѣлъ на мѣсто въ десять часовъ утра, такъ и не встаетъ до четырехъ—все служитъ! А нынче придетъ онъ въ часъ, ужъ позавтракавши; часъ папироску куритъ, часы куплеты напѣваетъ, а остальное время—около столовъ колобродитъ. И тайны канцелярской совсѣмъ не держитъ.

Начнетъ одно дѣло перелистывать — «посмотрите, какой курьезъ!»—за другое возьмется: «глядите! вѣдь это—отдай все да и мало!» Наберетъ курьезовъ съ три короба, да къ Палкину обѣдать. А какъ ты удержишься, чтобы курьезомъ стѣнъ Палкина трактира не огласить! Да ежели, я вамъ доложу, за каждую канцелярскую нескромность будетъ каторга обѣщана, такъ и тогда отъ нескромностей не уйти!

Спрашивается: съ кѣмъ же тутъ начальству подняться! У всѣхъ есть пособники, а у него нѣтъ; у всѣхъ есть укрыватели, а у него нѣтъ! Какъ тутъ остановить наплывъ «лишняго» въ партикулярномъ мірѣ, когда въ своей собственной цитадели, куда ни вскинь глазами—вездѣ «лишнее» такъ и хлещетъ черезъ край!

Нѣтъ, какъ хотите, а надо когда-нибудь эти привѣски счесть, да и присмотрѣться къ нимъ. Узнать: откуда они пришли? зачѣмъ? куда пролѣзть хотятъ?

Очень, впрочемъ, возможно, что воблѣ эти вопросы и на умъ совсѣмъ не приходили. Однако повторяю: и она, вмѣстѣ съ прочими, когда на волѣ жила, чувствовала, что отъ привѣсковъ ей матъ. И только тогда, когда ее на солнцѣ хорошенько провялило и вывѣтрило, когда она убѣдилась, что внутри у нея ничего не осталось — только тогда она ободрилась и сказала себѣ: «ну, теперь мнѣ на все наплевать!»

И точно: теперь она, противъ прежняго, сдѣлалась куда солиднѣе и благонадежнѣе. Мысли у ней—резонныя, чувства — никого не задѣвающія, совѣсти — на мѣдный пятакъ. Сидитъ себѣ съ краю и говоритъ, какъ пишетъ. По улицѣ пойдетъ, встрѣтится съ кѣмъ-нибудь — откровенно мнѣніе свое выскажетъ и всѣхъ основательностью восхититъ. Не рвется, не мечется, не протестуетъ, не клянетъ, а резонно объ резонныхъ дѣлахъ калякаетъ. О томъ, что тише ѣдешь, дальше будешь, что маленькая рыбка лучше, чѣмъ большой тараканъ, что поспѣшишь — людей насмѣшишь и т. п. А всего больше о томъ, что уши выше лба не растутъ.

— Ахъ, воблушка! какъ ты скучно на бобахъ разводишь! точно тебя тошнитъ!—воскликнетъ собесѣдникъ, ежели онъ изъ свѣженькихъ.

— И всѣмъ скучно сначала,—стыдливо отвѣтитъ воблушка.—Сначала—скучно, а потомъ—хорошо. Вотъ какъ поживешь на свѣтѣ, тогда и объ воблушкѣ вспомнишь, скажешь: спасибо, что уму-разуму учила!

Да нельзя и не сказать спасибо, потому что, ежели по правдѣ разсудить, такъ именно только одна воблушка въ настоящую центру попала. Бываютъ такія обстановочки, когда подлиннаго ума-разума и слыхомъ не слыхать, а есть только воблушкинъ умъ-разумъ. Люди ходятъ какъ сонные, ни къ чему приступиться не умѣютъ, ничему не радуются, ни о чемъ не печалятся. И вдругъ въ ушахъ раздается убаюкивающій шопотъ: потихоньку да полегоньку, двухъ смертей не бывать, одной не миновать... Это она, это воблушка шепчетъ! Спасибо тебѣ, воблушка! правду ты молвила: двухъ смертей не бывать, а одна искони за плечами ходитъ!

Не явись на выручку воблушка, одно бы оставалось—пропàсть. Но она не только на убѣжище указала, а цѣлую цитадель создала. Вотъ ужъ тамъ-то все шито да крыто, тамъ-то ужъ ни о какихъ привѣскахъ и слыхомъ не слыхать! Ѣсть захотѣлось—ѣшь! спать вздумалось—спи! Ходи, сиди, калякай! Къ этому и привѣсить-то ничего нельзя. Ты никого не тронешь, и тебя никто не тронетъ. Спите, други, почивайте!

— И откуда у тебя, воблушка, такая ума палата?— спрашиваютъ ее благодарные пискари, которые, по милости ея совѣтовъ, цѣлы остались.

— Отъ рожденья Богъ меня разумомъ наградилъ,— скромно отвѣчаетъ воблушка:—а сверхъ того, и во время вяленья мозгъ у меня въ головѣ вывѣтрился... Съ тѣхъ поръ и начала я умомъ раскидывать...

И дѣйствительно: покуда наивные люди въ эмпиреяхъ витаютъ, воблушка только умомъ раскидываетъ и тѣмъ пользу приноситъ. Никакія клеветы, никакое человѣконенавистничество, никакія змѣиныя передовыя статьи не дѣйствуютъ такъ воспитательно, какъ дѣйствуетъ скромный воблушкинъ примѣръ. «Уши выше лба не растутъ!»—вѣдь это то самое, о чемъ древніе римляне говаривали: respice finem! Только болѣе ко двору.

Хороша клевета, а человѣконенавистничество еще того лучше, но они такъ сильно въ носъ бьютъ, что не всякій простецъ вмѣстить ихъ можетъ. Все кажется, что одна половина тутъ наподлена̀, а другая—налгана̀. А главное, конца краю не видишь. Слушаешь или читаешь и все думаешь: ловко-то ловко, да что̀ же дальше?—а дальше опять клевета, опять ядъ... Вотъ это-то и смущаетъ. То ли дѣло скромная воблушкина резонность? «Ты никого не тронь— и тебя никто не тронетъ!»—вѣдь это цѣлая поэма! Тускленька, правда, эта пресловутая резонность, но посмотрите,

какъ цѣпко она человѣка нащупываетъ, какъ аккуратно его обшлифовываетъ! Когда клевета поизмучаетъ, да хлѣвный ядъ одурманитъ, когда человѣкъ почувствуетъ, что нѣтъ во всемъ его организмѣ мѣста, которое бы не ныло, а въ душѣ нѣтъ иного ощущенія, кромѣ безграничной тоски,—вотъ тогда-то и выступаетъ воблушка съ своими скромными афоризмами. Она безшумно подкрадывается къ искалѣченному и безболѣзненно додурманиваетъ его. И, приведя его къ стѣнѣ, говоритъ: «вонъ сколько каракуль тамъ написано—это для тебя занятіе! Всю жизнь разбирай—всего не разберешь!»

Смотри на эти каракули, и ежели есть охота—доискивайся ихъ смысла. Тутъ все въ одно мѣсто скучено: и завѣты прошлаго, и ядъ настоящаго, и загадки будущаго. И надъ всѣмъ легъ густой слой всякаго рода грязи, погадокъ, вешнихъ потоковъ и слѣдовъ непогодъ.

Все это отлично поняла вяленая вобла, или, лучше сказать, не сама поняла, а принесъ ей это пониманіе тотъ процессъ вяленія, сквозь который она прошла. Всѣ поприща поочередно открывались передъ ней, и на всякомъ она службу сослужила. Вездѣ она свое слово сказала, слово пустомысленное, бросовое, но именно какъ разъ такое, какого, по обстоятельствамъ, лучше не надо.

Затесавшись въ ряды бюрократіи, она паче всего на округленіи періодовъ настаивала. Безъ округленія, резонно утверждала воблушка, никакъ слѣды замести нельзя. На свѣтѣ существуетъ множество всякихъ словъ, но самыя опасныя изъ нихъ—это слова прямыя, настоящія. Никогда не нужно настоящихъ словъ говорить, потому что изъ-за нихъ изъяны выглядываютъ. А ты пустопорожнее слово возьми, да и начинай имъ кружить. И кружи, и кружи; и съ одной стороны загляни, и съ другой забѣги; умѣй «къ сожалѣнію сознаться» и въ то же время не ослабѣваючи уповай; сошлись на духъ времени, но не упускай изъ вида и разнузданности страстей. Тогда изъяны стушуются сами собой, а останется одна воблушкина правда. Та вожделѣнная правда, которая помогаетъ нынѣшній день пережить, а объ завтрашнемъ—не загадывать.

Забралась вяленая вобла и въ ряды «излюбленныхъ»—и тутъ службу сослужила. По началу, излюбленные довольно-таки гордо себя повели: мы-ста, да вы-ста... повергнуть наши умныя мысли на усмотрѣніе! Только и словъ. А воблушка сидитъ себѣ скромненько въ углу и думаетъ

про себя: ладно! моя рѣчь еще впереди. И дѣйствительно: разъ повергли, въ другой — повергли, въ третій — опять-было повергнуть собрались, да концовъ съ концами свести не могутъ. Вотъ тутъ-то воблушка и оказала себя. Выждала минутку, когда у всѣхъ въ горлѣ пересохло, и говоритъ: «Повергать, говоритъ, мы только тогда можемъ, коли насъ спрашиваютъ, а ежели не спрашиваютъ, то должны мы сидѣть смирно и получать присвоенное содержаніе».—Какъ такъ? почему?—«А потому, говоритъ, что такъ изстари заведено: коли спрашиваютъ—повергай! а не спрашиваютъ—сиди и памятуй, что выше лба уши не растутъ!» И вдругъ отъ этихъ простыхъ воблушкиныхъ словъ у всѣхъ словно пелена съ глазъ упала!

— Откуда у тебя такая ума палата? — обступили ее со всѣхъ сторонъ: — вѣдь кабы не ты, мы, навѣрное бы, съ Макаромъ телятъ не гоняющимъ познакомились!

А воблушка скромно радовалась своему подвигу и объясняла:

— Отъ того я такъ умна, что своевременно меня провялили. Съ тѣхъ поръ меня точно свѣтъ осіялъ: ни лишнихъ чувствъ, ни лишнихъ мыслей, ни лишней совѣсти—ничего во мнѣ нѣтъ.

— Правильно! — согласились излюбленные люди и тутъ же разъ навсегда постановили:—коли спрашиваютъ—повергать! а не спрашиваютъ—сидѣть и получать присвоенное содержаніе...

Пробовала вяленая вобла и заблужденія человѣческія судить—и тоже хорошо у ней вышло. Тутъ она наглядным образомъ доказала, что ежели лишнія мысли и лишнія чувства безъ нужды осложняютъ жизнь, то лишняя совѣсть и тѣмъ паче не ко двору. Лишняя совѣсть наполняетъ сердца робостью, останавливаетъ руку, которая готова камень бросить, шепчетъ судьѣ: провѣрь самого себя! А ежели у кого совѣсть, вмѣстѣ съ прочей требухой, изъ нутра вычистили, у того завсегда камней—полна пазуха. Смотритъ себѣ вяленая вобла, не сморгнувши, на заблужденія человѣческія и знай себѣ камешками пошвыриваетъ. Каждое заблужденіе у ней подъ нумеромъ значится, и противъ каждаго камешекъ припасенъ — тоже подъ нумеромъ. Остается только нелицепріятную бухгалтерію вести. Око за око, нумеръ за нумеръ. Ежели слѣдуетъ искалѣчить полностью—полностью искалѣчь. Ежели слѣдуетъ искалѣчить въ частности—искалѣчь частицу. И такъ она этою своею резонностью всѣмъ

понравилась, что про совѣсть скоро никто и вспомнить безъ смѣха не могъ...

Но больше всего была богата послѣдствіями добровольческая воблушкина дѣятельность по распространенію здравыхъ мыслей въ обществѣ. Съ утра до вечера неуставаючи ходила она по градамъ и весямъ, и все одну пѣсню пѣла: не расти ушамъ выше лба! не расти! И не то, чтобъ съ азартомъ пѣла, а солидно, разсудительно, такъ что и разсердиться на нее было не за что...

Надо сказать, впрочемъ, правду: общество, къ которому обращались поученія воблы, не представляло особенной устойчивости. Были въ немъ и убѣжденные люди, но болѣе преобладалъ пестрый человѣкъ.

Убѣжденные люди надрывались, мучались, метались, вопрошали и, вмѣсто отвѣта, видѣли передъ собой запертую дверь. Пестрые люди слѣдили въ недоумѣніи за ихъ потугами и въ то же время ощущали присутствіе желѣзнаго кольца, которое съ каждымъ днемъ все больше и больше стягивалось. Кто-то насъ выручитъ? кто-то подходящее слово скажетъ? ежемгновенно тосковали они, озираясь кругомъ.

При такихъ условіяхъ обыкновенно наступаетъ короткій періодъ задумчивости: пестрые люди уже рѣшились, но, для начала, еще стыдятся. Затѣмъ пестрая масса начинаетъ мало-по-малу волноваться. Больше, больше—и вдругъ вопль: не растутъ уши выше лба, не растутъ!

Общество отрезвилось. Происходитъ процессъ поголовнаго освобожденія отъ лишнихъ мыслей, лишнихъ чувствъ и лишней совѣсти. Это зрѣлище до такой степени умилительное, что даже клеветники и человѣконенавистники на время умолкаютъ. Они вынуждены сознаться, что простая вобла, съ провяленными молоками и вывѣтрившимся мозгомъ, совершила такія чудеса отрезвленія, о которыхъ они и гадать не смѣли.

. . . . . .

Но—увы!—этому скромному торжеству былъ сужденъ скорый и немилостивый конецъ. Не успѣло оно достигнуть своего апогея, какъ человѣконенавистничество уже прозрѣло. Оно понятно, что ежели будетъ принятъ воблушкинъ методъ мирнаго приведенія рода человѣческаго въ остолбенѣніе, то въ кознодѣйствіяхъ его не встрѣтится больше надобности. Что зданіе сваръ, лжи и клеветъ, съ такими усиліями воздвигнутое, окажется стоящимъ на пескѣ и рухнетъ само собой...

Тревожимые опасеніями, злопамятные открыли походъ.

— Прекрасно,—говорили они:—мы съ удовольствіемъ допускаемъ, что общество отрезвилось, что химера упразднена, а на мѣсто ея вступила въ свои права здоровая, неподкрашенная жизнь. Но надолго ли? но прочно ли наше отрезвленіе—вотъ въ чемъ вопросъ. Въ этомъ смыслѣ мирный характеръ, который ознаменовалъ процессъ нашего возрожденія, наводитъ на очень серьезныя мысли. До сихъ поръ мы знали, что заблужденія не такъ-то легко полагаютъ оружіе даже передъ очевидностью совершившихся фактовъ, а тутъ вдругъ, нежданно-негаданно, благодаря авторитету пословицы—положимъ, благонамѣренной и освященной вѣковымъ опытомъ, но все-таки не болѣе какъ пословицы—является радикальное и повсемѣстное отрезвленіе! Полно, такъ ли это? искренно ли состоявшееся на нашихъ глазахъ обращеніе? не представляетъ ли оно искуснаго компромисса или временнаго modus vivendi, допущеннаго для отвода глазъ? И нѣтъ ли въ самыхъ пріемахъ, которыми сопровождалось возрожденіе, признаковъ того легковѣснаго либерализма, который, избѣгая такія испытанныя средства, какъ ежовыя рукавицы, мечтаетъ кроткими мѣрами разогнать тяготѣющую надъ нами хмару? Не забывается ли при этомъ слишкомъ легко, что общество наше есть не что иное, какъ разношерстный и безхарактерный агломератъ всевозможныхъ вѣяній и наслоеній, и что съ успѣхомъ дѣйствовать на этотъ агломератъ можно лишь тогда, когда разнообразные элементы, его составляющіе, предварительно приведены къ одному знаменателю?

Нѣкоторое время, впрочемъ, эта инсинуація оказывала только дѣйствія. Слишкомъ уже явную услугу оказала воблушка, чтобъ можно было легко потрясти ея авторитетъ. По милости ея, былъ найденъ настоящій, здоровый тонъ жизни, который сейчасъ же усвоили, сначала въ салонахъ, потомъ въ трактирахъ, потомъ... Дамочки радовались и говорили: теперь у насъ балы начнутся. Гостинодворцы развертывали матеріи и ожидали оживленія промышленности.

Но—увы!—балы кончились, и все шампанское, какое было въ трактирахъ, было за здоровье воблушки выпито... надо было идти дальше. Кромѣ торжествъ и ликованій, предстояло еще нѣчто, о чемъ въ пылу восторговъ не подумали. А именно: необходимо отыскивать «здоровое дѣло», къ которому можно было бы «здоровый тонъ» примѣнить.

И вотъ тутъ-то совершилось нѣчто необыкновенное.

Оказалось, что понятіе объ дѣлѣ такъ смутно, что никто даже по имени не можетъ его назвать. Всѣ говорятъ: надо дѣло дѣлать, но какое—не знаютъ. А вобла похаживаетъ между тѣмъ среди возрожденной толпы и тоже ничего не знаетъ, и только самодовольно выкрикиваетъ: «не растутъ уши выше лба! не растутъ!»

— Помилуй, воблушка! да вѣдь это только «тонъ», а не «дѣло»,—возражаютъ ей:—дѣло-то какое предстоитъ—вотъ ты что̀ скажи!

А кромѣ того, тутъ же сбоку выскочилъ и другой вопросъ: если настоящее дѣло, наконецъ, и откроется — кто его дѣлать будетъ?

— Вы, Иванъ Иванычъ, будете дѣло дѣлать?

— Гдѣ мнѣ, Иванъ Никифорычъ! Моя изба съ краю... вотъ развѣ вы...

— Что̀ вы! что̀ вы! развѣ я объ двухъ головахъ! вѣдь я, батюшка, не забылъ...

И такимъ образомъ всѣ. У одного—изба съ краю, другой—не объ двухъ головахъ, третій—чего-то не забылъ... Всѣ глядятъ, какъ бы въ подворотню проскочить, у всѣхъ сердце не на мѣстѣ и руки какъ плети...

«Уши выше лба не растутъ!» — хорошо это сказано, сильно, а дальше что̀? На стѣнѣ каракули читать?—и это хорошо, а дальше что̀? Не шевельнуться, не пикнуть, не разсуждать?—прекрасно и это, а дальше что̀?

И чѣмъ старательнѣе выводились логическія послѣдствія, вытекающія изъ воблушкиной доктрины, тѣмъ чаще и чаще становился поперекъ горла вопросъ: а дальше что̀?

Разумѣется, произошло колебаніе, которымъ и воспользовались клеветники и человѣконенавистники.

«Само по себѣ взятое,—говорили и писали они:—ученіе вяленой воблы не только не заслуживаетъ порицанія, но даже можетъ быть названо вполнѣ благонадежнымъ. Но дѣло не въ доктринѣ и ея положеніяхъ, а въ тѣхъ пріемахъ, которые употреблялись для ея осуществленія, и насчетъ которыхъ мы, съ самаго начала, предостерегали тѣхъ, кому вѣдать о семъ надлежитъ. Пріемы эти были положительно негодны, какъ это уже и оказалось теперь. Они носили на себѣ клеймо того же паскуднаго либеральничанья, которое уже столько разъ приводило насъ на край бездны. Такъ что ежели мы еще не находимся на днѣ оной, то именно только благодаря здравому смыслу, искони лежавшему въ основаніи нашей жизни. Пускай же этотъ здравый смыслъ

и теперь сослужитъ намъ свою обычную службу. Пусть подскажетъ онъ всѣмъ, серьезно понимающимъ интересы своего отечества, что единственно-цѣлесообразный пріемъ, при помощи котораго мы можемъ придти къ какому-нибудь результату, представляютъ ежовыя рукавицы. Объ этомъ напоминаютъ намъ преданія прошлаго; о томъ же свидѣтельствуетъ смута настоящаго. Этой смуты не было бы и въ поминѣ, если-бъ наши предостереженія были своевременно выслушаны и приняты во вниманіе. Caveant consules!—повторяемъ мы, и при этомъ прибавляемъ, для незнающихъ по-латыни, что въ русскомъ переводѣ выраженіе это значитъ: не зѣвай!»

Такимъ образомъ, оказалось, что хоть и провялили воблу, и внутренности у нея вычистили, и мозгъ вывѣтрили, а все-таки въ концѣ-концовъ ей пришлось распоясываться. Распоясываться за то, что, вмѣстѣ съ лишними чувствами, лишнею совѣстью, изъ нея и понятіе объ ежовыхъ рукавицахъ выпотрошили. Этого было вполнѣ достаточно, чтобъ изъ торжествующей она превратилась въ заподозрѣнную, изъ благонамѣренной—въ либералку. И въ либералку тѣмъ болѣе опасную, чѣмъ благонадежнѣе была мысль, легшая въ основаніе ея пропаганды.

И вотъ, въ одно утро совершилось неслыханное злодѣяніе. Одинъ изъ самыхъ рьяныхъ клеветниковъ ухватилъ вяленую воблу подъ жабры, откусилъ у нея голову, содралъ шкуру и у всѣхъ на виду слопалъ...

Пестрые люди смотрѣли на это зрѣлище, плескали руками и вопили: «да здравствуютъ ежовыя рукавицы!» Но Исторія взглянула на дѣло иначе и втайнѣ положила въ сердцѣ своемъ: довести объ этомъ до свѣдѣнія потомства.

31. — Орелъ-меценатъ.

Поэты много объ орлахъ въ стихахъ пишутъ, и всегда съ похвалой. И статьи у орла красоты неописанной, и взглядъ быстрый, и полетъ величественный. Онъ не летаетъ, какъ прочія птицы, а паритъ, либо ширяетъ; сверхъ того: глядитъ на солнце и споритъ съ громами. А иные даже надѣляютъ его сердцемъ великодушіемъ. Такъ что, ежели, напримѣръ, хотятъ воспѣть въ стихахъ городового, то непремѣнно сравниваютъ его съ орломъ. Подобно орлу, говорятъ,

городовой бляха № такой-то высмотрѣлъ, выхватилъ, и выслушавъ—простилъ. Я самъ очень долго этимъ панегирикамъ вѣрилъ. Думалъ: вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, красиво! Выхватилъ... простилъ! Простилъ!?—вотъ что въ особенности плѣняло. Кого простилъ?—мышь!! Что такое мышь?! И я бѣжалъ впопыхахъ къ кому-нибудь изъ друзей-поэтовъ и сообщалъ о новомъ актѣ великодушія орла. А другъ-поэтъ становился въ позу, съ минуту сопѣлъ, и затѣмъ его начинало тошнить стихами.

Но однажды меня осѣнила мысль: съ чего же, однако, орелъ «простилъ» мышь? Бѣжала она по своему дѣлу черезъ дорогу, а онъ увидѣлъ, налетѣлъ, скомкалъ и... простилъ? Почему онъ «простилъ» мышь, а не мышь «простила» его?

Дальше—больше. Сталъ я прислушиваться и приглядываться. Вижу: что-то тутъ не благополучно. Во-первыхъ—совсѣмъ не затѣмъ орелъ мышей ловитъ, чтобъ ихъ прощать. Во-вторыхъ, ежели и допустить, что орелъ «простилъ» мышь, то, право, было бы гораздо лучше, если-бъ онъ совсѣмъ ею не интересовался. И въ-третьихъ, наконецъ, будь онъ хоть орелъ, хоть архіорелъ, все-таки онъ птица. До такой степени птица, что сравненіе съ нимъ и для городового можетъ быть лестно только по недоразумѣнію.

И теперь я думаю объ орлахъ такъ: орлы суть орлы, только и всего. Они хищны, плотоядны, но имѣютъ въ свое оправданіе, что сама природа устроила ихъ исключительно антивегетаріанцами. И такъ какъ они, въ то же время, сильны, дальнозорки, быстры и безпощадны, то весьма естественно, что при появленіи ихъ все пернатое царство спѣшитъ притаиться. И это происходитъ отъ страха, а не отъ восхищенія, какъ увѣряютъ поэты. А живутъ орлы всегда въ отчужденіи, въ неприступныхъ мѣстахъ, хлѣбосольствомъ не занимаются, но разбойничаютъ, и въ свободное отъ разбоя время дремлютъ.

Выискался однако-жъ орелъ, которому опостылѣло жить въ отчужденіи. Вотъ и говоритъ онъ, однажды, своей орлицѣ:

— Скучно самъ-другъ съ глазу на глазъ жить. Смотришь цѣлый день на солнце—инда одуреешь.

И началъ онъ задумываться. Что больше думаетъ, то чаще и чаще ему мерещится: хорошо бы такъ пожить,

какъ встарину помѣщики живали. Набралъ бы онъ дворню и зажилъ бы припѣваючи. Воронъ бы сплетни ему переносили, попугаи—кувыркались бы, сорока бы кашу варила, скворцы—величальныя пѣсни бы пѣли, совы, сычи да филины по ночамъ дозоромъ летали бы, а ястребы, коршуны, да соколы пищу бы ему добывали. А онъ бы оставилъ при себѣ одну кровожадность. Думалъ-думалъ, да и рѣшился. Кликнулъ однажды ястреба, коршуна да сокола, и говоритъ имъ:

— Соберите мнѣ дворню, какъ въ старину у помѣщиковъ бывало; она меня утѣшать будетъ, а я ее въ страхѣ держать стану. Вотъ и все.

Выслушали хищники этотъ приказъ и полетѣли во всѣ стороны. Закипѣло у нихъ дѣло не на шутку. Прежде всего, нагнали цѣлую уйму воронъ. Нагнали, записали въ ревизскія сказки и выдали окладные листы. Ворона—птица плодущая и на все согласная. Главнымъ же образомъ, тѣмъ она хороша, что сословіе «мужиковъ» представлять мастерица. А извѣстно, что ежели готовы «мужички», то дѣло остается только за деталями, которыя уже ничего не стоитъ скомпановать. И скомпановали. Изъ коростелей и гагаръ духовой оркестръ собрали; попугаевъ—скоморохами нарядили; сорокъ-бѣлобокъ, благо воровка она, ключи отъ казны препоручили, сычей да филиновъ заставили по ночамъ дозоромъ летать. Словомъ сказать, такую обстановку устроили, что хоть какому угодно дворянину не стыдно. Даже кукушку не забыли, въ гадалки при орлицѣ опредѣлили, а для кукушкиныхъ сиротъ воспитательный домъ выстроили.

Но не успѣли порядкомъ дворовые штаты въ дѣйствіе ввести, какъ уже убѣдились, что есть въ нихъ какой-то пропускъ. Думали-думали, что бы такое было, и, наконецъ, догадались: во всѣхъ дворняхъ полагаются науки и искусства, а у орла нѣтъ ни тѣхъ, ни другихъ.

Три птицы, въ особенности, считали этотъ пропускъ для себя обиднымъ: снигирь, дятелъ и соловей.

Снигирь былъ малый шустрый и съ отроческихъ лѣтъ насвистанный. Воспитывался онъ первоначально въ школѣ кантонистовъ, потомъ служилъ въ полку писаремъ и, научившись ставить знаки препинанія, началъ издавать, безъ предварительной цензуры, газету «Вѣстникъ лѣсовъ». Только никакъ приноровиться не могъ. То чего-нибудь коснется—анъ касаться нельзя; то чего-нибудь не коснется — анъ касаться не только можно, но и должно. А его за это въ

головку тукъ да тукъ. Вотъ онъ и замыслилъ: «пойду въ дворню къ орлу! Пускай онъ повелитъ безнаказанно славу его каждое утро возвѣщать!»

Дятелъ былъ скромный ученый, но велъ строго уединенную жизнь. Ни съ кѣмъ никогда не видѣлся (многіе даже думали, что онъ запоемъ, какъ и всѣ серьезные ученые, пьетъ), но цѣлые дни сидѣлъ на сосновомъ суку и все долбилъ. И надолбилъ онъ цѣлую охапку историческихъ изслѣдованій: «Родословная лѣшаго», «Была ли замужемъ Баба-Яга», «Какимъ поломъ надлежитъ вѣдьмъ въ ревизскія сказки заносить?» и проч. Но сколько ни долбилъ, издателя для своихъ книжекъ найти не могъ. Поэтому и онъ надумалъ: «пойду къ орлу въ дворовые исторіографы! авось-либо онъ вороньимъ иждивеніемъ изслѣдованія мои отпечатаетъ!»

Что касается до соловья, то онъ на жизненныя невзгоды пожаловаться не могъ. Пѣлъ онъ исконй такъ сладко, что не только сосны стоеросовыя, но и московскіе гостиные дворцы, слушая его, умилялись. Весь міръ его любилъ, весь міръ, притаивъ дыханіе, заслушивался, какъ онъ, забравшись въ древесную чащу, сладкими пѣснями захлебывался. Но онъ былъ сладострастенъ и славолюбивъ выше всякой мѣры. Мало было ему вольной пѣсней по лѣсу гремѣть, мало огорченныя сердца гармоніей звуковъ напоять... Думалось: орелъ ему на шею ожерелье изъ муравьиныхъ яицъ повѣситъ, всю грудь живыми тараканами изукраситъ, а орлица будетъ тайныя свиданія при лунѣ назначать...

Словомъ сказать, пристали всѣ три птицы къ соколу: доложи да доложи!

Выслушалъ орелъ соколиный докладъ о необходимости водворенія наукъ и искусствъ, и не сразу понялъ. Сидитъ себѣ да цыркаетъ, да когтями играетъ, а глаза у него, словно точеные камешки, глянцемъ на солнцѣ отливаютъ. Никогда онъ ни одной газеты не видывалъ; ни Бабой-Ягой, ни вѣдьмами не интересовался, а о соловьѣ только одно слыхалъ: что эта птица малая, не стоитъ изъ-за нея клювъ марать.

— Ты, поди, не знаешь, что и Бонапартъ-то умеръ? — спросилъ соколъ.

— Какой-такой Бонапартъ?

— То-то вотъ. А знать объ этомъ не худо. Ужо гости пріѣдутъ, разговаривать будутъ. Скажутъ: при Бонапартѣ это было, а ты будешь глазами хлопать. Не хорошо.

Призвали на совѣтъ сову,—и та подтвердила, что надо науки и искусства въ дворнлхъ заводить, потому что при нихъ и орламъ занятнѣе живется, да и со стороны посмотрѣть не зазоръ. Ученье—свѣтъ, а неученье — тьма. Спать-то да ждать всякій умѣетъ, а вотъ поди, разрѣши задачу: «летѣло стадо гусей» — анъ дома не скажешься. Умные-то помѣщики, бывало, за битаго двухъ небитыхъ давали,—значитъ, пользу въ томъ видѣли. Вонъ чижикъ: только и науки у него, что ведерко съ водой таскать умѣетъ, а какія деньги за этакаго-то платятъ!

— Я въ темнотѣ видѣть могу, такъ меня за это мудрой прозвали; а ты и на солнце по цѣлымъ часамъ не мигнувши глядишь, а про тебя говорятъ: ловокъ орелъ, а простофиля.

— Что-жъ, я не прочь отъ наукъ!—цыркнулъ орелъ.

Сказано—сдѣлано. На другой же день у орла въ дворнѣ начался «золотой вѣкъ». Скворцы разучивали гимнъ «Науки юношей питаютъ», коростели и гагары на трубахъ сыгрывались, попугаи—новые куншгюки выдумывали. Съ воронъ опредѣлили новый налогъ, подъ названіемъ «просвѣтительнаго»; для молодыхъ соколятъ и ястребятъ устроили кадетскіе корпуса, для совъ, филиновъ и сычей—академію де сіянсъ, да кстати ужъ и воронятамъ купили по экземпляру азбуки-копейки. И, въ заключеніе, самаго стараго скворца опредѣлили стихотворцемъ, подъ именемъ Василія Кирилыча Тредьяковскаго, и отдали ему приказъ, чтобъ на завтра же былъ готовъ къ состязанію съ соловьемъ.

И вотъ вожделѣнный день наступилъ. Поставили предъ лицо орла новобранцевъ и велѣли имъ хвастаться.

Самый большой успѣхъ достался на долю снигиря. Вмѣсто привѣтствія, онъ прочиталъ фельетонъ, да такой легкій, что даже орлу показалось, что онъ понимаетъ. Говорилъ снигирь, что надо жить припѣваючи, а орелъ подтвердилъ: имянно. Говорилъ, что была бы у него розничная продажа хорошая, а до прочаго ни до чего ему дѣла нѣтъ, а орелъ подтвердилъ: имянно! Говорилъ, что холопское житье лучше барскаго, что у барина заботушки много, а холопу за бариномъ горюшка нѣтъ, а орелъ подтвердилъ: имянно! Говорилъ, что когда у него совѣсть была, то онъ безъ штановъ ходилъ, а теперь, какъ совѣсти ни капельки не осталось, онъ разомъ по двѣ пары штановъ надѣваетъ,—а орелъ подтвердилъ: имянно!

Наконецъ, снигирь надоѣлъ.

— Слѣдующій!—цыркнулъ орелъ.

Дятелъ началъ съ того, что генеалогію орла отъ солнца повелъ, а орелъ съ своей стороны подтвердилъ: «и я въ этомъ родѣ отъ папеньки слышалъ». Было у солнца,—говорилъ дятелъ:—трое дѣтей: дочь Акула да два сына: Левъ да Орелъ. Акула была распутная—ее за это отецъ въ морскія пучины заточилъ; сынъ Левъ отъ отца отпатнулся—его отецъ владыкою надъ пустыней сдѣлалъ; а Орёлко былъ сынъ почтительный, отецъ его поближе къ себѣ пристроилъ—воздушныя пространства ему во владѣнье отвелъ.

Но не успѣлъ дятелъ даже введеніе къ своему изслѣдованію продолбить, какъ уже орелъ въ нетерпѣньѣ кричалъ:

— Слѣдующій! слѣдующій!

Тогда запѣлъ соловей и сразу же осрамился. Пѣлъ онъ про радость холопа, узнавшаго, что Богъ послалъ ему помѣщика; пѣлъ про великодушіе орловъ, которые холопамъ на водку не жалѣючи даютъ... Однако, какъ онъ ни выбивался изъ силъ, чтобы въ холопскую ногу попасть, но съ «искусствомъ», которое въ немъ жило, никакъ совладать не могъ. Самъ-то онъ съ верху до низу холопъ былъ (даже подержаннымъ бѣлымъ галстукомъ гдѣ-то раздобылся и головушку барашкомъ завилъ), да «искусство» въ холопскихъ рамкахъ усидѣть не могло и безпрестанно на волю выпирало. Сколько онъ ни пѣлъ — не понимаетъ орелъ, да и шабашъ!

— Что этотъ дуралей бормочетъ! крикнулъ онъ, наконецъ:—позвать Тредьяковскаго!

А Василій Кирилычъ тутъ какъ тутъ. Тѣ же холопскіе сюжеты взялъ, да такъ ихъ явственно изложилъ, что орелъ только и дѣло, что повторялъ: имянно! имянно! имянно! И въ заключеніе надѣлъ на Тредьяковскаго ожерелье изъ муравьиныхъ яицъ, а на соловья сверкнулъ очами, воскликнувъ: убрать негодяя!

На этомъ честолюбивыя попытки соловья и покончились. Живо запрятали его въ куралеску и продали въ зарядье, въ трактиръ «Разставанье друзей», гдѣ и о сю пору онъ напояетъ сладкой отравой сердца захмелѣвшихъ «метеоровъ».

Тѣмъ не менѣе, дѣло просвѣщенія все-таки не было покинуто. Ястребята и соколята продолжали ходить въ гимназіи; академія де сіянсъ принялась издавать словарь и одолѣла половину буквы А; дятелъ дописывалъ 10-й томъ «Исторіи лѣшихъ». Но снигирь притаился. Съ перваго же дня онъ почуялъ, что всей этой просвѣтительной сутолокѣ

послѣдуетъ скорый и немилостивый конецъ, и, повидимому, предчувствія его имѣли довольно вѣрное основаніе.

Дѣло въ томъ, что соколъ и сова, принявшіе на себя руководительство въ просвѣтительномъ дѣлѣ, допустили большую ошибку: они задумали обучить грамотѣ самого орла. Учили его по звуковому методу, легко и занятно, но какъ ни бились, онъ и черезъ годъ, вмѣсто «Орелъ», подписывался «Арѣръ», такъ что ни одинъ солидный заимодавецъ векселей съ такою подписью не принималъ. Но еще большая ошибка заключалась въ томъ, что, подобно всѣмъ вообще педагогамъ, ни сова, ни соколъ не давали орлу ни отдыха, ни срока. Каждоминутно слѣдовала сова по его пятамъ, выкрикивая: бб... зз... хх..., а соколъ тоже ежеминутно внушалъ, что безъ первыхъ четырехъ правилъ ариѳметики награбленную добычу раздѣлить нельзя.

— Укралъ ты десять гусенковъ, двухъ письмоводителю квартальнаго подарилъ, одного самъ съѣлъ—сколько въ запасѣ осталось?—съ укоризною спрашивалъ соколъ.

Орелъ не могъ разрѣшить и молчалъ, но зло противъ сокола накоплялось въ его сердцѣ съ каждымъ днемъ больше и больше.

Произошла натянутость отношеній, которою поспѣшила воспользоваться интрига. Во главѣ заговора явился коршунъ и увлекъ за собой кукушку. Послѣдняя стала нашептывать орлицѣ: «изведутъ они кормильца нашего, заучатъ»; а орлица начала орла дразнить: «ученый! ученый!» затѣмъ, общими силами, возбудили «дурныя страсти» въ ястребѣ.

И вотъ однажды на зорькѣ, едва орелъ глаза продралъ, сова, по обыкновенію, подкралась сзади и зажужжала ему въ уши: вв... зз... рррр...

— Уйди, постылая!—кротко огрызнулся орелъ.

— Извольте, ваше степенство, повторить: бб... кк... мм...

— Второй разъ говорю: уйди!

— Пп... хх... шш...

Въ одинъ мигъ повернулся орелъ къ совѣ и разорвалъ ее на-двое.

А черезъ часъ, ничего не вѣдая, воротился съ утренней охоты соколъ.

— Вотъ тебѣ задача,—сказалъ онъ:—награблено нынче за ночь два пуда дичины; ежели на двѣ равныя части эту добычу раздѣлить, одну — тебѣ, другую — всѣмъ прочимъ челядинцамъ,—сколько на твою долю достанется?

— Все,—отвѣчалъ орелъ.

— Ты говори дѣло,—возразилъ соколъ.—Ежели бы «все», я бы и спрашивать тебя не сталъ!

Не впервые такія задачи соколъ задавалъ; но на этотъ разъ тонъ, принятый имъ, показался орлу невыносимымъ. Вся кровь въ немъ вскипѣла при мысли, что онъ говоритъ «все», а холопъ осмѣливается возражать: «не все». А извѣстно, что когда у орловъ кровь закипаетъ, то они педагогическіе пріемы отъ крамолы отличать не умѣютъ. Такъ онъ и поступилъ.

Но, покончивши съ соколомъ, орелъ, однако, оговорился:

— А де сіянсъ академіи оставаться попрежнему!

Опять пропѣли скворцы: «Науки юношей питаютъ», но для всѣхъ уже было ясно, что «золотой вѣкъ» находится на исходѣ. Въ перспективѣ надвигался мракъ невѣжества, съ своими обязательными спутниками: междоусобіемъ и всческою смутою.

Смуты начались съ того, что на мѣсто умирающаго сокола явилось два претендента: ястребъ и коршунъ. И такъ какъ вниманіе обоихъ соперниковъ было устремлено исключительно въ сторону личныхъ счетовъ, то дѣла дворни отошли на второй планъ и начали мало-по-малу приходить въ запущеніе.

Черезъ мѣсяцъ отъ недавняго золотого вѣка не осталось и слѣдовъ. Скворцы залѣнились, коростели стали фальшивить, сорока-бѣлобока воровала безъ продыху, а на ворохъ накопилась такая пропасть недоимокъ, что пришлось прибѣгнуть къ экзекуціи. Дошло до того, что даже пищу орлу съ орлицей начали подавать порченую.

Чтобъ оправдать себя въ этой неурядицѣ, ястребъ и коршунъ временно подали другъ другу руку и свалили всѣ невзгоды на просвѣщеніе. Науки-де, безспорно, полезны, но лишь тогда, когда онѣ благовременны. Жили-де наши дѣдушки безъ наукъ, и мы безъ нихъ проживемъ...

И въ доказательство, что весь вредъ отъ наукъ идетъ, начали открывать заговоры, и непремѣнно такіе, чтобы хоть часословъ да замѣшанъ въ нихъ былъ. Начались розыски, слѣдствія, судбища...

— Шабашъ!—вдругъ раздалось въ вышинѣ.

Это крикнулъ орелъ. Просвѣщеніе прекратило теченіе свое.

Во всей дворнѣ воцарилась такая тишина, что слышно было, какъ ползутъ по землѣ клеветническіе шопоты.

Первою жертвою новаго вѣянія палъ дятелъ. Бѣдная эта птица, ей-Богу, не виновата была. Но она знала грамотѣ, и этого было вполнѣ достаточно для обвиненія.

— Знаки препинанія ставить умѣешь?

— Не только обыкновенные знаки препинанія, но и чрезвычайные, какъ-то: ковычки, тире, скобки—всегда, по сущей совѣсти, становлю.

— А женскій полъ отъ мужескаго отличить можешь?

— Могу. Даже въ ночное время не ошибусь.

Только и всего. Нарядили дятла въ кандалы и заточили въ дупло навѣчно. А на другой день онъ въ томъ дуплѣ, заѣденный муравьями, помре.

Едва кончилась исторія съ дятломъ, какъ послѣдовалъ погромъ въ академіи де сіянсъ.

Однако-жъ сычи и филины защищались твердо: жалко имъ было съ теплыми казенными квартирами разставаться. Говорили, что не того ради сіянсами занимаются, дабы ихъ распространять, а для того, чтобы отъ лихого глаза оберегать. Но коршунъ сразу увертки ихъ опровергнулъ, спросивъ: да сіянсы-то зачѣмъ? И они на этотъ вопросъ не отвѣтили (не ждали). Тогда ихъ поштучно распродали огородникамъ, а послѣдніе, набивъ изъ нихъ чучеловъ, поставили огороды сторожить.

Въ это же самое время отобрали у воронятъ азбуку-копейку, истолкли оную въ ступѣ и изъ полученной массы надѣлали игральныхъ картъ.

Дальше-больше, за совами и филинами послѣдовали скворцы, коростели, попугаи, чижи... Даже глухого тетерева заподозрили въ «образѣ мыслей» на томъ основаніи, что онъ днемъ молчитъ, а ночью спитъ...

Дворня опустѣла. Остались орелъ съ орлицею, и при нихъ ястребъ да коршунъ. А вдали—масса воронья, которое безсовѣстно плодилось. И чѣмъ больше плодилось, тѣмъ больше накоплялось на немъ недоимокъ.

Тогда коршунъ съ ястребомъ, не зная, кого изводить (воронье въ счетъ не полагалось), стали изводить другъ друга. И все на почвѣ наукъ. Ястребъ донесъ, что коршунъ, по секрету, читаетъ часословъ, а коршунъ съябедничалъ, что у ястреба въ дуплѣ «новѣйшій пѣсенникъ» спрятанъ.

Орелъ смутился...

Но тутъ уже сама Исторія ускорила свое теченіе, чтобъ положить конецъ этой путаницѣ. Произошло нѣчто необык-

повенное. Увидѣвъ, что онѣ остались безъ призора, вороны вдругъ спохватились: а что бишь на этотъ счетъ въ азбукѣ-копейкѣ сказано? И не успѣли порядкомъ припомнить, какъ тутъ же инстинктивно снялись всѣмъ стадомъ съ мѣста и полетѣли.

Погнался за ними орелъ, да не тутъ-то было: сладкое помѣщичье житье до того его изнѣжило, что онъ едва крыльями могъ шевелить.

Тогда онъ повернулся къ орлицѣ и возгласилъ:

— Сіе да послужитъ орламъ урокомъ!

Но что̀ означало въ данномъ случаѣ слово «урокъ», то ли, что просвѣщеніе для орловъ вредно, или то, что орлы для просвѣщенія вредны, или, наконецъ, и то и другое вмѣстѣ—объ этомъ онъ умолчалъ.

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ.

ВВЕДЕНІЕ.

I.

Всякій истый петербуржецъ на три мѣсяца въ годъ обрекаетъ себя на нечеловѣческое житье. Конечно, я говорю не о «барахъ», которые разъѣзжаются по собственнымъ деревнямъ и за границу, а о простыхъ смертныхъ, которые расползаются по дачамъ, потому что за зиму Петербургъ ихъ задавилъ. Кто поэкономнѣе, тотъ забираетъ изъ заднихъ комнатъ мебелишку и старую, разнокалиберную посуду, увязываетъ на возъ, садитъ сверху кухарку и ѣдетъ. Другіе нанимаютъ дачи съ мебелью и посудою и находятъ обломки и черепки. Постелей нѣтъ, или такія, что привыкать надо. Вмѣсто простора—тѣснота, вмѣсто тишины—судаченье сосѣдей, вмѣсто воздуха—сырость, вмѣсто возстановляющихъ солнечныхъ лучей—туманъ и дожди.

Именно такъ было поступлено и со мной, больнымъ, почти умирающимъ. Вмѣсто того, чтобы везти меня за границу, куда, впрочемъ, я и самъ не чаялъ доѣхать, повезли меня въ Финляндію. Дача—на берегу озера, которое во время вѣтра невыносимо гудитъ, а въ прочее время разливаетъ окрестъ пріятную сырость. Домикъ маленькій, но веселенькій, мебель сносная, но о зеркалѣ и въ поминѣ нѣтъ. Поэтому, утромъ, я наливаю въ рукомойникъ воды и причесываюсь надъ нимъ. Простору довольно, и большой садъ для прогулокъ.

Боленъ я—могу безъ хвастовства сказать—невыносимо. Недугъ впился въ меня всѣми когтями и не выпускаетъ изъ нихъ. Руки и ноги дрожатъ, въ головѣ—цѣлодневное гудѣніе, по всему организму пробѣгаетъ судорога. Не-

смотря на врачебную помощь, изможденное тѣло не можетъ ничего противопоставить недугу. Ночи провожу въ тревожномъ снѣ, пишу рѣдко и съ большимъ мученьемъ, читать не могу вовсе и даже—слышать чтеніе. По временамъ самый голосъ человѣческій мнѣ нестерпимъ.

Что это такое, какъ не мучительное и ежеминутное умираніе, которому, по горькой насмѣшкѣ судьбы, нѣтъ конца?

Знаетъ ли читатель, что такое значитъ «пять минутъ»?—Конечно, знаетъ. Нѣтъ того русскаго человѣка, который многократно не отсчиталъ бы эти «пять минутъ», сидя въ пріемной, въ ожиданіи нужнаго человѣка. Но вотъ, наконецъ, нужный человѣкъ появился въ дверяхъ,—сказалъ мимоходомъ два-три слова,—и все забыто. Теперь помножьте эти пять минутъ на часы, на сутки, мѣсяцы, на годъ—что это такое? Сидишь и смотришь, какъ одна минута ползетъ за другой. Вотъ, наконецъ, доползла; начинаются слѣдующія пять минутъ... Ужасно! Нѣчто подобное долженъ испытывать сидящій въ одиночномъ заключеніи...

Что привело меня къ этому положенію?—на этотъ вопросъ, не обинуясь и увѣренно, отвѣчаю: писательство. Ахъ, это писательское ремесло! Это не только мука, но цѣлый душевный адъ. Капля по каплѣ сочится писательская кровь, прежде нежели попадетъ подъ печатный станокъ. Чего со мною ни дѣлали! И вырѣзывали, и урѣзывали, и перетолковывали, и цѣликомъ запрещали, и всенародно объявляли, что я—вредный, вредный, вредный. Трудно повѣрить, а въ провинціи власть имущіе дѣлали гримасы, встрѣтивъ гдѣ-нибудь мою книгу. «Какимъ образомъ этотъ вредный писатель попалъ сюда?»—вотъ вопросъ, который считался самымъ натуральнымъ относительно моихъ сочиненій, встрѣченныхъ гдѣ-нибудь въ библіотекѣ или въ клубѣ. Одинъ газетчикъ, которому я не мало помогъ своимъ сотрудничествомъ при началѣ его журнальнаго поприща, теперь прямо называетъ меня не только вреднымъ, но *паскуднымъ* писателемъ. Мало того: въ родномъ городѣ нѣкто пожертвовалъ въ мѣстный музей мой бюстъ: Стоялъ-стоялъ этотъ бюстъ годъ или два благополучно—и вдругъ его куда-то вынесли. Оказалось, что я—вредный...

Надѣюсь, что этого достаточно для самой богатой надгробной эпитафіи...

Итакъ я провелъ лѣто въ Финляндіи. Финляндія—это та самая страна, гдѣ, по свидѣтельству Пушкина, жила злая волшебница Наина и добрый волшебникъ Финнъ.

Финнъ долго боролся съ Наиной, но потомъ махнулъ рукой и уѣхалъ въ Швейцарію доить симентальскихъ коровъ. Наина осталась одна, и сколько она дѣлаетъ всякихъ пакостей своему отечеству—этого ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать. Наводитъ тучи, изъ которыхъ въ продолженіе цѣлыхъ мѣсяцевъ льютъ дожди; наполняетъ страну вѣтрами, наворачиваетъ камни на камни, зарываетъ деревни на восемь мѣсяцевъ въ снѣга и, наконецъ, въ послѣднее время выслала сюда тьму-тьмущую русскихъ піонеровъ.

Здѣшніе русскіе піонеры—люди интеллигенціи по преимуществу. Провозятъ изъ Петербурга чай, сахаръ, апельсины, табакъ и, миновавши теріокскую таможню, крестятся и повѣряютъ другъ другу:

— Вы что провезли?

— Папиросы для мужа.

— А я—цѣлую голову сахару... Угадайте—гдѣ она у меня была?

Шопотъ.

— Ахъ, проказница!

Я не имѣю свѣдѣній, какъ идетъ дѣло въ глубинѣ Финляндіи, проникли ли и туда обрусители, но, начиная отъ Теріокъ и Выборга, верстъ на двадцать по побережью Финскаго залива, нѣтъ того ничтожнаго озера, кругомъ котораго не засѣли бы русскіе землевладѣльцы. И всѣ изъ всѣхъ силъ стараются. Деньги бросаютъ пригоршнями, несутъ явные и значительные убытки, и въ концѣ концовъ все-таки только и слышишь, что то одинъ, то другой—мечтаютъ о продажѣ своихъ дачъ. Правда, что на мѣсто убывающихъ являются новые заселенцы; но выйдетъ ли когда-нибудь изъ этого толкъ—трудно сказать. Уходитъ масса денегъ—вотъ все, что до сихъ поръ ясно. И все—благодаря пущеннымъ слухамъ о необыкновенной живительности здѣшняго воздуха,—репутація, далеко не на всѣхъ оправдывающаяся.

Мнѣ кажется, что если бы лѣтъ сто тому назадъ (тогда и «разговаривать» было легче) пустили сюда русскихъ старообрядцевъ и дали имъ полную свободу относительно богослуженія, русское дѣло вообще на всѣхъ окраинахъ шло бы толковѣе. Старообрядцы—это цвѣтъ русскаго простолюдья. Они трудолюбивы, предпріимчивы, трезвы, живутъ союзно и—что всего важнѣе—имѣютъ замѣчательную способность къ пропагандѣ. Въ настоящее время они

имѣли бы здѣсь массу прозелитовъ, какъ имѣютъ ихъ среди зырянъ, пермяковъ и прочихъ инородцевъ отдаленнаго сѣвера. Укрываясь отъ преслѣдованій вглубь лѣсовъ, несмотря на «выгонки», они сумѣли покорить сердца полудикихъ людей и сдѣлать ихъ почти солидарными съ собою...

Но вмѣсто того, чтобы воспользоваться ихъ колонизаторскими способностями, ихъ били кнутомъ, рвали ноздри, урѣзывали языки и вызвали (такъ сказать, создали) ужасный обрядъ самосожженія.

За это, даже на томъ недалекомъ финскомъ побережьѣ, гдѣ я живу, о русскомъ языкѣ между финнами и слыхомъ не слыхать. А новѣйшіе русскіе колонизаторы выучили ихъ только тремъ словамъ: «риби» (грибы), «ривенникъ» (гривенникъ) и «двуривенникъ». Тѣмъ не менѣе въ селѣ Новая-Кирка есть финны изъ толстосумовъ (торговцы), которые говорятъ по-русски довольно внятно.

Финны живутъ разрозненно и селятся починками въ два-три дома. Есть, однако, большое село—Новая-Кирка, которое, впрочемъ, составляетъ тоже груду починковъ. Народъ трудолюбивъ и любитъ страстно свою землю. Работаетъ неутомимо, хотя частыя непогоды мѣшаютъ земледѣльческому труду. Землю удобряютъ исправно и держатъ достаточно скота, въ особенности овецъ и свиней. Но коровы здѣшнія малорослы, потому что въ Финляндію, по какому-то недоразумѣнію, безусловно запрещено ввозить скотъ изъ другихъ странъ, а слѣдовательно, и совершенствовать мѣстную породу трудно. Нынѣшній годъ все уродилось прекрасно, но съ полей убрать было нелегко: цѣлый мѣсяцъ лили дожди. Мастеровыхъ кругомъ совсѣмъ нѣтъ, кромѣ одного пекаря, который продаетъ въ-разносъ выборгскіе крендели. Отхожихъ промысловъ тоже нѣтъ, а стало-быть, нѣтъ и бывалыхъ людей. Финнъ замуровался въ своей деревнѣ, зарылся въ снѣгахъ на двѣ трети года и не двигается ни направо, ни налѣво. Есть, впрочемъ, въ нашемъ сосѣдствѣ два-три хозяина, которые скупаютъ брусникуи ѣздятъ, въ сентябрѣ, въ Петербургъ продавать ее.

О честности финской составилась провербіальная репутація, но нынче и въ ней стали сомнѣваться. По крайней мѣрѣ русскихъ піонеровъ они обманываютъ охотно, а нерѣдко даже и поворовываютъ. Въ петербургскихъ процессахъ о воровствахъ слишкомъ часто стали попадать финскія имена—стало-быть, способность есть. Защитники Фин-

ляндіи (изъ русскихъ же) удостовѣряютъ, что финновъ научили воровать проникшіе сюда вмѣстѣ съ піонерами русскіе рабочіе, но вѣдь клеветать на невинныхъ легко!

Есть у финновъ и способность къ пьянству, хотя вина здѣсь совсѣмъ нѣтъ, за рѣдкимъ исключеніемъ корчемства, строго преслѣдуемаго. Но, дорвавшись до Петербурга, финнъ напивается до самозабвенія, теряетъ деньги, лошадь, сбрую и возвращается домой голъ какъ соколъ.

Талантливы ли финны—сказать не умѣю. Кажется, скорѣе, что нѣтъ, потому что у громаднаго большинства ихъ вы видите въ золотушныхъ глазахъ только недоумѣніе. Да и о выдающихся людяхъ не слыхать. Если бы что-нибудь было въ запасѣ, все-таки кто-нибудь да создалъ бы себѣ извѣстность.

О финскихъ пѣсняхъ знаю мало. Мальчики-пастухи что-то поютъ, но тоскливое и все на одинъ и тотъ же мотивъ. Можетъ-быть, это такія же пѣсни, какъ у ихъ соплеменниковъ, вотяковъ, которые, увидѣвъ заборъ, поютъ (вотяки, по крайней мѣрѣ, русскимъ языкомъ щеголяютъ): «ахъ, забѣръ!», увидавъ корову—поютъ: «ахъ, корова!» Впрочемъ одну финскую пѣснь мнѣ перевели. Вотъ она:

Давидовой коровѣ Богъ послалъ теленка,
Ахъ, теленка!
А на другой годъ она принесла другого теленка,
Ахъ, другого!
А на третій годъ принесла третьяго теленка,
Ахъ, третьяго!
Когда принесла трехъ телятъ, то пасторъ узналъ объ этомъ,
Ахъ, узналъ!
И сказалъ Давиду: ты, Давидъ, забылъ своего пастора,
Ахъ, забылъ!
И за это увелъ къ себѣ самаго большого теленка,
Ахъ, самаго большого!
А Давидъ остался только съ двумя телятами,
Ахъ, съ двумя!

Я, впрочемъ, не ручаюсь за вѣрность перевода. Можетъ-быть, даже самый текстъ вымышленъ, но, во всякомъ случаѣ, онъ близокъ къ «перлу созданія» и характеризуетъ роль, которую играютъ здѣсь пасторы.

О наукѣ финской я ничего не знаю; ей отгорожено мѣсто въ Гельсингфорсѣ, а что она тамъ дѣлаетъ—неизвѣстно.

Исправниковъ и становыхъ здѣсь днемъ съ огнемъ не сыщешь. Но паспорты у русскихъ дачниковъ съ нѣкотораго времени начали требовать.

. . . . . .

Но обращаюсь къ «мелочамъ жизни».

Напрасно пренебрегаютъ ими: въ основѣ современной жизни лежитъ почти исключительно мелочь. Испугъ и недоумѣніе нависли надъ всею Европой; а что же такое испугъ, какъ не сцѣпленіе обидныхъ и деморализующихъ мелочей?

Вотъ уже сколько лѣтъ сряду, какъ каникулярное время посвящается преимущественно распространенію испуговъ. Съѣзжаются, пьютъ «молчаливые» тосты. «Графъ Кальноки былъ съ визитомъ у князя Бисмарка, а черезъ полчаса князь Бисмаркъ отдалъ ему визитъ»; «графъ Кальноки пріѣхалъ въ Варцинъ, куда ожидали также представителя отъ Италіи»;—вотъ что читаешь въ газетахъ. Король Миланъ тоже ѣздитъ, кланяется и пользуется «сердечнымъ» пріемомъ. Даже черногорскій князь удосужился и съѣздилъ въ Вѣну, гдѣ тоже былъ «сердечно» принятъ.

Что все это означаетъ, какъ не фабрикацію испуговъ въ умахъ и безъ того взбутораженныхъ простецовъ? Зачѣмъ это понадобилось? Съ какого права признано необходимымъ, чтобы Сербія, Болгарія, Боснія не смѣли устраиваться по-своему, а непремѣнно при вмѣшательствѣ Австріи? Съ какой стати Германія берется помогать Австріи въ этомъ дѣлѣ? Почему допускается вопіющая несправедливость къ выгодѣ сильному и въ ущербъ слабому? Зачѣмъ нужно держать въ страхѣ сосѣдей?

Добрые геніи пролагаютъ желѣзные пути, изобрѣтаютъ телеграфы, прорываютъ громадные каналы, мечтаютъ о воздухоплаваніи, однимъ словомъ, дѣлаютъ все, чтобъ смягчить международную рознь; злые, напротивъ, употребляютъ всѣ усилія, чтобы обострить эту рознь. Политиканство давитъ успѣхи науки и мысли и самыя существенныя побѣды послѣднихъ умѣетъ обращать исключительно въ свою пользу.

Потомъ: «нѣмецкіе фабриканты совсѣмъ завладѣли Лодзью»; «нѣмецкіе офицеры живутъ въ Смоленскѣ»; «нѣмецкіе офицеры генеральнаго штаба появились у Троицы-Сергія, изучаютъ русскій языкъ и ярославское шоссе, собираютъ статистическія свѣдѣнія, дѣлаютъ съёмки» и т. д. Что имъ понадобилось? Ужели они мечтаютъ, что германское знамя появится на ярославскомъ шоссе, и село Братовщина будетъ примежевано къ германской имперіи?

Вотъ какія постыдныя мелочи наполняютъ современную жизнь...

Это по части нѣмцевъ: а по части россіянъ еще лучше.

«Фабриканты и заводчики разсчитываются съ рабочими купонами девяностыхъ годовъ...»

«Фабриканты и заводчики ходатайствуютъ объ увеличеніи ввозныхъ пошлинъ...»

«Фирма X проникла въ земство и распоряжается по произволу выборами мировыхъ судей...»

«Фирма Z скупила чуть ли не цѣлую губернію...»

«Лѣси наши гибнутъ, рѣки мелѣютъ...»

«Крестьяне годъ-отъ-году бѣднѣютъ, помѣщики также; а рядомъ съ этимъ всеобщимъ обѣднѣніемъ вырастаютъ милліоны, сосредоточенные въ немногихъ рукахъ».

Это ужъ мелочи горькія, но покуда никто ихъ еще не пугается; а когда наступитъ очередь для испуга,—можетъ-быть, дѣло будетъ уже непоправимо.

Всѣ мы каждодневно читаемъ эти извѣстія, но едва ли многимъ приходитъ на мысль спросить себя: въ силу чего же живетъ современный человѣкъ и какимъ образомъ не входитъ онъ въ идіотизмъ отъ испуга?

Еще одна характеристическая мелочь. Въ послѣднее время многіе огульно обвиняли нашу интеллигенцію во всѣхъ неурядицахъ и неустройствахъ и предлагали противъ нея поистинѣ неслыханныя, по своей нелѣпости, мѣры. Въ числѣ ихъ немалую роль игралъ самосудъ живорѣзовъ московскаго Охотнаго ряда, а нѣкоторые не отступали даже передъ топленіемъ въ Москвѣ-рѣкѣ. Разумѣется, все это было говорено на-вѣтеръ, но все-таки даетъ понятіе о степени злопыхательства. И никому не пришло на мысль сказать во всеуслышаніе хотя бы умѣренное слово въ защиту интеллигенціи. Хотя бы то, напримѣръ, что единичные факты слѣдуетъ судить единично же; что обобщенія въ подобныхъ случаяхъ неумѣстны и вредны; что, наконецъ, если и можно забить интеллигенцію въ грязь—что же тогда останется?

Не будь интеллигенціи, мы не имѣли бы ни понятія о чести, ни вѣры въ убѣжденія, ни даже представленія о человѣческомъ образѣ. Остались бы «чумазые» съ ихъ исконнымъ стремленіемъ расщипать общественный карманъ до послѣдней нитки.

Идетъ чумазый, идетъ! Я не разъ говорилъ это и теперь повторяю: идетъ, и даже уже пришелъ! Идетъ съ фальшивою мѣрою, съ фальшивымъ аршиномъ и съ неутолимою алчностью глотать, глотать, глотать...

Интеллигенція наша ничего не противопоставитъ ему,

ибо она ни откуда не защищена, и гибнетъ безпомощно, какъ былiе въ полѣ...

Скучно и тяжело смотрѣть, какъ умы, вмѣсто того, чтобы питаться здоровою пищею, постепенно заполоняются испугомъ. Испугъ до того въѣлся въ насъ, что мы даже совсѣмъ не сознаемъ его. Это уже не явленiе, приходящее извнѣ, а вторая природа. Мы пересчитываемъ всевозможныя загадочности и безусловно вѣримъ, что таинственная ихъ сила управляетъ міромъ, и что судьбы исторiи всецѣло отданы имъ во власть. Но еще мучительнѣе думать, что этому мыслительному плѣну не предвидится конца, потому что и подрастающее поколѣнiе, прислушиваясь къ непрерывному голошенiю старшихъ, незамѣтно заражается имъ. Простую мелочь, которая исчезла бы отъ одного дуновенiя здороваго, освѣжающаго воздуха, мы сумѣли превратить въ мелочь изнуряющую.

Стоитъ прислушаться къ говору невольныхъ плѣнниковъ, возвращающихся изъ душнаго Петербурга на дачи, чтобы убѣдиться, до какой степени всѣми овладѣла вѣра въ загадочность будущаго.

— Слышали,—раздается въ вагонахъ:—графъ Кальноки былъ съ визитомъ у Бисмарка?

— А черезъ полчаса князь Бисмаркъ отдалъ визитъ Кальноки, и опять оба имѣли продолжительное совѣщанiе...

— И при семъ присутствовалъ итальянскiй министръ Лампопо..

— Ну, ужъ и Лампопо?..

— Всѣ они тамъ Лампопо... всѣхъ бы ихъ...

— А слышали вы, что прусскiе офицеры у Сергiя-Троицы живмя-живутъ?

— Зачѣмъ ихъ нелегкая принесла?

— Утереть бы имъ носъ, этимъ паршивцамъ-нѣмцамъ,— вотъ и вся недолга...

— То-то, что платковъ нѣтъ...

— А слышали вы, какъ купецъ Z съ рабочими купонами 90-го года разсчитался?

— Вотъ такъ съ праздникомъ сдѣлалъ!

— Крестьяне, разумѣется, жаловаться; однако...

— А слышали вы, какъ купецъ X все земство въ своемъ уѣздѣ своими людьми заполонилъ?

— Неужто? А я еще его дворовымъ мальчикомъ помню...

— Да, батюшка, нынче хамы—сила!

— Станцiя Теріоки!—провозглашаетъ кондукторъ.

Плѣнники вскакиваютъ съ мѣстъ и разбѣгаются по дачамъ. А на дачѣ мать семейства, встрѣчая своего главу, сообщаетъ:

— А вѣдь графъ-то Кальноки... каковъ! Вотъ «наши» такъ не умѣютъ... У Троицы, сказываютъ, нѣмца видѣли...

— Ну, ну, ладно, матушка! Какіе-такіе тамъ «наши»! Тоже... туда же... Вели-ка подавать супъ, и будемъ обѣдать!

II

А съ Баттенбергомъ творится что-то неладное. Его начали «возить». Сначала увезли, потомъ опять привезли. Съ какою цѣлью? для чего лишній расходъ? чего смотрѣлъ майоръ Пановъ?

Бѣдный майоръ Пановъ! Сдается мнѣ, что долго не быть ему подполковникомъ. Развѣ новый Баттенбергъ пріѣдетъ и напишетъ: «Въ воздаяніе вашихъ заслугъ по увозу Баттенберга I-го жалую васъ...» Да и тутъ наврядъ ли отдадутъ ему старшинство, потому что вѣдь эти Баттенберги подозрительны. Скажетъ: одного ужъ увезъ,—пожалуй, увезетъ и другого...

И зачѣмъ Баттенбергъ воротился?! Пожилъ въ княжескомъ конакѣ, пожуировалъ—и будетъ. Наконецъ, совсѣмъ-было уѣхалъ—вдругъ телеграмма: «возвращайтесь! нашли надежную прислугу».—И онъ возвратился. Даже не спросилъ себя: достаточно ли надежна прислуга, и долго ли ему придется опять пожуировать? Жить бы да поживать ему гдѣ-нибудь въ Кассельѣ или Гомбургѣ, на хлѣбахъ у нѣсколькихъ монарховъ—

А онъ, мятежный, ищетъ бури,
Какъ будто въ буряхъ есть покой!..

Вотъ гдѣ нужно искать дѣйствительныхъ космополитовъ: въ средѣ Баттенберговъ, Меренберговъ и прочихъ штабъ- и оберъ-офицеровъ прусской арміи, которыхъ обездолилъ князь Бисмаркъ. Рыщутъ по бѣлу-свѣту, теплыхъ мѣстечекъ подыскиваютъ. Слушайте! вѣдь онъ, этотъ Баттенбергъ, такъ и говоритъ: «Болгарія—любезное наше отечество!»—и языкъ у него не запнется, выговаривая это слово! Отечество? Какимъ родомъ очутилось оно для него въ Болгаріи, о которой онъ и во снѣ не видалъ? Вотъ ужъ именно: не было ни гроша—и вдругъ алтынъ.

А болгары что? — «Они съ такимъ же восторгомъ привѣтствовали возвращеніе князя, съ какимъ, за нѣсколько дней передъ тѣмъ, встрѣтили вѣсть объ его низложеніи».

Вотъ что пишутъ въ газетахъ. Скажите: ну, чѣмъ они плоше древнихъ аѳинянъ? Только вотъ насчетъ аттической соли у нихъ плоховато.

Конечно, Баттенбергъ можетъ сказать: моему возвращенію рукоплескали. Но такихъ ли рукоплесканій я былъ свидѣтелемъ въ молодости! Пріѣдешь, бывало, въ Михайловскій театръ, да выйдетъ на сцену Луиза Мейеръ въ китайскомъ костюмѣ (водевиль «La fille de Dominique»), да запоетъ:

Je suis Tchinn-ka la blonde,
Esclave du Sultan,
Et je parcours le monde
En dansant, en chantant...

какъ весь театръ Михайловскій словно обезумѣетъ. «Bis! bis!» — зальются хоромъ люди всѣхъ вѣдомствъ и всѣхъ оружій. Вотъ если бы эти рукоплесканія слышалъ Баттенбергъ, онъ навѣрное сказалъ бы себѣ: теперь я знаю, какъ надо пріобрѣтать народную любовь!

И находятся еще антики, которые увѣряютъ, что весь этотъ хламъ исторія запишетъ на свои скрижали... Хороши будутъ скрижали! Нѣтъ, время такой исторіи ужъ прошло. Я увѣренъ, что даже современные болгары скоро забудутъ о Баттенберговыхъ проказахъ и вспомнятъ о нихъ лишь тогда, когда его во второй разъ увезутъ: «Ба! — скажутъ они:—да вѣдь это ужъ, кажется, во второй разъ! Какъ бы опять его къ намъ не привезли!»

Помните ли вы, читатель, Наполеона III-го? Навѣрное позабыли! Между тѣмъ онъ почти 20 лѣтъ сряду громилъ не одну Францію, но и всю Европу—и никто не замѣчалъ праха, который до краевъ наполнялъ этого человѣка. Все преклонялось передъ нимъ, все считало его серьезною силою. Новогодніе пріемы его представляли собой какъ бы политическую программу на цѣлый годъ,—программу, которая принималась безоговорочно къ исполненію. Но, наконецъ, пробилъ-таки часъ, какъ гноище, на которомъ онъ возлежалъ, раскрылось само собой. И что же? Съ послѣднимъ громомъ пушекъ — все смолкло, точно ничего и не было! Несмотря на его паденіе и смерть, событія продолжали идти своимъ чередомъ, какъ будто онъ никогда никакимъ «концертомъ» не дирижировалъ. И теперь имя его до того погрузилось въ мракъ, что не только никто о немъ не говоритъ, но даже и не помнитъ его существо-

ванія. Концерты европейскіе продолжаютъ разыгрываться безъ него, какъ бы разыгрывались при немъ, а жизнь народная продолжаетъ попрежнему свое теченіе, особо отъ концертовъ.

Имена Ньютоновъ, Франклиновъ, Галилеевъ, Ломоносовыхъ будутъ переходить изъ вѣка въ вѣкъ; имена Наполеоновъ и другихъ концертантовъ потонутъ въ болотныхъ топяхъ. Таковъ законъ вещей, и никакое насиліе не можетъ его обойти. Не обойдетъ его и исторія.

Правда, что Наполеонъ III-й оставилъ по себѣ цѣлое чужеядное племя Баттенберговъ, въ видѣ Наполеонидовъ, Орлеановъ и проч. Всѣ они бодрствуютъ и ищутъ глазами, всегда готовые броситься на добычу. Но исторія сумѣетъ разобраться въ этомъ наносномъ хламѣ и отыщетъ, гдѣ находится дѣйствительный центръ тяжести жизни. Если же она и упомянетъ о хламѣ, то для того только, чтобы сказать: было время такой громадной душевной боли, когда всякій авантюристъ овладѣвалъ человѣчествомъ безъ труда!

Скажетъ она это потому, что душевная боль не давала человѣчеству ни развиваться, ни совершать плодотворныхъ дѣлъ, а слѣдовательно, и въ самой жизни человѣческихъ обществъ произошелъ какъ бы перерывъ, который нельзя же не объяснить. Но, сказавши,—обведетъ эти строки черною каймою и болѣе не возвратится къ этому предмету.

— —

Ахъ, эти мелочи! Какъ чесоточный зудень, впиваются онѣ въ организмъ человѣка, и точатъ, и жгутъ его. Сколько всевозможныхъ «союзовъ» опутало человѣка со всѣхъ сторонъ; сколько каждый индивидуумъ ухитряется придумать лично для себя всякихъ стѣсненій! И всему этому, и пришедшему извнѣ, и придуманному ради удовлетворенія личной мнительности, онъ обязывается послужить, т. е. отдать всю свою жизнь. Нѣтъ мѣста для работы здоровой мысли, нѣтъ свободной минуты для плодотворнаго труда! Мелочи, мелочи, мелочи—заполонили всю жизнь.

Возьмемъ для примѣра хоть страхъ завтрашняго дня. Сколько постыднаго заключается въ этой трехсловной мелочи! Какимъ образомъ она могла въѣсться въ существованіе человѣка, существа по преимуществу предусмотрительнаго, обладающаго зиждительною силою? Что придавило его? что заставило такъ безусловно подчиниться этой постыдной мелочи?

Встрѣчаете на улицѣ пріятеля и видите, что онъ задумчивъ и угнетенъ.

— Что такъ задумались?

— Да какъ-то не по себѣ... Боюсь.

— Боитесь? Чего же?

— Да завтрашняго дня. Все думается: что-то завтра будетъ! Не то боязнь, не то раздраженье чувствуешь... смутное что-то. Стараюсь вникнуть, но до сихъ поръ еще не разобрался. Точно находишься въ обществѣ, въ которомъ собравшіеся всѣ разбрелись по угламъ и шушукаются, а ты сидишь одинъ у стола и пересматриваешь лежащіе на немъ и давно надоѣвшіе альбомы... Вотъ это какое ощущеніе!

— Ахъ, пустяки какіе!

— Пустяки—это вѣрно. Но въ томъ-то и сила, что одолѣли насъ эти пустяки. Плывутъ со всѣхъ сторонъ, впиваются, рвутъ сердце на части.

— Но что же можетъ быть завтра такого страшнаго?

— То-то что ничего неизвѣстно. Будетъ—не будетъ, будетъ—не будетъ?—только на эту тему и работаетъ голова. Слышишь шопоты, далекое урчанье, а яснаго—ничего.

— Все-таки я не вижу, что же тутъ общаго съ завтрашнимъ днемъ?

— И завтра, и сегодня, и сейчасъ, сію минуту,—развѣ это не все равно? Голова заполонена; кругомъ — пустота, неизвѣстность или нелѣпая и разнорѣчивая болтовня; опускаются руки, и самъ незамѣтно погружаешься въ омутъ шопотовъ или нахальной болтовни... Вотъ это-то и омерзительно.

И дѣйствительно, кругомъ слышатся только шопоты да гулъ какой-то загадочной работы при замкнутыхъ дверяхъ. Поневолѣ вспомнятся стихи Пушкина:

Смутно всюду, темно всюду.
Быть тутъ чуду! Быть тутъ чуду!

Только не «чудо» является въ результатѣ, а простой изнуряющій вздоръ.

Возьмемъ теперь другой примѣръ: образованіе. Не о высшей культурѣ идетъ здѣсь рѣчь, а просто о школѣ. Школа приготовляетъ человѣка къ воспринятію знанія; она даетъ ему основные элементы его. Это достаточно указываетъ, какая тѣсная связь существуетъ между школой и знаніемъ.

Извѣстно, и даже за аксіому всѣми принято, что знаніе освѣщаетъ не только того, кто непосредственно его воспринимаетъ, но черезъ посредство школы распространяетъ лу-

чистый свѣтъ и на темныя массы. Извѣстно также, что люди одаряются отъ природы различными способностями и различною степенью воспріимчивости; что ежели практически и трудно провести эту послѣднюю истину во всемъ ея объемѣ, то, во всякомъ случаѣ, непростительно не принимать ея въ соображеніе. Наконецъ, признано всѣми, что насильственно суживать предѣлы знанія вредно, а еще вреднѣе наполнять содержаніе его всякими случайными примѣсями.

Посмотримъ же, въ какой мѣрѣ примѣняются эти истины къ школьному дѣлу.

Прежде всего, надъ всей школой тяготѣетъ нивелирующая рука циркуляра. Опредѣляются во всей подробности не только предѣлы и содержаніе знанія, но и число годовыхъ часовъ, посвящаемыхъ каждой отрасли его. Не стремленіе къ распространенію знанія стоитъ на первомъ планѣ, а глухая боязнь этого распространенія. О характеристическихъ особенностяхъ учащихся забыто вовсе: всѣ предполагаются скроенными по одной мѣркѣ, для всѣхъ преподается одинъ и тотъ же обязательный масштабъ. Переводный или непереводный баллъ — вотъ единственное мѣрило для оцѣнки, при чемъ не берется въ соображеніе, насколько въ этомъ баллѣ принимаетъ участіе слѣпая случайность. О личности педагога тоже забыто. Онъ не можетъ ни остановиться лишнихъ пять минутъ на такомъ эпизодѣ знанія, который признаетъ важнымъ, ни посвятить пять минутъ меньше такому эпизоду, который представляется ему недостаточно важнымъ или преждевременнымъ. Онъ обязывается выполнить букву циркуляра—и больше ничего.

Но, въ такомъ случаѣ, для чего же не прибѣгнуть къ помощи телефона? Набрать бы въ центрѣ отборныхъ и вполнѣ подходящихъ къ уровню современныхъ требованій педагоговъ, которые и распространили бы по телефону свѣтъ знанія по лицу вселенной, а на мѣстахъ содержать только туторовъ, которые наблюдали бы, чтобы ученики не повѣсничали...

Мало того: при самомъ входѣ въ школу о всякомъ жаждущемъ знанія наводится справка.

Дворянинъ или мѣщанинъ?

Какого вѣроисповѣданія: православный, католикъ или, наконецъ, еврей?

Для послѣднихъ въ особенности школа—время тяжелаго и жгучаго испытанія. Съ юношескихъ лѣтъ еврей воспитываетъ въ себѣ сердечную боль, проходитъ всѣ степени

неправды, униженія и рабства. Что же можетъ выработаться изъ него въ будущемъ?

Нѣтъ ни общей для всѣхъ справедливости, ни признанія человѣческой личности, ни живого слова. Ничего, кромѣ задачника Буренина и Малинина и учебниковъ грамматики всевозможныхъ сортовъ.

Что можетъ дать такая школа? Что, кромѣ tabula rasa и особенной болѣзни, къ которой слѣдуетъ примѣнить спеціальное наименованіе «школьнаго худосочія»?

Сонливые и безсильные высыплютъ массы юношей и юницъ изъ школъ на арену жизни, сонливо отбудутъ жизненную повинность и сонливо же сойдутъ въ преждевременныя могилы...

А вотъ и третій примѣръ. Представьте себѣ, что студентъ Хорьковъ женился на Липочкѣ Большовой (извѣстныя лица изъ комедій Островскаго). Липочка вышла замужъ, потому что случайно отдалась Хорькову, и надо же «прикрыть грѣхъ»; Хорьковъ женился, потому что принялъ Липочкину наглость за «святую простоту». При этомъ, само собой разумѣется, старикъ Большовъ надулъ Хорькова и не далъ за Липочкой никакого приданаго, кромѣ тряпокъ. И вотъ они невдолгѣ опознали другъ друга. Липочка увѣрилась, что Хорьковъ не въ состояніи дарить ей трепрашельчатыхъ платьевъ; Хорьковъ убѣдился, что мечты его о «святой простотѣ», при первомъ же столкновеніи съ дѣйствительностью, разбились въ прахъ.

Что можетъ выйти изъ этого сожитія? Что, кромѣ клѣтки, въ которой сидятъ два звѣря, прикованные каждый къ своему углу и готовые растерзать другъ друга при первой возможности?

И, наконецъ, четвертый примѣръ. Передъ вами человѣкъ вполнѣ независимый, обезпеченный и культурный. Онъ могъ бы жить совершенно свободно, удовлетворяя потребностямъ своей развитости. Но его такъ и подмываетъ отдать себя въ рабство. Онъ чуетъ своимъ извращеннымъ умомъ, что есть гдѣ-то лѣстница, которая ведетъ къ почестямъ и власти. И вотъ онъ взбирается на нее. Скользитъ, оступается и летитъ стремглавъ назадъ. Это, однако-жъ, не останавливаетъ его. Онъ вновь начинаетъ взбираться медленно, мучительно, ступень за ступенью, и, наконецъ, успѣваетъ придти къ цѣли. Тутъ его встрѣчаютъ щелчки за щелчками, потому что онъ чуженинъ въ этой средѣ, чужого поля ягода. Тѣмъ не менѣе руководители среды

очень хорошо понимаютъ, что отъ этого чуженина отдѣлаться не легко, что онъ упоренъ и не уйдетъ назадъ съ одними щелчками. Его, наконецъ, пристраиваютъ, даютъ пріютъ и мало-по-малу привыкаютъ звать «своимъ». Въ отвѣтъ на это вынужденное равнодушіе, онъ ходко впрягается въ плугъ и начинаетъ работать съ ревностью прозелита. Идеалы, свобода, порывы души—все забыто, все принесено въ жертву рабству. А черезъ короткое время въ результатѣ получается заправскій рабъ, въ которомъ все сгнило, кромѣ гнуткой спины и лгущаго языка во рту.

Довольно ли этихъ примѣровъ?

Я не знаю, какъ отнесется читатель къ написанному выше, но что̀ касается до меня, то при одной мысли о «мелочахъ жизни» сердце мое болитъ невыносимо.

Несомнѣнно, что̀ весь этотъ угаръ, эта разнокалиберная фантасмагорія устраняется сама собой; но спрашивается: сколько увлекутъ за собой жертвъ одни усилія, направленныя съ цѣлью этого устраненія?

Мнѣ скажутъ, быть-можетъ, что я смѣшалъ въ одну кучу «мелочи» совсѣмъ различныхъ категорій: Баттенберговы приключенія—со школою и т. д. Я и самъ понимаю, что въ существѣ это явленія вполнѣ разнородныя, но и за всѣмъ тѣмъ не могу не признать хотя косвенной, но очень тѣсной связи между ними. Дѣло въ томъ, что Баттенберговы проказы не сами по себѣ важны, а потому, что, несмотря на свое ничтожество, заслоняютъ тѣ горькія «мелочи», которыя заправскимъ образомъ отравляютъ жизнь. Подъ шумъ всевозможныхъ совѣщаній, концертовъ, тостовъ и другихъ политическихъ сюрпризовъ прекращается русловое теченіе жизни, и вся она уходитъ внутрь, но не для работы самоусовершенствованія, а для того, чтобы переполниться внутренними болями. И умственный, и матеріальный уровень страны несомнѣнно понижается; исчезаетъ предусмотрительность; разрывается связь между людьми, и вмѣсто всего на арену появляется существованіе въ одиночку и страхъ передъ завтрашнимъ днемъ. Все это, конечно, равносильно доброй войнѣ.

Войну клянутъ; собираютъ митинги, пишутъ трактаты объ устраненіи поводовъ къ ней или о замѣнѣ ея другимъ судомъ, менѣе безчеловѣчнымъ. Но забываютъ, что преліминаріи войны гораздо мучительнѣе, нежели самая война. Война открываетъ доступъ самымъ дурнымъ страстямъ

(одни подрядчики и казнокрады чего стоятъ!); она изнуряетъ страну матеріально; прелиминаріи къ войнѣ производятъ въ странѣ умственное и нравственное разложеніе, погружаютъ ее въ мракъ ничтожества. Все дурное, неправое и безнравственное назрѣваетъ подъ вліяніемъ смуты, заставляющей общество метаться изъ стороны въ сторону безъ руководящей цѣли, безъ всякаго сознанія сущности этихъ безпорядочныхъ метаній.

Общество, не знающее иного содержанія, кромѣ сплетенъ и насильственно созданныхъ путъ, можетъ быть способно лишь къ прозябанію. Спрашивается однако-жъ: возможно ли безсрочное прозябаніе, и не должно ли оно постепенно перейти въ гніеніе?

Признаюсь откровенно: какъ ни мученъ для меня утвердительный отвѣтъ, но я вынужденъ сказать: да, прозябаніе не безсрочно.

III.

Чтобы вполнѣ оцѣнить гнетущее вліяніе «мелочей», чтобы ощутить ихъ во всей осязаемости, перенесемся изъ большихъ центровъ въ глубь провинціи. И чѣмъ глубже, тѣмъ яснѣе и яснѣе выступитъ ненормальность условій, въ которыя поставлено человѣческое существованіе *).

Въ губерніи вы прежде всего встрѣтите человѣка, у котораго сердце не на мѣстѣ. Не потому оно не на мѣстѣ, чтобы было переполнено заботами объ общественномъ дѣлѣ, а потому, что все содержаніе настоящей минуты исчерпывается однимъ предметомъ: огражденіемъ прерогативъ власти отъ дѣйствительныхъ и мнимыхъ нарушеній.

Прерогативы власти — это такого рода вещь, которая почти недоступна вполнѣ строгому опредѣленію. Здѣсь настоящее гнѣздилище чисто-личныхъ воззрѣній и оцѣнокъ, такъ что ежели взять два крайнихъ полюса этихъ воззрѣній, то между ними найдется очень мало общаго. Все тутъ неясно и смутно: и предѣлы, и степень, и содержаніе. Одно только прямо бросается въ глаза—это власть для власти, и, само собой разумѣется, только одна эта цѣль и преслѣдуется съ полнымъ сознаніемъ.

Въ спокойное время на помощь къ этой разнокалибер-

*) Прошу читателя имѣть въ виду, что я говорю не объ одной Россіи: почти всѣ европейскія государства въ этомъ отношеніи устроены на *одинъ образецъ.—Авт.*

щинѣ является циркуляръ. Онъ старается съютить противоположные полюсы личныхъ воззрѣній, приводитъ примѣры, одно одобряетъ, другое порицаетъ и, въ заключеніе, все-таки взываетъ къ усмотрѣнію. Но вѣдь въ спокойное время человѣкъ, у котораго сердце не на мѣстѣ, и самъ сидитъ спокойно. Онъ равнодушно прочитываетъ полученную рацею и говоритъ себѣ: «у меня и безъ того смирно—чего еще больше?.. Иванъ Ивановичъ!—обращается онъ къ приближенному лицу: — кажется, у насъ ничего такого нѣтъ?»—И есть ли, нѣтъ ли, циркуляръ подшивается къ числу прочихъ—и дѣлу конецъ.

Совсѣмъ въ другомъ видѣ представляется дѣло въ такъ-называемыя переходныя эпохи, когда общество объято недоумѣніями, страхомъ завтрашняго дня и исканіемъ новыхъ жизненныхъ основъ. Это—время «строгости и скорости». Тутъ циркуляръ не только теряетъ свое разъяснительное значеніе, но положительно запутываетъ.—Что̀ такое: «а посему»? Почему «посему»?—безпокойно спрашиваетъ себя адресатъ. И вотъ начинаются утягиванья, натягиванья, и, наконецъ, личное усмотрѣніе вступаетъ въ свои права. «Строгость и скорость»—только и всего. Власть для власти, подозрительность, вмѣшательства—все призывается на помощь, лишь бы успокоить встревоженное сердце.

Наступаетъ истинный переполохъ. И у себя дома, и въ канцеляріяхъ, и въ гостяхъ у частныхъ лицъ, и въ общественныхъ мѣстахъ—вездѣ чудятся дурныя страсти, безначаліе и подрывы основъ, подъ которыми, за неясностью этого выраженія, разумѣются тѣ же излюбленныя прерогативы власти. Пускаются въ ходъ благосклонныя или язвительныя улыбки (смотря по обстоятельствамъ), нахмуренныя брови, воркотня; поднимается самъ собой указательный палецъ и грозитъ въ пространство. Уже не циркуляръ является руководителемъ, а газета, съ ея толками и инсинуаціями...

Все это я не во снѣ видѣлъ, а воочію. Я слышалъ, какъ провинція наполнялась крикомъ, перекатывавшимся изъ края въ край; я видѣлъ и улыбки, и нахмуренныя брови; я ощущалъ ихъ дѣйствіе на самомъ себѣ. Я помню такъ-называемыя «столкновенія», въ которыхъ одинъ толкался, а другой думалъ единственно о томъ, какъ бы его не затолкали въ конецъ. Я не только ничего не преувеличиваю, но скорѣе не нахожу настоящихъ красокъ.

Я не говорю уже о томъ, какъ мучительно жить подъ

условіемъ такихъ метаній, но спрашиваю: какое горькое сознаніе униженія должно всплыть со дна души при видѣ одного этого неустанно угрожающаго указательнаго перста?

— Иванъ Ивановичъ! кажется, къ намъ затесался анархистъ... Вотъ этотъ, чернобатый, съ длинными волосами... И видъ у него такой, точно съѣсть хочетъ...

— Это у него отъ природы-съ,—робко пытается разубѣдить Иванъ Ивановичъ.

— Природа! знаемъ мы эту природу! Не природа, а порода. Природу нужно смягчать; торжествовать надъ ней надо. Нѣтъ, знаете ли что? Лучше намъ подальше отъ этихъ лохматыхъ! Пускай онъ идетъ съ своей природой, куда пожелаетъ. А вы между тѣмъ шепните ему, чтобъ онъ держалъ ухо востро!

Указательный палецъ поднимается самъ собой, а «лохматый», къ немалому своему испугу и удивленію товарищей, обязывается исчезнуть съ лица земли.

Или:

— А вѣдь у васъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, въ вѣдомствѣ не совсѣмъ-то благополучно.

— Что такое?—озабоченно спрашиваетъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ.

— Да такъ... не скажу, чтобъ явное противодѣйствіе, а душокъ проявляется-таки. И при этомъ не безъ иронiи...

— Помилуйте-съ!

— А вы припомните, какъ вы мнѣ отвѣтили на мой запросъ о необходимости имѣть въ сердцахъ страхъ Божій? Конечно, я васъ лично не обвиняю, но письмоводитель вашъ—шпилька!

— Но что же я такое отвѣтилъ?

— А отвѣтили: «въ моемъ вѣдомствѣ страха Божія очень достаточно»... Н-да-съ...

Къ счастію, въ это время подвертывается Емельянъ Семеновичъ съ колодой картъ.

— Повинтить-съ?

— Съ удовольствіемъ.

Человѣкъ, у котораго сердце не на мѣстѣ, усаживается за винтъ; но когда кончается условленное число роберовъ, онъ все-таки не преминетъ напомнить Ѳедору Ѳедоровичу:

— А насчетъ письмоводителя вы все-таки имѣйте въ виду. Я давно въ немъ замѣчаю. Нѣтъ у него этой теплоты чувства, этой, такъ сказать...

Таковъ человѣкъ, у котораго сердце не на мѣстѣ; а за

нимъ слѣдуетъ цѣлая свита людей, у которыхъ тоже сердце не на мѣстѣ, у каждаго по своему вѣдомству. И опять появляются на сцену лохматые, опять слышатся слова: «противодѣйствіе», «иронія».

Мнѣ скажутъ, что все это мелочи, что въ извѣстныя эпохи отдѣльныя личности имѣютъ значеніе настолько относительное, что нельзя формализироваться тѣмъ, что они исчезаютъ безслѣдно въ круговоротѣ жизни. Да вѣдь я и самъ съ того началъ, что всѣ подобныя явленія назвалъ мелочами. Но мелочами, которыя опутываютъ и подавляютъ...

Такимъ образомъ губернія постепенно приводится къ тому томительному однообразію, которое не допускаетъ ни обмѣна мыслей, ни живой дѣятельности. Вся она твердитъ одни и тѣ же подневольныя слова, не сознавая ихъ значенія и только руководствуясь однимъ соображеніемъ: что эти слова идутъ ходко на жизненномъ рынкѣ.

Канутъ ли эти мелочи въ вѣчность безслѣдно, или будутъ имѣть какія-нибудь послѣдствія—не знаю. Одно могу сказать съ нѣкоторою достовѣрностью, что есть мелочи, которыя, подобно снѣжному шару, чѣмъ дальше катятся, тѣмъ больше нарастаютъ и, наконецъ, образуютъ изъ себя глыбу.

Ежели мы спустимся ступенью ниже—въ уѣздъ, то увидимъ, что тамъ мелочи жизни выражаются еще грубѣе и еще меньше встрѣчаютъ отпора. Уѣздъ изстари былъ вмѣстилищемъ людей одинаковой степени развитія и одинаковаго отсутствія образа мыслей. Теперь, при готовыхъ девизахъ изъ губерніи, разномысліе исчезло окончательно. Даже жены чиновниковъ не ссорятся, но единомысленно подвываютъ: «ахъ, какой циркуляръ!»

Была минута, когда мировыя и земскія учрежденія внесли нѣкоторое оживленіе въ эту омертвѣлую среду, но время это памятно уже очень немногимъ современникамъ. Нынче и мировые, и земскіе дѣятели одинаково погрузились въ общую пучину единомыслія и одинаково твердятъ одни и тѣ же завѣтныя слова. Пришли новые люди и принесли съ собой сознаніе о вредѣ такъ-называемыхъ прекраній и о необходимости безусловно покориться вѣяніямъ минуты. А ежели и остались немногіе изъ недавнихъ «старыхъ», то они такъ легко выдержали процессъ переодѣванія, что опознать въ нихъ людей, которые еще наканунѣ плели лапти съ подковыркою, совсѣмъ невозможно.

Главная цѣль, къ которой нынѣ направлены всѣ усилія уѣздной административной дѣятельности,—это справляться дома, своими средствами, и какъ можно меньше безпокоить начальство. Но такъ какъ выраженіе «свои средства» есть не что̀ иное, какъ вольный переводъ выраженія «произволъ», то для подкрѣпленія его явилось къ услугамъ и еще выраженіе: «въ законахъ нѣтъ». Цѣлыхъ пятнадцать томовъ законовъ написано, а все отыскать закона не могутъ! Стоятъ эти томы въ шкапу и безмолвствуютъ, а ключъ отъ шкапа заброшенъ въ колодецъ, чтобъ прочнѣе дѣло было.

Соберутся уѣздные дѣятели на воскресномъ пирогѣ у соборнаго протоіерея (нынѣ и онъ играетъ очень немаловажную роль) и ведутъ единомысленную бесѣду.

— Я въ своемъ участкѣ одного человѣка запримѣтилъ, — ораторствуетъ мировой судья: — надо бы къ нему легонечко подойти.

— А у насъ тутъ мѣщанинишко въ городѣ завелся, — подхватываетъ непремѣнный членъ:—газету выписываетъ, книжки читаетъ... да и поговариваетъ. Въ базарные дни всякій народъ около его лавочки толпится, а онъ сидитъ и газету въ рукахъ держитъ... Долго ли до грѣха!

Исправникъ слушаетъ и безмолвствуетъ, только усами шевелитъ.

— Сократить бы!—изрекаетъ отецъ-протопопъ.

— Всенепремѣнно-съ,—подтверждаетъ предсѣдатель земской управы:—и я за однимъ человѣкомъ примѣчаю... Я ужъ и говорилъ ему: мы, братъ, тебя безъ шуму, своими средствами... И представьте себѣ, какой нахалъ: «попробуйте», говоритъ!

— Что-жъ, попробовать можно!—вставляетъ свое слово городской голова, усмѣхаясь въ бороду.

— И попробуемъ!—рѣшаетъ предводитель.

— И по-про-бу-емъ!—восклицаетъ исправникъ, вставая изъ-за стола.

Пирогъ съѣденъ, гости разошлись по домамъ, а на другой день «свое средство» уже въ ходу.

Такъ, изо-дня-въ-день, течетъ эта безразсвѣтная жизнь, вся поглощенная мелочами, чего-то отыскивающая и ничего не обрѣтающая, кромѣ усмотрѣнія.

Недаромъ же такъ давно идутъ толки о децентрализаціи, смѣшиваемой съ сатрапствомъ, и о расширеніи власти, смѣшиваемомъ съ разнузданностью. Плоды этихъ толковъ,

до сихъ поръ, впрочемъ, остававшихся подъ спудомъ, уже достаточно выяснились. «Эти толки недаромъ! въ нихъ-то и скрывается настоящая интимная мысль!» — разсуждаетъ провинція и, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, начинаетъ приводить въ исполненіе не законъ и даже не циркуляръ, а простые газетные толки, не предвидя впереди никакой отвѣтственности.

Спустимся еще ступенью ниже—въ деревню, и мы найдемъ ее всецѣло отданною въ жертву мелочамъ. Тутъ мы прежде всего встрѣтимся съ «чумазымъ», который всюду проникъ съ сонмищами своихъ агентовъ. Эти агенты рыщутъ по деревнямъ, устанавливаютъ цѣны, скупаютъ, обвѣшиваютъ, обмѣриваютъ, обсчитываютъ, платятъ несуществующими деньгами, являются на аукціоны, отъ которыхъ плачетъ недоимщикъ, чутко прислушиваются къ бабьимъ стонамъ и цѣлыми обществами закабаляютъ людей, считающихся свободными. Словомъ сказать, вездѣ, гдѣ чуется нужда, горе, слезы,—тамъ и «чумазый» съ своимъ кошелемъ. Мало того: чумазый внѣдрился въ самую деревню въ видѣ кабатчика, прасола, кулака, міроѣда. Эти ужъ дѣйствуютъ не наѣздомъ, а постоянно и не торопясь. Что касается до мірскихъ властей, то они безусловно отдались въ руки чумазому и думаютъ только объ исполненіи его прихотей.

Затѣмъ мы встрѣчаемся съ общиной, которая не только не защищаетъ деревенскаго мужика отъ внѣшнихъ и внутреннихъ неурядицъ, но сковываетъ его по рукамъ и ногамъ. Она не даетъ простора ни личному труду, ни личной иниціативѣ, губитъ въ самомъ зародышѣ всякое проявленіе самостоятельности и, въ заключеніе, отдаетъ въ кабалу или выгоняетъ на улицу слабыхъ, не успѣвшихъ заручиться благорасположеніемъ міроѣда. Было время, когда надѣялись, что община обезпечитъ хоть кусокъ хлѣба слабому члену, но нынче и эти надежды разсѣялись. Оставленные надѣлы, покинутыя и заколоченныя избы достаточно свидѣтельствуютъ о сладостяхъ деревенской жизни. Куда дѣвались обитатели этихъ опустѣлыхъ избъ? Увы! скоро самая память о нихъ исчезнетъ въ деревнѣ. Они получили паспорта и «ушли» — вотъ все, что̀ извѣстно; а удастся ли имъ внѣ родного гнѣзда разрѣшить поставленный покойнымъ Рѣшетниковымъ вопросъ: «Гдѣ лучше?» — на это все прошлое достаточно ясно отвѣчаетъ: нѣтъ, не удастся.

Наконецъ, мы встрѣчаемся съ крестьянской избой, переполненной сварой, семейными счетами и непрестаннымъ галдѣніемъ. Въ этомъ миніатюрномъ ковчегѣ нерѣдко ютится нѣсколько поколѣній, отъ грудного младенца до ветхаго старика, который много лѣтъ, не испуская жалобы, лежитъ на печи и не можетъ дождаться смерти. Всевозможныя насѣкомыя ползутъ по стѣнкамъ и сыплются съ потолка; всевозможные звуки раздаются съ утра до вечера: тутъ и крикъ младенца, и назойливое гоношеніе подростковъ, и брань взрослыхъ, и блеяніе объягнившейся овцы, и мычаніе теленка, и вздохи старика. Цѣлый адъ, который только лѣтомъ, когда изба остается цѣлый день пустою, нѣсколько смягчаетъ свои сатанинскіе крики.

Ахъ, этотъ жалкій старикъ! Помнится, читалъ я въ одномъ изъ сборниковъ Льва Толстого сказку о старомъ коршунѣ. Вздумалось ему переселиться изъ родной стороны за море — вотъ онъ и сталъ переносить по очереди своихъ коршунятъ на новое мѣсто. Понесъ одного, долетѣлъ до середины морской пучины и началъ допрашивать птенца: «будешь ли меня кормить?»—Натурально, птенецъ испугался и запищалъ: «буду». Тогда старый коршунъ бросилъ его въ пучину водную и возвратился назадъ. Полетѣлъ онъ съ другимъ коршуненкомъ, и опять повторилась та же сцена. Опять вопросъ: «будешь ли меня кормить?»—и отвѣтъ: «буду!» Бросилъ старый коршунъ и этого птенца въ пучину и полетѣлъ за третьимъ. Но третій былъ настоящій коршунъ, безпощадный и жестокій. На вопросъ «будешь ли меня на старости лѣтъ кормить?» — онъ отвѣчалъ прямо: «не буду!» И старый коршунъ бережно донесъ его до новаго мѣста, воспиталъ и улетѣлъ прочь умирать.

Точно то же и тутъ. Выкормилъ-выпоилъ старый Кузьма своихъ коршуновъ и полѣзъ на печку умирать. Сколько ужъ лѣтъ онъ мретъ, и все окончанія этому умиранію нѣтъ. Кости да кожа, ноги мозжатъ, всего знобитъ, спину до ранъ пролежалъ, и когда-то-когда влѣзетъ къ нему на печь молодуха и обрядитъ его.

— Долго ли, батюшка, намъ съ тобой маяться?—нетерпѣливо спрашиваетъ его большакъ-коршунъ.

— Видно уже, пока смерть...—чуть слышно вздыхаетъ въ отвѣтъ старикъ.—Тюрьки бы мнѣ... поѣсть хочется!

Въ такой обстановкѣ человѣкъ поневолѣ дѣлается же стокъ. Куда скрыться отъ домашняго гвалта? на улицу—

но тамъ тоже гвалтъ: сходъ собрался — судятъ, рядятъ, сѣкутъ. Со всѣхъ сторонъ, купно съ міроѣдами, обступило сельское и волостное начальство; всякій спрашиваетъ, и передъ всякимъ отвѣтъ надо держать... А вотъ и кабакъ! Слышите, какъ Ванюха Безчастный на гармоникѣ заливается?

. . . . . .

Какъ живутъ массы при такихъ условіяхъ? — Еще недавно на этотъ вопросъ я отвѣчалъ бы: они живутъ особливою жизнью, независимою отъ культурныхъ ухищреній. Но теперь, разобравшись ближе въ тинѣ мелочей, я не могу остаться при прежнемъ объясненіи. Культурный человѣкъ сдѣлался проницателенъ; онъ понялъ свою зависимость отъ жизни массъ и потому приспособляетъ послѣднюю такъ, чтобы будущее было для него обезпечено. Отсюда такая безконечная масса проектовъ, трактующихъ объ упрощеніи и устраненіи. Семейная жизнь крестьянина, его отношеніе къ землѣ, къ промысламъ, къ нанимателю, къ начальству—все выступило на арену, и всему предполагается учинить отчетливую и безвыходную регламентацію. Конечно, все это покуда «толки», но, какъ я сказалъ выше, въ извѣстной средѣ «толкамъ» дается даже бо́льшее значеніе, нежели ясно высказанному слову. Культурный глазъ проникаетъ въ мельчайшія подробности крестьянской жизни, а культурныя намѣренія несомнѣнно дадутъ ей соотвѣтствующую окраску. Самая возможность самостоятельнаго развитія исчезнетъ надолго, а сумма мелочей не только не удалится, но увеличится. И будетъ катиться эта глыба впередъ и впередъ, покуда не застрянетъ среди дороги и не сдѣлаетъ ее непроходимою

И много породитъ несчастливцевъ эта глыба, много — въ своемъ наростаніи — увлечетъ она жертвъ въ могилы.

Вотъ настоящія удручающія мелочи жизни. Сравните ихъ съ приключеніями Наполеоновъ, Орлеановъ, Баттенберговъ и проч. Сопоставьте съ европейскими концертами — и отвѣтьте сами: какія изъ нихъ, по всей справедливости, должны сдѣлаться достояніемъ исторіи и какія будутъ отметены ею. Что до меня, то я даже ни на минуту не сомнѣваюсь въ ея выборѣ.

Говорятъ, будто Баттенбергъ прослезился, когда ему до-

ложили: «карета готова!» Еще бы! Все лучше быть какимъ-ни-на-есть державцемъ, нежели играть на бильярдѣ въ берлинскихъ кофейняхъ. Притомъ же, на первыхъ порахъ, его безпокоитъ вопросъ: что скажутъ свои? папенька съ маменькой, тетеньки, дяденьки, братцы и сестрицы? какъ-то встрѣтятъ его прочіе Баттенберги и Орлеаны? Наконецъ, вѣдь ему придется отвыкать говорить: «Болгарія— любезное отечество наше!» Нѣтъ у него теперь отечества, нѣтъ и не будетъ!

Но всѣ эти тревоги скоро пройдутъ. Забудется Болгарія, забудется война съ Сербіей, и начнетъ Баттенбергъ переходить изъ кофейни «Золотого Оленя» въ кофейню «Золотого Рога», всюду, гдѣ въ окнѣ вывѣшено объявленіе: «продается пиво прямо изъ бочки». Русскую ли партію онъ будетъ играть на бильярдѣ — съ засаживаніемъ шаровъ въ лузу, или нѣмецкую — съ одними карамболями? Нужно полагать, что, несмотря на неудачный конецъ, онъ все-таки сохранитъ благодарную память и предпочтетъ русскую партію всякой другой. А, впрочемъ... кто можетъ измѣрить глубину будущаго? кто можетъ сказать заранѣе, оснуется ли Баттенбергъ навсегда въ кофейнѣ «Золотого Оленя», или... А вдругъ состоится новый концертъ, и привезутъ его опять въ Болгарію, и опять онъ обрѣтетъ «любезное отечество»!

Случайно или не случайно, но съ окончаніемъ Баттенберговскихъ похожденій затихли и европейскіе концерты. Визиты, встрѣчи и совѣщанія прекратились, и всѣ разъѣхались по домамъ. Начинается зимняя работа; настаетъ время собирать матеріалы и готовиться къ концертамъ будущаго лѣта. Такъ оно и пойдетъ колесомъ, покуда есть на лицо человѣкъ (имя рекъ), который держитъ всю Европу въ испугѣ и смутѣ. А исчезнетъ со сцены этотъ имя рекъ, на мѣстѣ его появится другой, третій.

«Паны дерутся, а у холоповъ чубы болятъ», говоритъ старая малороссійская пословица, и въ настоящемъ случаѣ она съ удивительною пунктуальностью примѣняется на практикѣ. Но только понимаетъ ли заманиловскій Авдѣй, что его злополучіе имѣетъ какую-то связь съ «молчаливымъ тостомъ»? что отъ этого зависитъ война и миръ, повышеніе или пониженіе курса, дороговизна или дешевизна, наличность баланса и отсутствіе его?

— А нутко, Авдѣй, отвѣчай, знаешь ли ты, что такое балансъ?

IV.

Вспомнимъ сравнительно недавнее прошлое — и мы почувствуемъ себя среди цѣлой сѣти самыхъ вопіющихъ мелочей.

Я выросъ на лонѣ крѣпостного права, вскормленъ молокомъ крѣпостной кормилицы, воспитанъ крѣпостными мамками и, наконецъ, обученъ грамотѣ крѣпостнымъ грамотеемъ. Всѣ ужасы этой вѣковой кабалы я видѣлъ въ ихъ наготѣ.

Самые разнообразные виды рабской купли и продажи существовали тогда. Людей продавали и дарили, и цѣлыми деревнями, и по-одиночкѣ; отдавали въ услуженіе друзьямъ и знакомымъ; законтрактовывали партіями на фабрики, заводы, въ судовую работу (бурлачество); торговали рекрутскими квитанціями и проч. Въ особенности жестоко было крѣпостное право относительно дворовыхъ людей: даже волосы крѣпостныхъ дѣвокъ эксплоатировали, продавая ихъ косы парикмахерамъ. Хотя законъ, изданный, впрочемъ, уже въ нынѣшнемъ столѣтіи, и воспрещалъ продажу людей въ-одиночку, но находили средства обходить его. Не дозволяли дворовымъ вступать въ браки и продавали мужчинъ (особенно поваровъ, кучеровъ, выѣздныхъ лакеевъ и вообще людей, обученныхъ какому-нибудь мастерству) по-одиночкѣ, съ придачею стариковъ, отца и матери—это называлось продажей цѣлымъ семействомъ; выдавали дѣвокъ замужъ въ чужія вотчины—это называлось: продать дѣвку на выводъ. Женскій персоналъ помѣщичій былъ по преимуществу выдумчивъ по этой части. Не въ рѣдкость было въ то время слышать такіе разговоры:

— Что же, сударыня, продадите, что ли, дѣвку-то? — спрашивалъ сосѣдъ-помѣщикъ помѣщицу-кулака, черезчуръ дорожившую живымъ товаромъ.

— Да дешево ужъ очень дасте.

— Помилуйте! шестьдесятъ рублей (на ассигнаціи)! ихъ нынче по сорока рублей за штуку—сколько угодно!

— А вы за кого ее замужъ хотите отдать?

— Есть у меня, видите ли, вдовецъ. Не старъ еще, да дѣтей куча, тягла править не въ силахъ. Своихъ дѣвокъ на выданье у меня во всей вотчинѣ хоть шаромъ покати,—поневолѣ въ люди идешь!

— Вотъ видите ли, за вдовца! За шестьдесятъ рублей я дѣвку несчастною должна сдѣлать!

— Да прибавь ей, сударь, пять рубликовъ!—вступается мужъ помѣщицы-кулака.

— Ну, видно, нечего съ вами дѣлать. Извольте шестьдесятъ пять рублей.

— Хорошо, я согласна. Хоть и дешевенько, да для сосѣда.

Торгъ заключался. За шестьдесятъ рублей дѣвку не соглашались сдѣлать несчастной, а за шестьдесятъ пять — согласились. Синенькую бумажку ея несчастье стоило. На другой день дѣвкѣ объявляли черезъ старосту, что она — невѣста вдовца и должна навсегда покинуть родной домъ и родную деревню. Поднимался вой, плачъ, но «задатокъ» былъ уже взятъ—не отдавать же назадъ!

То же продѣлывалось съ рекрутчиной, которая представляла уже серьезную статью дохода. Торговать рекрутами законъ не дозволялъ, но продавать зачетныя рекрутскія квитанціи было разрѣшено. Главный контингентъ для этого рода эксплоатаціи доставляли тѣ же дворовые люди. Встарину помѣщики охотно переводили крестьянъ въ дворовые, особливо ежели крестьянское семейство приходило почему-либо въ упадокъ. Дворовые люди представляли несомнѣнную выгоду. Во-первыхъ, имъ не нужно было давать «дней» для работы на себя, а можно было каждодневно томить на барской работѣ; во-вторыхъ, при ихъ посредствѣ можно было исправлять рекрутчину, не нарушая цѣлости и благосостоянія крестьянскихъ семей.

Я помню, какъ еще при первыхъ слухахъ о предстоящемъ наборѣ помѣщичьи гнѣзда наполнялись шушуканьемъ. Помѣщики и помѣщицы, во время обѣда, чая и ужина, начинали говорить по-французски; лакеи настораживали уши, усиливаясь понять, на кого падетъ жребій. Вообще весь воздухъ, начиная отъ конюшенъ и кончая барскими хоромами, наполнялся томительнымъ ожиданіемъ. За всѣмъ тѣмъ нужно замѣтить, что въ крестьянской средѣ рекрутская очередь велась неупустительно, и всякая крестьянская семья обязана была отбыть ее своевременно; но это была только проформа или, лучше сказать, средство для вымогательства денегъ. Зажиточныя семьи, въ большинствѣ случаевъ, откупались, и тутъ-то, вотъ, и шли въ ходъ зачетныя квитанціи. Бо́льшая часть ихъ расходилась между своими, излишнія—продавались на сторону.

Передъ отвозомъ людей въ рекрутское присутствіе сохранялась глубокая тайна относительно назначенныхъ въ рекруты. Послѣднихъ даже приголубливали, высказывали

имъ удовольствіе («Ванька! да никакъ ты ужъ и пить пересталъ! Молодецъ, братъ!»). Но нѣкоторые чутьемъ угадывали ожидающую ихъ участь и скрывались, несмотря на строгій надзоръ. Большинство не уходило дальше своего же лѣса и скиталось тамъ, несмотря на зимній холодъ, все время, покуда длилась процедура отвоза. Тѣмъ, которыхъ застигали врасплохъ или излавливали, набивали на ноги колодки, надѣвали желѣзныя поручни или приковывали къ «стулу» (такъ называлось толстое бревно, сквозь которое продѣта была желѣзная цѣпь, оканчивавшаяся желѣзнымъ ошейникомъ). Я думаю, что въ нѣкоторыхъ старинныхъ помѣщичьихъ гнѣздахъ эти орудія пытки сохранились и по-днесь, во свидѣтельство прошлаго.

Самая барщина представляла рядъ распоряженій, которыя даже въ то, не знавшее законовъ, время считались беззаконными. Законъ требовалъ, чтобы три дня въ недѣлю крестьянинъ работалъ на помѣщика, а остальные три дня предоставлялъ ему для собственныхъ работъ. Но у рѣдкихъ помѣщиковъ барщина отбывалась «братъ на брата»; у большинства—совсѣмъ не велось никакого учета, или же послѣдній велся смотря по состоянію погоды и по другимъ хозяйственнымъ соображеніямъ. При продолжительномъ ненастьѣ первые вёдренные дни отдавались исключительно барщинѣ, при чемъ предполагалось, что крестьяне уже воспользовались «своими днями» прежде, и т. д. Словомъ сказать, нельзя было не только разобраться въ этомъ хаосѣ, но и опредѣлить, какъ изворачивается крестьянинъ, какъ онъ устраивается на зиму и чѣмъ живетъ. Но онъ жилъ—это считалось достаточнымъ.

И было время, когда всѣ эти ужасающія картины никого не приводили въ удивленіе, никого не пугали. Это были «мелочи», обыкновенный жизненный обиходъ—и ничего больше; а тѣ, которыхъ они возмущали, считались подрывателями основъ, потрясателями законнаго порядка вещей.

Да, видно, каждая эпоха имѣетъ свои мелочи, свой собственный мучительный аппаратъ, при посредствѣ котораго люди безъ особыхъ усилій доводятся до изступленія.

Но что всего замѣчательнѣе: даже тогда, когда само правительство обращало вниманіе на злоупотребленія помѣщичьей власти и подвергало ихъ изслѣдованію, — даже тогда помѣщики рѣшались хоть косвеннымъ образомъ протестовать въ пользу «мелочей». При такъ-называемыхъ

повальныхъ обыскахъ сосѣди-помѣщики заявляли, что поступки злоупотребителя не выходятъ изъ категоріи дѣйствій, безъ которыхъ немыслимы ни порядокъ, ни доброе хозяйство; а депутатское собраніе, основываясь на этихъ отзывахъ, оставляло дѣло безъ послѣдствій. Такимъ образомъ, и тѣ рѣдкія попытки, которыя предпринимались для смягченія крѣпостныхъ узъ, пропадали даромъ.

Это до такой степени вѣрно, что въ позднѣйшія времена мнѣ случалось слышать отъ нѣкоторыхъ помѣщиковъ, уже захудалыхъ и безпріютныхъ, такого рода наивныя ретроспективныя жалобы:

— Кабы мы въ то время были умнѣе, да не мирволили бы своимъ расходившимся собратамъ, такъ, можетъ-быть, и теперь крѣпостное право существовало бы попрежнему!

Какъ же, дожидайтесь!

Наканунѣ крестьянскаго освобожденія, когда въ наболѣвшія сердца началъ уже проникать лучъ надежды, случилось нѣчто въ высшей степени странное. Правительственныя намѣренія были уже заявлены; мѣстные комитеты уже начали свою тревожную работу; но старые порядки, даже въ самыхъ вопіющихъ своихъ чертахъ, еще не были упразднены. Благодаря этому упущенію, несмотря на неизбѣжность грядущей «катастрофы», какъ тогда называли освобожденіе, крѣпостныя отношенія не только не смягчились, но еще болѣе обострились.

Помѣщики потеряли всякую почву подъ ногами и взамѣнъ того пріобрѣли даръ прозорливости. Провидѣли будущихъ грубьяновъ и смутителей, припоминали прежнія провинности, слѣдили за выраженіемъ физіономій, истолковывали тѣлодвиженія и улыбки, видѣли тревожные сны, вѣрили въ гаданья и т. д. Словомъ сказать, образовался цѣлый помѣщичій бредъ, имѣвшій цѣлью обезпечить спокойствіе въ будущемъ. И такъ какъ старый законъ не былъ упраздненъ, то обезпеченіе представлялось дѣломъ легкимъ и удобоисполнимымъ. А именно, въ распоряженіи помѣщика находились два очень простыхъ средства: рекрутчина и ссылка въ Сибирь «по волѣ помѣщика» (такъ эта операція и называлась).

На этотъ разъ помѣщики дѣйствовали уже вполнѣ безкорыстно. Прежде отдавали людей въ рекруты, потому что это представляло хорошую статью дохода (въ Сибирь ссылали рѣдко и въ крайнихъ случаяхъ, когда уже, за ста-

ростью лѣтъ, провинившагося нельзя было сдать въ солдаты); теперь они потеряли уже всякій разсчетъ. Даже тратили собственныя деньги, лишь бы успокоить взбутораженныя паникою сердца.

Это было уже въ 1859 году, и я служилъ тогда въ одной изъ ближайшихъ къ Москвѣ губерній. Въ то же время въ одномъ изъ уѣздныхъ городовъ процвѣталъ и имѣлъ фабрику купецъ Чумазый. Онъ очень ловко воспользовался паникою, овладѣвшею помѣщичьей средой, и предлагалъ желающимъ очень выгодную сдѣлку. Сдѣлка состояла въ томъ, что крестьянамъ и дворовымъ людямъ, тайно отъ нихъ, давалась «вольная» и затѣмъ, тоже безъ ихъ вѣдома, отъ имени каждаго, въ качествѣ уже вольноотпущеннаго, заключался долгосрочный контрактъ съ хитроумнымъ фабрикантомъ. Все это за дешевую плату легко оборудовалъ мѣстный уѣздный судъ, несмотря на то, что въ числѣ закабалившихъ себя были и грамотные *). И вольная, и контракты прямо отданы были въ руки фабриканту; закабаленные же полагали, что надъ ними продѣлываются остатки старыхъ порядковъ, и что помѣщикъ просто отдалъ ихъ въ работы, какъ это дѣлывалось и прежде. Затѣмъ, разумѣется, они надѣялись, что завтрашняя свобода сама собой сниметъ съ нихъ оковы сегодняшняго рабства и освободитъ отъ насильственныхъ обязательствъ.

Для помѣщиковъ эта операція была несомнѣнно выгодна. Во-первыхъ, Чумазый уплачивалъ хорошую цѣну за одни крестьянскія тѣла; во-вторыхъ, оставался задаромъ крестьянскій земельный надѣлъ, который въ тѣхъ мѣстахъ имѣетъ значительную цѣнность. Для Чумазаго выгода заключалась въ томъ, что онъ на долгое время обезпечивалъ себя дешевой рабочей силой. Что касается до закабаляемыхъ, то имъ оставалась въ удѣлъ надежда, что невзгода настигаетъ ихъ... въ *послѣдній разъ!*

Однако-жъ дѣло раскрылось раньше, нежели на это разсчитывали. Объявлена была девятая народная перепись, и всѣ такъ-называемые вольные немедленно обязаны были пріобрѣсти себѣ права состоянія и приписаться къ какому-нибудь обществу. Можно себѣ представить удивленіе за-

*) По закону, уѣздный судъ обязанъ былъ вручить вольную каждому отпускаемому лично, въ присутствіи суда, и опросить, *желаетъ ли онъ быть вольнымъ.* Авт.

кабаленныхъ, когда фабричное начальство погнало ихъ приписываться къ мѣщанскому обществу города Z.

— Мы не вольноотпущенные!—возопили они въ одинъ голосъ:—мы на-дняхъ сами будемъ свободные... съ землей! Не хотимъ въ мѣщане!

И вслѣдъ за этимъ нагрянули цѣлой толпой въ губернскій городъ съ жалобами на то, что наканунѣ освобожденія ихъ сдѣлали вольными помимо ихъ желанія.

Началось слѣдствіе, и тутъ-то раскрылись поползновенія Чумазаго, въ то время только-что начинавшаго раскидывать сѣти на всю Россію.

Дѣло надѣлало шума; но даже въ самый разгаръ эмансипаціонныхъ надеждъ рѣдко кто усмотрѣлъ его вопіющую сущность. Большинство культурныхъ людей отнеслось къ нему какъ къ «мелочи», болѣе или менѣе остроумной.

Въ клубѣ раздавался неудержимый хохотъ.

— Однако, догадливъ-таки Петръ Ивановичъ!—говорилъ одинъ про кого-нибудь изъ участвовавшихъ въ этой драмѣ:—сдалъ деревню Чумазому—и правъ... Ха-ха-ха!

— Ну, да и Чумазому это дѣло не обойдется даромъ!—подхватывалъ другой:—тутъ всѣ канцелярскія крысы добудутъ ребятишкамъ на молочишко... Ха-ха-ха!

Выискивались и такіе, которые даже въ самой попыткѣ защищать закабаленныхъ увидѣли вредный примѣръ посягательства на освященныя вѣками права на чужую собственность, чуть не потрясеніе основъ.

— Шутка сказать!—восклицали они:—наканунѣ самой «катастрофы» и какое дѣло затѣяли! Не смѣетъ, изволите видѣть, помѣщикъ оградить себя отъ будущихъ возмутителей, не смѣетъ распорядиться своею собственностью! Слава Богу! права-то еще не отняли! Что хочу, то съ своимъ Ванькой и дѣлаю! Вотъ завтра, какъ нарушите права—будетъ другой разговоръ, а покуда аттѐнде-съ!

Чумазый тоже горько жаловался на постигшее его злоключеніе.

— Помилуйте! — говорилъ онъ:—мы испоконъ вѣка такія дѣла дѣлали, завсегда у господъ людей скупали—иначе гдѣ же бы намъ работниковъ для фабрики добыть? А теперь, натко, что случилось. И во снѣ не гадалъ!

Само начальство, возбудившее преслѣдованіе, едва ли не раскаивалось: все-таки хлопоты.

Чѣмъ кончилось это дѣло, я не знаю, такъ какъ вскорѣ я оставилъ названную губернію. Вѣроятно, Чумазый поря-

дочно поплатился, но затѣмъ, включивъ свои траты въ графу: «издержки производства», успокоился. Возвратились ли закабаленные въ «первобытное состояніе» и были ли вновь освобождены на основаніи Положенія 19-го февраля, или и по-днесь скитаются между небомъ и землей, оторванные отъ семей и питаясь горькимъ хлѣбомъ поденщины?

Разсказывая изложенное выше, я не разъ задавался вопросомъ: какъ смотрѣли народныя массы на опутывавшія ихъ со всѣхъ сторонъ бѣдствія?—и долженъ сознаться, что пришелъ къ убѣжденію, что и въ ихъ глазахъ это были не болѣе какъ «мелочи», какъ искони установившійся обиходъ. Въ этомъ отношеніи онѣ были вполнѣ солидарны со всѣми кабальными людьми, выросшими и состарѣвшимися подъ ярмомъ, какъ бы оно ни гнело ихъ. Онѣ *привыкли*.

Было время, когда люди выкрикивали на площадяхъ: «слово и дѣло», зная, что ихъ ожидаетъ впереди застѣнокъ со всѣми ужасами пытки. Нерѣдко они возвращались изъ застѣнковъ въ «первобытное состояніе», живые, но искалѣченные и обезображенные; однако это нимало не мѣшало тому, чтобы у нихъ во множествѣ отыскивались подражатели. И опять появлялось на сцену «слово и дѣло», опять застѣнки и пытки... Словомъ сказать, цѣлое повѣтріе своеобразныхъ «мелочей».

Правда, что массы безмолвны, и мы знаемъ очень мало о томъ внутреннемъ жизненномъ процессѣ, который совершается въ нихъ. Быть-можетъ, что придавившее ихъ ярмо совсѣмъ не представлялось имъ мелочью; быть-можетъ, онѣ выносили его далеко не такъ безучастно и тупо, какъ это кажется по наружности... Прекрасно; но ежели это такъ, то какимъ же образомъ онѣ не вымирали сейчасъ же, немедленно, какъ только сознаніе коснулось ихъ? Одно сознаніе подобныхъ мукъ должно убить, а онѣ жили.

Поколѣнія наростали за поколѣніями; старики населяли сельскіе погосты, молодые хоронили стариковъ и выступали на арену мучительства... Ужели все это было бы возможно, ежели бы на помощь не приходило нѣчто смягчающее, въ формѣ исконнаго обихода, привычки и представленія о неизбывныхъ «мелочахъ»?

Шли въ Сибирь, шли въ солдаты, шли въ работы на заводы и фабрики; лили слезы, но шли... Развѣ такая солидарность съ злосчастіемъ мыслима, ежели послѣднее не представляется обыденною мелочью жизни? И развѣ не

нравы были жестокія сердца, говоря: «Помилуйте! или вы не видите, что эти люди живы? А коли живы—стало-быть, имъ ничего другого и не нужно...»

Я могъ бы привести здѣсь примѣры изумительнѣйшей выносливости, но воздерживаюсь отъ этого, зная, что частные случаи очень мало доказываютъ. Общее настроеніе общества и массъ—вотъ главное, что̀ меня занимаетъ, и это главное свидѣтельствуетъ вполнѣ убѣдительно, что мелочи управляютъ и будутъ управлять міромъ до тѣхъ поръ, пока человѣческое сознаніе не вступитъ въ свои права и не научится различать терзающія мелочи отъ Баттенберговскихъ.

Когда наступитъ пора для этого различенія? — кто можетъ это угадать! Но сдается, что придется еще пережить эпоху чумазовскаго торжества, чтобы понять всю глубину обступившаго массы злосчастія. А что чумазый будетъ держаться за свое торжество упорно — за это ручаются его откровенно-нахальныя замашки и самоувѣренная безсовѣстность.

Нѣтъ опаснѣе человѣка, которому чуждо человѣческое, который равнодушенъ къ судьбамъ родной страны, къ судьбамъ ближняго, ко всему, кромѣ судебъ пущеннаго имъ въ оборотъ алтына. Таковъ современный чумазый. Повторяю то, что̀ я уже сказалъ въ предыдущей главѣ: русскій чумазый перенялъ отъ своего западнаго собрата его алчность и жалкую страсть къ внѣшнимъ отличіямъ, но не усвоилъ себѣ ни его подготовки, ни трудолюбія. Либо панъ, либо пропалъ,—говоритъ онъ себѣ, и ежели легкая нажива не удается ему, то онъ не особенно ропщетъ, попадая, вмѣсто хоро̀мъ, въ навозную кучу.

Русскій крестьянинъ, который такъ терпѣливо вынесъ на своихъ плечахъ иго крѣпостного права, мечталъ, что съ наступленіемъ момента освобожденія онъ поживетъ въ мирѣ и тишинѣ и во всякомъ благомъ послѣшеніи; но онъ ошибся въ своихъ скромныхъ надеждахъ: кабала словно приросла къ нему. Чумазый преподнесъ ее ему на новоселье въ новой формѣ, но съ содержаніемъ горшимъ противъ старой. Старая форма давала раны, новая — даетъ скорпіоны; старая—томила барщиной и произволомъ (былъ, впрочемъ, очень значительный разрядъ помѣщичьихъ имѣній, оброчныхъ, гдѣ крестьянинъ не зналъ барщины и жилъ, сравнительно, довольно льготно), новая — донимаетъ голодомъ. Чумазый вторгся въ самое сердце деревни и преслѣдуетъ

мужика и на деревенской улицѣ, и за околицей. Обставленный кабакомъ, лавочкой и грошовой кассой ссудъ, онъ обмѣриваетъ, обвѣшиваетъ, обсчитываетъ, доводитъ питаніе мужика до минимума и, въ заключеніе, взываетъ къ властямъ объ укрощеніи людей, взволнованныхъ его же неправдами. Поле деревенскаго кулака не нуждается въ наемныхъ рабочихъ: мужикъ обработаетъ его не за деньги, а за процентъ или въ благодарность за «одолженіе». Вонъ онъ, домъ кулака! вонъ онъ высится тесовой крышей надъ почернѣвшими хижинами односѣльцевъ; издалека видно, куда скрылся паукъ и откуда онъ денно и нощно стелетъ свою паутину.

Хирѣетъ русская деревня, съ каждымъ годомъ все больше и больше бѣднѣетъ. О «добрыхъ щахъ и брагѣ», когда-то воспѣтыхъ Державинымъ, нѣтъ и въ поминѣ. Толокно да тюря; даже гречневая каша въ рѣдкость. Населеніе растетъ, а границы земельнаго надѣла остаются тѣ же. Отхожіе промыслы, благодаря благосклонному участію Чумазаго, не представляютъ почти никакого подспорья.

Періодъ помѣщичьяго закрѣпощенія канулъ въ вѣчность; наступилъ періодъ закрѣпощенія чумазовскаго...

V.

И нельзя сказать, чтобы не было дѣлаемо усилій къ огражденію массъ отъ давленія жизненныхъ мелочей. Конечно, не мелочей нравственнаго порядка, для признанія которыхъ еще и теперь не наступило время, а для мелочей матеріальныхъ, для всѣхъ одинаково осязаемыхъ и наглядныхъ. И за то спасибо.

Вспомните до-реформенное административное устройство (я не говорю о судахъ, которые были безобразны), и вы найдете, что въ немъ была своего рода стройность. Не скажу, чтобы въ результатѣ этого строя лежала правда, но что вся совокупность этого сложнаго и искусственно-соображеннаго механизма была направлена къ огражденію отъ неправды—это несомнѣнно. Жандармъ утиралъ слезы: прокуроръ съ цѣлою арміей стряпчихъ собиралъ слезы въ урны. Затѣмъ, и платки, и урны отсылались по начальству; начиналась переписка, запросы; требовались объясненія: нерѣдко оказывались и видимыя послѣдствія этихъ объясненій въ формѣ увольненій, отдачи подъ судъ и т. д. Самая администрація имѣла организацію коллегіальную, каждый членъ которой тоже утиралъ слезы и собиралъ

ихъ въ урну. Не больше какъ лѣтъ тридцать тому назадъ, даже было строго воспрещено производить дѣла единолично и не въ коллегіи. Словомъ сказать, сказывалось безспорное усиліе оградить провинцію отъ скверны личнаго произвола.

Сколько тогда однихъ ревизоровъ было—страшно вспомнить. И для каждаго нужно было дѣлать обѣды, устраивать пикники, катанья, танцовальные вечера. А уѣдетъ ревизоръ—смотришь, черезъ мѣсяцъ записка въ три пальца толщиной, и въ ней всѣ неправды изложены, а правды ни одной, словно ея и не бывало. Почесываютъ себѣ затылокъ губернскіе властелины и начинаютъ изворачиваться.

— Это въ благодарность за мои обѣды!—молвитъ одинъ.

— А я еще ему на дорогу цѣлый коробокъ съ провизіей послалъ!—отзовется другой.

Но, дѣлать нечего, отписываться все-таки приходилось. И отписывались...

Каждые два года пріѣзжалъ къ набору флигель-адъютантъ, и тоже утиралъ слезы и подавалъ отчетъ. И отчеты не объ одномъ наборѣ, но и обо всемъ видѣнномъ и слышанномъ, объ управленіи вообще. Существуетъ ли въ губерніи правда, или нѣтъ ея, и что нужно сдѣлать, чтобы она существовала не на бумагѣ только, но и на дѣлѣ. И опять запросы, опять отписки...

Я не говорю уже о сенаторскихъ ревизіяхъ, которыя назначались лишь въ крайнихъ случаяхъ и производили сущій погромъ. Ни одна метла не мела такъ чисто, какъ мелъ ревизующій сенаторъ. Камня на камнѣ не оставалось; чины, начиная отъ губернатора до писца низшихъ инстанцій, увольнялись и отдавались подъ судъ массами, хотя обѣды, вечера и пикники шли своимъ чередомъ. Сенаторъ пріѣзжалъ съ цѣлою свитою, и каждый членъ этой свиты старался что-нибудь запримѣтить, кого-нибудь подсидѣть. Иногда даже безъ особенной надобности, а только чтобы выполнить задачу утиранія слезъ... и, можетъ-быть, чтобы положить основаніе своей будущей карьерѣ.

И вдобавокъ въ тѣ времена не было рѣчи ни о благонамѣренности, ни объ образѣ мыслей, ни о подрываніи основъ и т. д. Ничего подобнаго и не подозрѣвали. Просто прислушивались, не плачетъ ли кто, и ежели до слуха доходило нѣчто похожее на плачъ, то поспѣшали на помощь. «Рекрутство сопровождается несправедливостями и подкупомъ; повинности выполняются неправильно и безпорядочно; слѣд-

ственныя дѣла представляютъ картину сплошного взяточничества»—вотъ и все, о чемъ тогда говорилось и писалось. Но развѣ этого мало? Помилуйте! да если бы ко всему этому прибавить еще «неблагонадежность», то вышло бы настоящее вавилонское столпотвореніе...

Однако-жъ все-таки оказывалось, что мало даже въ смыслѣ простого утиранія слезъ; до такой степени мало, что нынче отъ этой хитросплетенной организаціи не осталось и воспоминаній. Ревизоры пріѣзжали и уѣзжали; на мѣсто ихъ пріѣзжали другіе ревизоры и тоже уѣзжали; губернскіе чиновные кадры убывали и вновь пополнялись, а слезы все капали да капали... Нынѣ и платки, и урны сданы въ архивъ, гдѣ они и хранятся на полкахъ, въ ожиданіи, что когда-нибудь найдется любитель, который заглянетъ въ нихъ и напишетъ два-три анекдота о томъ, какъ утираніе слезъ постепенно превращалось въ наплеваніе въ глаза. Словно бѣлка въ колесѣ, вертѣлся этотъ взаимный административный контроль, ничего не защищая и не обезпечивая, кромѣ формъ и обрядовъ. Въ результатѣ оказывалось нѣчто въ родѣ игры въ casse-tête, гдѣ каждая фигурка плотно вкладывается въ другую, покуда не образуется нѣчто цѣлое, долженствующее выполнить изъ кучи кусочковъ нарисованную въ книжкѣ фигуру, не имѣющую никакого значенія внѣ процесса игры. Кончилась игра, надоѣла; спрятали кусочки въ коробку—и будетъ.

Я слишкомъ достаточно говорилъ выше (III) о современной административной организаціи, чтобы возвращаться къ этому предмету, но думаю, что она основана на тѣхъ же началахъ, какъ и въ былыя времена, за исключеніемъ коллегій, платковъ и урнъ. Къ послѣднимъ административнымъ пріемамъ нынѣ относятся уже иронически, предпочитая строгость и скорость и оправдывая это предпочтеніе нарожденіемъ неблагонадежныхъ элементовъ. Но такъ какъ законъ упоминаетъ о татяхъ, разбойникахъ, расхитителяхъ, мздоимцахъ и проч., а неблагонадежные элементы игнорируетъ, то можно себѣ представить, какимъ разнообразнымъ и нежданнымъ толкованіямъ подвергается это новоявленное выраженіе.

Впрочемъ, я отнюдь не хочу утверждать, чтобы нынѣшняя администрація была плоха, нерасторопна и неспособна къ утиранію слезъ; я говорю только, что она, подобно своей предшественницѣ, лишена творческой силы.

Не утверждаю также, что такъ-называемые неблагона-

дежные элементы существуютъ только въ взбутораженныхъ воображеніяхъ. Всякій порядокъ вещей хранитъ въ своихъ нѣдрахъ и споспѣшествующіе элементы, и неспосп'ѣшествующіе. Первые прозываются—благонадежными; вторымъ присваиваютъ наименованіе *не*благонадежныхъ. Все это не только не противорѣчитъ истинѣ, но и вполнѣ естественно. Поэтому примириться съ этимъ явленіемъ необходимо, и вся претензія современнаго человѣка должна заключаться единственно въ томъ, чтобы оцѣнка подлежащихъ элементовъ производилась спокойно и не черезчуръ расторопно. Недостаточно сказать: вотъ (имя рекъ) неблагонадежный элементъ!—надо еще доказать, дѣйствительно ли онъ неблагонадеженъ и по отношенію къ чему.

Можетъ-быть, самъ по себѣ взятый, онъ совсѣмъ не такъ неблагонадеженъ, какъ кажется впопыхахъ. Въ дореформенное время, по крайней мѣрѣ, не въ рѣдкость бывало встрѣтить такого рода аттестацію: «человѣкъ образа мыслей благороднаго, но въ исполненіи служебныхъ обязанностей весьма усерденъ». Вотъ видите ли, какъ тогда правильно и спокойно оцѣнивали человѣческую дѣятельность: и благороденъ, и казеннаго интереса не чуждъ... Какая же въ томъ бѣда, что человѣкъ благороденъ?

Очевидно, что надежда на внѣшнюю помощь, въ смыслѣ удаленія терзающихъ мелочей, навсегда останется тщетною. Все въ этомъ дѣлѣ зависитъ отъ подъема уровня общественнаго сознанія, отъ коренного преобразованія жизненныхъ формъ и, наконецъ, отъ тѣхъ внутреннихъ и матеріальныхъ преуспѣяній, которыя должны представлять собой постепенное раскрытіе находящихся подъ спудомъ силъ природы и усвоеніе человѣкомъ результатовъ этого раскрытія. Исчезновеніе признаковъ—вотъ существеннѣйшая задача, къ осуществленію которой естественно и неизбѣжно должно идти человѣчество, чтобы обезпечить себѣ спокойное развитіе въ будущемъ.

Старинные утописты были вполнѣ правы, утверждая, что для новой жизни и основанія должны быть даны новыя, и что только при этомъ условіи человѣчество освободится отъ удручающихъ его золъ. Они наглядно рисовали картины новой жизни, вводили въ самыя нѣдра ея, показывали ее въ полномъ дѣйствіи. Вліяніе утопистовъ на общество чувствуется и теперь, хотя и до сихъ поръ задача о новыхъ основаніяхъ заставляетъ метаться человѣчество въ унынін и безнадежности. Жажда жизни пожи-

раетъ сердца, но въ концѣ концовъ даетъ очень мало удовлетворенія и требуетъ слишкомъ много жертвъ.

Ошибка утопистовъ заключалась въ томъ, что они, такъ сказать, усчитывали будущее, уснащая его мельчайшими подробностями. Стоя почти исключительно на почвѣ психологической, они думали, что человѣкъ самъ собой, независимо отъ внѣшней природы и ея тайнъ, при помощи одной доброй воли, можетъ создать свое конечное благополучіе. Между тѣмъ человѣчество искони связано съ природой неразрывной связью и, сверхъ того, обладаетъ прикладной наукой, которая съ каждымъ днемъ приноситъ новыя открытія. Фурье провидѣлъ ненужныхъ анти-львовъ и анти-акулъ и не провидѣлъ ни желѣзныхъ дорогъ, ни телеграфа, ни телефона, которые несравненно радикальнѣе вліяютъ на ходъ человѣческаго развитія, нежели анти-львы. Его смущалъ вопросъ объ удаленіи нечистотъ изъ помѣщеній фаланстеровъ, и для разрѣшенія его онъ прибѣгнулъ къ когортамъ самоотверженныхъ, тогда какъ въ недалекомъ будущемъ дѣло устроилось проще—при помощи ватерклозетовъ, дренажа, сточныхъ трубъ и, наконецъ, цѣлаго подземнаго города, образецъ котораго мы видимъ въ катакомбахъ Парижа. Въ заключеніе, онъ думалъ, что комбинированная имъ форма общежитія можетъ существовать во всякой средѣ, не только не рискуя быть подавленною, но и подготовляя своимъ примѣромъ къ воспринятію новой жизни самыхъ закоренѣлыхъ профановъ,—и тоже ошибся въ разсчетахъ. Затѣмъ большинство его послѣдователей было таково, что придерживалось именно буквы ученія и, въ особенности, настаивало на его подробностяхъ. Въ результатѣ оказалось явное противорѣчіе съ безпрерывно нарастающими жизненными требованіями, а за противорѣчіемъ послѣдовало недовѣріе, смѣхъ, надругательства. Великія основныя идеи о привлекательности труда, о гармоніи страстей, объ общедоступности жизненныхъ благъ и проч. были заслонены провидѣніями, регламентаціей и, въ концѣ концовъ, забыты или, по крайней мѣрѣ, разсыпались по мелочамъ.

Тѣмъ не менѣе идея новыхъ основаній для новой жизни, идея освобожденія жизни—исключительно при помощи этихъ новыхъ основаній—отъ мелочей, дѣлающихъ ее постылою, остается пока во всей своей силѣ и продолжаетъ волновать мыслящіе умы. Но къ ней прибавилась и еще безспорная истина, что жизнь не можетъ и не должна осta-

ваться неподвижною, какъ бы ни совершенны казались, въ данную минуту, придуманныя для нея формы; что она идетъ впередъ и развивается, вѣрная общему принципу, въ силу котораго всякій новый успѣхъ, какъ въ области прикладныхъ наукъ, такъ и въ области соціологіи, долженъ принести за собою новое благо, а отнюдь не новый недугъ, какъ это слишкомъ часто оказывалось донынѣ.

Что исторія изобрѣтеній, открытій и вообще борьбы человѣка съ природой и донынѣ представляетъ собой сплошной мартирологъ—съ этимъ согласится каждый современный человѣкъ, если въ немъ есть хоть капля правдивости. Желѣзныя дороги уничтожаютъ на протяженіи своемъ цѣлую серію промысловъ, дававшихъ цвѣтеніе и жизнь. Села и деревни пустѣютъ; населеніе бѣжитъ; дома, дававшіе пріютъ массѣ путниковъ, уныло стоятъ съ заколоченными ставнями; лошади и другой скотъ сбываются за безцѣнокъ; наконецъ, появляется особая категорія дотолѣ неизвѣстныхъ преступныхъ дѣяній. Новая ткацкая машина, новый плугъ, сѣнокосилка, жнея—все это угобжаетъ меньшинство и обездоливаетъ цѣлыя массы рабочихъ силъ. Конечно, пройдутъ десятки лѣтъ, и массы пріобыкнутъ, найдутъ новые источники существованія, такъ что, въ общемъ, измѣненіе произойдетъ даже къ лучшему. Но вѣдь эти десятки лѣтъ надо прожить.

И такимъ образомъ идетъ изо-дня-въ-день съ той самой минуты, когда человѣкъ освободился отъ ига фатализма и открыто заявилъ о своемъ правѣ проникать въ завѣтнѣйшіе тайники природы. Всякій день непредвидимый недугъ настигаетъ сотни и тысячи людей, и всякій день «благополучный человѣкъ» продолжаетъ твердить одну и ту же пословицу: «перемелется—мука будетъ». Онъ твердитъ ее даже на крайнемъ Западѣ, среди ужасовъ отмщенія, все глубже и шире раздвигающаго свои предѣлы.

Ясно, что идетъ какая-то знаменательная внутренняя работа, что народились новые подземные ключи, которые кипятъ и клокочутъ съ очевидной рѣшимостью пробиться наружу. Исконное теченіе жизни все больше и больше заглушается этимъ подземнымъ гудѣніемъ; трудная пора еще не наступила, но близость ея признается уже всѣми.

Въ особенности на Западѣ (во Франціи, въ Англіи) попытки отдалить моментъ общественнаго разложенія ведутся очень дѣятельно. Предпринимаются обезпечивающія мѣры; устраиваются компромиссы и соглашенія; раздаются при-

зывы къ самопожертвованію, къ уступкамъ, къ удовлетворенію наиболѣе вопіющихъ нуждъ; наконецъ, имѣются наготовѣ войска. Словомъ сказать, въ усиліяхъ огородиться или устроить хотя временно примиреніе съ «дикимъ» человѣкомъ недостатка нѣтъ. Весь вопросъ—будутъ ли тѣ усилія имѣть успѣхъ?

На мой взглядъ, желанный успѣхъ не только сомнителенъ, но и прямо невозможенъ. Выражу здѣсь мою мысль вполнѣ откровенно. Чѣмъ больше дѣлается попытокъ въ смыслѣ компромиссовъ, чѣмъ больше возлагается надеждъ на примиреніе, тѣмъ выше становится уровень требованій противной стороны. Это аксіома, быть-можетъ, очень неутѣшительная, но все-таки аксіома. Поневолѣ приходится отказаться отъ попытокъ и оставить дѣло въ томъ видѣ, въ какомъ застала его минута.

Но, съ другой стороны, и оставить мудрено. Нутро заинтересовано,—поймите: нутро! Сердце бьется, весь организмъ болитъ—какъ тутъ не заговорить! А при этомъ приличіе требуетъ оставаться хоть наружно спокойнымъ, казаться доброжелательнымъ, дѣйствительно жаждущимъ примиренія безъ задней мысли:—завтра, дескать, посмотримъ!—Тщетно! завтрашній день настанетъ при тѣхъ же условіяхъ, какъ и сегодняшній; завтра выступятъ тѣ же требованія и та же безконечная канитель переговоровъ... Эта перспектива раздражаетъ еще сильнѣе.

Спрашивается, однако-жъ: что дѣлать, чтобъ устранить грядущую смуту?

Повторяю: я выражаю здѣсь свое убѣжденіе, не желая ни прать противъ рожна, ни тѣмъ менѣе дразнить кого бы то ни было. И сущность этого убѣжденія заключается въ томъ, что человѣчество безсрочно будетъ томиться подъ игомъ мелочей, ежели заблаговременно не получится полной свободы въ обсужденіи идеаловъ будущаго. Только одно это средство и можетъ дать ощутительные результаты.

Господствующее мнѣніе, руководимое политиканами, не только у насъ, но и въ цѣлой Европѣ, не признаетъ, однако-жъ, этой истины. Политиканы охотнѣе допускаютъ расширеніе свободы въ обсужденіи задачъ политическихъ, нежели соціальныхъ. Послѣднія считаются не только преждевременными и ни къ чему не ведущими, но и положительно опасными. Самая постановка ихъ будто бы равносильна посягательству на существующій порядокъ вещей, возбужденію дурныхъ страстей и несбыточныхъ надеждъ.

Ежели и политическія новшества влекутъ за собой зло, не легко поправимое, то, по крайней мѣрѣ, они скользятъ по поверхности, не затрагивая коренныхъ основъ, на которыхъ искони зиждется общество и государство. Напротивъ того, новшества соціальныя проникаютъ въ самую глубь массъ, порождаютъ въ нихъ озлобленіе, будятъ инстинкты зависти и алчности и, наконецъ, вызываютъ на открытую борьбу. Однимъ словомъ, вредъ, принесенный старинными утопистами и ихъ позднѣйшими послѣдователями, сдѣлался, въ глазахъ политикановъ, настолько ясенъ, что поощрять утопію и даже оставаться къ ней равнодушнымъ не представляется никакой возможности.

Нельзя не признать, что въ этомъ сужденіи есть извѣстная доля правды, и именно въ томъ, что̀ касается политическихъ новшествъ. Послѣднія дѣйствительно только скользятъ по поверхности, перемѣщая центръ власти изъ однѣхъ рукъ въ другія (отъ Баттенберга къ Меренбергу и т. д.) и отчасти расширяя (впрочемъ, очень умѣренно) кадры правящихъ классовъ. Въ массы народныя они проникаютъ въ видѣ отдаленнаго гула, не измѣняя ни одной черты ни въ ихъ бытѣ, ни въ ихъ благосостояніи. Поэтому массы относятся къ подобнымъ новшествамъ не только равнодушно, но и съ удивленіемъ, не понимая, почему у кормила понадобился въ данную минуту Гизо, а Тьеръ оказался ненужнымъ.

Напротивъ, то же господствующее мнѣніе оказывается совершенно неправымъ относительно новшествъ соціологическихъ. И неправо оно, во-первыхъ, потому, что въ основаніи соціологическихъ изысканій лежитъ предусмотрительность, которая всегда была главнымъ и существеннымъ основаніемъ развитія человѣческихъ обществъ, и, во-вторыхъ, потому, что ежели и справедливо, что утопіи производили въ массахъ извѣстный переполохъ, то причину этого нужно искать не въ открытомъ обсужденіи идеаловъ будущаго, а скорѣе въ стѣсненіяхъ и преслѣдованіяхъ, которыми постоянно сопровождалось это обсужденіе.

Встрѣчаются и понынѣ люди, на которыхъ простое напоминаніе о правѣ человѣка массъ на участіе въ благахъ жизни производитъ дѣйствіе пытки. Но это уже дѣло личнаго темперамента или стариннаго, вкоренившагося предразсудка—и ничего больше. Если-бъ эти люди умѣли разсуждать, если-бъ они были въ состояніи проникать въ тайны человѣческой природы, то они поняли бы, что одну изъ

неизбѣжныхъ принадлежностей этой природы составляетъ развитіе и повышеніе уровня нравственныхъ и матеріальныхъ потребностей. Немыслимо, чтобы человѣкъ смотрѣлъ и не видѣлъ, слушалъ и не слышалъ, чтобъ онъ жилъ какъ растеніе, цвѣтя или увядая, смотря по уходу, который ему дается, независимо отъ его дѣятельнаго участія въ немъ.

Самая наглядная очевидность требуетъ, чтобъ общественные вопросы всегда стояли на очереди и постоянно подвергались разработкѣ. Нѣтъ нужды, что разработка эта не обойдется безъ ошибокъ и заблужденій,—при открытомъ обсужденіи не только ошибки, но и самыя нелѣпости легко устраняются при помощи полемики. Во всякомъ случаѣ, такое обсужденіе представляетъ гораздо менѣе риска, нежели тайныя общества и подземная работа нарастающихъ общественныхъ элементовъ, которые, при отсутствіи свѣта и воздуха, невольнымъ образомъ обостряются и пріобрѣтаютъ угрожающій характеръ.

Затѣмъ естественно возникаетъ вопросъ: если ужъ нельзя не ощущать паники при одномъ словѣ «новшества», то какія изъ нихъ заключаютъ въ себѣ наибольшую сумму угрозъ: политическія или соціальныя?

На мой взглядъ—первыя. Прежде всего, они почти всегда настигаютъ общество внезапно; сверхъ того, сравнительно бѣдныя результатами, они непосредственно затрагиваютъ личные интересы и уязвляютъ личныя честолюбія. Повторяю: они перемѣщаютъ центры власти, въ ущербъ или къ выгодѣ немногихъ заинтересованныхъ личностей, но безъ существенной пользы для массъ. Напротивъ того, соціальныя новшества ежели и не влекутъ за собой прямого освобожденія массъ отъ удручающихъ мелочей, то представляютъ собой непрерывную подготовку къ такому освобожденію.

Подготовка эта, безъ сомнѣнія, получитъ вполнѣ спокойное развитіе, если при этомъ не будетъ встрѣчаться внѣшнихъ усложненій. А для этого нужно только терпѣніе и свобода отъ предразсудковъ—ничего больше.

Сами массы совсѣмъ не такъ нетерпѣливы и не представляютъ черезчуръ несоразмѣрныхъ требованій, какъ объ этомъ привыкли вопіять встревоженные умы. Прислушайтесь къ этимъ требованіямъ, и вы безъ труда убѣдитесь, что даже maximum ихъ, сравнительно, не очень великъ. И причина этой умѣренности очень проста: человѣку массъ не откуда взять идеаловъ, роскоши пресыщенія или

даже простого довольства,—онъ не знаетъ ихъ. Всѣ его желанія по части новшествъ ограничиваются лишь тѣмъ, что составляетъ дѣйствительную и неотложную нужду. Парижскій рабочій не мечтаетъ ни о ракахъ à la bordelaise, ни о житьѣ въ пространныхъ палаццо, среди роскошной обстановки; но онъ, конечно, не откажется ни отъ choucroute, ни отъ свѣтлаго и хорошо вентилированнаго помѣщенія. Непритязательность этой претензіи уже начинаетъ уясняться для самихъ политикановъ, и предусмотрительнѣйшіе изъ нихъ не отказываются отъ попытокъ въ смыслѣ ихъ удовлетворенія. Только попытки эти представляютъ собой каплю въ морѣ и потому достигаютъ лишь очень немногихъ частныхъ результатовъ.

Само собой, впрочемъ, разумѣется, что я говорю здѣсь вообще, а отнюдь не примѣнительно къ Россіи. Послѣдняя такъ еще молода и имѣетъ такъ много задатковъ здороваго развитія, что относительно ея не можетъ быть и рѣчи о какихъ-либо новшествахъ.

Итакъ, терпѣніе, милостивые государи! Терпѣніе съ небольшой прибавкой доброжелательства и рѣшимости разрѣшать назрѣвающіе вопросы жизни не одной постановкой обнаженнаго fin de non recevoir, но и съ участіемъ свободнаго анализа.

Часть первая.

I.

НА ЛОНѢ ПРИРОДЫ

и

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ УХИЩРЕНІЙ.

1.—Хозяйственный мужичокъ.

Извѣстно ли читателю, какъ поступаетъ хозяйственный мужикъ, чтобъ обезпечить сытость для себя и своего семейства? О! это цѣлая наука. Тутъ и хитрость змія, и изворотливость дипломата, и тщательное знакомство съ окружающею средою, ея обычаями и преданіями, и, наконецъ, глубокое знаніе человѣческаго сердца.

Прежде всего, онъ начинаетъ съ самого себя, съ своей семьи, съ работника или работницы, ежели у него есть, съ людей, созываемыхъ на помочи, и т. д. И главная забота его заключается въ томъ, чтобъ этотъ рабочій улей какъ можно умѣреннѣе потреблялъ ѣды и, въ то же время, былъ достаточно сытъ, чтобъ устоять въ непрерывной работѣ. Первый предметъ, представляющійся его вниманію—хлѣбъ. Онъ не подаетъ на столъ мягкаго хлѣба, а непремѣнно черствый—почему?—потому что черствый хлѣбъ спорѣе; мягкаго хлѣба вдвое съѣшь. Затѣмъ, онъ круглый годъ льетъ въ кашу не коровье масло, а конопляное, хотя первое можно найти дома, а второе нужно купить, и оно обойдется почти не дешевле коровьяго—почему?—потому что налей мужику коровьяго масла—онъ вдвое каши

съѣстъ. Свѣжую убоину онъ употребляетъ только по самымъ большимъ праздникамъ, потому что она дорога, да въ деревнѣ ея, пожалуй, и не найдешь; но главное потому, что тутъ ему ужъ не сладить съ разсчетомъ: каково бы ни было качество убоины, мужикъ набрасывается на нее и наѣдается до пресыщенія. Одно средство—за рѣдкими исключеніями, совсѣмъ изгнать ее изъ насыщающаго обихода.

Не менѣе мудро поступаетъ онъ и съ гостями во время пированій, которыя приходятся на большіе праздники, какъ Рождество, Пасха или престольные, и на такія семейныя торжества, какъ свадьба, крестины, именины хозяйки и хозяина. Онъ прямо подноситъ приходящему гостю большой стаканъ водки, чтобы онъ сразу захмелѣлъ.

— Какъ поднесу я ему стаканъ,—говоритъ онъ:—его сразу ошеломитъ; ни пить, ни ѣсть потомъ не захочется. А коли будетъ онъ съ самаго начала по рюмочкамъ пить, такъ онъ одинъ всю водку сожретъ, да и ѣды на него не напасешься.

Скотину онъ тоже закармливаетъ съ осени. Осенью она и сѣна съ сырцой поѣстъ, да и тѣло скорѣе нагуляетъ. Какъ нагуляетъ тѣло, она ужъ зимой немного корму запроситъ, а къ веснѣ, когда кормы у всѣхъ къ концу подойдутъ, подкинешь ей соломенной рѣзки—и на томъ Богъ проститъ. Все-таки она до новой травы выдержитъ, съ цѣлыми ногами въ поле выйдетъ.

Таковы характеристическія черты крестьянскаго хозяйственнаго быта, тѣ черты, которыми опредѣляется дальнѣйшее его жизнестроительство. Голова скромнаго хозяйственнаго мужичка не знаетъ отдыха; съ утра до вечера она занята всевозможными устроительными подробностями. Много лежитъ на немъ обязанностей: прежде всего нужно, конечно, опредѣлить крайній minimum, чтобы прокормить себя и семью; потомъ—подумать объ уплатѣ денежныхъ сборовъ и отыскать средства для выполненія этой обузы; наконецъ, ежели окажутся лишки, то помечтать о такъ-называемой «полной чашѣ». Но разсчеты его черезчуръ часто нарушаются. Безпрестанно встрѣчаются экстренные расходы: то свадьба въ домѣ, то крестины—все это составляетъ предметъ мучительныхъ заботъ. Мужику все нужно; но главнѣе всего нужна предусмотрительность, умѣнье заблаговременно приготовиться и запастись, способность изнуряться, не жалѣть личнаго труда, лишь бы какъ можно меньше истратить денегъ.

Деньги—это кровная язва крестьянскаго быта. Дома крестьянинъ очень мало въ нихъ нуждается—только на соль да вино, да на праздничную убоину. Отъ времени до времени требуется сшить дѣвушкѣ-невѣстѣ ситцевый сарафанъ, купить платокъ, готовый шугайчикъ; по возвращеніи изъ поѣздки въ городъ, хочется побаловать ребятъ калачомъ или баранками. Въ кои-то вѣки онъ купитъ праздничный армякъ синяго сукна для себя и недорогой матеріи на сарафанъ для жены. Вотъ и вся его домашняя денежная трата. Остальное онъ долженъ добыть на уплату всевозможныхъ сборовъ.

Ради нихъ онъ обязывается урвать отъ своего куска нѣчто, считающееся «лишнимъ», и свезти это лишнее на продажу въ городъ; ради нихъ онъ лишаетъ семью молока и отпаиваетъ теленка, котораго тоже везетъ въ городъ; ради нихъ онъ, въ дождь и стужу, идетъ за тридцать-сорокъ верстъ въ городъ пѣшкомъ съ возомъ «лишняго» сѣна, ради нихъ его обсчитываетъ, обмѣриваетъ и ругаетъ сквернными словами купецъ или кулакъ; ради нихъ въ самой деревнѣ его держитъ въ ежовыхъ рукавицахъ міроѣдъ. Самого его не только не тянетъ къ міроѣдству, но онъ и способностей къ нему не имѣетъ: онъ просто толковый и хозяйственный мужикъ.

Неудивительно, стало-быть, что онъ весь погруженъ въ одну думу: спасти себя и присныхъ.

И онъ настолько привыкъ къ этой думѣ, настолько усвоилъ ее съ молодыхъ ногтей, что не можетъ представить себѣ жизнь въ иныхъ условіяхъ, чѣмъ тѣ, которыя какъ будто сами собой создались для него. Онъ идетъ за возомъ въ городъ, думаетъ и въ то же время ищетъ глазами. Подкова на дорогѣ валяется—онъ ее за пазуху спрячетъ (найденная подкова предвѣщаетъ счастіе), бумажку кто-нибудь обронилъ, окурокъ папироски—онъ и ихъ поднимаетъ; даже клочокъ навоза кинетъ въ телѣгу и привезетъ домой. Сегодня клочокъ, завтра клочокъ—смотришь, анъ и цѣлый возокъ наберется. Въ городѣ онъ отстаиваетъ себя до послѣдней крайности, но почти всегда безъ успѣха, потому что городская обстановка ошеломляетъ его; тамъ все бары живутъ да купцы, которые тоже барами смотрятъ—чуть что, и городовой къ нимъ на помощь подоспѣетъ, въ кутузку его, сиволапаго, потащатъ. Гдѣ ему, темному и безграмотному мужику, спастись отъ всѣхъ ловушекъ, которыя спеціально для него разставлены? Поэтому онъ про-

дастъ свой товаръ по произвольно-установленной цѣнѣ, наскоро кормитъ лошадь и, сдѣлавши необходимыя закупки, спѣшитъ засвѣтло доѣхать домой. Здѣсь онъ разсчитываетъ себя, откладываетъ гроши къ грошамъ, разглаживаетъ и разсматриваетъ на свѣтъ скомканныя ассигнаціи и прячетъ выручку въ завѣтную кубышку. Въ большинствѣ случаевъ оказывается, что получка далеко не оправдываетъ ожиданій.

Подобныя неудачи встрѣчаются очень часто и до боли его трогаютъ. Но онѣ отъ него не зависятъ: все равно, застигнутъ ли онѣ его, или благополучно пройдутъ мимо,—все равно, ему и еще, и еще придется идти имъ навстрѣчу и подчиниться. Надо, стало-быть, забыть о неудачахъ и стараться наверстать на чемъ-нибудь другомъ. И онъ, не успѣвши отдохнуть съ дороги, обходитъ дворъ, осматриваетъ, все ли вездѣ въ порядкѣ, заданъ ли скоту кормъ, жирѣетъ ли поросенокъ, котораго откармливаютъ на продажу, не стерлась ли ось въ телѣгѣ, на мѣстѣ ли чеки, не подгнили ли слеги на крышѣ двора, можно ли надѣяться, что вонъ этотъ столбъ, одинъ изъ тѣхъ, которые поддерживаютъ дворъ, нѣкоторое время еще простоитъ. Онъ беретъ въ руки топоръ и до самаго ужина стучитъ имъ и облаживаетъ замѣченные огрѣхи. Словомъ сказать, спасаетъ себя.

Въ свое время онъ припасается, стараясь прежде всего вырвать то, что̀ достается задаромъ, а потомъ ужъ думаетъ о томъ, чтобы какъ можно дешевле пріобрѣсти то, чего нельзя достать иначе, какъ за деньги. Лѣтомъ оврагъ, раздѣляющій деревню на двѣ половины, совсѣмъ засыхаетъ; но въ весеннее половодье онъ наполняется до краевъ водою, бурлитъ и шумитъ. Изъ сосѣдней рѣчки Пишковки заходитъ туда рыба: головли, ерши, язи, плотва, окуни, щуки. Заботливый хозяинъ пользуется этимъ даровымъ прибыткомъ и ставитъ вѣрши. Онъ больше всего радуется щукѣ, которая хоть и костлява, но зато попадается крупныхъ размѣровъ и притомъ годна къ солкѣ впрокъ. Онъ наполняетъ ею всѣ кадочки и бочонки, какіе только найдутся въ домѣ, и въ продолженіе всего лѣта лакомитъ себя, семью и домочадцевъ соленою рыбкой. Рыба тверда, почти несъѣдобна, но зато она спора, ее меньше съѣдятъ — и это все, что̀ требуется доказать. Притомъ же на столъ ставится чашка не съ пустыми щами, а щи съ рыбой; а это означаетъ тароватость. Про такого мужика говорятъ:

«онъ живетъ таровато, у него щи съ рыбой ѣдятъ». И работники идутъ къ нему охотнѣе, и помочь онъ скорѣе сберетъ.

Весной же онъ запасается солониной. Прослышитъ, что гдѣ-нибудь корова отъ безкормицы еле-жива, а владѣльца этой коровы сборами нажимаютъ, устроится съ тремя-четырьмя другими заботливыми хозяевами въ-складчину, и купятъ коровью мясную тушу за пять рублей. Въ ней больше костей, нежели мяса, да и мясо неуваристое, точно мочало, а все-таки мало-мало двѣнадцать пудовъ этого мяса найдется — пудъ-то обойдется какихъ-нибудь сорокъ копеекъ. И вотъ у него на все лѣто солонины хватитъ. За неимѣніемъ погребовъ, солонина зарывается въ землю, но къ наступленію лѣтняго мясоѣда все-таки сильно припахиваетъ; но это дѣлаетъ ее еще спорѣе. Мужикъ и съ запашкомъ убоину съѣстъ, но, разумѣется, меньше, нежели если-бъ она была совсѣмъ свѣжая. Стало-быть, и тутъ выгода.

Главное, поддержать въ исправности силы, необходимыя для лѣтней страды. Не наѣдаться, а именно только въ мѣру себя поддерживать. А какъ и чѣмъ этого достигнуть— вопросъ второстепенный.

Лѣтомъ мужикъ весь въ работѣ. Лѣнивый и захудалый мужичонко—и тотъ не сходитъ съ полосы, а хозяйственный мужичокъ просто-на-просто мретъ на ней. Онъ почти не спитъ; ложится поздно, встаетъ съ зарей (по вечерней и утренней зарѣ косить траву спорѣе) и спѣшитъ на работу. Вѣчно тревожимый думою о насущномъ хлѣбѣ, онъ набралъ у сосѣдняго помѣщика пустошныхъ покосовъ исполу и даже изъ третьей копны, коситъ до глубокой осени и только съ большой натугой успѣваетъ справиться съ работой. И жена, и взрослыя дѣти—всѣ мучатся хуже каторги; даже подростки—и тѣ раздѣляютъ общую страдную муку. Зато въ концѣ августа онъ уже можетъ разсчитать, что своего хлѣба у него хватитъ до масляной. Но сѣна вдоволь: есть чѣмъ и скотину прокормить, и на сторону продать можно. Сѣно — главная его надежда. Земельный надѣлъ такъ ограниченъ, что зернового хлѣба сѣется малость; сѣна же онъ можетъ добыть задаромъ, то-есть только потративъ не жалѣючи свой личный трудъ на уборку. Мало его личнаго труда — онъ ходитъ по сосѣдямъ, собираетъ помочи. Обыкновенно на помочи выходятъ въ праздники, а это тоже доставляетъ своего рода спорость: прогуль-

ныхъ дней меньше. Всѣ знаютъ, что у него и рыбы, и мяса насолено, и конопляного масла непочатый боченокъ стоитъ, и чарка водки найдется,—и идутъ къ нему. Идутъ весело, съ пѣснями, работаютъ споро; онъ въ первой косѣ. Хотя съ работы возвращаются не поздно, но на міру работа идетъ вдвое спорѣе; все-таки угощенье наполовину дешевле обойдется, нежели ту же пустошь наемными рабочими убрать. Да и хозяину веселѣе, когда кругомъ все кипитъ и спорится. Это, можетъ-быть, однѣ изъ рѣдкихъ минутъ, когда въ немъ сердце взаправду играетъ.

Однако къ концу страды даже онъ начинаетъ тощать на работѣ. Лицо у него почернѣло подъ слоемъ въѣвшейся пыли; домашніе еле бродятъ. Къ счастію, страда кончается: и съ озимымъ отсѣялись, и снопы съ поля свезены и сложены въ скирды, и послѣднее сѣно убрали. Наступаетъ осень, иногда румяная, иногда сопровождаемая ливнями. Осень тоже имѣетъ свою страду, но ужъ болѣе снисходительную. Работаютъ преимущественно подъ крышей или вблизи дома, на гумнѣ, на огородѣ. Слышится стукъ цѣповъ; воздухъ насыщается запахомъ созрѣвшихъ овощей. Но хозяйственный мужичокъ зорко слѣдитъ за атмосферическими измѣненіями, потому что и сплошь-румяная осень можетъ повредить, и отъ слишкомъ частыхъ дождей хозяйство, пожалуй, пострадаетъ. Всего лучше, ежели погода перемежающаяся — тогда его сердце успокаивается до весны. Онъ ходитъ въ поле и любуется на ростъ озими. Но и тутъ ужъ мелькаетъ въ его головѣ предательская мысль: «осень всклочетъ, да какъ-то весна захочетъ! Что, ежели вдругъ весна придетъ бездождная, или сплошь переполненная дождями? Пойдутъ на низинахъ вымочки—своего зерна не соберешь; или на низинахъ хорошо взойдетъ, да наверху сгоритъ!» мучительно думается ему.

Но загадывать до весны далеко: какъ-нибудь изворачивались прежде, изворотимся и впередъ. На то онъ и слыветъ въ околоткѣ умнымъ и хозяйственнымъ мужикомъ. Рожь не удастся — овесъ родится. Ежели совсѣмъ неурожайный годъ будетъ, онъ кого-нибудь изъ сыновей на фабрику пошлетъ, а самъ въ извозъ уѣдетъ или дрова пилить наймется. Нужда, конечно, будетъ, но вѣдь крестьянину нужду знать никогда не лишнее.

Осенью онъ запасается на зиму. Самъ съ взрослыми сыновьями цѣлый день въ лѣсу, готовитъ дрова и сучья,

или молотитъ на гумнѣ, справляетъ на зиму сбрую. Ежели найдется досугъ, то для наполненія его у него есть и ремесло. Дуги на продажу готовитъ, бондарничаетъ, веревки на продажу вьетъ. Женскій персоналъ между тѣмъ занимается зимнимъ припасомъ. Стучатъ сѣтки о корыто, наполненое ядрёной капустой; солится небольшой запасъ огурцовъ, въ видѣ лакомства, на праздники; ходнемъ-ходитъ ткацкій станокъ, заготовляя краснò и шерстяную рѣдину, которыми зимой обшиваютъ семью. Минуты нѣтъ отдохнуть. Даже съ наступленіемъ сумерекъ, при свѣтѣ керосиновой лампочки (такое освѣщеніе дешевле лучины стóитъ) — и тутъ дѣло найдется. Большакъ новый лапоть плететъ или старый починиваетъ; старуха шеретяные чулки и карпетки вяжетъ; молодухи прядутъ. Благословенный трудъ не покидаетъ этой семьи; онъ не кажется ей каторгой, а составляетъ естественный жизненный процессъ. Поздно вечеромъ (сидятъ долго, но зато встаютъ позднѣе—гдѣ еще до свѣту!) ужинаютъ и ложатся спать. Временно каторга прекращастся.

Ночью изба представляетъ собою нѣчто въ родѣ нестерпимой клоаки. Домочадцевъ скучилось такъ много, что и полъ занятъ, и палати, и лавки по стѣнамъ. Изба полна смрадомъ и стонами этого замученнаго хозяйственностью люда. У мужика есть, кромѣ избы, и «чистая» горница, но она не топится, ради сбереженія дровъ, и вообще въ ней даже лѣтомъ рѣдко живутъ; она существуетъ на показъ и открывается только въ праздники. Хорошо еще, что жилая изба топится по «черному»; утромъ, чуть-свѣтъ, затопитъ хозяйка печку, и дымъ поглотитъ скопившіяся въ избѣ міазмы. Этотъ дымъ выѣдаетъ глаза, щекочетъ ноздри. Въ безпрестанно отворяемую дверь врывается холодный воздухъ. Сонные домочадцы, разбуженные запахомъ гари и холодомъ, вскакиваютъ какъ встрепанные и бѣгутъ на крыльцо, гдѣ на веревкѣ качается рукомойникъ. Зато, часа черезъ два, когда семейный обѣдъ готовъ, хозяйка заботливо закутываетъ печь, и въ избѣ дѣлается свѣтло и тепло. «Точно въ раю!» — говоритъ она довольнымъ голосомъ.

Только въ короткій рождественскій мясоѣдъ жизнь становится какъ будто льготнѣе. Молодежь отдыхаетъ; даже старики позволяютъ себѣ относительную свободу, хотя хозяйственный мужичокъ и тутъ не упускаетъ случая, дающаго возможность съ выгодой употребить свой трудъ. Днемъ,

около сумерекъ, деревенская улица полна катающимися. Парни, усадивъ въ сани гурьбы дѣвушекъ, настегиваютъ лошадей и мчатся во всю прыть. Слышатся гиканья, крики, смѣхъ. Накатаются до-сыта, иззябнутъ, но въ избу заходятъ не надолго. Зажгутся въ избахъ огни — пора на посѣдки. Соберутся въ очередную избу, играютъ пѣсни и веселятся до пѣтуховъ. Тутъ парни высматриваютъ невѣстъ; завязываются сватовства на красную горку; любовь вступаетъ въ свои права.

Въ это же время, по преимуществу, хозяйственный мужичокъ играетъ свадьбы.

Женитьба сына не требуетъ особенныхъ приготовленій. Сынъ беретъ бабу въ домъ, а дома все идетъ своимъ чередомъ; прибавляется только лишняя работница. Присмотрѣть невѣсту, уговориться насчетъ приданаго, установить норму расходовъ для пированій и на плату за вѣнчаніе— вотъ все, что требуется. Но къ свадьбѣ дочери подготовляются издалека и исподволь, чтобъ расходъ не былъ чувствителенъ. Дочь имѣетъ собственную коробью, въ которую сама собираетъ свое приданое. Ей каждый годъ отдѣляется небольшой клочокъ земли и дается горсточка льну на посѣвъ; этотъ ленъ она сама сѣетъ, обдѣлываетъ и затѣмъ готовитъ изъ него для себя красно. Все заготовленное она прячетъ въ коробью, вмѣстѣ съ полученными въ разное время подарками: платками, бусами, нарядными сарафанами и т. д.

Съ наступленіемъ времени выхода въ замужество—приданое готово; остается только выбрать корову или тёлку, смотря по достаткамъ. Если бы мужичокъ не предусмотрѣлъ загодя всѣхъ этихъ мелочей, онъ навѣрное почувствовалъ бы значительный уронъ въ своемъ хозяйствѣ. А теперь словно ничего не случилось; отдали любимое дѣтищо въ чужіе люди, отпировали свадьбу, какъ быть надлежитъ — только и всего.

Выше я сказалъ, что хозяйственный мужичокъ играетъ домашнія свадьбы (или, точнѣе, женитъ сына, потому что дочь выдается, когда женихъ найдется) преимущественно къ концу рождественскаго мясоѣда. Въ этомъ дѣлѣ имъ тоже руководитъ мудрость змія и твердая рѣшимость не потерпѣть ущерба въ жизнестроительномъ обиходѣ. Своевременно приведенная въ домъ сноха родитъ, при такомъ разсчетѣ, не раньше осени; слѣдовательно всю лѣтнюю страду она отбудетъ свободно. И не только будущую страду,

но и предбудущую, потому что ребенокъ, родившійся съ осени, успѣетъ мало-мальски окрѣпнуть и не будетъ слишкомъ часто отрывать мать отъ работы. Женить на красную горку тоже удобно, съ точки зрѣнія ближайшей страды, но зато предбудущая уже не даетъ достаточнаго обезпеченія: ребенокъ будетъ малъ и слабъ.

Какъ видитъ читатель, никакихъ думъ у хозяйственнаго мужика нѣтъ, кромѣ думы о жизнестроительствѣ. Ради нея онъ отдаетъ себя и семью въ жертву каторгѣ, ради нея терпѣливо выноситъ всякія неожиданности. Она затемняетъ въ немъ даже любовь къ семьѣ. Онъ всецѣло отдаетъ ей самого себя, но—и только. Той любви, которая заставляетъ видѣть въ женѣ, сынѣ, дочери нѣчто ненаглядное, неприкосновенное для обидъ, не существуетъ для него. И всю семью онъ успѣлъ на свой ладъ дисциплинировать: и жена, и дѣти видятъ въ немъ главу семьи, котораго слѣдуетъ безпрекословно слушаться, но горячее чувство любви замѣнилось для нихъ простою формальностью—и не согрѣваетъ ихъ сердецъ.

Наконецъ, идеалъ «полной чаши» достигнутъ. Изба прочна и хорошо ухичена; запасу вдоволь, скотины въ избыткѣ, дѣти — въ порядкѣ. Въ домѣ царствуютъ миръ и согласіе; даже въ кубышкѣ деньга, на черный день, водится. Въ такомъ положеніи до міроѣдства—одинъ только шагъ. Но хозяйственный мужикъ отъ природы чуждъ кровопивства; его не соблазняетъ ни лавочка, ни кабакъ. Непрерывнымъ трудомъ и думою о будущемъ онъ достигъ извѣстной степени зажиточности — и будетъ съ него. По-прежнему — онъ отказывается отъ чайничества, по-прежнему — ѣстъ хлѣбъ черствый, а не мягкій, по-прежнему — осторожно обращается съ свѣжей убоиной. Если-бъ онъ поступилъ иначе, ему было бы не по себѣ, онъ пересталъ бы быть самимъ собой.

Но съ «полною чашей» приходитъ и старость. Мало-помалу силы слабѣютъ; онъ не можетъ уже идти сорокъ верстъ за возомъ въ городъ и не выноситъ тяжелой работы. Старческое недомоганіе обступаетъ со всѣхъ сторонъ; онъ долго перемогаетъ себя, но, наконецъ, влѣзаетъ на печь и замолкаетъ.

На арену хозяйственности выступаетъ большакъ-сынъ. Если онъ удался, вся семья слѣдуетъ его указаніямъ и, по крайней мѣрѣ, при жизни старика не выказываетъ розни. Но по временамъ стремленіе къ особничеству все-таки

прорывается. Младшіе сыновья припрятываютъ деньги, — не все на общее дѣло отдаютъ, что̀ выработаютъ на сторонѣ. Между снохами появляются «занозы», которыя разстраиваютъ мужей.

«Умру—все растащатъ!» — думается старику, и болитъ, ахъ, болитъ его хозяйственное сердце!

Наконецъ, онъ умираетъ. Умираетъ тихо, честно, почти свято. За гробомъ слѣдуетъ жена съ толпою сыновей, дочерей, снохъ и внучатъ. Послѣ погребенья совершаютъ поминки, въ которыхъ участвуетъ вся деревня. Всѣ поминаютъ добромъ покойника. «Честный былъ, трудовой мужикъ—настоящій крестьянинъ!»

Да, это былъ дѣйствительно честный и разумный мужикъ. Онъ достигъ своей цѣли: довелъ свой домъ до полной чаши. Но спрашивается: съ какой стороны подойти къ этому разумному мужику? какимъ образомъ увѣрить его, что не о хлѣбѣ единомъ живъ бываетъ человѣкъ?

2.—Сельскій священникъ.

Въ основѣ существованія сельскаго священника лежитъ та же мысль, какъ и у хозяйственнаго мужика: обезпечить себя и семью отъ вторженія нужды. Та же мучительная дума о завтрашнемъ днѣ, то же неотступное желаніе заблаговременно опредѣлить мельчайшія подробности жизнестроительства, съ цѣлью избѣжать неожиданностей. Впрочемъ, оговариваюсь: я говорю исключительно о священникѣ бѣднаго прихода и, притомъ, держащагося старозавѣтныхъ преданій — словомъ сказать, о священникѣ, не отказавшемся отъ личнаго сельско-хозяйственнаго труда. О священникахъ новой формаціи я знаю очень мало, хотя слышалъ, что большинство ихъ уже относится, напримѣръ, къ полеводству довольно холодно (отдаютъ свой земельный участокъ въ кортому). Какой типъ священника лучше и любезнѣе для народа, это покажетъ время; но личныя мои симпатіи несомнѣнно тянутъ къ прежнему типу, и я очень радъ, что онъ исчезаетъ настолько медленно, что и теперь еще составляетъ большинство. Но даже и тамъ, гдѣ уже появился новый «батюшка», рядомъ съ нимъ живутъ дьячокъ или пономарь, которымъ ужъ никакъ нельзя существовать иначе, какъ существовали ихъ отцы и дѣды.

Поэтому все, что̀ я скажу дальше о сельскомъ священникѣ, вполнѣ примѣнимо и къ причетническому быту, но, разумѣется, въ удвоенной степени, потому что и нужда здѣсь двойная, и размѣры обезпечивающихъ средствъ вдвое и втрое меньше.

Нужда сельскаго священника значительно превышаетъ нужды хозяйственнаго мужика. Священникъ живетъ шире не потому, чтобъ это была его прихоть, а по необходимости: поповская обстановка изстари такъ сложилась. У него домъ больше — такой достался ему при поступленіи на мѣсто; въ этомъ домѣ, не считая стряпущей, по крайней мѣрѣ двѣ горницы, которыя отапливаются зимой «по чистому», и это требуетъ лишнихъ дровъ; онъ круглый годъ нанимаетъ работницу, а на лѣто и работника, потому что земли у него больше, а стало-быть, больше и скота— одному съ попадьей за всѣмъ не доглядѣть; одежда его и жены дороже стоитъ, хотя бы ни онъ, ни она не имѣли никакихъ поползновеній къ франтовству; для него самоваръ почти обязателенъ, да и закуска въ запасѣ имѣется, потому что его во всякое время можетъ посѣтить нечаянный гость: благочинный, ревизоръ изъ уѣзднаго духовнаго правленія, чиновникъ, пріѣхавшій на слѣдствіе или по другимъ казеннымъ дѣламъ, становой приставъ, волостной старшина, наконецъ, просто проѣзжій человѣкъ, за метелью или непогодой не рѣшающійся продолжать путь. Куда толкнуться? — на постояломъ дворѣ пьянство, холодъ, вонь— айда̀ къ попу! И священникъ, волей-неволей, заказываетъ работницѣ самоваръ и подаетъ угощенье. Но что̀ всего больше угнетаетъ священника — это дѣти. Ихъ надо воспитать, а воспитать — значитъ подносить подарки, прилично одѣвать, содержать на наемной квартирѣ и покупныхъ хлѣбахъ, сначала въ уѣздномъ городѣ, а потомъ и въ губернскомъ. Язва, которую вносятъ съ собой деньги въ обиходъ хозяйственнаго мужика, въ священническомъ обиходѣ оказывается двойною и тройною. Вездѣ дыры, вездѣ заткнуть надо. И домъ достался ему—только слово, что домъ! Стѣны ветхія, накаты подъ поломъ сгнили, половицы колеблются. Всюду дуетъ, вездѣ надо заплату поставить—надолго ли! И дворъ, того гляди, повалится — хоть новый строй. У дочери-невѣсты платья подошли, а поблизости, у сосѣда-священника, скоро свадьбу играть будутъ: ежели не ѣхать — люди осудятъ, а ежели ѣхать— надо и самому приформиться, и семью обшить. Въ ста-

сенье у него помочь; въ слѣдующій праздничный день онъ самъ идетъ на помочь къ сосѣду. Священникъ обращается за помочью ко всему міру; всѣ обѣщаютъ, а завтра добрая половина не явится.

— Припасу на сорокъ человѣкъ наготовлено,—горюетъ батюшка,—а пришло двадцать человѣкъ! Хоть въ навозъ выливай щи!

Народъ собрался разнокалиберный, работа идетъ вяло. Попъ самъ въ первой косѣ идетъ, но прихожане не торопятся, смотрятъ на солнышко и часа черезъ полтора уже намекаютъ, что обѣдать пора. Ужъ обнесли однажды по стакану водки и по ломтю хлѣба съ солью — приходится по другому обнести, лишь бы отдалить часъ обѣда. Но работа даже и послѣ этого идетъ все вялѣе и вялѣе; нѣкоторые и косы побросали.

— Не каторжные!—раздается въ толпѣ.

Дѣлать нечего, надо сбирать обѣдъ. Священникъ и вся семья суетятся, потчуютъ. Въ кашу льется то же постное масло, во щи нарѣзывается та же солонина съ запашкомъ; но то, что сходитъ съ рукъ своему брату, крестьянину, ставится священнику въ укоръ. «Работали до седьмого пота, а онъ гнилятиной кормитъ!»

Наконецъ, обѣдъ конченъ. Священникъ съ вымученной улыбкой говоритъ:

— А ну-те, господа міряне, на дорожку еще часикъ бы покосили!

Но половина мірянъ уже разошлась и молча, безъ пѣсенъ, возвращается по домамъ.

Хорошо, что къ сѣнокосу подоспѣли на каникулы сыновья. Старшій уже кончаетъ семинарію и басомъ читаетъ за обѣдней апостола; младшіе тоже, по крестьянскому выраженію, гогочутъ. Съ ихъ помощью батюшка успѣваетъ покончить съ остальнымъ сѣнокосомъ.

Попадья и съ своей стороны собираетъ помочь: на сушку сѣна, на жнитво. Тутъ та же процедура, та же вялость и неспорость въ работѣ.

«Смотрѣть на этихъ бабъ тошно!»—мучительно думаетъ попадья, но вслухъ говоритъ: — А вы, бабыньки, для отца-то духовнаго постарайтесь; не шибко соломой трясите: неравно половина зерна на полосѣ останется.

Въ половинѣ сентября начинаетъ сводить священникъ полевые счеты и только вздрагиваетъ отъ боли. Оказывается, *что ежели* отложить на сѣмена, то останется ржи

четвертей десять-двѣнадцать, да овса четвертей двадцать. Тутъ—и на собственное продовольствіе, и на кормъ скоту, и на продажу.

Нѣкоторые священники пчелами занимаются, колодъ по двадцати-тридцати держатъ. Это занятіе выгодное. Пчела работаетъ даромъ, но надо умѣть съ ней отваживаться. Ежели есть въ домѣ старикъ-отецъ или тесть (оставшійся за штатомъ), то обыкновенно онъ занимается пчелами и во время роенья не отходитъ отъ ульевъ. Ежели нѣтъ такого старика, то и эта забота падаетъ на долю священника, мѣшая его полевымъ работамъ, потому что пчела капризна: какъ разъ не усмотришь—и новый рой на глазахъ улетѣлъ. Однако все-таки тутъ довольно чувствительное подспорье. Около перваго Спаса пріѣдетъ прасолъ, который скупаетъ медъ и воскъ,—пожалуй, рублей двадцать-тридцать и наберется.

Есть у священника и еще подспорье—это сборы съ прихожанъ натуральными произведеніями. О Пасхѣ каждымъ прихожаниномъ удѣляется ему на заутрени, при христосованьи, нѣсколько яицъ; при освященіи пасхъ (вмѣсто которыхъ употребляются ватрушки) тоже вырѣзывается кусокъ. Священникъ стоитъ съ крестомъ въ рукахъ, а сбоку, на столикѣ, лукошко, наполняемое яйцами. И у причетниковъ по лукошку, и у дѣтей священника, и у причетниковъ—каждаго одѣляютъ; кто одно, кто два яйца положитъ. То же самое повторяется и на славленіи, которое производится цѣлой гурьбой. А на другой день матушка по приходу съ лукошкомъ ходитъ—опять яйца. Ежели славить идутъ въ дальнюю деревню, то запрягаютъ лошадь и нагружаютъ телѣгу лукошками. Яицъ набирается много, дѣвать некуда; кусковъ—тоже. Ѣдятъ цѣлую недѣлю, всего пріѣсть не могутъ. Поэтому солятъ яйца впрокъ, а куски ватрушекъ сушатъ. Хоть и не-вѣсть какая пища, а все же годится для наполненія желудка.

Другое подспорье — поминальные пироги и блины. И отъ нихъ удѣляется часть священнику и церковному причту. Недаромъ сложилась пословица: поповское брюхо, что бѣдро, все мнетъ. Горькая это пословица, обидная, а дѣлать нечего: изъ пѣсни сло́ва не выкинешь. Третье и самое значительное подспорье — новь. Около Воздвиженья священникъ ѣздитъ по приходу въ телѣгѣ и собираетъ новую рожь и овесъ. Кто насыплетъ въ мѣшокъ того и другого по гарнцу, а кто и на два расщедрится. Слѣдомъ за ба-

капли дождя не капнетъ—сгорѣло все; то ливни льютъ—все сопрѣло, сгнило. Вотъ онъ, подпоясанный, въ бѣлой рубашкѣ на-выпускъ, идетъ съ лукошкомъ въ рукахъ. На дворѣ который день дождикъ льетъ, отъ работы совсѣмъ отбило. Снопы съ поля убирать бы надо, да погода не пускаетъ, а снопы ужъ прорастать начали. «Сѣмянъ не соберемъ!» говоритъ онъ себѣ, и страхъ передъ завтрашнимъ днемъ ни на минуту не покидаетъ его. Дождливая погода приводитъ урожай на грибы, и онъ все время проводитъ въ лѣсу. Беретъ батюшка грибы и на небо посматриваетъ, не прояснится ли гдѣ хоть кусочекъ. Вотъ, слава Богу, въ сторонкѣ слой облаковъ какъ будто потоньше становится; вотъ и синевы клочокъ показался... слава Богу! завтра, можетъ-быть, и солнышко выглянетъ.

Выглянетъ солнышко — деревня оживетъ. Священникъ со своей семьей спѣшитъ возить снопы, складывать ихъ въ скирды и начинаетъ молотить. И все-таки оказывается, что дожди свое дѣло сдѣлали: и зерно вышло легкое, и меньше его. На цѣлыхъ двадцать пять процентовъ урожай вышелъ меньше противъ прошлогодняго.

Ни одного дня, который не отравлялся бы думою о кускѣ, ни одной радости. Куда ни оглянется батюшка, все ему или чуждо, или на всѣ голоса кричитъ: нужда! нужда! нужда! Сынъ ли окончилъ курсъ—и это не радуетъ: онъ совсѣмъ исчезнетъ для него, а можетъ-быть, и забудетъ о старикѣ-отцѣ. Дочь ли выдастъ замужъ—и она уйдетъ въ люди, и ее онъ не увидитъ. Всякая минута, приближающая его къ старости, приноситъ ему горе.

И вотъ, старость ужъ за плечами стоитъ. Священникъ начинаетъ плохо разбирать печатное; рука его еле держитъ потиръ; о тяжелыхъ полевыхъ работахъ онъ и не помышляетъ. Семья его разбрелась окончательно. Старшій сынъ ужъ лѣтъ десять профессорствуетъ въ дальней епархіальной семинаріи; второй сынъ священствуетъ гдѣ-то въ Сибири; третій—не задался: не кончилъ курса и опредѣлился писцомъ въ одно изъ губернскихъ присутственныхъ мѣстъ. Дочери тоже повыданы замужъ, а одна ушла въ монастырь. Помощи ждать не откуда, потому что у всѣхъ свои заботы, свои семьи. Землю батюшка сдалъ въ кортому и одинъ-на-одинъ съ попадьей коротаетъ старческій вѣкъ. Вдвоемъ имъ немного нужно, но впереди ждетъ неминуемый «заштатъ»...

Наконецъ, грозная минута настала: старикъ отчисленъ

за штатъ. Пріѣзжаетъ молодой священникъ, для котораго, въ свою очередь, начинается сказка объ изнурительномъ жизнестроительствѣ. На вырученныя деньги за старый домъ заштатный священникъ ставитъ себѣ нѣчто въ родѣ сторожки и удаляется въ нее, питается крохами, падающими со скудной трапезы своего замѣстителя, ежели послѣдній, по добротѣ сердца или по добровольно принятому обязательству, соглашается что-нибудь удѣлить.

По старой привычкѣ, а отчасти и по необходимости, отецъ Николай ходитъ въ свитѣ причетниковъ по приходу за яйцами, за новью; но его надѣляютъ ужъ скупо...

Горькое начало, горькое существованіе, горькій конецъ!

3.—Помѣщикъ.

Я буду говорить, собственно, о средней полосѣ Россіи, и притомъ о помѣщикѣ средней руки, не очень крупномъ и не совсѣмъ мелкопомѣстномъ.

Крупные землевладѣльцы встрѣчаются рѣдко. Они избрали благую часть: отрѣзали крестьянамъ въ надѣлъ пахатную землю, а сами остались при такъ-называемыхъ оброчныхъ статьяхъ: лѣсахъ, лугахъ, рыбныхъ ловляхъ и т. п. Пашню, какая осталась въ излишествѣ, запустили подъ пастбище и тоже обратили въ оброчную статью. Скота держатъ малость, только на случай пріѣзда; старинныя каменныя хозяйственныя постройки отчасти распроданы, отчасти пустѣютъ и приходятъ въ ветхость. Очевидно, что при такихъ условіяхъ требуется не хозяйство, а только конторскій надзоръ и счетоводство. Въ опредѣленное время сдаются въ конторѣ съ торговъ участки лѣса, луговъ, мельницы, постоялые дворы, пастбище и прочія статьи. Доходъ получается безъ хлопотъ, издержки по управленію незначительны. Живетъ-себѣ владѣлецъ припѣваючи въ столицѣ или за границей и много-много, ежели на мѣсяцъ, на два, заглянетъ лѣтомъ съ семьей въ усадьбу, чтобъ убѣдиться, все ли на своемъ мѣстѣ, не кривитъ ли душой управляющій и въ порядкѣ ли садъ.

Но, кромѣ того, есть и еще соображеніе: эти посѣщенія напоминаютъ дѣтямъ, что они — русскіе, а гувернерамъ и гувернанткамъ, ихъ окружающимъ, свидѣтельствуютъ, что и въ Россіи возможна своего рода vie de château.

Дѣти заходятъ въ деревни и видятъ крестьянскихъ дѣтей, о которыхъ имъ говорятъ: «они такіе же, какъ и вы!» Но француженка-гувернантка никакъ не хочетъ съ этимъ согласиться и восклицаетъ: «c'est une race d'hommes tout-à-fait à part!» И затѣмъ, воротившись съ экскурсіи домой, ѣстъ персики, вишни и прочіе фрукты, подаваемые въ изобиліи за завтракомъ и обѣдомъ, и опять восклицаетъ: «ah! que c'est beau! que c'est succulent! Cela me rappele les fruits de ma chère Touraine!»

Повторяю: это не хозяйство, а конторское управленіе.

Что касается до мелкопомѣстныхъ дворянъ, то они уже въ самомъ началѣ крестьянской реформы почти совсѣмъ исчезли съ сельско-хозяйственной арены. Продали оставшіеся за надѣломъ отрѣзки крестьянамъ позажиточнѣе (изъ нихъ въ скоромъ времени образовались міроѣды) и разбѣжались, куда глаза глядятъ. Вообще судьба этихъ людей представляетъ изрядную загадку: никто не слѣдилъ за ихъ исчезновеніемъ, никто не помнитъ о нихъ, не знаетъ, что съ ними сталось. Такого-то видѣли въ Москвѣ—«совсѣмъ обносился»; такого-то встрѣтили на желѣзной дорогѣ—въ кондукторахъ служитъ. А большинство совсѣмъ какъ въ воду кануло. Во всякомъ случаѣ, эта помѣщичья разновидность встрѣчается въ настоящее время какъ рѣдкое исключеніе. Ее замѣнилъ разночинецъ, который хозяйствуетъ на свой образецъ.

Помѣщикъ средней руки обладаетъ очень неважными средствами. Въ старину у него было душъ двѣсти-триста крестьянъ, а за надѣломъ ихъ въ его распоряженіи осталось отъ шести до семи сотъ десятинъ земли. Усадьба некрасивая, въ захолустьѣ, домъ—похожій на крохотную казарму; службы ветшаютъ; о «заведеніяхъ», паркѣ, рѣкѣ и въ поминѣ нѣтъ. Рѣдко гдѣ встрѣтишь ручеекъ, на которомъ, для вида, поставлена мельница, а воды и на одинъ поставъ не хватаетъ. Небольшой садишко съ яблонями да огородецъ сбоку, а при въѣздѣ въ усадьбу—прудокъ, похожій на помойную яму. Кругомъ ровное мѣсто, безъ малѣйшаго пригорка, такъ что нѣтъ и признака такъ-называемаго «красиваго мѣстоположенія». Земля тоже не особенно чивая. Половина подъ пустошами, десятинъ съ сотню подъ лѣсомъ, о заливныхъ лугахъ и слухомъ не слыхать. Природа ничего не дала здѣсь даромъ, все приходится съ бою брать.

Жить въ такой обстановкѣ непривлекательно, ежели на первомъ планѣ не стоитъ сельско-хозяйственный интересъ. Сосѣдство ограниченное, а ежели и есть, то разнокалиберное, несимпатичное; матеріальныя средства небольшія; однообразіе, и въ природѣ, и въ людяхъ, изумительное: порадовать взоры не на чемъ. Чтобы не почувствовать, какъ часъ за часомъ тянется сѣрая жизнь, нужно, чтобы человѣка со всѣхъ сторонъ охватили мелочи, чтобъ онѣ съ утра до вечера не давали ему опомниться. Тогда онъ не увидитъ, какъ пролетѣлъ день, и когда настанетъ время отдыха, то заснетъ какъ убитый. «Я ни разу боленъ не былъ съ тѣхъ поръ, какъ поселился въ деревнѣ!—говоритъ онъ, съ гордостью вытягивая мускулистыя руки:—да и не скучалъ никогда: времени нѣтъ!»

Помѣщиковъ средней руки имѣется три типа: во-первыхъ — равнодушный, во-вторыхъ — убѣжденный и въ-третьихъ—изворачивающійся съ помощью прижимки.

О равнодушномъ помѣщикѣ въ этомъ этюдѣ не будетъ рѣчи по тѣмъ же соображеніямъ, какъ и о крупномъ землевладѣльцѣ: ни тотъ, ни другой хозяйственнымъ дѣломъ не занимаются. Равнодушный помѣщикъ на скорую руку устроился съ крестьянами, оставилъ за собой пустошь, небольшой кусокъ лѣсу, пашню запустилъ, окна въ домѣ заколотилъ досками, скотъ распродалъ и, поставивъ во главѣ выморочнаго имущества не то управителя, не то сторожа (преимущественно изъ отставныхъ солдатъ), уѣхалъ.

— Ты за лѣсомъ смотри, паче глазу его береги!—сказалъ онъ сторожу на прощанье:—буду наѣзжать; ежели замѣчу порубку—не спущу! Да мебель изъ дома чтобъ не растащили!

— Будьте покойны, вышескородіе!

— Пустошь сдавай въ кортому; пашню, вѣроятно, крестьяне подъ скотину наймутъ: имъ скотъ выгнать некуда. Жалованье тебѣ назначаю въ годъ двѣсти рублей, на твоихъ харчахъ. Разсчитывай себя изъ доходовъ, а что больше выручишь—присылай. Вотъ здѣсь, во флигелькѣ, и живи. А для протопленія можешь сучьями пользоваться.

— Много доволенъ, вашескородіе!

Затѣмъ онъ пріискалъ въ Петербургѣ мѣстечко и живетъ на жалованье да на проценты выкупного свидѣтельства. Изрѣдка получаетъ изъ деревни то двѣсти, то триста рублей и говоритъ знакомымъ:—Я сегодня доходъ изъ деревни получилъ.

Въ теченіе десяти лѣтъ онъ только однажды посѣтилъ родное пепелище. Вошелъ въ домъ, понюхалъ и сказалъ:

— У, да какъ здѣсь пахнетъ!

Потомъ обошелъ лѣсъ и, замѣтивъ мѣстами порубки, пригрозилъ сторожу («Безъ этого, вашескородіе, невозможно!»). Узналъ, что съ пустошами дѣло идетъ плохо: крестьяне совсѣмъ ихъ не разбираютъ.

— Кои загрубѣли, кои березнячкомъ поросли,—жаловался сторожъ.

— Тѣмъ лучше: со временемъ лѣсъ будетъ!

— И лѣсу не будетъ; крестьяне расти не даютъ. Вскочитъ березка—сейчасъ вершину на вѣники срѣжутъ.

Въ два дня онъ осмотрѣлъ и въ заключеніе сказалъ:

— Ну, чортъ съ вами! Вотъ сынъ у меня растетъ; можетъ-быть, онъ хозяйничать захочетъ. Дамъ ему тогда денегъ на обзаведеніе, и пускай онъ хлопочетъ. Только вотъ лѣсъ пуще всего береги, старикъ! Ежели еще разъ порубку замѣчу—спуску не дамъ!

Убѣжденный помѣщикъ (быть-можетъ, тотъ самый сынъ «равнодушнаго», о которомъ сейчасъ упомянуто) вѣритъ, что сельское хозяйство составляетъ главную основу благосостоянія страны. Это—теоретическая сторона его міросозерцанія. Съ практической стороны онъ убѣжденъ, что нигдѣ такъ выгодно нельзя помѣстить капиталъ. Но, разумѣется, надо терпѣніе, настойчивость, соотвѣтственный капиталъ и извѣстный запасъ свѣдѣній.

Терпѣніемъ и настойчивостью онъ обладаетъ; капиталъ, хотя и небольшой, у него есть. Свѣдѣніями онъ тоже запасся. Кое-что онъ за границей видѣлъ, кое-чему научился изъ книгъ, кое-что слышалъ отъ опытныхъ сельскихъ хозяевъ. Но главному, разумѣется, научитъ сама практика, сближеніе съ разумнымъ мужикомъ и наглядное знакомство съ сосѣдними хозяйствами. Хотя онъ еще молодъ и не живалъ подолгу въ деревнѣ, но увѣренъ, что предстоящая задача совсѣмъ не такъ головоломна, какъ увѣряютъ. Не боги горшки обжигаютъ—и простые смертные, при помощи доброй воли, сумѣютъ это сдѣлать.

Теперешнее его убѣжденіе таково: надо какъ можно больше производить молока. Большое количество молока предполагаетъ большое стадо коровъ. Кромѣ молока, стадо дастъ ему удобреніе; удобреніе повлечетъ за собой бо́льшее количество зерна и достаточно сѣна для продовольствія рогатаго скота и лошадей. Молочное хозяйство должно

окупить всѣ текущіе расходы по полевой операціи; зерно должно представлять собой чистый доходъ. Вотъ цѣль, къ которой должны быть направлены всѣ усилія.

— И я достигну этой цѣли,—говоритъ онъ.—Вездѣ, въ цѣломъ мірѣ, полеводство даетъ хотя и не блестящій, но вполнѣ вѣрный барышъ: не можетъ быть, чтобы мы одни составляли исключеніе!

Съ такими намѣреніями онъ пріѣзжаетъ на хозяйство и повсюду застаетъ запустѣніе. Прежде нежели приступить къ полеводству, надо собственную обстановку устроить такъ, чтобъ и ему, и семьѣ существовать было можно. Жену онъ тоже успѣлъ настроить въ своемъ направленіи, такъ что и во снѣ она коровъ видитъ; за дѣтей заранѣе радуется, какія они вырастутъ крѣпкія и здоровыя на вольномъ деревенскомъ воздухѣ. Но и жена, и дѣти прежде всего нуждаются въ обстановкѣ, въ хорошо защищенномъ домѣ, не представляющемъ риска для простуды и вообще имѣющемъ видъ жилого помѣщенія.

Ежели имѣніе досталось ему по наслѣдству—разумѣется, онъ поневолѣ мирится съ неудачами первыхъ шаговъ; но ежели онъ купилъ имѣніе, то въ его сердце заползаетъ червь сомнѣнія. Дѣло въ томъ, что онъ былъ слишкомъ довѣрчивъ: смотрѣлъ и не доглядѣлъ. Начать съ того, что онъ купилъ имѣніе ранней весной (никто въ это время не осматриваетъ имѣній), когда поля еще покрыты снѣгомъ, дороги въ лѣсъ завалены, и домъ стоитъ нетопленный; когда годовой запасъ зерна и сѣна подходитъ къ концу, а скотъ, по самому ходу вещей, тощъ («увидите, какъ за лѣто онъ отгуляется!»). Слѣдовательно ничего доскональнымъ образомъ ни осмотрѣть, ни опредѣлить невозможно.

И точно: вездѣ, куда онъ теперь ни оглянется, продавецъ обманулъ его. Домъ протекаетъ; накаты подъ поломъ ветхи; фундаментъ на одномъ мѣстѣ осѣлъ; корму до новой травы не хватитъ; наконецъ, мѣленка, которая, покуда онъ осматривалъ имѣніе, работала на оба постава и была завалена мѣшками съ зерномъ,—молчитъ.

— Воды только на одинъ поставъ и хватаетъ, да и для одного-то помольцевъ нѣтъ,—говоритъ мельникъ.—Какая эта мельница! Только горе съ ней!

— Какъ же при мнѣ она на два постава работала, да и зерна было навезено вдоволь?

— А мы дня два передъ тѣмъ воду копили, да мужикъ-

камъ по округу объявили, что за полцѣны молоть будемъ... вотъ и работала мельница.

— Мы и сами въ ту пору дивились,—сообщаетъ, въ свою очередь, староста (изъ мѣстныхъ мужиковъ),- котораго онъ на время своего отсутствія, по случаю совершенія купчей и первыхъ закупокъ, оставилъ присмотрѣть за усадьбой:—видите—въ полѣ еще снѣгъ не тронулся, въ лѣсъ проѣзду нѣтъ, а вы осматривать пріѣхали. Старый-то баринъ садовнику Пётрѣ цалковый-рупъ посулилъ, чтобъ васъ въ лѣсъ провезъ по межѣ: и направо, и налѣво—все, дескать, его лѣсъ!

И батюшка, пришедшій съ просвирой поздравить его съ пріѣздомъ, присовокупляетъ:

— И у меня, грѣшнымъ дѣломъ, вертѣлось на языкѣ: погодите до тепла, не поспѣшайте! Но при семъ думалось и такъ: ежели господинъ поспѣшаетъ—стало-быть, ему надобно.

Словомъ сказать, совсѣмъ онъ не то купилъ, что смотрѣлъ.

Но повторяю: наслѣдственное ли имѣніе, или благопріобрѣтенное, во всякомъ случаѣ надо начать съ домашней обстановки, отложить на время мечты объ усовершенствованныхъ пріемахъ полеводства, объ улучшеніи породы скота и т. п. Все въ упадкѣ: и домъ, и скотный дворъ, и службы, все требуетъ коренного, серьезнаго ремонта.

Цѣлое лѣто кипитъ въ домѣ работа. Помѣщикъ перебрался на одну половину дома, а другую предоставилъ въ распоряженіе плотниковъ и маляровъ. Съ зарею раздается стукъ топоровъ, пѣніе пѣсенъ, а изъ отворенныхъ оконъ валитъ ѣдкая пыль. Плотники подняли полы и рубятъ новые накаты; кровельщики влѣзли на крышу, звенятъ желѣзными листами, вбиваютъ гвозди. На-дняхъ пріѣдутъ штукатуры и маляры—и адъ будетъ въ полной формѣ. У дѣтей съ утра до вечера головки болятъ; днемъ, въ хорошую погоду, они на воздухѣ, въ саду, но въ дождь пріюта найти не могутъ.

— Надо же примириться съ этимъ,—утѣшаетъ помѣщикъ:—вѣдь мы не на одинъ годъ устраиваемся!

Но что всего чувствительнѣе—уходитъ масса денегъ, и нѣтъ увѣренности, что онѣ уходятъ производительно. Не успѣли покончить одну работу, какъ въ перспективѣ уже виднѣется другая. И все такія работы, которыя предста*вляютъ только безвозвратную* трату. Вездѣ—подлость, мер-

зость, обманъ. Плотники работаютъ кое-какъ, маляры на цѣлую недѣлю запоздали. Помѣщикъ за всѣмъ смотритъ самъ, но его обманываютъ въ глаза. Онъ и понимаетъ, что его обманываютъ, но что-то въ этомъ обманѣ есть такое, чего онъ раскрыть и объяснить не можетъ. Приходится махнуть рукой и сказать себѣ: ахъ, хоть бы поскорѣе кончилось!

Покуда въ домѣ идетъ содомъ, онъ осматриваетъ свои владѣнія. Освѣдомляется, гдѣ въ послѣдній разъ сѣяли озимь (пашня ужъ два года сряду пустуетъ), и нанимаетъ топографа, чтобы снялъ полевую землю на планъ и разбилъ на шесть участковъ, по числу полей. Оказывается, что въ каждомъ полѣ придется по двадцати десятинъ, и онъ спѣшитъ посѣять овесъ съ клеверомъ на томъ мѣстѣ, гдѣ было старое озимое.

— А впереди у меня будетъ паровое поле, которое я лѣтомъ приготовлю подъ озимь,—толкуетъ онъ топографу:—надо не сразу, а постепенно работать.

— Поспѣшность потребна только блохъ ловить!—развязно откликается топографъ.

— Гм!.. блохъ... да!—задумчиво вторитъ ему хозяинъ и, обращаясь къ старостѣ, спрашиваетъ:—Давно ли со скотнаго двора навоза не вывозили?

— Да года два уже не возимъ: скотина по-уши въ грязи стоитъ.

— Ну, видишь ли, хоть скота у меня и немного, но такъ какъ удобреніе два года копилось, то и достаточно будетъ подъ озимь! А съ будущей осени заведу скота сколько слѣдуетъ, и тогда ужъ...

Осмотрѣвши поля, ѣдетъ на бѣговыхъ дрожкахъ въ лѣсъ. То тамъ куртинка, то тутъ. Есть куртинки частыя, а есть и рѣдичь. Лѣсъ по преимуществу дровяной—кое-гдѣ деревцо на холостую постройку годно. Но, въ совокупности, десятинъ съ сотню наберется.

— Въ случаѣ надобности, можно будетъ и тово...—нашептываетъ ему тайный голосъ.

А староста точно слышитъ этотъ голосъ и говоритъ:

— Вотъ эту куртинку старый баринъ еще съ осени собирался продать.

— Съ осени?—машинально вторитъ помѣщикъ.

— Точно такъ. Мнѣ, говоритъ, она не къ мѣсту, а между тѣмъ за нее хорошія деньги дадутъ. Березнякъ здѣсь крупный, стеколистый; саженей сто швырка съ десятины наберется.

— Гм!.. однако-жъ!

Осмотрѣвши лѣсъ, ѣдутъ на пустошь.

— Вотъ на этой пустоши бываетъ трава, мужички даже исполу съ охотой берутъ. Болотце вонъ тамъ въ уголку, такъ острецъ растетъ, лошади его ѣдятъ. А вонъ въ Лисьей-Норѣ—тамъ и вовсе ничего не растетъ: ни травы, ни лѣсу. Продать бы вамъ, сударь, эту пустошь!

— А мы попробуемъ обработать ее.

— Какъ ее обработаешь! Земля въ ней какъ камень скипѣлась, лишаями поросла. Тронуть ее, такъ всѣ сохи переломаешь, да и навозу она пропасть сожретъ. А навозъ-то за пять верстъ возить нужно.

— А сколько за нее дадутъ, если продать?

— Рублей сто дадутъ, кому нужно.

— Помилуй! въ ней слишкомъ сорокъ десятинъ!

— Какая земля, такая и цѣна. И сто рублей на дорогѣ не валяются. Со стами-то рублями мужичокъ все хозяйство оборудуетъ, да еще останется.

Невесело возвращаться домой съ такими результатами, а дома барыня чуть не плачетъ.

— Помилуй!—жалуется она:—когда же ты навозъ вывозить велишь? Вѣдь коровы по-уши въ грязи вязнутъ.

— Погоди, душа моя, дай отсѣяться съ яровымъ.

— Нечего годить: скоро мы совсѣмъ безъ молока будемъ. Двадцать коровъ на дворѣ, а для дома недостаетъ. Давеча Володя сливокъ проситъ, послала на скотную—нѣтъ сливокъ; принесли молока, да и то жидкаго.

— Должно-быть, прислуга...

— Помилуй! въ деревнѣ жить да прислугѣ въ молокѣ отказывать! Извѣстно, по бутылкѣ на человѣка берутъ. Шесть человѣкъ—шесть бутылокъ.

— Однако!

— Нѣтъ, это коровы такія... Одна корова два года ялова ходитъ, чайную чашечку въ день доитъ, коровъ съ семь перестарки, остальныя—запущены. Всѣхъ надо на мясо продать, все стадо возобновить, да и скотницу прогнать. И быка другого необходимо купить—теперешняго коровы не любятъ.

— А я надѣялся постепенно усовершенствовать стадо. Конечно, нужно и прикупить, да не все же вдругъ...

Заранѣе принятыя рѣшенія оказываются построенными на пескѣ. Дѣйствительность представляется въ такомъ видѣ: *стройка* валится; коровы запущены,—не даютъ достаточно

молока даже для продовольствія; прислуга, привезенная изъ города, извольничалась, а глядя на нее, и мѣстная прислуга начинаетъ пошаливать; лошади тощи, никогда не видятъ овса. Даже пойла хорошаго нѣтъ, потому что единственный въ усадьбѣ прудъ съ незапамятныхъ временъ не чищенъ («вотъ осенью вычищу—сколько я изъ него наилку на десятины вывезу!»—мечтаетъ баринъ). Все надо припасти и исправить разомъ, какъ бы по мановенію волшебства, потому что въ жизнестроительствѣ всѣ подробности связаны: запусти однѣ—и все остальное въ упадокъ придетъ. Малѣйшая оплошность, словно червоточина, проникнетъ всюду и всѣ заботы приведетъ къ нулю. Какая масса денегъ потребуется, чтобъ все это исполнить?! Гдѣ ихъ взять?

Но помѣщикъ не даромъ называетъ себя убѣжденнымъ. Онъ принимаетъ героическое рѣшеніе и откладываетъ добрую часть капитала на хозяйственныя реформы. Для деревенской жизни ему за-глаза достаточно процентовъ съ остальной части капитала («масло свое, живность своя, хлѣбъ свой», и т. д.). Настоящаго сѣвооборота онъ, конечно, не дождется раньше трехъ лѣтъ, но зато къ тому времени у него все будетъ готово, все на чеку: и постройки, и стадо, и усовершенствованныя орудія—словомъ сказать, весь живой и мертвый сельско-хозяйственный инвентарь. И на одной изъ пустошей онъ мечтаетъ самостоятельный хуторокъ завести. Выстроить скотный дворъ и при немъ небольшой флигелекъ для рабочихъ, съ чистою комнатою на случай пріѣзда. Прудокъ выроетъ, огородецъ разведетъ.

— Мы туда чай пить будемъ ѣздить,—сообщаетъ онъ женѣ.—Это дѣтямъ удовольствіе доставитъ, а мы, между тѣмъ, присмотримъ...

Черезъ три года—хозяйство въ полномъ ходу. Поля удобрены («вонъ на ту десятину гуано положили»), клеверъ въ обоихъ поляхъ вскочилъ густо; стадо большое, больше ста головъ (хорошій хозяинъ не менѣе $1^1/_3$ штуки на десятину пашни держитъ); коровы сытыя, породистыя; скотный дворъ содержится опрятно, каждая корова имѣетъ свой кондуитный списокъ: чуть начала давать молока меньше — сейчасъ соберутъ совѣтъ и начинаютъ добиваться, какимъ образомъ и отчего. И добьются. Главная скотница — отъ Широбокова; молочница—ученица Верещагина; обѣ получаютъ хорошее жалованье, работница—

тоже исправные, обходятся съ орудіями умѣючи. Кормитъ онъ ихъ сытно, хотя по-крестьянски, т.-е. льетъ въ кашу не скоромное, а постное масло и солонину даетъ съ запашкомъ. Во всякомъ случаѣ, ропота на плохую пищу не слышитъ, а это только и нужно. И домъ, и службы, послѣ капитальнаго ремонта, особенныхъ затратъ не требуютъ. И въ довершеніе всего—по каждой отрасли заведена двойная бухгалтерія. Словомъ сказать, хозяйство идетъ по маслу. Правда, что половины капитала какъ не бывало, но со временемъ она возвратится съ лихвою. Терпѣніе и настойчивость—вотъ главное.

Ни въ томъ, ни въ другомъ у него недостатка нѣтъ. Убѣжденный хозяинъ съ утра до вечера хлопочетъ; встаетъ въ одно время съ рабочими и въ одно время съ ними полдничаетъ, обѣдаетъ и отдыхаетъ. Вездѣ—онъ самъ; на пашнѣ ни малѣйшаго огрѣха не пропуститъ; на сѣнокосѣ сейчасъ замѣтитъ, который работникъ не чисто коситъ. А на скотномъ дворѣ хлопочетъ жена. При себѣ заставляетъ коровъ доить, при себѣ приказываетъ кормъ задавать. Добрую корову погладитъ, велитъ кусокъ чернаго хлѣба съ солью принести и изъ своихъ рукъ накормитъ; худой, небрегущей о хозяйской выгодѣ, коровѣ пальцемъ погрозитъ. Заглянетъ въ молочную—и сама засучитъ рукава, попробуетъ масло бить. И удовольствіе, и выгода—все вмѣстѣ.

Дѣти между тѣмъ здоровѣютъ на чистомъ воздухѣ; старшій сынокъ ужъ учиться началъ—того гляди, и вплотную придется заняться имъ.

Послѣ цѣлаго года работы и неустанныхъ хлопотъ приводится въ дѣйствіе двойная бухгалтерія. Сводятся счета. Оказывается—доходъ ужъ есть, но маленькій, около двухсотъ рублей.

— Маловато,—соглашается помѣщикъ:—но на будущій годъ...

— На службѣ ты куда больше получилъ бы!—замѣчаетъ жена.

На будущій годъ доходъ увеличивается до трехсотъ рублей. Работалъ-работалъ, суетился-суетился, капиталъ растратилъ, трудъ положилъ, и все-таки меньше рубля въ день осталось. Зато масло — свое, картофель—свой, живность—своя... А впрочемъ, вѣдь и это не такъ. По двойной бухгалтеріи, и за масло, и за живность деньги заплатили...

Кромѣ того: хотя все устроено капитально и прочно, но кто же можетъ поручиться за будущее? Вѣдь не вѣчны

же, въ самомъ дѣлѣ, накаты; нельзя же думать, чтобы на крышѣ краска никогда не выгорѣла... Вонъ въ молочной на крышу-то понадѣялись, старую оставили, а она мохомъ ужъ поросла!

Наконецъ, нельзя терять изъ вида и того, что старшій сынъ совсѣмъ ужъ поспѣлъ—хоть сейчасъ вези въ гимназію. Убѣжденный помѣщикъ начинаетъ задумываться и все больше и больше обращается къ прошлому. У него много товарищей; нѣкоторые изъ нихъ ужъ дѣйствительные статскіе совѣтники, а одинъ даже тайный совѣтникъ есть. Всѣ получаютъ содержаніе, которое ихъ обезпечиваетъ; сверхъ того, большинство участвуетъ въ промышленныхъ компаніяхъ, пользуется учредительскими паями...

А онъ что? Какъ вышелъ изъ «заведенія» коллежскимъ секретаремъ (лѣтъ двѣнадцать за границей потомъ прожилъ, все хозяйству учился), такъ и теперь коллежскій секретарь. Даже земскія собранія ни разу не посѣтилъ, въ мировые не баллотировался. Связи всѣ растерялъ, съ бывшими товарищами переписку прекратилъ, съ деревенскими сосѣдями не познакомился. Только и побывалъ, однажды въ три года, у «интеллигентнаго работника», полюбопытствовалъ, какъ у него хозяйство идетъ.

Интеллигентный работникъ, Анпетовъ, поселился, года четыре тому назадъ, въ десяти верстахъ отъ убѣжденнаго помѣщика, вмѣстѣ съ отставнымъ солдатомъ, Финагеичемъ. Купилъ Анпетовъ за-дешево небольшую пустошь, пріобрѣлъ двѣ коровы, лошадь, нѣсколько овецъ, запасся орудіями, выстроилъ избу на крестьянскій манеръ и началъ работать. Солдатъ былъ женатый и жилъ не въ качествѣ наемника, а на правахъ пайщика — и убытки, и барыши пополамъ; только процентъ на затраченный капиталъ предполагался къ зачету изъ дохода. Но покуда еще ничего у пайщиковъ не выяснилось, кромѣ пустыхъ щей да хлѣба, который они ѣли. Но, разумѣется, они надѣялись, что въ будущемъ трудъ прокормитъ ихъ.

— Какъ дѣла?—спрашивалъ его помѣщикъ.

Въ отвѣтъ на это интеллигентный рабочій показалъ мозолистыя руки.

— Вотъ покуда что въ результатѣ получилось,—молвилъ онъ: — ну, да вѣдь мы съ Финагеичемъ не отстанемъ. Теперь только коровы и выручаютъ насъ. Сами молоко не ѣдимъ, такъ Финагеичъ въ недѣлю разъ-другой на сыроварню возитъ. Но потомъ...

И въ заключеніе не удержался и обругалъ посѣтителя.

— Вы бѣлоручки,—сказалъ онъ:—по пашнѣ да по сѣнокосу съ тросточкой похаживаете. Попробовали бы вы сами десятину вспахать или восемь часовъ косой помахать, какъ мы... небось, пропала бы охота баловаться хозяйствомъ!

Разумѣется, онъ не попробовалъ; нашелъ, что довольно и того, что онъ за всѣмъ самъ слѣдитъ, всему даетъ тонъ. Кабы не его неустанный руководящій трудъ—развѣ цвѣли бы клеверомъ его поля? развѣ давала бы рожь самъ-двѣнадцать? развѣ заготовлялось бы на скотномъ дворѣ такое количество масла? Стало-быть, Аннетовъ совралъ, назвавши его «бѣлоручкой». И онъ работаетъ, только трудъ его называется «руководящимъ».

Однако на другой день онъ пожелалъ провѣрить оцѣнку Аннетова. Выйдя изъ дому, онъ увидѣлъ, что работникъ Семенъ ужъ похаживаетъ по полю съ плужкомъ. Лошадь—бѣлая, Семенъ въ бѣлой рубашкѣ — издали кажетъ, точно бѣлый лебедь разсѣкаетъ волны. Но по мѣрѣ приближенія къ пашнѣ оказывалось, что рубашка на Семенѣ не совсѣмъ бѣлая, а пропитанная потомъ.

— Дай-ко я попахаю! — предложилъ помѣщикъ Семену.

— Куда же вамъ! Только ручки себѣ намозолите!

— Нѣтъ, дай!

Онъ всталъ за плугомъ, но не успѣлъ пройти и двухъ саженъ, какъ уже задохся; плугъ выскочилъ у него изъ рукъ, и лошадь побѣжала по пашнѣ, цѣпляясь лемехомъ за землю.

— Стой, каторжная!—кричалъ Семенъ на лошадь.

А баринъ между тѣмъ стоялъ на мѣстѣ и покачивался, словно пьяный.

«Дѣйствительно, — думалъ онъ, — пахать—это... Но все-таки Аннетовъ совралъ. Пахать я, конечно, не могу, но, въ сущности, это и не мое дѣло. Мое дѣло — руководить, вдохнуть душу, а все остальное...»

Такъ на этомъ онъ и успокоился. И даже, возвратясь домой, сказалъ женѣ:

— Пробовалъ я сегодня пахать — не могу. Это не мое дѣло. Мое дѣло — вдохнуть душу, распорядиться, руководить. Это тоже трудъ, и не маленькій!

— Еще бы!—отозвалась жена.

Словомъ сказать, погружаясь въ море хозяйственныхъ мелочей, убѣжденный помѣщикъ душу свою мало-по-малу *истратилъ* на вытягиванье гроша за грошомъ. Онъ ничего

не читалъ, ничѣмъ не интересовался, потерялъ понятіе о комфортѣ и красотѣ. Яма, въ которой стояла усадьба, вполнѣ удовлетворяла его; онъ находилъ, что зимою въ ней теплѣе. Онъ одичалъ, потерялъ разговоръ. Однажды заѣхалъ къ нему исправникъ и завелъ разговоръ о сербскихъ дѣлахъ. Онъ слушалъ, но только изъ учтивости не зѣвалъ. Въ головѣ у него совсѣмъ не сербскія дѣла были, а бычокъ, котораго онъ недавно купилъ.

— Хотите, я вамъ бычка своего покажу? — не выдержалъ онъ.

— Съ удовольствіемъ.

Пошли на скотный дворъ, вывели бычка — красавецъ! грудь широкая, ноги крѣпкія и, несмотря на дѣтскій возрастъ (всего шесть мѣсяцевъ),—ужъ сердится.

— Вотъ такъ бычокъ!—не выдержалъ, въ свою очередь, исправникъ.

— Это—надежда моего скотнаго двора! это—столпъ, на которомъ зиждится все будущее моего молочнаго хозяйства! Четыре мѣсяца тому назадъ восемьдесятъ рублей за него заплатилъ, а теперь и за полтораста не отдамъ...

Словомъ сказать, совсѣмъ всякую способность къ общежитію утратилъ.

А въ результатѣ оказывалось чистой прибыли все-таки триста рублей. Хорошо, что еще помѣщеніе, въ которомъ онъ ютился съ семьей, не попало въ двойную бухгалтерію, а то быть бы убытку рублей въ семьсотъ-восемьсотъ.

— Ты думаешь, мало такая квартирка стоитъ?—не разъ говорилъ онъ женѣ: — да кухня отдѣльная, да флигель... Ежели все-то сосчитать...

— Ну, что тутъ! надо же гдѣ-нибудь жить!

Однако сынъ все растетъ да растетъ; поэтому самая естественная родительская обязанность заставляетъ позаботиться о его воспитаніи. Убѣжденный помѣщикъ понимаетъ это и начинаетъ заглядывать въ будущее.

— Надо же какъ-нибудь насчетъ Володи порѣшить, — осторожно заговариваетъ онъ.

— Надо,—соглашается съ нимъ жена.

— Я думаю, не написать ли къ Звѣркову? Онъ, по-товарищески, приметъ его на свое попеченіе, опредѣлитъ...

— Что твой Звѣрковъ! Онъ и думать забылъ о тебѣ! Звѣрковъ! вотъ о комъ вспомнилъ! Надо самимъ ѣхать въ Петербургъ. Поселишься тамъ — и товарищи о тебѣ вспо-

мнять. И сына опредѣлишь, и самъ мѣсто найдешь. Опять человѣкомъ сдѣлаешься.

Наболѣвшее слово вырвалось, и высказала его, по обыкновенію, жена. Высказала рѣзко, безъ подготовленій, забывъ, что вчера говорила совсѣмъ другое. Во всякомъ случаѣ, мужу остается только рѣшить: да или нѣтъ. Но какой отличный предлогъ: сынъ! Не по капризу они бросаютъ деревню, а во имя священныхъ обязанностей.

— Ты думаешь?—цѣдитъ онъ сквозь зубы.

— Чего думать! Цѣлый день съ утра до вечера точно въ огнѣ горимъ. И въ слякоть, и въ жару—никогда покоя не знаемъ. Посмотри, на что я похожа стала! на что ты самъ похожъ! А доходовъ все нѣтъ. Рожь самъ-двѣнадцать, въ молокѣ хоть купайся, все въ полномъ ходу — хоть на выставку, а въ результатѣ... триста рублей!

— Да, есть тутъ загадка какая-то.

— Никакой загадки нѣтъ. Баловство одно — это хозяйство со всѣми затѣями и усовершенствованіями. Только деньги словно въ пропасть бросили. Уѣдемъ, пока въ-конецъ не разорились.

— Ну, все-таки... Знаешь, я разсчитывалъ, кромѣ того, и на окружающихъ вліяніе имѣть..

— Лучше бы ты о себѣ думалъ, а другимъ предоставилъ бы жить, какъ сами хотятъ. Никто на тебя не смотритъ, никто примѣра съ тебя не беретъ. Самъ видишь! Стало-быть, никому и не нужно!

Разговоръ возобновляется чаще и чаще, и съ каждымъ днемъ пріобрѣтаетъ болѣе и болѣе опредѣленный характеръ. Подстрекательницей является все-таки жена.

— Вотъ что я тебѣ скажу, — говоритъ она однажды: — хозяйство у насъ такъ поставлено, что и безъ личнаго надзора можетъ идти. Староста у насъ честный; а ежели ты сто рублей въ годъ ему прибавишь, то онъ вполнѣ тебя замѣнитъ. Но если ты захочешь, то можешь и самъ съ апрѣля до октября здѣсь жить, а я съ дѣтьми на каникулы буду пріѣзжать. Вотъ что я сдѣлаю. Теперь іюль мѣсяцъ въ концѣ, а въ августѣ пріемные экзамены начнутся. Черезъ недѣлю я уѣду съ Володей въ Петербургъ. Съѣзжу къ твоимъ товарищамъ, — ты мнѣ письма дашь, — подыщу квартиру и опредѣлю Володю, а ты къ октябрю уберешься съ хлѣбомъ и пріѣдешь къ намъ съ Вѣрочкой и съ Анной Ивановной (гувернантка). Анна Ивановна! вѣдь вы безъ меня на скотномъ присмотрите?

— Съ удовольствіемъ.

— Ну, такъ вотъ...

Сказано — сдѣлано. Черезъ недѣлю жена собрала сына и уѣхала въ Петербургъ. Къ концу августа, убѣжденный помѣщикъ получилъ извѣстіе, что сынъ выдержалъ экзаменъ въ гимназію, а Звѣрковъ, Жизнѣевъ, Эльманъ и другіе товарищи дали слово опредѣлить къ дѣлу и отца.

Въ началѣ октября онъ уѣхалъ изъ деревни, наказавъ старостѣ вести хозяйство по заведенному порядку.

Теперь онъ состоитъ гдѣ-то чиновникомъ особыхъ порученій, а сверхъ того имѣетъ выгодныя частныя занятія. Въ одной компаніи директорствуетъ, въ другой выбранъ членомъ ревизіонной комиссіи. Пробуетъ и самъ сочинять проекты новыхъ предпріятій и, быть-можетъ, будетъ имѣть успѣхъ. Словомъ сказать, хлопочетъ и суетится такъ же, какъ и въ деревнѣ, но уже около болѣе прибыльныхъ мелочей.

Въ деревню онъ заглядываетъ недѣли на двѣ въ теченіе года: больше разживаться некогда. Но жена съ дѣтьми проводитъ тамъ каникулы и — упаси Богъ, ежели что замѣтитъ! А впрочемъ, она не ошиблась въ старостѣ: хозяйство идетъ хоть и не такъ красиво, какъ прежде, но стоитъ дешевле. Дохода очищается триста рублей.

Рядомъ съ убѣжденнымъ помѣщикомъ процвѣтаетъ другой помѣщикъ, Кононъ Лукичъ Лобковъ, и процвѣтаетъ достаточно удовлетворительно. Подобно сосѣду своему, онъ надѣется на землю и вѣритъ, что она дастъ ему возможность существовать; но возможность эту онъ ставитъ въ зависимость отъ множества подспорьевъ, которыя къ полеводству вовсе не относятся.

Земли у него немного, десятинъ пятьсотъ съ небольшимъ. Изъ нихъ сто подъ пашней въ трехъ поляхъ (онъ держится отцовскихъ порядковъ), около полутораста подъ лѣсомъ, слишкомъ двѣсти подъ пустошами, да около пятидесяти подъ лугомъ; болотце есть, острецъ въ немъ хорошо растетъ, а кругомъ, по мокрому мѣсту, травка мяконькая. Но нѣтъ той пяди, изъ которой онъ не извлекалъ бы пользу, кромѣ лѣса, который онъ до поры до времени бережетъ. И, благодареніе Создателю, живетъ, — не роскошествуетъ, но и на недостатки не жалуется.

Лобковъ не заботится ни о томъ, чтобъ хозяйство его считалось образцовымъ, ни о томъ, чтобъ примѣръ его

вліялъ на сосѣдей, побуждалъ ихъ къ признанію пользы усовершенствованныхъ пріемовъ земледѣлія и т. д. Онъ разсуждаетъ просто и ясно: лучше получить прибыли четыре зерна изъ пяти, нежели одно изъ десяти. Очевидно, онъ не столько разсчитываетъ на силу урожая, сколько на дешевизну и даже на безвозмездность необходимаго для обработки земли труда.

Вотъ съ этою-то цѣлью и изобрѣтена имъ цѣлая хитросплетенная система подспорьевъ.

Первое мѣсто въ ряду подспорьевъ занимаетъ прижимка. Кононъ Лукичъ подкрадывался къ ней издалека, еще въ то время, когда только-что пошли слухи о предстоящей крестьянской передрягѣ (такъ называетъ онъ упраздненіе крѣпостной зависимости). Въ то время онъ всячески ласкалъ крестьянъ и обнадеживалъ ихъ: «Вотъ ужо, будете вольные, и заживемъ мы по-сосѣдски миркомъ да ладкомъ. Ни вы меня, ни я васъ—все у насъ будетъ по-хорошему». Такъ что когда наступилъ срокъ для составленія уставной грамоты, то онъ безъ малѣйшаго труда опуталъ будущихъ «сосѣдушекъ» со всѣхъ сторонъ. И себя, и крестьянъ раздѣлилъ дорогою: по одну сторону дороги — его земля (пахатная), по другую — надѣльная; по одну сторону — его усадьба, по другую — крестьянскій порядокъ. А сзади деревни—крестьянское поле, и кругомъ, куда ни взгляни, — господскій лѣсъ.

— Вы пашни больше берите, — увѣщевалъ онъ крестьянъ:—въ ней вся наша надежда. За лѣсомъ не гонитесь, я и сучьевъ на протопленіе, и валёжнику на лучину, хоть задаромъ, добрымъ сосѣдямъ отпущу! Луговъ тоже немного вамъ нужно — у меня пустошей сколько угодно есть. На кой мнѣ ихъ шутъ! Только горе одно... хоть даромъ косите!

Словомъ сказать, такъ обставилъ дѣло, что мужичку курицы выпустить некуда. Курица глупа, не разсуждаетъ, что̀ свое и что̀ чужое, бредетъ туда, гдѣ лучше, — за это ее сейчасъ въ супъ. Ищетъ баба курицу, съ ногъ сбилась, а Кононъ Лукичъ молчитъ.

— Вы, что ли, Кононъ Лукичъ, курицу взяли? — пристаетъ она къ барину.

— Не знаю; видѣлъ я давеча курицу у себя въ огородѣ, а твоя ли, моя ли—Христосъ ихъ разберетъ.

— Куда же она дѣвалась?

— Должно-быть, въ супъ ко мнѣ попала. Не ходи въ

огородъ! За это я не только чужой, но и своей курицѣ потачки не дамъ.

Что бабѣ дѣлать? Не судиться же изъ-за курицы! Обругаетъ барина, да онъ уже обтерпѣлся. Въ глаза его «мучителемъ» зовутъ, а онъ только опояску на халатѣ обдергиваетъ.

И полеводство свое онъ расположилъ съ разсчетомъ. Когда у крестьянъ земля подъ паромъ, у него черезъ дорогу овесъ посѣянъ. Видитъ скотина — на пару ей взять нечего, а тутъ же, чуть не подъ самымъ рыломъ, цѣлое море зелени. Нѣтъ-нѣтъ, да и забредетъ въ господскіе овсы, а ее оттуда кнутьями, да съ хозяина—штрафъ. Потравила скотина на гривенникъ, а штрафу—рубль. «Хоть все поле стравите — мнѣ же лучше! — ухмыляется Кононъ Лукичъ:—ни градобитіевъ бояться не нужно, ни бабамъ за жнитво платить!»

Однако онъ настолько добръ, что денегъ за штрафы не требуетъ.

— Мнѣ на что деньги!—говоритъ онъ:—на свѣчку Богу да на лампадное маслице у меня и своихъ хватитъ! А ты вотъ что, другъ: съ тебя за потраву слѣдуетъ рубль, такъ ты мнѣ, вмѣсто того, полдесятинки вспаши да сдвой, а ужъ посѣю я самъ. Такъ мы съ тобой по-хорошему и разойдемся.

— Мучитель вы нашъ, Кононъ Лукичъ!

— Ты говоришь: «мучитель», а я говорю: правило такое есть—на чужую собственность не заглядывайся. Я къ тебѣ не хожу, ты ко мнѣ не ходи. Знаешь ли ты, что такое собственность? Ею, другъ, государство держится. Потому всякому своего жаль; а коли своего жаль, такъ, стало-быть, и чужого касаться не слѣдуетъ. Всѣ другъ по дружкѣ живутъ; я тебя берегу, ты—меня... потому что у каждаго есть собственность. А ежели кто это забываетъ—значитъ, тотъ и государству измѣнникъ, да и вообще... ну, просто, значитъ, ничего не стоящій человѣкъ!

Словомъ сказать, и потравы, и порубки не печалятъ его, а радуютъ. Всякій нанесенный ему ущербъ оцѣненъ заблаговременно, на все установлена опредѣленная такса. Цѣлый день онъ бродитъ по полямъ, по лугамъ, по лѣсу, ничего не пропуститъ и словно чутьемъ угадаетъ виновнаго. Даже ночью—однимъ ухомъ спитъ, а другимъ—прислушивается.

На первыхъ порахъ послѣ освобожденія онъ завалилъ

мирового посредника жалобами и постоянно судился, хотя почти всегда проигрывалъ дѣла; но крестьянамъ даже выигрывать надоѣло: выиграешь мѣдный пятакъ, а времени прогуляешь на рубль. Постепенно они подчинялись; отводили душу, ругая Лобкова въ глаза, но назначенныя десятины обрабатывали исправно, не кривя душой. Чего еще лучше!

Другое подспорье—это система такъ-называемыхъ одолженій. У мужичка къ веснѣ и хлѣбъ, и сѣно подошли, а Кононъ Лукичъ всегда готовъ, по-сосѣдски, одолжить.

— Одолжили бы, сударь, пудика два мучки до осени!— кланяется мужичокъ.

— Съ удовольствіемъ, другъ. И процента не возьму: я тебѣ два пуда, и ты мнѣ два пуда—святое дѣло! Извѣстно, за благодарность ты что-нибудь поработаешь... Что бы, напримѣръ?—ну, напримѣръ, хозяйка твоя съ сношеньками полдесятинки овса мнѣ сожнетъ. Ахъ, хороша у тебя старшая сноха... я-адрёная!

— Помилуйте, Кононъ Лукичъ! полдесятинки-то овса сжать мало-мальски два съ полтиной отдать нужно!

— Это ежели деньгами платить, а мнѣ — за благодарность. Я вѣдь не неволю; мнѣ и гуляючи отработаете. Наступитъ время, поспѣетъ овесъ — бабыньки-то твои и не увидятъ, какъ шутя полдесятинки сожнутъ!

За первымъ мужичкомъ слѣдуетъ другой, за другимъ — третій и такъ далѣе. У всѣхъ нужда, и всѣхъ Кононъ Лукичъ готовъ надѣлить. Весной онъ обезпечиваетъ себѣ обработку и уборку полей. Съ наступленіемъ лѣта онъ точно такъ же обезпечиваетъ уборку сѣнокоса.

Здѣсь ему приходитъ на помощь третье отличнѣйшее подспорье—пустошь...

— Берите у меня пустошь!—совѣтуетъ онъ мужичкамъ:— я съ васъ ни денегъ, ни сѣна не возьму — на что мнѣ! Вотъ лужокъ мой всѣмъ міромъ уберете—я и за то благодаренъ буду! Вы это тутъ на гулянкахъ сдѣлаете, а мнѣ— подспорье!

— Все на гулянкахъ, да на гулянкахъ! И то круглый годъ гуляемъ у васъ, словно на барщинѣ! — возражаютъ мужички. — Вы бы лучше, какъ и другіе, Кононъ Лукичъ, за деньги, либо исполу...

— Что вы, Христосъ съ вами! Да мнѣ стыдно будетъ въ люди глаза показать, если я съ сосѣдями на деньги пойду! Я—вамъ, вы—мнѣ; вотъ какъ по-христіански слѣ-

дуетъ. А какъ скосите мнѣ лужокъ, — я вамъ ведерко поставлю да пирожкомъ обдѣлю—это само собой.

Словомъ сказать, благодаря подспорьямъ, гуляютъ у него мужички на работѣ, а онъ пропитывается.

Скота онъ держитъ немного и стада своего не совершенствуетъ, хотя отъ покупки доброй коровы-ярославки— не прочь: удой отъ нея хорошъ, да и ухода изысканнаго не требуетъ. Это онъ даже въ патріотизмъ себѣ вмѣняетъ.

— Чѣмъ по заграницамъ деньги транжирить,—говоритъ онъ:—лучше свое, отечественное, поощрять... Такъ ли?

Но чтобъ получить достаточное количество навоза, онъ придумалъ опять своего рода подспорье. Осенью ѣздитъ по ярмаркамъ и сельскимъ аукціонамъ и скупаетъ лошадей-палошницъ. Рублей по десяти за голову, штукъ шестьдесятъ онъ такихъ одровъ накупитъ и поставитъ на зиму на мякину да на соломенную рѣзку, чтобъ только не подохла скотина. Къ веснѣ слегка овсецомъ подправитъ — и продаетъ. Ту же лошадь, въ виду наступленія рабочаго времени, мужичокъ за сорокъ рублей купитъ — смотришь, рублей десять-пятнадцать барышка съ каждой головы наберется. А навозъ самъ по себѣ... конскій навозъ!

Тутъ барышокъ, тамъ барышокъ, вездѣ, за что онъ ни возьмется,—вездѣ барышокъ. Правда, что онъ съ утра до вечера мается, маклачитъ, мелочничаетъ, но зато сытъ. Живетъ онъ одиноко; многіе даже думаютъ, что у него совсѣмъ семьи нѣтъ. Но это не такъ: есть у него семья, да только не удалась она. Есть жена, да полудурье, и притомъ попиваетъ,—никому онъ ея не кажетъ. Есть два сына: одинъ—на Кавказѣ ротнымъ командиромъ служитъ, другой — въ морякахъ. Оба лѣтъ двадцать къ нему глазъ не кажутъ—очень ужъ онъ въ дѣтствѣ тиранилъ—и даже не пишутъ. Есть и дочь, да онъ ее проклялъ. Но онъ до такой степени «изворовался» въ сельско-хозяйственныхъ ухищреніяхъ, что даже не замѣчаетъ отсутствія семьи.

Однажды, послѣ одного изъ судьбищъ, заѣхалъ къ нему мировой посредникъ и разговорился.

— Изъ чего только вы хлопочете, Кононъ Лукичъ? — спросилъ посредникъ.

— А вы изъ чего?

— Я... какъ же возможно! Я—служу, посильную пользу обществу приношу.

— Всѣ мы изъ-за одного бьемся... кормиться хотимъ. Вы глядите въ книгу и видите фигу — за это деньги по-

лучаете; я — около хозяйства колочусь. Сытъ — и славу Богу!

Посредникъ обидѣлся (передъ нимъ, дѣйствительно, какъ будто фига вдругъ выросла) и уѣхалъ, а Кононъ Лукичъ остался дома и продолжалъ «колотиться» по-старому. Зайдетъ въ лѣсъ—бабу поймаетъ, лукошко съ грибами отниметъ; заглянетъ въ поле — скотину выгонитъ и штрафъ возьметъ. Съ утра до вечера все въ маятѣ да въ маятѣ. Только въ праздникъ къ обѣднѣ сходитъ, и какъ ударятъ къ «Достойно» — непремѣнно падетъ на колѣни, вынетъ платокъ и отъ избытка чувствъ сморкнется.

Зимой ему посвободнѣе. Но и тутъ онъ нашелъ себѣ занятіе: ябеды пишетъ. Доноситъ на священника, что онъ въ такой-то царскій день молебенъ не служилъ; на Анпетова—что онъ своимъ примѣромъ въ смущеніе приводитъ; на сельскаго старосту — что онъ, будучи вызванъ въ воскресенье къ исправнику, такъ отважно выразился, что даже міряне потупили очи.

Словомъ сказать, совершенно доволенъ, что его со всѣхъ сторонъ обступили мелочи, — ни дыхнуть, ни подумать ни о чемъ не даютъ. Цѣною этого онъ сытъ и здоровъ, а больше ему ничего и не требуется.

4.—Міроѣды.

И міроѣдъ не чуждъ природѣ. Разумѣется, не въ смыслѣ сельско-хозяйственномъ, а въ томъ, что и онъ производитъ свой чужеядный промыселъ на лонѣ природы, въ вольномъ воздухѣ, въ виду луговъ, лѣсовъ и болотъ.

Міроѣды — порожденіе новѣйшихъ временъ; хотя и въ до-реформенное время этотъ терминъ существовалъ, но означалъ онъ совсѣмъ не то, что теперь означаетъ. Собственно говоря, былъ и тогда міроѣдъ, въ современномъ значеніи этого слова, но онъ ютился въ области крѣпостного нрава и, конечно, не назывался міроѣдомъ. Затѣмъ, въ средѣ государственныхъ крестьянъ, міроѣдами прозывались «коштаны», т. е. горлопаны, волновавшіе мірскія сходки и находившіеся на замѣчаніи у начальства, какъ бунтовщики; въ средѣ мѣщанъ, подъ этой же фирмой процвѣтали «кулаки», которые подстерегали у заставъ крестьянъ, ѣдущихъ въ городъ съ продуктами, и почти силой

уводили ихъ въ купеческіе дворы, гдѣ ихъ обсчитывали, обмѣривали и обвѣшивали. Наконецъ, были прасолы, ѣздившіе по усадьбамъ и деревнямъ и скупавшіе и продававшіе всякій сельскій продуктъ. По тогдашнему простому времени, и этого было довольно.

Истинный міроѣдъ зачался одновременно съ упраздненіемъ крѣпостного права, но настоящимъ образомъ онъ оперился, оформился и расцвѣлъ благодаря сивушной реформѣ.

Крестьянская реформа создала обстановку. Она дала деревенскому люду общину, но общину своеобразную, содержаніе которой исчерпывалось круговою порукой, облегчавшей исправный платежъ податей и повинностей. Ни въ какомъ другомъ отношеніи эта новоявленная община ни обезпеченія, ни ручательства не представляла. Для захудалаго мужика она еще могла бы представлять нѣкоторое обезпеченіе въ смыслѣ болѣе равномѣрнаго распредѣленія денежныхъ сборовъ; но вѣдь для подобныхъ платежныхъ единицъ (имъ присваивается кличка «нерадивыхъ») существуютъ соотвѣтствующія мѣры побужденія, — стало-быть, тутъ и безъ равномѣрности можно обойтись. Для мужика сильнаго, успѣвшаго «забраться» еще при крѣпостномъ правѣ, община представляла выгоду лишь въ томъ случаѣ, если рядомъ съ нею шло порабощеніе болѣе слабыхъ платежныхъ единицъ. Человѣку сильному и предпріимчивому тяжело подчиниться общиннымъ порядкамъ, которые прежде всего обезличиваютъ его, налагаютъ путы на всю его дѣятельность, вторгаются въ его жизненную обстановку и вообще держатъ подъ угрозой «сравненія съ прочими». Идеалы сильнаго деревенскаго мужика не особенно высоки; онъ крѣпко держится за нихъ, употребляя на осуществленіе ихъ весь запасъ хитрости, лукавства и умѣлости, который находится въ его распоряженіи. Чтобы достигнуть этого, надобно прежде всего ослабить до минимума путы, связывающія его дѣятельность, устроиться такъ, чтобы стоять въ сторонѣ отъ прочей «гольтепы», чтобы порядки послѣдней не были для него обязательны, чтобы за нимъ обезпечена была личная свобода дѣйствій; словомъ сказать, чтобы имя его пользовалось почетомъ въ мірѣ сельскихъ властей и черезъ посредство ихъ производило давленіе на голь мірскую. Затѣмъ, по сущей справедливости, не лишнее извлечь и осязательную выгоду изъ созданнаго такимъ образомъ привилегированнаго по-

ложенія. Потому что, какъ бы ни были ослаблены узы его зависимости отъ общины, все-таки онъ числится членомъ ея, слѣдовательно — привязанъ къ извѣстному мѣсту, стѣсненъ въ передвиженіяхъ. Надо вознаградить себя за это. По зрѣломъ размышленіи, такое вознагражденіе онъ можетъ добыть, не ходя далеко, въ нѣдрахъ той «гольтепы», которая окружаетъ его. Надо только, предварительно, самого себя освободить отъ путъ совѣсти и съ легкимъ сердцемъ приступить къ задачѣ, которая ему предстоитъ и формулируется двумя словами: «ѣсть міръ». И онъ рѣшается на этотъ подвигъ тѣмъ съ меньшимъ затрудненіемъ, что слово «совѣсть» имѣетъ для него значеніе, обнимающее очень ограниченный кругъ нравственныхъ представленій самаго ходячаго свойства. Онъ разсуждаетъ такъ:— «Я выбрался изъ нужды — стало-быть, и другіе имѣютъ возможность выбраться; а если они не дѣлаютъ этого, то это происходитъ оттого, что они не умѣютъ управлять собою. Учить ихъ некогда, да и не зачѣмъ, а надо просто-на-просто ѣсть ихъ, хотя бы ради того, чтобы личный ихъ трудъ не растрачивался на вѣтеръ, а гдѣ-нибудь производилъ накопленіе». «Гдѣ-нибудь» — это у него. Отсюда названіе: «міроѣдъ».

Наицѣлесообразнѣйшее средство для удовлетворенія алчности дала ему сивушная реформа. Она каждую деревню наградила кабакомъ и отъ кабатчика потребовала только соблюденія двухъ условій: приговора общества и нравственнаго ценза. Приговоръ общества міроѣду достать очень легко: стоитъ только выставить «гольтепѣ» ведро или два (смотря по величинѣ деревни) — и приговоръ готовъ. Въ большинствѣ случаевъ, кромѣ офиціальнаго приговора, давался еще дополнительный, которымъ постановлялось: никому другому въ деревнѣ другого кабака не разрѣшать и никому изъ членовъ общества въ кабакахъ сосѣднихъ деревень не пить, подъ опасеніемъ штрафа, а нить исключительно у него, имя рекъ, міроѣда. Что же касается до нравственнаго ценза, то добыть его еще легче. Мужикъ онъ обстоятельный, исправный, никого явно не убилъ, не ограбилъ, а стало-быть, и подъ судомъ не бывалъ. Онъ міроѣдъ,—только и всего; но развѣ міроѣдство подлежитъ компетенціи суда?

Дешевизна водки произвела оглушающее дѣйствіе. «Гольтепа» массой потянулась въ кабакъ. Какъ будто она сразу хотѣла вознаградить себя за долгій искусъ лишенія про-

дукта, который, въ виду ея одичалости, представлялъ для нея громадный соблазнъ. Но сверхъ того ей необходимо было забыться, угорѣть. Обида преслѣдуетъ ее всюду: и дома, и на улицѣ. Только кабакъ—въ лицѣ своего властелина—видитъ въ немъ равноправнаго потребителя и ограждаетъ эту равноправность. Только въ кабакѣ онъ самъ большой и можетъ прикрикнуть даже на самого міроѣда: «Ты что озорничаешь? наливай до краевъ!» — И міроѣдъ не отвѣтитъ на его окрикъ, а только ухмыльнется въ бороду.

«Разоренье» вошло въ полный фазисъ своего развитія. Пропивались заработанныя тяжкимъ трудомъ деньги, и ежели денегъ недоставало—пропивалась самая жизнь. Рабочія орудія, скотъ, одежда, личный трудъ, будущій урожай — все потянулось къ кабаку и словно пропадало въ утробѣ кабатчика. А рядомъ съ кабакомъ стояла лавочка, гдѣ весь деревенскій товаръ былъ налицо, начиная отъ гвоздя до женскаго головного платка. Зачѣмъ запасаться дома, зачѣмъ копить, коль скоро все въ лавочкѣ найти можно?! И денегъ не нужно—знай, хребтомъ шевели: міроѣдъ своего не упуститъ! онъ, братъ, укажетъ, гдѣ и какъ шевелить!

И дѣйствительно: онъ укажетъ. Онъ знаетъ каждаго члена окружающей «гольтепы» и можетъ во всякое время опредѣлить, кто чего стоитъ. Вотъ этотъ хребетъ еще долго выдержитъ, а вонъ тотъ ужъ надламывается. Первому можно безъ риска вѣрить; что касается до второго, то не лишнее и остеречься. И изба, и клѣть, и соха, и всякій гвоздь въ избѣ—все на виду у міроѣда и все принимается имъ въ разсчетъ. Даже семейное положеніе: у кого сынъ на фабрикѣ, у кого дочь въ казачкахъ—въ крайнемъ случаѣ, они и отработать могутъ. Мужичья изба словно фонарь—все въ ней наружу. Вотъ она стоитъ, оголивши ребра, словно остовъ звѣря. Тамъ бревно изъ пазовъ вышло, тутъ—иструпѣло совсѣмъ; солома на крышѣ гніетъ, вѣтромъ ее истрепало, на кормъ скотинѣ клочья весной повытаскали. Но и изъ этой груды полуистлѣвшаго хлама пользишку извлечь можно. Вонъ онъ! вонъ! около телѣги копошится! Э, да онъ, видно, остатки сѣна на возъ навѣвать хочетъ!..

— Авдѣй, а Авдѣй! никакъ ты сѣно-то въ городъ везешь?—кричитъ міроѣдъ на всю улицу.

— Собрался-было, Петръ Матвѣичъ,—робко откликается Авдѣй, чувствуя угрозу.

— Вези лучше ко мнѣ—тѣ же деньги, да и въ городъ ѣздить не нужно. А коли искупить что въ городѣ хотѣлъ, такъ и у меня въ лавкѣ товару довольно.

Авдѣй не прекословитъ. Вязанку за вязанкой онъ перетаскиваетъ сѣно во дворъ къ міроѣду и получаетъ разсчетъ. Въ городѣ сѣно тридцать копеекъ стоитъ, міроѣдъ даетъ двадцать пять:—«экой ты, братецъ! поѣхалъ бы въ городъ—навѣрное больше пяти копеекъ на пудъ истрясъ бы!»

— Чтой-то, Петръ Матвѣичъ, словно бы маловато вѣсу у васъ выходитъ! Надо-быть, сѣна у меня тридцать пудовъ было, а у васъ двадцать-семь вѣсы показываютъ...

— Чудакъ, братецъ, ты! развѣ я вѣшаю? Стрѣлка вѣшаетъ! Вонъ, смотри стрѣлку-то—прямо стоитъ? А коли прямо—значитъ, вѣрно.

— У Петра Матвѣича вѣсы живые: сколько ему захочется, столько и вѣсятъ!—шутитъ сосѣдъ, тоже членъ мірской гольтепы, случайно проходя мимо.

Пошутилъ прохожій, пошутилъ и самъ продавецъ, пошутилъ и міроѣдъ—такъ на шуткѣ и помирятся. Разсчетъ будетъ сдѣланъ все-таки, какъ міроѣду хочется; но въ добрый часъ онъ и косушку поднести не прочь.

— Вотъ на этомъ спасибо!—благодаритъ Авдѣй.—Добёръ ты, Петръ Матвѣичъ! это такъ только вороги твои клеплютъ, будто ты крестьянское горе сосешь.... Ишь вѣдь! и денежки до копеечки заплатилъ, и косушку поднесъ; кто, кромѣ Петра Матвѣича, такъ сдѣлаетъ? Ну, а теперь пойти къ старостѣ, хотя пятишницу въ недоимку отдать. И то намеднись стегать меня собирался.

Съ утра до ночи голова міроѣда занята разсчетами; съ утра до ночи взоръ его вглядывается въ деревенскую даль. Заручившись деревенской статистикой, онъ мало того, что знаетъ хозяйственное положеніе каждаго однообщественника, какъ свое собственное, но можетъ даже напомнить односельцу о такихъ предметахъ, о которыхъ тотъ и самъ позабылъ.

— А помнишь, дядя Семенъ, рыдванъ у тебя телѣжный старенькій былъ—гдѣ онъ теперь?

— Ахъ, прахъ-те побери!—спохватывается дядя Семенъ:—и взаправду вѣдь былъ! Гдѣ онъ теперь? Вотъ ловко находку нашелъ!

И бѣжитъ домой, обшариваетъ дворъ и, наконецъ, гдѣ-нибудь въ пустомъ хлѣву, гдѣ осенью поросенка откармливали, находитъ остовъ телѣжнаго рыдвана.

— Нашелъ!—радуется онъ на всю улицу.—Ишь ты, починить его мало-мальски, и опять за новый пойдетъ! И съ чего это я его бросилъ!

— За новый онъ не пойдетъ—это ты вздоръ мелешь!—резонно говоритъ Петръ Матвѣичъ:—и бросилъ ты его оттого, что онъ ужъ совсѣмъ изрѣшетился. А коли хочешь за него полштофъ—бери!

— Получай!—соглашается дядя Семенъ.—Что-жъ! кабы не ты, я и не вспомнилъ бы, что у меня на дворѣ кладъ есть. Ахъ, добёръ ты, Петръ Матвѣичъ, ужъ такъ ты добёръ, такъ добёръ!

Дядя Семенъ доволенъ, потому что онъ сутки пьянъ. Петръ Матвѣичъ тоже доволенъ, потому что онъ почистилъ телѣжный рыдванъ, обилъ его изнутри рогожей,—и будетъ онъ ему еще долго служить наравнѣ съ новыми.

Міроѣды по происхожденію бываютъ двухъ сортовъ: аборигены и наѣзжіе.

Міроѣдъ-аборигенъ ѣстъ своихъ однообщественниковъ, а потому для него обязательна извѣстная доля осмотрительности. Онъ зачался еще при крѣпостномъ правѣ и принадлежитъ къ числу тѣхъ благомысленныхъ мужиковъ, которыми такъ любили хвастаться помѣщики. Во всей округѣ онъ былъ извѣстенъ подъ именемъ «министра», и помѣщикъ не только не препятствовалъ ему разживаться, но даже помогалъ,—участвовалъ въ его торговыхъ операціяхъ или просто ссужалъ за проценты деньгами. Односельцевъ благомысленный мужикъ не трогалъ, такъ какъ это было бы въ ущербъ помѣщику: онъ велъ свои обороты на сторонѣ, посѣщая базары и ярмарки. И искупалъ, и продавалъ все, что представлялось въ данную минуту выгоднымъ, не держась спеціальности; но въ результатѣ нерѣдко образовывался значительный капиталъ. Съ паденіемъ крѣпостного права, нѣкоторые изъ «благомысленныхъ» выписались въ купцы, но большинство, по естественному ходу вещей, превратилось въ міроѣдовъ. Такое прошлое, не представляя особенныхъ задатковъ дѣйствительной благомысленности, все-таки свидѣтельствовало о недюжинномъ умѣ и о способности извлекать пользу изъ окружающей среды и тѣхъ условій, въ которыхъ она живетъ. И точно: никто зорче его не присмотрится, никто основательнѣе не взвѣситъ. Онъ непремѣнно возьметъ «свое», но возьметъ во-время и именно столько, сколько можно.

Выше я сказалъ, что онъ напомнитъ дядѣ Семену о существованіи заброшеннаго телѣжнаго рыдвана, но одновременно съ этимъ онъ прочтетъ дядѣ Авдѣю наставленіе, что вести на базаръ послѣднюю животину—значитъ окончательно разорить домъ, что можно потерпѣть, оборотиться и т. д. Вообще, гдѣ слѣдуетъ, онъ нажметъ, а гдѣ слѣдуетъ, и отдохнуть дастъ. Дать мужику безъ резону потачку—онъ носъ задеретъ, но, съ другой стороны, дать захудалому отдохнуть—онъ и опять исподволь обрастетъ. И опять его стриги, сколько хочется.

На этомъ умѣньѣ—взять вò-время и сколько можно—основанъ весь разсчетъ міроѣда-аборигена. «Гольтепа» мірская знаетъ это и не скрываетъ отъ себя, что отъ помѣщика она попала въ крѣпость міроѣду. Но процессъ этого перехода произошелъ такъ незамѣтно и естественно, и отношенія, которыя изъ него вытекли, такъ чужды насильственности, что приходится только подчиниться имъ. И дѣйствительно, «гольтепа» подчинилась, и не только въ силу тяготѣющаго надъ ней рока, но и не безъ нѣкоторой доли сознательности. Она понимаетъ, что къ ней присосалось нѣчто чужеядное, благодаря которому она постепенно опускается все глубже и глубже, но не чувствуетъ тисковъ, не нащупываетъ дна. Существуя лишь въ качествѣ живого рабочаго инвентаря, она только тò и имѣетъ, чтò въ обрѣзъ необходимо для поддержанія этого инвентаря въ надлежащей исправности.

Что касается до сельско-хозяйственныхъ оборотовъ міроѣда-аборигена, то онъ ведетъ свое полеводство тѣмъ же порядкомъ, какъ и «хозяйственный мужичокъ». Онъ любитъ и холитъ землю, какъ настоящій крестьянинъ, но уже не работаетъ ее самъ, а предпочитаетъ пользоваться дешевымъ или даровымъ трудомъ кабальной гольтепы. Сколько находится у него въ распоряженіи этого труда, столько беретъ онъ и земли. Онъ не гонится за большими сельско-хозяйственными предпріятіями, ибо знаетъ, что сила его не тутъ, а въ той неприступной крѣпости, которую онъ создалъ себѣ, благодаря кабаку и торговымъ оборотамъ. Такъ что всѣ его требованія относительно земли, какъ надѣльной, такъ и арендуемой, ограничиваются тѣмъ, чтобъ результаты ея производительности доставались ему даромъ, составляли чистую прибыль.

Кромѣ міроѣда-аборигена, въ деревняхъ нерѣдко встрѣчается міроѣдъ наѣзжій. Послѣдній является на мѣсто уже

вполнѣ свободнымъ отъ тѣхъ сложныхъ соображеній, которыя отъ времени до времени волнуютъ міроѣда-аборигена. Онъ, собственно говоря, человѣкъ вымороченный. Не будучи членомъ общины, онъ не чувствуетъ себя связаннымъ ни съ ея интересами, ни съ ея людомъ. Въ его глазахъ община есть объектъ для эксплоатаціи—и ничего больше. Онъ беретъ съ этого объекта все, что можетъ, беретъ нагло, ни передъ чѣмъ не задумываясь и зная, что сегодня онъ тутъ, а завтра—въ иномъ мѣстѣ. Быть-можетъ, онъ присасывается не такъ солидно, какъ мѣстный аборигенъ, но зато всѣ его прижимки наглы, безстыдны и ненавистны. Міроѣдъ-аборигенъ возбуждаетъ страхъ; міроѣдъ наѣзжій—ненависть. Онъ самъ это отлично понимаетъ и потому находится въ вѣчномъ трепетѣ краснаго пѣтуха.

Наѣзжій міроѣдъ—разночинецъ; это или бывшій дворовый человѣкъ, или мѣщанинъ изъ сосѣдняго города, соблазнившійся барышами, которые сулила сивушная реформа, или, наконецъ, оставшійся безъ мѣста, по случаю реформъ, чиновникъ. Иногда (впрочемъ, какъ рѣдкое исключеніе) міроѣдомъ является и самъ бывшій помѣщикъ.

Бывшій дворовый человѣкъ непремѣнно возлежалъ на лонѣ у своего помѣщика. То-есть служилъ камердинеромъ, выполнялъ негласныя порученія, подлаживался къ барскимъ привычкамъ, изучалъ барскіе вкусы и вообще пользовался довѣріемъ настолько, что имѣлъ право обшаривать барскіе карманы и входить, въ отсутствіе барина, въ комнату, гдѣ находился незапертый ящикъ съ деньгами. Онъ воровалъ господскія сигары и потчивалъ ими друзей, ѣлъ въ господскаго стола, ходилъ въ гости въ господскомъ платьѣ и вообще получилъ вкусъ къ барской жизни. Друзья барина величали его по имени и по отчеству; нѣкоторые занимали у него деньги и жали ему руку.

Ежели баринъ велъ картежную игру, то камердинеру представлялась доходная статья настолько значительная, что устраняла всякія подозрѣнія относительно его честности. При картахъ—вино, бутылки несчитанныя; навертываются счастливые игроки, которымъ и сто рублей выбросить на водку расторопному лакею ничего не стоитъ. Правда, что онъ ночей не спалъ, ногъ подъ собой не слышалъ, но зато у него скопился настолько значительный капиталъ, что онъ уже при первомъ слухѣ о предстоящей эмансипаціи началъ тосковать о самостоятельности. И когда роковой часъ наступилъ, то онъ, давъ барину время раз-

дѣлаться съ крестьянами, въ самый день полученія выкупной ссуды, бросилъ его на произволъ судьбы.

— Наворовалъ довольно?—внезапно прозрѣлъ баринъ.

— Послужилъ—и будетъ,—отвѣчалъ скромно вчерашній довѣренный слуга.

И что же! несмотря на прозрѣніе, барина сейчасъ же начала угнетать тоска: «Куда я теперь дѣнусь? Все былъ Иванъ Ѳомичъ—и вдругъ его нѣтъ! Все у него на рукахъ было; все онъ зналъ, и подать, и принять; зналъ привычки каждаго гостя, чѣмъ кому угодить,—когда все это опять наладится?»—И долго тосковалъ баринъ, долго пересчитывалъ оставшуюся послѣ Ивана Ѳомича посуду, бѣлье, вспоминалъ о какихъ-то исчезнувшихъ пиджакахъ, галстукахъ, жилетахъ; но, наконецъ, махнулъ рукой и зажилъ постарому.

Между тѣмъ Иванъ Ѳомичъ ужъ облюбовалъ себѣ мѣстечко въ деревенскомъ поселкѣ. Ахъ, хорошо мѣстечко! Въ самой серединѣ деревни, на берегу обрыва, на днѣ котораго пробился ключъ! Кстати, тутъ оказалась и упалая изба. Владѣлецъ ея, зажиточный легковой извозчикъ, вслѣдъ за объявленіемъ воли, собралъ семейство, заколотилъ окна избы досками и совсѣмъ переселился въ Москву.

Иванъ Ѳомичъ выставилъ міру два ведра и получилъ приговоръ, затѣмъ сошелся за-дешево съ хозяиномъ упалой избы и открылъ «постоялый дворъ», пристроивъ сбоку небольшой флигелекъ подъ лавочку. Не принявъ еще окончательнаго рѣшенія насчетъ своего будущаго,—въ головѣ его мелькалъ городъ съ его шумомъ, суетою и соблазнами,—онъ устроилъ себѣ въ деревнѣ лишь временное гнѣздо, которое однако-жъ было вполнѣ достаточно для начатія атаки. И онъ повелъ эту атаку быстро, нагло и горячо.

Въ сельско-хозяйственномъ смыслѣ дѣйствія Ивана Ѳомича имѣютъ тотъ же временный характеръ. Онъ охотно снимаетъ въ краткосрочную аренду земельные участки, въ особенности запущенныя старыя пашни, поросшія мелкимъ лѣсомъ; поросль выжжетъ, землю распашетъ «за благодарность», сниметъ хлѣбъ-другой, ограбитъ землю и уйдетъ. Еще охотнѣе онъ занимается лѣснымъ дѣломъ. Купитъ лѣсочекъ подъ вырубку, срубитъ все до послѣдней годовалой березки, а голое мѣсто отдастъ въ кортому подъ пастьбу скота. Такъ что, когда, по окончаніи арендnаго срока, вырубка возвратится къ владѣльцу, то послѣдній можетъ

быть увѣренъ, что тутъ ужъ никогда даже осинка не вырастетъ.

И благо Ивану Ѳомичу, что онъ устраивается въ деревнѣ лишь временно. Деревенскій постоялый дворъ для него только школа, въ которой онъ пріобрѣтаетъ знанія и навыкъ, необходимые для грабительства въ болѣе широкихъ размѣрахъ. Но, кромѣ того, годы, проведенные въ деревнѣ, полезны и въ томъ отношеніи, что они даютъ время забыть его лакейское прошлое. Въ сущности, онъ ни на минуту не спускаетъ глазъ съ Петербурга и уже видитъ себя настоящимъ торговцемъ, владѣльцемъ, на первое время, хоть табачнаго магазина. И кто знаетъ, что̀ ему сулитъ будущее? Быть-можетъ, онъ будетъ членомъ санитарной комиссіи, водопроводной субкомиссіи и проч.— вообще, необходимою спицей въ колесницѣ. Можетъ-быть, на груди его будетъ блистать медаль; а можетъ-быть...

. . . . . .

О прочихъ наѣзжихъ міроѣдахъ распространяться я не буду. Они ведутъ свое дѣло съ тою же наглостью и горячностью, какъ и Иванъ Ѳомичъ,—только размахъ у нихъ не такъ широкъ, и перспективы уже. И чиновникъ, и мѣщанинъ навсегда завѣкуютъ въ деревнѣ, безъ малѣйшей надежды попасть въ члены суб-субкомиссіи для вывозки изъ города нечистотъ.

Подобно хозяйственному мужику, сельскому священнику и помѣщику, міроѣдъ всю жизнь колотился около крохъ, не чувствуя подъ ногами иной почвы и не усматривая впереди ничего, кромѣ крохъ. Всѣхъ одинаково обступили мелочи, всѣ одинаково въ нихъ однѣхъ видятъ обезпеченіе противъ угрозъ завтрашняго дня. Но поэтому-то именно мелочи, на общепринятомъ языкѣ, и называютъ «дѣломъ», а все остальное—мечтаніемъ, угрозою...

II.

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ.

1.—Сережа Ростокинъ.

Русскому читателю достаточно извѣстно значеніе слова: «шалопай». Это—человѣкъ, всѣмъ существомъ своимъ преданный праздности, это—идолъ портныхъ, содержателей ресторановъ и кокотокъ, покуда не запутается въ неоплатныхъ долгахъ. Предвидя неминучее банкротство и долговую тюрьму, онъ нерѣдко дѣлается воромъ, составителемъ фальшивыхъ документовъ и является дѣйствующимъ лицомъ въ крупныхъ уголовныхъ процессахъ. Но иногда благополучно ускользаетъ отъ скандала, исчезая куда-нибудь въ деревню на пріятельскіе хлѣба. Процвѣтаетъ онъ исключительно въ большихъ городахъ.

Такъ, впрочемъ, было въ сравнительно недавнее время, когда шалопай былъ только безполезенъ и оскорблялъ нравственное чувство единственно своею ненужностью. Безъ думы, не умѣя различить добра отъ зла, не понимая уроковъ прошлаго и не имѣя цѣли въ будущемъ, онъ жилъ со дня на день, веселый, праздный и счастливый своею невѣжественностью. Просыпался утромъ поздно и посвистывалъ; сидѣлъ битый часъ или два за туалетомъ, чистилъ ногти, холилъ щеки, вертѣлся передъ зеркаломъ, не рѣшаясь, какой надѣть жилетъ, галстукъ, и опять посвистывалъ. Въ два часа садился въ собственную эгоистку и ѣхалъ завракать къ Дюссо; тамъ встрѣчался со стаею такихъ же шалопаевъ и условливался насчетъ остального

дня; въ четыре часа выходилъ на Невскій, улыбался проѣзжавшимъ мимо кокоткамъ и жалъ руки знакомымъ; въ шесть часовъ обѣдалъ у того же неизмѣннаго Дюссо, а въ праздники—у ma tante; вечеръ проводилъ въ балетѣ, а оттуда, купно съ прочими шалопаями, закатывался на долгое ночное бдѣніе туда же, къ Дюссо. Говорилъ мало, мыслилъ еще меньше, ибо былъ человѣкъ тѣлодвиженій по преимуществу.

Такъ протекала эта бездумная жизнь со дня выхода изъ «заведенія» вплоть до сѣдыхъ волосъ. Надѣвши сѣдые волосы, шалопай впервые задумывался. Онъ еще продолжалъ гулять въ урочный часъ по Невскому, распахнувъ на груди пальто въ трескучій морозъ, но уже начиналъ чувствовать нѣкоторые тѣлесные изъяны. То ногу волочить приходится, то лопатка заноетъ, да и руки начинаютъ трястить (стаканъ съ виномъ рискуетъ расплескать, покуда донесетъ до рта). Кромѣ того, вслѣдствіе усиленныхъ настояній содержателей ресторановъ, портныхъ и проч., ему пришлось разсчитаться. Кое-что ему простили, но все-таки вышла сумма настолько изрядная, что онъ и самъ не подозрѣвалъ. Разсчитавшись, онъ увидѣлъ себя въ обладаніи такой скромной фортуны, что продолжать жить попрежнему оказывалось немыслимымъ. Но, разъ попавши въ праздничную колею, онъ уже не имѣлъ возможности сойти съ нея, даже если бы хотѣлъ. Онъ не зналъ ничего другого; ни умъ, ни чувство, ни воображеніе—ничто не говорило ему объ иной жизни. Тогда онъ или дѣлался героемъ уголовныхъ процессовъ, или же изъ шалопая дѣятельнаго постепенно превращался въ скромнаго pique assiett'a. Пристраивался къ кружку только-что вылупившихся шалопаевъ и менторствовалъ въ немъ. Пилъ и ѣлъ на счетъ молодыхъ людей, разсказывалъ до цинизма отвратительные анекдоты, пѣлъ поганыя пѣсни, паясничалъ; словомъ сказать, продѣлывалъ всѣ гнусности, которыя радуютъ и заставляютъ заливаться неистовымъ хохотомъ жеребячьи сердца. Наконецъ, наступало еще болѣе трудное время. Его щелкали въ носъ, мазали по лицу селедкой, заставляли брать въ ротъ сигару зажженнымъ концомъ, выпивать подлую смѣсь опивковъ и проч. И хохотали при этомъ, хохотали до слезъ. Затѣмъ, что̀ дальше, то труднѣе и труднѣе. Онъ уже не смѣлъ войти въ ту комнату, гдѣ раздавался хохотъ его неблагодарныхъ учениковъ, и скромно становился у буфета, гдѣ татаринъ-буфетчикъ, изъ жалости, наливалъ ему рюмку

водки и давалъ бутербродъ *задаромъ*. Постоявши въ буфетѣ, онъ, по привычкѣ, отправлялся на Невскій и подолгу застаивался передъ витринами братьевъ Елисѣевыхъ, любуясь выставкой гастрономическихъ новинокъ. Желудокъ страстно ныл, зубы машинально жевали; наконецъ, онъ не выдерживалъ, нащупывалъ въ карманѣ рублевку и покупалъ четверть фунта икры. Это былъ его обѣдъ. Измаявшись и измучившись, онъ какъ-то внезапно совсѣмъ исчезалъ. Въ одно прекрасное утро въ газетахъ появлялся его некрологъ:

«На-дняхъ умеръ Иванъ Иванычъ Обносковъ, извѣстный въ нашемъ свѣтскомъ обществѣ, какъ милый и неистощимый собесѣдникъ. До конца жизни онъ сохранилъ веселость и добродушный юморъ, который нерѣдко, впрочемъ, заставлялъ призадумываться. Никто и не подозрѣвалъ, что ему уже семьдесятъ лѣтъ,—до такой степени всѣ привыкли видѣть его въ урочный часъ на Невскомъ проспектѣ бодрымъ и привѣтливымъ. Еще наканунѣ его тамъ видѣли. Миръ праху твоему, незлобивый старикъ!»

Таковъ былъ шалопай недавняго прошлаго; такимъ же остался онъ и теперь, ежели взглянуть на него исключительно со стороны его внутренняго ничтожества. То же празднолюбіе, та же бездумность, то же безцѣльное прожиганіе жизни въ чаду ресторановъ, въ плѣну у портныхъ и кокотокъ. Но къ этому прибавилась одна черта, которая дѣлаетъ его не только нравственно-оголтѣлымъ, но и вреднымъ. Онъ заразился честолюбіемъ и пытается проникнуть въ тайны внутренней политики, которая, такимъ образомъ, дѣлается однимъ изъ видовъ высшаго шалопайства. Mon oncle и ma tante успѣли его убѣдить, что нынче такіе люди нужны, и онъ охотно повѣрилъ имъ. Онъ шляется уже не по однимъ ресторанамъ, но и заглядываетъ въ канцеляріи и предлагаетъ свои услуги. Иногда даже, въ самомъ разгарѣ оргіи, онъ задумывается и начинаетъ бормотать что-то гнѣвное. Онъ недоволенъ, онъ утверждаетъ que tout est à refaire, и инстинктивно грозитъ пальцемъ въ пространство. Спросите его: кто тебя, дурашка? кому ты грозишь?—онъ навѣрное повторитъ ту же стереотипную фразу: tout est à refaire. Онъ слышалъ, что эта фраза въ ходу на жизненномъ рынкѣ, что она сама по себѣ представляетъ залогъ, и чувствуетъ себя взбутораженнымъ ею, ждетъ, что она дастъ ему нѣчто въ будущемъ. Mon oncle и ma tante, съ своей стороны, ходатайствуютъ. И

очень часто, съ ихъ помощью, а также при содѣйствіи другихъ, уже успѣвшихъ заручиться, шалопаевъ, онъ обрѣтаетъ желаемое сокровище, такъ что старость не застаетъ его врасплохъ, какъ шалопая прежнихъ временъ.

Таковъ именно герой настоящаго этюда, Сережа Ростокинъ.

Онъ, такъ сказать, шалопай высшей школы. Ему не больше двадцати пяти лѣтъ, и еще памятна скамья «заведенія», въ которомъ онъ воспитывался и обучался краткимъ наукамъ. Онъ имѣетъ хорошія матеріальныя средства, живетъ въ удобной квартирѣ, держитъ собственный экипажъ, ходитъ въ безукоризненномъ бѣльѣ и одѣвается у лучшаго портного. Всегда душистый, свѣжій и бодрый, онъ приводитъ въ умиленіе кокотокъ, къ вящей зависти дамочекъ и дѣвицъ, посѣщающихъ салоны mon oncle и ma tante. Послѣдніе возлагаютъ на него большія надежды (они бездѣтны, и имѣніе ихъ должно перейти Сережѣ) и исподволь подыскиваютъ ему приличную партію; но онъ покуда еще уклоняется отъ брачныхъ оковъ. Вообще онъ появляется въ салонахъ лишь мелькомъ и предпочитаетъ проводить время въ ресторанахъ, въ обществѣ кокотокъ, у которыхъ и тѣлодвиженія свободнѣе, и всегда отыщется на языкѣ le mot pour rire.

Заглянемте утромъ въ его квартиру. Это уютное гнѣздышко, которое французъ-лакей Шарль содержитъ въ величайшей опрятности. Это для него тѣмъ легче, что хозяина почти цѣлый день нѣтъ дома, и, стало-быть, обязанности его не идутъ дальше утра и возобновляются только къ ночи. Остальное время онъ свободенъ и шалопайничаетъ не плоше самого Ростокина.

До десяти часовъ въ квартирѣ царствуетъ тишина. Шарль пьетъ кофе и перемигивается черезъ дворъ съ мастерицами швейнаго магазина. Но въ то же время онъ чутко прислушивается.

Бьетъ половина одиннадцатаго; Шарль осторожно стучится въ дверь Сережиной спальни. Слышится позѣвыванье, потягиванье, и, наконецъ, раздается громкое: «entrez!» Начинается туалетъ...

Я не буду описывать подробностей и тайнъ этого сложнаго процесса: не имѣю для этого ни достаточныхъ данныхъ, ни надлежащаго искусства. Въ спальнѣ раздается то посвистыванье, то тихое мурлыканье—это Сережа вспоминаетъ видѣнное и слышанное наканунѣ. Онъ сидитъ пе-

редъ зеркаломъ, препарируетъ себя и улыбается. Именно только улыбается, улыбается безотносительно, безъ всякой мысли. Въ головѣ его пробѣгаютъ какіе-то обрывки безъ связи и послѣдовательности, такъ что, въ сущности, онъ, если можно такъ выразиться, не сознаетъ себя сушимъ. Хорошо ему—вотъ и все. Онъ, слава Богу, проснулся, и впереди его ждетъ совсѣмъ бѣлый день, безъ точекъ, безъ пестрины, однимъ словомъ, день, въ который, какъ и вчера, *ничего не можетъ случиться*. А ежели и предстоитъ какая-нибудь особенность, въ родѣ, напримѣръ, привоза свѣжихъ устрицъ и заранѣе даннаго обѣщанія собраться у Одинцова, то и эта неголоволомная подробность уже заранѣе занесена имъ въ carnet, такъ что стоитъ только заглянуть туда, и весь день какъ на ладони. Во всякомъ случаѣ, думать ему нѣтъ надобности, а можно только улыбаться. Улыбается онъ и безъ повода, просто самому себѣ и случайно припомнивая какую-нибудь легонькую проказу, въ которой онъ былъ дѣйствующимъ лицомъ. Покуда онъ улыбается и препарируетъ себя, Шарль летаетъ какъ муха, приготовляя кофе и легкій завтракъ и раскладывая по стульямъ столовой нѣсколько паръ платья для выбора.

Подкрѣпившись и рѣшивъ вопросъ о панталонахъ, галстукѣ и проч., Сережа начинаетъ одѣваться. Опять посвистыванье, опять улыбки и опять ни одной мысли. Время летитъ незамѣтно среди колебаній и переговоровъ съ Шарлемъ, раздается облегчительное: «enfin, me voici en règle!»— и великій процессъ одѣванья конченъ. Часы показываютъ два; Сережа надѣваетъ шляпу, натягиваетъ перчатки и въ послѣдній разъ останавливается передъ зеркаломъ. Тутъ онъ осматриваетъ себя съ ногъ до головы, сзади, съ боковъ и, довольный собой, выходитъ на крыльцо, гдѣ ужъ его ожидаетъ экипажъ. Онъ ѣдетъ... куда?

Старозавѣтный шалопай отвѣтилъ бы на этотъ вопросъ: «мой кучеръ ужъ знаетъ»—и пріѣхалъ бы прямо къ Дюссо. Сережа отступилъ отъ завѣщаннаго преданія и прежде всего отправляется... въ канцелярію! Здѣсь онъ справляется у швейцара: «Петръ Николаичъ пріѣхалъ?» — и, выслушавъ отвѣтъ: «сейчасъ пріѣдутъ, курьеръ ужъ привезъ портфель»,—направляетъ шаги въ помѣщеніе, гдѣ ютятся чиновники. Накурено, насорено, а по мѣстамъ и наплевано. Но Сережа не формализируется этимъ; онъ понимаетъ, что находится здѣсь не для того, чтобы рвать цвѣты удовольствія, а потому, что обязанъ исполнить свой «долгъ»

(un devoir à remplir). Канцелярскіе чиновники сидятъ по мѣстамъ и скребутъ перьями; среднее чиновничество, въ родѣ столоначальниковъ и ихъ помощниковъ, разсѣлось, гдѣ попало, верхомъ на стульяхъ, куритъ папиросы, разсказываетъ ходящіе въ городѣ слухи и вообще занимается празднословіемъ; начальники отдѣленій—читаютъ газеты или поглядываютъ то на дверь, то на лежащія передъ ними папки съ бумагами, въ ожиданіи Петра Николаича.

— Скоро ли же вы съ этимъ безобразіемъ покончите?— спрашиваетъ Сережа, поочередно пожимая руки начальникамъ отдѣленій:—эти суды, это земство, эта печать... ахъ, господа, господа!

— Прытки вы очень! У насъ-то ужъ давно написано и готово, да первый же Петръ Николаичъ по полугоду въ наши проекты не заглядываетъ. А тамъ найдутся и другіе разсматриватели... цѣлая вѣдь лѣстница впереди! А напомнишь Петру Николаичу — онъ отвѣчаетъ: «моментъ, любезный другъ, не такой, надо моментъ уловить,—тогда у насъ разомъ всѣ проекты какъ по маслу пройдутъ!»

— Да; но согласитесь, что ждать ужасно! Все кругомъ рушится, tout est à refaire,—а тутъ моментъ уловить не могутъ!

— Э! проживемъ какъ-нибудь. Можетъ-быть, и совсѣмъ момента не изловимъ, и все-таки проживемъ. Вѣдь еще бабушка на-двое сказала, что̀ лучше. По крайней мѣрѣ, то̀, что̀ есть, ужъ извѣстно... А тутъ пойдутъ ломки да передѣлки, однихъ вопросовъ не оберешься... Вы думаете, намъ сладки вопросы-то?

Собесѣдникъ меланхолически посматриваетъ въ окно, какъ бы не желая продолжать разговора о матеріи, набившей ему оскомину. Вся его фигура выражаетъ одну мысль: «наплевать! я, что̀ приказано, сдѣлалъ,—а тамъ хоть чортъ родись... Надоѣло!»

Но Сережа совсѣмъ не того мнѣнія. Онъ продолжаетъ утверждать que tout est à refaire, и что настоящее положеніе вещей невыносимо. Картавя и рисуясь, онъ бормочетъ слова: «суды, земство... и эта шутовская печать!.. Ахъ, господа, господа!» Онъ, видимо, всѣмъ надоѣлъ въ канцеляріи; но такъ какъ никто не говоритъ этого ему въ глаза, то онъ остается при убѣжденіи, что исполняетъ свой долгъ, и продолжаетъ надоѣдать.

Наконецъ, въ сосѣдней комнатѣ раздается передвиганье

стульевъ и слышатся торопливые шаги. Это спѣшитъ самъ Петръ Николаичъ, предшествуемый курьеромъ.

Сережа обдергивается, пріосанивается и приказываетъ доложить о себѣ.

— Ахъ, шутъ гороховый! опять задержитъ!—ропщутъ начальники отдѣленій.

Въ кабинетѣ между тѣмъ происходитъ сцена.

— Pierre! да когда же вы кончите съ этимъ безобразіемъ? — пристаетъ Сережа: — все рушится, все страдаетъ, tout est à refaire, а вы пальца о палецъ не хотите ударить!

Петръ Николаичъ глубокомысленно почесываетъ носъ.

— Моментъ еще не пришелъ, — отвѣчаетъ онъ: — ты слишкомъ нетерпѣливъ, душа моя. Когда наступитъ моментъ, — повѣрь, онъ застанетъ насъ во всеоружіи, и тогда всякая штука проскочитъ у насъ comme bonjour! Но покуда мы только боремся съ противоположными теченіями и подготовляемъ почву. Вѣдь это не дешево намъ обходится.

— Но когда же? когда? — сгораетъ нетерпѣніемъ Сережа.—Мнѣ изъ деревни пишутъ... mais c'est horrible ce qui s'y passe!

— Это же самое мнѣ вчера графиня Крымцева говорила. И всѣхъ васъ, добрыхъ и преданныхъ, приходится успокаивать! Разумѣется, я такъ и сдѣлалъ.—«Графиня!—сказалъ я ей:—повѣрьте, что, когда наступитъ моментъ, мы будемъ готовы!» И что же, ты думаешь, она мнѣ на это отвѣтила: «А у меня между тѣмъ хлѣбъ въ полѣ не убранъ!»—Я такъ и развелъ руками!

И Петръ Николаичъ показываетъ на дѣлѣ, какъ онъ развелъ руками.

— Сентябрь ужъ на дворѣ, а у нея хлѣбъ еще въ полѣ... понимаешь ли ты это? Приходится, однако же, мириться и не съ такими безобразіями, но зато... Ахъ, душа моя! у насъ и безъ того дѣла до зарѣзу,—печально продолжаетъ онъ:—не надо затруднять нашъ путь преждевременными сѣтованіями! Хоть вы-то, видящіе насъ въ самомъ сердцѣ дѣла, пожалѣйте насъ! Успокойся же! все въ свое время придетъ, и когда наступитъ моментъ, мы не пропустимъ его. Когда-нибудь мы съ тобою переговоримъ объ этомъ серьезно, а теперь... скажи, куда ты отсюда?

— Къ Одинцову; свѣжія устрицы привезли.

— Ахъ, какъ я тебѣ завидую, и тебѣ, и всѣмъ вамъ,

благороднымъ и преданнымъ... но только немножко нетерпѣливымъ!.. Съ какимъ бы удовольствіемъ я сопровождалъ тебя, и вотъ... Долгъ приковалъ меня здѣсь, и до шести часовъ я нахожусь въ плѣну... Ты думаешь, мнѣ дешево достается мое возвышенье?

— О!!

— Да, не сладко мнѣ, не на розахъ я сплю. Но до свиданья. Меня ждутъ. Ахъ, устрицы, устрицы! Кстати: вчера меня о тебѣ спрашивали, и можетъ-быть... Enfin, qui vivra, verra.

— Я не спѣшу, но, конечно, не прочь пристроиться.

— И не спѣши: мы за тебя поспѣшимъ. Намъ люди нужны: и не простые канцелярскіе исполнители, а люди съ искрой, съ убѣжденіемъ. До свиданья, душа моя!

Раздается звонокъ и приказаніе: «попросите Егора Иваныча!»

Сережа почтительно удаляется.

Покуда онъ еще не имѣетъ опредѣленной должности; онъ просто «состоитъ». Не начинать же ему карьеру съ помощника столоначальника... Фуй! не для того онъ краткимъ наукамъ обученъ, чтобы «корпѣть»: онъ прямо мѣтитъ. Родители не разъ заманивали его въ родной городъ, обѣщая предводительство, но онъ и тутъ не соблазнился, хотя быть двадцати пяти лѣтъ предводителемъ очень недурно, да и шансы на будущую карьеру несомнѣнны. Это онъ хорошо понимаетъ; но ему еще жаль Петербурга съ его ресторанами, закусочными и кокотками. Въ немъ еще слишкомъ живо говоритъ молодая кровь, чтобъ рѣшиться хоть на время закупорить себя въ захолустьѣ. Онъ боится обрюзгнуть, растолстѣть, разлѣниться. Нѣтъ, онъ лучше здѣсь подождетъ, на глазахъ у однокашниковъ—это хоть и медленнѣе, но вѣрнѣе. Кстати, его взялъ подъ свое руководство Петръ Николаичъ Лопаснинъ, который не далѣе какъ три года тому назадъ разыгрывалъ такую же роль, какъ и Сережа, а теперь по цѣлымъ годамъ проекты подъ сукномъ держитъ и все момента ждетъ. Мудренаго нѣтъ, что и Сережа... вѣдь онъ малый съ «искрой»! Вдругъ понадобятся «люди», онъ и тутъ какъ тутъ! Въ головѣ у него, правда, настолько смутно, что никакого, даже вреднаго проекта онъ не сочинитъ; но на это есть дѣльцы, есть приказная челядь, а его дѣло—руководить. Онъ знаетъ, что tout est à recommencer—и будетъ съ него. Но что всего замѣчательнѣе—не только «съ него будетъ», но и съ

тѣхъ, которые слушаютъ его пустопорожнее бормотанье. И mon oncle, и ma tante, и Петръ Николаичъ—всѣ отъ него въ восхищеніи, всѣмъ онъ угодилъ своею непоколебимостью и благороднымъ образомъ мыслей.

Я не поведу читателя ни къ Одинцову, ни на Невскій, гдѣ онъ гуляетъ, entre chien et loup, ради обостренія аппетита и встрѣчи съ безчисленными шалопаями, ни даже къ Борелю, гдѣ онъ обѣдаетъ въ веселой компаніи. Вездѣ слышатся однѣ и тѣ же неосмысленныя рѣчи, вездѣ производятся одни и тѣ же паскудныя тѣлодвиженія. И все это, вмѣстѣ взятое, составляетъ то, что у порядочныхъ людей извѣстно подъ выраженіемъ: «отдавать дань молодости».

— Ничего, мой другъ, веселись, это свойственно молодости,—поощряетъ Сережу mon oncle:—еще будетъ время остепениться. Когда я былъ молодъ, то княгиня Любинская называла меня: le démon de la nuit... Не спалось и мнѣ тогда почти ночи напролетъ; зато теперь крѣпко спится.

Вечеръ заканчивается, по преимуществу, въ балетѣ или у французовъ, а потомъ опять къ Борелю, гдѣ ждетъ ужинъ, который длится до двухъ или до трехъ часовъ ночи. Но къ этому времени Сережа ужъ непремѣнно дома, въ своемъ гнѣздышкѣ, и торопливо дѣлаетъ ночной туалетъ. Нерѣдко онъ даже негодуетъ на себя за слишкомъ поздній сонъ, потому что боится потерять свои краски и бодрый видъ. Но что прикажете дѣлать? à la guerre comme à la guerre!—приходится урвать часъ-другой отъ сна, чтобъ не огорчить друзей. Всѣ они сплелись между собой, всѣ дали слово поддерживать другъ друга,—стало-быть, надо идти рука въ руку, покуда хватитъ силъ...

А на завтра опять *тотъ* день, съ новымъ повтореніемъ тѣхъ же подробностей и того же празднословія. И это не надоѣдаетъ... напротивъ! Встрѣчаешься съ этимъ днемъ точно съ старымъ другомъ, съ которымъ всегда есть о чемъ поговорить, или какъ съ насиженнымъ мѣстомъ, гдѣ знаешь навѣрное, куда идти, и гдѣ всякая мелочь говоритъ о какомъ-нибудь пріятномъ воспоминаніи.

Приближаясь къ тридцати годамъ, Сережа мало-по-малу остепеняется. Онъ попрежнему остается шалопаемъ, попрежнему твердитъ неосмысленныя слова, но уже выжидаетъ момента. Не знаю, вполнѣ ли онъ самостоятельно дѣйствуетъ, или только еще пріобщенъ, въ видѣ ком-

паньона, но, во всякомъ случаѣ, уже близокъ къ самостоятельности. Онъ безповоротно рѣшилъ que tout est à recommencer, и стоитъ на стражѣ во всеоружіи.—Mais, au nom de Dieu, не торопитесь, господа! Не осложняйте преждевременною рьяностью нашего, и безъ того нелегкаго труда! Все придетъ въ свое время—ручательствомъ служитъ вотъ эта куча проектовъ, которая лежитъ у него на столѣ. Изрѣдка, на досугѣ, онъ перечитываетъ то одинъ, то другой проектъ и отъ времени до времени глубокомысленно восклицаетъ:

— C'est ça! Именно то самое, что я хотѣлъ сказать!

Изъ провинціи чуть не каждый день наѣзжаютъ всевозможныхъ сортовъ добровольцы, смотрятъ ему въ глаза и любопытствуютъ.

— Сергѣй Семенычъ! Да когда же вы, наконецъ, приступите?

И онъ, подобно своему ментору и другу, спѣшитъ успокоить нетерпѣливцевъ:

— Мы готовы, мы ждемъ только сигнала,—говоритъ онъ.—Но прежде всего необходимо уловить благопріятный моментъ. Коль скоро моментъ будетъ благопріятенъ—и все совершится благопріятно; а ежели мы начнемъ въ неблагопріятный моментъ, то и все остальное совершится неблагопріятно. Вѣдь вы этого не желаете, господа?

— Помилуйте! Зачѣмъ же?

— И я тоже не желаю, а потому и стою покамѣстъ во всеоружіи. Слѣдовательно, возвращайтесь каждый къ своимъ обязанностямъ, исполняйте вашъ долгъ и будьте терпѣливы. Tout est à refaire—вотъ девизъ нашего времени и всѣхъ людей порядка; но задача такъ обширна и обставлена такими трудностями, что нельзя думать о выполненіи ея, покуда не наступитъ моментъ. Моментъ—это сила, это conditio sine qua non. Правду ли я говорю?

— Что правда, то правда. Хоть и горько, а приходится согласиться.

— Вамъ горько, а намъ, вы полагаете, легче? Въ одномъ мѣстѣ хлѣбъ не убранъ, въ другомъ—не засѣянъ; тамъ молотьба прекратилась, тутъ льютъ дожди, хлѣбъ гніетъ на корню—развѣ это пріятно? Со страхомъ спрашиваешь себя: куда мы, наконецъ, идемъ? Какой получится въ результатѣ балансъ? И такимъ образомъ каждый день. Каждый день мы слышимъ эти ламентаціи—и все-таки ждемъ! Ждите же и вы, господа! И будьте увѣрены, что здѣсь заботятся не

только о васъ, но и обо всѣхъ вообще... И объ тѣхъ, которые пострадали, и объ тѣхъ, которымъ угрожаетъ страданіе въ будущемъ... Мы и о мужичкахъ думаемъ... Да! Nous sommes nulle-part et partout—вотъ сколько у насъ заботъ! Прощайте, господа!

И длится эта изнурительная канитель цѣлыми годами, и находитъ доступъ въ публику то при помощи уличныхъ слуховъ, то при посредствѣ газетныхъ извѣстій. У Подхалимова дыханье въ зобу сперло отъ внутренняго ликованья; онъ со всѣми курьерами передружился, лишь бы подслушивали у дверей и сообщали ему самыя свѣжія новости.

Слухи эти въ существѣ своемъ настолько нелѣпы, что можно было бы и не упоминать о нихъ, тѣмъ болѣе, что большинство такъ и остается на степени слуховъ. Но, къ сожалѣнію, мы такъ пріучены къ нелѣпостямъ, до такой степени онѣ всосались въ насъ, что мы принимаемъ всякую нескладицу за чистую монету и приходимъ въ волненіе по ея поводу. Добровольцы разъѣзжаются по своимъ мѣстамъ и тамъ грозятъ: «погодите! вотъ ужо!» И все притихаетъ передъ этимъ «ужо»; дѣятельность, и безъ того не черезчуръ яркая, окончательно вялѣетъ; зачатки жизни превращаются въ умираніе. Точно на другой день ожидается свѣтопреставленіе.

Разумѣется, Сережа ничего этого не знаетъ, да и знать ему, признаться, не нужно. Да и вообще ничего ему не нужно, ровно ничего. Никакой интересъ его не тревожитъ, потому что онъ даже не понимаетъ значенія слова «интересъ»; никакой истины онъ не ищетъ, потому что съ самаго дня выхода изъ школы не слыхалъ даже, чтобъ кто-нибудь произнесъ при немъ это слово. Развѣ у Бореля и у Донона говорятъ объ истинѣ? Развѣ въ «Кипрской красавицѣ» или въ «Дочери Фараона» идетъ рѣчь объ убѣжденіяхъ, о честности, о любви къ родной странѣ?

Никогда!

Между тридцатью пятью годами и сорока Сережа начинаетъ склонять слухъ къ увѣщаніямъ mon oncle и ma tante. Давно уже они отыскиваютъ ему подходящую партію, давно убѣждаютъ устроиться собственнымъ гнѣздышкомъ, но до сихъ поръ Сережа отстаиваетъ свою независимость и свободу.

— La liberté et l'indépendance—je ne connais que ça!— говоритъ онъ въ отвѣтъ на родственныя увѣщанія, и ста-

рики грустно покачивали головами и ужъ почти отчаялись когда-нибудь видѣть милаго Serge'a во главѣ семейства.

Однако-жъ теперь онъ начинаетъ понимать, что роковой моментъ недалеко. Онъ уже отростилъ брюшко, на головѣ у него появились подозрительные взлизы; онъ сдѣлался какъ будто вялѣе въ своихъ движеніяхъ, и его все болѣе и болѣе тянетъ... домой! Пріѣдетъ въ свое гнѣздышко, разсчитывая отдохнуть и помечтать... такъ, ни о чемъ! А тамъ—Шарль угощаетъ свою бѣлошвейку сладкими пирожками изъ сосѣдней булочной. Скрѣпя сердце, онъ опять ѣдетъ къ Донону, но уже безъ прежняго внутренняго ликованія, которое заставляло, при входѣ его, улыбаться во весь ротъ дононовскихъ татаръ.

Вообще, становится скучно; только и отводишь душу съ Петромъ Николаичемъ въ умной бесѣдѣ: que tout est à recommencer, и что вчера ужъ думали, что моментъ наступилъ, а сегодня опять...

Наконецъ, выдается очень солидная партія. Именно какъ разъ по немъ.

Она—дочь «свѣдущаго человѣка» и премилая особа. Красива, стройна, говоритъ отлично по-французски, знаетъ un peu d'arithmétique, un peu de géographie et un peu de mythologie (чуточку!), изрядно играетъ на фортепьяно и умѣетъ держать себя въ обществѣ. Сверхъ того, она богата. За нею три тысячи десятинъ земли въ одной изъ черноземныхъ губерній, прекрасная усадьба и сахарный заводъ, не говоря уже о надеждахъ въ будущемъ (еще сахарный заводъ), потому что она—единственная дочь и наслѣдница у своихъ родителей. Но этого мало: у нея есть дядя, старый холостякъ, и ежели онъ не женится—куда ему, старику!—то и его имѣнье (третій сахарный заводъ) со временемъ перейдетъ къ ней. Отецъ ея, Иванъ Петровичъ Грифковъ, пріѣхалъ въ Петербургъ, въ качествѣ свѣдущаго человѣка, и ѣздитъ на совѣщанія въ какую-то субкомиссію, въ которой дѣятельно ведутся переговоры объ упраздненіи. Сережа уже познакомился съ нимъ и даже близко сошелся, потому что оба они того мнѣнія que tout est à refaire, и оба съ нетерпѣніемъ ждутъ момента.

— Не упускай этого случая, мой другъ!—твердитъ ему ma tante.—Такихъ завидныхъ партій нынче въ цѣлой Россіи немного сыщешь!

— Подумаемъ, ma tante, подумаемъ!—отвѣчалъ онъ,

улыбаясь и покручивая усики, которые у него всегда въ порядкѣ: не очень длинны и не очень коротки.

— У тебя будетъ свой собственный сахарный заводъ, да у нея въ перспективѣ три,—продолжалъ mon oncle.— У тебя отличная усадьба, да у нея три... Ежели у васъ даже четверо дѣтей будетъ—вотъ ужъ каждому по усадьбѣ готово.

— Ну, зачѣмъ четверо! Съ насъ будетъ довольно и двоихъ! Баранъ да ярочка—красная парочка!—шутитъ Сережа.

— Ну, тамъ видно будетъ; Христосъ съ тобой, начинай!

Въ сущности, онѣ ужъ рѣшился. Онъ уже намекнулъ отцу молодой особы, да и ей самой, о своихъ намѣреніяхъ. Ей онъ открылся во время мазурки. Она ничего положительнаго ему не сказала, а только загадочно спросила:

— Вы можете любить?

— О!—началъ-было онъ, но въ это время одна изъ танцующихъ дамъ подвела ей двухъ кавалеровъ:

— Гіацинтъ или рододендронъ?

— Гіацинтъ,—отвѣтила она и умчалась скользить по паркету.

Черезъ три мѣсяца, на красную горку, была ихъ свадьба. Они поселились на Сергіевской въ такомъ гнѣздышкѣ, что и родители, и тетеньки съ дяденьками не могли достаточно налюбоваться на нихъ. Подъ вѣнцомъ она была удивительно мила; вся въ бѣломъ, съ бѣлымъ вѣнкомъ на головѣ, она походила на бѣломраморную статую, сошедшую съ пьедестала, чтобы обойти завѣтное число разъ кругомъ аналоя. Онъ тоже былъ какъ разъ подъ пару и нашептывалъ ей во время обряда страстныя слова. Но она не смущалась этими словами и смотрѣла какъ-то черезчуръ ужъ свѣтло и самоувѣренно впередъ.

На коврикъ она вступила первая.

Цѣлый мѣсяцъ послѣ свадьбы они ѣздили съ визитами и принимали у себя, въ своемъ гнѣздышкѣ. Потомъ уѣхали въ усадьбу къ *ней*, и тамъ началась настоящая poème d'amour. Но даже въ деревнѣ, среди изъявленій любви, они успѣвали повеселиться; ѣздили по сосѣдямъ, приглашали къ себѣ, устраивали охоты, пикники, кавалькады. Словомъ сказать, не видали, какъ пролетѣло время, и настала минута возвратиться изъ деревенскаго гнѣздышка въ петербургское.

Черезъ полгода онъ уже занимаетъ хорошій постъ и

пишетъ циркуляры, въ которыхъ напоминаетъ, истолковываетъ свою мысль и побуждаетъ. Въ то же время онъ — членъ англійскаго клуба, который и посѣщаетъ почти каждый вечеръ. Ведетъ среднюю игру; по преимуществу же бесѣдуетъ съ наѣзжими добровольцами о томъ que tout est à recommencer, но моментъ еще не наступилъ.

— Будьте терпѣливы, господа!—убѣждаетъ онъ своихъ единомышленниковъ:—когда наступитъ моментъ, онъ найдетъ насъ во всеоружіи; вы думаете, намъ сладко — ахъ! Только грудь да подошёлка знаютъ, чего намъ стоятъ эти проволочки! Однако-жъ мы ждемъ,—ждите и вы!

Къ Борелю онъ заѣзжаетъ лишь изрѣдка, чтобъ мелькомъ полюбоваться на эту бодрую и сильную молодежь, которая, даже среди винныхъ паровъ, табачнаго дыма и кокотокъ, не забываетъ que tout est à refaire. Нечего и говорить, что его принимаютъ — и татары, и молодые люди — какъ дорогого и желаннаго гостя.

Съ своей стороны, Ирина Ивановна принимаетъ по вечерамъ въ своей гостиной. Хотя мужъ очень рѣдко бываетъ дома, но ей живется не скучно. Навѣщаютъ ея салонъ бо́льшею частью люди съ вѣсомъ, пожилые, но бываютъ и молодые люди. Она пополнѣла, сдѣлалась вполнѣ самостоятельною и ведетъ себя съ большимъ апломбомъ, такъ что опасаться за нее нечего. Подъ конецъ вечера Сережа заѣзжаетъ на минутку домой, бесѣдуетъ съ наиболѣе вліятельными гостями на тему que tout est à refaire, и когда старички уѣзжаютъ, онъ опять исчезаетъ въ клубъ, оставляя жену коротать остатки вечера въ обществѣ молодыхъ людей.

Къ веснѣ она собирается родить. Будетъ ли у нихъ красная парочка, баранъ да ярочка, какъ предсказывалъ себѣ самъ Сережа, или число дѣтей увеличится до четырехъ — каждому по усадьбѣ и по сахарному заводу, — это покажетъ будущее.

Вообще жизнь его устроилась, попала въ окончательную колею, изъ которой уже не выйдетъ. Ни тревогъ, ни волненій, ничего впереди, кромѣ неосмысленной фразы: que tout est à recommencer.

Въ свое время онъ умретъ, и прахъ его съ надлежащею помпой отвезутъ на варшавскій вокзалъ, а потомъ въ родовое имѣніе, гдѣ похоронены останки его предковъ. А на другой день въ газетахъ появится его некрологъ:

«Вчера скончался Сергѣй Семеновичъ Ростокинъ, одинъ

изъ самыхъ ревностныхъ реформаторовъ послѣдняго времени. Еще наканунѣ онъ бесѣдовалъ съ друзьями объ одномъ проектѣ, который составлялъ предметъ его постоянныхъ заботъ, и въ этой бесѣдѣ, внезапно, на порвавшемся словѣ, застигла его смерть... Миръ праху твоему, честный труженикъ!»

2.—Евгеній Люберцевъ.

Онъ—товарищъ Сережи Ростокина по школѣ, но какая разница! Сережа учился болѣе нежели плохо и слылъ между товарищами глупенькимъ; Люберцевъ учился отлично (вышелъ съ золотою медалью) и уже на школьной скамьѣ выглядывалъ мужемъ совѣта.

— Oh, celui-là ne manquera pas sa carrière!—говорилъ про него французъ-воспитатель, ласково держа его за подбородокъ и проницательно вглядываясь ему въ глаза.

А русскій воспитатель прибавлялъ:

— Со временемъ бразды правленія въ рукахъ держать будетъ. И не безъ пользы для себя... и для другихъ.

Евгеній Филиппычъ былъ сынъ чиновника изъ второстепенныхъ, но пользовавшагося отличною репутаціею. Филиппъ Андреичъ занималъ не блестящій, но довольно солидный постъ, на которомъ надѣялся и покончить свою служебную карьеру. Многое отъ него зависѣло, хотя онъ скромно объ этомъ умалчивалъ. Никогда онъ не мѣтилъ высоко, держался средней линіи и паче всего заботился о томъ, чтобы начальнику даже въ голову не пришло, что онъ, честный и старый служака Люберцевъ, кому-нибудь ножку подставить хочетъ. За то всѣ его любили, всѣ обращались къ нему съ довѣріемъ, дружелюбно жали ему руку, какъ равному, и никогда не отказывали въ маленькихъ послугахъ, въ родѣ опредѣленія дѣтей на казенный счетъ, выдачи пособія на случай поѣздки куда-нибудь на воды и проч. Однимъ словомъ, Евгеній Филиппычъ принадлежалъ къ одной изъ тѣхъ солидныхъ чиновничьихъ семей, которыя считаютъ въ прошломъ нѣсколько поколѣній начальниковъ отдѣленія и одного вице-директора (Филиппъ Андреичъ).

Евгеній любилъ отца, видѣлъ его трудовую жизнь, сочувствовалъ ей и готовился итти по родительскимъ сто-

намъ. Сходство между ними было поразительное во всѣхъ отношеніяхъ. По наружному виду, онъ былъ такого же высокаго роста, такъ же плотенъ и расположенъ къ дебелости, какъ и отецъ. Въ нравственномъ отношеніи, оба выросли въ понятіяхъ «долга», оба знали цѣну «послушанію», оба были трудолюбивы, толковиты и прямо отыскивали суть дѣла. Но существовала и разница: отецъ былъ человѣкъ себѣ на умѣ, а сынъ былъ тоже себѣ на умѣ, но, кромѣ того, и съ «искрой». Впрочемъ, это послѣднее качество проявилось въ немъ, какъ результатъ новыхъ вѣяній.

Вышедши изъ школы, Люберцевъ поселился не вмѣстѣ съ роднымъ семействомъ, а на отдѣльной квартирѣ, и отецъ вполнѣ согласился, что онъ поступаетъ правильно. Старикъ жилъ старозавѣтною жизнью и понималъ, что сыну нужна совсѣмъ другая обстановка. Нужны товарищи, болѣе или менѣе шумныя собесѣдованія, а по временамъ и сосредоточенность, которую не могла бы нарушить семейная сутолока. Словомъ сказать, нужно молодому человѣку развязать руки, доставить самостоятельность. А семьи онъ не позабудетъ; онъ слишкомъ солиденъ и честенъ, чтобы поставить себя въ сомнительныя отношенія къ отцу и матери.

— Пускай его поживетъ на своихъ ногахъ! — утѣшалъ Филиппъ Андреичъ огорченную жену:—въ школѣ довольно поводили на помочахъ — теперь пусть самъ собой попробуетъ ходить!

Наняли для Генички скромную квартиру (всего двѣ комнаты), чистенько убрали, назначили на первое время небольшое пособіе, справили новоселье, и затѣмъ молодой Люберцевъ началъ новую жизнь подъ личною отвѣтственностью, но съ сознаніемъ, что отцовскій глазъ зорко слѣдитъ за нимъ, и что, на случай нужды, ему всегда будетъ оказана помощь и данъ добрый совѣтъ.

— Главное, другъ мой, береги здоровье,—твердилъ ему отецъ: — mens sana in corpore sano. Будешь здоровъ, и житься будетъ веселѣе, и все пойдетъ у тебя ладкомъ да миркомъ!..

— Не правда ли, папенька? — соглашался Евгеній съ отцомъ.

— Здоровье — это первое наше благо! — подтверждалъ отецъ.—Ну, Христосъ съ тобой, живи; я на тебя надѣюсь!

Какъ я сказалъ выше, Люберцевъ уже на школьной скамьѣ выглядывалъ дѣльцомъ. По выходѣ изъ школы онъ

быстро втянулся въ служебный круговоротъ (благо служба была обязательная, и мѣсто ужъ въ перспективѣ имѣлось готовое) и даже усвоилъ себѣ извѣстную терминологію, которою, однако-жъ покамѣстъ пользовался какъ бы шутя. Такъ, улыбаясь, онъ называлъ себя государственнымъ послушникомъ,—не опричникомъ, фуй! а именно послушникомъ,—а иногда рисковалъ даже, тоже улыбаясь, говорить: «мы, государственные доктринеры»... Вообще, на первыхъ порахъ, трудно было разобрать, серьезно ли онъ говоритъ, или иронически. Большинство видѣло, впрочемъ, скорѣе тонкую иронію, и это дало ему не мало друзей изъ молодыхъ людей съ нѣсколько пылкимъ темпераментомъ.

У него не было француза-слуги, а выписанъ былъ изъ деревни для прислуги сынъ родительской кухарки, мальчикъ лѣтъ 14-ти, неумѣлый и неловкій, котораго онъ однако-жъ скоро такъ вышколилъ, что въ квартирѣ его все блестѣло, сапоги были хорошо вычищены и на платьѣ ни соринки.

День его протекалъ очень просто, безъ всякихъ вычуръ. Все онъ дѣлалъ систематически, не торопясь; съ вечера расписывалъ завтрашніе шестнадцать часовъ на клѣтки и вездѣ поспѣвалъ въ свое время. Случались отступленія отъ расписанія, но рѣдко, да и то исключительно въ формѣ начальственныхъ приглашеній, отъ которыхъ уклониться было нельзя. Вставалъ аккуратно въ девять часовъ и самъ дѣлалъ свой несложный туалетъ. Въ девять съ половиной онъ былъ ужъ у самовара, самъ разливалъ себѣ чай и брался за книгу. Процессъ чаепитія (это былъ въ то же время и завтракъ его) длился довольно долго; но такъ какъ онъ сопровождался чтеніемъ, то Люберцевъ не старался объ его сокращеніи. До одиннадцати часовъ онъ читалъ. Любимыми авторами его были французскіе доктринеры временъ Луи-Филиппа: Гизо, Дюшатель, Вилльменъ и проч.; изъ журналовъ онъ читалъ только «Revue des deux Mondes», удивляясь олимпійскому спокойствію мысли и логичности выводовъ и не подозрѣвая, что эта логичность представляетъ собой не больше, какъ бѣличье колесо. Бисмарку онъ тоже удивлялся, но, по его мнѣнію, онъ былъ слишкомъ смѣлъ и, такъ сказать, внезапенъ въ своей политикѣ. Нельзя было заранѣе изъ предыдущаго поступка предусмотрѣть послѣдующій, хотя сущность этихъ поступковъ имѣла одну и ту же подкладку. Втайнѣ онъ даже былъ увѣренъ, что «раскусилъ» Бисмарка и каждый его шагъ можетъ пред-

сказать впередъ. «Франція—это только отводъ,—говорилъ онъ:—съ Франціей онъ на Бельгіи помирится или выброситъ ей кусокъ Лотарингіи—не Эльзасъ, нѣтъ!—а главнымъ образомъ взоры его устремлены на Россію,—это узелъ его политики,—вотъ увидите!» По его мнѣнію, будь наше время нѣсколько менѣе тревожно, и дѣятельность Бисмарка имѣла бы менѣе тревожный характеръ: онъ просто представлялъ бы собой повтореніе твердаго, спокойнаго и строго-логическаго Гизо.

Въ одиннадцать часовъ онъ выходилъ на прогулку. Помня завѣтъ отца, онъ охранялъ свое здоровье отъ всякихъ случайностей. Онъ инстинктивно любилъ жизнь, хотя еще не зналъ ея. Поэтому онъ былъ въ высшей степени аккуратенъ и умѣренъ въ гигіеническомъ смыслѣ и считалъ часовую утреннюю прогулку однимъ изъ главныхъ предохранительныхъ условій въ этомъ отношеніи. На прогулкѣ онъ нерѣдко встрѣчался съ отцомъ (онъ даже искалъ этихъ встрѣчъ), которому тоже предписаны были ежедневныя прогулки для предупрежденія излишняго расположенія къ дебелости.

— Здоровъ?—спрашивалъ отецъ.

— Слава Богу! Вы какъ, папенька?

— Мнѣ—что дѣлается! я ужъ старъ, и умру, такъ удивительно не будетъ... А ты береги свое здоровье, мой другъ, это—первое наше благо. Умру, такъ вся семья на твоихъ рукахъ останется. Ну, а по службѣ какъ?

— Понемножку. Но скучаю, что настоящаго дѣла нѣтъ. Впрочемъ, на-дняхъ записку составить поручили; я въ два дня кончилъ и подалъ свой трудъ, да что-то молчатъ. Должно-быть, дѣло то не очень нужное; такъ, для пробы пера дали, чтобъ испытать, способенъ ли я.

— Это и всегда такъ бываетъ на первыхъ порахъ. Все равно какъ у портныхъ: сначала на лоскуткахъ шить пріучаютъ, а потомъ и настоящее дѣло дадутъ. Потерпи, не сомнѣвайся. Въ свое время будешь и шить, и кроить, и утюжить.

— Ахъ, папенька, какъ же такъ можно выражаться!..

— Ну, ну, пошутить-то вѣдь не грѣхъ. Не все же серьезничать: шутка тоже, въ свое время, не лишняя. Жизнь она смазываетъ. Начнутъ колеса скрипѣть — возьмешь и смажешь. Такъ-то, голубчикъ. Христосъ съ тобой! Главное—здоровье береги!

Въ полдень Люберцевъ уже на службѣ, серьезный и

сосредоточенный. Покуда у него нѣтъ опредѣленной должности; но швейцаръ Никита, который тридцать лѣтъ стоитъ съ булавой въ департаментскихъ сѣняхъ, уже угадалъ его и выражается прямо, что Евгеній Филиппычъ изъ молодыхъ да ранній.

— Вотъ, погодите, щелкопёры!—говоритъ онъ чиновникамъ:—онъ вамъ ужо, какъ начальникомъ будетъ, задастъ перцу! Забудете папироски курить да посвистывать!

Люберцевъ сидитъ за пустымъ столомъ и отъ нечего дѣлать перелистываетъ старое дѣло. Исподволь онъ пріучается къ формамъ и обрядамъ (пріучается на лоскуткахъ шить), а между тѣмъ присматривается и къ канцелярскому быту. Чиновники, по его мнѣнію, распущены и имѣютъ лишь смутное понятіе о государственномъ интересѣ; начальники отдѣленій смотрятъ вяло, пишутъ-не-пишутъ, вообще ведутъ себя—словно имъ до смерти вся эта канитель надоѣла. Многіе даже откровенно зубоскалятъ; критикуютъ начальственныя распоряженія, радуются, когда въ газетахъ появится колкая замѣтка или намекъ, сами собираются что-нибудь тиснуть. Директоръ департамента приходитъ поздно, засиживается у «своей» (такъ, по крайней мѣрѣ, говорятъ чиновники) и совершенно понапрасну задерживаетъ подчиненныхъ. И у него на лицѣ написаны усталость и равнодушіе.

— А все-таки машина не останавливается! — размышляетъ про себя Геничка.—Вотъ что значитъ разъ пустить ее въ ходъ! Вотъ какую силу представляетъ собой идея государства! Покуда она не тронута, всѣ функціи государства совершаются сами собой!

Въ этихъ присматриваньяхъ идетъ время до шести часовъ. Скучное, тягучее время, но Люберцевъ бодро выноситъ его, и не потому, что—кто знаетъ! вдругъ случится въ немъ надобность! — а просто потому, что онъ сознаетъ себя одною изъ составныхъ частей этой машины, функціи которой совершаются сами собой. Затѣмъ, не лишне, конечно, чтобы и директоръ видѣлъ, что онъ готовъ и ждетъ только мановенія.

— А! вы здѣсь?—изрѣдка говоритъ ему, проходя мимо, директоръ, который знаетъ его отца и не прочь оказать протекцію сыну: — это очень любезно съ вашей стороны. Скоро мы и для васъ настоящее дѣло найдемъ, къ мѣсту васъ пристроимъ! Я вашу записку читалъ... сдѣлана умно, но, разумѣется, молодо. Разсужденій много, теорія преобла-

даетъ—сейчасъ видно, что школьная скамья еще не простыла... Ну-съ, а покуда прощайте!

Люберцевъ не держитъ дома обѣда, а обѣдаетъ или у своихъ (два раза въ недѣлю), или въ скромномъ отельчикѣ за рубль серебромъ. Дома ему было бы пріятнѣе обѣдать, но онъ не хочетъ баловать себя и боится утратить хотя частичку той выдержки, которую поставилъ цѣлью всей своей жизни. Два раза въ недѣлю—это, конечно, даже необходимо; въ эти дни его нетерпѣливо поджидаетъ мать и заказываетъ его любимыя блюда — совѣстно ее огорчить отсутствіемъ. За обѣдомъ онъ сообщаетъ отцу о своихъ дѣлахъ.

— Директоръ недавно видѣлъ меня и упоминалъ о моей запискѣ,—разсказываетъ онъ: — говорилъ, что составлена недурно, но разсужденій много, теорія преобладаетъ...

— Да, мой другъ, въ дѣлахъ службы разсужденія только мѣшаютъ. Нужно быть краткимъ, держаться фактовъ, а факты уже сами собой покажутъ, куда слѣдуетъ идти.

— Но нельзя же, папенька, не разсуждать. Вѣдь не даромъ насъ теоріи учили.

— Разсуждать ты можешь про себя, а объ теоріяхъ въ частныхъ разговорахъ бесѣдовать можно. Ну, и на службѣ, пожалуй, ими руководись, только чтобъ не бросалось въ глаза, не замедляло, такъ сказать, изложенія. Теорія, мой другъ, окраску человѣку даетъ, клеймо кладетъ на его дѣятельность,—ну, и смотри на дѣло съ точки зрѣнія этой окраски, только не выставляй ея. Я самъ въ молодости теоріямъ обучался, а потому вышелъ изъ меня Филиппъ Андреичъ Люберцевъ, а не Андрей Филиппычъ. И всякій знаетъ мою работу, всякій сразу скажетъ: эту записку писалъ не Андрей Филиппычъ, а Филиппъ Андреевъ, сынъ Люберцевъ. Ex ungue leonem, если можно, безъ хвастовства, такъ выразиться. Вотъ объ чемъ я говорю.

Вечеръ, часовъ съ девяти, Люберцевъ проводитъ въ кругу товарищей, но не такихъ шалопаевъ, какъ Ростокинъ (онъ съ нимъ почти не встрѣчается), а такихъ же основательныхъ и солидныхъ, какъ и онъ самъ. Разъ въ недѣлю онъ принимаетъ у себя; остальные вечера переходитъ отъ одного товарища къ другому и изрѣдка посѣщаетъ театръ. Когда собираются у него, онъ очень мило разыгрываетъ роль хозяина, потчуетъ чаемъ съ сдобными булками, а подъ конецъ появляется и очень приличная закуска. Несмотря на солидность, между товарищами под-

нимаются шумные споры. Говорятъ по преимуществу о государствѣ, его функціяхъ и отношеніяхъ къ отдѣльному индивидууму. Какъ люди, готовящіеся къ занятію «постовъ», юноши задорно стоятъ на сторонѣ государства и защищаютъ неприкосновенность его правъ.

— Государство — это все, — ораторствуетъ Геничка: — наука о государствѣ — это современный палладіумъ. Это цѣлое вѣрованіе. Никакой отдѣльный индивидуумъ немыслимъ внѣ государства, потому что только послѣднее можетъ дать защиту, оградить не только отъ внѣшнихъ вторженій, но и отъ самого себя.

Однако бываютъ и противорѣчія, не то чтобы очень радикальныя, а все-таки не столь всецѣло отдающія индивидуума въ жертву государству. Середка на половинѣ. Но Люберцевъ не формализируется противорѣчіями, ибо знаетъ, что du choc les opinions jaillit la vérité. Терпимость — это одно изъ достоинствъ, которымъ онъ особенно дорожитъ, но, конечно, въ предѣлахъ. Самъ онъ не отступитъ ни на пядь, но выслушаетъ всегда благосклонно.

— И прекрасно, мой другъ, дѣлаешь, — хвалитъ его отецъ;—и я выслушиваю, когда начальникъ отдѣленія мнѣ возражаетъ, а иногда и соглашаюсь съ нимъ. И директоръ мои возраженія благосклонно выслушиваетъ. Ну, не захочетъ по-моему сдѣлать—его воля! Стало-быть, онъ правъ, а я виноватъ,—изъ-за чего тутъ горячку пороть! А чаще всего такъ бываетъ, что поспоримъ-поспоримъ, да на чемъ-нибудь середнемъ и сойдемся!

— Не правда ли, папенька?

— Говорю тебѣ, что хорошо дѣлаешь, что не горячишься. Въ жизни и все такъ бываетъ. Иногда идешь на Гороховую, да прозѣваешь переулокъ и очутишься на Вознесенской. Такъ что же такое! И воротишься,—не Богъ знаетъ чего стоитъ. Излишняя горячность здоровью вредитъ, а оно намъ нужнѣе всего. Ты здоровъ?

— Слава Богу, папенька.

— Ну, и Христосъ съ тобой! Посѣщай товарищей, не пренебрегай ими! Иной разъ пренебрежешь человѣкомъ, а онъ потомъ въ самонужнѣйшихъ окажется!

На одинъ изъ дружескихъ вечеровъ совсѣмъ неожиданно явился Сережа Ростокинъ. Онъ слышалъ, что у Генички происходятъ въ опредѣленные дни умные разговоры, и пожелалъ полюбопытствовать, а при случаѣ, съ своей стороны, словечко вставить, доказать que tout est à refaire.

Онъ пріѣхалъ на-веселѣ, прямо отъ Бореля, и появленіе его такъ всѣхъ удивило, что вдругъ все смолкло. Люберцевъ хотѣлъ разыграть радушнаго хозяина и не могъ: голосъ у него потухъ. Гости сидѣли какъ на иголкахъ; нѣкоторые даже искали глазами свои шляпы. Съ своей стороны, и Сережа молчалъ и удивленно хлопалъ глазами, не видя нигдѣ ни вина, ни объѣдковъ, ни залитой и загаженной скатерти.

— Выпито!—безсмысленно пробормоталъ онъ, наконецъ, щелкая себя въ галстукъ.—Да, было-таки... Но какую мы свѣжую икру ѣли... сливки!

Пробормотавши это, онъ опять замолчалъ, и черезъ четверть часа всталъ и направился къ выходу. Но тутъ обернулся и крикнулъ:

— Засушины вы! всѣ вы еще въ пеленкахъ высохли!.. Государство... туда же! Вотъ мы когда-нибудь съ Петромъ Николаичемъ... разберемъ!

И исчезъ.

Споры возобновились, но Люберцевъ былъ слегка задумчивъ. Онъ вспомнилъ вѣщія слова отца: «иной разъ пренебрежешь человѣкомъ, а онъ въ самонужнѣйшихъ окажется...»

«Что, ежели этотъ шалопай, въ самомъ дѣлѣ...»—тревожился онъ.

И на другой день, урвавши четверть часа у прогулки, онъ зашелъ къ Сережѣ и засталъ его въ самомъ разгарѣ туалетной дѣятельности.

— А! Люберцевъ!—воскликнулъ Ростокинъ, слегка удивленный:—какимъ добрымъ вѣтромъ тебя занесло?

Оказалось, что онъ дѣйствительно былъ такъ пьянъ наканунѣ, что все забылъ.

— Да такъ, повидаться захотѣлось. Давно ужъ...

— И я давно собираюсь къ тебѣ. У тебя, говорятъ, умные вечера завелись... Надо, надо послушать, что умные люди говорятъ. Вѣдь и я съ своей стороны... Вмѣстѣ бы... unitibus... какъ это?

И онъ началъ, по обыкновенію, твердить que tout est à refaire. Твердилъ, безтолково вращая зрачками, грозя пальцемъ и ссылаясь на Петра Николаича.

— Ежели вы, господа, на этой же почвѣ стоите,—говорилъ онъ:—то я съ вами сойдусь. Буду ѣздить на ваши совѣщанія, пить чай съ булками, и общими усиліями намъ, быть-можетъ, удастся подвинуть дѣло впередъ. Помилуй, tout croule, tout roule—а у насъ полезнѣйшіе проекты

подъ сукномъ по полугоду лежатъ, и никто ни о чемъ подумать не хочетъ! Моментъ, говорятъ, не наступилъ; но уловите же, наконецъ, этотъ моментъ... sacrebleu!..

Геничка слушалъ терпѣливо и отъ времени до времени качалъ головой. Онъ радъ былъ, что вчерашняя исторія кончилась такъ благополучно.

Такъ проводитъ свой день государственный послушникъ Евгеній Филиппычъ Люберцевъ и кончаетъ его пунктуально въ часъ ночи, когда мирно отходитъ ко сну.

Немного спустя, ему дали составить другую записку. Давно уже начали собирать данныя о необходимости возстановить заставы и шлагбаумы, и, наконецъ, отовсюду получены были отвѣтственныя донесенія. Оказывалось, что заставы и шлагбаумы не только полезны, но и самое возстановленіе ихъ можетъ совершиться легко, безъ потрясеній. Столбы старыхъ шлагбаумовъ еще доселѣ стоятъ невредимы, слѣдовательно, стоитъ только купить новыя цѣпи и нанять сторожа (буде военное вѣдомство не дастъ караула)—и города вновь украсятся и процвѣтутъ. При семъ прилагались и штаты. Геничка разсмотрѣлъ это дѣло очень внимательно. Онъ воздержался отъ разсужденій и только въ одномъ мѣстѣ упомянулъ объ обывательскихъ страстяхъ, къ огражденію отъ коихъ преимущественно должны служить заставы. Штаты онъ нашелъ умѣренными и съ помощью первыхъ четырехъ правилъ ариѳметики легко вывелъ среднюю сумму предстоящихъ издержекъ. Оставалось только найти источникъ для удовлетворенія новаго расхода. Люберцевъ сходилъ за справкой въ министерство финансовъ, но тамъ ему сказали, что государственное казначейство и безъ того черезчуръ обременено. Слышалъ онъ мелькомъ, что гдѣ-то существуетъ калмыцкій капиталъ, толкнулся и туда, но тамъ встрѣтилъ почти враждебный отпоръ («вамъ какое дѣло?»). Предстояло одно изъ двухъ: или обратить дѣло къ дополнительнымъ вопросамъ,—но тогда оно затянулось бы на неопредѣленное время,—или же огражденіе обывателей отъ собственныхъ ихъ страстей произвести на счетъ ихъ самихъ.

Геничка рѣшилъ въ послѣднемъ смыслѣ: и короче, да и вполнѣ справедливо. Дѣло не залежится, а между тѣмъ идея государственности будетъ соблюдена. Затѣмъ онъ составилъ сводъ мнѣній, включилъ справку о недостаточности средствъ казны и неприкосновенности калмыцкаго капитала, разлиновалъ штаты, закруглилъ—и подалъ.

Директоръ одобрилъ записку всецѣло, только гираду о страстяхъ вычеркнулъ, найдя, что въ дѣловой бумагѣ поэзіи и вообще вымысловъ допустить нельзя. Затѣмъ положилъ докладъ въ ящикъ, щелкнулъ замкомъ и сказалъ, что когда наступитъ моментъ, тогда все, что̀ хранится въ ящикѣ, само собой выйдетъ оттуда и увидитъ свѣтъ.

Шагъ этотъ былъ важенъ для Люберцева въ томъ отношеніи, что открывалъ ему настежь дверь въ будущее. Ему дали мѣсто помощника столоначальника. Это было первое звено той цѣпи, которую ему предстояло пройти. Сравнительно, новое его положеніе досталось ему довольно легко. Прошло лишь семь-восемь мѣсяцевъ по выходѣ изъ школы, и онъ, двадцатилѣтній юноша, ужъ находился въ служебномъ круговоротѣ, въ качествѣ рычага государственной машины. Рычага маленькаго, почти незамѣтнаго, а все-таки...

По этому случаю у стариковъ Люберцевыхъ былъ экстраординарный обѣдъ. Подавали шампанское и пили здоровье новобранца. Филиппъ Андреичъ сіялъ; Анна Яковлевна (мать) плакала отъ умиленія; сестрицы и братцы говорили: «je vous félicite». Геничка былъ нѣсколько взволнованъ, но сдерживался.

— Я въ немъ увѣренъ,—говорилъ старикъ Люберцевъ:— въ немъ наша, Люберцевская, кровь. Батюшка у меня умеръ на службѣ, я—на службѣ умру, и онъ пойдетъ по нашимъ слѣдамъ. Старайся, мой другъ, воздерживаться отъ теорій, а паче всего отъ поэзіи... ну ее! Держись фактовъ— это въ нашемъ дѣлѣ главное. А пуще всего пекись объ здоровьѣ. Береги себя, другъ мой, не искушайся! Вѣдь ты здоровъ?

— Здоровъ, папенька.

— Ну, и слава Богу. А теперь, на радостяхъ, еще по бокальчику выпьемъ—вонъ, я вижу, въ бутылкѣ еще осталось. Не привыкъ я къ шампанскому, хотя и случалось въ посторонніхъ домахъ полакомиться. Ну, да на этотъ разъ, ежели и сверхъ обыкновеннаго веселъ буду, такъ Аннушка проститъ.

И, вновь выпивъ здоровье новобранца, Филиппъ Андреичъ продолжалъ:

— Ты обо мнѣ не суди по-теперешнему; я тоже повеселиться мастеръ былъ. Однажды даже настоящимъ образомъ былъ пьянъ. Зазвалъ меня къ себѣ начальникъ, да въ шутку, должно-быть—выпьемте да выпьемте!—и нака

тилъ! Да такъ накатилъ, что воротился я домой—зги божьей не вижу! Сестра Аннушкина въ ту пору у насъ гостила, такъ я Аннушку отъ нея отличить не могу: пойдемъ!—говорю. Мѣсяца два послѣ этого Анюта меня все пьяницей звала. Насилу оправдался.

— Такъ вотъ вы какой, папенька!

Съ полученіемъ штатнаго мѣста пришлось нѣсколько видоизмѣнить modus vivendi. Люберцевъ продолжалъ принимать у себя разъ въ недѣлю, но товарищей посѣщалъ уже рѣже, потому что приходилось и по вечерамъ работать дома. Дружескій кружокъ рѣдѣлъ; между членами его мало-по-малу образовался расколъ. Нѣкоторые члены заразились фантазіями, оказались черезчуръ рьяными—и отдѣлились.

Люберцевъ быстро втягивался въ службу, и по мѣрѣ того, какъ онъ проникалъ въ ея сердце, идея государственности замѣнялась идеей о бюрократіи, а интересъ государства превращался въ интересъ казны. Слова и мнѣнія старика-отца съ каждымъ днемъ все больше принимали для сына значеніе непререкаемости. Онъ вполнѣ усвоилъ себѣ идею главенства фактовъ и устранилъ вымыселъ и теорію навсегда. Если рѣчь идетъ о снабженіи городовыхъ свистками, то только о свисткахъ и писалось, а разсужденія на тему о безопасности допускались лишь настолько, насколько это нужно для оправданія свистковъ. «Въ видахъ огражденія безопасности обывателей, необходимо снабдить городовыхъ свистками»—только и всего, потому что ежели начать съ того, что главная забота государства заключается въ томъ...—то это ужъ будетъ не докладъ, а бредъ. Залѣзешь въ такую трущобу, что потомъ и не вылѣзешь. Вѣдь идея государственности и въ обнаженномъ изложеніи фактовъ просочится сама собой—стало-быть, ничего другого и не требуется. Это складка, которую онъ получилъ уже на школьной скамьѣ и которая никогда его не оставитъ; зачѣмъ же выставлять ее на показъ и замедлять стройное и логическое изложеніе экскурсіями по сторонамъ?

— Ты не очень, однако, въ канцелярщину затягивайся!—предостерегалъ его отецъ:—надсѣдаться будешь—пожалуй, и на шею сядутъ. Начальство тоже себѣ на умѣ; скажетъ: вотъ настоящій помощникъ столоначальника!—и останешься ты аридовы вѣки въ помощникахъ. Дѣйствуй вольно, показывай видъ, что не очень дорожишь, что тебя вездѣ съ удовольствіемъ пріютятъ. Тогда тобой дорожить станутъ, настоящимъ образомъ трудъ твой будутъ цѣнить. Я десять

лѣтъ вице-директоромъ состою, да то—я, а тебѣ я этого не желаю. Связей не упускай, посѣщай людей, разсматривай. И старыхъ знакомыхъ, которые полезны, не упускай, и новыхъ знакомствъ не бѣги. Мудреная, братъ, это наука—жизнь! Ну, да, Богъ дастъ, ты справишься.

Геничка послѣдовалъ и этому совѣту. Онъ даже сошелся съ Ростокинымъ, хотя долженъ былъ, такъ сказать, привыкать къ его обществу. Черезъ Ростокина онъ надѣялся проникнуть дальше, устроить такія связи, о какихъ отецъ и не мечталъ. Однако-жъ сердце все-таки тревожилось воспоминаніемъ о товарищахъ, на глазахъ которыхъ онъ вступилъ въ жизнь, и изъ которыхъ значительная часть уже отшатнулась отъ него. Съ однимъ изъ нихъ онъ однажды встрѣтился.

— А помнишь, какъ Ростокинъ всѣхъ насъ обозвалъ засушинами?—спросилъ прежній сочленъ по «умнымъ» вечерамъ:—глупъ-глупъ, а правду сказалъ. Ты не совсѣмъ еще засохъ?

Люберцевъ кисло улыбнулся въ отвѣтъ.

— Засохнешь—въ этомъ не сомнѣвайся,—продолжалъ товарищъ.—Смотри, какъ бы, вмѣсто государственныхъ-то людей, въ простыхъ подьячихъ не очутиться!

Но Геничка этого не опасался и продолжалъ преуспѣвать. Ему еще тридцати лѣтъ не было, а уже самыя лестныя предложенія сыпались на него со всѣхъ сторонъ. Онъ не разъ могъ бы получить въ провинціи хорошо оплаченное и отвѣтственное мѣсто, но уклонялся отъ такихъ предложеній, предпочитая служить въ Петербургѣ, на глазахъ у начальства. Много проектовъ онъ уже выработалъ, а еще болѣе имѣлъ въ виду выработать въ непродолжительномъ времени. Словомъ сказать, ему предстояло пролить свѣтъ...

Хотя свѣтъ этотъ начиналъ уже походить на тусклое освѣщеніе, разливаемое сальной свѣчой подьячаго, но отъ окончательнаго подьячества его спасли связи и старая складка государственности, пріобрѣтенная еще въ школѣ. Тѣмъ не менѣе, онъ и отъ чада сальной свѣчки былъ бы не прочь, если-бъ убѣдился, что этотъ чадъ ведетъ къ цѣли.

Тридцати лѣтъ онъ уже занималъ полуотвѣтственный постъ, наравнѣ съ Сережей Ростокинымъ. Мысль, что служебный круговоротъ совершенно тождественъ съ круговоротомъ жизненнымъ, и что успѣхъ невозможенъ, покуда представленіе этой тождественности не будетъ усвоено во всей его полнотѣ, все яснѣе и яснѣе обрисовывалась по-

редъ его умственнымъ взоромъ. И онъ, не торопясь, но настойчиво, началъ подготовлять себя къ примѣненію этой мысли на практикѣ.

Къ этому времени отецъ его совсѣмъ состарѣлся, но все еще занималъ прежнюю должность. Онъ съ любовью слѣдилъ за успѣхами сына, хотя, признаться, многаго уже не понималъ въ его поступкахъ. Его радовало, что сынъ здоровъ, что онъ на виду—ничего другого онъ не желалъ. Старуха-мать заботливо пріискивала сыну приличную партію и однажды даже совсѣмъ-было высватала ему богатенькую купеческую дочь, Пòхотневу, и Геничка чуть не соблазнился блестящимъ приданымъ и даже рѣшилъ въ умѣ, что неловко звучащую фамилію «Пòхотневъ» можно безъ труда измѣнить на «Пахòтневъ» (madame de Lubertzeff, née de Pakhotneff). Но, по зрѣломъ разсужденіи, нашелъ, что еще рано садиться въ гнѣздо, и предпочелъ сохранить независимость.

Въ настоящее время служебная его карьера настолько опредѣлилась, что до него рукой не достать. Онъ вполнѣ измѣнилъ свой взглядъ на служебный трудъ. Оставилъ при себѣ только государственную складку, а трудъ предоставилъ подчиненнымъ. Съ утра до вечера онъ въ движеніи: ѣздитъ по вліятельнымъ знакомымъ, совѣщается, шушукается, подставляетъ ножки и всячески ограждаетъ свою карьеру отъ случайности.

— Связи—вотъ главное!—говоритъ онъ отцу:—а какъ будетъ такой-то служебный вопросъ рѣшенъ, за или противъ—это для меня безразлично. Перемелется—все мука будетъ. Заручившись связями, я спокоенъ, да мнѣ и пріятно находиться въ постоянномъ движеніи. Высшія сферы имѣютъ чарующую, притягательную силу. Тутъ и роскошь обстановки, и непрерывная изворотливость мысли, и интересъ неожиданныхъ поворотовъ служебнаго вѣтра, то радующихъ, то пугающихъ, и роскошныя женщины. Женщина выхоленная, выдрессированная сама по себѣ уже представляетъ для глазъ неисчерпаемый источникъ наслажденій, а на любомъ раутѣ передъ вами дефилируютъ десятки такихъ женщинъ. Свѣтъ, благоуханье, обнаженныя плечи... Помилуйте! зачѣмъ я буду корпѣть дома и перебирать бюрократическую ветошь, которая, все равно, ни къ чему не поведетъ!

Старикъ выслушиваетъ эти рѣчи съ нѣкоторымъ удивленіемъ, но не противорѣчитъ. Онъ просто думаетъ, что, за

старостью лѣтъ, отсталъ отъ времени, и что, стало-быть, все это нужно, ежели Геничка не можетъ иначе поступать.

Отъ времени до времени Люберцеву приходитъ на мысль, что теперь самая пора обзавестись своимъ семействомъ. Онъ тщательно приглядывается, разсматриваетъ, разузнаетъ, но дѣлаетъ это самъ, не прибѣгая къ постороннему посредничеству. Вообще подходитъ къ этому вопросу съ осторожностью и надѣется въ непродолжительномъ времени разрѣшить его.

3.—Черезовы мужъ и жена.

Оба молоды и оба безъ устали работаютъ.

Женились они всего три мѣсяца назадъ и только брачный день позволили себѣ провести праздно. Сватовство было недолгое. Семенъ Александрычъ въ первый разъ увидѣлъ Надежду Владиміровну въ конторѣ, гдѣ она работала и куда онъ заходилъ за справкой. Затѣмъ разъ пять имъ пришлось сидѣть рядомъ за общимъ столомъ въ кухмистерской. Разговорились: оказалось, что оба работаютъ. Оба одиноки, знакомыхъ не имѣютъ, кромѣ тѣхъ, съ которыми встрѣчаются за общимъ трудомъ, и оба до того втянулись въ эту одинокую, не знающую отдыха жизнь, что даже утратили ясное сознаніе, живутъ они или нѣтъ.

— Хоть въ праздники-то вы свободны ли?—однажды спросилъ онъ у нея.

— Да, но безъ работы скверно; не знаешь, куда дѣваться. Въ номерѣ у себя сидѣть, сложивши руки,—тоска! На улицу выйдешь—еще пуще тоска! Словно улица-то новая; въ обыкновенное время идешь и не примѣчаешь, а тутъ вдругъ... магазины, экипажи, народъ... Къ товаркѣ одной—вмѣстѣ работаемъ—иногда захожу, да и она ужъ одичала. Посидимъ, помолчимъ и разойдемся.

— Это ужъ въ родѣ схимы...

— А что вы думаете? Именно схима! Даже вериги чувствовать начинаю.

— Вы бы что-нибудь читали въ праздникъ...

— Отвыкла. Ничто не интересуетъ. Говорю вамъ, совсѣмъ одичала. Въ театръ изрѣдка въ воскресенье схожу—и будетъ! А вы?

Онъ безнадежно махнулъ рукой въ отвѣтъ.

— Тоже недалеко отъ схимы?

— Чего недалеко! Весь веригами опутанъ... какимъ образомъ? изъ-за чего?

— Какъ изъ-за чего? Жизнь-то не достается даромъ. Вотъ и теперь мы здѣсь роскошествуемъ, а уходя, все-таки сорокъ пять копеекъ придется отдать. Здѣсь сорокъ пять, въ другомъ мѣстѣ сорокъ пять, а въ третьемъ и цѣлый рубль... Надо же добыть!

— И такимъ образомъ проходитъ вся жизнь?

— Жизнь только еще начинается. Потомъ она будетъ продолжаться, а затѣмъ и конецъ.

— Именно такъ: начинается, продолжается и кончается— только и всего. Но неужто вы совсѣмъ одне? ни родныхъ, ни знакомыхъ?

— Одна. Отецъ давно умеръ, мать—въ прошломъ году. Очень намъ трудно было съ матерью жить — всего она пенсіи десять рублей въ мѣсяцъ получала. Тутъ и на нее, и на меня; приходилось хоть милостыню просить. Я, сравнительно, теперь лучше живу. Меня счастливицей называютъ. Случай какъ-то помогъ, работу нашла. Могу комнату отдѣльную имѣть, обѣдъ; хоть голодомъ не сижу. А вы?

— И я одинъ; ни отца, ни матери не помню; воспитывался на какія-то пожертвованія. Меня начальникъ школы и на службу опредѣлилъ. И тоже хоть голодомъ не сижу, а близко-таки... Когда приходится туго, призываю на помощь терпѣніе, изворачиваюсь, удваиваю старанія,—и вотъ, какъ видите!

— Скучно вамъ?

— Скучать некогда. Даже о будущемъ подумать нѣтъ времени. Иногда и мелькнетъ въ головѣ: надо что-нибудь... не всегда же... да только рукою махнешь. Авось какъ-нибудь, день-за-день, и пройдетъ... жизнь.

— Да, трудно что-нибудь выдумать. Жить надо—только и всего.

Спустя нѣкоторое время, послѣ одного изъ такихъ разговоровъ, онъ спросилъ ее:

— А что если мы вмѣстѣ будемъ работать?

Она на минуту смутилась и побѣлѣла. Но затѣмъ щеки у нея заалѣли румянцемъ, она подала ему руку и бодро отвѣтила:

— Будемте.

Черезъ мѣсяцъ они были мужъ и жена, и, какъ я сказалъ выше, позволили себѣ въ праздности провести будничный день. Но на завтра оба ужъ были въ работѣ.

Ей посчастливилось. Утромъ она работала въ банкирской конторѣ, вечеромъ — имѣла урокъ. Все это вмѣстѣ давало ей около восьмисотъ рублей въ годъ. Въ лѣтнее время доходъ уменьшался за отъѣздомъ ученицы; но тогда она пріискивала другую работу, хотя и подешевле. Вообще вопросъ о безработицѣ не коснулся ея. Онъ тоже успѣлъ довольно прочно устроиться; утромъ ходилъ въ департаментъ, гдѣ служилъ помощникомъ столоначальника; вечеромъ — имѣлъ занятія въ одномъ изъ желѣзнодорожныхъ правленій. Доходъ его простирался до полутора тысячъ, такъ что оба вмѣстѣ они получали въ годъ до двухъ тысячъ пятисотъ рублей.

Имъ завидовали и говорили, что на эти деньги вдвоемъ прожить можно не только безъ нужды,. но даже позволяя себѣ нѣкоторыя прихоти. И они соглашались съ этимъ. Кругомъ они видѣли столько бѣдности и наготы, что заработокъ ихъ дѣйствительно представлялся суммою очень достаточною. Несмотря на это, они никогда не испытывали даже слабаго довольства. Продолжали жить, попрежнему, со-дня-на-день, съ трудомъ сводя концы съ концами, и— что̀ всего хуже—постоянно испытывали то чувство страха передъ будущимъ, которое свойственно всѣмъ людямъ, живущимъ исключительно личнымъ трудомъ. Что̀, ежели вдругъ случится заболѣть? что̀, ежели въ урокѣ не будетъ надобности? что̀, ежели частная служба измѣнитъ? соперникъ явится, мѣсто упразднится, въ работѣ окажется недосмотръ, начальникъ неудовольствіе выкажетъ? Всѣ эти вопросы даже усиленною работою не заглушались, а волновали и мучили съ утра до вечера. Некогда было подумать о томъ, зачѣмъ пришла и куда идетъ эта безразсвѣтная жизнь... Но о томъ, что эта жизнь можетъ мгновенно порваться, думалось ежемгновенно, безъ отдыха.

Въ сущности, неправы были тѣ, которые удивлялись, что они, при своемъ заработкѣ, не умѣютъ прожить иначе, какъ съ величайшею осторожностью. Если бы эти деньги являлись, напримѣръ, въ видѣ заработка главы семейства, а она пользовалась хоть относительнымъ досугомъ, тогда, дѣйствительно, жизнь не представляла бы особенныхъ недостачъ съ матеріальной стороны. Личный домостроительный трудъ помогаетъ сокращать издержки на добрую треть. Можно во-время распорядиться, во-время закупить,—былъ бы досугъ. Стоитъ только сходить за четыре версты— ноги-то свои, не купленыя!—за курицей, за сигомъ, стоитъ

выждать часа два у окна, пока появится на дворѣ знакомый разносчикъ,—и дѣло въ шляпѣ. Рубля двоимъ на обѣдъ за-глаза достаточно, даже и съ дѣтьми, ежели ихъ немного; пожалуй, и пирогъ въ праздникъ будетъ. И прислуга заведется, и опять-таки дешевенькая... Гдѣ-нибудь въ колоніи, изъ-за хлѣба, молодую дѣвчонку отыщутъ и пріучатъ ее понемногу. Въ концѣ года, смотришь, окажется даже экономія. Мужъ доволенъ, что сытъ; жена довольна, что Богъ ихъ и съ семьею за рубль прокормилъ; у дѣтей щеки отъ праздничнаго пирога лоснятся. Квартира — ничего-себѣ, столъ—ничего-себѣ; извозчика, правда, нанять не изъ чего—ну, да вѣдь не графы и не князья, и на своихъ на двоихъ дойти сумѣемъ. Даже пріятели вечеромъ придутъ—и для тѣхъ закуска найдется. Въ винтъ по сотой копейкѣ засядутъ, проиграетъ глава семейства рубль—и не поморщится. Вотъ какъ на двѣ-то съ половиной тысячи умные люди живутъ, а не то чтобы что.

Ничѣмъ подобнымъ не могли пользоваться Черезовы по самому характеру и обстановкѣ ихъ труда. Оба работали и утромъ, и вечеромъ внѣ дома, оба жили въ готовыхъ, однажды сложившихся условіяхъ и, стало-быть, не имѣли ни времени, ни привычки, ни надобности входить въ хозяйственныя подробности. Это до того въѣлось въ ихъ природу, съ самыхъ молодыхъ ногтей, что если бы даже и выпалъ для нихъ случайный досугъ, то они не знали бы, какъ имъ распорядиться, и растерялись бы на первомъ шагу при вступленіи въ практическую жизнь.

Сдѣлавшись мужемъ и женой, они не оставили ни прежнихъ привычекъ, ни бездомовой жизни; обѣдали въ опредѣленный часъ въ кухмистерской, продолжали жить въ меблированныхъ номерахъ, гдѣ занимали двѣ комнаты, и кромѣ того обязаны были имѣть карманныя деньги на извозчика, на завтракъ, на подачки сторожамъ и номерной прислугѣ и на прочую мелочь. А тамъ еще одежда, бѣлье — вѣдь на частную работу или урокъ не пойдешь засуча рукава въ ситцевомъ платьѣ, какъ ходитъ въ лавочку домовитая хозяйка, которая сама стоитъ на стражѣ своего очага. Однимъ словомъ, приходилось тратить полтора рубля тамъ, гдѣ у домовитаго хозяина выходило не больше рубля. Но зато они тратили деньги безъ хлопотъ, точно какъ по прейсъ-куранту.

Сходились они обыкновенно за обѣдомъ въ кухмистерской и дома въ поздній часъ. Оба приходили усталые,

обоимъ было не до разговоровъ. Пили чай, съѣдали принесенную закуску и засыпали, чтобы на другой день, около десяти часовъ утра, разойтись. Но съ праздниками имъ удалось устроиться такъ, что они проводили цѣлый день вмѣстѣ. Утромъ онъ ей читалъ, и непремѣнно что-нибудь печальное, такъ какъ это больше всего соотвѣтствовало ихъ душевному настроенію; вечеромъ — ходили въ театръ. Въ праздники же имъ случалось разговаривать по душѣ, но бесѣда шла больная, скорѣе растравляющая, нежели успокаивающая. Во всякомъ случаѣ, заработокъ утекалъ незамѣтно, такъ что они были рады, если годъ кончался безъ особенныхъ затрудненій, въ родѣ долга мелочной лавочкѣ или хозяйкѣ квартиры.

Страхъ передъ завтрашнимъ днемъ ни на минуту не оставлялъ ихъ. Оба принадлежали къ тому типу обыкновенныхъ смирныхъ людей, которые инстинктивно стремятся къ одной цѣли: самосохраненію. Можетъ-быть, при другихъ обстоятельствахъ, при иной школѣ, сердца ихъ раскрылись бы и для иныхъ идеаловъ, но трудъ безъ содержанія, трудъ, направленный исключительно къ цѣлямъ самосохраненія, окончательно заглушилъ въ нихъ всякіе зачатки высшихъ стремленій. Они не сознавали даже, что этотъ трудъ, который доставляетъ имъ дневной кошъ, въ то же время мало-по-малу убиваетъ ихъ и навсегда лишаетъ возможности различать добро отъ зла. Не вникая въ содержаніе труда, они цѣнили его лишь съ точки зрѣнія оплаты и охотно брались за *всякую* работу, лишь бы она была оплачена. Постыднаго они, правда, не дѣлали, но кто же и поручитъ имъ что-нибудь постыдное? Для постыднаго и люди должны быть постыдные, прожженые, дошлые люди, которые могутъ и пролѣзть, и вылѣзть, и сухими изъ воды выйти,—куда же имъ съ ихъ простотой! вѣдь имъ и на умъ ничего постыднаго не придетъ! Это просто не жившіе, но уже измученные жизнью люди — и только. Бояться и трепетать—вотъ ихъ дѣло. Всѣ разговоры ихъ ведутся на эту тему и не исчерпаются никогда, потому что они всецѣло сосредоточились въ испугѣ, и никакія вліянія, ни внѣшнія, ни внутреннія, не могутъ внести иные элементы въ ихъ скудное существованіе. Нѣтъ этихъ вліяній и не откуда имъ придти; трудъ для труда, трудъ, падающій въ какую-то бездну и мгновенно поглощаемый ею, погубилъ всякую воспріимчивость, всякій зачатокъ самодѣятельности.

— Боюсь я, какъ бы урока мнѣ не лишиться, — говорила она.

— А что?

— Да такъ; ученица моя поговариваетъ, что отецъ ея совсѣмъ изъ Петербурга хочетъ уѣхать. Пожалуй, двадцать-то пять рублей въ мѣсяцъ и улыбнутся.

— Скверно; ну, да Богъ дастъ...

— Я ужъ и то стороной разузнаю, не наклюнется ли чего-нибудь... Двоюродная сестра у моей ученицы есть, такъ тамъ тоже учительницѣ хотятъ отказать... Вотъ кабы!

— Ищи, голубушка; только не тяжело ли будетъ, ежели два урока придется давать?

— Ничего, устроюсь. Надо же. Да вотъ что я еще хотѣла тебѣ сказать, Сеня. Бухгалтеръ у насъ въ конторѣ ко мнѣ пристаетъ... съ тѣхъ поръ, какъ я замужъ вышла. Подсаживается ко мнѣ, разговариваетъ, спрашиваетъ, люблю ли я конфеты...

— Мерзавецъ!

— И я говорю, что мерзавецъ, да вѣдь когда зависишь... Что если онъ банкиру на меня наговоритъ!—вѣдь, пожалуй, и тамъ... Тутъ двадцать пять рублей улыбнутся, а тамъ и цѣлыхъ пятьдесятъ. Останусь я у тебя на шеѣ, да кромѣ того и дѣлать нечего будетъ... Съ утра до вечера все буду думать... Думать да думать, одна да одна... ахъ, не дай Богъ!

— Ну, какъ-нибудь обойдется; ты у меня молодецъ, вывернешься. Вотъ у насъ въ правленіи должность бухгалтера скоро очистится,—развѣ попытать?

— А у тебя какъ свое-то дѣло идетъ?

— Покуда — ничего. Въ департаментѣ даже говорятъ, что меня столоначальникомъ сдѣлаютъ. Полторы тысячи— вѣдь это кушъ. Правда, что тогда отъ частной службы отказаться придется, потому что и на дому казенной работы по вечерамъ довольно будетъ, но что-нибудь легонькое все-таки и постороннимъ трудомъ можно будетъ заработать, рубликовъ хоть на триста. Квартиру наймемъ; ты только вечеромъ на уроки станешь ходить, а по утрамъ дома будешь сидѣть; хозяйство свое заведемъ—живутъ же другіе!

— Ахъ, боюсь я! Особенно этотъ бухгалтеръ... Придется опять просить, кланяться, хлопотать, а время между тѣмъ летитъ. Одинъ день пройдетъ — нѣтъ работы, другой нѣтъ работы, и каждый день урѣзывай себя, разсчитывай, какъ

прожить дальше... Устанешь хуже, чѣмъ на работѣ. Ахъ, боюсь!

Теперь они боятся въ особенности потому, что Надежда Владиміровна готовится сдѣлаться матерью. Ахъ, что-то будетъ? Что такое будетъ—даже представить себѣ нельзя!.. Сколько рабочихъ дней отнимутъ одни роды, а потомъ ребенокъ. Надо его кормить, пеленать, мыть, отлучаться отъ него нельзя. Да и какъ тутъ поступить—не знаешь. Настанутъ роды—къ кому обратиться, куда идти, что будетъ стоить, и вообще какъ совершается весь этотъ процессъ? Прислуга—дорогая и ненадежная, да материнскаго сердца и не уймешь. Вотъ тогда-то дѣйствительно придется бросить бездомную жизнь, нанять квартиру, лишиться главнаго заработка, засучить рукава, взять скалку въ руки и раскатывать на столѣ тѣсто для пирога. На какія деньги они будутъ жить? Хоть и обѣщали Семену Александрычу мѣсто столоначальника, да что-то не слыхать, а самъ онъ заискивать и напоминать о себѣ не смѣетъ. Фальшивые нынче люди, невѣрные, всѣ ихъ обѣщанія на водѣ писаны! Ахъ, не сумѣютъ они своимъ домомъ жить. Въ меблированныхъ комнатахъ—все готово, въ кухмистерской—тоже. Такъ они прожили всю жизнь и другой жизни не знаютъ. И вдругъ очутятся въ пространствѣ, на собственной отвѣтственности—вотъ гдѣ настоящая-то мука! Вездѣ—обманъ, вездѣ—фальшь, а ежели и нѣтъ обмана, то будетъ казаться, что онъ есть.

— Куда мы съ тобой дѣнемся?—мучительно спрашиваетъ она его.

Онъ тоже глядитъ вопросительно, хочетъ сказать что-нибудь и не можетъ. Онъ самъ не разъ задавался этимъ вопросомъ и ни къ какому рѣшенію не пришелъ.

— Скажи, что мы будемъ дѣлать?—настаиваетъ она.

— Ахъ, да не мучь ты меня!

— Черезъ три мѣсяца у насъ ребенокъ будетъ. Надо теперь же начать.. Ходи, старайся, хлопочи!

— Стѣсниться придется на первое время...

— Нѣтъ, стѣсниться ужъ больше некуда, и безъ того тѣсно. Говорю тебѣ: надо кланяться, напоминать о себѣ, хлопотать... Хлопочутъ же другіе...

— Ну, хорошо, попытаюсь.

Но Черезовская удача и тутъ приходитъ къ нимъ на выручку. Черезъ мѣсяцъ Семена Александрыча дѣлаютъ хоть и не столоначальникомъ—начальство думаетъ, что для

этой должности онъ недостаточно боекъ,—а чѣмъ-то въ родѣ регистратора съ столоначальническимъ окладомъ. Это, впрочемъ, еще лучше, потому что у регистратора вечернихъ занятій нѣтъ; стало-быть, можно будетъ и частную службу за собой оставить. Только вотъ будущее какъ будто захлопнулось навсегда; но на радостяхъ онъ объ этомъ не думаетъ. Да и никогда, признаться, не думалъ, потому что *никогда* дверь будущаго не была передъ нимъ настежь раскрыта. Однако-жъ Надежду Владиміровну этотъ полууспѣхъ мужа нѣсколько смутилъ.

— Зачѣмъ мы сошлись, зачѣмъ мы живемъ!—мучительно волнуетъ она себя.

— Ты сама кормить будешь?—спрашиваетъ онъ ее, прерывая ея думу.

— Ахъ, почемъ я знаю! Зачѣмъ, зачѣмъ мы сошлись! жили бы мы...

До послѣдней возможности они, однако-жъ, живутъ въ меблированныхъ комнатахъ. Черезовъ успѣлъ, на всякій случай, скопить нѣсколько денегъ, несмотря на то, что Надежда Владиміровна лишилась мѣста въ банкирской конторѣ. Она сидитъ по утрамъ дома, готовится и помаленьку всматривается въ жизнь. Открытій оказалась бездна, но хозяйка квартиры и сосѣдка по комнатѣ не оставляютъ ее и помогаютъ своими указаніями хотя сколько-нибудь освоиться съ жизнью. Обѣ учатъ, что нужно приготовить для ожидаемаго первенца, и совѣтуютъ лечь въ родильный домъ.

— Гдѣ вамъ справиться, ничего вы въ жизни не видѣли!—говорятъ онѣ въ одинъ голосъ.—Ни вы, ни Семенъ Александрычъ и идти-то куда—не знаете. Такъ, по-пусту, будете путаться.

Такъ и сдѣлали. Она ушла въ родильный домъ; онъ исподволь подыскивалъ квартиру. Двѣ комнаты: одна будетъ служить общею спальней, въ другой—его кабинетъ, пріемная и столовая. И прислугу онъ нанялъ, пожилую женщину, не вѣтрогонку и добрую; сумѣетъ и супъ сварить, и кусокъ говядины изжарить, и за малюткой углядитъ, покуда матери дома не будетъ.

— Проживемъ!—утѣшаетъ онъ себя.

Наконецъ, ожидаемый первенецъ увидѣлъ свѣтъ. И благо ему, что онъ вступилъ въ жизнь въ родильномъ домѣ, при готовомъ уходѣ и своевременной врачебной помощи, потому что произойди этотъ случай въ своей квартирѣ—Семенъ

Александрычъ навѣрное запутался бы въ самую критическую минуту. Родился сынъ, и Надежда Владиміровна рѣшила кормить его сама. Спустя урочное время, она вышла изъ родильнаго дома, но работать еще не могла. Уходъ за ребенкомъ былъ такъ сложенъ, что отнималъ все время, да и заработка въ виду не было. Надо было переждать и потомъ опять просить, хлопотать. Тѣмъ не менѣе, они *продолжали жить*—и это было все, что̀ нужно.

Спустя нѣкоторое время, нашлась вечерняя работа въ томъ самомъ правленіи, гдѣ работалъ ея мужъ. По крайней мѣрѣ, они были вмѣстѣ по вечерамъ. Уходя на службу, она укладывала ребенка и, съ помощью кухарки Авдотьи, устраивалась такъ, чтобы онъ до прихода ея не былъ голоденъ. Жизнь потекла обычнымъ порядкомъ, вялая, сѣрая, даже сѣрѣе прежняго, потому что въ своей квартирѣ было голо̀ и царствовала какая-то надрывающая сердце тишина.

Даже ребенокъ не особенно радовалъ Черезовыхъ. Они до самой минуты его рожденія ничего такого не предвидѣли, и теперь ихъ единственно занималъ вопросъ: какъ онъ проживетъ (разумѣется, съ матеріальной стороны)? То-есть, тотъ самый вопросъ, который ихъ самихъ ежеминутно терзалъ и который они инстинктивно переносили и на ребенка. Этотъ вопросъ обнималъ собою и высшую любовь, и высшее нравственное убожество. Высшую любовь—потому что въ благополучномъ его разрѣшеніи заключалось, по ихъ воззрѣнію, все благо, весь жизненный идеалъ; высшее нравственное убожество—потому что, даже въ случаѣ удачнаго разрѣшенія вопроса о пропитаніи, за нимъ ничего иного не видѣлось, кромѣ пустоты и безнадежности.

Ребенокъ росъ одиноко; жизнь родителей, тоже одинокая и постылая, тоже шла особнякомъ, почти не касаясь его. Сынокъ удался—это былъ тихій и молчаливый ребенокъ, весь въ отца. Весь онъ, казалось, былъ погруженъ въ какую-то загадочную думу, мало говорилъ, ни о чемъ не разспрашивалъ, даже не передразнивалъ разносчиковъ, возглашавшихъ на дворѣ всякую всячину.

— Ты у меня, Гриша, будешь умница? — спрашивалъ Семенъ Александрычъ, гладя его по головѣ.

Гриша удивленно взглядывалъ на отца, какъ бы говоря: неужто можно сомнѣваться въ этомъ?

Изъ Надежды Владиміровны даже посредственной хозяйки не вышло. Она разсудила, съ своей точки зрѣнія, очень правильно: на хозяйствѣ, какъ ни бейся, все-таки

выгадаешь какой-нибудь двугривенный, тогда какъ «работа» во всякомъ случаѣ дастъ рубль. И, заручившись этою истиной, подыскала себѣ утренній урокъ, который на два часа сокращалъ ея домашнюю жизнь. Теперь у нея явилось страстное желаніе копить; но скапливались такіе пустяки, что просто совѣстно. Слыхала она, правда, анекдотъ про человѣка, который, выходя изъ дома, начиналъ съ того, что кликалъ извозчика, упорно держась гривенника, покуда не доходилъ до мѣста пѣшкомъ, и такимъ образомъ составилъ себѣ цѣлое состояніе. Но какъ-то плохо вѣрилось этому анекдоту, когда, несмотря на всѣ урѣзыванья, въ результатѣ оказывалось, что годовой доходъ увеличивался на какихъ-нибудь пять рублей.

— Сколько онъ башмаковъ въ годъ износитъ!—сѣтовала она на Гришу:—скоро, поди, и изъ рубашекъ вырастетъ... А потомъ надо будетъ въ ученье отдавать, пойдутъ блузы, мундиры, пальто... и каждый годъ новое! Вотъ когда мы настоящую нужду узнаемъ.

Словомъ сказать, сѣтованіямъ и испугу конца не было. Даже кухарка Авдотья начала скучать, слыша безпрестанные толки о трудностяхъ жизни.

— Точно вы на каторгѣ оба живете!—ворчала она:—по-моему, день прошелъ,—и слава Богу! Сегодня прошелъ—завтра прошелъ,—что тутъ загадывать!

Она одна относилась къ ребенку по-человѣчески, и къ ней одной онъ питалъ нѣчто въ родѣ привязанности. Она разсказывала ему про деревню, про бывшихъ помѣщиковъ, какъ имъ привольно жилось, какая была сладкая ѣда. Отъ нея онъ получилъ смутное представленіе о полѣ, о лѣсѣ, о крестьянской избѣ.

— И какъ это ты проживешь, ничего не видѣвши!—кручинилась она:—хотя бы у колонистовъ на лѣто папенька со маменькой избушку наняли. И недорого, и по крайности ты хоть настоящую траву, настоящее деревцо увидѣлъ бы, просторъ узналъ бы, здоровья бы себѣ нагулялъ, а то ишь ты блѣдный какой! Посмотрю я на тебя—и при родителяхъ ровно ты сирота!

Изрѣдка она уводила его на рынокъ или въ лавку: пускай, по крайности, хоть на людей посмотритъ, каковы-таковы живые люди бываютъ!

Однако-жъ главное все-таки было въ порядкѣ, и Черезовская удача продолжала не измѣнять. Семенъ Александрычъ регистраторствовалъ съ такимъ тактомъ, что началь-

никъ говорилъ про него: «въ первый разъ вижу человѣка, который попалъ на свое мѣсто,—именно таковъ долженъ быть истинный регистраторъ!»

Частная служба хотя и не представляла прежней устойчивости, особенно у Надежды Владиміровны, но все-таки не приносила особенныхъ ущербовъ. Колесо было пущено, составилась репутація, — стало-быть, и съ этой стороны бояться было нечего. Но бояться чего-нибудь все-таки было надобно. Боялись, что вдругъ придетъ болѣзнь и поставитъ кого-нибудь изъ нихъ въ невозможность работать...

— Что тогда мы будемъ дѣлать?—мучилась Надежда Владиміровна.

— Да, на казенной-то службѣ еще потерпятъ,—вторилъ ей Семенъ Александрычъ:—а вотъ частныя занятія... Признаюсь, и у меня мурашки по кожѣ при этой мысли ползаютъ! Однако что же ты, наконецъ! все слава Богу, а тебѣ съ чего-то вздумалось!

По временамъ его самого начали уже обременять назойливые страхи, которые преслѣдовали Надежду Владиміровну. Онъ настолько обтерпѣлся, что ему было почти удобно. Каторга не изнурила его, а, напротивъ, казалось, укрѣпила и закалила. Къ петербургской атмосферической сутолокѣ, съ ея сыростью, измѣнчивостью и непогодами, онъ привыкъ и чувствовалъ себя вполнѣ здоровымъ; жена и сынъ тоже никогда не бывали больны. Зачѣмъ же придумывать напрасныя угрозы въ будущемъ? Авдотья разсуждаетъ въ этомъ случаѣ правильнѣе: день прошелъ, и слава Богу! Въ ихъ положеніи иначе не можетъ и быть.

— А что, если и въ самомъ дѣлѣ...—внезапно мелькало у него въ головѣ.—Что тогда?

Онъ усиленно зарывался въ работу, чтобы заглушить эти мысли, чтобы не терзали онѣ его.

Оказалось, однако-жъ, что Надежда Владиміровна была права: Черезовская удача совсѣмъ неожиданно измѣнила. Все шло своимъ порядкомъ, тихо, безмятежно и вдругъ порвалось. И именно порвала болѣзнь.

Однажды, глубокою осенью, Черезовъ возвращался вечеромъ изъ своего правленія. Идти было довольно далеко, а на улицѣ точно свѣтопреставленіе царствовало. Дождь лилъ какъ изъ ведра, тротуары были полны водой, вѣтеръ выл какъ бѣшеный и вмѣстѣ съ потоками дождя, проникалъ за воротникъ пальто. Впрочемъ, Черезову не въ первый разъ приходилось видѣть картины петербургскаго безвременья.

онъ прибавилъ шагу и шелъ. Но, пришедши домой, почти мгновенно почувствовалъ легкій ознобъ: оказалось, что онъ промочилъ ноги. Жена раздѣла его, напоила нàскоро чаемъ, укутала и уложила въ постель. Предчувствіе грозы уже томило ее, но на этотъ разъ она не высказалась. Къ двумъ часамъ ночи онъ былъ весь въ огнѣ и разбудилъ жену. Хотѣли бѣжать за докторомъ, но было такъ поздно, и непогода такъ разыгралась, что онъ посовѣстился. Ограничились тѣмъ, что опять напоили его чаемъ и еще плотнѣе укутали.

— Теперича его въ потъ вгонитъ,—утѣшала Авдотья:— а къ утру пòтомъ болѣзнь и выгонитъ. Посидитъ денька два дома, а потомъ и опять молодцомъ на службу пойдетъ!

Но пòта не появлялось; напротивъ, тѣло становилось все горячѣе и горячѣе, губы запеклись, языкъ высохъ и бормоталъ какія-то несвязныя слова. Всю остальную ночь Надежда Владиміровна просидѣла у его постели, смачивая ему губы и языкъ водою съ уксусомъ. По временамъ онъ выбивался изъ-подъ одѣяла и пылающею рукою искалъ ея руку. Мало-по-малу невнятное бормотанье превратилось въ настоящій бредъ. Посреди этого бреда появлялись минуты какого-то вымученнаго просвѣтленія. Очевидно, въ его головѣ носились терзающія воспоминанія.

— Чтò я дѣлалъ? зачѣмъ жилъ?—стоналъ онъ и затѣмъ, обращаясь къ женѣ. повторялъ:—чтò мы дѣлали? зачѣмъ жили?

Утромъ, часу въ девятомъ, какъ только на дворѣ побѣлѣло, Надежда Владиміровна побѣжала за докторомъ; но послѣдній былъ еще въ постели и выслалъ сказать, что пріѣдетъ въ одиннадцать часовъ.

Когда она воротилась домой, больной какъ будто утихъ, но все-таки не спалъ, а только находился въ лихорадочномъ полузабытьѣ. Почуявъ ея присутствіе, онъ широко открылъ глаза и, словно сквозь сонъ, сказалъ:

— Чтò мы дѣлали? зачѣмъ жили?

Затѣмъ онъ опять началъ метаться, повторяя:

— Ахъ, какіе все пустяки! пустяки! пустяки! пустяки!

Она стояла возлѣ него, неподвижная, блѣдная, замученная, и вслѣдъ за нимъ такъ же, словно сквозь сонъ, твердила:

— Ахъ, какіе все пустяки! пустяки! пустяки! пустяки!

Даже Авдотья, стоя поодаль и утирая слезы концомъ головного платка, всхлипывала:

— Надорвался!.. сердечный!

Сынъ (ему было уже шесть лѣтъ) забился въ уголъ въ кабинетѣ и молчалъ какъ придавленный, точно впервые понялъ, что передъ нимъ происходитъ нѣчто не фантастическое, а вполнѣ реальное. Онъ сосредоточенно смотрѣлъ въ одну точку—на раскрытую дверь спальни—и ждалъ.

Въ одиннадцать часовъ пріѣхалъ докторъ, осмотрѣлъ больного и осторожно заявилъ, что Черезовъ безнадеженъ.

— До вечера, можетъ-быть, доживетъ,—сказалъ онъ:—но въ ночь... Впрочемъ, я вечеркомъ забѣгу.

— Что такое мы дѣлали? Зачѣмъ, зачѣмъ мы жили?—стоналъ между тѣмъ больной.

Къ вечеру, едва смерклось, какъ началась агонія. Сравнительно, онъ умиралъ покойно и уже въ полномъ сознаніи сказалъ женѣ:

— Надя! Тебѣ будетъ трудно... Не справиться... И сама ты, да еще сынъ на рукахъ. Ахъ, зачѣмъ, зачѣмъ была дана эта жизнь? Надя! Вѣдь мы въ каторгѣ были и называли это жизнью, и даже не понимали, изъ чего мы бьемся, что дѣлаемъ; ничего мы не понимали!

Въ шесть часовъ вечера его не стало. Черезовская удача до такой степени измѣнила, что онъ не воспользовался даже льготнымъ срокомъ, который на казенный службѣ дается заболѣвшимъ чиновникамъ. Надежда Владиміровна совсѣмъ растерялась. Ей не приходило въ голову, что нужно обрядить умершаго, послать за гробовщикомъ, положить покойника на столъ и пригласить псаломщика. Все это сдѣлала за нее Авдотья.

Черезъ два дня его схоронили у Митрофанія на счетъ небольшого пособія, присланнаго изъ департамента. Похороны состоялись безъ помпы, хотя департаментъ командировалъ депутата для присутствованія. Депутатъ доѣхалъ на извозчикѣ до Измайловскаго проспекта, тамъ юркнулъ въ первую кондитерскую и исчезъ. За гробомъ дошли до кладбища только Надежда Владиміровна и Авдотья.

Но тутъ Черезовская удача опять воротилась. Надеждѣ Владиміровнѣ назначили пенсію въ триста рублей, хотя мужъ ея никакого пенсіоннаго срока не выслужилъ, а въ такомъ размѣрѣ и недавно.

Она и теперь продолжаетъ работать съ утра до вечера. Теряя одну работу, подыскиваетъ другую, такъ что «каторга» остается въ прежней силѣ.

4.—Чудиновъ.

«Нѣтъ, вздумалъ странствовать одинъ
изъ нихъ летѣть...»

Онъ самъ опредѣленно не знаетъ, что̀ привело его изъ глубины провинціи въ Петербургъ. Учиться и для того, чтобы достигнуть этого, отыскать работу, которая давала бы средства хоть для самаго скуднаго существованія,—вотъ единственная мысль, которая смутно бродитъ въ его головѣ.

Николай Чудиновъ—очень бѣдный юноша. Отецъ его служитъ главнымъ бухгалтеромъ казначейства въ отдаленномъ уѣздномъ городкѣ. По-тамошнему это мѣсто недурное, и семья могла содержать себя безъ нужды, какъ вдругъ сыну пришла въ голову какая-то «гнилая фантазія». Ему было двадцать лѣтъ, а онъ уже возмечталъ! Учиться! Развѣ мало онъ учился! Слава Богу, кончилъ гимназію—и будетъ.

Дѣйствительно, Николай уже прошелъ гимназическій курсъ и готовился поступить въ университетъ, когда Андрей Тимоѳеичъ вызвалъ его къ себѣ, находя, что учиться довольно. Юноша пріѣхалъ; его сейчасъ же зачислили въ штатъ полицейскаго управленія и назначили двѣнадцать рублей мѣсячнаго жалованья; при готовыхъ хлѣбахъ и даровой квартирѣ этого было достаточно. Предстояло на трудовой заработокъ только одѣться, обуться, да кой-какія мелочи исправить. Посидитъ на этомъ окладѣ, а скоро, глядишь, и прибавятъ рубля три. И такимъ-то образомъ не всякому удается начинать. А затѣмъ и въ уѣздѣ—дорога широкая. И въ становые пристава, и въ непремѣнные члены, а можетъ-быть, и въ исправники—всюду пройти можно,—былъ бы царь въ головѣ. А не то такъ и въ мировыя учрежденія, въ земство. У Андрея Тимоѳеича есть связи въ уѣздѣ. Всѣмъ до казначейства есть дѣло, а онъ—душа казначейства. Стало-быть, того, другого попроситъ, состоится единогласное избраніе—вотъ и мировой судья готовъ. Шутка сказать! вѣдь это двѣ тысячи рублей одного содержанія, а съ канцеляріей, да съ камерой—и не сочтешь, сколько тутъ денегъ наберется!

Но юноша, вскорѣ послѣ пріѣзда, ужъ началъ скучать, и такъ какъ онъ былъ единственный сынъ, то отецъ и мать натурально встревожились. Ни на что̀ онъ не жаловался, но на службѣ старанья не проявилъ, жилъ особнякомъ и не искалъ знакомствъ. «Не ко двору онъ въ родномъ городѣ, не любитъ своихъ родителей!»—тужили ста-

рики. Пытали они рисовать передъ нимъ соблазнительныя перспективы—и все задаромъ.

— Ежели не по нутру тебѣ полицейская служба—можно въ земство махнуть!—говорилъ отецъ.—Попрошу Ивана Петровича да Семена Николаевича—кому другому, а мнѣ не откажутъ. Сначала въ секретари управы, благо нынѣшній секретарь въ лѣсъ глядитъ, а тамъ куплю на твое имя двѣсти десятинъ болота—и въ члены попадешь. Здѣсь, мой другъ, все въ нашихъ рукахъ. Захотимъ, такъ и въ судьи попадемъ, нѣтъ нужды, что ты университета не кончилъ. Того же Ивана Петровича попрошу—онъ какъ разъ единогласное избраніе оборудуетъ. Вотъ ты и на виду, и въ люди показаться не стыдно. Стоитъ только годика два до новыхъ выборовъ подождать.

Николай не возражалъ противъ отцовскихъ увѣщаній, но и согласія не заявлялъ. Онъ продолжалъ скучать, жить особнякомъ и тревожить родительскія сердца. Наконецъ, однако-жъ, пришлось высказаться.

— Я бы въ Петербургъ желалъ,—сказалъ онъ нерѣшительно.

— Что ты тамъ забылъ?

— Въ университетъ хочу поступить. Началъ ученье и не кончилъ...

— А чѣмъ же ты будешь въ Петербургѣ жить?

— Устроюсь какъ-нибудь. Мнѣ бы только доѣхать, а тамъ уроки найду, частныя занятія—много ли мнѣ на прожитокъ нужно!

— Слышалъ я, что казенныя стипендіи въ триста рублей полагаютъ, стало-быть, меньше этого прожить нельзя. Да за лекціи отъ платы освобождаютъ—это тоже счетъ. Гдѣ ты эти триста-четыреста рублей добудешь?

— Какъ-нибудь...

— Съ «какъ-нибудь»-то люди голодомъ сидятъ, а ты прежде подумай да досконально все разсчитай, насъ, стариковъ, пожалѣй... Мы вѣдь настоящей помощи дать не можемъ, сами въ обрѣзъ живемъ. Ахъ, не чаяли печали, а она за угломъ стерегла!

Но сколько старики ни тратили убѣжденій, въ концѣ-концовъ все-таки пришлось уступить. Собрали кой-какъ рублей двѣсти на дорогу и на первыя издержки и снарядили сынка. Въ одно прекрасное утро Николай сѣлъ съ попутчикомъ въ телѣгу—и слѣдъ его простылъ, а старики остались дома выплакивать остальныя слезы.

Однако, по мѣрѣ приближенія къ Петербургу, молодой Чудиновъ началъ чувствовалъ нѣкоторое смущеніе. Какъ ни силился онъ овладѣть собою, но страхъ неизвѣстнаго все больше и больше проникалъ въ его сердце. Спутники по вагону разспрашивали его, и что-то сомнительное слышалось въ ихъ вопросахъ и отвѣтахъ.

— Въ Петербургъ?—спрашивали его.

— Да, въ Петербургъ.

— При должности-съ?

— Нѣтъ, учиться хочу.

— Такъ-съ. При родителяхъ будете жить?

— Нѣтъ, родители у меня живутъ въ провинціи.

— Ну, все равно, помогать будутъ?

— И помощи я отъ нихъ ждать не могу. Самъ долженъ буду о себѣ заботиться.

— Мудреное дѣло-съ.

— Отчего же? Мнѣ многаго не нужно, а добыть урокъ или два, или какое-нибудь занятіе—неужели это такъ трудно?

— Кандидатовъ слишкомъ довольно. На каждое мѣсто десять-двадцать человѣкъ, другъ у дружки такъ и рвутъ. И чѣмъ больше нужды, тѣмъ труднѣе: нынче и къ мѣсту-то пристроиться легче тому, у кого особенно нужды нѣтъ. Довѣрія больше, коли человѣкъ не жмется, вольной ногой въ квартиру къ нанимателю входитъ. Одежда нужна хорошая, видъ откровенный. А коли этого нѣтъ, такъ хошь сто лѣтъ грани мостовую—ничего не получишь. Нѣтъ, ежели у кого родители есть—самое святое дѣло подъ крылышкомъ у нихъ смирно сидѣть.

— А ежели учиться хочется?

— Хотѣнье-то наше не для всѣхъ вразумительно. Деньги нужно добыть, чтобы хотѣнье выполнить, а онѣ на мостовой не валяются. Ѣсть нужно, пріютъ нуженъ, да и за ученье, само собой, заплати. На пожертвованія надежда плоха, потому нынче и безъ того всѣ испрожертвовались. Туда десять цѣлковыхъ, въ другое мѣсто десять цѣлковыхъ—анъ, подъ конецъ, и скучно!

И такъ далѣе.

Назойливо тянулась эта нить дорожныхъ разговоровъ, тревожа и волнуя Чудинова. Но вотъ, наконецъ, показался и Петербургъ.

Чудиновъ очутился на улицѣ съ маленькимъ сакомъ въ рукахъ. Онъ былъ словно пьянъ. Озирался направо и налѣво, слышалъ шумъ экипажей, крикъ кучеровъ и извоз-

чиковъ, говоръ толпы. Къ счастію, послѣдній его собесѣдникъ по вагону—добрый, должно-быть, человѣкъ былъ,—проходя мимо, крикнулъ ему:

— Коли не знаете, гдѣ остановиться, такъ ступайте къ Аннѣ Ивановнѣ въ Разъѣзжую: у нея много горюновъ живетъ. Номера порядочные, обѣдъ—тоже, а главное, сама она добрая. Можетъ-быть, и насчетъ занятій похлопочетъ. Покуда что, у нея и поживете.

Чудиновъ, разумѣется, послѣдовалъ этому совѣту.

Указанные номера помѣщались въ четвертомъ этажѣ громаднаго дома. Его встрѣтила въ дверяхъ сама хозяйка, чистенькая старушка лѣтъ подъ шестьдесятъ. Было около десяти часовъ, и номера пустѣли; въ коридорѣ то и дѣло сновали уходящіе жильцы.

— Вамъ номерокъ? небольшой?—привѣтливо спросила хозяйка, оглядывая пріѣзжаго.

— Да, изъ самыхъ недорогихъ.

— Рублей на пятнадцать съ обѣдомъ въ мѣсяцъ? Удобно это для васъ?

Комнатка, дѣйствительно, оказалась совсѣмъ маленькая. Одно окно; около двери кровать; въ другому углу, возлѣ окна, раскрытый ломберный столъ съ чернильнымъ приборомъ; три плетеныхъ стула.

— Обѣдъ будетъ изъ двухъ блюдъ: супъ и мясное блюдо,—продолжала хозяйка.—Считается въ двадцать копеекъ; а ежели третье блюдо закажете—прибавка 15 копеекъ. Обѣдаютъ въ общей столовой между пятью и шестью часами, какъ кто удосужается. Остальные девять рублей—за квартиру. Мелочныхъ расходовъ прислугѣ, дворнику—рубля два въ мѣсяцъ наберется. Чай—вашъ, свѣчи—тоже ваши. Вы мѣсто искать пріѣхали?

Чудиновъ сказалъ ей.

— Учиться?—переспросила она.—Но вѣдь у васъ и въ своемъ округѣ университетъ есть? Зачѣмъ непремѣнно въ Петербургъ? Вся провинція въ Петербургъ поднялась, а здѣсь, какъ нарочно, двери все плотнѣе и плотнѣе запираются! Точно повѣтріе.

Чудиновъ не могъ ничего болѣе объяснить. Нельзя же сказать, что его влекла въ Петербургъ безотчетная сила,—это было слишкомъ субъективное побужденіе, чтобы оправдать серьезный жизненный шагъ. Хозяйка согласилась, впрочемъ, что разъ дѣло сдѣлано—не возвращаться же назадъ. Затѣмъ она, безъ всякой назойливости, а просто

изъ добраго участія, разспросила его о средствахъ, которыми онъ располагаетъ, и объ его надеждахъ въ будущемъ. Оказалось, что у него отъ дороги осталось около полутораста рублей, что изъ дома онъ надѣется получать не больше пятидесяти, ста рублей въ годъ, и что главный разсчетъ его на свой собственный трудъ.

— Занятій пріискивать будете? уроковъ? Вотъ здѣсь, въ номерахъ, собственными глазами увидите, легко ли это добывается,—сказала она.—Иные по году бьются, кругомъ задолжали—и все ни при чемъ. Вотъ, благослови Господи, за лекціи около двадцати пяти рублей за первое полугодіе уплатить нужно, да мундирчики нынче требуются, да объявленія въ газетахъ придется печатать,—смотришь, изъ вашихъ полутораста-то рублей и немного останется. Ну, да тамъ увидится. И то, правду сказать, запугиваньемъ дѣла не поправишь. Были бы хоть на первыхъ порахъ сыты.

Въ тотъ же день, за обѣдомъ, одинъ изъ жильцовъ, студентъ третьяго курса, объяснилъ Чудинову, что такъ какъ онъ поступаетъ въ юридическій факультетъ, то за лекціи ему придется уплатить за полугодіе около тридцати рублей, да обмундированіе будетъ стоить съ форменной фуражкой и шпагой, по малой мѣрѣ, семьдесятъ рублей. Объявленія въ газетахъ тоже потребуютъ изрядныхъ денегъ.

— Я двадцать рублей, по крайней мѣрѣ, издержалъ, а черезъ полгода только одинъ урокъ въ купеческомъ домѣ получилъ, да и то случайно. Двадцать рублей въ мѣсяцъ зарабатываю, да, вдобавокъ, поученія по поводу разврата, обуявшаго молодое поколѣніе, выслушиваю. А въ лѣтнее время на шеѣ у отца съ матерью живу, благо ѣхать къ нимъ недалеко. А имъ и самимъ жить нечѣмъ.

— Какъ же вы на двадцать рублей ухитряетесь жить?

— Да такъ вотъ. Отецъ рубля три въ мѣсяцъ высылаетъ, переписывать рубля на два достаю, по десяти копеекъ съ листа, да и то почти насильно выклянчилъ. Отъ чая я ужъ отказался, ѣмъ разъ въ сутки, — сами видите, какая это ѣда! За лекціи уплачивать нѣсколько разъ запаздывалъ,—чуть не исключили. Насилу упросилъ. Хозяйкѣ и сейчасъ за три мѣсяца долженъ, а она тоже изъ-за корки хлѣба бьется. Хорошо, что на третьемъ курсѣ состою, хоть обмундированье для меня не обязательно, а для васъ и это потребуется. Нынче у насъ на первомъ курсѣ студенты чистенькіе, напомаженные. И душа у нихъ напомаженная. Ходятъ по улицамъ, шпагой поигрываютъ, думаютъ: чѣмъ

мы хуже пажей? И солдаты имъ честь отдаютъ,—тоже лестно! Не тотъ ужъ нынче университетъ, что прежде.

Вообще, некрасивую картину нарисовалъ новый знакомецъ и въ заключеніе прибавилъ:

— Не забудьте, что такъ какъ вы, послѣ полученія аттестата зрѣлости, два года баклуши били, то для васъ потребуется провѣрочный экзаменъ. Tolle me, mu, mi, mis, si declinare domus vis—не забыли?

На другой же день начались и похожденія Чудинова. Прежде всего онъ отправился въ контору газеты и подалъ объявленіе объ урокѣ, при чемъ упомянулъ объ основательномъ знаніи древнихъ языковъ, а равно и о томъ, что не прочь и отъ переписки. Потомъ явился въ правленіе университета, подалъ прошеніе и получилъ отвѣтъ, что онъ обязывается держать повѣрочный экзаменъ.

Былъ августъ мѣсяцъ въ началѣ, но на дворѣ уже нахло осенью. Наступало дождливое время, вечера темнѣли, да, благодаря постоянно покрытому тучами небу, улицы съ утра уже наполнялись сумерками. Но городъ мало-по-малу оживалъ; уличное движеніе становилось замѣтнѣе и замѣтнѣе. Съ лѣтней каторги обыватели перемѣщались на зимнюю, въ надеждѣ хоть печнымъ тепломъ отогрѣться отъ лѣтнихъ продуваній и сквозныхъ вѣтровъ. Сколько при этихъ переѣздахъ испорчено было мебели, сколько распростудилось кухарокъ—это пойметъ только коренной петербургскій житель, которому ни флюсы, ни желудочные катарры, ни плевриты—ничто не въ поученіе.

Экзаменъ Чудиновъ сдалъ исправно, внесъ плату за предстоящій учебный семестръ и въ свое время пунктуально началъ посѣщать университетъ. По примѣру другихъ, онъ обмундировался и на первыхъ же порахъ убѣдился въ справедливости отзыва его новаго знакомца по номерамъ. Въ мундирѣ онъ и самъ себя не узналъ. Онъ какъ-то невольно взглянулъ на свои волосы и сказалъ: «надо припомадиться». Новые его собратья по наукѣ смотрѣли такъ мило и такъ свѣжо, такъ всѣ другъ на друга были похожи, что производить диссонансъ въ этомъ гармонически сложившемся міркѣ было совсѣмъ немыслимо. Старые лохматые дикари печально доживали свой срокъ на послѣднихъ курсахъ. Пройдетъ два-три года, и все будетъ мило, благородно—заглядѣнье.

Прошелъ мѣсяцъ, но ни урока, ни переписки не являлось. Чудиновъ напечаталъ новое объявленіе и дней черезъ

пять получилъ приглашеніе явиться. Онъ не пошелъ, а полетѣлъ, и успѣлъ понравиться. Условились за двадцать пять рублей въ мѣсяцъ, съ тѣмъ, чтобы за эту сумму ходить каждый день и приготовлять двухъ мальчиковъ къ поступленію въ гимназію. Давно онъ не чувствовалъ себя такъ бодро и весело. Но когда онъ на другой день вечеромъ явился на урокъ, то ему сказалъ швейцаръ, что утромъ приходилъ другой студентъ, взялъ двадцать рублей и получилъ предпочтеніе.

— Что же мнѣ не сказали? Я бы...—началъ-было Чудиновъ, но понялъ, что дѣло его потеряно, и замолкъ.

Съ тѣхъ поръ, несмотря на неоднократно возобновляемыя объявленія, вопросъ объ урокѣ словно въ воду канулъ. Не отыскивалось желающихъ окунуться въ силоамскую купель просвѣщенія — и только. Деньги, привезенныя изъ дому, таяли-таяли и, наконецъ, растаяли...

. . . . . .

На дворѣ мартъ. Цѣлыхъ шесть мѣсяцевъ не было ни осени, ни зимы, да и теперь весны нѣтъ, а какое-то безвременье. Чудиновъ попрежнему живетъ въ номерахъ у Анны Ивановны, но онъ уже исключенъ изъ числа студентовъ за невзносъ полугодовой платы. Старику-отцу слѣдовало бы свидѣтельство о бѣдности для сына справить, а онъ, вмѣсто того, охалъ да ахалъ. А впрочемъ, и съ свидѣтельствомъ недалеко уйдешь, ежели при повѣркѣ въ извѣстныхъ предметахъ отличнѣйшихъ познаній не выкажешь. Молодой человѣкъ прожилъ не только привезенныя съ собой деньги, но и сторублевое пособіе, полученное изъ дома. Безработица продолжаетъ преслѣдовать его, хотя хозяйка и жильцы всячески старались ему помочь въ его исканіяхъ. Сунулся онъ было въ комитетъ вспомоществованія, но тамъ ему выдали восемь рублей, а ссуду онъ попросить не рѣшился, сробѣлъ. О стипендіи онъ и не мечталъ: что-то еще скажетъ экзаменъ при переходѣ на второй курсъ, а до тѣхъ поръ и думать нечего... Хозяйкѣ онъ давно задолжалъ, но она не тревожитъ его, и это съ ея стороны представляетъ тѣмъ бо́льшую жертву, что молодой человѣкъ серьезно заболѣлъ. Онъ подозрительно кашляетъ, тяжело дышитъ и безпрерывно хватается за грудь. Говорятъ, у него чахотка, да у него и у самого смутно мелькаетъ въ головѣ, что конецъ недалеко. Ходилъ онъ раза два къ доктору; тотъ объяснилъ, что болѣзнь его—слѣдствіе худого питанія, частыхъ простудъ, обнадежилъ про-

писалъ лѣкарство и сказалъ, что весной надо уѣхать. На какія деньги покупать лѣкарство? Куда ѣхать?

Учился онъ страстно, все думалъ какъ-нибудь выбраться, переждать суровую нужду. Отъ чая отказался, отъ обѣда—тоже. Платить двадцать копеекъ за обѣдъ оказывалось не подъ силу. Онъ бралъ на десять копеекъ два пирога въ пирожной и этимъ былъ сытъ. Но выбраться все-таки не удалось. Приходилось разстаться съ завѣтной мечтой, бросить ученье. Для другихъ оно было свѣточемъ жизни, для него—погребальнымъ факеломъ. Всякую надежду на лучшее будущее предстояло оставить, сказать себѣ разъ навсегда, что лучъ свѣта уже не согрѣетъ его существованія. И затѣмъ отдаться въ жертву голодной смерти.

Теперь онъ даже въ пирожную ходить не можетъ: и денегъ нѣтъ, и силы таютъ съ каждымъ днемъ. Съ трудомъ Анна Ивановна уговорила его не отказываться отъ скуднаго обѣда въ два блюда, обнадеживъ, что не все еще пропало, и что со временемъ она возвратитъ свои издержки.

— Мнѣ приходскій батюшка обѣщалъ безпремѣнно достать для васъ урокъ,—сказала она:—тогда и заплатите. И въ университетъ начнете ходить. Упросимъ какъ-нибудь принять взносъ.

Тайно отъ него она извѣстила стараго бухгалтера о безнадежномъ положеніи молодого человѣка. Старикъ собрался съ силами и опять выслалъ двѣсти рублей, но требовалъ, чтобы сынъ непремѣнно воротился въ родное гнѣздо.

Семь часовъ вечера. Чудиновъ лежитъ въ постели; лицо у него въ поту; на тѣлѣ чувствуется то ознобъ, то жаръ; у изголовья его сидитъ Анна Ивановна и вяжетъ чулокъ. Въ полузабытьѣ ему представляется то свѣтлый духъ съ свѣточемъ въ рукахъ, то злобная парка съ смердящимъ факеломъ. Это—«ученье», ради котораго онъ оставилъ родной кровъ.

Странное дѣло: припоминается ему—точно такой случай былъ у нихъ въ городѣ. Пріѣхали повѣрять торговлю и зашли къ сапожнику, который пропитывался своимъ ремесломъ одинъ, безъ учениковъ. «Есть свидѣтельство на мѣщанскіе промыслы?»—Нѣтъ свидѣтельства!—Запечатали сапожный инструментъ и ушли. Онъ тоже ушелъ... въ кабакъ. Точно такъ же и тутъ. «Учиться желаю».—Извольте внести впередъ за семестръ такую-то сумму.—«Нѣтъ у меня такой».—А нѣтъ суммы, и ученья нѣтъ.—Стало-быть, и учиться нельзя, а надо идти... куда? Ни учиться, ни ра-

ботать; только безпошлинно праздношататься—полная свобода, да и то ежели полиція не заподозритъ.

— Жарко мнѣ, вся подушка мокрая!—говоритъ онъ слабымъ голосомъ.

Анна Ивановна приподнимаетъ ему голову, ощупываетъ подушку и перевертываетъ ее, потому что наволочка дѣйствительно оказывается мокрой.

— Что вы все лежите, прибодрились бы,—говоритъ она:—запустите себя, потомъ и все въ постель да въ постель тянуть будетъ.

— Васъ мнѣ совѣстно; все вы около меня, а у васъ и безъ того дѣла по горло,—продолжаетъ онъ.—Вотъ отецъ къ себѣ зоветъ... Я и самъ вижу, что нужно ѣхать, да какъ быть? Ежели ждать—опять послѣднія деньги уйдутъ. Поскорѣе бы... какъ-нибудь... Главное, отъ желѣзной дороги полтораста верстъ на телѣгѣ придется трястись. Не выдержишь.

— Выдержите, молодцомъ пріѣдете. Скоро и тепло настанетъ. А деньги мы сбережемъ. Какой расходъ съ моей стороны будетъ—папенька заплатитъ.

— Добрая вы!

Чудинова всѣ любятъ. Докторъ отъ времени до времени навѣщаетъ его и не беретъ гонорара; въ номерахъ поселился студентъ медицинской академіи и тоже слѣдитъ за нимъ. Дѣвушка-курсистка смѣняетъ около него Анну Ивановну, когда послѣдней недосужно. Комнату ему отвели уютную, въ сторонѣ, поставили туда покойное кресло и стараются поблизости не шумѣть.

Но все-таки большую часть времени ему приходится оставаться одному. Онъ сидитъ въ креслѣ и чувствуетъ, какъ жизнь постепенно угасаетъ въ немъ. Ему постоянно дремлется, голова въ поту. Временами онъ встаетъ съ кресла, но дойдетъ до постели и опять ляжетъ.

Въ немъ происходитъ тотъ двойственный внутренній процессъ, который составляетъ принадлежность чахотки: и полная безнадежность, и въ то же время такое страстное желаніе жить, которое переходитъ въ увѣренность исцѣленія.

— Вотъ пріѣду домой, тамъ отгуляюсь,—мечтаетъ онъ:—лѣто, воздухъ, здоровая пища, уходъ и, наконецъ, сила молодости...

Но не успѣваетъ надежда согрѣть его существованіе, какъ разсудкомъ его всецѣло овладѣваетъ представленіе о смерти.

— Еще жить не начиналъ—и вдругъ смерть!—терзается онъ:—за что?

Воспоминанія толпою проходили передъ нимъ, но были однообразны и исчерпывались однимъ словомъ: «ученье». Припоминались товарищи по гимназіи, учителя, родные, но все это заслонялось «ученьемъ». Лицъ почти не существовало; ихъ замѣняло отвлеченное понятіе, которое, въ сущности, даже не давало пищи для ума. Ученье для ученья—вотъ тема, которая въ-конецъ измучила его. Только въ послѣднее время, въ Петербургѣ, онъ началъ понимать, что за ученьемъ можетъ стоять цѣлый разнообразный міръ отношеній. Что существуетъ общество, родная страна, дѣло, подвигъ... Что все это неудержимо влечетъ къ себѣ человѣка; что знаніе есть не больше, какъ подготовка; что экзаменами и переходами изъ курса въ курсъ не все исчерпывается...

Жизнь представлялась ему въ видѣ необъятнаго пространства, переполненнаго непрерывающимся движеніемъ. Тутъ все: и добро, и зло; и праздность, и трудъ; и ненависть, и любовь; и пресыщеніе, и горькая нужда; и самодовольство, и слезы, слезы безъ конца... Вотъ куда предстояло ему идти, вотъ гдѣ не жаль было растратить молодыя силы! Въ номерахъ у Анны Ивановны, въ общей столовой, часто велись разговоры на эту тему, и онъ жадно къ нимъ прислушивался. Даже больной онъ кое-какъ переходилъ въ столовую и чувствовалъ, какъ молодыя рѣчи и страстныя стремленія постепенно освѣщали его существо, зажигали его душу смутными, но уже неодолимыми стремленіями.

И что же!—едва занялась заря осмысленнаго существованія, какъ за нею уже стоитъ смерть!

— Тяжело умирать?—спрашиваетъ онъ Анну Ивановну.

— Что вы все про смерть, да про смерть!—негодовала она:—ежели все такъ будете, я и сидѣть съ вами не стану. Слушайте-ка, что я вамъ скажу. Я сама два раза умирала; одинъ разъ ужъ совсѣмъ-было... Да сказала себѣ: не хочу я умирать—и вотъ, какъ видите. Такъ и вы себѣ скажите не хочу умереть!

— Нѣтъ, что! мнѣ теперь легко; хотѣлось бы, однако признаки знать. Ежели люди вообще тяжело умираютъ, стало-быть, еще я, пожалуй, и продержусь. Но чахоточные, говорятъ, умираютъ почти незамѣтно, такъ вотъ это...

Студентъ-медикъ тоже разувѣрялъ его, говорилъ, что у

него не чахотка, а просто бронхи не въ порядкѣ, и это, конечно, можетъ перейти въ чахотку, ежели не принять мѣръ.

— Вотъ пройдетъ весенняя сумятица — и вамъ легче будетъ,—говорилъ студентъ:—поѣдете домой—тамъ совсѣмъ другой будете. Только въ Петербургъ ужъ—шабашъ! Ежели хотите учиться, такъ отправляйтесь въ другое мѣсто.

— А тяжело умирать?—добивался отъ него Чудиновъ.

— Смерть никогда не легка, особливо ежели ей предшествуетъ продолжительный болѣзненный процессъ. Бываетъ, что люди годами выносятъ сущую пытку и все-таки боятся умереть. Таковъ ужъ инстинктъ самосохраненія въ человѣкѣ. Вотъ внезапно, сразу умереть—это, говорятъ, ничего.

Благодаря этимъ разувѣреніямъ, онъ ободрился и сталъ свѣтлѣе смотрѣть на будущее. Конечно, дверь ученья для него уже закрыта, но онъ какъ-нибудь доберется до дома, отдохнетъ, выправится и непремѣнно выполнитъ ту задачу, которая въ послѣднее время начала волновать его. Надо идти туда, гдѣ сгустился мракъ, откуда слышатся стоны, куда до такой степени не проникъ лучъ сознательности, что вся жизнь кажется отданною въ жертву неосмысленному обычаю,—и не слышно даже о стремленіи освободиться отъ оковъ его. Тамъ достаточно и тѣхъ знаній, которыми онъ уже обладаетъ, а ежели ихъ окажется мало, то онъ восполнитъ этотъ недостатокъ любовью, самоотверженіемъ.

Наконецъ, есть книги. Онъ будетъ читать, найдетъ въ чтеніи матеріалъ для дальнѣйшаго развитія. Во всякомъ случаѣ, онъ дастъ, что̀ можетъ, и не его вина, ежели судьба и горькія условія жизни заградили ему путь къ достиженію завѣтныхъ цѣлей, которыя онъ почти съ дѣтства для себя намѣтилъ. Главное, быть бодрымъ и не растрачивать по-пусту того, чѣмъ онъ уже обладалъ.

Въ его воображеніи рисовалась деревня. Въ сущности, впрочемъ, онъ зналъ ее очень мало, хотя и провелъ все дѣтство о-бокъ съ нею. Главный матеріалъ для знакомства съ деревенскимъ бытомъ ему дали собесѣдованія съ новыми знакомцами по общей квартирѣ, но въ матеріалѣ этомъ было слишкомъ много дано мѣста романтическому «несчастному» и упускалось изъ вида конкретное, упорствующее, неподдающееся. Онъ представлялъ себѣ, что нужно только придти, и не задавался вопросомъ, какъ будетъ принятъ его приходъ. Согласны ли будутъ скованные

преданіемъ люди сбросить съ себя иго этого преданія? Не пустило ли послѣднее настолько глубокіе корни, что для извлеченія ихъ, кромѣ горячаго слова, окажутся нужными и другіе пріемы? Въ чемъ состоятъ эти пріемы? Быть-можетъ, въ отождествленіи личной духовной природы пришельца съ подавленностью, охватившею духовный міръ аборигеновъ?

Въ сущности, однако-жъ, въ томъ положеніи, въ какомъ онъ находился, если бы и возникли въ умѣ его эти вопросы, они были бы лишними или, лучше сказать, только измучили бы его, затемнили бы въ-конецъ тотъ лучъ, который хоть на время освѣтилъ и согрѣлъ его существованіе. Все равно, ему ни идти никуда не придется, ни задачи никакой выполнить не предстоитъ. Передъ нимъ широко раскрыта дверь въ темное царство смерти—это единственное ясное разрѣшеніе новыхъ стремленій, которыя волнуютъ его.

Наступило тепло: онъ чаще и чаще говорилъ объ отъѣздѣ изъ Петербурга, и въ то же время быстрѣе и быстрѣе угасалъ. Недугъ не терзалъ его, а изнурялъ. Голова была тяжела и вся въ поту. Квартирные жильцы слѣдили за нимъ съ удвоеннымъ вниманіемъ и даже съ любопытствомъ. Загадка смерти стояла такъ близко, что всѣ съ минуты на минуту ждали ея разрѣшенія.

Однажды, ночью, когда никого около него не было, онъ потянулся, чтобы достать стаканъ воды, стоявшій на ночномъ столикѣ. Но руки его застыли въ воздухѣ...

Схоронили его на Митрофаньевскомъ кладбищѣ. Ни некролога, ни даже простого извѣщенія объ его смерти не было. Умеръ человѣкъ, искавшій свѣта и обрѣвшій—смерть.

III.

ЧИТАТЕЛЬ.

(Нѣсколькихъ нелишнихъ характеристикъ).

Для всякаго убѣжденнаго и желающаго убѣждать писателя (а именно только такого я имѣю въ виду) вопросъ о томъ, есть ли у него читатель, гдѣ онъ и какъ къ нему относится, есть вопросъ далеко не праздный.

Читатель представляетъ собой тотъ устой, на которомъ всецѣло зиждится дѣятельность писателя; онъ—единственный объектъ, ради котораго горитъ писательская мысль. Убѣжденность писателя питается исключительно увѣренностью въ воспріимчивости читателей, и тамъ, гдѣ этого условія не существуетъ, литературная дѣятельность представляетъ собою не что иное, какъ безпредѣльное поле, поросшее волчцомъ, на обнаженномъ пространствѣ котораго безцѣльно раздается голосъ, вопіющій въ пустынѣ.

Доказывать эту истину нѣтъ ни малѣйшей надобности; она стоитъ столь же твердо, какъ и та, которая гласитъ, что для человѣческаго питанія потребенъ хлѣбъ, а не камень. Даже несомнѣннѣйшіе литературные шуты—и тѣ чувствуютъ себя неловко, утрачиваютъ бойкость пера, ежели видятъ, что читатель не помираетъ со смѣху въ виду ихъ кривляній. Даже тутъ, въ этой клоакѣ человѣческой мысли, чувствуется потребность поддержки со стороны читателя. И не только ради построчной мзды, но и ради того чувственнаго возбужденія, при отсутствіи котораго самое скоморошество дѣлается вялымъ, безцвѣтнымъ и назойливымъ.

Ежели въ странѣ уже образовалась воспріимчивая чита-

тельская среда, способная не только прислушиваться къ трепетаніямъ человѣческой мысли, но и свободно выражать свою воспріимчивость, — писатель чувствуетъ себя бодрымъ и сильнымъ. Но онъ глубоко несчастливъ тамъ, гдѣ масса читателей представляетъ собой бродячее человѣческое стадо, мятущееся подъ игомъ давленій внѣшняго свойства. Даже при увѣренности, что въ этой массѣ немало найдется сердецъ, несущихся навстрѣчу писателю, это только усугубляетъ скорбь послѣдняго. Онъ вдвое несчастливъ: и за себя, и за тѣ преданныя сердца, которымъ горѣніе ихъ ничего не можетъ дать, кромѣ сознанія темнаго и безвыходнаго порабощенія.

Поэтъ, въ справедливомъ сознаніи свѣтозарности совершаемаго имъ подвига мысли, имѣлъ полное право воскликнуть, что онъ глаголомъ жжетъ сердца людей; но при данныхъ условіяхъ слова эти были только отвлеченной истиной, близкой къ самообольщенію. Когда окрестъ царитъ глубокая ночь, — та ночь, которую никакой свѣтъ не въ силахъ объять,—тогда не можетъ быть мѣста для торжества живого слова. Сердца горятъ, но огонь ихъ не проницаетъ сквозь густоту мрака; сердца бьются, но біеніе ихъ не слышно сквозь толщу желѣзъ. До тѣхъ поръ, пока не установилось прямого общенія между читателемъ и писателемъ, послѣдній не можетъ считать себя исполнившимъ свое призваніе. Могучій—онъ обезсиленъ; властитель думъ — онъ рабъ безумныхъ бормотаній случайныхъ добровольцевъ, успѣвшихъ захватить въ свои руки ярмо.

Звуча наудачу, рѣчь писателя превращается въ пазойливое сотрясеніе воздуха. Слово утрачиваетъ ясность, внутреннее содержаніе мысли ограничивается и суживается. Только одинъ вопросъ стоитъ вполнѣ опредѣленно: къ чему растрачивается пламя души? кого оно грѣетъ? на кого проливаетъ свой свѣтъ?

Повторяю: несчастіе въ этомъ случаѣ такъ глубоко, что никогда не останется безслѣднымъ. Я не говорю о себѣ лично, но думается, что всякій убѣжденный русскій писатель испыталъ на себѣ вліяніе подобной изолированности. Всякій на каждомъ шагу встрѣчался и съ ненавистью, и съ безчестными передержками, и съ равнодушіемъ, и съ насмѣшкой; рѣдко кому улыбнулось прямое, осязательное сочувствіе. Послѣднее такъ далеко затерялось въ читательской массѣ, что лишь предположительно можетъ обозначить

писателя. Зато минуты подобнаго ободренія — самыя дорогія въ жизни.

Я не претендую здѣсь подробно и вполнѣ опредѣлительно разобраться въ читательской средѣ, но постараюсь характеризовать хоть нѣкоторыя ея категоріи. Мнѣ кажется, что это будетъ не безполезно для самого читающаго люда. До тѣхъ поръ, пока не выяснится читатель, литература не пріобрѣтетъ рѣшающаго вліянія на жизнь. А послѣднее условіе именно и составляетъ главную задачу ея существованія.

1.—Читатель-ненавистникъ.

Начну съ читателя-ненавистника.

Ненавидѣть дозволяется. Убѣжденному писателю необходимо знать о существованіи этой привилегіи, потому что онъ встрѣчается съ нею съ перваго же шага на своемъ трудовомъ пути. Дозволяется ненавидѣть не только убѣжденія писателя и произведенія, въ которыхъ онъ выражаетъ ихъ, но и самую личность его. Распускать о немъ невѣроятные слухи, утверждать, что онъ не только писатель, но и «дѣятель»,—разумѣется, въ извѣстномъ смыслѣ; предумышленно преувеличивать его вліяніе на массу читателей; намекать на его участіе во всѣхъ смутахъ; ходатайствовать «въ особенное одолженіе» объ его обузданіи и даже о принятіи противъ него мѣръ—вотъ задача, которую неутомимо преслѣдуетъ читатель-ненавистникъ.

Это читатель самый ревностный и неизмѣнный. Онъ не просто читаетъ, но и вникаетъ; не только вникаетъ, но и истолковываетъ каждое слово, пестритъ поля страницъ вопросительными знаками и замѣтками, къ которыхъ заранѣе произноситъ надъ писателемъ судъ, сообщаетъ о вынесенныхъ изъ чтенія впечатлѣніяхъ друзьямъ, женѣ, дѣтямъ, брыжжетъ, по поводу ихъ, слюною въ департаментахъ и канцеляріяхъ, наполняетъ воплями кабинеты и салоны, убѣждаетъ, грозитъ, доказываетъ существованіе вулкана, витійствуетъ на тему о потрясеніи основъ и т. д. Словомъ сказать, всякій новый трудъ писателя приводитъ читателя-ненавистника въ суматошливое неистовство.

Разновидность эта въ особенности размножилась въ позднѣйшее время. И прежде не было въ ней недостатка, но

она была не вполнѣ увѣрена въ своихъ собственныхъ впечатлѣніяхъ и, сверхъ того, встрѣчала отпоръ. Въ самомъ дѣлѣ, трудно, почти немыслимо, среди общаго мира, утверждать, что общественныя основы потрясены, когда онѣ, для всѣхъ видимо, стоятъ неизмѣнными въ тѣхъ самыхъ формахъ и съ тѣмъ содержаніемъ, какія завѣщаны историческимъ преданіемъ. Для того, чтобы приблизиться къ этому грубому идеалу клеветы, необходимо отождествить его съ вопросомъ объ умѣстности или неумѣстности общественнаго развитія, а это даже для самыхъ заклятыхъ ненавистниковъ не всегда удобно. Всякій столоначальникъ противъ подобной претензіи возопіетъ.

— Помилуйте! — скажетъ онъ: — сколько лѣтъ я изодня-въ-день хожу въ департаментъ и никакихъ потрясеній не вижу. Какъ и всегда, мы встаемъ съ мѣстъ при появленіи начальника отдѣленія; какъ и всегда, я исправно и безпрепятственно выполняю свой дневной бюрократическій трудъ. Въ какомъ видѣ представлялось «дѣло» въ прежнее время, въ такомъ же оно представляется и теперь. Что же касается до развитія, то вопросъ объ умѣстности его искони рѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ, и ежели въ послѣднее время оживился нѣсколько болѣе, то причина этого явленія заключается въ томъ, что накопились и умножились самые запросы жизни. Это не потрясеніе, не разрывъ съ прошлымъ, а развитіе, именно только развитіе прошлаго. Если бы его не было, если бы оно не существовало *всегда*, то и наша бюрократическая дѣятельность заглохла бы; не зачѣмъ было бы въ департаментъ ходить, нечего было бы направлять. Такъ и директоръ нашего департамента говоритъ, и даже радуется.

Отпоръ такого рода оставлялъ ненавистника безотвѣтнымъ. Онъ не настаивалъ, а только какъ бы мимоходомъ бросалъ навстрѣчу: — «Вотъ увидите!» — и до времени умолкалъ.

Такъ было еще недавно, на нашихъ глазахъ. Но даже и въ самыя благопріятныя минуты, которыя удалось прожить русскому обществу, ненавистничество никогда не считалось чудовищнымъ и позорнымъ. Чудачество и старозавѣтность — вотъ единственные эпитеты, которые болѣе или менѣе добродушно присваивались ему. Никому не приходило на мысль, что ненавистникъ заключаетъ въ себѣ неистощимый источникъ всевозможныхъ раздоровъ, смутъ и переполоховъ, что рѣчи его вливаютъ ядъ въ сердца, по-

срамляютъ общественную совѣсть и вообще наносятъ невознаградимый вредъ тѣмъ самымъ основамъ, на защиту которыхъ они произносятся. Совсѣмъ напротивъ. Предполагалось, что эти взбѣсившіеся люди—чудаки, но что, во всякомъ случаѣ, исходный пунктъ ихъ бѣшенства имѣетъ характеръ благонамѣренный. Выслушивать ихъ брюжжаніе не особенно пріятно, но вѣдь выслушиванье и не обязательно. Пускай по пустому сотрясаютъ воздухъ — кого же можетъ потревожить это сотрясаніе? Кто расположенъ слѣдовать ихъ увѣтамъ? Въ строгомъ смыслѣ, ихъ нельзя даже осуждать, потому что ихъ дѣйствія и рѣчи свидѣтельствуютъ о глубинѣ усердія и ревности. Въ крайнемъ случаѣ, на нихъ можно даже надѣяться: они не выдадутъ.

Благодаря такимъ благодушнымъ сужденіямъ, ненавистники имѣли возможность жить безмятежно и выжидать. По временамъ они лицемѣрили: говорили, что они не противъ жизненнаго преуспѣянія, а исключительно только противъ потрясанія основъ, и когда ихъ, такъ сказать, прижимали къ стѣнѣ и требовали фактическихъ указаній, они хитро подмигивали, говоря:

— Ну, согласитесь однако-жъ... немножко-таки есть.

Это была стереотипная фраза, которая прекращала всякій споръ. Ежели она ничего не доказывала, то не давала мѣста и возраженіямъ. Она всецѣло, всей своей глупостью и безсодержательностью, залегала въ сердце слушателя-простеца, который, улыбаясь, безсознательно повторялъ:

— Немножко-таки есть.

Я думаю, что покуда длилось такое относительно мягкое общественное настроеніе, ненавистники очень страдали. Но все-таки навѣрное можно сказать, что они не отчаивались и собирали матеріалы для будущаго похода. Правда, ихъ огорчало, что многое изъ этихъ матеріаловъ со временемъ выдохнется и потеряетъ цѣнность, но жизнь каждый день приноситъ новость за новостью, и запасъ все-таки будетъ достаточный. Но что всего важнѣе—выжиданіе не только не охлаждаетъ ненависти, а, напротивъ, подогрѣваетъ ее, дѣлая болѣе живою. Явиться въ данную минуту во всеоружіи и съ совершенно свѣжими силами—это тоже представляетъ существенную выгоду.

Минуту эту приводятъ за собой единичныя событія, источникъ которыхъ не имѣетъ съ литературой ничего общаго, но пріурочивается къ ней съ самою позорною не-

принужденностью. Съ наступленіемъ ожиданнаго момента ненавистникъ-читатель пробуждается. Пробужденіе это ужасно не только по намѣреніямъ, но и по своей безъисходной безсмыслицѣ, по тому изумительному довѣрію, съ которымъ эта безсмыслица принимается. Слышатся вопросы: дождались? убѣдились? Приводятся цитаты, дѣлаются соотвѣтствующія толкованія; атмосфера насыщается сквернословіемъ и клеветою; злоба принимаетъ такіе дѣятельные размѣры, что все живое прячется и исчезаетъ. И тотъ же самый столоначальникъ, который еще недавно такъ увѣренно и резонно возражалъ ненавистнику, смотритъ на него полуобезумѣвшими глазами и... соглашается. Искренно ли онъ убѣдился въ томъ, что въ проклятіяхъ ненавистника заключается истина, и какая именно, абсолютная или истина данной минуты,—разгадать трудно, но, во всякомъ случаѣ, онъ настолько ошеломленъ, что вызвать его изъ этого ошеломленія стоитъ и времени, и усилій.

Успѣху ненавистника, главнымъ образомъ, способствуетъ то, что онъ никогда настоящимъ образомъ не умолкалъ, но, какъ я уже сказалъ выше, даже въ самыя льготныя эпохи безпрепятственно велъ свою пропаганду подъ болѣе скромною формой чудачества и брюжжанія. Его можно было упрекать въ назойливости, но никому не приходило въ голову обвинять въ развращеніи общественной мысли. Думали, что онъ нѣсколько преувеличиваетъ значеніе благонамѣренности, но вотъ теперь на повѣрку оказывается, что онъ не только не преувеличивалъ, а даже былъ мягокъ и снисходителенъ. Онъ и теперь все тотъ же, каковъ былъ всегда, но только фортуна улыбнулась ему, и, благодаря этому, злоба его вышла изъ береговъ, и онъ окрысился. Въ сущности, онъ оправдалъ свое назначеніе. Всегда была надежда, что въ данную минуту онъ не выдастъ; теперь эта минута наступила, — онъ и не выдастъ. Онъ ходитъ по стогнамъ города и гремитъ проклятіями; собственный его организмъ весь потрясенъ отъ переполненія злобой и ненавистью, но онъ скорѣе согласится пасть подъ тяжестью своей разъѣдающей работы, нежели прекратить ее. Всмотритесь, какъ онъ рѣзокъ и боекъ, какъ быстро несутъ его ноги туда, гдѣ чувствуется возможность пролить отраву. Сейчасъ онъ едва не задохся, но пришла минута— и онъ опять во всеоружіи. Страшно подумать, какую массу зла онъ можетъ создать при своей судорожной дѣятельности.

Онъ продолжаетъ усердно читать, но теперь уже не со-

бираетъ своего меда въ сотъ, а прямо несетъ его на торжище. Вотъ что напечатано и пропущено — и вотъ какъ слѣдуетъ это напечатанное толковать; вотъ какія мысли, благодаря такому-то (имя рекъ), дѣлаются общимъ достояніемъ—и вотъ какъ слѣдуетъ ихъ понимать. Такъ лаетъ этотъ песъ, самочинно ставшій на стражѣ, и простецы съ разинутыми ртами внимаютъ ему. Все въ этомъ лаѣ сумбурно, невнятно и распутно, но простецъ обладаетъ даромъ отгадыванія. Онъ сердцемъ чуетъ, что цитируемый писатель—не его поля ягода, и вмѣстѣ съ ненавистникомъ закипаетъ безсознательною злобою.

Встрѣчаются такіе ненавистники, которыхъ даже прочіе собраты по ремеслу инстинктивно чуждаются, изъ опасенія не поспѣть за ними и быть сопричисленными къ разряду неблагонадежныхъ. Особи этого рода дѣйствуютъ въ одиночку, капризно и неожиданно; при появленіи ихъ все смолкаетъ. Напротивъ, большинство ненавистниковъ по наружности можно принять за обыкновенныхъ, не особенно умныхъ людей, которые по недомыслію чего-то сильно испугались, но которымъ не чуждъ обычный процессъ человѣческаго существованія. Они дышатъ, поютъ, ѣдятъ, живутъ въ семьяхъ, имѣютъ дѣтей, посѣщаютъ публичныя мѣста, общество и проч. Въ сущности, однако-жъ, эти псевдо-человѣки даже опаснѣе ненавистниковъ-одиночекъ. Послѣдніе прямо внушаютъ къ себѣ отвращеніе и страхъ, а первые могутъ подкупать личиною ревности къ общественнымъ интересамъ. Ненавистникъ-одиночка, не скрываясь, говоритъ: я твой врагъ, и ты ничего, кромѣ ежовыхъ рукавицъ, отъ меня не жди! Ненавистникъ обыкновенный, напротивъ, можетъ даже прикинуться другомъ. Нерѣдко убѣжденнаго писателя обступаетъ цѣлая толпа доброжелателей, которые выпытываютъ его мысль и, успѣвъ въ своемъ предательскомъ предпріятіи, отдаютъ эту мысль,— разумѣется, снабженную своеобразными комментаріями,— въ жертву поруганію.

Минуты подобнаго нравственнаго разложенія, минуты, когда въ обществѣ растетъ запросъ на распрю, клевету и предательство, могутъ быть названы самыми скорбными въ жизни убѣжденнаго писателя. Не столько ради личнаго страха, сколько въ виду общей паники, онъ умолкаетъ, и вмѣстѣ съ нимъ умолкаетъ и вся убѣжденная литература. Среди этого молчанія раздается односторонній лай, отъ котораго тоскливо сжимается сердце: изъ дома въ домъ пе-

реносятся слухи самаго чудовищнаго свойства и принимаются на вѣру безъ малѣйшаго анализа. Неясное гудѣніе улицы, смущенныя лица друзей, безцѣльная сутолока дня, шорохи ночи—все наводитъ уныніе, все сковываетъ душу безсиліемъ. Дѣваться некуда отъ тоски и бездѣйствія.

Ненавистничество не довольствуется, впрочемъ, улицею, но проникаетъ и въ писательскую среду. Ненавистникъ самъ становится въ ряды писателей и мало-по-малу овладѣваетъ литературой всецѣло. Положеніе обостряется, припоминается прошлое, истолковывается настоящее, столбцы наполняются инсинуаціями и обличеніями. Самые скромные идеалы, стремленія самыя законныя, даже описки, опечатки—все служитъ поводомъ для угрозъ. Отпора не допускается на точномъ основаніи пословицы: что̀ написано перомъ, того не вырубишь топоромъ. Съ обѣихъ сторонъ вырублено топоромъ: и со стороны обвиняемой, которая и не пытается защищать себя, и со стороны обвинителей, которые не имѣютъ ни малѣйшей надобности доказывать. Топоръ такъ топоръ.

Дѣятели, которые бодро выносятъ на своихъ плечахъ бремя подобныхъ общественныхъ настроеній, оказываютъ громадную услугу дѣлу преуспѣянія. Благодаря ихъ усиліямъ, хоть частица послѣдняго ускользаетъ отъ разграбленія. Она свято сохранится подъ спудомъ, и когда наступить время, явится возможность отъ ея уцѣлѣвшихъ искръ возжечь новый свѣточъ. Да и самое слово «литература» никогда не погибнетъ, какъ бы ни изнемогала она подъ игомъ ненавистническаго срама. Надо изгнать его изъ употребленія, замѣнить словомъ «срамъ», чтобы добиться какихъ-нибудь существенныхъ результатовъ въ смыслѣ подавленія человѣческой мысли. Только тогда наступитъ дѣйствительное общественное разложеніе.

Но покуда большинство «убѣжденныхъ» все-таки изнемогаетъ и приносится въ жертву праздным лаятелямъ. Къ счастію, въ самомъ лагерѣ литературныхъ лаятелей уже замѣчается рознь. Исходя изъ однихъ и тѣхъ же основныхъ пунктовъ, члены этого лагеря стараются осыпать другъ друга сквернословіемъ, чтобы щегольнуть передъ подписчикомъ. Кромѣ основныхъ пунктовъ, существуетъ множество нестоящихъ ломанаго гроша подробностей, которыя даютъ обильную пищу для разногласій и обличеній. Газета «Помои» ежедневно препирается съ газетой «Цріютъ уединенія», и обѣ не жалѣютъ ни усилій, ни словъ, чтобы

укорить другъ друга въ измѣнѣ. И та, и другая хотятъ служить дѣлу ненавистничества на свой манеръ и вовсе не имѣютъ намѣренія сознаться, что обѣ равно паскунды.

Впрочемъ, увлекшись вопросомъ о ненавистнической литературѣ, я невольно удалился отъ характеристики читателя-ненавистника. Къ удовольствію моему, мнѣ остается сказать о немъ лишь нѣсколько словъ.

Откуда явился ненавистникъ-читатель, и какія условія породили его? Вышелъ ли онъ съ сердцемъ, исполненнымъ праха, изъ утробы матери, или же его создала такимъ жизнь?

Nascuntur или fiunt сѣятели общественныхъ раздоровъ?— вотъ вопросъ, который не лишне, въ заключеніе, разъяснить.

Я полагаю, что не nascuntur, а fiunt. Природа, даже въ мірѣ физическомъ, настолько скупа на созданіе уродливостей, что ублюдки и калѣки отъ рожденія встрѣчаются какъ исключеніе. Нравственный же міръ совершенно недоступенъ для ея творчества. Нуженъ цѣлый рядъ заражающихъ примѣровъ, цѣлая растлѣвающая система воспитанія, наконецъ, продолжительный жизненный процессъ, въ которомъ главное содержаніе составляетъ праздность, чтобы произвести нравственное чудовище. Но всего болѣе появленію ненавистниковъ способствуютъ такъ-называемыя переходныя эпохи, когда ощущается необходимость новыхъ жизненныхъ устоевъ, а общество настолько не подготовлено, что не можетъ отыскать ихъ. Въ такія эпохи выбрасывается на улицу громадное множество матеріально и нравственно оголтѣлыхъ личностей и находитъ себѣ питаніе въ совершающемся броженіи. Происходитъ адскій процессъ взаимнаго оплодотворенія. Оголтѣлые люди даютъ пищу и развитіе броженію; броженіе, съ своей стороны, укрываетъ и даетъ питаніе оголтѣлымъ людямъ.

Въ рядахъ ненавистниковъ вы найдете всѣхъ, которыхъ внезапно наступившее броженіе застигло врасплохъ. Иныхъ оно лишило лакомаго куска, другихъ изобличило въ несостоятельности, третьимъ затворило двери будущаго. Въ особенности встрѣчается великое изобиліе «замаранныхъ», которые отдаются ненавистничеству въ надеждѣ, что оно поможетъ имъ «очиститься». Я зналъ даже достаточно жертвъ старыхъ порядковъ, выкинутыхъ за бортъ общественнаго корабля, вслѣдствіе завѣдомой ихъ зазорности, которые вновь появлялись на арену дѣятельности и не безъ успѣха выполняли задачу ненавистничества. Нѣкоторые изъ нихъ,

озлобленные, голодные и безпріютные, находили себѣ не только кусокъ хлѣба и пріютъ, но и настоящую сытость, и приличное общественное положеніе...

Такъ какъ ненавистничество есть, по преимуществу, плодъ самаго низменнаго эгоизма и взбутораженнаго темперамента, то между поборниками этого ремесла очень рѣдко можно встрѣтить личность, способную доказать свои положенія. Громадное большинство бродитъ какъ опьянѣлое, изрыгая безсмысленную хулу. Вся задача тутъ въ томъ состоитъ, чтобы попасть въ тонъ минутѣ и извлечь изъ нея всѣ личныя выгоды, которыя она можетъ дать. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только обратиться къ торжествующей прессѣ нашего времени. Что она представляетъ собой, какъ не случайный сбродъ задачъ и задачекъ, не связанныхъ между собой руководящею мыслью и не допускающихъ никакой провѣрки? Отъ первой строки до послѣдней все здѣсь произвольно, ничѣмъ не обусловлено и исполнено противорѣчій. Сегодняшнее утвержденіе смѣняется завтрашнимъ опроверженіемъ безъ перехода и безъ малѣйшаго опасенія быть изобличеннымъ. Только ненависть къ честнымъ и высокимъ идеаламъ жизни стоитъ неизмѣнно и незыблемо, освѣщая своимъ распространяющимъ чадъ факеломъ путь распри, умственной смуты и лжи.

2.—Солидный читатель.

Читатель этой категоріи слѣдуетъ непосредственно за читателемъ-ненавистникомъ. Они связаны узами общежитія, хлѣбосольства и называютъ другъ друга кумовьями. Въ нравственномъ смыслѣ онъ безразличенъ и потому не можетъ идти въ сравненіе съ читателемъ-ненавистникомъ; но въ практическомъ отношеніи онъ почти столь же вреденъ, какъ и послѣдній. Это оплотъ, на который, по преимуществу, опирается ненавистничество; это всегда готовое и послушное воинство, въ которомъ послѣднее почерпаетъ свою силу, и притомъ воинство, прислушивающееся къ малѣйшимъ общественнымъ шорохамъ и способное выдѣлить изъ себя перебѣжчика.

Къ чтенію солидный читатель не особенно пристрастенъ и читаетъ не столько вслѣдствіе внутренней потребности, сколько вслѣдствіе утвердившейся привычки. Привыкъ

нельзя же и не знать, что на свѣтѣ дѣлается: безъ этого никакое дѣятельное участіе въ общественной жизни немыслимо. Поѣдешь въ гости, а тамъ вдругъ вопросъ: «слышали, что такой-то налогъ провалился?»... или: «слышали, какую штуку нѣмцы съ Шнебеллэ удрали?.. Умора!» Ради одного того, чтобы не разѣвать рта при подобныхъ вопросахъ, надо хоть наскоро пробѣжать насущныя новости. Такъ онъ и поступаетъ: съ пятаго на десятое проглядываетъ за утреннимъ чаемъ свою газету, останавливаясь преимущественно на телеграммахъ и распоряженіяхъ. Въ какихъ-нибудь десять минутъ пріобрѣтаетъ всѣ необходимыя, чтобы не ударить лицомъ въ грязь, познанія—и правъ на цѣлый день. Не только выслушивать вопросы о Шнебеллэ въ состояніи, но и самъ предлагать таковые способенъ.

И даже считаетъ разговоры о новостяхъ дня небезполезными: улучитъ свободную минутку и покалякаетъ. И время въ гостяхъ скорѣе пройдетъ, покуда хозяинъ не скомандуетъ карты подать, да и поученіе какое-нибудь изъ взаимнаго обмѣна новостей можно извлечь, не обременяя себя головоломными философствованіями. Потому что и безъ философствованія ясно, что Шнебеллэ сплошалъ, а нѣмцы—молодцы! И еще яснѣе: вотъ такъ штука! налогъ-то не прошелъ!

Тѣмъ не менѣе, въ эпохи, когда въ обществѣ чувствуется оживленіе, солидный читатель ощущаетъ потребность вникать. Не ограничивается одними мелкими извѣстіями, но прочитываетъ передовыя статьи и корреспонденціи, — въ особенности послѣднія. Но такъ какъ оживленіе бываетъ въ томъ или другомъ смыслѣ, то и онъ вникаетъ всяко: и въ томъ, и въ другомъ смыслѣ. Тѣмъ не менѣе, приступая къ процессу вниканія безъ подготовки, онъ нѣкоторое время бываетъ слегка ошеломленъ. Все ему кажется новымъ: и необычность пріемовъ, и содержаніе читаемаго. Въ льготное время провинціальныя корреспонденціи приводятъ его почти въ восторженное состояніе. Прочитавши въ газетѣ письмо изъ города На-трехъ-китахъ-стоящаго, что тамошній исправникъ небрежетъ исполненіемъ возложенныхъ на него закономъ обязанностей, онъ восклицаетъ:

— Вотъ какъ ошпарили! До новыхъ вѣниковъ не забудетъ! Ай да молодцы!

И непремѣнно разскажетъ о прочитанномъ вечеромъ, между двумя карточными сдачами, въ доказательство, что и онъ не чуждъ гласности.

Но когда въ воздухѣ насчетъ гласности чувствуется похолоднѣе, онъ, прочитавши подобное же обличеніе, случайно прорвавшееся въ газету, уже относится къ нему довольно угрюмо:

— Ну, братъ, распѣлся!—обращается онъ мысленно къ неосторожному корреспонденту.—Коли такъ будешь продолжать, то тутъ тебѣ и капутъ!

И на другой или на третій день, убѣдившись, что слова его были вѣщими («капутъ» совершился), не преминетъ похвалиться передъ прочими солидными читателями:

— Представьте себѣ! Я вѣдь точно чуялъ. Еще вчера, читаю газету и говорю: ну, этому молодцу не сдобровать. Такъ и случилось.

Повторяю, солидный читатель относится къ читаемому, не руководясь собственнымъ починомъ, а соображаясь съ настроеніемъ минуты. Но не могу не сказать, что хотя превращенія происходятъ въ немъ почти безъ участія воли, но въ льготныя минуты онъ все-таки чувствуетъ себя веселѣе. Потому что самая окаменѣлая солидность инстинктивно чуждается злопыхательства, какъ нарушающаго душевный миръ.

— Диковинное это дѣло,—весело говоритъ онъ:—какая нынче свобода дана! Читаешь и глазамъ не вѣришь! Прежде бы этого самаго господина корреспондента, за такіе его поступки, за ушко да на солнышко, а нынче — ничего!.. Начальство только посмѣивается. Да вѣдь оно и вправду: пора господамъ исправникамъ честь знать.

Читателя-ненавистника онъ боится... Послѣдній давитъ его своею угрюмостью, и необходимость справляться съ его мнѣніями и слѣдовать его указаніямъ представляетъ не очень пріятную перспективу. Того гляди, кому-нибудь на ушко шепнетъ или при всѣхъ въ глаза ляпнетъ:

— Ну, что, господинъ Попрыгунчиковъ, допрыгался! «Ахъ, хорошо, что исправникамъ отъ свистуновъ на орѣхи достастся!» «Ахъ, хорошо, что и до губернаторовъ добрались!» Вотъ тебѣ и допрыгался! Расхлебывай теперь!

Или:

— А все вы, господа Попрыгунчиковы! Все-то вы похваливаете, все-то подвиливаете! Виляли-виляли хвостами, да и довилялись! А знаете ли, что за это васъ, какъ укрывателей, судить слѣдуетъ? Вмѣсто того, чтобы стоять на стражѣ и кому слѣдуетъ доложить—они напротивъ что выдумали! Поддакивать свистунамъ! Срамъ, сударь!

Это онъ-то довилялся! Онъ, который всегда всѣмъ сердцемъ... куда прочіе, туда и онъ! Но дѣлать нечего, приходится выслушивать. Такой ужъ насталъ чередъ... «ихній»! Вчера была оттепель, а сегодня — морозъ. И лошадей на зимнія подковы въ гололедицу подковываютъ, не то что людей! Но, главное, оправданій никакихъ не допускается. Онъ обязанъ былъ стоять на стражѣ, обязанъ предвидѣть— и все тутъ. А впрочемъ, вѣдь оно и точно, если по правдѣ сказать: былъ за нимъ грѣшокъ, былъ!

Онъ мысленно обращается къ прошлому и припоминаетъ. Всѣ тогда такъ говорили, именно всѣ. Даже директоръ департамента. Всѣ поднимали на смѣхъ ненавистника, и это считалось не подвиливаніемъ, а признаніемъ истинныхъ интересовъ минуты. Кто же могъ знать, что на мѣсто «истинныхъ» интересовъ минуты выступятъ на сцену еще болѣе истинные? Кто могъ предвидѣть, что этотъ самый директоръ департамента, который такъ самонадѣянно несъ голову навстрѣчу громкимъ дѣламъ, внезапно понуритъ ее и весь наполнится бормотаніемъ? Развѣ солидные люди для того созданы, чтобы предвидѣть? Нѣтъ, ихъ назначеніе въ томъ состоитъ, чтобы слѣдовать указаніямъ и не отступать отъ общаго настроенія. Куда прочіе—туда и онъ!

За всѣмъ тѣмъ, онъ понимаетъ, что часъ ликвидаціи насталъ. Въ былое время онъ безъ церемоній сказалъ бы ненавистнику: пустое, кумъ, мелешь! А теперь обязывается выслушивать его, стараясь не проронить ни одного слова и даже опасаясь разсердить его двусмысленнымъ выраженіемъ въ лицѣ. Факты налицо, и какіе факты!

Анализировать эти факты, въ связи съ другими жизненными явленіями, онъ вообще неспособенъ, но, кромѣ того, ненавистникъ, услыхавъ о такой претензіи, пожалуй, такъ цыкнетъ, что и ногъ не унесешь. Нѣтъ, лучше ужъ молча идти за теченіемъ, благо ненавистникъ, благодаря кумовству, относится къ нему благодушно и скорѣе въ шутливомъ тонѣ, нежели серьезно, напоминаетъ о недавнихъ проказахъ.

Поэтому даже въ тѣсномъ семейномъ кругу, за домашнимъ обѣдомъ, ежели женѣ или кому-нибудь изъ дѣтей случится обмолвиться лишнимъ словомъ, солидный читатель спѣшитъ прекратить дальнѣйшее развитіе рѣчи.

— Ахъ, матушка, пора эти разговоры оставить! — говоритъ онъ. — Изба моя съ краю — ничего не знаю! Вотъ правило, которымъ мы должны руководствоваться, а не то чтобы что...

Однако, съ теченіемъ времени, и это скромное правило перестаетъ ужъ казаться достаточнымъ. Солидный человѣкъ все больше и больше сближается съ ненавистникомъ, благоговѣйно выслушиваетъ его и поддакиваетъ. Повидимому, онъ находитъ это и небезвыгоднымъ для себя. Наконецъ, онъ и за собственный счетъ начинаетъ раздувать въ своемъ сердцѣ пламя ненавистничества.

— А что вы думаете! — говоритъ онъ: — все зло именно въ этой пакостной литературѣ кроется! Я бы вотъ такого-то... Не говоря худого слова, ой-ой какъ бы я съ нимъ поступилъ! Надо зло съ корнемъ вырвать, а мы мямлимъ! Пожаръ ужъ силу забралъ, а мы только пожарныя трубы изъ сараевъ выкатываемъ!

— Ну, да, ну, да!—поощряетъ его собесѣдникъ-ненавистникъ:—вотъ именно это самое и есть! Наконецъ-то ты догадался! Только, братъ, надо пожарныя трубы всегда наготовѣ держать, а ты, къ сожалѣнію, свою только теперь выкатилъ! Ну, да на этотъ разъ Богъ проститъ, а на будущее время будь ужъ предусмотрительнѣе. Не глумись надъ исправниками вмѣстѣ съ свистунами, а помни, что въ своемъ родѣ это тоже предержащая власть!

Выслушавъ эту нотацію отъ одного кума, солидный человѣкъ направляетъ свои стопы къ другому куму и отъ него выслушиваетъ такую же нотацію.

Наслушавшись вдоволь, онъ выходитъ на улицу и тамъ встрѣчается съ толпой простецовъ, которые, распахня ротъ, бѣгутъ, куда глаза глядятъ. Вездѣ раздается паническое бормотаніе, слышатся несмысленныя рѣчи. Сѣмена ненавистничества глубже и глубже пускаютъ корни и, наконецъ, приносятъ плодъ. Солидный читатель перестаетъ быть просто солидный и потихоньку да полегоньку переходитъ въ лагерь ненавистниковъ.

Я, впрочемъ, не говорю, что онъ останется въ этомъ лагерѣ навсегда, но, во всякомъ случаѣ, не покинетъ его до тѣхъ поръ, пока новые и вполнѣ рѣшительные факты не вызовутъ его изъ состоянія остервенѣнія и не бросятъ въ противоположную сторону.

Въ столицахъ и вообще въ густо населенныхъ центрахъ солидные читатели представляютъ особь довольно многочисленную и тѣмъ болѣе выдающуюся, что они вербуются преимущественно въ чиновничьихъ рядахъ. Не особенно это крупные чины, а все-таки свою роль сыграть могутъ. Да и лѣстница чиновъ достаточно подвижна: сегодня какой-

нибудь мелкотравчатый внизу копошится, а завтра онъ ужъ, смотришь, наверхъ влѣзъ. При помощи безчисленнаго множества нравственныхъ подспорій, всегда готовыхъ къ услугамъ алчущихъ, подобныя превращенія нерѣдки. Недаромъ спросъ на благовонные товары усиливается. Это означаетъ, что народилась цѣлая уйма солидныхъ людей, которые уже не довольствуются скромнымъ казанскимъ мыломъ, но, въ виду обуявшей ихъ жажды почестей и оживленія надеждъ, начинаютъ ощущать потребность въ болѣе тонкихъ мылахъ, съ запахомъ въ родѣ Violette de Parme или Foin coupé.

Эта особенность солиднаго читателя дѣлаетъ замѣтнымъ его вліяніе на общее настроеніе читательской среды. Подобно своему куму-ненавистнику, онъ имѣетъ возможность высказываться. И ежели его мнѣнія не такъ рѣшительны и образны, какъ мнѣнія ненавистника, то, во всякомъ случаѣ, безобидны и благонамѣренны. А сверхъ того они и тѣмъ еще удобны, что высказываются во всѣхъ направленіяхъ.

Вотъ почему убѣжденный писатель, дѣйствующій почти исключительно въ городскихъ центрахъ, такъ часто встрѣчается съ рѣзкими превращеніями въ читательской средѣ. Починъ въ этомъ случаѣ принадлежитъ ненавистникамъ, за которыми рабски слѣдуетъ по пятамъ воинство солидныхъ читателей. Подъ ихъ давленіемъ впадаетъ въ безпамятство читатель-простецъ, и съ болью въ сердцѣ стушовывается читатель-другъ. Складывается совсѣмъ особое общественное мнѣніе, до неузнаваемости потрясенное въ самыхъ основаніяхъ. Или, говоря болѣе вразумительно, происходитъ волшебство, которому долгое время отказываются вѣрить глаза.

Такое положеніе вещей можетъ продлиться неопредѣленное время, потому что общественное теченіе, однажды проложивши себѣ русло, неохотно его мѣняетъ. И опять-таки въ этомъ коснѣніи очень существенную роль играетъ солидный читатель. Забравшись въ мурью (какой бы то ни было окраски), онъ любитъ понѣжиться и потягивается въ ней до тѣхъ поръ, пока блохи и другая нѣчисть не заставятъ выскочить. Тогда онъ съ несвойственною ему стремительностью выбѣгаетъ наверхъ и высматриваетъ, куда укрыться.

Повторяю: роль солиднаго читателя пріобрѣтаетъ преувеличенное значеніе, благодаря тому, что у насъ общественная жизнь со всѣми ея вѣяніями складывается пре-

имущественно въ столицахъ и большихъ городахъ, гдѣ солидные люди, несмотря на свою сравнительную немногочисленность, стоятъ на первомъ планѣ. Вмѣстѣ съ ненавистниками, они одни имѣютъ возможность возвышать голосъ, не рискуя вызвать подозрѣнія и улики въ измѣнѣ, и тяготѣть надъ прочими общественными слоями, осужденными на безмолвіе и пассивность. А провинціальныя захолустья даже совсѣмъ не принимаются въ разсчетъ. Предполагается, что тамъ царитъ фаталистическая тьма, которую можетъ разогнать только свѣтъ, источающійся изъ ненавистническихъ и солидныхъ городскихъ сферъ. Этотъ свѣтъ она должна признать для себя обязательнымъ.

Сверхъ того, успѣхамъ солиднаго человѣка, его тяготѣнію на общественное настроеніе не мало способствуетъ и пизменность его нравственнаго и умственнаго уровня. Въ нравственномъ смыслѣ онъ настолько безразличенъ, что никакихъ руководящихъ принциповъ не признаетъ; въ умственномъ смыслѣ онъ не развитъ и въ высшей степени невѣжественъ. Но, къ удивленію, это-то именно и даетъ ему право на вниманіе. Онъ сыплетъ афоризмами самаго первоначальнаго свойства, цитируетъ пословицы, въ которыхъ преимущественно замыкается мудрость вѣковъ, и толпа простецовъ съ довѣріемъ внимаетъ ему. Ибо, собственно говоря, только такія вполнѣ безсодержательныя рѣчи и доступны ей. А такъ какъ простецы составляютъ главное ядро читательской и вообще дѣйствующей массы, то запавшія въ ея слухъ азбучныя поученія не пропадаютъ безслѣдно, но съ быстротою молніи разносятся во всѣ концы.

Только сильный наплывъ фактовъ, дѣлающихъ невозможнымъ упорное слѣдованіе по пути, намѣченному пословицами и азбучными истинами, можетъ положить предѣлъ этому печальному недомыслію. Но факты такого рода накопляются медленно, и еще медленнѣе внѣдряется довѣріе къ нимъ. Въ большинствѣ случаевъ бываетъ такъ, что фактъ уже вполнѣ созрѣлъ и пріобрѣлъ всѣ права на безспорность, а общественное мнѣніе все еще не рѣшается признать его. Конечно, всякому случалось — и нерѣдко — слышать такія рѣчи:

— Э, батюшка! и мы проживемъ, и дѣти наши проживутъ—для всѣхъ будетъ довольно и того, что̀ есть! На насиженномъ-то мѣстѣ живется и теплѣе, и уютнѣе — чего еще искать! Старикъ Крыловъ былъ правъ: помните, какъ

голубь полетѣлъ странствовать, а воротился съ перешибленнымъ крыломъ? Такъ-то вотъ.

Въ этихъ немногихъ словахъ высказывается весь кодексъ «солидной» житейской мудрости; но такъ какъ онъ единственный, который не требуетъ ни размышленій, ни исканій, то на него существуетъ спросъ. И ежели вы возразите, что такъ-называемое «покойное проживаніе» представляетъ собой только кажущееся спокойствіе, что въ немъ-то, пожалуй, и скрывается настоящая угроза будущему, и что, наконецъ, басня о голубѣ есть только басня, и не всѣ голуби возвращаются изъ поисковъ съ перешибленными крыльями, то солидный человѣкъ и на это возраженіе въ карманъ за словомъ не полѣзетъ.

— Э,—скажетъ онъ:—пока что, а мы поживемъ!

И, высказавшись, умолкнетъ, вполнѣ увѣренный, что истина на его сторонѣ.

Да, мало, черезчуръ мало нужно, чтобы поселить въ солидномъ человѣкѣ увѣренность въ его непогрѣшимости и водворить въ его душѣ безмятежіе и ясность. Два-три случайно попавшихъ на языкъ слова — и онъ, счастливый и довольный, гордо несетъ ихъ на показъ.

Само собой разумѣется, что убѣжденному писателю съ этой стороны не можетъ представиться никакихъ надеждъ. Солидный читатель никогда не выкажетъ ему сочувствія, не подастъ руку помощи. Въ трудную годину онъ отвернется отъ писателя и будетъ запѣвалой въ хорѣ простецовъ, кричащихъ: ату! Въ годину болѣе льготную отношенія эти, быть-можетъ, утратятъ свою суровость, но не сдѣлаются отъ этого болѣе сознательными.

И въ томъ, и въ другомъ случаѣ впереди стоитъ полное одиночество и назойливо звучащій вопросъ: гдѣ же тотъ читатель-другъ, отъ котораго можно было бы ожидать не одного платоническаго и притомъ секретнаго сочувствія, но и обороны?

---

3. — Читатель-простецъ.

Читатель-простецъ составляетъ ядро читательской массы; это—главный ея контингентъ. Онъ въ безчисленномъ количествѣ кишитъ на улицахъ, въ театрахъ, кофейняхъ и прочихъ публичныхъ мѣстахъ, изображая собой ту публику,

къ услугамъ которой направлена вся производительность страны, и въ то же время ради которой существуютъ на свѣтѣ городовые и жандармы.

Онъ—покупатель и потребитель. Все, что таятъ въ себѣ нѣдра торговыхъ помѣщеній, начиная отъ блестящаго магазина съ зеркальными окнами и кончая вонючей мелочной лавочкой, ютящейся въ подвальномъ этажѣ,—все это онъ износитъ, истребитъ, выпьетъ и съѣстъ. Понятно, что при такомъ обширномъ кругѣ дѣятельности, ежели дать ему волю, то онъ будетъ метаться изъ стороны въ сторону, и ничего хорошаго изъ этого не выйдетъ. Поэтому движенія его строго регулируются городовыми, которые наблюдаютъ, чтобы онъ не попалъ подъ вагонъ и вообще шелъ въ то мѣсто, куда слѣдуетъ идти. Въ послѣднее время за нимъ начали зорко слѣдить и газетчики.

Для газетчика простецъ составляетъ очень серьезный предметъ заботъ. Онъ—подписчикъ и усердный чтецъ; слѣдовательно, его необходимо уловить, а это дѣло не легкое, потому что простецъ относится къ читаемому равнодушно и читаетъ все, что попадетъ подъ руку, наблюдая лишь за тѣмъ, какъ бы не попасть въ отвѣтъ. Газетчикъ знаетъ это и мотаетъ себѣ на усъ: «надобно устроить такъ, чтобы простецъ читалъ именно мою газету». Онъ напрягаетъ усилія, чтобы пробудить простеца изъ равнодушія, взнуздать его и вообще прикрѣпить къ извѣстному стойлу; а для этого нужно, чтобы прежде всего газетная пища легко переваривалась, и чтобъ направленіе газеты не возвышалось надъ обычнымъ низменнымъ уровнемъ.

До наступленія эпохи возрожденія, читатель вербовался преимущественно въ средѣ «солидныхъ». Журналовъ было мало, газетъ почти совсѣмъ не существовало; поэтому и солидной среды было достаточно, чтобы выдѣлить изъ себя сносный контингентъ подписчиковъ. Къ тому же и издательскія требованія въ то время были скромнѣе. Журналъ или газета, которые считали пять тысячъ подписчиковъ, не только удовлетворялись этимъ, но и ликовали. Что касается до простеца, то онъ никакого вліянія на журнальное и газетное дѣло не имѣлъ; онъ называлъ себя темнымъ человѣкомъ и вполнѣ доволенъ былъ этимъ званіемъ. Игнорируя чтеніе, онъ почерпалъ необходимыя новости на улицѣ. И это было для него тѣмъ сподручнѣе, что самыя новости, которыя его интересовали, имѣли совершенно первоначальный характеръ, въ родѣ слуховъ о войнѣ, о рекрутскомъ

наборѣ или о томъ, что въ такой-то день высокопреосвященный соборнѣ служилъ литургію, а затѣмъ во всѣхъ церквахъ происходилъ цѣлодневный звонъ. Впрочемъ, надо сказать правду, что и газеты тогдашнія немного опережали улицу въ достоинствѣ предлагаемыхъ новостей, такъ что, въ сущности, не было особеннаго резона платить деньги за то, что̀ въ первой же мелочной лавкѣ можно было добыть даромъ.

Но съ наступленіемъ эпохи возрожденія народилось, такъ сказать, *сословіе* читателей, и народилось именно благодаря простецамъ. Послѣдніе уже перестали довольствоваться кличкою темныхъ людей и наравнѣ съ прочими бросились въ дѣятельный жизненный омутъ. Происшедшая перемѣна въ общественномъ настроеніи затрагивала ихъ даже существеннѣе, нежели кого-либо, потому что, собственно говоря, она ихъ однихъ настоящимъ образомъ вызвала изъ щелей на вольный свѣтъ. Прочіе же охотно удовлетворились бы и прежнимъ «вольнымъ свѣтомъ» и даже смотрѣли на новый «свѣтъ» двояко: иные со страхомъ, другіе съ робкой надеждой, а большинство оставалось при колебаніяхъ. Что касается до простеца, то для него никакого повода колебаться не существовало. Одинъ выходъ изъ званія «темнаго человѣка» представлялъ уже выигрышъ, такъ какъ званіе это не только перестало быть украшеніемъ, но и пріобрѣло значеніе довольно обидное.

Прежде простецъ говорилъ: «мы люди темные»,—въ надеждѣ укрыться подъ этимъ знаменемъ отъ вмѣняемости; теперь онъ сталъ избѣгать такого признанія, потому что понялъ, что оно ни отъ чего его не освобождаетъ, но, напротивъ, даетъ право распорядиться съ нимъ по произволенію.

— Ты темный человѣкъ, — говорили простецу въ дореформенное время:—ступай, Богъ тебя проститъ!

А въ по-реформенное время начали говорить ужъ такъ:

— Коли ты самъ признаешь, что ты темный человѣкъ,— стало-быть, молчи! А будешь растабарывать—расправа съ тобой короткая.

Разница, какъ всякій согласится, не маленькая.

Ошибочно, впрочемъ, было бы думать, что современный простецъ принадлежитъ исключительно къ числу посѣтителей мелочныхъ лавочекъ и полпивныхъ; нѣтъ, въ численномъ смыслѣ, онъ занимаетъ довольно замѣтное мѣсто и въ культурной средѣ. Это не выходецъ изъ нѣдръ черни,

а только человѣкъ, не видящій передъ собой особенныхъ перспективъ. И ненавистники, и солидные ожидаютъ впереди почестей, мѣстъ, орденовъ, а простецъ ожидаетъ одного: какъ бы за день его не искалѣчили.

Ожиданіе это держитъ его въ страхѣ и повиновеніи. Даже почувствовавъ подъ ногами болѣе твердую почву, онъ остается вѣренъ воспоминаніямъ объ исконной муштровкѣ и, судя по всѣмъ видимостямъ, вовсе не намѣренъ забыть о нихъ. Онъ рѣдко обращаетъ свою мысль къ голосу собственнаго разсудка, собственной совѣсти, и, напротивъ, чутко и безпокойно присматривается и прислушивается къ афоризмамъ, исходящимъ изъ солидныхъ сферъ. И хотя бы послѣдніе представляли собой безсвязное и неосмысленное бормотаніе, онъ принимаетъ ихъ къ свѣдѣнію. Вообще, это—человѣкъ, не знающій самостоятельной жизни, такъ что руководить и распоряжаться его дѣйствіями не представляетъ никакого труда. Не мудрствуя лукаво, онъ слѣдитъ за движеніями указующаго перста, совершенно равнодушный къ тому, что таится въ той дали, куда этотъ перстъ направленъ. Въ виду этой легкости, и сама руководящая (солидная) сторона не считаетъ для себя обязательнымъ обдумывать свои указанія, а дѣйствуетъ наудачу, какъ въ данную минуту вздумается. Словомъ сказать, и руководители, и руководимые являются достойными другъ друга, и вотъ изъ этого-то взаимнаго воздѣйствія, исполненнаго недомыслій и недомолвокъ, и создается то общественное мнѣніе, которое подчиняетъ себѣ наиболѣе убѣжденныхъ людей.

Я уже сказалъ выше, что читательское сословіе народилось въ эпоху всероссійскаго возрожденія, благодаря громадному приливу простецовъ. Съ тѣхъ поръ простецъ множится въ изумительной прогрессіи, но, размножаясь и наполняя ряды подписчиковъ, онъ нимало не измѣняетъ своему безразличному отношенію къ читаемому. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ заглянуть въ любую кофейню.

Вотъ онъ сидитъ въ углу, обложенный летучими листками. Глаза его пристально слѣдятъ за строками; но въ лицѣ ни одинъ мускулъ не шевельнется. Изрѣдка онъ сунетъ въ ротъ палецъ—это одно до извѣстной степени свидѣтельствуетъ о душевномъ движеніи. И ежели вамъ удастся въ эту минуту заглянуть въ развернутый листъ, то вы убѣдитесь, что движеніе это произошло исключительно по поводу встрѣченнаго въ газетѣ знакомаго имени. Такой-то

черезчуръ ужъ быстро подвинулся по лѣстницѣ почестей; такой-то, напротивъ, проворовался и засѣдаетъ въ окружномъ судѣ на скамьѣ подсудимыхъ. Конечно, это не можетъ не вызывать на размышленія, хотя послѣднія никогда не выходятъ изъ разряда самыхъ обыкновенныхъ общихъ мѣстъ.

— Давно ли Павлушкой звали,—думаетъ простецъ: — а теперь, поди, Павломъ Семенычемъ величаютъ!

Или:

— Вотъ, подитка! На четырехъ женахъ женатъ! И куда ему такая прорва бабъ понадобилась! Мнѣ и одной Арины Ивановны предостаточно...

Ничто другое его не тревожитъ, хотя онъ читаетъ сплошь все напечатанное. Газета говоритъ о новомъ налогѣ,—онъ не знаетъ, какое дѣйствіе этотъ налогъ произведетъ, на комъ онъ преимущественно отразится, и даже не затронетъ ли его самого. Газета говоритъ о новыхъ системахъ воспитанія,—онъ и тутъ не знаетъ, въ чемъ заключается ея сущность, и не составитъ ли она несчастіе его дѣтей.

Онъ живетъ изо-дня-въ-день, ничего не провидитъ, и только практика можетъ вызвать его изъ оцѣпенѣнія. Когда наступитъ время для практическихъ примѣненій, когда къ нему принесутъ окладной листъ, или сынъ его, съ заплаканными глазами, прибѣжитъ изъ школы,—только тогда онъ вспомнитъ, что нѣчто читалъ, да не догадался подумать. Но и тутъ его успокоитъ соображеніе: зачѣмъ думать? все равно плетью обуха не перешибешь!—«Ступай, Петя, въ школу — терпи!» — «Готовь, жена, деньги! Новый налогъ Богъ послалъ!»

Тѣмъ не менѣе, нельзя отрицать, что и на среду простецовъ либеральныя вѣянія остаются не безъ вліянія. Въ такія минуты улица вообще дѣлается веселѣе и даже какъ-то смышленѣе, и простецъ инстинктивно слѣдуетъ за общимъ теченіемъ. Онъ видитъ, что ненавистникъ понурилъ голову, что лицо солиднаго человѣка расцвѣтилось улыбкой, что газеты, вчера еще рѣшительно указывавшія на «факты», начинаютъ путаться и затѣмъ мало-по-малу впадаютъ въ благодушный тонъ,—и самъ понемногу выходитъ изъ состоянія ошеломленія. Но такое счастливое настроеніе не задерживается въ немъ. Равнодушный и чуждый сознательности, онъ во всѣ эпохи остается одинаково вѣренъ своему призванію—служить готовымъ орудіемъ въ болѣе сильныхъ рукахъ.

Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ среда простецовъ очень опасна. Хотя самъ по себѣ простецъ не склоненъ къ самостоятельной ненависти, но и чувство человѣчности въ его сердцѣ не залегло; хотя въ немъ нѣтъ настолько изобрѣтательности, чтобы отравить жизнь того или другого субъекта преднамѣреннымъ подвохомъ, но нѣтъ и настолько честности, чтобы подать руку помощи. Все его существованіе, всѣ помыслы и дѣйствія насквозь проникнуты колебаніями, которыя придаютъ общенію съ нимъ характеръ полной безполезности. Не убѣжденія дѣйствуютъ на него, а внѣшнія давленія. Въ ловкихъ рукахъ онъ дѣлается свирѣпъ и неумолимъ. Безъ сознаннаго повода, безъ цѣли, безъ разумѣнія онъ накидывается на намѣченную жертву, впивается въ нее когтями и грызетъ. Въ такую минуту легко даже впасть въ ошибку и подумать, что онъ ненавидитъ эту жертву, а не грызетъ ее, выполняя только обрядъ . . .

. . . . . .

Въ средѣ простецовъ необходимо отличить одну особь: простеца-живчика, который, въ противоположность сонливости простеца-байбака, поражаетъ юркостью своихъ движеній и чрезмѣрною подвижностью мысли и чувствъ.

Живчикъ, по преимуществу, любитель посмѣяться. Каламбуры, анекдоты, пародіи — вотъ пища, которою онъ не можетъ достаточно насытиться. Поэтому онъ почти исключительно ютится около такъ-называемой мелкой прессы, которая бойко торгуетъ анекдотами. Въ большой прессѣ— въ сущности, впрочемъ, столь же мелкой, но издающейся простынями—онъ заглядываетъ только въ литературный фельетонъ да въ отдѣлъ журнальнаго обозрѣнія. Въ первомъ его прельщаетъ шутовство, бойкость пера, скандалы; во второмъ—передержки, подтасовки, полемика, или, какъ онъ ее называетъ, взаимное «щелканье» газетъ и журналовъ.

— Читали? Читали фельетонъ въ «Помояхъ»?—радуется онъ, перебѣгая отъ одного знакомца къ другому. — Вѣдь этотъ «Прохожій наблюдатель» — это вѣдь вотъ кто. Вѣдь онъ жилъ три года учителемъ въ семействѣ С—скихъ, о которомъ пишется въ фельетонѣ; кормили его, поили, ласкали—и посмотрите, какъ онъ ихъ теперь щелкаетъ! Дочь-невѣсту, которая два мѣсяца съ офицеромъ гражданскимъ бракомъ жила и потомъ опять домой воротилась,—и ту изобразилъ! Такъ живьемъ всю процедуру и описалъ!

— А! такъ вотъ оно что! такъ это *она?* То-то я давеча

читаю, какъ будто похоже...—догадывается собесѣдникъ, тоже изъ породы живчиковъ.

— Еще бы! Марья-то Ивановна, говорятъ, чуть съ ума не сошла; отецъ и мать глазъ никуда показать не смѣютъ... А какъ они другъ друга щелкаютъ, эти газетчики! «Жиды! хамы! безмозглые пролазы!»—такъ и сыплется! Одна травля «жидовъ» чего стоитъ—отдай все да и мало! Такъ и ждешь: ну, быть тутъ кулачной расправѣ!

— Да и бываетъ!

И дѣйствительно, казусы кулачной расправы нынче нерѣдки. «Критика» даже въ такой рѣшительной формѣ, какъ «жиды, пролазы» и т. д., оказывается уже недостаточною, въ качествѣ послѣдняго слова. На сцену появляется палка, кулакъ, но надо сказать правду, что покуда больше всего достается диффаматорамъ. Скверное это ремесло и по существу, и по послѣдствіямъ, но, несмотря ни на что, ряды диффаматоровъ не только не рѣдѣютъ, но день-ото-дня становятся плотнѣе и плотнѣе. Стало-быть, таково уже знаменіе времени. Дурные инстинкты взяли такую силу, что диффаматоръ почти фаталистически глубже и глубже погрязаетъ въ пучинѣ. Посвящая всего себя исключительно диффамаціи и клеветѣ, онъ далеко не увѣренъ, что занятіе это пройдетъ ему даромъ, и все-таки идетъ навстрѣчу побоямъ. Идетъ трепетною стопою, оглядываясь по сторонамъ, но идетъ.

Какъ бы то ни было, но удовольствію живчика нѣтъ предѣловъ. Диффамаціонный періодъ уже считаетъ за собой не одинъ десятокъ лѣтъ (отчего бы и по этому случаю не отпраздновать юбилея?), а живчикъ въ подробности помнитъ всякій малѣйшій казусъ, ознаменовавшій его существованіе. Тогда-то изобличили Марью Петровну, тогда-то Ивана Семеныча, тогда-то къ диффаматору ворвались въ квартиру, и онъ, въ виду домашнихъ пенатовъ, подвергнутъ былъ исправительному наказанію; тогда-то диффаматора огорошили на улицѣ палкой.

Живчикъ не только вычитываетъ, но и разузнаетъ. Онъ чуетъ диффамацію даже тогда, когда настоящія личности скрыты подъ вымышленными фамиліями, и до тѣхъ поръ не успокоится, покуда досконально не дознаетъ, что Анна Ивановна Рѣзвая есть не кто иная, какъ Серафима Павловна Какурина, которой мужъ имѣетъ магазинъ благовонныхъ товаровъ въ Гостиномъ Дворѣ; что она дѣйстви-

тельно была такого-то числа въ гостиницѣ «Москва», въ отдѣльномъ номерѣ, и мужъ накрылъ ее.

Диффамація, гнусная сама по себѣ, обостряется, благодаря принимаемому въ ней читателемъ-живчикомъ дѣятельному участію. Онъ разсѣваетъ ее, дѣлаетъ общимъ достояніемъ. Разумѣется, онъ не сознаетъ этого и предается своему распутному ремеслу единственно потому, что оно глубоко залегло въ самую его природу.

Легкомысліе и наскудная подвижность застилаютъ передъ нимъ жизнь съ ея горестями и радостями, оставляя обнаженными только уродливости и скандалы. Къ нимъ исключительно и устремляются всѣ его помыслы, и только окрикъ власть имѣющаго лица: «что разбѣгался? добѣгаешься когда-нибудь!»—можетъ заставить его до поры до времени угомониться.

Понятно, что ни отъ той, ни отъ другой разновидности читателя-простеца убѣжденному писателю ждать нечего. Обѣ онѣ игнорируютъ его, а въ извѣстныхъ случаяхъ не прочь и погрызть! Что нужды, что онѣ грызутъ безсознательно, не по собственному почину—фактъ грызенія ни мало не смягчается отъ этого и стоитъ такъ же твердо, какъ бы онъ исходилъ непосредственно изъ среды самихъ ненавистниковъ.

---

4. — Читатель-другъ.

Я уже сказалъ выше, что читатель-другъ несомнѣнно существуетъ. Доказательство этому представляетъ уже то, что органы убѣжденной литературы не окончательно захудали. Но читатель этотъ заробѣлъ, затерялся въ толпѣ, и дознаться, гдѣ именно онъ находится, довольно трудно. Бываютъ однако-жъ минуты, когда онъ внезапно открывается, и непосредственное общеніе съ нимъ дѣлается возможнымъ. Такія минуты—самыя счастливыя, которыя испытываетъ убѣжденный писатель на трудномъ пути своемъ.

Къ этому мнѣ ничего не остается прибавить. Развѣ одно: подобно убѣжденному писателю, и читатель-другъ подвергается ампутаціямъ со стороны ненавистниковъ, ежели не успѣваетъ сохранить свое инкогнито.

Виноватъ: еще одно слово. Въ послѣднее время я довольно часто получаю заявленія, въ которыхъ выражается упрекъ за то, что я сомнѣваюсь въ наличности читателя-

друга и въ его сочувственномъ отношеніи къ убѣжденной литературѣ. По этому поводу считаю долгомъ оговориться: ни въ наличности читателя-друга, ни въ его сочувствіи я не сомнѣваюсь, а утверждаю только, что не существуетъ непосредственнаго общенія между читателемъ и писателемъ. Покуда мнѣнія читателя-друга не будутъ приниматься въ разсчетъ на вѣсахъ общественнаго сознанія, съ тою же обязательностью, какъ и мнѣнія прочихъ читательскихъ категорій, до тѣхъ поръ вопросъ объ удрученномъ положеніи убѣжденнаго писателя останется открытымъ.

Часть вторая.

I.

ДѢВУШКИ.

1.—Ангелочекъ.

Вѣрочка такъ и родилась ангелочкомъ. Когда ея maman, Софья Михайловна Братцева, по окончаніи урочныхъ шести недѣль, вышла въ гостиную, чтобы принимать поздравленія гостей, то Вѣрочка сидѣла у нея на колѣняхъ, и она всѣмъ ее показывала, говоря:

— Не правда ли, какой ангелочекъ?

Гости охотно соглашались, и съ тѣхъ поръ за Вѣрочкой утвердилось это прозвище навсегда.

Софья Михайловна безъ памяти любила своего ангелочка и была очень довольна, что послѣ дочери у нея не было дѣтей. Приращеніе семейства заставило бы ее или раздѣлить свою нѣжность, или быть несправедливою къ другимъ дѣтямъ, такъ какъ она дала себѣ слово всю себя посвятить Вѣрочкѣ. Еще на рукахъ у мамки ангелочка одѣвали какъ куколку, а когда отняли ее отъ груди, то наняли для нея француженку-бонну. Отъ бонны она получила первыя основанія религіи и нравственности. Ужъ пяти лѣтъ, вставая утромъ и ложась на ночь, она лепетала: «Dieu tout-puissant! rendez heureuse ma chère mère! veuillez qu'un faible enfant, comme moi, reste toujours digne de son affection, en pratiquant la vertu et la propreté!»

— Ишь вѣдь... et la propreté! — удивился однажды Ардальонъ Семенычъ Братцевъ, случайно подслушавъ эту странную молитву: — а обо мнѣ, ангелочекъ, молиться не нужно?

— Papa, — отвѣчала Вѣрочка: — je sais que vous êtes l'auteur de mes jours, mais c'est surtout ma mère que je chérie.

— Ну, ладно! вотъ ужо я тебя за непочтительность наслѣдства лишу!

Супруги Братцевы жили очень дружно. Оба были молоды, красивы, веселы, здоровы и пользовались хорошими средствами. У обоихъ живы были родители, которые въ изобиліи снабжали молодыхъ супруговъ деньгами. И старики, и молодые жили въ согласіи. Въ особенности Софья Михайловна старалась угодить свекру и свекрови, и называла ихъ не иначе, какъ papa и maman. Ардальонъ Семенычъ поступалъ нѣсколько вольнѣе и называлъ тестя «скворушкой» («скворушкѣ каши!» — кричалъ онъ, завидѣвъ въ дверяхъ старика), а тещу—скворешницей, изъ которой улетѣли скворцы. Сначала это нѣсколько коробило Софью Михайловну, которая не разъ упрекала мужа за его шутки.

— Развѣ я называю твоего папа дятломъ? — выговаривала она; но вскорѣ сама какъ будто убѣдилась, что иначе отца ея и нельзя назвать, какъ скворушкой, и всякія пересканія на этотъ счетъ сами собой упали.

Доброму согласію супруговъ много содѣйствовало то, что у Ардальона Семеныча были такія сочныя губы, что, бывало, Софья Михайловна прильнетъ къ нимъ и оторваться не можетъ. Сверхъ того, у него были упругія ляжки, на которыхъ она любила присѣсть. Сама она была вся мягкая. Оба любили оставаться наединѣ, и она вовсе не была въ претензіи, когда онъ, взявъ ее на руки, носилъ по комнатамъ и потомъ бросалъ ее на диванъ.

— Ардашка... дерзкій!.. — выговаривала она, но такимъ тономъ, что Ардальонъ Семенычъ слышалъ въ ея словахъ не предостереженіе, а поощреніе.

Первые проблески какого-то недоразумѣнія появились съ рожденіемъ Вѣрочки. Софья Михайловна вдругъ почувствовала, что она чѣмъ-то pénétrée, что она сдѣлалась une sainte, что у нея завелись les sentiments d'une mère. Словомъ сказать, съ языка ея посыпался весь лексиконъ пусторѣчія, который представляетъ къ услугамъ каждаго фран-

цузскій языкъ. Она рѣже захаживала въ кабинетъ мужа, рѣже присаживалась къ нему на колѣни и цѣлые дни проводила въ совѣщаніяхъ съ охранительницами Вѣрочкиной юности. Какое сдѣлать Вѣрочкѣ платьице? Какими кружевами обшить ея кофточки? Какіе купить башмачки? Супружеская любовь блѣднѣла передъ les sentiments d'une mère. Даже встрѣчаясь съ мужемъ за завтракомъ и обѣдомъ, она рѣдко обращала къ нему рѣчь и, не переставая, говорила съ гувернанткой (когда Вѣрочкѣ минуло шесть лѣтъ, то наняли въ домъ и англичанку, въ качествѣ гувернантки) и бонной. И все объ ангелочкѣ.

— Не правда ли, какая она милая? Какъ отлично усваиваетъ себѣ языки? И какъ вкусно молится? Вѣрочка! вѣдь ты любишь Бога?

— Мы всѣ должны любить Бога, — отвѣчала Вѣрочка разсудительно.

— Да, потому что Онъ добръ и можетъ намъ дать много, много всего. И ангеловъ Его нужно любить, и святыхъ... Вѣдь ты любишь?

— Oh! maman!

На первыхъ порахъ у Ардальона Семеныча въ глазахъ темнѣло отъ этихъ разговоровъ. Онъ судорожно сучилъ ногами подъ столомъ, находилъ соусъ неудачнымъ, вино — отвратительнымъ, сердился, сыпалъ выговорами. Но, наконецъ, смирился. Сталъ рѣже и рѣже появляться къ обѣду и завтраку, предпочитая пропитываться въ ресторанахъ, гдѣ, по крайней мѣрѣ, говорятъ только о томъ, о чемъ дѣйствительно говорить надлежитъ. Вѣрочку онъ не то чтобы возненавидѣлъ, а сдѣлался къ ней совершенно равнодушнымъ. Англичанку переносилъ съ трудомъ, француженку-бонну видѣть не могъ.

— Чортъ съ вами!—рѣшилъ онъ и откровенно объявилъ женѣ, что ежели эти порядки будутъ продолжаться, то онъ совсѣмъ изъ дома убѣжитъ.

Софья Михайловна слегка задумалась, но les sentiments d'une mère превозмогли.

— Какъ вамъ угодно, — отвѣтила она холодно, впервые употребляя церемонное «вы»:—не могу же я, ради вашего каприза, оставить единственное сокровище, которое я получила отъ Бога! Скажите, пожалуйста, за что вы возненавидѣли вашу дочь?

— Не дочь я возненавидѣлъ, а ваши дурацкіе разговоры!

— Ничего въ нашихъ разговорахъ дурацкаго нѣтъ!

— Лошадь одурѣетъ, не_то что человѣкъ — вотъ какіе это разговоры!

— Нѣтъ, ты докажи!

Но Ардальонъ Семенычъ, вмѣсто доказательствъ, взялъ шляпу и, посвистывая, ушелъ изъ дома.

Натянутости явной еще не было, но охлажденіе уже существовало.

Ангелочекъ между тѣмъ росъ. Вѣрочка свободно говорила по-французски и по-англійски, но нѣсколько затруднялась съ русскимъ языкомъ. Къ ней, впрочемъ, ходила русская учительница (дешевенькая), которая познакомила ее съ краткой грамматикой, краткой священной исторіей и первыми правилами ариѳметики. Но Софья Михайловна чувствовала, что чего-то недостаетъ, и, наконецъ, догадалась, что недостаетъ нѣмки.

— Какъ это я прежде не вздумала! — сѣтовала она на себя:—вѣдь со временемъ ангелочекъ, конечно, будетъ путешествовать. Въ гостиницахъ, правда, вездѣ говорятъ по-французски, но на желѣзныхъ дорогахъ, на улицѣ...

Тутъ же кстати, къ великому своему огорченію, Софья Михайловна сдѣлала очень непріятныя открытія. Къ француженкѣ-боннѣ ходилъ мужчина, котораго она рекомендовала Братцевой въ качествѣ брата. А такъ какъ Софья Михайловна была доброй родственницей, то желала, чтобы и живущіе у нея тоже имѣли родственныя чувства.

— Что-жъ вы не идете къ брату?—говорила она боннѣ.— Сегодня воскресенье—идите!

Оказалось, однако-жъ, что это совсѣмъ не братъ, а любовникъ, и—о, ужасъ! — что не разъ, съ пособіемъ судомойки, онъ проникалъ ночью въ комнату m-lle Thérèse, рядомъ съ комнатой ангелочка!

Кромѣ того, около того же времени, у Софьи Михайловны начали пропадать вещи. Сначала мелкія, а потомъ и покрупнѣе. Наконецъ, пропалъ довольно цѣнный фермуаръ. Воровкою оказалась англичанка.

— Вотъ это что называется éducation morale et religieuse!—трунилъ надъ женой Ардальонъ Семенычъ.

Въ домъ взяли нѣмку, такъ какъ нѣмки (кромѣ гамбургскихъ) изстари пользуются репутаціей добродѣтельныхъ. Француженка и англичанка (тоже вновь пріусловленныя) должны были приходить лишь въ опредѣленные дни и часы.

Нѣмка была молодая и веселая. Самъ Ардальонъ Семенычъ съ ея водвореніемъ повеселѣлъ. По-нѣмецки онъ зналъ только двѣ фразы: «Leben Sie wohl, essen Sie Kohl» и «Wie haben Sie geworden gewesen», и этими фразами неизмѣнно каждый день встрѣчалъ появленіе нѣмки въ столовой. Другой это скоро бы надоѣло, но фрейлейнъ Якобсонъ не только не скучала любезностями Братцева, но постоянно встрѣчала ихъ веселымъ хохотомъ.

— Вотъ твой разговоръ съ нѣмкой такъ дѣйствительно дурацкій! — говорила мужу Софья Михайловна, когда они оставались наединѣ.

— А ты докажи!—дразнилъ онъ ее.

Софья Михайловна, въ свою очередь, ничего доказать не могла и только цѣлыми днями дулась. Можно было предвидѣть, что нѣмкѣ недолго ужиться у нея, если бы Софья Михайловна не сообразила, что ежели откажетъ гувернанткѣ, то, чего добраго, Ардальонъ Семенычъ и на сторонѣ ее устроитъ.

— Теперь она все-таки у меня на глазахъ, а тамъ... Вѣдь это такой безсовѣстный человѣкъ, что онъ и ангелочка не пожалѣетъ... Все состояніе на нѣмокъ спуститъ!

Все это тѣмъ больше безпокоило ее, что не къ кому было обратиться за совѣтомъ. И скворецъ, и скворешница, и дятелъ, и жена его—все перемерло, такъ что Ардальонъ Семенычъ остался полнымъ властелиномъ и состоянія, и дѣйствій своихъ.

Наконецъ, Вѣрочка достигла двѣнадцати лѣтъ, и надо было серьезно подумать о воспитаніи ея. Кто знаетъ, что такое les sentiments d'une mère, тотъ пойметъ, какъ тревожилась Софья Михайловна, думая о будущемъ своего ангелочка. Et ceci, et cela. И науки, и подарокъ къ днямъ именинъ и рожденія—обо всемъ надо было подумать. Увы! ей даже помочь никто не хотѣлъ, потому что Ардальонъ Семенычъ продолжалъ выказывать «адское равнодушіе» къ своему семейству. И пріятельницы у нея были какія-то безчувственныя: у каждой свои ангелочки водились, такъ что начнетъ она говорить о Вѣрочкѣ, а ее перебиваютъ разсказами о Лидочкѣ, Сонечкѣ, Зиночкѣ и т. д. Но Провидѣніе само указало ей путь. Въ то время самымъ моднымъ учебнымъ заведеніемъ считался пансіонъ благородныхъ дѣвицъ m-lle Тюрбо. Всѣ науки проходились у нея въ лучшемъ видѣ и въ такой полнотѣ, что изъ курса не исключались даже начатки философіи (un tout petit peu,

vous savez? — pour faire travailler l'imagination!). Учителя были всѣ отборные: Жасминовъ, Геліотроповъ, Гіацинтовъ, Резединъ, французъ Essbouquet, нѣмецъ Кейнгерухъ (довольно съ нѣмца и этого) и проч. Священникъ Карминовъ приходилъ на урокъ въ муаровой рясѣ. Нравственностью завѣдывала сама m-lle Тюрбо и ея помощница, m-lle Эперланъ.

Заведеніе существовало уже съ давнихъ поръ и всегда славилось тѣмъ, что выходившія изъ него дѣвицы отличались доброю нравственностью, пріятными манерами и умѣли говорить un peu de tout. Онѣ знали, что былъ нѣкогда персидскій царь Киръ, котораго отецъ назывался Астіагомъ; что паденіе Западной Римской имперіи произошло вслѣдствіе изнѣженности нравовъ; что Петръ Пустынникъ ходилъ во власяницѣ; что городъ Ліонъ лежитъ на рѣкѣ Ронѣ и славится шолковыми и бархатными издѣліями, а городъ Казань лежитъ при озерѣ Кабанѣ и славится казанскимъ мыломъ. Юпитеръ былъ большой волокита, а Юнона была за нимъ очень несчастна и обратила Іо въ корову. А Святославъ сражался съ Цимисхіемъ и сказалъ: «не посрамимъ земли русскія!» Это онъ сказалъ, а совсѣмъ не генералъ Прокофьевъ, какъ утверждаютъ нѣкоторые историки. Словомъ сказать, все выходило такъ, что ни одна воспитанница m-lle Тюрбо не ударила въ грязь лицомъ и не уронила репутаціи заведенія.

Основателемъ пансіона былъ m-r Тюрбо, отецъ нынѣшней содержательницы. Онъ былъ вывезенъ изъ Франціи, въ качествѣ воспитателя, къ сыну одного русскаго вельможи, и когда воспитаніе кончилось, то ему назначили хорошую пенсію. M-r Тюрбо уже намѣревался уѣхать обратно въ родной Карпантра, какъ отецъ его воспитанника сдѣлалъ ему неожиданное предложеніе.

— А что, Тюрбо,—сказалъ онъ ему:—если бы вы перешли въ православную вѣру?

— Съ удовольствіемъ,—отвѣтилъ Тюрбо.

— А я вамъ помогу устроиться въ Петербургѣ навсегда...

— Съ у-до-воль-ствіемъ!—съ чувствомъ повторилъ Тюрбо, цѣлуя своего покровителя въ плечо.

И не дальше какъ черезъ мѣсяцъ все семейство Тюрбо познало свѣтъ истинной вѣры, и самъ Тюрбо, при матеріальной помощи русскаго вельможи, сталъ во главѣ пансіона для благородныхъ дѣвицъ, номинальной директрисой котораго значилась его жена.

Съ этихъ поръ заведеніе Тюрбо сдѣлалось разсадникомъ нравственности, религіи и хорошихъ манеръ. По смерти родителей, его приняла въ свое завѣдываніе дочь, m-lle Caroline Turbot, и, разумѣется, продолжала родительскія традиціи. Плата за воспитаніе была очень высока, но зато число воспитанницъ ограниченное, и въ заведеніе попадали только несомнѣнно родовитыя дѣвочки. Интерната не существовало, потому что m-lle Тюрбо дорожила вечерами и посвящала ихъ друзьямъ, которыхъ у нея было достаточно.

— Днемъ я принадлежу обязанностямъ, которыя налагаетъ на меня отечество, — говорила она, разумѣя подъ отечествомъ Россію:— но вечеръ принадлежитъ мнѣ и моимъ друзьямъ. А впрочемъ, что-жъ! вѣдь и вечеромъ мы говоримъ все о нихъ, все о тѣхъ же милыхъ сердцу дѣтяхъ!

Когда Софья Михайловна привезла Вѣрочку въ пансіонъ, то m-lle Тюрбо сразу назвала ее ангелочкомъ.

— Ахъ, какой ангелочекъ! и какая вы счастливая мать!— воскликнула она, любуясь дѣвочкой, которая дѣйствительно была очень миловидна.

— Само Провидѣніе привело меня къ вамъ, m-lle Caroline!—отвѣчала Софья Михайловна комплиментомъ за комплиментъ и крѣпко пожала руку директрисѣ.

Вѣрочка начала ходить въ пансіонъ и училась прилежно. Все, что могли дать ей Жасминовъ, Гіацинтовъ и проч., она усвоила очень быстро. Сверхъ того, научилась танцовать качучу, а манерами рѣшительно превзошла всѣхъ своихъ товарокъ. Это было нѣчто до такой степени мягкое, плавное, но въ то же время не изъятое и дѣтской непринужденности, что сама Софья Михайловна удивлялась.

— И откуда это у тебя, ангелочекъ, такія прелестныя манеры!—восхищалась она.

— Стараюсь, maman, подражать тѣмъ, кого я люблю,— скромно отвѣчалъ ангелочекъ.

— Ихъ вахмистръ манерамъ учитъ,—совсѣмъ некстати вмѣшивался Ардальонъ Семенычъ,

Но и съ ангелочкомъ случались приключенія, благодаря которымъ она становилась втупикъ. Однажды Essbouquet задалъ сочиненіе на тему: que peut dire la couleur bleue? Вѣрочка пришла домой въ большой тревогѣ:

— Que peut dire la couleur bleue, maman? — спросила она мать за обѣдомъ.

— Что такое... la couleur bleue?—удивилась Софья Михайловна.

— Намъ французъ на эту тему къ послѣзавтраму сочиненіе задалъ,—объяснила Вѣрочка.

— Экъ вывезъ!—замѣтилъ Ардальонъ Семенычъ.

— Ахъ, да... понимаю! — догадалась, наконецъ, Софья Михайловна.—О чемъ бы, однако-жъ, голубой цвѣтъ могъ говорить? Ну, небо, напримѣръ, l'azur des cieux... понимаешь! Голубое небо... Надъ нимъ ангелы... les chérubins, les séraphins... все, все голубое!.. Разумѣется, это надо распространить, дополнить — тутъ цѣлая картина! Что бы еще, напримѣръ!.. Ну, напримѣръ, невѣста... Голубое платье, голубыя ботинки, голубая шляпка... вся въ голубомъ! Чистая, невинная... разумѣется, и это надо распространить... Что бы еще?..

— Ну, напримѣръ, голубой жандармъ,—подсказалъ Ардальонъ Семенычъ.

— А что бы ты думалъ! жандармъ! вѣдь они охранители нашего спокойствія! И этимъ можно воспользоваться. Ангелочекъ почиваетъ, а добрый жандармъ бодрствуетъ и охраняетъ ея спокойствіе... Ахъ, спокойствіе!.. Это главное въ нашей жизни! Если душа у насъ спокойна, то и мы сами спокойны. Ежели мы ничего дурного не сдѣлали, то и жандармы за насъ спокойны. Вотъ теперь завелись эти... какъ ихъ... ну, все равно... Оттого мы и неспокойны... спимъ, а во снѣ все-таки тревожимся!

— О! чортъ побери!—простоналъ Ардальонъ Семенычъ.

Нѣмка неосторожно хихикнула; Софья Михайловна обвела ее молніеноснымъ взглядомъ, отодвинула сердито тарелку и весь остатокъ обѣда просидѣла надутая.

Въ другой разъ Вѣрочка вбѣжала въ квартиру, восторженно крича:

— Мамаша! я оступилась!

— Какъ оступилась? — встревожилась Софья Михайловна.—Садись, покажи ножку!

— Это, maman, намъ мосьё Жасминовъ сочиненіе на тему «Она оступилась» задалъ.

«Ah! c'est trop fort», — подумала Софья Михайловна и рѣшилась немедленно объясниться съ m-lle Тюрбо.

Она знала, что слово: «оступиться» употребляется въ смыслѣ, довольно неподходящемъ для дѣтской невинности. «Она оступилась, но потомъ вышла замужъ», или: «она оступилась, и за это родители не позволили ей показываться имъ на глаза» — вотъ въ какомъ смыслѣ употребляется это слово въ «свѣтѣ». Неужели ангелочекъ можетъ

когда-нибудь оступиться? Неужели нужно наводить его на подобныя мысли, заставлять доискиваться ихъ значенія? Вотъ ужъ этого-то не ожидала она отъ m-lle Тюрбо! Она скорѣе склонна была думать, что старая дѣвственница сама не подозрѣваетъ значенія подобныхъ выраженій, и вдругъ— прошу покорно!

Въ это утро у m-lle Тюрбо ужъ перебывало не мало встревоженныхъ матерей по этому же поводу, и потому она встрѣтила Софью Михайловну уже подготовленная.

— Ахъ, chère madame! — объяснила она: — что же въ этой темѣ дурного—рѣшительно не понимаю! Ну, прыгалъ вотъ ангелочекъ по лѣстницѣ... ну, оступился... попортилъ ножку... разумѣется, не сломалъ — о, сохрани Богъ! — а только попортилъ... Послѣ этого долженъ былъ нѣсколько дней пролежать въ постели, манкировать уроки... Согласитесь, развѣ все это не можетъ случиться!

— Да, ежели въ этомъ смыслѣ... но я должна вамъ сказать, что очень часто это слово употребляется и въ другомъ смыслѣ... Во всякомъ случаѣ, знаете что? попросите мосьё Жасминова — отъ меня! — не задавать сочиненій на темы, которыя могутъ имѣть два смысла! У меня живетъ нѣмка, которая можетъ... О, вы не знаете, какъ я несчастлива въ своей семьѣ! Мужъ мой... охъ, если-бъ не ангелочекъ!

— Не доканчивайте! Я понимаю васъ! Желаніе ваше будетъ выполнено!—горячо отвѣтила m-lle Тюрбо, пожимая посѣтительницѣ руки.—Pauvre ange délaissé!

Наконецъ (ангелочку ужъ шелъ шестнадцатый годъ) Вѣрочка пожаловалась мамашѣ, что танцмейстеръ Тушату хватаетъ ее за колѣнки. Извѣстіе это окончательно взорвало Софью Михайловну. Во-первыхъ, она въ первый разъ только сообразила, что у ангелочка есть колѣнки, и, во-вторыхъ — какая дерзость! Неужто какой-нибудь Тушату воображаетъ... mais c'est odieux! Когда она была молоденькая, и Ardalion, въ первый разъ, схватилъ ее за колѣнки— о, она отлично помнитъ этотъ моментъ! — она никогда не забудетъ, какъ покойница maman («скворешница!» мелькнуло у нея въ головѣ) бранила ее за это!

— Твои колѣнки, какъ вообще все твое, принадлежатъ будущему!—выговаривала старая скворешница:—и покуда ты не объявлена невѣстой, ты не должна расточать...

Она сообщила объ этомъ выговорѣ Ардашѣ, и онъ въ тотъ же вечеръ поспѣшилъ сдѣлать предложеніе. Ну, послѣ этого, конечно... О! это была цѣлая поэма!

Вслѣдствіе этого эпизода Софья Михайловна окончательно поссорилась съ m-lle Тюрбо и взяла ангелочка изъ пансіона. Курсъ еще не конченъ, но Вѣрочкѣ черезъ какихъ-нибудь два мѣсяца шестнадцать лѣтъ—надо же когда-нибудь! Она ужъ достаточно знаетъ и о томъ, что можетъ говорить голубой цвѣтъ, и о томъ, что можетъ случиться, если дѣвушка оступится, прыгая по лѣстницѣ. И вотъ, ее ужъ начинаютъ за колѣни хватать — довольно съ нея! Къ тому же зимній сезонъ кончился, скоро предстояли сборы въ деревню; тамъ Вѣрочка будетъ гулять, купаться, ѣздить верхомъ и вообще наберется здоровья, а потомъ, въ октябрѣ, опять наступитъ зимній сезонъ. Они возвратятся въ Петербургъ и сдѣлаютъ для ангелочка первый балъ.

За обѣдомъ только и было разговору, что о будущихъ выѣздахъ и балахъ. Будутъ ли носить талію съ такими же глубокими вырѣзами сзади, какъ въ прошлый сезонъ? Будутъ ли сзади подъ юбку подкладывать подставки? Чѣмъ будутъ обшивать низъ платья?

— Soignez vos épaules, mon ange, — тревожно наставляла дочь Софья Михайловна: — плечи — это въ бальномъ нарядѣ главное.

Увы! Ардальонъ Семенычъ уже не только не возмущался этими разговорами, но внималъ имъ совершенно послушно. Въ послѣднее время онъ весь отдался во власть мадеры, сдѣлался необыкновенно тихъ и только изрѣдка сквозь зубы цѣдилъ:

— Черти!

Все именно такъ и случилось, какъ предначертала Софья Михайловна. За лѣто Вѣрочка окрѣпла и нагуляла плечи, не слишкомъ наливныя, но и не скаредныя—какъ разъ въ мѣру. Въ декабрѣ, передъ Рождествомъ, Братцевы дали первый балъ. Разумѣется, Вѣрочка была на немъ царицей, и князь Сампантре смотрѣлъ на нее изъ угла и щелкалъ языкомъ.

— Maman! это былъ волшебный сонъ! — восторженно восклицалъ ангелочекъ, вставши на другой день очень поздно.—Ты дашь еще другой такой балъ?

— Объ этомъ надо еще подумать, ангелочекъ: такіе балы обходятся слишкомъ дорого. Во всякомъ случаѣ, на слѣдующей недѣлѣ будетъ балъ у Щербиновскихъ, потомъ у Глазотовыхъ, потомъ въ «Собраніи», а можетъ-быть, и князь Сампантре дастъ балъ... для тебя.. Кстати, представилъ его тебѣ вчера папаша?

— Да, представилъ... Ахъ, какой у него смѣшной носъ!

— Не въ носу дѣло, — резонно разсудила мать: — а въ томъ, что, кромѣ носа, у него... Впрочемъ, это ты въ свое время узнаешь!

Сезонъ промчался незамѣтно. Визиты, театры, балы — ангелочекъ съ утра до вечера только и дѣлалъ, что раздѣвался и одѣвался. И всякій разъ, возвращаясь домой усталая, но вся пылающая отъ волненія, Вѣрочка кидалась на шею къ матери и восклицала:

— Мама! мама! это... волшебный сонъ!

Наконецъ, ужъ передъ масляницей, князь Сампантре далъ ожидаемый балъ. Онъ открылъ его польскимъ въ парѣ съ Софьей Михайловной и первую кадриль танцовалъ съ Вѣрочкой, которая не спускала глазъ съ его носа, точно хотѣла выучить его наизустъ.

Постомъ пошли рауты; но Братцевы выѣзжали не часто, потому что къ нимъ началъ ѣздить князь Сампантре. Наконецъ, на Святой онъ пріѣхалъ утромъ, спросилъ Софью Михайловну и открылся ей. Вѣрочка въ это время сидѣла въ своемъ гнѣздышкѣ (un vrai nid de colibri), какъ вдругъ maman, вся взволнованная, вбѣжала къ ней.

— Пойдемъ! онъ сдѣлалъ предложеніе! — сказала она шопотомъ, точно боясь, чтобы кто-нибудь не услышалъ и не разстроилъ счастья ея ангелочка.

Вѣрочка вспомнила про носъ и слегка поморщилась. Но потомъ вспомнила, что у Сампантре есть кое-что и кромѣ носа,—и встала.

— Идемъ же!—торопила ее мать.

Дѣло кончилось въ двухъ словахъ. Рѣшено было справить свадьбу въ имѣніи Сампантре въ будущемъ сентябрѣ, въ тотъ самый день, когда ангелочку минетъ семнадцать лѣтъ.

Дѣвическая жизнь ангелочка кончилась. Въ семнадцать лѣтъ она уже успѣла исчерпать все ея содержаніе и приготовиться быть доброю женою и доброю матерью.

Теперь она пишетъ себя на карточкахъ: «княгиня Вѣра Ардаліоновна Сампантре, рожденная Братцева». Но maman попрежнему называетъ ее «ангелочкомъ».

2.—Христова невѣста *).

Въ началѣ семидесятыхъ годовъ Ольга Васильевна Ладогина, девятнадцати лѣтъ, вышла изъ института и прямо переселилась въ деревню къ отцу. Въ то время, когда болѣе счастливыя товарки разъѣзжались по Москвѣ, чтобы вступить въ свѣтъ, въ самомъ разгарѣ сезона, за Ольгой пріѣхала няня, переодѣла ее въ «собственное» платье и увезла на постоялый дворъ, гдѣ она остановилась. На постояломъ дворѣ отобѣдали деревенской провизіей, подкормили лошадей и сѣли въ возокъ; дѣло было въ началѣ зимы. Отцовская усадьба стояла отъ Москвы слишкомъ въ ста верстахъ, такъ что на «своихъ» онѣ пріѣхали только на третій день къ обѣду.

Василій Ѳедорычъ Ладогинъ былъ больной старикъ. Болѣзнь была хроническая, неизлѣчимая, такъ что онъ рѣдко вставалъ съ кресла и съ трудомъ бродилъ по комнатамъ. Въ шестьдесятъ лѣтъ и безъ того плохія радости, а тутъ еще навязался недугъ. Никто къ нему не ѣздилъ, кромѣ лѣкаря, который разъ въ недѣлю наѣзжалъ изъ города. Лѣкарь былъ молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати шести, но уже обремененный семействомъ. Можетъ-быть, вслѣдствіе этого онъ былъ молчаливъ, смотрѣлъ угнетенно и вообще представлялъ мало рессурсовъ. Всегда одинокій, больной и угрюмый, Василій Ѳедорычъ считалъ себя оброшеннымъ и не видѣлъ иного выхода изъ этой оброшенности, кромѣ смерти.

Дѣтей у него было двое: сынъ Павелъ, лѣтъ двадцати двухъ, который служилъ въ полку на Кавказѣ, и дочь, которая оканчивала воспитаніе въ одномъ изъ московскихъ институтовъ. Сынъ не особенно радовалъ; онъ велъ разгульную жизнь, имѣлъ неоднократно «исторіи», былъ переведенъ изъ гвардіи въ армію и не выказывалъ ни малѣйшей привязанности къ семьѣ. Дочь была отличная и скромная дѣвушка, но отцу становилось жутко, когда онъ раздумывался о ней. Ей предстояло коротать жизнь въ деревнѣ, около него, и только смерть его могла избавить ее отъ этого сѣраго, безнадежнаго будущаго. Была у него, правда, родная сестра, старая дѣвица, которая скромно жила въ Петербургѣ въ небольшомъ кругу «хорошихъ людей» и тревожилась всевозможными передовыми вопросами.

*) Этимъ именемъ на народномъ языкѣ называются старыя дѣвушки, которымъ не посчастливилось выйти замужъ.

Василій Ѳедорычъ думалъ поселить Ольгу вмѣстѣ съ нею, и Надежда Ѳедоровна охотно соглашалась на это, но Ольга рѣшительно отказалась исполнить желаніе отца. Ей казалось, что ея мѣсто—около больного старика, и деревенское заточеніе не только не пугало ея, но рисовалось въ ея воображеніи въ самыхъ заманчивыхъ краскахъ. Большой домъ, обширныя комнаты, паркъ съ густыми аллеями; лѣтомъ — воздухъ пропитанъ ароматами, паркъ гремитъ пѣніемъ птицъ; зимой—деревья задумчиво помахиваютъ обнаженными вершинами, деревня утопаетъ въ сугробахъ; во всѣ стороны далеко-далеко видно. И тотъ, и другой пейзажъ имѣютъ свою прелесть: первый представляетъ ликованіе, жизнь; второй—задумчивое, тихое умираніе.

Но, кромѣ наслажденій, представляемыхъ природой, ей предстоятъ въ деревнѣ и различныя обязанности. Она выберетъ нѣсколько деревенскихъ дѣвочекъ и будетъ учить ихъ; она будетъ посѣщать бѣдныхъ крестьянъ, помогать, лѣчить. Конечно, она совсѣмъ не знаетъ медицины, но съ помощью хорошаго лѣчебника и совѣтовъ уѣзднаго лѣкаря—этотъ недостатокъ легко устранить. Сверхъ того, передъ нею раскрывалась широкая область сельско-хозяйственной дѣятельности. Лѣтомъ—ходить въ поля, смотрѣть, какъ пашутъ, жнутъ; зимою—сводить счеты. Вообще, работы предстояло достаточно.

Состояніе у Ладогиныхъ было хорошее, такъ что они могли жить, ни въ чемъ не нуждаясь. Съ этой стороны будущее дѣтей не пугало Василія Ѳедорыча. Его пугало, что сынъ вышелъ неудачный, а дочь останется одинокою. Онъ съ горечью думалъ о тѣхъ счастливыхъ семьяхъ, гдѣ много родныхъ, и родственныя связи упрочились крѣпко. По крайней мѣрѣ, для молодыхъ людей есть вѣрный пріютъ, особливо ежели не существуетъ значительной разницы въ матеріальныхъ средствахъ. Горько являться въ качествѣ бѣдной родственницы; но, не имѣя нужды въ кускѣ, всегда можно надѣяться на радушный пріемъ. Вотъ если бы Ольга вышла замужъ — это было бы отличнымъ исходомъ и для нея, и для брата. И братъ могъ бы пріютиться въ семьѣ сестры и сдѣлаться тамъ человѣкомъ. Но на замужество Ольги надежда была плохая, особливо съ тѣхъ поръ, какъ она отказалась поселиться у Надежды Ѳедоровны. Кто ее увидитъ въ деревенской глуши? Кому она нужна, кромѣ безнадежно-больного старика-отца?

Сверхъ того, старикъ не скрывалъ отъ себя, что Ольга

была некрасива (ее и въ институтѣ звали дурнушкой), а это тоже имѣетъ вліяніе на судьбу дѣвушки. Лицо у нея было широкое, расплывчатое, корпусъ сутулый, приземистый. Не могла она нравиться. Развѣ тотъ бы ее полюбилъ, кто оцѣнилъ бы ея сердце и умъ. Но такіе цѣнители вообще представляютъ исключеніе, и ужъ, разумѣется, не въ деревнѣ можно было надѣяться встрѣтить ихъ.

Едва пріѣхала Ольга Васильевна въ деревню, какъ сразу же погрузилась въ безпробудную тишину. Старикъ-отецъ почти не покидалъ кресла и угрюмо молчалъ; въ комнатахъ было пусто и безмолвно. Стукъ часового маятника, скрипъ собственныхъ шаговъ — все съ такою гулкостью раздавалось въ комнатахъ, что по временамъ она даже пугалась. Пейзажъ, открывавшійся передъ окнами, былъ необыкновенно унылъ. Деревья въ паркѣ грузно опустили отягченныя инеемъ вѣтви и едва шевелили ими; рѣчка застыла; изрѣдка вдали показывался проѣзжій, и тотъ словно нырялъ въ сугробахъ, то показываясь на дорогѣ, то исчезая. Бѣлая церковь выступила впередъ своей колокольней, точно сбираясь сойти съ пригорка и что-то возвѣстить. Вправо отъ нея, сквозь обнаженный фруктовый садъ, чернѣлъ сельскій поселокъ, но издали казалось, что и онъ словно замеръ. Прислуга, пользуясь нездоровьемъ барина, рѣдко показывалась въ домѣ, за исключеніемъ стараго камердинера, который постоянно дремалъ въ передней. Только на мельницѣ, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ усадьбы, замѣчалось движеніе; но туда Ольга идти не рѣшалась: она еще боялась сразу вступать на арену хозяйственной дѣятельности.

Вечеромъ зажигались огни по всей анфиладѣ комнатъ, гдѣ проводилъ свой день старый баринъ. Старикъ любилъ освѣщенныя комнаты; онѣ однѣ напоминали ему о жизни. Ольга садилась около него и читала; но старикъ даже отъ чтенія, во время долгой болѣзни, отвыкъ. Тогда она пересаживалась съ книгой къ столу и читала про себя, покуда отца не уводили спать. Книгъ въ домѣ оказалось много, и почти все въ нихъ было для нея ново. Это до извѣстной степени наполняло ту вынужденную праздность, на которую она была обречена. Она все чего-то ждала, все думала: вотъ пройдетъ мѣсяцъ-другой, и она войдетъ въ настоящую колею, устроится въ новомъ гнѣздѣ такъ, какъ мечтала о томъ, покидая Москву, будетъ ходить въ деревню, наберетъ учениць и проч. Тогда и деревенская тишь перестанетъ давить ее своимъ гнетущимъ однообразіемъ.

Въ ожиданіи минуты, когда настанетъ дѣятельность, она читала, бродила по комнатамъ и думала. Поэтическая сторона деревенской обстановки скоро исчерпалась; гудѣніе внезапно разыгравшейся метели уже не производило впечатлѣнія; безконечная бѣлая равнина, съ крутящимися по мѣстамъ, словно дымъ, столбами снѣга, прискучила; тишина не успокаивала, а наполняла сердце тоской. Сердце безпокойно билось, голова наполнялась мечтаніями.

Она старалась гнать ихъ отъ себя, замѣнять болѣе реальною пищею — воспоминаніями прошлаго; но послѣднія были такъ малосодержательны и притомъ носили такой ребяческій характеръ, что останавливаться на нихъ подолгу не представлялось никакого резона. У нея существовалъ, впрочемъ, въ запасѣ одинъ рессурсъ—долгъ самоотверженія относительно отца, и она охотно отдалась бы ему; но старикъ думалъ, что стѣсняетъ ее собою, и предпочиталъ услугу стараго камердинера.

— Ужели всѣ такъ живутъ? — повторяла она, вперяя взоръ въ безконечную даль.

Нѣтъ, есть другіе, которые живутъ по-иному. Даже у нея подъ бокомъ шла жизнь, — положимъ, своеобразная и грубая, но все-таки жизнь.

По временамъ раздавалось то въ той, то въ другой передней хлопанье дверьми — это означало, что кто-нибудь изъ прислуги пришелъ и опять уходитъ. Въ этотъ домъ приходили только на минуту и сейчасъ же спѣшили изъ него уйти, точно онъ былъ вымороченый. Даже старуханянька — и та постоянно сидѣла въ людской. Тамъ было весело, оживленно; тамъ слышался человѣческій голосъ, человѣческій смѣхъ; тамъ о чемъ-то думалось, говорилось. Она одна ничего не слышала, кромѣ тиканья раскачивающагося маятника, скрипа собственныхъ шаговъ, да какихъ-то таинственныхъ шопотовъ, которые по временамъ врывались въ общее безмолвіе съ такою ясностью, что ей становилось жутко. Хотя бы птицу или собаку ей кто-нибудь подарилъ—все было бы веселѣе. Нѣтъ, одна, всегда одна. Какую такую поэзію она себѣ воображала, когда сюда ѣхала?

Періодическій пріѣздъ лѣкаря нѣсколько оживлялъ ее. Несмотря на угнетенный видъ, молчаливость, все же это былъ человѣкъ. Самъ онъ, положимъ, вопросовъ не дѣлалъ, но на посторонніе вопросы отвѣчалъ. Къ тому же наружность его была довольно симпатичная: бѣдное лицо, за-

думчивые большіе глаза, большой лобъ, густые черные волосы. Очень возможно, что печать угнетенности легла на него не спроста. Слухи носились, что онъ женился очень несчастливо, на вдовѣ, которая была гораздо старше его и которая содержала меблированныя комнаты, гдѣ онъ жилъ. Тамъ онъ съ нею и познакомился. Но насколько въ этой исторіи было правды—она не знала, и только видѣла, что въ жизни доктора было что-то загадочное. Случалось ей по временамъ и разговориться съ нимъ, но разговоры были короткіе.

— Вы женаты?—однажды спросила она его во время обѣда.

— Женатъ,—отвѣтилъ онъ односложно.

— И семейство есть?

— Четверо дѣтей.

— Скажите, веселятся въ городѣ? бываютъ собранія, вечера?

— Не знаю; я очень мало имѣю знакомствъ и никуда не ѣзжу.

— Что такъ?

— Жизнь такъ сложилась. Скучная жизнь.

Она инстинктивно подумала: «какой молодой и уже связалъ себя!» — но тутъ же спохватилась: съ чего ей вздумалось жалѣть, что онъ «связанъ», и краска разлилась по ея лицу.

— Да, пельзя сказать, чтобы весело было жить, — сказала она.

— Скучно, скучно, скучно!—три раза повторилъ онъ: — и, главное, безполезно.

— Не слишкомъ ли рѣзко вы выразились?

— Нѣтъ; вы сами на себѣ это чувство испытываете; а ежели еще не испытываете, то скоро, повѣрьте мнѣ, оно наполнитъ все ваше существо. Зачѣмъ? почему? — вотъ единственные вопросы, которые представляются уму. Всю жизнь нести иго зависимости, съ утра до вечера ходить около крохъ, слышать разговоръ о крохахъ, сознавать себя подавленнымъ мыслью о крохахъ...

— Но вѣдь я о крохахъ не думаю, а мнѣ тоже скучно.

— Нѣтъ, и ваша жизнь переполнена крохами, только вы иначе ихъ называете. Что вы теперь дѣлаете? что предстоитъ вамъ въ будущемъ? Навѣрное, вы мечтаете о дѣятельности, о возможности быть полезною; но разберите сущность вашихъ мечтаній, и вы найдете, что тамъ ничего. кромѣ крохъ, нѣтъ.

— Я еще не приступила ни къ чему, а вы уже заранѣе пугаете меня.

— Извините. Я вообще и неумѣлъ, и необщителенъ. Такъ сказалось, спроста.

Оба замолчали, чувствуя, что дальнѣйшее развитіе подобнаго разговора между людьми, которые едва знали другъ друга, можетъ представить нѣкоторыя неудобства. Но когда онъ послѣ обѣда собрался въ городъ, она опять подумала: «Вотъ если-бъ онъ не былъ связанъ!» — и опять покраснѣла.

Въ этотъ же вечеръ старикъ-отецъ, точно чувствуя, что сердце Ольги тревожно, подозвалъ ее къ себѣ и, взявши за подбородокъ, долго всматривался ей въ глаза.

— Бѣдная моя! — не то сказалъ, не то вздохнулъ онъ.

— Что такъ?—спросила она, чуть не плача.

— Бѣдная!—повторилъ онъ, безпомощно опуская голову на грудь, и махнулъ рукою, чтобы она ушла.

Всю ночь она волновалась. Что-то новое, хотя и неясное, проснулось въ ней. Разговоръ съ докторомъ былъ загадочный; сожалѣнія отца заключали въ себѣ еще менѣе ясности, а между тѣмъ они точно разбудили ее отъ сна. Въ самомъ дѣлѣ, что такое жизнь? что значатъ эти «крохи», о которыхъ говорилъ докторъ?

Ей вспомнилась старая дѣвушка—тетка. Надежда Ѳедоровна не жаловалась собственно на жизнь, а только на извѣстныя затрудненія, которыя тормозили ея дѣятельность. Но затрудненія не исключали представленія о жизни, напротивъ того, борьба съ ними оживляла и придавала бодрости. Такъ, по крайней мѣрѣ, явствовало изъ писемъ тетки, которая всегда оговаривалась, что занята по горло и оттого пишетъ рѣдко. Зачѣмъ она не послушалась отца и не поселилась вмѣстѣ съ теткой? Быть-можетъ, теперь у нея нашлось бы ужъ дѣло; быть-можетъ, она, вмѣстѣ съ Надеждой Ѳедоровной, волновалась бы настоящею, реальною дѣятельностью, а не тою вынужденною праздностью, которая наполняла все ея существо тоскою. Или и усиленная дѣятельность тетки не представляла ничего другого, кромѣ «крохъ», какъ выразился недавно докторъ?..

На другой день, утромъ, она спросила няньку:

— Есть у насъ въ селѣ бѣдные?

— Какъ бѣднымъ не быть.

— И плохо они живутъ?

— Ужъ какое бѣдному человѣку житье! Колотятся.

— Что они, напримѣръ, ѣдятъ?

— Тюрю, щи пустыя. У кого корова есть, такъ молока для забѣлки кладутъ.

— И больные въ деревнѣ есть?

— И больныхъ довольно. Плотникъ Миронъ ужъ два года животомъ валяется. Взвалилъ себѣ въ ту пору на плечо бревно, и вдругъ у него въ нутрѣ оборвалось.

— Неужто и онъ тоже тюрей питается?

— А то чѣмъ же! Чѣмъ прочіе, тѣмъ и онъ. Хлѣбъ-то задаромъ не достается. Онъ и съ печки сойти не можетъ— какой онъ добытчикъ!

— Докторъ у него не былъ?

— Про насъ, сударыня, докторовъ не припасено,—чуть не съ гнѣвомъ отвѣтила няня.

— Я, няня, пойду къ Мирону,—рѣшила Ольга.

— А зачѣмъ, позвольте узнать? «Богъ милости прислалъ»? Такъ это онъ и безъ васъ давно знаетъ.

— Нѣтъ, я спрошу, не нужно ли что.

— Полноте-ка! посмотрите, на дворѣ мгла какая! Пойдете въ своемъ разлетайчикѣ, простудитесь еще. Сидите-ка лучше дома—на что еще глядѣть собрались!

— Нѣтъ, я пойду.

И пошла.

Приходу ея въ избѣ удивились. Но она вошла довольно смѣло и спросила Мирона. Въ избѣ было душно и невыносимо смрадно. Ей указали на печку. Когда она взошла по приступкамъ наверхъ, передъ ней очутился человѣческій остовъ, изъ груди котораго вылетали стоны.

— Вы больны?—спросила она, не сознавая безполезности своего вопроса.

Онъ широко раскрылъ глаза и безмолвствовалъ.

— Третій годъ пластомъ лежитъ, — отвѣчала за него жена: — сначала и день, и ночь крикомъ-кричалъ, хоть изъ избы вонъ бѣги, а теперь потише сдѣлался.

— Можетъ-быть, ему легче сдѣлалось?

— Не должно бы быть—съ чего? Нѣтъ, у него, стало-быть, силы ужъ нѣтъ кричать.

— Чѣмъ же вы его кормите?

— Что сами ѣдимъ, то и ему даемъ. Да онъ и не ѣсть совсѣмъ.

— Хотите, я вамъ бульону для него пришлю? мяса?

— Съ убоины у него, пожалуй, съ души сопретъ. Вотъ

супцу... Миронъ, а, Миронъ! барышня съ усадьбы пришла, спрашиваетъ, супцу не хочешь ли?

— Не... нужно...

— Нѣтъ, я все-таки приплю. Можетъ-быть, и получше ему будетъ. И съ докторомъ о немъ поговорю. Посмотритъ, что-нибудь присовѣтуетъ, скажетъ, какая у него болѣзнь.

Визитъ кончился. Когда она возвращалась домой, ей было нѣсколько стыдно. Съ чѣмъ она шла?.. съ «супцемъ»! Да и «супецъ» ея былъ принятъ какъ-то сомнительно. Ни одного дѣльнаго вопроса она сдѣлать не сумѣла, никакой помощи предложить. Между тѣмъ сердце ея болѣло, потому что она увидѣла настоящее страданіе, настоящее горе, настоящую нужду, а не тоску по праздности. Тѣмъ не менѣе, она сейчасъ же распорядилась, чтобы Мирону послали миску съ бульономъ, вареной говядины и бѣлаго хлѣба.

— Это еще что̀ за выдумки?—удивилась няня.

— Пожалуйста, няня, прошу!

— Стыдитесь, сударыня, у насъ у самихъ говядины въ обрѣзъ! Въ городъ за нею гоняемъ. А бѣлый хлѣбъ только для господъ бережемъ.

— Исполните приказаніе Ольги Васильевны!—раздался голосъ старика Ладогина, до котораго, черезъ двѣ комнаты, донесся этотъ разговоръ.

Приказаніе было исполнено. На другой день Ольга Васильевна повторила свою просьбу; но она уже видѣла, что ей придется напоминать объ одномъ и томъ же каждый день, и что добровольно никто о Миронѣ не подумаетъ. Когда пріѣхалъ докторъ, она пошла къ больному вмѣстѣ съ нимъ; но докторъ, осмотрѣвъ паціента, объявилъ, что онъ безнадеженъ, и такихъ средствъ, которыя могли бы возстановить здоровье Мирона, у него, доктора, въ распоряженіи не имѣется. Онъ назвалъ болѣзнь по имени, но Ольга не поняла. За всѣмъ тѣмъ она продолжала напоминать о «супцѣ», но скоро убѣдилась, что распоряженія ея просто не исполняются. Тогда она умолкла.

Недѣли черезъ двѣ она обратилась къ нянькѣ съ новымъ вопросомъ:

— Нѣтъ ли на селѣ дѣвочекъ, которыя пожелали бы учиться? Немного: четыре-пять дѣвочекъ...

— Учить хотите?

— Да.

— Это чтобъ онѣ вездѣ слѣдовъ наслѣдили, нахаркали, всѣ комнаты овчинами насмердили?

— Ахъ, няня, какъ это у васъ сердце такое черствое!

— Придутъ въ вашу комнату, насорятъ, нагадятъ, а я за ними подметай!—продолжала ворчать нянька.

— Другіе подметутъ; наконецъ, я сама... Пожалуйста! Я знаю, папашѣ будетъ пріятно, что я хоть чѣмъ-нибудь занята.

На этотъ разъ нянька не противорѣчила, потому что побоялась вмѣшательства Василія Ѳедоровича. Дня черезъ два пришли три дѣвочки, пугливо остановились въ дверяхъ классной комнаты, оглядѣли ее кругомъ и, наконецъ, уставились глазами въ Ольгу. Съ мороза носы у нихъ были влажны, и одна изъ пришедшихъ, точно исполняя предсказаніе няньки, тотчасъ же высморкалась на полъ.

— Подойдите, не бойтесь! — поощряла ихъ Ольга Васильевна.

Началось каждодневное ученье, и такъ какъ Ольга дѣйствительно сгорала желаніемъ принести пользу, то дѣло пошло довольно бойко.

Черезъ короткое время Ольга Васильевна, однако-жъ, замѣтила, что матушка-попадья имѣетъ на нее какое-то неудовольствіе. Оказалось, что такъ какъ женской школы на селѣ не было, то матушка, за крохотное вознагражденіе, набирала учениць и учила ихъ у себя на дому. Затѣя «барышни», разумѣется, представляла для нея очень опасную конкуренцію.

— Она семью своимъ трудомъ кормитъ, — говорила по этому случаю нянька:—а вы у нея хлѣбъ отнимаете.

Приходилось попрежнему безцѣльно бродить по комнатамъ, прислушиваться къ бою маятника и скучать, скучать безъ конца. Изрѣдка она каталась въ саняхъ, и это немного оживляло ее; но дорога была такъ изрыта ухабами, что безпрерывное нырянье въ значительной степени отравляло прогулку. Впрочемъ, она настолько ужъ опустилась, что ее и не тянуло изъ дому. Все равно, вездѣ одно и то же, и вездѣ она одна.

Во время рождественскихъ праздниковъ пріѣзжалъ къ отцу одинъ изъ мировыхъ судей. Онъ говорилъ, что въ городѣ веселятся, что квартирующій тамъ батальонъ доставляетъ жителямъ различныя удовольствія, что по зимамъ нанимается залъ для собраній, и бываютъ танцовальные вечера. Потомъ зашелъ разговоръ о какихъ-то пререка-

нілхъ земства съ исправникомъ, о томъ, что земскія недоимки совсѣмъ не взыскиваются, что даже жалованье членамъ управы и мировымъ судьямъ платить не изъ чего.

— Слухи ходятъ, что скоро и совсѣмъ земства похерятъ,—прибавлялъ онъ:—да и хорошо сдѣлаютъ. Объ умывальникахъ для больницы да о паромѣ черезъ рѣчку Воплю и безъ земства есть кому думать. Вотъ кабы...

Но Василій Ѳедоровичъ не далъ ему докончить и, смѣясь, сказалъ:

— Успокойтесь: ваше жалованье при васъ останется. Даже вѣрнѣе будетъ уплачиваться, потому что недоимки настоящимъ образомъ станутъ взыскивать.

Въ заключеніе судья приглашалъ Ольгу развлечься и предлагалъ познакомить ее съ своею женой. Дѣйствительно, она однажды собралась въ городъ, и жена судьи приняла ее очень дружелюбно. Вмѣстѣ онѣ поѣхали въ собраніе, но тамъ было такъ людно и шумно, что у Ольги, почти въ самомъ началѣ вечера, разболѣлась голова. Притомъ же почти все время она просидѣла одна, потому что, подъ предлогомъ незнакомства, ее ангажировали очень рѣдко, тогда какъ жена судьи была царицей бала и не пропускала ни одного танца. Она искала глазами доктора, но его въ залѣ не было. Взамѣнъ ей указали на сухопарую, высокую даму, которая тоже сидѣла совсѣмъ одиноко, и сказали:

— Вотъ наша докторша!

Черезъ нѣсколько времени сухопарая дама подошла къ ней и очень нахально объявила:

— А мой докторъ отъ васъ безъ ума. Только и словъ, что Ольга Васильевна да Ольга Васильевна.

— Я всего одинъ разъ съ нимъ говорила, — невпопадъ отвѣтила Ольга, краснѣя.

— Это зависитъ отъ того, какъ говорить! Иногда и одинъ разъ люди поговорятъ, да такъ сговорятся, что любо-дорого смотрѣть!

Ольга встала и пересѣла на другое мѣсто.

— Пріѣдетъ онъ теперь къ вамъ... дожидайтесь! — прошипѣла ей вслѣдъ докторша.

Послѣ этого эпизода голова у нея разболѣлась сильнѣе, и ей сдѣлалось невыносимо скучно среди этой суматохи, называвшей себя весельемъ.

«Должно-быть, и для того, чтобы веселиться, надо привычку имѣть», — думалось ей, когда она возвращалась на постоялый дворъ, чтобы переодѣться и возвратиться домой.

— Ну, вотъ, слава Богу, и повеселились!—встрѣтила ее нянька.

Тѣмъ не менѣе докторъ продолжалъ навѣщать старика: это была единственная практика во всемъ уѣздѣ, которая представляла какое-нибудь подспорье, такъ что даже сварливая докторша не рѣшалась настаивать на утратѣ такого паціента. Но Ольга уже не вступала съ докторомъ въ разговоръ, а онъ и подавно молчалъ. Обмѣниваясь короткими фразами, обѣдали они вдвоемъ въ урочное время, затѣмъ пожимали другъ другу руки, и онъ уѣзжалъ. День-ото-дня перспектива одиночества и какой-то безвыходной тусклости все неизбѣжнѣе и неизбѣжнѣе обрисовывалась передъ ней.

Наконецъ, наступилъ мартъ, и грудь ея вздохнула свободнѣе. Стужа еще не прекратилась, но въ срединѣ дня солнце уже грѣло, и въ воздухѣ чуялся поворотъ къ веснѣ. Вотъ и грачи прилетѣли и наполнили сосѣднюю рощу шумнымъ карканьемъ; вотъ на дорожкѣ, ведущей въ паркъ, въ густомъ снѣжномъ слоѣ, ее покрывавшемъ, показались дырочки; на прудъ прибѣгали деревенскіе мальчики и проваливались въ рыхломъ снѣгу. Къ концу марта и въ комнатахъ стало веселѣе, свѣтлѣе. Лучи солнца играли на полу, отражались въ зеркалахъ; на стѣнахъ неизвѣстно откуда появлялись «зайчики». Ольга съ удовольствіемъ слѣдила за игрою лучей и чувствовала себя менѣе угнетенной. Наконецъ, пришелъ управляющій и объявилъ, что надо запастись провизіей, потому что скоро появятся на дорогахъ зажоры, и въ городъ нельзя будетъ проѣхать. Въ первыхъ числахъ апрѣля на рѣчкѣ тронулся ледъ, и все видимое пространство, и поля, и луга, покрылось водою.

Но въ то же время и погода измѣнилась. На небѣ съ утра до вечера ходили грузныя облака; начинавшееся тепло, какъ бы по мановенію волшебства, исчезло; почти ежедневно шелъ мокрый снѣгъ, о которомъ говорили: «молодой снѣгъ за старымъ пришелъ». Но и эта перемѣна не огорчила Ольгу, а, напротивъ, заняла ее. Все-таки дѣло идетъ къ возрожденію: тѣмъ или другимъ процессомъ, а природа беретъ свое.

На послѣдней недѣлѣ поста Ольга говѣла. Она всегда горячо и страстно вѣровала, но на этотъ разъ сердце ея переполнилось. На исповѣди и на причастіи она не могла сдержать слезъ. Но облегчили ли ее эти слезы, или, напротивъ, наполнили ея сердце тоскою,—этого она и сама не могла различить. Иногда ей казалось, что она утѣшена,

но черезъ минуту слезы опять закипали въ глазахъ, неудержимой струей текли по щекамъ, и она безсознательно повторяла слова отца: «бѣдная! бѣдная! бѣдная!»

Въ утреню Свѣтлаго праздника съ ней повторилось то же явленіе, но она, насколько могла, сдержала себя. Воротившись отъ ранней обѣдни домой, она похристосовалась съ отцомъ, который, по случаю праздника, надѣлъ бѣлый кашемировый халатъ и весь въ бѣломъ былъ скорѣе похожъ на мертвеца, закутаннаго въ саванъ, нежели на живого человѣка. Потомъ перецѣловалась со всею прислугой, разговѣлась, выслушала славленіе сельскаго священника и, усталая, легла отдохнуть. Но сдавленныя слезы сами собой полились; сердце заныло, въ груди шевельнулись рыданія. «Бѣдная! бѣдная! бѣдная!»—раздавалось у нея въ ушахъ, стучало въ головѣ, разливалось волной по всему тѣлу...

. . . . . .

Въ маѣ Ольга Васильевна начала ходить въ поле, гдѣ шла пахота, и начался посѣвъ ярового. Работа заинтересовала ее; она присматривалась, какъ управляющій распоряжался, ходилъ по пашнѣ, тыкалъ палкою въ вывороченные сохой комья земли, дѣлалъ работникамъ выговоры и проч.; ей хотѣлось и самой что-нибудь узнать, чему-нибудь научиться. На вопросы ея управляющій отвѣчалъ, какъ могъ, но при этомъ лицо его выражало такое недоумѣніе, какъ будто онъ хотѣлъ сказать: ты-то какимъ образомъ сюда попала?

Зато въ паркѣ было весело; березы покрылись молодыми блѣдно-зелеными листьями и сѣменными сережками; почки липы надувались и трескались; около клумбъ возился садовникъ съ рабочими: взрыхляли землю, сажали цвѣты. Нѣкоторыя птицы ужъ вывели птенчиковъ; гнѣзда самыхъ мелкихъ пернатыхъ, по бо́льшей части, были свиты въ дуплахъ деревъ, и иногда такъ низко, что Ольга могла заглядывать въ нихъ. По вечерамъ весь воздухъ былъ напоенъ душистымъ паромъ распустившейся березовой листвы.

Въ іюнѣ къ Ладогинымъ явился съ визитомъ сосѣдъ, Николай Михайлычъ Семигоровъ, молодой человѣкъ лѣтъ тридцати. Старикъ Ладогинъ въ былое время былъ очень близокъ съ покойнымъ отцомъ Семигорова и принялъ сына очень радушно. Молодой человѣкъ постоянно жилъ въ Петербургѣ, занималъ довольно видное мѣсто въ служебной іерархіи и только изрѣдка и на короткое время навѣщалъ деревню, отстоявшую въ четырехъ верстахъ отъ усадьбы

Ладогина. Средства онъ имѣлъ хорошія, не торопился связывать себя узами, былъ настолько свѣдущъ и образованъ, чтобы вести солидную бесѣду на всѣ вкусы, и въ обществѣ на него смотрѣли, какъ на приличнаго и пріятнаго человѣка. Въ семействѣ Ладогиныхъ онъ велъ себя очень предупредительно. Съ перваго же раза повелъ съ Ольгой оживленный разговоръ, сообщилъ нѣсколько пикантныхъ подробностей изъ петербургской жизни, коснулся «вопросовъ» и, разумѣется, по преимуществу тѣхъ, которымъ была посвящена дѣятельность тетки—Надежды Ѳедоровны. Но при этомъ объявилъ, что настоящее время для вопросовъ очень трудное, и что Надежда Ѳедоровна хотя не опускаетъ рукъ, но очень страдаетъ.

— Всего больше угнетаетъ то,—сказалъ онъ:—что надо дѣйствовать какъ будто исподтишка. Казаться веселымъ, когда чувствуешь въ сердцѣ горечь, заискивать у такихъ личностей, съ которыми не хотѣлось бы даже встрѣчаться, доказывать то, что само по себѣ ясно какъ день, слѣдить, какъ бы не оборвалась внезапно тонкая нитка, на которой чуть держится дѣло преуспѣянія, отстаивать каждый отдѣльный случай, пугаться и затѣмъ просить, просить и просить... Согласитесь, что это не легко!

И когда Ольга отвѣчала на его слова соболѣзнованіями—ничего другого и въ запасѣ у нея не было,—то онъ, поощренный ея вниманіемъ, продолжалъ:

— Вообще мы, люди добрыхъ намѣреній, должны держать себя осторожно, чтобы не погубить дѣла преуспѣянія и свободы. Мы обязаны помнить, что каждый переполохъ прежде всего и больше всего отражается на насъ. Поэтому самое лучшее — не дразнить и стараться показывать, что наши мысли совпадаютъ съ мыслями вліятельныхъ лицъ. Разумѣется, не затѣмъ, чтобы подчиняться этимъ лицамъ, а, напротивъ, чтобы они, незамѣтно для самихъ себя, подчинились нашимъ воззрѣніямъ. Вліятельное лицо всегда не прочь полиберальничать—къ счастію, это вошло уже въ привычку,—лишь бы либеральная мысль являлась не въ черезчуръ рѣзкой формѣ и смягчалась внѣшними признаками уступокъ и соглашеній. Ежели этотъ маневръ удастся, то дѣло преуспѣянія спасено. И что всего важнѣе: вліятельное лицо будетъ убѣждено, что иниціатива этого спасенія идетъ всецѣло отъ него. А при такомъ убѣжденіи и будущее его содѣйствіе можетъ считаться обезпеченнымъ.

— Да, но вѣдь это игра опасная,—замѣтила Ольга.

— Коли хотите, она не столько опасна, сколько не вполнѣ нравственна и въ высшей мѣрѣ надоѣдлива. Совѣстно лукавить и невыносимо скучно выслушивать пустяки, серьезно изрекаемые въ качествѣ истинъ. Требователенъ нынѣшній вліятельный человѣкъ и даже назойливъ. Ни одной уступки вы отъ него не дождетесь иначе, какъ цѣною цѣлаго потока пустопорожнихъ рѣчей. Но что же дѣлать?

— Мнѣ кажется, я бы побоялась. Вѣдь, слушая постоянно однѣ и тѣ же, какъ вы ихъ называете, пустопорожнія рѣчи, можно и самому незамѣтно подчиниться имъ. Вотъ я, напримѣръ, пріѣзжая сюда, тоже мечтала о какой-то дѣятельности, чѣмъ-то въ родѣ свѣтлаго луча себя представляла, а въ концѣ-концовъ подчинилась-таки. Я скажу одно слово, а мнѣ—двадцать въ отвѣтъ. Слова не особенно резонныя, но ихъ много, и притомъ они часто повторяются, все одни и тѣ же. Ну, и подчинилась или, говоря другими словами, махнула рукой и живу сама по себѣ.

— И дурно сдѣлали. Вамъ и подчиняться не нужно, а слѣдуетъ только приказать.

— Да, прикажите! какъ вы прикажете, когда вамъ говорятъ: «теперь недосужно», или: «вотъ ужо, какъ убѣремся!» и въ заключеніе: «ахъ, я и забыла!» Вѣдь и «недосужно», и «ужо», и «забыла» — все это въ порядкѣ вещей, все возможно.

— Пожалуй, что и такъ. Въ нашемъ дѣлѣ, конечно, есть своего рода опасности, но нельзя же не рисковать. Если изъ десяти опасностей преодолѣть половину, — а на это все-таки можно разсчитывать,—то и тутъ ужъ есть выигрышъ.

Словомъ сказать, Ольга провела время пріятно, во всякомъ случаѣ сознавала, что въ этой безпробудной тиши въ первый разъ раздалось живое человѣческое слово. Съ своей стороны, и онъ далъ понять, что знакомство съ Ольгой Васильевной представляетъ для него неожиданный и пріятный рессурсъ, и въ заключеніе даже обѣщалъ «надоѣдать».

— Я буду ѣздить къ вамъ часто, — говорилъ онъ, прощаясь:—ежели надоѣмъ, то скажите прямо. Но надѣюсь, что до этого не дойдетъ.

— То-есть вы поступите со мной, какъ съ тѣмъ вліятельнымъ лицомъ, о которомъ упоминали: будете подчинять меня себѣ, приводить на путь истинный!—пошутила Ольга.

— Пожалуй, — отвѣтилъ онъ весело: — только на этотъ

разъ вполнѣ добровольно и сознательно. А можетъ-быть, и вы подчините меня себѣ.

Семигоровъ уѣхалъ, и Ольга почувствовала съ перваго же шага, что ей скучно безъ него. Теорія его казалась ей нѣсколько странною, но вѣдь она такъ мало жила между людьми, такъ мало знаетъ, что, можетъ-быть, ошибается она, а не онъ. Во всякомъ случаѣ, разговоръ его заинтересовалъ ее, пробудилъ въ ней охоту къ серьезному мышленію. На этотъ разъ, однако-жъ, мысли ея находились въ какомъ-то хаосѣ, въ которомъ мѣшалось и положительное, и отрицательное, смѣняя одно другое безъ всякой виноословности. Въ этомъ хаосѣ она путалась до самой минуты, когда, ужъ довольно поздно, ее позвали къ отцу.

Отецъ собирался спать Онъ перекрестилъ дочь, посмотрѣлъ ей пристально въ глаза, точно у него опять мелькнуло въ головѣ: бѣдная! Но на этотъ разъ воздержался и сказалъ только:

— Ну, Христосъ съ тобой!

Семигоровъ сдержалъ слово и посѣщалъ Ладогиныхъ ежели не каждый день, то очень часто. Молодые люди сблизились. Николай Михайлычъ разъяснилъ Ольгѣ значеніе реформъ послѣдняго времени, подробно разсказалъ исторію и современное положеніе высшаго женскаго образованія, и мало-по-малу дѣйствительно подчинилъ ее себѣ. По временамъ они вступали на почву высшихъ общечеловѣческихъ интересовъ, спорили о различныхъ утопіяхъ, которыя излагалъ Семигоровъ, и, къ удивленію, Ольга на этой почвѣ опозналась гораздо быстрѣе и даже почувствовала себя тверже своего учителя. Во всякомъ случаѣ, она почувствовала, что въ существо ея хлынула жизнь.

Она слушала, волновалась, мыслила, мечтала... Но въ эти одинокія мечтанія неизмѣнно проникалъ образъ Семигорова, какъ свѣтлый лучъ, который пробудилъ ее отъ сна, освѣтилъ ея душу невѣдомыми радостями. Наконецъ, сердце не выдержало—и увлеклось.

Она даже забыла о своей непривлекательной внѣшности и безотчетно, бездумно пошла навстрѣчу охватившему ее чувству.

Замѣтилъ ли Семигоровъ зарождавшуюся страсть — она не отдавала себѣ въ этомъ отчета. Во всякомъ случаѣ, онъ относился къ ней сочувственно и дружески-тепло. Онъ крѣпко сжималъ ея руки при свиданіи и разставаніи и по временамъ даже съ нѣжнымъ участіемъ глядѣлъ ей

въ глаза. Отчего было не предположить, что и въ его сердце запала искра того самаго чувства, которое переполняло ее?

Однажды — это было передъ самымъ отъѣздомъ Семигорова въ Петербургъ — они сидѣли въ паркѣ и особенно дружески разговорились. Рѣчь шла о положеніи женщины въ русскомъ обществѣ. Сначала она приводила примѣры изъ крестьянской жизни, но, наконецъ, не выдержала и указала на свою собственную судьбу. Съ горечью, почти съ испугомъ жаловалась она на одиночество, вынужденную праздность, на неудавшуюся, погибшую жизнь. Какимъ образомъ эта жизнь такъ сложилась, что кругомъ ничего, кромѣ мрака, нѣтъ? Неужели у судьбы есть жребіи, которые она раздаетъ по произволу, съ завязанными глазами? И для чего эти жребіи? Для чего однихъ одарять, другихъ отметать? Для чего нужна, какимъ цѣлямъ можетъ удовлетворять эта безсмыслепная игра? Хоть бы въ будущемъ былъ просвѣтъ—можно было бы терпѣть и ждать. А въ ея жизни царствуетъ полная безсрочность. Она такъ же томится, какъ и прикованный къ креслу больной отецъ, который, вставая утромъ, ждетъ, скоро ли придетъ ночь, а ложась спать, ворочается на постели и ждетъ, скоро ли наступитъ утро. Такъ вѣдь у него ужъ и силъ для жизни нѣтъ, онъ естественнымъ процессамъ подчинился, тогда какъ она здорова, сильна, а ее преслѣдуетъ та же нравственная немочь, та же оброшенность.

— Вотъ нашъ докторъ говоритъ,—сказала она грустно:— что всѣ мы около крохъ ходимъ. Нѣтъ, не всѣ. У меня даже крохъ нѣтъ; я и крохѣ была бы рада.

— Бѣдная вы!—вымолвилъ онъ, взявъ ее за руку.

— Да, бѣдная! — повторила она: — и отецъ много разъ говорилъ мнѣ: бѣдная! бѣдная! Но представьте себѣ, старуха-нянька однажды услышала это и сказала: «какая же вы бѣдная! вы—барышня!»

— Бѣдная! бѣдная вы моя!

Жалость ли, или другое, болѣе теплое чувство овладѣло его сердцемъ, но съ нимъ совершилось внезапное превращеніе. Онъ почувствовалъ потребность любить и ласкать это бѣдное, оброшенное существо. Кровь не кипѣла въ его жилахъ, глаза не туманились страстью, но онъ чувствовалъ себя какъ бы умиротвореннымъ, достигшимъ завѣтной цѣли, и въ этотъ мигъ совершенно искренно желалъ, чтобы этотъ сердечный міръ, это душевное равно-

вѣсіе осталось при немъ навсегда. Инстинктивно онъ обнялъ ее рукой за талію, инстинктивно привлекъ къ себѣ и поцѣловалъ.

Изъ глазъ ея брызнули слезы.

— Зачѣмъ ты плачешь?—шепталъ онъ, незамѣтно увлекаясь.—Теперь ужъ ты не бѣдная! ты—моя!

— Я любима?—спросила она, все еще сомнѣваясь.

— Да, ты любима, ты—моя!—отвѣтилъ онъ горячо.

Цѣлый часъ они провели во взаимныхъ признаніяхъ и въ задушевной бесѣдѣ о предстоящихъ радостяхъ жизни. Сомнѣнія мало-по-малу совсѣмъ оставили ее; но онъ, по мѣрѣ того, какъ разговоръ развивался, начиналъ чувствовать какую-то неловкость, въ которой однако-жъ боялся признаться себѣ. Но все-таки онъ замѣтилъ эту неловкость и, чтобы оправдать себя, приписалъ ее недостатку страстности, которая лежала въ самой природѣ его. Но зато онъ честенъ и, конечно, не измѣнитъ однажды вызванному чувству любви, хоть бы это чувство и неожиданно подстерегло его.

Наконецъ, онъ сталъ собираться домой.

— Завтра утромъ я пріѣду и перетолкую съ твоимъ отцомъ, — говорилъ онъ: — а вечеромъ — въ Петербургъ. Черезъ мѣсяцъ возвращусь сюда, и мы будемъ неразлучны.

Она держала его за руку и не пускала отъ себя.

— Пойдемъ къ отцу... теперь!—сказала она:—мнѣ хочется показать тебя ему!

— Ну, онъ и безъ того знаетъ...

— Нѣтъ, онъ не знаетъ... *тебя, такою, какъ ты теперь...* не знаетъ! Пойдемъ!

— Твой отецъ — человѣкъ старозавѣтный, — уклонился онъ:—а старозавѣтные люди и обычаевъ старозавѣтныхъ держатся. Нѣтъ, оставимъ до завтра. Пріѣду, сдѣлаю формальное предложеніе, а вечеромъ—въ Петербургъ.

Она должна была согласиться, и онъ уѣхалъ. Долго глядѣла она вслѣдъ пролеткѣ, которая увозила его, и всякій разъ, какъ онъ оборачивался, махала ему платкомъ. Наконецъ, облако пыли скрыло и экипажъ, и сѣдока. Тогда она пошла къ отцу, встала на колѣни у его ногъ и заплакала.

— Я счастлива, папа!—слышалось сквозь рыданья, тѣснившія ей грудь.

Отецъ взглянулъ на нее и понялъ. «Бѣдная!»—шевель-

пулось у него въ головѣ, но онъ подавилъ жестокое слово и сказалъ:

— Ну, Христосъ съ тобой! желаю...

Вечеромъ ей стало невыносимо-скучно въ ожиданіи завтрашняго дня. Она одиноко сидѣла на той самой аллеѣ, гдѣ произошло признаніе, и вдругъ ей пришло на мысль пойти къ Семигорову. Она дошла до самой его усадьбы, но войти не рѣшилась, а только заглянула въ окно. Онъ нѣкоторое время ходилъ въ волненіи по комнатѣ, но потомъ сѣлъ къ письменному столу и началъ писать. Ей сдѣлалось совѣстно своей нескромности, и она убѣжала.

На другой день утромъ, только-что она встала, ей подали письмо.

«Простите меня, милая Ольга Васильевна,—писалъ Семигоровъ:—я не соразмѣрилъ силы охватившаго меня чувства съ тѣми послѣдствіями, которыя оно должно повлечь за собою. Обдумавъ происшедшее вчера, я пришелъ къ убѣжденію, что у меня черезчуръ холодная и черствая натура для тихихъ радостей семейной жизни. Въ ту минуту, когда вы получите это письмо, я уже буду на дорогѣ въ Петербургъ. Простите меня. Надѣюсь, что вы и сами не пожалѣете обо мнѣ. Не правда ли? Скажите: да, не пожалѣю. Это меня облегчитъ».

Она не проронила ни слова жалобы, но побѣлѣла какъ полотно. Затѣмъ положила письмо въ конвертъ и спрятала его въ шкатулку, гдѣ лежали вещи, почему-либо напоминавшія ей сравнительно хорошія минуты жизни. Въ числѣ этихъ минутъ та, о которой говорилось въ этомъ письмѣ, все-таки была лучшая.

Отецъ, повидимому, уже зналъ, что отъ Семигорова пришло письмо, и когда она пришла къ нему, то онъ угадалъ содержаніе письма и сердито, почти брезгливо крикнулъ:

— Забудь!

Но она не забыла. Каждый день по нѣскольку разъ она открывала завѣтную шкатулку, перечитывала деревянное письмо, комментировала каждое слово, усиливаясь что-нибудь выжать. Можетъ-быть, онъ чѣмъ-нибудь связанъ? можетъ-быть, эта связь вдругъ порвется, и онъ вернется къ ней? Вѣдь онъ ее любитъ... иначе зачѣмъ же было говорить? Словомъ сказать, она только этимъ письмомъ и жила.

Жизнь становилась все унылѣе и унылѣе. Наступила осень, вечера потемнѣли, полились дожди, паркъ съ каж-

дымъ днемъ все болѣе и болѣе обнажался; потомъ пошелъ снѣгъ, настала зима. Прошлый годъ обѣщалъ повториться въ мельчайшихъ подробностяхъ, за исключеніемъ той единственной свѣтлой минуты, которая наполнила ея сердце радостью...

Въ полной и на этотъ разъ уже добровольно принятой бездѣятельности она бродила по комнатамъ, не находя для себя удовлетворенія даже въ чтеніи. Въ ушахъ ея раздавались слова: «нѣтъ, вы не бѣдная, вы — моя!» Она чувствовала прикосновеніе его руки къ ея таліи; поцѣлуй его горѣлъ на ея губахъ. И вдругъ все пропало... куда? почему?

Отецъ нѣсколько разъ предлагалъ ей ѣхать въ Петербургъ къ теткѣ, но она настаивала въ своемъ упорствѣ. Теперь ужъ не представленіе о долгѣ приковывало ее къ деревнѣ, а какая-то тупая боязнь. Она боялась встрѣтить его, боялась за себя, за свое чувство. Навѣрное ее ожидаетъ какое-нибудь жестокое разочарованіе, какая-нибудь новая жестокая игра. Она еще не хотѣла прямо признать деревяннымъ письмо своего минутнаго жениха, но внутренній голосъ уже говорилъ ей объ этомъ.

Такъ прошло цѣлыхъ томительныхъ шесть лѣтъ. Наконецъ, старикъ Ладогинъ умеръ, и Ольга почувствовала себя уже совсѣмъ одинокою.

Черезъ мѣсяцъ пріѣхалъ братъ и привезъ съ собой «особу».

— Это моя пріятельница, Нина Автовна Шамандзе,— рекомендовалъ онъ ее сестрѣ:—прошу жаловать.

На другой день онъ спросилъ сестру, какъ она намѣрена располагать собой.

— Я поѣду сначала въ городъ,—отвѣтила она:—а потомъ, когда кончатся дѣла, уѣду къ тетѣ Надѣ въ Петербургъ. У насъ уже условлено.

— А гдѣ же вы изволите остановиться въ городѣ?

— У мирового судьи Зуброва. Онъ просилъ меня. Покойный отецъ оставилъ завѣщаніе и назначилъ Зуброва душеприказчикомъ.

— Вотъ какъ! и завѣщаніе есть! А по-моему, вашему сословію достаточно бы пользоваться тѣмъ, что вамъ по закону предоставлено. Въ недвижимомъ имѣніи—четырнадцатая, въ движимомъ—восьмая часть. Ну, да вѣдь шесть лѣтъ около старичка сидѣли—можетъ-быть, что-нибудь и высидѣли.

Рано утромъ, на слѣдующій же день, Ольги уже не было

въ отцовской усадьбѣ. Завѣщаніе было вскрыто, и въ немъ оказалось, что капиталъ покойнаго Ладогина былъ раздѣленъ поровну, а о недвижимомъ имѣніи не упоминалось, такъ какъ оно было родовое. Ольга въ самое короткое время покончила съ наслѣдствомъ: приняла свою долю завѣщаннаго капитала, а отъ четырнадцатой части въ недвижимомъ имѣніи отказалась. Въ распоряженіи ея оказалось около четырехъ тысячъ годового дохода.

Пріѣхала она къ теткѣ въ концѣ ноября, въ самый разгаръ сезона. Надежда Ѳедоровна хотя была значительно моложе брата, но все-таки ей шло ужъ за пятьдесятъ. Это была отличная дѣвушка, бодро несшая и бремя лѣтъ, и свое одиночество. Она наняла довольно просторную квартиру въ четвертомъ этажѣ, такъ что у нея и у Ольги было по двѣ комнаты и общая столовая. Ольга сразу почувствовала себя удобно. Не было безполезной громады комнатъ, которая давила ее въ деревнѣ; не слышно было таинственныхъ шопотовъ, которые въ деревенскомъ домѣ ползли изъ всѣхъ щелей. Съ непривычки ей показалось даже тѣсновато, но она рада была этому.

Надежда Ѳедоровна тормошилась съ утра до вечера. Она была членомъ множества комитетовъ, комиссій, субкомиссій и проч., не пропускала ни одного засѣданія, ѣздила къ вліятельнымъ лицамъ, ходатайствовала, хлопотала. Усталая, возвращалась домой къ обѣду, а вечеромъ опять исчезала. Иногда и у нея, въ качествѣ предсѣдательницы какой-нибудь субкомиссіи, собирались «хорошіе люди», толковали, рѣшали вопросы, но, надо сказать правду, большинство этихъ рѣшеній формулировалось словами: нельзя ли какъ-нибудь найти путь къ такому-то лицу? напримѣръ, къ тому-то, черезъ того-то? нельзя ли воспользоваться пріѣздомъ такого-то и при посредствѣ такого-то предложить ему принять въ «нашемъ» дѣлѣ участіе?

— Онъ богатъ; ему ничего не значитъ выбросить пять-шесть тысячъ.

Словомъ сказать, Ольга поняла, что въ Россіи благія начинанія, во-первыхъ, живутъ подъ страхомъ и, во-вторыхъ, еле дышатъ, благодаря благонамѣренному вымогательству, безъ котораго никто бы и не подумалъ явиться въ качествѣ жертвователя. Сама Надежда Ѳедоровна откровенно созналась въ этомъ.

— Ты не повѣришь, какъ намъ горько и тяжело,—сказала она.

— Да, я слышала, что вы постоянно боитесь.

— Ты это отъ Семигорова шесть лѣтъ тому назадъ слышала. Чтѳ тогдашніе страхи въ сравненіи съ нынѣшними! Нѣтъ, ты теперь посмотри! Кстати: Семигоровъ навѣдывается о тебѣ съ большимъ интересомъ. Часто онъ бывалъ у васъ?

— Да; бывалъ.

— Онъ умный. Но предупреждаю тебя: онъ не изъ «нашихъ». Онъ карьеристъ, и сердце у него дряблое.

— Вы часто его видите?

— Не особенно. Обращаюсь къ нему при случаѣ, какъ и вообще ко всѣмъ, кто можетъ помочь. Ахъ, мой другъ, такъ намъ тяжело, такъ тяжело! Ты представь себѣ только это одно: захотятъ насъ простить—мы живы; не захотятъ—погибли. Одна эта мысль... ахъ!

Ольга не безъ смущенія выслушала аттестацію Семигорова, но когда осталась одна, то опять перечитала завѣтное письмо и опять напрягла всѣ усилія, чтобы хоть что-нибудь изъ него выжать. Искру чувства, надежду... что-нибудь!

«Какое оно, однако-жъ, деревянное!»—въ первый разъ мелькнуло въ ея головѣ.

Ольга скоро сдѣлалась своею въ томъ тѣсномъ кружкѣ, въ которомъ вращалась Надежда Ѳедоровна. Настоящей дѣятельности она покамѣстъ не имѣла, но прислушивалась къ совѣтамъ опытныхъ руководительницъ и помогала, стараясь, чтобы вліятельныя лица, по крайней мѣрѣ, привыкли видѣть ее. Она уже считала себя обреченною и не видѣла передъ собой иного будущаго, кромѣ того, которое осуществляла собой Надежда Ѳедоровна.

Однажды, сидя въ своей комнатѣ, она услышала знакомый голосъ. Это былъ голосъ Семигорова, который пріѣхалъ навѣстить тетку. Ольга встала и твердымъ шагомъ пошла туда, гдѣ шелъ разговоръ. Очевидно, она рѣшила испытать себя и—«кончить».

Семигоровъ значительно постарѣлъ за семь лѣтъ. Онъ потолстѣлъ и обрюзгъ; лицо было попрежнему блѣдное, но непріятно-одутловатое и совсѣмъ деревянное. Говорилъ онъ, впрочемъ, такъ же плавно и резонно, какъ и тогда, когда она въ первый разъ увидѣла его.

Очевидно, внутри его существовало два теченія: одно старое, съ либеральной закваской, другое—новѣйшее, которое шло навстрѣчу карьерѣ. Первое побуждало его не

забывать старыхъ друзей; второе подсказывало, что хотя не забывать и похвально, но сношенія слѣдуетъ поддерживать съ осторожностью. Онъ, разумѣется, прибавлялъ при этомъ, что осторожность необходима не столько ради карьеры, сколько для того, чтобы... «не погубить дѣла».

— Ольга Васильевна! вы!—воскликнулъ онъ, протягивая обѣ руки:—а я хотѣлъ, переговоривши съ Надеждой Ѳедоровной, и васъ, въ вашемъ гнѣздышкѣ, навѣстить.

— Все равно, здѣсь поговоримъ,—отвѣчала она сдержанно.

— Такъ неужто-жъ нельзя?—перебила ихъ привѣтствіе Надежда Ѳедоровна.

— И нельзя, и поздно—дѣло рѣшенное. Не такое нынче время, чтобы глупости говорить.

— Что же «она» такого сказала?

— По ея мнѣнію—ничего; по мнѣнію другихъ—много, слишкомъ много. Я говорилъ и повторяю: главное въ нашемъ дѣлѣ—осторожность.

Далѣе онъ началъ развивать, почему необходима осторожность. И сама по себѣ она полезна; въ частности же, по отношенію къ вѣяніямъ времени—составляла conditio sine qua non. Нельзя-съ. Онъ, конечно, понимаетъ, что молодыя увлеченія должны быть принимаемы въ соображеніе, но, съ другой стороны, нельзя упускать изъ вида, что они приносятъ положительный вредъ. Отъ копеечной свѣчки Москва загорѣлась—такъ и тутъ. Одно неосторожное слово можетъ воспламенить сотни сердецъ, воспламенить безплодно и несвоевременно. Допустимъ, что абсолютно это слово не заключаетъ въ себѣ вреда, но съ точки зрѣнія несвоевременности—вопросъ представляется совсѣмъ въ другомъ видѣ.

— Нельзя-съ,—сказалъ онъ рѣшительно:—я и просилъ, и даже надоѣдалъ, и получилъ въ отвѣтъ: «оставьте, мой другъ!» Согласитесь сами...

— Нельзя ли?—приставала Надежда Ѳедоровна.

Ольгѣ вдругъ сдѣлалось какъ-то безнадежно-скучно. Даже голова у нея заболѣла отъ этого переливанія изъ пустого въ порожнее. Тѣ самыя рѣчи, которыя, семь лѣтъ тому назадъ, увлекли ее, теперь показались ей плоскими, почти безсовѣстными.

— Я ухожу, тетя!—сказала она.

— А меня такъ и не примете у себя?—спросилъ Семигоровъ.

— Мнѣ нужно идти. Въ другой разъ. Вспомните—зайдете.

Она разомъ рѣшила, что все «кончено». Зашла въ свою комнату, разорвала завѣтное письмо на клочки и бросила въ топившуюся печку; даже не взглянула, какъ оно запылало.

Прошелъ годъ, и ея дѣятельность была замѣчена; ей предложили предсѣдательское кресло въ обществѣ «азбуки-копейки». Хлопотъ было по горло, но и страха не мало. Пробовала-было она не страшиться, но скоро поняла, что это невозможно. Общество издало отличнѣйшую азбуку съ иллюстраціями, но въ ней на букву Д нарисована была картинка, изображающая прядущую дѣвушку, а подъ картинкой было подписано: *Дивчина.* «Критика» замѣтила это и обвинила азбуку въ украинофильствѣ. На букву П былъ нарисованъ человѣкъ въ кунтушѣ, а подпись гласила: *Панъ.* И это замѣтила «критика» и обвинила азбуку въ полонофильствѣ. Въ отдѣлѣ краткихъ историческихъ и географическихъ свѣдѣній тоже замѣчены были промахи и пропуски, и все такіе, которые свидѣтельствовали о недостаточной теплотѣ чувствъ. Ольга Васильевна бѣгала, оправдывалась и ходатайствовала, не щадя живота.

— Вѣдь ваша же пресловутая литература васъ съ головой выдаетъ!—говорили ей.

Ахъ, эта литература!

Благодаря бѣготнѣ, дѣло сошло съ рукъ благополучно; но затѣмъ предстояли еще и еще дѣла. Первое изданіе азбуки разошлось быстро; надо было готовиться къ другому—уже безъ промаховъ. «Дивчину» замѣнили старухой и подписали: *Домна;* «Пана» замѣнили мужичкомъ съ топоромъ за поясомъ и подписали: *Потапъ-плотникъ.* Но какъ попасть въ мысль и намѣренія «критики»? Пожалуй, будутъ сравнивать второе изданіе съ первымъ и скажутъ: «а! догадались! думаете, что надѣли маску, такъ васъ подъ ней и не узнаютъ!»

— Дѣло въ томъ,—объяснилъ ей Семигоровъ:—что общество ваше хотя и дозволенное, и цѣли его вполнѣ одобрительны, но пальца ему въ ротъ все-таки не клади.

— Но почему же?

— А потому, что потому. Существуютъ такіе тонкіе признаки. Составъ общества, его черезчуръ кипучая дѣятельность—все это прямо бросается въ глаза. Ну, съ чего вы, напримѣръ, Ольга Васильевна Ладогина, вполнѣ обез-

печенная дѣвица, такъ кипятитесь по поводу какой-то жалкой азбуки?

— Какъ съ чего? Во-первыхъ, я русская и вижу въ распространеніи грамотности одно изъ условій благосостоянія родной страны; и во-вторыхъ, это дѣло доставляетъ мнѣ удовольствіе: я взялась за него, мнѣ его довѣрили, и я не могу не хлопотать о немъ.

— Э, барышня! и безъ насъ съ вами все устроится!

— Такъ вы бы такъ прямо и говорили. А то приходите, увѣряете въ своемъ сочувствіи...

— Я-то сочувствую, да вотъ... Нельзя «прать противъ рожна», Ольга Васильевна!

Но она продолжала «прать», быть-можетъ, потому, что не понимала, въ чемъ собственно заключается «рожонъ», а Семигоровъ не могъ или не хотѣлъ объяснить ей сокровенный смыслъ этого выраженія.

Прошелъ еще годъ. Надежда Ѳедоровна хлопотала объ открытіи «общества для вспоможенія чающимъ движенія воды». Старанія ея увѣнчались успѣхомъ, но—увы!—она изнемогла подъ бременемъ ходатайствъ и суеты. Пришла старость, нуженъ былъ покой, а она не хотѣла и слышать о немъ. Въ самомъ разгарѣ дѣятельности, когда въ головѣ ея созрѣвали все новые и новые планы (Семигоровъ потихоньку называлъ ихъ «подвохами»), она умерла, завѣщавши на смертномъ одрѣ племянницѣ свое «дѣло».

Ольга Васильевна осталась совсѣмъ одинокою.

Теперь ей ужъ за тридцать. Она пошла по слѣдамъ тетки и всецѣло отдала себя, свой трудъ и матеріальныя средства тому скромному дѣлу, которое она вполнѣ искренно называла оздоровляющимъ. Она состоитъ дѣятельнымъ членомъ всѣхъ обществъ, гдѣ рѣчь идетъ о помощи, а въ нѣкоторыхъ изъ нихъ предсѣдательствуетъ. Устраиваетъ базары, лотереи, танцовальные вечера. Все это требуетъ большихъ хлопотъ и преодолѣнія препятствій, но она не унываетъ. Напротивъ, привычка въ значительной мѣрѣ умалила ея страхи, а дѣятельная жизнь способствовала укрѣпленію ея силъ и здоровья. Дома ее можно застать очень рѣдко,—все больше въ комитетахъ, комиссіяхъ, субкомиссіяхъ и, разумѣется, въ канцеляріяхъ. Даже горничная ея совершенно отчетливо произноситъ названія этихъ учрежденій и на вопросъ посѣтителей отвѣчаетъ бойко и безошибочно.

По временамъ она вспоминаетъ слова доктора, который лѣчилъ ея отца, о «крохахъ» и говоритъ:

— Вотъ и у меня свои «крохи» нашлись. И не одна, даже не нѣсколько, а цѣлая куча!

3.—Сельская учительница.

Анна Петровна Губина была сельской учительницей. Составляла ли эта профессія ея призваніе, или просто такъ случилось, что дѣваться было больше некуда—она и сама не могла бы дать ясно формулированнаго отвѣта на этотъ вопросъ. Получила дипломъ учительницы, потомъ открылось мѣсто на пятнадцать рублей въ мѣсяцъ жалованья, и она приняла его. Осенью, къ началу учебнаго семестра, она пріѣхала въ село; ей указали, гдѣ помѣщается школа, и она осталась. Къ счастью, при школѣ было помѣщеніе для учительницы: комната и при ней крохотная кухня; а то бываетъ и такъ, что учительница каждую недѣлю переходитъ изъ одной избы въ другую, такъ что квартира насадительницы знаній представляетъ для обывателей своеобразную натуральную повинность.

Школа помѣщалась въ просторномъ флигелѣ, который при крѣпостномъ правѣ занималъ управляющій имѣніемъ и который бывшій помѣщикъ пожертвовалъ міру подъ училище. Мѣста для учащихся было достаточно, но зданіе было старое, и крестьяне въ продолженіе многихъ лѣтъ не ремонтировали его. Печи дымили, потолки протекали, изъ всѣхъ щелей дуло.

Ученіе было самое первоначальное. Читать, писать, поверхностныя свѣдѣнія изъ грамматики, первыя четыре правила ариѳметики, краткая священная исторія—вотъ и все. Старались, чтобы въ годъ, много въ два, ребенокъ позналъ всю премудрость. За строгимъ соблюденіемъ программы, въ особенности въ смыслѣ ея нерасширенія, наблюдалъ мѣстный священникъ; попечителемъ школы состоялъ сельскій староста, а высшій надзоръ былъ предоставленъ помѣщику, который постоянно жилъ за границей, но изрѣдка навѣдывался и въ усадьбу. Въ школу ходили исключительно мальчики.

Дѣло у Анны Петровны налаживалось не споро. Учительницу не ждали такъ скоро, и помѣщеніе школы было

въ безпорядкѣ. Прежде нежели собрались ученики, въ школу приходили родители и съ любопытствомъ разсматривали новую учительницу.

— Вы робять на ускори обучайте; намъ вѣдь только бы читать да писать умѣли. Да цифири малость. Безъ чего нельзя, такъ нельзя, а лишняго для насъ не требуется. Намъ дѣти дома нужны. А ежели который стараться не станетъ, можно такого и попугать. Вотъ онъ въ углу—вѣникъ—стоитъ. Сдѣлайте милость, постарайтесь.

Исподволь устроилась она, однако-жъ, и въ школѣ, и у себя въ каморкѣ. Вмѣсто мебели ей поставили простой, некрашеный столъ и три табуретки; въ углу стояла кровать, перешедшая, вмѣстѣ съ домомъ, отъ управляющаго; въ стѣну вбито было нѣсколько гвоздей, на которые она могла вѣшать свой гардеробъ. При школѣ находился сторожъ, который топилъ печи и выметалъ съ вечера классную комнату. Насчетъ продовольствія она справилась, какъ жила ея предшественница, и получила отвѣтъ, что послѣдняя ходила обѣдать къ священнику за небольшую плату, а дома только чай держала. Священникъ и ее охотно согласится взять на хлѣба.

— Я не изъ корысти,—сказалъ онъ:—а жалѣючи васъ: кто же вамъ будетъ готовить? Здѣсь вы не только горячей пищи, и хлѣба съ трудомъ найдете. Мы за обѣдъ съ васъ пять рублей въ мѣсяцъ положимъ. Лишняго не подадимъ, а сыты будете. Станете ходить каждый день къ намъ и обзнакомитесь; и вамъ, и намъ веселѣе будетъ. Ежели какія сомнѣнія встрѣтите, то за обѣдомъ общимъ совѣтомъ и разрѣшимъ. Вкупѣ да влюбѣ—вотъ какъ по-моему. Ежели вы съ любовью придете, то я, какъ пастырь, и тѣмъ паче. Но не скрою отъ васъ: трудъ вамъ предстоитъ не легкій и не всегда безпрепятственный. Народъ здѣсь строптивый, непривѣтливый, притязательный. Каждый будетъ вамъ требованія предъявлять, а иной разъ и такія, отъ которыхъ жутко придется. Людмила Михайловна, предшественница ваша, повздорила съ Васильемъ Дроздомъ, такъ насилу отсюда выбралась.

— Кто это Дроздъ?

— А здѣшній воротила, портерную держитъ, лавочку, весь міръ у него подъ пятой, и начальство привержено. Сынъ у него въ школѣ, такъ онъ подарокъ Людмилѣ Михайловнѣ вздумалъ поднести, а она уперлась. Онъ, конечно, обидѣлся доносы сталъ писать—ну, и пришлось бы-

жать. Земство такъ и не оставило ее у себя; живетъ она теперь въ городѣ, въ помощницахъ у одной помѣщицы, которая въ родѣ пансіона содержитъ.

— Однако строго-таки у васъ.

— И даже очень. Главное, въ церковь прилежно ходите. Я и какъ пастырь васъ увѣщеваю, и какъ человѣкъ предостерегаю. Какъ пастырь говорю: только церковь можетъ утѣшить насъ въ жизненныхъ треволненіяхъ; какъ человѣкъ предваряю, что нѣтъ легче и опаснѣе обвиненія, какъ обвиненіе въ недостаткѣ религіозности. А впрочемъ, загадывать впередъ безполезно. Пріѣхали—стало-быть, дѣло кончено. Богъ да благословитъ васъ.

Священникъ былъ старозавѣтный, добрый, попадья у него была тоже добрая. Дѣти находились въ разбродѣ, такъ что старики жили совсѣмъ одни. Оба были люди дѣятельные, съ утра до вечера хлопотали и довольствовались одной работницей. Батюшка и до сихъ поръ полеводство держалъ, но больше уже по привычкѣ, безъ выгоды. Къ Аннѣ Петровнѣ они отнеслись сочувственно; она напоминала имъ о дѣтяхъ. Для нея это было хорошее предзнаменованіе; несмотря на предостереженіе батюшки относительно трудности предстоящаго ей пути, она все-таки надѣялась найти въ его домѣ пріютъ и защиту.

Она разсчитала, что если будетъ тратить пять рублей на обѣдъ да пять рублей на чай и баранки, то у нея все-таки останется изъ жалованья пять рублей. Этого было, по ея скромнымъ требованіямъ, достаточно. Квартира была готовая, и она устроилась въ ней, какъ могла, хотя каждый день выгонялъ ее часа на два изъ дома угаръ. Одежды она привезла съ собой довольно, такъ что и по этой статьѣ расходовъ не предстояло. Скуки она не боялась. Днемъ будетъ заниматься съ учениками, вечеромъ—готовиться къ будущему дню или проводить время въ семьѣ священника, который получалъ отъ сосѣдняго управляющаго газеты и охотно дѣлился съ нею. Ничего, какъ-нибудь проживетъ.

Ученье началось. Набралось до сорока мальчиковъ, которые наполнили школу шумомъ и гамомъ. Нѣкоторые были ужъ на возрастѣ и довольно нахально смотрѣли въ глаза учительницѣ. Вообще ее испытывали, прерывали во время объясненій, кричали, подражали звѣрямъ. Она старалась дѣлать видъ, что не обращаетъ вниманія, но это ей стоило немалыхъ усилій. Подъ-конецъ у нея до того разболѣлась

голова, что она едва дождалась конца двухъ часовъ, въ продолженіе которыхъ шло ученье.

— А я, признаться, посѣтовала на васъ,—сказала она священнику за обѣдомъ:—что бы вамъ стоило на первый разъ придти поддержать меня!

— Я именно для того и не пришелъ,—отвѣтилъ батюшка:—чтобъ вы съ перваго же раза узнали настоящую суть дѣла. Если-бъ сегодня вы не узнали ее, все равно, пришлось бы узнавать завтра.

На другой день пришелъ попечитель-староста и освѣдомился, тихо ли сидятъ ученики. Она отвѣтила, что сносно, и что въ будущемъ дѣло, конечно, наладится.

— То-то, вы ихъ не жалѣйте; для того и вѣникъ въ углу припасенъ. Выньте розгу и отстегайте!—посовѣтовалъ попечитель.

Не прошло, однако-жъ, и двухъ недѣль, какъ ей пришлось встрѣтиться съ «строптивѣйшимъ изъ строптивыхъ», съ тѣмъ самымъ Васильемъ Дроздомъ, который вытѣснилъ ея предмѣстницу. Дроздъ безцеремонно вошелъ въ ея комнату, принесъ кулекъ, положилъ на столъ и сказалъ:

— У васъ нашъ мальчёнко учится, такъ вотъ вамъ. Тутъ чаю полфунта, сахару, ветчины и гостинцу—кушайте на здоровье. А сверхъ того и деньгами два рубля.

Онъ досталъ изъ-за пазухи кошель, вынулъ двѣ рублевки и положилъ рядомъ съ кулькомъ.

— Зачѣмъ же это? Вѣдь это не дозволено!—вспыхнула она.

— А вы займитесь съ мальцомъ-то, не задерживайте его.

— Я и безъ того займусь. Не надо, не надо! Уйдите, прошу васъ!

Дроздъ обидѣлся; даже губы у него побѣлѣли.

— Стало-быть, вы и доброхотствомъ нашимъ гнушаетесь?—спросилъ онъ, осматривая ее съ ногъ до головы негодующимъ взоромъ.

— Не надо!—крикнула она и вдругъ спохватилась. Вспомнилась ей Людмила Михайловна; вспомнилось и то, что еще въ Петербургѣ ей говорили, что всего пуще надо бояться ссоръ съ вліятельными лицами; что вотъ такая-то поссорилась съ старостой и была вытѣснена; такая-то не угодила члену земской управы и тоже теперь безъ мѣста.

— Послушайте,—сказала она, присмирѣвъ:—я и безъ того съ вашимъ сыномъ займусь... даю вамъ слово! Ежели хотите, пускай онъ ко мнѣ по вечерамъ ходитъ; я буду съ нимъ повторять.

— А приношенія нашего не желаете?

— Знаете, вы лучше вотъ что: печи у насъ въ школѣ дымятъ, потолки протекаютъ, такъ вы бы помогли.

— Это міръ долженъ. Расходъ тоже не маленькій. Печку-то перебрать что стоитъ! Нѣтъ, ужъ что тутъ. Счастливо оставаться.

Онъ надѣлъ тутъ же, въ комнатѣ, шапку, собралъ со стола приношеніе и вышелъ. Она нѣсколько секундъ колебалась, но потомъ не выдержала и догнала его на улицѣ.

— Пожалуйста, не сердитесь. Намъ вѣдь не велѣно. Присылайте вашего мальчика по вечерамъ—я займусь имъ особенно!

Дроздъ взглянулъ на нее съ усмѣшкой.

— Стало-быть, про Людмилу Михайловну вспомнили?—сказалъ онъ нагло.—Ну, ладно, буду своего мальца присылать по вечерамъ, ежели свободно. Спѣсивы вы не къ лицу. Впрочемъ, денегъ теперича я и самъ не дамъ, а это вотъ вамъ!

Онъ скорыми шагами удалился, а Анна Петровна осталась на улицѣ съ кулькомъ въ рукахъ.

Разсказала она объ этомъ батюшкѣ, который посовѣтовалъ «оставить».

— Возьмите,—сказалъ онъ:—исторію себѣ наживете. Съ сильнымъ не борись! и пословица такъ говоритъ. Еще скажутъ, что кобянитесь, а онъ и ни-вѣсть чего наплететъ. Кушайте на здоровье! Не нами это заведено, не нами и кончится. Увидите, что ежели вы послѣдуете моему совѣту, то и прочіе міряне дружелюбнѣе къ вамъ будутъ.

Дѣйствительно, къ ней начали относиться ласковѣе. Послѣ Дрозда пришелъ староста, потомъ еще два-три мужичка изъ зажиточныхъ—всѣ съ кульками.

По вечерамъ открылись занятія, собиралось до пяти-шести учениковъ. Цѣною непрошенныхъ кульковъ, напоминавшихъ о подкупѣ, Анна Петровна совсѣмъ лишилась свободнаго времени. Ни почитать, ни готовиться къ занятіямъ слѣдующаго дня—некогда. Къ довершенію, ученики оказались тупы, требовали усиленнаго труда. Зато доносовъ на нее не было, и Дроздъ, имѣвшій частыя сношенія съ городомъ, каждый мѣсяцъ исправно привозилъ ей изъ управы жалованье. Самъ староста, по окончаніи церковной службы, поздравлялъ ее съ праздникомъ и хвалилъ.

— Вонъ, Людмила Михайловна рѣдко въ церкву ходила,—говорилъ онъ:—а вы Бога не забываете!

Въ продолженіе цѣлой зимы она прожила въ чаду безпрерывной сутолоки, не имѣя возможности придти въ себя, дать себѣ отчетъ въ своемъ положеніи. О будущемъ она, конечно, не думала: ея будущее составляли тѣ ежемѣсячные пятнадцать рублей, которые не давали ей погибнуть съ голода. Но что такое съ нею дѣлается? Предвидѣла ли она, даже въ самыя скорбныя минуты своего тусклаго существованія, что ей придется влачить жизнь, которую нельзя было сравнить ни съ чѣмъ инымъ, кромѣ хроническаго остолбенѣнія?

Она была сирота, даже не знала, кто были ея родители. Младенцемъ ее подкинули, и сострадательная хозяйка квартиры, у дверей которой она очутилась въ корзинкѣ, сначала помѣстила ее въ воспитательный домъ, потомъ въ пріютъ и, наконецъ, въ училище, гдѣ она и получила дипломъ на званіе сельской учительницы. Затѣмъ сострадательная душа сочла свой долгъ выполненнымъ и отпустила ее на всѣ четыре стороны, снабдивъ нѣсколькими платьями и давши на дорогу небольшую сумму денегъ. Послѣ этого Губина очутилась въ селѣ. Надолго ли?—она даже не задавала себѣ этого вопроса. Она понимала только, что отнынѣ предоставлена самой себѣ, своимъ силамъ, и что, въ случаѣ какой-нибудь невзгоды, она должна будетъ вынести ее на собственныхъ плечахъ. Обратиться къ кому-нибудь за поддержкой она не имѣла основанія; товарки у нея были такія же горькія, какъ и она сама. Всѣ онѣ разсѣялись по лицу земли, всѣ находились въ тѣхъ же матеріальныхъ и нравственныхъ условіяхъ, всѣ бились изъ-за куска хлѣба. Она была болѣе нежели одинока. И одинокій человѣкъ можетъ устроиться такъ, чтобы за него «заступились», можетъ оградить себя отъ случайностей, а до нея рѣшительно никому дѣла не было. Даже никакому благотворительному учрежденію она не была подвѣдома, такъ что надъ всею ея судьбою исключительно господствовала случайность, да и та могла оказывать дѣйствіе только въ неблагопріятномъ для нея смыслѣ.

Она никогда не думала о томъ, красива она или нѣтъ. Въ дѣйствительности она не могла назваться красивою, но молодость и свѣжесть восполняли то, чего не давали черты лица. Самъ волостной писарь заглядывался на нее; но такъ какъ онъ былъ женатъ, то открыто объявлять о своемъ пламени не рѣшался и отъ времени до времени присылалъ стихи, въ которыхъ довольно недвусмысленно изъ-

галъ свои вожделѣнія. Дроздъ тоже однажды мимоходомъ намекнулъ:

— Ахъ, барышня, барышня! озолотилъ бы я васъ, кабы...

Женщина еще едва просыпалась въ ней. Она не понимала ни стиховъ, ни намековъ, ни того, что за ними кроется злое женское горе. Ее поражали только глупость и безцеремонность, но она сознавала себя настолько беззащитною, что мысль о жалобѣ даже не приходила ей въ голову. Всѣ знали, что ее можно «раздавить», и слѣдовательно, если-бъ она даже просила о защитѣ—хоть бы члена училищнаго совѣта, изрѣдка навѣщавшаго школу,—ей бы отвѣтили: «съ какими вы все глупостями лѣзете—какое намъ дѣло!» Оставалось терпѣть и крѣпко держаться за тотъ кусокъ, который послала ей судьба. Потому что если-бъ ее даже выслушали и перевели ее на другое мѣсто, то и тамъ повторилось бы то же самое, пожалуй, даже съ прибавкою какой-нибудь злой сплетни, которая въ подобныхъ случаяхъ непремѣнно предшествуетъ перемѣщенію.

Настоящее горе ждало ее не тутъ, а подстерегало издалека.

Въ апрѣлѣ, совсѣмъ неожиданно, пріѣхалъ въ свою усадьбу мѣстный землевладѣлецъ, онъ же и главный попечитель школы, Андрей Степанычъ Аигинъ. Прибылъ онъ затѣмъ, чтобы продать лѣса и на вырученныя деньги прожить лѣто за границей. Операція предстояла несложная, но Аигинъ предположилъ пробыть въ деревнѣ до мая, съ тѣмъ, чтобы, кстати, учесть управителя, возобновить на всякій случай связи съ мѣстными властями и посмотрѣть на школу.

Это былъ молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати семи, легкомысленный и безпечный. Учился онъ плохо, образованіе имѣлъ самое поверхностное, но за всѣмъ тѣмъ пользовался образовательнымъ цензомъ, и такъ какъ принадлежалъ къ числу крупныхъ землевладѣльцевъ, то попечительство надъ школою, такъ сказать, по принципу досталось ему. Независимо отъ матеріальныхъ пожертвованій, которыя состоятельный человѣкъ могъ дѣлать въ пользу школы, принципъ въ особенности настаивалъ на поддержкѣ крупнаго землевладѣнія и того значенія, которое оно должно имѣть въ уѣздѣ. Нужды нѣтъ, что крупный землевладѣлецъ могъ совершенно игнорировать свой уѣздъ; достаточно было его имени, его ежегодныхъ денежныхъ взносовъ, чтобы напомнить о немъ и о той роли, которая по праву ему при-

надлежала. У него есть на мѣстѣ довѣренное лицо, которое будетъ сообщать ему о мѣстныхъ дѣлахъ и нуждахъ; наконецъ, нѣтъ-нѣтъ, да вдругъ ему вздумается: «не съѣздить ли заглянуть, что-то въ нашемъ захолустьѣ творится?» И съѣздитъ.

Именно такимъ образомъ поступалъ Анпинъ: Въ продолженіе шести лѣтъ попечительства (онъ началъ независимую жизнь очень рано) Андрей Степанычъ посѣтилъ усадьбу всего второй разъ и на самое короткое время. Принимали его, какъ подобаетъ принимать вліятельное лицо, и очень лестно давали почувствовать, что отъ него зависитъ принять дѣятельное участіе во главѣ уѣздной сутолоки. Но покуда онъ еще уклонялся отъ чести, предоставляя себѣ принять рѣшеніе въ этомъ смыслѣ, когда утѣхи молодости уступятъ мѣсто мечтамъ честолюбія.

Одного въ немъ нельзя было отрицать: онъ былъ красивъ, отлично одѣвался и умѣлъ быть любезнымъ. Только черезчуръ развязныя манеры и привычка постоянно носить пенснэ, поминутно сбрасывая его и опять надѣвая, нѣсколько портили общее благопріятное впечатлѣніе.

Аигинъ на первыхъ же порахъ по пріѣздѣ посѣтилъ школу («это мое дѣтище», выражался онъ). Онъ явился въ сопровожденіи члена училищнаго совѣта, священника и старосты. Похваливъ порядки, онъ такъ пристально посмотрѣлъ на Анну Петровну, что та покраснѣла. Уходя, онъ сказалъ совсѣмъ безцеремонно, что ему очень пріятно, что въ его школѣ такая хорошенькая учительница. До сихъ поръ онъ рѣдко ѣздилъ въ деревню, потому что всѣ учительницы изображали собой какой-нибудь изъ смертныхъ грѣховъ, а теперь будетъ ѣздить чаще. И въ заключеніе прибавилъ, что Аннѣ Петровнѣ настоящее мѣсто не въ захолустьѣ, а въ столицѣ, и что онъ похлопочетъ о ней.

Въ тотъ же день у него былъ обѣдъ, на который были приглашены всѣ прикосновенные къ школѣ, а въ томъ числѣ и Анна Петровна.

Послѣ этого онъ зачастилъ въ школу. Просиживалъ въ продолженіе цѣлыхъ уроковъ и не спускалъ съ учительницы глазъ. При прощаніи такъ крѣпко сжималъ ея руку, что сердце ея безпокойно билось, и кровь невольно закипала. Вообще онъ дѣйствовалъ не вкрадчивостью рѣчей, не раскрытіемъ новыхъ горизонтовъ, а силою своей красоты и молодости. Оба были молоды, въ обоихъ слышалось трепетаніе жизни. Онъ посѣтилъ ее даже въ ея каморкѣ и во-

хвалилъ, что она сумѣла устроиться въ такомъ жалкомъ помѣщеніи. Однажды онъ ей сказалъ:

— Отчего вы не посѣтите меня? боитесь?

— Нѣтъ, не боюсь,—отвѣчала она, дрожа всѣмъ тѣломъ.

— Но въ такомъ случаѣ...

Онъ не договорилъ, но взялъ ее за руку и поцѣловалъ.

Цѣлое послѣобѣда, послѣ этого, она была какъ въ чаду, не знала, что съ нею дѣлается. И жутко, и сладко ей было въ одно и то же время, но ничего яснаго. Хаосъ переполнялъ все ея существо; она безпокойно ходила по комнатѣ, перебирала платья, вещи, не знала, что дѣлать. Наконецъ, когда уже смерклось, отъ него пришелъ посланный и сказалъ, что Андрей Степанычъ проситъ ее на чашку чая.

Она подумала: «ахъ, какъ это все скоро!» и затѣмъ почувствовала такую истому въ сердцѣ, что открыла окно, чтобъ освѣжить пылающую голову.

Черезъ полчаса она была уже у него.

Романъ ея былъ непродолжителенъ. Черезъ недѣлю Анпинъ собрался такъ же внезапно, какъ внезапно пріѣхалъ. Онъ не былъ особенно нѣженъ съ нею, ничего не обѣщалъ, не говорилъ о томъ, что они когда-нибудь встрѣтятся, и только однажды спросилъ, не нуждается ли она. Разумѣется, она отвѣтила отрицательно. Даже собравшись совсѣмъ, онъ не зашелъ къ ней проститься, а только, проѣзжая въ коляскѣ мимо школы, вышелъ изъ экипажа и очень тихо постучалъ указательнымъ пальцемъ въ окно.

— Увидимся!—крикнулъ онъ ей.

Она сдѣлала инстинктивное движеніе, чтобы выйти къ нему, но удержалась и только слабо улыбнулась въ отвѣтъ.

Такимъ образомъ побѣда обошлась ему очень легко. Онъ сдѣлалъ гнусность, повидимому, даже не подозрѣвая, что это гнусность: что она такое, чтобы стѣснять ради ея свою совѣсть? Онъ предлагалъ ей денегъ, она отказалась—это ужъ ея дѣло. Не онъ одинъ, всѣ такъ дѣлаютъ. А впрочемъ, все-таки недурно, что обошлось безъ слезъ, безъ упрековъ. Это доказываетъ, что она умна.

На селѣ однако-жъ ея вечернія похожденія были уже всѣмъ извѣстны. При встрѣчахъ съ нею молодые парни двусмысленно перемигивались, пожилые люди шутили. Бабы заранѣе ее ненавидѣли, какъ будущую сельскую «сахарницу», которая способна отуманить головы мужиковъ. Во-

лостной писарь однажды прямо спросилъ: «въ какое время, барышня, вы можете меня принять?»—а присутствовавшій при этой сценѣ Дроздъ прибавилъ: «чего спрашиваешь? приходи, когда вздумается—и вся недолга!»

Самъ батюшка, несмотря на доброту, усомнился и однажды, за обѣдомъ, объявилъ, что долѣе содержать ее на хлѣбахъ не можетъ.

— Жаль мнѣ васъ,—сказалъ онъ: — душевно жаль, но мнѣ, какъ духовному лицу, не приличествуетъ...

Матушка тоже выразила сожалѣніе и выронила двѣ-три слезинки.

Только школьный сторожъ выказалъ къ ней участіе. Когда она, блѣдная и еле живая, воротилась отъ священника домой, онъ сказалъ:

— Ничего, потерпите; Богъ терпѣлъ и намъ велѣлъ. И я сумѣю вамъ щи сготовить.

Къ довершенію всего, она почувствовала себя матерью, и вдругъ какая-то страшная бездна разверзлась передъ нею. Глаза затуманились, голова наполнилась гуломъ; ноги и руки дрожали, сердце безпорядочно билось; одна мысль отчетливо представлялась уму: «теперь я пропала».

Къ счастью, начались каникулы, и она могла запереться въ своей комнатѣ. Но она очень хорошо понимала, что никакая изолированность не спасетъ ее. «Пропала!» — въ этомъ словѣ заключалось все ея будущее. Признаки предстоящей гибели уже начали оказываться. Въ праздничные дни молодые сельскіе парни гурьбою останавливались противъ ея оконъ и кричали:

— Съ приплодцемъ!

Конечно, у нея еще былъ выходъ: отдать себя подъ покровительство волостного писаря, Дрозда или другого вліятельнаго лица, но она съ ужасомъ останавливалась передъ этой перспективой и въ безвыходномъ отчаяніи металась по комнатѣ, ломала себѣ руки и билась о стѣну головой. Этимъ начинался ея день и этимъ кончался. Ночью она видѣла страшные сны.

Лѣтомъ она надумала отправиться въ городъ къ Людмилѣ Михайловнѣ, съ которою, впрочемъ, была незнакома. Ночью прошла она двадцать верстъ, все время о чемъ-то думая и въ то же время не сознавая, зачѣмъ, собственно, она идетъ. «Пропала!»—безостановочно звенѣло у нея въ ушахъ.

Людмила Михайловна приняла ее радушно, но тотчасъ же замѣтила, что она виновата.

— Это, голубушка, всего менѣе прощается,—сказала она, и хотя въ словахъ ея не слышалось жестокости, но Анна Петровна поняла, что помощи ей ждать неоткуда.

— Помогите!—простонала она.

Людмила Михайловна тронулась. Обѣщала переговорить съ содержательницей пансіона, которая въ настоящее время жила въ деревнѣ, нельзя ли устроить такъ, чтобъ «виноватая» прожила у нея хоть безъ жалованья, въ качествѣ простой прислуги, тѣ критическіе мѣсяцы, по окончаніи которыхъ должна обнаружиться ея «вина».

— Раньше окончанія каникулъ она васъ не возьметъ: ей не разсчетъ содержать васъ на хлѣбахъ, но послѣ, быть-можетъ... Во всякомъ случаѣ, я на-дняхъ увижусь съ нею и увѣдомлю васъ,—прибавила она.

Въ то же утро Анна Петровна встрѣтила на улицѣ знакомаго члена училищнаго совѣта, который нагло улыбнулся ей и сказалъ:

— О васъ доходятъ до совѣта неодобрительные отзывы. Ежели вы сознаете ихъ справедливыми, то совѣтую принять мѣры...

Онъ не докончилъ, приподнялъ шляпу и удалился.

Дни шли за днями, а отъ Людмилы Михайловны никакихъ вѣстей не приходило. Или забыла, или ничего не могла. Изъ училищнаго совѣта тоже никакихъ слуховъ не было.

Наконецъ, наступилъ сентябрь, и опять начались классы. Анна Петровна едва держалась на ногахъ, но исправно посѣщала школу. Ученики однако-жъ поняли, что она виновата и ничего имъ сдѣлать не смѣетъ. Начались безпорядки, шумъ, гвалтъ. Нѣкоторые мальчики вполнѣ явственно говорили: «съ приплодцемъ»; другіе увѣряли, что у нихъ къ будущей масленицѣ будетъ не одна, а разомъ двѣ учительницы. Положеніе день-ото-дня становилось невыносимѣе.

Въ ноябрѣ, когда наступили темныя, безлунныя ночи, сердце ея до того переполнилось гнетущей тоской, что она не могла уже сдержать себя. Она вышла однажды на улицу и пошла по направленію къ мельничной плотинкѣ. Рѣчка бурлила и пѣнилась; шелъ сильный дождь; сквозь осыпанныя мукой стекла оконъ брежжилъ тусклый свѣтъ; колесо стучало, но помольцы скрылись. Было пустынно, мрачно, безразсвѣтно. Она дошла до середины мостковъ, переброшенныхъ черезъ плотину, и бросилась головой впередъ на понырный мостъ.

Жизнь ея порвалась, почти не начавшись. Порвалась безсмысленно, незаслуженно и жестоко.

4.—Полковницкая дочь.

Полковникъ Варнавинцевъ палъ на полѣ сраженія. Когда его, съ оторванной рукой и раздробленнымъ плечомъ, истекающаго кровью, несли на перевязочный пунктъ, онъ въ агоніи бормоталъ: «Лидочка... Государь... Лидочка... Господи!»

Обратились къ его формуляру. Такъ значилось: «Полковникъ Варнавинцевъ изъ дворянъ Вологодской губерніи, вдовъ, имѣетъ дочь Лидію; за нимъ состоитъ родовое имѣніе въ Тотемскомъ уѣздѣ, въ количествѣ 14-ти душъ, при 500 десятинахъ земли».

Очевидно, что послѣднею его мыслью было поручить дочь Государю.

Желаніе полковника было исполнено. Черезъ товарищей разузнали, что Лидочка, вмѣстѣ съ сестрою покойнаго, живетъ въ деревнѣ, что Варнавинцевъ недѣли за двѣ передъ сраженьемъ послалъ сестрѣ половину всего мѣсячнаго жалованья, и что вообще положеніе семейства покойнаго весьма незавидное, ежели даже оно воспользуется небольшою пенсіей, слѣдовавшей, по закону, его дочери. Послана была бумага, чтобы удостовѣриться на мѣстѣ, какъ признавалось бы наиболѣе полезнымъ устроить полковницкую дочь.

Варнавинцевы еще не знали о смерти полковника, когда въ ихъ усадьбу пріѣхалъ исправникъ. Усадьба эта находилась въ захолустьѣ Тотемскаго уѣзда, въ селѣ, гдѣ, кромѣ нихъ, ютились еще двѣ-три мелкопомѣстныхъ семьи. Домикъ у нихъ былъ крохотный, ветхій, еле живой. Половицы ходуномъ ходили, потолокъ протекалъ, двери завязывались веревочкой, изъ оконъ дуло. Въ мирное время полковникъ держалъ дочь при себѣ, переходя съ полкомъ съ однѣхъ зимнихъ квартиръ на другія. Имѣніемъ управляла сестра, дѣвица лѣтъ подъ шестьдесятъ, которая не выѣзжала изъ деревни, перебиваясь кой-какъ и не имѣя даже возможности исправить упалый домишко. Но когда открылись военныя дѣйствія, Лидочку увезли къ теткѣ. Полковникъ думалъ, что кампанія будетъ недолгая, а она между тѣмъ затянулась и—въ заключеніе — послала ему смерть.

Лидочкѣ было двѣнадцать лѣтъ, когда въ ея жизни совершился рѣшительный поворотъ. О крѣпостной реформѣ и слуховъ не было, но крохотная барщина доставляла такъ мало, что, съ прекращеніемъ помощи со стороны полковника, вдвоемъ просуществовать было невозможно. Земли было, повидимому, и довольно, но половина ея находилась подъ зыбучимъ болотомъ, а добрый кусокъ занимали пески; изъ остального количества, за надѣленіемъ крестьянъ, на долю помѣщика приходилось не больше шестидесяти десятинъ, но и то весьма сомнительнаго качества. Собственно говоря, главнымъ подспорьемъ служилъ небольшой огородъ да лужокъ, дававшій достаточно сѣна, чтобы содержать лошадь и съ десятокъ коровъ. Прислуга при домѣ состояла изъ двухъ человѣкъ: хромоногаго бобыля Фоки да пожилой бобылки Филанидушки, которые и справляли всѣ работы около дома.

Но Прасковья Гавриловна (такъ звали старушку Варнавинцеву) была еще бодра и сильна. Она почти безъ посторонней помощи сама обрабатывала огородъ, убирала комнаты, зимой топила печки, покуда бобылка Филанидушка возилась въ стряпущей, ходила за коровами и т. д. Сверхъ того, она завела у себя нѣчто въ родѣ сельской школы. Набралось до двѣнадцати мальчиковъ и дѣвочекъ, за обученіе которыхъ она деньгами не брала, а предоставляла благодарить ее натурой. Такимъ образомъ, у нея былъ обезпеченный запасъ муки, пряжи, полотна и другого деревенскаго добра.

Лидочка горячо любила отца и скоро подружилась съ теткой. Когда пришла роковая вѣсть, у обѣихъ сердца застыли. Лидочка испугалась, убѣжала и спряталась въ палисадникѣ. Прасковью Гавриловну придавила мысль, что рушилось все, что̀ защищало ихъ и указывало на какой-нибудь просвѣтъ въ будущемъ. Она съ ужасомъ глядѣла на Лидочку. Ей представился, рядомъ съ гробомъ покойнаго брата, ея собственный гробъ, а за этими двумя гробами зіяла бездна одиночества и безпомощности, которыя должны были поглотить Лидочку.

Однако извѣстіе, что участь племянницы обратила на себя вниманіе, нѣсколько ободрило Прасковью Гавриловну. Рѣшено было просить о помѣщеніи дѣвочки на казенный счетъ въ институтъ, и просьба эта была уважена. Черезъ три мѣсяца Лидочка была уже въ Петербургѣ, заключенная въ четырехъ стѣнахъ одного изъ лучшихъ институ-

товъ. А кромѣ того за нею оставлена была и небольшая пенсія, назначенная за заслуги отца. Пенсію эту предполагалось копить изъ процентовъ и выдать сиротѣ по выходѣ изъ института.

Бѣдность и сиротство Лидочки, ея характеръ, скромный и общительный, неблестящія способности, при чрезвычайномъ прилежаніи, некрасивая внѣшность — все это сразу опредѣляло ея институтское будущее. Въ нее вольется атмосфера институтскаго ребячества и малокровія; на нее ляжетъ та своеобразная печать, отъ которой не могутъ отдѣлаться институтки даже долгое время послѣ выпуска. Она будетъ играть въ институтѣ роль интересной сироты, но ее не будутъ заставлять ни играть на фортепьяно, ни танцовать па-де-шаль въ присутствіи вліятельныхъ посѣтителей. Скорѣе всего она останется принадлежностью института, сначала въ качествѣ воспитанницы, потомъ въ качествѣ пепиньерки и, наконецъ, въ качествѣ классной дамы. Классныя дамы бываютъ двухъ сортовъ: злыя и добрыя; но она будетъ добрая, и всѣ ее будутъ любить. Маленькія институтки будутъ ее обожать, большія передъ выходомъ говорить ей «ты» и возьмутъ съ нея слово не забывать ихъ по выходѣ изъ института. Благодаря безпрерывному нахожденію среди дѣтей, она до глубокой старости сохранитъ ребяческую душу, ребяческое сердце, ребяческій умъ.

Лидочку очень обласкали на первыхъ порахъ. Посѣтителямъ указывали на нее глазами и шопотомъ говорили:

— Вы знаете... храбрый полковникъ Варнавинцевъ... celui qui... такъ это его дочь.

Съ товарками она тоже сошлась; ко всѣмъ ласкалась и всегда такъ отлично знала уроки, что помогала лѣнивенькимъ въ ихъ занятіяхъ. Сверхъ того, всѣхъ занимало и ея исключительное положеніе.

— Неужто къ тебѣ никто по воскресеньямъ ѣздить не будетъ?—спрашивали ее.

— Кому же ко мнѣ ѣздить?.. Я сирота! Папаша мой палъ на полѣ сраженія, а тетя въ деревнѣ живетъ.

Она объясняла это такъ просто, какъ будто хотѣла сказать: какъ же вы не понимаете, что для меня остаются только стѣны института?

Даже родные институтокъ, пріѣзжавшіе въ институтъ въ опредѣленные дни, заинтересовались ею. Подзывали ее къ себѣ, потчивали конфетами и пирожками, а княгиня Тара-

канова до того однажды договорилась, что просила ее кланяться теткѣ.

Тетка писала ей аккуратно два раза въ мѣсяцъ и подробно увѣдомляла о деревенскомъ житьѣ. Лидочка знала, что корова Красавка отелилась телочкой, что собака Жучка ослѣпла, что Фока лежалъ цѣлый мѣсяцъ больной, и что нынѣшнее лѣто совсѣмъ огурцовъ не уродилось. Читая эти письма, дѣвочка то радовалась, то плакала. Ей было пріятно, что Красавка принесла телочку, а не бычка, но жаль было Жучку и Фоку, а всего больше жаль тетеньку, которая осталась безъ огурцовъ. «Должно-быть, въ Тотемскомъ уѣздѣ климатъ слишкомъ суровъ,—писала она къ теткѣ,—потому что всѣ наши дѣвицы говорятъ, что въ ихъ краяхъ никогда не бывало такого изобилія огурцовъ. Поливаете ли вы ихъ, голубушка? И уродились ли, по крайней мѣрѣ, рыжечки, которые въ нѣкоторыхъ случаяхъ могутъ вполнѣ замѣнить огурцы?» Корреспонденція эта была единственнымъ звеномъ, связывающимъ ее съ живымъ міромъ; она одна напоминала сиротѣ, что у нея есть гдѣ-то свое гнѣздо, и въ немъ своя церковь, въ которой старая тетка молится о ней, Лидочкѣ, и съ нетерпѣніемъ ждетъ часа, когда она появится въ свѣтѣ и—кто знаетъ—быть-можетъ, составитъ блестящую партію... Вѣдь не даромъ же храбрый полковникъ Варнавинцевъ палъ на полѣ сраженія; найдутся люди, которые ради отца вспомнятъ и о дочери...

Изъ класса въ классъ Лидочка переходила исправно, но Прасковья Гавриловна не дождалась выхода ея сиротки изъ института и за годъ до окончанія курса мирно скончалась въ своемъ родовомъ Васильевскомъ. Объ этомъ Лидочку извѣстилъ сельскій священникъ, спрашивая, какъ поступить съ городскимъ домомъ, который совсѣмъ разваливается, и съ Фокой и съ Филанидушкой, которые остались ни при чемъ. Лидочка нѣсколько дней сряду проплакала, но потомъ ребяческимъ своимъ умомъ разсудила, что если Богъ рѣшилъ отозвать ея тетю, то, стало-быть, это Ему такъ угодно, что слезы представляютъ собой тотъ же ропотъ, которымъ она огорчаетъ Бога, и т. д.

— Наконецъ-то вы успокоились, Лидочка!—говорила ей классная дама.

— Я разсудила, Клеопатра Карловна, что слезами мы ничему помочь не можемъ, а только гнѣвимъ своимъ ропотомъ Бога, Которому, конечно, извѣстно, какъ лучше съ нами поступить,—резонно отвѣтила дѣвушка.

— И всегда такъ разсуждайте!—похвалила ее дама:—Богъ будетъ васъ любить за это, а тетенька будетъ на васъ радоваться. На свѣтѣ всегда такъ бываетъ. Иногда мы думаемъ, что насъ постигло несчастье, а это только испытаніе; а иногда—совсѣмъ напротивъ.

И тутъ сироткѣ помогли. Поручили губернатору озаботиться ея интересами и произвести ликвидацію ея дѣлъ. Черезъ полгода все было кончено: господскій домъ продали на сносъ; землю, которая обрабатывалась въ пользу помѣщика, раскупили по клочкамъ крестьяне; инвентарь—тоже; Фоку и Филанидушку помѣстили въ богадѣльни. Вся ликвидація дала около двухъ тысячъ рублей, да крестьяне, сверхъ того, были посажены на оброкъ по семи рублей съ души.

— Ты, душка, по девяносто восьми рублей въ годъ будешь получать!—поздравляли ее товарки.

— Счастливица!

— Нашли кому завидовать... милліонщицы!—отшучивалась сирота, но въ душѣ совершенно правильно разсудила, что и девяносто восемь рублей на полу не подымешь; что девяносто восемь рублей да проценты съ капитала, вырученнаго за проданное имущество, около ста двадцати рублей—это ужъ двѣсти восемнадцать, да пенсіи накопится къ ея выходу около тысячи рублей—опять шестьдесятъ рублей...

Она не была ни жадна, ни мечтательна, но любила процессъ сложенія и вычитанія. Сядетъ въ уголъ и дѣлаетъ выкладки. Всегда она стояла на твердой почвѣ, предпочитая истины общепризнанныя, прочныя. Говорила разсудительно, считала вѣрно. Алгебры не понимала, какъ и вообще никакихъ отвлеченій.

— Зачѣмъ мнѣ a да b,—говорила она:—ежели я могу вмѣсто a поставить 1, вмѣсто b—2? $1+2$ я понимаю, а $a+b$, воля ваша, даже не вижу надобности понимать. Вотъ сегодня Леночкѣ прислали десятокъ яблоковъ,—вѣдь мы же не говоримъ, что она получила c яблоковъ?

Даже изъ басенъ Крылова она предпочитала «Ворону и Лисицу», «Три мужика» и т. п., а не «Стрекозу и Муравья», «Музыкантовъ» и проч.

— Стрекоза живетъ по-стрекозиному, муравей—по-муравьиному. Что же тутъ страннаго, что стрекоза «лѣто цѣлое пропѣла»? Вѣдь будущей весной она и опять запѣла въ поляхъ—стало-быть, и на зиму устроилась не хуже

муравья. А «Музыкантовъ» я совсѣмъ не понимаю. Неужели непремѣнно нужно быть пьяницей, чтобы хорошо играть, напримѣръ, на скрипкѣ?

Ученье приближалось къ концу, а ребяческая разсудительность не оставляла ее.

Тетрадки ея были въ порядкѣ; книжки чисты и не запятнаны. У нея была шкатулка, которую подарила ей сама maman (директриса института) и въ которой лежали разные сувениры. Сувениров было множество: шерстинки, шелковинки, ленточки, цвѣтныя бумажки, и всѣ разложены аккуратно, къ каждому привязана бумажка съ обозначеніемъ, отъ кого и когда полученъ.

— Со временемъ у нея разовьются отличныя педагогическія способности,—говорили о ней классныя дамы:—она аккуратна, точна въ исполненіи обязанностей, никогда не позволитъ себѣ отступить отъ правилъ. Вотъ только черезчуръ добра... даже разсердиться не умѣетъ!

Она и сама прозрѣвала, что въ будущемъ ей предстоитъ педагогическая карьера; но иногда ей казалось страннымъ, что ей ставятъ въ упрекъ ея доброту. Напротивъ, она думала, что доброта обуздываетъ гораздо скорѣе, нежели строгость.

— Вотъ Клеопатра Карловна добрая,—разсуждала она:—и при ней всѣ дѣвицы ведутъ себя отлично, а Катерина Петровна строгая—ей всѣ стараются на зло сдѣлать. Съ мѣсяцъ назадъ новое платье ей испортили—такъ и не догадалась, кто сдѣлалъ.

Несмотря на приближеніе 18-ти лѣтъ, сердце ея не разу не дрогнуло. Къ хорошенькимъ и богатенькимъ дѣвицамъ уже начали передъ выпускомъ пріѣзжать въ пріемные дни, подъ именами кузеновъ и дяденекъ, молодые люди съ хорошенькими усиками и съ цѣлыми ворохами конфетъ. Она не прочь была полюбоваться ими и даже воскликнуть:

— Ахъ, какой херувимъ!

Но въ этомъ восклицаніи не слышалось ничего, кромѣ обычнаго институтскаго жаргона, который такъ и оставался жаргономъ.

— Это князь Безхвостый,—говорила ей подруга, которую молодой князь удостаивалъ своимъ вниманіемъ (разумѣется, съ разрѣшенія родителей).

— Ахъ, счастливица!

— Нравится онъ тебѣ?

— Божественный! херувимъ!

Иногда «счастливица» позволяла себѣ слегка посмѣяться надъ Лидочкой.

— А знаешь ли, душка,—говорила она:—что ты произвела на князя очень большое впечатлѣніе?

— Ахъ, что̀ ты! проказница! Ты посмотри на меня, какая я... Ну, подъ-стать ли я такому херувиму!

Она говорила это безъ всякой тѣни досады, просто и откровенно, совершенно увѣренная, что праздничная сторона жизни никогда не будетъ ея удѣломъ.

Наконецъ, наступилъ день выпуска, и Лидочкѣ предложили остаться при институтѣ въ качествѣ пепиньерки. Разумѣется, она согласилась. Счастливыя институтки, разодѣтыя по-городскому, плакали, разставаясь съ нею.

— Ахъ, Лидочка, я упрошу maman тебя на лѣто къ намъ въ деревню взять!—говорила одна.

— Ахъ, какая ты добрая!

— Ты, Лидочка, къ намъ по воскресеньямъ обѣдать приходи!—говорила другая.

— Милыя вы мои!

Кареты съ громомъ отъѣзжали отъ подъѣзда. Лидочка провожала глазами подругъ, которыя махали ей платками. Наконецъ, уѣхала послѣдняя карета.

Дверь швейцарской захлопнулась. Лидочка вновь погрузилась въ институтскую тишину.

— Лидочка! вамъ жаль старыхъ подругъ?—спрашивали ее.

— Ахъ, даже очень, очень жаль!

— Вы завидуете имъ?

— Я не имѣю права завидовать. Я всегда понимала, что имъ предстоитъ одна дорога, а мнѣ—другая. И могу только благодарить моихъ покровителе что они не оставляютъ меня.

— Но вѣдь скучно въ институтѣ?

— Мнѣ не скучно. Но ежели бы и было скучно, то надо же кому-нибудь и скучать. Притомъ же я, съ позволенія maman, буду иногда выходить въ городъ. И я увѣрена, что подруги свидятся со мной безъ неудовольствія.

Въ первое воскресенье она, однако-жъ, посовѣстилась тревожить подругъ. «Имъ не до меня,—сказала она себѣ:—онѣ теперь по роднымъ ѣздятъ, подарки получаютъ, покупаютъ наряды!» Но на другое воскресенье отважилась. Надѣла высокій-высокій корсетъ, точно кирасу, и съ утра отправилась къ Настенькѣ Буровой.

Было уже одиннадцать часовъ, но Настенька еще въ-

жилась въ постели. Разумѣется, она была очень рада приходу Лидочки.

— Ты очень хорошо сдѣлала, что пораньше пріѣхала,— сказала она:—а то мы не успѣли бы наговориться. Представь себѣ, у меня цѣлый день занятъ! Въ два часа—кататься, потомъ съ визитами, обѣдаемъ у тети Головковой, вечеромъ—въ театръ. Ахъ, ты не можешь себѣ представить, какъ уморительно играетъ въ Михайловскомъ театрѣ Вернѣ!

— Ну, вотъ и прекрасно, что ты не скучаешь!

— Постой, душечка, я тебѣ свой trousseau покажу!

И начала раскладывать одно за другимъ платья, блузы, принадлежности бѣлья и проч. Все было свѣжо, нарядно, сшито въ мастерскихъ лучшихъ портнихъ. Лидочка осматривала каждую вещицу и восхищалась объективно, безъ всякаго отношенія къ самой себѣ. Корсетъ ровно вздымался на груди ея въ то время, какъ съ ея языка срывались: «ахъ, душка!» «ахъ, очарованье!» «ахъ, херувимъ!»

— Хочешь, я тебѣ эту ленту подарю?—вдругъ вздумалось Настенькѣ.

— Подари!

— Впрочемъ... знаешь ли что? Я лучше въ другой разъ—прежде у мамаши спрошу!

— И прекрасно сдѣлаешь! Это первый нашъ долгъ—спрашиваться у родителей.

Въ будуаръ къ Настенькѣ вошла кислосладкая дама и пожала Лидочкѣ руку. Это была maman Бурова.

— Любуетесь?—спросила она.

— Прелесть! очарованіе!

— Да, но и не дешево это стоитъ.

— Я воображаю!

— Maman! мнѣ хотѣлось бы Лидочкѣ вотъ эту ленту подарить! Посмотри, какъ къ ней это идетъ!

Настенька обернула ленту кругомъ Лидочкиной таліи и сдѣлала спереди бантъ.

— Charmant!—крикнула она въ восхищеніи.

Но maman не отвѣтила ни да, ни нѣтъ, а только сказала дочери:

— Какой ты, мой другъ, еще ребенокъ!—И, обратившись къ Лидочкѣ, прибавила:—Вы къ намъ? Ахъ, какъ жаль, что у насъ сегодня цѣлый день занятъ! Но въ *другой разъ...*

— Ничего, у меня свой домъ въ институтѣ есть...

— Знаешь ли что,—догадалась Настенька:—поѣзжай къ Верховцевымъ; я знаю, что они сегодня дома.

— А и то—пойти къ нимъ. Вѣрочка тоже меня приглашала...

— Только вы насъ ужъ, пожалуйста, извините!—повторила maman Бурова.

— Ахъ, что вы! Развѣ я не понимаю!

Верховцевы сходили по лѣстницѣ, когда Лидочка поднималась къ нимъ. Впрочемъ, они уѣзжали не надолго—всего три-четыре визита—и просили Лидочку подождать. Она вошла въ пустынную гостиную и сѣла у стола съ альбомами. Пересмотрѣла всѣ—одинъ за другимъ, а Верховцевыхъ все нѣтъ какъ нѣтъ. Но Лидочка не обижалась, только ей очень хотѣлось ѣсть, потому что институтскій день начинается рано, и она, кромѣ того, сдѣлала порядочный моціонъ. Наконецъ, часовъ около пяти, Вѣрочка воротилась.

— Какъ ты отлично сдѣлала, что къ намъ собралась!—крикнула она, бросаясь на шею къ подругѣ.

— Жаль только, что мы въ театръ сегодня собрались,—молвила maman Верховцева.

— Maman! возьмемъ Лидочку съ собою! Лидочка! сегодня вѣдь «L'amour—qu'est qu'c'est qu'ça?» играютъ! Уморительно!

— Съ большимъ удовольствіемъ,—согласилась maman:—но Лидіи Степановнѣ придется сѣсть сзади...

— Такъ что-жъ такое! развѣ я не понимаю?

Дни шли за днями, а подруги не забывали се[illegible]. Нерѣдко пріѣзжали въ институтъ, осматривали знакомыя комнаты и засиживались на четверть часа въ каморкѣ у старой товарки. Въ средѣ ихъ уже устраивались свадьбы, и рѣдкая забыла сдѣлать Лидочку участницей своего счастія. Бѣдная пепиньерка являлась въ своей кирасѣ и въ гороховаго цвѣта шелковомъ платьѣ, которое сослужило ей хорошую службу. Потомъ пошли родины, крестины—сироту всюду звали, а во время девятидневнаго родильнаго карантина она почти безвыходно сидѣла около родильницы—разумѣется, съ позволенія институтской maman.

Однажды Настенька Бурова сообщила ей, что Вѣрочка Верховцева, только два мѣсяца тому назадъ вышедшая замужъ, ужъ «дурно ведетъ себя»; но Лидочка взглянула такъ удивленно, что Настенька расхохоталась.

— Ахъ, какая ты уморительная!— смѣялась она:—еще Вѣрочка ничего, а на-дняхъ Alexandrine Геровская бросила мужа и прямо переѣхала къ своему гусару.

— Неужто начальство это позволяетъ?

Нѣкоторые изъ товарокъ пытались даже расшевелить ее. Давали читать романы, разсказывали соблазнительныя исторіи; но никакой соблазнъ не проникалъ сквозь кирасу, покрывавшую ея грудь. Она слишкомъ была занята своими обязанностями, чтобы дать волю воображенію. Вставала рано, отправлялась на дежурство и вечеромъ возвращалась въ каморку, хотя и достаточно бодрая, но безъ иныхъ мыслей, кромѣ мысли о снѣ.

Мало-по-малу кругъ старыхъ подругъ сократился. Лидочка все рѣже и рѣже отлучалась изъ института въ городъ и почти все время свое отдавала маленькимъ институткамъ, которыя ей были поручены. Вслѣдствіе безпрерывнаго общенія съ малолѣтними, въ нее все глубже и глубже впивалась складка ребячества. И радости, и горести ея были совершенно тѣ же, что и у десяти-двѣнадцатилѣтнихъ дѣвочекъ, которыя кишѣли вокругъ нея. Вся разница между нею и ими заключалась въ томъ, что она въ теченіе цѣлаго дня не покидала своей кирасы. Посторонніе начинали находить, что съ нею скучно. Но она радовалась, что пичужки любятъ ее, что начальство довольно, и все рѣже и рѣже пользовалась отпускомъ въ городъ, хотя гороховое платье еще было какъ новое.

Она была дѣятельна и неутомима только при исполненіи своихъ обязанностей; внѣ этого круга она могла назваться даже лѣнивою. Ничто не манило ее за стѣны института. Старыя подруги разсѣялись; новыхъ выпускныхъ дѣвицъ, которыхъ она могла бы назвать своими воспитанницами, еще не было.

Воспитательная репутація ея все росла и росла; ее уже подумывали сдѣлать классной дамой. Однажды пріѣхалъ въ институтъ вновь назначенный начальникъ и сказалъ ей:

— Вся русская армія чтитъ память покойнаго вашего батюшки, а батальонъ, которымъ онъ командовалъ, и понынѣ считается образцовымъ. Очень радъ слышать, что вы идете по стопамъ достославнаго отца своего.

Эта похвала нѣсколько взволновала ее. Она подумала, что и папаша, и тетя смотрятъ на нее въ эту минуту съ высотъ небесныхъ и радуются, что она такъ отлично

устроилась. Въ самомъ дѣлѣ, у нея былъ свой уголокъ съ стоящими на окнахъ лимонными и апельсинными деревцами, которыя она сама вырастила изъ сѣмечекъ; у нея былъ готовый столъ; воспитанницы любили ее, начальство ею дорожило—чего еще надо сироткѣ? Къ довершенію всего, корсетъ, который она носила, оказался такъ прочно сшитъ, что въ теченіе десяти лѣтъ не потребовалъ ни малѣйшей починки. И деньги у нея водились; а такъ какъ ей рѣшительно некуда было тратить ихъ, то вмѣстѣ съ сбереженіями образовался ужъ капиталъ около шести тысячъ рублей. Она рѣшилась завѣщать его на учрежденіе одной или двухъ стипендій въ томъ институтѣ, который далъ ей пріютъ.

Однажды только она не на шутку взволновалась: ей приснился мужъ Машеньки Гронмейеръ, «херувимъ» съ маленькими усиками и въ щегольскомъ сюртукѣ, котораго она, еще будучи институткой, видѣла въ пріемные дни въ числѣ посѣтителей. Фамилія его была Копорьевъ, и Лидочка, по окончаніи курса, довольно часто посѣщала старую подругу. Никогда она не давала себѣ отчета, какого рода чувства возбуждалъ въ ней Копорьевъ, но, вѣроятно, у нея вошло въ привычку называть его «херувимомъ», потому что это названіе не оставляло его даже тогда, когда «херувимъ» однажды предсталъ передъ нею въ вицмундирѣ и съ Анной на шеѣ. Въ этомъ же видѣ онъ и приснился ей. Разумѣется, она ни на минуту не поколебалась. Отперла завѣтную шкатулку, вынула оттуда старую перчатку Копорьева и бросила ее въ топившуюся печку. Съ тѣхъ поръ все какъ рукой сняло.

Никогда она не думала о выходѣ въ замужество, никогда. Даже мимолетомъ не залетала эта мысль въ ея голову,—словно этотъ важнѣйшій шагъ женской жизни вовсе не касался ея.

Чѣмъ болѣе погружалась она въ институтскую мглу, тѣмъ своеобразнѣе становилось ея представленіе о мужчинѣ. Когда-то ей вездѣ видѣлись «херувимы»; теперь это было нѣчто въ родѣ стада статскихъ совѣтниковъ (и выше), изъ которыхъ каждый имѣлъ надзоръ по-своей части. Одни по хозяйственной, другіе—по полицейской, третьи—по финансовой и т. д. А полковники и генералы стоятъ кругомъ въ видѣ живой изгороди и наблюдаютъ за тѣмъ, чтобы статскимъ совѣтникамъ не препятствовали огородъ городить.

Когда ей было уже за тридцать, ей предложили мѣсто классной дамы. Разумѣется, она приняла съ благодарностью и дала себѣ слово сдѣлаться достойною оказаннаго ей отличія. Даже старалась быть строгою, какъ это ей рекомендовали, но никакъ не могла. Сама заводила, въ рекреаціонные часы, игры съ дѣвицами, бѣгала и кружилась съ ними, несмотря на то, что тугой и высокій корсетъ очень мѣшалъ ей. Начальство, видя это, покачивало головой, но, наконецъ, махнуло рукой, убѣдясь, что никакихъ безпорядковъ изъ этого не выходило.

Изъ класса въ классъ переходила она съ «своими» дѣвицами и радовалась, что, наконецъ, и у нея будетъ свой собственный выпускъ, какъ у Клеопатры Карловны. Передъ выпускомъ опять стали наѣзжать въ пріемные дни «херувимы»; но разница въ ея прежнихъ и нынѣшнихъ воззрѣніяхъ на нихъ была громадная. Во дни оны она чувствовала себя точно причастною этому названію; теперь она употребляла это выраженіе совершенно машинально, чтобы сказать что-нибудь пріятное дѣвицѣ, которую навѣщалъ «херувимъ».

Наконецъ, день перваго ея выпуска наступилъ. Красивѣйшая изъ дѣвицъ съ необыкновенною граціей протанцовала па-де-шаль; другая съ чувствомъ прочла стихотвореніе Лермонтова: «Споръ»; на двухъ роялях исполнили въ восемь рукъ увертюру изъ «Фрейшютца»; некрасивыя и малоталантливыя дѣвицы исполнили хоръ изъ «Руслана и Людмилы». Родители прослезились и обнимали дѣтей.

Наконецъ, наступилъ часъ разставанія. Какъ и при собственномъ выходѣ изъ института, Лидія Степановна стояла въ швейцарской и провожала уѣзжавшихъ.

— Прощайте, божественная! небожительница! — кричали ей дѣвицы, усаживаясь въ кареты:—не забудьте! пріѣзжайте!

— Непремѣнно! непремѣнно!—отвѣчала она имъ вслѣдъ.

Она махала платкомъ, и ей махали платками изъ каретъ.

Вмѣстѣ съ нею стояла въ швейцарской выпущенная институтка и плакала. Она тоже кончила курсъ, но была сирота, и ей предложили остаться при институтѣ пепиньеркой.

— Вотъ и вы, Любочка, обрѣли тихое пристанище, — молвила плачущей Лидія Степановна.

Затѣмъ взяла ее подъ-руку, и обѣ стали взбираться вверхъ по лѣстницѣ.

— Вы не плачьте,—утѣшала старшая сирота младшую:— здѣсь тихо... спокойно... точно въ колыбели качаешься...

Вамъ отведутъ комнату, и вы можете сидѣть въ ней и думать. Я тоже сидѣла и думала, но скоро успокоилась, и вамъ тоже совѣтую. Что мы такое? Мы—предназначенныя судьбою вѣчныя институтки. Институтъ наложилъ на насъ свою печать, и эта печать будетъ лежать на насъ до старости. Это хорошо, потому что иначе нельзя было бы жить. Вотъ придетъ весна, распустятся аллеи въ институтскомъ саду; мы будемъ вмѣстѣ съ вами ходить въ садъ во время классовъ, станемъ разговаривать, сообщать другъ другу свои секреты... Право, судьба еще не такъ жестока, какъ кажется!

Около этого времени ее постигло горькое испытаніе: умерла старая директриса института. Горе едва не подавило ее, но она, какъ и по случаю смерти тетки, вступила съ нимъ въ борьбу и вышла изъ нея съ честью.

— Богъ знаетъ, что дѣлаетъ,—сказалъ она себѣ:—Онъ отозвалъ къ себѣ нашу добрую maman — стало-быть, она нужна была тамъ. А начальство, безъ сомнѣнія, пришлетъ намъ новую maman, которая со временемъ вознаградитъ насъ за горькую утрату.

И дѣйствительно, черезъ мѣсяцъ явилась новая maman, и Лидія Степановна полюбила ее, какъ старую.

. . . . . .

Теперь ей ужъ за сорокъ, и скоро собираются праздновать ея юбилей. Въ парадные дни и во время официальныхъ пріемовъ, когда показываютъ институтъ вліятельнымъ лицамъ, она слѣдуетъ за директрисой, въ качествѣ старшей классной дамы, и всегда очень резонно отвѣчаетъ на обращаемые къ ней вопросы. Въ будущемъ она никакихъ измѣненій не предвидитъ, да и никому изъ начальствующихъ не приходитъ на мысль, что она можетъ быть чѣмъ-нибудь инымъ, кромѣ образцовой классной дамы.

Корсетъ она, однако-жъ, перемѣнила. Прежде всего старый обветшалъ, а, наконецъ, она сама потучнѣла, и тѣло сдѣлалось у нея грубое, словно хрящеватое. Но и тутъ она отказалась слѣдовать модѣ и сдѣлала себѣ корсетъ такой же высокій и жесткій, какъ кираса.

— Довольны вы?—спрашивалъ я ее на-дняхъ, встрѣтивши ее у одной изъ ея питомокъ, молоденькой дамы, которая очень недавно связала себя узами гименея.

— И даже очень,—отвѣтила она мнѣ:—вспомните, вѣдь я сирота, и институтъ далъ мнѣ пріютъ... Развѣ я этого не понимаю!

II.

ВЪ СФЕРѢ СѢЯНІЯ.

1.—Газетчикъ.

Чѣмъ развитѣе общество, тѣмъ рѣзче обозначаются въ немъ разнообразныя умственныя и политическія теченія, которыя увлекаютъ въ свой круговоротъ массы людей. Такъ, напримѣръ, во Франціи существуютъ республиканцы различныхъ оттѣнковъ и подраздѣленій; монархисты вообще и въ частности бонапартисты, легитимисты и орлеанисты; наконецъ, соціалисты вообще и въ частности соціалъ-демократы, коллективисты и т. д. Приблизительно то же самое встрѣчается и въ другихъ странахъ Западной Европы. Теченія эти полагаютъ начало политическимъ партіямъ; они же лежатъ и въ основѣ журналистики. Правильна или неправильна идея, полезно или вредно направленіе, которому служитъ данный журналъ (по-нашему, «газета»), это—вопросъ особый; но несомнѣнно, что и идея, и направленіе—существуютъ, что высказываются въ каждой строкѣ журнала, не смѣшиваясь ни съ какими другими идеями и направленіями. Издатель знаетъ, что онъ издаетъ; подписчикъ знаетъ, на что онъ подписывается.

Торжество той или другой идеи производитъ извѣстныя измѣненія въ политическихъ сферахъ и въ то же время представляетъ собой торжество журналистики соотвѣтствующаго оттѣнка. Журналистика не стоитъ въ сторонѣ отъ жизни страны, считая подписчиковъ и разсчитывая лишь на то, чтобы журнальные воротилы были сыты, а принимаетъ дѣйствительно участіе въ жизни. Стоитъ вспомнить

іюльскую монархію и ея представителя, Луи-Филиппа, чтобы убѣдиться въ этомъ.

Но бываетъ и такъ, что журнальною дѣятельностью руководятъ не общественные и политическіе интересы, а побужденія совсѣмъ иного (низменно-моральнаго) свойства. Или, говоря другими словами, бываетъ и такъ, что газеты, лишенныя публицистической подкладки, подраздѣляются, по своему характеру, на ликующія и трепещущія. Содержаніе для первыхъ представляютъ веселая диффамація и всѣхъ сортовъ балагурство (иногда, впрочемъ, замѣняемыя благонамѣреннымъ бѣшенствомъ); содержаніемъ для послѣднихъ служитъ агонизирующая тоска, въ виду завтрашняго дня, и ежедневная разработка шкурнаго вопроса.

Какимъ образомъ балагурство для балагурства, бѣшенство для бѣшенства, тоска для тоски могутъ удовлетворить читающія массы — это секретъ той степени развитія, на которой можетъ находиться въ каждую данную минуту каждое данное общество. Ежели умственные и политическіе интересы не возбуждаютъ вниманія общества, то и журналистика неизбѣжно принимаетъ соотвѣтствующій низменный характеръ. Единственная расцѣнка, которая при этомъ допускается,—это подраздѣленіе газетныхъ дѣятелей, какъ я сказалъ выше, на двѣ группы: ликующихъ и трепещущихъ. О первыхъ говорится: «нахалы, но—молодцы!» О послѣднихъ: «ахъ, бѣдные!»

Сдѣлавши эту оговорку, приступаю къ разсказу.

Первое мѣсто — газетчику ликующему, такъ какъ это разновидность наиболѣе распространенная и притомъ благоденствующая.

Откуда онъ появился на арену публичной дѣятельности? грекъ ли онъ таганрогскій, расторговавшійся на халвѣ и губкахъ, еврей ли бердичевскій, бывшій ли сыщикъ, или просто питомецъ воспитательнаго дома?

Какимъ образомъ пріобрѣлъ онъ вкусъ къ письменамъ?

Какъ очутился онъ во главѣ большой и распространенной газеты, претендовавшей на руководящее значеніе?

На всѣ эти вопросы онъ можетъ отвѣтить только невнятнымъ бормотаніемъ.

Онъ даже избѣгаетъ такого рода собесѣдованій, какъ будто чувствуетъ за собою вину. Онъ боится, что если обнаружится тайна осіявшаго его ореола, то его стануть

дразнить. Онъ самъ въ основу своей литературной публицистической дѣятельности всегда полагалъ дразненіе и потому не безъ основанія опасается, что та же система будетъ примѣнена и къ нему. Мелкодушный и легкомысленный, онъ только отъ мелкодушныхъ и легкомысленныхъ ждетъ возмездія и обузданія.

Фактовъ, которые въ выгодномъ для него смыслѣ подтверждали бы его права на руководительство общественнымъ мнѣніемъ, не существуетъ. Тѣ факты, которые извѣстны, свидѣтельствуютъ лишь о томъ, что онъ, до своего теперешняго возвеличенія, пописывалъ фельетонцы, разрабатывалъ вопросцы и вообще занимался мелкосошнымъ журнальнымъ дѣломъ.

Въ фельетонцахъ онъ утверждалъ, что катанье на тройкахъ есть признакъ наступленія зимы; что ѣсть блины съ икрой — все равно, что въ морѣ купаться; что открытіе «Аркадіи» и «Ливадіи» знаменуетъ наступленіе весны. Вопросцы онъ разрабатывалъ крохотные, но дразнящіе, оставляя однако-жъ въ запасѣ лазейку, которая давала бы возможность отпереться. Вообще, принялъ себѣ за правило писать бойко и хлестко; ненавидѣлъ принципы и убѣжденія, и о писателяхъ этой категоріи отзывался, что они напускаютъ на публику уныніе и скучищу.

Въ виду тумана, окутывающаго его прошлое, его обыкновенно называютъ Иваномъ Непомнящимъ (имя собирательное). Этимъ же именемъ буду называть его здѣсь и я.

Газета Ивана Непомнящаго возникла точно такъ же нечаянно, какъ и онъ самъ. Онъ не вѣрилъ глазамъ, когда ему принесли изъ типографіи первый, пробный нумеръ. Удивленіе его тѣмъ болѣе было законно, что въ этомъ нумерѣ онъ не узнавалъ самого себя. Ему посовѣтовали, для начала, прикинуться серьезнымъ, и онъ смекнулъ, что это совѣтъ недурной. Большинство знавшихъ его прежнюю безшабашную дѣятельность ожидало, что онъ сейчасъ же начнетъ кувыркаться, и было пріятно изумлено, услышавъ, что этотъ кувыркающійся человѣкъ можетъ, между прочимъ, изрекать и солидныя словеса. «Кувырканье отъ насъ не уйдетъ, — говорили читатели, — но нужно и разнообразить газету». Притомъ же существуютъ факты, которые газета не имѣетъ права игнорировать, и по поводу которыхъ сразу начать кувыркаться даже неудобно. Нужно до извѣстной степени подготовить публику, приручить читателя, образовать его вкусы въ извѣстномъ направленіи, а потомъ ужъ

и начать звонить во всю. Когда эта задача будетъ выполнена, никто не удивится, если и самыя серьезныя жизненныя явленія предстанутъ пропитанными кувыркальемъ.

Итакъ, на первыхъ порахъ, Непомнящій ведетъ свое предпріятіе довольно скромно. Прошедшее его имѣло слегка либеральный характеръ. Одинъ Непомнящій (имя собирательное) дразнился въ фельетонцахъ, другой—въ статьяхъ публицистическаго характера, третій — тиснулъ какую-то брошюру и самъ не помнитъ—о чемъ. Словомъ сказать, и тотъ, и другой, и третій—наслѣдили-таки слѣдовъ, покуда балагурили за чужой счетъ. Теперь, сдѣлавшись обладателями сокровища, они понимаютъ, что надо эти слѣды замести хвостомъ. И вотъ одинъ Непомнящій объявляетъ, что, въ сущности, онъ никогда не дразнился, а просто балагурилъ; другой, что если онъ язвилъ въ одну сторону, то можетъ, по требованію, язвить и въ другую; третій — что онъ и самъ не знаетъ, что дѣлалъ, но впередъ «не будетъ». И тутъ же представляютъ образцы будущаго хорошаго поведенія. Вѣроломство и подвохи украшаютъ столбцы вперемежку съ лестью и куреніемъ ѳиміамовъ. Одинъ Непомнящій науськиваетъ весело и бойко; другой — производитъ то же самое съ шипѣніемъ и пѣною у рта; третій — не знаетъ, какъ ему поспѣть за двумя первыми.

Спросите Непомнящаго, что онъ хочетъ, какія цѣли преслѣдуетъ его газета? — и ежели въ немъ еще сохранилась хоть капля искренности, то вы услышите отвѣтъ: «хочу подписчика!» Да и чего другого ему хотѣть? Онъ до тонкости постигъ суть своего времени и очень хорошо знаетъ, что древняя поговорка «scripta manent» — до его ремесла не относится. Ему достовѣрно извѣстно, что его «простыня» годна только сегодня, а завтра она исчезнетъ—куда? О, Господи, спаси и помилуй! О какихъ же тутъ цѣляхъ можетъ идти рѣчь, кромѣ уловленія подписчика? «Scripta» исчезаютъ безслѣдно, не оставляя въ памяти ничего, кромѣ мути; но подписчикъ остается (вонъ онъ слоняется по улицѣ! — гдѣ у тебя портмоне?.. дур-ракъ!), и запахъ его имѣетъ одуряющія свойства. Надо изловить его; а чтобы достигнуть этого, необходимо давать ему именно ту умственную пищу, которая ему по вкусу. Поэтому Непомнящій напрягаетъ всѣ усилія преимущественно въ началѣ года и къ концу его. Въ серединѣ онъ можетъ даже игнорировать собственную газету, потому что это время глухое и никакихъ существенныхъ перемѣнъ въ матеріальномъ смыслѣ

не представляетъ. Но съ октября Непомнящій стоитъ ужъ на стражѣ и начинаетъ подсчитывать. И не только онъ самъ, но и ближайшіе сотрудники его какъ будто чувствуютъ, что наступаетъ часъ генеральной битвы, и удваиваютъ усилія. Никогда не бываетъ такихъ забубенныхъ, ликующихъ фельетонцевъ, никогда «вопросцамъ» не удѣляется такъ много мѣста, никогда столбцы не уснащаются такою массою подсиживаній. Читатель въ изумленіи ждетъ, что̀ будетъ дальше,—и подписывается.

Подписчикъ драгоцѣненъ еще и въ томъ смыслѣ, что онъ приводитъ за собою объявителя. Никакая кухарка, ни одинъ дворникъ не пойдутъ объявлять о себѣ въ газету, которая считаетъ подписчиковъ единичными тысячами. И вотъ изъ скромныхъ дворническихъ лептъ образуется ассигнаціонная груда. Найдутъ ли алчущія кухарки искомое мѣсто — это еще вопросъ; но газетчикъ свое дѣло сдѣлалъ; онъ спустилъ кухаркину лепту въ общую пропасть, и затѣмъ ему и въ голову не придетъ, что эта лепта составляетъ одинъ изъ элементовъ его благосостоянія.

Однимъ словомъ, подъ фирмой газеты Непомнящій пріобрѣлъ себѣ сокровище. Понятно, что онъ бережетъ ее какъ зеницу ока отъ всякихъ случайностей. Въ виду упроченія ея будущаго, не должно быть рѣчи ни объ идеяхъ, ни о цѣляхъ, ни объ убѣжденіяхъ, ни о чемъ, кромѣ наивѣрнѣйшихъ способовъ удержать за собою сокровище. Онъ употребляетъ всѣ усилія, чтобы проникнуть въ мысль и вкусы вліятельной среды, справляется у приспѣшниковъ, угадываетъ смыслъ улыбокъ и тѣлодвиженій, напоминаетъ о своей неизмѣнной готовности, а иногда даже удостоивается собесѣдованій. Язвитъ онъ исключительно безоружныхъ, тѣхъ, которые на его науськиваніе не могутъ дать прямого отпора. Такой образъ дѣйствія и до сихъ поръ у насъ извѣстенъ подъ именемъ полемики. Изречетъ ликующій добровольцъ какую-нибудь безспорную «истину», въ родѣ, напримѣръ, обвиненія въ неблагонадежности, и торжествуетъ, зная заранѣе, что отвѣтъ на такое обвиненіе немыслимъ. Почему немыслимъ? — а потому, милостивые государи, что, во-первыхъ, въ обвиненіи подобнаго рода, говоря языкомъ юристовъ, нѣтъ состава вины, а во-вторыхъ, и потому, что самый споръ объ извѣстныхъ предметахъ можетъ завести въ такую трущобу, изъ которой и не вылѣзешь.

Благодаря прочно организованной системѣ приспѣшни-

чества, газета Непомнящаго получаетъ возможность ежедневно снабжать читателя цѣлой массой новостей и слуховъ. Читатель жадно ловитъ эти слухи, прежде всего потому, что онъ самъ иной здоровой пищи не знаетъ, а, наконецъ, и потому, что всякая новость передается въ газетѣ бойко, весело, облитая соотвѣтствующимъ пикантнымъ соусомъ. Завтра девять-десятыхъ этихъ слуховъ окажутся лишенными основанія, но зато они замѣнятся такимъ же количествомъ другихъ слуховъ, которые окажутся ложными послѣзавтра. По части слуховъ, кромѣ системы приспѣшничества, много способствуетъ и даръ выдумки. Существуетъ цѣлая армія сотрудниковъ, репортеровъ, странствующихъ витязей, которыхъ назначеніе заключается единственно въ томъ, чтобы оживлять столбцы и занимать читателя цѣлымъ ворохомъ небывальщины. Запасшись этимъ ворохомъ, читатель на цѣлый день обезпеченъ. Онъ ходитъ по улицѣ, навѣщаетъ знакомыхъ и цѣлый день лжетъ на основаніи данныхъ, почерпнутыхъ имъ изъ газеты Непомнящаго 1-го. Знакомые его, получающіе газету Непомнящаго 2-го, въ свою очередь лгутъ. Происходитъ обмѣнъ сумбурныхъ мыслей, которыя, впрочемъ, имѣютъ за собой то преимущество, что не даютъ жизни окончательно замереть. Ибо этотъ-то именно сумбуръ и называется жизнью.

Обиліе сплетенъ приводитъ за собой обиліе подписчика; обиліе подписчика приноситъ обиліе денегъ. Сначала Непомнящій какъ бы робѣетъ передъ сыплющеюся на него манною, относится къ ней слегка иронически и даже ведетъ приблизительно тотъ же образъ жизни, къ которому привыкъ съ молодыхъ ногтей. Но по мѣрѣ того, какъ растетъ толпа объявителей-дворниковъ и объявительницъ-кухарокъ, сердце его все шире и шире раскрывается для сибаритства. Непомнящій забываетъ прошлое, привередничаетъ, бросаетъ деньги направо и налѣво. Прежде всего онъ устраиваетъ себѣ обширный кабинетъ съ изобиліемъ письменныхъ столовъ, съ тяжелою мебелью, тяжелыми портьерами и гардинами, стараясь придать помѣщенію такой видъ, чтобы случайный посѣтитель зналъ, что именно въ этой храминѣ производится та таинственная стряпня, по поводу которой сложилась поговорка, что печать есть шестая великая держава. Около часу дня въ кабинетъ начинаетъ приливать набранное въ типографіи для завтрашняго нумера лганье.

Подъ масть кабинету устраивается и остальное помѣщеніе. Обширная столовая со шкапами, уставленными се-

ребромъ (непремѣнно въ русскомъ стилѣ), пріемная, два салона. Только комнаты, отведенныя для сотрудниковъ и для семьи (ежели таковая есть), нѣсколько напоминаютъ трактиръ средней руки. Первыя плохо вентилируются, рѣдко выметаются, всегда наполнены табачнымъ дымомъ и тою неопрятностью, которая сопровождаетъ безпрерывное питье чая и неумѣренное потребленіе бутербродовъ (угощеніе отъ редакціи). Послѣднія представляютъ собой складъ всякаго рода покупокъ, которыя ворохами приливаютъ съ утра до вечера и разбрасываются по столамъ, стульямъ, постелямъ—гдѣ попало.

Непомнящій назначаетъ журъ-фиксы и устраиваетъ обѣды. И на тѣхъ, и на другихъ фигурируютъ преимущественно сотрудники, и ведется откровенная бесѣда о томъ, что хотя подписчикъ и наклевывается, но слѣдуетъ и еще «поддать жару», чтобы онъ продолжалъ приливать. Сверхъ того, въ штатѣ Непомнящаго непремѣнно состоятъ три лица: льстецъ, разсказчикъ сценъ и разорившійся журъ. Первый называетъ хозяина «амфитріономъ», провозглашаетъ за него тосты и передаетъ патрону подслушанные разговоры; второй—оживляетъ застольную бесѣду; послѣдній распоряжается кулинарною частью, сервировкой и обучаетъ хозяина приличнымъ манерамъ. Изрѣдка въ эту богато убранную клоаку заходятъ актеры, актрисы и канцелярскіе лазутчики, доставляющіе матеріалъ для новостей дня. Особеннымъ торжествомъ для себя считаетъ Непомнящій, когда его посѣтитъ заѣзжая знаменитость. «Иностранцы,—говоритъ онъ:—начинаютъ уже понимать, что въ Россіи печать—сила».

Поваръ Непомнящаго отличный; обѣдъ тонкій,—такой, о которомъ и во снѣ не снилось объявляющимся въ его газетѣ кухаркамъ. Лакеи во фракахъ и бѣлыхъ галстукахъ безшумно обходятъ гостей, подъ зоркимъ наблюденіемъ стараго жуира, который лишь на минутку садится за столъ и почти все время дежуритъ около входной двери, щелкая языкомъ, когда мимо него проносятъ лакомыя блюда, и тревожно произноситъ: «psst!» — когда въ сервировкѣ замѣчается промахъ. Льстецъ тоже слѣдитъ за сервировкой, но не по обязанности, а изъ усердія. Только разсказчикъ сценъ дѣлаетъ видъ, что онъ здѣсь — дома, и наполняетъ залу звукоподражаніями. Гости сидятъ скромно и потихоньку переговариваются между собою.

Но Непомнящему уже все надоѣло. Онъ едва притрогивается къ великолѣпному шо-фруа, почти съ презрѣніемъ

отламываетъ клешню рака à la bordelaise, — пососетъ и броситъ. Въ воображеніи его проносится какое-то диковинное блюдо, въ которомъ рядомъ фигурируютъ и шоколадъ, и мармеладъ, и икра съ масломъ, и стерлядь, и говяжій сычугъ. Все это онъ ѣдалъ отдѣльно, а теперь хотѣлось бы разомъ свалить всѣ ингредіенты въ кастрюлю, полить уксусомъ, яичнымъ желткомъ и дать упрѣть. Но — увы! — это только мечта! Не разъ онъ сообщалъ эту мечту своему повару, но послѣдній только улыбался, слушая его. Извѣстно, богатому человѣку и бредъ на-яву къ лицу.

Иногда, проглатывая кусочки сочнаго ростбифа, онъ уносится мыслію въ далекое прошлое; припоминается Сундучный рядъ въ Москвѣ—какая тамъ продавалась съ лотковъ ветчина! какіе были квасы! А потомъ Московскій трактиръ, куда онъ изрѣдка захаживалъ полакомиться селянкой! Чего въ этой селянкѣ не было: и капуста, и обрывки телятины, дичины, ветчины, и маслины — почти то самое волшебное блюдо, о которомъ онъ мечтаетъ теперь въ апогеѣ своего величія!

— А помнишь, Маня,—обращается онъ черезъ столъ къ женѣ:—какъ мы съ тобой въ Москвѣ въ Сундучный рядъ бѣгали? Купимъ, бывало, сайку да по ломтю ветчины (вотъ какіе тогда ломти рѣзали! — показываетъ онъ рукой) — и сыты на весь день!

Маню точно кто сзади въ шею укусилъ. Лицо ея пламенѣетъ, и она быстро ныряетъ имъ въ тарелку, храня глубокое молчаніе. Но на него нашелъ добрый стихъ, и онъ продолжаетъ благодушествовать.

— А что, господа!—обращается онъ къ гостямъ:—вѣдь это лучшенькое изъ всего, что мы испытали въ жизни, и я всегда съ благодарностью вспоминаю объ этомъ времени. Что такое я теперь?—«Я знаю, что я ничего не знаю» — вотъ все, что я могу сказать о себѣ. Все мнѣ прискучило, все мной испытано — и на днѣ всего оказалось — ничто! Nichts! А въ то золотое время земля подъ ногами горѣла, кровь кипѣла въ жилахъ... Придешь въ Московскій трактиръ: «Гаврило! селянки!»—Ахъ, что это за селянка была! Маня, помнишь?

Маню опять нѣчто кусаетъ въ затылокъ, и она вновь молча ныряетъ лицомъ въ тарелку.

— Вотъ она этихъ воспоминаній не любитъ,—кобенится Непомнящій: —а я ничего дороже ихъ не знаю. Повѣрьте, что когда-нибудь я устрою себѣ праздникъ по своему вкусу.

Брошу все, уѣду въ Москву и спрячусь куда-нибудь на Плющиху... непремѣнно на Плющиху!

— Плющиха — улица первый сортъ! — откликается разсказчикъ сценъ: — тутъ и Смоленскій рынокъ близко — весь воздухъ протухлой рыбой провонялъ. Позвольте, я по этому самому случаю сцену изъ народнаго быта разскажу!

И разсказываетъ. Гости грохочутъ; даже лакеи позволяютъ себѣ слегка ухмыльнуться. Сервировка обѣда нѣсколько замедляется, къ великому огорченію жуира, который исповѣдуетъ то мнѣніе, что за обѣдъ садятся затѣмъ, чтобы ѣсть, а не затѣмъ, чтобы разговаривать.

Къ счастью, въ это время лакей подаетъ на серебряномъ подносѣ записку. Это рапортичка изъ конторы газеты; въ ней значится: «Сего 11-го декабря прибыло на газету годовыхъ подписчиковъ: городскихъ 63, съ почты — 467, итого 530. Затѣмъ, полугодовыхъ, мѣсячныхъ» и т. д.

Непомнящій громко прочитываетъ записку; гости рукоплещутъ; жуиръ неистово произноситъ: «psst»; льстецъ и разсказчикъ сценъ откупориваютъ бутылки съ шампанскимъ и разливаютъ вино по стаканамъ.

— Господа! — провозглашаетъ Непомнящій, уже совсѣмъ забывъ о недавней московской идилліи: — ежели такъ продолжится до 1-го января, то побѣда будетъ обезпечена. Не забудемъ, что послѣ 1-го января передъ нами еще цѣлый годъ, въ продолженіе котораго *подписка принимается;* наконецъ, весьма важный рессурсъ представляетъ розничная продажа... Повторяю: это — побѣда! Но она досталась намъ не легко. Припомнимъ недавніе годы, когда даже декабрьская подписка не достигала и трети теперешняго количества пренумерантовъ, — сколько потрачено усилій, тревогъ, волненій, чтобы выйти изъ состоянія посредственности и довести дѣло до того блестящаго положенія, въ которомъ оно въ настоящее время находится! Положеніемъ этимъ я обязанъ не столько своимъ личнымъ скромнымъ силамъ, — «я знаю, что я ничего не знаю», только и всего, — сколько труду моихъ дорогихъ сотрудниковъ (льстецъ закатываетъ глаза и мотаетъ головой; сотрудники протестуютъ; раздаются возгласы: «нѣтъ, вы даете тонъ газетѣ! вамъ она обязана своимъ успѣхомъ! вамъ!»)...

— Благодарю васъ, господа! Вы черезчуръ добры, но я совершенно искренно говорю: вы на вашихъ плечахъ вынесли мою газету; безъ вашего содѣйствія она не достигла бы и малой доли теперешняго процвѣтанія! Что

касается лично до меня, то единственная моя заслуга состоитъ въ томъ, что я не унывалъ. Я сказалъ себѣ разъ навсегда, что газету слѣдуетъ вести бойко, весело («такъ! такъ!»), что нужно давать читателю ежедневный матеріалъ для свѣтскаго разговора («совершенно справедливо! совершенно справедливо!»)—и неуклонно слѣдовать этому принципу. Сверхъ того, я сказалъ себѣ: никогда не прать противъ рожна («никогда! никогда!»), потому, во-первыхъ, что самое слово: «рожонъ», въ сущности, не имѣетъ смысла, и, во-вторыхъ, потому, что мы живемъ въ такое время, когда не прать нужно, а содѣйствовать. Вы поняли мою мысль, вы даже косвенно не «прали» и этимъ обезпечили будущее моей газеты. Исполать вамъ, господа! Поднимаю бокалъ и пью за здоровье моихъ дорогихъ друзей и сотрудниковъ... Ура!

— Нѣтъ! нѣтъ! за ваше здоровье! за ваше! объ насъ послѣ... сначала вы!

— За здоровье радушнаго хозяина! — провозглашаетъ льстецъ.

Всѣ встаютъ изъ-за стола и гурьбою направляются къ радушному амфитріону. Раздаются поцѣлуи.

Устраивая обѣды и вечера, Непомнящій, какъ я уже сказалъ выше, прикидывается пресыщеннымъ. Онъ чаще и чаще повторяетъ, что все на свѣтѣ семъ превратно, все на свѣтѣ коловратно; что философія, науки, искусство—все исчерпывается словомъ Nichts! Посмотритъ на пукъ ассигнацій, принесенный изъ конторы, и скажетъ—Nichts! прочитаетъ корректуру газеты и опять скажетъ — Nichts! Если бы былъ подъ рукою Мефистофель, онъ приказалъ бы ему потопить корабль съ грузомъ шоколада.

— Сходите въ мелочную лавку и принесите колбасы!— восклицаетъ онъ.

Онъ разсматриваетъ принесенную колбасу въ микроскопъ и видитъ шевелящихся трихинъ. Какая прекрасная мысль для фельетона! Бѣднякъ заходитъ въ лавочку, покупаетъ для поддержанія жизни на гривенникъ колбасы и обрѣтаетъ смерть! Съ другой стороны, пресыщенный богачъ, подъ внушеніемъ внезапной прихоти... опять колбаса — и опять смерть! Какое горькое сопоставленіе! Однако ѣсть ли принесенную изъ лавки колбасу или не ѣсть? Собственно говоря, жизнь такъ надоѣла, что всего естественнѣе было бы съѣсть колбасу и умереть. Но, съ другой стороны, онъ — не просто Непомнящій, но прежде всего гражданинъ страны

и патріотъ своего отечества. У него на рукахъ цѣлая масса сотрудниковъ, корректоровъ, факторовъ, наборщиковъ. Наконецъ, публика, которую тоже нельзя оставить безъ руководительства. Нѣтъ, лучше не ѣсть!

Не зная, какъ освободиться отъ массы денегъ и отъ гнета бездѣльничества, онъ начинаетъ коллекціонировать. Ходитъ по Апраксину двору, отыскиваетъ подлинныхъ Рубенсовъ и Теньеровъ, и мимоходомъ находитъ чашу, изъ которой пилъ Олегъ, прибивая щитъ къ вратамъ Константинополя. Запасшись десяткомъ-другимъ апраксинскихъ Рубенсовъ, украсивъ свой кабинетъ дорогими эльзевирами, онъ вновь начинаетъ томиться бездѣльничествомъ. Лежитъ по цѣлымъ часамъ на диванѣ, посвистываетъ и, наконецъ, нападаетъ на мысль устроить еще два кабинета: китайскій и японскій. Онъ посѣщаетъ базары и аукціоны, знакомится съ путешественниками, даетъ имъ порученія и въ умѣ проектируетъ четыре зала: одинъ подъ Рубенсовъ и Теньеровъ, другой—подъ старинные братины, кубки и прочую утварь, третій залъ будетъ китайскій, четвертый—японскій. Квартиру придется перемѣнить.

А газета между тѣмъ идетъ все ходчѣе и ходчѣе. Подписчикъ такъ и валитъ; отъ кухарокъ, дворниковъ, кучеровъ отбою нѣтъ. У Непомнящаго голова съ каждымъ днемъ дѣлается менѣе и менѣе способною выдумать что-нибудь путное для помѣщенія денегъ.

Нѣкоторое время его соблазняетъ мысль: не съѣздить ли въ Италію, гдѣ продается замокъ Ламполо съ принадлежащимъ къ нему княжескимъ титуломъ? Сверхъ того, у него на правой лядвеѣ вскочилъ прыщъ, такъ ужъ и его кстати омыть въ волнахъ Средиземнаго моря. Находятся однако-жъ настолько честные люди, которые доказываютъ, что затѣя его требуетъ, по малой мѣрѣ, въ двадцать разъ бо́льшаго капитала, нежели тотъ, которымъ онъ обладаетъ. Съ горечью покидаетъ онъ свою мечту и жалуется, что ничто ему не удается. Nichts! Онъ ропщетъ на себя за то, что до сихъ поръ такъ безразсчетно расходовалъ дворницкія лепты, и жестоко отказываетъ сотрудникамъ въ выдачѣ денегъ въ счетъ будущихъ заработковъ.

На другой день, однако-жъ, Непомнящій, по обыкновенію, забылъ о вчерашнемъ. И мечты, и намѣренія смѣняются въ немъ быстро, безъ всякой резонной причины. Вчера онъ мечталъ о покупкѣ замка въ Италіи, сегодня — порѣшилъ сдѣлаться крупнымъ землевладѣльцемъ въ своемъ

отечествѣ. Ему нужно много-много земли, много-много лѣса и пропасть воды. Для обработки земли онъ выпишетъ изъ Франціи нормандскихъ жеребцовъ и скупитъ всѣ сельскохозяйственныя машины, какія существуютъ на свѣтѣ. Въ лѣсъ онъ напуститъ всевозможныхъ птицъ и звѣрей и будетъ устраивать охоты. Въ водахъ будетъ производить опыты рыбоводства: скреститъ леща съ налимомъ, стерлядь съ судакомъ. Но главнымъ образомъ ему необходима старинная барская усадьба, такая, въ которой каждое уединенное мѣсто свидѣтельствовало бы о временномъ пребываніи въ немъ Добрыни или Осляби, или Яна Усмовича. Эти мѣста онъ слегка реставрируетъ, но непремѣнно въ томъ же духѣ и стилѣ, въ какомъ они были при ихъ приснопамятныхъ посѣтителяхъ. И, говорятъ, такая усадьба уже наклевывается, и именно «на верху крутой горы», гдѣ, по свидѣтельству «Аскольдовой могилы», «знаменитый жилъ бояринъ, по прозванью Карачунъ».

Газету свою онъ начинаетъ ненавидѣть.

— Помилуйте! каждый день, каждый день, словно червь неусыпающій, появляется на столѣ эта ненавистная простыня! Ахъ, когда же, когда?..

Но внутренній голосъ отвѣчаетъ: никогда! Онъ даже перемѣнить одну безцѣльную глупость на другую не можетъ, потому что одна требуетъ массу денегъ, другая—дастъ ихъ.

На сотрудниковъ онъ смотритъ, какъ на плотовъ; сотрудники, въ свою очередь, направо и налѣво сыплютъ анекдотами изъ жизни своихъ безшабашныхъ патроновъ.

— Вчера,—разсказываетъ одинъ:—нашъ безшабашный о Шекспирѣ со мной разговаривалъ. «Вотъ, говоритъ, человѣкъ, котораго я понимаю! Вотъ кабы что-нибудь въ этомъ родѣ писнуть!»

— И со мной разговоръ былъ,—подхватываетъ другой.—«Слышалъ я, говоритъ, что у одного изъ гарсоновъ ресторана Маньи, въ Парижѣ, локонъ волосъ Жоржъ-Занда сохранился, такъ я хочу для своихъ коллекцій пріобрѣсть. Только дорого, каналья, заломилъ—пять тысячъ франковъ!»

Тѣмъ не менѣе газетная машина, однажды пущенная въ ходъ, работаетъ все бойчѣе и бойчѣе. Безъ идеи, безъ убѣжденія, безъ яснаго понятія о добрѣ и злѣ, Непомнящій стоитъ на стражѣ руководительства, не вѣря ни во что, кромѣ тѣхъ пятнадцати рублей, которые приноситъ подписчикъ, и тѣхъ грошей, которые одинъ за другимъ вы-

таскиваетъ изъ кошеля кухарка. Онъ даже щеголяетъ отсутствіемъ убѣжденій, называя послѣднія абракадаброю и во всеуслышаніе объявляя, что ни завтра, ни послѣзавтра онъ не намѣренъ стѣснять себя никакими узами.

Чѣмъ же отвѣчаетъ на эту безшабашность общее теченіе жизни? Отворачивается ли оно отъ нея, или идетъ ей навстрѣчу? На этотъ вопросъ я не могу дать вполнѣ опредѣленнаго отвѣта. Думаю однако-жъ, что современная жизнь настолько заражена тлѣніемъ всякаго рода крохъ, что одно лишнее зловоніе не составляетъ счета. Мелочи до такой степени переполнили ее и перепутались между собою, что критическое отношеніе къ нимъ сдѣлалось труднымъ. Приходится принимать ихъ—только и всего.

Но спрашивается: ужели это дѣйствительность, а не безобразное сновидѣніе?

Рядомъ съ Непомнящимъ прозябаетъ газетчикъ Ахбѣдный. Но, говоря о немъ, я буду кратокъ.

Ежели Непомнящій не можетъ отвѣтить на вопросъ, откуда и зачѣмъ онъ появился на арену газетной дѣятельности, то онъ очень хорошо знаетъ, въ силу чего существованіе и процвѣтаніе его вполнѣ обезпечены. Въ отношеніи къ Ахбѣдному та же задача представляется какъ разъ наоборотъ: онъ знаетъ, откуда и зачѣмъ онъ пришелъ, и не можетъ отвѣтить на вопросъ, насколько обезпечено его существованіе въ будущемъ.

Это двоегласіе служитъ источникомъ безконечныхъ трепетовъ.

Для него вполнѣ ясно серьезное значеніе такого могущественнаго органа гласности, какъ газета, и онъ считалъ своимъ торжествомъ тотъ день, когда, благодаря случайно сложившимся обстоятельствамъ, сталъ въ ряды убѣжденныхъ руководителей общественнаго мнѣнія. Но, выступая на арену дѣятельности, онъ не сообразилъ двухъ вещей: во-первыхъ, что дѣятельность эта не имѣетъ впереди ничего благопріятствующаго, кромѣ таинственныхъ вѣяній, которыя могутъ быть и не быть, и разсчитывать на которыя во всякомъ случаѣ рискованно; и, во-вторыхъ, что общественное мнѣніе, которое онъ имѣлъ въ виду, построено на пескѣ.

И дѣйствительно, счастливая случайность, которая встрѣтила первые шаги Ахбѣднаго, вдругъ оборвалась. То, что вчера считалось бѣлымъ, сегодня сдѣлалось чернымъ, и наоборотъ. Онъ думалъ пробить себѣ стезю особо отъ Не-

помнящаго и съ горечью увидѣлъ, что тѣ же самые вопросцы и мелкія дрязги, которые съ такимъ успѣхомъ разрабатывалъ Непомнящій, сдѣлались и его удѣломъ.

Правда, онъ сохранилъ за собой нравственную опрятность. Онъ не лжетъ, не обдаетъ бѣшеной слюною; но оставьте въ сторонѣ звѣрообразныя формы, составляющія принадлежность ликующей публицистики,—и вы очутитесь передъ тѣмъ же отсутствіемъ общей руководящей идеи, передъ тою же безсвязностью, съ тѣмъ лишь различіемъ, что здѣсь увѣренность замѣняется безсиліемъ, а ясность рѣчей—недоговоренностью. Допустимъ, что личность Ахбѣднаго внутренно непричастна этой безсвязности, но она прикована къ ней тѣми навожденіями, которыми переполненъ его жизненный путь, тѣмъ страхомъ завтрашняго дня, который онъ тщетно усиливается побѣдить.

Казалось бы, что дѣятельность Ахбѣднаго представляется во всемъ противоположною дѣятельности Непомнящаго. Бремя отвѣтственности, которое Непомнящимъ переносится до такой степени легко, что онъ даже забылъ о немъ,—составляетъ для Ахбѣднаго ежедневную злобу дня; трепеты, которые Непомнящій испыталъ только въ началѣ своей дѣятельности, становятся для Ахбѣднаго съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе обязательными. Тѣмъ не менѣе, вглядываясь въ свой ежедневный трудъ, онъ убѣждается, что трудъ этотъ роковымъ образомъ осужденъ лишь на разработку случайно выступающихъ мелочей. И что всего обиднѣе: по поводу однихъ и тѣхъ же пустяковъ Непомнящій заливается ликующимъ смѣхомъ, а онъ, Ахбѣдный, обязывается унывать. «Не правда ли, что это ужъ несправедливость?»—жалуется онъ чуть не вслухъ. Судите его, ежели онъ виноватъ—онъ слова не скажетъ: виноватъ такъ виноватъ! Но ежели онъ виноватъ наравнѣ съ прочими, то и его судите тою же мѣрою, какъ и прочихъ. Господи помилуй! онъ ли не ведетъ неустанную борьбу съ самимъ собой! онъ ли не побѣждаетъ себя! И, что-жъ! вмѣсто поощренія, ему говорятъ: «это вы маску, государь мой, надѣли; но притворство ваше не облегчаетъ вины, а, напротивъ, усугубляетъ ее... Да-съ!»

Такимъ образомъ, чѣмъ больше онъ старается, тѣмъ больше усугубляется его вина. Наконецъ, за плечами у него вырастаетъ цѣлый коробъ, до того переполненный прегрѣшеніями, что, того гляди, и помѣщать новыя прегрѣшенія будетъ некуда. А у него въ портфелѣ редакціи цѣлый

ворохъ такихъ прегрѣшеній. Вотъ, напримѣръ, корреспонденція о нѣкоемъ П. Корреспондентъ—человѣкъ надежный, ему вѣрить можно. Онъ пишетъ, что П., членъ уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія, беретъ взятки, и приводитъ примѣры взяточничества. Но кто таковъ этотъ П.? Не приходится ли онъ дядей, племянникомъ или внучатнымъ братомъ какому-нибудь вліятельному лицу? Не представляетъ ли онъ собой новую вину, которая лѣзетъ въ коробку, и безъ того оттягивающую его плечи? Печатать статью или не печатать?—Или, напримѣръ, корреспонденція о К.: К.—завѣдомый хлыщъ и наглецъ, который мечется изъ угла въ уголъ, самъ не зная зачѣмъ, смущаетъ умы, распускаетъ ложные слухи... Все это такъ, но, быть-можетъ, по обстоятельствамъ, сутолока, олицетворяемая К., представляется въ данную минуту небезполезною? Что такое сама по себѣ эта «данная минута»? Быть-можетъ, она-то именно и осуществляетъ ту «вину», которая долженствуетъ переполнить коробку? Печатать или не печатать?—Или, напримѣръ, такой-то вопросецъ? Въ обыкновенное время—присѣлъ бы за столъ и въ одно мгновеніе его разрѣшилъ. Но въ данную минуту, но теперь...

Каждый новый шагъ грозитъ, что коробка оборвется и осыплетъ его преступленіями. Хотя въ столичныхъ захолустьяхъ существуетъ множество ворожей, которыя на гущѣ и на бобахъ всякую штуку развести могутъ, но такой ворожеи, которая наперед угадала бы: пройдетъ или не пройдетъ?—еще не народилось. Поэтому Ахѣдный старается угадать самъ. Работа изнурительная, жестокая. Напуганное воображеніе говоритъ безъ обиняковъ: «не пройдетъ!» но въ сердцѣ въ это же время закипаетъ робкая надежда: «а вдругъ... пройдетъ!»

Вѣсы колеблются, склоняются то на ту, то на другую сторону. Въ большинствѣ случаевъ, дѣло рѣшается подъ вліяніемъ безсознательнаго наитія. Придетъ знакомецъ и скажетъ, что въ данную минуту нѣтъ никакой надежды на сочувствіе общественнаго мнѣнія; придетъ другой знакомецъ и скажетъ, что теперь самое время провозглашать истину въ наукѣ, истину въ литературѣ, истину въ искусствѣ, и что общество только того и ждетъ, чтобы проникнуться истинами. Какое изъ этихъ двухъ мнѣній возьметъ верхъ? Къ чести Ахѣднаго я долженъ сказать, что въ большинствѣ случаевъ одерживаетъ побѣду послѣднее мнѣніе. Жажда «дерзнуть» такъ велика, что заставляетъ съ новымъ

вниманіемъ перечитать инкриминированный литературный вкладъ, и именно съ цѣлью хоть съ грѣхомъ пополамъ напечатать его. Да нельзя ему иначе и поступить. Характеръ газеты, несмотря на оговорки, настолько опредѣлился, что и сотрудники могутъ писать только въ извѣстномъ тонѣ. Всѣ точно сговорились: сообщаютъ о растратахъ, воровствахъ, проявленіяхъ дикаго произвола и т. п. Изъ чего же тутъ выбирать? Словомъ сказать, статья перечитывается вновь, карандашъ работаетъ неутомимо; на помощь являются и фигура умолчанія, и фигура иносказанія; перемѣняются инціалы, ставятся многоточія... Готово!

— Кажется, въ этомъ видѣ можно?—разсуждаетъ самъ съ собой Ахбѣдный и, чтобы не дать сомнѣніямъ овладѣть имъ, звонитъ и передаетъ статью для отсылки въ типографію. На другой день статья появляется урѣзанная, умягченная, обезличенная, но все еще съ душкомъ. Ахбѣдный, прогуливаясь по улицѣ, думаетъ: «что-то скажетъ про мои урѣзки корреспондентъ?» Но встрѣчающіеся на пути знакомцы отвлекаютъ его мысли отъ корреспондента.

— Эге! да вы еще живы!—восклицаетъ одинъ.

— Какъ только земля васъ носитъ! — привѣтствуетъ другой.

— Ну, батюшка, теперь ждите!—проницаетъ третій.

Такія привѣтствія и проницанія извѣстны подъ именемъ общественнаго чутья. Произнося ихъ, читатель какъ бы заявляетъ о своей проницательности и своими изумленіями указываетъ на ту дѣйствительность, осуществленіе которой ни для кого не покажется неожиданностью.

За всѣмъ тѣмъ Ахбѣдный продолжаетъ корпѣть и изнывать надъ газетою.

Что приковываетъ его къ ней?—это его тайна, за раскрытіе которой я не берусь. Быть-можетъ, онъ пытается спасти какое-то «дѣло» или хоть крохи его,—но, можетъ-быть, въ самой профессіи его заключается нѣчто втягивающее, роковое. Сегодня одна кроха, завтра—другая.

Въ заключеніе, позволяю себѣ обратить читателя къ тому краткому вступленію, которое я предпослалъ настоящему этюду. При помощи сопоставленій онъ пойметъ, какимъ образомъ дѣло вполнѣ реальное и содержательное можетъ, благодаря обстоятельствамъ, обратиться въ кучу безсвязныхъ и несогрѣтыхъ внутреннимъ смысломъ мелочей.

2. Адвокатъ.

Когда Перебоевъ выступилъ, въ 1866 году, на адвокатское поприще, онъ говорилъ: «Значеніе нашего сословія въ будущемъ не подлежитъ никакому сомнѣнію. Ежели въ настоящее время оно еще не для всѣхъ ясно, то стоитъ обратить взоры на Западъ, чтобы убѣдиться» и т. д. Теперь, спустя двадцать лѣтъ, онъ говоритъ: «Задача, предстоящая нашему сословію, скромна, но въ высшей степени плодотворна. Западные образцы непригодны для насъ. Не мечтанія и утопіи должны руководить нашими дѣйствіями, а то спеціально скромное дѣло, къ которому мы призваны. Его вполнѣ достаточно, чтобы ощутить подъ ногами твердую почву, безъ которой никакая человѣческая дѣятельность немыслима. Всякая мысль о критикѣ и разномысліи должна быть изгнана изъ нашей среды, ибо ведетъ къ недовольству и развлекаетъ вниманіе. Итакъ, будемъ бодры, милостивые государи», и т. д.

И когда ему указываютъ, что онъ самъ себѣ явно противорѣчитъ, то онъ отвѣчаетъ, что ежели въ его словахъ и существуетъ противорѣчіе, то оно доказываетъ только, что онъ въ теченіе двадцати лѣтъ развивался.

— Хорошъ бы я былъ,—говоритъ онъ:—если бы остановился на одной точкѣ, не принимая въ разсчетъ ни измѣнившихся обстоятельствъ, ни нарождающихся потребностей времени.

Такова руководящая аксіома, до которой онъ додумался въ теченіе своей двадцатилѣтней практики и которая дала характеристическую окраску всей его жизнедѣятельности.

Когда судебная реформа была объявлена, онъ былъ еще молодъ, но уже вонистовалъ въ рядахъ до-реформенной магистратуры. Ему предложили мѣсто товарища прокурора, съ перспективой на скорое возвышеніе. Онъ прикинулся обиженнымъ, но, въ сущности, разсчиталъ по пальцамъ, какое положеніе для него выгоднѣе. Преимущество оказалось за адвокатурой. Тутъ тысяча... тамъ тысяча... тысяча, тысяча, тысяча... А кромѣ того, «обратимъ взоры на Западъ»... Кто можетъ угадать, что случится... Га!

Но на первыхъ порахъ тысячи приходили туго, такъ какъ въ идею о добычѣ впадала идея объ адвокатской репутаціи. Время было искрометное, возбуждающее. И судебный персоналъ, и присяжные, и адвокаты—всѣ нахо-

дились подъ вліяніемъ той общечеловѣческой правды, которая предполагалась въ основѣ «убѣжденія». Прокуроры, краснѣя, усиливались выдвинуть вопросъ о правдѣ реальной, но успѣха не имѣли и выражали свое негодованіе тѣмъ, что, выходя изъ суда, сквозь зубы произносили: «это чортъ знаетъ что!»—а вечеромъ, за картами, разсказывали анекдоты изъ судебной практики. Получить оправданіе было легко, добиться «смягчающихъ обстоятельствъ» почти ничего не стоило. Несомнѣнно одержимыя ретроградным бѣшенствомъ газеты—и тѣ, въ виду общаго настроенія, безмолвствовали, приберегая свой ядъ до болѣе благопріятнаго времени, когда можно будетъ бить лежачаго. Даже въ гражданскомъ процессѣ первенствовалъ вопросъ не о томъ, соблюденъ ли срокъ или не соблюденъ, а о томъ: честно или нечестно? Вопросы же давности, о срокахъ, о правахъ единоутробныхъ и единокровныхъ всецѣло отданы были на драку немногимъ до-реформеннымъ ябедникамъ, которые хотя проникли въ адвокатскую корпорацію, но терпѣли горькую участь. Они упорно держались на реальной почвѣ, но это доказывало ихъ недальновидность и алчность (были, впрочемъ, и замѣчательныя, въ смыслѣ успѣха, исключенія, такъ какъ если-бъ они не польстились на гроши, то вскорѣ бы убѣдились, что вопросъ о томъ, честно или нечестно, вовсе не такъ привязчивъ, чтобы нельзя было отъ него отдѣлаться, въ особенности ежели «репутація» уже составлена).

Выигравши нѣсколько блестящихъ процессовъ, доказавъ, съ одной стороны, что преступленіе есть продуктъ удручающихъ жизненныхъ условій и, съ другой стороны, что пропускъ срока не составляетъ существенной принадлежности правды, Перебоевъ мало-по-малу началъ, однако же, пристальнѣе вглядываться въ свое положеніе. И вдругъ въ головѣ у него блеснуло: «Хотя общечеловѣческая правда безспорно хороша, тѣмъ не менѣе для чего-нибудь существуетъ же кодексъ? Чему-нибудь учитъ же насъ юридическая наука? Когда я являюсь на уголовный процессъ, то, стоя на почвѣ общечеловѣческой правды, почти не чувствую надобности ни въ какой подготовкѣ. Пришелъ, сталъ на мѣсто—слова такъ и полились. Ежели у меня есть въ запасѣ цитата изъ Шекспира, цитата изъ Беккаріи—съ меня довольно. Я знаю напередъ, что приговоръ будетъ вынесенъ въ пользу моего кліента. Казалось бы, чего лучше? Но отчего же, за всѣмъ тѣмъ, когда я слушаю

прокурора, мнѣ становится не совсѣмъ ловко? И точно такую же неловкость я чувствую, слушая въ гражданскомъ процессѣ моего противника, стараго сутягу. Не оттого ли это происходитъ, что и прокуроръ, и сутяга чувствуютъ подъ собой реальную почву; я же хотя и побѣждаю ихъ, но трудъ мой можно уподобить тѣмъ карточнымъ домикамъ, на которые стоитъ только дунуть, чтобы они разлетѣлись во всѣ стороны? Вдругъ нѣкто подойдетъ и дунетъ—куда я тогда поспѣлъ со всею моею репутаціей?»

Волнуемый этими предчувствіями, Перебоевъ обращалъ взоры на Западъ и убѣждался, что и тамъ адвокатъ представляетъ собой два существа: одно, которое паритъ въ эмпиреяхъ, и другое, которое упорно придерживается земли. Судятся, напримѣръ, два завѣдомыхъ вора: А. доказываетъ, что Б. его обокралъ; Б. утверждаетъ, что не только не онъ обокралъ Б., но, напротивъ, А., при помощи цѣлаго ряда мошенничествъ, довелъ его до разоренія. А. защищаетъ адвокатъ Вантрдебишь, Б.—адвокатъ Вантрсенгри. Оба они—люди передовые, провидящіе въ недалекомъ будущемъ золотой вѣкъ; оба законодательствуютъ, громятъ консерваторовъ и ихъ козни. Но ни тотъ, ни другой не отказываются отъ добычи, составляющей результатъ процесса А. и Б.; ни тотъ, ни другой не ставятъ себѣ вопроса: честно или нечестно? «Думаю я,—говорятъ они своимъ кліентамъ:—что вотъ по статьѣ такой-то можно васъ обѣлить». И въ этой надеждѣ выходятъ на судъ, заручившись предварительно задаткомъ собственно за «выходъ».

Практика, установившаяся на Западѣ и не отказывающаяся ни отъ эмпиреевъ, ни отъ низменностей, положила конецъ колебаніямъ Перебоева. Онъ сказалъ себѣ: «Ежели такъ поступаютъ на Западѣ, гдѣ адвокатура имѣетъ за собой историческій опытъ, ежели тамъ общее не мѣшаетъ частному, то тѣмъ болѣе подобный образъ дѣйствій можетъ быть примѣненъ къ намъ. У западныхъ адвокатовъ золотой вѣкъ недалеко впереди виднѣется, а они и его не боятся; а у насъ и этой узды, слава Богу, нѣтъ. Съ Богомъ!—только и всего».

Тутъ же, кстати, и въ самомъ содержаніи судебныхъ процессовъ произошла ощутительная перемѣна. Въ уголовной сферѣ, вмѣсто прежнихъ театральныхъ воровъ, начали появляться воры заправскіе, къ которымъ уже никакъ нельзя было примѣнить кличку жертвъ общественнаго темпера-

мента. Обворовывали земство, банки, растрачивали общественные капиталы, и расхитителями оказывались люди вполнѣ обезпеченные, руководившіеся только инстинктами безотносительной алчности и полнаго нравственнаго растлѣнія. Общечеловѣческой правдѣ не было до нихъ никакого дѣла, слѣдовательно и цитаты изъ Шекспира приводить не приходилось; а между тѣмъ выйти на судъ, въ качествѣ защитника блестящаго вора, представлялось и интереснымъ, и небезвыгоднымъ. Въ свою очередь, блестящіе воры и адвокатовъ желали блестящихъ же, такихъ, которые «составили себѣ репутацію», а не сутягъ, которые гнались за грошами, не помышляя о репутаціи. Но ежели нельзя было выступить на защиту, имѣя въ запасѣ одну общечеловѣческую правду, то, очевидно, предстояло въ иномъ мѣстѣ отыскивать такую мякоть, которая въ данномъ случаѣ была бы какъ разъ въ мѣру. Словомъ сказать, понадобился кодексъ или, по крайней мѣрѣ, такое смѣшеніе его съ цитатами изъ Шекспира, Беккаріи и проч., которое нельзя было бы прямо назвать оторванностью отъ реальной почвы, а можно было бы только причислить къ особенностямъ адвокатскаго ремесла. И хотя оправдательные вердикты, при такой системѣ, произносились рѣже, нежели во время торжества общечеловѣческой правды, но смягчающія обстоятельства все-таки давались довольно охотно. И—что всего важнѣе—они давались не подъ вліяніемъ цитатъ изъ Шекспира, но подъ вліяніемъ статьи кодекса, которая гласитъ: «но буде» и т. д. Это «буде» легло въ основаніе второй адвокатской манеры и сослужило адвокатамъ такую же службу, какъ и общечеловѣческая правда.

Въ это же самое время невѣдомо куда исчезли и политическіе процессы. Въ судахъ сдѣлалось темно, глухо, тоскливо. Судебные пристава вяло произносили передъ пустой залой: «судъ идетъ!»—и увѣренно дремали, зная наперед, что ихъ вмѣшательства не потребуется. Сталобыть, и здѣсь шансы на составленіе адвокатской репутаціи уменьшились.

Оставался гражданскій процессъ; но и тутъ совершился полный переворотъ! Крупныя дѣла, которыя на первыхъ порахъ появились, какъ наслѣдіе до-реформеннаго суда, все рѣже и рѣже выступали на очередь.

Тяжущіяся стороны проявляли наклонность къ экономіи и предпочитали мириться на болѣе дешевыхъ основаніяхъ, т.-е. не прибѣгая къ суду или же предлагая за защиту

своихъ интересовъ такое вознагражденіе, о которомъ адвокатъ первоначальной формаціи и слышать бы не хотѣлъ.

Притомъ же и адвокатовъ развелось множество, и всякому хотѣлось что-нибудь заполучить. Носились даже слухи, что скоро нечего будетъ «жрать». Вопросъ: честно или нечестно?—звучалъ какъ-то дико; приходилось брать всякія дѣла, ссылаясь на Шедестанжа и Жюля Фавра, которые-де тоже всякія дѣла берутъ. Характеръ адвокатуры настолько измѣнился, что въ основаніе судоговоренія всецѣло легъ кодексъ, вооруженный давностями, апелляціонными и кассаціонными сроками и прочею волокитою.

Рѣчь шла уже не о томъ, чтобы громить противника, и даже не о томъ, чтобы бороться съ нимъ, а только о томъ, чтобы его подсидѣть. Отъѣвшіеся адвокаты, успѣвшіе съ самаго начала снять пѣнку, почти бросили свое ремесло и брались только за тѣ немногія дѣла, которыя выходили изъ ряда обыкновенныхъ. Но и тутъ руководителями являлись не моральнаго свойства поводы, а сумма иска. Ежели на сцену судоговоренія являлся милліонъ, то дѣло было стоящее; ежели являлась какая-нибудь тысяча, то ищущему заявлялось прямо: «я адвокатурой не занимаюсь».

Перебоевъ не принадлежалъ къ числу «отъѣвшихся». Онъ былъ достаточно талантливъ, чтобы покорять наивныя сердца присяжныхъ, но не настолько, чтобы дѣйствовать подавляющимъ образомъ на судебный персоналъ. Поэтому онъ немного имѣлъ гражданскихъ процессовъ и недостаточно обезпечилъ себя, чтобы сказать: «я не нуждаюсь въ практикѣ! уѣду въ Ниццу и буду плевать въ Средиземное море!...» Когда-то онъ сказалъ самонадѣянно, положивъ въ сердцѣ своемъ: «скоплю четыреста тысячъ—и шабашъ!...» Но это ему не удалось. Теперь, быть-можетъ, онъ удовольствовался бы и мѣньшимъ, чтобы только покончить съ этою канителью, да чортъ дернулъ жениться: пошли дѣти... Такъ на двухстахъ тысячахъ онъ и застылъ... ихе! Приходилось продолжать профессію и остепениться,—да-съ, на одномъ благородствѣ души нынче не выѣдешь. Другія времена, другія вѣянія, другія пѣсни.

Процессъ остепененія совершился въ немъ постепенно, и начало его крылось не столько въ нѣдрахъ адвокатской профессіи, сколько въ тѣхъ вѣяніяхъ, которыя приходили извнѣ, обуздывали ретивость и незамѣтно произвели въ немъ коренной внутренній переворотъ. Сначала вырвалось восклицаніе: «однако!»—потомъ: «чудеса!»—потомъ: «это

ужъ ни на что не похоже!»—и наконецъ: «неужто же этой комедіи не будетъ положенъ предѣлъ?» И съ каждымъ восклицаніемъ почва общечеловѣческой правды, вмѣстѣ съ теоріей жертвъ общественнаго темперамента, все больше и больше погружалась въ волны забвенія. Даже цитаты изъ Шекспира и Беккаріи позабылись. Износила ли башмаки Гертруда, или не износила,—развѣ это не безразлично? Призраки растаяли; на ихъ мѣстѣ явился кодексъ и всецѣло овладѣлъ нравственными и умственными силами Перебоева.

Утромъ, часовъ около десяти, Перебоевъ уже одѣтъ, кончилъ свой первый завтракъ и садится къ письменному столу. Онъ смотритъ на вывѣшенную на стѣнѣ табличку и бормочетъ: «Въ 2 часа въ коммерческомъ судѣ дѣло по спору о подлинности векселя въ двѣ тысячи рублей»... Гм!.. «Въ 3 часа дѣло въ окружномъ судѣ о кражѣ со взломомъ рубля семидесяти копеекъ... Защита—по назначенію отъ суда»... Немного! Придется ли, нѣтъ ли, за первое дѣло получить двѣсти рублей... Затѣмъ онъ отворилъ ящикъ и пересчиталъ выручку предстоящихъ дней—нашлось около полутораста рублей, только и всего... О, чортъ возьми! Этакъ и съ голоду, пожалуй, подохнешь! Если-бъ Перебоевъ не запасся мѣстомъ консультанта въ двухъ-трехъ акціонерныхъ обществахъ, съ опредѣленнымъ жалованьемъ, пришлось бы зубы на полку класть. Кліентъ нынче мелкій, безобразный. Начнетъ излагать дѣло, такъ душу выворотитъ. А потомъ заключишь съ нимъ условіе, выиграешь дѣло, а онъ денегъ не платитъ. Въ два года двѣсти-то рубликовъ изъ него не вытеребишь. Нѣтъ, надо построже... по крайней мѣрѣ, чтобы половину на столъ, остальное—за-руки. Вотъ, по-настоящему, какъ надо. Къ счастью, вечеромъ у него консультація, за которую онъ получитъ наличными двѣсти рублей... Пакетикъ и въ немъ двѣ радужныхъ—святое дѣло.

Онъ быстро распечатываетъ накопившіяся за утро письма, повѣстки и, наконецъ, вскакиваетъ какъ ужаленный: передъ нимъ билетъ на балъ въ пользу общества распространенія благонамѣренности; цѣна 10 руб., а болѣе—что пожалуете.

— О, чортъ возьми!—восклицаетъ онъ:—и безъ того вездѣ провоняло благонамѣренностью... А дѣлать нечего, отдать десять рублей все-таки придется. Эй! Прохоръ! давно этотъ билетъ принесли?

— Съ часъ назадъ. Пришелъ лакей, оставилъ, а сейчасъ опять воротился. Вотъ и книга, извольте расписаться.

Перебоевъ беретъ книгу и расписывается: билетъ получилъ и деньги уплатилъ.

— Возьми,—говоритъ онъ Прохору:—но ежели впередъ съ такими билетами будутъ приходить, говори, что баринъ въ Москву уѣхалъ.

— Десять рублей да десять рублей,—ворчитъ онъ:—каждый день раскошеливайся! Деньги такъ и жрутъ, а благонамѣренность все-таки за хвостъ поймать не могутъ. Именно только вонь отъ нея.

Входитъ жена.

— Ты сегодня возьмешь экипажъ?

— Бери, матушка, пользуйся!

— Ты совсѣмъ о насъ забываешь. Наташѣ платьице нужно; мнѣ тоже давно обѣщалъ. Право, срамъ! у всѣхъ жены прилично одѣты, я одна отрепанная хожу.

— Мало у тебя платьевъ!

— Есть платья, да не такія. Не могу же я въ прошлогднихъ платьяхъ въ обществѣ показаться! Зачѣмъ же ты женился, если не въ состояніи жену одѣвать?

Перебоевъ раздражительно выдвигаетъ ящикъ изъ письменнаго стола и показываетъ его женѣ.

— На, смотри! много денегъ?

Къ счастью, въ передней раздается звонокъ, потомъ другой, третій.

— Что же,—настаиваетъ жена:—дашь денегъ?

— Ну, на! ну, на! ѣшь! глотай!—выбрасываетъ онъ одну за другой некрупныя ассигнаціи, разсыпавшіяся по дну ящика.

— Такъ я поѣду,—хладнокровно отвѣчаетъ жена, собирая деньги.

— И поѣзжай! и бросай деньги! и бросай!

Звонки возвѣщаютъ кліентовъ. Бьетъ одиннадцать. Это—часъ пріема; Перебоевъ заглядываетъ въ кліентскую, гдѣ ожидаетъ дама въ сопровожденіи шестилѣтняго сына и двое мужчинъ.

— Пожалуйте!—приглашаетъ Перебоевъ даму.

Дама входитъ въ кабинетъ, держа за руку сына, и начинаетъ жеманиться.

— Мой мужъ больной, никуда не выѣзжаетъ,—начинаетъ она чуть слышно.

— Прошу васъ, сударыня, объясняться громче.

— Мой мужъ больной,—повторяетъ дама:—а меня ни за что не хотѣлъ къ вамъ пускать. Вотъ я ему и говорю: «самъ ты не можешь ѣхать, меня не пускаешь—кто же, душенька, по нашему дѣлу будетъ хлопотать?»

— Ну-съ, въ чемъ же дѣло?

— Позвольте мнѣ досказать... Наконецъ, онъ рѣшился: «возьми, говоритъ, съ собою Сережу и поѣзжай къ господину адвокату». И вотъ...

Дама растерянно оглядываетъ стѣны кабинета и произноситъ:

— Ахъ, сколько у васъ книгъ! Неужто это все законы?

— Позвольте узнать, въ чемъ заключается ваше дѣло?— настаиваетъ Перебоевъ.

— Ахъ, насъ ужасно обидѣли, господинъ адвокатъ! Мужъ мой, надо вамъ сказать, купецъ, въ Зеркальномъ ряду торгуетъ... Впрочемъ, вѣдь это прежде считалось, что купцомъ быть стыдно, а нынче совсѣмъ никакого стыда нѣтъ... Не правда ли, господинъ адвокатъ?

— Конечно, конечно... Но къ дѣлу, сударыня, къ дѣлу!

— И вотъ у меня есть сестра, которая тоже за купцомъ выдана, онъ бакалейнымъ товаромъ торгуетъ... И вотъ моему мужу необходимо было одолжиться... Къ кому же обратиться, какъ не къ сродственникамъ? И вотъ Аггей Семенычъ—это мужъ моей сестры—отсчиталъ двѣ тысячи и сказалъ: «для милаго дружка и сережка изъ ушка...»

— Сударыня!—стонетъ Перебоевъ.

— Нѣтъ, ужъ позвольте мнѣ, господинъ адвокатъ, по порядку, потому что я собьюсь. И вотъ мужъ мой выдалъ Аггею Семенычу вексель, потому что хоть мы люди свои, а деньги все-таки счетъ любятъ. И вотъ, наканунѣ самаго Покрова, приходитъ срокъ. Является Аггей Семенычъ и говоритъ: «деньги!» А у мужа на ту пору не случилось. И вотъ онъ говоритъ: «покажите, братецъ, вексель...» Ну, Аггей Семенычъ, по-родственному: «извольте, братецъ!» И ужъ какъ это у нихъ случилось, только мужъ мой этотъ самый вексель проглотилъ...

— Однако!—изумляется Перебоевъ.

— Только объ этомъ не надо на судѣ говорить, господинъ адвокатъ... вы ради Бога!.. И вотъ вчера мужъ получилъ отъ господина судебнаго слѣдователя повѣстку... Ахъ, господинъ адвокатъ, помогите!

Совершенно неожиданно дама становится на колѣни. Перебоевъ бросается къ ней и строго говоритъ:

— Встаньте! я—не Богъ!

— Но позвольте вамъ, однако, сказать, — продолжаетъ дама, вставая:—гдѣ же доказательства? Аггей Семенычъ говоритъ, что мужъ занялъ у него двѣ тысячи, а мужъ говоритъ: «никогда я, братецъ, вашихъ денегъ и не нюхалъ». Аггей Семенычъ говоритъ: «былъ векселъ!» а мужъ отвѣчаетъ: «гдѣ онъ? Покажи!»

— Однако-жъ вы сами сейчасъ сказали...

— Мало ли что я сама... Можетъ-быть, я не въ своемъ разумѣ. Можетъ-быть, я все солгала... Нѣтъ, еще какъ судъ посудитъ! Можно всякую напраслину взвести...

Дама вынимаетъ платокъ и начинаетъ сморкаться. На глазахъ у нея показываются крошечныя-крошечныя слезинки.

— Вѣроятно, у васъ есть съ собою записка?—нетерпѣливо спрашиваетъ Перебоевъ.

— Никакой записки у меня нѣтъ. Мужъ даже сказывать о дѣлѣ не велѣлъ—это ужъ я сама.

— Ну, такъ вотъ что: когда окончится слѣдствіе, тогда и приходите. Можетъ-быть, по слѣдствію окажется, что вашъ мужъ правъ; тогда и дѣло само собою кончится. А теперь я ничего не могу.

— Нѣтъ, господинъ адвокатъ, ужъ вы помогите!

Дама дѣлаетъ движеніе, какъ будто опять хочетъ встать на колѣни.

— Говорю вамъ, сударыня, что до конца слѣдствія мои услуги безполезны,—раздражительно говоритъ Перебоевъ, бросаясь, чтобы остановить ее.

— Такъ вы скажите, по крайней мѣрѣ, какъ намъ быть. Мужъ отъ всего отпереться хочетъ: знать не знаю, вѣдать не вѣдаю... Только какъ бы за это намъ хуже не было! Аггей Семенычъ слѣдователя-то, поди, ужъ задарилъ.

— Какія вы глупости говорите! Повторяю вамъ: теперь я ничего не могу, а вотъ когда вашего мужа къ суду позовутъ, тогда пусть онъ придетъ ко мнѣ.

Дама вновь начинаетъ жеманиться и никакъ не хочетъ уйти. Перебоевъ въ отчаяніи отворяетъ дверь въ кліентскую и кричитъ:

— Господа, кто прежде пришелъ, пожалуйте!

— Помогите, господинъ адвокатъ!—стонетъ дама.

— Всенепремѣнно-съ. Но теперь прошу васъ оставить меня, потому что мнѣ время дорого.

Перебоевъ не отходитъ отъ открытой настежь двери, въ

которую уже вошелъ новый кліентъ, и наконецъ дѣлаетъ видъ, что позоветъ дворника, ежели дама не уйдетъ. Дама, ухвативъ за руку сына, съ негодованіемъ удаляется.

Продолжается дефилированіе кліентовъ. Ихъ набралось въ кліентской уже пять человѣкъ. Первый начинаетъ съ того, что говоритъ:

— Знаю я, что моя просьба не дѣльная, однако...

— Позвольте васъ попросить оставить меня,—рѣшительно произноситъ Перебоевъ, не давая даже кончить кліенту.

Кліентъ удивленно смотритъ на него; но, видя, что господинъ адвокатъ не шутитъ, поспѣшно обращается вспять, нагнувъ голову и какъ бы уклоняясь отъ удара.

Слѣдующій кліентъ принесъ купчую на домъ въ Чекушахъ и проситъ совершить вводъ во владѣніе. Въ перспективѣ—полтораста рублей.

— Я этими дѣлами...—начинаетъ Перебоевъ; но сейчасъ же спохватывается и говоритъ:—Извольте, съ удовольствіемъ, только условіе на такую ничтожную сумму, какъ полтораста рублей, писать, я полагаю, безполезно...

На этотъ разъ кліентъ оказывается чивый; онъ выкладываетъ на столъ условленную сумму и говоритъ:

— Только, знаете, чтобы вѣрно. А послѣ ввода—милости просимъ закусить. Давненько мы съ женой подумывали...

Перебоевъ не слушаетъ его, беретъ документъ и деньги и пишетъ расписку.

Зато третій кліентъ сразу приводитъ Перебоева въ восхищеніе.

— Въ городѣ Бостонѣ,—говорилъ онъ:—Ѳедоръ Сергѣичъ Ковригинъ умеръ и оставилъ послѣ себя полтора милліона долларовъ. Теперь по газетамъ разыскиваютъ наслѣдниковъ.

— Ну-съ?

— Мы тоже—Ковригины...

Воображеніе Перебоева, быстро нарисовавшее ему картину путешествія въ Америку, совѣщанія съ мѣстными адвокатами и, наконецъ, цѣлую кучу блестящихъ долларовъ, изъ которыхъ навѣрное добрая треть перейдетъ къ нему (вѣдь въ подобныхъ случаяхъ и половины не жалѣютъ), начинаетъ столь же быстро потухать.

— Однофамильцы Ковригина или родственники?—терпѣливо спрашиваетъ онъ.

— То-то что... Мы ужъ и въ посольствѣ побывали, и поколѣнную роспись видѣли... и у него Анна Ивановна, и у насъ Анна Ивановна...

— Я не понимаю. Объяснитесь, пожалуйста.

— И ему Анна Ивановна внучатной сестрой приходится, и намъ Анна Ивановна тоже приходится внучатной сестрой.

— Одна и та же Анна Ивановна?

— То-то что... Не потрудитесь ли посмотрѣть?

— Да вы слыхали когда-нибудь объ умершемъ Ковригинѣ?

— То-то что...

— Жива эта Анна Ивановна?

— Наша-то давно померла, а евоная — Христосъ ее знаетъ.

— Вы у кого-нибудь изъ адвокатовъ были, кромѣ меня?

— Какъ же, у пятерыхъ ужъ были.

— Что же они вамъ сказали?

— Да что! Смѣются—только и всего.

— Такъ зачѣмъ же вы ко мнѣ пришли?—уже раздраженно кричитъ Перебоевъ:—вы думаете, что у меня праздnаго времени много?

— То-то что мы думали: и у него Анна Ивановна, и у насъ Анна Ивановна... Можетъ-быть, господинъ адвокатъ разберетъ... Денегъ-то ужъ очень много, господинъ адвокатъ!

— Позвольте васъ попросить оставить меня!

— Съ удовольствіемъ. Мы, признаться сказать, и то думали: не зачѣмъ, молъ, ходить, да такъ, между дѣломъ... Дѣловъ нонѣ мало, публика больше въ долгъ норовитъ взять.... Вотъ и думаемъ: не *нашъ* ли, молъ, это Ковригинъ?

— Да говорите же толкомъ: какой еще вашъ Ковригинъ?—опять начинаетъ волновать Перебоева надежда.

— Да Иванъ Аѳанасьичъ. Онъ доподлинно намъ сродственникомъ приходился и тоже лѣтъ сорокъ назадъ безъ вѣсти пропалъ.

— Ну-съ?

— Только этотъ, умершій-то, Ѳедоромъ Сергѣичемъ прозывается...

— Позвольте мнѣ просить васъ оставить меня.

Кліентъ удаляется. Перебоевъ опять высовывается въ дверь и провозглашаетъ:

— Господа! кто на очереди? Пожалуйте!

Но кліентская пуста. Сейчасъ въ ней ожидало еще два человѣка, и вдругъ—нѣтъ никого.

— Прохоръ!—въ изступленіи кричитъ Перебоевъ:—гдѣ кліенты?

— Ушли-съ. Сказали: долго ужъ очень ждать приходится—и ушли.

— И ты не могъ удержать? хорошъ гусь! Не могъ сказать, что я сейчасъ...

— Да что же, коли они ушли.

— Ушли! Свинья ты—вотъ что! Вели завтракать подавать.

Перебоевъ задумывается. Цѣлыхъ два часа онъ употребилъ на пустяки, а между тѣмъ два кліента словно сквозь землю провалились. Можетъ-быть, въ нихъ-то и есть вся суть; можетъ-быть, на нихъ-то и удалось бы заработать... Всегда съ нимъ такъ... Третьяго дня тоже какая-то дурища задержала, а серьезный кліентъ ждалъ-ждалъ и ушелъ. Полтораста рубликовъ—хорошъ заработокъ! Вчера—ничего, третьяго дня—ничего, сегодня—полторы сотни.

— Прохоръ!—кричитъ онъ:—на будущее время, ежели барыни шляться будутъ, говори, что дома нѣтъ. Ахъ, юродивыя!

Онъ наскоро завтракаетъ и отправляется въ судъ. Споръ о подлинности векселя онъ мгновенно проигрываетъ, за то процессъ о кражѣ со взломомъ выигрываетъ блестящимъ образомъ.

— Всегда такъ со мной! Какъ только по назначенію суда защищаю—непремѣнно выиграю,—ропщетъ онъ вполголоса, почти съ ненавистью взирая на подошедшаго къ нему оправданнаго кліента.

— Скажите по совѣсти: украли?—спрашиваетъ онъ.

— Укралъ-съ,—шопотомъ отвѣчаетъ оправданный.

— Ну, идите и воруйте. Только мнѣ на зубокъ не попадайтесь. Я... васъ...

Въ половинѣ седьмого Перебоевъ возвращается домой—изнуренный. Жена встрѣчаетъ его словами:

— А мы платье купили Наташѣ—модель изъ Парижа; мнѣ Изомбаръ черезъ недѣлю сшить обѣщала. Только будетъ стоить около трехсотъ рублей.

— На какія же ты деньги разсчитываешь?

— Обыкновенно... Принесутъ счетъ, ты и заплатишь!

— Дожидайся!

Онъ выскакиваетъ изъ-за стола и, не докончивъ обѣда, убѣгаетъ въ кабинетъ. Тамъ онъ выкуриваетъ папироску за папироской и высчитываетъ въ умѣ, сколько остается работать, чтобы составился капиталъ въ четыреста тысячъ.

Оказывается, что не хватаетъ около ста-девяносто-четырехъ тысячъ. Правда, что у него имѣется въ виду процессъ, который сразу можетъ дать ему сто тысячъ, но это еще вопросъ, достанется ли онъ ему. Около этого процесса цѣлая стая адвокатовъ похаживаетъ: «позвольте хоть документики просмотрѣть...» Къ счастью, онъ ужъ успѣлъ заручиться, видѣлъ документы и убѣдился, что дѣйствительно четыре милліона у казны украдены. Но онъ такъ ловко успѣлъ выяснить отвѣтчику суть дѣла, что самъ воръ убѣдился, что онъ ничего не укралъ и даже, пожалуй, кое-что своего приложилъ.

— Итакъ, вы сами видите, какъ легко оклеветать человѣка! — сказалъ онъ, съ чувствомъ пожимая Перебоеву руки.

— Еще бы! тутъ и возразить нечего!—отвѣтилъ Перебоевъ горячо.—На основаніи такой-то статьи такого-то тома...

— Совершенно съ вами согласенъ; но только вотъ что: какъ бы защитникъ противной стороны...

— И онъ ничего возразить не можетъ. Дѣло ясное, правое... святое!

— Именно... святое!

На вопросъ о гонорарѣ Перебоевъ объявилъ прямо цифру—сто тысячъ рублей, на что кліентъ-воръ нѣсколько сомнительно отвѣтилъ:

— Помогите, голубчикъ!

Съ тѣхъ поръ прошло два мѣсяца. Въ теченіе этого времени воръ аккуратно увѣдомлялъ Перебоева, что дѣло все еще находится въ томъ вѣдомствѣ, въ которомъ возникъ начетъ, что на-дняхъ оно изъ одной канцеляріи перешло въ другую, что оно округляется, и т. д.

Перебоевъ, въ свою очередь, убѣждалъ вора, что напрасно онъ самъ безпокоится слѣдить за дѣломъ, что онъ, какъ адвокатъ, можетъ и въ административныхъ учрежденіяхъ имѣть хожденіе; но воръ, вмѣсто яснаго отвѣта, закатывалъ глаза и повторялъ:

— Помогите, голубчикъ!

А въ обществѣ между тѣмъ ходили самые разнообразные слухи. Одни разсказывали, что воръ пошелъ на согла-

шеніе: возвратить половину суммы въ теченіе безконечнаго числа лѣтъ безъ процентовъ; другіе говорили, что начетъ и вовсе сложенъ.

«Странно однако-жъ!—размышлялъ Перебоевъ:—вѣдь все это и я могъ бы для него устроить!»

Вотъ и теперь, по поводу заказаннаго женою платья, онъ вспомнилъ объ этомъ процессѣ и рѣшился завтра же ѣхать къ вору и окончательно выяснить вопросъ, поручаетъ ли онъ ему свое дѣло, или не поручаетъ. Ежели поручаетъ, то не угодно ли пожаловать къ нотаріусу для заключенія условія; ежели не поручаетъ, то...

Онъ даже вздрогнулъ при этой мысли. И тутъ же, кстати, вспомнилъ объ утреннемъ посѣщеніи Ковригина. Зачѣмъ, съ какой стати онъ его прогналъ! Можетъ-быть, это тотъ самый Ковригинъ и есть? Иванъ Аѳанасьичъ, Ѳедоръ Сергѣичъ—развѣ это не все равно? Здѣсь былъ Иванъ Аѳанасьичъ, пріѣхалъ въ Америку—Ѳедоромъ Сергѣичемъ назвался... Развѣ этого не бываетъ? И Анна Ивановна къ тому же... и тутъ Анна Ивановна, и тамъ Анна Ивановна... А онъ погорячился, прогналъ и даже адреса не спросилъ,—ищи теперь, лови его!

— Эй, Прохоръ! давеча здѣсь господинъ Ковригинъ былъ—спросилъ ты, гдѣ онъ живетъ?

— Не спрашивалъ-съ.

— Ну, такъ и есть! Фофанъ ты, братецъ!—укоряетъ Перебоевъ Прохора и, оставшись одинъ, продолжаетъ мечтать.

«Со мной всегда такъ. Погорячусь, прогоню, а потомъ раскаиваюсь. Полтора милліона долларовъ! Сколько на этомъ процессѣ деньжищъ заработать бы можно—страсть! На этомъ да еще на томъ... на четырехмилліонномъ... Сразу бы въ норму вошелъ—и шабашъ! Нѣтъ, господа, довольно съ меня! Лучше скромненько гдѣ-нибудь въ Баденъ-Баденѣ жить, нежели по Петербургу рыскать да петербургскую сырость глотать! Разумѣется, отъ времени до времени—отчего-жъ?... Напримѣръ, ежели процессъ въ родѣ Ковригинскаго... можно семейство въ Баденъ-Баденѣ оставить, а самому на время въ Петербургъ пріѣхать...»

Мечтанія эти прерываетъ мѣрный бой столовыхъ часовъ. Ужъ половина девятаго—пора и на консультацію. И полтораста рублей на полу не поднимешь. Перебоевъ поспѣшно одѣвается, беретъ, по привычкѣ, портфель подъ мышку и уѣзжаетъ.

Консультація задлилась довольно поздно. Предстояло судиться двумъ ворамъ: первый воръ укралъ сто тысячъ, а второй переукралъ ихъ у него. Къ несчастію, первый воръ погорячился и пожаловался на второго. Тогда перваго вора спросили: «а самъ ты гдѣ сто тысячъ взялъ?» Онъ смѣшался и просилъ позволенія подумать. Возникъ вопросъ: которому изъ двухъ взять грѣхъ на себя?—вотъ объ этомъ и должна была разсудить консультація. Очевидность говорила противъ перваго вора.

— Вы сами себя выдали,—убѣждалъ его второй воръ:—вмѣсто того, чтобы жаловаться, вамъ слѣдовало бы просто сказать мнѣ: подѣлимся, другъ!—мы бы и подѣлились.

Но первый воръ упорствовалъ.

— А вы зачѣмъ у меня украли?—возражалъ онъ.—Воровали бы въ другомъ мѣстѣ, я и слова бы не сказалъ... Нѣтъ, батюшка, это не порядки! Люби кататься, люби и саночки возить!

Консультація подала мнѣніе въ пользу второго вора, основываясь на томъ соображеніи, что все равно—первому вору суда не миновать; но въ то же время нашла справедливымъ, чтобы второй воръ уплатилъ первому хоть десять тысячъ рублей на обзаведеніе въ не столь отдаленныхъ мѣстахъ.

— Вы пойдете къ слѣдователю, — формулировали свое мнѣніе консультанты, обращаясь къ первому вору: — и откажетесь отъ перваго показанія; скажете: онъ не укралъ у меня, я самъ ему деньги на сохраненіе отдалъ, а онъ и не зналъ, откуда онѣ ко мнѣ пришли...

— Разумѣется, почемъ же я могъ знать!—прервалъ второй воръ.

— Да-съ, а потомъ вашъ коллега вамъ десять тысячъ отсчитаетъ...

— Съ удовольствіемъ! — вскричалъ второй воръ.—Хоть украденныя деньги у меня ужъ отняли, но я готовъ и изъ своихъ...

— Но вѣдь меня къ чортовой матери сошлютъ!—стоналъ первый воръ.

— Ничего. Сошлютъ, а потомъ начнутъ постепенно приближать. И не увидите, какъ время пройдетъ.

Консультація происходила на квартирѣ у второго вора. Когда она кончилась, консультантамъ роздали пакетики съ вознагражденіемъ — святое дѣло! — и пригласили отужинать.

Перебоевъ возвратился домой въ два часа ночи, въ подпитіи. Бросая въ ящикъ письменнаго стола деньги, онъ, однако-жъ, сосчиталъ, что сегодня заработано триста рублей. Затѣмъ поспѣшно раздѣлся и бросился въ постель, бормоча:

— Если бы каждый день по триста рублей, это составило бы въ мѣсяцъ... въ годъ... Господа! Обратимте наши взоры на Западъ!..

3.—Земскій дѣятель.

Въ губернскомъ городѣ N издавна существовало двѣ дворянскихъ партіи: Живоглотовская и Красновская. То Живоглотовыхъ выбирали въ предводители, то Красновыхъ. Натурально, и тѣ, и другіе относились другъ къ другу враждебно. Не только представители партій, но и ихъ кліенты не вели взаимнаго хлѣбосольства, играли въ клубѣ въ карты особнякомъ, не цѣловались, а только, въ крайнемъ случаѣ, сухо раскланивались между собой. Ежели у Живоглотова назначались обѣды по воскресеньямъ, то и Красновъ по тѣмъ же днямъ устраивалъ и у себя обѣды. При этомъ и тотъ, и другой старались приманить къ себѣ кого-нибудь изъ крупныхъ представителей мѣстной администраціи или заѣзжаго человѣка. Но торжествомъ партіи считалось, когда на этихъ тенденціозныхъ обѣдахъ появлялся перебѣжчикъ изъ противоположнаго лагеря. Тогда трубили побѣду, сажали перебѣжчика на видное мѣсто и поздравляли его.

По понедѣльникамъ партіи считались.

— Живоглотовъ до пяти часовъ обѣдать не садился,— говорили красновцы:—а собралось всего самъ-пятнадцать человѣкъ.

Или:

— Красновы вчера губернатора ждали. Думали: два воскресенья сряду не былъ,—навѣрное въ третье пріѣдетъ; а онъ и вчера у Живоглотова обѣдалъ, и т. д.

Съ приближеніемъ выборовъ борьба партій усиливалась; но такъ какъ время было патріархальное, и никакихъ вопросовъ не полагалось, то и борьба исключительно велась на почвѣ обѣдовъ, баловъ и другихъ увеселеній. Посылались въ Москву нарочные за винами, закусками и фрук-

тами; закупались впередъ живые осетры, стерляди и проч.; въ усадьбахъ откармливалась птица, отпаивались телята. Съѣхавшійся со всѣхъ концовъ губерніи дворянскій людъ съ утра до ночи толпился въ квартирахъ, занимаемыхъ Живоглотовымъ и Красновымъ, пилъ и ѣлъ, и въ концѣ концовъ наѣдалъ столько, что сами радушные амфитріоны приходили въ изумленіе. Надо, впрочемъ, сказать, что Живоглотовы почти всегда побѣждали; Красновы же попадали въ предводители рѣдко и по бо́льшей части ограничивались только оппозиціей, настолько грозной, что съ нею нельзя было не считаться.

Живоглотовы были проще, но вальяжнѣе. Представители этого стариннаго рода дослуживались до хорошихъ чиновъ и уже подъ старость пріѣзжали на родину, чтобы послужить господамъ дворянамъ. Одинъ былъ даже генералъ-лейтенантъ и сряду пять трехлѣтій прослужилъ въ предводителяхъ. Красновы были умственнѣе, но крупныхъ чиновъ не имѣли. Все больше титулярные совѣтники и коллежскіе секретари. Они слѣдили за политикой и могли объяснить, почему въ 1848 году Луи-Филиппъ палъ. Одинъ изъ Красновыхъ завелъ въ своемъ имѣніи травосѣяніе, о чемъ Живоглотовымъ и во снѣ не снилось. Другой Красновъ хлопоталъ объ учрежденіи въ родномъ городѣ общества сельскаго хозяйства и былъ дѣятельнымъ членомъ мѣстнаго статистическаго комитета. Словомъ сказать, Красновы имѣли всѣ права, чтобы стоять во главѣ мѣстной интеллигенціи, однако-жъ и за всѣмъ тѣмъ Живоглотовы почти всегда побѣждали.

Но въ половинѣ пятидесятыхъ годовъ повѣяло новымъ духомъ. Послышались выраженія: «либерализмъ, либералы, либеральныя партіи». Красновы поняли, а Живоглотовы не поняли. Когда, въ виду предстоящей крестьянской реформы, состоялись дворянскіе выборы, то Николаю Николаичу Краснову безъ труда удалось одержать блестящую побѣду надъ бывшимъ предводителемъ изъ рода Живоглотовыхъ. Николай Николаичъ сумѣлъ объяснить суть дѣла, не скрылъ, что дворянству предстоитъ умаленіе, но въ то же время указалъ, какъ слѣдуетъ поступать, чтобы довести угрожающую опасность до минимума. Между прочимъ, онъ подалъ совѣтъ постепенно очищать помѣщичьи имѣнія отъ грубьяновъ, переселять крестьянъ на новыя мѣста, записывать ихъ въ дворовые и т. д. Напротивъ того, Живоглотовъ, растерянный и безхитростный, ничего не умѣлъ объ-

яснить, а только твердилъ одно: — «Какъ будетъ угодно Богу, такъ и станется-съ; а я, съ своей стороны, готовъ-съ».

— Экъ вывезъ! — роптали даже такіе дворяне, которые совсѣмъ очумѣли отъ страха, и цѣлыми партіями переходили на сторону Краснова.

Красновъ провелъ дѣло блестяще. Онъ, во главѣ большинства комитета, написалъ проектъ, въ каждой строкѣ котораго сквозила тонкая политика. Безусловно соглашаясь съ мыслью о необходимости упраздненія крѣпостного права, онъ предлагалъ устроить это дѣло такъ, чтобы крестьяне сразу почувствовали, а помѣщики ничего не ощутили. Самые заскорузлые крѣпостники ничего не имѣли сказать противъ этого; нашлись только два радикала, которые подшучивали надъ дилеммой, поставленной Красновымъ, и подали свой проектъ. Справедливость требуетъ, однако-жъ, сказать, что оба радикала были изъ глухого уѣзда, изобиловавшаго песками и болотами, что и давало ихъ проекту совсѣмъ не то значеніе, на которое они разсчитывали.

— Я не радикалъ,—гордо говорилъ Красновъ: — я либералъ-съ. У меня ни одной пяди песку нѣтъ; я надѣлю крестьянъ настоящей, заправской землей, и потому на выкупъ не согласенъ-съ.

При Красновѣ же совершилось и самое освобожденіе. Условія, въ которыхъ оно произошло, были не совсѣмъ тѣ, которыя значились въ его проектѣ, но это уже зависѣло не отъ него. Всѣмъ было извѣстно, что, участвуя въ работахъ редакціонныхъ комиссій, онъ отстаивалъ свою мысль, сколько могъ, и слѣдовательно явилъ себя вполнѣ достойнымъ довѣрія, которымъ его облекли. Онъ откровенно давалъ отчетъ всякому помѣщику о своихъ дѣйствіяхъ, подавалъ благіе совѣты и вмѣстѣ съ прочими негодовалъ на неудачный выборъ мировыхъ посредниковъ, изъ которыхъ многіе, какъ онъ увѣрялъ, состояли въ сношеніяхъ съ заграничными агитаторами. Но такъ какъ они въ то же время были и мѣстные землевладѣльцы, то онъ полагалъ, что предстоящіе выборы представятъ очень удобный случай остепенить ихъ.

Когда наступили новые выборы, онъ, къ общему удивленію, отказался отъ баллотировки, ссылаясь на усталость и предлагая обратиться къ одному изъ Живоглотовыхъ. Затѣмъ онъ придалъ собранію исключительно полемическій характеръ. Посредниковъ призывали «къ столу», требовали

отчета, уличали и вообще производили веселую травлю. Посредники отчасти ёжились и благоразумно удалялись изъ зала собранія, но большинство выслушивало обвиненіе въ гордомъ молчаніи. Травля оказывалась безсильною, но въ то же время забавною и популярною. Самъ Живоглотовъ подалъ Краснову руку въ знакъ примиренія и сказалъ: «милости просимъ откушать!»

Нѣсколько дней сряду обѣдалъ Красновъ у своего бывшаго противника, и каждый разъ въ пользу его закалали тельца упитана. Никто не могъ проникнуть въ сущность политики Краснова, и всѣ удивлялись его великодушію.

Но Красновъ вовсе не великодушничалъ, а просто разсчитывалъ на себя и въ то же время приподнималъ завѣсу будущаго. Во-первыхъ, затраты, которыя онъ сдѣлалъ въ поискахъ за предводительствомъ, отозвались очень чувствительно на его общемъ благосостояніи; во-вторыхъ, проживши нѣсколько мѣсяцевъ въ Петербургѣ и потолкавшись между «людьми», онъ на самое предводительство началъ смотрѣть совсѣмъ иными глазами. Онъ просто не вѣрилъ, что званіе это можетъ имѣть будущность.

По обыкновенію всѣхъ русскихъ, онъ слишкомъ далъ волю воображенію, такъ что передъ глазами его уже мелькала заря какой-то новой эры. Онъ говорилъ себѣ, что такой рѣшительный шагъ, какой представляла собой отмѣна крѣпостного права, не можетъ остаться безъ дальнѣйшихъ послѣдствій; что раздѣленіе на сословія не удержится, несмотря ни на какія искусственныя мѣры; что на мѣсто отдѣльныхъ сословныхъ группъ явится нѣчто всесословное и, наконецъ, выступитъ на сцену «земля». Однимъ словомъ, въ его умѣ уже сформировалось представленіе о чемъ-то въ родѣ земскихъ учрежденій, которыя дѣйствительно и не замедлили.

Вотъ гдѣ настоящее его мѣсто. Не на стражѣ мелкихъ частныхъ интересовъ, а на стражѣ «земли». Къ тому же, идея о всесословности совершенно естественно связывалась съ идеей о служебномъ вознагражденіи. Почетъ и вознагражденіе подавали другъ другу руку, а это было далеко не лишнее при тѣхъ ущербахъ, которые привела за собой крестьянская реформа, — ущербахъ, оказавшихся очень серьезными, несмотря на то, что идеалъ реформы формулировался словами: «чтобы помѣщикъ не ощутилъ...»

Онъ даже пенялъ на себя за то, что поступилъ нѣсколько неосмотрительно, призывая къ отвѣту тѣхъ через-

чуръ бойкихъ мировыхъ посредниковъ, которые слишкомъ рьяно приступили къ осуществленію освободительной задачи. Но ему необходимо было это для того, чтобы заранѣе заручиться избирательнымъ большинствомъ, и онъ достигъ этого. Что касается до обиженныхъ посредниковъ, то, по размышленіи, онъ сказалъ себѣ: «перемелется — мука будетъ», — и успокоился. Большинство ихъ, конечно, и само невдолгѣ пойметъ тщету своихъ потугъ; другіе убѣдятся, что имѣть дѣло съ Красновымъ все-таки удобнѣе, нежели съ какимъ-нибудь Живоглотовскимъ партизаномъ; наконецъ, третьи, наиболѣе убѣжденные, утомятся систематическимъ противодѣйствіемъ и отчужденностью. А онъ возьметъ въ руки знамя и будетъ твердо держать его на стражѣ интересовъ земли.

Когда, спустя лѣтъ пять послѣ крестьянской реформы, обнародованы были земскія учрежденія, самъ Живоглотовъ согласился, что для этого дѣла не сыщется въ губерніи болѣе подходящаго руководителя, какъ Красновъ. Въ первомъ же губернскомъ земскомъ собраніи Николая Николаича выбрали громаднымъ большинствомъ въ предсѣдатели губернской управы, съ ежегоднымъ жалованьемъ въ четыре тысячи рублей. Разумѣется, онъ началъ съ того, что отказывался отъ жалованья, говоря, что готовъ послужить землѣ безвозмездно, что честь, которую ему дѣлаютъ... понятіе о долгѣ... наконецъ, обязанность... Но ему такъ настоятельно гаркнули въ отвѣтъ: «просимъ! просимъ!»—что онъ вынужденъ былъ согласиться. Въ тотъ же день у Живоглотова былъ обѣдъ въ честь вновь избранныхъ дѣятелей земства.

— Теперь ужъ не я хозяинъ въ губерніи, а нашъ почтеннѣйшій Николай Николаичъ, — скромно произнесъ хозяинъ и, поднявъ бокалъ, крикнулъ: «уррра!»

— Нѣтъ, не я хозяинъ, а вы, многоуважаемый Поліевктъ Семенычъ! — еще скромнѣе возразилъ Красновъ:— вы всегда были излюбленнымъ человѣкомъ нашей губерніи, вы остаетесь имъ и теперь. Вы, такъ сказать, прирожденный предсѣдатель земскаго собранія; отъ вашей просвѣщенной опытности будетъ зависѣть направленіе его рѣшеній; я же — ничего больше, какъ скромный исполнитель указаній собранія и вашихъ.

Послѣ обѣда гости были настолько навеселѣ, что потребовали у Краснова спича. И онъ, какъ vir bonus, dicendi peritus, не заставилъ себя долго просить.

— Россія, — сказалъ онъ: — была издревле страною по преимуществу земскою. Искони въ ней собирались у подножія престола земскіе чины и разсуждали о нуждахъ страны. «Земскіе чины приговорили, а царь приказалъ»— такова была установившаяся формула. Земство и царь составляли одно нераздѣльное цѣлое, на единодушіи котораго созидалось благополучіе всей Русской земли. Къ сожалѣнію, назадъ тому болѣе полутора вѣковъ, земство безъ всякаго повода исчезло съ арены дѣятельности. Не стало ни цѣловальниковъ, ни ярыжекъ (въ средѣ присутствующихъ — сдержанный смѣхъ: «ярыжекъ!»). Ихъ мѣсто заняла сухая, безпочвенная бюрократія (смѣхъ усиливается). И что же вышло! Благодаря земству, намъ нѣкогда былъ открытъ широкій путь въ Константинополь; великій князь Олегъ прибилъ свой щитъ къ вратамъ древней Византіи; Россія вела обширный торгъ медомъ, воскомъ, пушнымъ товаромъ. Это не я говорю, а лѣтописецъ. Благодаря бюрократіи — мы до своихъ усадебъ осенью едва добраться можемъ («браво! браво!»). Мосты въ разрушеніи, перевозовъ не существуетъ, дороги представляютъ собой канавы, въ грязи которыхъ тонутъ наши нѣкогда породистыя, а нынѣ выродившіяся лошади. Наша земля кипѣла медомъ и млекомъ; наши казначейства были переполнены золотомъ и серебромъ—куда все это дѣвалось? Остались ассигнаціи, надпись на которыхъ тщетно свидѣтельствуетъ о надеждѣ получить равное количество металлическихъ рублей. Такова неутѣшительная картина недавняго прошлаго. Но всякой безурядицѣ бывалъ предѣлъ, и просвѣщенное правительство убѣдилось, что дальнѣйшее владычество бюрократіи можетъ привести только къ общему разстройству. Теперь передъ нами занялась заря лучшаго будущаго. Я допускаю, что это только заря, но въ то же время вѣрю, что она предвѣщаетъ близкій восходъ солнца. Но не будемъ самонадѣянны, милостивые государи. Мы такъ отучились ходить на собственныхъ ногахъ, что должны посвятить не мало времени, чтобы окрѣпнуть и возмужать. Вооружимтесь терпѣніемъ и удовольствуемся на первыхъ порахъ тою небольшою ролью, которая намъ предоставлена. Передъ нами дорожная повинность, подводная повинность, мосты, перевозы, больницы, школы—все это задачи скромныя, но въ высшей степени плодотворныя. Удовлетворимся ими, но въ то же время не будемъ коснѣть *и въ* бездѣйствіи. Такъ шло дѣло вездѣ, даже въ

классической странѣ самоуправленія—въ Сѣверной Америкѣ. Сначала явились мосты и перевозы, но постепенно дѣло самоуправленія развивалось и усложнялось. Наконецъ, наступила новая эра, которую я не считаю нужнымъ назвать здѣсь по имени, но которую всякій изъ насъ назоветъ въ своемъ сердцѣ. Наравнѣ съ другими народами, и мы доживемъ до этой эры; и мы будемъ вправѣ назвать себя совершеннолѣтними. Мы достигнемъ этого, благодаря земскимъ учрежденіямъ, скромное возникновеніе которыхъ мы въ настоящую минуту привѣтствуемъ. Поднимаю бокалъ и пью за процвѣтаніе нашего молодого института. Я сказалъ, господа!»

— У-р-р-раа!—раздалось по залѣ, и всѣ бросились цѣловать Краснова. И исцѣловали его до такой степени, что онъ нѣкоторое время чувствовалъ, какъ будто щеки его покрылись ссадинами.

Членовъ управы выбрали самыхъ подходящихъ. У Саввы Берсенева былъ лучшій рысистый жеребецъ въ цѣлой губерніи—ему поручили надзоръ за коневодствомъ, да, кстати, прикинули и рогатый скотъ. Евграфъ Вилковъ былъ знатокъ по части болѣзней—ему поручили больницы. Семенъ Глотовъ имѣлъ склонность къ судоходству—въ его вѣдѣніе отвели водѣ и все, что въ водахъ и надъ водою, т.-е. мосты и перевозы. Любиму Торцову поручили наблюсти за кабаками и народною нравственностью; а такъ какъ Василій Перервинъ ни къ чему, кромѣ земскаго ящика, склонности не выказывалъ, то его сдѣлали казначеемъ. Самъ Красновъ взялъ на себя общій надзоръ за ходомъ дѣла и спеціально—земскія школы.

Тѣмъ не менѣе, когда онъ на другой день проснулся и, одѣваясь, чтобъ представиться во главѣ вновь избранныхъ земцевъ губернатору, вспомнилъ свою вчерашнюю рѣчь, то нѣсколько смутился.

— Что такое я тамъ насчетъ бюрократіи наплелъ!—ворчалъ онъ, завязывая галстукъ.—Вѣдь этакъ, пожалуй, на первыхъ же порахъ...

Но губернаторъ былъ добрый и отнесся къ первой шалости Краснова снисходительно. Онъ намекнулъ, что ему не безызвѣстно о вчерашней выходкѣ, но не обидѣлся ею.

— Николай Николаичъ! — обратился онъ къ Краснову передъ собравшимися земцами:—я очень радъ, что вижу васъ моимъ сослуживцемъ, и увѣренъ, что вы вполнѣ готовы содѣйствовать мнѣ. И мы, бюрократы, и вы, земцы,

служимъ одной и той же державѣ и стоимъ на одной и той же почвѣ, хотя и ходятъ слухи о какихъ-то воинственныхъ замыслахъ...

— Ваше-ство! Неужели земство позволитъ себѣ безъ причины...

— Ни безъ причины, ни по причинѣ-съ. Но позвольте мнѣ высказаться. Итакъ, я говорю, что хотя и ходятъ слухи насчетъ воинственныхъ замысловъ, но я полагаю, что они преувеличены. Во всякомъ случаѣ, я заранѣе убѣжденъ, что хоть я и не стратегикъ, но всѣ сраженія, которыя замышляютъ мечтательныя головы, будутъ выиграны мною отъ перваго до послѣдняго. Поговариваютъ также о какой-то занимающейся зарѣ, предшественницѣ солнца,—и на этотъ счетъ я могу привести въ свидѣтельство свой личный опытъ. На зарѣ человѣку спится крѣпче, а сильные солнечные лучи ослѣпляютъ—вотъ и все. Поэтому я предпочитаю сумерки, да и вамъ, господа, совѣтую. Въ заключеніе предлагаю вамъ устроиться такъ: подробности пусть останутся за вами, главное руководительство—за мною. Затѣмъ, называйте меня почвеннымъ или безпочвеннымъ—это безразлично. Я самъ могу опредѣлить ближе характеръ моей дѣятельности и моихъ отношеній къ вамъ. Почва, на которой я стою,—это отвѣтственность передъ начальствомъ; отношенія же мои къ вамъ таковы: я укажу вамъ на мостокъ—вы его исправите; я сообщу вамъ, что въ больницѣ посуда дурно вылужена—вы вылудите. Задачи скромныя, но единственныя, для выполненія которыхъ мнѣ необходимо ваше содѣйствіе. Во всемъ прочемъ я надѣюсь на собственныя силы и на указанія начальства. Итакъ, не будемъ парить въ эмпиреяхъ, ибо рискуемъ попасть пальцемъ въ небо; но не будемъ и черезчуръ принижаться, ибо рискуемъ попасть въ лужу. Надѣюсь, что мы поймемъ другъ друга.

Сказавши это, губернаторъ пожалъ земцамъ руки и удалился.

Земцы принялись за дѣло бойко и весело; губернаторъ, съ своей стороны, тоже не унывалъ.

Въ главной больницѣ, бывшей до того времени въ вѣдѣніи приказа общественнаго призрѣнія, умывальники горѣли какъ жаръ. Красновъ, по очереди съ спеціалистомъ Вилковымъ, ежедневно посѣщали больницу, пробовали пищу, принимали старое бѣлье, строили новое, пополняли аптеку и проч. Губернаторъ, узнавъ о такой неутомимой ихъ дѣятельности, призвалъ ихъ и похвалилъ.

— Позаймитесь, пожалуйста, картами,—сказалъ онъ при этомъ:—признаться, въ приказѣ эта часть была въ нѣкоторомъ запущеніи; карты хранились въ кладовой казначейства и были всегда сыры. Между тѣмъ потребность въ нихъ, какъ вамъ извѣстно, не оскудѣваетъ.

Въ концѣ февраля губернаторъ пригласилъ къ себѣ члена управы Глотова и напомнилъ, что, въ виду наступающей весны, необходимо заняться мостами и перевозами.

Это было очень обидно, потому что сама управа предвидѣла наступленіе весны и уже сдѣлала распоряженіе, чтобы Глотовъ, какъ только появятся на дворѣ зажоры, немедленно ѣхалъ, куда глаза глядятъ.

Узнавъ, что Любимъ Торцовъ разъѣзжаетъ по селеніямъ, гдѣ заведены кабаки, самъ пьетъ, а крестьянъ уговариваетъ не давать приговоровъ на открытіе питейныхъ заведеній, губернаторъ призвалъ Краснова и сказалъ ему, что хотя заботы объ уменьшеніи пьянства весьма похвальны, но не слѣдуетъ забывать, что вино представляетъ одну изъ существеннѣйшихъ статей государственнаго бюджета.

— Но народная нравственность...—заикнулся-было Красновъ.

— Народную нравственность я вполнѣ вамъ предоставляю,—прервалъ его губернаторъ:—утверждайте народъ въ правилахъ благочестія и преданности, искореняйте изъ народной среды вредные обычаи, даже отъ пьянства воздерживайте. Но послѣднее не принадлежитъ къ вашимъ прямымъ обязанностямъ, и потому вы можете дѣйствовать въ этомъ случаѣ—какъ и всякій частный человѣкъ. Существуетъ, какъ вамъ извѣстно, цѣлое акцизное вѣдомство, которое слѣдитъ за правильностью открытія питейныхъ домовъ и производства въ нихъ торговли; наконецъ, существуетъ полиція, которая, въ случаѣ надобности, приглашается составлять протоколы и проч. Каждое вѣдомство имѣетъ свои прерогативы, наступать на которыя закономъ не разрѣшается. Да-съ.

Наконецъ, узнавъ, что членъ управы Берсеневъ, съ наступленіемъ марта, сталъ водить своего жеребца по всѣмъ трактамъ, въ видахъ улучшенія конскихъ породъ, губернаторъ похвалилъ его за такое усердіе и выразилъ надежду, что упавшее въ губерніи коневодство снова процвѣтетъ.

— Повѣрьте мнѣ, Савва Семенычъ, — сказалъ онъ при этомъ:—что я не противникъ тѣхъ мѣръ, которыя при-

маются земствомъ на пользу края. Напротивъ, я всегда говорилъ и говорю: что полезно, то полезно. И исправникамъ то же самое предписалъ говорить.

Словомъ сказать, черезъ нѣсколько времени земскіе дѣятели почувствовали себя какъ бы въ тискахъ. Никакого новшевства они не могли предпринять, въ которомъ губернаторъ заранѣе не заявилъ бы себя иниціаторомъ. Не успѣетъ Красновъ во снѣ увидѣть, что для больныхъ новые халаты нужны, какъ губернаторъ уже озаботился, шлётъ за Вилковымъ и даетъ ему соотвѣтствующія инструкціи. Не успѣетъ Красновъ задуматься, что Перервинъ какъ будто поигрывать въ карты шибко началъ, какъ губернаторъ уже шлётъ за нимъ и предостерегаетъ. И что всего обиднѣе — никогда самъ не пріѣдетъ: «любезный, молъ, другъ Николай Николаичъ!—такъ-то и такъ-то!—нельзя ли миркомъ да ладкомъ?» — а непремѣнно шлетъ гонца: «извольте явиться!» — Тѣмъ не менѣе явныхъ пререканій не было, и ожиданія тѣхъ, которые по поводу выбора Краснова говорили: «вотъ будетъ потѣха!» — не сбылись. Красновъ чувствовалъ, что популярность его съ каждымъ днемъ падаетъ; Живоглотовъ забылъ о недавнихъ объятіяхъ, которыя онъ простиралъ «почтеннѣйшему» Николаю Николаевичу, и почти ежедневно заѣзжалъ къ губернатору «пошушукаться».

Однако всему есть мѣра; есть мѣра и губернаторской снисходительности. Губернаторъ прилаживался къ дѣлу плотнѣе и плотнѣе и, наконецъ, проникъ, въ самую суть его.

— Женщина-врачъ, которую вы опредѣлили въ Х—скую больницу, оказывается неблагонадежною,—объявляетъ онъ однажды Краснову.

— Но почему же, ваше-ство?

— Говоритъ праздныя рѣчи, не имѣетъ надлежащей теплоты чувствъ... Все это мнѣ извѣстно изъ вполнѣ достовѣрныхъ источниковъ.

Женщинѣ-врачу посылаютъ приглашеніе прибыть въ управу.

— Что вы тамъ путаете?—обращается къ ней Красновъ.

— Я?.. ничего!

— Губернаторъ говоритъ, что вы неблагонадежны, не выказываете теплоты чувствъ, и что ему извѣстно это изъ достовѣрныхъ источниковъ.

— Помилуйте! Я даже никого въ городѣ не знаю...

— Въ томъ-то и дѣло, что нельзя «никого не знать»-съ.

Нужно всѣхъ знать-съ. Вспомните: не бываете ли вы у кого-нибудь... неблагонадежнаго?

— Я бываю только въ семьѣ одного сельскаго учителя... онъ живетъ въ трехъ верстахъ отъ города...

— Вотъ видите! въ городѣ ни у кого не бываете, а по учителямъ разъѣзжаете.

— Да почему же?..

— А потому что потому. Впрочемъ, я свое дѣло сдѣлалъ, предупредилъ васъ, а дальше ужъ сами какъ знаете.

— Господи! Что же я буду дѣлать?

Женщина-врачъ плачетъ.

— Не плачьте, а бросьте ваши фанаберіи—вотъ и все. Поѣзжайте къ исправнику, постарайтесь сойтись съ его женой, выражайтесь сдержаннѣе, теплѣе, словомъ сказать...

Красновъ махаетъ рукой и съ словами: «ну, теперь началась белиберда!»—отпускаетъ женщину-врача.

Но черезъ мѣсяцъ губернаторъ опять шлетъ за нимъ.

— Дѣвица Петропавловская, о которой я ужъ говорилъ вамъ, — объясняетъ онъ Краснову: — продолжаетъ являть себя неблагонадежною. Вчера я получилъ о ней свѣдѣнія, которыя не оставляютъ ни малѣйшаго въ томъ сомнѣнія.

— Какъ прикажете, ваше-ство...

— Приказывать—не мое дѣло. Я могу принять мѣры—и больше ничего. Всему злу корень — учитель Воскресенскій, насчетъ котораго я уже распорядился... Ахъ, Николай Николаевичъ! Неужели вы думаете, что мнѣ самому не жаль этой заблуждающейся молодой дѣвицы? Повѣрьте мнѣ, иногда сидишь вотъ въ этомъ самомъ креслѣ и думаешь: за что только гибнутъ наши молодыя силы?

— Но какъ же въ этомъ случаѣ поступить? Быть-можетъ, что съ удаленіемъ учителя Воскресенскаго, какъ причины зла, дѣвица Петропавловская...

— Увы! подобныя перерожденія слишкомъ рѣдки. Разъ человѣка коснулась гангрена вольномыслія, она вливается въ него навсегда; поэтому надо спѣшить вырвать не только корень зла, но и его отпрыски. На вашемъ мѣстѣ я поступилъ бы такъ: призвалъ бы дѣвицу Петропавловскую и попросилъ бы ее оставить губернію. Повѣрьте, въ ея же интересахъ говорю. Теперь, покуда дѣло не получило огласки, она можетъ похлопотать о себѣ въ другой губерніи и тамъ получить мѣсто, тогда какъ...

— Но вѣдь ежели она вредна здѣсь, то, конечно, будетъ не меньше вредна и въ другомъ мѣстѣ.

— Ежели такъ, то вѣдь и тамъ ей предложатъ оставить мѣсто. И такимъ образомъ...

Словомъ сказать, учитель Воскресенскій и дѣвица Петропавловская исчезли, какъ будто бы ихъ и не бывало въ губерніи.

Когда управа приступила къ открытію училищъ, дѣло осложнилось еще болѣе. Въ средѣ учителей и учительницъ уже сплошь появлялись нераскаянныя сердца, которыя въ высшей мѣрѣ озабочивали администрацію. Приглашенія слѣдовали за приглашеніями, исчезновенія за исчезновеніями. Повидимому, программа была начертана заранѣе и приводилась въ исполненіе неукоснительно.

Общество города N. притихло. Земцы, которые на первыхъ порахъ разыгрывали въ губернскихъ салонахъ роль гвардейцевъ и даже на дамъ производили впечатлѣніе умными разговорами, сдѣлались предметомъ отчужденія. Какъ будто они были солидарны со всѣми этими нераскаянными сердцами, которыя наводнили губернію и обезпокоили мѣстную интеллигенцію. Слышались безпрерывныя жалобы, что лохматые гномы заполонили деревни; слово «умники» сдѣлалось прямо браннымъ. Дѣвицы, проходя въ собраніи мимо Краснова, прищуривались, — точно у него въ карманѣ была спрятана бомба. Только Берсенева выбирали по временамъ въ мазуркѣ, какъ бы смутно понимая, что его путешествующій жеребецъ никакого отношенія къ внутренней политикѣ не имѣетъ. Однимъ словомъ, ежели общество еще не совсѣмъ упало духомъ, то благодаря только тому, что ему извѣстно было, что на стражѣ этого кавардака стоитъ человѣкъ, который въ обиду не выдастъ.

Къ величайшему удивленію, Красновъ, который только по недоразумѣнію заявилъ себя либераломъ, чѣмъ болѣе осложнялось положеніе вещей, тѣмъ болѣе погрязалъ въ безднѣ либерализма. Превращеніе это совершилось въ немъ безсознательно, въ силу естественнаго закона противорѣчія. Онъ уже позволилъ себѣ высказать губернатору лично, что считаетъ безпрерывное вмѣшательство его въ дѣла земства черезчуръ назойливымъ, и даже написалъ ему нѣсколько пикантныхъ бумагъ въ этомъ смыслѣ, а въ обществѣ отзывался о немъ съ такою безцеремонностью, что даже лучшіе его друзья дѣлали видъ, что они ничего не слышатъ.

Нерѣдко видали его сидящимъ у окна и какъ будто чего-то поджидающимъ. Вѣроятно, онъ поджидалъ зарю, о

которой когда-то мечталъ и безъ которой немыслимо появленіе солнца. Но заря не занималась, ему невольно припомнились вѣщія слова: «въ сумеркахъ лучше!»

— Да, сумерки, сумерки, сумерки! И «до», и «по» — всегда сумерки! — говорилъ онъ себѣ, вперяя взоръ въ улицу, которая съ самаго утра какъ бы заснула подъ вліяніемъ недостатка свѣта.

Къ довершенію всего, земскіе сборы поступали туго. Были ли они дѣйствительно черезчуръ обременительны, или существовалъ тутъ какой-нибудь фортель—во всякомъ случаѣ рессурсы управы съ каждымъ днемъ оскудѣвали. Школьное и врачебное дѣла замялись, потому что ни педагоги, ни врачи не получали жалованья; сами члены управы нерѣдко затруднялись относительно уплаты собственнаго вознагражденія, хотя въ бо̀льшей части случаевъ все-таки выходили изъ затрудненій съ честью. Мосты приходили въ разрушеніе, дороги сдѣлались непроѣздными; на бѣлье въ больницахъ больно было смотрѣть. Это уже были совершенно конкретныя доказательства безпечности, не то что какая-нибудь народная нравственность, о которой можно судить и такъ, и иначе. Губернаторъ, поѣхавши въ губернію по ревизіи, вынужденъ былъ на одномъ перевозѣ прождать цѣлыхъ два часа, а черезъ одинъ мостъ переходить пѣшкомъ, покуда экипажъ переѣзжалъ вбродъ: это ужъ не заря, не солнце, а фактъ. Вся живоглотовская партія ахнула, узнавши объ этомъ.

Возвратившись въ городъ, губернаторъ немедленно пригласилъ управу въ полномъ составѣ и «распушилъ» ее.

— Вы совсѣмъ не о томъ думаете, господа, — сказалъ онъ:—мостъ есть мостъ, а не конституція-съ!

Фраза эта облетѣла всю губернію. Вся живоглотовская партія, купно съ исправниками, восхищалась ею. Одинъ Красновъ имѣлъ дерзость сослаться на то, что полиція не принимаетъ никакихъ мѣръ для успѣшнаго поступленія сборовъ, и что вслѣдствіе этого управа дѣйствительно поставлена въ затрудненіе.

Наконецъ, незадолго передъ началомъ земской сессіи, Красновъ не выдержалъ и собрался въ Петербургъ.

Губернія рѣшила, что онъ ѣдетъ жаловаться, и притаила дыханіе. Но губернаторъ оставался равнодушенъ и только распорядился содержать въ готовности «факты».

Въ Петербургѣ, однако-жъ, Краснову не посчастливилось. Его встрѣтили не то чтобы враждебно, а совершенно хлад-

покровно, какъ будто о земскомъ кавардакѣ никому ничего не было извѣстно.

— Вы, господа, слишкомъ преувеличиваете, — говорили ему.—Если бы вамъ удалось взглянуть на ваши дѣла нѣсколько издалека, вотъ какъ мы смотримъ, то вы убѣдились бы, что они не заключаютъ въ себѣ и десятой доли той важности, которую вы имъ приписываете.

— Не можемъ мы, однако, смотрѣть издалека на вещи, съ которыми постоянно находимся лицомъ къ лицу,—убѣждалъ Красновъ.

— Но и мы, съ своей стороны, не можемъ измѣнить нашу точку зрѣнія. Не слишкомъ ли высоко вы ставите тѣ задачи, которыя предстоятъ земству? Не думаете ли вы, что съ введеніемъ земскихъ учрежденій что-нибудь измѣнилось? Ежели это такъ, то вы заблуждаетесь; задачи ваши очень скромны: содержаніе въ исправности губернскихъ путей сообщенія, устройство врачебной части, открытіе школъ... Все это и безъ шума можно сдѣлать. Но, разумѣется, ежели земство будетъ представлять собой убѣжище для злонамѣренныхъ людей, ежели сами представители земства будутъ думать о какихъ-то новыхъ эрахъ, то администрація не можетъ не вступиться. Общественная безопасность прежде всего.

— Но изъ чего же видно...

— Покуда опредѣленныхъ фактовъ въ виду еще нѣтъ, но есть разговоръ — это уже само по себѣ представляетъ очень существенный признакъ. О вашемъ губернаторѣ никто не говоритъ, что онъ мечтаетъ о новой эрѣ... почему? А потому просто, что этого нѣтъ на дѣлѣ и быть не можетъ. А объ земствѣ по всей Россіи такой слухъ идетъ, хотя, разумѣется, бо́льшую часть этихъ слуховъ слѣдуетъ отнести на долю болтливости.

Такія прѣдики приходилось Краснову выслушивать чуть не каждый день. Но онъ все-таки прожилъ въ Петербургѣ цѣлый мѣсяцъ и на каждомъ шагу, и въ публичныхъ мѣстахъ, и у общихъ знакомыхъ, сталкивался съ земскими дѣятелями другихъ губерній. Отовсюду слышались одинаковыя вѣсти. Вездѣ шла какая-то нелѣпая борьба, невѣдомо изъ-за какихъ интересовъ; вездѣ земство мало-помалу освобождалось отъ мечтаній и все-таки не удовлетворяло своею уступчивостью. Прямого недовольства не высказывалось, но вопросъ объ общественной безопасности ярче и ярче выступалъ впередъ и заслонялъ собой все.

Краснову показалось, что онъ и самъ какъ будто отрезвѣлъ. Когда онъ обмѣнивался мыслями съ сотоварищами по дѣятельности, ему невольно думалось: «Какія, однако-жъ, все это мелочи, и стоитъ ли ради нихъ сохнуть и препираться? Ворочусь домой, буду «ѣздить» въ управу — вотъ и все. Пускай губернаторъ, съ термометромъ въ рукахъ, измѣряетъ теплоту чувствъ у сельскихъ учителей и у женщинъ-врачей; съ какой стати я буду вступаться? Ежели школьное дѣло пойдетъ худо—у меня оправданіе налицо. Наконецъ, возьмите школы себѣ, оставьте земству только паромы и мосты — и до этого мнѣ дѣла нѣтъ! Но только хорошо будетъ земство! Да и вообще дѣла пойдутъ хорошо! Вѣдь что-же-нибудь заставило подумать объ участіи земства въ дѣлахъ мѣстнаго управленія? Была же, вѣроятно, какая-нибудь прорѣха въ старыхъ порядкахъ, если потребовалось вызвать земство къ жизни? Вѣдь ни я, ни Вилковъ, ни Торцовъ не выходили съ оружіемъ въ рукахъ, чтобы создать земство, — и вдругъ оказывается, что теперь-то именно и выступила впередъ общественная опасность!»

Словомъ сказать, Красновъ махнулъ рукой, посвятилъ остальное время петербургскаго пребыванія на общественныя удовольствія, на истребленіе бакалеи, на покупку нарядовъ для семьи и, нагруженный цѣлымъ ворохомъ всякой всячины, возвратился во-свояси.

Годы шли; губернаторы смѣнялись, а Красновъ все оставался во главѣ земства. Онъ слылъ уже образцовымъ предсѣдателемъ управы и остепенился настолько, что самъ отыскивалъ корни и нити. Сами губернаторы согласились, что за такимъ предсѣдателемъ они могутъ жить какъ за каменною стѣною.

Одно Краснову было не по нутру — это однообразіе, на которое онъ былъ, повидимому, осужденъ. Покуда въ глазахъ металась какая-то заря, все же жилось веселѣе и было кой-о-чемъ поговорить. Теперь даже въ мозгу словно закупорка какая произошла. И во снѣ видѣлся только длинный-длинный мостъ, черезъ который проходитъ губернаторъ, а мостовины такъ и пляшутъ подъ нимъ.

— Да это просто злоумышленіе! — обращается губернаторъ къ Алексѣю Харлампьичу Бережкову, который смѣнилъ Живоглотова.

А кромѣ того Краснова мучило и отсутствіе всякихъ перспективъ. Предположивъ сгоряча, что предводительское

званіе лишено будущности, онъ горько ошибся. Правда, старый Живоглотовъ умеръ, не вкусивъ отъ плода; но выбранный на его мѣсто Живоглотовъ-сынъ не прослужилъ и трехлѣтія, какъ получилъ уже высшее назначеніе. Затѣмъ пріѣхалъ Живоглотовъ-внукъ, повернулся и тоже исчезъ, осіянный ореоломъ и полный надеждъ.

Если бы Красновъ не поторопился въ то время — кто знаетъ, чьи судьбы были бы теперь у него въ рукахъ?!

— У насъ ничего нельзя впередъ угадать, — ворчалъ онъ себѣ подъ носъ: — сегодня ты тутъ, а завтра невѣдомая сила толкнула тебя Богъ вѣсть куда! Область предвидѣній такъ обширна, что ничего столь не естественно, какъ запутаться въ ней. Случилось такъ, но могло случиться и иначе. Что, если бы, въ самомъ дѣлѣ, заря занялась, а за нею вдругъ солнце?.. И вездѣ дѣло начиналось съ мостовъ и перевозовъ, а потомъ, потихоньку да помаленьку, глядь—новая эра. Это хоть въ Америкѣ спросите. Что такое были эти Чикаго, эти Санъ-Франциско?— простыя, бѣдныя деревни и больше ничего! А нынче?

То-то вотъ оно и есть. И не довернешься — бьютъ и перевернешься—бьютъ. Дѣлай, какъ хочешь. Близокъ локоть—да не укусишь. Въ то время, когда онъ изъ редакціонныхъ комиссій воротился, его сгоряча всѣми шарами бы выбрали, а онъ, вмѣсто того, за «эрами» погнался. Чорта съ два... Эррррa!

А теперь? Что такое онъ собой представляетъ? — нѣчто въ родѣ сторожа при земскихъ переправахъ... да! Но, кромѣ того, и лохматые эти... того гляди, накуралесятъ! Откуда взялась дѣвица Петропавловская? Что на умѣ у учителя Воскресенскаго? Вглядывайся въ ихъ лохмы! читай у нихъ въ мысляхъ! Сейчасъ у «него» на умѣ одно, а черезъ минуту—другое!

О, Господи! спаси и помилуй!

4.—Праздношатающійся.

Покуда кругомъ все бездѣйствуетъ и безмолвствуетъ, Аѳанасью Аркадьичу Бодрецову и дѣла по горло, и наговориться онъ досыта не можетъ. Весь городъ ему знакомъ, съ утра до вечера онъ бѣгаетъ. То нырнетъ куда-то, то опять вынырнетъ. Пока другіе корпятъ за работой въ кан-

целяріяхъ и конторахъ, онъ собираетъ матеріалы для ходячей газеты, которая въ его лицѣ появляется, въ опредѣленные часы дня, на Невскомъ и безплатно сообщаетъ новости дня.

Бодрецовъ—перипатетикъ по природѣ. Правда, что онъ на улицахъ останавливается безпрестанно, но на четверть, на полминуты, не больше. Залучить его на болѣе продолжительное время — большая рѣдкость. Не успѣвши высказать всего запаса новостей встрѣченному знакомому, онъ спѣшитъ дальше, чтобы поймать другого знакомаго, котораго завидѣлъ издалека, и на ходу уже усматриваетъ третьяго знакомца, съ которымъ тоже нужно подѣлиться. Всѣ интересуются Аѳанасьемъ Аркадьичемъ: всѣ знаютъ, что у него имѣется въ запасѣ что-нибудь свѣженькое. Газеты лгутъ, въ салонахъ лгутъ, а знать, что̀ на бѣломъ свѣтѣ дѣется, хочется. Аѳанасій Аркадьичъ лжетъ, но онъ лжетъ днемъ раньше, нежели другіе, и въ этомъ его преимущество. Въ мірѣ сумерекъ, гдѣ не существуетъ ни одного состоятельнаго шага, гдѣ всякая послѣдующая минута опровергаетъ предыдущую, очень лестно поймать «первую» ложь и похвастаться передъ знакомымъ: «а знаете ли, кто назначается... да нѣтъ, вы не повѣрите...»

Но всѣ вѣрятъ. Нѣкто Х. дѣлается на нѣсколько часовъ предметомъ толковъ и разговоровъ. Аѳанасій Аркадьичъ одному сказалъ просто: «туда-то назначается Х.», другому прибавилъ, что Х. принялъ назначеніе на такихъ-то условіяхъ, третьему — что Х. уже изложилъ свой планъ дѣйствій, и т. д. На другой день всѣ эти перемѣны, перемѣщенія, условія и планы появляются, въ видѣ слуховъ, въ газетахъ. На третій день оказывается, что Х. никуда не назначается, а Z. остается попрежнему на мѣстѣ. Z., узнавши, что ему грозитъ опасность, отправился къ графинѣ Y., заключилъ съ нею союзъ; графиня съ своей стороны...

Такимъ образомъ все объясняется. Никому не приходитъ въ голову назвать Бодрецова лжецомъ; напротивъ, большинство думаетъ: «а вѣдь и въ самомъ дѣлѣ у насъ всегда такъ: сію минуту вѣрно, черезъ пять минутъ невѣрно, а черезъ четверть часа—опять вѣрно». Не можетъ же, въ самомъ дѣлѣ, Аѳанасій Аркадьичъ каждыя пять минутъ знать истинное положеніе вещей. Будетъ съ него и того, что онъ хоть на десять минутъ сумѣлъ заинтересовать общественное мнѣніе и наполнить досугъ праздныхъ людей.

Иногда Бодрецову вздумается удѣлить побольше времени кому-нибудь изъ наиболѣе близкихъ или нужныхъ знакомыхъ. Тогда этотъ послѣдній испытываетъ сущую пытку. Аѳанасій Аркадьичъ идетъ съ нимъ подъ-руку, но на каждомъ шагу останавливается и съ словами: «сейчасъ, сейчасъ!» отскакиваетъ впередъ, догоняетъ, перегоняетъ, шепчетъ на ухо пару словъ, потомъ опять возвращается, возобновляетъ прерванный разговоръ, но никогда не доведетъ его до конца.

— Охота вамъ такъ тиранить себя! Ну, куда вы убѣжали?—упрекнетъ его знакомецъ.

— Нельзя, голубчикъ; человѣчекъ такой встрѣтился. Понадобится впередъ.

— Кто же такой?

— Негодяй! Да неужто вы его не знаете? Помилуйте! ежели такихъ мерзавцевъ не знать наперечетъ, такъ жить не безопасно. Всегда наготовѣ нужно камень за пазухой держать. Вы знаете ли, что онъ съ своей родной сестрой сдѣлалъ?..

И пойдетъ, и пойдетъ. Осквернитъ слухъ такими возмутительными подробностями, что поневолѣ скажешь себѣ: дѣйствительно, такихъ людей надобно хоть по наружности знать, чтобы въ случаѣ встрѣчи принимать мѣры.

— Да зачѣмъ же вы съ нимъ якшаетесь? Знать—знайте, а зачѣмъ въ пріятельскія отношенія входить?

— Ахъ, какой вы странный! Онъ вездѣ принятъ, вездѣ бываетъ. Слышитъ и то, и другое, а иногда и изъ достовѣрныхъ источниковъ. Кому какое дѣло, что онъ сестру ограбилъ или въ свою пользу духовное завѣщаніе написалъ? Процессъ-то вѣдь выигралъ онъ, а не она. Да и мало ли онъ дерзостей дѣлалъ прямо на глазахъ у всѣхъ—и всѣ привыкли, всѣ говорятъ: «онъ ужъ такой отъ роду». Однажды онъ у князя Матюкова золотую табакерку укралъ, а князь и увидѣлъ. И что-жъ! только тѣмъ и ограничился, что сказалъ: «ахъ, братецъ, клептоманія, что ли, это у тебя?» А онъ въ отвѣтъ: «точно такъ, ваше сіятельство!» Такъ и до сихъ поръ къ князю въ домъ вхожъ, хотя если бы хорошенько пересчитать столовый княжескій сервизъ, то, я увѣренъ, очень достаточнаго количества ложекъ не досчитались бы.

Разсказавъ это быстро, однимъ духомъ, онъ отскакиваетъ въ сторону, какъ бы спѣша возмѣстить потерянное время. И мотается взадъ и впередъ, какъ маятникъ, то

бѣгая, то возвращаясь. И при новой мгновенной встрѣчѣ непремѣнно шепчетъ:

— А этотъ, съ которымъ теперь иду.... знаете вы его? О, я вамъ когда-нибудь разскажу...

Въ особенности интересенъ онъ въ трактирахъ и ресторанахъ, которые посѣщаетъ охотно, хотя довольно рѣдко, по причинѣ частыхъ приглашеній въ семейные дома. Во-первыхъ, въ ресторанѣ всегда встрѣтишь кучу знакомыхъ, отъ которыхъ можно тоже позаимствоваться новостями дня, а во-вторыхъ, Бодрецовъ любитъ поѣсть хорошо, а въ особенности на чужой счетъ.

И потчуютъ его всегда съ удовольствіемъ, потому что подъ говоръ его ѣстся какъ-то спорѣе. Точно на парадномъ обѣдѣ подъ музыку: господа внизу ложками гремятъ, а на хорахъ музыканты въ дуды дудятъ.

Да и вольготнѣе въ трактирѣ: тутъ, на просторѣ, газета по порядку всѣ новости разскажетъ: не перервется на словѣ, не убѣжитъ. Потому что коли ты ѣшь на мой счетъ, такъ разсказывай!

Одна Болгарія какую громадную популярность ему создала! Онъ первый предсказалъ, что Баттенберга будутъ возить. Сначала увезутъ, потомъ привезутъ, а потомъ и опять увезутъ—ужъ окончательно.

— Ну, ужъ это ты, братецъ, солгалъ!—говорили ему.

— Вотъ увидите!

И что-жъ, оказалось, что такъ точь-въ-точь по его и случилось. Увезли, привезли и опять увезли.

Потомъ пошли кандидаты на болгарскій престолъ. Каждый день—новый кандидатъ, и все какіе-то необыкновенные. Ходитъ Аѳанасій Аркадьичъ по Невскому и возвѣщаетъ: «принцъ Вильманстрандскій! принцъ Меделанскій! князь Сампантрѣ!» — Никто вѣрить ушамъ не хочетъ, а между тѣмъ стороной узнаютъ, что дѣйствительно рѣчь о Меделанскомъ принцѣ была—и даже очень серьезно.

Даже иностранные кабинеты встревожились дѣятельностью Бодрецова; спрашиваютъ: «да откуда ты, братецъ, все знаешь?»—«Угадайте!»—говоритъ. А ларчикъ просто открывался: велъ Аѳанасій Аркадьичъ дружбу къ камердинеромъ князя Откровеннаго: изъ этого-то источника все и узнавалъ.

Такъ и всегда нужно поступать. Когда никто ничего не знаетъ, когда всѣ разѣваютъ рты, чтобы сказать: «моя изба съ краю» — непремѣнно нужно обращаться къ камердине-

рамъ. Они за цѣлковый-рубль всѣ иностранные кабинеты въ изумленіе приведутъ.

Происхожденія Бодрецовъ не важнаго, и унаслѣдованныя имъ отъ родителей матеріальныя средства очень ограниченны. Но онъ служитъ въ двухъ вѣдомствахъ, въ обоихъ ничего не дѣлаетъ и въ обоихъ получаетъ хорошее жалованье. За всѣмъ тѣмъ, онъ всегда имѣетъ видъ нуждающагося человѣка, живетъ въ номерахъ, одѣвается болѣе нежели скромно и ѣстъ исключительно на чужой счетъ. Но всѣ къ этому до такой степени привыкли, что даже очень вліятельныя лица безъ малѣйшей брезгливости встрѣчаютъ его потертый пиджакъ въ своихъ кабинетахъ и салонахъ. Кромѣ запаса новостей, составляющаго, такъ сказать, базисъ всѣхъ его связей, у него имѣется еще большой запасъ услужливости, которая тоже въ значительной мѣрѣ увеличиваетъ цѣнность его знакомства. Онъ и справочку умѣетъ достать, и похлопотать, и разузнать, и съѣздить, по порученію какой-нибудь дамочки, въ модный магазинъ, въ кондитерскую, на рынокъ.

Во всемъ онъ знатокъ, вездѣ умѣетъ выбрать. Знаетъ, гдѣ продается лучшая баранина, гдѣ прежде всего можно получить свѣжаго тюрбо, омара, у кого изъ торговцевъ появилась свѣжая икра, балыки и проч. Выбираетъ онъ всегда добросовѣстно и не только ничего не беретъ за комиссію, но даже торгуется въ пользу патрона.

Страсть къ кочевой жизни пришла къ нему очень рано. Уже въ дѣтствѣ онъ перемѣнилъ чуть не три гимназіи, покуда, наконецъ, попалъ въ кадетскій корпусъ, но и тамъ кончилъ не важно и былъ выпущенъ, по слабости здоровья, для опредѣленія къ штатскимъ дѣламъ.

Это частое перекочевыванье дало ему массу знакомствъ, которыя онъ тщательно поддерживалъ, не теряя изъ вида даже тѣхъ товарищей, которые мелькнули мимо него почти на мгновеніе. Острая память помогала ему припоминать, а чрезвычайная повадливость давала возможность возобновлять такія знакомства, которыхъ начало, такъ сказать, терялось во мракѣ временъ. Достаточно было одной черты, одного смутнаго воспоминанія («а помните, какъ мы въ форточку курили?»), чтобы возстановить цѣлую картину прошлаго.

— Да, куривали! — отвѣчаетъ обрѣтенный товарищъ, вглядываясь въ черты лица обрѣвшаго:—а помнишь, какъ *разъ насъ самъ инспекторъ на мѣстѣ преступленія изловилъ*?

— Помню! помню! Еще бы забыть!

— Ну, до свиданія, стало-быть. Возобновимъ старину. Я, любезный другъ, уже женатъ. Живемъ мы скромно, но для друзей всегда за столомъ мѣсто найдется. Милости просимъ когда-нибудь запросто...

Благодаря такимъ находкамъ, кругъ знакомствъ Бодрецова очень быстро расширился. Мѣстъ, въ которыхъ онъ могъ, не разбирая дней, придти пообѣдать, развилось такое множество, что встрѣчающіеся на улицахъ безсемейные друзья съ трудомъ успѣваютъ залучить его въ трактиръ.

Служба доставила ему связей еще больше. Гдѣ онъ ни служилъ — это только одному Богу извѣстно. Сначала поѣхалъ въ родной губернскій городъ и сразу сдѣлался наперсникомъ губернатора. Губернаторша тоже не чаяла въ немъ души, потому что онъ былъ мастеръ устраивать балы, пикники и отлично танцовалъ мазурку. Въ собравшемся обществѣ безъ него было скучно; съ приходомъ его все оживлялось и расцвѣтало. Уже на первыхъ шагахъ онъ обнаружилъ особенную наклонность къ выуживанью новостей, и хотя ремесло это въ провинціи небезопасно, однако онъ сумѣлъ такъ ловко проскальзывать между Сциллой и Харибдой, что ни съ кѣмъ серьезно не поссорился.

Когда губернатора перевели въ другую губернію, то и онъ перешелъ вмѣстѣ съ нимъ. Тутъ уже онъ явился вполнѣ своимъ человѣкомъ у хозяина губерніи, такъ что не онъ долженъ былъ подлаживаться къ обществу, но общество къ нему. Само собой разумѣется, обѣ стороны скоро примѣнились другъ къ другу. Пошли пикники, загородныя поѣздки, вечеринки; Бодрецовъ и здѣсь, какъ въ первомъ мѣстѣ служенія, сдѣлался душою общества. Но не успѣлъ онъ прослужить здѣсь и двухъ лѣтъ, какъ черезъ городъ случилось проѣзжать начальнику какого-то отдаленнаго края. Особа сдѣлала честь принять обѣдъ у губернатора и встрѣтила тамъ Бодрецова. Аѳанасій Аркадьичъ сразу понравился. Онъ сумѣлъ такъ устроить, что особа сама вызвала его на разговоръ и совершенно правильно заключила, что если бы не молодой чиновникъ особыхъ порученій, то ему, мужу совѣта, пришлось бы очень скучно за чопорнымъ губернаторскимъ обѣдомъ. Проходя мимо, особа шепнула Бодрецову на ухо:

— Не зайдете ли вечеромъ ко мнѣ? Я въ ночь уѣзжаю.

Разумѣется, Бодрецовъ не преминулъ. Особа между тѣмъ

сооразила, что въ захолустьѣ, которымъ она правила, молодыхъ людей мало, а мазуристовъ и совсѣмъ нѣтъ; что жена особы скучаетъ, и что Бодрецовъ будетъ для нея большою находкой.

— Не желаете ли вы перейти ко мнѣ на службу?— предложила особа.

Бодрецовъ, который уже, такъ сказать, предвкушалъ это предложеніе, смутился, однако-жъ, при цифрѣ восемь тысячъ верстъ, которыя предлежало проѣхать. Но раздумывать было некогда, и выгоды перемѣщенія были слишкомъ явны, чтобы не воспользоваться ими. Особа пользовалась большимъ вѣсомъ въ бюрократической іерархіи и имѣла въ виду еще болѣе вѣское будущее.

Служить подъ покровительствомъ такого человѣка представлялось и лестнымъ, и выгоднымъ.

Согласіе было изъявлено, а черезъ полгода Аѳанасій Аркадьичъ былъ уже на новомъ мѣстѣ, гдѣ тоже служили люди, но гдѣ, главнымъ образомъ, нуждались въ молодыхъ чиновникахъ, которые умѣли бы развлечь и оживить общество.

Здѣсь онъ прослужилъ около пяти лѣтъ, какъ покровитель его внезапно умеръ. Пріѣхалъ новый начальникъ края и взглянулъ на дѣло нѣсколько иными глазами, нежели его предшественникъ. Фортуна Бодрецова слегка затуманилась. Но и тутъ ему все-таки посчастливилось. Одинъ изъ мѣстныхъ генераловъ былъ назначенъ начальникомъ въ другой отдаленный край и тоже набиралъ молодыхъ людей.

Хотя Бодрецову было въ то время уже за тридцать, но какъ-то никому не приходило въ голову, что онъ пересталъ быть молодымъ человѣкомъ. Новый баловень фортуны вспомнилъ объ Аѳанасьѣ Аркадьичѣ, котораго онъ видѣлъ на балахъ у бывшаго начальника края, и пригласилъ его.

Послѣ того Бодрецовъ служилъ и въ Новороссійскомъ краѣ, и на Кавказѣ, и въ Западномъ краѣ, и въ Варшавѣ, нерѣдко занималъ отвѣтственныя должности, но по большей части предпочиталъ возлежать на персяхъ. Всюду оставилъ онъ по себѣ самыя отрадныя воспоминанія, послѣдствіемъ которыхъ были связи, пригодившіяся ему въ будущемъ.

Когда онъ очутился вновь въ Петербургѣ, ему было уже за пятьдесятъ лѣтъ, и онъ съ честью носилъ чинъ штат-

скаго генерала. Важнаго поста онъ въ виду не имѣлъ и только жаждалъ прожить легко и безпечально. И когда онъ осмотрѣлся и вынулъ изъ чемодана цѣлую кипу рекомендательныхъ писемъ, то душою его овладѣла твердая увѣренность, что скромныя его мечты могутъ быть осуществлены вполнѣ безпрепятственно.

Въ теченіе мѣсяца онъ успѣлъ объѣздить всѣхъ знакомыхъ, которыхъ сумѣлъ накопить во время своихъ кочеваній. Нѣкоторые изъ этихъ знакомыхъ уже достигли высокихъ постовъ; другіе нажили хорошія состоянія и жили въ свое удовольствіе; третьимъ, наконецъ, не посчастливилось. Но Бодрецовъ не забылъ никого. Къ первымъ онъ былъ почтителенъ, со вторыми явилъ себя веселымъ собесѣдникомъ, къ третьимъ отнесся дружески, сочувственно. Только съ очень немногими, ужъ вполнѣ отпѣтыми, встрѣтился не вполнѣ дружелюбно, но и то съ крайнею осторожностью.

Путь, который ему предлежалъ, начертанъ былъ всею совокупностью его способностей. Это былъ путь человѣка, въ которомъ услужливость и досугъ являли полное, гармоническое сочетаніе. Но поприще, начатое еще въ провинціи, значительнымъ образомъ усложнилось. Въ провинціи, гдѣ жизнь совершается почти при открытыхъ дверяхъ, новость сама собой плыла въ уши; въ Петербургѣ требовался извѣстный трудъ, чтобы добыть ее. Притомъ же, чтобы не переврать петербургскую новость, надо стоять на высотѣ ея, знать отношенія, управляющія людьми и дѣлами, умѣть не приписать извѣстному лицу того, что ему несвойственно, однимъ словомъ, обработать уличный слухъ въ такомъ видѣ, чтобы онъ не поражалъ своимъ неправдоподобіемъ. Поэтому Бодрецовъ не сразу пустился во всѣ тяжкія, но приспособлялся къ своему ремеслу исподволь. Прежде всего онъ обезпечилъ себя съ матеріальной стороны, устроившись по службѣ; потомъ началъ прислушиваться, стараясь уловить игру партій, ихъ относительную силу, а также характеръ тѣхъ неожиданностей, которыя имѣютъ свойство—всякіе разсчеты и даже самую несомнѣнную увѣренность въ одно мгновеніе обращать въ прахъ. Послѣднее, впрочемъ, въ значительной мѣрѣ упрощало его задачу, ибо ежели есть въ запасѣ такой твердый оплотъ, какъ неожиданность, то ложь перестаетъ быть ложью и находитъ для себя полное оправданіе въ словахъ: «помилуйте! два часа тому назадъ я самъ собственными ушами слышалъ!»

Во всякомъ случаѣ, благодаря хорошей подготовкѣ, Аѳанасій Аркадьичъ сталъ на избранномъ пути быстро и прочно. Будучи обласканъ амфитріонами, онъ не пренебрегалъ домочадцами и челядинцами. Для всякаго у него находилось доброе слово, для дѣтей — бомбошка, для гувернантки — пожатіе руки и удивленіе передъ свѣжестью ея лица, для камердинера — небольшая денежная подачка въ праздникъ, скромность которой въ значительной мѣрѣ смягчалась простотою обращенія.

— Ну, что, голубчикъ, какъ сегодня... владыка-то?— спроситъ Аѳанасій Аркадьичъ, остановившись на минутку, чтобы побесѣдовать съ alter ego владыки.

— Ничего — какъ будто. Встали утромъ даже сверхъ ожиданія... чаю накушались, докладъ отъ Ивана Иваныча приняли; теперь—завтракать сейчасъ будутъ.

— Ну, а насчетъ слуховъ какъ?

— Да ни то, ни сё... Кажется, какъ будто... Вчера съ вечера, какъ почивать ложились, наказывали мнѣ: «смотри, Семенъ, ежели ночью отъ князя курьеръ—сейчасъ же меня разбуди!» И нынче, какъ встали, первымъ дѣломъ: «пріѣзжалъ курьеръ?» — Никакъ нѣтъ, ваше-ство! — «Ахъ, чтобъ васъ!..»

— И больше ничего?

— Нынче они очень смирны сдѣлались. Прежде, бывало, дѣйствительно, чуть что—и пошелъ дымъ коромысломъ. А въ послѣднее время такъ сократили себя, такъ сократили, что даже на удивленіе. Только и словъ: «въ насъ, братъ Семенъ, не нуждаются; пошли въ ходъ выродки, да выходцы—ну, какъ-то они справятся, увидимъ». А впрочемъ, къ часу карету приказали, чтобы готова была...

— Можетъ-быть, и сладится... Однако въ столовой ножами гремятъ; пойду-ка я...

— Пожалуйте! генералъ очень рады будутъ.

Аѳанасій Аркадьичъ сначала просовываетъ голову въ дверь столовой и при восклицаніяхъ: «милости просимъ! милости просимъ!»—проникаетъ и всѣмъ туловищемъ въ святилище завтраковъ и обѣдовъ.

— Ну, что?—кого назначили?—знаешь?—говори!—накидывается на него генералъ.

Онъ еще бодръ и свѣжъ; волосы съ просѣдью, щеки румяныя, усы нафабрены, сюртукъ нараспашку, бѣлая жилетка.

— Да покуда еще не рѣшено,—беззастѣнчиво лжетъ Бодрецовъ:—поговариваютъ, будто твое превосходительство побезпокоить хотятъ, но съ другой стороны графиня Погуляева черезъ барона фонъ-Фиша хлопочетъ...

— Это за «мартышку»-то?.. Нашли сокровище!

— И то никто въ городѣ вѣрить не хочетъ. Ну, да Богъ милостивъ, какъ-нибудь дѣло сладится, и ты...

— Что-жъ, я готовъ. Призовутъ ли, не призовутъ ли—на все воля Божья. Одно обидно—темнота эта. Шушукаются по угламъ, то на тебя взглянутъ, то на «мартышку»—ничего не поймешь... Эй, человѣкъ! подтвердить тамъ, чтобы черезъ часъ непремѣнно карета была готова!

Какъ нарочно, обстоятельства такъ сложились для Бодрецова, что пріѣздъ его въ Петербургъ совпалъ съ тѣмъ памятнымъ временемъ, когда сѣверная Пальмира какъ бы замутилась. Шли розыски; воздухъ былъ насыщенъ таинственными шопотами. Положеніе было серьезное, но людей, по обыкновенію, не оказывалось. Или, лучше сказать, ихъ было даже черезчуръ много, но все такіе, у которыхъ было на умѣ одно:—урвать и ради этого безсознательно бѣжать, куда глаза глядятъ. Во всякомъ случаѣ, для слуховъ самыхъ разнообразныхъ и неправдоподобныхъ нельзя было придумать болѣе подходящаго времени.

Бодрецовъ воспользовался этимъ чрезвычайно ловко. Не принимая лично участія въ общемъ угарѣ, онъ, благодаря старымъ связямъ, вездѣ имѣлъ руку и сдѣлался какъ бы средоточіемъ и исторіографомъ господствовавшей паники. Съ утра онъ ужъ былъ начиненъ самыми свѣжими новостями. Тамъ-то открыли то-то; тамъ нашли списокъ именъ; тамъ, наконецъ... Иногда онъ многозначительно умолкалъ, какъ бы заявляя, что знаетъ и еще кой-что, но дальше разсказывать несвоевременно...

— Увидите, и не то еще будетъ!—прибавлялъ онъ въ заключеніе.

— Но что же такое?—допрашивали его.

— Не могу, голубчикъ! но только вспомните мое слово!

— Надѣюсь однако-жъ, что сумѣютъ съ этимъ покончить!

— Ахъ, не скоро! ахъ, не скоро! Нужно очень-очень твердую руку, а нашъ генералъ ужъ слабъ и старъ. Сердце-то у него попрежнему горитъ, да рука ужъ не та... Благодареніе Богу, общество какъ будто просыпается...

— Хоть бы къ обществу обратились, что ли!

— Имѣется это въ виду, имѣется. Вчера объ этомъ серьезный разговоръ былъ, и...

— Рѣшено?

— Какъ будто похоже на это... Сегодня, впрочемъ, опять совѣщаніе будетъ, и надо думать... Мы ужъ обѣщали: тотчасъ же послѣ совѣщанія я къ одному человѣчку ужинать приглашенъ...

И т. д., и т. д.

Наконецъ, Петербургъ понемногу затихъ, но шопоты не успѣли еще прекратиться, какъ начались военныя дѣйствія въ Сербіи, затѣмъ «болгарскія неистовства», а въ концѣ концовъ и война за независимость Болгаріи. Санъ-стефанскій договоръ, потомъ берлинскій трактатъ—все это доставило обильнѣйшую пищу для дѣятельности Бодрецова. Въ то же время, какъ газеты силились чѣмъ-то подѣлиться съ читателями или, по крайней мѣрѣ, на что-нибудь намекнуть, Аѳанасій Аркадьичъ стрѣлою несся по Невскому и нашептывалъ направо и налѣво сокровеннѣйшія тайны дипломатіи. И такъ какъ онъ почерпалъ эти тайны въ самыхъ разнообразныхъ источникахъ, то и чепуха выходила разнообразнѣйшая. Однако-жъ этой чепухѣ вѣрили, такъ какъ настоящихъ фактовъ подъ руками не было, а между тѣмъ всѣмъ хотѣлось заранѣе угадать, какою неожиданностью подаритъ міръ европейскій концертъ.

— Намъ—ни клока! все австріякъ заграбилъ!—шепталъ онъ сегодня:—такъ прогулялись, задаромъ!

— Гм!.. это все шутки Бисмарка!

— И Бисмаркъ, да и прочіе... Одинъ французъ былъ за насъ!

— Ахъ, этотъ французъ! И помочь-то онъ нынче никому не можетъ!

Но на другой день Аѳанасій Аркадьичъ являлся съ торжествующей физіономіей.

— Все наше,—возвѣщалъ онъ:—и Болгарія—наша, и Молдавія—наша. Сербія—сама по себѣ, а Боснію и Герцеговину австріяку отдали. Только насчетъ Восточной Румеліи согласиться не могутъ, да вотъ англичанинъ къ острову Криту подбирается.

— Да вѣрно ли?

— Я у князя Котильона вчера обѣдалъ (мы съ нимъ въ Варшавѣ вмѣстѣ служили)—вдругъ шифрованную депешу принесли. Читалъ онъ ее, читалъ,—вижу, однако, улыбается. «Поздравьте, говоритъ, меня, другъ мой! Мол-

давія и Болгарія—наши!» Сейчасъ потребовалъ шампанскаго: ураа! А тутъ, пока всѣ поздравляли другъ друга, разъяснилось и все прочее.

— Вотъ только Боснію и Герцеговину жалко!

— Я ужъ и самъ говорилъ Котильону: какъ это вы козла въ огородъ пустили?—«Нельзя, говоритъ, я и самъ, мой другъ, понимаю, но... дѣлать нечего!»

— Да и насчетъ Восточной Румеліи...

— Ну, это пустяки! Ежели даже и посадятъ туда какого-нибудь Кадыкъ-пашу, такъ онъ, въ виду сосѣда, руки по швамъ держать будетъ!

— Да вѣрно ли?

— Чего еще вѣрнѣе! Отъ Котильона я отправился къ одному пріятелю—въ контролѣ старшимъ ревизоромъ служитъ. «У насъ, говоритъ, сегодня экстренное засѣданіе: хотятъ въ Болгаріи единство кассъ вводить». Оттуда—къ начальнику отдѣленія, въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ служитъ. Онъ тоже: «не знаете-ли вы, говоритъ, человѣчка такого, котораго можно было бы въ Журжево исправникомъ послать?»

— Фу ты!!!

Вообще, какъ я уже сказалъ выше, Болгарія доставила ему неистощимый родникъ новостей. И до сихъ поръ онъ занимается ею съ особенною любовью: подыскиваетъ кандидатовъ на болгарскій престолъ, разузнаетъ, будетъ ли оккупація и какъ смотритъ на этотъ вопросъ австріякъ, распространяетъ вѣрнѣйшія свѣдѣнія о путешествіи болгарской депутаціи по Европѣ, о свиданіяхъ Стоилова съ Баттенбергомъ, и проч., и проч.

Но болгарскій вопросъ видимо истощается, и Бодрецовъ уже начинаетъ поговаривать о близости новаго конфликта между Германіей и Франціей.

— Вы думаете, Франція даромъ войска на восточной границѣ стягиваетъ?—говоритъ онъ.—Нѣтъ, теперь ужъ всѣ ея приготовленія подробно извѣстны!

Или:

— Вы думаете, что Германія даромъ войска на западной границѣ стягиваетъ? Нѣтъ, батюшка, напрасно она полагаетъ, что въ наше время можно втихомолку войско въ пятьсотъ тысячъ человѣкъ въ одинъ пунктъ бросить!

И ежели война грянетъ, то Аѳанасій Аркадьичъ будетъ за два дня до опубликованія въ газетахъ сыпать по тротуарамъ самыя достовѣрныя извѣстія.

— Осада Парижа! — будутъ выкрикивать мальчишки-продавцы газетъ.

— Держи карманъ!—опровергнетъ ихъ Бодрецовъ:—это вчера нѣмцы подъ Парижъ подошли, а нынче сами въ Мецъ спрятались. Нѣтъ, батюшка, нынче Франція ужъ не та. Генералъ Буланже, ежели только онъ выдержитъ—большая ему будущность предстоитъ!

Въ настоящее время Аѳанасью Аркадьичу ужъ за пятьдесятъ, но любо посмотрѣть, какъ онъ бѣгаетъ. Фигура у него сухая, ноги легкія — любого скорохода опередитъ. Газеты терпятъ отъ него серьезную конкуренцію, потому что свѣдѣнія, получаемыя изъ первыхъ рукъ, отъ Бодрецова, и полнѣе, и свѣжѣе.

Однако и съ нимъ бываютъ прорухи. На-дняхъ встрѣчаю я его на Морской: идетъ, понуривши голову, и къ величайшему удивленію... молчитъ! А это большая въ немъ рѣдкость, потому что онъ такъ полонъ разговора, что ежели нѣтъ встрѣчнаго знакомаго, то онъ самъ себѣ сообщаетъ новости.

— Что задумались, Аѳанасій Аркадьичъ?—спрашиваю я.

— У своего генерала сейчасъ былъ,—сообщилъ онъ мнѣ шопотомъ:—головомойку мнѣ задалъ. «Съ чего, говоритъ, вы взяли распространять слухъ, что какъ только французъ нѣмца въ лобъ, такъ мы сейчасъ австріяка во флангъ?»— А чего «съ чего», когда я самъ собственными ушами слышалъ!

— Что же вы?

— Покаялся. Виноватъ, говорю, ваше-ство, впередъ буду осмотрительнѣе... И что же вы думаете! Самъ же онъ мнѣ потомъ открылся: «положимъ, говоритъ, что вы правы; но есть вещи, которыя до времени открывать не слѣдуетъ». Такъ вотъ вы теперь и разсудите. Упрекаютъ меня, что я иногда говорю да не договариваю; а могу ли я?

Такимъ образомъ проходитъ день за днемъ жизнь Бодрецова, представляя собой самое широкое олицетвореніе публичности. Сознаетъ ли онъ это?—навѣрное сказать не могу, но думаю, что сознаетъ... безсознательно. По крайней мѣрѣ, когда я слышу, какъ онъ взваливаетъ всѣ бѣды настоящаго времени на публичность, то мнѣ кажется, что онъ такъ и говоритъ: для чего намъ публичность, коль скоро существуетъ на свѣтѣ Аѳанасій Аркадьичъ Бодрецовъ?

III.

ПОРТНОЙ ГРИШКА.

Такъ, по крайней мѣрѣ, всѣ его въ нашемъ городѣ звали, и онъ не только не оставался безотвѣтенъ, но стремглавъ бѣжалъ по направленію зова. На вывѣскѣ, прибитой къ развaленному домишку, въ которомъ онъ жилъ, было слѣпыми и размытыми дождемъ буквами написано: «Портной Григорій Авенировъ—военный и партикулярный съ Москвы».

Происхожденіемъ былъ онъ изъ дворовыхъ людей и отданъ съ десятилѣтняго возраста въ ученье къ славившимся тогда московскимъ портнымъ Шиллингу и Тёпферу. Здѣсь онъ долгое время присматривался: таскалъ утюги, бѣгалъ въ трактиръ за кипяткомъ для настоящихъ портныхъ, терпѣлъ потасовки, учился сквернымъ словамъ, пилъ потихоньку вино и т. д. Словомъ сказать, продѣлалъ всю школу ученика. Пятнадцати лѣтъ ему дали иглу въ руки, и онъ, глядя на другихъ, учился шить на лоскуткахъ. Сшивалъ, распарывалъ и опять сшивалъ, покуда, наконецъ, не дали ему подметывать. А черезъ годъ посадили за верстакъ, и изъ него образовался уже настоящій портной. Только кроить онъ не умѣлъ (это дѣлали сами хозяева фирмы) и лишь впослѣдствіи самоучкой отчасти дошелъ до усвоенія этого искусства.

Наружность, признаться сказать, онъ имѣлъ неблаговидную. Громадная не по росту, курчавая голова съ едва прорѣзанными, безпокойно бѣгающими глазами, съ мягкимъ носомъ, который всякій считалъ долгомъ покомкать; затѣмъ, приземистое тѣло на короткихъ ногахъ, которыя отъ постояннаго сидѣнья на верстакѣ были выгнуты колесомъ.

мозолистыя руки—все это, вмѣстѣ взятое, дѣлало его фигуру похожею на клубокъ, усѣянный узлами. Когда этотъ клубокъ катился по улицамъ (Гришка постоянно отыскивалъ работишки), то цѣплялся за встрѣчныхъ и терпѣлъ отъ нихъ не мало колотушекъ. Ежели прибавить къ этому замѣчательную неопрятность и вѣчно присущій запахъ перегорѣлой сивухи, которымъ, казалось, было пропитано все его тѣло, то не покажется удивительнымъ, что прекрасный полъ сторонился отъ Гришки.

Въ нашемъ городѣ, гдѣ онъ устроился тотчасъ послѣ крестьянскаго освобожденія, онъ былъ лучшій портной. Но городъ нашъ—бѣдный, и обыватели его только починивались, рѣдко прибѣгая къ заказамъ новаго платья. Одинъ исправникъ неизмѣнно заказывалъ каждый годъ новую пару, но и тутъ исправничиха сама покупала сукно и весь прикладъ, призывала Гришку и приказывала кроить при себѣ.

— И хоть бы она на минутку отвернулась или вышла изъ комнаты,—горько жаловался Гришка:—все бы я хоть на картузъ себѣ лоскутокъ выгадалъ. А то глазъ не спуститъ, всякій обрѣзокъ оберетъ. Да и за работу выбросятъ тебѣ зелененькую—тутъ и въ пиръ, и въ міръ, и на пропой, и за квартиру плати; а вѣдь коли пьешь, такъ и закусить надо. Недѣлю за ней, за этой парой, просидишь изъ-за трехъ-то цѣлковыхъ!

Одинъ только разъ ему посчастливилось: пріѣхавшій въ городъ на ревизію губернаторъ зацѣпился за гвоздь и оторвалъ по цѣлому мѣсту фалду мундира. Гришка, разумѣется, такъ затачалъ, что лучше новой разорванная фалда вышла, и получилъ пять цѣлковыхъ.

— Вотъ какой это господинъ! — разсказывалъ онъ потомъ: — слова не сказалъ, вынулъ бумажникъ, вытащилъ за ушко вотъ эту самую синенькую—«вотъ тебѣ, братецъ, за трудъ!» Гдѣ у насъ такихъ господъ сыщешь!

Я зазналъ Гришку въ самый моментъ разрѣшенія крестьянскаго вопроса. У меня было подгородное оброчное имѣніе, и такъ какъ въ немъ не существовало господской усадьбы, то я поневолѣ поселился на довольно продолжительное время въ городѣ на постояломъ дворѣ, гдѣ и устраивалъ сдѣлки съ крестьянами. Жилъ я, впрочемъ, не сплошь, а въ теченіе двухъ лѣтъ, покуда длилось мое дѣло, то уѣзжалъ, то возвращался. Въ новой одеждѣ я не нуждался, но «починиваться» отъ времени до времени при-

ходилось, и Гришка довольно часто навѣщалъ меня и по дѣлу, и безъ дѣла.

Жилъ онъ со своими стариками, отцомъ и матерью, которыхъ и содержалъ на свой скудный заработокъ. Старики были пьяненькіе и частенько-таки его поколачивали. Вообще онъ очень жаловался на битье, которое составляло главное содержаніе и язву его жизни. Колотили его и дома, и внѣ дома; а ежели не колотили, то грозили поколотить. Онъ торопливо перебѣгалъ на другую сторону улицы, встрѣчая городничаго, который считалъ какъ бы долгомъ погрозить ему пальцемъ и промолвить: — «погоди! не убѣжишь! вотъ ужо!» Исправникъ—тотъ не грозился, а прямо приступалъ къ дѣлу, приговаривая: — «вотъ тебѣ! вотъ тебѣ!» и даже не объясняя законныхъ основаній. Даже купецъ Поваляевъ, имѣвшій въ городѣ каменныя хоромы,— и тотъ подводилъ его къ зеркалу, говоря: «Ну, посмотри-ты на себя! какъ тебя не бить!»

И затѣмъ ухватывалъ жирными пальцами его за носъ и комкалъ.

— И кабы я въ чемъ-нибудь былъ причиненъ! — негодовалъ Гришка: — ну, тогда точно... ну, стою того, такъ стою... А то, повѣрите ли, всякій мальчишка-клопъ, и тотъ норовитъ дать тебѣ мимоходомъ туза! Спросите: за что?!

Какъ я уже сказалъ выше, ко мнѣ онъ ходилъ часто. Сначала посидитъ съ стряпущей прислугой, а потомъ незамѣтно проберется въ мою комнату и стоитъ, притаившись, въ дверяхъ, пока я самъ не заговорю.

— Ну, что новенькаго?—спросишь его.

— Да вотъ работишки бы...

— Радъ бы, да нѣтъ.

— Я и самъ думалъ, что нѣтъ. Прислали бы, кабы была. А какъ бы я живо! Да что, сударь, я пожаловаться вамъ хочу...

И начнетъ, и начнетъ. И почти всегда битье составляло главную тему его розсказней. Такимъ образомъ, помаленьку, урывками, разсказалъ онъ мнѣ свое горевое житье съ самыхъ младенческихъ лѣтъ.

— Вы какъ думаете, кто былъ мой отецъ? — говорилъ онъ:—старшимъ садовникомъ былъ онъ у господина Елпатьева. Кабы вина не пилъ, такъ озолотилъ бы его — вотъ какой это былъ человѣкъ! Какія у насъ ранжереи были! сколько фруктовъ, цвѣтовъ! И все они причиной. Бывало, призоветъ его баринъ: «чтобъ были у меня, Демонтьичъ

на Ивана Крестителя—онъ 24-го іюня именины праздновалъ—персики!»—И были-съ. Большая, сударь, тутъ наука нужна. Раньше ставни въ ранжереѣ открыть, раньше протапливать начать, да чтобы не засушить или не залить—вотъ тогда и будутъ ранніе персики! А потомъ барыня Наталья Кириловна призоветъ: «чтобъ были у меня 26-го августа вишни!» И были-съ! У другихъ объ вишняхъ ужъ и забыли, а у насъ Дементьичъ въ концѣ августа, бывало, подастъ столько, что господа съѣдутся да только ахаютъ. Отца-то моего у господина Елпатьева князь одинъ торговалъ, тысячу рублей посулилъ да поваренка въ придачу,—такъ баринъ даже на такія деньги не польстился. А теперь вотъ и даромъ пришлось отпустить...

— Такъ отчего же бы старику не остаться у прежняго помѣщика?

— И сами теперь объ этомъ тужимъ, да тогда, вишь, мода такая была: всѣ вдругъ съ мѣста снялись, всей гурьбой пошли къ мировому. И что тогда только было—страсть! И не кормитъ-то баринъ, и бьетъ-то! Всю, то-есть, подноготную разомъ высказали. Пастухъ у насъ жилъ, въ родѣ какъ безъ разсудка. Болона у него на лбу выросла, такъ онъ на нее все указывалъ: болитъ! А господинъ Елпатьевъ на разборку-то не явился. Ну, посредникъ и выдалъ всѣмъ разомъ увольнительныя свидѣтельства.

— А били-таки васъ?

— Это такъ точно-съ. Да вѣдь и теперь, вашескородіе, управа-то на нашего брата одна... По крайности, какъ были крѣпостные, такъ знали, что *свой* господинъ бьетъ, а нынче всякій, кому даже не къ лицу, скулу своротить норовитъ. А сверхъ того и голодомъ донимаютъ: питаться нужно, а работы нѣтъ. Ушелъ бы въ Москву, да куда я со стариками, со своей слабостью, тамъ поспѣлъ! Мы ужъ и сами потомъ хватились, что не про всѣхъ мѣстовъ припасено,—да поздно. Шибко разсердился тогда Иванъ Савичъ на насъ; кои потомъ и прощенья просили, такъ не простилъ: «сгиньте, говоритъ, съ глазъ моихъ долой!» И что-жъ бы вы думали? Какія были «заведенія»—и ранжереи, и теплицы, и грунтовые сараи—всѣ собственной рукой сжегъ! «Не доставайся, говоритъ, ни чорту, ни дьяволу!» А наконецъ велѣлъ заложить коляску, забралъ семейство—только его и видѣли!

— Вы-то сами гдѣ жили, когда объявили волю?

— Я въ Москвѣ по оброку ходилъ. Да что моя, сударь,

за жизнь—только слава! Съ малыхъ лѣтъ все въ колотушкахъ да въ битьѣ. Должно-быть, несуразный я отъ роду вышелъ, что даже отецъ родной—и тотъ меня не жалѣлъ. Матушка еще по началу сколько-нибудь снисходила, а потомъ и она—видитъ, что всѣ бьютъ,—и она стала бить. Оттого и росту у меня настоящаго нѣтъ. Сколько разъ меня господинъ Елпатьевъ въ рекруты ставилъ — не принимаютъ, да и шабашъ! Приказчикъ у насъ былъ,—такъ тотъ, бывало, позеленѣетъ весь, какъ меня изъ рекрутнаго присутствія обратно привезутъ, и первымъ долгомъ — колотить. — За что-жъ, молъ, вы, Ефимъ Семенычъ, меня бьете? Развѣ я причиненъ! Я даже съ радостью въ солдатахъ послужить готовъ!—«Тебя-то, говоритъ, не бить! Да тебя, какъ клопа, раздавить нужно!»

Высказавши все это, онъ на минуту закручинится и опять начнетъ:

— А я все-таки барскую ласку помню. Понадобится, бывало, барину новая пара или барчукамъ мундирчики новые — сейчасъ: выписать изъ Москвы Гришку! И шью, бывало, мѣсяцъ и два, и три, спины не разгибаю, покуда весь домъ не обошью. Со всякимъ лоскуткомъ все ко мнѣ; даже барыня: «сшей, Гришка, мнѣ кальсоны!»—и не стыдилась, при моихъ глазахъ примѣривала. «Ты, говоритъ, Гришка, и не человѣкъ совсѣмъ; при тебѣ и стыдиться нельзя...» Такая, сударь, у насъ барыня была—бѣдовая! верхомъ по-мужски на лошади ѣздила! Кончу свое дѣло, зачтутъ что слѣдуетъ въ оброкъ, полтинникъ въ зубы на дорогу и ступай на всѣ четыре стороны. А въ Москвѣ между тѣмъ мѣсто твое уже занято. Шляешься недѣлю-другую, насилу устроишься!

— Въ чемъ же тутъ ласка была?

— Какъ же, сударь, возможно! все-таки... Зналъ я, по крайней мѣрѣ, что «свое мѣсто» у меня есть. Непозадачится въ Москвѣ—опять къ барину: рѣжьте меня на куски, а я оброка добыть не могу! И не что подѣлаютъ. «Ахъ, ты, расподлая душа! выпороть его!»—только и всего. А теперь я къ кому явлюсь? Тогда у меня хоть церква своя, Спасъ-Преображенья, была — пойду въ воскресенье и помолюсь.

— Все-таки, по-моему, на волѣ вамъ лучше живется!

— Извѣстно, какъ же возможно сравнить! Рабъ или вольный! Только доложу вамъ, что и воля волѣ рознь. Теперича я что хочу, то и дѣлаю, хочу—лежу, хочу—хожу, хочу—и такъ посижу. Даже задавиться, коли захочу,—и то

могу. Встанешь этта утромъ, смотришь въ окошко и думаешь: теперь шалишь, Ефимъ Семеновъ, рукой меня не достанешь! Теперь я самъ себѣ господинъ. А нутко ступай, «самъ себѣ господинъ», побѣгай по городу, не найдется ли гдѣ дыра, чтобы заплату поставить, да хоть двугривенничекъ на ѣду заполучить!

— Неужто до того дошло?

— А какъ бы вы, сударь, думали? Мудреное это дѣло—воля! Кабы дали мнѣ волю, да при семъ капиталъ—и я бы распорядиться сумѣлъ! А то вышли мы въ тѣ-поры, дворовые, на улицу; и направо, и налѣво глядимъ, а что такое случилось—понять не можемъ. Снялись со стараго мѣста, идемъ впередъ, а впереди-то все не наше, ни до чего коснуться нельзя. Вамъ, сударь, и денька прожить не приводилось, чтобы въ свое время вы не повавтракали, не пообѣдали, чайку не накушались,—а мы цѣлый мѣсяцъ Христовымъ именемъ колотились, покуда, наконецъ, кой-какъ да кое-какъ не пристроились.

— Да вѣдь въ такомъ большомъ дѣлѣ и все такъ. Не вы одни терпѣли, а и крестьяне, и помѣщики...

— Это что говорить! Знаю я и помѣщиковъ, которые... Позвольте вамъ доложить, есть у насъ здѣсь въ околоткѣ баринъ, Ѳедоръ Семенычъ Заозерцовъ прозывается, такъ тотъ еще когда радоваться-то началъ. Еще только слухи объ волѣ пошли, а онъ уже радовался! «Теперь, говоритъ, вольный трудъ будетъ, а при вольномъ трудѣ земля самъ-десятъ родить станетъ». И что же, напримѣръ, случилось: вольный-то трудъ пришелъ, а земля и совсѣмъ родить перестала—разомъ онъ въ какихъ-нибудь полгода прогорѣлъ!

— Такъ вотъ видите ли! Я и говорю, что не вы одни...

— Только онъ, не будь простъ, сейчасъ же въ Петербургъ уѣхалъ, къ тетенькѣ, да къ дяденькѣ, да къ сестрицамъ—тѣ ему живо мѣсто оборудовали. Жалованье хорошее, а впереди ждетъ еще лучше — живетъ да посвистываетъ. Эхъ, кабы мнѣ кто-нибудь жалованье положилъ—кажется, я бы по смерть тому человѣку половину отдавалъ...

Вдоволь нажаловавшись, онъ уходилъ съ тѣмъ, чтобы черезъ короткое время опять воротиться и опять начать цѣлую серію жалобъ. Видимо, это облегчало его, наполняя праздное время и давая пищу праздному уму. Когда обида составляетъ единственное содержаніе жизни, когда она преслѣдуетъ человѣка, не давая ни минуты отдыха, тогда

она, безъ всякой съ его стороны преднамѣренности, проникаетъ во всѣ закоулки сердца, наполняетъ всѣ помыслы. Языкъ не можетъ произносить иныхъ словъ, кромѣ жалобы, какъ будто самое формулированіе этой жалобы уже представляетъ облегченіе.

— А вотъ позвольте мнѣ разсказать, какъ меня въ мальчикахъ били,—говаривалъ онъ мнѣ: — поступилъ я съ десяти лѣтъ въ ученье и съ первой же, можно сказать, минуты началъ терпѣть. Видѣть меня никто не могъ, чтобы не надругаться надо мной. Съ утра до вечера все въ работѣ находишься: утюги таскаешь, воду носишь; за пять верстъ съ ящиками да съ корзинками бѣгаешь—и все угодить не можешь. Хозяева ременною плетью бьютъ; мастера всякія тиранства выдумываютъ. Бывало, позоветъ мастеръ: «давно я у тебя, Гришка, масла не ковырялъ!»—поймаетъ это за волосы и начнетъ ногтемъ большого пальца въ головѣ ковырять. Голова, уши, носъ—завсегда въ болячкахъ были... Даже теперь голову ломитъ и въ ушахъ звонъ стоитъ, коли къ погодѣ... И все-таки живъ-съ!

— Ну, что объ этомъ вспоминать... вѣдь зажило!

— Нѣтъ-съ, не зажило и не можетъ зажить... Ахъ, кабы мнѣ... вотъ хоть бы чуточку мнѣ засилія... кажется бы, я...

Онъ не досказывалъ своей мысли и умолкалъ.

— Ничего бы вы не подѣлали, да и подѣлать не можете. Вотъ кабы вы пить перестали—это было бы дѣльнѣе.

— И этому я еще въ ученикахъ научился. Принесешь, бывало, мастерамъ полштофъ, первымъ дѣломъ: «цопнемъ, Гришка!» И хоть отказывайся, хоть нѣтъ, разожмутъ зубы и вольютъ, сколько имъ на потѣху надобно. А со временемъ и самъ своей охотой началъ потихоньку цопать. Цопалъ-цопалъ, да и дошелъ до сихъ мѣстъ, что и пересилить себя не могу.

— А вы пересильте; скажите себѣ: съ нынѣшняго дня не буду пить—и баста!

— Говорить-то попустому все можно. Сколько разъ я себѣ говорилъ: надо, братъ Гришка, съ колокольни спрыгнуть, чтобы званія, значитъ, отъ тебя не осталось. Такъ вотъ не прыгается, да и все тутъ!

— Зачѣмъ съ колокольни прыгать. Мы жизнью своею распоряжаться не вольны. Это, любезный другъ, и въ законахъ предусмотрѣно!

— А что же со мной законъ сдѣлаетъ, коли отъ меня только клочья останутся? Мочи моей, сударь, нѣтъ, каз-

нятъ меня на каждомъ шагу—пожалуй, ежели въ пьяномъ видѣ, такъ и взаправду спрыгнешь... Да вотъ что я давно собираюсь спросить васъ: большое это господамъ удовольствіе доставляетъ, ежели они, напримѣръ, бьютъ?..

— То-есть какъ же это «бьютъ»?

— Да вотъ, напримѣръ, какъ при крѣпостномъ правѣ бывало. Привезетъ господинъ Елпатьевъ приказчика: «кто у тебя цѣлую ночь пѣсни оралъ?» — И сейчасъ его въ ухо, въ другое... А приказчикъ, примѣрно, меня позоветъ. «Ты, чортъ несуразный, пѣсни ночью оралъ?»—И, не дождавшись отвѣта, тоже — въ ухо, въ другое... Сладость, что ли, какая въ этомъ битьѣ есть?

— Не думаю. Битье вообще не удовольствіе; это движеніе гнѣва, выраженное въ грубой и отвратительной формѣ—и только. Но почему же вы именно о «господахъ» спрашиваете? Вѣдь не одни господа дерутся: полагаю, что и вы не безъ грѣха въ этомъ отношеніи...

— Извѣстно, промежду себя... Да вѣдь одно дѣло — драться, другое — бить. Напримѣръ, господинъ бьетъ приказчика, приказчикъ—меня... Мнѣ-то кого же бить?

— Зачѣмъ же вамъ бить? Вообще, это скверно... И что это вамъ вдругъ вздумалось завести разговоръ?

— Да такъ-съ. Признаться сказать, вступитъ иногда этакая глупость въ голову: всѣ, молъ, кого-нибудь бьютъ, точно лѣстница такая устроена... Только тотъ и не бьетъ, который на послѣдней ступенькѣ стоитъ... Онъ это и есть настоящій горюнъ. А впрочемъ, и то сказать: съ чего мнѣ вдругъ взбрелось... Такъ, значитъ, починиться не желаете?

— Нечего чинить-то.

— Ну, на нѣтъ и суда нѣтъ. А я вотъ еще что хочу васъ спросить: можетъ ли меня городничій безъ причины колотить? Есть у него право такое?

— Ни безъ причины, ни съ причиной колотить не дозволяется. Городничій можетъ подъ судъ отдать, а тамъ какъ ужъ судъ посудитъ.

— Стало-быть, и съ причиной бить нельзя? Ну, ладно, это я у себя въ трубѣ помеломъ запишу. А то призываетъ меня намеднись: «Ты, говоритъ, у купца Бархатникова жилетку укралъ?» — Нѣтъ, говорю, я отъ роду не воровалъ. — «Ахъ! такъ ты еще запираться!» — И началъ онъ меня чесать. Причесывалъ-причесывалъ, инда слезы у меня градомъ полились. Только, на мое счастье, въ это самое время старшій городовой человѣка привелъ: «вотъ онъ—

воръ, говоритъ, и жилетку въ кабакѣ сбыть хотѣлъ...» Такъ вотъ какимъ нашего брата судомъ судятъ!

— Ну, и что же потомъ?

— Помилуйте! даже извинился-съ!—«Извини, говоритъ, голубчикъ, за другой разъ зачту!» — Вотъ онъ добрый какой! Такъ меня это обидѣло, такъ обидѣло! Иду отъ него и думаю: непремѣнно жаловаться на него надо — только куда?

— Какъ куда? Купите листъ гербовой бумаги, да и пошлите губернатору просьбу.

— Вотъ оно какъ: гербовой листъ купить надо! а гдѣ купило-то взялъ? Да кто мнѣ и просьбу-то напишетъ... Вотъ кабы вы, сударь!

— Нѣтъ, мнѣ неловко. Я вѣдь бываю у городничаго, въ карты иногда вмѣстѣ играемъ... Да и вообще... На «писателей»-то, знаете, не очень дружелюбно посматриваютъ, а я здѣсь человѣкъ пріѣзжій, кончу дѣло и уѣду отсюда.

— Это такъ точно-съ. Кончите и уѣдете. И къ городничему въ гости, между прочимъ, ѣздите—это тоже... Надняхъ онъ именинникъ будетъ—цѣлый день по этому случаю пированье у него пойдетъ. А мнѣ вотъ что на умъ приходитъ. Гдѣ же правду искать? Неужто только на гербовомъ листѣ она написана?

— Гербовой листъ—самъ по себѣ, а правда — сама по себѣ. Гербовой листъ — это пошлина. Не на правду пошлина, а чтобы казнѣ доходъ былъ. Кабы пошлины не было, со всякими бы пустяками начальство утруждали; а вотъ какъ теперь шесть гривенокъ надо за листъ заплатить—ну, иной и задумается.

— Шесть гривенъ! Гдѣ эко мѣсто денегъ взять! А все-таки правду хотѣлось бы сыскать. Намеднись господинъ Поваляевъ мялъ-мялъ мнѣ носъ, а я ему и говорю:—«вотъ вы мнѣ носъ мнете, а я отъ васъ гривенника никогда не видалъ—гдѣ же, молъ, правда, Василій Васильевичъ?»—А онъ мнѣ въ отвѣтъ: «Такъ вотъ оно ты объ чемъ, бубновый валетъ, разговаривать сталъ! Правды захотѣлось... ахъ! Да знаешь ли ты, что тебя за такой разговоръ въ тартарары сослать надо!»—да пуще, да пуще! Мы, вашескородіе, когда не хмельны, такъ соберемся иногда — старики мои, я, да вотъ хозяинъ нашъ — и все объ правдѣ говоримъ. Была же она когда-нибудь на свѣтѣ, коли слово такое есть. Хоть при сотвореніи міра, да была. Должно-быть, и теперь есть, только чиновники ее въ шкапъ за-

перли. Отдай шесть гривенъ — шкапъ пріотворятъ, — смотришь, а тамъ пусто!

— Не говорите такъ. Неравно услышатъ — нехорошо будетъ.

— Чего мнѣ худого ждать! Я ужъ такъ худъ, такъ худъ, что теперь со мной что хочешь дѣлай, я и не почувствую. Въ самую, значитъ, центру попалъ. Однажды мнѣ городничій говоритъ: «въ Сибирь, говоритъ, тебя, подлеца, надо!» —А что, говорю, и ссылайте, коли ваша власть; мнѣ же лучше: новыя страны увижу. Пропонтирую пѣшкомъ отселѣ до Иркутска—и чего-чего не увижу. Сколько разъ въ бѣгахъ набѣгаюсь! Изловятъ—вздуютъ:—«влѣпить ему!»—все равно какъ здѣсь.

— Однако вы-таки отчаянный!

— Не отчаянный, а до настоящей точки дошелъ. Идти дальше некуда, все равно, гдѣ ни быть. Начальство бьетъ, родители бьютъ, красныя дѣвушки глядѣть не хотятъ. А вѣдь я, сударь, худъ-худъ, а къ дѣвушкамъ большое пристрастіе имѣю. Кабы полюбила меня эта самая Θеклинья, хозяина нашего дочь,—ну, кажется бы, я... И пить бы пересталъ, и все бы у меня по-хорошему пошло, и заведеньице бы открылъ... Только ничего отъ нея я другого не слышу, окромя: «уйди ты, лохматый чортъ, съ моихъ глазъ долой!» А впрочемъ, надоѣлъ я, должно-быть, вамъ своей болтовней?

— Ничего. Только мнѣ идти надо.

— Къ городничему-съ? Счастливо оставаться, сударь! дай Богъ любовь да совѣтъ! Въ карточки сыграете — съ выигрышемъ поздравить приду!

Однажды онъ прибѣжалъ ко мнѣ въ величайшемъ волненіи.

— Хочу я васъ спросить, сударь, — сказалъ онъ:—есть такія права, чтобы взрослаго человѣка розгами наказывать?

— Говорилъ ужъ я вамъ, что такихъ правъ давно не существуетъ.

— А меня, между прочимъ, даже сегодня наказали. Мнѣ объ Рождествѣ тридцать пять лѣтъ будетъ, а меня высѣкли.

— Кто же? за что?

— Родитель высѣкъ. Привелъ меня — а самъ пьяный-распьяный — къ городничему: «я, говоритъ, родительскою

властью желаю, чтобъ вы его высѣкли!»—Можно, говоритъ городничій.—Эй, вахтеръ! розогъ! — Я было туда-сюда: за что, молъ?—«А за неповиновеніе,—объясняется отецъ:—за то, что онъ насъ, своихъ родителей, на старости лѣтъ не кормитъ». И сколь я ни говорилъ, даже кричалъ — разложили и высѣкли! Есть, вашескородіе, въ законѣ объ этомъ?

— Не знаю, право. Человѣкъ вы какой-то особенный, только съ вами такія дѣла и случаются! Никакой законъ не подходитъ къ вамъ.

— И то особенный я человѣкъ, а я что же говорю! Бьютъ меня—вся моя особенность тутъ! Побѣжалъ я отъ городничаго въ кабакъ, снялъ штаны:—«православные! засвидѣтельствуйте!»—а кабатчикъ меня и оттолѣ въ шею вытолкалъ. Побѣжалъ домой—не пущаютъ!

— И домой не пускаютъ?

— Да, и домой. Сидятъ почтенные родители у окна и водку пьютъ: «проваливай! чтобъ ноги твоей у насъ не было!» А квартира, между прочимъ, моя, вывѣска на домѣ—моя; за все я собственныя деньги платилъ. Могутъ ли они теперича въ чужой квартирѣ дебоширствовать?

Я рѣшительно недоумѣвалъ. Можетъ ли городничій выпороть совершеннолѣтняго сына по просьбѣ отца? Можетъ ли отецъ выгнать сына изъ его собственной квартиры? — все это представлялось для меня необыкновеннымъ, почти похожимъ на сказку. Конечно, ничего подобнаго не должно быть, говорилъ здравый смыслъ, а внутреннее чувство между тѣмъ подсказывало: отчего же и не быть, ежели въ натурѣ оно есть?

— И добро бы я не зналъ, на какія деньги они пьютъ!— продолжалъ волноваться Гришка:— есть у старика деньги, есть! Еще когда мы крѣпостными были, онъ припрятывалъ. Бывало, нарветъ фруктовъ, да ночью и снесетъ къ сосѣдямъ, у кого ранжерей своихъ нѣтъ. Кто гривенничекъ, кто двугривенничекъ пожертвуетъ... Развѣ я не помню! Помню я, даже очень помню, какъ онъ гривенники обиралъ, и когда-нибудь все на свѣжую воду выведу! Ахъ, сдѣлай милость! Сами пьютъ, а мнѣ не только не поднесутъ, даже въ собственную мою квартиру не пущаютъ!

Гришка съ каждой минутой все больше и больше свирѣпѣлъ. Какъ на грѣхъ, въ это время совсѣмъ неожиданно посѣтилъ меня городничій. У Гришки даже кровью глаза налились при его появленіи.

— Вотъ и господинъ говоритъ,—бросился онъ къ нему.—

что вы не только безъ причины, а и съ причиной драться не смѣете! А вы, между прочимъ, высѣкли меня! ахъ!

И вдругъ онъ, къ моему ужасу, началъ наскакивать на городничаго. Прыгаетъ кругомъ, словно совсѣмъ и страха лишился, такъ что добрый старикъ даже сконфузился.

— Вонъ!—крикнулъ онъ, потрясая палкой, на которую опирался по причинѣ раны въ ногѣ:—м-м-мерзавецъ!

— Нѣтъ, я не «вонъ» и не «мерзавецъ», а вы вотъ при господинѣ объясните, какое-такое право имѣли вы меня высѣчь?

— Отецъ высѣкъ,—не я. Отецъ все надъ тобой сдѣлать можетъ: въ Сибирь сослать, въ солдаты отдать, въ монастырь заточить... Ты его не кормишь, расподлая твоя душа!

— Такъ то по суду! Въ судъ онъ долженъ подать на меня, въ судъ! Что присудитъ судъ, то и долженъ я восполнить — вотъ и господинъ это самое говоритъ. Въ Сибирь, такъ въ Сибирь; на каторгу, такъ на каторгу—по суду мнѣ всздѣ хорошо! А то, вишь вѣдь, какія права нашли! Заманили на съѣзжую, разложили и выпороли! Нѣтъ, нынче ужъ и мы... нынче и у насъ спина... не всякій тоже!.. Отецъ!.. ишь вѣдь какія права нашлись! такъ что-жъ что отецъ! Онъ меня сотворилъ — это такъ! но чтобы... Вотъ, ей-Богу, сейчасъ пойду, листъ гербовой бумаги куплю! Не пожалѣю шести гривенъ—прямо къ губернатору!

Положеніе мое было критическое. Старикъ-городничій судорожно сжималъ лѣвый кулакъ, и я со страхомъ ожидалъ, что онъ не выдержитъ, и въ присутствіи моемъ произойдетъ односторонній маневръ. Я долженъ, однако-жъ, сознаться, что колебался недолго: и на этотъ разъ, какъ всегда, я рѣшился выйти изъ затрудненія, разрубивъ узелъ, а не развязывая его. Или, короче сказать, пожертвовалъ Гришкой въ пользу своего собрата, съ которымъ велъ хлѣбосольство и игралъ въ карты...

— Да не бейте вы его, ради Христа!—обратился я къ городничему, когда Гришка исчезъ.

— Его-то?—изумился старикъ.

— Да, его. У него вѣдь свои права...

— У него-то... права?

— Права. Хоть маленькія, но права.

— Да вѣдь я его по желанію отца высѣкъ...

— И отъ отца вы не вправѣ были принимать такихъ заявленій, а обязаны были обратить его къ суду.

— Стало-быть, и родительская власть... Позвольте, я

вамъ что̀ разскажу. Я самъ — вотъ какъ видите — я самъ въ молодости такой прожженый негодяй былъ, что днемъ съ огнемъ поискать. И карты, и пьянство, и дебошъ — всего было! Бился-бился отецъ, вызвалъ меня изъ полка въ отпускъ, и не успѣлъ я еще въ родительскій домъ путемъ войти, какъ окружили меня въ лакейской, спустили штаны да три пучка розогъ и обломали объ мое поручичье тѣло... Съ тѣхъ поръ—какъ съ гуся вода! Въ карты—по маленькой; водки — только передъ обѣдомъ рюмка... Баста! Такъ вотъ оно что̀ значитъ родительская-то власть! Помилуйте! да ежели бы я Гришку не училъ, такъ онъ и городъ-то у меня давно бы спалилъ!

Это воспоминаніе прошлаго совершенно успокоило моего гостя. Я заикнулся-было возразить ему, но языкъ не поворотился передъ такою невозмутительностью. Навстрѣчу всѣмъ возраженіямъ шла самая обыкновенная оговорка: сила вещей. Нигдѣ она не написана, никѣмъ не утверждена, не заклеймена, а идетъ себѣ напроломъ и все на пути своемъ побѣждаетъ. Одинъ разскажетъ, какъ его сѣкли, другой разскажетъ, какъ съ него шкуру спустили,—и всѣ убѣдятся, что иначе не можетъ и быть. Каждый пороется у себя въ памяти и непремѣнно какое-нибудь сѣченье да найдетъ... Тутъ и родители, и заступающіе ихъ мѣсто, и попечители — словомъ сказать, всѣ, которые и сами были сѣчены, которыхъ праотцы были сѣчены и которые ни за что не повѣрятъ, услыхавъ, что сыновья и внуки ихъ не пожелаютъ быть сѣченными. До такой степени не повѣрятъ, что хоть внезапно, крадучись, а все-таки или себя позволятъ, на старости лѣтъ, высѣчь, или сами кого-нибудь высѣкутъ... И не по злобѣ, а такъ, ради выполненія освященнаго вѣками педагогическаго принципа.

Въ другой разъ Гришка прибѣжалъ еще болѣе взволнованный.

— А у меня сегодня палатскій чиновникъ былъ!—объявилъ онъ мнѣ.

— Неужели опять про битье будете разсказывать

— Нѣтъ, этотъ не билъ, а пришелъ и говоритъ: «Я присланъ здѣшніе торги провѣрить; вывѣска эта ваша?»— Моя, говорю.—«Вы одинъ занимаетесь мастерствомъ, безъ учениковъ?» — Одинъ. — «А имѣется у васъ свидѣтельство на мѣщанскіе промыслы?»—Какое свидѣтельство?—«А вотъ смотрите!» — Вынулъ изъ портфеля листъ, а на немъ написано: цѣна 2 р. 50 к.—«Уплатите, говоритъ, деньги и

возьмите свидѣтельство: на первый разъ я васъ не штрафую!»—Я такъ и ахнулъ.—Помилуйте! гдѣ же я эко мѣсто денегъ возьму? — «А это, говоритъ, меня не касается, я законъ выполнить долженъ, а вы какъ знаете».—А ежели я да не возьму свидѣтельства? — «Тогда я инструментъ вашъ запечатаю...» Позвольте у васъ спросить, сударь, можетъ онъ такъ со мной поступить?

— Не знаю; можетъ-быть, законъ такой есть. Много нынче новыхъ законовъ пишутъ—и не услѣдишь за всѣми! Стало-быть, вы теперь съ обновкой?

— Помилуйте! гдѣ я эстолько денегъ возьму? Постоялъ-постоялъ этотъ самый чиновникъ: «такъ не берете?» говоритъ. — Денегъ у меня и въ заводѣ столько нѣтъ. — «Ну, такъ я приступлю...» Взялъ, что на глаза попалось: кирпичъ истыканный, нитокъ клубокъ, иголокъ пачку, положилъ все въ ящикъ подъ верстакомъ, продѣлъ черезъ столъ веревку, запечаталъ и уѣхалъ. «Вы, говоритъ, до завтра подумайте, а ежели и завтра свидѣтельство не возьмете, то я протоколъ составлю, и тогда ужъ вдвойнѣ заплатите!» Вотъ, сударь, коммерція у меня какова!

— Что-жъ, дѣлать нечего, приходится взять.

— И я вижу, что приходится, да денегъ нѣтъ. По его, значитъ, я руки склавши сидѣть долженъ... Гдѣ это слыхано! человѣкъ работаетъ, а ему говорятъ: не смѣй работать, ступай въ кабакъ! Потому что куда же мнѣ теперь, окромя кабака, идти?

— Да, но согласитесь сами, что и государство съ своей стороны... У государства есть потребности: войско, громадная орава чиновниковъ—нужно все это оплатить. Вотъ оно и изыскиваетъ предметы... И предметы сіи называются предметами обложенія. Пора бы вамъ, кажется, знать.

— И то пора. Только вотъ, какъ ни живешь, а всѣ завтрашняго предмета не угадаешь. Сегодня десять предметовъ, думаешь, будетъ; анъ завтра — одиннадцатый! И все по затылку, да по затылку—хлобысь! А мы бы, вашескородіе, и безъ предметовъ хорошохонько прожили бы.

— Вѣрю вамъ, что безъ предметовъ удобнѣе, да нельзя этого, любезный. Во-первыхъ, какъ я уже сказалъ, казнѣ деньги нужны; а во-вторыхъ, наука такая есть, которая только тѣмъ и занимается, что предметы отыскиваетъ. Сначала по наружности человѣка осмотритъ — одни предметы отыщетъ, потомъ и во внутренности заглянетъ, а тамъ тоже предметы сидятъ. Разыщетъ наука, что слѣдуетъ,

а чиновники на усъ между тѣмъ мотаютъ, да какъ наступитъ пора — и начнутъ по городамъ разъѣзжать. И какъ только заприметятъ полезный предметъ—сейчасъ протоколъ!

— И сколько съ насъ этихъ сборовъ сходитъ—страсть! И на думу, и на мірское управленіе, и на повинности, а потомъ пойдутъ портомойныя, банныя, мостовыя, училищныя, больничныя. Да нынче еще мода на монаменты пошла... Мѣсяца не пройдетъ, чтобъ мѣщанскій староста не объявилъ, что копейки три-четыре въ годъ новаго схода не прибавилось. Платишь-платишь — и вдругъ: отдай два съ полтиной!

— И отдадите.

— Безпремѣнно это купецъ Бархатниковъ на меня чиновника натравилъ. Недаромъ онъ намеднись смѣялся: «вотъ ты работаешь, Гришка, а правовъ себѣ не выправилъ». Я, признаться, тогда не понялъ: это вамъ, брюхачамъ, говорю, права нужны, а мы и безъ правовъ проживемъ! — А теперь вотъ оно что оказалось! Безпремѣнно это его дѣло! Такъ, стало-быть, завтра въ протоколъ меня запишутъ, а потомъ прямой дорогой въ кабакъ!

Однако-жъ на другой день онъ навѣстилъ меня уже съ обновкой. Купецъ Поваляевъ далъ ему, одинъ за другимъ, сто щелчковъ въ носъ и за это внесъ требуемую пошлину.

И тутъ, стало-быть, дѣло не обошлось безъ битья.

Одинъ только разъ Гришка пришелъ ко мнѣ благодушный, какъ будто умиротворенный и совсѣмъ трезвый. Онъ только-что воротился изъ «своего мѣста», куда ходилъ на престольный праздникъ Спаса-Преображенія.

— Ушли мы отсюда наканунѣ праздника, чуть-свѣтъ,— разсказывалъ онъ мнѣ:—косушку вина взяли, калачей, колбасы. Отойдемъ версты три—отдохнемъ и закусимъ. Сорокъ-то верстъ отвалять—не поле перейти. У Троицы на половинѣ дороги соснули, опять косушку купили. Только къ вечеру ужъ, часамъ къ семи, видимъ: нашъ Спасъ-Преображенія изъ-за лѣсу выглянулъ. Стоитъ на горкѣ, ровно какъ на картинкѣ, весь въ солнышкѣ. Слышимъ—и ко всенощной ужъ благовѣстятъ. Ну, мы сняли съ себя одежду, почистились, умылись въ канавѣ и пошли. Отошла всенощная—ужъ темно. Пошли къ тетенькѣ Афимьѣ Егоровнѣ—накормила насъ, въ сарайчикѣ спать уложила. А въ сарайчикѣ-то сѣно новое—таково ли пахнетъ! И что-жъ, сударь, усталъ я съ дороги, а никакъ не усну! Ворочаюсь

съ-боку-на-бокъ и все думаю: скоро ли свѣтъ? И чуть только побѣлѣло, я изъ сарая вонъ! Вышелъ, смотрю: Господи, ты Боже мой! благодать! И солнышко-то тамъ не по-здѣшнему встаетъ! Здѣсь встанешь утромъ, посмотришь въ окошко—солнце какъ солнце! А тамъ словно змѣйками огненными сначала брызнетъ и начнетъ потомъ дальше да пуще разливаться... Дохнуть боишься, покуда оно, значитъ, солнце-то, однимъ краешкомъ словно изъ воды выплывать начнетъ! А кругомъ—тишина, ни одна вѣточка, ни одинъ листъ не шелохнется, точно и деревья-то заснули, ждутъ, пока солнышко не пригрѣетъ. Стоялъ я такимъ манеромъ одинъ, а тамъ, слышу, ужъ и по деревнѣ зашевелились. Бабы печи затоплять стали, стадо въ поле погнали, къ заутрени зазвонили. Отстояли мы заутреню, потомъ обѣдню. Приходъ у насъ хоть маленькій, а все же для праздника дьякона сосѣдняго пригласили. Послѣ обѣдни,—даже не закусилъ путемъ,—прямо на барскій дворъ побѣжалъ... Ахъ, хорошо! Домъ-то, правда, съ заколоченными ставнями стоитъ, зато въ саду—и не вышелъ бы! кусты, кусты, кусты—такъ и обступили со всѣхъ сторонъ... И на дорожкахъ, и на клумбахъ—вездѣ все въ одинъ большущій кустъ сплелось! И сирень тутъ, и вишенье, и акація, и тополь! И весь этотъ кустъ большущій поетъ и стрекочетъ! А кругомъ саду — березы, липы, тополи—и глазомъ до верхушки не достанешь. Давно ли, кажется, я каждое дерево наперечетъ зналъ, а тутъ, какъ садъ-то заросъ, и я запутался. Стоятъ, сердечныя, и шапками покачиваютъ, словно отпѣванье кругомъ идетъ. Ходилъ-ходилъ я одинъ-одинёхонекъ, да и думаю: хорошо, что надумалъ одинъ идти, а то безпремѣнно бы мнѣ помѣшали. Нагулявшись до-сыта, пошелъ въ другой садъ, гдѣ у стараго барина фруктовое заведеніе было,—и тамъ все спуталось и сплелося. Ягодные кусты одичали; гдѣ гряды съ клубникой были—мелкая поросль березовая словно щетка стоитъ; гдѣ ранжерея и теплица были—тамъ и сейчасъ головешки не убраны. Только яблони еще цѣлы, да и у тѣхъ вѣтки, ради Преображеньева дня, деревенскіе мальчишки, вмѣстѣ съ яблоками, обломали. Смотрю: и родитель мой, ужъ выпивши, около ранжерей стоитъ. «Вотъ, говоритъ, ходилъ-ходилъ, кровь-потъ проливалъ, а что осталось!»

. . . . . .

Наконецъ, ужъ почти передъ самымъ моимъ отъѣздомъ

изъ города, Гришка пришелъ ко мнѣ и какъ-то таинственно, словно боялся, что его услышатъ, объявилъ, что онъ женится на хозяйской дочери, Ѳеклиньѣ, той самой, о которой онъ упоминалъ не разъ и въ прежнихъ собесѣдованіяхъ со мною.

— Ахъ, хороша дѣвица!—хвалилъ онъ свою невѣсту:— и изъ себѣ хороша, и скромница, и стирать бѣлье умѣетъ. Я буду портняжничать, она—по господамъ стирать станетъ ходить. А квартира у насъ будетъ своя, безплатная. Проживемъ, да и какъ еще проживемъ! И стариковъ прокормимъ. Вино-то я ужъ давно собираюсь бросить, а теперь—и ни Боже мой!

— Стало-быть, она согласилась?

— Да съ какою еще радостью! Только и спросила: «Ситцевыя платья будете дарить?»—Съ превеликимъ, говорю, моимъ удовольствіемъ!—«Ну, хорошо, а то папаша меня все въ затрапезѣ водитъ—передъ товарками стыдно!»— Ахъ, да и горевое же, сударь, ихнее житье! Отецъ—старикъ, работать не можетъ, да и зашибается; матери нѣтъ. Одна она и заработаетъ что-нибудь. Да вотъ мы за квартиру три рубля въ мѣсяцъ отдадимъ—какъ тутъ разживешься! Съ хлѣба на квасъ—только и всего.

— Смотрите же, сдержите ваше слово, бросьте пить!

— И ни-ни! Вчера послѣднюю косушку выпилъ. Сегодня съ утра мутитъ, да авось перемогусь. Нельзя мнѣ, сударь, пить, никоимъ манеромъ нельзя. Жена, старики, а тамъ, благослови Господи, дѣти пойдутъ. Всѣмъ пропитанье я достать долженъ, да и Ѳеклиньюшку свою поберечь. Стирка да стирка... руки у нея—кабы вы видѣли!... даже ладони всѣ въ мозоляхъ! Ну, да отдохнетъ и она за мужниннымъ хребтомъ! И какъ мнѣ теперь весело, кабы вы знали— точно нутро мое все перемѣнили! Только вотъ старики на радостяхъ шибко горланятъ, да, небось, устанутъ же когда-нибудь!

— Ну, дай вамъ Богъ счастливо начать новую жизнь...

Затѣмъ я скоро совсѣмъ уѣхалъ и съ тѣхъ поръ не видалъ Гришки. Однако-жъ кое-что случайно слышалъ о немъ и это слышанное рѣшаюсь передать читателю уже не въ качествѣ дѣйствующаго лица, а въ качествѣ повѣствователя.

Свадьба состоялась на-славу. Начать съ того, что глядѣть на жениха и невѣсту сбѣжался въ церковь весь городъ; всѣмъ было любопытно видѣть каковъ будетъ Гришка.

ракъ, не догадался, что она гулящая? Одинъ въ цѣломъ городѣ не зналъ... Именно несуразный!»

Пролежалъ онъ такимъ образомъ, покуда не почувствовалъ, что пальто на немъ промокло. И все время, не переставая, мучительно спрашивалъ себя: «что я теперь дѣлать буду? какъ глаза въ люди покажу?» Въ сущности, вѣдь онъ и не любилъ Феклиньи, а только, наравнѣ съ другими, чувствовалъ себя неловко, когда она, проходя мимо, выступала задорною поступью, поводила глазами и сквозь зубы (острые, какъ у бѣлки) цѣдила: «ишь, чортъ лохматый, пялы-то выпучилъ!»

Вставши съ земли, онъ зашелъ въ подгородную деревню и тамъ поѣлъ. «Въ Москву! въ Москву!»—вертѣлось у него въ головѣ. Однако, на этотъ разъ, онъ окончательнаго рѣшенія не принялъ, но и домой не пошелъ, а когда настали сумерки, вышелъ изъ крестьянской избы и колеблющимися шагами направился въ «свое мѣсто». Всю ночь онъ шелъ, терзаемый сознаніемъ безвыходности своего положенія, и только къ заутрени (кстати былъ праздникъ) достигъ цѣли и прямо зашелъ въ церковь. Церковь была совсѣмъ пуста. Громко раздавались подъ сводами возгласы священника и унылое пѣніе тенориста-пономаря. Ожесточеніе въ Гришкѣ мало-по-малу утихло; усталость и церковный миръ сдѣлали свое дѣло. Онъ всталъ на колѣни и началъ молиться; полились слезы. Онъ чувствовалъ, что его начинаютъ душить рыданія, что сердце въ немъ пухнетъ, разорваться хочетъ, и выбѣжалъ изъ церкви къ теткѣ Афимьѣ. Тамъ онъ прямо объявилъ о своемъ «безчестьѣ» и жадно съѣлъ большой ломоть хлѣба. Часъ-другой побурлилъ, но въ концѣ концовъ какъ будто остепенился.

— Мнѣ бы, тетенька, денька три отдохнуть, а потомъ я и опять...—сказалъ онъ.—Что-жъ такое! Въ нашемъ званіи почти всѣ такъ живутъ. Въ нашемъ званіи какъ!—скажетъ тебѣ наскуда: «я полы мыть нанялась», дойдетъ до угла—и слѣдъ простылъ. Гдѣ была, какъ и что?—лучше и не допытывайся! Вечеромъ принесетъ двугривенный—это, дескать, поденщица—и бери. Жениться не слѣдовало—это такъ; но если ужъ грѣхъ попуталъ, такъ ничего не подѣлаешь; не пойдешь къ попу: «развѣнчайте, молъ, батюшка!»

Старуха охала, но соглашалась, что теперь ничего не подѣлаешь. Жить надо—только и всего. А стыдъ—не дымъ, глаза не выѣстъ.

— Кабы ты что дурно сдѣлалъ—тогда точно... передъ людьми нехорошо!—говорила она резонно.—Поучи ее какъ слѣдуетъ—небось, по струнке станетъ ходить!

Онъ прожилъ въ деревнѣ три дня, бродя по окрестностямъ и преимущественно по господскому саду. Съ наступленіемъ осени садъ какъ будто порѣдѣлъ и казался еще унылѣе. Дорожки совсѣмъ заросли и покрылись толстымъ слоемъ листа, такъ что даже собственныхъ шаговъ не было слышно. Громадныя березы тоскливо раскачивали вершины изъ стороны въ сторону; въ сирени, которою были обсажены куртины, въ акаціяхъ и въ вишеньѣ раздавался неумолкаемый шелестъ; столѣтняя липа, посаженная сбоку дома, скрипѣла отъ старости. Все намокло, разбухло, оголилось, точно иззябло. Кое-гдѣ виднѣлись поломанныя скамейки; по срединѣ круга, обсаженнаго липами, уцѣлѣли остатки бесѣдки; тынъ изъ толстыхъ, заостренныхъ кольевъ, окружавшій садъ, почти повсемѣстно обвалился. Запустѣніе было полное, но Гришкѣ именно это и было нужно.

Онъ самъ какъ будто опустѣлъ. Садился на мокрую скамейку и думалъ, и думалъ. Какъ ни резонно рѣшили они съ теткой Афимьей, что въ ихъ званіи завсегда такъ бываетъ, но срамъ до того былъ осязателенъ, что давилъ ему горло. Временами онъ доходилъ почти до бѣшенства, но не на самый срамъ, а на то, что мысль о немъ неотступно преслѣдуетъ его.

— Забыть я о немъ не могу!—жаловался онъ теткѣ:—ну, срамъ такъ срамъ—что же такое? А вотъ ходитъ онъ за мной по пятамъ, не даетъ забыться—и шабашъ! Ѣсть сяду—срамъ; спать лягу—срамъ; проснусь—срамъ. Извѣстно, потомъ буду жить, какъ и прочіе, да теперь—мочи моей нѣтъ. Мое дѣло рабочее: цѣлый день или на верстакѣ, или въ бѣготнѣ. Куда ни придешь—вездѣ срамъ. Придетъ время, когда и прямо рога показывать будутъ—и то ничего. Да, видно, еще не пришло оно. И прежде срамная моя жизнь была—не привыкать бы стать!—и теперь срамная, только срамъ-то новый, сердце еще не переболѣло отъ него.

— Ничего, переболитъ!—утѣшала Афимья.

— Ворочусь домой и прямо пойду къ Бархатникову шутки шутить. Комедію сломаю — онъ двугривенничекъ дастъ. Къ веселому рабочему и давальцы ласковѣе. Иному и починиваться не нужно, а онъ, за «представленіе», старую жилетку отыщетъ: «на, братъ, почини!»

Вообще ему стало житься легче съ тѣхъ поръ, какъ онъ рѣшился шутить. Жену онъ съ утра прибьетъ, а потомъ цѣлый день ее не видитъ и не интересуется знать, гдѣ она была. Старикамъ и въ усъ не дуетъ; самъ поѣстъ, какъ и гдѣ попало, а имъ денегъ не даетъ. Ходилъ отецъ къ городничему, опять просилъ сына высѣчь, но времена ужъ не тѣ. Городничій—и тотъ полюбилъ Гришку.

Тѣмъ не менѣе Гришка понималъ, что однимъ шутовствомъ, безъ вина, ему не обойтись. Правда, онъ уже чувствовалъ, что все глубже и глубже опускается въ пропасть, и что, быть-можетъ, недалеко время, когда онъ нащупаетъ самое дно. Человѣческій образъ всегда былъ у него въ умаленіи, но мало-по-малу онъ и вовсе утратилъ его. Прежде онъ отдавалъ на общее поруганіе свой носъ, свое лицо, свое тѣло; теперь поруганіе проникло въ самое его нутро. Дома былъ адъ, на улицѣ—адъ, куда ни придетъ—вездѣ адъ. Такимъ образомъ дойдешь, пожалуй, до того, что на работу руки подниматься перестанутъ. «Паскуда» прямо смѣется надъ нимъ; онъ ее за косу ухватить хочетъ, а она убѣжитъ. Станетъ онъ спрашивать: гдѣ была?—а она въ отвѣтъ: «гдѣ была, тамъ меня ужъ нѣтъ». И такъ нахально скалитъ при этомъ свои острые бѣличьи зубы, что онъ всѣмъ нутромъ застонетъ и ляжетъ плашмя на верстакъ. Но все-таки до конца «угорѣть» ему не удалось; все-таки онъ что-то еще понимаетъ, чѣмъ-то мучится. Надо какой-нибудь рѣшительный толчокъ, чтобы окончательно «угорѣть», не понимать и не мучиться. Не выпить ли?

Надежда, что со временемъ онъ обтерпится, что ему не будетъ «стыдно», оправдалась лишь настолько, насколько онъ самъ напускалъ на себя безстыжесть. Самъ онъ, пожалуй, и позабылъ бы, но посторонніе такъ безцеремонно прикасались къ его язвѣ, что не было возможности не страдать. «Ахъ, эта паскуда!» — рычалъ онъ внутренно, издали завидѣвъ на улицѣ, какъ Феклинья, нарумяненная и набѣленная, шумя крахмальными юбками и шевеля бедрами, стремится въ пространство.

— Ишь, жена-то отъ тебя улепетываетъ!—хохоталъ ему въ лицо Поваляевъ.—Это она къ Бархатниковскому приказчику поспѣшаетъ! Совсѣмъ опутала молодца. Прежде честный и тверёзый былъ, а теперь и попивать, и поворовывать началъ.

— Ахъ, не говорите мнѣ, ради Христа! — стоналъ

Гришка въ такія минуты, когда шутовство на время покидало его.

— Чего не говорить! Васъ, шельмовъ, изъ города выслать надо. Только народъ мутите. Деньги-то она тебѣ, что ли, отдаетъ?

— Начну-ка опять пить... или нѣтъ, еще погожу! — твердилъ себѣ Гришка, колеблясь между двумя альтернативами.—Инъ, лучше въ Москву убѣгу!

— Дайте вы мнѣ паспортъ на всѣ на четыре стороны! — настаивалъ онъ у стариковъ:—я и повинности заплачу, и вамъ высылать на прожитокъ буду.

— Уйдешь, и слѣда отъ тебя не останется—ищи тогда! Добро, и дома посидишь!

— Чего мнѣ дома сидѣть, скоро вѣдь и работать я совсѣмъ не буду. Да и не сдобровать мнѣ. Убью я когда-нибудь эту паскуду, убью!

Однажды, поздно ночью, Ѳеклинья пришла домой пьяная. Гришка еще не спалъ и до того разсвирѣпѣлъ, что на этотъ разъ она струсила.

— Гдѣ была?—кричалъ онъ на всю улицу, сверкая налитыми кровью глазами и поднося къ ея лицу сжатые кулаки.

Она созналась, что была у самого Поваляева.

Онъ выбѣжалъ стремглавъ на улицу и помчался по направленію къ дому Поваляева. Добѣжавши, схватилъ камень и пустилъ его въ окно. Стекло разбилось вдребезги; въ домѣ поднялась суматоха; но Гришка, въ свою очередь, струсилъ и спасся бѣгствомъ.

Дома разсказалъ о своемъ подвигѣ, умолялъ не разглашать о немъ и кстати сдѣлалъ новое открытіе.

— Что ты натворилъ, чортъ лохматый!—упрекали его старики.—Развѣ она въ первый разъ? Каждую ночь ворочается пьяная. Смотри, какъ бы она на тебя доказывать не стала, какъ будутъ завтра разыскивать.

Ѳеклинья, полуобнаженная, спала въ это время на лавкѣ и тяжело металась.

— Убью я ее! убью!—злобно шепталъ Гришка.—Отпустите вы меня, ради Христа! Видите, что мнѣ здѣсь не жить! Убью я... лопни моя утроба, ежели не убью!

— Врешь, проживешь и здѣсь! И не убьешь—и это ты совралъ. Всѣ въ нашемъ званьи такъ живутъ, и ты живи. Ишь, убиватель нашелся!

На другой день начались розыски. Ѳеклинья, дѣйствительно, явилась доказчицей.

— Некому, окромя его!—говорила она, всхлипывая:— онъ и въ меня, чортъ лохматый, не однажды камнемъ бросалъ—какъ только Богъ спасъ!

— Не знаемъ, можетъ, и онъ!—на-двое свидѣтельствовали родители.

Гришку выдержали недѣлю въ кутузкѣ, и Новаляевъ окончательно разсердился. Теперь съ этой стороны и на заработокъ, и на шутовство надежда была плохая.

Жить становилось невыносимо; и шутовство пропало, не лѣзло въ голову. Ужъ теперь не онъ билъ жену, а она не однажды замахивалась, чтобъ дать ему раза. И старики начали держать ея сторону, потому что она держала домъ и кормила всѣхъ.—«Въ нашемъ званьи всѣ такъ живутъ, — говорили они:—а онъ корячится... вельможа нашался!»

Мысль о побѣгѣ не оставляла его. Нѣсколько разъ онъ пытался ее осуществить и дня на два, на три скрывался изъ дома. Но исчезновеній его не замѣчали, а только не давали разрѣшенія настоящимъ образомъ оставить домъ. Старикъ-отецъ заявилъ, что сынъ у него непутный, а онъ, при старости, отвѣчать за исправную уплату повинностей не можетъ. Разумѣется, если-бъ Гришка не былъ «несуразный», то могъ бы настоять на своемъ; но жалобы «несуразнаго» развѣ есть резонъ выслушивать? Въ кутузку его—вотъ и рѣшенье готово.

Однако, въ одно прекрасное утро, Гришка исчезъ.

Дорогой въ Москву ему посчастливилось. На ночлегѣ кто-то помѣнялся съ нимъ пальто. У него пальто было неказисто, а досталось ему совсѣмъ купое и рваное, но зато въ карманѣ пальто онъ нашарилъ паспортъ. Предъявитель былъ дмитровскій мѣщанинъ, и звали его тоже Григоріемъ, по отечеству Петровымъ; примѣты были схожія: росту средняго, носъ средній, ротъ умѣренный, волосы черные, глаза сѣрые, особыхъ примѣтъ не имѣется.

— Вотъ и славно!—говорилъ себѣ Гришка:—пальто на толкучкѣ другое куплю, а паспортъ готовъ. Не забыть бы только, что я не Авенировъ, а Петровъ, дмитровскій мѣщанинъ.

Москва оживила его. Еще верстъ за шесть, подходя къ ней по Дмитровкѣ и обоняя тотъ особый запахъ, который присущъ подмосковной окрестности, онъ почувствовалъ неудержимый восторгъ

— Иванъ-то великій! Иванъ-то великій! Ахъ, Боже ты мой!—восклицалъ онъ.—И малый Иванъ тутъ же притулился... Спасъ-то, Спасъ-то! такъ и горитъ куполомъ на солнышкѣ! Ахъ, Москва—золотыя маковки! Слава те, Господи! привелъ Богъ!

Онъ истово перекрестился на всѣ четыре стороны и инстинктивно прибавилъ шагу.

Переночевавши на постояломъ дворѣ у Бутырской заставы, онъ вмѣстѣ съ зарею побѣжалъ прямо въ городъ полюбоваться на Москву. За три-четыре года, которые онъ прожилъ въ своемъ городѣ, Москва порядочно измѣнилась. Вмѣстѣ съ началомъ реформъ произошелъ толчокъ и во внѣшности первопрестольнаго города. Москва стала людиѣе, оживленнѣе; появились, хоть и наперечетъ, громадные дома; кирпичные тротуары остались достояніемъ переулковъ и захолустій, а на большихъ улицахъ уже сплошь уложены были неширокимъ плитнякомъ; мѣстами, въ видѣ заплатъ, выступалъ и асфальтъ. Тверская улица какъ будто присмирѣла, Кузнецкій мостъ—тоже, но зато въ «Городѣ», на Ильинкѣ, на Никольской, съ ранняго утра была труба нетолченая отъ возовъ. Дома на этихъ улицахъ стояли сплошной стѣной и были испещрены блестящими вывѣсками. Въ довершеніе всего, старыя, знаменитыя фирмы портныхъ или исчезли, или скромно стушевались, уступивъ мѣсто новымъ знаменитостямъ, долженствующимъ внести кургузость и шикъ и въ старозавѣтную московскую солидность. Тѣмъ не менѣе, экипировавшись заново на толкучкѣ, Гришка разыскалъ кой-кого изъ хозяевъ, у которыхъ онъ прежде живалъ. Къ одному изъ нихъ онъ явился.

Хозяинъ былъ не изъ важныхъ. Нашествіе вѣстниковъ шика значительно на него подѣйствовало. Онъ постарѣлъ, растерялъ давальцевъ, сократилъ наполовину число мастеровъ и учениковъ, добрую часть квартиры отдавалъ внаймы подъ мастерскую женскихъ модъ, но никакъ не соглашался перемѣнить вывѣску, на которой значилось: «Иванъ Дѣевъ, военный и партикулярный портной» и по-французски: «Jean Déiéff, tailleur militaire et particulier».

— А! Авенировъ! видно, по Москвѣ стосковался!—воскликнулъ онъ, увидѣвъ Гришку.

— Петровъ-съ,—не сморгнувъ, отвѣчалъ Гришка.

— Помнится, Авенировымъ тебя величали, а впрочемъ... паспортъ есть?

— Такъ точно-съ.

Дѣвъ взглянулъ на паспортъ. Оказалось: Петровъ, носъ средній, ротъ умѣренный, волосы черные, курчавые, глаза сѣрые...

— Ничего, мѣсто найдется. Кстати, сегодня я одному подлецу разсчетъ далъ. Съ завтрашняго же дня—съ Богомъ! Только вѣдь ты, помнится, пить не дуракъ.

— Зарокъ далъ-съ.

— И прекрасно. У меня, впрочемъ, расправа короткая. Первый разъ пьянъ—прощаю; второй разъ—скулу сворочу; въ третій разъ—паспортъ въ зубы и аллѐ маширъ. А за прогулъ—по три рубля въ сутки штрафу, это само собой. Такъ?

— Обнаковенно. Какъ прочіе, такъ и я.

На другой день возобновилось для Гришки старинное московское житье. Онъ былъ счастливъ; работа немногимъ достается такъ легко и скоро. Черезъ мѣсяцъ, онъ уже вполнѣ втянулся въ прежнюю бездомовую жизнь, съ трактирами, портерными и тою кажущеюся сытостью, которую даетъ скудный хозяйскій харчъ. Гришка, впрочемъ, не выдержалъ и, по слову Поваляева, далъ себѣ разрѣшеніе на вино и елей. Вино восполняло недостатокъ питанія. Онъ уже неоднократно дѣлалъ прогулы, являлся въ мастерскую пьяный, и хозяинъ не разъ «поправлялъ» ему то одну, то другую скулу, но выгонять не рѣшался, потому что руки у Гришки были золотыя. Во всякомъ случаѣ, въ концѣ мѣсяца, при разсчетѣ, въ распоряженіи его оставалась самая малость.

Представить себѣ жизнь мастерового въ Москвѣ—очень нелегкое дѣло. Это не жизнь, а что-то недостойное имени, недоступное для опредѣленія. Тутъ и полное отсутствіе опрятности, и отвратительное питаніе, и загулъ, и спанье на голомъ верстакѣ. Все это перемежается какой-то судорожной, угорѣлой работой. Послѣдняя сама по себѣ была бы не изнурительна, но, въ совокупности съ непрерывной сутолокой, она представляетъ своего рода каторгу. Нужно именно поступиться доброй половиной человѣческаго образа, чтобъ не сознавать тѣхъ нравственныхъ терзаній, которыя должно влечь за собой такого рода существованіе, чтобы разъ навсегда проникнуться мыслью, что это не послѣдняя степень паденія, а просто «такая жизнь». Если-бъ лучъ сознанія хоть на мгновеніе освѣтилъ этотъ мракъ, онъ принесъ бы съ собою громадное несчастіе. Онъ изгналъ бы улыбку изъ этого темнаго царства, положилъ бы запретъ

на самую рѣчь человѣческую. Но, къ счастью или несчастью, этого луча нѣтъ, и мастерскія кипятъ веселостью, говоромъ и смѣхомъ. Правда, веселость вымученная, говоръ и смѣхъ—циничные, но все-таки ихъ достаточно, чтобъ не дать въ-конецъ замереть этимъ придавленнымъ людямъ. Замазанный, тощій, чуть живой ученикъ, распѣвая, скачетъ на одной ножкѣ по тротуару и уже позабылъ о только-что вытерпленной трепкѣ. Онъ бѣжитъ за кипяткомъ въ трактиръ, за косушкой въ кабакъ; онъ радуется, что ему можно проскакать на одной ножкѣ извѣстное пространство, задѣть прохожаго, выругаться, пропѣть циническую пѣсню. Когда онъ приходитъ въ возрастъ и садится на верстакъ, наравнѣ съ мастеровыми, онъ уже кончилъ всю школу. Мальчикомъ онъ былъ получеловѣкъ и вступилъ въ возрастъ получеловѣкомъ же. Въ какомъ качествѣ онъ умретъ?

Такая жизнь не была для Гришки новостью, и онъ вполнѣ подчинялся ей. Онъ боялся только одного: чтобъ не открылся его паспортный подлогъ. Не разъ случалось ему встрѣчаться въ трактирахъ съ земляками, и онъ предпочиталъ говорить имъ, что живетъ совсѣмъ безъ паспорта, не можетъ найти мѣста и шатается по ночлежнымъ домамъ. Но родные, повидимому, уже знали, что онъ въ Москвѣ, и даже наказывали черезъ земляковъ воротиться домой. Съ часу на часъ онъ ожидалъ розыска и рѣшился чаще перемѣнять мѣста. Одинъ мѣсяцъ его видѣли на Тверской, другой—на Арбатѣ, третій—у Никитскихъ воротъ. Это дало ему репутацію непосѣдливаго человѣка и повредило заработку. Въ концѣ концовъ, онъ уже съ трудомъ находилъ себѣ мѣста и дѣйствительно цѣлыми недѣлями шатался по ночлежнымъ домамъ, содержа себя случайною поденною работою.

Между тѣмъ дѣло о розыскѣ портного Григорія Авенирова уже назрѣвало. Нѣсколько мѣсяцевъ оно находилось въ участкѣ и постепенно округлялось. Разыскивали неутомимо; посылали запросы въ прочіе участки, прибѣгали къ помощи телеграфа. Когда, наконецъ, переписка достаточно округлилась, и уже намѣревались писать отвѣтъ, что портного Авенирова въ Москвѣ не обрѣтается, кто-то изъ земляковъ случайно узналъ о розыскѣ и донесъ, что Авениръ живетъ въ мастеровыхъ на Плющихѣ у портного Ухабина, къ которому безъ замедленія и направилъ свои стопы околоточный.

— Кто здѣсь мастеръ Григорій Авенировъ? — кликнулъ онъ, входя.

Гришка понялъ, что дѣло его не выгорѣло, дрогнулъ слегка, но назвалъ себя.

— Паспортъ! Ага! Какимъ же образомъ ты значишься въ немъ Петровымъ? Э, голубчикъ, да тутъ пахнетъ кражей и подлогомъ.

Хозяинъ, разумѣется, выдалъ Гришку съ головой.

Гришка высидѣлъ шесть мѣсяцевъ въ предварительномъ заключеніи и потомъ судился (судебная реформа только-что была введена). Онъ увѣрялъ на судѣ, что не укралъ, а нашелъ паспортъ въ карманѣ вымѣняннаго пальто, и при этомъ откровенно разсказалъ свою мученическую жизнь. Но прокуроръ не вѣрилъ ему, доказывалъ, что иначе дѣло не могло произойти, какъ съ участіемъ кражи, а подлогъ былъ ясенъ самъ собой. Что же касается до розсказней подсудимаго о жизненныхъ неудачахъ, то это — обычная уловка негодяевъ, употребляемая съ цѣлью смягченія присяжныхъ. Назначенный судомъ защитникъ сказалъ всего нѣсколько словъ вяло, нехотя, словно во снѣ веревки вилъ. Присяжные обвинили Гришку только въ томъ, что онъ воспользовался чужимъ паспортомъ, и при этомъ дали ему снисхожденіе. Судъ приговорилъ его на двухмѣсячную высидку.

Вся эта процедура, вмѣстѣ съ шатаньемъ по Москвѣ, длилась слишкомъ годъ, такъ что когда, послѣ высидки, препроводили Гришку по этапу въ родной городъ, настала уже глубокая осень.

Феклинья бросила и отца, и домъ. Она выстроила на выѣздѣ просторную избу и поселилась тамъ съ двумя другими «дѣвушками». Въ избѣ цѣлыя ночи напролетъ свѣтились огни и шло пированье. Старуха, Гришкина мать, умерла, но старики, отецъ и тесть, были еще живы и перебивались Христовымъ именемъ.

Вошелъ Гришка въ родной домъ и растянулся плашмя на верстакѣ. Ни отца, ни тестя не было въ это время дома; двери стояли отпертыя, потому что и украсть было нечего. Въ неметенной и нетопленной комнатѣ отдавало сыростью и прѣлью; вмѣсто домашней утвари стояли два деревянныхъ чурбана, такъ что и жилого вида комната не имѣла; даже нищенской рвани не валялось на полу. Гришка лежалъ неподвижно, обезсилѣвшій, снѣдаемый недугомъ, пріобрѣтеннымъ во время скитаній. Голова его горѣла подъ

тяжестью мучительныхъ думъ. На работу разсчитывать, разумѣется, было нельзя; но предстояло «жить», и эта мысль рвала ему сердце.

Осень приближалась къ концу; грязь на улицахъ застыла; мѣстами, гдѣ было мало ѣзды, виднѣлись уже полосы снѣга. Надъ городомъ нависъ темный октябрьскій вечеръ.

Гришка крадется по главной улицѣ, по направленію къ собору. Предчувствія его относительно работы сбылись. Въ теченіе недѣли онъ обѣгалъ своихъ прежнихъ давальцевъ, но вездѣ встрѣтилъ суровый отказъ, а купецъ Поваляевъ даже пообѣщалъ спустить на него собакъ, ежели онъ въ другой разъ явится. Къ тому же, въ его отсутствіе, въ городѣ появился другой портной, Ѳедоръ Купидоновъ, уже прямо изъ «Петербурга» и совсѣмъ веселый. Гришка ни разу порядкомъ не поѣлъ, а питался обшарпанными, черствыми объѣдками, которые приносилъ домой отецъ. Ежели удавалось старикамъ набрать нѣсколько мѣдныхъ пятаковъ, то покупали водки и сообща пили.

Приходилось и самому протягивать руку, но покуда горе настолько укрѣпляло его нравственныя силы, что мысль о милостынѣ пугала его. Вотъ когда и горе пройдетъ, когда онъ окончательно обтерпится, тогда, вѣроятно, и рѣшимость явится. Она придетъ сама собой. Будетъ онъ ходить, приплясывая, по улицамъ, будетъ пѣть скверныя пѣсни, коверкаться, представлять юродиваго—и на него посыплются гроши. Старики и милостыни просить не умѣютъ: стоятъ, какъ истуканы, на перекресткѣ, съ протянутыми руками,—оттого имъ и подаютъ одни объѣдки. А онъ сумѣетъ; онъ еще въ портныхъ выучился юродствовать и приплясывать. Чего добраго, вѣщимъ человѣкомъ между купчихами прослыветъ; станутъ чаемъ его поить, гривенниками одѣлять, тайнаго смысла въ его бормотаньи доискиваться: «скажи, батюшко, скажи!» Конечно, не миновать ему и кутузки за эти продѣлки, но въ кутузкѣ все-таки теплѣе, чѣмъ дома, да и щей даютъ. Пожалуй, кутузка-то еще за «претерпѣніе» ему сочтется: «истязаютъ тебя, касатикъ, замучить хотятъ!»—будутъ въ одинъ голосъ говорить купчихи.

Къ несчастью, горе до того впилось въ него, что отдаляло перспективу юродства на неопредѣленное время. Онъ мучился день и ночь, самъ не сознавая, отъ чего. Вѣроятно, въ этой формѣ сказывались общіе результаты

жизни. О Θеклиньѣ онъ и не вспоминалъ, даже все прошлое почти позабылъ и уже не возвращался къ его подробностямъ, а сидѣлъ дома, положивъ голову на верстакъ, и стоналъ. Именно результаты прошлаго сказывались разомъ, скопились они и переполнили сердце тоскою. Дѣваться некуда отъ тоски,—точно она одна и осталась. Тоска безпредметная, сама себя питающая, почти осязаемая...

Онъ дошелъ до собора; тамъ служили всенощную, и третій звонъ еще не отошелъ. Когда онъ вошелъ въ церковь, читали евангеліе и загудѣли колокола. Онъ сталъ въ темномъ углу, началъ вслушиваться, но ничего не понималъ. Онъ былъ какъ бы въ забытьѣ и трясся всѣмъ тѣломъ. Простоявши минутъ десять, вышелъ на паперть и началъ колеблющимися шагами взбираться на колокольню. Взбирался инстинктивно, не сознавая, что тамъ, наверху, ожидаетъ его разрѣшеніе загадки жизни. Никакихъ опредѣленныхъ намѣреній въ его головѣ не шевелилось, никакого предвидѣнія: все это замѣнилось непреодолимой силою рока. Тянетъ, влечетъ—только и всего.

Наконецъ, онъ дошелъ до самаго верха, надъ колоколами, и оглянулся. Городъ лежалъ окутанный мглою; огней сквозь осенній туманъ не было видно. Рѣшетка въ этомъ ярусѣ была такая низенькая, что опереться на нее было нельзя, а ограниченность пространства не допускала разбѣга. Однако кончить все-таки было нужно, кончить теперь же, сейчасъ, потому что завтра, упаси Богъ, онъ и впрямь юродствовать начнетъ.

Онъ невольно перекрестился и поклонился на всѣ стороны.

Никто ничего не слыхалъ. Но минутъ черезъ десять, когда служба кончилась, дьячокъ, выходя изъ церкви, встрѣтилъ на пути своемъ препятствіе.

— На человѣка наткнулся!—крикнулъ онъ:—ишь, пьяница, растянулся!

Стали тормошить «пьяницу»—не встаетъ. Принесли фонари—и опознали Гришку.

— Ахъ, расподлая твоя душа!—крикнулъ кто-то въ собравшейся толпѣ.

IV.

СЧАСТЛИВЕЦЪ.

Этюдъ.

Въ мое время послѣдніе мѣсяцы въ закрытыхъ учебныхъ заведеніяхъ бывали очень оживлены. Казенная служба (на опредѣленный срокъ) была обязательна, и потому вопросъ о томъ, кто куда пристроится, стоялъ на первомъ планѣ; затѣмъ выдвигался вопросъ о томъ, что будутъ давать родители на прожитокъ, и, наконецъ, вопросъ объ экипировкѣ. Во всѣхъ углахъ интерната раздавалось:

— Ты куда?

— Разумѣется, въ министерство иностранныхъ дѣлъ.

— Насъ, братъ, тамъ не совсѣмъ-то долюбливаютъ...

— У меня дядя тамъ; онъ похлопочетъ... Ахъ, кабы черезъ годикъ... attaché... въ Парижъ! А ты куда?

— Я... въ департаментъ полиціи исполнительной...—запинается собесѣдникъ и какъ-то стыдливо краснѣетъ.

— Чудакъ!

— У меня тамъ тоже дядя... обѣщалъ мѣсто помощника столоначальника... Тысячу двѣсти рублей (тогда рубль еще былъ ассигнаціонный) на полу не поднимешь, а я...

Или:

— Тебѣ сколько родители на житье назначаютъ?

— Мнѣ... двѣ тысячи,—краснѣя, отвѣчаетъ товарищъ, прибавляя цѣлую половину или, по малой мѣрѣ, четверть противъ скромной дѣйствительности.

— А мнѣ пятнадцать! Maman ужъ пріискала квартиру и меблируетъ ее... un vrai nid d'oiseau! Пару лошадей въ деревнѣ нарочно для меня выѣздили, на-дняхъ приведутъ... О! я...

Наконецъ:

— Ты у кого платье заказываешь?

— У Сарра, а бѣлье—у Лепрѣтра. А ты?

— Я—у Клеменца.... это вѣдь тоже хорошій портной... Бѣлье—дома маменька шьетъ...

— Ахъ!

Повторяю: такъ было въ мое время. Теперь, какъ я слышалъ, между воспитанниками интернатовъ уже существуютъ болѣе серьезные взгляды на предстоящее будущее; но въ сороковыхъ годахъ разговоры, въ родѣ приведеннаго выше, стояли на первомъ планѣ и были единственными, возбуждавшими общій интересъ, и, несомнѣнно, они не оставались безъ вліянія на будущее. Питомецъ, поступавшій на службу въ департаментъ полиціи исполнительной, жившій на какихъ-нибудь злосчастныхъ тысячу рублей и заказывавшій платье у Клеменца, могъ имѣть очень мало общаго съ блестящимъ питомцемъ, одѣвавшимся у Сарра, мчавшимся по Невскому на ворономъ рысакѣ и имѣвшимъ виды быть въ непродолжительномъ времени attaché при посольствѣ въ Парижѣ. Первое время по выходѣ изъ заведенія, товарищи еще видѣлись, но жизнь неумолимо вступала въ свои права и еще неумолимѣе стирала всякіе слѣды пяти-шестилѣтняго сожительства. Молодые люди, не встрѣчаясь въ обществѣ, легко забывали старое однокашничество, и хотя пожимали другъ другу руки въ театрѣ, на улицѣ и т. д., но эти пожатія были чисто формальныя. Уже въ самыхъ стѣнахъ интерната образовывалось два лагеря, изъ которыхъ одинъ былъ не чуждъ зависти, другой—пренебреженія. Но что всего замѣчательнѣе,—даже въ одномъ и томъ же лагерѣ дружескія связи очень рѣдко завязывались прочно, до такой степени, съ выходомъ на волю, жизненные пути развѣтвлялись, спутывались и все болѣе и болѣе уклонялись въ даль, въ самое короткое время.

Лично я не могъ похвалиться тѣсными дружескими связями, но все-таки ближе другихъ былъ связанъ съ Валерушкой Крутицынымъ. Я былъ, такъ сказать, средній воспитанникъ; изъ ученья имѣлъ баллы не блестящіе, изъ поведенія—и того меньше. Мои виды на будущее были болѣе чѣмъ посредственные; отсутствіе всякой протекціи и довольно скудное «положеніе» отъ родныхъ отдавали меня на жертву служебной случайности и осуждали на скитаніе по скромнымъ квартирамъ съ «чернымъ ходомъ» и на продовольствіе въ кухмистерскихъ. Даже послѣднее было не всегда доступно, потому что молодость требовала дорогихъ развлеченій, и иногда, ради билета въ театръ, я вы-

нуждался замѣнять скромный кухмистерскій обѣдъ десятикопеечной колбасой съ булкой. Старый дядька, который жилъ при мнѣ, и тотъ имѣлъ въ мелочной лавкѣ пищу болѣе сытную и здоровую.

Напротивъ того, Крутицынъ, какъ оказалось изъ моихъ разспросовъ, былъ молодой человѣкъ вполнѣ обезпеченный. Лошадей онъ, правда, не будетъ держать, но квартирку устроитъ комфортабельно и чистенько, и обѣдать будетъ не иначе, какъ «настоящимъ образомъ» и въ хорошемъ ресторанѣ. Франтовства особеннаго не дозволитъ себѣ, а станетъ одѣваться красиво и безукоризненно. На службѣ изнемогать онъ тоже не располагалъ (онъ называлъ чиновниковъ «хамами»), а отбудетъ свой срокъ и затѣмъ выйдетъ на всѣ четыре стороны. Онъ любитъ читать (не одни романы, но и серьезныя книжки), охотникъ до театра и не имѣетъ ни малѣйшей склонности къ кутежамъ. Все это даетъ право надѣяться, что жизнь его устроится разумно, независимо и свободно.

Но главная его претензія—это быть джентльменомъ. Когда наступитъ время, онъ уѣдетъ изъ Петербурга въ «свое мѣсто» и будетъ служить по выборамъ. Ибо только такимъ образомъ истинный джентльменъ можетъ оправдать свое призваніе; только тамъ, среди «своихъ», онъ самымъ дѣломъ покажетъ, что значитъ высоко держать «свое» знамя.

— А у насъ, mon cher, насчетъ этого самыя незрѣлыя, почти младенческія понятія,—говаривалъ онъ мнѣ.— Дворянство, за исключеніемъ немногихъ уѣздовъ, представляющихъ собой какъ бы оазисы, совершенно забыло о своемъ значеніи въ государствѣ и обратилось въ массу приживальцевъ на хлѣбахъ у казны. Какой-нибудь департаментскій штатскій генералъ съ высоты величія, почти съ пренебреженіемъ, смотритъ на бѣднаго дворянина, пріѣзжающаго въ Петербургъ ходатайствовать по своимъ дѣламъ. Въ провинціи, конечно, дѣло идетъ нѣсколько иначе, но едва ли лучше. Тамъ, наоборотъ, дворяне тѣсно стоятъ другъ за друга, но не въ смыслѣ джентльменства, а въ самыхъ вопіющихъ злоупотребленіяхъ. Само собой разумѣется, что такимъ образомъ дѣйствій они производятъ въ массахъ глухое раздраженіе. Крѣпостное право совсѣмъ не такъ худо, какъ о немъ разсказываютъ, и если бы дворяне относились другъ къ другу строже, то Богъ знаетъ, когда еще этотъ вопросъ поступилъ бы на очередь. А теперь, пожалуй...

Это говорилось еще задолго до слуховъ объ эмансипаціи, и я положительно не понималъ, откуда могъ набраться Валерушка такихъ несвойственныхъ казенному заведенію «принциповъ». Вѣроятно, они циркулировали въ его семействѣ, которое безвыѣздно жило въ деревнѣ и играло въ «своемъ мѣстѣ» значительную роль. Съ своей стороны, помнится, я относился къ этимъ заявленіямъ довольно равнодушно, тѣмъ болѣе, что мысль о возможности упраздненія крѣпостного права въ то время даже мелькомъ не заходила мнѣ въ голову.

Важнѣе всего было то, что у Крутицына, при самомъ выходѣ со школьной скамьи, существовала уже задача, довольно, правда, отдаленная и смутная, но все-таки, до извѣстной степени, опредѣлявшая его внутренній міръ.

Онъ не измѣнитъ данному слову, потому что онъ—джентльменъ; онъ не позволитъ себѣ сомнительнаго поступка, потому что онъ—джентльменъ; онъ не ударитъ въ лицо своего слугу, не заставитъ повара съѣсть попавшаго въ супъ таракана, не возьметъ въ наложницы крѣпостную дѣвицу, потому что онъ—джентльменъ; онъ привѣтливо приметъ бѣднаго помѣщика-сосѣда, который явится съ просьбой по дѣлу, потому что онъ—джентльменъ. Вообще онъ не «замараетъ» себя... нѣтъ, никогда! Даже наединѣ самъ съ собой онъ будетъ мыслить и чувствовать какъ джентльменъ.

Первыя шесть лѣтъ, которыя Крутицынъ прожилъ въ Петербургѣ, покуда не кончился срокъ обязательной службы, наши дружескія связи продолжали поддерживаться, хотя я долженъ сознаться, что это стоило мнѣ лично нѣкоторыхъ усилій. Впрочемъ, не я одинъ, а и другіе товарищи его охотно посѣщали, и онъ всѣхъ принималъ радушно. Ни про кого изъ сверстниковъ я не слыхалъ отъ него паскудной клички: «ami cochon», которую направо и налѣво разсыпали графъ Б., графъ О. и другіе баловни фортуны. Напротивъ того, онъ даже искусственной предупредительности не выказывалъ, какъ бы боясь оскорбить ею, а оставался все тѣмъ же простымъ, участливымъ и добрымъ малымъ, какимъ былъ на школьной скамьѣ. Правда, что нѣкоторое время по выходѣ изъ школы у него почти совсѣмъ не было «постороннихъ» знакомствъ, и потому со стороны не представлялось случая для сравненій и выводовъ. Среда, въ которой ему предстояло вращаться въ будущемъ, еще не опредѣлилась, и товарищи составляли пока единственный рессурсъ.

Я зналъ, что у него живетъ въ Петербургѣ сестра, замужемъ за княземъ Х., что домъ этой сестры—одинъ изъ самыхъ блестящихъ, и что тамъ собирается такъ-называемое высшее общество. Валерушка бывалъ у сестры часто, и хотя это представлялось вполнѣ естественнымъ, но я какъ-то страдалъ всякій разъ, когда на мой вопросъ: дома ли Валеріанъ Сергѣичъ? мнѣ отвѣчали: «къ сестрицѣ уѣхали». Мнѣ казалось, что тутъ уже кроется зародышъ дѣйствительности. Нерѣдко, когда я сидѣлъ у Крутицына, подъѣзжала въ щегольской коляскѣ къ дому, въ которомъ онъ жилъ, красивая женщина и дѣлала движеніе, чтобы выйти изъ экипажа; но всякій разъ навстрѣчу ей торопливо выбѣгалъ камердинеръ Крутицына и что-то объяснялъ, послѣ чего сестра опять усаживалась въ коляску и оставалась ждать брата. Крутицынъ, съ своей стороны, извинялся предо мной и, поспѣшно надѣвши пальто, выходилъ изъ дома. Однажды такъ случилось, что красавица полюбопытствовала и вышла изъ экипажа, и хотя Валеріанъ крикнулъ ей въ переднюю:

— Je ne suis pas seul!..

Но она не послушалась предостереженія и вошла въ кабинетъ.

— Надѣюсь, что вы позволите «вашему другу» уѣхать со мной?—сказала она, обращаясь ко мнѣ.

Словъ было немного, но въ тонѣ, которымъ были произнесены слова: «вашъ другъ», заключалась цѣлая поэма. Во всякомъ случаѣ, въ эту минуту въ первый разъ, но все еще смутно, мелькнула мнѣ мысль, что въ «принципахъ» извѣстной окраски, если даже они залегли въ общее міросозерцаніе въ тѣхъ чуждыхъ надменности формахъ, въ какихъ ихъ воспріялъ Валерушка, можетъ существовать своего рода трещина, сквозь которую просачивается исключительность и относительно «своихъ», но менѣе фаворизованныхъ фортуною.

Въ наличности этой трещины еще болѣе убѣдили меня дальнѣйшія сношенія съ Крутицынымъ. Съ теченіемъ времени въ квартирѣ его начали появляться «постороннія» личности. И хотя онъ очень предупредительно представлялъ насъ другъ другу, но я всегда чувствовалъ при этомъ невольную неловкость. Или придешь такъ, что «посторонняя» личность уже тутъ, и тогда она немедленно снимается съ мѣста и—со словами: «Итакъ, въ такомъ-то часу...»—удаляется во-свояси.

Или же «постороннля» личность появлялась, когда я сидѣлъ у Крутицына.

Заглянувъ въ кабинетъ и увидавъ меня, она воскликала:

— А! ты занятъ дѣлами. Pardon! Я черезъ часъ зайду...

И дѣлала движеніе, чтобъ удалиться...

— О, нѣтъ, о, нѣтъ,—удерживалъ пріятеля Валерушка:— останься! ты не помѣшаешь!

Но, разумѣется, я, въ свою очередь, понималъ, что я лишній, и спѣшилъ удалиться.

Тѣмъ не менѣе я упорствовалъ. Хотя существованіе трещины дѣлалось болѣе и болѣе несомнѣннымъ, но я увѣрялъ себя, что она засѣла не въ убѣжденіяхъ самого Валерушки, а въ той атмосферѣ, въ которой ему, волей-неволей, приходилось вращаться. Самъ онъ — говорилъ я себѣ—противникъ этой худо скрываемой надменности и, конечно, не лжетъ, говоря, что въ ней заключается одна изъ причинъ словесной захудалости. Но не виноватъ же онъ, что рожденіе фаталистически кинуло его въ такую среду, отъ которой онъ отречься не можетъ. Не отказываться же ему, въ самомъ дѣлѣ, отъ людей, которыхъ онъ безпрестанно встрѣчаетъ въ обществѣ и изъ которыхъ многіе связаны съ нимъ узами крови... Нѣтъ, самъ по себѣ онъ безупречно вѣренъ своимъ убѣжденіямъ и, конечно, въ «своемъ мѣстѣ» докажетъ на дѣлѣ, какое его знамя и какъ нужно держать его.

Вообще Крутицынъ былъ мнѣ симпатиченъ, несмотря на то, что по убѣжденіямъ мы принадлежали, такъ сказать, къ совершенно различнымъ приходамъ. Я имѣлъ слегка соціалистическую окраску; онъ былъ экономистъ pur sang, штудировалъ Сэ и Бастіа, о соціалистахъ же пренебрежительно выражался qu'ils cherchent midi à quatorze heures. Затѣмъ, онъ былъ приверженецъ замкнутой сословности; я же склонялся на сторону самой широкой безсословности, доходя чуть не до suffrage universel, мысль о которомъ тогда уже начинала волновать Западную Европу. Но мнѣ, при томъ небольшомъ кругѣ знакомыхъ, какой я имѣлъ, дорогъ былъ въ Крутицынѣ разсуждающій сверстникъ, съ которымъ можно было спорить. Положимъ, эти споры были довольно первоначальнаго свойства и оставляли насъ при своихъ убѣжденіяхъ, но все-таки тутъ было упражненіе, которое въ юношескіе годы цѣнится очень дорого.

— Mon cher!—говаривалъ Крутицынъ:—раздѣлите сего-

дня все поровну, а завтра неравенство все-таки вступитъ въ свои права.

— Я знаю это возраженіе,—отвѣчалъ я:—всѣ столоначальники опираются на него какъ на каменную стѣну; но вѣдь дѣло совсѣмъ не такъ просто, какъ ты его рисуешь. Тутъ цѣлая система со множествомъ подробностей, со сложной обстановкой...

Однако онъ не убѣждался моими возраженіями и продолжалъ:

— Или эти anti-lions, anti-requins! Эти заботы насчетъ вывозки нечистотъ при помощи самоотверженныхъ когортъ... Бѣдный Фурье! Онъ не предвидѣлъ ни ватерклозетовъ, ни нынѣшнихъ парижскихъ катакомбъ!

— И это сужденіе чисто-столоначальническаго свойства! Фурье не объ однихъ anti-lions писалъ, но и...

И т. д.

Вообще, какъ я уже сказалъ выше, онъ охотно читалъ, но вычитывалъ въ книгахъ именно то, что не только не нарушало хорошаго расположенія духа, но, напротивъ, содѣйствовало поддержанію его.

Онъ былъ счастливъ. Проводилъ время безъ тревогъ, испытывалъ доступныя юношѣ удовольствія и едва ли когда-нибудь чувствовалъ себя огорченнымъ. Мнѣ казалось въ то время, что вотъ это-то и есть самое настоящее равновѣсіе души. Онъ принималъ жизнь, какъ она есть, и бралъ отъ нея, что могъ.

— Я ничего особеннаго отъ жизни не требую,—говорилъ онъ нерѣдко:—и нахожу, что она даетъ совершенно достаточно, чтобы удовлетворить меня. Никакой борьбы я не ищу и не буду искать, не потому, чтобы трусилъ, а потому, что борьба—не въ моихъ принципахъ. Только то прочно, что приходитъ въ свое время; насильственно же взятое или искусственно привитое, рано или поздно, погибаетъ, и даже скорѣе рано, чѣмъ поздно. Кто дѣйствуетъ мечомъ, тотъ отъ меча и погибнетъ. Вѣрь мнѣ. Конечно, въ людяхъ, среди которыхъ мнѣ приходится жить, есть многое, что мнѣ не по-сердцу, но, вѣроятно, и во мнѣ есть кой-что, что не нравится другимъ. Поэтому я или покоряюсь факту, принимаю его, какъ онъ есть, или же, если это удобно, вступаю въ споръ, въ надеждѣ убѣдить. Но безъ раздраженія, разумно, съ полнымъ сознаніемъ права, которое имѣетъ противникъ отстаивать свое убѣжденіе.

— Но вѣдь иногда это совсѣмъ не убѣжденіе, а просто

раздраженіе прихотливаго или развращеннаго темперамента,—возразилъ я.

— Въ такомъ случаѣ споръ напрасенъ. Надо отойти—и больше ничего.

Онъ любилъ женское общество и имѣлъ у женщинъ успѣхъ; но бывалъ ли когда-нибудь влюбленъ—сомнѣваюсь. Мнѣ кажется, настоящая, страстная любовь нарушила бы его душевную ясность, и если-бъ даже запала случайно въ его сердце, то онъ, ради спокойствія своего, употребилъ бы всѣ усилія, чтобъ подавить ее.

Онъ любилъ быть «счастливымъ»—вотъ и все. Однажды прошелъ-было слухъ, что онъ безнадежно влюбился въ извѣстную въ то время лоретку (такъ назывались тогдашнія кокотки), обладаніе которой оказалось ему не по средствамъ, но на мой вопросъ объ этомъ онъ очень резонно отвѣтилъ:

— Помилуй! Неужели ты могъ повѣрить, что я положу на одни вѣсы мое личное спокойствіе и вопросъ о какой-то лореткѣ? Лоретка можетъ занять меня на одну минуту, не больше... Ихъ такъ много, такъ много, что предложеніе почти превышаетъ спросъ. Притомъ же, я совсѣмъ не тамъ ищу и не того мнѣ надо. Многіе изъ моихъ пріятелей постоянно проводятъ время въ обществѣ этихъ дѣвицъ; я и самъ иногда не прочь пробыть нѣсколько часовъ въ ихъ компаніи, но въ концѣ концовъ это скучно. Говорятъ онѣ глупо, поютъ пошлыя пѣсни; даже движенія у нихъ не красивы, а только циничны. Если тѣла ихъ и дѣйствуютъ возбуждающимъ образомъ на физику, то это возбужденіе мимолетное. Вѣдь и тутъ все-таки необходима хоть искра ума или, по крайней мѣрѣ, выдержки.

Такимъ образомъ, онъ и съ этой стороны остался неуязвимъ. Самъ выдержанный, онъ и вездѣ искалъ такой же выдержки. Нашедши ее, чувствовалъ себя хорошо и удобно; не нашедши—не добивался и проходилъ мимо своею дорогою.

Мнѣ кажется, что и у женщинъ Крутицынъ имѣлъ успѣхъ именно благодаря этой выдержкѣ. Онъ былъ нѣженъ, а не страстенъ, и притомъ безусловно приличенъ и скроменъ. Можно было съ увѣренностью сказать себѣ, что онъ не только словомъ, но и выраженіемъ глазъ, лица не выдастъ тайны, а это въ интимныхъ отношеніяхъ главное. Тихое наслажденіе, безъ порывовъ и даже безъ назойливости, наслажденіе настолько, насколько оно обусловливается обстоя-

тельствами, обстановкой,—вотъ идеалъ, который онъ воспиталъ въ себѣ. Даже разговора о сношеніяхъ съ женщинами онъ не допускалъ, потому что и тутъ случайно могла прозвучать нотка, сказаться слово, которое выдало бы его.

— Женщина для меня святыня,—однажды сказалъ онъ мнѣ:—я боюсь коснуться этой святыни, чтобы какимъ-нибудь неосторожнымъ выраженіемъ не оскорбить ее. И потому храню молчаніе.

Между тѣмъ кругъ «постороннихъ» друзей все больше и больше тѣснился около него. Изъ старыхъ товарищей только я одинъ его посѣщалъ, но и мнѣ приходилось видѣться очень рѣдко. Это было тѣмъ болѣе досадно, что онъ, повидимому, не замѣчалъ ослабленія дружескихъ узъ. Попрежнему онъ былъ со мною привѣтливъ и ровенъ, но, очевидно, большой цѣны частымъ свиданіямъ не придавалъ. Я уже начиналъ склоняться къ мысли, что во всемъ этомъ кроется глубокій эгоизмъ, но, обдумавши, пришелъ къ убѣжденію, что это—не болѣе, какъ довольство самимъ собою, своимъ положеніемъ,—довольство, при которомъ не чувствуется даже потребности въ анализѣ. Жизнь течетъ обычнымъ порядкомъ; обстановка кругомъ или измѣняется, или остается неизмѣнною—все равно «принципы» остаются нетронутыми, такъ что ни съ какой стороны нѣтъ мѣста для тревогъ... Вотъ и достаточно.

Только обязательная служба до извѣстной степени выводила его изъ счастливаго сближенія. Къ ней онъ продолжалъ относиться съ величайшимъ нетерпѣніемъ и, отбывая повинность, выражался, что онъ каждый день приноситъ свою долю вреда. Думаю, впрочемъ, что и это онъ говорилъ, не анализируя своихъ словъ. Фраза эта, очевидно, была, такъ сказать, семейнымъ преданіемъ и запала въ его душу съ дѣтства въ родномъ домѣ, гдѣ всѣ, начиная съ отца и кончая деревенскими кузенами, кичились какою-то воображаемою независимостью.

Понять значеніе этой независимости было очень трудно, а доказать ее конкретнымъ дѣломъ еще труднѣе. Кажется, она въ томъ, по преимуществу, состояла, что «независимые» удалялись изъ коронной службы (были цѣлыя губерніи, называвшіяся «корнетскими», потому что почти сплошь всѣ помѣщики были отставные корнеты и вообще мало-чиновные люди, но зато обладавшіе хорошими матеріальными средствами). Отставные корнеты поселялись въ

своихъ родовыхъ гнѣздахъ, служили по выборамъ и фрондировали, а по тогдашнему выраженію—«фыркали». Въ образѣ жизни они старались подражать псевдо-англійскимъ порядкамъ. Домашняя прислуга ходила въ ливрейскихъ фракахъ и безшумно мелькала по комнатамъ, исполняя свои обязанности; глава семейства выходилъ къ обѣду во фракѣ и въ бѣломъ галстукѣ; въ домѣ царствовала строгая и совершенно опредѣленная вымуштрованность, нарушенія которой не могла вызвать даже самая настоятельная необходимость, и, наконецъ, ни одинъ мѣстный чиновникъ, служившій не по выборамъ отъ дворянства, не допускался за порогъ барскихъ хоромъ. Въ то время это считалось вольнодумствомъ, и на людей, дозволявшихъ себѣ поступать такимъ образомъ, смотрѣли косо, какъ на строптивыхъ. Такъ что, въ суммѣ, вся независимость сводилась къ тому, что люди жили нелѣпою, чуть ли не юродивою жизнью, невѣдомо съ какого повода бравируя косые взгляды, которые метала на нихъ центральная власть, называя это «держаніемъ знамени».

На такую именно жизнь осужденъ былъ и Крутицынъ, но такъ какъ сѣмена ея залегли въ немъ еще съ дѣтства, то онъ не только не чувствовалъ нелѣпыхъ ея сторонъ, но, по примѣру старшихъ, видѣлъ въ ней «знамя».

Наконецъ, шестилѣтній срокъ обязательной службы истекъ, и Валерушка поспѣшилъ воспользоваться свободою. За два мѣсяца передъ окончаніемъ срока онъ уже взялъ отпускъ и собрался въ «свое мѣсто», съ тѣмъ, чтобы оттуда прислать просьбу объ отставкѣ. Въ то время ему минуло двадцать семь лѣтъ.

Въ день отъѣзда я одинъ пріѣхалъ проводить его на дебаркадеръ мальпостовъ (желѣзная дорога до Москвы еще не существовала). Время было глухое, іюнь въ концѣ; «посторонніе» друзья разъѣхались по деревнямъ и за границу. Не могу сказать, чтобы сердце мое особенно сжималось въ виду предстоящей разлуки, но все-таки чувствовалось нѣкоторое томленіе. Я говорилъ себѣ, что разлука будетъ полная, что о перепискѣ нечего и думать, потому что вся сущность нашихъ отношеній замыкалась въ личныхъ свиданіяхъ, и переписываться было не о чемъ; что ежели и мелькнетъ Крутицынъ на короткое время опять въ Петербургѣ, то не иначе, какъ по дѣламъ «знамени», и врядъ ли вспомнитъ обо мнѣ, и что вообще врядъ ли мы не въ послѣдній разъ видимъ другъ друга.

Нечего и говорить, что ничего подобнаго въ мысляхъ Крутицына не было. Онъ просто уѣзжалъ, хотя, впрочемъ, искренно и крѣпко жалъ мнѣ руки, благодаря за то, что я не забылъ проводить его. Я помню, что въ послѣднія минуты мнѣ пришла въ голову довольно несообразная мысль. Нѣтъ, думалось мнѣ, надо, наконецъ, поставить вопросъ прямо. Намъ обоимъ по двадцати семи лѣтъ, мы шесть лѣтъ уже пользуемся свободой, а какіе результаты дала намъ эта свобода? Можемъ ли мы указать на какое-нибудь дѣло или хоть на подготовку къ нему? Имѣемъ ли мы данныя, съ помощью которыхъ можно было бы опредѣлить характеръ предстоящаго намъ будущаго? или намъ еще долго-долго придется плыть по житейскому морю безъ вѣтрила, просто въ качествѣ «молодыхъ людей»?

Мысль эту я не преминулъ сообщить на прощанье Крутицыну:

— Вотъ намъ уже подъ-тридцать,—сказалъ я:—живемъ мы шесть лѣтъ внѣ школьныхъ стѣнъ, а случалось ли тебѣ когда-нибудь задаться вопросомъ: что дали тебѣ эти годы? сдѣлалъ ли ты какое-нибудь дѣло? наконецъ, приготовился ли къ чему-нибудь? Вообще, можешь ли ты дать себѣ отчетъ въ проведенномъ времени?

Онъ взглянулъ на меня удивленными глазами, точно впервые и съ неудовольствіемъ угадалъ во мнѣ какой-то совершенно чуждый ему «безпокойный» элементъ.

— О чемъ ты говоришь—не понимаю!—отвѣтилъ онъ.—Какіе отчеты? какое «дѣло»? какая подготовка? Я жилъ—вотъ и все.

И, подумавъ съ минуту, прибавилъ:

— А «дѣло», которое мнѣ предстоитъ, и безъ подготовки—всегда на лицо. Я съ благоговѣніемъ приму его въ свое время изъ рукъ отца и останусь вѣренъ ему до послѣдняго вздоха! Прощай.

Я угадалъ совершенно вѣрно: въ перепискѣ потребности не оказалось. Къ тому же я самъ вскорѣ, вслѣдъ за Крутицынымъ, вынужденъ былъ оставить Петербургъ и удалиться вглубь провинціи. Валерушка, конечно, и не подозрѣвалъ, что я исчезъ, и куда.

Ежели вообще даже внѣшняя перемѣна въ обычной жизненной обстановкѣ неудобно отражается на человѣческомъ существованіи, то тѣмъ тяжелѣе дѣйствуетъ утрата отношеній, имѣющихъ дружескій характеръ, особенно если

одною изъ сторонъ эта утрата принимается равнодушно. Есть даже что-то оскорбительное въ подобномъ равнодушіи, какая-то приниженность чувствуется. Такъ было и со мною. Я называлъ навязчивостью тѣ усилія, которыя дѣлались мною съ цѣлью сохранить еле-державшуюся связь съ Крутицынымъ; я даже негодовалъ на себя, что продолжаю думать объ этой связи.

Впрочемъ, поѣздка въ отдаленный край оказалась въ этомъ случаѣ пользительною. Связи съ прежнею жизнью разомъ порвались; рѣдко кто обо мнѣ вспомнилъ, да я и самъ не чувствовалъ потребности возвращаться къ прошедшему. Новая жизнь со всѣхъ сторонъ обступила меня; сначала это было похоже на полное одиночество (тоже своего рода существованіе), но впослѣдствіи и люди нашлись... Вѣдь вездѣ живутъ люди, какъ справедливо гласитъ пословица.

О Крутицынѣ я не имѣлъ никакихъ слуховъ. Взялъ ли онъ въ руки «знамя» и высоко ли его держалъ—никому до этого дѣла въ то время не было, и ни въ какихъ газетахъ о томъ не возвѣщалось. Тихо было тогда, безмолвно; человѣкъ могъ держать «знамя» и даже въ-одиночку обѣдать во фракѣ и въ бѣломъ галстукѣ—никто и не замѣтитъ. И во фракѣ обѣдай, и въ халатѣ—какъ хочешь; послѣдствія все одни и тѣ же. Даже умываться или не умываться предоставлялось личному произволенію.

Я не сомнѣвался, однако-жъ, что Валерушка устроился хорошо и не утратилъ душевнаго равновѣсія. Вѣроятно, онъ предводительствуетъ въ «своемъ мѣстѣ», думалось мнѣ, когда воспоминаніе о немъ случайно западало мнѣ въ голову. А предводительство, по его мнѣнію, само по себѣ уже есть «дѣло», которому стоитъ посвятить жизнь. Мало ли у предводителя обязанностей? И ходатайствовать, и настаивать, и отстаивать, и, наконецъ, «фыркать». Съ утра до вечера—сущая толчея. Такъ что когда наступитъ ночь, и случайно вздумаешь дать себѣ отчетъ въ прожитомъ днѣ, то не успѣешь и перечислить всего совершеннаго, какъ благодѣтельный сонъ уже спѣшитъ смежить глаза, чтобъ вознаградить усталый организмъ за претерпѣнную дневную сутолоку.

Цѣлыхъ восемь лѣтъ я велъ скитальческую жизнь въ глухомъ краю. И возлежалъ на лонѣ у начальника края, и былъ отметаемъ отъ онаго; былъ и украшеніемъ общества, и заразою его; и удачи, и невзгоды—все испыталъ,

что можно испытать на стражѣ обязательной службы, среди не особенно брезгливыхъ по служебной части коллегъ. Конца этому положенію я не предвидѣлъ. Сначала дѣлалъ нѣкоторыя попытки, чтобы высвободиться, но чѣмъ дальше шелъ вглубь, тѣмъ болѣе и болѣе обживался. Даже солонину и огурцы солилъ впрокъ и вообще зажилъ своимъ домомъ, хотя былъ совсѣмъ одинокъ. И теперь вспоминаю объ этомъ времени съ какимъ-то сомнѣніемъ, дѣйствительно ли оно было.

Наконецъ, искусъ кончился. Конецъ пришелъ такъ же случайно, какъ случайно пришло и начало. Я оставилъ далекій городъ точно въ забытьѣ. Въ то время тамъ еще ничего не было слышно о новыхъ вѣяніяхъ, а тѣмъ болѣе о какихъ-то ломкахъ и реформахъ. Достовѣрно было только, что чиновникамъ предоставлено, вмѣсто прежнихъ мундировъ и вицмундировъ, носить мундирные кафтаны и вицекафтаны. Нѣсколько сутокъ я ѣхалъ, не отдавая себѣ отчета, что со мной случилось и что ждетъ меня впереди. Но, добравшись до Москвы, я сразу нюхнулъ свѣжаго воздуха. Несмотря на то, что у меня совсѣмъ не было тамъ знакомыхъ, или же предстояло разыскивать ихъ, я понялъ, что Москва уже не прежняя. На Никольской появилось Чижовское подворье, на Софійкѣ — Ломакинскій домъ съ зеркальными окнами. По Ильинкѣ, Варваркѣ и вообще въ Китай-городѣ проѣзду отъ ломовыхъ извозчиковъ не было—все благовонные товары везли: стало-быть, потребность явилась.

Еще не такъ давно такъ-называемыя «машины» (органы) были изгнаны изъ трактировъ; теперь Московскій трактиръ щеголялъ двумя машинами, Новотроицкій—чуть не тремя. Отобѣдавши раза три въ общихъ залахъ, я наслушался того, что ушамъ не вѣрилъ. Говорили, что вопросъ о разрѣшеніи курить на улицахъ уже «прошелъ», и что затѣмъ на очереди поставленъ будетъ вопросъ о снятіи запрещенія носить бороду и усы. Говорили смѣло, рѣшительно, не опасаясь, что за такія рѣчи пригласятъ къ генералъ-губернатору. Въ заключеніе желѣзный путь отъ Москвы до Петербурга былъ уже открытъ.

Хорошее это было время, гульливое, веселое. Денегъ было много, а ежели у кого и оказывалась недостача, то это значило передъ деньгами. Пріятели, на радостяхъ, охотно давали взаймы, въ трактирахъ—охотно вѣрили въ долгъ. И притомъ, много ли нужно человѣку, особливо мо-

сковскому?—рюмка, двѣ рюмки, три рюмки—вотъ онъ и пьянъ. Потому что у него внутри ужъ гнѣздо заведено. А на закуску — кусочекъ хлѣба съ крошечнымъ ломтикомъ ветчины. И этого достаточно, потому что водка сама по себѣ насыщаетъ. Даже половые встрепенулись и летали по заламъ трактировъ съ сіяющими лицами, довольные и счастливые, что, наконецъ, узы разорваны и наступило время настоящей «вольной» работы. И они высоко держали своего рода «знамя».

Прибавьте ко всему этому прибаутки Кокорева, его возню съ севастопольскими героями, угощенія, увеселительныя поѣздки по Николаевской желѣзной дорогѣ, кутежи въ Ушакахъ,—и согласитесь, что бѣдному провинціалу было отъ чего угорѣть.

Когда я добрался до Петербурга, то тамъ куренье на улицахъ было уже въ полномъ разгарѣ, а бороды и усы стали носить даже прежде, нежели вопросъ объ этомъ «прошелъ». Но всего болѣе занималъ здѣсь вопросъ о прессѣ. Несмотря на то, что цензура не была еще упразднена, печать ужъ повысила тонъ. Въ особенности провинціальная юродивость всплыла наружу, такъ что городничіе, исправники и даже начальники края не на шутку задумались. Затѣивались новыя періодическія изданія, и въ особенности обращалъ на себя вниманіе возникавшій «Русскій Вѣстникъ». При этомъ Петербургъ завидовалъ Москвѣ, въ которой существовалъ совершенно либеральный цензоръ, тогда какъ въ Петербургѣ цензора все еще словно не вѣрили превращенію, которое въ ихъ глазахъ совершалось. Что касается устности, то она была просто безпримѣрная. Высказывались такія сужденія, говорились такія рѣчи, что хоть бы въ Парижѣ, въ Бельвиллѣ. Словомъ сказать, пробужденіе было полное, и, разумѣется, одно изъ первыхъ украшеній его составлялъ тогдашній premier amoureux, В. А. Кокоревъ, который на своемъ образномъ языкѣ называлъ его «постукиваньемъ».

Петербургъ былъ переполненъ наѣзжими провинціалами. Всѣ, у кого водилась лишняя деньга, или кто имѣлъ возможность занять,—всѣ устремлялись въ Петербургъ, къ источнику. Одни пріѣзжали изъ любопытства, другіе—потому, что ужъ очень забавными казались «благія начинанія», о которыхъ чуть не ежедневно возвѣщала печать; третьи, наконецъ,—въ смутномъ предвидѣніи какой-то угрозы. Крутицынъ былъ тоже въ числѣ пріѣзжихъ, и однажды, въ *театрѣ, я* услыхалъ сзади знакомый голосъ:

— А! Мельмотъ-скиталецъ! Наконецъ!..

Мы встрѣтились радушно и просто, какъ будто разстались только вчера. Крутицынъ попрежнему глядѣлъ счастливо, такъ что сразу было видно, что онъ вполнѣ доволенъ своимъ положеніемъ. На щекахъ его игралъ румянецъ, въ волосахъ — ни признака сѣдины или другого ущерба; походка такая же легкая, съ пріятнымъ перевальцемъ, какъ восемь лѣтъ тому назадъ; нигдѣ ни малѣйшей обрюзглости и отяжелѣлости; одѣтъ безъ франтовства, но безукоризненно. Вообще онъ не только не постарѣлъ, а какъ будто даже помолодѣлъ. Напротивъ того, я, судя по его словамъ, и похудѣлъ, и обрюзгъ, и постарѣлъ.

— Видно, на окраинахъ-то живется не совсѣмъ припѣваючи?—молвилъ онъ, осматривая меня.

— Что же ты не прибавляешь: самъ виноватъ!—пошутилъ я въ отвѣтъ.

— Я, голубчикъ, держусь того правила, что каждый самъ лучше можетъ оцѣнивать собственные поступки. Ты знаешь, я никогда не считалъ себя судьей чужихъ дѣйствій,—при этомъ же убѣжденіи остался я и теперь.

Я узналъ, что онъ пріѣхалъ на короткое время и остановился въ гостиницѣ. Не столько дѣла привлекли его, сколько любопытство. Какія могли быть у него дѣла съ бюрократіей? — конечно, никакихъ! Но для любознательности поводовъ было достаточно, и онъ не отрицалъ, что въ обществѣ проснулось нѣчто въ родѣ самочувствія. Не лишнее было принять это явленіе въ соображеніе, въ виду «знамени», которое онъ держалъ, и, быть-можетъ, даже воспользоваться имъ на вящее преуспѣяніе излюбленныхъ интересовъ.

— Здѣсь очень забавно,—выразился онъ чуть-чуть иронически:—курятъ на улицахъ такъ, что, того гляди, сводъ небесный закоптятъ. И бороды отпустили—узнать мудрено. Одинъ Кокоревъ, съ своими героями, чего стоитъ! Заглядѣться можно!

— А пресса-то, пресса!—подстрекнулъ я.

— Ну, да, и пресса недурна. Что же! пускай бюрократы побезпокоятся. Вообще, любопытное время. Немножко какъ будто сумбуромъ отзывается, но... ничего! Я, по крайней мѣрѣ, не раздѣляю тѣхъ опасеній, которыя высказываются нѣкоторыми изъ людей одного со мною лагеря. Нигдѣ въ Европѣ нѣтъ такой свободы, какъ въ Англіи, и между тѣмъ нигдѣ не существуетъ такого правильнаго теченія

жизни. Стало-быть, и мы можемъ ждать, что когда-нибудь внезапно смѣшавшіеся элементы жизни размѣстятся по своимъ мѣстамъ.

Кромѣ того, я узналъ, что онъ женился. И теперь, въ Петербургѣ, онъ съ женой, но она уѣхала на вечеръ къ сестрѣ, а онъ предпочелъ театръ.

— Хорошая у меня жена, умница!—прибавилъ онъ съ видимымъ удовольствіемъ.

— Итакъ, ты счастливъ?

— То-есть, доволенъ, хочешь ты сказать? Выраженій, въ родѣ: «счастье», «несчастье», я не совсѣмъ могу взять въ толкъ. Думается, что это что-то пришедшее извнѣ, взятое съ бою. А довольство естественнымъ образомъ залегаетъ внутри. Его, собственно говоря, не чувствуешь; оно само собой разливается по существу и дѣлаетъ жизнь удобною и пріятною.

Сказавши это, онъ пожалъ мнѣ руку и удалился, при чемъ не спросилъ, гдѣ я живу, да и самъ не пригласилъ меня къ себѣ. Очевидно, довольство настолько овладѣло имъ, что онъ утратилъ даже представленіе о какомъ-либо иномъ обществѣ, кромѣ общества «своихъ».

Тѣмъ не менѣе я не утерпѣлъ и на другой же день, довольно рано, уже былъ у него.

Крутицынъ весь сіялъ счастьемъ,—это съ перваго взгляда бросалось въ глаза. Было часовъ около одиннадцати; но и онъ, и жена его уже держали свое «знамя». Она, прелестная, свѣжая, благоухающая, сидѣла у круглаго стола и разливала чай. Крутицынъ правду сказалъ: по всѣмъ ея движеніямъ, неторопливымъ и плавнымъ, видно было, что она «умница«. И ѣла, и пила она настоящимъ образомъ, не жеманилась, не играла ложкой, не стыдилась, какъ бы говоря: это я случайно пью чай и булку съ масломъ ѣмъ, а обыкновенно я питаюсь эѳиромъ! И ѣла, и пила какъ всѣ смертные, и даже мнѣ, безъ предварительныхъ разспросовъ, налила чашку,—все какъ слѣдуетъ умницѣ. Что касается до него, то онъ, въ утреннемъ неглижѐ (tout-à-fait correct), помѣщался сбоку стола. Разумѣется, меня не ждали и какъ будто даже удивились, что я такъ поспѣшилъ.

— Мнѣ вчера еще Valérien говорилъ о васъ,—сказала она, когда Крутицынъ отрекомендовалъ меня:—и я очень рада познакомиться съ вами. Друзья моего мужа—мои друзья.

Я вспомнилъ подобную же сцену съ сестрою Крутицына,

и мнѣ показалось, что въ словахъ: «друзья моего мужа— мои друзья» сказалась такая же поэма. Только это одно нѣсколько умалило хорошее впечатлѣніе въ ущербъ «умницѣ», но, вѣроятно, тутъ уже былъ своего рода фатумъ, отъ котораго никакая выдержка не могла спасти.

Черезъ четверть часа «умница» скрылась въ сосѣднюю комнату, и мы остались одни. Я нѣкоторое время такъ пристально вглядывался въ Валерушку, что онъ, смѣясь, замѣтилъ:

— Ты что на меня такъ странно смотришь? Что-нибудь необыкновенное примѣтилъ?

— Нѣтъ, я просто угадать хочу.

— Что-жъ угадывать? Во мнѣ все такъ просто и въ жизни моей такъ мало осложненій, что и безъ угадываній можно обойтись. Я даже разсказать тебѣ о себѣ ничего особеннаго не могу. Лучше ты разскажи. Давно ужъ мы не видались, съ той самой минуты, какъ я высвободился изъ Петербурга—помнишь, ты меня проводилъ? Ну же, разсказывай: какъ ты прожилъ восемь лѣтъ? Что предвидишь впереди?..

Я разсказалъ, что могъ, но запасъ у меня былъ не особенно обильный. Въ десять-пятнадцать минутъ все было кончено.

Въ самомъ дѣлѣ, что я оставилъ позади за тѣ восемь лѣтъ, въ продолженіе которыхъ мы не видались?—воспоминаніе о какой-то безконечно-длинной и безсодержательной процедурѣ, до того однообразной, что она напоминала собой сказку о бѣломъ бычкѣ. Настолько была общеизвѣстна эта процедура, настолько всѣмъ надоѣла, что какъ только наступила благопріятная минута, всѣ взапуски спѣшили отдѣлаться отъ нея, какъ отъ кошмара. Что же касается до эпизодовъ и подробностей, которые оттѣняли одинъ день отъ другого, то они отзывались ужъ черезчуръ узкою спеціальностью и положительно никого не могли интересовать. Сегодня—слѣдствіе о вымогательствѣ, завтра—о сокрытіи, послѣзавтра—о превышеніи или бездѣйствіи, и т. д. Хвалиться, послѣ долгихъ лѣтъ разлуки, передъ пріятелемъ, сколько стоило труда и искусства, чтобы поймать, уличить и вообще довести, съ грѣхомъ пополамъ, какого-нибудь воришку-станового до вожделѣннаго 3-го пункта—право, не стоило. Съ другой стороны, и бесѣдовать о дешевизнѣ съѣстныхъ припасовъ было неинтересно. Какое дѣло Крутицыну до того, что въ городѣ Глазовѣ пара [illegible]

стоитъ семь копеекъ серебромъ? Все, что онъ можетъ сказать по поводу такихъ розсказней,—это:

— Дешевизна такъ неимовѣрна, что рябчики непремѣнно должны быть давленные, а не стрѣлянные. Во всякомъ случаѣ, ни одинъ порядочный поваръ не согласится подать давленную дичь на столъ.

— Нѣтъ, лучше о тебѣ будемъ говорить,—сказалъ я, истощивъ свой запасъ.

— Что-жъ я могу разсказать тебѣ? Какъ видишь: женатъ, счастливъ; восемь лѣтъ прошли какъ сонъ.

— Голубчикъ! вѣдь восемь лѣтъ не мало времени; положимъ, для меня, съ фактической стороны, они прошли почти безслѣдно. Существованіе мое было однообразное, подневольное и шло изо-дня-въ-день въ совершенно чуждой средѣ. Но и тутъ я убѣжденъ, что еще не успѣлъ разобраться въ недавнемъ прошломъ, и что впослѣдствіи оно все-таки откликнется. Выступятъ наружу личности, характеристики, освѣтятся факты, подробности, а за ними появится цѣлая свита ошибокъ. Сколько окажется поводовъ для самобичеванія, для укоровъ! Какія потрясающія драмы могутъ выплыть на поверхность изъ омута мелочей, которыя настолько переполняютъ жизненную обыденность, что ни сердце, ни умъ, въ минуту совершенія, не трогаются ими! Нѣтъ, перемѣна, происшедшая въ моемъ существованіи, такъ еще свѣжа,—всего нѣсколько мѣсяцевъ,—что я не успѣлъ еще присмотрѣться къ прошлому и не могу дать себѣ отчета, чѣмъ оно чревато, укорами или поощреніями. Напротивъ, ты...

— Мнѣ кажется, что ты ужъ черезчуръ трагически смотришь на вещи...

— Ну, будетъ; дѣйствительно, я что-то некстати развитійствовался. Разсказывай же, разсказывай о себѣ: какъ жилъ, что дѣлалъ?

— Какъ жилъ?—ну, жилъ, и больше ничего. Признаюсь, я даже не понимаю этого вопроса, и мнѣ кажется, что, гоняясь за разрѣшеніемъ его, tu cherches midi à quatorze heures. Смутно помнится, что мы уже однажды имѣли подобный разговоръ, и я объяснился съ тобою. Но ты, повидимому, неисправимъ. Итакъ, повторяю: я жилъ и не имѣю причины быть недовольнымъ моимъ прошлымъ. Быть-можетъ, что это происходитъ оттого, что я ничего особеннаго не требую, или оттого, что сама судьба меня приголубливаетъ,—во всякомъ случаѣ, я не жалуюсь и сознаю

себя вполнѣ удовлетвореннымъ. Однажды только я испыталъ серьезное горе—это когда умеръ отецъ, котораго я страстно любилъ. Но время сгладило и это горькое впечатлѣніе; у меня осталась мать, къ которой я также страстно привязанъ, и мы втроемъ живемъ душа въ душу: maman, жена и я. Жаль только, что съ сестрой приходится видѣться рѣдко, но тутъ ужъ ничего не подѣлаешь. Словомъ сказать, я живу семейно и согласно; а ежели въ домѣ царствуетъ согласіе, то и жизнь не можетъ не радовать. Достаточно это для тебя?

- Но вѣдь у тебя было дѣло? доволенъ ли ты имъ?

— И дѣло было, и надѣюсь, что и впередъ ему буду служить. И скажу безъ хвастовства, что сознательно противъ однажды усвоенной règle de conduite не поступалъ. Держать ввѣренное знамя—совсѣмъ не легкая задача, и я исполнялъ ее по мѣрѣ моихъ силъ. Я не кичился моими преимуществами, не пользовался ими въ ущербъ моимъ довѣрителямъ, не былъ назойливъ, съ полною готовностью являлся посредникомъ тамъ, гдѣ чувствовалась въ этомъ нужда, входилъ въ положеніе тѣхъ, которые обращались ко мнѣ, отстаивалъ интересы сословія вообще и интересы достойныхъ членовъ этого сословія въ частности—вотъ мое дѣло! Быть-можетъ, оно не блестяще, но удовлетворяетъ меня вполнѣ. И несмотря на кажущуюся простоту, оно порядочно-таки сложно, такъ что облѣниться или опуститься мнѣ не было времени. Вѣдь не только одна тишь да гладь царствовали, а были и шероховатости. Вспомни, что въ мою компетенцію входили не одни дворяне, но и крестьяне. Сверхъ того, и всѣ служащіе по выборамъ... Покойный отецъ сдѣлалъ многое, чтобы нашъ уѣздъ въ административномъ смыслѣ былъ безупреченъ, и я шелъ по стопамъ его. Неужели всего этого недостаточно?

— Помилуй! какъ недостаточно? Напротивъ!

— Ты иронизируешь? находишь, что все это мелочи? Но что же дѣлать, если ничего болѣе крупнаго въ жизни не видится?

— То-то вотъ и есть... отчего однѣ только мелочи? Отчего положеніе вещей остается на одной точкѣ, и ни на какой осязательный результатъ указать нельзя?

— Pardon! Выраженіе «мелочи»—сорвалось у меня съ языка. Въ сущности, я отнюдь не считаю своего «дѣла» мелочью. Напротивъ. Очень жалѣю, что ты затѣялъ весь этотъ разговоръ, и даже не хочу вѣрить, чтобы онъ могъ

серьезно тебя интересовать. Будемъ каждый дѣлать свое дѣло, какъ умѣемъ,—вотъ и все, что̀ нужно. А теперь поговоримъ о другомъ.

Мы поговорили еще минутъ десять о вчерашнемъ спектаклѣ и разстались.

Прошло цѣлыхъ тридцать лѣтъ, наполненныхъ какою-то пестротою, въ которой трудно было отыскать руководящую нить. Эпоха «постукиванья» миновала быстро; наступило суровое, безпощадное отрезвленіе, умѣряемое случайными и не всегда мотивированными возвратами къ лучшимъ временамъ. Въ воздухѣ чуть не каждый день оттепель смѣнялась жгучимъ холодомъ, и наоборотъ; но настоящіе теплые дни перепадали рѣдко. Эти перемѣны заставляли себя чувствовать тѣмъ болѣе мучительно, что наступали внезапно и вслѣдствіе чисто-внѣшнихъ, случайныхъ причинъ. Явленія, имѣвшія совершенно частный характеръ, обобщались и угнетающимъ образомъ отражались на цѣломъ жизненномъ строѣ. Жилось сомнительно, безъ увѣренности въ завтрашнемъ днѣ, безъ удовлетворенія днемъ настоящимъ. Знамёна, которыя всякій спѣшилъ выкинуть въ дни «возрожденія», вдругъ попрятались; самое представленіе о возрожденіи стушевалось и смѣнилось убѣжденіемъ, что ожиданіе дальнѣйшихъ развитій было бы ребячествомъ. Умы воротились къ старинной, излюбленной темѣ: какъ бы выйти неповрежденнымъ изъ сутолоки насущнаго дня. Въ прессѣ, рядомъ съ «рыбьимъ языкомъ», народился языкъ холопскій, претендовавшій на смѣлость, но, въ сущности, представлявшій смѣсь наглости, лести и лжи. «Улица» притихла.

Въ теченіе всего этого времени я былъ почти исключительно поглощенъ литературными занятіями. Скорбныхъ минутъ было не мало, но, по крайней мѣрѣ, поддерживалось горѣніе мысли—и за то спасибо. Всего мучительнѣе было то, что писатель не могъ опредѣлительно указать на своего читателя, такъ что голосъ его раздавался, такъ сказать, наудачу. Но, во всякомъ случаѣ, литературный трудъ самъ по себѣ представляетъ достаточно утѣшеній. Допустимъ, что на особенно плодотворные результаты разсчитывать нечего, но все-таки думается, что хоть что-нибудь, хоть штрихъ одинъ, хоть слабый звукъ—дойдетъ по адресу. Гудитъ и снуетъ безыменная толпа, совсѣмъ не подозрѣвая, что къ ней обращено горячее писательское слово,—и вдругъ выискивается адресатъ, который ловитъ это слово

на-лету... Это большое счастье, но въ то же время—надо сказать правду—и большая рѣдкость, потому что адресатъ робокъ и обнаруживать свои чувства не всегда считаетъ полезнымъ.

Повторяю: результаты моей дѣятельности были сомнительны, но существовалъ самый процессъ излюбленнаго литературнаго труда, и это до извѣстной степени удовлетворяло. Настоящее слово выговаривалось съ трудомъ, но попытки сказать его все-таки существовали. Еще не утрачена была возможность полемизировать, и творцы холопскаго языка чувствовали хоть какую-нибудь узду. Съ теченіемъ времени и эта возможность исчезла, и холопскій языкъ получилъ возможность всесильно раздаваться изъ края въ край, заражая атмосферу тлѣніемъ и посрамляя человѣческіе мозги.

Съ своей стороны Крутицынъ крѣпче, нежели когда-нибудь, держалъ свое знамя. Онъ понималъ, что плошать не слѣдуетъ, потому что въ пестрое время на первомъ планѣ стоитъ значеніе минуты и возможность ее уловить. Въ первый разъ пришлось ему постичь истинный смыслъ слова: «борьба», но, однажды сознавъ необходимость участія этого элемента въ человѣческой дѣятельности, онъ уже не остановился передъ нимъ, хотя, по обычаю всѣхъ ищущихъ душевнаго мира людей, принялъ его подъ другимъ наименованіемъ. Онъ называлъ борьбу отстаиваньемъ освященныхъ вѣками интересовъ и съ гордостью говорилъ, что его нельзя смѣшивать съ толпою безпокойныхъ, которая занималась отыскиваньемъ какихъ-то новыхъ общественныхъ идеаловъ и формъ. Онъ, по преимуществу, дѣйствовалъ на мѣстныя правящія сферы: убѣждалъ, приглашалъ оставить опасный путь и идти объ руку по стезѣ благонамѣренности. Но если это не удавалось, то, выждавъ «минуту», ѣхалъ въ Петербургъ и настаивалъ на своемъ. И такъ какъ выбранная минута была всегда такая, когда въ извѣстныхъ сферахъ было насчетъ благонамѣренности «твердо», то жертвъ этой настойчивости оказалось не мало.

Словомъ сказать, Крутицынъ былъ доволенъ и среди «своихъ» пользовался не только популярностью, но и любовью. Несмотря на почти непреодолимыя трудности, онъ создалъ изъ своего уѣзда дѣйствительный оазисъ, въ которомъ послѣ эмансипаціи ни одинъ помѣщикъ не продалъ ни пяди занадѣльной земли, въ которомъ господствовалъ преимущественно сиротскій надѣлъ, и уже зародились серьезные

задатки крупнаго землевладѣнія. Даже мелкія сошки куда-то исчезли; остались только настоящіе столпы, кровные деревенскіе джентльмены, которые обѣдали въ своихъ семьяхъ во фракахъ и бѣлыхъ галстукахъ.

Хотя въ Петербургъ онъ пріѣзжалъ довольно часто, но со мной уже не видался. Повидимому, дѣятельность моя была ему не по нраву, и хотя онъ не выражалъ по этому поводу своихъ мнѣній съ обычною въ такихъ случаяхъ ненавистью (все-таки старый товарищъ!), но въ глубинѣ души навѣрное причислялъ меня къ разряду неблагонадежныхъ элементовъ.

Отъ времени до времени мы видѣлись, но исключительно въ публичныхъ мѣстахъ, вполнѣ случайно, и безъ разговоровъ расходились, пожавъ другъ другу руки. Впрочемъ, о цѣляхъ его наѣздовъ въ столицу я почти всегда зналъ. Фамилія Крутицына пріобрѣла уже значительную извѣстность и встрѣчалась въ газетахъ наравнѣ съ фамиліями самыхъ горячихъ защитниковъ интересовъ консервативной партіи. Помнится, что онъ даже кой-что пописывалъ, хотя безъ особеннаго успѣха. Онъ значительно измѣнилъ свои прежнія убѣжденія относительно бюрократовъ и соглашался, что при извѣстныхъ условіяхъ между интересами бюрократическими и сословными не только не существуетъ ни малѣйшей розни, но, напротивъ, первые споспѣшествуютъ вторымъ, а вторые оплодотворяютъ первые. Поэтому онъ относился съ довѣріемъ даже къ департаментскимъ столоначальникамъ. Онъ ходатайствовалъ, подавалъ записки, добивался участія въ разнообразныхъ комитетахъ и комиссіяхъ и уже не стоялъ исключительно на сословной почвѣ, но выказывалъ намѣреніе перейти на почву общегосударственную.—Сословная обезпеченность можетъ быть достигнута только при соотвѣтствующемъ устройствѣ всего государственнаго уклада,—настаивалъ онъ, и слова его, будучи, въ сущности, самымъ ординарнымъ общимъ мѣстомъ, считались мудрыми. Ему неоднократно предлагали мѣсто губернатора и даже выше, но онъ наотрѣзъ отказывался. Въ этомъ отношеніи онъ остался вѣренъ отцовскимъ «принципамъ» и находилъ, что сословная честь требуетъ неизмѣнной преданности исключительно сословному знамени.

Раза два-три я встрѣчался съ нимъ за границей, преимущественно въ Эмсѣ, куда онъ отъ времени до времени ѣздилъ (всегда въ сопровожденіи жены), чтобы подлѣчить какую-то неисправность въ легкихъ. Здѣсь, благодаря пол-

ному досугу, онъ былъ менѣе сдержанъ и охотно возвращался къ дружескимъ собесѣдованіямъ. Разговоры наши, впрочемъ, не касались «знамени», ни вообще внутренней политики, а вращались исключительно около кулинарныхъ интересовъ. Гдѣ лучше обѣдать: въ «Hôtel Vierjahreszeiten» или въ кургаузѣ? А, можетъ-быть, еще лучше — съ утра разузнавать по извѣстнымъ отелямъ: въ которомъ изъ нихъ предполагается наиболѣе подходящій обѣдъ? Крутицынъ отзывался о нѣмецкой кухнѣ не только безъ презрѣнія, какъ это дѣлаетъ большинство русскихъ гастрономовъ, но даже хвалилъ ее. И она, съ своей стороны, способствовала душевной ясности, перевариваясь легко, безъ желудочныхъ переполоховъ.

— Во всякомъ обѣдѣ найдешь два-три блюда очень приличныхъ,—говорилъ онъ:—и притомъ такихъ, отъ которыхъ не чувствуется въ желудкѣ никакой тяжести. Все здѣсь такъ устроено, чтобы питаніе, безъ ущерба въ гастрономическомъ смыслѣ, не вредило лѣченію, но, напротивъ, содѣйствовало.

— Да, голубчикъ, огражденіе интересовъ желудка—это въ своемъ родѣ знамя,—поддакивалъ я ему.

— У насъ, гдѣ-нибудь во Владикавказѣ, непремѣнно свининой отпотчуютъ или солониной накормятъ, а здѣсь даже menus въ табль-д'отахъ составляется не иначе, какъ подъ наблюденіемъ водяного комитета.

— Да, но вѣдь и свинина вкусна?..

— Вкусна—не спорю! но въ гигіеническомъ смыслѣ...

Стало-быть, и въ кулинарномъ отношеніи онъ былъ счастливъ: желудокъ въ исправности! Многіе этого блага съ дѣтскихъ лѣтъ добиваются, да такъ и сходятъ въ могилу съ желудочнымъ засореніемъ.

Сверхъ того, онъ былъ горячій поклонникъ Бисмарка и выражался о немъ:

— Это человѣкъ!

И въ этомъ я ему не препятствовалъ, хотя, въ сущности, держался совсѣмъ другого мнѣнія о хитросплетенной дѣятельности этого своеобразнаго генія, запутавшаго всю Европу въ какія-то невылазныя тенёта. Но свобода мнѣній—прежде всего, и мнѣ не безъ основанія думалось: вѣдь оттого не будетъ ни хуже, ни лучше, что два русскихъ досужихъ человѣка начнутъ препираться о качествахъ человѣка, который простеръ свои длани на востокъ и на западъ,—такъ пускай себѣ...

Повторяю: наши собесѣдованія были легкія, гигіениче-

скія, и Крутицынъ былъ, повидимому, благодаренъ, что я не переношу ихъ на другую почву.

Однажды, однако-жъ, я не вытерпѣлъ и спросилъ его:

— Правда ли, что ты считаешь меня неблагонадежнымъ элементомъ?

— Mais puisque tu demandes cent milles têtes à couper!

— Фу ты!

Отвѣтъ его былъ нѣсколько придурковать, но такъ какъ онъ, видимо, былъ счастливъ, выказавъ нѣчто похожее на остроуміе, то я не возражалъ дальше. Счастье такъ счастье!— пусть выпиваетъ чашу ликованія до дна!

Нѣсколько разъ я порывался спросить его, что онъ дѣлаетъ въ «своемъ мѣстѣ», и подвинулось ли хоть на вершокъ что-нибудь, вслѣдствіе его настояній, отстаиваній, ходатайствъ и вообще вслѣдствіе той сутолоки, которой онъ неустанно предается ради излюбленнаго «знамени»; но, предвидя тотъ же стереотипный отвѣтъ, который и прежде слыхалъ отъ него, воздержался.

Впрочемъ, и за границей всегда такъ случалось, что постепенно наѣзжали на воды люди, связанные съ Крутицынымъ болѣе интимнымъ образомъ, нежели я, и тогда онъ незамѣтно исчезалъ для меня въ толпѣ «своихъ».

Гораздо позднѣе я узналъ, что счастье его усугубилось: онъ позналъ свѣтъ истины. Молодость уже миновала (Крутицыну было подъ шестьдесятъ), да кстати подросъ и сынъ,—у него ихъ было двое, но младшій не особенно радовалъ,—которому онъ и передалъ изъ рукъ въ руки дорогое знамя, въ твердой увѣренности, что молодой человѣкъ будетъ держать его такъ же высоко и крѣпко, какъ держали отецъ и дѣдъ. Самъ же Валерьянъ Сергѣичъ безповоротно заключился въ своемъ château и исключительно предался осѣнившему его душевному обновленію. Сначала онъ отдался спиритизму, потомъ сдѣлался ревностнымъ редстокистомъ, а, наконецъ, и самъ началъ кой-что придумывать. Сложится у него въ головѣ какой-нибудь произвольный афоризмъ—онъ и исповѣдуетъ его, не останавливаясь передъ самыми крайними выводами. Разсказывали, что по вечерамъ въ обширномъ залѣ его château собирались домочадцы, начиная отъ жены, дѣтей, гувернантокъ и боннъ и кончая низшей прислугой. Ставился аналой· Крутицынъ надѣвалъ черную ряску, выбиралъ главу изъ евангелія и толковалъ ее, разумѣется, въ смыслѣ излюбленнаго афоризма. Толкованія эти продолжались часъ и

два; слушатели, конечно, не прекословили, а только вздыхали. И онъ былъ счастливъ безмѣрно.

Въ эпохи нравственнаго и умственнаго умаленія, когда реальное дѣло выпадаетъ изъ рукъ, подобныя фантасмагоріи совершаются нерѣдко. Не находя удовлетвореній въ дѣйствительной жизни, общество мечется наудачу и въ изобиліи выдѣляетъ изъ себя людей, которые съ жадностью бросаются на призрачныя выдумки и въ нихъ обрѣтаютъ душевный миръ. Ни споры, ни возраженія тутъ не помогаютъ, потому что, повторяю, въ самой основѣ новоявленныхъ вѣроученій лежитъ не сознательность, а призрачность. Нуженъ душевный миръ—и только.

Нельзя даже съ увѣренностью сказать, какъ относятся сами выдумщики афоризмовъ къ своимъ выдумкамъ: сознаютъ ли они себя способными поддержать ихъ, или послѣднія приходятъ къ нимъ случайно и принимаются исключительно на вѣру. Скорѣе всего, въ этихъ случаяхъ наиболѣе рѣшительнымъ образомъ вліяетъ безпріютность жизни, умственная распатанность и полное отсутствіе реальныхъ интересовъ. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, безсрочно удовлетворяться культомъ какого-то «знамени», которое и само по себѣ есть не что иное, какъ призракъ, и продолжительное обращеніе съ которымъ можетъ служить только въ смыслѣ подготовки къ другимъ призракамъ. Поэтому переходъ отъ «знамени» къ спиритизму, редстокизму и къ исповѣданію такихъ истинъ, какъ «уши выше лба не растутъ» или «терпѣніе все преодолѣваетъ», вовсе не такъ неестественъ, какъ это кажется съ перваго взгляда...

Въ послѣдній разъ я видѣлся съ Крутицынымъ недавно. Я былъ уже во власти неизлѣчимаго и тяжкаго недуга, какъ онъ совершенно неожиданно навѣстилъ меня.

Пріѣхалъ онъ въ Петербургъ по крайнему случаю. Въ первый разъ въ жизни онъ испыталъ страшное горе: у него застрѣлился младшій сынъ, прекрасный и многообѣщавшій юноша, которому едва минуло восемнадцать лѣтъ.

Молодой человѣкъ не успѣлъ еще сойти со школьной скамьи, а въ существованіе его уже закралась двойственность. Повидимому, онъ не такъ легко, какъ отецъ и старшій братъ, принималъ на вѣру розсказни о свойствахъ «знамени», и та обязательность, съ которою послѣднія принимались въ родной семьѣ, сильно смущала его. Самъ ли онъ дошелъ до какихъ-то неясныхъ сомнѣній, или былъ

наведенъ на нихъ постороннимъ вліяніемъ,—во всякомъ случаѣ, въ немъ совершился внезапный и рѣзкій переломъ. Онъ рано началъ анализировать свою жизнь, рано сталъ вглядываться въ ожидавшее его будущее, такъ что въ ту цвѣтущую пору, когда испытываются одни радованія жизни, онъ былъ уже угрюмъ и нелюдимъ. За нѣсколько дней до катастрофы, онъ окончательно задумался и затосковалъ. Приходя по праздникамъ къ сестрѣ, онъ невпопадъ отвѣчалъ на дѣлаемые ему вопросы, забивался въ уголъ и молчалъ. Страшно подумать, что въ восемнадцать лѣтъ жизнь можетъ опостылѣть и привести юношу исключительно къ тому, что онъ думаетъ только о томъ, какъ бы поскорѣе покончить разсчеты съ нею. Но въ наше время господства призраковъ и этотъ безпощадный призракъ перестаетъ казаться противоестественнымъ. Скука и душевное утомленіе такъ велики, что даже возможность иныхъ, болѣе радужныхъ перспективъ въ будущемъ искушаетъ очень слабо. Лёвушка Крутицынъ былъ мальчикъ нервный и впечатлительный: онъ не выдержалъ передъ мыслью о предстоящей семейной разноголосицѣ и поспѣшилъ произнести судъ надъ укоренившимися въ семьѣ преданіями, послалъ себѣ вольную смерть.

Старикъ Крутицынъ глубоко измѣнился, и я полагаю, что перемѣна эта произошла въ немъ именно вслѣдствіе постигшаго его горя. Онъ погрузился, волочилъ ногами и часто вздрагивалъ; лицо осунулось, глаза впали и были мутны; волосы въ безпорядкѣ торчали во всѣ стороны; нижняя губа слегка обвисла и дрожала.

— Здоровья тебѣ принесъ!—сказалъ онъ мнѣ, стараясь прибодриться:—еще не все для тебя кончено.

Онъ сѣлъ противъ меня, взялъ мои руки и, не выпуская ихъ, долго и пристально смотрѣлъ мнѣ въ глаза. И я увѣренъ, что въ эти минуты прошлое всецѣло пронеслось передъ нимъ, и онъ любилъ меня искренно, горячо.

Мы оба молчали. На этотъ разъ, впрочемъ, молчаніе было содержательнѣе, нежели самый содержательный разговоръ.

Наконецъ, вдоволь насмотрѣвшись, онъ всталъ и произнесъ:

— Ты, помнится, въ былое время спрашивалъ меня о результатахъ, какихъ я достигъ. Результаты—вотъ они! Дряхлая развалина и погибшій сынъ!

Съ этими словами онъ безнадежно-тоскливо покачалъ головой и, пошатываясь, пошелъ изъ комнаты.

Больше мы не видались.

V.

ИМЯРЕКЪ.

О, поле, поле, кто тебя
Усѣялъ мертвыми костями?..

Конецъ жизненнаго пути приближается... Онъ уже явственно мелькаетъ впереди, подобно тому, какъ передъ глазами путника, вышедшаго изъ лѣсной чащи, мелькаетъ сквозь рѣдколѣсье деревенское кладбище, охваченное рѣяніемъ смерти.

Имярекъ умираетъ.

Прародитель, лежа въ проказѣ на гноищѣ, у воротъ города, который видѣлъ его могущество, богатство и силу, навѣрное не страдалъ такъ сильно, какъ страдалъ Имярекъ, прикованный недугомъ къ покойному креслу, передъ письменнымъ столомъ, въ теплomъ кабинетѣ. Другія времена, другіе нравы, другія пѣсни.

Во-первыхъ, гноище въ то время совсѣмъ не представлялось такъ страшнымъ, какъ мы его живописуемъ. Вѣроятно, это было нѣчто въ родѣ больницы. Заболѣетъ кто-нибудь проказой (тогда и болѣзней другихъ не было, кромѣ проказы):—«ахъ, несите его поскорѣе на гноище!»—Снесутъ и предоставляютъ выздоравливать или умирать—какъ знаешь. Напротивъ того, нынче даже въ Калинкинскую больницу умирать не всякій идетъ. Гноищемъ сдѣлалась собственная квартира умирающаго, со всѣми удобствами и приспособленіями и даже съ сестрой милосердія для ухода. И за всѣмъ тѣмъ, это новое удобное гноище представляется намъ еще болѣе нестерпимымъ, нежели представлялось прародителямъ ихъ старое гноище.

Во-вторыхъ, не отъ одного развитія вкусовъ и требованій зависитъ увеличеніе суммы страданій, но и отъ того, что сами страдающіе организмы существенно измѣнились.

Прародитель имѣлъ организмъ первоначальный, непочатый; онъ не зналъ, что такое нервы, какія бываютъ бо-

лѣзни сердца, катарры легкихъ и т. п. Стало-быть, физическія боли были легче переносимы, нежели теперь. Но въ особенности было для него выгодно отсутствіе болей нравственныхъ, отъ которыхъ его спасалъ присущій древнему міросозерцанію законъ предопредѣленія. Напротивъ того, Имярекъ весь состоялъ изъ нервовъ; болѣзнь его заключалась въ нервномъ потрясеніи всего организма, осложненномъ и болѣзнью сердца, и катарромъ легкихъ, и проч. Словомъ сказать, цѣлая энциклопедія самыхъ жгучихъ болей поселилась въ немъ, держала скованнымъ и неотвязчиво сопровождала изо-дня-въ-день. Прародитель могъ отлежаться на гноищѣ; придутъ городскіе псы, залижутъ его раны—вотъ онъ и опять на ногахъ. Опять родной городъ дѣлается свидѣтелемъ его могущества, богатства и силы—до новой проказы. Имярекъ ничего подобнаго въ будущемъ не провидѣлъ, потому что и псовъ такихъ нынѣ нѣтъ, которые могли бы зализать тѣ раны, которыми онъ страдалъ. Правда, лампада его жизни еще не угасла, но она и не горѣла, а только чадила. Долго ли будетъ она продолжать чадить—этого онъ опредѣлить не могъ; но, по размышленіи, оказывалось, что гораздо было бы лучше, если бы процессъ этотъ кончился какъ можно скорѣе.

Въ-третьихъ, прародитель вѣрилъ въ свою невинность и могъ утѣшать себя этимъ. «Меня, по крайней мѣрѣ, то облегчаетъ,—говорилъ онъ себѣ,—что я невиненъ!» Имярекъ вообще не признавалъ ни виновности, ни невиновности, а видѣлъ только извѣстнымъ образомъ сложившееся положеніе вещей. Это положеніе было результатомъ цѣлой хитросплетенной сѣти фактовъ, крупныхъ и мелкихъ, разобраться въ которыхъ было очень трудно. Многіе изъ этихъ фактовъ прошли незамѣченными, многіе позабылись и, наконецъ, большинство хотя и было на виду, но спряталось такъ далеко и въ такихъ извилинахъ, что возстановить ихъ въ строгой логической послѣдовательности даже свободному отъ недуговъ человѣку было не легко. Чтобы измѣнить одну іоту въ этомъ положеніи вещей, надобно было употребить громадную массу усилій, а кромѣ того требовалась и масса времени. Цѣлую такую же жизнь нужно было мысленно пережить, да и то, собственно говоря, существеннаго результата едва ли бы можно было достигнуть. Нанесенное, въ минуту грубой запальчивости, физическое оскорбленіе такъ и осталось бы физическимъ оскорбленіемъ; сдѣланный въ незапамятныя времена пошлый поступокъ

такъ и остался бы пошлымъ поступкомъ. Просто, рядъ обусловленныхъ фактовъ. А для прародителя даже фактовъ не существовало: до такой степени все въ его жизни было естественно, цѣльно, плавно и невинно.

Въ-четвертыхъ, прародитель надѣялся, что явится въ свое время «вихрь» и разнесетъ всѣ недоразумѣнія, жертвою которыхъ онъ палъ. Онъ самъ не разъ былъ свидѣтелемъ появленія подобныхъ вихрей, видалъ ихъ собственными глазами. Имярекъ, воспитанный въ идеяхъ современнаго вольномыслія (не онъ одинъ, а *весь* въ этихъ идеяхъ воспитаны), относился къ «вихрямъ» равнодушно, не помнилъ, чтобы когда-нибудь видѣлъ ихъ, а потому и надѣяться на ихъ появленіе не могъ. Онъ зналъ, что въ условленный часъ придетъ докторъ и что-нибудь пропишетъ. Настоящимъ образомъ это прописанное не избавитъ его отъ страданій, но сдѣлаетъ послѣднія менѣе жгучими, дастъ возможность дождаться слѣдующаго дня. На слѣдующій день Имярекъ получитъ другое средствице, которое поможетъ дождаться еще слѣдующаго дня, и т. д. Вечеромъ, ложась спать, онъ будетъ думать: «черезъ семь часовъ опять утро, опять удручающій кашель, опять лѣкарство хоть бы семь-то часовъ спокойно проспать!» Утромъ, вставая съ постели, будетъ думать: «Вотъ и утро наступило! Ахъ, если бы поскорѣе оно прошло!» Затѣмъ—цѣлый день одиночества, унынія, тоски и, наконецъ, опять ночь. Зачѣмъ всѣ эти утра, дни и ночи смѣняютъ другъ друга? Что̀ дальше? Все это такіе вопросы, которые прародителю и во снѣ не снились. А между тѣмъ въ нихъ-то именно и замыкается все мученіе потухающей жизни.

Имярекъ мало-по-малу вступилъ въ тотъ фазисъ болѣзненнаго существованія, когда людямъ здороваго міра представляется возможнымъ и даже естественнымъ оказывать человѣку всякаго рода пренебреженіе. Можно помнить о немъ, но можно и забыть; можно интересоваться его положеніемъ, но можно и не интересоваться; можно навѣстить его, но можно и не навѣстить. Самъ по себѣ человѣкъ утрачиваетъ всякую цѣну или сохраняетъ ее лишь въ той мѣрѣ, въ какой это удобно для того или другого лица. Идетъ мимо старый знакомый, гуляетъ: —«А что̀, не зайти ли?»—и зайдетъ.

— А вы какъ будто похудѣли?

— Еще бы! Сколько времени не видались!

— Представьте себѣ, а мнѣ кажется, точно вчера я

васъ видѣлъ! Но при этомъ я долженъ сказать, что бывалъ бы у васъ чаще, да боюсь безпокоить!

— Ну, что ужъ...

— Да, похудѣли-таки вы. А все-таки, сравнительно съ прошлымъ годомъ—помните?—большой и даже очень большой успѣхъ! Ну, прощайте, я тороплюсь!

Возьметъ шляпу и уйдетъ. Но иногда и воротится.

— Да, чуть не забылъ вамъ разсказать, что у насъ въ сферахъ дѣлается... Умора!

— Не интересуетъ это меня.

— Не интересуетъ? Напрасно! Это васъ развлекало бы, дало бы пищу для вашей наблюдательности. Ну, такъ прощайте. Я, въ самомъ дѣлѣ, тороплюсь.

Метеоръ промелькнулъ и исчезъ. Только очень немногіе продолжаютъ видѣть въ Имярекѣ человѣка, болѣе нежели когда-либо нуждающагося въ сочувствіи. Но и у этихъ немногихъ дѣла. Дѣла загромоздили весь досугъ; не осталось ни одной свободной минуты. Онъ одинъ, Имярекъ, совсѣмъ свободенъ; для него одного предоставленъ безконечный досугъ, формулируемый словами: забвенье, скука, тоска.

На дворѣ конецъ ноября, но зимы еще нѣтъ. День продолжается всего четыре часа, да и то мутный, наводящій унынiе. Въ третьемъ часу зажигаютъ огни, а вмѣстѣ съ ними обостряется и тоска. Всѣ боли чувствуются вдвойнѣ; несмотря на безусловный покой, организмъ пораженъ усталостью. Пробуждается память прошлаго, припоминаются недавнія связи, недавняя возможность передвиженія, участія въ жизни. Встаютъ обиды, подозрительность, опасенія... Въ сущности, положеніе и безъ того безнадежно, но кажется, что завтра ему предстоитъ сдѣлаться еще болѣе безнадежнымъ. До какихъ поръ дойдетъ это ухудшеніе? Ужели до гноища?

Въ безконечные зимніе вечера, когда бѣлесоватыя сумерки дня смѣняются черною мглою ночи, Имярекъ невольно отдается осаждающимъ его думамъ. Одиночество или, точнѣе сказать, оброшенность, на которую онъ обреченъ, заставляетъ его обратиться къ прошлому, къ тѣмъ явленіямъ, которыя кружились около него и давили его своею массою. Что тамъ такое было? Къ чему стремились люди, которые проходили передъ его глазами, чего они достигали?

Въ отвѣтъ на эти вопросы, куда онъ ни обращалъ свои взоры, всюду видѣлъ мелочи, мелочи и мелочи... Сколько ни

припоминалъ существованій, вездѣ навстрѣчу ему зіяло безсмысленное слово: «вотще», которое разсѣевало окрестъ омертвѣніе. Жизнь стремилась въ даль безъ намѣченной цѣли, принося за собой не осязательные результаты, а утомленіе и измученность. Словомъ сказать, это была не жизнь, а особаго рода косность, наполненная призрачною суетою, которой только ради установившагося обычая присваивалось наименованіе жизни.

Портретная галлерея, выступавшая впередъ по поводу этихъ припоминаній, была далеко не полна, но дальше идти и надобности не предстояло. Сколько бы обликовъ ни выплыло изъ пучины прошлаго, всѣ они были бы на одно лицо, и разницу представили бы лишь подписи. Но не въ томъ сущность вопроса, что одна разновидность изнемогаетъ по-своему, а другая по-своему, а въ томъ, что всѣ онѣ одинаково только изнемогаютъ и одинаково тратятъ свои силы около крохъ и мелочей.

Старцы и юноши, люди свободныхъ профессій и люди ярма, люди бѣлой кости и чернь—все кружится въ одномъ и томъ же омутѣ мелочей, не зная, что собственно находится въ концѣ этой неусыпающей суеты, и какое значеніе она имѣетъ въ экономіи общечеловѣческаго прогресса.

Такова была среда, которая охватывала Имярека съ молодыхъ ногтей. Живя среди массы людей, изъ которыхъ каждый устраивался по-своему, онъ и самъ подчинялся общему закону разрозненности. Вмѣстѣ съ другими останавливался въ недоумѣніи передъ задачами жизни и не безъ унынія спрашивалъ себя:—ужели общее дѣло жизни въ томъ и состоитъ, что оно для всѣхъ одинаково отсутствуетъ?

Да, именно только въ этомъ. Разрозненность и отсутствіе живого дѣла, какъ содержаніе жизни; одиночество и оброшенность—какъ вѣнецъ ея.

Гдѣ же найти основы для общежитія? Откуда взяться элементамъ для жизненныхъ результатовъ, для прогресса?

Гнетомый этими мыслями, Имярекъ ближе и ближе всматривался въ свое личное прошлое и спрашивалъ себя: что такое «другъ» и «дружба» (этотъ вопросъ занималъ его очень живо—и какъ элементъ общежитія, и въ особенности потому, что онъ слишкомъ близко былъ связанъ съ его настоящимъ одиночествомъ)? Что такое представляетъ его собственная, личная жизнь? Въ чемъ состояли идеалы, которыми онъ руководился въ прошломъ? и т. д.

Были ли когда-нибудь у него друзья? Кажется, что-то

въ родѣ этого было. По крайней мѣрѣ, онъ помнитъ себя въ кругу живыхъ людей, связанныхъ съ нимъ общимъ трудомъ, общими жизненными волненіями. Даже теперь, въ томъ безусловномъ затишьѣ, которое охватило его со всѣхъ сторонъ, передъ нимъ вставали картины веселыхъ собесѣдованій и прочихъ упражненій, неразлучныхъ съ дружествомъ. Но этого мало: по временамъ прорывались и другіе, болѣе тонкіе, признаки дружества: выраженіе сочувствія къ его дѣятельности, образу мыслей, требованіе совѣта, постановка тревожащихъ совѣсть вопросовъ... Ужели этого не достаточно, чтобы наполнить самое широкое опредѣленіе дружества?

Но, постепенно погружаясь въ болѣзненный мракъ, онъ мало-по-малу сталъ разбираться въ хаосѣ понятій, большая часть которыхъ принимается и усваивается почти безъ всякой критики. Прежде всего онъ отдѣлилъ выраженія нравственнаго и умственнаго сочувствія, и рѣшилъ, что это явленіе совсѣмъ другого порядка, очень рѣдко соединяющееся съ понятіемъ о дружбѣ въ томъ смыслѣ, въ какомъ оно установилось для средняго уровня человѣческой жизни. Выраженія сочувствія могутъ радовать (а, впрочемъ, иногда и растравлять открытыя раны напоминаніемъ о безсиліи), но они ни въ какомъ случаѣ не помогутъ тому интимному успокоенію, благодаря которому, покончивши и съ дѣятельностью, и съ задачами дня, можешь сказать: «Ну, слава Богу! я покончилъ свой день въ мирѣ!» Такую помощь можетъ оказать только «дружба», съ ея предупредительнымъ вниманіемъ, съ обильнымъ запасомъ общихъ воспоминаній изъ далекаго и близкаго прошлаго,—однимъ словомъ, съ тѣмъ несложнымъ арсеналомъ теплаго участія, который не дастъ обильной духовной пищи, но несомнѣнно дѣйствуетъ ублажающимъ образомъ. Но что же, въ сущности, означаютъ выраженія: «другъ», «дружба»?

Обращаясь къ фактамъ, Имярекъ пришелъ къ убѣжденію, что у насъ, по крайней мѣрѣ, дружба имѣетъ подкладку по преимуществу матеріальнаго свойства. Друзья должны быть, прежде всего, здоровы, веселы, хлѣбосольны. А тонкій вкусъ въ ѣдѣ и въ винахъ, умѣніе разсказывать анекдоты, оживлять общество легкой бесѣдой—скрѣпляютъ дружбу и сообщаютъ ей оттѣнокъ присутствія нѣкотораго подобія мысли. Еще болѣе скрѣпляютъ дружбу взаимныя одолженія. Н. помогъ Т. проникнуть въ какое-то учрежденіе; взамѣнъ того, Т. помогъ Н. купить по случаю пару лошадей. С.

сбѣгалъ для Ф. за справкой въ управу благочинія; Ф. за такой же справкой для С. въ коммерческій судъ. Никакого «образа мыслей» тутъ не нужно; напротивъ, «образъ мыслей» только мѣшаетъ, производитъ расколъ, раздоръ, смуту.

Обыкновенно «дружба» начинается такъ. Встрѣчаются X. и Z. въ первый разъ у случайнаго знакомаго,— положимъ, хотя за обѣдомъ. X. въ этотъ день особенно въ ударѣ. Онъ сыплетъ остроуміемъ, разсказываетъ анекдоты, изъ которыхъ иные даже совсѣмъ новые. Хозяйка дома млѣетъ отъ ликованія; Z. превратился весь въ слухъ, даже ротъ разинулъ. Никогда время не шло такъ быстро, никогда обѣдъ не былъ такъ оживленъ. Хозяинъ мысленно говоритъ про X.: «вотъ настоящій другъ!» Z. даетъ себѣ слово сойтись съ X. и залучить его на свои субботніе обѣды. На этихъ обѣдахъ тоже весело, даже «сцены изъ народнаго быта» разсказываютъ,—но все-таки не то, что нынче. И вотъ, улучивъ послѣ обѣда минуту, Z. подходитъ къ X.:

— Очень пріятно было бы познакомиться,—говоритъ онъ.

— Что-жъ, познакомимтесь.

— У меня по субботамъ обѣдцы бываютъ, такъ вотъ... Впрочемъ, я надѣюсь на-дняхъ лично быть у васъ. Надѣюсь, что и жены наши...

— Что-жъ, и женъ одной веревочкой свяжемъ!—шутитъ X., уже провидя въ Z. будущаго друга.

Обмѣнялись визитами, сперва сами, потомъ жены, а наканунѣ одной изъ ближайшихъ субботъ X. получаетъ отъ Z. записку:

«Не пріѣдете ли завтра откушать запросто? Будутъ: тайный совѣтникъ Стрекоза, сенаторъ Чистописцевъ, нашъ общій другъ Сермягинъ и Иванъ Ѳедоровичъ Горбуновъ. Дамъ не будетъ, кромѣ жены, которая никого не стѣснитъ. Обѣдаемъ въ 6 часовъ».

Уже съ самой закуски начинается «дружба». Закуска великолѣпная. Свѣжая икра, янтарный балыкъ, страсбургскій паштетъ, сыры, сельди, грибы, рыжички... Но недостаетъ... семги! X. всего отвѣдываетъ, а нѣкотораго даже по два раза, но чувствуетъ, что чего-то недостаетъ. И, сознавая себя уже «другомъ», безъ церемоніи обращается къ хозяину:

— Прекрасная у васъ икра, да и вообще закуска... Но кабы ваша милость была сёмужкой попотчивать...

— Семги!—восклицаетъ встревоженный хозяинъ и съ нѣмымъ укоромъ смотритъ на жену.—Эй, Родивонъ! живо!

Таковы начальныя основанія истинной «дружбы».

Отдается приказаніе, бѣгутъ сломя голову въ ближайшую бакалейную лавку—и черезъ пять минутъ семга уже на столѣ. Сочная, розовая, тающая... масло! Словомъ сказать, сразу пріобрѣтается для дружбы такой фундаментъ, котораго никакіе ураганы не разрушатъ!

Были ли у Имярека такіе друзья? Былъ ли онъ самъ такимъ другомъ? Конечно, былъ, но чего-то какъ будто недоставало. Быть-можетъ, именно сёмужки. Онъ былъ когда-то здоровъ, но никогда настолько, чтобы быть настоящимъ другомъ. Онъ бывалъ и веселъ, но опять не настолько, сколько требуется отъ «друга». Анекдотовъ онъ совсѣмъ не зналъ, гастрономомъ не былъ, въ винахъ понималъ очень мало. Жилъ какъ-то особнякомъ, имѣлъ «образъ мыслей» и даже въ манерахъ сохранилъ нѣчто рѣзкое, несовмѣстное съ дружелюбіемъ.

Ясно, что если бы и могли, при такихъ условіяхъ, образоваться зачатки дружбы, то они не долго бы устояли въ виду такого испытанія, какъ тяжелая, безнадежная болѣзнь.

— Ну-съ, прощайте! Тороплюсь! — повторялъ онъ мысленно обычный посѣтительскій припѣвъ, и это было самое бо́льшее, на что́ онъ могъ въ настоящее время разсчитывать, съ точки зрѣнія дружества.

Говорятъ, будто и умственный интересъ можетъ служить связующимъ центромъ дружества; но, вѣроятно, это водится гдѣ-нибудь индѣ, на «теплыхъ водахъ». Тамъ существуетъ общее дѣло, а, стало-быть, есть и присущій ему общій умственный интересъ. У насъ все это въ зачаточномъ видѣ. У насъ умственный интересъ, лишенный интереса бакалейнаго, представляется символомъ угрюмости, безпокойнаго права и отчужденности. Понятно, что и дружелюбіе наше не можетъ имѣть иного характера, кромѣ бакалейнаго.

Затѣмъ Имярекъ подвергалъ анализу самую жизнь свою. Была ли эта жизнь такова, чтобы притягивать къ себѣ людей даже въ годину испытанія? Въ чемъ состояло ея содержаніе?

Какіе она дала результаты?

Увы! на всѣ эти вопросы онъ могъ дать отвѣты очень и очень сомнительнаго свойства...

Жизнь его была заурядная, сѣрая жизнь человѣка, отдавшаго себя извѣстной спеціальности. Онъ былъ писатель по природѣ (съ самыхъ юныхъ лѣтъ онъ тяготѣлъ къ лите-

ратурѣ), но ничего выдающагося не произвелъ и не «жегъ глаголомъ сердца людей». Правда, что въ каждой строкѣ, имъ написанной, звучало убѣжденіе, — такъ, по крайней мѣрѣ, ему казалось,—но убѣжденіе это, привлекая къ нему симпатіи однихъ, въ то же время возбуждало ненависть въ другихъ. Симпатіи утопали въ глубинахъ читательскихъ массъ, не подавая о себѣ голоса, а ненависть металась воочію, громко провозглашая о себѣ и посылая навстрѣчу угрозы. Около ненависти группировалась и обычная апатія средняго человѣка, который не умѣетъ ни любить, ни ненавидѣть, а поступаетъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ его жизнь не вкралось недоумѣніе или неудобство. Такое сомнительное содержаніе жизни Имярека должно было дать и соотвѣтственные результаты. А именно: въ смыслѣ общественнаго вліянія—полная неизвѣстность; въ смыслѣ личной жизни—оброшенность, пренебреженіе, почти поруганіе.

Имярекъ припоминалъ имена лицъ, бывшихъ, когда-то близкими ему,—и почти всюду встрѣчалъ хоть намеки на обстановку. Его же личная обстановка имѣла названіе: оброшенность. Да, есть извѣстная категорія дѣятелей (литературныхъ и иныхъ), которые никакого другого результата и достигнуть не могутъ. Недаромъ Некрасовъ называлъ «блаженнымъ» удѣлъ незлобиваго поэта, но и недаромъ онъ предпочелъ остаться вѣрнымъ «музѣ мести и печали». Послѣдняя вноситъ въ жизнь извѣстный ореолъ, который самой оброшенности можетъ сообщить характеръ гордости и силы. Но вѣдь на повѣрку все-таки выходитъ, что человѣкъ, даже осіянный ореоломъ, не перестаетъ быть обыкновеннымъ среднимъ человѣкомъ и въ концѣ концовъ ищетъ теплаго дружескаго слова, пожатія дружеской руки. Отсутствіе этихъ признаковъ среднечеловѣческаго существованія дѣйствуетъ такъ удручающе, что многихъ, несомнѣнно сильныхъ, заставляетъ отступать.

Къ счастію, Имярекъ, по самой природѣ своей, по всему складу своей жизненной дѣятельности, не могъ не остаться вѣрнымъ той музѣ, которая, однажды озаривъ его существованіе, уже не оставляла его. У него и другихъ словъ не было, кромѣ тѣхъ, которыя охарактеризовали его дѣятельность, такъ что если бы онъ даже хотѣлъ сказать нѣчто иное, то запутался бы въ своихъ усиліяхъ. Одного бы не досказалъ, въ другомъ перешелъ бы за черту и въ концѣ концовъ еще болѣе усилилъ бы раздраженіе.

Какіе же были идеалы, которые онъ лелѣялъ въ теченіе

своей жизни? Увы! Въ этомъ отношеніи онъ развивался очень медленно и трудно.

Еще въ ранней молодости онъ уже былъ идеалистомъ; но это было скорѣе сонное мечтаніе, нежели сознательное служеніе идеаламъ. Глядя на вожаковъ, онъ называлъ себя фурьеристомъ, но, въ сущности, смѣшивалъ въ одну кучу и сенъ-симонизмъ, и икаризмъ, и фурьеризмъ, и скорѣе всего примыкалъ къ сенъ-симонизму. Въ особенности его плѣняла Жоржъ-Зандъ въ своихъ первыхъ романахъ. Онъ зачитывался ими до упоенія, находилъ въ нихъ неисчерпаемый источникъ той анонимной восторженности, которая чаще всего лежитъ въ основаніи юношескихъ вѣрованій и стремленій. Были слова (добро, истина, красота, любовь), которыя производили чарующее дѣйствіе, которыя онъ готовъ былъ повторять безчисленное множество разъ, и слушая которыя былъ безконечно счастливъ. Если бы отъ него потребовали наполнить эти слова содержаніемъ, онъ удивился бы—до того они представлялись ему несомнѣнными и обязательными, до того его прельщалъ самый звукъ ихъ.

Но, повторяю, это было лишь сонное видѣніе, которое, впрочемъ, не мѣшало жить, «какъ другіе живутъ» (дѣло было въ самый разгаръ крѣпостного права и обязательной бюрократической дѣятельности), и которое разсѣялось при первомъ же столкновеніи съ дѣйствительностью. Столкновеніе это не замедлило.

По обстоятельствамъ, онъ вынужденъ былъ оставить среду, которая воспитала его радужныя сновидѣнія, товарищей, которые вмѣстѣ съ нимъ предавались этимъ сновидѣніямъ, и поселиться вглубь провинціи. Тамъ прежде всего его встрѣтило совершенное отсутствіе сновидѣній, а затѣмъ въ его жизнь шумно вторглась цѣлая масса мелочей, съ которыми волей-неволей приходилось считаться.

Юношескій угаръ соскользнулъ быстро. Понятіе о злѣ сузилось до понятія о лихоимствѣ, понятіе о лжи—до понятія о подлогѣ, понятіе о нравственномъ безобразіи — до понятія о безпробудномъ пьянствѣ, въ которомъ погрязало мѣстное чиновничество. Вмѣсто служенія идеаламъ добра, истины, любви и проч.—предсталъ идеалъ служенія долгу, буквѣ закона, принятымъ обязательствамъ и т. д.

Отдѣлялъ ли въ то время Имярекъ государство отъ общества — онъ не помнитъ; но помнитъ, что подкладка, осѣвшая въ немъ вслѣдствіе недавнихъ сновидѣній, не совсѣмъ еще была разорвана, что она оставила по себѣ два суще-

ственныхъ пункта: быть честнымъ и поступать такъ, чтобы изъ этого выходила наибольшая сумма общаго блага. А чтобы облегчить достиженіе этихъ задачъ на аренѣ обязательной бюрократической дѣятельности, — явилась на помощь и цѣлая своеобразная теорія.

Сущность этой теоріи заключалась въ томъ, чтобы практиковать либерализмъ въ самомъ капищѣ антилиберализма. Съ этою цѣлью предполагалось намѣтить покладистое вліятельное лицо, прикинуться сочувствующимъ его предначертаніямъ и начинаніямъ, сообщить послѣднимъ легкій либеральный оттѣнокъ, какъ бы исходящій изъ нѣдръ начальства (всякій мало-мальски учтивый начальникъ не прочь отъ либерализма), и затѣмъ, взявъ облюбованный субъектъ за носъ, водить его за оный. Теорія эта, въ шутливомъ русскомъ тонѣ, такъ и называлась теоріей вожденія вліятельнаго человѣка за носъ, или, учтивѣе: теоріей приведенія вліятельнаго человѣка на правый путь.

Въ оправданіе этой теоріи приводилось то соображеніе, что вся исторія русскаго прогресса шла именно такимъ путемъ. Либералъ прикидывался выполняющимъ предначертанія и затѣмъ сообщалъ этимъ предначертаніямъ тотъ смыслъ, который признавался наиболѣе полезнымъ. Не нужно дразнить, напротивъ, нужно сглаживать. Не нужно выставлять впередъ свою инціативу, а, напротивъ, дѣлать видъ, что самъ проникаешься начальственною инціативой. Тогда мало-по-малу образуется въ облюбованномъ человѣкѣ привычка либерализма, исчезнетъ страхъ передъ либеральными словами—и въ результатѣ получится прогрессъ.

Все въ этой теоріи казалось такъ ясно, удободостижимо и, вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ изобильно непосредственными результатами, что Имярекъ всецѣло отдался ей. Провинція опутала его сѣтями своей практики, которая даже и въ наши дни удѣляетъ не слишкомъ много мѣста для идеаловъ иной категоріи. Идеалъ вожденія за носъ былъ какъ разъ ей по плечу. Онъ не требуетъ ни борьбы, ни душевнаго горѣнія, ни жертвъ—одной только ловкости.

Имярекъ ничего этого не замѣчалъ. Ему предстояла дѣятельность, наполненная такими кипучими насущными подробностями, за которыми исчезала всякая руководящая нить. Дѣло сводилось къ личностямъ; порядокъ вещей ускользалъ изъ вида. Казалось, что преуспѣяніе пойдетъ шибче и дѣйствительнѣе, ежели станового Зябликова замѣ-

нить становой Синицынъ. Синицынъ менѣе нахаленъ. Онъ не станетъ набрасываться, какъ волкъ на обывателей, не наполнитъ стана гамомъ скверныхъ словъ. Онъ будетъ имѣть въ виду начальственныя требованія и поставитъ себѣ въ обязанность проводить начальственную мысль. А ежели Синицынъ не оправдаетъ довѣрія, то можно и его смѣнить. Тѣмъ временемъ Зябликовъ, наголодавшись и нахолодавшись въ отставкѣ, раскается и явится какъ разъ кстати, чтобъ замѣнить Синицына.

Переливая такимъ образомъ изъ пустого въ порожнее, Имярекъ совсѣмъ забылъ о критической оцѣнкѣ новоявленной теоріи. А между тѣмъ это было далеко не лишнее. Независимо отъ того, что намѣченные носы не всегда охотно подчинялись операціи вожденія, необходимо было, однажды вступивъ на стезю уступокъ, улаживаній и урѣзываній, поступаться болѣе цѣльными убѣжденіями, измѣнять имъ. «Носы» подозрительны и требуютъ, чтобы вожаки отдавались имъ всецѣло, такъ сказать, не отлучались отъ нихъ. Чуть замѣшивалась въ этотъ двойственный союзъ третья, не вполнѣ подходящая, личность — и процессъ вожденія за носъ прекращался самъ собой. Вообще предпріятіе было скучное, хлопотливое, тяжелое. Приходилось слушать неумныя рѣчи, намеки, укоры, приходилось сознавать, что, въ сущности, господиномъ положенія остается все-таки «носъ», а вожакъ состоитъ при немъ лишь въ роли приспѣшника, чуть не лакея. Но тяжелѣе всего было то, что какъ ни своди дѣло къ личностямъ—изъ-за послѣднихъ все-таки выскакивалъ «порядокъ вещей», а тутъ уже прямо выказывалась полная несостоятельность усвоеннаго идеала. Не съ Зябликовыми и Синицыными можно достигнуть даже того скуднаго результата, который первоначально мелькалъ въ перспективѣ. Зябликовы и Синицыны настолько неразвиты, забиты и пьяны, что даже не могутъ понять, что отъ нихъ требуется какой-нибудь результатъ.

Таковъ былъ первый фазисъ теоретическихъ блужданій, среди которыхъ въ теченіе многихъ лѣтъ вращалась жизнь Имярека. Очевидно, это былъ фазисъ будничный, заурядный, свойственный каждому шустрому канцеляристу.

Затѣмъ Имярекъ вновь очутился въ центрѣ «большой дѣятельности» (въ отличіе отъ малой, провинціальной). Это было время, когда всѣ носы, и водящіе, и водимые, смѣ-

шались, когда мертвые встали изъ гробовъ и ринулись навстрѣчу проглянувшему лучу свѣта. Вмѣстѣ съ другими потянулся къ лучу и Имярекъ.

Эпоха возрожденія была довольно продолжительна, но она шла такъ неровно, что трудно было формулировать сколько-нибудь опредѣленно сущность ея. Возрожденіе — и рядомъ несомнѣнные шаги въ сторону и назадъ. Движеніе—и рядомъ застой. Надежды—и рядомъ отсутствіе всякихъ перспективъ. Ни положительные, ни отрицательные элементы не выяснились настолько, чтобы можно было сказать, какіе изъ нихъ имѣли преобладающее значеніе въ обществѣ. Мало этого: представлялось достаточно признаковъ для подозрѣнія, что отрицательные элементы восторжествуютъ, что на ихъ сторонѣ и соблазнъ, и выгода. Къ чести Имярека должно сказать, что онъ не уступилъ соблазнамъ, а остался вѣренъ возрожденію, движенію и надеждамъ.

Это было самое кипучее время его жизни, время страстной полемики, усиленной литературной дѣятельности, переходовъ отъ расцвѣтанія къ увяданію и проч. Во всякомъ случаѣ, не чувствовалось той пошлости, того разсудительнаго тупоумія, которое преслѣдовало его по пятамъ въ провинціи.

Лозунгъ его въ то время выражался въ трехъ словахъ: свобода, развитіе и справедливость. Свобода—какъ стихія, въ которой предстояло воспитываться человѣку; развитіе—какъ неизбѣжное условіе, безъ котораго никакое начинаніе не можетъ представлять задатковъ жизненности; справедливость—какъ мѣрило въ отношеніяхъ между людьми, такое мѣрило, за чертою котораго должны умолкнуть всѣ дальнѣйшія притязанія.

Тогда онъ былъ здоровъ, общителенъ и дѣятеленъ. Онъ и не подозрѣвалъ, что будущее готовитъ ему оброшенность . . . . . .

. . . . . .

И вотъ теперь, скованный недугомъ, онъ видитъ передъ собой призраки прошлаго. Все, что наполняло его жизнь, представляется ему сновидѣніемъ. Что такое свобода — безъ участія въ благахъ жизни? Что такое развитіе — безъ ясно намѣченной конечной цѣли? Что такое справедливость, лишенная огня самоотверженности и любви?

Слова, слова и слова...

Онъ чувствуетъ, что сердце его горитъ, и что онъ пришелъ къ цѣли поисковъ всей жизни, что только теперь его мысль установилась на стезѣ правды...

Онъ простираетъ руки, ищетъ отклика, онъ жаждетъ идти, возглашать...

И сознаетъ, что сзади у него повисъ ворохъ крохъ и мелочей, а впереди — ничего, кромѣ одиночества и обрюшенности..

КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ.

I.—Культурная тоска.

Я сидѣлъ дома и по обыкновенію не зналъ, что̀ съ собой дѣлать. Чего-то хотѣлось: не то конституціи, не то севрюжины съ хрѣномъ, не то кого-нибудь ободрать. Ободрать бы сначала, мелькнуло у меня въ головѣ; ободрать, да и въ сторону. Да по-нынѣшнему, такъ, чтобъ ни истцовъ, ни отвѣтчиковъ—ничего. Такъ, молъ, само собою случилось, поди, доискивайся! А потомъ, зарекомендовавши себя благонамѣреннымъ, можно и о конституціяхъ на досугѣ помечтать.

Будетъ ли при конституціяхъ казначей?—вотъ въ чемъ вопросъ. И вопросъ очень существенный, ежели принять въ соображеніе, что жизненные припасы съ каждымъ годомъ дѣлаются дороже и дороже, а потребности, благодаря развитію культурности, увеличиваются не по днямъ, а по часамъ. Чорта ли и въ конституціяхъ, ежели при нихъ должности казначея не полагается! Ободрать — вотъ это безподобно! Вотъ при «Уложеніи о наказаніяхъ» нѣтъ казначея, поэтому оно ни для кого и не лестно. Но, можетъ-быть, поэтому-то именно оно и дано намъ.

Я—человѣкъ культурный, потому что служилъ въ кавалеріи. И еще потому, что въ настоящее время заказываю платье у Шармера. И еще потому, что по субботамъ обѣдаю въ англійскомъ клубѣ. Приду въ пять часовъ, проберусь въ уголокъ на свое мѣсто и ѣмъ, покуда не запыхаюсь. Прежде, бывало, я разговаривалъ, а нынче—только ѣмъ.

Нынче въ англійскомъ клубѣ чиновники преобладаютъ. Длинные, сухіе, прожженые. Шепчутся другъ съ другомъ, судьбы по секрету рѣшаютъ, а на лбу между тѣмъ написано: «чего изволите?» Не разъ случалось заговаривать:—а принеси-ка, любезный... Посмотришь—анъ у него звѣзда сбоку пришпилена. Настоящихъ культурныхъ людей, утробистыхъ, совсѣмъ мало стало, да и тѣ, которые остались, въ конецъ развратились. Ѣдятъ разсѣянно, за чиновниками безпокойно слѣдятъ глазами словно думаютъ: что̀-то они

съ нами сдѣлаютъ? И глаза какіе-то подлые, ласковые у всѣхъ дѣлаются, когда съ ними какой-нибудь чиновный извергъ невзначай заговоритъ...

Говорятъ, будто утробистые люди частью въ Москву перебрались, частью у себя, по своимъ губернскимъ клубамъ засѣли. Тамъ будто бы они не только ѣдятъ и пьютъ, но и разговариваютъ. Только о губернаторахъ говорить не смѣютъ, потому что губернаторы строго за этимъ слѣдятъ. А о прочихъ предметахъ, какъ-то: объ икрѣ, о севрюжинѣ и даже о Наполеонѣ III — говори сколько угодно. Говорятъ, былъ даже такой случай: одинъ утробистый взялъ да вдругъ, ни съ того, ни съ сего, и ляпнулъ: «конституціи, говоритъ, желаю!» Туда-сюда — къ счастью, губернаторъ зналъ, что малый-то выпить любитъ, стало-быть, человѣкъ благонамѣренный.

— Пьянъ, старикъ, былъ?

— Точно такъ, ваше превосходительство, заставьте Бога за себя молить!

— Ну, Богъ проститъ — ступай! Только впередъ, коли чувствуешь, что пьянъ, сейчасъ бѣги домой и спать ложись!

— Радъ стараться, ваше превосходительство!

И такимъ образомъ вся эта исторія изморомъ кончилась. А будь-ка губернаторъ построже, да взгляни на дѣло съ точки зрѣнія «внутренней политики» — быть бы бычку на веревочкѣ! Фюить!

Ужъ не удрать ли, въ самомъ дѣлѣ, въ губернскій городъ Залупскъ? Хорошо тамъ. Утромъ всталъ, не торопясь умылся, не торопясь чаю напился — гляди-ко, ужъ двѣнадцать часовъ на дворѣ. Походилъ, посидѣлъ, покурилъ, посвисталъ, въ окошко поглядѣлъ: выкупныя-то свидѣтельства, кажется, еще не всѣ въ расходѣ? «Завтракать подано!» — гудитъ сзади холопскій басъ. Позавтракалъ, опять походилъ, покурилъ — одурь взяла: «эй, кто тамъ! тройку велѣть заложить!» И охъ! и ахъ! Эхъ вы, соколики!.. Безподобно! Воротился — ха! да никакъ ужъ обѣдъ на столѣ! Въ комнатахъ тепло, свѣтло! Щи, солонина съ хрѣномъ, поросенокъ съ кашей... по-русски! И какъ только ложкой стукнулъ — сейчасъ и гость на порогѣ. Ежели настоящій человѣкъ не наклюнулся, такъ секретарь какой-нибудь забѣжалъ. И все-то онъ тебѣ разскажетъ: кто кому рукой плюху далъ, кто кого калошей по лицу смазалъ. Заслушаешься и не замѣтишь, какъ на часахъ девять пробьетъ. Въ клубъ, сударь, въ клубъ! А тамъ ужъ всѣ въ

сборѣ и всѣ о давешнихъ плюхахъ разсказываютъ. И одинъ по одному—въ буфетъ да въ буфетъ. Постепенно да постепенно—и вдругъ... конституція! А что-жъ такое, что конституція! Коли ты пьянъ да благонамѣренъ—Христосъ съ тобой! Ступай домой, ложись спать—сномъ все пройдетъ.

Ахъ, хорошо!

Хорошо-то, хорошо, да, полно, такъ ли? Было такое времечко у насъ въ Залупскѣ, было—да не прошло ли оно? Не даромъ мой другъ, капитанъ Копейкинъ, пишетъ: «по ѣзди въ Залупскъ! у насъ, братъ, столько теперь поджарыхъ да прожженыхъ развелось — весь нашъ культурный клубъ испакостили!» Да; развелись-таки и тамъ. Ищутъ, нюхаютъ, законы подводятъ. Въ преферансъ съ тобой играютъ и черезъ часъ у тебя же въ квартирѣ поличнаго ищутъ. И въ клубы заползли: сперва одинъ, за нимъ другой, а потомъ, глядишь, и въ старшины попадать начали. Брякни-ка при немъ: «конституція!» — а онъ тебѣ: «вы, кажется, существующей формой правленія недовольны?..» А мнѣ что! Форма правленія — эка невидаль! Я такъ... самъ по себѣ... проваливай, братъ, проваливай!

То-то «проваливай»! Языкъ-то храбръ, коли заочно, а какъ до дѣла дойдетъ — пожалуй, онъ и не всякое слово выговоритъ. Иное вѣдь слово прямо къ отягченію служитъ,—попробуй-ка, выговори его! Да коли при этомъ ты еще не пьешь, да на дурномъ счету состоишь — сколько тебѣ ради этого слова слезъ потомъ пролить нужно будетъ, чтобъ прощенье испросить!

И надо сознаться, что во всемъ мы сами, утробистые, виноваты. Еще въ то время, когда «прожженые» только-что нарождаться въ губерніяхъ стали, — тогда надо было мѣры принимать. Явился прожженый — и съ Богомъ! Живите, сколько васъ есть, промежду себя. Играйте другъ съ другомъ въ преферансъ, ѣздите другъ къ другу въ гости, угощайтесь, упивайтесь, прелюбодѣйствуйте! Но въ нашъ культурный клубъ—ни-ни! Валяй, братцы, имъ черняковъ, чтобъ впередъ неповадно было! И жили бы прожженые особнякомъ, словно прокаженные...

Да, нынче утробистый человѣкъ гляди въ оба, несмотря на то, что ему благосклонно присвоено названіе культурнаго. Пришелъ ты въ клубъ—проходи бочкомъ, не задѣть бы вотъ этихъ двухъ выродковъ, которые по секрету о тебѣ между собой сужденіе имѣютъ. Ты его задѣнешь, а

онъ тебя смягчающихъ обстоятельствъ лишитъ. Сторонись же, иди бочкомъ къ буфету, пей молча водку и молча закусывай, потому что ежели ты разинешь ротъ—это можетъ вонъ тѣхъ двухъ выродковъ оскорбить, которые тоже по секрету разсуждаютъ, какому роду истребленія тебя подвергнуть! И такимъ образомъ, никого не задѣвши, садись, засучивай рукава и ѣшь. Ѣшь молча, и когда ѣда начнетъ одолѣвать тебя, то прилично вздыхай.

Много виноваты утробистые люди въ печальной судьбѣ своей, но съ другой стороны нельзя и осуждать ихъ строго. Прожженые люди, именно какъ внутренностные паразиты, проползли въ самое нутро культурныхъ людей. Я помню, какъ въ первый разъ къ намъ въ Залупскъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Солитеръ явился. Все благосклонности просилъ, всю надежду на земскую культурную силу полагалъ, да и о конституціяхъ самъ же первый заговорилъ. Да еще какъ заговорилъ-то! Съ хохотомъ, съ визгомъ, со свистомъ, со слюною... Въ лицахъ форму правленія представлялъ, пѣсни скоромныя пѣлъ, брудершафты предлагалъ! Ну, культурный человѣкъ и смякъ. Видитъ, что малый разухабистый: и сплясать, и спѣть, и соврать — на все первый сортъ. «Милости просимъ! прошу покорно! запросто! отобѣдать! да вечеркомъ... къ женѣ! да въ клубъ, ваше превосходительство, въ клубъ!» Ну, и пустили козла въ огородъ. А Солитеръ между тѣмъ, не будь простъ, послужилъ-послужилъ, да и цапъ-царапъ! «Вы, кажется, формой правленія недовольны?» Ахъ, прахъ-те побери! Я такъ... самъ по себѣ... а онъ: «форма правленія»!

А жены наши еще больше виноваты. Легкомысленны наши жены, ахъ, какъ легкомысленны! Прожженые такъ и вьются около нихъ, такъ и шепчутъ, и шепчутъ! У иной отъ этого шопота и грудочка поднимается, и глазки искрятся, и личико полымемъ пышетъ. «Ты что-жъ, душенька, мсьё Солитера къ намъ не пригласишь?» — Солитера! ахъ, сдѣлайте милость! Господинъ Солитеръ! милости просимъ! запросто! отобѣдать! вечеромъ... къ женѣ.

Нѣтъ, совсѣмъ у нынѣшнихъ культурныхъ людей ни esprit de corps, ни esprit de conduite нѣтъ. А прежнихъ утробистыхъ представителей культуры, съ жирными кадыками и пространными затылками, которые, завязавшись по горло салфеткой, ѣли и «независимо» сквернословили,— нѣтъ и въ поминѣ. Бывало, соберутся въ каре вокругъ

своихъ вольностей (такъ въ старину крѣпостное право называлось), да уставятся лбами — пушками ихъ не прошибешь! А нынче какой-нибудь дѣйствительный статскій совѣтникъ Солитеръ—и тотъ все въ одинъ моментъ развратилъ. Женъ и дѣвъ перепортилъ, птенцовъ расточилъ, старцамъ—показалъ фигу...

Поэтому нынѣшній культурный человѣкъ о вольностяхъ ужъ не думаетъ, а либо на теплыя воды удралъ, либо самъ въ «Солитеры» норовитъ. Только и слышишь окрестъ: «да отчего же не довѣряютъ намъ? да попробовали бы! да насъ только помани! да мы...» Что-жъ, если у васъ такая охота есть, — рапортуйте, любезные, другъ на друга, рапортуйте!

Фу, подлость! Живешь-живешь — и все на положеніи грудного ребенка находишься! Мнѣ вотъ пятьдесятъ лѣтъ, а я даже о конституціяхъ вволю наговориться не могу! Развѣ я что-нибудь говорю? Перемѣнить, что ли, я что-нибудь хочу? Да мнѣ—Христосъ съ вами! Я такъ... самъ по себѣ... разговариваю...

Хочешь сказать ему, этому Солитеру долговязому: да вы что, въ самомъ дѣлѣ, милостивый государь! да я самъ Государя моего дворянинъ! я въ кавалеріи, государь мой, служилъ! и хотя въ походахъ не бывалъ, но на походномъ положеніи и даже въ лагеряхъ... да-съ! Хочешь сказать— и молчишь. Потому что всюду, во всѣ клубы, во всѣ щели клубовъ — вездѣ Солитеры наползли и вездѣ соглядатайствуютъ. Смотрятъ и улыбаются, словно вотъ говорятъ: ты думаешь, мы не знаемъ, что у тебя въ затылкѣ шевелится? Все, мой другъ, знаемъ, и при случаѣ...

Вотъ это-то «при случаѣ» и сбиваетъ культурную спѣсь. Такъ оно ясно, несмотря на внѣшнюю таинственность, что даже клубные лакеи—и тѣ понимаютъ. Прежде, бывало,— кому первый кусъ?—ему, культурному человѣку, кому и по всѣмъ утробнымъ правамъ онъ слѣдуетъ. А нынче на культурнаго человѣка и смотрѣть не хотятъ — прямо ему, дѣйствительному статскому совѣтнику Солитеру, несутъ. Ну, и опѣшили культурные люди. — Позвольте, я вашему превосходительству рапортовать буду?—Рапортуй, братецъ, рапортуй!

Подлость, подлость и подлость! Скоро мы и не то услышимъ. — У меня, ваше превосходительство, сынъ превратными идеями занимается — не прикажете ли его подкузьмить?— отрапортуетъ культурный человѣкъ...—Фуй, мерзость!

Да, плохъ ты, культурный человѣкъ, совсѣмъ никуда не годишься! Никто съ тобой не разговариваетъ, вездѣ тебя обносятъ, женѣ твоей подлости въ уши нашептываютъ... Скучно, другъ! И дома у тебя тоска, и въ клубахъ твоихъ тоска, а въ собраніяхъ твоихъ (бывшихъ палладіумахъ твоихъ вольностей)—жгучее, надрывающее запустѣніе царствуетъ. Не метено, не чищено, сыро, грязно... Рапортуй, мой другъ, рапортуй!

И именно съ тѣхъ поръ ты и смякъ, какъ тебя культурнымъ человѣкомъ назвали. Культурность обязываетъ. Теперь и ты, и дѣйствительный статскій совѣтникъ Солитеръ — вы оба одно дѣло дѣлаете. Онъ дѣйствуетъ, а ты содѣйствуешь. А ты думалъ—какъ? Ты, можетъ-быть, думалъ, что Солитеръ станетъ распинаться да душу за общество полагать, а ты будешь лежать да благороднымъ манеромъ въ потолокъ плевать? Такъ разувѣрься, голубчикъ! Это въ тѣ времена такіе порядки были, когда ты еще чистописовымъ назывался, а теперь шалишь!—теперь ты культурный человѣкъ сталъ! Солитеръ будетъ дѣйствовать, а ты—содѣйствуй! Рапортуй, братецъ, рапортуй!

И за всѣмъ тѣмъ никогда никто въ цѣломъ мірѣ такъ не тосковалъ, какъ тоскуемъ мы, представители русской культуры. Мы чувствуемъ, что жизнь уходитъ отъ насъ, и хотя цѣпляемся за нее при пособіи «содѣйствія», но все-таки не можемъ не сознавать, что это совсѣмъ не та жизнь, которой бы мы по культурности своей заслуживали. Хотя предки наши назывались только чистописовыми, но они многаго не понимали изъ тѣхъ подлостей, которыя намъ какъ свои пять пальцевъ извѣстны.

И я увѣренъ, что въ большинствѣ ихъ такія, напримѣръ, слова, какъ «содѣйствовать», «рапортовать» — вызвали бы во время оно только недоумѣніе. Мой прадѣдъ, если-бъ при немъ употребили эти выраженія, навѣрное воскликнулъ бы: «Я, ваше превосходительство, Государю моему вѣрный слуга, но не лакей-съ. Я самъ бунтовалъ-съ... въ пользу законной власти-съ! Я Анну Леопольдовну, регентшу-съ, въ одной сорочкѣ изъ опочивальной вынесъ — и былъ за то деревнею въ пятьсотъ душъ награжденъ-съ! Извольте, сударь, идти вонъ!» А дѣдушка мой сказалъ бы: «Я въ Ропшѣ, государь мой, былъ и оттуда на сѣромъ аргамакѣ до Зимняго дворца за великою Государыней сѣдовалъ-съ... Извольте идти вонъ!» Даже отецъ мой—и тотъ бы отвѣтилъ: «Я самъ заблуждался-съ,

и хотя принесъ въ томъ чистосердечное раскаяніе, но не содѣйствовалъ... нѣтъ, не содѣйствовалъ-съ!» И всѣ они почувствовали бы себя оскорбленными и будировали бы... Конечно, будировали бы до тѣхъ поръ, пока имъ Станислава на шею не прислали бы. Но не за содѣйствіе-съ, а за благородно-вѣрный порывъ чувствъ-съ!

А я, правнукъ, внукъ и сынъ, — что я скажу? Я могу сказать только, что я культурный человѣкъ и что въ этомъ качествѣ не имѣю возможности даже «чистосердечнаго раскаянья въ томъ принести». Ибо я даже и не заблуждался никогда — нѣтъ, никогда! Ни заблужденій, ни истины, ни превратныхъ идей, ни идей благонамѣренныхъ — ничего я не знаю! Стало-быть, я могу только содѣйствовать — вотъ моя спеціальность; не дѣлать, не производить, не распоряжаться, а только содѣйствовать. Вотъ почему многіе, боясь увлечься этой спеціальностью, бѣгутъ на теплыя воды и тамъ влачатъ остатки культурнаго существованія.

Не однажды меня интриговала мысль: какимъ это образомъ русскій культурный человѣкъ вдругъ словно изъ земли выросъ? Все были чистописовые, а теперь культурными сдѣлались. И даже заслуги особенныя выдумали, которыя о культурности несомнѣнно свидѣтельствуютъ. «Я, говоритъ, изъ тарелки ѣмъ, а Иванъ мой изъ плошки; я салфеткой утираюсь, а Иванъ — стекломъ. Вотъ почему я и называюсь культурнымъ человѣкомъ!»

Но едва я притрогивался къ вопросу: дѣйствительно ли ѣда изъ тарелки, а не изъ плошки, составляетъ непререкаемый признакъ культурности, какъ предо мной вставалъ другой вопросъ: да неужто это можетъ кого-нибудь интересовать, и убудетъ ли отъ того хоть сколько-нибудь той безконечной тоски, которая день и ночь гложетъ культурнаго человѣка, несмотря на то, что онъ ѣстъ изъ тарелки, а не изъ плошки?

Тоска, тоска и тоска! Съ какимъ-то отчаяніемъ обращаешься къ прошлому: прошлое! прошлое! воротись! И знаешь, что попусту надрываешься, и все-таки кричишь: воротись! воротись! воротись!

Сознавать себя культурнымъ человѣкомъ и въ то же время не знать, куда дѣваться съ этою культурностью — вотъ истинно трагическое положеніе! Ну, что я съ собой предприму? Куда, куда я пойду... ну, хоть сегодня вечеромъ? Все, что можно было, въ предѣлахъ русской культурности, видѣть и совершить, — все это я уже видѣлъ и

совершилъ. Жюдикъ—видѣлъ, Шнейдеру—видѣлъ, у Елисеева и на биржѣ, и на Невскомъ—былъ. Повторять то же самое,—ну, просто противно, да и все тутъ. Вѣдь и для культурности есть предѣлы, за которыми даже право «содѣйствія» становится безсильнымъ оживить человѣка. А между тѣмъ ни смерть, ни болѣзнь—ничто насъ не беретъ; жить, жить надо, не потому, чтобы хотѣлъ жить, а потому, что встала у тебя жизнь на дорогѣ, и какъ ты ей ни кричи: сторонись!—она все стоитъ да подманиваетъ. Встанешь утромъ и глядишь испуганными глазами въ лицо грядущему дню. А въ головѣ такъ и стучитъ: чѣмъ, ну, чѣмъ наполню я его?

Итакъ, я сидѣлъ дома и не зналъ, что дѣлать съ собою. Впереди предстояло одно изъ двухъ: или въ балаганы идти, или въ тайное юридическое общество проникнуть и послушать, какъ разрѣшается вопросъ о правахъ седьмой воды на киселѣ на наслѣдованіе послѣ единокровныхъ и единоутробныхъ.

— Господи! да вѣдь это отрава!—вырвался изъ груди моей вопль.

II.—Продолженіе тоски и появленіе Прокопа.

Дѣло было въ половинѣ апрѣля, какъ разъ въ Свѣтлый праздникъ. Я смотрѣлъ изъ окошка на улицу и любовался на истерическую сумятицу, происходившую въ природѣ. Воздухъ былъ наполненъ непзобразимымъ мельканіемъ; густая бѣлесоватая кашица кружилась и металась передъ глазами, отдѣляя изъ себя крупныя-крупныя снѣжины, мокрыя, разорванныя, которыя тяжело шлепались объ оконныя стекла. На наружныхъ подоконникахъ уже образовались порядочныя груды бѣлой массы, рыхлой и источенной, какъ тающій сахаръ; мостовая, два часа тому назадъ сѣрая, начинала бѣлѣть; темные ряды домовъ, мокрыхъ, ослизлыхъ, загадочно глядѣли сквозь снѣжную сѣть своими безчисленными черными окнами, словно тысячами потухшихъ глазъ. Небо давило и, несмотря на первый часъ дня, больше и больше заволакивало городъ ранними сумерками. Но улица, наперекоръ стихіямъ, все еще усиливалась удержать праздничную физіономію. Стрѣлой мча-

лись цегольскія кареты, унося захваченныхъ въ нихъ звѣздоносцевъ; между ними мелкой рысью сновали извозчичьи пролетки съ скрюченными подъ зонтиками чиновниками; на тротуарахъ дворники и мастеровые христосовались съ бабами въ душегрѣйкахъ. Но вотъ, наконецъ, ударилъ такой снѣжный ливень, что вдругъ праздничный гулъ смолкъ. Улица опустѣла какъ бы волшебствомъ; еще разъ взвизгнула дверь въ кабакѣ напротивъ—и захлопнулась; даже ликующіе столоначальники—и тѣ куда-то пропали.

Я стоялъ у окна и припоминалъ. Было время, когда и я въ этотъ день метался по улицамъ. Пріѣдешь, бывало, въ одинъ домъ, подаришь швейцару цѣлковый, распишешься и что есть мочи спѣшишь въ другой домъ, гдѣ тоже подаришь цѣлковый и распишешься. Да въ мундирѣ, сударь, въ мундирѣ! Встрѣтишь, бывало, на улицѣ такого же поздравителя, остановишь, выпучишь глаза.

— Были?

И онъ тоже выпучитъ глаза:

— Былъ; а вы были?

— Былъ.

И летишь дальше.

А нынче, вотъ, сижу дома и глазами хлопаю. Извозчика, пожалуй, и не мудрость нанять, да ѣхать-то некуда. Некуда и не зачѣмъ.

Прежде я потому ѣздилъ, что было у меня такое убѣжденіе: въ Петербургѣ поздравлю, зато въ своемъ мѣстѣ наверстаю. Я даже нарочно въ Петербургѣ періодически появлялся, чтобъ претерпѣть и впослѣдствіи наверстать. Мерзокъ я былъ, низкопоклоненъ, податливъ—это такъ; но, по крайней мѣрѣ, я зналъ, что у меня есть совершенно реальный стимулъ (возможность наверстыванія), который двигаетъ моими дѣйствіями. Впослѣдствіи обстоятельства заставили меня сознать, что это былъ стимулъ фальшивый. Я понялъ это и волею или неволею отказался отъ идеаловъ наверстыванья, которые обуревали меня въ былое время. Но почему же, оставивъ прежніе стимулы, я не усвоилъ себѣ новыхъ? Для чего я остался жить? Для того ли только, чтобъ представлять собой образчикъ отечественной культурности? Велика невидаль!

Я знаю, что ѣзди я или не ѣзди, поздравляй или не поздравляй—я все-таки ничего не наверстаю, потому что наверстать негдѣ. Хотя же дѣйствительный статскій совѣтникъ Солитеръ и показывалъ мнѣ вдали какія-то «пре-

спективы», но, право, мнѣ кажется, что онъ и самъ не сознаетъ, въ чемъ эти перспективы заключаются. Слѣдуй, говоритъ, по моимъ указаніямъ, а куда слѣдуй—и самъ порядкомъ растолковать не можетъ. Эхъ, братъ! У самого-то у тебя яичница въ головѣ, а тоже другихъ за собой приглашаешь!

Да ежели бы онъ и могъ доподлинно разъяснить, куда и какъ нужно слѣдовать,—развѣ я могу *туда* идти? Да и не только *туда*—просто никуда я идти не могу. Все, все для меня заперто. По судебной части я истца отъ отвѣтчика отличить не могу—чьи же я интересы защищать или опровергать буду? По части народнаго просвѣщенія я не знаю, кто кого кормилъ, волчица ли Ромула, или Ромулъ волчицу,—какъ же я на экзаменахъ баллы ставить буду? По части финансовъ я знаю: дери шибче, а въ случаѣ недобора—безстрашно заключай займы! Что же касается до того, какъ и на какой бумагѣ ассигнаціи печатаются и почему за быстрое отпечатаніе таковыхъ въ экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ даютъ награды и ордена, а за отпечатаніе въ Гуслицахъ на каторгу ссылаютъ—ничего я этого не знаю. Вотъ развѣ по сыскной части... ну, нѣтъ, Солитеръ! Этому пока не бывать! Хотя по этой части и дѣйствительно никакихъ познаній не требуется, а только культурность одна, да вѣдь я еще не забылъ, что мой прадѣдушка регентшу Анну Леопольдовну въ одной сорочкѣ изъ опочивальной вынесъ! Нѣтъ, не позабылъ! Ибо ежели я самолично ничего не совершилъ, даже «чистосердечнаго въ томъ раскаянья не принесъ», то прадѣдъ мой...

И откуда нынче такіе дѣйствительные статскіе совѣтники развелись, которые настоящаго не даютъ, а все перспективы показываютъ! И прежде бывало не мало дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ—но какая разница! Назывались они не Солитерами, а Довгочхунами, Ѳедоровыми, Ивановыми, Семеновыми, пили, ѣли, по гостямъ ѣздили, сами балы дѣлали и откупщиковъ балы заставляли дѣлать, играли въ клубахъ въ карты и въ свободное время отъ занятій писали: «утверждаю, утверждаю, утверждаю». А Солитеръ пишетъ: «разоряю, разоряю, разоряю»!..

И ничего. Разоряетъ—но не созидаетъ, расточаетъ и самъ стоитъ невредимъ, развращаетъ—и состоитъ членомъ общества распространенія нравственности. Кто эту тайну пойметъ?

Есть одинъ рессурсъ, который выручаетъ его. Это лганье и показываніе фальшивыхъ преспективъ. Онъ лжетъ неуставаючи, лжетъ какъ рязанскій дворянинъ, когда начинаетъ разсказывать, какіе у него въ оранжереяхъ персики при крѣпостномъ правѣ расли. Недавняя чистоплотность и до сихъ поръ выступаетъ наружу въ немъ. Онъ лжетъ и самъ нагло прислушивается къ своему лганью. И вѣритъ. Вѣритъ, что со всей тройкой и съ экипажемъ въ одну прорубь провалился, а черезъ двадцать верстъ—на тѣхъ же лошадяхъ и въ томъ же экипажѣ изъ другой проруби выскочилъ.

И многіе до сихъ поръ вѣрятъ показываемымъ имъ преспективамъ. Я убѣжденъ, что Прокопъ, напримѣръ, даже въ эту минуту мечется, какъ озаренный, и все поздравляетъ, все поздравляетъ. И все потому, что думаетъ: «пріѣду домой, тамъ наверстаю!» И такъ съ незапамятныхъ временъ изъ-года-въ-годъ у него ведется: чѣмъ больше получаетъ кукишей, тѣмъ больше надѣется, тѣмъ шибче поздравляетъ.

Уже недѣлю тому назадъ я прочиталъ въ газетахъ, что онъ въ Петербургъ прибылъ, а ко мнѣ до сихъ поръ ни ногой. Вмѣстѣ Шнейдершу слушали, вмѣстѣ въ географическомъ конгрессѣ засѣдали, вмѣстѣ по политическому дѣлу судились—и вотъ! Чай, все преспективы высматриваетъ, связи поддерживаетъ, со швейцарами да съ камердинерами табаки разнюхиваетъ. Чай, когда изъ Залупска ѣхалъ,—хвастался тоже: «я, молъ, въ Петербургѣ о залупскихъ нуждахъ буду разговаривать!» Разговаривай, мой другъ, разговаривай... съ швейцарами!

Кому интересны залупскія нужды, культурныя и не культурныя? Вотъ кабы ты сообщилъ секретъ, какъ къ празднику нѣчто заполучить или какъ такому-то ножку, ради высокоторжественнаго дня, подставить,—ну, тогда бы мы тебя послушали. А то: залупскія нужды!—ишь съ чѣмъ подъѣхалъ! Есть у васъ въ Залупскѣ Солитеръ—и будетъ съ васъ. Онъ васъ разберетъ: и стравитъ другъ съ другомъ, и помиритъ, если ему вздумается. Zaloupsk! qu'est-ce que c'est que Zaloupsk!

И вотъ ради безплодныхъ разговоровъ съ швейцарами Прокопъ даже о старомъ собутыльникѣ позабылъ. Это ли не черта русской культурности! Сегодня пріятель, а завтра разрѣшилъ ему Солитеръ за каблукъ своего сапога подержаться—онъ уже отъ вчерашнихъ друзей рыло воротитъ.

«Я говоритъ, нынче, наверху, у самаго каблука его превосходительства стою—сверху-то мнѣ преспективы виднѣе!»

Мнѣ сдѣлалось и досадно, и жалко. Милый Прокопъ! Глупъ-глупъ, а культурность свою очень тонко понимаетъ. «У меня, говоритъ, въ деревнѣ и зальце въ домикѣ есть, и палисадничекъ, и посуда, и серебрецо, и сплю я на матрацѣ, а не на войлокѣ—сейчасъ видно, что культурный человѣкъ живетъ! А мужикъ что! Намеднись у насъ на селѣ у крестьянина мальчику тараканы носъ выѣли, а у меня, братъ, тараканы только на кухнѣ живутъ!» Милый, милый Прокопъ! Какъ сейчасъ вижу, какъ онъ въ Залупскѣ въ клубѣ, завязавшись салфеткой (неопрятенъ онъ, когда ѣстъ), сидитъ: буженины кусокъ проглотитъ и слово скажетъ, еще кусокъ буженины проглотитъ и еще слово скажетъ. И слова все такія малыя: течетъ что-то, плыветъ, барахтается—и не зацѣпишь. И вотъ этотъ-то человѣкъ, у котораго тараканы только въ кухнѣ живутъ,—поздравляетъ, подличаетъ, съ швейцарами по душѣ калякаетъ! И даже когда запросто въ клубѣ сидитъ—ѣстъ, а однимъ глазкомъ въ сосѣднюю комнату заглядываетъ! Тамъ, въ этой комнатѣ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Солитеръ съ статскимъ совѣтникомъ Глистомъ по секрету совѣщаются, а титулярный совѣтникъ Трихина такъ и кружится, такъ и выплясываетъ передъ ними. И жутко Прокопу, и любопытство одолѣваетъ. «Ужо отъ Трихины все вывѣдаю!» думаетъ онъ про себя. И дѣйствительно, какъ только Трихина показался въ дверяхъ, весь пропитанный Солитеровыми инструкціями, такъ по столовой ужъ и раздается зыкъ Прокопа: «человѣкъ! шампанскаго!»

И для чего онъ кланяется и поздравляетъ? Для чего вывѣдываетъ? Спросите его—онъ и самъ внятно не отвѣтитъ на этотъ вопросъ. «Подличать, скажетъ, я не подличаю, это ты врешь, а все-таки...» И такъ-таки и упрется на этомъ «все-таки», какъ будто и Богъ вѣсть какую оно мудрость въ себѣ заключаетъ...

И мнѣ вдругъ такъ загорѣлось видѣть Прокопа, до того захотѣлось на затылокъ его порадоваться, что не успѣлъ я какъ слѣдуетъ формулировать мое желаніе, какъ въ дверяхъ раздался звонокъ, и Прокопъ собственной персоной предсталъ передо мной.

Онъ былъ въ культурномъ мундирѣ и въ культурныхъ бѣлыхъ штанахъ; лицо его, напоминавшее морду красивѣйшаго изъ мопсовъ, выражало сильнѣйшее утомленіе; щеки

одрябли, подъ глазами образовались темные круги; животъ колыхался, ноги тряслись.

— Откуда, голубчикъ? Поздравлялъ?

— Разумѣется, поздравлялъ. Вотъ ты такъ и день-то нынче какой, чай, позабылъ? Христосъ воскресъ!

Мы перецѣловались.

— У заутрени былъ?

— По обыкновенію, мой другъ, по обыкновенію.

— То-то. Въ этакій день вольныя-то идеи оставить надо.

Прокопъ усѣлся противъ камина и протянулъ ноги чуть не въ самый огонь.

— Скинулъ бы ты съ себя форму-то,—предложилъ я:— вмѣстѣ позавтракали бы. А какое у меня вино! По случаю... краденое!

— Это, братъ, только хвастаются, что краденое, а попробуй—опивки простые. Нѣтъ, завтракать мнѣ некогда, еще въ двадцати мѣстахъ расписаться нужно, а ты вотъ что: вели рюмку водки подать—спасибо скажу!

Принесли водки и балыка. Прокопъ потянулся, выпилъ и нѣкоторое время стоялъ съ разинутымъ ртомъ, словно водка обожгла ему небо. Не знаю, почему ему показалось, что я въ него всматриваюсь.

— Ты что на меня смотришь? Узоры, что ли, на мнѣ написаны?

— Помилуй, мой другъ! Я радъ тебя видѣть—и только.

— А радъ, такъ и слава Богу. Измучился, братъ, я. Погодища нынче—страсть! Ѣздилъ-ѣздилъ, штаны-то бѣлые, замарать боишься—ну, и сидишь распахнувшись, какъ на выставкѣ. Да на грѣхъ еще происшествіе нынче въ одномъ мѣстѣ случилось... препоганое!

— Что же такое?

— Да пріѣхалъ я къ особѣ одной,—ну, расписался. Только вижу, что тутъ же, въ швейцарской, и камердинеръ особы стоитъ—и угоразди меня нелегкая въ разговоръ съ нимъ вступить. То да се: рано ли его сіятельство встаетъ? Въ которомъ часу государственными дѣлами заниматься садится? Кто къ нему первый съ докладомъ приходитъ? Не слышно ли, мѣстовъ гдѣ-нибудь не скрывается ли? Только разговариваемъ мы такимъ манеромъ, и вдругъ, братецъ, я вижу: вынимаетъ онъ изъ кармана круглую-прекруглую табатерчищу, снимаетъ крышку, да ко мнѣ...— Это, говорю, что?—«Нюхните-ка», говоритъ.—Да ты, говорю, свинья, кажется, позабылъ?..

— Такъ и сказалъ?

— Такъ и брякнулъ. Я, братъ, прямикъ! Не люблю вокругъ да около ходить! По мнѣ, коли свинья, такъ свинья!

— Такъ-то такъ, а все-таки неосторожно ты поступилъ. Горяченекъ ты, братъ, справляться съ собой не можешь!

Прокопъ струсилъ; казалось, онъ только теперь понялъ всю неключимость своего поступка.

— Тебѣ что нужно?—продолжалъ я.—Тебѣ нужно Солитеру ножку подставить да самому на его мѣсто вскочить? Слѣдовательно такъ ты и долженъ поступать. Знаешь, что камердинеръ можетъ словечко замолвить,—стало-быть, и долженъ ты съ нимъ ласковенько: табачку, водочки... Я на твоемъ мѣстѣ даже къ себѣ бы его пригласилъ! А теперь онъ тебѣ мстить будетъ.

Прокопъ стоялъ, вытаращивши глаза; вилка, устремленная по направленію къ балыку, такъ и застыла въ его рукѣ.

— Я, братъ, и самъ объ этомъ ужъ думалъ!—наконецъ промолвилъ онъ.

— Непремѣнно будетъ мстить. Вотъ сегодня же вечеромъ, какъ станетъ съ его сіятельства сапоги снимать, и скажетъ ему: «былъ давеча такой-то, не нравится онъ мнѣ, невѣжей смотритъ!» А завтра ты явишься къ его сіятельству, его сіятельство посмотритъ на тебя да и подумаетъ: «а кто, бишь, мнѣ сказывалъ, что этотъ человѣкъ невѣжа? Какой, въ самомъ дѣлѣ, грубьянъ!»

— А что ты думаешь! Вѣдь это, пожалуй, и вправду такъ будетъ! Они, эти хамы...

— Вѣрно говорю. Эти камердинеры да истопники... ахъ, какъ съ ними надо, мой другъ, осторожно! Самый это ехидный народъ! Солитеръ-то, ты думаешь, какъ проѣзъ?

— Ну, Солитеръ и такъ, самъ собой.... На то онъ и солитеръ!

— Нѣтъ, онъ сперва въ камердинера влѣзъ, а потомъ ужъ и...

— Ну, такъ прощай, бѣгу!

— Да погоди! сейчасъ ужъ и бѣжать! Разсказалъ бы, по крайней мѣрѣ, что у васъ дѣлается!

— Некогда, некогда—чему у насъ дѣлаться! Солитеръ... Я было-посплетничать на него пріѣхалъ, да вотъ и приключеніе это... Завтра пріемъ мнѣ былъ назначенъ, а теперь, пожалуй, и не выслушаетъ?

Прокопъ заторопился, подтянулся, вытянулъ ногу, на сапоги взглянулъ, посмотрѣлся въ зеркало, пылинку съ

носа смахнулъ, шпагу поправилъ и ужъ совсѣмъ на ходу закинулъ мнѣ:

— Я, братъ, съ женой и съ дочерью здѣсь. Въ Грандотелѣ стоимъ. За границу ѣхать собираемся.

— Какъ, и Надежда Лаврентьевна здѣсь! И ты ничего не говоришь!

— Ну, что тутъ, невидаль какая! Проходи ужо вечеромъ—посидимъ!

Онъ рысцой направился въ переднюю, накинулъ тамъ на себя шинель—и вдругъ опять встревожился.

— Какъ ты думаешь, — спросилъ онъ меня: — ему... хаму этому... трехъ цѣлковенькихъ довольно будетъ?

— Дай, братъ, десятирублевую,—посовѣтовалъ я:—надо воображеніе ему поразить. Потому что хамы эти...

— Ну, ладно, ладно. Такъ ужо вечеромъ. Кстати я и разскажу, чѣмъ у насъ съ нимъ кончится. Жена, признаться, давно къ тебѣ посылаетъ—съ недѣлю мы ужъ здѣсь—да вотъ все происшествія эти...

Онъ исчезъ въ дверяхъ, а я остался опять одинъ съ своею тоскою. Я началъ резюмировать разговоръ, который мы сейчасъ вели,—и вдругъ покраснѣлъ. «Что я такое сейчасъ говорилъ? какіе-такіе совѣты насчетъ десятирублевой бумажки подавалъ?—мучительно спрашивалъ я себя.—Господи! да неужто-жъ холопство имѣетъ такую втягивающую силу!»

Вотъ я, напримѣръ, повидимому, кажется, совсѣмъ позабылъ. Ни мундира у меня культурнаго нѣтъ (старый износился, новаго не сшилъ), ни поздравлять я не ѣзжу—такъ, само по себѣ, «независимо» глазами хлопаю! А увидѣлъ человѣка съ краснымъ околышемъ на головѣ—и не вытерпѣлъ! Такъ и лѣзетъ оно, такъ и претъ изъ тебя, это проклятое холопство, при первомъ удобномъ случаѣ! И рожа погано осклабляется, и языкъ петлей складывается, какъ только начнутъ объ швейцарахъ да объ камердинерахъ разговаривать. Не явись Прокопъ, не начни онъ этого разговора, сидѣлъ бы я себѣ да проявлялъ бы гражданское мужество, въ окошко глядючи! А теперь, поди вотъ, какой грѣхъ случился — даже на языкѣ холопская слизь чувствуется —фу, мерзость!

Вотъ нынче во Франціи цѣлая школа беллетристовъ-психологовъ народилась—ништо имъ. У нихъ психологія французская, неспутанная—ври себѣ пришѣваючи! Нѣтъ, попробовалъ бы ты, господинъ Гонкуръ, вотъ сквозь этотъ

психологическій лѣсъ продраться, который у Прокопа въ головѣ засѣлъ! Ему, по-настоящему, и до самого его сіятельства горя мало, а онъ съ лакеями объ «внутренней политикѣ» калякаетъ, да еще грубитъ имъ... лакеямъ-то! Да и я тутъ же, за компанію, ему вторю: «отомстить *онъ* тебѣ! не три, а десять рубликовъ ему надо дать!» Сказалъ это—и ничего! даже не почувствовалъ, что у меня отъ языка воняетъ! Спрашивается: какое можетъ быть сцѣпленіе идей, когда такія вещи говоришь? И какова должна быть психологія, которая доставляетъ матеріалъ для подобныхъ разговоровъ? Вотъ кабы ты, господинъ Зола, поприсутствовалъ при этихъ разговорахъ—можетъ-быть, и понялъ бы, что самое наглое психологическое лганье, которое не снилось ни тебѣ, ни братьямъ Гонкурамъ, нижѣ прокурорамъ и адвокатамъ (прокурорамъ — разумѣется, французскимъ, а адвокатамъ—всѣмъ вообще), должно стать втупикъ передъ этой психологической непроходимостью.

И въ то самое время, какъ я все это думалъ, вдругъ, вслѣдствіе такого же необъяснимаго психологическаго переворота, въ головѣ моей блеснуло: «а вѣдь Прокопъ за границу ѣдетъ—не примазаться ли и мнѣ съ нимъ?»

Сейчасъ обвинялъ Прокопа въ холопствѣ, сейчасъ на самого себя негодовалъ, что никакъ не могу пропустить случая, чтобъ не похолопствовать,—и вотъ опять къ Прокопу льну! Знаю я, что Прокопъ, вмѣстѣ съ своей персоной, весь Залупскъ Европѣ покажетъ; знаю, что онъ повезетъ за границу Залупскъ и въ своемъ платьѣ, и въ покроѣ своего затылка и брюха, и въ тѣхъ рѣчахъ, которыми онъ будетъ за табль-д'отами щеголять; знаю все это—и все-таки льну. Такъ и стремлюсь залупскіе запахи обонять, залупскому невнятному бормотанью внимать. И вмѣстѣ со мной будутъ внимать этому бормотанью и Средиземное море, и сѣрыя скалы, которыя высятся вдоль его береговъ, словно сторожатъ лазурное ложе его въ предвидѣніи нашествія варваровъ.

III.—Между своими.

Для тѣхъ, которые позабыли о Прокопѣ (см. «Дневникъ провинціала въ Петербургѣ»), считаю нелишнимъ возстановить здѣсь въ короткихъ словахъ его физіономію. Это

одинъ изъ самыхъ выразительныхъ представителей культурнаго русскаго человѣка, лишь со вчерашняго дня узнавшаго о своей культурности. Въ физическомъ отношеніи онъ созданъ забавно: голова круглая, животъ круглый, глаза круглые, даже плѣча, руки, ноги— и тѣ круглыя, затылокъ круглый, спина круглая. Лицо—портретъ красавца-мопса и по обстоятельствамъ принимаетъ свойственныя мопсу выраженія. Когда его «никто не дразнитъ» и когда, сверхъ того, онъ сытъ—кожа на его лицѣ растягивается, и выраженіе дѣлается ласковымъ: можно держать пари, что у него непремѣнно гдѣ-нибудь спрятанъ хвостъ, которымъ онъ въ эту минуту виляетъ. Когда онъ раздразненъ и голоденъ— на лбу и на переносьѣ дѣлаются складки, зубы злобно оскаливаются, и изъ гортани вылетаетъ рычанье; такъ и хочется крикнуть: «а гдѣ у насъ арапникъ-то, гдѣ?» Въ нравственномъ отношеніи онъ прежде всего преисполненъ загадочнаго юмора, о которомъ нельзя сказать положительно, на кого онъ направленъ, на собственную ли персону Прокопа, или на окружающихъ. Сверхъ того, онъ заносчивъ и льстивъ, лукавъ и легковѣренъ, наивенъ и лживъ, преисполненъ всякаго рода предразсудковъ, недоумѣній, противорѣчій и необыкновенно невѣжественъ. Говоритъ онъ обрывками, уснащая свою рѣчь безчисленными околичностями, перерывами, многоточіями, и при этомъ всегда поражаетъ собесѣдника внезапностью мыслей, въ которыхъ невозможно отличить, что̀ правда и что̀ ложь. Нѣкоторые думаютъ, что онъ глупъ и золъ, но это невѣрно. Онъ не глупъ и не уменъ, не добръ и не золъ—онъ самъ по себѣ. Репутацію глупости составила ему глубокая его невѣжественность, репутацію злого человѣка—нѣкоторые нечеловѣческіе инстинкты, которые довольно частыми вспышками проявлялись въ немъ во времена крѣпостного права. Но ежели надѣть на него прочный намордникъ, то горячность эта довольно скоро остываетъ, и въ Залупскѣ справедливо замѣчаютъ, что съ тѣхъ поръ, какъ упразднено крѣпостное право, Прокопъ сталъ огрызаться значительно меньше прежняго.

Фамилія Прокопа—Лизоблюдъ, изъ тѣхъ Лизоблюдовъ, которые еще при царѣ Горохѣ тарелки лизали. Прокопъ гордится своими предками. Не говоря уже о родоначальникѣ Лизоблюдовѣ, занимавшемся лизоблюдствомъ во времена до-историческія, много было и позднѣйшихъ потомковъ, которые шли по его стопамъ уже во времена, освѣщенныя

свѣтомъ исторіи. Вообще это были люди смышленые и хозяйственные, и въ то время, какъ другіе «ближніе люди» занимались цѣлованіемъ крестовъ да выщипываньемъ другъ у друга бородъ по волоску, Лизоблюды все больше ютились около утробной части, завѣдывали поварнями, подавали кушанья, служили посредниками въ любовныхъ интригахъ и, проводя въ этомъ занятіи время, укрѣплялись въ милостяхъ и пріобрѣтали вотчины. Но въ половинѣ XVIII вѣка звѣзда Лизоблюдовъ померкла: Никита Лизоблюдъ, устраивая любовныя дѣла Авдотьи Лопухиной, былъ обвиненъ въ измѣнѣ и, по наказаніи на тѣлѣ, сосланъ въ залупскія вотчины, съ воспрещеніемъ выѣзда изъ мѣста жительства. При чемъ было выражено, что снисхожденіемъ этимъ (ему надлежало вырѣзать языкъ) онъ обязанъ лишь «неистовой его глупости». Съ этихъ поръ значеніе фамиліи Лизоблюдовъ принимаетъ характеръ исключительно культурный, и цѣлыя поколѣнія ея членовъ слѣдуютъ одно за другимъ въ роли представителей залупской культурности, сами, впрочемъ, не подозрѣвая всей тяжести бремени, которое судьба возложила на ихъ плечи.

Семейство Прокопа состоитъ изъ жены, сына и дочери Наташеньки. Жена его слыла когда-то красавицей, да и теперь, хоть ей ужъ подъ-сорокъ, производитъ въ Залупскѣ сенсацію. У нея нѣтъ ни особеннаго ума, ни даже умѣнья болтать милый вздоръ, но есть удивительнѣйшія, наливныя, бѣлоснѣжныя плечи, и она знаетъ это. Къ этимъ плечамъ несутся сердца всѣхъ залупскихъ культурныхъ людей, и въ нихъ же отчасти заключается тайна поднесенія Прокопу бѣлыхъ шаровъ на выборахъ. Самъ Солитеръ, котораго голова, начиненная циркулярными предписаніями, повидимому, недоступна ни для чего, кромѣ тусклаго мерцанія, выражающагося загадочнымъ восклицаніемъ: «фюить!»—и тотъ любострастно чавкаетъ и какъ-то нелѣпо коситъ глазами, когда встрѣчается съ Надеждой Лаврентьевной на балахъ. Я не знаю, понимаетъ ли Прокопъ, какое дѣйствіе производятъ плечи его жены на окружающихъ, но думаю, что онъ, дѣлая видъ, что не понимаетъ, все-таки пользуется этимъ дѣйствіемъ, какъ однимъ изъ средствъ внутренней залупской политики.

Единственный сынъ Прокопа, Гаврюша, похожъ на отца до смѣшного. То же круглое тѣло, то же лицо мопса, забавное во время покоя и бороздящееся складками на лицѣ и на лбу во время гнѣва. Прокопъ любитъ его безъ па-

мяти, всѣмъ нутромъ, и ласково рычитъ, когда сынъ является изъ заведенья «домой». Онъ садится тогда на кресло, ставитъ сына между ногъ, беретъ его за руки, разспрашиваетъ, зналъ ли онъ урокъ и чѣмъ его на недѣлѣ кормили, и смотрится въ него словно въ зеркало.

— Такъ ты говоришь, хорошо васъ кормили?—спрашиваетъ онъ, заглядывая ему въ глаза.

— Нынче, папаша, насъ лучше кормятъ: директоръ комиссію изъ воспитанниковъ надъ экономомъ назначилъ.

— То-то. А паче чаянія ежели что, такъ ты спрашивай: я твоему дядькѣ строго приказалъ и денегъ на это оставилъ. Ѣшь, братъ, ѣсть надо; больше будешь ѣсть—урокъ будешь лучше знать.

Въ «заведеніе» Прокопъ отдалъ Гаврюшу не безъ разсчета: онъ понялъ, что «заведеніе» есть именно такая вещь, откуда, хочешь-не-хочешь, а въ концѣ концовъ все-таки и съ чиномъ выйдешь, и на мѣсто поступишь.

— Я, братъ, по себѣ знаю,—открывался онъ мнѣ по этому случаю:—и гувернеры, и мадамы у меня были, а что толку! Срамъ сказать: и теперь изъ катехизиса ни одного текста не знаю!

— Да вѣдь на выборахъ изъ катехизиса не спрашиваютъ?—возражалъ я.

— Все-таки. Разговариваютъ. Не изъ катехизиса, такъ изъ географіи. Кабы я зналъ, такъ и самъ бы разговаривалъ. А теперь приходится на другихъ смотрѣть, смѣются или нѣтъ.

— Такъ что-жъ, сходитъ съ рукъ—и слава Богу!

— То-то, что подъ Богомъ мы нынче ходимъ. Сегодня сошло, а завтра нѣтъ. Ехидные нынче люди пошли: испытываютъ. Иной цѣлый разговоръ съ тобой ведетъ: ты думаешь, онъ вправду, а онъ на-смѣхъ! Вотъ, года три назадъ, пришла ко мнѣ бумага насчетъ распространенія спеціальныхъ идей. Натурально, письмоводителя: какія, молъ, такія спеціальныя идеи?—А это, говоритъ, по акцизной части, должно-быть. Ну, мнѣ что: по акцизной, такъ по акцизной! Анъ послѣ оказалось, что онъ мнѣ на-смѣхъ акцизную-то часть ввелъ!

— Ахъ, Прокопъ, Прокопъ! Милый ты, милый! Такъ какъ же ты съ Гаврюшей хочешь поступить?

— Хочу въ «заведеніе» отдать. Тамъ научатъ. Туда лихабѣда попасть, а попалъ, такъ будетъ «человѣкомъ». Экзамены будетъ, братецъ, выдерживать, а вѣдь я никогда ни

одного экзамена выдержать не могъ. Такъ воспитываться, безъ экзамена—это я могу, а чуть на экзаменъ повели—ау, братъ!

Какъ ни удивительны представлялись мнѣ эти соображенія Прокопа, но въ результатѣ оказалось, что онъ правъ. Третій годъ находился Гаврюша въ заведеніи—и ничего, даже экзамены выдерживалъ. Жаловались, правда, воспитатели, что онъ во время препараціи забирается въ шинельную спать; но Прокопъ такъ наивно возражалъ на это: «такъ неужто-жъ ребенку не спать?»—что начальство махнуло рукой и вновь подтвердило обѣщаніе сдѣлать Гаврюшу «человѣкомъ».

Наташенька ужъ невѣста; ей восемнадцать лѣтъ, и наружностью она пошла въ мать, то-есть навѣрное будетъ со временемъ имѣть такія же наливныя сахарныя плечи. Какъ дѣвица благовоспитанная, она стыдится мужчинъ и при видѣ ихъ жмется къ мамашѣ. Сверхъ того, склоняетъ голову нѣсколько на-бокъ, что придаетъ ей какую-то трогательную грацію, и ходитъ, слегка привскакивая на носкахъ, тоже для граціи. Вообще дѣвушка образованная, сытая и аппетитная, хотя совѣстится за свою аппетитность и отъ души молится Богу о ниспосланіи ей худобы. Прокопъ ее любитъ по-своему, то-есть шутитъ шутки насчетъ ея невинности и аппетитности; но въ этой любви нѣтъ и тѣни той страстности, которую онъ чувствуетъ къ Гаврюшѣ.

— Наташа—что!—говоритъ онъ:—сегодня она Лизоблюдъ, а завтра будетъ Тарелкина. Вотъ Гаврило у меня—тотъ настоящій, коренной Лизоблюдъ будетъ!

Когда я пришелъ къ Прокопу вечеромъ, у него ужъ сидѣлъ гость. Поэтому онъ вышелъ ко мнѣ навстрѣчу въ переднюю, чтобъ сообщить о результатѣ давешняго разговора насчетъ графскаго камердинера.

— Обдѣлалъ, братъ,—сказалъ онъ довольнымъ тономъ:—десятирублевенькую выкинулъ.

— Ловко, голубчикъ. Стало-быть, скоро тебя и поздравить будетъ можно?

— Ну, это еще бабушка на-двое сказала. Мѣстовъ, говоритъ, нѣтъ. Будутъ, говоритъ, два мѣста на-дняхъ, да вчера, вишь, обѣщаны. А послѣ этихъ двухъ мѣстъ, какъ очистится первая вакансія, такъ и...

— Да не вретъ ли?

— Вѣрно, братецъ. Прямо такъ и сказалъ: послѣ этихъ двухъ вакансія—моя!

— Ну, и слава Богу. Покуда за границу съѣздишь, покуда что̀... Завидую я тебѣ, голубчикъ! Какъ тамъ ни говори, а еще много, очень много въ наше время можно напакостить... то-бишь, дѣлъ надѣлать. Вотъ хоть бы эта самая область, куда Макаръ телятъ не гонялъ...

— Да одно ли это! А прочее-то! Однако я долженъ тебя предупредить: покуда объ этомъ—молчокъ. Иванъ Созонтычъ такъ сказывалъ: «вы, сударь, до времени не хвастайтесь». А теперь идемъ къ женѣ.

Вся семья Прокопа была налицо. Надежда Лаврентьевна дала мнѣ руку поцѣловать. Наташенька—въ губки похристосовалась; одинъ Гаврюша бутузомъ сидѣлъ въ углу, держалъ въ обѣихъ рукахъ по яйцу и пробовалъ, которое изъ нихъ крѣпче. Гостемъ оказался какой-то генералъ, до такой степени унылый, что мнѣ съ перваго взгляда показалось, что у него болитъ животъ. Прокопъ отрекомендовалъ насъ другъ другу.

— Генералъ Николай Батистычъ Пупонъ,—сказалъ онъ мнѣ.—Отецъ его, Батистъ Богданычъ, французъ былъ, съ русскими войсками въ восемьсотъ-четырнадцатомъ году Парижъ бралъ, ну, а вотъ онъ—ужъ настоящій русскій. И вѣры нашей.

При имени Пупона мнѣ вдругъ что-то смутно вспомнилось, что̀ я въ 1863 году въ газетахъ читалъ. Реляція какая-то, въ которой говорилось, что храбрый полковникъ Пупонъ... но вотъ тутъ-то именно я и сбивался: крѣпость ли непріятельскую взялъ, или молодцомъ взлетѣлъ на четвертый этажъ какого-то дома и безъ ключа отперъ дверь какой-то квартиры.

— Вы... тотъ самый храбрый полковникъ Пупонъ?..— невольно сорвалось у меня съ языка.

— Да... но теперь—генералъ!—отвѣтилъ онъ мнѣ какимъ-то горькимъ голосомъ.

И вдругъ я въ самомъ дѣлѣ вспомнилъ. Да, это дѣйствительно было не подъ Севастополемъ, а на Подьяческой, Онъ взлетѣлъ и какимъ-то волшебствомъ, безъ ключа, очутился внутри запертой квартиры. Но какъ онъ съ тѣхъ поръ измѣнился! Тогда онъ мнѣ казался молодымъ, исполненнымъ отваги и надеждъ, и хотя выраженіе его лица и въ то время имѣло что-то наглое, но это была наглость молодая, сильная, ликующая. Теперь—онъ былъ похожъ на заштатнаго индѣйскаго пѣтуха, который до такой степени забитъ и отощалъ, что не имѣетъ силъ даже соплю

распустить. Весь онъ былъ словно пепломъ покрытъ: лицо пепельное, глаза пепельные, волосы пепельные, даже на мундирномъ сюртукѣ какъ будто кусочки пепла виднѣлись. Сидѣлъ онъ молча, часто и глубоко вздыхалъ, а немногіе отвѣты на вопросы давалъ отсырѣлымъ, пещернымъ голосомъ.

Мы сѣли въ кружокъ и стали разговаривать. Сначала погоду бранили, потомъ перешли къ залупскимъ новостямъ, и Надежда Лаврентьевна въ одну минуту засыпала меня разсказами, въ которыхъ, къ великому моему прискорбію, главную роль играли плюхи.

— Говорили, будто ужъ плюхъ больше не будетъ,— резюмировалъ эти разсказы Прокопъ:—а онѣ нынче еще веселѣе прежняго въ ходъ пошли. У насъ, въ Залупскѣ, рѣдкій разговоръ нынче не кончается плюхой.

— Самолюбивѣе народъ сталъ—оттого!—попробовалъ я объяснить.

— Нѣтъ, не самолюбивѣе, а такъ какъ-то... въ общежитіе, стало-быть, вошло. Кабы самолюбіе, такъ онъ, получивши плюху-то, бѣжалъ бы куда-нибудь, а то получитъ, да такъ съ плюхой и ходитъ по городу.

— Очень нынче въ Залупскѣ нехорошо стало!—вздохнула Надежда Лаврентьевна.

— Скучно?

— Нѣтъ, не то чтобы... Балы въ собраніи бываютъ... офицеры пикники устраиваютъ... Нѣтъ, мы не скучаемъ! А такъ, вообще.

— У насъ, братъ, и въ заводѣ скуки нѣтъ!—отозвался Прокопъ.—Либо у насъ гости, либо мы въ гостяхъ—гдѣ тутъ скукѣ быть! А гостей нѣтъ—лошадей велишь заложить или варенья спросишь. А теперь вотъ за границу собрались. Вздумалось съѣздить—и поѣдемъ.

— Такъ это у васъ окончательно рѣшено?—обратился я къ Надеждѣ Лаврентьевнѣ.

— Да, рѣшено. Надо же.

— Я ужъ разъ шесть за границей былъ, вездѣ перебывалъ,—объяснилъ Прокопъ:—а онѣ еще ни разу не были. Ну, и пусть съѣздятъ, посмотрятъ. Нельзя же...

— Да, да... Это дѣйствительно такъ... нельзя же! Вотъ я никогда за границей не бывалъ и даже намѣренія не имѣлъ, а давеча пришелъ онъ—я и раздумался. Надо же, думаю, нельзя же!

— Конечно, надо,—подтвердила и Надежда Лаврентьевна.

— И прекрасно, братъ, вмѣстѣ всѣ и поѣдемъ. Вотъ и генералъ съ нами, да еще по дорогѣ кой-кого подходящихъ подберемъ—чудесно время проведемъ!..

— Только вотъ что: хотѣлось бы мнѣ прежде хоть приблизительное понятіе себѣ составить, что собственно будемъ мы дѣлать за границей?

— А что прочіе дѣлаютъ, то и мы будемъ. Чай, не ариѳметикѣ учиться ѣдемъ. Талеры знаешь, франки знаешь—ну, и все тутъ.

— Напримѣръ, начать хоть бы съ того, *куда* мы ѣдемъ?

— Разумѣется, сначала въ Берлинъ—тамъ на недѣлю остановимся. Въ Берлинѣ можно бы и поменьше побыть, да мнѣ, признаться, Бисмарка показать обѣщали.

— Что ты! Самого Бисмарка?

— Да, Иванъ Карлычъ, булочникъ здѣшній, обѣщалъ. «Я, говоритъ, вамъ къ его камердинеру, Христофору Иванычу, письмо дамъ, такъ онъ его вамъ за сто марокъ сколько угодно покажетъ». А ежели двѣсти марокъ дашь, такъ Бисмаркъ даже на аудіенцію выходитъ. И тутъ что хочешь у него проси, потому что онъ за аудіенцію сто марокъ въ свою пользу отсчитываетъ.

— Ахъ, Господи!

— Нечего ахать—вѣрно говорю! А ежели еще сто талеровъ не пожалѣешь, такъ и на квартиру приметъ—разумѣется, ежели ты русскій. Потому русскихъ онъ любитъ. Русскіе, говоритъ, добрый, покорный народъ.

Какъ ни привыкъ я къ внезапнымъ мыслямъ Прокопа, но это было такъ неожиданно, словно я въ армидины волшебные сады вошелъ. Я глядѣлъ на Прокопа во всѣ глаза, усиливаясь угадать, не предается ли онъ, по обычаю, своему загадочному юмору; но лицо его сіяло такимъ ликованіемъ, что не могло быть ни малѣйшаго сомнѣнія въ искренности его словъ. Очень даже возможно, что перспектива видѣть Бисмарка играла не послѣднюю роль въ его рѣшимости ѣхать за границу, и что онъ покуда только не могъ еще вполнѣ опредѣлить себѣ, по какому разряду онъ устроитъ это свиданіе, то-есть за сто, за двѣсти или за триста марокъ.

— А изъ Берлина прямикомъ въ Парижъ,—продолжалъ онъ какъ ни въ чемъ не бывало:—тамъ мѣсяца съ два пробудемъ. Вотъ барыни нарядовъ накупятъ, а мы по ресторанамъ походимъ. Оттуда поѣдемъ въ Баденъ, въ Швейцарію, а на зиму въ Ниццу махнемъ.

— Но, все-таки, что же мы дѣлать-то, дѣлать-то что будемъ?

— Что другіе, то и мы. Другіе гулять—и мы гулять; другіе обѣдать — и мы обѣдать. Тамъ, братъ, не Россія: озорничать не позволяется. Вотъ въ Швейцаріи—скажутъ тебѣ съ вечера: завтра въ пять часовъ восхожденіе на Риги — ну, и будь готовъ въ пять часовъ, и становись въ пару.

— Видъ, что ли, ужъ очень хорошъ, что даже выспаться не даютъ?

— Ничего... видъ! Солнце встаетъ—извѣстно! Въ трубки англичане смотрятъ. Посмотрѣли—и опять, какъ арестантовъ, въ отель поведутъ.

— Такъ неужто-жъ, послѣ нашего-то простора, такая жизнь можетъ нравиться?

— Я развѣ говорю, что нравится? Нравится или не нравится, а коли назвался груздемъ—полѣзай въ кузовъ, вотъ я о чемъ. И ѣда у нихъ хуже нашей. Говядина есть, да своя, а черкасской нѣтъ.

— Такъ какъ же это?

— О томъ-то я и говорю. А впрочемъ, коли ты за границу ѣдешь, такъ меня держись. Если на себя надѣяться будешь—одни извозчики съ ума сведутъ. А я тамошніе порядки наизустъ знаю. И что гдѣ спросить, и гдѣ что поѣсть, и гдѣ гривенникъ сунуть—все знаю. Я какъ пріѣду въ гостиницу—сейчасъ на кухню и повару полтинничекъ. Все покажетъ. Оберъ-кельнеру тоже сунуть надо—первому за табль-д'отомъ подавать будутъ.

— Такъ, стало-быть, ѣдемъ?

— Какъ не ѣхать? Нельзя не ѣхать. Я за зиму-то въ Залупскѣ отеку, а лѣтомъ, какъ за границей въ родѣ арестанта побудешь—весь отекъ съ тебя какъ рукой сниметъ! Вотъ и генералъ съ нами—ты что, генералъ, носъ повѣсилъ? Ѣдемъ?

— Не знаю... я ванны брать буду...

— Не все же въ ваннѣ будешь сидѣть. Чай, и поѣсть захочешь.

— Нѣтъ ужъ... Я ужъ... Не могу я, мой другъ!

— Ахъ, генералъ, генералъ! Какой ты былъ храбрый да проворный, сраженіе въ Средней Подьяческой выигралъ—и вдругъ что съ тобой сдѣлалось!

Генералъ обратилъ на насъ потухающій взоръ и произнесъ:

— Таковы плоды человѣческой мечтательности!

Онъ сказалъ это такимъ безнадежнымъ тономъ, что всѣ невольно смолкли. И затѣмъ вдругъ, къ величайшему моему удивленію и къ смущенію Наташеньки, которая, впрочемъ, въ одно мгновенье куда-то исчезла, началъ разстегивать свой сюртукъ, потомъ жилетъ, рубашку, покуда не обнажилась лѣвая сторона нижней части его волосатой груди.

— Смотрите, молодой человѣкъ, и да послужитъ вамъ это урокомъ!—обратился онъ ко мнѣ, неизвѣстно почему считая меня за молодого человѣка:—вотъ здѣсь, пониже лѣваго соска, что вы видите?

Я приблизился и, дѣйствительно, увидѣлъ нѣчто въ высшей степени странное. Въ нижней части груди, въ томъ самомъ мѣстѣ, на которое сейчасъ указалъ генералъ, находилось продолговатое пространство, усѣянное бѣлыми пупырышками, въ родѣ сыпи. Когда генералъ щелкнулъ по этому мѣсту двумя пальцами, то пупырышки мгновенно покраснѣли, и я могъ прочитать слѣдующее:

КЪ СЕМУ ТѢЛУ, ЗА
БЕЗГРАМОТСТВОМЪ САТАНЫ,
АГГЕЛЪ ЕГО, ИВАНЪ ИВАНОВЪ
ДОМОВОЙ, РУКУ ПРИЛОЖИЛЪ.
АНАѲЕМА!!

Повидимому, подпись эта была нѣкогда наколота сапожнымъ шиломъ и натерта порохомъ.

— Теперь вы знаете роковую тайну моего горькаго существованія!—продолжалъ генералъ, покуда я внѣ себя отъ изумленія смотрѣлъ на него:—покамѣстъ я былъ субалтернъ- и штабъ-офицеромъ, не существовало человѣка, который при встрѣчѣ со мной не говорилъ: «вотъ отважный Пупонъ!» Всѣ меня знали, всѣ льстили и чествовали; отовсюду слали мнѣ телеграммы, во всѣхъ трактирахъ пили за мое здоровье! Даже историкъ Соловьевъ, и тотъ, въ предвидѣніи сорокового тома «Исторіи Россіи съ древнѣйшихъ временъ», съ благодарностью принялъ отъ меня меморію подъ названіемъ: «Къ исторіи смутнаго времени, съ присовокупленіемъ подвиговъ». Но съ тѣхъ поръ, какъ я произведенъ въ генералы—все измѣнилось. Пупонъ забытъ, Пупонъ отверженъ, Пупонъ—отчисленъ по кавалеріи! И въ довершеніе всего господинъ Соловьевъ на-дняхъ возвратилъ мнѣ мою меморію обратно съ слѣдующею надписью: «Дѣла, въ сей меморіи описанныя, столь несвойственны, что даже

не весьма стыдливая Кліо — и та отвращаетъ отъ нихъ лицо свое». Замѣтьте: «несвойственны», но чему несвойственны—о томъ умалчиваетъ! Какъ по-вашему: обидно это или не обидно?

— Конечно, обидно. Но, съ другой стороны, ежели справедливо, что даже «не весьма стыдливая Кліо»—и та зарумянилась, то, можетъ-быть, подвиги, которые вы описывали, были такого сорта, что для ученаго и притомъ семейнаго человѣка...

— Нѣтъ, дѣло совсѣмъ не въ свойствѣ подвиговъ, а въ томъ, что съ производствомъ моимъ въ генеральскій чинъ истекъ срокъ контракта, скрѣпленнаго той печатью, которую вы сейчасъ видѣли. Съ этихъ поръ все въ судьбѣ моей измѣнилось. Подвиги продолжаютъ совершаться попрежнему, и профессоръ Соловьевъ самъ очень хорошо знаетъ это, но они совершаются уже не мною, а людьми совсѣмъ другого вѣдомства! Спрашиваю васъ: можно ли было поступить оскорбительнѣе?

— А впередъ; братъ, умнѣе будь!—вмѣшался Прокопъ:—коли съ нечистымъ контракты писать, такъ писать обстоятельнѣе: такъ, молъ, и такъ, до смерти моей обязываешься ты мнѣ... а тамъ, молъ, послѣ смерти, буде что послѣ меня останется—все твое!

— Шутитъ, все шутитъ!—съ горечью укорилъ генералъ.

— Позвольте, генералъ!—вмѣшался я:—я съ любопытствомъ слѣжу за вашими жалобами и даже сочувствую имъ, но, признаюсь, очень мало въ нихъ понимаю. Ваша прежняя блестящая карьера—и теперешній вашъ унылый видъ... наконецъ, эта странная печать на вашей груди... что все это значитъ? Кто вы?

— Я—жертва неопытной мечтательности и жажды благородныхъ подвиговъ, и такъ какъ мы ѣдемъ вмѣстѣ за границу, то когда-нибудь я разскажу вамъ подробно исторію моей жизни. Теперь же могу сказать только одно: молодой человѣкъ! берегитесь мечтательности! Ибо мечтательность—даже въ границахъ области предупрежденія преступленія—далеко не всегда ведетъ къ тому концу, который она самонадѣянно себѣ предназначила!

Съ этими словами онъ всталъ и вышелъ, оставивъ меня лицомъ къ лицу съ какою-то нелѣпою тайною.

IV.—Поѣхали.

Черезъ недѣлю, въ одиннадцать часовъ утра, я былъ на дебаркадерѣ Варшавской желѣзной дороги. Прокопъ уже распоряжался переноскою багажа, состоявшаго изъ двѣнадцати большихъ сундуковъ и нѣсколькихъ ручныхъ чемодановъ.

Сырая погода преслѣдовала насъ, и цѣлое море грязи стояло передъ станціей. Неподалеку возвышался закопченный остовъ Фейгинской мельницы, которая нѣкогда была утѣшеніемъ интендантства и около которой теперь шныряли неизвѣстнаго происхожденія люди. Казалось, зданіе еще дымится, и духъ Овсянникова паритъ надъ нимъ. Прокопъ, какъ человѣкъ похотливый относительно всѣхъ скандаловъ русской современности, конечно, не преминулъ обратить вниманіе и на мельницу.

— Изъ-за полтинничка кашу-то заварилъ!—сказалъ онъ, мигнувъ по направленію пожарища.

— Какъ ты, однако-жъ, все просто объясняешь!—счелъ долгомъ возразить я, изумленный внезапностью этого предположенія.

— Извѣстно, изъ-за полтинника. На низу помолъ дешевле на копейку — вотъ оно и тово. Дай, молъ, сожгу, благо мельница застрахована.

— Ну, нѣтъ, это ты ужъ черезчуръ хватилъ. Милліонеръ—и станетъ объ такихъ пустякахъ думать!

— А ты душу-то человѣческую знаешь?

— Нѣтъ, но во всякомъ случаѣ...

— А я знаю. У насъ въ Залупскѣ тоже милліонеръ Голопузовъ живетъ, такъ у него извозчикъ пятиалтынный проситъ, а онъ ему гривенникъ даетъ. Да еще усовѣщиваетъ: «креста, говоритъ, на тебѣ нѣтъ!» Такъ вотъ оно, что душа-то человѣческая значитъ!

Въ эту самую минуту изъ всѣхъ отверстій мельницы цѣлая масса людей высыпала наружу и скучилась противъ фасада ея. Прокопъ не преминулъ и на это обратить свое вниманіе.

— Ишь, ишь, ишь! адвокатовъ-то что собралось! — возопилъ онъ.—Это они сламъ дѣлять!

— Какой еще сламъ?

— Такой и сламъ, что одинъ какой-нибудь возьметъ всю тушу за себя, примѣрно хошь за сто тысячъ—ну, пятьдесятъ себѣ оставитъ, а пятьдесятъ на драку.

— Скажи по совѣсти: вѣдь ты это сейчасъ только выдумалъ?

— А ежели и выдумалъ — важность какая! Не въ томъ штука, выдумалъ или нѣтъ, а въ томъ, что правильно выдумалъ. Смотри-ка! смотри-ка! остановились! глядятъ! ахъ, чтобъ имъ пусто было! Ишь, ишь! Вонъ бѣлый, вонъ-вонъ этотъ! къ стѣнѣ подошелъ, штукатурки кусокъ отколупнулъ—это у него «совершенное» доказательство будетъ!

Затѣмъ Прокопъ началъ-было объяснять мнѣ, какой разговоръ онъ имѣлъ объ этомъ дѣлѣ съ адвокатомъ Комаринскимъ, но я уже не слушалъ его. Придя въ залъ, я нашелъ тамъ довольно много народу, мужчинъ и дамъ, и у всѣхъ было на лицахъ написано: «вотъ и мы за границу ѣдемъ! нельзя же! надо же!» Меня никто не провожалъ; около Прокопа вертѣлся Гаврюша, которому онъ отъ времени до времени говорилъ:

— Смотри же, ѣшь больше! Будешь ѣсть—и урокъ будешь знать! А въ іюнѣ, на каникулы, — къ намъ за границу пріѣзжай!

Но вотъ раздался второй звонокъ, и надо было разсаживаться по вагонамъ. Прокопъ въ послѣдній разъ взялъ Гаврюшу за руки, пристально взглянулъ на него, словно бы хотѣлъ укусить, и перекрестилъ.

— Ѣшь, братъ,—повторилъ онъ: — тамъ я дядькѣ оставилъ... требуй!

Перейдя въ вагонъ, Прокопъ отворилъ окно и оттуда смотрѣлъ на Гаврюшу. Онъ сидѣлъ безъ словъ, но все лицо его сіяло и смѣялось. Гаврюша тоже смѣялся, но стыдливо, какъ будто совѣстился. Наконецъ, поѣздъ заколыхался и тронулся.

— Ѣшь, братъ! — крикнулъ Прокопъ навстрѣчу сыну, который трускомъ бѣжалъ рядомъ съ удаляющимся вагономъ.

Вагонъ, въ которомъ мы помѣстились, принадлежалъ къ числу самыхъ роскошныхъ. Кромѣ двухъ отдѣльныхъ купэ, въ немъ былъ еще прекрасный салонъ. Надежда Лаврентьевна съ Наташенькой устроились въ одномъ изъ купэ, въ которомъ вмѣстѣ съ ними сѣлъ и еще какой-то молодой человѣкъ. Остальные пассажиры размѣстились въ салонѣ. Кромѣ Прокопа, генерала Шупона и меня, тутъ было еще четверо пассажировъ. Молодой тайный совѣтникъ Стрекоза, который ожидалъ къ празднику Бѣлаго Орла, а получилъ корону на святыя Анны и въ знакъ фрондерства

отправлялся вояжировать; адвокатъ, который былъ обиженъ тѣмъ, что его не пригласили по Овсянниковскому дѣлу ни для судоговоренія, ни даже на побѣгушки; сѣденькій старичокъ съ Владиміромъ на шеѣ, маленькій, съёженный, подергивающійся, съ необыкновенно густыми и черными бровями, которыя при каждомъ душевномъ движеніи становились дыбомъ, должно-быть, очень злой; наконецъ, какая-то таинственная личность, въ восточномъ костюмѣ, въ родѣ халата изъ термаламы, и съ ермолкой на головѣ.

Когда поѣздъ двинулся, то всякій по-своему выразилъ чувство, одушевлявшее его въ эту минуту. Прокопъ смѣло и прямо снялъ картузъ и, перекрестившись большимъ крестомъ, произнесъ: «съ Богомъ!» Старичокъ тоже перекрестился, но какъ-то робко, подъ пальто, словно сомнѣваясь, входитъ ли это въ кругъ его обязанностей. Пупонъ хотѣлъ послѣдовать ихъ примѣру, но «отецъ лжи» не позволилъ ему. Нѣсколько разъ онъ безуспѣшно замахивался и, наконецъ, чтобъ скрыть свою неудачу, вынулъ изъ кармана носовой платокъ, высморкался, сказавъ: «теперь надолго!» и усѣлся въ уголъ. Восточный человѣкъ, повидимому, хотѣлъ совершить омовеніе, но, за невозможностью, сотворилъ бреніе и помазалъ имъ подъ ермолкой. Адвокатъ долго слѣдилъ за исчезающею въ туманѣ мельницею, потомъ вынулъ изъ кармана фотографическую карточку Овсянникова и пристально посмотрѣлъ на нее, какъ бы вопрошая: «виноватъ ты или нѣтъ?» Молодой тайный совѣтникъ открылъ окно и долго махалъ платкомъ провожавшимъ его столоначальникамъ, какъ бы подтверждая имъ вести дѣла въ томъ же «направленіи». Потомъ сѣлъ и горько улыбнулся, словно укоряя отечество въ неблагодарности. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ въ эту минуту сравнивалъ себя съ древнимъ Коріоланомъ, съ тою лишь разницей, что, болѣе великодушный, нежели Коріоланъ, онъ не намѣревался привести вольсковъ, чтобъ отомстить за корону на святыя Анны.

Мнѣ было не по себѣ. По мѣрѣ того, какъ поѣздъ прибавлялъ ходу и врѣзывался въ царство болотъ, мнѣ представлялось, что внутри меня больше и больше пустѣетъ. Теперь впервые съ особенной назойливостью выдвигался впередъ вопросъ: что-то будетъ? Я — человѣкъ привычки и настолько робкій, что всякое передвиженіе непремѣнно волнуетъ и тревожитъ меня. Даже переѣзжая каждогодно лѣтомъ изъ Петербурга въ деревню, я не могу избавиться

отъ вопроса: что будетъ?—до такой степени все, что стоитъ внѣ этой комнаты и дальше этой минуты, кажется мнѣ преисполненнымъ всякаго рода опасностей. Собственно говоря, я оставляю сзади себя очень мало: смутную тоску о чемъ-то и смутное желаніе чего-то — казалось бы, не о чемъ очень-то жалѣть! Но неизвѣстность, разстилающаяся впереди, до того преисполнена мучительныхъ загадочностей, что даже та лѣнивая смутность воспоминаній и надеждъ, которой предается современный русскій культурный человѣкъ, ежели онъ не адвокатъ, не прокуроръ, не желѣзнодорожный дѣятель и не директоръ банка, представляется ему чѣмъ-то въ родѣ убѣжища. Точно вотъ проснулся человѣкъ и началъ въ халатѣ по комнатѣ ходить, и не хочется ему ни умываться, ни одѣваться, ни даже къ чаю притронуться: все бы онъ ходилъ взадъ да впередъ, ходилъ бы да думалъ. О чемъ бы думалъ? — право, даже и на этотъ вопросъ отвѣчать не зачѣмъ. Такъ бы, думалъ, и все тутъ. Мелькнетъ и исчезнетъ, и опять выскочитъ, и опять пронадетъ. То мотивъ какой-нибудь звукнетъ и замолчитъ, то образъ какой-то освѣтится и потухнетъ. Ходишь-ходишь и даже усталости не замѣчаешь. Я знаю, что это мечтательность изнурительная, но, по моему мнѣнію, она представляетъ собой эмблему существованія очень многихъ русскихъ людей. Современная жизнь, съ ея лихорадочными движеніями, не для всѣхъ выказала себя матерью. Многихъ хищниковъ выдвинула она впередъ, но большинство людей добродушныхъ и неспохватливыхъ оставила безъ дѣла, за штатомъ. Вотъ они-то и мятутся въ области тоски и всякаго рода смутностей. Безъ ясныхъ сожалѣній въ прошломъ, безъ ясныхъ провидѣній въ будущемъ — точно вотъ сейчасъ проснулись, и ночныя грёзы еще не успѣли съ нихъ соскочить, да, пожалуй, и не соскочатъ никогда. И такъ какъ вездѣ, куда бы они ни пришли, имъ говорятъ: «не твое дѣло!» — то весьма естественно, что ими овладѣла оторопь. Эту оторопь они носятъ съ собой вездѣ и по привычкѣ являются съ ней даже тамъ, гдѣ жизнь, повидимому, не представляетъ уже ни тайнъ, ни неожиданностей. Все кажется, что или кондукторъ обидитъ, или засудятъ, или вдругъ... фюить!

Вотъ я, напримѣръ. Хотя я и не бывалъ еще за границей, но весь складъ моей жизни, все воспитаніе, всѣ идеалы, всѣ привычки и пріемы — все и всегда было заграничное. Я и парлѐ-франсѐ умѣю, и Наполеона III обру-

гать могу, и про Бисмарка два-три анекдота знаю, и даже съ нѣкоторыми заграничными обычаями знакомъ. Одинъ знакомый сказалъ: «за границей за табль-д'отомъ семь блюдъ подаютъ»; другой знакомый предупредилъ: «если вы въ Парижѣ будете, никогда не говорите гарсонамъ: je vous prie, a s'il vous plait,—иначе васъ сейчасъ за русскаго примутъ». Съ этими свѣдѣніями, куда бы я ни пріѣхалъ, вездѣ я какъ дома буду. И за всѣмъ тѣмъ, все-таки беретъ оторопь. Вотъ теперь, черезъ сутки — Эйдкуненъ, а мнѣ все кажется: пройдетъ ли? Точно къ родителямъ изъ школы съ дурной отмѣткой на билетѣ идешь. Каковы-то тамъ кондукторы? обходительны ли извозчики? не строги ли содержатели отелей? А главное, какъ я за табль-д'отомъ обѣдать буду? Я привыкъ на просторѣ обѣдать, а тутъ вдругъ — хочешь кусокъ проглотить, анъ тебѣ нѣмецъ въ ротъ смотритъ! И вдругъ онъ расхорохорится, скажетъ: давай за погибель Франціи пить! А я Францію люблю. Люблю, несмотря даже на то, что она теперь не Франція, а Макмагонія.

Буду ли я съ нѣмцемъ за погибель Франціи пить?

Буду ли я вообще всѣ тѣ мерзости продѣлывать, которыя продѣлываютъ русскіе культурные люди, шляющіеся на теплыхъ водахъ? Буду ли я увѣрять, что мы, русскіе — свиньи, что правительство у насъ революціонное, что молодежь наша не признаетъ ни авторитетовъ, ни государства, ни семейства, ни собственности, что вообще порядочному человѣку въ Россіи дышать нельзя, и что поэтому слѣдуетъ пріобрѣсти виллу въ Баденѣ или въ Ниццѣ, а сношенія съ Россіей ограничить полученіемъ оброковъ?

Буду ли я говорить все это? — вотъ странный вопросъ! Развѣ я знаю, что я буду говорить! Развѣ могу опредѣлить заранѣе, что я скажу, когда начну говорить? Вотъ если-бъ я одинъ обѣдалъ, я бы, конечно, молчалъ, а то за табль-д'отомъ, гдѣ сто нѣмцевъ въ ротъ тебѣ смотрятъ, всѣ другъ другу таинственно шепчутъ: «а это вѣдь русскій!» Ну, какъ тутъ выдержать? какъ не сказать: «господа! я дѣйствительно русскій, но я изъ тѣхъ русскихъ, которые очень хорошо понимаютъ, что русскіе — кадеты европейской цивилизаціи!»

Покуда эти мысли толпились въ моей головѣ, Прокопъ всматривался въ пассажировъ и приставалъ ко мнѣ съ вопросами: «это кто? а вонъ этотъ, въ углу, кто таковъ?» При этомъ онъ указывалъ пальцемъ и дѣлалъ свои замѣ-

чанія такъ громко, что я каждую минуту ожидалъ, что буду скомпрометированъ. Прежде всего онъ заинтересовался адвокатомъ, долго припоминалъ, гдѣ онъ его видѣлъ, и, наконецъ, вспомнилъ-таки, что въ Муромскомъ лѣсу.

— Насилу, братъ, мы отъ него удрали!—присовокупилъ онъ въ видѣ заключенія.

Потомъ его заинтриговалъ восточный человѣкъ, и онъ опять началъ припоминать, гдѣ онъ его видѣлъ.

— А вѣдь это отъ Огюста татаринъ!—воскликнулъ онъ наконецъ:—убей меня Богъ, ежели не онъ! Только фракъ снялъ, да вѣдь я ихъ и въ костюмѣ въ ихнемъ видалъ: въ ноябрѣ они къ своему причастію ходятъ, такъ этакимъ же манеромъ наряжаются! Постой, я ему свиное ухо покажу!

И, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, къ величайшему моему изумленію, черезъ весь вагонъ крикнулъ:

— Здравствуй, саламалика! ты какъ это въ первый классъ попалъ?

Но восточный человѣкъ только привѣтливо улыбнулся въ отвѣтъ на эту апострофу, и, къ моему удовольствію, происшествіе это не имѣло дальнѣйшихъ послѣдствій, кромѣ брезгливаго движенія плечами со стороны тайнаго совѣтника Стрекозы, который, казалось, говорилъ: въ какомъ же, однако, я обществѣ ѣду?

Вообще, какъ я ни усиливался воздержать Прокопа отъ внезапныхъ движеній, онъ съ каждымъ шагомъ впередъ эмансипировался все больше и больше. Однимъ изъ самыхъ выдающихся его качествъ было любопытство, соединенное съ легковѣріемъ, и когда оно выступало впередъ, то совладать съ нимъ было очень трудно. Такъ случилось и теперь. Нѣкоторое время онъ какъ будто боролся съ собой и даже пытался разсказать мнѣ сюжетъ «Трехъ мушкатеровъ», которыхъ онъ будто бы читалъ по рекомендаціи какого-то высокопоставленнаго лица, но на половинѣ разсказа не вытерпѣлъ, подсѣлъ къ адвокату и тотчасъ же завязалъ съ нимъ разговоръ.

— Вы адвокатъ?

— Имѣю честь принадлежать къ сословію адвокатовъ.

— Фамилія ваша?

— Проворный, Алексѣй Андреевъ.

— Какъ будто мы съ вами прежде встрѣчались?

— Очень можетъ быть-съ.

— Въ Муромскомъ лѣсу будто. Я въ саратовскую деревню, помнится, ѣхалъ.

Проворный взглянулъ на Прокопа недоумѣвающими глазами.

— Какъ ее, станція-то? Булатниково, что ли? Еще вы насъ въ оврагѣ поджидали? — не смущаясь, продолжалъ Прокопъ.—Вы давно тамошнія мѣста бросили?

— Извините... тутъ есть какое-то недоразумѣніе... Я даже не слыхалъ ни о какихъ Муромскихъ лѣсахъ! — все больше и больше недоумѣвалъ Проворный.

— Ну, что̀ тутъ! Конечно, кому пріятно про Муромскіе лѣса вспоминать. Главное дѣло: бросили—и довольно. Тамъ, впрочемъ, нынче и невыгодно: всѣ проѣзжіе на желѣзныя дороги бросились, да и Муромскіе-то лѣса, кажется, въ Петербургъ, на Литейную, перевели: Овсянниковское дѣло знаете?

— Имѣлъ честь быть приглашаемымъ-съ.

— Понюхать или взаправду?

Вопросъ былъ такъ необыкновененъ, что даже самому Проворному сдѣлалось весело.

— Вы чему смѣетесь?—спросилъ Прокопъ, замѣтивъ на лицѣ адвоката улыбку.

— Да, признаюсь вамъ откровенно, у васъ такой неожиданный способъ выраженія...

— Никакого у меня способа выраженія нѣтъ, а говорю правду. У меня у самого два адвоката-пріятеля есть: одного, Бѣлобрюшенкова, понюхать приглашали, а другого, Комаринскаго,—того прямо запрягли: ступай, значитъ, въ самый навозъ! О Комаринскомъ, чай, слыхали?

— Имѣю честь знать лично-съ.

— Веселый парень, безстрашный. Я, признаться, говорилъ ему: смотри, братъ, вытащишь ли? Какъ бы совсѣмъ въ навозѣ не застрять! Ничего—смѣется. «Мнѣ, говоритъ, бояться нечего, я сытъ. Въ Петербургѣ будетъ жить скверно—въ Ниццу уѣду. Куплю палаццо, захвачу парочку литераторовъ съ Ветлуги, будемъ въ чехарду играть, въ Средиземное море плевать, по вечерамъ трехголосную херувимскую пѣть. Все равно, что въ Ветлугѣ заживемъ». А какъ по вашему мнѣнію: поджогъ Овсянниковъ мельницу или не поджогъ?

— Это зависитъ-съ...

— То-есть, отъ чего же зависитъ?

— Отъ взгляда-съ. Ежели съ одной стороны взглянуть—выйдетъ поджогъ, а ежели съ другой стороны — выйдетъ случайность.

— Ну, а по-настоящему, по правдѣ-то, какъ?

— По моему мнѣнію, правда есть продуктъ судоговоренія—вотъ все, что могу вамъ на этотъ счетъ сказать.

— Да вѣдь поджогъ-то и судоговоренія былъ?

— Пожаръ-то. А что было причиной, поджогъ или неосторожность, или дѣйствіе стихій — это ужъ тайна судоговоренія.

— Стало-быть, на судоговореніи можно и первое, и другое, и третье доказать?

— Не доказать, а доказывать-съ. Три системы доказательствъ будутъ имѣть мѣсто въ этомъ дѣлѣ: одна со стороны прокурора, другая со стороны гражданскаго истца и, наконецъ, третья — со стороны защиты обвиняемыхъ. Какая изъ этихъ системъ окажется болѣе убѣдительною, та и выиграетъ дѣло.

— Стало-быть, если-бъ я, напримѣръ, хоть разневинный былъ, а у прокурора система будетъ лучше, нежели у моего адвоката, такъ меня на каторгу сошлютъ?

— Подобные случаи извѣстны въ юридической практикѣ подъ названіемъ судебныхъ ошибокъ.

— Слава Богу, хоть это. Ну, а теперь имѣніе у меня въ Рязанской губерніи есть—можно его у меня отнять?

— Ежели есть противная сторона, которая обладаетъ извѣстною суммою доказательствъ...

— Вотъ такъ судоговореніе! Ваше превосходительство! какъ вы объ этомъ думаете?

Вопросъ этотъ относился къ молодому тайному совѣтнику, который полулежалъ въ это время на диванѣ, закрывшись листомъ газеты. Но тайный совѣтникъ даже въ вагонѣ строго соблюдалъ свое достоинство и, чтобъ не вступать въ разговоръ съ неизвѣстною личностью, притворился спящимъ.

— Спитъ, шопотомъ произнесъ Прокопъ:—ну, да ему и не грѣхъ. Обидѣли его. Ну-съ, такъ будемте знакомы, Алексѣй Андреичъ. Хоть вы и собрались у меня рязанскую деревню оттягать, — да это еще когда-то будетъ! А покамѣстъ знакомы будемъ. Можетъ, за границей свидимся—пріятнѣе будетъ въ своемъ кружку время провести. А что Овсянниковъ мельницу поджогъ—такъ вы въ этомъ не сомнѣвайтесь. Я и съ адвокатомъ его, съ Комаринскимъ, говорилъ и тотъ говоритъ: поджогъ! Только парень-то ужъ очень хорошъ, денегъ у него много—вотъ и нельзя не заступиться за него.

Прокопъ всталъ, потянулся и осмотрѣлся кругомъ, къ кому бы еще присѣсть. Покосился сначала на восточнаго человѣка, но раздумалъ и направился къ старику съ Владиміромъ на шеѣ. Старецъ какъ-то нервно передернулся, почувствовавъ себя въ этомъ сосѣдствѣ.

— Вы до Вильны?—спросилъ Прокопъ.

— Я за границу-съ.

— А я думалъ, до Вильны. Туда нынче много такихъ ѣздитъ. Просвѣтители. А гдѣ служите? чай, въ консисторіи?

Старичокъ ничего не отвѣтилъ, но и я видѣлъ, какъ брови его начали постепенно шевелиться, словно въ нихъ что-то забѣгало.

— Что-жъ не говорите, — продолжалъ Прокопъ: — чай, языкъ не отвалится?

— При своемъ мѣстѣ служенія нахожусь, — отвѣтилъ старецъ, рѣшительно уклоняясь отъ дальнѣйшаго разговора.

— Понимаю! ватерклозетами завѣдуете? Тамъ, вѣрно, и простудились—теперь на казенный счетъ лѣчиться ѣдете?

Старичокъ не отвѣчалъ, а только безпокойно подергивалъ плечами и спиной и перекладывалъ ноги одна на другую.

— Я и болѣзнь вашу знаю, — продолжалъ Прокопъ: — по-медицински восцой она называется. Чернослив, братъ, больше ѣшь—пройдетъ.

— Прокопъ!—возопилъ я:—что ты дѣлаешь?

— Ничего я не дѣлаю. Я только объ томъ, сколько на эту восцу казенныхъ денегъ выходитъ. А ежели ты со мной, господинъ Восцынъ, разговаривать не хочешь,—обратился онъ къ старику: — ну, и сиди съ Богомъ. Подергивайся. Ишь его передергиваетъ. Восца! она и есть!

Наконецъ, вновь Прокопъ сѣлъ подлѣ меня и нѣкоторое время казался обиженнымъ. Но такъ какъ никакое опредѣленное чувство не могло въ немъ долго задерживаться, то въ скоромъ времени его занимали уже совсѣмъ другія соображенія, и онъ изумилъ меня цѣлымъ рядомъ совершенно неожиданныхъ вопросовъ и разсужденій.

— Къ Лугѣ, что ли, мы подъѣзжаемъ?—спросилъ онъ.

— Къ Лугѣ.

— Ѣсть будемъ—это хорошо. Вотъ я ему компотъ изъ чернослива закажу — ѣшь, братъ, здоровъ будешь. А что за Луга? городъ, что ли?

— Городъ.

— А чудотворцы въ немъ какіе-нибудь почиваютъ?

— Объ какихъ еще чудотворцахъ ты заговорилъ? Есть исправникъ, становые—вотъ и довольно.

— Нѣтъ, это ты ужъ вздоръ мелешь. Это я навѣрное знаю. Во всякомъ городѣ свои угодники почиваютъ — это мнѣ архимандритъ Амфилохій говорилъ. Во Псковѣ—псковскіе угодники, въ Вильнѣ—виленскіе... А мнѣ, братъ, серьезно ѣсть захотѣлось. Въ Лугѣ какая рыба водится?

— Ей-Богу, не знаю. Одному только удивляюсь: какъ это ты, голубчикъ, минуту помолчать не можешь? И мысли у тебя какія-то все разныя являются: сейчасъ были угодники, и вдругъ—рыба...

— А мнѣ развѣ заказано? Кабы мнѣ заказано было: думай объ одномъ — я бы и думалъ. Вонъ ему, Восцыну, сказано: думай о ватерклозетахъ—онъ и думаетъ, къ нему въ это время не подходи. А мнѣ свободно: объ чемъ хочу, объ томъ и думаю.

— Все-таки иногда не мѣшало бы...

— Ну тебя! Я еще вонъ этого, тайнаго-то совѣтника, къ вечеру раззужу, да и объ татаринѣ досконально разузнаю: съ какой стати свиное ухо съ нами въ первомъ классѣ ѣдетъ? Смотри-ка! смотри-ка! вѣдь и онъ на насъ глядитъ! Смѣется! ишь!

Дѣйствительно, восточный человѣкъ смотрѣлъ на насъ и улыбался во весь ротъ. Онъ даже хлопалъ ладонью по подушкѣ сосѣдняго мѣста, какъ бы приглашая Прокопа сѣсть возлѣ него.

— Станція Луга! двадцать минутъ остановки!—прокричалъ кондукторъ, проходя мимо насъ.

V.—Тайна, облекающая личность восточнаго человѣка, слегка разъясняется.

Въ Лугѣ, по дорогѣ къ вокзалу, меня подхватилъ подъ руку тайный совѣтникъ Стрекоза. Признаюсь, я смутно угадывалъ, что будетъ нѣчто подобное (дальше я разскажу читателю мои отношенія къ Стрекозѣ), и порядочно-таки это волновало меня.

— Мы, кажется, съ вами знакомы?—спросилъ онъ.

— Кажется,—отвѣчалъ я.

— Мы пошли разными дорогами, но надѣюсь, что это не должно мѣшать намъ взаимно уважать другъ друга.

Говоря это, онъ сжималъ своимъ правымъ локтемъ мой лѣвый локоть, а лѣвой рукой взялъ мою правую руку.

— Признаюсь вамъ, я ужъ давно для себя рѣшилъ ко всѣмъ имѣть уваженіе, кто имѣетъ чинъ не ниже статскаго совѣтника. А слѣдовательно и вы въ томъ числѣ.

Онъ усмѣхнулся, заглянулъ мнѣ въ лицо, пробормоталъ какъ бы про себя:—Это иронія?—и, не отпуская моей руки, засвисталъ какой-то мотивъ.

— Вы мои послѣднія распоряженія читали?—вновь началъ онъ разговоръ.

— Нѣтъ, не читалъ.

— Не интересуетесь?

— Сами по себѣ, вѣроятно, они интересны, но для меня—нѣтъ.

— Многіе такъ разсуждаютъ нынче, и оттого у насъ ничего не идетъ. Я не понимаю, какъ можетъ не интересовать умнаго человѣка то, въ чемъ, напримѣръ, заинтересовано цѣлое государство!

— Что прикажете дѣлать! Это странно и даже малообъяснимо, но это такъ!

— Вотъ если бы вы читали, то должны были бы сознаться, что неправы.

— Въ чемъ неправъ?

— А хоть бы въ томъ, что имѣете на меня совершенно невѣрный взглядъ.

— Да помилуйте! что же вамъ-то до этого? развѣ вамъ мой взглядъ нуженъ?

— Даже очень. Я вообще имѣю нужду въ содѣйствіи, а въ частности, относительно васъ, есть, кромѣ того, и еще... Вы, можетъ-быть, забыли, но я очень, очень многое помню.

Онъ вновь сжалъ мнѣ локоть. Непріятное чувство испытывалъ я въ эту минуту: какъ будто Богъ-вѣсть откуда взялось мертвое тѣло и увязалось за мной.

— Какъ хорошо было двадцать лѣтъ тому назадъ—помните?—воскликнулъ онъ и даже ротъ на мгновеніе разинулъ, какъ бы вдыхая въ себя не-вѣсть какой ароматъ.

Я не отвѣтилъ, но онъ не сконфузился этимъ и еще крѣпче сжалъ мой локоть.

— Вы были въ то время неправы относительно меня,—продолжалъ онъ:—мы когда-нибудь объ этомъ поговоримъ на досугѣ. Старыхъ недоразумѣній не должно быть. Вы куда ѣдете?

чанія такъ громко, что я каждую минуту ожидалъ, что буду скомпрометированъ. Прежде всего онъ заинтересовался адвокатомъ, долго припоминалъ, гдѣ онъ его видѣлъ, и, наконецъ, вспомнилъ-таки, что въ Муромскомъ лѣсу.

— Насилу, братъ, мы отъ него удрали!—присовокупилъ онъ въ видѣ заключенія.

Потомъ его заинтриговалъ восточный человѣкъ, и онъ опять началъ припоминать, гдѣ онъ его видѣлъ.

— А вѣдь это отъ Огюста татаринъ!—воскликнулъ онъ наконецъ:—убей меня Богъ, ежели не онъ! Только фракъ снялъ, да вѣдь я ихъ и въ костюмѣ въ ихнемъ видалъ: въ ноябрѣ они къ своему причастію ходятъ, такъ этакимъ же манеромъ наряжаются! Постой, я ему свиное ухо покажу!

И, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, къ величайшему моему изумленію, черезъ весь вагонъ крикнулъ:

— Здравствуй, саламалика! ты какъ это въ первый классъ попалъ?

Но восточный человѣкъ только привѣтливо улыбнулся въ отвѣтъ на эту апострофу, и, къ моему удовольствію, происшествіе это не имѣло дальнѣйшихъ послѣдствій, кромѣ брезгливаго движенія плечами со стороны тайнаго совѣтника Стрекозы, который, казалось, говорилъ: въ какомъ же, однако, я обществѣ ѣду?

Вообще, какъ я ни усиливался воздержать Прокопа отъ внезапныхъ движеній, онъ съ каждымъ шагомъ впередъ эмансипировался все больше и больше. Однимъ изъ самыхъ выдающихся его качествъ было любопытство, соединенное съ легковѣріемъ, и когда оно выступало впередъ, то совладать съ нимъ было очень трудно. Такъ случилось и теперь. Нѣкоторое время онъ какъ будто боролся съ собой и даже пытался разсказать мнѣ сюжетъ «Трехъ мушкатеровъ», которыхъ онъ будто бы читалъ по рекомендаціи какого-то высокопоставленнаго лица, но на половинѣ разсказа не вытерпѣлъ, подсѣлъ къ адвокату и тотчасъ же завязалъ съ нимъ разговоръ.

— Вы адвокатъ?

— Имѣю честь принадлежать къ сословію адвокатовъ.

— Фамилія ваша?

— Проворный, Алексѣй Андреевъ.

— Какъ будто мы съ вами прежде встрѣчались?

— Очень можетъ быть-съ.

— Въ Муромскомъ лѣсу будто. Я въ саратовскую деревню, помнится, ѣхалъ.

Проворный взглянулъ на Прокопа недоумѣвающими глазами.

— Какъ ее, станція-то? Булатниково, что ли? Еще вы насъ въ оврагѣ поджидали? — не смущаясь, продолжалъ Прокопъ.—Вы давно тамошнія мѣста бросили?

— Извините... тутъ есть какое-то недоразумѣніе... Я даже не слыхалъ ни о какихъ Муромскихъ лѣсахъ! — все больше и больше недоумѣвалъ Проворный.

— Ну, что тутъ! Конечно, кому пріятно про Муромскіе лѣса вспоминать. Главное дѣло: бросили—и довольно. Тамъ, впрочемъ, нынче и невыгодно: всѣ проѣзжіе на желѣзныя дороги бросились, да и Муромскіе-то лѣса, кажется, въ Петербургъ, на Литейную, перевели: Овсянниковское дѣло знаете?

— Имѣлъ честь быть приглашаемымъ-съ.

— Понюхать или взаправду?

Вопросъ былъ такъ необыкновененъ, что даже самому Проворному сдѣлалось весело.

— Вы чему смѣетесь?—спросилъ Прокопъ, замѣтивъ на лицѣ адвоката улыбку.

— Да, признаюсь вамъ откровенно, у васъ такой неожиданный способъ выраженія...

— Никакого у меня способа выраженія нѣтъ, а говорю правду. У меня у самого два адвоката-пріятеля есть: одного, Бѣлобрюшенкова, понюхать приглашали, а другого, Комаринскаго,—того прямо запрягли: ступай, значитъ, въ самый навозъ! О Комаринскомъ, чай, слыхали?

— Имѣю честь знать лично-съ.

— Веселый парень, безстрашный. Я, признаться, говорилъ ему: смотри, братъ, вытащишь ли? Какъ бы совсѣмъ въ навозѣ не застрять! Ничего—смѣется. «Мнѣ, говоритъ, бояться нечего, я сытъ. Въ Петербургѣ будетъ жить скверно—въ Ниццу уѣду. Куплю палаццо, захвачу парочку литераторовъ съ Ветлуги, будемъ въ чехарду играть, въ Средиземное море плевать, по вечерамъ трехголосную херувимскую пѣть. Все равно, что въ Ветлугѣ заживемъ». А какъ по вашему мнѣнію: поджогъ Овсянниковъ мельницу или не поджогъ?

— Это зависитъ-съ...

— То-есть, отъ чего же зависитъ?

— Отъ взгляда-съ. Ежели съ одной стороны взглянуть—выйдетъ поджогъ, а ежели съ другой стороны — выйдетъ случайность.

— Ну, а по-настоящему, по правдѣ-то, какъ?

— По моему мнѣнію, правда есть продуктъ судоговоренія—вотъ все, что могу вамъ на этотъ счетъ сказать.

— Да вѣдь поджогъ-то до судоговоренія былъ?

— Пожаръ-съ. А что было причиной, поджогъ или неосторожность, или дѣйствіе стихій — это ужъ тайна судоговоренія.

— Стало-быть, на судоговореніи можно и первое, и другое, и третье доказать?

— Не доказать, а доказывать-съ. Три системы доказательствъ будутъ имѣть мѣсто въ этомъ дѣлѣ: одна со стороны прокурора, другая со стороны гражданскаго истца и, наконецъ, третья — со стороны защиты обвиняемыхъ. Какая изъ этихъ системъ окажется болѣе убѣдительною, та и выиграетъ дѣло.

— Стало-быть, если-бъ я, напримѣръ, хоть разневинный былъ, а у прокурора система будетъ лучше, нежели у моего адвоката, такъ меня на каторгу сошлютъ?

— Подобные случаи извѣстны въ юридической практикѣ подъ названіемъ судебныхъ ошибокъ.

— Слава Богу, хоть это. Ну, а теперь имѣніе у меня въ Рязанской губерніи есть—можно его у меня отнять?

— Ежели есть противная сторона, которая обладаетъ извѣстною суммою доказательствъ...

— Вотъ такъ судоговореніе! Ваше превосходительство! какъ вы объ этомъ думаете?

Вопросъ этотъ относился къ молодому тайному совѣтнику, который полулежалъ въ это время на диванѣ, закрывшись листомъ газеты. Но тайный совѣтникъ даже въ вагонѣ строго соблюдалъ свое достоинство и, чтобъ не вступать въ разговоръ съ неизвѣстною личностью, притворился спящимъ.

— Спитъ,—шопотомъ произнесъ Прокопъ:—ну, да ему и не грѣхъ. Обидѣли его. Ну-съ, такъ будемте знакомы, Алексѣй Андреичъ. Хоть вы и собрались у меня рязанскую деревню оттягать, — да это еще когда-то будетъ! А покамѣстъ знакомы будемъ. Можетъ, за границей свидимся—пріятнѣе будетъ въ своемъ кружку время провести. А что Овсянниковъ мельницу поджогъ—такъ вы въ этомъ не сомнѣвайтесь. Я и съ адвокатомъ его, съ Комаринскимъ, говорилъ—и тотъ говоритъ: поджогъ! Только парень-то ужъ очень хорошъ, денегъ у него много—вотъ и нельзя не заступиться за него.

Прокопъ всталъ, потянулся и осмотрѣлся кругомъ, къ кому бы еще присѣсть. Покосился сначала на восточнаго человѣка, но раздумалъ и направился къ старику съ Владиміромъ на шеѣ. Старецъ какъ-то нервно передернулся, почувствовавъ себя въ этомъ сосѣдствѣ.

— Вы до Вильны?—спросилъ Прокопъ.

— Я за границу-съ.

— А я думалъ, до Вильны. Туда нынче много такихъ ѣздитъ. Просвѣтители. А гдѣ служите? чай, въ консисторіи?

Старичокъ ничего не отвѣтилъ, но и я видѣлъ, какъ брови его начали постепенно шевелиться, словно въ нихъ что-то забѣгало.

— Что-жъ не говорите, — продолжалъ Прокопъ: — чай, язывъ не отвалится?

— При своемъ мѣстѣ служенія нахожусь, — отвѣтилъ старецъ, рѣшительно уклоняясь отъ дальнѣйшаго разговора.

— Понимаю! ватерклозетами завѣдуете? Тамъ, вѣрно, и простудились — теперь на казенный счетъ лѣчиться ѣдете?

Старичокъ не отвѣчалъ, а только безпокойно подергивалъ плечами и спиной и перекладывалъ ноги одна на другую.

— Я и болѣзнь вашу знаю, — продолжалъ Прокопъ: — по-медицински восцой она называется. Чернослив, братъ, больше ѣшь—пройдетъ.

— Прокопъ!—возопилъ я:—что ты дѣлаешь?

— Ничего я не дѣлаю. Я только объ томъ, сколько на эту восцу казенныхъ денегъ выходитъ. А ежели ты со мной, господинъ Восцынъ, разговаривать не хочешь,—обратился онъ къ старику: — ну, и сиди съ Богомъ. Подергивайся. Ишь его передергиваетъ. Восца! она и есть!

Наконецъ, вновь Прокопъ сѣлъ подлѣ меня и нѣкоторое время казался обиженнымъ. Но такъ какъ никакое опредѣленное чувство не могло въ немъ долго задерживаться, то въ скоромъ времени его занимали уже совсѣмъ другія соображенія, и онъ изумилъ меня цѣлымъ рядомъ совершенно неожиданныхъ вопросовъ и разсужденій.

— Къ Лугѣ, что ли, мы подъѣзжаемъ?—спросилъ онъ.

— Къ Лугѣ.

— Ѣсть будемъ—это хорошо. Вотъ я ему компотъ изъ чернослива закажу — ѣшь, братъ, здоровъ будешь. А что за Луга? городъ, что ли?

— Городъ.

— А чудотворцы въ немъ какіе-нибудь почиваютъ?

— Объ какихъ еще чудотворцахъ ты заговорилъ? Есть исправникъ, становые—вотъ и довольно.

— Нѣтъ, это ты ужъ вздоръ мелешь. Это я навѣрное знаю. Во всякомъ городѣ свои угодники почиваютъ — это мнѣ архимандритъ Амфилохій говорилъ. Во Псковѣ—псковскіе угодники, въ Вильнѣ—виленскіе... А мнѣ, братъ, серьезно ѣсть захотѣлось. Въ Лугѣ какая рыба водится?

— Ей-Богу, не знаю. Одному только удивляюсь: какъ это ты, голубчикъ, минуту помолчать не можешь? И мысли у тебя какія-то все разныя являются: сейчасъ были угодники, и вдругъ—рыба...

— А мнѣ развѣ заказано? Кабы мнѣ заказано было: думай объ одномъ — я бы и думалъ. Вонъ ему, Восцыну, сказано: думай о ватерклозетахъ—онъ и думаетъ, къ нему въ это время не подходи. А мнѣ свободно: объ чемъ хочу, объ томъ и думаю.

— Все-таки иногда не мѣшало бы...

— Ну тебя! Я еще вонъ этого, тайнаго-то совѣтника, къ вечеру раззужу, да и объ татаринѣ досконально разузнаю: съ какой стати свиное ухо съ нами въ первомъ классѣ ѣдетъ? Смотри-ка! смотри-ка! вѣдь и онъ на насъ глядитъ! Смѣется! ишь!

Дѣйствительно, восточный человѣкъ смотрѣлъ на насъ и улыбался во весь ротъ. Онъ даже хлопалъ ладонью по подушкѣ сосѣдняго мѣста, какъ бы приглашая Прокопа сѣсть возлѣ него.

— Станція Луга! двадцать минутъ остановки!—прокричалъ кондукторъ, проходя мимо насъ.

V.—Тайна, облекающая личность восточнаго человѣка, слегка разъясняется.

Въ Лугѣ, по дорогѣ къ вокзалу, меня подхватилъ подъ руку тайный совѣтникъ Стрекоза. Признаюсь, я смутно угадывалъ, что будетъ нѣчто подобное (дальше я разскажу читателю мои отношенія къ Стрекозѣ), и порядочно-таки это волновало меня.

— Мы, кажется, съ вами знакомы?—спросилъ онъ.

— Кажется,—отвѣчалъ я.

— Мы пошли разными дорогами, но надѣюсь, что это не должно мѣшать намъ взаимно уважать другъ друга.

Говоря это, онъ сжималъ своимъ правымъ локтемъ мой лѣвый локоть, а лѣвой рукой взялъ мою правую руку.

— Признаюсь вамъ, я ужъ давно для себя рѣшилъ ко всѣмъ имѣть уваженіе, кто имѣетъ чинъ не ниже статскаго совѣтника. А слѣдовательно и вы въ томъ числѣ.

Онъ усмѣхнулся, заглянулъ мнѣ въ лицо, пробормоталъ какъ бы про себя:—Это иронія?—и, не отпуская моей руки, засвисталъ какой-то мотивъ.

— Вы мои послѣднія распоряженія читали?—вновь началъ онъ разговоръ.

— Нѣтъ, не читалъ.

— Не интересуетесь?

— Сами по себѣ, вѣроятно, они интересны, но для меня—нѣтъ.

— Многіе такъ разсуждаютъ нынче, и оттого у насъ ничего не идетъ. Я не понимаю, какъ можетъ не интересовать умнаго человѣка то, въ чемъ, напримѣръ, заинтересовано цѣлое государство!

— Что прикажете дѣлать! Это странно и даже малообъяснимо, но это такъ!

— Вотъ если бы вы читали, то должны были бы сознаться, что неправы.

— Въ чемъ неправъ?

— А хоть бы въ томъ, что имѣете на меня совершенно невѣрный взглядъ.

— Да помилуйте! что же вамъ-то до этого? развѣ вамъ мой взглядъ нуженъ?

— Даже очень. Я вообще имѣю нужду въ содѣйствіи, а въ частности, относительно васъ, есть, кромѣ того, и еще... Вы, можетъ-быть, забыли, но я очень, очень многое помню.

Онъ вновь сжалъ мнѣ локоть. Непріятное чувство испытывалъ я въ эту минуту: какъ будто Богъ-вѣсть откуда взялось мертвое тѣло и увязалось за мной.

— Какъ хорошо было двадцать лѣтъ тому назадъ—помните?—воскликнулъ онъ и даже ротъ на мгновеніе разинулъ, какъ бы вдыхая въ себя не-вѣсть какой ароматъ.

Я не отвѣтилъ, но онъ не сконфузился этимъ и еще крѣпче сжалъ мой локоть.

— Вы были въ то время неправы относительно меня,—продолжалъ онъ:—мы когда-нибудь объ этомъ поговоримъ на досугѣ. Старыхъ недоразумѣній не должно быть. Вы куда ѣдете?

Я назвалъ нѣсколько пунктовъ.

— Приблизительно, это и мой маршрутъ. Скажите, что̀ это за чудакъ, который васъ сопровождаетъ?

Я сказалъ.

— Эти дамы—его жена и дочь?

Стрекоза надѣлъ на глаза пенснэ и, сжавши губы, внимательно осмотрѣлъ Надежду Лаврентьевну и Наташеньку, которая сидѣла за общимъ столомъ и кушала цыпленка, словно играя имъ.

— Интересныя особы! —процѣдилъ Стрекоза сквозь зубы.—Можно съ ними познакомиться?

— Полагаю.

Въ эту минуту я замѣтилъ, что Прокопъ, совсѣмъ запыхавшись, бѣжитъ въ нашемъ направленіи, доѣдая набѣгу пирогъ, кусокъ котораго еще торчалъ у него во рту.

— Ну, что̀, говорилъ я! и вышла моя правда!—кричалъ онъ еще издали, махая руками.

Наконецъ, подбѣжалъ и торжественно объявилъ:

— Науматуллу видѣлъ.

— Да ты хоть бы говорилъ толкомъ!—возразилъ я, едва воздерживаясь отъ раздраженія.

— Изъ «Белью» Науматуллу; онъ тоже за границу ѣдетъ — вонъ съ нимъ, вонъ съ этимъ... ну, вонъ что въ ермолкѣ у насъ въ вагонѣ сидитъ!

— Ну, и пускай ѣдетъ. Какое, наконецъ. намъ до этого дѣло!

— Какъ какое? Я отъ Науматуллы узналъ про *него*. Онъ—принцъ, братецъ, только инкогнито.

— Душа моя, это, наконецъ, утомительно!

— Ты сперва взгляни, а потомъ говори! Вонъ они рядомъ сидятъ. Науматулла-то ужъ разсчитался съ «Белью», теперь у принца камергеромъ служитъ.

Какъ ни глупо все это представлялось, но я невольно взглянулъ впередъ. Дѣйствительно, восточный человѣкъ сидѣлъ за общимъ столомъ и пилъ шампанское, которое Науматулла изъ «Бельвю» (я тотчасъ же узналъ его) наливалъ ему.

— Ты вотъ все бѣгаешь,—сказалъ я Прокопу:—теперь ѣду прозѣваешь, а потомъ будешь жаловаться, что голоденъ. Садись-ка лучше, ѣшь.

— Нѣтъ, я хочу тебѣ доказать, хоть я и не отгадчикъ, а взглядъ у меня есть! Пссст... пссст...—сдѣлалъ онъ, кивая головой по направленію къ Науматуллѣ.

Науматулла всталъ, что-то почтительно пошепталъ восточному человѣку, потомъ налилъ три бокала, поставилъ на тарелку и поднесъ намъ.

— Прынецъ проситъ здоровья кушать!—сказалъ онъ.

Прокопъ принялъ бокалъ и, выступя нѣсколько впередъ, церемоніально поклонился. Я и Стрекоза тоже машинально взяли бокалы и нѣкоторое время совсѣмъ подурацки стояли съ ними, не рѣшаясь, пить или не пить. Восточный человѣкъ между тѣмъ во весь ротъ улыбался намъ.

— Что же это, однако, за принцъ такой? — спросилъ Стрекоза Науматуллу.

— Въ Эйдкуненъ все будемъ говорить; въ Эйдкуненъ—все чисто будемъ объяснять,—таинственно отвѣтилъ Науматулла:—а до Эйдкуненъ—не можемъ объяснять. Еще шампанскаго, господа, угодно?

— Да не мятежникъ ли это какой-нибудь? — усомнился вдругъ Прокопъ.

— Сказано: въ Эйдкуненъ все чисто объяснять будемъ. И больше ничего!—вновь подтвердилъ Науматулла и исчезъ съ опорожненными бокалами въ толпѣ.

— Какъ же къ нему обращаться? Чай, титулъ у него какой-нибудь есть?—обезпокоился Прокопъ.—Науматулла, признаться, сказалъ мнѣ что-то, да вѣдь его развѣ поймешь? «Заблудащій», говоритъ,—вотъ и думай!

— Въ Эйдкуненѣ узнаемъ-съ,—отозвался Стрекоза.

— Чай, бѣглый какой-нибудь,—продолжалъ Прокопъ:—ишь, шельма, смѣлый какой! не боится, такъ съ подлиннымъ обличьемъ и ѣдетъ! Вотъ бы тебя къ становому отсюда препроводить—и узналъ бы ты, гдѣ раки зимуютъ!

— Въ Вержболовѣ, по всей вѣроятности, такъ и поступлено будетъ,—вновь отозвался Стрекоза.

— И все-таки принцъ! Тамъ какъ ни дразнись свинымъ ухомъ, а у нихъ, коли принцъ, такъ сейчасъ видно, что есть что-то свыше. Вотъ кабы онъ къ Наташенькѣ присватался, я бы его въ нашу православную вѣру перевелъ... ха-ха! А что ты думаешь? Уѣхали бы всѣ вмѣстѣ въ Ташкентъ, стали бы новые необременительные налоги придумывать, дворъ бы, по примѣру прочихъ принцевъ, завели, Патти бы выписали...

— Христосъ съ тобой! Вѣдь Ташкентъ-то ужъ русскій!

— А, можетъ, царь и проститъ, назадъ велитъ отдать. Мы противъ русской имперіи—ничего, мы—вѣрные слуги;

вотъ коканцы—тѣ мятежники. А мы бумагу такую напишемъ, чтобы, значитъ, ни вамъ, ни намъ. Смотри-ка! да никакъ Науматулла опять съ шампанскимъ идетъ! Постой, я его разспрошу!

Дѣйствительно, Науматулла опять стоялъ передъ нами съ наполненными бокалами и говорилъ:

— Вторично прынецъ велѣлъ здоровья кушать! Всѣ будьте здоровы! Кофій, чай, шкаладъ — кому что угодно, все спрашивайте, все подавать велѣно!

— Да кто твой принцъ, сказывай?—спросилъ Прокопъ:—ножетъ, онъ мятежникъ?

— Въ Эйдкуненъ—все говоримъ! до Эйдкуненъ—ничего говорить не можемъ!

— Пить ли?—усомнился Прокопъ, обращаясь ко мнѣ.

Къ счастію, звонокъ прервалъ всѣ эти вопросы и недоразумѣнія. Мы наскоро выпили шампанское и поспѣшили въ вагонъ, при чемъ я, на ходу, представилъ другъ другу Стрекозу и Прокопа. Восточный человѣкъ былъ уже на мѣстѣ, и Прокопъ, сказавъ мнѣ: «воля твоя, а я его буду благодарить!» — подошелъ къ нему. На что восточный человѣкъ отвѣтилъ очень привѣтливо, протянувъ руку на диванъ и какъ бы приглашая Прокопа сѣсть на нее.

Надо отдать справедливость Прокопу—онъ отнесся къ этой пантомимѣ довольно недовѣрчиво и сѣлъ поодаль. Затѣмъ онъ попытался завести разговоръ и, какъ всегда водится въ подобныхъ случаяхъ, даже выдумалъ совершенно своеобразный языкъ для объясненія съ восточнымъ человѣкомъ.

— Далеко? луанъ?—спросилъ онъ и, для ясности нѣсколько разъ махнувъ рукою въ воздухѣ, показалъ пальцемъ въ окно.

Восточный человѣкъ засмѣялся и тоже показалъ пальцемъ въ окно.

— Дѣла есть? аферъ иль-я?

Восточный человѣкъ продолжалъ смѣяться и показывать пальцемъ въ окно.

— И я тоже туда! с муа осси леба! Только я, братъ, безъ дѣла—комса!

Очевидно было, однако-жъ, что восточный человѣкъ или не понималъ, или упорно притворялся непонимающимъ. Онъ только смотрѣлъ какъ-то удивительно весело, раскрывъ ротъ до ушей.

— Не понимаешь?—утомился, наконецъ, и Прокопъ:—

ну, нечего дѣлать, давай такъ сидѣть, другъ на дружку смотрѣть станемъ!

Начали смотрѣть другъ на друга и вдругъ оба захохотали. За ними захохотали и другіе, такъ что Надежда Лаврентьевна обезпокоилась и выглянула изъ-за двери.

— Наденька, поди сюда! Вотъ это принцъ! а это—мафамъ!—рекомендовалъ ихъ другъ другу Прокопъ.

Надежда Лаврентьевна ничего не понимала и какъ-то конфузливо оглядывалась. Между тѣмъ принцъ, съ ловкостью восточнаго человѣка, вскочилъ съ своего мѣста, отвернулъ по́лу халата, порылся въ карманѣ штановъ и поднесъ Надеждѣ Лаврентьевнѣ шепталу, держа ее между двумя пальцами.

— Бери, послѣ за окно выбросишь! — разрѣшилъ Прокопъ недоумѣніе жены своей. — Принцъ вѣдь онъ! Ишь вѣдь, свиное ухо, куда вздумалъ гостинцы прятать: въ штаны!

Однако, какъ ни малотребователенъ былъ Прокопъ насчетъ развлеченій, и ему, повидимому, надоѣло смотрѣть на восточнаго человѣка и смѣяться съ нимъ.

— Будетъ, братъ,—сказалъ онъ:—послѣ, ежели захочется, давай и опять смотрѣться!

А мнѣ, покуда все это происходило, было совсѣмъ тяжело, потому что ко мнѣ подсѣлъ Стрекоза и самымъ серьезнымъ образомъ допрашивалъ, почему я его не уважаю.

— Изъ чего вы это заключаете? — отбивался я, какъ умѣлъ.

— Нѣтъ, это для меня вопросъ рѣшенный: я по глазамъ вижу. Скажите же, отчего вы меня не уважаете?

Я бился какъ рыба объ ледъ, стараясь ежели не разувѣрить, то по крайней мѣрѣ успокоить моего собесѣдника. Но онъ не унимался и только видоизмѣнилъ свой вопросъ:

— Вы мои послѣднія распоряженія читали? Не читали? А между тѣмъ судите обо мнѣ!

Въ это время, къ моему удовольствію, подошелъ къ намъ Прокопъ и произнесъ:

— Чортъ ихъ знаетъ, эти татары! вотъ и смѣялся, кажется, а смерть какъ скучно! Какову онъ конфетку Надеждѣ Лаврентьевнѣ подарилъ? Замѣтилъ?

Наконецъ, начало и темнѣть въ вагонахъ. Проѣхали

Псковъ, отобѣдали, стали подъѣзжать къ Острову. Всѣ были утомлены, потягивались и зѣвали; многіе пробовали заснуть, но не могли. Съ полчаса было въ вагонѣ тихо—только слышалось, какъ восточный человѣкъ чавкалъ шепталу и щелкалъ миндальные орѣхи. Потомъ вдругъ все опять заворочалось, стараясь половчѣе усѣсться, и вдругъ всѣ очутились сидящими прямо и глядящими другъ другу въ глаза.

— Вотъ-то, братъ, тоска,—произнесъ Прокопъ:—хоть бы сказку кто разсказалъ!

Тогда мнѣ припомнилось, что генералъ обѣщалъ разсказать исторію о томъ, какъ онъ свелъ знакомство съ чортомъ, и я немедленно сообщилъ эту мысль Прокопу.

— А что-жъ, и прекрасно! Можетъ-быть, и разгуляемся! Генералъ! помнишь, ты ему обѣщалъ исторію свою разсказать? Вотъ бы теперь—чего лучше! Господа! будемъ всѣ просить генерала!

Генералъ нѣсколько затруднился, но такъ какъ мы всѣ его обступили и въ самыхъ почтительныхъ выраженіяхъ просили доставить намъ своимъ разсказомъ живѣйшее удовольствіе, то онъ, наконецъ, согласился. Но прежде нежели приступить къ самому разсказу, онъ всталъ, разстегнулъ сюртукъ, рубашку и фуфайку и показалъ намъ опять ту надпись, которая хранилась у него на груди пониже лѣваго соска и о которой я уже говорилъ читателю.

— Смотрите, господа!—сказалъ онъ взволнованнымъ голосомъ:—ибо эта печать есть истинный герой предстоящаго разсказа!

Затѣмъ онъ высморкался, откашлялся и разсказалъ намъ слѣдующее *).

*) По обстоятельствамъ осталось неоконченнымъ.—*Замѣчаніе автора.*

СТАРЧЕСКОЕ ГОРЕ

или

НЕПРЕДВИДѢННЫЯ ПОСЛѢДСТВІЯ ЗАБЛУЖДЕНІЯ УМА.

(РАЗСКАЗЪ).

Про Каширина всѣ говорили: «вотъ истинно-милый человѣкъ!» А нѣкоторые прибавляли: «это человѣкъ свѣтлаго ума, любезный, преданный дѣлу и замѣчательно интересный; однимъ словомъ, человѣкъ, знакомствомъ съ которымъ слѣдуетъ гордиться». Люди самыхъ противоположныхъ лагерей сходились въ любви къ Каширину и въ признаніи его достолюбезныхъ качествъ. Съ своей стороны, и онъ всѣхъ любилъ, со всѣми здоровался и всякому имѣлъ сказать что-нибудь пріятное. И всегда это пріятное выражалось съ такою сердечностью, какъ будто оно было адресовано исключительно тому лицу, къ которому обращалось, а вовсе не представляло собой банальной фразы, которую можно примѣнить ко всякому встрѣчному. И всякому представлялось (особливо самолюбивымъ людямъ), что это не была съ его стороны только ловкость, а именно интимное выраженіе достолюбезныхъ свойствъ его природы.

Словомъ сказать, хотя Филиппу Филиппычу (такъ зовутъ Каширина) перевалило за пятьдесятъ, но онъ рѣшительно не помнитъ, чтобъ до послѣднихъ непредвидѣнныхъ невзгодъ существованіе его было когда-нибудь омрачено продолжительнымъ и существеннымъ огорченіемъ.

Какимъ образомъ явился Филиппъ Филиппычъ на сцену жизни и откуда, «изъ какихъ» онъ былъ родомъ—никто объ этомъ достовѣрныхъ свѣдѣній не имѣлъ; самъ же онъ очень ловко уклонялся отъ вопросовъ на эту тему. Въ дѣйствительности онъ былъ родомъ изъ-подъ Пронскаго города, сынъ мелкопомѣстнаго помѣщика, и даже доднесь у него живетъ въ тѣхъ мѣстахъ тетка Агаѳья Ивановна, старая дѣвица, въ пользу которой Каширинъ отказался отъ своего родового наслѣдства. Наслѣдство это, по старому крѣпостному счету, заключалось въ трехъ мужеска пола

душахъ, при двадцати пяти десятинахъ земли. Когда состоялась крестьянская эмансипація, то за души выдали деньги, которыя Филиппъ Филиппычъ взялъ себѣ, а землю, съ находящеюся на ней ветхой усадьбой, съ движимымъ имуществомъ, съ лѣсами, водами, рыбными ловлями и прочими угодьями, предоставилъ тетенькѣ Агаѳьѣ Ивановнѣ. Съ своей стороны, Агаѳья Ивановна, въ знакъ благодарности, ежегодно присылала ему къ Рождеству двухъ замороженныхъ индѣекъ, какового презента онъ, впрочемъ, всегда ожидалъ съ большимъ страхомъ, потому что боялся, чтобъ кто-нибудь изъ «друзей», провѣдавъ объ этомъ, не заговорилъ «въ шутливомъ русскомъ тонѣ» о славномъ и знаменитомъ родѣ Каширныхъ.

Воспитаніе Филиппъ Филиппычъ получилъ, по своему времени, хорошее и собственно съ момента поступленія въ казенное заведеніе начиналъ свою историческую жизнь. Вѣроятно, отецъ его былъ тоже нрава достолюбезнаго и чувствовалъ себя хорошо въ роли ласковаго теляти—и это въ значительной степени помогло молодому Каширину. Благодаря этому обстоятельству, богатый сосѣдъ (онъ же и любитель просвѣщенія) приголубилъ маленькаго Филю и сначала воспиталъ его съ своими дѣтьми дома, потомъ помѣстилъ на свой счетъ въ университетскій пансіонъ, откуда онъ перешелъ въ московскій университетъ, и, наконецъ, умирая, завѣщалъ своему питомцу небольшой капиталъ. Впослѣдствіи, когда молодые потомки богатаго барина пошли бойко по службѣ, то и они помогли Каширину. Филиппъ Филиппычъ поддерживалъ эти связи, но не только безъ навязчивости, а даже болѣе нежели съ скромностью. Смолоду онъ даже скрывалъ объ этомъ обстоятельствѣ отъ своихъ «друзей», хотя друзья очень хорошо понимали, что у него есть гдѣ-то «рука», благодаря которой онъ преуспѣваетъ на бюрократическомъ поприщѣ. Впрочемъ, онъ очень аккуратно посѣщалъ своихъ патроновъ и патронессъ въ дни семейныхъ и торжественныхъ праздниковъ и изрѣдка являлся къ нимъ, по приглашенію, запросто отобѣдать. Иногда «коренные» друзья, прогуливаясь съ Филиппомъ Филиппычемъ по Невскому, видали, какъ какая-нибудь высокопоставленная дама дружелюбно кивала Каширину изъ коляски, и онъ, почтительно отдавая поклонъ, краснѣлъ. И ежели эти «друзья» были литераторы, то они очень остроумно по этому поводу подшучивали надъ Каширинымъ; но ежели «друзья» были бюрократы, то они

задумывались и крѣпко сжимали счастливцу руки. Сверхъ того, раза два-три въ годъ бывали такіе случаи, что сами патроны и патронессы (древо стараго добраго барина оказалось многовѣтвистымъ) сами назывались къ своему интересному protégé на «вечерокъ» и привозили дѣтей съ гувернантками. Въ такіе дни онъ покупалъ печенья къ чаю, конфетъ, фруктовъ, шампанскаго, курилъ въ квартирѣ духами, облекался во фракъ, спускалъ на окнахъ драпри, чтобъ не видно было съ улицы свѣта, и строго-на-строго приказывалъ швейцару (онъ жилъ въ четвертомъ этажѣ, но всегда въ такомъ домѣ, гдѣ былъ заведенъ швейцаръ) отнюдь не пускать «друзей». Патроны, патронессы, ихъ дѣти и гувернантки кушали чай, конфеты и фрукты, выпивали по бокалу шампанскаго, хвалили квартиру Каширина и находили, что у него очень «мило». Онъ же старался быть почтительно-гостепріимнымъ (но безъ всякаго искательства), предоставлялъ въ распоряженіе гувернантокъ и дѣтей piano mécanique (для этого собственно онъ его и пріобрѣлъ), а дамамъ показывалъ альбомы съ фотографическими карточками, кипсеки и платокъ, подаренный Гарибальди одному изъ его друзей, а отъ послѣдняго перешедшій къ нему. Вообще онъ былъ безконечно-сіяющъ и любезенъ, хотя внутренно и мучился, чтобъ кто-нибудь изъ литературныхъ «друзей» не пронюхалъ о пиршествѣ и не положилъ его въ основаніе разсказовъ болѣе или менѣе юмористическаго свойства.

Въ университетѣ Каширину удалось слушать лекціи Грановскаго, тогда только-что начавшаго свою воспитательную дѣятельность. Это положило неизгладимую печать на всю его жизнь: дало ему вкусъ къ изящному и—что важнѣе всего—утвердило въ намѣреніи неуклонно идти по стезѣ честности и благородства. И онъ шелъ по этой стезѣ до конца и очень глубоко скорбѣлъ, видя, какъ нѣкоторые изъ его товарищей, тоже ученики Грановскаго, поступали на службу, «прибытка ради», въ московскую гражданскую палату и тамъ находили себѣ успокоеніе подъ сѣнью «крѣпостныхъ дѣлъ». Самъ же онъ всегда выбиралъ службы самыя благородныя, съ легкимъ фрондирующимъ оттѣнкомъ (фрондировать не служа онъ не могъ, потому что не имѣлъ достаточно обезпеченныхъ средствъ къ жизни), а именно сначала поступилъ на службу въ вѣдомство «Предвкушенія свободъ», потомъ, когда благородство изъ этого вѣдомства перешло въ вѣдомство «Плаваній и Внезапныхъ открытій»,

то и онъ, вслѣдъ за нимъ, перешелъ туда же, и наконецъ, когда времена окончательно созрѣли, онъ окончательно утвердился въ вѣдомствѣ «Дивидендовъ и Раздачъ». Навѣрное, онъ попалъ бы и въ преобразованное судебное вѣдомство, яко наиблагороднѣйшее и несмѣняемѣйшее, если бы ко времени введенія реформъ не почувствовалъ себя состарѣвшимся и обрюзгшимъ.

То же живое слово Грановскаго воспитало въ немъ и наклонность къ литературѣ. Собственно говоря, самъ онъ не былъ литераторомъ, но перевелъ однако-жъ, съ кѣмъ-то вдвоемъ, статейку для «Отечественныхъ Записокъ» временъ Бѣлинскаго и, кромѣ того, изобрѣлъ два-три счастливыя выраженія, которыми и воспользовались литераторы настоящіе, сдѣлавшіеся впослѣдствіи знаменитыми. Сверхъ того, онъ въ особенности любилъ непропущенныя цензурой статьи или хотя отдѣльныя мѣста изъ нихъ, и страстно коллекціонировалъ ихъ. Вообще онъ смолоду охотно искалъ общества литераторовъ и былъ всегда испытаннымъ и вѣрнымъ ихъ другомъ, хотя многіе изъ нихъ отплачивали за эту дружбу легкомысленнымъ предательствомъ. Въ сороковыхъ годахъ съ талантливостью какъ-то фаталистически соединялась склонность къ пересмѣшничеству и даже немного къ вѣроломству. Каширинъ очень часто и больно страдалъ отъ этого, но, къ чести его должно сказать, никакія личныя огорченія не заставили его отвернуться отъ литературы, а тѣмъ менѣе мстить ей. И когда учрежденъ былъ Литературный Фондъ, то онъ за особенную себѣ честь поставилъ быть однимъ изъ его учредителей и печальниковъ.

Вообще все существованіе Филиппа Филиппыча имѣло подкладку несомнѣнно гуманную и либеральную. Хотя же онъ и не высказывалъ своего либерализма вслухъ, но при случаѣ такъ характерно произносилъ: «гм!» и даже: «эге!»— что въ умѣ сколько-нибудь прозорливаго собесѣдника не могло оставаться никакихъ сомнѣній насчетъ душевнаго его настроенія.

Каширинъ прожилъ жизнь тихо и аккуратно. Занимая по службѣ мѣста благородныя и снабженныя хорошимъ содержаніемъ, онъ не только не нуждался, но всегда жилъ вполнѣ прилично. Онъ не прижимался съ деньгами, но и не расточалъ оныхъ. Имѣя обширный кругъ знакомыхъ, гдѣ всегда видѣли его съ удовольствіемъ, онъ почти не жилъ дома, и это значительно сокращало его расходы. Говорили, будто онъ копилъ про черный день; но ежели это

и была правда, то, во всякомъ случаѣ, присовокупленія его были самыя умѣренныя. Главный расходъ его составляли: квартира, одежда и сигары, и эти статьи были доведены у него до самой безукоризненной респектабельности. Затѣмъ онъ держалъ при себѣ приличнаго лакея, непремѣнно изъ нѣмцевъ. Никогда онъ дома не обѣдалъ и, проработавъ утромъ за казенными бумагами, исчезалъ до поздней ночи, заходя домой только на короткое время, чтобъ переодѣться. Обѣдать любилъ преимущественно въ семейныхъ домахъ, гдѣ можно было сказать что-нибудь любезное хозяйкѣ дома, но не отказывался изрѣдка отобѣдать и въ «кабачкѣ», въ кутящей компаніи, причемъ самъ пилъ очень умѣренно, но платилъ свою часть наравнѣ со всѣми и даже уплачивалъ иногда за какого-нибудь pique-assiett'a, которыхъ всегда бываетъ немало между собутыльниками. Еще особенность: бумажникъ Каширина всегда бывалъ изобильно снабженъ деньгами, и между кредитками непремѣнно выглядывали двѣ-три крупныхъ. Это было тоже своего рода право на респектабельность.

Начальство отдавало Каширину справедливость, а нѣкоторыхъ изъ начальниковъ онъ даже имѣлъ честь считать въ числѣ своихъ друзей. Въ особенности онъ чувствовалъ себя счастливымъ, когда у департаментскаго кормила стояло начальство либеральное. Въ такія времена онъ называлъ департаментъ своею семьей, позволялъ себѣ ходить на службу въ коротенькой жакеткѣ и входилъ въ «кабинетъ» безъ доклада, съ сигарой въ зубахъ. Но и начальство *не*либеральное не особенно смущало его, потому что онъ обладалъ однимъ драгоцѣннѣйшимъ качествомъ, которое всегда выручало его. Это качество было написано на его физіономіи и выражало собой готовность выслушать и исполнить, слегка окрашенную готовностью «доложить». Начальники либеральные въ особенности цѣнили эту послѣднюю готовность и пользовались ею не безъ пользы для себя. Начальники *не*-либеральные болѣе всего напирали на первыя двѣ готовности, но иногда, замѣтивъ, что гдѣ-то, въ уголку, скромно мерцаетъ еще какая-то робкая готовность, вдругъ осѣнялись мыслью: а что, не послушать ли, что̀ имѣетъ этотъ фалалей доложить? И тогда Каширинъ докладывалъ внятно, вразумительно, точно жемчугъ низалъ, такъ что не было никакой возможности не понять. И бывали примѣры, что, по выслушаніи, начальники—самые закоснѣлые—исправлялись.

Самую загадочную сторону жизни Каширина представляли его отношенія къ женскому полу. Достовѣрно было извѣстно, что онъ любилъ женское общество, искалъ его и вслѣдствіе этого преимущественно посѣщалъ семейные дома. Женщины тоже, повидимому, любили его общество, что̀ можно было заключить уже по тому одному, какъ расцвѣтали лица знакомыхъ дамъ при встрѣчѣ съ нимъ. Но справедливость требуетъ сказать, что въ этомъ расцвѣтаніи гораздо яснѣе проглядывало простое чувство благосклонности, довѣрія и дружбы, нежели стремленіе къ секретному потрясенію семейныхъ основъ. Да и самъ онъ, всѣмъ своимъ поведеніемъ, какъ бы свидѣтельствовалъ, что ему дорога̀ только дружба и довѣріе женщинъ. Не говоря уже о томъ, что онъ былъ скроменъ какъ могила, ничто ни въ его манерахъ, ни въ голосѣ, ни во взглядѣ не представляло повода для игривыхъ догадокъ. Онъ никогда не зачащалъ въ одинъ и тотъ же домъ и никогда не показывалъ, что между семейными домами, которые онъ посѣщалъ, ему больше по душѣ тѣ, во главѣ которыхъ стоятъ красивыя хозяйки. Казалось, что и la belle madame Растопыря, и хорошенькая madame Карноухова, и добродушно-безобразная Матрена Ивановна Стрекоза равно ему милы. Онъ одинаково усердно посѣщалъ и красивыхъ, и некрасивыхъ, и одинаково старался снискивать ихъ довѣріе, благосклонность и дружбу. Иногда эти дамы, даже въ присутствіи мужей, шопотомъ сообщали ему свои маленькія тайны, и мужья отнюдь не формализировались этимъ, ибо знали, что Каширинъ — «другъ по преимуществу». Бо́льшею частью онъ разсказывалъ дамамъ о своихъ друзьяхъ-литераторахъ, о томъ, что Бѣлинскій и въ преферансъ игралъ съ тѣмъ же пыломъ страсти, съ какимъ писалъ критическія статьи; о томъ, что Тургеневъ каждое утро моетъ лицо въ трехъ водахъ; о томъ, что Гончаровъ спитъ до двухъ часовъ дня, и т. д. И дамы внимали этимъ разсказамъ съ удовольствіемъ, потому что это были дамы интеллигентныя, либеральныя. Очень возможно, что въ минуты особеннаго сердечнаго таянія онѣ и побаловывали его за интересно проведенные часы, но навѣрное онѣ поступали такъ безъ всякой примѣси увлеченія и съ тѣмъ, разумѣется, что въ будущемъ это ихъ ни къ чему не обязываетъ. По крайней мѣрѣ, именно такимъ образомъ злые языки объясняли загадочное отсутствіе любовнаго элемента въ жизненной обстановкѣ Каширина. «Это такая по части

женскихъ немощей подлая душа,—говорили они:—что дамочка и ахнуть не успѣетъ, какъ онъ уже, въ скромной роли недостойно облагодѣтельствованнаго, продолжаетъ прерванный разговоръ!» И это было весьма возможно. Ибо нѣтъ ничего удобнѣе и пріятнѣе, какъ обожатель, который съ женской благосклонностью не только не сопрягаетъ никакихъ обязательствъ, но даже никогда ни о чемъ не поминаетъ и только скромно и преданно ждетъ.

Но существовала и другая легенда о томъ же предметѣ. А именно, говорили, будто у Каширина имѣется въ заднихъ комнатахъ кухарка Амалія, которой онъ платитъ нѣсколько болѣе нежели обыкновенной кухаркѣ, и которая, въ одно и то же время, занимается приготовленіемъ для него утренняго кофе и смотритъ за его бѣльемъ. И будто бы онъ придумалъ эту комбинацію въ видахъ экономіи, по примѣру отставныхъ чиновниковъ, которые, получая ограниченный пенсіонъ, не могутъ тратить много на свои удовольствія. Эту легенду, впрочемъ, пустили въ ходъ друзья-литераторы, и потому солидные люди, не останавливаясь на ней, прямо относили ее къ области беллетристики.

Какъ бы то ни было, но отношенія Каширина къ женской немощи такъ и остались неразгаданными.

Однако холостая жизнь и сопряженная съ нею бездомовщина не остались безъ вліянія на Каширина. Отъ всей его фигуры такъ и разило старой дѣвой. И чѣмъ дальше онъ придвигался къ старости, тѣмъ замѣтнѣе становилось это. Привычка быть всегда среди людей (или, по крайней мѣрѣ, въ гостяхъ) выработала въ немъ особаго рода щепетильность, которая подъ конецъ сдѣлала бесѣду съ нимъ чрезвычайно однообразною. Дамочки любятъ скромныхъ обожателей, но въ то же время онѣ не прочь и отъ того, чтобъ отъ времени до времени колѣнопреклоненія ихъ были пересыпаемы какою-нибудь милою словесною гнусностью. Поэтому, когда онъ, разсказавъ весь запасъ анекдотовъ, начиналъ разсказывать ихъ вновь, то онѣ потихоньку вздыхали и находили, что онъ какъ-то черезчуръ ужъ мало слѣдитъ за вѣкомъ. Время шло впередъ и вносило оживляющее, реформирующее начало и въ сферу анекдотовъ. Требовался анекдотъ сильный, возбуждающій, щекочущій чувственность (даже Матрена Ивановна—и та не избѣгала общихъ законовъ прогресса), а Каширинъ все продолжалъ разсказывать о томъ, какъ онъ, въ 1845 году, ловилъ съ Аполлономъ Майковымъ пискарей въ Парголов-

скомъ озерѣ. Сверхъ того, съ лѣтами онъ слегка ожирѣлъ, вслѣдствіе хорошей пищи, а это тоже имѣло не совсѣмъ хорошее вліяніе на изобрѣтательность ума. Онъ сталъ пріобрѣтать особыя, свойственныя одинокому человѣку привычки, съ трудомъ отказывался отъ тѣхъ или другихъ удобствъ, наблюдалъ извѣстные часы, началъ лѣниться, любить халатъ и т. д. Сказать ли правду—иногда онъ даже задумывался: а что, если бы предположеніе о кухаркѣ Амаліи привести въ исполненіе? То заманчивое и вполнѣ экономическое предположеніе, въ которомъ Амалія представлялась кумулирующею двѣ должности...

Со времени окончанія университетскаго курса, разъ поселившись въ Петербургѣ, онъ уже не покидалъ его и только однажды въ нѣсколько лѣтъ позволилъ себѣ коротенькую экскурсію за границу. Провинціи онъ боялся какъ огня и даже командировокъ не бралъ, потому что всюду чаялъ встрѣтиться съ тетенькой Агаѳьей Ивановной. Неоднократно бывшіе его «благодѣтели» приглашали его погостить на лѣто въ свое великолѣпное пронское имѣніе, но онъ постоянно уклонялся отъ этихъ любезныхъ приглашеній, и именно изъ-за той же Агаѳьи Ивановны. Казалось, если бы она умерла, это во многомъ развязало бы Филиппу Филиппычу руки: онъ сталъ бы и командировки брать, и ѣздить на лѣто въ гости къ высокопоставленнымъ друзьямъ. Но, съ другой стороны, если Агаѳья Ивановна умретъ, то послѣ нея неминуемо останется имущество, и по этому случаю его, конечно, будутъ разыскивать, яко законнаго наслѣдника. А этого онъ боялся пуще всего, потому что тогда не только всѣмъ будетъ извѣстно, что онъ владѣлецъ двадцати пяти десятинъ земли (это-то, пожалуй, и теперь многіе знали), но всѣ получатъ право говорить объ этомъ гласно, не стѣсняясь, начнутъ его поздравлять и т. д.

Выше было сказано, что Каширинъ избѣгалъ говорить о своемъ происхожденіи. Съ лѣтами эта странность не только не ослабѣвала, но пріобрѣтала все бо́льшую и бо́льшую силу, и всего больше страдала отъ этого тетенька Агаѳья Ивановна. Съ одной стороны, Филиппъ Филиппычъ отлично понималъ, что тетенька нимало не виновата въ томъ, что она существуетъ. По временамъ онъ даже съ теплымъ чувствомъ припоминалъ, какъ, въ дѣтствѣ, она кормила его, тайно отъ отца, сдобными лепешками. Но, съ другой стороны, ему становилось досадно, когда онъ ловилъ себя на этихъ воспоминаніяхъ. Ему хотѣлось со-

всѣмъ-совсѣмъ забыть и о тетенькѣ, и обо всемъ «прошломъ». Не имѣя возможности производить свой родъ отъ Рюриковичей, онъ съ любовью останавливался на гипотезѣ, въ которой представлялъ себя явившимся въ пространствѣ и времени изъ чего-то въ родѣ пѣны морской. Поэтому, когда однажды тетенька, сколотивши деньжонокъ, собралась-было навѣстить «милаго Филю» въ Петербургѣ, онъ очень серьезно этимъ встревожился. Мысль, что она пріѣдетъ въ третьемъ классѣ, въ затасканномъ заячьемъ салопѣ, что онъ долженъ будетъ, по долгу родства, встрѣтить ее на дебаркадерѣ, что его могутъ при этомъ *увидѣть*, и что, во всякомъ случаѣ, лакей Готлибъ несомнѣнно выразитъ глубочайшее изумленіе при видѣ столь мало аристократической старухи, не давала ему спать. И онъ въ первый разъ въ жизни рѣшился вполнѣ серьезно и даже рѣзко разъяснить милой тетенькѣ, какого рода характеръ должны имѣть ихъ отношенія на будущее время.

Тѣмъ не менѣе, хотя Каширинъ съ лѣтами и утрачивалъ прежнюю упругость и покладистость, которыя дѣлали его особенно достолюбезнымъ, но все-таки онъ отнюдь не могъ жаловаться на судьбу. Знакомство у него было обширное, и онъ могъ черпать въ этомъ морѣ безъ опасенія быть назойливымъ. Конечно, у него не было такихъ друзей, которыхъ мысль постоянно стремилась бы къ нему, которыхъ сердце болѣло бы о немъ, но все-таки были люди, которые видѣли его съ удовольствіемъ. Эти люди, быть-можетъ, не особенно замѣчали его отсутствіе, но, встрѣчаясь съ нимъ, непремѣнно и совершенно искренно восклицали: «а! вотъ и онъ!» Начальство тоже аттестовало его способнымъ и достойнымъ, и всякій разъ, когда имѣлось въ виду что-нибудь серьезное, непремѣнно заводилась рѣчь и о Каширинѣ. Онъ всегда былъ на очереди и зналъ объ этомъ, хотя въ этомъ отношеніи надъ нимъ тяготѣлъ какой-то фатумъ. Слухи о томъ, что ему предстоитъ «постъ», ходили часто и держались долго и упорно, но въ концѣ концовъ дѣло всегда какъ-то сводилось на нѣтъ. Такимъ образомъ онъ дослужился до очень крупнаго чина и все-таки не пошелъ дальше второстепенной должности. Это, разумѣется, довольно больно щекотало его самолюбіе, но онъ умѣлъ превозмогать себя, и исторія обыкновенно кончалась тѣмъ, что Филиппъ Филиппычъ дня три-четыре послѣ этого высиживалъ въ домашнемъ карантинѣ, на бульонной

порціи, но потомъ попрежнему являлся въ департаментъ для полученія присвоеннаго ему содержанія.

Впрочемъ, несмотря на эти маленькія непріятности, Филиппу Филиппычу грѣхъ было роптать. Служба у него была легкая, благородная, хорошо оплаченная, одна изъ тѣхъ службъ, по поводу которыхъ говорятъ: «умирать не надо». Урочныхъ работъ не было, и всѣ занятія, главнымъ образомъ, заключались въ томъ, что онъ былъ членомъ множества комиссій и во всякой умѣлъ заявить себя съ пріятной и полезной стороны. А это еще болѣе расширяло кругъ его знакомства и, стало-быть, разнообразило и его ежедневный обѣденный menu.

Какъ бы то ни было, все время такъ-называемаго сезона Каширинъ не только жилъ въ свое удовольствіе, но даже не примѣчалъ, какъ время летитъ.

Зато лѣтомъ онъ скучалъ, особенно съ тѣхъ поръ, какъ почувствовалъ приближеніе лѣтъ зрѣлости. Знакомые разъѣзжались; комиссіи прекращали занятія, въ департаментъ чиновники являлись неаккуратно и слонялись точно на бивакахъ; Петербургъ казался пустымъ. Когда Каширинъ былъ молодъ, онъ поочередно разъѣзжалъ по знакомымъ, которые ютились въ ближайшихъ къ Петербургу дачныхъ мѣстностяхъ и у которыхъ онъ гостилъ по нѣсколько дней. Но съ годами онъ пріобрѣлъ привычки, которыя не легко мирились съ разъѣздами и бивачной жизнью, и въ то же время утратилъ легкость и нестомчивость, необходимыя для пользованія лѣтними удовольствіями. Онъ уставалъ во время прогулокъ, безъ особенной готовности принималъ участіе въ катаньяхъ на лодкахъ и въ чухонскихъ таратайкахъ, и вообще понялъ, что быть гостемъ на дачѣ даже у близкихъ людей стѣснительно. Поэтому лѣто сдѣлалось для него сезономъ трактирныхъ обѣдовъ и желудочныхъ разстройствъ, какъ прямого послѣдствія этихъ обѣдовъ. Вечеромъ онъ обыкновенно отправлялся въ увеселительное мѣсто: по праздникамъ—въ Павловскъ, по будняхъ—преимущественно въ Демидронъ. Тутъ онъ былъ увѣренъ встрѣтить ежели не коренныхъ своихъ знакомыхъ, то ихъ дѣтей. И такова была въ немъ потребность общества, что онъ не только не брезговалъ молодыми людьми, но даже старался «быть съ молодыми молодымъ» и вслѣдствіе этого охотно принималъ видъ милаго старичка-мерзавца и по временамъ отпускалъ скромную гнусность насчетъ атуровъ дѣвицы Филиппо. Аллеи Демидрона оглашались громкимъ и сочувственнымъ хохо-

томъ «дѣтей», внимая которому, Филиппъ Филиппычъ выступалъ горделивой походкой индѣйскаго пѣтуха, отнюдь не подозрѣвающаго, что въ ближайшемъ будущемъ ему окончательно предстоитъ сдѣлаться каплуномъ.

Впрочемъ, эти скромныя гнусности представляли въ общемъ обиходѣ его жизни исключеніе. Онѣ были вынуждены одиночествомъ, потребностью общества и необходимостью стоять на одномъ уровнѣ съ молодежью. Съ наступленіемъ сезона Каширинъ забывалъ о нихъ и начиналъ съ самымъ серьезнымъ видомъ переливать изъ пустого въ порожнее.

И вдругъ все это безмятежіе, созданное цѣною такихъ усилій и такъ зрѣло и строго со всѣхъ сторонъ обдуманное и комбинированное, разомъ рухнуло.

Выше было сказано, что Каширинъ былъ либералъ. Либерализмъ этотъ былъ смирный, не особенно требовательный, и состоялъ въ томъ, что онъ тихое житіе предпочиталъ житію тревожному. Кромѣ того, онъ любилъ почитать «книжку» и думалъ, что это «ничего»; по временамъ задавалъ себя вопросы: «за что? почему?» и когда не находилъ на нихъ отвѣта, то грустилъ. И еще нерѣдко онъ останавливался на мысли: «что изъ сего произойдетъ?» и когда, по соображеніямъ его, выходило, что ничего хорошаго произойти не можетъ, то опять-таки грустилъ. И эти вопросы, и эту грусть онъ считалъ вполнѣ безопасными, ни для кого не соблазнительными, и въ качествѣ человѣка интеллигентнаго даже полагалъ, что человѣку, кончившему курсъ наукъ, невозможно безъ нихъ обойтись. Разумѣется, однако-жъ, со всѣмъ этимъ либеральнымъ арсеналомъ онъ обходился съ крайнею осторожностью, дабы не ввести простодушныхъ людей въ соблазнъ, а подозрительнымъ людямъ не подать повода къ предположеніямъ о потрясаніяхъ и попираніяхъ. Сверхъ того, какъ извѣстно уже, въ его существованіи большую роль играла склонность къ литературѣ, и онъ имѣлъ слабость не считать ее ни распространительницей моровыхъ повѣтрій, ни складомъ ядовитыхъ веществъ, ни разбойничьимъ притономъ.

Съ такимъ умѣреннымъ, осторожнымъ и отчасти грустящимъ міросозерцаніемъ онъ прожилъ всю жизнь и не имѣлъ причинъ жаловаться, чтобъ это сколько-нибудь ему повредило при прохожденіи должностей. Начальники тоже знали его за чиновника откровенно-либеральнаго; но такъ какъ они и сами были откровенно-либеральные, то не видѣли

никакого ущерба для дѣла въ томъ, что человѣкъ, безпрекословно выполняя мѣропріятія и преднамѣренія, по временамъ грустилъ. Правда, что иногда начальство, грозя пальчикомъ, называло его «амарантовымъ» (не краснымъ— нѣтъ!), но называло такъ шутя и любя. Да и онъ зналъ, что это дѣлается «шутя», и ежели краснѣлъ при этихъ напоминаніяхъ, то краснѣлъ не отъ угрызеній совѣсти, а именно только отъ внутренняго ликованія.

И вдругъ времена созрѣли. Выбралась минута, когда всѣ эти вопросы и грусти встали передъ Каширинымъ въ совершенно непредвидѣнной имъ безобразной наготѣ. Минута, въ продолженіе которой весь его скромный жизненный обиходъ пролетѣлъ передъ его вспугнутою мыслью въ видѣ безконечнаго и сплошного преступленія. Минута, въ продолженіе которой онъ долженъ былъ ознакомиться съ истиной, что «такъ нельзя», узнать, что присутствованіе въ комиссіяхъ «не терпитъ суеты», и что пользованіе дивидендами и грусть по этому поводу суть вещи несовмѣстимыя. Минута, въ которую онъ долженъ былъ убѣдиться, что для либеральной грусти нѣтъ возврата, что она ничѣмъ не смывается, не заглаживается: ни раскаяніемъ, ни твердымъ намѣреніемъ впредь идти веселыми стопами, и что, слѣдовательно...

Главное во всемъ этомъ переполохѣ заключалось для Каширина въ томъ, что онъ долженъ былъ отъ A до Z пересмотрѣть свой бюджетъ и большинство его статей подвергнуть радикальной переработкѣ.

Надежнѣйшею доходною статьею этого бюджета представлялась пенсія; затѣмъ, къ счастью, онъ не только не истратилъ оставленнаго ему пронскимъ благодѣтелемъ капитала, но и сдѣлалъ въ теченіе многолѣтней службы нѣкоторыя сбереженія. Эти сбереженія были не весьма значительны, но все-таки нѣчто представляли. Въ итогѣ общій годовой доходъ образовалъ сумму приблизительно въ три съ половиной тысячи рублей. На эти деньги предстояло жить изо-дня-въ-день, поддерживая себя на высотѣ той респектабельности, которая вошла уже въ его привычки и—что̀ еще важнѣе— служила самымъ прочнымъ основаніемъ заведенныхъ имъ связей.

За приведеніемъ въ ясность цифры годового дохода, само собой разумѣется, послѣдовало подробное разсмотрѣніе расходныхъ статей бюджета.

Оставаться ли ему при прежней квартирѣ (онъ платилъ

за нее, съ отопленіемъ, девятьсотъ рублей въ годъ, а съ швейцаромъ и дворникомъ и всю тысячу рублей), или переѣхать на новую, болѣе соотвѣтствующую его нынѣшней финансовой силѣ? Этотъ вопросъ Каширинъ, почти не думая, рѣшилъ въ пользу старой квартиры. Здѣсь онъ жилъ больше пятнадцати лѣтъ и въ теченіе этого длиннаго періода времени успѣлъ устроить свое гнѣздо такъ, что оно отвѣчало всѣмъ причудамъ стараго холостяка. Какъ человѣкъ отъ природы солидный, онъ и въ молодости неохотно перемѣщался съ квартиры на квартиру; теперь же самая мысль о переѣздѣ представлялась ему ненавистною. По особенной случайности, и хозяинъ дома, въ которомъ жилъ Филиппъ Филиппычъ, тоже былъ человѣкъ солидный и исконный домовладѣлецъ, воздерживавшійся отъ надстроекъ и дѣлавшій на квартирантовъ лишь «христіанскія» надбавки (Каширинъ однако-жъ помнилъ время, когда онъ за эту самую квартиру платилъ только четыреста рублей въ годъ). Съ своимъ домовладѣльцемъ Филиппъ Филиппычъ даже близко сошелся, обѣдывалъ у него и проводилъ за пулькой вечера. Разстаться съ нимъ представлялось какъ бы измѣною. Сверхъ того, каждый шагъ въ этой квартирѣ напоминалъ ему что-нибудь пріятное и даже памятное. Вотъ здѣсь ему подали конвертъ, извѣщавшій его о награжденіи орденомъ св. Анны 2-й степени (это былъ первый полученный имъ орденъ, помимо всякихъ петлицъ и даже помимо св. Станислава вторыя); вотъ на томъ мѣстѣ онъ получилъ извѣстіе о назначеніи его членомъ общаго присутствія, а вотъ тамъ самъ директоръ вручилъ ему (лично для этого пріѣзжалъ!) звѣзду Станислава 1-й степени, причемъ выразилъ увѣренность, что Каширинъ и впредь будетъ лучшимъ украшеніемъ вѣдомства Дивидендовъ и Раздачъ. Въ этой квартирѣ онъ сосредоточилъ тысячу бездѣлушекъ, которыя съ такимъ тщаніемъ собиралъ въ теченіе цѣлой жизни; здѣсь хранились разные сувениры, вышитыя подушки, коврики, подаренные дамами; этою квартирой онъ гордился, когда у него разъ или два въ годъ собирались знакомыя дамы, слушали piano mécanique и кушали конфеты, фрукты и мороженое. И вдругъ — разстаться съ этимъ дорогимъ, излюбленнымъ гнѣздомъ!.. Никогда!

Итакъ, вотъ первая статья расхода въ тысячу рублей (почти треть всего доходнаго бюджета), которую ни подъ какимъ видомъ урѣзать нельзя.

Вторая статья — лакей Готлибъ. Готлибъ, яко нѣмецъ,

получалъ съ ѣдой четыреста восемьдесятъ рублей въ годъ, а съ праздничными выходило даже нѣсколько болѣе пятисотъ рублей. Расходъ этотъ оказывался несомнѣнно непосильнымъ. Ежели на мѣсто Готлиба нанять Ивана или Прохора, то, конечно, это обойдется рублей на двѣсти дешевле, но зато, во-первыхъ, отъ Прохора навѣрное будетъ вонять; во-вторыхъ, онъ непремѣнно будетъ ходить въ гости въ барскихъ брюкахъ и сюртукахъ; въ-третьихъ, станетъ постепенно пропивать господское бѣлье; въ-четвертыхъ, изъ квартиры-игрушечки сдѣлаетъ свиной хлѣвъ. Въ результатѣ окажется убытокъ, вдвое бо̀льшій противъ того, чего сто̀итъ самъ Прохоръ со всѣми своими потрохами. Ежели же нанять не Прохора, а Амалію, то еще бабушка на-двое сказала, дешевле ли она обойдется, нежели Готлибъ, особливо если Амалія... Хотя же онъ, при почтенныхъ своихъ лѣтахъ, и надобности существенной не находилъ въ женскомъ уходѣ, но вѣдь съ другой стороны... Но предположимъ, что онъ и устоитъ противъ искушенія— кто же, однако, поручится, что одинъ фактъ пребыванія Амаліи въ его квартирѣ не подастъ повода для безчисленныхъ и притомъ незаслуженныхъ анекдотовъ? Вотъ если бы онъ держалъ дома обѣдъ, и Амалія могла совмѣстить въ своемъ лицѣ и кухарку, какъ это водится у отставныхъ чиновниковъ, населяющихъ Колтовскія,—ну, тогда...

О, вопросы о выѣденномъ яйцѣ! о, мучительнѣйшіе, горчайшіе изо всѣхъ вопросовъ человѣческаго существованія! Какимъ тяжелымъ гнетомъ лежите вы на этомъ бѣдномъ человѣчествѣ, которое получаетъ какихъ-нибудь три тысячи пятьсотъ рублей въ годъ и обязывается обрядить и пріютить на нихъ свою голову! И сколь несноснѣйшимъ еще гнетомъ вы должны лежать на томъ человѣчествѣ, которое на тотъ же предметъ располагаетъ не болѣе какъ 20—30 копейками въ день!

Въ концѣ концовъ дѣло Готлиба было выиграно, и такимъ образомъ расходъ по двумъ первымъ статьямъ составилъ полторы тысячи рублей въ годъ.

Статья третья: прачка. Каширинъ былъ и самъ по себѣ чистоплотенъ, но, сверхъ того, онъ до извѣстной степени и обязанъ былъ быть чистоплотнымъ. Нельзя проводить бо̀льшую часть дня въ гостяхъ и въ то же время не представлять собой образца самой щеголеватой опрятности. Ежели знакомые радушно принимаютъ у себя и кормятъ обѣдами и ужинами, ежели жены ихъ удостоиваютъ зна-

ками довѣрія и дружбы, то, по малой мѣрѣ, эти люди вправѣ ожидать, чтобъ предметъ этого радушія и дружбы носилъ чистое и благоуханное бѣлье. Каширинъ понималъ это и потому никогда не тратилъ на прачку, духи, губки и прочія туалетныя принадлежности менѣе трехсотъ рублей въ годъ. О немъ говорили, что отъ каждой части его тѣла пахнетъ особенными духами, и онъ гордился этимъ. Онъ гордился, что на всемъ тѣлѣ у него ни пятнышка, ни прыщика, что лысина на его головѣ не лоснится и не отливаетъ желтизною, а имѣетъ видъ матово-бѣлой поверхности съ легкимъ розовымъ оттѣнкомъ, что ни на щекахъ, ни на носу у него нѣтъ непріятныхъ синихъ жилокъ, что бакенбарды его щегольски расчесаны вѣеромъ, а усы и подбородокъ тщательно каждый день выбриты. Могъ ли онъ думать о сокращеніяхъ по этой статьѣ теперь, когда потребность въ людскомъ радушіи и дружбѣ дѣлалась для него болѣе нежели когда-нибудь необходимою?—Разумѣется, не могъ! Непротивъ того, теперь-то именно и предстояло напрячь всѣ свои силы къ тому, чтобъ ни зрѣніе, ни обоняніе радушныхъ амфитріоновъ ни на минуту не были оскорблены по его поводу.

Итого—по тремъ статьямъ—тысяча восемьсотъ рублей.

Статья четвертая: одежда и обувь. Здѣсь Каширинъ надѣялся достигнуть существенныхъ сбереженій. Обыкновенно онъ заказывалъ платье у Шармера и не видѣлъ причины отказаться отъ этой фирмы и на будущее время. Но до сихъ поръ онъ былъ поистинѣ черезчуръ расточителенъ относительно одежды. Онъ освѣжалъ свой костюмъ каждый сезонъ и даже въ домашнемъ неглижѣ дозволялъ себѣ прихотливое разнообразіе. Вслѣдствіе этого у него образовался громадный запасъ платья, очень мало поношеннаго, о которомъ онъ рѣдко вспоминалъ и которое висѣло въ шкапу безъ всякаго употребленія. Теперь наступило самое время утилизировать этотъ запасъ и все, что можно, пустить въ ходъ. Но какъ онъ ни старался сократить свои расходы по этой статьѣ, все-таки оказывалось, что безъ четырехсотъ рублей въ годъ вполнѣ респектабельнымъ человѣкомъ остаться нельзя (прежде онъ тратилъ на этотъ предметъ не менѣе чѣмъ полторы тысячи рублей). Съ пониженіемъ этой цифры начинается та рубрика людей, которая извѣстна подъ именемъ: Hommes déclassés. Это люди въ панталонахъ съ осыпавшимися конечностями, въ сюртукахъ съ лоснящимися и прорванными локтями, въ саногахъ, наю-

минающихъ своей формой рыбу камбалу. Попасть въ эту рубрику... ужасно! ужасно! ужасно!

Нѣтъ, лучше смерть, чѣмъ жизнь поносна!

Конечно, есть люди, которые и въ пиръ, и въ міръ, и утромъ, и въ полдень, и вечеромъ являются въ одномъ и томъ же пиджакѣ, но...

Итого: двѣ тысячи двѣсти рублей.

Статья пятая: экипажъ. Къ экипажу Каширинъ и прежде прибѣгалъ довольно рѣдко. Смолоду онъ пріучилъ себя къ мысли, что моціонъ необходимъ, а впослѣдствіи привычка къ чужимъ обѣдамъ еще болѣе укрѣпила его въ непреложности этой истины. Всѣ знакомые были убѣждены, что Каширинъ ходитъ пѣшкомъ не изъ скаредности, а по принципу, и въ то же время, понимая, что онъ не имѣетъ средствъ содержать собственный экипажъ (онъ и самъ не скрывалъ этого), даже одобряли въ немъ ту инстинктивную гадливость, которая заставляетъ респектабельнаго человѣка лишь въ крайнихъ случаяхъ прибѣгать къ извозчику. Но— увы!—Каширину перевалило за пятьдесятъ; онъ чувствовалъ припадки одышки и началъ припадать на одну ногу... Это значительно усложнило дѣло. А сверхъ того и обычныя петербургскія ненастья, которыя въ силу пословицы: «гдѣ тонко, тамъ и рвется» вдругъ предстали передъ Филиппомъ Филипычемъ во всей своей безразсвѣтности... Словомъ сказать, какъ ни изворачивайся, а безъ двухсотъ рублей по этой статьѣ обойтись нельзя.

Итого: двѣ тысячи четыреста рублей.

Статья шестая: расходы мелочные. Они неуловимы, но несомнѣнны. Недаромъ они заслужили названіе расходовъ общежитія по преимуществу; недаромъ расходы самые существенные очень часто стушовываются передъ ними. Изъза расходовъ этой категоріи люди отказываютъ себѣ въ правильномъ питаніи, впадаютъ въ неоплатные долги, разоряются. Всѣ эти Берты, Сюзетты, Эмиліи—все это расходъ мелочной, расходъ общежитія, не подходящій ни подъ какую рубрику солиднаго домашняго бюджета. Но и помимо Бертъ, нельзя, напримѣръ, отказать себѣ въ удовольствіи съѣздить отъ времени до времени въ театръ, особенно къ французамъ. Это предохраняетъ отъ одичалости и, сверхъ того, даетъ прекрасное содержаніе для conversations de société. А если ѣздить въ театръ, то не сидѣть же гдѣ-нибудь въ дешевыхъ мѣстахъ, когда половина залы наполнена зна-

комыми. Затѣмъ нельзя, встрѣтившись на улицѣ съ пріятелемъ, направляющимъ стопы свои въ ресторанъ, не войти съ нимъ вмѣстѣ и чего-нибудь не съѣсть. Нельзя не отвезти дорогой имениннице или новорожденной конфетъ. Наконецъ, обѣдая каждодневно въ людяхъ, невозможно, отъ времени до времени, не дѣлать маленькихъ подарковъ прислугѣ. Ибо въ противномъ случаѣ какой-нибудь хамъ будетъ захлопывать дверь у васъ передъ носомъ, будетъ снимать съ васъ пальто совершенно такъ, какъ бы сдиралъ кожу, наконецъ, подавая за обѣдомъ блюдо, будетъ толкать въ плечо, чтобъ не зѣвали, брали скорѣе. Ахъ, эти мелочные расходы! Очень рѣдко ихъ принимаютъ въ разсчетъ, но кто же не знаетъ, какую роль они играютъ въ человѣческомъ существованіи! Спросите любого лакея (хама!!!), получающаго пятнадцать рублей въ мѣсяцъ жалованья, и тотъ скажетъ, что изъ нихъ десять уйдутъ «такъ, между пальцевъ». Обыкновенно на выручку тутъ приходятъ случайные доходы, но у Каширина таковыхъ не предвидѣлось, и онъ волей-неволей долженъ былъ занести эту статью въ свой бюджетъ въ цифрѣ строго опредѣленной. Долго онъ колебался между четырьмя и пятью стами рублей и, наконецъ, вынужденъ былъ сознать, что менѣе чѣмъ пятью стами рублями и думать извернуться нельзя.

Итого: двѣ тысячи девятьсотъ рублей.

Статья седьмая: сигары. При одной мысли объ этой статьѣ Филиппъ Филиппычъ поблѣднѣлъ, и ему даже показалось, что въ кабинетѣ его уже запахло папиросами. Дѣло въ томъ, что онъ выкуривалъ не менѣе двухъ сотенныхъ ящиковъ въ мѣсяцъ, платя за сотню отъ 15 до 20 рублей, что̀ составляло въ годъ расхода болѣе четырехсотъ рублей. Цифра громадная, особливо въ виду того, что свободныхъ суммъ въ доходномъ бюджетѣ остается всего шестьсотъ рублей. Тѣмъ не менѣе, она являлась до такой степени необходимой и даже неизбѣжной, что Каширинъ рѣшился просто не думать о ней. Онъ занесъ ее расходомъ и махнулъ на все рукой.

Свободной суммы осталось всего-на-все двѣсти рублей, и вотъ тутъ-то выступилъ во всей безобразной наготѣ:

ОБѢДЪ!!!

О правильномъ, ежедневномъ обѣдѣ Каширинъ, конечно, уже не помышлялъ; онъ понималъ, что карьера его, какъ прихлебателя, не только не кончилась, но, такъ сказать,

однако-жъ у него не закружилась отъ нихъ голова, и онъ продолжалъ вести себя съ замѣчательнымъ тактомъ. Онъ не только не жаловался на неблагодарность начальства, но даже оправдывалъ его. *Начальство не могло иначе поступить.* Но и онъ, съ своей стороны, *не могъ поступить иначе.* Онъ не пожертвовалъ своими убѣжденіями и сохранилъ свое достоинство, а это главное. Ему предстоялъ къ будущей Пасхѣ чинъ тайнаго совѣтника, но онъ сказалъ себѣ, что лучше на всю жизнь остаться дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ, нежели выпустить изъ рукъ знамя, которое онъ въ теченіе всей жизни высоко держалъ. Въ свое время онъ былъ нуженъ—и всякій кличъ во всякое время и на всякомъ мѣстѣ находилъ его готовымъ и способнымъ. Теперь обстоятельства перемѣнились; потребовались люди иного закала, онъ сдѣлался ненужнымъ—онъ понимаетъ это и не ропщетъ. Возьмите вотъ этотъ сюртукъ: сегодня онъ новъ, фасонистъ—и его носятъ съ удовольствіемъ; завтра въ немъ продрались локти—и его бросаютъ. Знамя, которое онъ высоко держалъ, оказалось несоотвѣтствующимъ требованіямъ времени,—онъ созналъ это и спряталъ знамя въ карманъ. Но онъ надѣется, что спряталъ его не навсегда, и что наступитъ моментъ, когда начальство, наконецъ, оцѣнитъ. Скоро ли этотъ моментъ наступитъ—онъ не знаетъ, но вѣритъ, глубоко вѣритъ, что пѣсня его далеко не спѣта. Тогда онъ вынетъ знамя изъ кармана и опять начнетъ высоко держать его. Притомъ же ему время и отдохнуть. До сихъ поръ онъ безъ устали трудился; теперь—пора и ему узнать, что̀ такое свобода. Чувство свободы, mesdames,—это такое чувство... ахъ, какое это чувство! Все равно, что послѣ длинной-длинной зимы въ первый разъ выѣхать, въ теплый апрѣльскій вечеръ. на Елагинъ островъ, на pointe! Вотъ это какое чувство! Дышится полной грудью, а мысли такъ и плывутъ, все свѣтлыя, радостныя мысли. А главное, на немъ не лежитъ теперь никакихъ обязанностей, такъ что онъ всего себя можетъ посвятить своимъ друзьямъ. Притомъ же онъ имѣетъ вполнѣ обезпеченный кусокъ, а потому и въ матеріальномъ отношеніи особеннаго стѣсненія не предвидитъ. Вообще онъ больше доволенъ, чѣмъ огорченъ, и ежели кто-нибудь будетъ по этому случаю ощущать угрызенія совѣсти, то, конечно, не онъ...

— А Богъ когда-нибудь всѣхъ разсудитъ!—смиренно прибавлялъ онъ въ заключеніе.

Съ трогательнымъ изумленіемъ внимали «чины» этимъ разумнымъ рѣчамъ и отъ полноты души восклицали: «вотъ истинный христіанинъ!» А дамы и дамочки къ сему присовокупляли: «ma chère, il est sublime d'abnégation!»

— А мнѣ такъ сдается, что мы съ вашимъ превосходительствомъ еще послужимъ!—обнадеживалъ его тайный совѣтникъ Стрекоза, ласково похлопывая по колѣнкѣ.

На что Каширинъ, съ своей стороны, отвѣтствовалъ:

— Что касается до меня, то не могу и не имѣю надобности скрывать: я всегда готовъ.

И съ этими словами предлагалъ madame Стрекозѣ руку, чтобъ вести ее въ столовую.

Словомъ сказать, со всѣхъ сторонъ на него сыпались приглашенія и напоминанія, а ежели онъ манкировалъ, то и нѣжные упреки.

По счастливой случайности, въ это же критическое время ему повезло и въ преферансъ. Какъ будто сама судьба охраняла его крыломъ своимъ. Имѣя обыкновеніе каждый день, по возвращеніи домой, записывать свой проигрышъ или выигрышъ, онъ къ концу перваго мѣсяца свободы сосчиталъ, что остался по картамъ въ барышѣ на семьдесятъ одинъ рубль сорокъ пять копеекъ. Стало-быть, надежда на случайныя статьи дохода еще не исчезла. Составляя свой бюджетъ, онъ понималъ, что существуетъ особая и очень существенная статья: «занятіе картами»; но такъ какъ онъ не зналъ, какъ ее сосчитать, доходомъ или расходомъ, то и предпочелъ лучше не упоминать о ней вовсе. Теперь же оказывалось, что это статья несомнѣнно доходная, и что ежели на будущее время взглянуть на нее серьезнымъ окомъ, то... Это такъ его ободрило, что онъ почти свѣтло взглянулъ въ лицо будущему и тутъ же включилъ въ свой доходный бюджетъ новую статью: «Отъ занятія картами 800 руб.», добавивъ, впрочемъ, въ скобкахъ: «доходъ неокладной».

Словомъ сказать, ничего въ его обиходѣ, казалось, не измѣнилось, и только утро сдѣлалось какъ будто нѣсколько длиннѣе. Прекращеніе обязательной ходьбы въ департаментъ оставило за собой пустоту, которую онъ наполнялъ лишь съ трудомъ. Онъ ходилъ изъ комнаты въ комнату, внимательно перечитывалъ газеты (одну онъ выписывалъ самъ, другую ему обязательно сообщалъ домовладѣлецъ), свистѣлъ, напѣвалъ, даже вертѣлъ ручку на piano mécanique, чего прежде съ нимъ никогда не бывало. Но болѣе

всего его выручала такъ-называемая «писанная» литература. Въ нашемъ интеллигентномъ обществѣ во всякое время ходятъ по рукамъ таинственные и до крайности либеральные «записки» и «проекты». То статскій совѣтникъ Растопыря пуститъ въ ходъ «И мою лепту»; то тайный совѣтникъ Стрекоза потихоньку показываетъ знакомымъ «Мой посильный вкладъ»; то престарѣлый «Опытный сановникъ Чимпандзе» излагаетъ кратко: «А мое мнѣніе — все истребить и симъ способомъ прекратить дальнѣйшее распространеніе язвы». По временамъ появится и изъ провинціи какой-нибудь выходецъ съ лона природы и тоже по секрету докладываетъ свою «капельку». И въ каждой изъ этихъ «лептъ» высказывается: вотъ это — прекратить, а вотъ это—развить. И въ каждой авторъ поперемѣнно то иронизируетъ, то содрогается, то предается сладкимъ упованіямъ. И каждая «капелька» читается съ жадностью, служитъ предметомъ нескончаемыхъ разговоровъ «потихоньку», во свидѣтельство, что россійское свободомысліе, подобно достославному курилкѣ, не умираетъ. Каширинъ предавался чтенію подобныхъ записокъ съ увлеченіемъ. Онъ чутьемъ пронюхивалъ о существованіи чего-нибудь новенькаго въ этой области и непремѣнно доставалъ. Наглотавшись вольномыслія, онъ смѣло глядѣлъ въ глаза предстоящему обѣду «въ гостяхъ», зная напередъ, что тема для собесѣдованія готова. А ежели при этомъ появлялись въ газетахъ еще какія-нибудь неожиданныя производства и назначенія, то разговоръ достигалъ размѣровъ такого преступнаго дерзновенія, что нѣкоторые изъ присутствующихъ даже наматывали себѣ на усъ...

Покончивши съ утромъ, онъ выходилъ въ четыре часа на Невскій и прогуливался, стараясь при этомъ какъ можно меньше припадать на ногу. По временамъ заходилъ куда-нибудь съ визитомъ и узнавалъ новости дня, причемъ непремѣнно обнаруживалось нѣчто до того изумительное (и смѣшно, и больно!), что съ языка его невольно срывалось: «да куда же мы, въ самомъ дѣлѣ, идемъ!» Въ шесть часовъ, предварительно переодѣвшись, онъ у кого-нибудь обѣдалъ и во время обѣда разсуждалъ о мѣрахъ, предлагаемыхъ въ только-что прочитанной «запискѣ» земскаго дѣятеля Пафнутьева. Разсуждалъ солидно и умно, и притомъ стараясь, чтобъ Пафнутьевскія мысли были понятны даже для дамъ. Послѣ обѣда, если устраивалась пулька, то садился за преферансъ, причемъ держалъ карты такъ,

чтобъ любопытствующій Растопыря не могъ видѣть его игру. Ежели же пулька не составлялась, то отправлялся въ театръ или же въ другой знакомый домъ, гдѣ, по его соображеніямъ, хозяинъ долженъ былъ выть отъ тоски, въ ожиданіи, не зайдетъ ли кто на огонекъ. Здѣсь немедленно дѣлалось распоряженіе о привлеченіи другихъ партнеровъ; затѣмъ развертывались столы, и вечеръ незамѣтно проходилъ среди возгласовъ: «пассъ», «куплю», «семь безъ козырей» и т. д. И въ заключеніе ужинъ, а за ужиномъ, разумѣется, новое изложеніе Пафнутьевскихъ идей...

Въ этомъ пріятномъ круговоротѣ прошелъ весь зимній сезонъ. Подъ конецъ Каширинъ такъ возгордился, что порою ему даже думалось, что начальство уже сознало свою ошибку, и что не сегодня, такъ завтра къ нему прискачетъ изъ департамента курьеръ съ запечатаннымъ конвертомъ. Однако дни проходили за днями, а курьеръ не пріѣзжалъ. Это въ одно и то же время и изумляло, и пугало его. Изумляло потому, что, перечисляя въ своемъ умѣ персоналъ вѣдомства «Дивидендовъ и Раздачъ» и отдавая, впрочемъ, каждому должное, онъ по справедливости находилъ, что въ этомъ департаментскомъ букетѣ онъ представлялъ собою цвѣтокъ, по малой мѣрѣ не уступавшій, въ смыслѣ красоты и благоуханія, прочимъ, стоящимъ у источника дивидендовъ, цвѣткамъ. Пугало—потому, что для человѣка, всю жизнь игравшаго дѣятельную роль въ извѣстномъ дѣлѣ, не можетъ быть ничего страшнѣе, какъ мысль: «а что, ежели обо мнѣ забыли?»

Разсуждая по совѣсти, онъ не могъ не придти къ убѣжденію, что хотя онъ и отлично-достойный цвѣтокъ, но что цвѣтковъ приблизительно такой же красоты и такого же благоуханія все-таки существуетъ въ природѣ больше чѣмъ достаточно. Что, слѣдовательно, нѣтъ ничего легче, какъ составить во всякое время какой угодно департаментскій букетъ. Возьми Иванова, Ѳедорова, Гаврилова, перемѣшай ихъ съ Перерепенкой, Козулей и Уховертовымъ, а въ середку, для красы, воткни что-нибудь подушистѣе — и букетъ готовъ. Сначала, быть-можетъ, онъ будетъ благоухать нѣсколько робко, но чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣе и смѣлѣе. Гавриловы, Уховертовы и Козули на то и созданы, чтобъ соотвѣтствующимъ образомъ благоухать подъ начальственнымъ руководствомъ. Но этого мало: всего важнѣе то, что они растутъ рѣшительно вездѣ, на всякомъ мѣстѣ, такъ что стоитъ только протянуть руку, чтобы сорвать Ѳедорова

или Перерепенку, совершенно равносильныхъ Козулѣ и Иванову. Поэтому, когда по какимъ-нибудь причинамъ Уховертовъ выбываетъ изъ букета, то немедленно на его мѣстѣ появляется Гавриловъ, который уже давно пробивался тутъ же, гдѣ-то подъ мочалкой, обвязывающей букетъ, но его покуда не примѣчали.

Филиппъ Филиппычъ долженъ былъ сознаться, что все это вполнѣ вѣрно и безспорно, и что даже онъ самъ, во времена своего департаментскаго благополучія, открыто проповѣдывалъ теорію безпрепятственной замѣны Ивановыхъ Ѳедоровыми — и наоборотъ. Себя онъ, разумѣется, выключалъ тогда изъ этого оборота, такъ какъ думалъ совершенно искренно, что лично онъ благоухаетъ особо и несравненно, но теперь, за неприбытіемъ курьера съ запечатаннымъ конвертомъ, въ его голову начали западать на этотъ счетъ сомнѣнія. Что, ежели и онъ принадлежитъ къ тому безчисленному сонмищу Ивановыхъ, Ѳедоровыхъ, Гавриловыхъ и проч., которые неприхотливо прозябаютъ при всякомъ проѣзжемъ шляхѣ и съ которыми можно поступить по вдохновенію, то-есть или воспользоваться ими, какъ составною частью букета, или просто сорвать, понюхать и бросить?

Оставалось, впрочемъ, въ запасѣ одно утѣшеніе: Ивановы и Гавриловы—люди безцвѣтные, индифферентные, а онъ—завѣдомый либералъ. Слѣдовательно, когда либеральныя начинанія восторжествуютъ, то безъ него не обойтись... Но тутъ его мысль какъ-то сама собой останавливалась, словно встрѣчала какое-то совсѣмъ забытое соображеніе. Чего онъ, однако-жъ, желаетъ? Торжества либерализма? Но развѣ либерализмъ уже не торжествуетъ? Развѣ того, что есть—мало? Развѣ желать либерализма бо́льшаго и сугубаго не значитъ просто-на-просто желать разнузданности страстей?

То-то вотъ оно и есть...

Онъ началъ взвѣшивать и соображать, и, какъ человѣкъ солидный, не замедлилъ придти къ убѣжденію, что все, что требуется, уже есть, и что дальнѣйшія ожиданія свидѣтельствуютъ лишь о прихотливой затѣйливости нетвердаго ума. Слѣдовательно онъ былъ *тогда* неправъ. И тогда былъ неправъ, когда, по поводу того или другого назначенія, испускалъ фрондирующее мычаніе, и тогда, когда, по поводу какого-нибудь административнаго мѣропріятія, либерально восклицалъ: «эге!» А ежели онъ былъ неправъ (теперь онъ уже сознавалъ это не токмо за страхъ, но и

за совѣсть), то что̀ же мѣшаетъ ему исправиться, возсоединиться, сжечь «знамя» въ печкѣ, однимъ словомъ, раскаяться? Но тутъ его мысль опять прерывалась, и притомъ безъ всякихъ объяснительныхъ мотивовъ, самымъ оскорбительнымъ образомъ.

— Ну, нѣтъ, mon cher!—говорилъ онъ себѣ съ ироническимъ злорадствомъ:—шалишь! Теперь твоему раскаянію ужъ не повѣрятъ... не такъ-то просты! Теперь хоть ты источники слезъ пролей—и тогда скажутъ, что это крокодиловы слезы!

Подумавши это, онъ однако-жъ слегка покраснѣлъ и даже тревожно оглянулся вокругъ, какъ бы опасаясь, чтобъ Пафнутьевъ не сдѣлался свидѣтелемъ его маловѣрія.

Какъ бы то ни было, но не ѣдетъ департаментскій курьеръ... да и не пріѣдетъ!

Какъ нарочно, лѣто въ этомъ году выдалось изъ ряда вонъ скучное. Наиболѣе короткіе знакомые, словно сговорившись, разъѣхались раньше обыкновеннаго, и вдобавокъ кто за границу, кто въ дальнюю деревню, такъ что всякая надежда около кого-нибудь пощетиться исчезла безвозвратно. Каширинъ вспомнилъ, что гдѣ-то на Пескахъ, въ Слоновой улицѣ, живетъ титулярный совѣтникъ Каверзневъ, у котораго онъ когда-то воспринималъ отъ купели сына. Чуть-чуть-было онъ не рѣшился направить свои стопы къ нему: пріѣхалъ, молъ, къ крестному сыну запросто хлѣба-соли отвѣдать, но подумалъ немного и отложилъ свое намѣреніе. Не потому, чтобъ онъ былъ прихотливъ насчетъ ѣды, но потому, что аппетитъ покуда еще не одержалъ побѣды надъ совѣстливостью.

Волей-неволей пришлось коротать время одному. Скука была страшная, пожирающая; день, и безъ того длинный, въ одиночествѣ казался нескончаемымъ. Съ трудомъ успѣешь сбыть утро, какъ уже со страхомъ помышляешь о предстоящемъ вечерѣ. Каширинъ началъ усиленно играть на piano mécanique и ежедневно переигрывалъ по нѣскольку разъ всѣ пьесы репертуара. На его несчастіе, и Пафнутьевъ временно умолкъ, такъ что и рукописныхъ «лептъ» не оказывалось. Въ этой крайности онъ предпринялъ ходить къ Доминику, гдѣ часа полтора или два просиживалъ въ бильярдной, наблюдая за чудесами клапштосовъ и карамболей; но и тутъ случился скандалъ. Такъ какъ Филиппъ Филиппычъ ничего не потреблялъ, а слѣдовательно и не расплачивался, то послѣ нѣсколькихъ посѣщеній гар-

соны стали перешептываться между собой, подозрительно кивая въ его направленіи. И вотъ однажды, когда онъ уже взялся за ручку двери, чтобъ выйти на улицу, одинъ изъ гарсоновъ подошелъ къ нему и учтиво пригласилъ заплатить за съѣденный пирогъ. Каширинъ пирога не ѣлъ (онъ даже, по изнѣженности своей, не понималъ, какъ можно что-нибудь ѣсть у Доминика), однако протестовать не рѣшился, вынулъ гривенникъ и заплатилъ. Но, разумѣется, съ тѣхъ поръ къ Доминику ни ногой.

Однако надо же было что-нибудь выдумать, чтобъ убить время. Однажды, прочитавъ въ газетѣ, что молодая француженка ищетъ поступить компаньонкой къ пожилому холостяку или вдовцу, онъ отправился по адресу. Разумѣется, онъ желалъ только провести время, но оказалось, что «вдовецъ» ужъ нашелся и, повидимому, даже поладилъ. Такъ что когда Каширинъ явился, то посѣщеніе было принято совсѣмъ въ другую сторону, и вслѣдствіе этого превратнаго толкованія онъ «едва унесъ ноги».

Тогда онъ обратилъ вниманіе на нянекъ и боннъ, и это дѣйствительно на время развлекло его. Какъ вдругъ въ газетѣ «Краса Демидрона» появилась такого рода статья:

НОВЫЙ ДОНЪ-ЖУАНЪ.

«Недавно появился въ Петербургѣ особаго рода цѣнитель женскихъ красотъ, который избралъ предметомъ своихъ любострастныхъ наблюденій нянекъ и боннъ. Прочитавъ въ газетахъ объ ищущихъ мѣста нянькахъ, онъ является по адресу, и ежели находитъ молодую особу по своему вкусу и притомъ безъ покровителей, то безъ церемоній предлагаетъ послѣдовать за нимъ въ трактиръ, на что нѣкоторыя, по неопытности, и соглашаются. Но не всѣ. Такъ, напримѣръ, на-дняхъ этотъ господинъ удостоилъ своимъ посѣщеніемъ дѣвицу Р. (11-ая рота Измайловскаго полка, 117, согласна въ отъѣздъ), особу весьма бойкую и замѣчательно-красивой наружности; но едва началъ онъ формулировать свое предложеніе, какъ изъ-за ширмъ выскочилъ нашъ репортеръ Помойкинъ (находившійся, впрочемъ, тамъ съ цѣлями, заслуживающими всякой похвалы) и, въ свою очередь, предложилъ любострастному Донъ-Жуану прослѣдовать внизъ по лѣстницѣ—

«Кувыркомъ, кувыркомъ.

«Что послѣдній и выполнилъ при общемъ хохотѣ высы-

павшихъ изъ квартиръ на шумъ жильцовъ. Къ сожалѣнію, г. Помойкинъ, впопыхахъ, не полюбопытствовалъ узнать фамилію этого господина, но примѣты его таковы: достаточно старъ, волосъ на головѣ мало, лысина содержится опрятно, бакены вѣеромъ, одѣтъ прилично и даже щеголевато, употребляетъ духи, на одну ногу припадаетъ. Нѣкоторые изъ жильцовъ дома № 417 увѣряютъ, что видѣли его въ казначействѣ получающимъ пенсію.

«Предостерегаемъ воспитательницъ нашего молодого поколѣнія и убѣждаемъ ихъ оставаться неуклонно на высотѣ своего призванія. А вы, господинъ Донъ-Жуанъ! подумали ли вы, какую преступную игру вы предприняли и на кого обратили ваши взоры, исполненные любострастнаго огня?!»

Послѣ этого ему оставалось и еще одно развлеченіе: отыскивать по объявленіямъ пропавшихъ собакъ, но для такой забавы у него былъ уже черезчуръ большой чинъ.

Обѣдать онъ чаще всего ходилъ въ Лѣтній садъ и, разумѣется, старался употребить какъ можно больше времени на выполненіе этого обряда. Но четыре тощихъ блюда съѣдались съ обидною быстротою, и къ семи часамъ Филиппъ Филиппычъ не безъ страха примѣчалъ, какъ подкрадывается къ нему вечеръ. Въ былое время онъ сладилъ бы съ вечеромъ легко: закатился бы въ Демидронъ — и дѣло съ концомъ; но при теперешнемъ положеніи бюджета Демидроновъ не полагалось, и онъ волей-неволей возвращался домой, гдѣ, въ качествѣ развлеченія, его ожидалъ чай съ филипповскимъ калачомъ.

Пробовалъ онъ раньше спать ложиться, но выгоды отъ того не получилъ, потому что чѣмъ раньше ложился съ вечера, тѣмъ раньше просыпался утромъ.

Къ довершенію всего, чортъ принесъ изъ Полтавской губерніи Растопырю. Пріѣхалъ Растопыря одинъ, безъ жены, и сейчасъ же отъявился къ сердечному другу. Каширинъ, впопыхахъ, было-обрадовался, думалъ: Растопыря— онъ гостепріимный! Но Растопыря былъ тоже себѣ на умѣ; какъ ввалился, такъ сейчасъ же и объявилъ:

— Я, дружище, въ Петербургѣ всего на недѣлю пріѣхалъ. Утромъ — въ департаментѣ и по дѣламъ буду хлопотать, а обѣдать и вечерокъ провести—къ тебѣ!

И вотъ, вмѣсто того, чтобъ на счетъ Растопыри малороссійское сало ѣсть, онъ же долженъ былъ на собственныя деньги ежедневно брать у Палкина два рублевые

обѣда и выслушивать, какъ изнѣженный Растопыря, уписывая за обѣ щеки, нѣтъ-нѣтъ да и замѣтитъ: «воля твоя, а отъ супа чѣмъ-то воняетъ!»

Наконецъ, наступилъ августъ, и вечера потемнѣли. Полились дожди, потянуло холодомъ, сыростью, улицы утонули въ грязи. Скука и одиночество начали давить еще сильнѣе. Но—увы!—все это безвременье происходило только въ Петербургѣ. Въ провинціи, напротивъ того, судя по газетнымъ корреспонденціямъ, давно не запоминали осени столь благодатной, блахоухающей, волшебной. И никогда въ Парижѣ, на водахъ и морскихъ купаньяхъ кокотки не предъявляли такого роскошнаго декольте и не бывали такъ увлекательны. Петербуржцы съѣзжались безпримѣрно туго, а тѣ, которые пріѣзжали, требовали времени для приведенія въ порядокъ своихъ логовищъ и занимались переборками и разборками съ медленностью поистинѣ возмутительной. Наконецъ, къ концу сентября кое-какъ все уладилось.

Каширинъ ринулся въ сезонный круговоротъ съ увлеченіемъ и страстностью человѣка, который долго и безнадежно терпѣлъ. Прежде всего онъ побѣжалъ къ Растопырѣ, который сейчасъ же накормилъ его самымъ свѣжимъ саломъ и очень любезно вспомнилъ, съ какимъ радушіемъ Филиппъ Филиппычъ лѣтомъ угощалъ его раковымъ супомъ и телятиной съ огурцомъ.

— И чѣмъ это отъ супа воняло—право, даже и теперь понять не могу!—прибавилъ онъ однако-жъ въ заключеніе.

Потомъ Каширинъ направился къ археологу-библіографу Скорбному-Головану, который обѣдать не далъ, а сообщилъ, что ѣздилъ лѣтомъ въ Испанію, такъ какъ узналъ, что тамъ скрывается собственноручно писанная Барковымъ и доселѣ никому неизвѣстная трагедія, которую, послѣ долгихъ и изнурительныхъ поисковъ, и пріобрѣлъ, уплативъ за нее половину своего имѣнія. Потомъ, по очереди, отобѣдалъ у Птицыныхъ, Бердяевыхъ, Карнауховыхъ, Чистосердовыхъ, Чертополоховыхъ и прочихъ кассаціонныхъ, апелляціонныхъ и дивидендныхъ чиновъ. Послѣдняго посѣтилъ Стрекозу, и притомъ посѣтилъ церемонно («отъявился»), въ воскресный день, потому что, признаться, началъ опасаться этого сановника, который съ минуты на минуту ожидалъ производства въ дѣйствительные тайные совѣтники. Попрежнему въ этомъ высокопоставленномъ домѣ пахло какимъ-то специфическимъ запахомъ, смѣсью

пастилы, амбре и старческихъ огрѣховъ; попрежнему лицо хозяина отливало коричневымъ, почти гнѣдымъ цвѣтомъ, и попрежнему Стрекоза принялъ Каширина съ благожелательною снисходительностью, то-есть пожалъ обѣ руки, поцѣловалъ въ лобъ и даже подарилъ ему колосъ «исполинской» пшеницы, привезенный изъ саратовскаго имѣнія.

— Ну, а какъ ваше «знамя»? по-старому?—полюбопытствовалъ, въ заключеніе, маститый старецъ, проницательно заглядывая въ глаза Филиппу Филиппычу.

— Гдѣ ужъ... какое теперь знамя!—нѣсколько смущенно отвѣтствовалъ послѣдній.

— То-то! теперь надо это оставить!—наставительно изъяснилъ Стрекоза.—Конечно, на всякій случай терять изъ вида не слѣдуетъ, но теперь... Ну, такъ милости просимъ напредки по-старому, а сегодня обѣдать не прошу, потому что еще разбираемся: не знаю и самъ, чѣмъ Матрена Ивановна накормитъ меня.

Такимъ образомъ, въ этотъ день Каширинъ былъ вынужденъ отобѣдать въ ресторанѣ. Но все-таки онъ былъ за тысячу верстъ отъ мысли, что обѣдъ, съѣденный имъ въ прошлый сезонъ, передъ отъѣздомъ семейства Стрекозы въ Саратовъ, былъ послѣднимъ его обѣдомъ въ этомъ домѣ.

Казалось, все вошло въ прежнюю колею; однако проницательный человѣкъ уже въ самомъ началѣ сезона могъ подмѣтить, что въ отношеніяхъ «кружка» къ Каширину завелась какая-то загадочная трещина, на которую покамѣстъ еще трудно прямо указать, но которая существуетъ уже несомнѣнно.

Начать съ того, что положеніе Каширина, какъ человѣка, пострадавшаго за «знамя», настолько уже для всѣхъ опредѣлилось, что «интересоваться» имъ не было никакого повода. Даже сама la belle madame Растопыря поняла, что странно какъ-то, по прошествіи цѣлаго года, продолжать хвалиться передъ публикой: «вотъ тотъ самый Каширинъ, который высоко держалъ знамя и за это приказомъ отъ такого-то числа, мѣсяца и года ввергнутъ въ безсрочную меланхолію, съ пенсіей въ размѣрѣ половиннаго оклада содержанія и безъ участія въ дивидендахъ». Увы! мы столько съ тѣхъ поръ пережили, и въ это время столько знаменъ было изъято изъ употребленія и столько людей ввергнуто въ меланхолію, что, право, было даже нелѣпо смотрѣть на Каширина, какъ на какой-то выдающійся пунктъ. Послѣ

Каширинскаго знамени было знамя Разгильдяевское, послѣ Разгильдяевскаго — Разуваевское, и еще, и еще... Кто знаетъ нашу склонность къ знаменамъ, тотъ пойметъ, что недостатка въ этомъ отношеніи быть не могло, такъ же какъ не могло быть недостатка и въ мѣрахъ по ввергнутію носителей этихъ знаменъ въ меланхолію. Такъ что, въ виду этихъ послѣдующихъ событій, Филиппъ Филиппычъ, съ своимъ старенькимъ истрепаннымъ знаменемъ, представлялся уже чѣмъ-то въ родѣ «отставного козы барабанщика».

Во-вторыхъ, что̀ касается до меланхоліи, то и она, сама по себѣ взятая, т.-е. лишенная просвѣта въ будущемъ, скоро утомляетъ. Мы слишкомъ практическіе люди, чтобъ долго интересоваться «нюнями», и пострадавшій человѣкъ имѣетъ право на наше вниманіе лишь потолику, поколику его окрыляетъ надежда воспрянуть. Но вотъ прошелъ уже цѣлый годъ со времени ввергнутія въ меланхолію, а съ Филиппомъ Филиппычемъ не только не произошло перемѣны къ лучшему, но даже самъ онъ иногда откровенно признавался, что ничего отраднаго впереди не предвидитъ. Стало-быть, въ будущемъ онъ способенъ только пользоваться услугами друзей, а не оказывать таковыя, одолжаться, а не одолжать. А это дѣлало его похожимъ на тѣхъ назойливыхъ субъектовъ, съ шаблонными просительными письмами въ рукахъ, которые вѣчно о чемъ-то клянчатъ (по словамъ — на бѣдность, а въ сущности — на выпивку) и ужъ, конечно, никому удовольствія доставить не могутъ.

Въ-третьихъ, наконецъ, заграничный курсъ упалъ донѣльзя, а цѣна на съѣстные припасы соотвѣтственно поднялась. Въ такихъ условіяхъ поневолѣ начнешь разсчитывать и роптать, что при домашней трапезѣ постоянно присутствуетъ лишній ротъ, и притомъ такой, отъ котораго однимъ саломъ не отдѣлаешься. Этотъ ротъ потребуетъ и лишней ложки борща, и лишней галушки, и лишняго куска жаренаго, и лишней рюмки вина. А сосчитайте-ка все— выйдетъ мало-мало рубль серебромъ каждый разъ.

Такова была эта трещина, которой покуда никто еще не сознавалъ, но которая непремѣнно, и въ очень недалекомъ будущемъ, должна была оказаться.

Сверхъ того, въ этомъ кружкѣ всему давалъ тонъ Стрекоза, и потому, когда на вопросъ, почему Филиппъ Филиппычъ въ такое-то воскресенье не обѣдалъ у его превосходительства, онъ, нѣсколько застыдившись, отвѣчалъ, что не

получилъ еще приглашенія, то большинство «друзей» задумалось. Ибо Стрекоза слылъ за человѣка проницательнаго и дѣйствительно былъ таковымъ. Одинъ Скорбный-Голованъ не задумался и продолжалъ относиться къ Каширину съ возрастающею задушевностью, но посѣщать археолога-библіографа было не особенно лестно, потому что въ домѣ его царила безконечная неурядица. Самъ онъ сидѣлъ въ кабинетѣ и штудировалъ Баркова, а жена всѣмъ и каждому жаловалась, что, благодаря этому занятію, стало совсѣмъ невозможно жить, потому что даже маленькія дѣти—и тѣ до такой степени пристрастились къ сквернословію, что иначе не говорили другъ съ другомъ, какъ тирадами изъ Барковскихъ трагедій. И вдобавокъ у Скорбныхъ-Головановъ подавался какой-то совсѣмъ неестественный обѣдъ, состоящій изъ молока, растительныхъ веществъ и до-нѣльзя заношеннаго холоднаго ростбифа, который, очевидно, зажаривался однажды на всю недѣлю.

Тѣмъ не менѣе начало сезона все-таки прошло благополучно. Кстати же появилась въ обращеніи новая рукописная «записка», авторомъ которой былъ уже не Пафнутьевъ, а отставной корнетъ и нынѣ земскій дѣятель Голубятниковъ. У Голубятникова было страшное орудіе—иронія; съ этимъ-то орудіемъ онъ напалъ на Пафнутьева. Все, что Пафнутьевъ утверждалъ, Голубятниковъ отрицалъ—и наоборотъ. И, къ довершенію всего, обѣ записки были либеральныя и обѣ возбуждали въ «обществѣ» страстный переполохъ. Пользуясь этой сумятицей, Каширинъ очень ловко эксплоатировалъ ее, лакомясь то у Растопыри, то у Чертополоховыхъ, то у Птицыныхъ и проч., и всѣхъ убѣждая отложить окончательное рѣшеніе возбужденныхъ «вопросовъ» до тѣхъ поръ, когда со стороны Пафнутьева послѣдуетъ отвѣтъ, въ которомъ онъ, конечно, во всей полнотѣ разъяснитъ сущность Пафнутьевскихъ идей.

Но Пафнутьевъ медлилъ отвѣтомъ, и въ половинѣ сезона трещина начала обнаруживаться. Сначала она показывалась понемногу, потомъ—рѣзче и рѣзче. То свойство, которое Каширинъ пріобрѣлъ вмѣстѣ съ отставкой и вслѣдствіе котораго онъ оказывался рѣшительно неспособнымъ кого-либо «одолжить», вдругъ вышло наружу во всей наготѣ. Никто прежде не задавалъ себѣ вопроса: «съ какой стати этотъ человѣкъ повадился къ намъ обѣдать?» Теперь же этотъ вопросъ формулировался какъ-то самъ собою и ка-

томъ одновременно у всѣхъ. Всѣ поняли, что отъ Филиппа Филиппыча ждать нечего, а стало-быть, и кормить его незачѣмъ.

А рядомъ съ этимъ вопросомъ рождался и другой: не занять ли у него денегъ?

Прежде всѣхъ рѣшился на эту попытку Растопыря и въ первый же разъ, какъ Филиппъ Филиппычъ пришелъ къ нему обѣдать, онъ отвелъ его въ сторону и, отважно хлопнувъ по плечу, сказалъ:

— А что, дружище, не дашь ли ты мнѣ тысячку рублей на нѣсколько дней перехватить?

— Гдѣ?—какъ-то нескладно спросилъ Каширинъ, какъ будто не понялъ, въ чемъ суть.

— Гдѣ? Чудакъ, братецъ, ты! Ну, у себя или у меня... гдѣ хочешь.

Но Каширинъ уже понялъ и только растерянно глядѣлъ на своего амфитріона.

— Обѣдать!—крикнулъ Растопыря, и хоть впослѣдствіи ни однимъ намекомъ не укорилъ друга, но съ тѣхъ поръ въ отношенія ихъ начала замѣтно вкрадываться холодность.

За Растопырей послѣдовали: Чертополоховъ, Бердяевъ, Чистосердовъ и проч., и со всѣми повторялась одна и та же сцена. Каширинъ никому денегъ не далъ и у всѣхъ остался обѣдать. Но что всего прискорбнѣе, онъ долженъ былъ отказать въ подобной же просьбѣ хорошенькой мадамъ Карнауховой, которая еще наканунѣ, сидя съ нимъ рядомъ за обѣдомъ, пожала ему ногу своей ножкой.

Каширинъ не могъ не знать, что этого ему никогда не простятъ, но онъ словно одеревенѣлъ и продолжалъ посѣщать «друзей» попрежнему. Къ довершенію всего, онъ съ самаго начала сезона такъ счастливо игралъ въ преферансъ, что это, наконецъ, дѣлалось неприлично. Общее мнѣніе было таково, что онъ подсматривалъ въ карты, и вслѣдствіе этого Растопыря началъ свои карты прятать подъ столъ. Но если бы даже признать за вѣрное, что въ данномъ случаѣ никакой фальши не было, а дѣйствовало одно счастье, то и тогда эти постоянные выигрыши были просто неприличны. Сегодня три рубля, завтра пять рублей—въ мѣсяцъ-то сколько этихъ рублей набѣжитъ!

Словомъ сказать, видимо подготовлялось что-то натянутое, ежели не явно враждебное. Всѣ замѣчали это, одинъ Каширинъ продолжалъ не замѣчать: до такой степени онъ уже освоился съ ролью прихлебателя. Напротивъ того, онъ легкомысленно радовался, что статья бюджета: «занятіе кар-

тами»—все больше и больше тучнѣетъ, и что, быть-можетъ, недалеко ужъ время, когда онъ, при ея пособіи, пріобрѣтетъ себѣ еще одинъ билетъ внутренняго съ выигрышами займа (два онъ уже имѣлъ).

Но время шло, а вмѣстѣ съ нимъ все яснѣе и яснѣе обозначалась разъ намѣченная трещина. Однажды Филиппъ Филиппычъ пришелъ къ Растопырѣ обѣдать (Растопыря былъ закадычный другъ, и потому весьма натурально, что онъ же долженъ былъ открыть враждебныя дѣйствія), и вдругъ оказалось, что одного прибора недостаетъ. Разумѣется, приборъ потребовали, но хозяинъ почему-то счелъ долгомъ обратиться къ Каширину (какъ будто именно для него-то и недоставало прибора), сказавъ:

— Ну, для тебя какъ-нибудь потѣснимся... старый дружище!

Въ этотъ же день случилось и другое происшествіе. Лакей, подавая ветчину съ горошкомъ, толкнулъ Филиппа Филиппыча въ плечо, какъ бы понуждая его не медлить. Между тѣмъ не далѣе, какъ недѣлю тому назадъ, онъ далъ этому лакею рубль, и потому поведеніе его не могло не показаться загадочнымъ. Стало-быть, Растопыри не очень-то стѣсняются въ выраженіи мнѣній о своемъ другѣ, ежели даже рублевая подачка не дѣйствуетъ на хамово отродье!

А вслѣдъ затѣмъ и третье происшествіе. Когда, послѣ обѣда, раскинули столы для преферанса, то хозяинъ подалъ карты Бердяеву, Чертополохову и Птицыну (четвертую взялъ самъ), а Каширину карты не далъ, сказавъ:

— Ты, дружище, не сердись, что тебя не сажаю. Въ послѣднее время ты началъ такъ часто выигрывать, что, признаться, ужъ тяжеленько стало.

Однако Филиппъ Филиппычъ и тутъ смолчалъ, и даже нѣсколько времени повертѣлся около madame Растопыри. Но подъ конецъ не выдержалъ и ушелъ домой.

Сцены болѣе или менѣе такого же содержанія повторялись и въ другихъ домахъ. Каширинъ чувствовалъ, что роль его дѣлается болѣе и болѣе невыносимою, и все-таки не рѣшался порвать. Однажды, переходя черезъ улицу къ подъѣзду Карнауховыхъ, онъ собственными глазами убѣдился, что хорошенькая madame Карнаухова, стоявшая у окна (еще у него мелькнуло въ головѣ: вѣрно выглядываетъ своего гусара, корнета Стрекозу!), увидѣвъ его, вдругъ отпрянула; а когда онъ черезъ минуту позвонилъ, то прислуга, отворившая ему дверь, съ смущеннымъ ви-

лучалъ присвоенное содержаніе, такъ что чиновники въ шутку называли его «трижды подчиненнымъ»), предложило ему слѣдующій краткій вопросъ:

— Кстати! вѣдь вы, кажется, знакомы съ *господиномъ* Каширинымъ?

Растопыря смутился и началъ бормотать что-то невнятное. Не отрицалъ, но и не утверждалъ, говорилъ, что онъ никогда не былъ особенно близокъ... что притомъ давно ужъ предположилъ... и что, наконецъ, онъ сейчасъ же, сію минуту...

— Смотрите! какъ бы не тово...—послѣдовалъ доброжелательный совѣтъ.

Растопыря прибѣжалъ домой—точно съ цѣпи сорвался. И такъ какъ это произошло именно въ четвергъ, когда у него собирались къ обѣду пріятели, и время уже близилось къ половинѣ шестого, то онъ, какъ говорится, и рвалъ, и металъ. Призвавъ madame Растопырю, объявилъ ей, что присутствіе въ ихъ домѣ Каширина дольше терпимо быть не можетъ; потомъ началъ топать ногами, бѣгать по комнатѣ, кричать, вопить:

— Вонъ его! гнать его! гнать! гнать! гнать!

И вдругъ, въ ту самую минуту, когда пароксизмъ его гнѣва достигъ высшей степени, онъ очнулся и увидѣлъ, что въ дверяхъ стоитъ Филиппъ Филиппычъ, какимъ-то образомъ ухитрившійся упредить распоряженіе объ отказѣ ему отъ дома.

Каширинъ былъ блѣденъ, щеки его тряслись, зубы стучали. Шатаясь, воротился онъ въ переднюю, безъ помощи лакея надѣлъ пальто и вышелъ на лѣстницу. Тамъ онъ встрѣтилъ Чертополохова, который при видѣ его сухо-учтиво приложился къ шляпѣ, но руки не подалъ, потому что, какъ оказалось впослѣдствіи, въ то же утро и у него былъ разговоръ съ Стрекозой по поводу знакомства съ *господиномъ* Каширинымъ.

Очутившись на улицѣ, Филиппъ Филиппычъ нѣсколько минутъ не могъ сообразить, что̀ такое съ нимъ произошло. Мимо него прошли: Бердяевъ, Чистосердовъ и, наконецъ, Шилохвостовъ, новая звѣзда, только-что взошедшая на горизонтѣ «Дивидендовъ и Раздачъ». И они, конечно, имѣли такой же разговоръ, потому что тоже ограничились формальнымъ поклономъ безъ рукопожатія. Но Каширинъ все еще находился въ туманѣ, и передъ глазами его инстинктивно рисовалась освѣщенная столовая Растопыри, столъ,

обремененный закусками, около которыхъ столпились гости, и посреди ихъ гостепріимный хозяинъ ораторствовалъ:

— Разумѣется, въ виду этого, я вынужденъ былъ употребить героическія мѣры...

— Конечно! конечно!—восклицали гости, за исключеніемъ, впрочемъ, Шилохвостова, который въ эту минуту разрѣшалъ въ своемъ умѣ вопросъ, отречется ли онъ, подобно сему, и отъ Растопыри, когда очередь дойдетъ и до него!

— Ахъ! онъ намъ такъ надоѣлъ!—сентиментально присовокупляла съ своей стороны la belle madame Растопыря.

Однако привычка прихлебательства взяла-таки свое, и Каширинъ безсознательно побрелъ по направленію къ квартирѣ Скорбнаго-Голована.

Но тутъ его ужъ окончательно добили. Скорбный-Голованъ бросился къ нему со слезами, обнялъ, замочилъ ему губами щеки и даже слегка порыдалъ у него на груди. Но въ заключеніе крикнулъ:

— Миша! Петя! Катичка! Милочка! Марѳинька! Зиночка! идите! идите сюда!

И когда молодое поколѣніе Скорбныхъ-Голованово собралось, то археологъ-библіографъ, указывая Каширину на невинныхъ дѣтей, возопилъ:

— Вотъ! уже шесть человѣкъ на лицо, а мы съ женой еще молоды! Судите сами, голубчикъ, могу ли я? Я знаю, что я малодушенъ и отчасти даже вѣроломенъ, но могу ли я... скажите, могу ли?

Каширинъ ничего не отвѣтилъ на эти изліянія и сейчасъ же вышелъ. На этотъ разъ онъ уже совершенно отчетливо понялъ, что и Скорбный-Голованъ имѣлъ утромъ разговоръ.

Каширинъ долго пролежалъ больной, и во все время болѣзни ни одна душа не освѣдомилась о немъ. Наконецъ, ему полегчало, и первая мысль, представившаяся его уму, была та, что прошлое безповоротно рухнуло, и что впереди предстоитъ лишь полное и безнадежное отчужденіе. Надъ его существованіемъ прошла какая-то до нелѣпости жестокая случайность, которая наполнила его душу инстинктивнымъ страхомъ. Онъ никогда ничего подобнаго не предвидѣлъ, а потому и приготовиться не могъ. Онъ даже и теперь не понималъ, а только чувствовалъ, что сдѣлалось что-то жестокое. Къ несчастію, отставка не надоумила

его, не заставила подумать о подготовкѣ иной обстановки, которая могла бы выручить въ случаѣ измѣны «друзей». Онъ, по крайней мѣрѣ, всю послѣднюю половину жизни провелъ какъ человѣкъ касты и, несмотря на полученные уроки, остался вѣренъ ей. Эта каста, ограниченная въ численномъ смыслѣ, отличается, сверхъ того, зависимостью, какъ главною характеристическою чертою, и это дѣлаетъ ее легко-доступною для всякаго рода колебаній. Нигдѣ не бываютъ такъ часты измѣны, какъ тутъ. Но этого-то именно и не примѣтилъ Каширинъ, и вотъ теперь измѣна разразилась надъ нимъ чѣмъ-то неслыханнымъ, передъ чѣмъ блѣднѣли и стушовывались всѣ заботы о респектабельности и равновѣсіи бюджета.

Погрязши въ кастѣ, онъ растерялъ всѣ постороннія связи и даже къ новой русской литературѣ относился довольно индифферентно. Не порицалъ прямо, но находилъ, что она не даетъ плодотворныхъ Пафнутьевскихъ элементовъ. Съ бывшими пронскими своими патронами онъ тоже разстался (весьма, впрочемъ, дружелюбно), да врядъ ли они и могли быть ему полезными въ данную минуту. Они жили за границей и—въ чаяніи, что когда-нибудь ихъ опять поманятъ—фрондировали; объ отечествѣ же вспоминали лишь по поводу туго высылаемыхъ оттуда доходовъ.

И вдругъ онъ вспомнилъ вновь, что на Пескахъ, на Слоновой улицѣ, въ пятиоконномъ деревянномъ домикѣ, существуетъ чиновникъ Каверзневъ, у котораго онъ нѣкогда воспринималъ отъ купели старшаго сына...

Воспоминаніе это оживило его, ибо, по мѣрѣ того, какъ здоровье его возстановлялось, въ немъ просыпалась и жажда общества. Въ заботахъ объ ея удовлетвореніи, онъ очень вѣрно сообразилъ, что по праздникамъ и не очень выдающіеся чиновники пекутъ пироги и приглашаютъ къ своей трапезѣ друзей. Поэтому, хотя и не безъ нѣкоторой борьбы, но въ первое же воскресенье онъ купилъ фунтъ конфетъ для крестника и, какъ только пробило три часа, отправился на Пески.

Титулярный совѣтникъ Каверзневъ былъ чиновникъ очень маленькій и очень смирный. Занимая мѣсто помощника столоначальника, онъ едва сводилъ концы съ концами, да и то благодаря тому, что имѣлъ даровую квартиру въ домѣ тестя, отставного коллежскаго асессора Монументова, когда-то завѣдывавшаго департаментскими курьерами и сторожами, а нынѣ проживавшаго на пенсіи въ крошеч-

номъ мезонинѣ того же дома. Каверзневъ женился всего пять лѣтъ тому назадъ и имѣлъ ровно пять человѣкъ дѣтей. Человѣкъ онъ былъ не особенно блестящихъ способностей, но покорный, безгранично преданный семьѣ и удивительно добрый. Жена у него была молоденькая, тоже до крайности добрая и очень симпатичной наружности особа, хотя частые роды уже успѣли сообщить ея лицу утомленное и слегка заношенное выраженіе. Вообще это было семейство согласное, жившее душа въ душу, въ полномъ отчужденіи отъ живого міра, но не тяготившееся этимъ отчужденіемъ.

Когда Каширинъ пришелъ, въ первой комнатѣ, служившей одновременно и столовой, и залой, былъ уже накрытъ столъ. Въ углу, на особомъ столикѣ, стояла совсѣмъ готовая закуска и водка, а въ воздухѣ носился пріятный запахъ начинки. Каверзневъ самъ выбѣжалъ отворить дверь, потому что ожидалъ къ обѣду друга своего, Косача. Увидѣвъ передъ собой Филиппа Филиппыча, онъ слегка смутился, однако-жъ понялъ, что посѣщеніе такого чиновнаго гостя приноситъ ему величайшую честь. Суетясь и забѣгая впередъ, онъ проводилъ гостя въ гостиную, гдѣ сидѣли въ ожиданіи обѣда: жена Каверзнева, старикъ Монументовъ и помощникъ экзекутора Здобновъ. Оба послѣдніе тоже нетерпѣливо ждали Косача, чтобъ приступить къ водкѣ, и при видѣ нежданнаго гостя ощутили то самое чувство, которое долженъ испытывать человѣкъ, уже поднесшій ко рту рюмку и вдругъ убѣждающійся, что, благодаря какому-то проказливому волшебству, содержимое мгновенно исчезло изъ рюмки.

— А я сегодня вышелъ прогуляться да и надумалъ: дай-ко крестнаго сынка провѣдаю! — началъ Филиппъ Филиппычъ. Онъ предположилъ-было прямо сказать: «дай-ко у крестнаго сынка запросто хлѣба-соли отвѣдаю!»—но почему-то это не вышло.

Затѣмъ онъ потребовалъ, чтобъ ему показали дѣтей. Старшенькаго, Бориньку, какъ крестника, онъ поцѣловалъ и перекрестилъ, сказавши при этомъ: «вотъ такъ!», прочихъ—только перецѣловалъ. Въ заключеніе вынулъ изъ шляпы коробку съ конфетами и подарилъ крестнику, присовокупивъ:

— Подѣлись съ братцами и сестрицами, да смотрите, не обижайте другъ друга!

Эта церемонія длилась съ четверть часа, и къ концу ея

прибылъ Косачъ, молодой малый, служившій въ томъ же департаментѣ помощникомъ регистратора. Всѣ вздохнули легче, потому что думалось, что съ окончаніемъ церемоніи цѣлованія дѣтей Филиппъ Филиппычъ снимется съ мѣста. Но онъ не уходилъ. Прошло еще съ четверть часа, а онъ отыскивалъ все новыя и новыя темы для разговора. Говорилъ исключительно онъ одинъ; хозяева отвѣчали односложными словами и вымученными улыбками, какъ это всегда бываетъ съ людьми, которые совсѣмъ ужъ собрались ѣсть и не знаютъ, какъ выпроводить человѣка, остановившаго ихъ, такъ сказать, на ходу; гости же простонà-просто удалились въ уголъ, и если бы Каширинъ не заглушалъ себя самъ, то навѣрное услышалъ бы, какъ старикъ Монументовъ вполголоса выговаривалъ Косачу:

— А все по твоей милости, вѣтрогонъ! Гдѣ о-сю пору шатался?

Прошло еще четверть часа. У всѣхъ лица подернулись усталостью, вытянулись и даже словно похудѣли. Къ запаху начинки присоединился запахъ гари: подгорàлъ пирогъ. Старшій сынъ Боринька стучалъ въ столовой посудой, къ чему его, очевидно, поощрялъ Монументовъ, молчаливо, но несомнѣнно приглашая:

— Стучи, батюшка, стучи!

Наконецъ, видя, что надобно же когда-нибудь рѣшиться, Каширинъ, слегка зардѣвшись, сказалъ:

— А знаете ли что! вѣдь я къ вамъ безъ церемоній! Иду и думаю: дай-ко я у крестнаго сынка зàпросто хлѣба-соли отвѣдаю!

Только тогда Каверзневы внимательнѣе взглянули въ лицо Филиппу Филиппычу и замѣтили изнуреніе, которое произвели въ немъ послѣднія происшествія и болѣзнь. Они поняли добрыми своими сердцами, что, должно-быть, на этого человѣка большое горе обрушилось, если онъ рѣшился идти къ нимъ не въ качествѣ посажднаго или крестнаго отца, а на правахъ простого гостя. И одновременно у обоихъ вырвалось восклицаніе:

— Ахъ, ваше превосходительство!

Ихъ лица просіяли; Каверзневъ стремглавъ побѣжалъ въ кухню, гдѣ распорядился, чтобъ супъ и пирогъ поставлены были на столъ, и въ то же время пошелъ въ кондитерскую за шманткухеномъ; что же касается до Людмилы Петровны (такъ звали жену Каверзнева), то она инстинктивно подала Каширину руку, которую послѣдній

очень галантно поцѣловалъ. Замѣчательно, что онъ почти мгновенно оправился отъ своего смущенія и немедленно почувствовалъ себя совсѣмъ хорошо, какъ будто дѣло сдѣлалъ. Даже гости повеселѣли, словно у всѣхъ была одна мысль: «слава Богу, хоть какой-нибудь да конецъ!»

Обѣдъ прошелъ великолѣпно, и Филиппъ Филиппычъ очень серьезно сдѣлалъ честь своему крестному сыну. Конечно, эту ѣду нельзя было сравнить съ ѣдою у Растопыри (одно сало возможно ли позабыть!), ни тѣмъ паче съ ѣдою у Стрекозы—ну, да вѣдь тѣ обѣды невозвратно канули въ вѣчность, и слѣдовательно... Вотъ только вина было маловато: одна бутылка медоку на всѣхъ. Правда, что Монументовъ восполнялъ этотъ недостатокъ, вставая послѣ каждой перемѣны изъ-за стола и проглатывая рюмку водки; но это-то именно и подтверждало, что медоку въ этомъ домѣ придавалось особливое значеніе, и что, стало-быть, обходиться съ этимъ напиткомъ надлежало съ осторожностью. Зато шманткухенъ произвелъ рѣшительный фуроръ между дѣтьми, и хотя Каширинъ не ѣлъ его, но внутренно долженъ былъ сознаться, что давно не видалъ такихъ счастливыхъ дѣтскихъ лицъ.

Послѣ обѣда составилась пулька по одной сотой копейки, и когда Филиппъ Филиппычъ выразилъ сомнѣніе, что при такой цѣнѣ, пожалуй, не изъ чего будетъ за карты заплатить, то Каверзневъ поспѣшилъ его успокоить, сказавъ, что «у насъ, ваше превосходительство, карты дешевенькія, въ клубѣ по три гривенника покупаемъ, а онѣ, между тѣмъ, только слава, что распечатаны, а все равно что новыя». И дѣйствительно, когда подали карты, то Каширинъ очень любезно сознался, что онѣ «даже лучше, чѣмъ новыя».

Играли: Монументовъ, Здобновъ и Каширинъ; хозяинъ и Косачъ отказались, говоря, что они хоть и играютъ, но неохотно, и только чтобъ не разстроить партіи. Монументовъ очень наивно поглядывалъ на чужія карты, и Здобновъ, зная эту привычку его, пряталъ свои карты подъ столъ; этому же примѣру, послѣ двухъ-трехъ ремизовъ, послѣдовалъ и Филиппъ Филиппычъ. Оба мѣстныхъ партнера играли до чрезвычайности прижимисто; напротивъ, Каширинъ рисковалъ и, какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, извлекъ изъ своего риска пользу. Въ результатѣ онъ оказался въ выигрышѣ 85 копеекъ, изъ которыхъ 30 уплатилъ за карты, а остальныя 55 принесъ домой.

День былъ проведенъ, и Каширинъ остался доволенъ имъ. Но впереди дней предстояло еще много — надо было и о нихъ подумать. Сначала онъ совѣстился и ходилъ къ Каверзневымъ только по праздникамъ, въ будни же сидѣлъ дома и обдумывалъ планъ сочиненія. Сочиненіе это предполагалось озаглавить такъ: «Имѣяй уши слышати — да слышитъ!», а содержаніе его должно было заключать въ себѣ, во-первыхъ, оправданіе образа дѣйствій «пишущаго эти строки» и, во-вторыхъ, указаніе нѣкоторыхъ небезполезныхъ мѣръ, которыя, не останавливая правильнаго и разумнаго развитія дивидендовъ, въ то же время полагали твердыя преграды для обнаружившагося въ семъ вѣдомствѣ стремленія къ излишествамъ. Но такъ какъ это была матерія сухая, то понятно, что она въ скоромъ времени наскучила Каширину, вслѣдствіе чего онъ попробовалъ забѣжать къ Каверзневымъ и въ будни, и тоже остался доволенъ, хотя очень хорошо замѣтилъ, что на второе блюдо подали говядину совсѣмъ вываренную. Наконецъ, понемножку да помаленьку, онъ началъ учащать, и не успѣли Каверзневы встать въ оборонительное положеніе, какъ онъ уже сдѣлался у нихъ домашнимъ человѣкомъ и постояннымъ гостемъ. Однажды онъ даже рискнулъ отобѣдать и у Здобнова (и отобѣдалъ), но тотъ обошелся съ нимъ до такой степени иронически, что въ самомъ зародышѣ уничтожилъ всѣ попытки къ установленію начетистыхъ отношеній дружества.

Для Каверзневыхъ это былъ своего рода бичъ. Ежели трижды подчиненный Растопыря имѣлъ основаніе жаловаться на паденіе вексельнаго курса и вздорожаніе съѣстныхъ припасовъ, то тѣмъ бо́льшее право на эти жалобы могъ предъявить Каверзневъ. Со счетами въ рукахъ онъ могъ доказать, что Каширинъ обходится ему отъ 15-ти до 18-ти рублей въ мѣсяцъ — гдѣ ихъ взять? Сверхъ того, Каширинъ постоянно выигрывалъ въ карты и этимъ отвадилъ отъ Каверзневыхъ Здобнова и Косача. Даже старикъ Монументовъ началъ прятаться отъ него и требовалъ, чтобъ ему приносили обѣдъ въ мезонинъ. Изъ человѣка безконечно-добраго Каверзневъ, въ какихъ-нибудь два-три мѣсяца, сдѣлался угрюмымъ и раздражительнымъ. Людмила Петровна хотя наружно улыбалась, но внутри у нея тоже все клокотало. Эти простые и добрые люди смотрѣли на своихъ дѣтей и со страхомъ думали: «Каширинъ все съѣстъ!» Однажды они рѣшились на крайнюю мѣру: съѣли вареную

говядину до обѣда, а за обѣдомъ подали пустой супъ и макароны; но Каширинъ и этого не понялъ, или, лучше сказать, не хотѣлъ понять. Къ довершенію всего, дѣлаясь съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе наглымъ, Филиппъ Филиппычъ и дѣтямъ пересталъ возить гостинцы, такъ что и они вознегодовали.

Надо было быть очень робкимъ и очень дисциплинированнымъ, чтобъ столько времени выносить терзанія, которыя выпали на долю Каверзнева. Мало того, что Каширинъ объѣдалъ и опивалъ его, но вдобавокъ Здобновъ и Косачъ открыто смѣялись надъ нимъ...

— Онъ тебя и со всѣми твоими потрохами купить и продать можетъ,—говорили они:—а ты его шманткухенами кормишь!

Однако-жъ и для самой беззавѣтной забитости бываютъ предѣлы, дальше которыхъ идти некуда. И вотъ, дойдя до этихъ предѣловъ, Каверзневъ рѣшился.

Однажды, когда Каширинъ всего меньше думалъ о разрывѣ и даже разсчитывалъ, что на будущее время ему и лѣтомъ будетъ нескучно, онъ получилъ по городской почтѣ письмо, въ которомъ прочиталъ слѣдующее:

«Ваше превосходительство!

«Милостивый государь!

«Съ стѣсненнымъ сердцемъ я приступаю къ настоящему письму, но, помилуйте, я человѣкъ недостаточный и притомъ семейный! Я очень хорошо понимаю, что посѣщенія вашего превосходительства приносятъ намъ честь, но ограниченность состоянія и въ семъ не дозволяетъ намъ наслаждаться, какъ бы того душевно желали. И притомъ, ваше превосходительство, постоянно выигрывая въ карты, вы тѣмъ самымъ изволили отвратить отъ нашего семейства давнихъ и преданныхъ друзей, кои, будучи тоже состоянія недостаточнаго, не въ силахъ онаго перенести, хотя бы и желали.

«Ваше превосходительство! клянусь повторительно: съ стѣсненнымъ сердцемъ пишу настоящее письмо! Но взойдите въ положеніе угнетеннаго отца и мужа и съ свойственнымъ вашему превосходительству великодушіемъ простите пріемлемой мною смѣлости!

«Съ чувствами глубочайшаго высокопочитанія и несомнѣнной преданности имѣю честь пребыть

«Вашего превосходительства,

«Милостивый государь!

«покорнѣйшій слуга

«Илья Каверзневъ».

Къ удивленію, Филиппъ Филиппычъ отнесся къ этому письму довольно спокойно. Повидимому, его скорѣе удивило не содержаніе письма, а его безсвязность и редакціонные недостатки. Онъ всегда утверждалъ, что нынѣшнее поколѣніе «не умѣетъ писать»—и вотъ доказательство налицо.

— И это помощникъ столоначальника нацарапалъ!— воскликнулъ онъ съ горечью: — такіе ли въ наше время помощники бывали!

Я знаю, что разсказъ мой дошелъ до того кульминаціоннаго пункта, за которымъ необходимо слѣдуетъ катастрофа, а потомъ и естественное ея разрѣшеніе. Настоящіе художники-беллетристы именно такъ и поступаютъ: сначала постепенно завязываютъ узелъ, а потомъ постепенно его развязываютъ. Поэтому ничего нѣтъ мудренаго, что и читатель, избалованный этими развязываніями, ждетъ отъ меня, что я поступлю съ Каширинымъ рѣшительно, то-есть или женю его, или сдѣлаю пьяницей, или, наконецъ, совсѣмъ уморю.

Ничего подобнаго я, однако-жъ, не сдѣлаю по причинамъ вполнѣ уважительнымъ. Во-первыхъ, я не имѣю претензіи быть художникомъ и ничего «изъ головы выдумать» не могу; во-вторыхъ, я прошу принять во вниманіе, что герой моего разсказа — старикъ и въ силу одного этого условія не представляетъ достаточныхъ элементовъ для завязываній и развязываній. Поэтому, и желая оставаться въ согласіи съ истиной, я говорю прямо: какимъ образомъ Филиппъ Филиппычъ вышелъ изъ своего послѣдняго огорченія и перенесъ ли при этомъ какую-нибудь душевную или нравственную ломку—не знаю. Не знаю, потому что мой герой такъ быстро послѣ этого исчезъ съ петербургскаго горизонта, что я даже не могъ услѣдить за нимъ.

Знаю, впрочемъ, что онъ поселился въ Пронскомъ уѣздѣ, въ крохотномъ имѣньицѣ, нѣкогда великодушно уступленномъ имъ тетенькѣ Агаѳьѣ Ивановнѣ.

Лѣтомъ прошлаго года, находясь по дѣламъ въ Пронскомъ уѣздѣ, я случайно попалъ туда въ такое время, когда собирался мировой съѣздъ. Въ качествѣ почетнаго мирового судьи прибылъ и Каширинъ. Узнавъ, что я литераторъ, онъ благосклонно пожелалъ со мной познакомиться, а, наконецъ, затащилъ меня и въ свою усадьбицу. По наружности, это былъ старикъ бодрый и даже щеголеватый. Одѣтый по-лѣтнему, въ легонькую визитку, бѣлый жилетъ

и таковыя же брюки, онъ скорѣе походилъ на завсегдатая павловскихъ или петергофскихъ садовъ, нежели на обывателя пронскихъ палестинъ. Особенной словоохотливостью онъ не отличался, но, справедливо предполагая, что все, относящееся до русской литературы, должно интересовать меня, очень любезно разсказалъ мнѣ больше сотни анекдотовъ про Грановскаго, Бѣлинскаго, Некрасова, Тургенева и другихъ литературныхъ корифеевъ сороковыхъ годовъ, и въ заключеніе, вздохнувъ, прибавилъ:

— Да, было, было все это, было—и прошло!

Даже о пойманномъ Майковымъ въ Парголовскомъ озерѣ пискарѣ не умолчалъ и тоже прибавилъ:

— Да, поймалъ пискаря, да такъ съ пискаремъ на всю жизнь и остался!

Усадьба у него оказалась очень хорошенькая, и, судя по его разсказамъ, онъ серьезно намѣревался устроить изъ нея нѣчто въ родѣ «виллы» и съ этою цѣлью треть всей земли обратить подъ садъ. Здѣсь я познакомился и съ тетенькой Агаѳьей Ивановной; старушкѣ было подъ восемьдесятъ, но она сохранила всѣ зубы, всѣ волосы и почти юношескую остроту зрѣнія въ соединеніи съ замѣчательной подвижностью.

— Теперь только я жить начала! — сказала мнѣ эта милая женщина, окидывая безконечно-любящимъ взглядомъ своего безцѣннаго племянника.

Филиппъ Филиппычъ радушно выводилъ меня по всѣмъ комнатамъ дома, который онъ почти весь заново перестроилъ и, благодаря петербургской мебели, ухитилъ очень удобно и красиво. Въ одной изъ комнатъ мы застали за работой Палагею Семеновну, дѣвицу высокаго роста, «разсыпчатую», съ привлекательными формами тѣла и притомъ совсѣмъ пучеглазую, о которой Каширинъ сказалъ просто:

— А это моя Палагея Семеновна!

И затѣмъ она ни за обѣдомъ, ни за чаемъ не появлялась; быть-можетъ, впрочемъ, это случилось только потому, что она «стыдилась» посторонняго человѣка, такъ какъ не разъ Агаѳья Ивановна, положивъ на тарелку самый лучшій кусокъ (пупочекъ, стегнушко), отдавала подачку прислугѣ, говоря:

— Снесите это Палагеюшкѣ!

Обѣдомъ Филиппъ Филиппычъ накормилъ меня отличнымъ, при чемъ безпрестанно и онъ, и тетенька понуждали: «кушайте!» Очевидно, онъ жилъ на свои три тысячи шесть-

сотъ рублей паномъ. Охотно хвалился наливками, которыя были дѣйствительно превосходны, но скорбѣлъ, что никакъ не можетъ добиться такого сала, какое ѣдалъ въ Петербургѣ у Растопыри.

Повидимому, онъ всѣмъ простилъ и даже про Растопырино вѣроломство вспоминалъ безъ горечи. Съ нѣкоторыми изъ бывшихъ друзей онъ исподволь возобновилъ сношенія и даже удостоился очень лестнаго письма отъ Стрекозы, которому послалъ въ презентъ удивительно выкормленнаго индюка.

«Превосходнѣйшаго вашего индюка мы скушали,—писалъ маститый сановникъ:—въ сообществѣ извѣстныхъ вамъ пособниковъ, укрывателей и попустителей, и такъ оказался хорошъ и соотвѣтствующъ предназначенной ему роли, что не токмо желудочнаго обремененія, по съѣденіи, не ощутили, но даже какъ бы небольшое облегченіе». Что же касается Каверзнева, то Каширинъ каждогодно къ Рождеству посылалъ ему цѣлую груду поросятъ, гусей и куръ.

Въ Пронскѣ же Филиппу Филиппычу было суждено встрѣтиться и съ Пафнутьевымъ, что̀ пролило еще болѣе сіяющій свѣтъ на его существованіе. Къ сожалѣнію, я не могъ познакомиться съ Пафнутьевымъ, потому что онъ былъ въ то время въ отсутствіи. Но Каширинъ сообщилъ мнѣ, что ежели сочиненіе его «Имѣяй уши слышати—да слышитъ!» значительно подвинулось впередъ, то именно благодаря Пафнутьеву, въ которомъ онъ нашелъ драгоцѣннѣйшаго для себя сотрудника.

Послѣ обѣда онъ попытался прочесть мнѣ первую (вѣроятно, и единственную) главу этого сочиненія. Первую страницу прочелъ бойко; на второй, подъ вліяніемъ изобильно принятой пищи и лѣтняго зноя, языкъ его началъ слегка заплетаться, а на третьей онъ какъ-то вдругъ и незамѣтно уснулъ. Я вышелъ на цыпочкахъ изъ кабинета и направился къ Агаѳьѣ Ивановнѣ, но и она спала; потомъ толкнулся къ Палагеѣ Семеновнѣ, но и ее нашелъ спящею. Все въ домѣ и около дома дремало, дремало, дремало: даже большой кохинхинскій пѣтухъ — и тотъ пересталъ интересоваться курами. Тогда и я, выбравши въ гостиной кресло помягче, протянулъ ноги и тоже моментально заснулъ.

А въ восемь часовъ, напившись чаю, уѣхалъ отъ Каширина и больше его не видалъ.

Оглавленіе

IV ТОМА.

стр.

Сказки.

1. Премудрый пискарь 5
2. Самоотверженный заяцъ 10
3. Бѣдный волкъ 15
4. Карась-идеалистъ 21
5. Добродѣтели и пороки 32
6. Обманщикъ-газетчикъ и легковѣрный читатель 39
7. Игрушечнаго дѣла людишки 42
8. Чижиково горе 73
9. Вѣрный Трезоръ 88
10. Недреманное око 95
11. Дуракъ 100
12. Сосѣди 110
13. Здравомысленный заяцъ 116
14. Либералъ 124
15. Баранъ-Непомнящій 129
16. Коняга 135
17. Кисель 140
18. Праздный разговоръ 142
19. Деревенскій пожаръ. (Ни-то сказка, ни-то быль) 147
20. Путемъ-дорогою. (Разговоръ) 154
21. Гіена. (Поученіе) 159
22. Приключеніе съ Крамольниковымъ. (Сказка-элегія) 163
23. Христова ночь. (Преданіе) 172
24. Рождественская сказка 178
25. Воронъ-челобитчикъ. (Сказка) 187
26. Повѣсть о томъ, какъ мужикъ двухъ генераловъ прокормилъ 196
27. Пропала совѣсть 204
28. Дикій помѣщикъ 215
29. Медвѣдь на воеводствѣ 222
    I. Топтыгинъ 1-й . . . . . —
    II. Топтыгинъ 2-й 227
    III. Топтыгинъ 3-й 229
30. Мала рыбка, а лучше большого таракана. (Вяленая вобла) . 232
31. Орелъ-меценатъ 241

СТР

Мелочи жизни.

Введеніе 253

Часть первая.

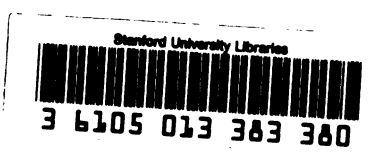
I. **На лонѣ природы и сельско-хозяйственныхъ ухищреній.**
1. Хозяйственный мужичокъ 295
2. Сельскій священникъ 304
3. Помѣщикъ 313
4. Міроѣды 332
II. **Молодые люди.**
1. Сережа Ростокинъ 342
2. Евгеній Люберцевъ 356
3. Черезовы мужъ и жена 369
4. Чудиновъ 382
III. **Читатель.** (Нѣсколько нелишнихъ характеристикъ) 394
1. Читатель-ненавистникъ 396
2. Солидный читатель 403
3. Читатель-простецъ 410
4. Читатель-другъ 417

Часть вторая.

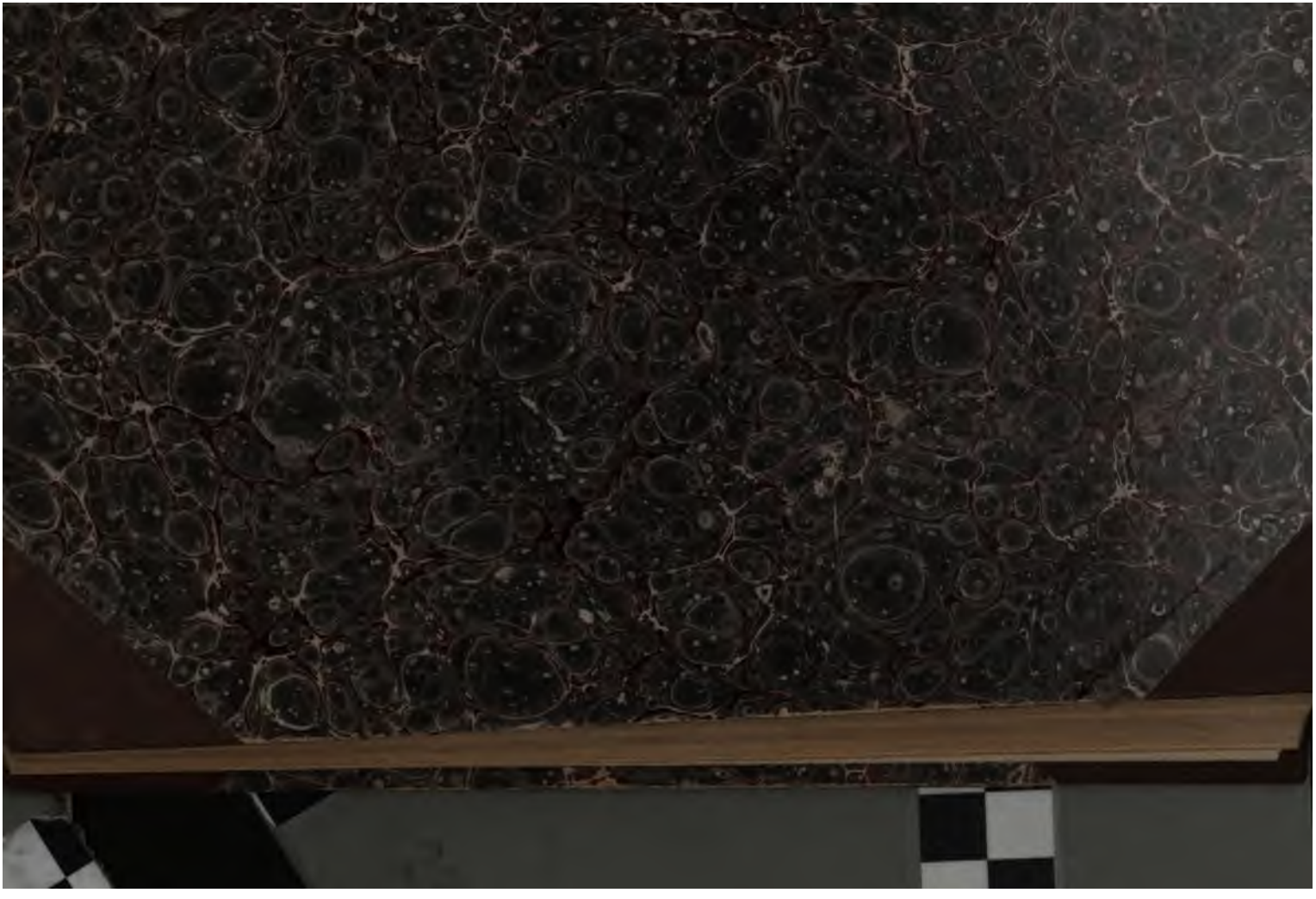
I. **Дѣвушки.**
1. Ангелочекъ 418
2. Христова невѣста 430
3. Сельская учительница 454
4. Полковницкая дочь 465
II. **Въ сферѣ сѣянія.**
1. Газетчикъ 478
2. Адвокатъ 494
3. Земскій дѣятель 509
4. Праздношатающійся 524
III. **Портной Гришка** 537
IV. **Счастливецъ.** (Этюдъ) 569
V. **Имярекъ** 595

Культурные люди.

I. Культурная тоска 611
II. Продолженіе тоски и появленіе Прокопа 618
III. Между своими 626
IV. Поѣхали 637
V. Тайна, облекающая личность восточнаго человѣка, слегка разъясняется 646
Старческое горе или непредвидѣнныя послѣдствія заблужденія ума. (Разсказъ) 653



671.5
S171
ed.5
v.4

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.